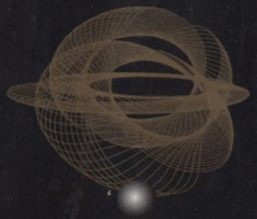
Генри Лайон
Олди



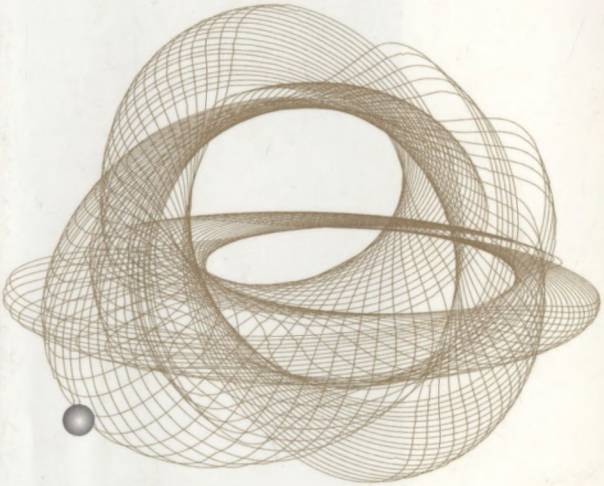


Книга
преступной
магии

ВОРОВСКОЙ
ЦИКЛ

Эксмо
издательство

Генри Лайон
Олди



ШЕДЕВРЫ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ФАНТАСТИКИ

ВОРОВСКОЙ
ЦИКЛ



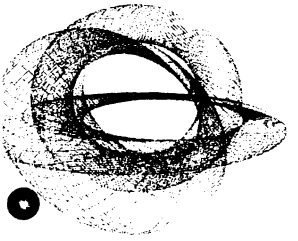
Генри Лайон
ОЛДИ

ВОРОВСКОЙ
ЦИКЛ

Генри Лайон
ОЛДИ

ВОРОВСКОЙ
ЦИКЛ





ШЕДЕВРЫ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ФАНТАСТИКИ

Генри Лайон
ОЛДИ

ВОРОВСКОЙ ЦИКЛ

ПАСЫНКИ ВОСЬМОЙ ЗАПОВЕДИ

МАГ В ЗАКОНЕ

Эксмо, Москва
2005

УДК 82-312.9
ББК 84(2Рос-Рус)6-4
О 53

Оформление серии художника *Е. Савченко*

Серия основана в 2003 году

Художник *В. Бондарь*

Олди Г.Л.

О 53 Воровской цикл: Фантастические романы. — М.: Изд-во Эксмо, 2005. — 928 с. — (Шедевры отечественной фантастики).

ISBN 5-699-09802-X

Странным даром обладают приемные дети Самуила-бацы из глухого села Шафляры в Нижних Татрах. Воры они, но не кошельки у зевак срезают, а крадут тайные помыслы, чаяния, навыки и знания. Неплохо устроились в жизни «пасынки восьмой заповеди»: Ян — аббат в тынецком монастыре бенедиктинцев, и скоро быть ему епископом; Тереза — жена богатого купца; пан Михал — воевода в графском замке, такие шляхтичи в бурный XVII век нарасхват. А вот с младшенькой, с Мартой, не заладилось. Через полтора века Святую Марту помянет в своих молитвах цыган Друц, потомок маленького смешного цыганенка из «Пасынков восьмой заповеди». И начнется новая притча о неприкаянных, поднадзорных, каторжных «магах в законе».

Притча о Великой Державе и Маленьких Человеках, о том, как слепые ведут слепых, и о том, что нет ничего нового — ни под солнцем, ни под луной. Но маги и Российская Империя начала века? Жандармы, чей служебный «профиль» — эфирные воздействия?! Дух Закона, запутавшийся в собственной паутине?!

Олди, как всегда, не ищут легких путей — а намеренно усложняют свою задачу, чтобы потом постепенно выходить из лабиринта хитросплетений, порожденных их неудержимой фантазией.

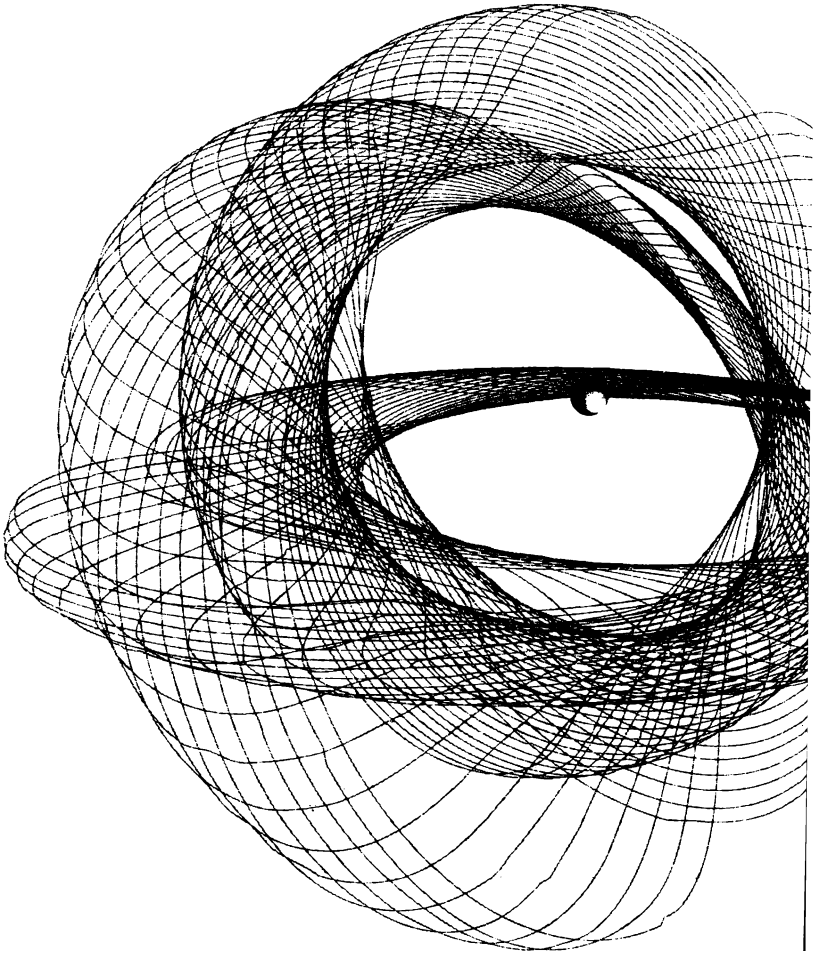
УДК 82-312.9
ББК 84(2Рос-Рус)6-4

ISBN 5-699-09802-X

© Олди Г.Л., 2005
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2005

ПАСЫНКИ ВОСЬМОЙ ЗАПОВЕДИ

РОМАН



То было что-то выше нас,
То было выше всех.

И. Бродский

Книга первая
ДЕТИ ВОРА САМУИЛА

ГЛАВА I

1

Пся крев[1]! Где черти носят этого пройдоху-корчмаря! Клянусь епископским благословением, еще мгновение — и я нашинкую весь его проклятый род на свиные колбасы!

Пудовый кулак обрушился на столешницу, заставив кружки испуганно дребезжать, а ближайшее блюдо крутанулось волчком и не скоро остановилось, обратив к крикуну испуганную морду запеченного в черносливе поросенка.

Корчмарь Иошка уже спешил к столу, смешно семеня коротенькими кривыми ножками и защитным жестом выставив перед грудью обе руки. В каждой был зажат глиняный кувшин с выдержанным венгерским вином, только что нацеженным из бочки, кран которой открывался либо по большим праздникам, либо в день посещения корчмы князем[2] Лентовским, чей сволочной характер был отлично известен не только корчмарю, но и всякому встречному-поперечному по эту сторону Татр.

После первого княжеского глотка корчмарь был прощен, после второго — милостиво одарен дружеским подзатыльником, чуть не отправившим тщедушного Иошку на тот свет, а после третьего, самого продолжительного глотка, сопровождавшегося молодецким кряканьем и здоро-

---

[1] *Пся крев* — дословно «собачья кровь», польское ругательство.

[2] В XVI веке в Польше, а позднее в Речи Посполитой, были отменены дворянские титулы (князь, граф и т. п.), но они сохранялись в традиционных формах речи и при неформальном общении).

вой отрыжкой, князь Лентовский напрочь забыл о корчмаре и принялся превращать поросенка в груду костей и обглоданных хрящей.

Сидевший рядом с князем его старший сын и наследник Янош Лентовский равнодушно вертел в руках куриную ножку, изредка касаясь ее губами столь нежно и мимолетно, словно это была ножка его возлюбленной, а не окорок жилистой и вредной пеструшки Друцы, чье поведение переполнило сегодня утром чашу терпения жены корчмаря.

Впрочем, аппетит был единственным, что отличало между собой отца и сына Лентовских. Оба — рослые, топором рубленные здоровяки, краснощекие, крепкорукие, зачатые на знаменитой дубовой кровати в родовом замке близ Череможа, где теряли невинность все новобрачные жены Лентовских вот уже восемнадцатое поколение подряд. Оба наряжены в темно-лиловые бархатные кунтуши с бриллиантовыми пуговицами, каждая из которых стоила всего добра, нажитого тем же Иошкой за всю его корчмарскую жизнь; из-под кунтушей выглядывали жупаны голубого атласа, а на мускулистых ногах высокородных вельмож красовались пунцовые шаровары и вызывающе яркие сапоги из крашеного сафьяна на позолоченных каблуках. Больно было смотреть, как старый Лентовский заливает все это великолепие потоками жира и струящегося по бритому подбородку вина, но вряд ли кто-нибудь осмелился хотя бы намеком дать понять князю, что жаль портить этакое добро! Доброхота ожидала в лучшем случае оплеуха, способная свалить быка-двухлетку, а потом — плети княжеских гайдуков; невезучий же вполне мог попробовать и клинка фамильной сабли Лентовских, гордо выставившей над столешницей белый хохолок цапли, украшавший ее рукоять.

— Музыку! Гей, слепой, заснул, что ли?!

Незрячий скрипач, перетирающий в углу беззубыми деснами свежевыпеченный хлебец, поспешно вскочил, подхватил лежащую рядом скрипку, примостил ее на костлявом старческом плече и взмахнул смычком. Плясовая огнем расплескалась по корчме, но никто из немногочис-

ленных посетителей и не подумал пройтись гоголем по скрипящим половицам — дай бог в присутствии старого князя-самодура спокойно дожевать и допить, а после незаметно исчезнуть восвояси!

Разве что сидевшая в самом дальнем углу женщина средних лет, непривычно смуглая и длинноносая для здешних мест, сперва забарабанила пальцами по столу и весело притопнула, но огляделась и вновь принялась за баранье жаркое, дымящееся в пузатом горшочке.

У ног женщины, ткнувшись носом в ее поношенные, но еще крепкие сапожки, лежал здоровенный пегий пес. Правое ухо у пса было оторвано в какой-то давней драке, и теперь вместо него нервно подрагивал смешной волосатый обрубок; зато второе, невредимое ухо независимо торчало вверх, словно собаке хотелось уловить в рокоте струн что-то свое, очень важное и неслышимое для посторонних.

Янош Лентовский пододвинул отцу миску с жаренными в масле пирожками и скучающе огляделся.

Взгляд княжича скользнул по двум заезжим торговцам, вполголоса обсуждающим дела купеческие, мимолетно задержался на услужливо скалящемся в никуда слепце-скрипаче, огладил широкий аппетитный зад нагнувшейся за упавшим рушником служанки и наконец уперся в смуглую женщину.

Она подняла глаза на молодого Лентовского и улыбнулась княжичу спокойной приветливой улыбкой.

— Цыганка? — негромко спросил княжич Янош, обращаясь скорее к самому себе.

Как ни странно, женщина расслышала его вопрос и отрицательно покачала головой.

— Тогда кто?

Женщина развела руками и еще раз улыбнулась, словно это должно было объяснить ее происхождение.

Княжич Янош продолжал разглядывать странную гостью. И одета она была не так, как одевались местные бабы: вместо обилия юбок, напяленных друг на друга подобно капустным листьям, и белой расшитой рубашки с безрукавкой, на женщине был мужской черный казакин, подбитый стриженым мехом, из-под которого выглядывала опять

же черная рубаха, заправленная в короткие кожаные штаны до колен. И никаких украшений, кроме витого браслета на правом запястье и медной запонки с тремя короткими цепочками, закалывавшей рубаху у ворота.

«Нет, не цыганка, — уверился молодой Лентовский. — Те по пуду всяких цацок на себя вешают, а эта... Да и не станет Иошка цыганок у себя прикармливать. Ишь, черная! Откуда и взялась такая?»

Интерес к женщине так же быстро угас, как и возник, после чего княжич зевнул и потянулся к кувшину с вином.

Сейчас отец насытится, и можно будет спокойно тронуться в путь.

В путь...

Легкие сухие пальцы коснулись шеи Яноша. Он недоуменно обернулся — черная женщина стояла совсем рядом, словно в мгновение ока переместившись из-за своего стола к месту княжеской трапезы. Тонкие губы шевельнулись, и женщина произнесла извиняющимся тоном:

— Великодушно прошу простить, ваша милость! Оступилась...

— Пошла вон, — равнодушно отозвался молодой Лентовский, наливая вино в деревянную кружку, и вдруг почувствовал, как у него зачесались глаза. Именно глаза, как если бы от затылка... нет, от шеи, где коснулись Яноша чужие пальцы, протянулись вглубь тоненькие нити-паутинки, быстрая суетливая плесень, кончиками невидимых волокон войдя изнутри в зрачки, копошась, натягиваясь, разрастаясь...

Княжич изумленно моргнул — и ощущение исчезло.

Подобно руке опытного карманника, в последний момент исчезающей из вскрытого кошеля, когда разиня-хозяин заподозрит неладное и, округлив рот, уже готов закричать на весь базар: «Держи вора!»

О сапог Яноша умильно терлась корчемная кошка Бырка, выпрашивая кусочек свининки и опасливо поглядывая на дремавшего одноухого пса.

— Ой под горкой, под кустом портит девок черт хвостом, — заорал на всю корчму старый князь, и скрипач на

ходу попытался подхватить мелодию. — Будет черту лихо, ой...

Забыв слова разухабистой песни, которую слышал от егерей на прошлой охоте, Лентовский выругался и запустил в скрипача обглоданной костью.

Черная женщина уже отходила от княжеского стола, когда лицо ее внезапно напряглось, во взгляде, обращенном к старому князю, вспыхнула шальная безумная ненависть, зарницей метнувшись под густыми бровями, но женщина резко присела, вороватым движением погладив мяукнувшую Бырку, и лицо ее почти сразу стало прежним.

Еще миг — и ни ее, ни пегой собаки уже не было в корчме.

Иошка, увидев рядом с миской недоеденного жаркого серебряный полуталер, решил шума не поднимать и уж тем более не гнаться за гостьей; а чуть погодя ему стало не до талеров и женщин, потому что безобиднейшая кошка Бырка разъяренно зашипела, вспрыгнула на столешницу и оттуда воющим комком кинулась прямо в лицо старому князю.

И долго потом рассказывали пастухи Бескид друг другу, как старый князь Лентовский стал одноглазым, как княжич Янош в бешенстве чуть было не зарубил насмерть корчмаря Иошку, и лишь проворство ног спасло последнего, как горела корчма, подожженная гайдуками Лентовского, а старый князь, прижимая к разодранной глазнице окровавленный плат, рычал сорванным голосом:

— Жгите! Все жгите, сукины дети!.. О, пся крев...

О женщине и ее собаке не вспомнил никто.

2

— Не могла я иначе, Джош... никак не могла. Ты ведь и сам вор, ты должен меня понимать...

Ночь застала женщину с собакой в пути, но одноухий пес мигом свернул с торной дороги и неспешно затрусил в лес, а женщина спокойно пошла вслед за ним, все дальше углубляясь в густеющий кустарник и петляя меж редких белых стволов берез. Так слепой идет за надежным, не раз проверенным поводырем, так ходят за матерью или за любовником, так ходят не раздумывая и не сомневаясь.

И действительно: не успело еще окончательно стемнеть, как они вышли к пастушьему шалашу — добротному, плотно застеленному свежими ветками, с выгоревшим кострищем посередине, над которым на длинной палке, привешенной к двум поперечным жердям, висел закопченный котел. Женщина занялась костром, едкий дым вскоре заполнил внутренность шалаша, явно собираясь прокоптить незваных постояльцев до конца их дней, а пес исчез в лесу, и только изредка светились поблизости его настороженные глаза.

За все это время он не издал ни звука, словно был немым.

Да и женщина молчала с того момента, как они покинули злосчастную корчму Иошки Мозеля. Молча шла она по дороге, молча плутала меж стволами, молча разжигала костер и разбиралась со скудными припасами, вынутыми из холщовой дорожной сумки с нашитыми поверх полосами дубленой кожи. Пастуший шалаш, привыкший к шумным, говорливым людям, горланящим песни и далеко за полночь пугающим друг друга страшными сказками, удивленно внимал тишине, — и когда легкий ночной дождь, шурша и притоптывая, прошелся по лесу, спугнув тишину, шалашу стало спокойнее от этих уютно шепчущих звуков.

Листва дрогнула, отдаваясь зябкой ласке капель, глубоко в земле грибница начала свершать темное таинство рождения гриба, переполошенно зацокала одинокая белка в кроне векового бука, и догорающий костер внутри шалаша слабо высветил две прильнувшие друг к другу тени: человечью и нечеловечью.

— Не могла я иначе, Джош... никак не могла. Ты ведь и сам вор, ты должен меня понимать... Откуда мне было знать, что молодой княжич против отца родного неладное замышляет? Ты, Джош, тоже не всегда знал, что тащишь, а тащил небось!

Это и были первые слова женщины.

Пес заворочался, хрипло клокоча горлом.

— Хватка теряется, Джош, — усмехнулась женщина, теснее прижимаясь к крупному лохматому телу, и было в ее движении что-то непристойное, не похожее на простое

желание добыть побольше тепла. — Помнишь, ты мне говорил: пальцы карманника нежнее соболиного меха! Помнишь небось... Неделю, говорил, не погладишь чужие кошели — на восьмой день и камень с земли не подберешь, выронишь! А моя хватка иная, да только и пробовать ее чаще приходится. Строг был Самуил-баца, отец мой приемный, тяжко учил, всех выучил; одна я, дура, на рожон из-за тебя поперлась... Спи, Джош, это я так, поскулить перед сном захотелось...

Женщина боялась признаться псу, что ей страшно спать. Перед закрытыми глазами все время вставало суровое лицо отца, Самуила-турка из Шафляр, которого шафлярцы прозвали Самуилом-бацой, что на подгальском наречии значило «старший пастух» или попросту «пастырь». Призрачный лик хмурился, сдвигая косматые брови, в выпуклых жабьих глазах турка блестел гневный огонь, и почему-то из-за плеча отцовского выглядывало, издевательски покачиваясь, рыжее петушиное перо.

Женщина уже видела однажды залихватски заломленный берет, на котором серебряной пряжкой было заколото точно такое же перо.

Если бы она могла молиться, то молилась бы, чтоб ей не довелось увидеть его во второй раз.

«Прости, батька Самуил, — губы женщины беззвучно шевелились, заставляя одноухого пса вздрагивать и на миг выныривать из чуткой собачьей дремы, — прости ослушницу... Ведь знала же, помнила, в душе тавром выжгла слова твои: «Не воруйте, дети, у дьявола, ибо дьявол берет по праву обмана, но все же по праву; а мы просто берем! Опасайтесь многих, но не бойтесь никого — кроме Великого Здрайцы[1]!» Вот и вышло так, Самуил-баца, что твоя глупая дочь Марта, бывшая гроза шафлярских мальчишек, бежит теперь испуганной косулей от охотника, и нет ей убежища на всем белом свете! Ах, Джош, Джош-Молчальник, что ж ты сделал со мной!.. Что я сама с собой сделала...»

Когда женщина, зовущая себя Мартой, все же заснула,

---

[1] *Здрайца* — по-польски означает то же, что и древнееврейское «сатан», то есть сатана: изменник, предатель, противоречащий.

то приснился ей день, когда она впервые поняла недозрелым детским умишком, что родилась воровкой.

В тот день она чуть было не украла у приемного отца удовольствие от послеобеденной трубки.

А Самуил-баца поймал ее, что говорится, за руку и потом долго смеялся, раздувая ноздри орлиного носа и топорща жесткие седые усы.

Дождь бродил вокруг шалаша, и Марта теснее прижималась к теплому боку пса, вздрагивающего во сне.

Джошу снился ночной лес, гроза и человек, повешенный на собственном поясе, привязанном к потолочной балке заброшенной сторожки.

Джошу снился он сам.

3

Без малого полвека минуло с той памятной весны, когда стаяли снега и со стороны весело зазеленевшей Магурской Громады явился в Шафляры незнакомый турок. Впрочем, турком прозвали его сами шафлярцы за длинную, диковинно выгнутую трубку, которая вечно дымилась у незнакомца в зубах, да еще за внимательные смоляные глаза навыкате. Темной же мастью и птичьим носом здесь трудно было кого-нибудь удивить — добрая половина бескидских мужиков была чернявой и клювастой. Поселился гость в хате столетнего дедушки Кшися, и все три с половиной года, что остались старику до прихода костлявой, не мог нарадоваться одинокий Кшись на своего постояльца, которого перед смертью назвал сыном. Сами шафлярцы, не шибко жаловавшие чужаков, тоже на удивление быстро привыкли и к пришельцу, и к его имени Самуил, непривычно звучащему для местного слуха. Работал Самуил-турок за троих, на святые образа крестился исправно, пил с умом, ругаться умел так, что самые завзятые сквернословы плотней натягивали бараньи шапки на уши и хмыкали в курчавые бороды, девок без нужды не портил, а мужние бабы частенько бегали в лес за ушедшим на охоту Самуилом в отсутствие законных муженьков, выгнавших стада к Озерам.

Но детей от турка не рождалось, а на горячем он не попадался.

Так что все были довольны, потому как по эту сторону Татр любили иметь в доме хозяйку, которая нравится другим, — раз со мной живет, значит, и я не из пустобрехов.

Опять же последнюю неделю перед смертью дедушки Кшися, во времена его молодости не раз и не два выбиравшегося бацой — старшим пастухом, чье слово для прочих главней отцовского, Самуил-турок безвылазно сидел в хате, поил старика травяными отварами и держал за иссохшую руку, забывая поесть и урывая клочки сна, когда старика чуточку отпускало. А после похорон впервые отправился с шафлярскими пастухами в Косцелец. И те, кто помнил тот давний выпас, говаривали, что словно дедушка Кшись встал из гроба и каркающим голосом Самуила-турка отдавал приказы: дойных овец и коз отправить на Крулеву гору, баранов с козлами и ярок с ягнятами — здесь оставить, коров к Озерам, волов согнать в редкий лес над речкой...

Так и стал с того дня из Самуила-турка Самуил-баца.

А к неизменной трубке добавилась в руках Самуила пастушья чупага — малый топорик на длинном древке, с медными колечками на конце топорища. Всякий уважающий себя подгальский пастух умел в танце прыгать через свою чупагу, ухватившись руками за лезвие и за топорище, а когда поднимался пастуший топорик не для забавы, а для мужской кровавой потехи, то частенько приходилось после сколачивать домовины для неудачников.

Тут поначалу косились на Самуила односельчане — что-что, а прыгать козлом новый баца был не горазд. Как-то раз явился в Шафляры Мардула-разбойник, знатный овцекрад, о котором говаривали, что ему человеку шею свернуть — как иному высморкаться. Явился и давай шутки шутить: дескать, в старом стаде новый вожак, холощеный валух шафлярских баранов водит! Слово за слово, встали друг перед другом Самуил с Мардулой-разбойничком на зеленом лугу, заметался неистовый Мардула вокруг хмурого турка, как грозовой вихрь вокруг старого утеса, плеснула медным звоном Мардулина чупага... пляшет Мардула, а

в руках у Самуила-бацы уже две чупаги: и своя, и разбойничья. Что сделал, когда успел, как утес у вихря молнию из пальцев выкрал, не увидели того шафлярцы. Схватился Мардула за нож, рванул из-за пояса и замер на месте, ровно забыл, что с ножом делать собирался.

— Ты чего мою чупагу держишь? — спрашивает у турка.

Незлобно спрашивает, скорей удивленно.

— А ты мне ее подарил, — отзывается Самуил-баца. — Только что. Как побратиму. Прими взамен мою и поклонимся друг другу в пояс.

Когда шафлярцы позже рассказывали эту небывальщину соседям, то в конце всегда добавляли: хотите верьте, хотите нет, только тем дело и кончилось.

Так и жил Самуил-баца в Шафлярах. На четвертый год женился, взял за себя немую Баганту, овдовевшую еще до его прихода в село, и жил с безъязыкой душа в душу. А детей не имел. Не хотел или не мог, но на вторую зиму после свадьбы исчез из Шафляр до середины весны и по возвращении привел с собой мальчонку. Подобрал где-то. Баганта приняла хлопца как сына родного, Самуил-баца имя приемышу дал — назвали Яном, а пока маленький был, Яносиком звался. С той поры и пошло: раз в три-четыре зимы исчезал Самуил из Шафляр, скитался где-то до полугода и возвращался с приемышем. Когда с мальцом, когда с девкой. И все как один: ледащенькие, чернявые да востроносенькие. Галчата и галчата, словно родные дети турка, а когда охотник Собек бросил как-то со зла: «Воронье!», так назавтра забыл имя родной матери.

Взаправду забыл, на трезвую голову. Ему уж кто только не говорил: «Мамашу твою Кристой зовут!», а он кивнет, полдня проходит, шепча под нос: «Криста... Криста, маменька...», и к вечеру снова ко всем цепляется: «Люди добрые, как вы маму мою кличете?!»

У самой матери спрашивать стеснялся.

Росли приемные дети Самуила-бацы и немой Баганты, вырастали, стукнул старшему Яну девятнадцатый годок — и ушел Ян из родного дома. Ушел себе и ушел, мало ли с какой стати человеку жизнь в Шафлярах немилой показа-

лась! Ан нет, не так-то просто: следом за Яном спустя три года покинула село и сестра Янова, красавица Тереза. Много парней сохло по статной Терезе, только не выбрала она из них ни единого, жила себе ни богу свечка ни черту кочерга; такой и ушла восвояси. Вот и повелось с тех пор: справит очередной Самуилов приемыш дважды девятый день рождения — откуда только знал Самуил-баца, когда родились его найденыши?! — и вскоре расстается с отцовским домом.

Куда уходили, где оседали — не знал никто.

Разве что, может, кроме старого Самуила. Да этот разве скажет?! — проще немую Баганту разговорить...

И если бы сказал кто шафлярцам, что уважаемый всеми Самуил-баца тайно учит своих приемных детей воровскому ремеслу, поскольку сам природный вор и даже не такой вор, каких мало, а такой, каких и вовсе-то нет на свете — ох, и намяли бы пастухи болтуну-всезнайке бока!

А зря.

4

Дорога на Тынец испокон веку считалась оживленной. Скрипели повозки, запряженные меланхолично моргающими волами, время от времени пролетал, покрикивая, спешащий верховой, богомольцы серыми стайками брели в Тынецкий монастырь, пользующийся славой святого места; по обочине местные пастухи гнали на продажу блеющих овец, и бродячие монахи блудливо цеплялись к бабам, отправившимся с утра на рынок.

Марта ехала на телеге, почти целиком заставленной дерюжными мешками с мукой. Мучная пыль пудрой оседала на темных волосах женщины, набивалась в рот и в нос, затрудняя дыхание, но все же это было лучше, чем тащиться пешком. Одноухий Джош развалистой рысцой бежал рядом, вывалив розовый язык, и искоса поглядывал на правившего волами мельника — тихого крохотного старичка с благостным выражением на выцветшем от возраста лице, отчего мельник напоминал затертые статуи святых, каких много понаставлено заботами окрестных резчиков в церквях Ополья и Тенчина.

С другой стороны телеги шагал сын мельника — низкорослый крепыш с плечами шириной в стол. При виде его медвежьей стати сразу приходило в голову, что мельничиха в молодости согрешила с кем-то из ядреных здоровяков-гуралей[1], любивших в свободное от разбоя время молоть муку на чужих жерновах.

Изредка сын мельника отставал и, делая вид, что попросту глядит по сторонам, по-звериному быстро косился на собаку Марты, зажигая в глазах неприятные зеленые огоньки. Сама Марта один раз заметила это, но не придала значения: мало ли что, может, парня в детстве сельские кобели рвали, вот и не любит собак!

Пегая морда Джоша излучала полнейшее равнодушие ко всему на свете.

— До самого Тыньца с нами поедешь, дочка? — добродушно спросил мельник, погладив ладошкой вспотевшую на солнце плешь. — Ты думай, а то я еще волов у Жабьей Струги поить стану... что ж тебе зря ждать возле колодца-то!

— А где этот колодец? — поинтересовалась Марта.

— Да тут рядышком, за сгоревшим явором, где поворот к монастырю... как подъезжать станем, услышишь: лягухи там стрекочут, что твои соловьи!

— Нет, дедушка, тогда я вас ждать не стану. Мне-то как раз в монастырь и надо, к аббату Ивоничу.

— К Яну Ивоничу? Божий человек, таких на нашей земле по пальцам перечесть можно... бедных оделяет, к монастырским крестьянам милостив, исповедует чище святого Павла, чужого гроша в жизни не взял...

Марта невольно улыбнулась, как если бы мельник сказал что-то очень смешное, и старик недовольно заворочался, заметив краем глаза эту улыбку.

— Святой человек ксендз[2] Ян, — еще раз повторил он с нажимом. — Глядишь, вскорости епископом станет. Люди и так уже судачат: настоятель Тынецкого монастыря — и не епископ. Не поладил с кем в Риме, что ли? А ты знакома с ним, дочка, или как?

---

[1] *Гурали* — вольные горцы Подгалья, чей быт в родных горах был подобен быту запорожских казаков.

[2] *Ксендз* — священнослужитель.

— Немного, — Марта обеими руками взбила свои пышные волосы, и белесое облачко мучной пыли заклубилось над женщиной.

Мельник прицокнул языком — не то волов подгонял, не то удивлялся, что его случайная попутчица знакома с таким угодным Господу человеком, как Ян Ивонич, настоятель Тынецкого монастыря бенедиктинцев.

Подъезжая к Жабьей Струге, издалека кивавшей им колодезным журавлем, Марта даже не услышала, а скорей почуяла хриплое ворчание Джоша. Не успев ничего сообразить, она метнулась с телеги на землю и мертвой хваткой вцепилась в густую шерсть пса за мгновение до того, как одноухий чуть было не помчался вперед, к колодцу.

— Что с тобой, Джош?! — Марта понимала, что долго ей собаку не удержать, да и вообще Джош-Молчальник был не из тех, кого может удержать женщина.

За что в свое время и поплатился.

Пес упрямо тянул ее к колодцу.

Продолжая одной рукой придерживать собаку, Марта дошла до поворота и увидела Жабью Стругу.

Неподалеку от бревенчатого сруба, ограждавшего колодец, к раскидистой яблоне прижался спиной молодой цыган, скорее цыганенок, выставив перед собой кривой нож.

— Не подходи! — подстреленной рысью шипел парнишка, яростно сверкая глазами, и ярко-алая рубаха его пламенела на ветру. — Клянусь мамой, зарежу! Не подходи!..

Вокруг толстой ветви яблони был плотно обмотан кожаный повод коня — красавца гнедого, заседланного на удивление старым и поношенным деревянным седлом, на какое не сядет ни один уважающий себя всадник, а тем более природный цыган.

Конь нервничал, мотал головой и фыркал.

Цыгана лениво, с неторопливым спокойствием людей, умеющих убивать, окружало пятеро мужиков. Двое держали короткие, с толстым обухом топоры, более удобные для работы, чем легкие пастушьи чупаги; третий доставал из ножен свой нож, в отличие от цыганского широкий и прямой, а четвертый тряпицей наскоро перевязывал пятому рассеченную руку. Видимо, цыганенок уже успел расста-

раться. По лицам мужиков ясно было видно, что жить мальчишке остается считанные минуты. Просто никому не хотелось лезть первым и зря кровавиться.

Джош рычал, скалясь страшной пастью, и тянул Марту вперед.

— Это цыган, — успокаивающе бросила женщина псу. — Конокрад. Ты же никогда не связывался с конокрадами, Молчальник! Да что ты, в самом деле, ведь посекут топорами — и его, и нас с тобою!

Пес не слышал.

— Не возьму я их, Джош, — чуть не плакала Марта, из последних сил держа пса. — Сам знаешь, надорвалась я с тобой, много не вынесу... и устала с дороги. С княжичем — это ведь так, забава одна была, как тебе у деревенского дурня яблоко с воза снять... да стой ты! Черт с тобой, Джош...

На последних словах Марта поспешно захлопнула рот, наскоро огляделась по сторонам и, отпустив собаку, пошла к мужикам и конокраду.

Джош беззвучно ступал следом.

— За что парня губите, люди добрые? — спросила Марта, подойдя к раненому.

— Коня свел, падлюка! — ответил тот властным голосом, по которому сразу можно было признать сельского войта. — Я-то думал — все, сгинул жеребец, уведут в Силезию или за Дунай, и пиши пропало... не успели увести, племя египетское!

— Не подходи! — безнадежно вскрикнул цыганенок. — Ай, не подходи, жизни лишу!

Марта протянула руку и легко коснулась предплечья раненого, чуть выше наспех замотанного тряпицей пореза. Человек встрепенулся, хотя порез был пустяковый, и даже задень его Марта, боли особой не причинил бы, потом часто-часто заморгал, словно ему в глаз попала соринка, помотал кудлатой головой и недоумевающе уставился на своих спутников.

— Эй, мужики! — крикнул он. — Погодьте! А за что мы цыгана этого рубить собрались?!

Ближайший обладатель топора — коренастый угрюмый бородач — повернулся и выразительно постучал себя обухом по лбу. Правда, лоб у него даже на первый взгляд

был такой, что можно было стукнуть и посильнее — если топора не жалко.

— Сдурел, Саблик?! Он же коня у тебя свел!

— Коня?!

— Ну да! Твоего гнедого! Да ты что, ослеп — вот же твой жеребец стоит!

— Это не мой жеребец! — с уверенностью заявил раненый Саблик.

— Не твой?

— Не мой. Сроду у меня гнедых не водилось.

— Так ты ж сам заорал, как мы к Струге подъехали: держите, братья, конокрада чертова, вражью силу! Я и приметил — вроде бы знакомый гнедой под цыганом гарцует! Еще обрадовался — спешился кучерявый, коня поить стал, а то ушел бы верхами!..

— Не мой конь, — Саблик отвернулся и стал перевязывать пострадавшую руку заново, ловко помогая здоровой руке зубами. — Сроду не водилось у меня гнедых. Не люблю.

— Тогда за что мы цыгана рубим?!

— Не знаю. Может, он в твое ведро плюнул.

Бородач сунул топор за пояс и вразвалочку подошел к Саблику. Постоял, глядя на того с явным желанием дать раненому по уху, после звучно высморкался Саблику под ноги и двинулся к колодцу.

Остальные, пожимая плечами, потянулись за ним.

Марта проводила их усталым взглядом и направилась к цыганенку.

— Не подходи, — цыганенок сунул ей в лицо нож, чуть не порезав губу, и теснее прижался спиной к яблоне. — Убью!

Марта не ответила.

— Не подходи! — еще раз взвизгнул парнишка и заплакал, садясь на землю.

Джош облизал цыганенку мокрые щеки и лег рядом, покусывая стебельки травы.

— Мотал бы ты отсюда, — Марта отерла пот со лба и поняла, что испугалась — дико, смертно испугалась, просто раньше не успела это заметить, а и заметила, так не пустила в сердце.

Кинулся бы Джош-сумасброд на мужиков, лег бы под топорами за дурость свою неуемную...

— Друц, — забормотал цыганенок, уставясь в землю. — Зовут меня Друц!.. Я для тебя, госпожа, я за тебя... наш табор в Силезию третьего дня ушел, там ярмарка знатная, а я не успел!.. Задержался я тут... хочешь, госпожа, вынь мою душу, топчи ее, дави каблуками — благодарить стану, в ножки поклонюсь! Хочешь?!

Золотая серьга в его левом ухе качалась, играя солнечными зайчиками.

— Дурак ты, Друц-конокрад, — устало отозвалась Марта, вздрогнув при словах Друца о душе. — Прыгай-ка лучше в седло и гони к своим в Силезию. Опомнятся мужики — ни я, ни Господь Бог тебя с их топоров не снимут. Понял? А гнедого твоего Бовуром звать — так и запомни, потому что на другое имя он не откликнется. И не надо на меня глазеть, рот разинув, я тебе не икона Божьей Матери... Ну, скачи!

...Старичок-мельник, так и не выпрягший волов из своей телеги, от края дороги наблюдал за происходящим. Когда пыль взвилась за цыганом Друцем, прилипшим к спине краденого жеребца, мельник покачал головой и задумчиво оттопырил нижнюю губу.

— А не та ли это баба, о которой давеча ночью нам Петушиное Перо сказывал? — спросил он у самого себя.

И сам себе ответил:

— Может, и та. А спешить все равно не надо...

— Какая баба? — поинтересовался его могучий сын, исподлобья поглядывая на припавшего к ведру одноухого пса.

— А та, что у черта купленную душу из-под носа увела. Как цыган коня из чужой конюшни.

Мельник еще раз покачал головой, улыбнулся тихой бесхитростной улыбочкой и повторил:

— А спешить все равно не надо...

5

Стены Тынецкого монастыря, сложенные из тщательно пригнанных друг к другу глыб тесаного камня, выросли перед Мартой и Джошем как из-под земли. Вот еще только

что был лес, тропинка петляла меж задумчивыми сумрачными вязами и древними дубами, не позволявшими видеть ничего дальше ближайших стволов — и вдруг лес как-то сразу кончился, словно обрезанный гигантским ножом, а над головами уже нависают отвесные монастырские стены, больше смахивающие на крепостные. Тынецкий монастырь в смутные времена и впрямь частенько служил крепостью, причем стены, на которые сейчас с искренним благоговением смотрели Марта и Джош, ни разу не были взяты неприятелем. То ли Господь хранил святых отцов и укрывшихся у них мирян, то ли закованный в камень оплот веры просто оказался не по зубам нападающим. Впрочем, одно другому не помеха, и даже наоборот...

Вблизи, когда путники оказались перед массивными, окованными железом воротами монастыря, ощущение давящей на плечи огромной массы сурового камня только усилилось. И, стараясь развеять это гнетущее впечатление, усугубляемое царившей вокруг тишиной, Марта решительно и громко трижды ударила в ворота привешенным снаружи чугунным кольцом.

Некоторое время ничего не происходило. Потом по ту сторону ворот послышались неспешно приближающиеся шаги, и в левой створке со скрипом отворилось небольшое окошечко. Спустя мгновение в нем возникла остроносая физиономия монаха-привратника, сверлившего Марту подозрительным взглядом.

— Кто такая? — неприветливо осведомился монах. — Зачем явилась?

— Марта Ивонич я, сестра настоятеля вашего, — скромно потупила глаза Марта. — Совета пришла спросить у святого отца, брата моего в миру.

— Сестра? — в скрипучем голосе монаха звучало подозрение, готовое перейти в уверенность. — Что-то не припомню я, чтоб у аббата Яна сестры водились!

— А ты у него самого спроси, отче, — кротко улыбнулась Марта, проводя ладонью по гладкому дереву ворот и как бы случайно задев при этом торчавший из окошка длинный монашеский нос.

Привратник отшатнулся, хотел было выругаться, но

вдруг застыл на месте, словно пытаясь что-то вспомнить. Так и не вспомнив, обреченно махнул рукой и начал вытаскивать из петель тяжелый засов.

— Входи, сестра, — виновато пробормотал он, впуская Марту и юркнувшего следом одноухого пса. — Для тех, кто просит у нас совета и утешения, двери наши всегда открыты. Сейчас схожу, доложу отцу настоятелю...

6

Являвшихся к нему мирян настоятель Тынецкого монастыря ксендз Ян Ивонич предпочитал принимать не в исповедальне и не в аббатских покоях, а в узкой келье, где, кроме жесткой лежанки, грубой деревянной скамьи и низкого стола из некрашеных дубовых досок, ничего не было.

За исключением распятия на стене, разумеется.

Здесь отец Ян молился в одиночестве, здесь же выслушивал исповеди родовитых шляхтичей и шляхтянок, претендующих на особое внимание аббата, отпускал грехи, давал советы, после которых многие уходили с облегченным сердцем, а кое-кто и вскоре принимал постриг. Знали бы эти люди, *что* на самом деле происходило в то неуловимое мгновение, когда бремя грехов спадало с их души или когда важное решение, еще минуту назад рождавшее бурю сомнений, вдруг оказывалось простым и единственно возможным! Но люди покидали монастырь, аббат оставался, и все шло своим чередом.

Отца Яна многие считали святым. И хотя прижизненная канонизация ему не грозила — даже святой Станислав Костка сподобился приобщения к лику лишь после того, как отдал Богу душу — тем не менее тынецкие отцы-бенедиктинцы и священнослужители соседних монастырей были твердо уверены, что уж епископский-то сан не минует ксендза Ивонича, причем в самое ближайшее время.

И только сам отец Ян, Яносик Ивонич, старший из приемных детей Самуила-бацы, знал истинную цену своей святости.

Кроткий аббат был вором.

Сонмы греховных мыслей и вожделений, сомнений и страхов, украденных из голов исповедующихся и прося-

щих совета мирян, терзали его. Люди уходили просветленными и очистившимися, чувствуя в себе благодать Божью, люди называли отца Яна святым, а он оставался один на один с их гордыней, любострастием и чревоугодием, все чаще не выдерживая, срываясь и долго потом замаливая собственные — а по сути, чужие — прегрешения... Когда молодой Яносик становился послушником, а затем принимал постриг и давал обеты, он и представить не мог, с чем ему придется столкнуться в стенах монастыря, этой обители веры и благочестия! Да будь он действительно святым — никогда бы не достичь Яну Ивоничу не то что епископского сана, но и должности настоятеля, в которой он сейчас пребывал. Свято место пусто не бывает, желающих на него предостаточно. И плетутся в стенах монастырей интриги не хуже, чем в королевских дворцах и княжеских замках; редко, очень редко пускают в ход святые отцы яд и клинок, зато клевета и наветы ядовитее иной отравы и острее булатного ножа. Будь ты хоть трижды блаженным бессребреником — епископом до самой смерти не станешь, ибо найдутся угодники похитрее, попроворнее тебя!

Все это ксендз Ян понял быстро. А поняв, принялся за дело. Самуил-баца мог гордиться старшим сыном: не раз кто-нибудь из отцов-бенедиктинцев внезапно забывал, о чем хотел донести тогдашнему аббату, или прилюдно спотыкался посреди молитвы, запамятовав слова, годами беспрепятственно слетавшие с языка; а то и сам престарелый настоятель начинал вдруг ни с того ни с сего благоволить к молодому монаху, которого еще недавно считал юным выскочкой, метившим на его место (и совершенно правильно считал!)...

День за днем, год за годом украденные во имя благой цели черные думы, корыстные помыслы, зависть, тщеславие, доносы и интриги скользкой плесенью оседали в душе брата (позже — отца) Яна, и время от времени Ивонич начинал задыхаться, тонуть в этой мерзости, не отличая врожденного от краденого. Тогда он на несколько недель исчезал из монастыря — якобы по делам святой католической церкви — в потайном месте сменял свое одеяние на мирское и ударялся во все тяжкие, ныряя с головой в пучи-

ну пьянства, чревоугодия, кутежа и продажной любви, давая выход накопившимся в нем чужим страстям и желаниям.

Это случалось нечасто — лишь тогда, когда кладовая его души оказывалась переполнена той дрянью, которую отец Ян выносил из чужих душ. Для блага других — и ради собственной выгоды. Всяко бывало, и до сих пор мучился сорокалетний аббат Ян, считавшийся святым, страшным вопросом: благо творит он или зло? Угодно ли Богу то, что он делает, или уже ждет его в аду сатана, радостно потирая руки в предвкушении?..

Ответа настоятель не нашел до сих пор.

7

Присев на край узкого монашеского ложа, Марта молча наблюдала, как отец Ян не торопясь устраивается на скамье напротив нее. Строгое бледное лицо аббата с высоким лбом и обильно усыпавшей виски сединой действительно напоминало лик святого, и Марта подумала, что Яносику весьма пошел бы светящийся нимб вокруг головы. На аббате была белая длиннополая риза с пелериной, какую носили все бенедиктинцы, но, даже не зная, кто он, Марта никогда бы не спутала Яна с рядовым монахом из ордена Св. Бенедикта или любого другого.

— Ну, здравствуй, сестра, — негромко сказал аббат и посмотрел ей прямо в глаза.

— Здравствуй... святой отец, — чуть улыбнулась Марта.

Улыбка вышла печальной и едва ли не вымученной.

— Давно мы не виделись с тобой, Марта. И поэтому я не верю, что ты случайно появилась здесь. Рассказывай.

— Не знаю даже, с чего начать, Ян...

— С начала, Марта, с начала. Слыхала небось, что в начале было Слово?

— С начала? Я нарушила одну из наших Заповедей, Яносик.

— Какую же? — тонкие брови аббата еле заметно приподнялись, но на лице при этом не дрогнул ни один мускул.

— Я встала на пути у Великого Здрайцы.

На этот раз Ян не смог скрыть своего волнения.

— Ты рискнула помериться силами с Нечистым?!

— Да.

— И... что же?

— Я украла у него душу. Душу, купленную им; душу, которая принадлежала ему по праву. И с тех пор он ищет меня. Меня и того, в ком отныне живет принадлежащая ему душа.

После этих слов женщины в келье повисла долгая звенящая тишина, лишь когда снаружи донесся приглушенный звук колокола, отец Ян очнулся и тыльной стороной ладони вытер вспотевший лоб.

— Но это невозможно! То, что ты рассказываешь, — это даже не ересь! Это чушь! Этого не может быть согласно догматам церкви; этого не может быть с позиций здравого смысла; если у тебя нелады с церковью и здравым смыслом — этого не может быть, потому что так учил нас наш приемный отец Самуил! У тебя попросту не хватило бы сил вынести наружу целую душу — если предположить, что вообще можно украсть погибшую душу у дьявола!..

— Этого не может быть. Но это было. Мне действительно не хватило сил, брат мой Ян, и я серьезно надорвалась во время кражи. Сейчас я не в состоянии украсть ничего большего, чем лежащие на самой поверхности мелочи, но тогда... тогда у меня не было другого выхода, — просто ответила Марта.

— И ты хочешь, чтобы я помог тебе? Помог против Великого Здрайцы?

— Когда я заблудилась в Кривом лесу, именно ты, Яносик, нашел меня и привел домой. Когда ты дрался с шафлярскими мальчишками, я прикладывала к твоим ссадинам подорожник. Теперь ты аббат, многие считают тебя святым, хоть это, наверное, и не так. И ты — наш. К кому мне было еще идти? Отец стар... Если мне не поможешь ты, то больше не поможет никто.

— Но я не знаю, чем тебе помочь! Разве что предложить уехать в Рим или постричься в монахини... вместе с тем, кто носит украденную тобой душу. Марта, я сделаю все, что смогу — хотя и сомневаюсь, что кто-либо из людей спосо-

бен помочь тебе, даже Его Святейшество. Но для начала я должен хотя бы узнать, *как* это произошло!

— Хорошо, отец Ян. Я все тебе расскажу. Ты принимал много исповедей — прими и эту.

ГЛАВА II

1

Баронесса Лаура Айсендорф, супруга Вильгельма фон Айсендорфа, чертовски нравилась мужчинам. Этого отрицать не мог никто, и сама баронесса прекрасно это знала; к тому же Лаура была неглупа — редкое сочетание! — и вертела мужем как хотела, на словах во всем соглашаясь с суровым бароном. Но людей, как правило, обуревают желания, лишь разрастающиеся по мере их удовлетворения, и в первую очередь это относится к красивым женщинам. Лаура Айсендорф была натурой исключительно страстной и любвеобильной, пылких чувств ее с лихвой хватало помимо мужа еще на двух-трех достойных кавалеров, которых баронесса частенько меняла. Что, естественно, не могло укрыться от охочего до сплетен венского света. Впрочем, рассказывать о похождениях гулящей Лауры ее законному супругу опасались, зная вспыльчивый характер барона и его репутацию записного дуэлянта. Так что некоторое время после свадьбы барон пребывал в счастливом неведении относительно «причуд» своей супруги, а баронесса, уверовав в собственную безнаказанность, окончательно потеряла чувство меры и пустилась во все тяжкие, нередко уединяясь с очередным избранником в укромной комнате прямо во время бала или приема.

Долго так продолжаться не могло по вполне понятным причинам, и во время одного из приемов в Хофбурге все открылось. Барон был вне себя, поздно спохватившаяся баронесса — в ужасе от предстоящего, незадачливый любовник — в преддверии надвигающейся дуэли, гости — в предвкушении грандиозного скандала... Но на людях фон Айсендорф, последний отпрыск славного рода, нашел в себе силы сдержаться, решив дома дать волю праведному гневу. Они с баронессой уже направлялись к выходу, когда

какая-то случайно оказавшаяся на приеме девица — судя по одежде и манерам, дочь провинциального и не слишком богатого дворянина — шепнула на ухо проходившей мимо баронессе: «Не беспокойтесь, ваша милость, ваш муж уже все забыл. Но впредь умоляю — будьте осторожнее...» От Лауры не укрылось, что девица невзначай коснулась руки Вильгельма — и барон вдруг запнулся в дверях, удивленно посмотрел на супругу, оглянулся на покидаемый ими зал; затем, похоже, собрался вернуться, но передумал, и супруги Айсендорф отбыли в своей карете.

К великому изумлению и радости баронессы, дома муж был с ней ласков и ничего не помнил о случившемся на приеме. Слова девицы полностью подтвердились.

Поэтому когда на очередном балу Лаура увидела мелькнувшее среди гостей смуглое лицо, запомнившееся ей в связи с памятным случаем, она тут же направилась к спасительнице. К концу бала Лаура души не чаяла в Марте, и последняя на следующий же день переехала в поместье Айсендорфов, сделавшись в одночасье компаньонкой и доверенной подругой баронессы. Возникшие поначалу сомнения в происхождении Марты, сказавшейся младшей дочерью захудалого силезского шляхтича, как-то сами собой улетучились, равно как и недоумение по поводу того, почему это девушка из хорошей семьи путешествует одна, без сопровождающих; барон, пытавшийся что-то возразить жене, вскоре махнул рукой на ее очередную прихоть — и молодая Марта прочно обосновалась в имении Айсендорфов.

Надо сказать, что баронесса, при всем своем расположении к новой компаньонке, немного побаивалась Марту, хотя не признавалась в этом даже самой себе. Недаром же разъяренный Вильгельм фон Айсендорф, прознавший об очередном романе своей супруги, в присутствии Марты мигом становился кротким, как ягненок, мгновенно забывая как о своей недавней ярости, так и о ее причине, спеша извиниться перед баронессой за то, что ворвался к ней столь нелепым образом, сгоряча и непонятно зачем!

«Ведьма!» — думала временами Лаура о своей компаньонке, и гнев, мелькавший в глазах Марты в моменты ус-

мирения барона, только способствовал укреплению баронессы в этом мнении.

Но баронесса была жещиной решительной и не слишком набожной, и ведьма, которая верно служит ей, Лауре, исправно отводя от нее гнев мужа, баронессу более чем устраивала.

Так что Марта регулярно получала в подарок новые платья, а иногда и жемчужное ожерелье, пользовалась полной свободой и не слишком обременяла себя какими бы то ни было обязанностями, попросту сопровождая супругов Айсендорф на все балы и званые вечера. Быстро освоившись в высшем венском свете, с легкостью перенимая или воруя аристократические манеры, она без особых сложностей научилась носить любые наряды с достоинством королевы, вести светские беседы и быть в курсе всех сплетен (ну, как раз это для подгальской воровки оказалось легче всего!). О такой жизни приемная дочь Самуила-бацы из Шафляр могла только мечтать. И Марта с головой окунулась в сверкающий водоворот балов, карнавалов, чопорных выездов и тайных страстей, кипевших за фасадом внешней респектабельности и благопристойности.

Зная скромные достоинства своей внешности, еще более тускнеющие рядом с ослепительной баронессой Айсендорф, Марта была удивлена, когда и вокруг нее начали увиваться молодые люди, в том числе и один виконт. Выгодно выскочить замуж было весьма заманчиво, но Марта с этим не спешила, да и молодых людей интересовала пока что отнюдь не свадьба. Благосклонно принимая ухаживания и дорогостоящие знаки внимания, Марта предусмотрительно держала своих кавалеров на расстоянии, периодически извлекая из голов слишком рьяных заранее заготовленную фразу или память о вчерашнем разговоре — и кавалеры смущались, краснели и на время оставляли Марту в покое.

Женить на себе одного из этих самоуверенных хлыщей Марта могла без труда, но образ жизни баронессы Айсендорф ее отнюдь не вдохновлял, да и никто из ухажеров не нравился Марте настолько, чтобы решиться связать с ним свою дальнейшую жизнь.

Как часто бывает, все решил случай; и случай этот звался Джозефом Воложем.

Джозеф Волож был карманником. Ловким, удачливым, веселым, но карманником. Из тех, кому тесно в собственной шкуре, кто походя украдет увесистый кошелек, набитый золотом, не забыв вместо него подсунуть разине-владельцу столь же увесистый камень, завернутый в платок, который пострадавший с изумлением и негодованием обнаружит, лишь придя домой; из тех, кто половину добычи легкомысленно раздаст нищим пропойцам, на остальное щедро угостит своих приятелей, а к утру вновь останется ни с чем и, весело насвистывая, отправится на промысел.

Воровать Джозеф предпочитал у богатых. О, отнюдь не потому, что совесть не позволяла ему обкрадывать бедных — если нужда припечет, то очень даже позволяла! Покладистую совесть в данном случае заменял простой и верный расчет: у богатых людей денег больше. Значит, украв один раз, можно безбедно жить некоторое время, прежде чем придется снова прибегнуть к своему ремеслу. А если щипать кошели слишком часто, да еще в одном и том же городе — возрастает риск попасться. Джозеф не хотел уезжать. Вена ему нравилась. Он с удовольствием ходил в оперу — и не только «работать», — он любовался венской архитектурой, ему были по душе здешние трактиры и здешние женщины...

Джозеф жил в Вене уже больше года и намеревался пожить еще — сколько сможет.

Но Джозеф был карманником. *Всего лишь* карманником. И очень скоро выяснил, что карманники с точки зрения венского «дна» — отнюдь не самый привилегированный слой воровской гильдии.

В Вене испокон веку ценились домушники. Именно они считались здесь воровской элитой, хотя Джозеф так и не смог понять — почему? Такое положение вещей задевало его профессиональную гордость, и как-то раз Джозеф сгоряча бросил своеобразный вызов Арчибальду Шварцу по кличке Грыжа — признанному авторитету среди венских домушников.

— А слабо кошелек срезать, Грыжа?! По особнячкам-

то, особенно когда хозяев дома нету, а прислуга по кабакам гуляет, всякий шастать сумеет!

Как ни странно, Грыжа не обиделся, не стал хвататься за нож, а всего лишь нехорошо усмехнулся в пышные прокуренные усы.

— Отчего же, приятель? И по домам шастать не сложно; и кошель у раззявы смастырить не бог весть какое искусство! Срезал, распотрошил его за углом, пересчитал скудное звонилово, поплакал над судьбой своей горемычной — и просадил все за вечерок! Что, не так?! В особнячке-то подломленном одним кошелем не обойдется!

— В ином кошельке добра поболе, чем в твоем доме! — в тон Арчибальду возразил Джозеф, за свой длинный язык носивший в воровской среде кличку Джош-Молчальник. — А пальчики карманника, дружище Шварц, это тебе не твоя тупая отмычка!

— Значит, договорились, — еще раз усмехнулся Грыжа, допивая пиво. — Я кошелек срезаю — а ты дом чистишь. Оба чисто работаем, в полную силу. И посмотрим, кто в чужом ремесле больше смыслит и добычу ценней принесет. Три дня сроку.

— Дом? — опешил Джош-Молчальник, не ожидавший такого оборота дела. — Я?!

— Дом, — весело подтвердил Грыжа, и всякий, хорошо знающий Арчибальда Шварца, понял бы, что шутки кончились. — И именно ты. А ты как думал, трепач?! Ты мне, понимаешь, по чести моей воровской ногами топчешься, а я — сопли утри и слушай?! Нет уж, голубь залетный, — баш на баш. Ну, а кто проиграет, тот в этом же трактире на четвертый день при всех наших под стол залазит и публично отлаивается: дескать, сбрехал, как собака, и прощения прошу. Ну как, согласен?!

В хитрых глазах Молчальника-Джоша зажглись шальные искорки.

— Согласен! Через три дня здесь, — и он протянул руку Арчибальду Шварцу.

— Смотри, пупок не надорви! — насмешливо бросил Грыжа в спину Джозефу, когда тот выходил из трактира.

Богатую усадьбу на окраине Вены Джозеф присмотрел еще в первый день отпущенного ему срока. Массивная чугунная ограда с золочеными львами на верхушках полированных гранитных столбиков, широкие узорчатые ворота, посыпанные крупным гравием идеально прямые дорожки, рассекающие начинавшийся за оградой парк на правильные четырехугольники, ухоженные клумбы с яркими цветами — и трехэтажный дом со стрельчатыми окнами и колоннами у входа, множеством флигелей и пристроек, с двумя конюшнями...

Здесь явно было чем поживиться и утереть нос самодовольному Грыже.

Без особого труда пробравшись на чердак особняка победнее, расположенного как раз напротив заинтересовавшей его усадьбы, Джош-Молчальник извлек предусмотрительно купленную утром подзорную трубу и, устроившись поудобнее у слухового окна, занялся наблюдением.

До ужина он успел выяснить, где находятся кухня и помещения для слуг, достаточно точно определил месторасположение черного хода (хотя сама дверь была ему не видна) и, решив, что для начала достаточно, отправился подкреплять свои силы добрым стаканом вина и изрядной порцией столь любимого им бараньего жаркого.

Подходящий трактир нашелся неподалеку, и тут Джозефу неожиданно улыбнулась удача: в одном из посетителей он безошибочно признал виденного утром садовника из выбранного для показательного грабежа поместья.

Садовник, рыжеволосый крепыш со здоровым румянцем на щеках и крупной родинкой под левым глазом, отчего казалось, что он все время щурится и хитро подмигивает, с пользой проводил время: перед ним на столе стояли два здоровенных кувшина с вином, один из которых был уже наполовину пуст.

Излишне уточнять, за какой именно стол поспешил присесть Джош-Молчальник.

Садовник попался не слишком разговорчивый, да и открыто приставать к нему с вопросами было опасно, но

когда во втором из кувшинов показалось дно, язык у садовника наконец развязался. Так что вскоре Джозеф узнал и о скандальных похождениях Лауры Айсендорф, и о ее странной компаньонке Марте, жившей в поместье уже не первый год, и о необъяснимой забывчивости самого барона, но только тс-с-с, кто ж будет господину напоминать, да еще о *ТАКОМ!*.. себе дороже...

Особенно заинтересовало Джоша упоминание о коллекции старинных ваз со всех концов света, которую собрал еще покойный отец барона Вильгельма. Впрочем, о вазах садовник упомянул мимоходом и, потребовав еще вина для себя и для своего нового друга, начал заплетающимся языком рассказывать Джозефу о хитростях подрезки яблонь, времени высадки роз и прочих премудростях садовничьего ремесла. Джош терпеливо слушал, понимающе кивал и время от времени пытался вернуть разговор в интересующее его русло, но это ему никак не удавалось — садовник прочно сел на любимого конька, и свернуть его мысли из накатанной колеи не представлялось возможным.

Наконец садовник, которого, как под конец их содержательной беседы выяснил Джозеф, звали Альбертом, решил, что пора идти домой. Но тут стало очевидным, что на ногах Альберт стоит весьма нетвердо, а передвигаться может, лишь держась за что-нибудь, а лучше — за кого-нибудь. Естественно, этим «кем-нибудь» с радостью вызвался быть его новый друг Джозеф. Благо и идти до поместья было всего ничего.

— Н-нет, через в-ворота м-мы не пойдем! — заявил пьяный, но явно опытный в похождениях подобного рода Альберт. — Тут есть кх-кхалитка, так я через н-нее завсегда, когда это... как сейчас... — и он плевком указал Джошу, куда его следует тащить.

Калитка оказалась заперта на хлипкую щеколду, которую несложно было открыть с любой стороны, и даже не скрипнула, когда качнувшийся Альберт навалился на нее всем своим грузным телом. Видимо, слуги, после очередной попойки нередко возвращавшиеся в поместье этим путем, исправно смазывали петли.

— А собаки нас не порвут? — с беспокойством поинтересовался Джозеф.

— Не-а! — уверенно мотнул головой Альберт. — Их майн либер Гельмут за восточным флигелем д-держит, где конюшни. И на привязи. Чтоб, значит, ни гугу... Когда м-мы, как сегодня...

Джозеф проводил садовника до дверей пристройки, служившей Альберту жильем, подождал снаружи, пока тот захрапит, и быстро огляделся.

Луна светила ярко, и Джош почти сразу разглядел дверь черного хода, расположение которой установил еще днем, наблюдая за перемещениями слуг. Бесшумно скользнув в тень нависавшего над ним дома, Джозеф тронул холодную бронзовую ручку и легонько потянул ее на себя. Дверь слегка поддалась, но окончательно открываться не захотела.

«Крючок. Изнутри, — догадался Джош-Молчальник. — Ножом поддеть — и всех дел. А замка или нет, или им не пользуются. Ну, Грыжа...»

Он довольно усмехнулся и направился к калитке. Был немалый соблазн забраться в дом прямо сейчас, но Джозеф давно уже не был новичком.

Торопливость — удел дураков.

4

Еще один день Джош потратил на изучение распорядка дня в доме, а вечером, наблюдая за освещенными окнами, пытался определить, в какой из комнат может находиться заинтересовавшая его коллекция? Джозефу казалось, что это ему почти удалось; во всяком случае нужная комната располагалась явно в северном крыле дома и скорее всего на втором этаже. Для себя Джош отметил несколько подходящих окон и прикинул, куда ему надо будет двигаться.

Большего за столь короткое время узнать было невозможно, и Джозеф решил положиться на удачу и собственную ловкость. Вряд ли спящий дом обчистить сложнее, чем карманы прохожего.

Калитка, как и в прошлый раз, открылась без скрипа, и Джош неслышной тенью скользнул к черному ходу. У

самой двери замер, прислушался. Все было спокойно, ночь стояла прозрачная и тихая, как скромно потупившая глаза невеста у алтаря, втайне ждущая, когда останется с женихом наедине и тот наконец сможет взять ее.

Пришедшее на ум сравнение очень понравилось Молчальнику. Он глубоко вздохнул, одним движением извлек легко выскользнувший из рукава узкий нож, аккуратно подцепил им крючок и, не вынимая лезвия из щели, тихонько повел руку вниз — чтобы крючок не звякнул.

Не звякнул.

Дверь чуть слышно скрипнула, открываясь, и Джош плавно прикрыл ее за собой. Постоял немного, привыкая к темноте. Он прихватил с собой потайную лампу, но пользоваться ею без особой нужды не хотел. Нащупал откинутый крючок и бесшумно поставил его на место — если кто-нибудь вздумает среди ночи проверить запоры, то ничего не заподозрит.

Лестницу он успел мельком разглядеть, еще когда открывал дверь, и теперь направился к ней, при каждом шаге ощупывая пол впереди ногой в мягком замшевом сапоге.

Вот и ступеньки.

Вверх.

Площадка. Промежуточная. Еще вверх.

Второй этаж.

Теперь — направо.

Ручка следующей двери с негромким щелчком поддалась, и Джош оказался в огромном коридоре. Здесь было значительно светлее — из высоких стрельчатых окон падал призрачный лунный свет, после чернильной темноты лестницы показавшийся Джошу едва ли не ослепительным.

Он быстро прошел в конец коридора, миновав несколько боковых анфилад, ведущих в покои барона, баронессы и той странной компаньонки, о которой упоминал Альберт.

Интересующая его дверь тоже поддалась легко; здесь снова было темно, и лишь узенькая полоска лунного света выбивалась из-под задернутой шторы.

«Если коллекция тут, то в такой темени недолго и разгрохать половину, а заодно и весь дом перебудить!» — с

тревогой подумал Джош-Молчальник, но зажечь лампу все же не решился. Вместо этого он ощупью двинулся к окну, намереваясь раздвинуть шторы и воспользоваться естественным освещением, которого ему наверняка будет вполне достаточно.

Неожиданно рука его наткнулась на что-то гладкое и выпуклое; предмет качнулся, но Джош в последний момент успел подхватить его и поставить на место. Ваза! — дошло до вора, и он с двойным облегчением перевел дух: во-первых, его расчеты полностью подтвердились, а во-вторых, он прекрасно представлял, какого грохота только что чудом избежал. Подождав, пока сердце в груди успокоится, Джозеф благополучно добрался до окна и отодвинул штору. Поток лунного света хлынул внутрь мгновенно преобразившейся комнаты, и Джош удовлетворенно повернулся, желая осмотреть поле предстоящей «работы».

Но не огромные вазы китайского фарфора, не серебряные турецкие кувшины с лебедиными шеями и не миниатюрные золотые вазочки работы итальянских мастеров первыми бросились ему в глаза.

У двери стояла смуглая черноволосая девушка в полупрозрачном пеньюаре и с легкой усмешкой наблюдала за ним.

5

Сомнений не было — перед Мартой стоял вор. И, разумеется, не ворующий людские помыслы, как она сама, а обыкновенный домушник. Марте было немного страшно — в родных Шафлярах крали только скот, и с «обычными» ворами она до сих пор не сталкивалась, но любопытство пересилило. Светская жизнь успела порядком ей надоесть, а тут вдруг такое приключение!

Марта еще сама не знала, что будет делать. Проще всего было громко закричать, позвать слуг или самого барона, но вору ничто не мешало в любой момент высадить стекло и выпрыгнуть в окно, и кроме того... перед ней был в некотором роде собрат по профессии, ибо Марта отнюдь не строила иллюзий на свой собственный счет. Да и сам мо-

лодой человек, испуганно застывший у окна, был ей чем-то симпатичен.

И вместо пронзительного визга или сакраментального и совершенно идиотского вопроса: «Что вы здесь делаете?!» Марта просто констатировала:

— Вы вор. И пришли сюда за вазами барона.

— Да! — от растерянности Джозеф не нашелся, что соврать, и сказал правду.

— Тогда я бы посоветовала вам не брать китайские вазы — они очень хрупкие и тяжелые, вряд ли вы донесете хоть одну в целости. Кроме того, мне они очень нравятся.

— Вы, насколько я понимаю, Марта, компаньонка баронессы? — нашелся наконец пришедший в себя Джозеф.

— О, вам даже это известно! — Марта оценила наглость этого молодого человека и то, как быстро он справился со своей растерянностью. — В таком случае представьтесь, раз уж вы знаете мое имя, а я ваше — нет.

— Джозеф Волож, — Джош слегка поклонился. Он и сам не знал, почему назвался своим настоящим именем.

— Джозеф? И вы уверены, что ваша мама звала вас именно так?

— Ну, вообще-то мама звала меня Юшкой... Юзефом. Но это было так давно...

— О, то пан поляк? — произнесла Марта на певучем подгальском наречии и не удивилась, услышав ответный вопрос:

— О, то пани полька теж?!

— Пани гуралька, — и оба с удовольствием перешли на родной язык.

— И что же пани Марта мне еще посоветует? — поинтересовался Джозеф. Судя по всему, девушка не собиралась звать на помощь, и у Джоша появилась надежда, что он сумеет выпутаться из этого дурацкого положения.

«А она, кстати, ничего. И не боится совсем», — отметил он мимоходом.

— Полагаю, вас интересует что-то достаточно ценное и не слишком большое, чтобы его легко можно было унести, — со знанием дела предположила Марта (именно этим правилом, усвоенным от приемного отца, она сама обычно руководствовалась, забираясь в тайники чужих душ).

— Вы рассуждаете на удивление здраво. И вы снова правы, — Джозеф был несколько сбит с толку, но пока эта странная беседа ничем ему не грозила и даже складывалась весьма удачно; впрочем, Джош еще сам боялся этому верить.

— Что бы вам предложить, милостивый пан? — Марта забавлялась, разговаривая с Джозефом в манере продавца антикварной лавки, помогающего покупателю выбрать нужную вещь, и исподтишка наблюдала за симпатичным молодым вором. «А если попробовать работать с таким в паре?» — мелькнула шальная мысль, но Марта тут же отогнала ее подальше.

— Эти итальянские безделушки, конечно, очень красивы и стоят целое состояние, но вы навряд ли сможете их продать; кроме того, я к ним так привыкла... Может быть, вот это? — и она продемонстрировала вконец обалдевшему Джозефу аляповато-роскошную вазу средних размеров, масляно блеснувшую в лунном свете, когда Марта взяла ее с подставки. — Полная безвкусица! Зато чистое золото.

— И вы... предлагаете мне ее забрать? — опешил Джош.

— А разве вы не за этим сюда явились? — Марта уже твердо решила позволить Джозефу-Юзефу уйти из дома с добычей, а заодно насолить барону, недавно имевшему наглость приставать к ней в отсутствие жены. Разумеется, барон мгновенно позабыл о своих намерениях, но неприятный осадок в душе Марты остался. Липкий противный налет — так бывает всегда, когда вынужденно присвоишь какую-нибудь гадость... Почему бы и не позволить себе маленькую месть?

— Что же вы стоите столбом? — Марта удивленно нахмурилась. — Берите то, за чем пришли, и уходите. Я не стану поднимать тревогу.

— Но почему?!

— А вот «почему» — это вам знать вовсе не обязательно, — заявила девушка, делая шаг навстречу Джозефу и вручая ему вазу.

Джош-Молчальник машинально взял протянутую вещь, и их руки на мгновение соприкоснулись. Вора пробрал озноб, у него впервые в жизни зачесались глаза — и он снова застыл, держа в руке вазу и изумленно глядя на Марту, как будто пытаясь что-то вспомнить.

— Берите вазу и уходите, — еще раз, словно маленькому, повторила ему Марта. — И не забудьте о своем пари. Завтра вечером вы должны встретиться с этим вашим... Грыжей и предъявить то, что украли.

— Да-да, я помню, — не очень-то соображая, что с ним происходит, выдавил Джош и направился к двери.

У порога он на миг задержался, в последний раз взглянул на стройную девичью фигуру в воздушном пеньюаре, словно плывшую в потоках лунного сияния — и слова сами сорвались с его губ.

— Я... смогу увидеть вас еще раз?

— Может быть, — лукаво улыбнулась Марта, лишь слегка коснувшаяся Джоша, который в противном случае назавтра вообще не вспомнил бы о своем пари с Грыжей. — Но только не приходите так, как сейчас, — в другой раз вам может меньше повезти.

Джош только кивнул в ответ и шагнул в коридор.

6

...Когда пришедший в себя за день Джозеф с трудом вспомнил, где и с кем он должен сегодня встречаться, и явился в трактир, Грыжа с цеховыми старшинами уже ждал его.

— Что-то ты без мешка, приятель, — весело хохотнул Арчибальд при виде Молчальника. — Видать, язык у тебя острее всего прочего! Под стол прямо сейчас лезть будешь или как?

— Тебе, Грыжа, не дома чистить, а в суде служить, — усмехнулся Джош, опускаясь на специально оставленное для него место напротив Грыжи. — Ты бы нас всех за месяц перевешал...

— Ишь, распелся! Или впрямь разжился чем?

— Да так, мелочевка, — вяло махнул рукой Джозеф, раскрывая висевшую у него на боку дорожную сумку. — Там еще было, только я тяжести таскать не люблю. А у тебя что, Грыжа?

Ваза червонного золота и негромко звякнувший кошель величиной с голову младенца возникли на столе одновременно. Несколько секунд Грыжа и Джош молча срав-

нивали украденное; остальные затаили дыхание. Потом Грыжа одним быстрым движением развязал принесенный им кошель, и на стол хлынули желтые блестящие кружочки.

— Неплохо, — оценил Джош, с профессиональной ловкостью выуживая из груды монет крупный рубин. — Месяц гулять можно.

— А ты, парень, тоже не промах, — признал Грыжа, уважительно поглаживая бок вазы. — Не думал, не думал... По-моему, одно другого стоит.

Возможно, ваза стоила и больше, чем добыча Грыжи, но у Джозефа было отличное настроение, и он не хотел спорить.

— Так что, ничья?

— Пожалуй, что так! — и Арчибальд Шварц, знатный домушник, первым протянул Джозефу руку.

— А теперь — всех угощаю! — крикнул он, когда отшумели приветственные возгласы приятелей, и их с Джошем перестали поздравлять и хлопать по спинам.

— *МЫ* угощаем! — поднял кверху палец Джош.

Грыжа одобрительно кивнул.

* * *

Уже светало, когда Джозеф нетвердой походкой возвращался к себе. В голове изрядно шумело, перед глазами прыгали окосевшие физиономии собутыльников, клявшийся в вечной дружбе Арчибальд, разбросанные по столу пустые кувшины и миски, в ушах пронзительно визжала кабацкая скрипка... Погуляли на славу! Он доказал венским зазнайкам, чего стоит настоящий мастер! Теперь...

Что — «теперь», Джош тут же забыл; да это было и неважно. Важно было добраться до комнат, которые он снимал, упасть на кровать — и заснуть. Джозефу смертельно хотелось спать. Он уже почти спал, безуспешно пытаясь попасть ключом в замок, и только какое-то воспоминание все еще не давало покоя, пытаясь прорваться в путавшиеся мысли. Когда проклятый замок наконец щелкнул, Джошу внезапно удалось ухватить за хвост это скользкое воспоминание.

Марта!

Стройная девичья фигура в волнах лунного света.

Марта!..

Загадочная компаньонка баронессы Айсендорф.

Та, которая вопреки всякой логике не только не подняла тревогу, но еще и помогла ему — вору.

Марта...

С этой мыслью Джош и заснул.

* * *

Они встретились через неделю в опере.

Это произошло внешне случайно, но ни Джозеф, ни Марта не верили в случайности; впрочем, не верили они и в провидение.

Они просто встретились.

— Как ваше пари, пан Джозеф?

— Благодарю, пани Марта, все получилось как нельзя лучше. У нас с Арчибальдом вышла ничья, и теперь он во мне души не чает.

Говоря на родном подгальском наречии, Джош и Марта могли не опасаться посторонних ушей.

— И что же вы теперь, работаете вместе?

— О, нет! — рассмеялся Джозеф, представив себя в роли напарника Грыжи. — Все-таки у меня иной подход к... к работе. Вот, — и он одним неуловимым жестом, словно фокусник, извлек откуда-то (Марте показалось, что прямо из воздуха) расшитый золотом кошелек, продемонстрировал его Марте и небрежно бросил на пол.

— Простите, сударь, это не вы обронили?

Пожилой седоволосый бюргер рассыпался в благодарностях, а Марта едва удержалась от смеха.

— Да вы просто виртуоз, пан Джозеф!

— Благодарю за комплимент, пани Марта, но не стоит об этом...

— Ну почему же, пан Джозеф?! Это так интересно! Расскажите мне...

И Джозеф, чувствуя, что поступает глупо и неосмотрительно, что этого делать нельзя, но не в силах отказать, рассказывал Марте случаи из своей богатой приключениями жизни, воровские байки, кое-что придумывая на ходу;

Марта знала, что далеко не все из рассказанного Джошем — правда, но все равно слушала его с широко распахнутыми глазами... ей вспоминался старый Самуил-баца, его наставления, свое собственное детство, первые попытки забраться в чужую душу, оскаленные морды «задушевных» Стражей, охранявших тайники памяти; ей вспоминался панический страх, бегство без оглядки — и отчаянная радость от неожиданной удачи, когда ни один Страж даже не проснулся, а Марта бесшумной тенью скользила по темным коридорам, спеша к выходу, унося то, что ей приглянулось... позже с восторгом она ощутила в себе чужие воспоминания, украденные ею, — свою первую добычу...

Как это было похоже на рассказы Джозефа — похоже, и в то же время совсем по-другому!

С тех пор они виделись часто, хотя поначалу и не каждый день. Ходили в оперу, гуляли в венских парках, любовались фонтанами, кормили с рук белоснежных и угольно-черных лебедей, катались на лошадях — баронесса привила своей компаньонке вкус к верховой езде, а Джозефа его бродячая жизнь уже давно вынудила стать неплохим наездником — и как-то раз, словно бы невзначай, оказались в комнатах, которые снимал Джош.

Все получилось легко, само собой, и когда Марта наконец пришла в себя рядом с уснувшим и улыбавшимся во сне Джошем, она ни о чем не жалела.

Более того, через неделю-другую она стала гораздо лучше понимать Лауру Айсендорф. Только одно было неясно для Марты: зачем нужно все время искать новых мужчин?!

Может быть, Лаура просто еще не нашла своего?

Но чужая душа — потемки, и Марте это было известно, как никому другому. Она и в себе-то не могла толком разобраться! Сколько блестящих кавалеров из хороших семей вьется вокруг, а она предпочла Джозефа Воложа.

Карманника.

7

Они были молоды, беспечны — и счастливы. Живя сегодняшним днем, намечая будущее не дальше завтрашней встречи, они кружились, подобно мотылькам, не задумы-

ваясь о том, что жизнь мотылька быстротечна и лето должно когда-нибудь кончиться.

Баронессу сперва озаботило непривычное поведение расцветающей прямо на глазах Марты, но та походя справлялась со своими обычными «обязанностями», и Лаура Айсендорф быстро успокоилась — наконец-то у ее компаньонки появился любовник, а это, по понятиям баронессы, было более чем нормально.

Странно только, что всего один...

Многое могло случиться с этой странной парой: кто-нибудь вполне способен был прознать, с кем встречается Марта, и коллекция сплетен венского света обогатилась бы еще одним пикантным экспонатом; Джош мог попасться на очередной краже и угодить в тюрьму, а то и на виселицу; но судьба почти год примеривалась к влюбленным, прежде чем усмехнуться и ударить наотмашь.

Эпидемия бубонной чумы, чуть было не опустошившая Италию и южные области Франции, Вену зацепила лишь краем черного крыла, сочащегося гноем и страхом, — заболело не более двух сотен человек, причем благодаря самоотверженности сестер-монашек венских госпиталей и вовремя принятым мерам магистрата дальше зараза не пошла.

Но одной из этих немногих оказалась Марта.

Два дня Джош, как безумный, кружил вокруг госпиталя Св. Магдалины — любовь Лауры Айсендорф к своей компаньонке не доходила до таких крайностей, как уход за смертельно опасной больной в баронском поместье. Стражники-добровольцы никого не пускали в ворота госпиталя, и уж тем более они никого не выпускали наружу (монашки и лекари жили в боковых флигелях, дав обет не покидать госпиталя, пока в нем еще можно спасти хотя бы одного человека).

Наконец, под вечер второго дня, измученный лекарь выкрикнул Молчальнику через решетку приговор судьбы: надежды нет никакой, и жить больной осталось дня три, от силы четыре.

Потом лекарь упал и заснул прямо тут же, у самой огра-

ды, а Джозеф остался стоять посреди улицы, окаменев от свалившегося на него горя.

Он не очнулся даже тогда, когда кучер чуть не наехавшей на него кареты громко обругал «проклятого пьяницу» на чем свет стоит — Джош-Молчальник просто сделал шаг в сторону и снова застыл.

Так он стоял долго. Редкие прохожие, в сумерках спешившие домой, невольно оглядывались на этот живой памятник скорби и отчаянью. Потом Джоша увел от госпиталя какой-то доброжелательный мясник, который все предлагал Джозефу облегчить душу, пока не понял тщету своих попыток и не отстал, отправившись пить пиво — короче, отчасти Молчальник пришел в себя лишь в знакомом трактире, где целую жизнь тому назад они с Грыжей заключали свое странное пари, а потом долго обмывали «ничью».

Джош поднял голову и огляделся: через два столика от него сидел... Грыжа с двумя приятелями и еще каким-то господином.

На мгновение Джошу показалось, что все это уже было, что он спит или, наоборот, что он проснулся, и Марта жива-здорова, им лишь предстоит еше встретиться в опере, но на этот раз все будет хорошо, и...

И тут он с усилием вспомнил, что Арчибальд Шварц по кличке Грыжа две недели назад попался на очередном «деле», забравшись в дом очень влиятельного чиновника, и на днях его должны были повесить на городской площади.

В назидание прочим.

Но вместо того чтобы болтаться в хорошо намыленной петле или по крайней мере в ожидании этой самой петли гнить в тюрьме и улаживать свои сложные отношения с Господом — вместо этого Грыжа почему-то сидел в трактире, пил вино и улыбался одними губами, а в темно-серых глазах Арчибальда Шварца по прозвищу Грыжа... нет, не должна читаться в глазах человека, внезапно оказавшегося на свободе, такая смертная тоска и полная безнадежность!

Но почему?! Если Арчибальд каким-то чудом вырвался из тюрьмы или был помилован, то он должен радоваться... Грыжа радовался. Во всяком случае, со стороны все выглядело именно так. Трактир, приятели, вино — что еще нуж-

но человеку, вышедшему из застенков? Но взгляд... после услышанного в госпитале Св. Магдалины Джош не мог обмануться! На душе у Арчибальда Шварца было так же тоскливо и мерзко, как и у него самого.

Как будто эту самую душу разъедал изнутри невидимый червь.

Джозеф велел служанке принести вина и подсел за столик Грыжи.

— О, Джош! — искренне обрадовался Грыжа, и на миг его глаза стали прежними, но только на миг, не больше. — Хорошо, что ты появился!

— Привет, Арчи, — выдавил кривую улыбку Джозеф. — Как тебе удалось отвертеться от виселицы? Сбежал, что ли?

— Почти, — Грыжа сразу осунулся и будто стал меньше ростом. — Вот, господин Джон Трэйтор[1] помог...

И Шварц кивнул на сидевшего чуть позади него высокого худощавого господина с черной седеющей эспаньолкой, косо прилепленной на внушительном подбородке. Незнакомец в богатом темно-зеленом камзоле и таком же зеленом берете с петушиным пером, залихватски сдвинутом на левую бровь, более всего походил на испанца, хотя фамилия и имя у него были скорее английские — и в этом трактире господину Трэйтору было никак не место.

При упоминании своего имени спаситель Арчибальда-Грыжи привстал и слегка поклонился. Джош ответил ему тем же. Тогда господин Трэйтор вскочил и, расшаркавшись, подмел петушиным пером своего берета сомнительно чистый пол трактира. Откуда бы ни взялся этот удивительный господин, в свободное время спасающий воров от петли, — он был сама вежливость.

— Кончайте любезничать, парни, — буркнул один из дружков Грыжи, жилистый детина со шрамом на помятом лице. Имени детины никто не знал, и он любил, когда его звали просто и незамысловато: Сундук. — Не сегодня, так завтра, а петли не миновать!

Чем-чем, а тактом Сундук никогда не отличался.

— Да ладно тебе, Сундучище, — махнул на него рукой

---

[1] *Трэйтор* (англ.) — предатель.

Джош. — Интересно все-таки, как это господину Трэйтору удается вытаскивать людей из тюрьмы? Он, часом, не колдун?

Грыжа невольно вздрогнул, разлив вино себе на колени, а Джон Трэйтор еле заметно поморщился.

— У господина Трэйтора хорошие связи, — сбивчиво заговорил Арчибальд, комкая в своей медвежьей лапе краюху ржаного хлеба и засыпая пол вокруг себя крошками мякиша. — Кроме того, внушительная сумма денег, которую пришлось внести...

Джош посмотрел в глаза Шварцу и понял, что тот врет. Врет глупо и неумело. Грыжа поспешно отвел взгляд и умолк на середине фразы.

— А что ты, Джош, невесел? — спросил он, стремясь хоть как-то выпутаться из неловкого положения и перевести разговор на другую тему. — Дела не идут или женщины не любят?

— Марта умирает, — это выплеснулось само, непроизвольно, как кровь из раны. — Умирает. Лекарь сказал — не больше трех дней осталось...

Над столом повисло угрюмое молчание, даже Сундук захлопнул пасть и уставился в стол — и сбивчивый шепот Молчальника услышали, кажется, все:

— Я бы за нее... душу не пожалел... Я бы...

Джош уронил голову на руки и словно издалека услыхал сдавленный голос Арчибальда Шварца, которого теперь венские воры будут звать Висельником целых полтора года, до дня его внезапной смерти от апоплексического удара:

— Ты, парень, думай, что говоришь! Душу, ее... ее, это самое...

Грыжа явно хотел сказать что-то еще, но поперхнулся, закашлялся и умолк.

Джош плохо помнил, что было дальше. Он долго пил, не пьянея, чуть не подрался с Сундуком, но их вовремя растащили, потом Молчальник стал отвечать на вопросы собутыльников по-подгальски, удивляясь их непонимающим физиономиям и время от времени ловя на себе пристальный изучающий взгляд Джона Трэйтора. Наконец

приятели Грыжи куда-то исчезли, следом за ними нетвердой походкой покинул трактир и сам Грыжа, и они с Трэйтором остались за столом вдвоем.

Похожий на испанца человек со странной английской фамилией отставил в сторону кружку с вином, и Джозеф, предчувствуя что-то смертельно важное, сделал то же самое.

Отрезвление ударило неожиданно и коварно, словно нож в спину.

— Итак, вы говорили, что не пожалели бы своей души в обмен на жизнь Марты Ивонич? — с едва заметной усмешкой проговорил господин Трэйтор, дернув себя за клочок волос на подбородке.

8

...Она бежала темными запутанными коридорами, где с бугристого потолка капала слизь, на стенах копились огромные колонии светящихся гусениц, а за спиной раздавались топот и тяжелое дыхание Стражей; Марта мчалась из последних сил, унося с собой что-то... она сама не знала — что именно, но бросить украденное было нельзя, никак нельзя, да и Стражи все равно не оставили бы ее в покое.

Марта чувствовала, что уже давно заблудилась в этом бесконечном внутреннем лабиринте, что Стражи гонят ее к Черному Ходу, к тому пульсирующему омуту, разъедающему жертву, о котором ей не раз рассказывал вечерами батька Самуил. Несмотря на ужас и липкое отчаяние, парализующие волю, она заставила себя остановиться и встретить Стражей лицом к лицу. Это ничего не давало, кроме возможности достойно умереть, — но Стражи почему-то все не показывались, а потом за поворотом коридора послышался какой-то шум и хриплое рычание, переходящее в затихающий бессильно-злобный вой. Марта кинулась туда и, свернув за угол, увидела Джоша, ее Джоша, спокойного сосредоточенного Молчальника, который вытирал о штанину длинный окровавленный нож.

Рядом бились в агонии три бесформенных Стража, сверля Марту тускнеющим взглядом, полным ненависти.

Марта невольно вскрикнула, Джош поднял на нее глаза и грустно улыбнулся.

— Ну что ты, маленькая, успокойся... Все в порядке. Пошли.

Он обнял ее за плечи рукой, измазанной в густой коричневой крови, и они двинулись к выходу. По дороге Марта все пыталась вспомнить, что же здесь не так, и когда впереди слабо забрезжил розовато-голубой свет, она наконец вспомнила: ведь это же Лабиринт Души, чужой души, куда она неведомо как попала, — значит, Джоша попросту не может здесь быть, и уж тем более он не должен знать пути наружу!..

— Да, не может, — Джош обернулся к ней, словно прочтя ее мысли. — Не может и не должен. Но я здесь. Потому что без меня ты бы погибла. Вот я и пришел.

Он снова грустно улыбнулся, и только тут Марта заметила, что на шее у Джоша — веревочная петля, нет, не веревочная, а скрученная из Джошева пояса, а лицо Молчальника неживое, застывшее, чем-то похожее на лица убитых Стражей, и лишь в запавших глазах, как в омуте Черного Хода, куда Марта так и не добежала, бьется живая безысходная тоска. Марте захотелось кричать от этой хлынувшей в нее тоски, — но тут что-то ослепительно взорвалось перед нею, Джош исчез, и все исчезло...

Марта вскрикнула, открыв глаза, — и мгновенно зажмурилась от ворвавшегося под веки яркого света.

— Слава богу! — как сквозь вату услышала она голос сиделки. — Наконец-то вы пришли в себя! Чудо, воистину чудо...

* * *

Поправлялась Марта долго, но и баронесса (выяснив, что ее компаньонка абсолютно не заразна, практичная Лаура немедленно приказала перевезти Марту обратно в поместье), и слуги все равно диву давались: из всех заболевших выжила одна Марта.

«Божий промысел! — шептались слуги, любившие Марту. — Господь ее не оставил!»

«Ведьма! — окончательно уверилась баронесса. — Сам

дьявол ей помогает!» Впрочем, своими соображениями Лаура Айсендорф ни с кем делиться не собиралась. Ведьма была нужна ей самой для уже известных целей. На время болезни Марты Лаура не то чтобы совсем прекратила приращивать новые отростки к и без того раскидистым мужниным рогам, но стала куда осторожнее — зато теперь, когда компаньонка вновь рядом, она свое наверстает!

С Джошем Марта увиделась лишь через три месяца, когда впервые после болезни выбралась в город. Тогда им удалось перебросится всего несколькими словами — Марта была не одна, но через неделю Марта неожиданно возникла на пороге скромного жилища Джозефа.

Выяснилось, что ей предписан постельный режим, но в одиночку валяться в постели Марте смертельно надоело, поэтому...

В общем, не одна баронесса наверстывала упущенное.

...Еще при первой после болезни встрече Марту насторожило странное поведение Джоша — веселый карманник за минувшие месяцы словно постарел на добрый десяток лет — и, собираясь уходить, она долго смотрела в лицо спящего. Почувствовав на себе чужой взгляд, Молчальник открыл глаза, грустно улыбнулся...

Уже вернувшись в усадьбу, Марта вспомнила: именно такими были глаза Джоша в чумном кошмаре, когда он выводил ее из лабиринта чьей-то души.

Души с убитыми Стражами; души, в которой Джоша не могло быть.

* * *

Минул почти год. Жизнь вернулась на круги своя, став такой же, как прежде, но постепенно Марта все больше убеждалась, что с Джозефом творится что-то неладное. Спросить напрямую она не решалась, а воровски лазить в душу к любимому человеку она запретила себе еще давно. Джош был болезненно нежен с ней, он предугадывал любой ее каприз, и временами Марте казалось, что Молчальник живет так, словно каждый миг его жизни — последний, словно завтра его ждет эшафот, хмурый палач и пень-

ковая веревка, а значит, больше не будет голубого неба и доверчивых лебедей в пруду, не будет лукавства дневных взглядов и страсти ночей, не будет ее, Марты, и самого Джоша скоро не станет...

Наконец Марта не выдержала.

Молчальник долго не отвечал, как если бы задался целью подтвердить правоту своего прозвища или попросту не знал ответа на вопрос: «Что с тобой, Джош?»

— Я влип в скверную историю, Марта. И очень надеюсь выкрутиться. Через неделю все решится. Если я стану прежним — я расскажу тебе все. А если нет... Я дам тебе письмо, но обещай, что вскроешь его не раньше, чем через восемь дней после того, как я не приду на назначенную встречу — или сожжешь в следующий четверг, если я скажу тебе, что все в порядке. Обещаешь?

— Обещаю... но, Джош, может быть, я могу чем-то помочь? Помнишь, я ведь помогла тебе тогда...

— Нет, Марта. Вор должен уметь сам отвечать за свои поступки. Впрочем, при чем тут воровство...

Неделя прошла в тягостном ожидании. Оба пытались забыть о пугающем разговоре, всецело отдаваясь друг другу, но где-то в глубине души каждый чувствовал, как над ними сгущаются тучи, готовые вот-вот прорваться... Чем? Хорошо, если просто ливнем!

Перед оговоренным четвергом Марта вся извелась в ожидании развязки. Она то и дело поглядывала на лежавшее на столике письмо, но вскрыть его так и не решилась.

Примчавшись домой к Джошу за полчаса до условленного времени, Марта с невыразимым облегчением увидела сияющего Молчальника, фрукты, две бутылки выдержанного бургундского...

— Ну? — выкрикнула она прямо с порога.

— Обошлось! Я жив и здоров, ты — тоже, так что давай отметим это дело! — довольно ухмыльнулся Джош-Молчальник.

— Тогда рассказывай!

— А, потом! — отмахнулся Джош. — Давай не будем портить вечер!

И они не стали портить этот вечер, потом не стали портить следующий, и еще один... письмо так и осталось ле-

жать на столике невскрытым и несожженным, через день-другой Марта сунула его в шкатулку и, проходя мимо, равнодушно скользила по ней взглядом.

А через неделю Джош не пришел на утреннее свидание. Под вечер не находившая себе места Марта получила записку, присланную с посыльным мальчишкой.

«Прощай, Марта. Я думал, что мне удалось обмануть ЕГО, но я ошибся. Каждую ночь мне снится, как ты умираешь от чумы. Я больше не могу видеть тебя утром живой, зная, что ночью буду снова в мельчайших подробностях наблюдать твою смерть. Я путаю сон с явью и скоро сойду с ума. Долги надо платить. Мы больше не увидимся. Если ты не сожгла письмо, прочти его — и все поймешь. Если же сожгла... впрочем, неважно. Я люблю... я любил тебя, Марта!

Прощай.

Твой Джош»

На мгновение в глазах у Марты потемнело, и ей показалось, что сердце сейчас не выдержит и остановится. Потом она бросилась к шкатулке, где хранилось письмо, дрожащими пальцами разорвала плотную вощеную бумагу...

...Петушиное Перо дал Джозефу ровно год. После чего Молчальник должен был в полночь повеситься в заброшенной сторожке, что на выезде из города, неподалеку от окраины Гюртеля.

Слуги еле успели распахнуть ворота, когда Марта на спешно заседланном жеребце, не разбирая дороги, промчалась через роскошный баронский парк, топча италийские розы и голландские тюльпаны; копыта жеребца взрывали мягкую черную землю, разбрасывая в стороны рыхлые комья, раня ухоженные клумбы и цветники — и только ветер удивленно присвистнул вслед исчезающей за поворотом всаднице.

— Сумасшедшая! — с восхищением и досадой пробормотал садовник Альберт — и, вздыхая, отправился ликвидировать учиненный Мартой разгром.

«Позд-но!» — погребальным звоном прозвучал в голове Марты отбивавший полночь далекий колокол церкви Санкт-Мария-ам-Гештаде. Буквально свалившись со спины храпящего коня, женщина бросилась через луг к едва различимому в темноте черному пятну сторожки. Непослушные после бешеной скачки ноги подгибались, путались в густой траве, дважды Марта падала, зацепившись за невесть откуда взявшиеся на лугу узловатые корни, а в сознании, все нарастая, продолжал отдаваться колокольный рокот, и вторил ему из сторожки безнадежный собачий вой, пугая мечущихся вокруг нетопырей — или это только казалось Марте?..

Взвизгнув, замшелая дверь распахнулась, повисла на одной ржавой петле, горевшая в углу сторожки свеча швырнула женщине в лицо рваные блики — и Марта увидела: откатившийся в сторону тяжелый чурбан, воющий пес по кличке Одноухий, не так давно подобранный Джошем в их любимом парке возле пруда с лебедями... и над безутешной собакой слегка покачивалось на туго натянувшемся поясном ремне тело человека.

Джозеф.

Она опоздала.

Пес запрыгал вокруг Марты с немой мольбой в глазах — и сумасшедшая, не человеческая, а скорее звериная надежда бросила Марту вперед. Немыслимым рывком она подтащила чурбан, взобралась на него, выдернула из потайных ножен в рукаве Джоша его узкий нож и одним движением — лезвие было острым, как бритва, — перерезала ремень.

Молчальник мешком рухнул на земляной пол, и Марта, не удержав равновесия, повалилась сверху.

Пропущенный через пряжку конец ремня заклинило медным язычком, петля никак не хотела распускаться, руки Марты дрожали, Одноухий самозабвенно вылизывал родное посиневшее лицо с белыми пятнами глаз, и чумной кошмар обступил Марту со всех сторон, довольно скалясь пастью безумия.

Выхода не было.

Никакого.

Марте хотелось завыть, как только что выл пес, а когда не останется сил даже на вой — повеситься здесь же, на том же ремне...

Но вместо этого, еще сама не понимая, что делает, она отстранила пса, взяла в ладони холодеющее лицо веселого карманника, погибшего из-за нее, и прикипела взглядом к мертвым глазам.

В следующее мгновение свеча, жалобно мигнув, потекла копотью, пес в ужасе заскулил, и из съежившейся темноты послышался насмешливый голос:

— Ты опоздала, женщина. Он выполнил уговор. Теперь его душа — моя. Уходи и возвращайся завтра, если ты хочешь похоронить тело. Впрочем, я могу предложить тебе довольно выгодную сделку...

Марта Ивонич, приемная дочь Самуила-турка из Шафляр, знала, кто говорит сейчас с ней. Совсем рядом, невидимый в могильном мраке сторожки, стоял Великий Здрайца — лишь блеснуло рыжим отливом петушиное перо на берете, да скользнули блики по серебру пряжки.

О, этот мог пообещать многое! Может быть, даже отпустить душу Джоша в обмен...

«Никогда не становитесь на пути у Великого Здрайцы, — говорил Самуил-баца. — И никогда не верьте ему. Никогда!»

Верить было нельзя. И становиться на пути тоже было нельзя, тем более, что это все равно бесполезно; но Марта уже приняла решение, с привычной отстраненностью потянувшись вперед, к мертвецу, которого она могла представить только живым; не протянув невидимую руку, как обычно, она бросилась наружу всем своим существом — и невидимые ворота с лязгом распахнулись перед женщиной.

На этот раз за воротами не было подвалов, сокровищниц и лабиринта. Не было и Стражей, убитых самим Джошем еще тогда, в ее кошмаре, в тот миг, когда Молчальник подписал кровью дьявольский договор, сняв охрану собственной души — о, теперь она понимала это! — вокруг про-

стиралась похожая на оспенное лицо равнина, слегка мерцавшая в ярком лунном свете, по седому простору бродили смутные тени, и прямо перед воротами лежал обнаженный человек.

Джош-Молчальник, непутевый вор, обокравший самого себя.

Одним движением Марта оказалась рядом и попыталась приподнять лежащего. Джозеф слабо пошевелился, пробормотал что-то невнятное и снова обмяк. Он был тяжелый, невозможно тяжелый, но Марте каким-то чудом удалось взять провисающее тело на руки; в глазах потемнело — или вокруг действительно сгустилась ночь?! — и Марта неуклюже шагнула к распахнутым воротам. Ноги Джоша волочились по земле; кровь набатом стучала в висках, но женщина закусила губу и сделала еще один шаг.

И тогда раздался голос.

Тот самый.

Только в нем уже не было насмешки — лишь удивление и смутная затаенная неуверенность.

— Он мой, женщина! Что ты делаешь?! Кто ты? Погоди! Давай поговорим! Я хочу знать, как ты можешь...

Шаг.

— Постой!

Еще один.

— Кто ты?!

Никогда... никогда не становитесь на пути у Великого Здрайцы!..

Прости, батька Самуил!

Прости...

Вот они, ворота.

Вот... они.

И тут Марта ощутила, как совсем рядом с ее плечом в горло Джоша впились чьи-то сильные пальцы. Тело на руках женщины вздрогнуло и захрипело, прирастая к ней, как ребенок до родов неразрывно связан с матерью; Марта пошатнулась, но устояла, даже не успев испугаться. Джоша медленно, но неумолимо отрывали от нее, отрывали вместе с кожей — с их общей кожей! — и Марта закричала от боли и отчаянья, зубами вцепившись в чужие потные

пальцы на теле души любимого... она рванулась, рыча и мотая головой, как дикий зверь, — и в этот момент они с Джошем буквально выпали за ворота.

Оглушительный рев потряс Вселенную — словно кричала сама преисподняя, выворачиваемая наизнанку. Нечеловеческий крик нечеловеческой боли наваливался со всех сторон, давил, туманил сознание, застилал глаза кровавой пеленой. У Марты, оглохшей и ослепшей от этого крика и от своей чудовищной ноши, уже не было сил подняться, и она поползла, как ползет кошка с перебитым хребтом, цепляясь за пожухлую траву — туда, куда вел ее инстинкт, выпестованный строгим батькой Самуилом, домой, к себе, потому что Джош был все-таки с ней, она не отдала его Великому Здрайце с вкрадчивым голосом и жадными пальцами, не отдала, а значит, теперь все будет...

Нет.

Не будет.

Груз чужой души все же оказался ей не по плечу. Марта уже почти добралась до собственного тела, наполовину втянувшись в него, как черепаха в панцирь, неожиданно ощутив совсем рядом что-то живое, теплое, скулящее, желающее помочь, но невидимая пуповина между ней и Молчальником лопнула, теряющая сознание Марта из последних сил потянулась к искреннему живому теплу и почувствовала, как душа Молчальника разрывает ее и уходит, рушится в этот теплый колодец, гостеприимно лучащийся мягким добрым светом...

Она никогда не рожала.

Поэтому не знала, на что это похоже.

* * *

Кажется, она пришла в себя почти сразу. Все тело болело, словно Марта действительно тащила Джоша на себе, во рту стоял солоноватый привкус крови из прокушенной губы. В углу кто-то хрипло стонал, видимо, тоже приходя в себя.

«Джош?!» — надежда вспыхнула и угасла. Тело Джозефа Воложа лежало рядом, мертвое, окоченевшее и пустое. А в углу... в углу приходил в себя Великий Здрайца! Свеча немилосердно чадила, но мрак слегка расступился, и был

виден силуэт худого человека, стоящего на коленях и вытирающего лицо сорванным беретом. Марта с усилием заставила себя встать, пошатнулась, сделала нетвердый шаг к двери. Что-то влажное мягко ткнулось ей в руку, Марта чуть не вскрикнула, но тут же поняла, что это — собачий нос. Она машинально нагнулась, чтобы потрепать пса по голове, увидела судорожно подергивающееся горло Одноухого, мучительно клокочущую пасть, словно пес хотел заговорить, хотел и не мог... лапы пса расползались, как у новорожденного щенка, — и безумная догадка холодным лезвием пронзила душу Марты.

— Джош, за мной! Уходим! — коротко приказала она и на ватных ногах пошла-побежала через луг к мирно пасущемуся коню. Надо было спешить, пока Великий Здрайца окончательно не пришел в себя. Похоже, *там* ему тоже крепко досталось.

Вслед женщине и псу неслись стоны вперемешку с восхищенными проклятиями.

10

Они покинули Вену на рассвете, тайком, как воры. Да они и были воры. Марта не знала, куда они направляются, но какой-то инстинкт погнал ее на северо-восток, через равнины Словакии, венгерский Липтов и дальше — вдоль левого рукава Черного Дунайца к Нижним Татрам.

Мысль добраться до тынецкого монастыря, где аббатом был ее брат Ян, пришла позже. Это давало хоть какую-то призрачную надежду укрыться от Великого Здрайцы и его слуг, — а в том, что за ними погоня, Марта не сомневалась ни на минуту.

Они ночевали на постоялых дворах и в придорожных харчевнях (кое-какие деньги у Марты с собой были), а когда просто в стогах сена или заброшенных избушках, и, оставшись наедине, Марта рассказывала четвероногому Джошу-Молчальнику, кто она такая на самом деле и что произошло с ним.

И Джош внимательно слушал, положив голову на колени Марты и глядя на нее карими глазами Одноухого. Иногда он лапой неуклюже чертил прямо на земле слово-

другое — и Марта потом долго улыбалась во сне, перебирая эти слова, как нищий перебирает свой скудный заработок. Это были минуты их горького счастья, когда на время отступала память о том, что жизнь Марты в одночасье рухнула, за ними по пятам идут слуги Великого Здрайцы, и неизвестно, чем закончится завтрашний день.

Они привыкали. Джош привыкал быстрее, и это тоже порождало определенные заботы. Причина крылась в том, что Молчальник и раньше не отличался целомудрием, а теперь, похоже, унаследовал поистине кобелиный характер Одноухого, в чьем теле отныне пребывал. Бродячие суки его не интересовали, он чувствовал себя человеком, причем влюбленным человеком, и Марте все труднее становилось противиться полушутливым домогательствам своего четвероногого любовника, с улыбкой отстраняясь от нахально лезущего под платье пса... Как-то раз она таки не отстранилась. И — ничего, даже больше чем ничего, только Марте еще некоторое время было стыдно, но это быстро прошло. А Джош остался все тем же веселым вором, и однажды предъявил Марте украденный у одного из посетителей очередной харчевни увесистый кошелек. Как он ухитрился это сделать, при его-то лапах, оставалось загадкой, и Марта лишь рассмеялась, не удержавшись. Ну а деньги из краденого кошелька им очень даже пригодились — ибо средства, которые прихватила с собой Марта, подходили к концу.

В общем, Джозеф Волож и в собачьем теле оставался прежним, чего нельзя было сказать о Марте. Марта надорвалась, спасая Джоша; и она это знала. Теперь женщина просто боялась извлекать из чужой души что-нибудь существенное — рана внутри нее не заживала, превращаясь в зудящий свищ, и любая «душевная» тяжесть причиняла нестерпимую боль.

Зато Марта обнаружила в себе новую способность. Теперь она могла подбрасывать украденное у одних людей другим. Оно как бы вываливалось через образовавшуюся где-то глубоко внутри прореху — и Марта быстро научилась пользоваться случайно возникшим умением, подбрасывая лишнее тем, кому хотела. Это было ново, необычно,

батька Самуил никогда не рассказывал ни о чем похожем — и это открывало возможности, о которых Марта раньше и не догадывалась. Она и сейчас-то не вполне понимала, что ей делать со своим новым даром, и пользовалась им лишь изредка...

Они шли в Тынецкий монастырь.

Слуги Великого Здрайцы незримо шли следом.

ГЛАВА III

1

Скорбный Христос со стенного распятия смотрел на замолчавшую Марту. Женщина боялась поднять глаза — ей казалось, что в Божьем взгляде она прочтет осуждение и беспощадный приговор.

Аббат Ян встал, прошелся по келье, сумрачно кивая в такт ходьбе. Лицо его осунулось, потемнело и нисколько не напоминало тот возвышенный образ, какой привыкли видеть приходящие в Тынецкий монастырь богомольцы. Плохо было аббату, очень плохо, и не только потому, что сейчас он разрывался между святым отцом Яном и Яноси-ком из Шафляр, старшим из непутевых детей Самуила-бацы.

— Вчера на рассвете Михал приезжал, — невпопад бросил аббат, перебирая висевшие у пояса агатовые четки.

— Михалек? — вяло удивилась измученная Марта, не понимая, какое отношение к рассказанному имеет приезд в монастырь Михала, их четвертого брата, который был младше Яна и осевшей в Кракове Терезы, но старше самой Марты.

Вот уж за кого никогда не приходилось беспокоиться, так это за Михалека, способного постоять за себя лучше любого защитника...

— Отец умер, Марта, — скорбно сказал аббат Ян, глядя куда-то в угол. — Михал был на похоронах.

— Отец умер, — безвольно повторила Марта. — Батька Самуил. Умер. Умер...

И небо обрушилось ей на плечи.

Когда мир снова родился из кричащего небытия, сузившись до размеров монашеской кельи — аббат Ян попрежнему ходил из угла в угол, перебирая четки сухими пальцами, а Христос с распятия все так же смотрел на бледную Марту.

— После услышанного я бы предложил тебе для начала обосноваться в монастыре, — Ян отсчитывал слова скупо, как черные бусины четок, — и пересидеть некоторое время в освященных стенах, пока мы не решим, что делать.

— В вашем монастыре?

Что-то похожее на усмешку искривило тонкие губы аббата.

— Наш монастырь — мужской, дочь моя. Я бы отвез тебя в чорштынскую обитель кармелиток — тамошняя аббатисса мне кое-чем обязана... Впрочем, сейчас это не имеет значения. Ты помнишь клятву, которую мы давали, уходя из Шафляр?

— Помню, — кивнула Марта.

— И ты поедешь на поминки отца? Подумай, Марта, ведь если мы хотим успеть на сороковины, то выезжать должны завтра, в крайнем случае послезавтра. Ни о каком монастыре тогда и речи быть не может. А если все, что ты наговорила мне, — правда...

— Это правда, Яносик. Но если я не встану в нужный день над могилой батьки Самуила — я прокляну себя вернее, чем это сделает любой дьявол. Ты веришь мне?

— Я боюсь за тебя, — ответил аббат.

И Марте почудилось, что в глазах распятого мелькнуло одобрение.

— Ну что ж, — невесело улыбнулась женщина, — раз ворам прямая дорога в ад (не хмурься, Яносик, ты у нас святой, тебя это не касается!), значит, доведется мне еще разок увидеться со старым Самуилом. Может, соберемся на одной сковороде: я, батька, Тереза, Михалек...

— В ад? — странным тоном спросил аббат.

— А что, отец мой Ян, ты не веришь в ад? Весьма удивительно для тынецкого настоятеля!

— Я верю в Бога, — очень серьезно отозвался аббат. — А ад или рай... возможно, они пока что пустуют, Марта.

— Пустуют?

— Я говорю — возможно. Тебе ведь известно, когда Господь будет судить души живых и мертвых, отделяя овец от козлищ?

— По-моему, ты хочешь таким образом отвлечь меня, Яносик, от более земных забот. Конечно, известно. Когда наступит Dies irae, День Гнева, Судный день.

— Значит, Судный день еще не настал?

— Издеваешься, святой отец?! Конечно, нет!

— Но если нас еще не судили, — плетью хлестнул голос аббата, — если Господь еще не вынес нам приговор, то почему нас должны наказывать или награждать?! Кто взял на себя право судить, карать и миловать раньше Господа?! Откуда рай или ад, кара или воздаяние, если приговор не вынесен?! Ответь, Марта!

Марта растерянно молчала.

— Ты что-нибудь слышала о ереси альбигойцев, которые сами себя называли «катарами», что по-гречески значит «чистые»? О Крестовых походах внутри Европы, случившихся почти четыре века тому назад, когда альбигойский Прованс истекал кровью, когда пало Тулузское графство, а преданный анафеме граф Раймунд VI Тулузский уступил свой титул крестоносцу Симону де Монфору — правда, через два года доблестный граф Раймунд отбил родную Тулузу у захватчика, а еще через два года крестоносец де Монфор был убит во время восстания местного населения! Что ты знаешь о маленькой крепости Монсегюр в Пиренеях, которая пала последней?!

Аббат Ян перевел дыхание, некоторое время молчал, а потом виновато посмотрел на Марту.

— Извини, Марта... ты и не должна быть знатоком в подобных вопросах. Просто ересь катаров уже давно не дает мне, аббату Яну Ивоничу, вору Яносику из Шафляр, спать по ночам. Да, «чистые» исказили многие католические догматы; да, они протащили в христианство зороастрийских Ормузда и Аримана, как символы добра и зла; они считали, что, исповедуясь, мы помогаем Господу, а не наоборот, но не в этом дело. Невместно мне осуждать поступки святого Доминика Гусмана, основателя ордена доминиканцев, но я бы не стал подобно ему жечь «чистых» на кострах. Я вообще не люблю костров, Марта...

— Ты что-то не договариваешь, Яносик, — бросила Марта, пристально глядя на взволнованного аббата. — Я могла бы украсть у тебя это «что-то», но вор не должен красть у вора, а сестра у брата. Расскажи мне сам.

— Альбигойцы считали, что после смерти человек начинает жить заново, что душа его воплощается в ином живом существе — звере, человеке, птице — и грехи прошлого вкупе с былыми заслугами довлеют над возродившимся в его новой жизни. И так, до самого Страшного суда, человек копит в себе добро и зло, его мучит свобода выбора, он ищет, спорит, соглашается, грешит... Но тогда — если Господь даровал таким, как мы, способность брать чужое добро из душ человеческих, то не готовил ли он для нас особую участь?! Не выше других, не над людьми, но другую, как разнятся участи воина и лекаря! Ведь если допустить хоть кроху правоты в догматах катаров — значит, проданная дьяволу душа попадает не на сковородку, пугало старух-богомолок, а начинает жить заново под сюзеренитетом сатаны! Не это ли ад, Марта! Ад на земле, способный вовлечь в свое пламя и находящихся рядом невинных жертв! Ты украла погибшую душу у сатаны... нет ли в этом особого промысла Божьего?!

— Не знаю, Яносик. Не знаю. Знаю только, что мне тяжко жить с той проклятой ночи. Когда, ты говоришь, должен приехать Михал?

— Завтра, — ответил аббат Ян.

Нить его четок неожиданно лопнула, агатовые бусины звонко раскатились по полу, но он даже не заметил этого.

— Завтра, Марта. Михал приедет вместе со своей женой — она в тягости, и мы должны отслужить молебен о счастливом разрешении от бремени, но обратно жена Михала поедет без него.

Марта кивнула.

2

Пан Михал Райцеж, придворный воевода графа Висничского, был исключительно хорош собой. Это отмечали пылкие флорентийки, в чьем родном городе пан Михал постигал нелегкое искусство владения рапирой под руко-

водством строгого Антонио Вазари; это обсуждали между собой искушенные в любовных делах уроженки Тулузы, где знаменитый мастер шпаги Жан-Пьер Шарант после долгих уговоров согласился взять в обучение худородного шляхтича из далекого Подгалья; красота пана Михала не давала спать пухленьким саксоночкам Гербурта, когда возвращающийся домой Райцеж сумел упросить барона фон Бартенштейна преподать ему несколько уроков владения тяжелым драгунским палашом, застряв в баронском замке на три года; женщины беззаветно любили пана Михала, но увы — пан Михал не любил женщин.

Нет, это отнюдь не значило, что шляхтич Райцеж был склонен к мужеложству.

Просто пан Михал любил оружие, и страсть эта заполняла дни его столь полно, что ночами ему снились выпады и отражения, в результате чего Михал Райцеж шептал во сне вместо имени возлюбленной:

— Парад ин-кварто и полкруга в терцию!.. парад ин-кварто... Двигайся! Двигайся, я тебе говорю!.. парад ин-кварто...

Дам, изредка попадавших в его постель, потом долго мучила мигрень, и не раз они в самый неподходящий момент командовали законному мужу:

— Парад ин-кварто... двигайся, я тебе говорю!

Мужья не любили пана Михала.

Они его боялись.

Они боялись бы его еще больше, если бы знали, что пан Михал Райцеж, Михалек Ивонич, приемный сын Самуила-бацы из Шафляр, — вор.

Такой же вор, как Марта и аббат Ян.

Сам же Михал не без оснований считал себя самым ловким вором из всей семьи, но и самым неудачливым. Мечту его жизни нельзя было просто вытащить из карманов чужой души — воинский талант, как и любой талант вообще, хранился в самых глубоких подвалах его обладателя, сросшись с фундаментом, основанием сущности хозяина.

Повстречавшись с вором, прошедшим науку Самуила-бацы, скрипач может забыть название и даже мелодию сто раз игранной песни, отдав это знание встречному пройдо-

хе, но пальцы его заставят струны откликнуться быстрее, чем сам скрипач обнаружит потерю. Пожмет плечами музыкант, да тем дело и кончится. Но если вор попытается забраться не в кошель, где бренчат расхожие монетки, а в дом скрипача, туда, где хранится его чуткий слух, способный с первого раза запоминать любую музыкальную фразу, где кроется суть скрипичного дара, где в сундуках спит данное от рождения золото...

Строго-настрого предостерегал Самуил-баца приемных детей от подобных дел.

Лишь однажды попытался отчаянный Райцеж забраться в дом души бешеного тулузца, своего тогдашнего учителя Жан-Пьера Шаранта, когда Жан-Пьер заснул, и до конца дней своих будет помнить он вой и крики тех кошмарных Стражей, которые гоняли его по бесконечному лабиринту Шарантовой сокровищницы, грозя огненными мечами, а выползающие из крошащихся стен узловатые корни исподтишка норовили опутать ноги Михала, не дать уйти, навсегда оставить здесь, в сумрачных переходах...

Михалу удалось найти щель и юркнуть наружу.

В себя.

Но он знал: случись ему пасть под клинками Стражей, пропади он в лабиринте Шарантова мастерства, рухни в Черный Ход — за время сна душа Шаранта переварила бы его, как отрезанный и проглоченный ломоть хлеба, и наутро проснувшийся и ничего не подозревающий учитель Жан-Пьер Тулузец обнаружил бы рядом с собой безумца.

Хуже.

Он обнаружил бы рядом с собой растение.

Иногда Михал недоумевал по поводу своего выбора. Пробиться в церковные иерархи, как старший брат Ян; стать примерной женой удачливого краковского купца и рожать ему детей, как Тереза; жить тихой и сытой мышкой при дворе знатной покровительницы, как Марта, — ну что, что мешало Михалеку избрать себе простую и понятную дорогу, на которой для легкого существования вполне достаточно время от времени обчищать внутренние карманы нужных людей, выбирая ту мелочь, что поднимается на поверхность?!

Ничего.

И жил бы себе не хуже других, а то и лучше...

Ведь сумел же он с легкостью заставить чорштынского ректора состряпать подложные королевские грамоты с настоящими печатями, а потом явиться с ними к последнему из рода Райцежей, глубокому старику, впавшему в детство, и спустя некоторое время окончательно превратиться в пана Михала Райцежа, внучатого племянника этого самого старика!

Перед отъездом в Италию это казалось необходимым, потому что иначе пробиться в ученики к кому-нибудь из известных мастеров клинка было почти невозможно.

Требовались деньги или родовитость; во всяком случае, Райцеж был в этом уверен.

Если бы Михалу сказали, что флорентиец Антонио Вазари, отказавший когда-то в обучении младшему брату венецианского дожа, взял к себе в дом юного шляхтича из неведомых земель только потому, что рассмотрел в нем незаурядные способности, Михал никогда не поверил бы этому.

Он страстно хотел заполучить чужой талант, мучаясь невозможностью сделать это, — и не замечал собственного.

Он был вором.

Знание о любом, пусть самом секретном приеме владения оружием Михал мог выкрасть и крал без зазрения совести. Но лишь тогда, когда это знание становилось действительно знанием или хотя бы осознанным ощущением, а не глубинными навыками и памятью чужого тела, не раздумывающего и зачастую даже не понимающего, что оно делает! Иначе же любая попытка вторгнуться в сокровенное... нет, Михал помнил Стражей, охраняющих талант учителя Шаранта, и не рисковал повторить попытку. А если твое собственное тело не готово принять чужое знание — краденое или полученное от учителя; если месяцы, а то и годы изнурительных занятий не отточили твои собственные возможности до остроты толедского лезвия; если ты взял, присвоил, но не можешь сделать на самом деле своим...

Антонио Вазари, Жан-Пьер Шарант, пожилой барон фон Бартенштейн — любой из них, теряя какое-либо зна-

ние, украденное их проворным учеником, восстанавливал потерю почти мгновенно, практически не замечая этого, как дерево не замечает потери листа, если цел ствол, или даже потери молодого побега. Новые отрастут, не сегодня, так завтра. Зато Михал старательно приращивал полученные побеги к себе, добиваясь в конечном итоге нужного результата и не задумываясь над тем, что для подобного дела нужно по меньшей мере иметь свой ствол — пусть неокрепший, пусть дикий, но он должен быть.

Нельзя прирастить побег к пустому месту.

Умрет.

А эти — приживались.

Десять лет старушка Европа пылила под ногами Михала Райцежа, Михалека Ивонича; десять лет он воровал все, до чего мог дотянуться, и не щадил себя там, где не мог украсть; вор из семьи Самуила-бацы плакал по ночам от боли в суставах и мазал снадобьями кровавые мозоли на ладонях. Когда он покинул Флоренцию, строгий Антонио Вазари вдруг напился допьяна, когда он ушел из Тулузы, скупой на слова Жан-Пьер Шарант покачал головой и тихо бросил: «Дурачок...»; бывший драгунский полковник барон фон Бартенштейн, не отличавшийся щедростью даже в отношении близких родственников, на прощанье подарил ему палаш без единого украшения, ибо клеймо на клинке само по себе стоило целого поместья...

Через год Михал Райцеж стал придворным воеводой графа Висничского, сменив на этой должности прошлого воеводу — старого рубаку, показавшего восхищенному Михалу, что такое настоящий сабельный бой.

Еще через год он женился, несказанно удивив всех и взяв за себя дочь прошлого воеводы, кроткую девушку по имени Беата.

И, казалось, бродяга Михал прочно осел в Висниче.

3

...Солнце било Марте в глаза, и она щурилась, выглядывая из похожего на бойницу монастырского окна. Отсюда, от западного крыла отлично — если бы не слепящие

лучи солнца — просматривалась краковская дорога, и даже сквозь невольные слезы Марте еще издалека удалось разглядеть крохотную фигурку всадника, неспешно приближающегося к монастырю со стороны Тыньца.

За всадником катила, подпрыгивая на ухабах, запряженная вороной парой карета, а по бокам кареты ехали верхом двое гайдуков.

«Михалек», — поняла Марта и, прикрывшись ладонью, стала рассматривать брата.

Только сейчас она вдруг остро почувствовала пустоту, образовавшуюся после слов аббата Яна о смерти отца. Скачущий Михал непонятным образом превратил отвлеченную и странно недостоверную смерть Самуила-бацы в свершившийся факт, в реальность, и Марта призналась себе, что лгала Яну, когда говорила: «К кому мне еще идти? Отец стар...» Там, где сейчас было пусто и горько, еще день назад крылась тайная надежда, что в самом крайнем случае можно будет сбежать в Шафляры, пасть в ноги батьке Самуилу, тот встопорщит жесткие седые усы, даст подзатыльник, и после этого все будет хорошо.

Не будет.

А в Шафляры действительно придется ехать.

Не на похороны, так на поминки.

Эх, батька Самуил, Самуил-баца...

Солнечный луч обиженно разбился о ладонь Марты, скользнул в сторону и очень удивился, обнаружив на глазах у женщины слезы.

Откуда? — ведь луч не знал, что люди плачут не только от солнца.

Всадник к тому времени значительно приблизился, и Марта помимо воли залюбовалась уверенной посадкой Михала. Отчего-то на ум пришло сравнение с удирающим от Жабьей Струги конокрадом Друцем. Юный цыган почти лежал на спине гнедого, всем телом припав к конской шее, а Михал сидел в седле подчеркнуто прямо, с небрежностью поигрывая зажатыми в правой руке поводьями, и левая ладонь его рассеянно поглаживала рукоять драгунского палаша, с которым Михал, по слухам, никогда не расставался, беря с собой чуть ли не на супружеское ложе.

Пятеро верховых, догоняющих карету, которая сопровождала Михала, Марту поначалу ничуть не заинтересовали.

— Ну что? — послышалось у Марты за спиной.

— Едет, — не оборачиваясь, отозвалась женщина, сразу узнав голос Яна. — Почитай, у ворот. Ты б сказал своему привратнику, чтоб не лез с расспросами, а то Михал его длинный нос мигом укоротит. С него, драчуна, станется...

Аббат Ян, минуту назад освободившийся от службы и успевший по дороге в келью отдать все необходимые распоряжения отцу-келарю, подошел и встал рядом с сестрой.

— А это еще что?! — озабоченно пробормотал он, и Марта, отвлекшись было от происходящего внизу, мигом глянула в окно.

Верховые прибавили ход и оказались у остановившейся кареты раньше Михала, разглядывающего монастырь. Самый первый из них, пышно разодетый вельможа, показавшийся Марте смутно знакомым, спрыгнул с коня и предупредительным жестом распахнул дверцу кареты. Он учтиво поклонился, переждал короткую заминку и подал руку выходящей из кареты молодой женщине — жене Михала Беате Райцеж, в девичестве Беата Сокаль. Когда смущенная Беата оказалась на земле, вельможа отошел на шаг в сторону и еще раз поклонился, приложив руку к сердцу.

Гайдуки Райцежа замялись, не зная, что делать, поскольку ничего особенного не происходило, а задевать без нужды вежливого шляхтича в присутствии четверых его людей им явно не хотелось.

Марта не заметила, когда Михал успел покинуть седло и быстрым шагом подойти к жене. Только что придворный воевода графа Висничского с коня глядел на монастырские стены — и вот он уже стоит рядом с Беатой и что-то ей выговаривает. Марту и аббата Яна удивило поведение Михала: если уж кому и стоило выговаривать, так это прискакавшему невесть откуда вельможе, чья учтивость и впрямь граничила с наглостью. Видимо, Беату это тоже удивило, она попыталась возразить мужу — слов не было слышно, но зато было отлично видно, как пан Михал грубо сжал плечо жены, силой развернул ее лицом к монастырю и мотнул головой в сторону ворот.

Подчинившись, Беата двинулась к воротам, опомнившиеся гайдуки поехали следом, а в окружении вежливого шляхтича громко засмеялись — смех этот донесся даже до ушей стоящих у окна. Сам вельможа приблизился к пану Михалу, подбоченился и бросил несколько коротких резких фраз.

Дальше Марта не смотрела. Повинуясь непонятному порыву, она выбежала из кельи — аббат Ян, не мешкая, последовал за ней — и по лестнице помчалась вниз. Спустившись во двор, Марта свистнула дремлющего в холодочке Джоша, обогнула только что вошедшую в монастырский двор Беату (беременность последней лишь сейчас бросилась Марте в глаза) и выскочила в распахнутые ворота наружу. Карета по-прежнему стояла неподалеку, сонный кучер дремал на козлах, забыв выпрячь лошадей, но больше никого рядом с монастырем не было.

Лишь пыль клубилась по дороге, сворачивая влево и вниз, к берегу речки Тихой.

Марта быстро пошла вслед за пылью.

Джош трусил рядом, временами поднимая голову и заглядывая женщине в глаза.

На морде собаки застыло то болезненное выражение, какое иногда бывает у немых, когда им позарез надо что-нибудь сказать, а мертвый язык еле ворочается и рождает только звериное ворчание.

4

Звон оружия был первым, что услышала Марта, выбежав на кручу. Отсюда насквозь просматривался песчаный плес реки, прямо под Мартой у плакучей ивы стояли четверо спутников вежливого шляхтича и двое гайдуков Райцежа, возбужденно переговариваясь. В двадцати шагах от них друг напротив друга замерли Михал и его противник, минуту назад обменявшиеся первыми ударами.

«Господи, да что ж это такое!» — в отчаянии подумала Марта. Она никогда не могла понять, как из-за ерунды, из-за пустяковых мелочей, не стоящих и ломаного гроша, двое молодых здоровых людей готовы всадить в грудь один другому полтора локтя холодной стали.

Впрочем, муж ее покровительницы Вильгельм фон Айсендорф также не был миротворцем, и Марте дважды приходилось видеть поединки барона с очередным забиякой, случившиеся прямо в поместье Айсендорфов; а сколько раз щепетильный в вопросах чести барон Вильгельм дрался не в присутствии компаньонки своей жены?!

Шляхтич неожиданно прыгнул вперед, и кривой клинок его сабли злобно лязгнул о тяжелый палаш Михала. Полетели искры, шляхтич отскочил, снова приблизился и попытался достать Райцежа с другой стороны. Михал не тронулся с места, лишь рука его сдвинулась на пядь левее, и лезвие кривой сабли вновь наткнулось вместо живой плоти на драгунский палаш.

Удар.

Еще один.

«Он же убьет этого щеголя!» — внезапно поняла Марта, глядя на узкое лицо Михала, превратившееся в алебастровую маску. Перед ней был не вор, а воин, не Михалек Ивонич, а воевода Михал Райцеж, и первыми, кто после Марты сообразили это, были спутники шляхтича. Они загомонили и направились к дерущимся с явной целью разнять их, но не успели — Михал, до того недвижно стоявший на месте, коротко шагнул вперед, драгунский палаш завертел кривую саблю в мгновенном страшном танце и, прорвавшись сквозь сверкающий заслон, до половины погрузился в живот вежливого шляхтича.

Потом Михал поднял голову, увидел бледную как полотно Марту на круче, приветливо помахал ей рукой и принялся горстью зернистого песка отчищать кровь с палаша.

У ног Михала умирал вежливый шляхтич.

Судя по ране, умирать он должен был долго и мучительно.

Когда Марта сверху вниз смотрела на спокойную осанку брата, даже не повернувшегося к своей жертве, возле которой растерянно хлопотали четверо спутников, — ей подумалось, что Михал сознательно выбрал для этого человека такую смерть.

Ни минуты не колеблясь.

И Марте стало холодно.

Весь молебен во здравие Беаты Райцеж и за ее благополучное разрешение от бремени Марта простояла как на иголках. Перед глазами все время всплывал человек, убитый только потому, что помог выйти Беате из кареты. Чтобы хоть как-то отвлечься, Марта переводила взгляд с облаченного в подобающее случаю одеяние аббата Яна на Михала — воевода Райцеж стоял на коленях рядом с женой, время от времени осеняя себя крестным знамением, — и помимо воли отмечала, что братья столь же разные, сколь и похожие. Монах и воин, исповедник и убийца... вор и вор. Оба стройные, сухощавые, с тонкими одухотворенными чертами — и Марта вдруг подумала, что выражение лица аббата Яна, когда он слушал Мартину исповедь и потом вдохновенно рассказывал ей про ересь катаров, было во многом подобно выражению лица Михала, когда последний играл плещущей сталью и вытирал окровавленный клинок песком.

«А я? — ужаснулась Марта. — Я сама?..»

После молебна она подошла к жене Михала, была представлена Беате и не отходила от нее до того момента, когда Райцеж посадил жену в карету и отправил в Тынец в сопровождении приехавших с ним гайдуков. Прощаясь, Марта не удержалась и наскоро обшарила сознание Беаты. Было трудно определить на ощупь, что именно попадается под руку, но Марта прошла слишком хорошую школу, чтобы не путать возможную добычу с мелким хламом, вечно валяющимся в чужих закромах. Беспокойство по поводу грядущих родов лежало у молодой женщины на самой поверхности, не имея глубинных корней — здоровая и крепкая Беата носила беременность без особых сложностей, — так что Марта могла бы легко украсть необоснованное волнение у пани Райцеж, но делать этого не стала, лишь удивилась: почему Михал до сих пор не облегчил жизнь любимой жене?

Молебен молебном, а воровство воровством...

Видимо, за это время отец Ян уже успел наскоро пересказать воеводе историю Марты, потому что Михал после

отбытия жены подошел к Марте и, ни слова не говоря, обнял сестру и поцеловал в лоб. Одноухий Джош ревниво зарычал, Михал повернулся к оскалившемуся псу, пристально посмотрел ему в глаза и еле заметно поклонился.

Джош сел — нет, скорее упал на задние лапы, запрокинул лобастую голову к небу, выпуклые собачьи глаза влажно блеснули, пес чуть было не завыл, но не завыл и вихрем вылетел за ворота монастыря.

Марта не стала звать Молчальника.

Понимала — вернется.

Когда начало смеркаться, а Джоша по-прежнему не было, Марта начала волноваться. Она вышла из монастыря — привратник был с нею вежлив до тошноты, — побродила туда-сюда по дороге, хотела было пройтись к близкой опушке леса, но раздумала и двинулась в направлении берега речки Тихой, где состоялся недавний поединок.

Спустившись с кручи и постояв под плакучей ивой, она негромко позвала пса, подождала и собралась уходить. Сорвав с ивы тонкий прут, Марта несколько раз взмахнула им, как саблей, отбросила прут от себя — и странное волнение заставило ее обернуться.

Там, где упал ивовый прут, танцевала смутная тень.

От реки тянуло зябкой прохладой, разглядеть что-то в подступивших сумерках было почти невозможно, но Марта до рези в глазах всматривалась в странно знакомый танец тени, и внезапная догадка обожгла ее хуже пригоршни углей, взятой из костра.

Перед ней была тень убитого Михалом шляхтича.

Призрак неутомимо, раз за разом повторял движения того страшного танца, который привел его к гибели, ноги шляхтича однообразно переступали по песку — вперед, в сторону, вперед, назад, в сторону — руки плели повторяющуюся вязь, пока не падали сломанными крыльями, заставляя мертвеца схватиться за живот и мгновенно припасть к сырому вечернему песку... но тень вставала, и все начиналось сначала.

Возможно, со стороны это выглядело красиво и совсем не страшно — вечер, река, изломанная тень и женщина,

прижавшаяся к стволу ивы, но Марта не могла посмотреть на себя со стороны.

Она даже не успела сообразить, когда, в какой неуловимый миг тень оборвала смертный танец и повернула к ней безглазое пятно лица.

Не слухом, а каким-то чуждым человеку чувством Марта поняла, что мертвый шляхтич смеется, — и вдруг вспомнила, где и когда встречала убитого Михалом на поединке человека.

В корчме Иошки Мозеля, когда мимоходом коснулась молодого пана, прихватив в нем горсть всплывшей на поверхность ненависти к родному отцу, и потом еле успела сбросить это жгучее зелье в корчемную кошку Бырку!

Как звали молодого пана?!

Княжич... княжич Янош Лентовский!

Забыв обо всем, Марта неожиданно для самой себя потянулась к призраку, как тогда, в корчме, как тянулась множество раз к намеченной жертве, желая пошарить в невидимых для других карманах. «Не смей!.. никогда не смей воровать у мертвых!..» — эхом отдался в ней звенящий голос Самуила-бацы, ушедшего навсегда батьки Самуила... не смей...

В такие мгновения Марте всегда казалось, что она протягивает третью, бесплотную руку и гибкими пальцами на ощупь выбирает нужное, чтобы потом, уже присвоив, взяв в себя, рассмотреть и понять: взяла ли она то, что хотела, или вместо золота попалась все-таки медь, и надо бы повторить попытку, — но сейчас все было не так, как прежде.

Воровские пальцы женщины обожгло ледяной слизью, цепко облепившей несуществующую руку, холод резво пробежался по предплечью, плюясь расползающимися во все стороны мурашками, за локтем на миг задержался и уже неторопливо пополз дальше; Марта попробовала шевельнуться и с ужасом ощутила, что третья рука не слушается ее — женщина вскрикнула, рванулась... и почувствовала, что свободна.

Призрак смеялся.

На луноподобном диске его лица проступили темные пятна, сложившиеся в оскаленный рот, и Марта, вся дрожа

и будучи не в силах отвернуться, судорожно нащупала в себе украденную у пляшущей тени мысль.

Женщина попыталась расслабиться и дать краденому стать своим.

«Убийца! — мелькнуло в голове. — Михал — убийца!..»

Почти сразу до Марты дошло: это и есть то, что удалось взять у мертвого княжича!

— Ну и что?! — истерически выкрикнула она, обращаясь к хохочущему призраку. — Ну и что?! Конечно, убийца — ведь он убил тебя... сгинь, пропади!..

Призрак смеялся.

«Михал — убийца!» — смеялся он, и в смехе его крылась нечеловеческая издевка, словно тень что-то умалчивала, и это «что-то» доставляло мертвому невыразимое удовольствие.

Убийца-а-а...

Спотыкаясь, Марта кинулась вверх по круче.

...когда она вбежала в монастырский двор, даже не успев удивиться тому, что ворота до сих пор не заперты, — толпа взволнованно переговаривающихся монахов поспешно расступилась, пропуская Марту в круг.

Аббат Ян, воевода Михал и одноухий Джош стояли над раненым человеком.

Марта уже видела этого человека.

Это был один из гайдуков Михала.

— Их было пятеро? — гневно спрашивал воевода. — *Всего* пятеро?!

Гайдук молчал, сидя на земле и держась за наспех замотанное колено.

— На карету Беаты напали, — отец Ян повернулся к Марте, одной рукой успокаивающе тронув взбешенного брата за локоть. — Разбойники, на полпути от нас до Тыньца. Саму Беату увели в лес, одного гайдука зарубили, а этого... этого отправили сюда.

— Разбойники? — Марта ничего не понимала. — Они требуют выкуп?

— Нет. Их атаман велел передать, что его зовут Мардула сын Мардулы и что пленной женщине до поры до вре-

мени ничего не грозит. Просто он хочет быть уверенным, что убийца Самуила-бацы явится в Шафляры — не на сороковины, так за женой — и там заплатит Мардуле все, что полагается.

«Убийца!» — смеялся над рекой танцующий мертвец...

— Я не убивал отца, — воевода Райцеж смотрел на Марту исподлобья, болезненно сдвинув брови над переносицей. — Я не убивал отца, Марта! Это ложь!

И снова повернулся к раненому:

— Их было пятеро! Пятеро против вас двоих!

— Прости, пан воевода, — глухо шептал гайдук, глядя в землю. — Прости... но тот, кто стоял рядом с атаманом... худой такой, весь в темном... на голове берет с петушиным пером...

Гайдук собрался с силами и закончил:

— Он не человек, пан воевода! Святой отец, скажите ему: это не человек! Поверьте мне, я говорю правду!

Марта склонилась над раненым и положила ладонь ему на плечо.

— Я верю тебе, — сказала она. — Это действительно не человек.

Джош поднял морду к равнодушному серпику месяца и безнадежно завыл.

Словно в ответ ему с опушки близкого леса донесся торжествующий волчий вой.

ВЕЛИКИЙ ЗДРАЙЦА

Я не помню, кем был — я знаю, кем стал.

Изредка снимая свой замшевый берет с петушиным пером, схваченным серебряной пряжкой, я напяливаю его на кулак и долго смотрю, представляя, что смотрю сам на себя.

Перо насмешливо качается, и серебро пряжки тускло блестит в свете месяца.

Я делаю так редко, очень редко, в те жгучие минуты, когда понимаю, что больше не могу быть собой, — но и перестать быть я тоже не могу.

Люди зовут меня дьяволом.

«Изыди, сатана!» — говорят мне люди, и я смеюсь, ис-

чезая: во-первых, я не сатана и никогда им не буду; во-вторых, я не могу уйти навсегда, даже если меня гонят.

Я лишь исчезаю.

На время.

И мысленно благодарю изгнавших меня, потому что миг небытия для того, кем я стал, стократ блаженней существования.

Люди зовут меня Князем Тьмы.

Я не князь.

Я — крепостной Тьмы.

Я ем хлеб преисподней в поте лица своего, я могу лишь надеяться, что когда-нибудь накоплю необходимый выкуп, и тогда меня отпустят на волю.

Позволят не быть.

Мне хочется верить, что надежда умирает последней.

Иногда я смотрю на очередного глупца, суетливо макающего перо в собственную кровь и подписывающего договор со мной, и слышу его жалкие мыслишки.

На самом деле, конечно, я не слышу их, но все это так однообразно...

«Сейчас я получу то, что хотел, — сглатывая липкую слюну, мечтает этот червь, — я наслажусь желаемым, а потом я буду служить моему хозяину верой и правдой, я докажу ему свою преданность и усердие — и после смерти он сделает меня подобным себе, чтобы в аду мы вместе мучили глупых грешников, не удосужившихся вовремя продать душу нужной силе. О, как я буду велик!..»

Я смеюсь, а он думает, что я радуюсь, заполучив его ничтожную душонку.

Он прав.

Я радуюсь.

Если он достигнет желаемого и станет подобен мне, он тоже будет радоваться, когда кубышка с его выкупом из адской крепости станет хоть на йоту полнее.

Он ведь не знает, что никогда не попадет в ад.

Ад попадет в него.

Согласитесь, что это не одно и то же.

Впрочем, можете не соглашаться — мне все равно.

Люди зовут меня Нечистым.

Это правда.

Я нечист.

Но никто из таких, как я, никогда не был и не будет повелителем геенны — не потому, что мы мелки, а потому, что с тем же успехом каторжника можно назвать повелителем рудников. И впрямь: он бьет несчастные камни кайлом, он возит их в тележке, сваливая в карьер, он волен мучить копи как хочет... он лишь не волен перестать это делать.

И перестать мучиться самому.

Вопрос: что делают в аду?

Ответ: мучаются.

Вопрос: кто мучается в аду?

Ответ: все.

Все.

Когда вы мучаетесь, это уже ад.

Он в вас.

Ад в вас, дорогие мои, он шипит и пенится, как недобродившее вино, он ударяет в голову мягкими коварными молоточками; ад в вас, любезные господа, но во мне его больше. Я — крепостной тьмы, я — виллан геенны, я — пустая перчатка, я чувствую в себе заполняющую пустоты руку преисподней и завидую тому преступнику на эшафоте, в чье чрево входит сейчас заостренный кол.

Ему, казнимому, легче.

Я никогда не видел подлинных Князей Тьмы; Противоречащих, Восставших, Низвергнутых, которые и есть — ад.

Вещь в себе, умники-схоласты!.. Ад в аду.

Я не помню, кем был — я знаю, кем стал.

Стократно хуже им — они помнят, кем были. И вечность перед ними заполнена мучительным бездействием, в конце которого маячит предопределение, беспощадная тень Армагеддона и Судного дня.

Dies irae, День Гнева.

Всякий раз, когда я чувствую в себе пальцы Князей, наполняющие меня мукой и силой, я восхищаюсь их упорством, их неукротимой жаждой деятельности, способной дотянуться из невозможного и заставить таких, как я, становиться дьяволами и перекраивать детей Адама и Евы по своему образу и подобию.

Я ненавижу их.

Восхищение и ненависть сливаются в один страшный сплав, и я корчусь от боли после каждого дьявольского трюка, ради которого вынужден впускать в себя ад. Просто этого никто не видит. Я самолюбив, как самолюбивы только рабы. Моя кубышка копит в себе монетки проданных душ, иногда я разменяваю одну из них, чтобы заполучить две, иногда я ошибаюсь... я мечтаю выйти на волю, я мечтаю исчезнуть, мечтаю начать с дна, стать вошью, слизняком, мхом, кем угодно...

Люди зовут меня дьяволом.

В чем-то они правы.

Но эта женщина... эта чертовка (я улыбаюсь — славный каламбур!), утащившая раскаленную монетку погибшей души из-под самого моего носа, оставив дьявола в дураках!.. О радость моя, длинноногое сокровище, не лишай Петушиное Перо счастья новой встречи — я не всеведущ и не всесилен, но зато я терпелив и умею отделять овец от козлищ, делая из последних ловчих волков преисподней... Где ты, милая?!

Я иду.

Я ищу тебя!..

Поверь честному дьявольскому слову: при определенных обстоятельствах я даже соглашусь оставить тебе душонку этого наивного карманника, которого я для забавы вынудил повеситься на собственном поясе.

Не веришь?

Спрашиваешь: что это за обстоятельства?!

Никогда не затевайте разговора с цыганками и дьяволами...

Люди зовут меня Нечистым.

Я зову их людьми.

Книга вторая

ТУМАНЫ СТАРОГО ПОГОСТА

ГЛАВА IV

1

Дочь недоверчиво пробовала на зуб золотой кругляш луны — и надгрызенный диск фальшивым талером покатился к горизонту, где и завис щербиной вверх. Фиолетовые тени угрюмо бродили меж стволами, словно пытаясь понять, кто же они на самом деле: безобидные сочетания света и тьмы или только тьмы, тьмы, тьмы...

— Мы-ы-ы!.. — насмешливо отзывался ветер, разрывая призраков в клочья, и, вторя ветру, ухал голодный филин, вглядываясь в ночь сверкающими кошачьими глазами.

Седой волк, сидевший на поросшем заячьей капустой пригорке, поднял морду к небу, хотел было завыть, но передумал и лишь лениво облизнулся, на миг приоткрыв зубастую пасть. Бродяга-ветер, оставив игру с тенями, зябкими пальцами перебрал белесую шерсть, взъерошил снежно-белые пряди на загривке — волк поежился, негромко рыкнув, и ветер поспешил убраться восвояси. Где-то в лесу, неподалеку от мощных стен тынецкого монастыря, протяжно голосила стая, и это была гораздо более интересная забава, чем приставать к теням и седому волку-грубияну.

Волк положил голову на передние лапы и закрыл глаза.

В привычной феерии звуков ночного леса он безошибочно различал отдаленный плеск реки, спотыкающейся на перекатах, и глухой рокот мельничного колеса. Почему в полночь открыты шлюзы на старой мельнице, почему вода хлещет в лоток, заставляя стучать жерновый постав,

почему не спит работяга-мельник с измученными подмастерьями, — все это мало интересовало зверя.

Он знал — почему.

Он только не знал, почему он сам остался лежать на пригорке, позволив выскочке Рваному возглавить стаю вопреки всем законам волчьего и не только волчьего племени.

Когда седой волк узнал и это — он встал, потянулся всем телом и неторопливо затрусил туда, откуда слышался охотничий вой стаи.

Филин проводил волка равнодушным взглядом и заухал вслед.

2

Отец-квестарь тынецкого монастыря пребывал в удивлении и растерянности — хотя предпочел бы пребывать в каком-нибудь ином, более привычном для него состоянии. Например, в состоянии голода — ибо накормить столь обильное тело скудными монашескими харчами было зело трудно. Квестарем (то есть бродячим сборщиком милостыни на нужды родной обители) он стал недавно, всего года полтора тому назад, святым отцом — примерно тогда же, и злые языки поговаривали, что как был он заядлым грешником-мирянином, так и остался.

Разве что рясу нацепил и крест на толстое пузо вывесил.

Когда квестарю с утра сообщили, что аббат Ян уезжает отслужить панихиду над своим безвременно ушедшим родителем, и именно он, квестарь Игнатий, избран настоятелем для сопровождения в неблизкие Шафляры... бедный Игнатий окончательно понял: нет в жизни счастья! Ведь еще позавчера он собирался покинуть стены обители и отправиться в мир за подаянием, немалая часть которого шла на прокормление самого Игнатия! Невелик разор — монастырские земли и так давали приличный доход, тынецкие бенедиктинцы не бедствовали, но традиции есть традиции, а значит, у живущих в миру нельзя отнимать возможность щедрой милостыней облегчить себе загробную жизнь. А в квестари испокон веку шли монахи, щедрые плотью и веселые нравом. Мало ли суетных радостей у

бродячего сборщика милостыни — то корчмарь расщедрится, вспомнив о геенне огненной, то покладистая бабенка на пути встретится, то на свадьбу или там поминки зазовут, то еще что... Ну и ушел бы Игнатий сразу, не пытаясь выманить у скупердяя-келаря приглянувшийся свиной окорок! Теперь езжай себе невесть куда, да еще под неусыпным оком самого аббата Яна, которого квестарь Игнатий изрядно побаивался.

Шутка ли: почти что живой святой!

В смысле — почти что святой, а не почти что живой...

Так что взгромоздившись на козлы и правя аббатским возком, жизнелюбивый квестарь ругал себя за нерасторопность и затылком чувствовал взгляд отца настоятеля. Ох и взгляд! Прямо сидишь как на адовых угольях и все ждешь, когда же ксендз Ян скажет: «Ну что, брат мой во Христе, каяться будем или безвозвратно закоснеем во грехе?!» Собственно, подобных слов квестарь от отца настоятеля никогда не слышал, но взгляд, взгляд... аж затылок холодеет!

Лошади шли ходко, нимало не заботясь печалями несчастного Игнатия, впереди маячили спины того самого бешеного шляхтича, чью беременную жену выкрала шайка какого-то Мардулы, и чернявой женщины, сказавшейся привратнику сестрой настоятеля. В седле новоявленная сестра сидела плотно, не по-женски, и пан Михал — Игнатий наконец вспомнил имя шляхтича — время от времени одобрительно на нее косился, подкручивая вислый ус. По обочине, между возком и верховыми, бодро бежал здоровенный одноухий пес, которого квестарь Игнатий перед отъездом попытался было погладить и понял, что это не собака, а черт в шкуре. Самым последним, отстав от возка и понурив голову, ехал раненый гайдук пана Михала. Колено его распухло, ходить пешком он мог только ковыляя, но упрямству гайдука не было предела — вернуться в Виснич он наотрез отказался, и по глазам раненого ясно читалось, что поползет он за хозяином своим хоть в Шафляры, хоть на край света, чтобы жизнью или смертью искупить вину, и — мало ли! — при случае зубами перегрызть глотку проклятому Мардуле-разбойнику.

К полудню миновав памятную Марте Жабью Стругу и

выехав на дорогу, ведущую к Нижним Татрам, возок аббата был едва не опрокинут — навстречу, подняв тучу пыли, неслась телега, запряженная гнедой кобылкой, обезумевшей от криков и подхлестываний хозяина. Марта и Михал, рванув поводья, брызнули в разные стороны; квестарь Игнатий еле-еле успел принять к краю дороги, разминувшись с телегой на какую-то пядь, кобыла резко свернула в сторону, и телега прочно засела правыми колесами в рыхлом песке обочины.

— Рехнулся?! — конь воеводы Райцежа уже гарцевал у накренившейся телеги, а сам пан Михал, багровея лицом, готов был разорвать на части сумасшедшего возчика. — Смерти ищешь, сучья кость?! Отвечай!

— В обитель... — бормотал свалившийся с телеги старичок, часто-часто кланяясь и всплескивая пергаментными ручками. — Матка бозка, спаси грешного! В обитель спешил, ясновельможный пан, к святым отцам-бенедиктинцам... Сожгут ведь, как есть сожгут, по ветру пеплом пустят!.. Неужто я не понимаю — я все понимаю! Да они ведь не слушают, бугаецкий войт каленым железом судить хочет, а кто ж такую страсть стерпит-то... ах, матка бозка, спаси-помилуй!..

Марта узнала старика. Это был тот самый мельник, что подвозил ее до колодца.

— Кого сожгут, дедушка? — спросила она, спешиваясь. — Да погоди ты, Михал, тебе б только рубить... Зачем в обитель спешишь, мельник? В твои-то годы попусту телеги по дорогам вскачь не гоняют...

Прозрачный, как весеннее небо, взгляд старика стал более-менее осмысленным, сам мельник задышал ровнее и ухватился за край телеги — видно, ноги отказались держать изношенное тело.

— А-а, дочка... Бог тебя послал, не иначе! Братана моего жгут, младшенького, говорят — колдун, нечистику продался... Может, слыхала? Стах, тоже мукомол, как я! Бугаецкий войт с сухосадским столковались, народишко подбили, а народишко у нас добра не помнит, ему что мельник, то и колдун! Семь десятков лет на одном месте — и все ладно, а на семьдесят первом загомонили: и коровы в Бугайцах

плохо доятся, и девка малая прошлый год на речке около мельницы утопла, а тело не нашли, и волки обнаглели, среди бела дня скотину таскают, вчера опять же змея в небе видели, кружил на закате над мельницей... не иначе, Харнась-бездельник и видел, когда из корчмы домой полз! Дочка, родная, ты конная — скачи в обитель, умоли кого из святых отцов в Бугайцы ехать! Пусть святым судом судят, праведники, пусть не дадут пропасть невинной душе...

Выбравшись из возка, аббат Ян подошел к взволнованному мельнику. Старик подслеповато сощурился, потом, признав тынецкого настоятеля, пал тому в ноги и в третий раз принялся пересказывать трагическую историю своего брата, обвиненного в колдовстве и связи с сатаной. Короткими и точными вопросами аббат не давал мельнику уходить в сторону от главных событий — иначе пришлось бы выслушать все жизнеописание Бугайцев от гулящей бабки нынешнего войта до вечно пьяного Харнася-бездельника — и наконец повернулся к Марте и Михалу.

— Это тебе не Вена, — развел он руками, глядя на закусившую губу Марту. — Забыла небось, как оно в наших-то местах? Вижу, забыла... Михал, вы езжайте лесом, напрямик, там дорога торная, не то что верхом — на карете шестерней проехать можно. А я в эти Бугайцы заверну... спалят ведь деда и не перекрестятся!

— Спалят, — личико мельника сморщилось, как печеное яблоко, и из глаз потекли редкие старческие слезы, — ой, спалят...

— Так, может, вместе поедем? — заикнулся было воевода Райцеж, но аббат Ян отрицательно покачал головой.

— Не надо, Михалек. Ни к чему. Я — священник, меня они послушают, а ты у нас горячий, явишься в Бугайцы с гайдуком да Мартой, влезешь поперек, станешь палашом махать, а мужики в топоры... Здесь не Вена, но и не твой Виснич, где холопы спину выпрямлять разучились! Опять же, если ты нужен Мардуле-разбойнику — в здешних селах эхо гулкое, завтра же Мардуле донесут, где ты да что ты!.. Короче, езжайте лесом, к вечеру доберетесь до корчмы Габершляга — там и заночуете. Ждите меня в корчме до за-

втрашнего полудня. Думаю, успею... ну что, брат Игнатий — in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti![1]

— Amen[2], — поспешно отозвался квестарь, спрыгивая на землю.

* * *

...Когда тележные колеса совместными усилиями Михала и квестаря Игнатия были извлечены из песка, ободренный присутствием аббата Яна мельник взгромоздился на передок, причмокнул на кобылу — и телега ни шатко ни валко покатилась в обратном направлении.

Следом за ней ехал возок настоятеля тынецкого монастыря, аббата Яна Ивонича.

Марта и Михал переглянулись и свернули в лес. Дорога к корчме Габершляга была воеводе Райцежу неплохо известна, беспокоиться за Яна пан Михал не видел особых причин — тронуть духовную особу, да еще столь славную в здешних местах, не осмелился бы никто, но Михал то и дело ловил себя на том, что оборачивается и пристально вглядывается в чащу по обе стороны дороги, словно надеясь что-то высмотреть в путанице стволов и кустарника.

Что-то очень важное.

Одноухий Джош, сам того не замечая, жался к всадникам и нервно нюхал воздух.

Пахло бедой.

3

Телега мельника ехала теперь впереди аббатского возка, как и положено телеге — неторопливо, со скрипом переваливаясь на ухабах с боку на бок. Узкая дорога, как-то незаметно свернувшая в лес и напрочь заблудившаяся в нем, петляла, раздваивалась, растраивалась, несколько раз мельник сворачивал то вправо, то влево, и квестарь Игнатий вскоре с тревогой обнаружил, что не помнит пути назад. А значит, случись что с дедом — плутать им с отцом-

[1] Во имя отца и сына и святого духа (*лат.*).

[2] Аминь (лат.).

настоятелем по окрестным чащобам если не до скончания века, то уж пару дней наверняка!

Разумеется, ничего страшного тут не было: вот доползут они до этих самых треклятых Бугайцев, разберется отец Ян, что там натворил брат мельника (небось такой же вредный старый хрыч; и пусть бы жгли — наверняка есть за что!), а от Бугайцев войт или еще кто укажет, куда ехать...

Так-то оно так, но на душе у квестаря все равно скребли кошки. Тем паче, что в своих странствиях исходил он не только окрестности Тыньца, но и все Ополье с Косцельцом вдоль и поперек, а посему незнакомая дорога была для него чем-то странным и подозрительным, вроде целомудренной вдовушки. И когда впереди вместо ожидаемых Бугайцев показалась совершенно незнакомая мельница с прилепившимися к ней ветхими сараюшками, амбарами и еще какими-то строениями, квестарь Игнатий не выдержал.

— Эй, мельник, а где ж твои Бугайцы? Куда это ты нас затащил, борода?

Аббат Ян неодобрительно покосился на своего возничего, но промолчал.

— На мельницу мою, — нимало не смутившись, обернулся старик и расплылся в детской улыбочке. — Дорогато на Бугайцы аккурат через мою мельницу и бежит. А если ты, святой отец, здешние тропки лучше меня знаешь — езжай вперед и веди, аки пастырь...

Брат Игнатий не нашелся, что ответить, но когда старик, доехав до своей хаты, прятавшейся позади мельницы, остановил телегу, напрочь перегородив ею дорогу, подозрения квестаря проснулись с новой силой. Однако задать вполне законный вопрос обнаглевшему мельнику ему не дал аббат Ян.

Отец-настоятель на удивление резво соскочил с возка и в два шага оказался рядом с дедом.

— Что все это значит, старик? — жестко спросил он. — Или ты обмануть меня решил? Где твой брат, где Бугайцы?

— Не только решил, но и обманул, отец мой, — не моргнув глазом, признался мельник. — Бугайцы, понятное дело, на месте, где им и положено, а брат мой помер от ли-

хоманки еще позапрошлой зимой, так что палить его нет никакой надобности.

— Ах ты!.. — задохнулся от негодования брат Игнатий, но ругаться срамными словами в присутствии аббата не решился. — Да ты хоть понимаешь, с кем говоришь? Святого отца обмануть, — и меня тоже, между прочим, человека божьего! — да тебе Господь такое вовек не простит! Гореть тебе в аду, пень старый, раскаленные сковородки языком брехливым лизать...

— Угомонись, брат Игнатий, — отец Ян произнес это негромко, но так, что толстый квестарь поперхнулся и мигом умолк.

— Может, и так, — согласился тем временем мельник, почесывая клочковатую седую бороденку, — может, и гореть мне в огне адовом... на все воля божья.

— О том не тебе судить, — оборвал словоохотливого старика аббат Ян, — и даже не мне. А теперь говори: зачем я тебе нужен? Раз обманом привел меня сюда — значит есть повод. Говори!

— Значит, есть, — охотно подтвердил мельник. — Стахом меня зовут, святой отец. Стах Топор, из Гаркловских Топоров. Слыхали аль нет?

— Точно, что Топор, — проворчал с возка брат Игнатий, но ни аббат, ни мельник не обратили на него внимания.

— А разговор у нас долгий будет — так что давайте-ка лучше, святой отец, в хату пойдем, на лавку сядем, а квестарь ваш пускай покамест лошадей распряжет.

— Нет у меня времени, мельник Стах, с тобой на лавках рассиживаться! — отрезал аббат, и квестарь согласно закивал с возка, всем своим видом показывая, что полностью поддерживает отца-настоятеля. — Разворачивай, брат Игнатий, поехали отсюда!

Брат Игнатий с превеликой охотой принялся выполнять указание аббата, и, хотя развернуться на узкой дороге было не так-то просто, в конце концов это ему удалось.

— Нету так нету, — как-то уж слишком легко согласился старый Топор. — Езжайте, святой отец. У меня-то времени много...

И, не оглядываясь, ушел в хату.

Когда, изрядно поплутав по разбегавшимся в разные стороны лесным тропкам, аббатский возок в третий раз вывернул все к той же мельнице — брат Игнатий не выдержал-таки и крепко выругался, и отец-настоятель ничего на это не сказал. Зато сказал квестарь; много чего сказал — а под конец своей длинной и заметно мирской речи обернулся к аббату и, понизив голос, заключил:

— Колдовство это, отец-настоятель, как есть колдовство! И мельник этот — колдун проклятый, душу Нечистому продал! Вот и водит нас теперь, как окуня на крючке!

— Колдовство, говоришь? — спокойно переспросил аббат. — Ну что ж, может, и так...

Покинув возок и воздев перед собой правую руку, в которой оказалось небольшое распятие из полированного дерева, отец Ян неторопливо направился к хате, читая на ходу молитву.

Дверь отворилась, и появившийся на пороге Стах Топор стал с любопытством следить за действиями аббата.

— Аминь, — ухмыльнулся он, когда отец Ян дочитал молитву и подошел к нему почти вплотную. — Не поможет, отец мой. Крещеный я, — и старик широко, чтоб видели и аббат, и квестарь, перекрестился; а после распахнул ворот рубахи, выпячивая впалую грудь и медный крест на почерневшем от времени кожаном гайтане. — Мы, Гаркловские Топоры, не купленные-проданные, а потомственные, от нас к врагу рода человеческого ниточка не тянется. Так что извини, святой отец, ежели что не так. Пошли лучше в хату — говорить станем.

— Не о чем святому человеку с таким лиходеем, как ты, толковать! — не удержался осмелевший с перепугу брат Игнатий. Проявив неожиданное проворство, он вдруг оказался рядом с аббатом и мельником, и в руках квестаря обнаружилась увесистая сучковатая дубинка, коей в своих странствиях по миру он не раз отмахивался от собак и лихих людей, особенно от требующих платы корчмарей. — Ежели тебя молитвой не проймешь, то вот это — в самый раз будет!

Но тут из-за венца хаты лениво выбрались три здоровенных парня с одинаковыми скучающими физиономия-

ми — то ли работнички, то ли подмастерья, а может, и сыновья Стаха Топора — и вразвалочку направились к оторопевшему квестарю.

— Выпряги лошадь, брат Игнатий, — тронул квестаря за плечо аббат Ян и некоторое время разглядывал остановившихся парней. После тяжело вздохнул, поднялся по заскрипевшим ступеням и прошел в хату мимо посторонившегося мельника.

* * *

Внутри оказалось неожиданно просторно; чисто выметенный пол, посреди горницы — крепкий дубовый стол с лавками по бокам, несколько корявых табуретов; привычной божницы в красном углу настоятель не обнаружил, зато связок трав и кореньев по стенам висело преизрядно.

Окинув взглядом горницу, аббат Ян подошел к столу и опустился на лавку. Старик подумал-подумал, пожевал впалым ртом и устроился напротив.

— Ну, говори, Стах Топор, зачем, Бога не побоявшись, тынецкого настоятеля морочить решился — грех-то немалый, понимать должен! Итак?

— О грехах моих, да и о ваших, святой отец, после потолкуем, если нужда будет. А зазвал вас сюда, потому как помощь мне ваша занадобилась.

— Это какая же? — недобро усмехнулся аббат Ян. — В ворожбе пособить?

— С ворожбой я уж как-нибудь и сам справлюсь. А вот с нечистым спорить, лбами друг о дружку стукаться... Небось получше моего знаете: грешен человек, а я вдвойне грешен, не мне Лукавому дорогу заступать. Вот вам, святой отец, такие дела — в самый раз.

— С нечистым спорить? — удивленно переспросил настоятель. — Я-то думал, ты с ним на короткой ноге! Или не поделили чего?

— Не поделили, — кивнул мельник, не вдаваясь в подробности.

— И теперь у Господа нашего защиты искать хочешь? Почему ж тогда добром не попросил? — дескать, каюсь, отрекаюсь, и все такое?!

— Можно и добром, — ухмыльнулся Топор. — Свезли б меня после такой просьбы в Вильно, а там дознаватели смышленые, мигом к пяткам каленые пруты приложили бы... Нет уж, святой отец, лучше я вас без видоков длинноязыких просить стану!

— Ну а если я не соглашусь, без видоков-то? Что тогда?

— Согласитесь, святой отец, — тихо, но уверенно бросил Топор. — Разве не обязан служитель святой церкви противостоять дьяволу и разрушать козни его во славу Господа?

— Обязан. Но отнюдь не обязан защищать обманщика-ворожея, который якшается с нечистым!

— Может быть, святой отец, вам виднее. Только если погибель грозит не обманщику-ворожею, кому и так до могилы рукой подать, а невинной душе, которой дьявол домогается? Особенно если душа эта — сестра ваша, святой отец? Не сестра во Христе, а такая, какие у нас всех, грешных, водятся! Привратник-то ваш пустозвон, раззвонил по всей округе чище колокола: к аббату Яну сестра приехала!

— Марта?! — вскинулся Ян. — Что с ней?

— Пока ничего. Не считая, что слуги того, кого лишний раз поминать не стоит, за ней охотятся. И очень даже может статься, что сестра ваша скоро здесь окажется.

— Ты... — бледное лицо аббата начало наливаться краской не подобающего святому отцу гнева. — Ты и ее заманить сюда решил?!

— Решил не решил, а чую, что не миновать ей мельницы старого Стаха Топора. Вот тут-то Петушиное Перо за ней и явится. Кому ж, как не святому отцу и вдобавок родному брату, ее от нечистого оградить?

Аббат Ян долго молчал, и багровые пятна понемногу сходили с его лица.

— Тебе это дорого обойдется, старик, — произнес он наконец. — Адскими котлами стращать не стану, но и на этом свете прощения не жди.

— Не жду, — кивнул мельник. — И раньше не ждал, святой отец, и сейчас не стану. Только прежде чем надумаете сюда стражу да монахов гнать, чтоб на костер меня

отправить, вспомните сначала, как сами-то в Казимеже[1] к блудным девкам шастали да кутили в мирском платье по кабакам. Помните? И я помню. Так что крепко подумайте, прежде чем карать меня, грешного. У меня и свидетели найдутся...

Аббат Ян не отвечал, потупившись.

— Сдается мне, мы поладили, святой отец. Вы делаете свое дело, угодное Господу, и если все кончится миром — едете отсюда вместе с сестрой подобру-поздорову. Никому от того зла не сотворится, а обо мне лучше забудьте — человек вы почти что святой (старик ехидно подмигнул), вам скоро епископский сан принимать, значит, ни к чему прошлое ворошить, грешки всякие наружу вытаскивать... Ну а если что не так выйдет — тогда и карать вам некого будет. А может, и некому, — добавил мельник совсем тихо.

Неожиданно аббат перегнулся через стол и крепко ухватил за запястье растерявшегося на миг мельника. Старый Топор ощутил странный трепет, волной пробежавший по его изношенному телу, глаза сами собой стали моргать и слезиться, словно к самому носу поднесли резаную луковицу — и колдун Стах поспешил отдернуть руку, машинально бормоча заговор от порчи и сглаза. Он не понял, что сейчас произошло, но все же нутром почуял, что сидящий напротив него человек в коричневой дорожной сутане далеко не прост, а в том, что случилось, святостью и не пахло.

Впервые Стах подумал, что играет с огнем — да не с тем, который сам и разжигал.

— Вовремя ты стражу кликнул, дед, — аббат в упор глядел на старика, растягивая тонкие губы в гримасу, так же похожую на улыбку, как веревка походит на гадюку. — Теперь я не сомневаюсь: я действительно нужен тебе. Ты надеешься, что я смогу оградить свою сестру — и тебя самого! — от дьявола, если он явится за ней; а он явится, тут я тебе тоже верю. Но главного ты не сказал мне, а сам я не успел дотянуться... Зачем ты все это затеял? Чего хочешь *ТЫ* и какова будет плата?! Говори!

---

[1] *Казимеж* — квартал в Кракове, известный своими злачными местами.

— Это мое дело, святой отец, — приходя в себя, ответил мельник, так и не сообразив, о какой-такой страже говорил удивительный монах. — Ты будешь защищать свою сестру, и я помогу тебе в этом, чем сумею. А остальное — как любите говорить вы, служители церкви, — остальное в руках господних.

Яносик из Шафляр, приемный сын покойного Самуила-бацы, пристально смотрел на старого Стаха из Гарковских Топоров.

* * *

...Распрягавший лошадь брат Игнатий уже давно приметил большого, серого с сильной проседью пса, крутившегося у двери, за которой скрылись аббат с мельником. Потом пес совсем по-человечески припал ухом к двери и застыл в напряженной позе.

«Подслушивает! — оторопел квестарь, но подойти и шугануть зубастую тварюку все же побоялся. — Вот уж угораздило, спаси Господи и сохрани! Возле самого монастыря — и в такой оборот!»

В этот момент пес, видимо, услышав все, что хотел, повернулся и в упор посмотрел на брата Игнатия. Только тогда до квестаря наконец дошло, что никакой это не пес, а матерый седой волчина.

Зверь оскалился и исчез за углом.

4

Ехали молча, с непонятной опаской, стараясь держаться поближе друг к другу. Глухо стучали копыта по сумрачной глинистой дороге, на которую лишь в полдень, и то ненадолго, ложились веселые солнечные пятна; а сейчас — какой там полдень! — день клонился к вечеру, и хорошо было бы успеть добраться до корчмы Габершляга, прежде чем наступит полная темнота.

Лошади тоже что-то чуяли, шли тихо и настороженно, даже не фыркали, как обычно.

— Полпути проехали, — бросил через некоторое время хмурый Михал. — Даст бог, ночевать будем под...

Закончить он не успел.

Стремительно и неотвратимо выметнулись из чащи по обеим сторонам дороги серые тени. Кинулись без воя, без рычания, молча, по-змеиному стелясь над самой землей, словно сам лес долго выжидал, примеривался — чтоб наверняка — и наконец решился, бросив верных серых пахолков[1] на незваных гостей и хлестнув стаю для острастки заранее припасенной плетью.

Мир качнулся, оскалив слюнявую пасть, вздыбив жесткую шерсть на загривке, дорога испуганно выгнулась, уходя вбок и вверх, истошное ржание на миг оглушило — и вот уже Марта лежит на земле, неловко подвернув придавленную конской тушей ногу, а совсем рядом с лицом женщины растекается темно-багровая, почти черная в сгущающихся сумерках лужа, и матерый зверь в упоении рвет горло агонизирующей лошади.

Позади сразу трое волков остервенело грызли что-то кричащее, дергающееся, плюющее багровым — гайдук Михала даже не успел схватиться за оружие; хриплое рычание сливалось с оглушительным треском кустов на правой обочине — каким-то шестым чувством Марта поняла, что это Джош сцепился в кустарнике с одним из лесных убийц; а сам воевода Райцеж возле старого вяза...

Оставив растерзанное конское горло, зверь всем телом повернулся к женщине, сухо щелкнули окровавленные клыки — Марта вскрикнула, отчаянным рывком высвободив хрустнувшую ногу, и бросилась в лес, напрямик, куда глаза глядят. Животный страх гнал ее вперед, заставляя бежать, не разбирая дороги, забыв о Михале и Молчальнике, не замечая дергающей боли в подвернутой ступне, чувствуя, что сердце прыгает уже не в груди, а где-то в горле, не в силах остановиться, выигрывая у смерти рваные мгновения страха, бешеного бега, тяжелого дыхания — мгновения жизни!

Серые тени мелькали то справа, то слева, но почему-то не догоняли, и будь Марта не так испугана, она бы поняла, что ее куда-то направляют, ведут, как умелый пастуший пес ведет отбившуюся от стада овцу, потому что если бы хотели загрызть, то уже давно бы это сделали...

---

[1] *Пахолок* — слуга.

Земля внезапно ушла из-под ног, и женщина скатилась куда-то вниз, спиной проехав по глинистому склону, выпятившему наружу мокрые шишковатые корни; вот сейчас волчьи клыки сомкнутся на трепещущем горле, жизнь захлебнется кровью, отверзнутся врата преисподней, и пред Мартой появится сам Великий Здрайца!..

Тишина.

Липкая, пугающая, невозможная...

Тишина.

Марта лежала, почти лишившись чувств, но ничего не происходило, и женщина начала понемногу приходить в себя; осторожно открыла глаза, села, огляделась... Она находилась на дне глубокого лесного оврага; рядом журчал тоненький ручеек, прихотливой змейкой убегая прочь, и возле перепачканной ладони Марты обиженно покачивались несколько распрямляющихся травинок.

Марта с трудом поднялась на ноги и невольно ойкнула — лодыжку пронзила резкая боль.

«А где же волки?» — запоздало спохватилась женщина.

Оказалось, что волки никуда не делись. Три темных силуэта маячили на краю оврага и уходить явно не собирались. Впрочем, спускаться в негостеприимный овраг волки тоже не спешили.

«Склоны скользкие, крутые — боятся обратно не выбраться», — решила женщина.

Надо было что-то делать, куда-то идти, но где находится дорога, Марта не знала, а хоть бы и знала — далеко ли уйдешь по таким кручам, да еще с подвернутой ногой и серым «эскортом» наверху?

Но стоять на месте и ждать, как говаривал батька Самуил, «от бога дулю», тоже было глупо. Марта с трудом сделала несколько шагов и подобрала валявшуюся на земле рогульчатую палку. Теперь, опираясь на импровизированный костыль, двигаться стало не так больно; да и от волков в случае чего... Марта не строила иллюзий насчет своих способностей «в случае чего», но вес палки в руках сразу придал ей толику уверенности. «Если до сих пор не загрызли, может, и дальше обойдется», — подумалось ей.

И женщина заковыляла по дну оврага, вниз по течению

ручья — наугад, просто потому, что идти под уклон было легче.

Она не успела дойти даже до ближайшего поворота.

Неотступно следовавшие за ней по краю оврага серые силуэты вдруг разом исчезли, словно их сдуло порывом сырого промозглого ветра, на мгновение в лесу повисла напряженная тишина — и тут же ее располосовал надвое яростный рык, шум борьбы, треск ломающихся веток... ревущий темный клубок кубарем скатился в овраг в нескольких шагах от Марты и заметался, вспенивая воду, брызжа пригоршнями грязи, сплетая в смертельном объятии гибкие поджарые тела. Марте даже сгоряча показалось, что один из двух дерущихся волков и не серый вовсе, а почти белый...

Седой — пришло на ум.

«Они что, меня не поделили?» — оторопело подумала женщина, поудобнее перехватывая свою палку и перенося вес тела на здоровую ногу. Один удар у нее будет — остальные волки, похоже, дали деру, когда их вожак и этот седой пришелец стали выяснять свои отношения, сцепившись не на жизнь, а на смерть; значит, если успеть добить того, что выживет...

Рычание неожиданно перешло в булькающий хрип, клубок тел в последний раз дернулся и распался. Седой волк поднялся, брезгливо отряхнулся и бросил торжествующий взгляд на своего мертвого противника.

Марта занесла над головой палку.

И в этот самый момент в овраг свалился еще кто-то, тут же вскочив на все четыре лапы и бросившись на чуть замешкавшегося седого волка.

Единственное ухо нежданного защитника напряженно стояло торчком, словно понимая, что скоро его обладатель может остаться и вовсе без ушей.

— Джош! — выдохнула Марта и сразу поняла, что ее дубина сейчас бесполезна. Перед ней снова катался бешено рычащий ком, и оставалось только с замиранием сердца ждать исхода, кусая губы от бессилия.

Этот поединок закончился гораздо быстрее, чем первый. Не прошло и минуты, как Марта увидела прижатого к земле Джоша и седого волка, в буквальном смысле взявшего за горло ее неудачливого возлюбленного. Волк медлил сжи-

мать страшные клыки, ворча и испытующе косясь на Марту, на занесенную над головой женщины палку; потом зверь осторожно отпустил горло Джоша и неспешно отошел назад.

Волк не должен, просто не может вести себя так! — это Марта понимала, но не верить своим глазам она тоже не могла. Седой волк, только что без сожаления загрызший вожака напавшей на них стаи, пощадил собаку! И, судя по его поведению, отнюдь не собирался нападать на нее, Марту.

Джошу удалось подняться только с третьей попытки. Пошатываясь, он доковылял до Марты и без сил повалился в грязь рядом с ней, опасливо глядя на рассматривавшего их седого волка.

— Он нас не тронет, — выдавила Марта. — Он... защищал меня... как и ты.

Марте показалось, что седой волк едва заметно кивнул и усмешливо оскалился, но скорее всего это ей только померещилось.

В следующее мгновение зверь повернулся и одним длинным прыжком исчез в сумерках.

Джош проводил его недоуменным взглядом и протяжно заскулил.

— Дорога далеко? — спросила женщина.

Пес утвердительно кивнул и неуклюже махнул лапой в сторону склона, с которого недавно скатились седой волк и он. Видимо, в том направлении и находилась оставленная ими дорога.

— Не дойду, — пожаловалась Марта лохматому Молчальнику. — Нога у меня... Поищи-ка лучше место, где бы нам ночь пересидеть — по светлому авось выберемся!..

Джош снова кивнул и неуверенной трусцой побежал вдоль журчащего ручья по дну оврага. Опираясь на палку, Марта медленно побрела следом.

Они шли около получаса. Под ногами хлюпало, чавкало, Марта оскальзывалась на размокшей глине, а потом овраг резко свернул вправо — и, выйдя из-за поворота, женщина и собака сразу увидели огонь.

В этом месте из оврага имелся довольно пологий выход, — правда, поперек него валялся полусгнивший трухлявый ствол — и в тридцати шагах за ним, совсем недалеко, горел чей-то костер.

...пламя настойчиво облизывало редкие сырые ветки, и те трещали от удовольствия, истекая густым сизым дымом. Смолистый аромат пропитывал все вокруг, на одинóкой поляне света и тепла, невесть как образовавшейся в ночном лесу, царил тихий уют — и Марте, что стояла, привалившись к шершавой коре бука-великана на самой границе высвеченного круга, все это показалось ужасно смешным. Она даже чуть было не расхохоталась, и упавший рядом Джош перестал зализывать раны и озабоченно глянул на женщину.

Посудите сами — после всего, что произошло, после задранных лошадей и убитого гайдука, после хрипа, рычания и сумасшедшей погони по дну оврага, после руки Костлявой на самом плече и оскаленной пасти Седого на горле Джоша... после всего этого стоять, стараясь не наступать на распухшую ногу, и думать: опасен человек у костра или нет?

И жалеть, что, надорвавшись в схватке с Великим Здрайцей, ты не можешь забраться в карманы чужой души без прикосновения к телу хозяина.

Хотя и раньше-то знала: крепко не тронешь — много не вынесешь...

— Иди сюда, — не оборачиваясь, бросил человек.

Еще стоя у бука, Марте показался знакомым его силуэт: широченные плечи, плотное, крепко сбитое туловище, косматая нечесаная голова; а когда она послушно подошла сбоку и увидела зеленые огоньки, на миг вспыхнувшие в глубоко посаженных глазках при виде ковыляющего Молчальника, — сомнениям не осталось места.

— Доброй ночи, сын мельника, — тихо сказала Марта, неуклюже садясь у костра и протягивая к огню руки, и, помолчав, добавила:

— Доброй ночи, Седой...

Низкорослый сын мельника взлохматил пятерней копну своих русых волос, и в отблесках костра сразу стало заметно то, что днем прятал слишком яркий солнечный свет: серебряные нити, пронизывающие гущу прядей.

— Дай сюда... ногу, говорю, дай! Не трясись, не укушу...

Ознобно вздрогнув от последних слов, Марта вытянула вперед ногу — и сильные корявые пальцы плотно обхватили щиколотку. Женщина охнула, валявшийся неподалеку Молчальник встревоженно поднял голову, но боль почти сразу отпустила, быстрые прикосновения разгоняли опухоль в разные стороны, расслабившейся Марте внезапно захотелось спать... но в эту самую минуту сын мельника прекратил разминать пострадавшую ногу, и заметно ослабевшая боль все-таки вернулась.

— Денька три прохромаешь, — успокаивающе буркнул Седой, с хрустом разминая пальцы и несколько раз встряхивая своими лапищами, словно сбрасывая капли воды. — Цело все...

— Зачем ты это делаешь? — слова вырвались сами, непроизвольно.

— Что?

«А действительно, что? — подумала Марта. — Зачем спас от волков? Зачем отпустил Джоша? Зачем разжег костер?»

— Дура ты, баба, — Седой подкинул охапку дров в огонь и задумчиво уставился перед собой. — Ох и дура... Тебе радоваться надо, плакать от счастья, а ты с вопросами лезешь! Не один тебе, что ли, хрен, почему жива осталась?! Доживешь до утра — удача, до корчмы Габершляговой доберешься — радость, вовсе из наших краев исчезнешь — до конца дней праздника хватит... У ночного костра правды не ищут, у него спят или сказки до утра сказывают! Поняла?

Марта ничего не поняла. Меньше всего ей хотелось сейчас рассказывать или слушать сказки. А сын мельника, похоже, не шутил: он прижмурил свои зеленые глаза, откашлялся, словно пробуя голос...

— Жил-был в здешних местах мельник, — глухо сказал Седой.

* * *

Жил-был в здешних местах мельник, из потомственных мукомолов. Стахом звался, Стахом Топором. Присловье в их семье гуляло: «У нас что ни Топор, то топор!»

Мельница у них была старая, еще прадедовская, но работящая — народ отовсюду валом валил. Кто зерно вез, кто за мучицей, а кто и так, — с Гаркловскими Топорами нужным словом перекинуться. Знали люди: дождя второй месяц нет, корова отелиться не может, муж или там не муж любить не хочет, на сторону косится, дите неразумное гнилым грибом объелось — иди на мельницу. Да не так просто иди, а с поклоном, с горшком топленого маслица, с козлячьей спинкой копченой, с монеткой серебряной... хмыкнет старший Топор в бороду, почешет в затылке и уйдет молча в клеть. Тогда жди: кивнет Топор вернувшись — твое счастье, начнет лоб морщить да отмалчиваться — иди домой, жди от судьбы кукиша!

Однажды мужики в Сухих Садах ведьму палили да сгоряча и на мельницу заявились. Гори, колдовское гнездо! Так Топоры в топоры, подмастерья в жерди, а там сухосадцы смотрят: из трех окрестных сел толпа валом валит. Кто с чем, и все по голове норовят. Своих, мол, палите, сколько влезет, а наших не трожь! Сухосадцы уж и бродячего монаха вперед выдвинули, тот крестным знамением на мельницу, а старший Топор шире монашьего крестится и ржет как мерин: благослови, отче, ибо грешен я! Пожал монах плечами — а кто не грешен, сын мой?! — и дал деру от греха подальше.

Тем дело и кончилось.

Шло время, ложились Топоры в землю родного погоста, что неподалеку от их мельницы был, и остался мельник Стах старшим. Все как у людей: жена, трое девок-помощниц, хлопец тринадцати лет подрастает, наследник, значит, опять же хозяйство!.. Вдобавок то масла принесут, то меду, то еще чего, а Стах Топор уйдет в клеть, посидит там, потом вернется — кивать или отмалчиваться...

Ну, да об этом уже говорено!

Охотился как-то в местных лесах князь Лентовский, старший брат нынешнего старого князя. Давно это случилось, три с лишним десятка лет минуло, в те поры князюшка лихой был, ядреный, слова поперек не скажи... Подняли егеря медведя, зверь на князя, князь на зверя, всадил в мохнатую грудь рогатину, налег — а древко возьми да и

сломайся! Как хворостиночка. Подмял матерый мишка Лентовского, и быть уже беде, так тут мельникова жена неподалеку грибы собирала. Видит: живая душа без покаяния погибает; схватила горсть земли, подолом крест-накрест обмахнула, рыкнула по-медвежьи и зверю в глаза кинула. Скатился косолапый с князя и в лес! Ровно черти за ним гнались. Встал князь с земли, утерся — а Стахова женка отроду смешливая была, не удержалась и прыснула, на мятую княжескую рожу глядя! Стерпел Лентовский — егеря аж бровями повели — и говорит:

— Во сколько жизнь мою ценишь, хлопка[1]? Говори, не стесняйся — мы, Лентовские, караем страшно, но и награждаем щедро!

— Пусть хлопы жизнь человеческую в грошах оценивают, — отвечает жена мельника Стаха. — А мне, вольной, и того достаточно, что все живы: и я, и ты, и хозяин лесной, под которым ты, ровно баба под мужиком, стонал да бока пролеживал...

Что взять с глупой... язык помелом!

Во второй раз смолчал князь, лишь усы встопорщил и спросил:

— Так, может, ляжешь под меня, вольная? Я под медведя, ты под князя, и все живы: и князь, и ты, и княжеский байстрюк в твоем чреве! Что скажешь?

И за грудь мельникову жену ухватил пятерней.

Ох, и звонкая же оплеуха вышла! Лес луной пошел, егеря за головы схватились, а Лентовский смеяться стал.

Долго смеялся, по-княжески, а потом отдал жену мельника егерям на забаву. Сам смотрел, как ловчие тешились, трубку курил, затем постоял над растерзанной женщиной и приказал егерям бабе руки рубить. Правую, что князя била, по локоть; левую, не такую виноватую — только пальцы. Не посмели егеря ослушаться, сделали бабу безрукой, прижгли факелом раны, а Лентовский самолично ей на шею кошель с большими деньжищами привесил и велел с почетом домой проводить.

Проводили.

---

[1] *Хлопка* — холопка, крепостная (польск.).

С почетом.

Неделю после того мельница мертвой стояла, подмастерья да младшие Топоры в корчме Ицка Габершляга сиднем сидели, горькую пили — домой идти боялись. Выл мельник Стах над женой диким воем, с того света вытаскивал — вытащил. Только что с того?! Деньгами проклятыми расколотой жизни не склеить, рук новых не купить, а до князя Топору ни топором не дотянуться, ни словом достать. Не боится Лентовский ни бога, ни черта — на таких порчу наслать никак невозможно, а сухим деревом в лесу придавить, так для этого рядом быть надо, чтоб видеть-слышать... куда мельнику за князем по лесам гоняться?!

На тринадцатую ночь, как серпик молодого месяца верхушки сосен жать принялся, подкатил к мельнице тарантас. Спрыгнул с облучка худой возница в богатом камзоле, какие не носит окрестная шляхта, и в зеленом берете с петушиным пером. Не пускал раньше мельник Стах гостей на ночь глядя, да еще незнакомых, а этого пустил. До утра толковали. А за час перед рассветом вышел Петушиное Перо с мельницы, к тарантасу своему направился.

— Не сошлись мы с тобой, — сказал вслед незваному гостю мельник Стах. — Сам знаешь: я не купленный-проданный, я потомственный Топор, и даже ради мести... нет, не сошлись.

Ушел Стах обратно, дверью хлопнул, а Петушиное Перо стоит у тарантаса, не уезжает, ровно ждет чего.

И дождался.

Сын мельника, тринадцатилетний Топоришко, из-за угла вьюном вывернулся и рукой гостю машет: сюда иди, мол! Стали оба у подклети, слово за слово... молодое дело горячее, вот уже и ножик по руке полоснул, и перо гусиное в крови искупалось, чертит по желтому пергаменту, торопится!..

Опоздал ты, мельник Стах!

Поздно выбежал.

Засеребрились нити в русых волосах сына твоего, змеями поползли в разные стороны, а тарантаса уже и след простыл.

Бей дурня не бей, кричи не кричи — не поможет.

Сам парень судьбу себе выбрал.

Ровно через полгода плач стоял в родовом маетке Лентовских, а тот князь, что сейчас в старых князьях ходит, во время панихиды тайком ус довольно подкручивал: не было счастья, так несчастье помогло! С последней охоты, с зимней веселой травли, привезли егеря труп старшего брата в розвальнях. Сказывали: волк глотку перервал. Вот ведь что странно — из-под медведя живым выбрался, на вепря-одинца хаживал, рысь-матку брал, а тут волк...

Промолчали егеря, что волк тот седым был.

Новый-то князь злее старого — не вовремя высунешься, пеняй на себя!

А в Гаркловских лесах с тех пор часто видели седого волка — словно мукой обсыпали зверя с головы до ног...

* * *

— Ну что, баба, хороша моя сказка? — помолчав, осклабился Седой, и дико было видеть волчью усмешку на человеческом лице.

Сухая хвоя медленно осыпалась в костер, вспыхивая хрупкими огненными паутинками, и тени бродили по поляне, сталкивались, сливались, суматошно всплескивали рукавами, мазнув то по тихому Джошу, то по плечистому сыну мельника, то по женщине...

— Бедный ты, бедный... — Марта так и не поняла, произнесла она это вслух или только подумала.

В любом случае Седой все понял.

— Не жалей меня, баба, ни к чему! Не приучен я к жалости. Сам судьбу выбирал, сам и отвечу. Мне кровь княжеская, знаешь, какой сладкой показалась?! Как мамкин поцелуй... когда матери мертвых сыновей в лоб целуют. Стоял я над катом-Лентовским, пасть в багрянце, сердце соловьем поет, а сам чувствую: жизнь закончилась. И его, и моя. Дальше уже не жизнь будет. У Петушиного Пера на короткой цепи до самой смерти, а после смерти и того хуже — разве ж это жизнь?! И поверишь — ни на грош жалко не было. Ни тогда, ни после. Даже когда купца волошского рвал, который чем-то Хозяину не угодил; даже когда девчонку-трехлетку из Бугайцев выкрал... Сгорел дурак-Топоришко, один Гаркловский вовкулак остался!

— Кого хочешь обмануть, Седой? — Марта пристально глядела на сына мельника, теребя медный браслет на правой руке — памятку от приемной мамы Баганты, полученную при уходе из Шафляр. — Меня или себя? Говоришь, что сгорел, а сам вон каким огнем пылаешь... не обжечься бы! Меня-то зачем спасал?! По приказу?! Петушиное Перо велел?

Седой долго не отвечал. Смотрел в огонь, морщился, катал желваки на высоких скулах.

— Отец велел, — наконец разлепил он губы. — Только не спасать. Стаю поднять велел, попутчиков твоих в клочья велел, тебя к нему на мельницу загнать велел... хитер отец мой, Стах Топор! Таких отцов поискать! — На тебя у Петушиного Пера душу мою сменять решил! До сих пор себе простить не может, что не успел тогда меня удержать...

— А... Ян? Аббат тынецкий ему-то зачем понадобился?!

— Обманет Петушиное Перо или силой захочет тебя отобрать — священник молитвой да крестом прикроет, оборонит! Говорю ж: хитер мельник Стах! Тебя на меня, как мерку муки на горшок масла, монаха против Нечистого, как частокол против медведя, а сам сбоку притулится да приказы отдавать станет!

Седой ударил кулаком по колену и плюнул в костер.

— Когда на мельницу пойдем? — тихо спросила женщина. — Утром или прямо сейчас?

— Утром. Только не на мельницу, а в Габершлягову корчму. Туда провожу, а дальше сама как знаешь. Беги из наших мест, баба, не будет тебе здесь покоя! Ты теперь, как золотой талер — многим подобрать захочется...

— Почему ж ты мешаешь отцу подобрать? Пускай выкупит мной тебя — тем паче сила за вами, не убегу!

Скуластое лицо Седого окаменело, и лишь зеленые огни ярче засветились в глубоко утопленных глазницах.

Не глаза — окна заброшенной хаты на забытых богом перепутьях... стерегись, прохожий, бегом беги мимо!

— И в третий раз дура ты, баба. Отец меня смертной любовью любит, его понять можно! А я как услыхал, что нашлась в мире такая женщина, что за душу своего мужика на сатану поперла и купленный товар из рук его поганых

вырвала — веришь, в лес удрал и всю ночь на луну выл! От счастья — что такое бывает; от горя — что не мне досталось!.. Короче, на рассвете бери за холку суженого своего четырехлапого и беги, покуда можешь!

— Откуда? — задохнулась Марта, переводя взгляд с Джоша на Седого. — Откуда ты знаешь?! Петушиное Перо рассказал?!

Сын мельника вдруг с колен метнулся к собаке, падая на четвереньки, и обеими руками вцепился в густую шерсть на горле одноухого, прямо под дернувшейся челюстью.

— Не Перо, — прохрипел он в оскаленную собачью пасть, держа Молчальника мертвой нечеловеческой хваткой, как недавно держал уже один раз. — Сам догадался. Чтобы я, Гаркловский вовкулак, человека под шкурой не учуял?! Эх, баба, баба, что ж мы раньше-то с тобой не встретились?.. Смотри, пес — обидишь ее, из ада приду, зубами загрызу...

Марта смотрела на них — Седого и Джоша, двух людей-нелюдей, застывших глаза в глаза — и где-то глубоко в ней самой августовскими падающими звездами вспыхивали и гасли слова Гаркловского вовкулака, продавшего душу за материны руки да за кровь княжескую:

«У Петушиного Пера на короткой цепи до самой смерти, а после смерти и того хуже... и того хуже...»

Силы небесные, от чего же она спасала Молчальника в заброшенной сторожке?!

6

До того Михал никогда не дрался за жизнь свою с животными — только с людьми.

Когда под ним пала лошадь, он еще не успел ничего понять, но тело его, вышколенное годами жестокого воинского труда, было быстрей и умней любого понимания — лошадь только валилась на бок, клокоча растерзанным горлом, а Михал уже выдернул ногу из стремени и отпрыгнул к приземистому вязу в три обхвата, вжавшись в дерево спиной. Сразу выхватить палаш ему не удалось — волчьи клыки с лету рванули рейтузы на правом бедре, выше голенища сапога, внезапная боль бросилась, ударила, отпусти-

ла, испуганно забившись в закуток сознания воеводы; серая тень взлетела перед ним, слишком близко, чтобы пытаться кинуть ей навстречу прямую молнию палаша, и левая рука Райцежа змеей скользнула назад, между вязом и спиной, забираясь под короткую епанчу, туда, где за широким ременным поясом...

Эта испанская дага с граненым клинком в пол-локтя и большой зубчатой чашкой со скобой вдоль рукояти досталась Михалу не в Милане или Толедо — ее подарил воеводе тесть, отец Беаты, старый Казимир Сокаль. Как такое оружие попало к ушедшему на покой рубаке, почему он никогда не носил дагу при себе, храня дома в массивном сундуке под всяким прелым тряпьем — Райцеж не раз задавался этим вопросом, прекрасно зная, что ответа на него не получит. Год после свадьбы отставной воевода Казимир присматривался к зятю, хмыкая при виде его европейского камзола и рейтуз в обтяжку (сам Сокаль носил традиционный кунтуш и шаровары совершенно невероятной ширины, отчего походил на скатившийся с подставки пивной бочонок); год звенел с молодым преемником клинками, не прощая ни одной ошибки и ужасно напоминая при этом Шаранта-Бешеного, учителя шпаги из Тулузы; а на годовщину свадьбы поцеловал дочку в лоб, хлопнул зятя по плечу, заставив Михала покачнуться, и достал из сундука ту самую дагу.

— Тебе по руке будет, — бросил воевода Казимир. — Эх, дурье дело...

И, не сказав больше ничего, отправился к гостям пить горячее пиво со сметаной, до которого был большой охотник.

...острие даги, пронзив волчью шею навылет, стальным побегом проросло из загривка, тяжелая чашка с размаху ударила зверя под челюсть, почти подбросив уже мертвого волка, и через мгновение обмякший труп валялся поверх загрызенной им же лошади, а драгунский палаш Райцежа с лязгом вырвался на свободу.

Удар.

Еще один.

По бедру течет горячая липкая кровь — некогда, нельзя, потом...

Удар.

Марта!.. Где Марта?!.. Рычание в кустах, пыль столбом, хруст ломающихся веток — молодчина Джош, держись, одноухий!..

Удар.

Наотмашь, одной силой, без хитрости, без ума — не на зверя, не на человека, слепой удар, безнадежный, за такой сам Райцеж нерадивому ученику...

Попал.

Визгливо скуля и подволакивая перебитую лапу, раненый зверь отбегает в сторону, затравленно озирается... исчезает в сосняке...

Где Марта?!

Никакие воровские способности не могли помочь сейчас Михалеку Ивоничу из Шафляр — воровать у животного, даже спокойного и доброжелательно к тебе настроенного, было занятием почти бессмысленным: в отличие от человека, никогда не известно заранее, что тащишь, да и пока донесешь от зверя к себе, все или почти все уйдет между пальцев, как вода из пригоршни... а таскать у зверя злобного, исходящего слюной и яростью, было все равно, что пытаться выдернуть кусок мяса из оскаленной пасти.

Этим зверь мало отличался от человека, полностью погрузившегося в боевое безумие: такой же зверь, убить можно, обокрасть — нельзя.

На миг оторвавшись от спасительного вяза, Михал попытался было прорваться к кустарнику, где, как ему показалось, скрылась убегающая от волков сестра; куда там! — четыре серые тени облепили воеводу с боков, руки мгновенно занемели от удвоенной скорости движений, Михал завертелся волчком, брызжа сталью во все стороны, и, улучив момент, снова прилип спиной к дереву.

Волки кружили около смертельно опасного человека, но близко не подходили.

Одна из них, узкомордая волчица, отбежала в сторонку, припала к телу мертвого гайдука и, урча, принялась лакать еще горячую кровь из разорванной жилы между шеей

и плечом. Остановилась, покосилась на остальных и снова заработала языком.

Молодая еще, тощая, — лопатки горбом...

Сперва Михал не сообразил, что произошло. Вроде бы хрустнула ветка, но хрустнула слишком громко, слишком отрывисто, сизое облачко дыма выползло из зарослей карликового можжевельника, и тощая волчица вскрикнула почти по-человечески, высоко подпрыгнув и упав на труп гайдука. Морда зверя смотрела прямо на Райцежа, и в стекленеющих глазах волчицы медленно остывало удовольствие от вкуса свежей крови.

«Счастливая смерть», — отчего-то мелькнуло в голове воеводы.

Следующий выстрел уложил наповал второго волка, остальные засуетились, заметались по дороге — и вскоре исчезли в лесу.

Михал устало опустил палаш и смотрел, как из кустов, негромко переговариваясь, выходят люди. Человек десять, одеты добротно и ярко, как одеваются свитские какого-нибудь магната; идущий впереди усач смеется и неторопливо засовывает за расшитый золотой нитью кушак дымящийся пистоль.

Нет.

Не засунул.

Передумал, в руках вертит.

— Вовремя вы, — пробормотал Райцеж, когда человек с пистолем приблизился к нему. — Еще б немного...

— Это точно, — весело согласился тот и, подождав, пока Райцеж спрячет палаш в ножны, ударил воеводу рукоятью пистоля под ухо.

ГЛАВА V

1

— Совсем без ума баба, — бормотал себе под нос шедший впереди Седой, тщательно выбирая тропу, чтобы почти слепая в ночном лесу Марта снова не повредила больную ногу. Джош шуршал где-то рядом, изредка раздраженно порыкивая. Лучи молодого месяца косыми лезвиями

кромсали чащу, разбегаясь перед глазами в разные стороны, мороча, мельтеша, играя в прятки — и временами Марте казалось, что уж лучше бы было совсем темно. В этой зыбкой мгле любая коряга притворялась живой, и бросались под ноги ложные рытвины, на поверку оказывавшиеся просто тенями, а настоящие кочки и ямы зачастую терялись в причудливой игре лукавых бликов — и Марта, несмотря на все старания Седого, частенько спотыкалась, шипя от боли.

Обманщик-лес загадочно поскрипывал вокруг, где-то совсем рядом истошно верещала неизвестная Марте ночная птица (или не птица?), над головой мелькали неясные силуэты, хлопая кожистыми крыльями — и Марта совсем отчаялась выяснить, что же это: шутки игривого месяца, летучие мыши, совы, качающиеся ветки или нечто совсем уж непонятное и жуткое?

«Нежить, нечисть...» — упрямо лезло в голову, заставляя сердце биться чаще.

— Пришли, — Седой внезапно остановился, и через мгновение Марта поняла, что они действительно пришли: впереди была та самая дорога, где на них напали волки.

— Это не здесь, — шепотом сказала женщина после того, как огляделась по сторонам. — Мне кажется...

— Кажется ей, — все так же хмуро бросил Седой, не оборачиваясь. — Нам еще треть стаи[1] топать, только с твоей ногой по бурелому шастать несподручно!

Он был прав. Шагать по ровной укатанной дороге действительно оказалось гораздо проще. Наконец Седой снова остановился, по одному ему ведомым признакам определив место разыгравшейся недавно трагедии. Что-то темнело по левую руку у обочины — Марта скорее догадалась, чем увидела, что это труп одной из лошадей. А вон и другой... третий...

Седой нагнулся, шумно принюхался — потом, все так же согнувшись в три погибели и чуть ли не припадая носом к земле, заходил туда-сюда, всматриваясь, вынюхивая, не-

[1] *Стая* — мера длины, чуть больше одного километра.

разборчиво бормоча. Джош кружил рядом, занимаясь тем же, что и вовкулак.

Сама Марта стояла недвижно, понимая свою бесполезность.

...Убедить сына мельника загасить костер и отправиться посреди ночи к пустынной дороге оказалось делом нелегким, но Марта была непреклонна. Она должна была знать, что случилось с Михалом. Но Седого абсолютно не интересовала судьба воеводы Райцежа; его вообще, похоже, не интересовала ничья судьба, включая собственную. Единственное, чего Седой хотел: дождаться утра, вывести Марту к корчме Габершляга и больше никогда ее не видеть. Уговоры и просьбы не помогали. В конце концов Марта решительно встала и, кликнув Джоша, заковыляла в темноту, — к дороге Молчальник ее вывел бы наверняка, уж на это его нюха хватило бы, и Седой это знал. После такой выходки Гаркловскому вовкулаку ничего не оставалось, как прикрикнуть на дуру-бабу, чтоб подождала, наскоро забросать костер землей и возглавить этот странный поход. Напоследок Седой демонстративно помочился на пепелище, даже не попросив Марту отвернуться. Глупая выходка; нет, не глупая — волчья. Ох и баба... Не для того Седой ее спасал, чтоб по пути эту женщину снова встретили волки, а то и кто-нибудь похуже: уж Седому-то было известно лучше всякого, что волки — далеко не самое страшное, что водится в здешнем лесу!..

— Жив твой воевода, — Седой стоял рядом, вертя в руках какой-то подобранный им предмет, и в свете месяца тускло блеснула сталь. — Наследили тут... молочный кутенок разберется! Узнаешь клинок?

Марта наконец разглядела, что показывает ей сын мельника.

— Вроде бы Михала, — неуверенно проговорила она, беря у Седого оброненную дагу и прикладывая к щеке холодную чашку гарды. — Точно не скажу, но если так, Михалек по своей воле оружие никогда не бросил бы!

— Вот и я похоже мыслю. Увезли воеводу. И не по доб-

рой воле. Потому и не подобрал железяку-то... Волков кого побили, кого прогнали, а его, видать, связали и увезли.

— Живого?! — Марта вся подалась вперед, и Седой даже отпрянул от неожиданности, оторопело щелкнув зубами.

— Живого, живого! На кой ляд им мертвый?

— Куда... куда они поехали?! — Марта чуть не схватила своего спасителя за грудки, но сдержалась.

— Туда, — махнул рукой вовкулак. — В корчму Габершляга. Куда им еще ехать на ночь глядя?!

— А кто это был? Разбойники? — внезапно пришло на ум Марте.

— Вряд ли, — с сомнением протянул Седой. — Многовато их для разбойничков! Человек десять, не меньше. И сапоги на всех панские, на доброй подошве, с подковками... по следам видно. Нет, не разбойники это.

— Тогда кто?

— Не знаю! — озлился сын мельника. — Вот ведь пристала, что твой репей — кто, куда... Не знаю я! У отца моего поди спроси — может, и скажет...

— И спрошу, — нимало не смутилась Марта. — До мельницы вашей отсюда далеко?

— До мельницы-то рукой подать, только ходу тебе туда нет! Не для того я тебя у отцовых волков отбивал, чтобы ты сама на сатанинский базар товаром явилась! Провожу до корчмы — и чтоб духу твоего завтра тут не было!

— Спасибо тебе, Седой, — тихо сказала Марта, коснувшись кончиками пальцев небритой щеки вовкулака. — Спасибо. А мельницы вашей мне любым боком не миновать. Брат мой там, Яносик... настоятель тынецкий. Думаешь, его твой отец после всего живым выпустит?

Седой не отвечал, уставясь в землю.

— Молчишь? Правильно делаешь. Сам знаешь: нельзя Стаху Топору теперь аббата Яна живым отпустить — на другой же день стражники с монахами к вам на мельницу заявятся. А ведь ему не Ян нужен — ему я нужна. Значит, из-за меня все вышло. Вот ты сам — не хочешь ведь за чужими спинами прятаться, потому и меня у волков отбил! И я не хочу. Брат он мне, аббат Ян! Понял? Не дам я твоему отцу Яносика из-за дуры Марты жизни лишать! Не дам!

Что хочешь делай — бей, гони, не пускай — все равно приду! Из-за меня каша заварилась, мне и расхлебывать!

И Седой понял, что женщина эта все равно поступит так, как сочтет нужным. Значит, зря он несся через лес, спешил, боясь опоздать, зря схватился насмерть с Рваным, вожаком волчьей стаи, — все зря.

Или не зря?

— Джош, а ты беги в корчму, выручай Михала! Я знаю, ты что-нибудь придумаешь! — Марта сама не верила в то, что говорит, но другого выхода у нее не было. Она должна попытаться спасти Яна, но бросить Михала в беде она тоже не могла. Значит, оставался Джош. Четвероногий вор, плут и мошенник — может быть, у него действительно получится?

— Ну что же ты, Джош! — прикрикнула она на замявшегося было пса. — А потом оба идите на мельницу. Дорогу по нашему следу найдешь?

«Найду», — обреченно кивнул Джош, который тоже понял, что Марту не отговорить ни ему, ни оборотню, да и вообще никому на этом или на том свете.

У всех троих на душе было так тоскливо, что хотелось завыть на месяц, холодно прищурившийся сквозь рваную вязь черных ветвей.

Отбежав подальше, Джош так и сделал.

2

Ицка Габершляга, корчмаря из корчмарей, за дело прозванного Рыжим Базлаем, совершенно не вдохновляла участь собрата по ремеслу Иошки Мозеля. Из-за какой-то поганой кошки, которой стукнуло в дурную голову вцепиться в рожу... проще пана, в личико князю Лентовскому, лишиться верного куска хлеба на старости лет?! Пусть мои враги этого не дождутся!

Зная Габершляга, можно было поверить: не дождутся.

Первым делом Рыжий Базлай истребил в своей корчме всю опасную живность, включая рыжих, как он сам, и таких же нахальных тараканов. Последнее оказалось самым трудным, на грани невозможного, но Ицко это сделал — и не спрашивайте как! Он и сам не очень-то хорошо понимал — как. Сделал и сделал.

Затем Габершляг созвал все свое многочисленное семейство на совет и полдня втолковывал им, как себя следует вести в тысяча ста тридцати восьми крайних случаях, которые могла вообразить умная голова Рыжего Базлая.

Семейство кивало и делало выводы.

Выводы понадобились очень скоро. Ведь если к тебе в корчму на ночь глядя вваливается десяток шумных вооруженных господ, под самую завязку преисполненных шляхетского гонора, а ты только что своими глазами видел, как один из них волок за конем связанного человека, совершенно не похожего на беглого хлопа — ну где вы видели хлопа в камзоле и рваных рейтузах?! Короче, ссориться с такими гостями будет кто угодно, но только не Рыжий Базлай.

Это вам не бешеными кошками рожи полоскать...

Пива? — сколько угодно, темного, светлого, со сметаной, с корицей и тмином; водочки? — панской на апельсиновых корках, зусмановки с отваром лаврового листа, травничка душистого, мятной для прохлаждения души; а уж о закуске не извольте беспокоиться!

Всего и побольше!

Незаметно мигнув младшей дочке, понятливой умнице, Габершляг вскоре наблюдал, как и неподалеку от брошенного в угол пленника сама собой образовалась миска тушеной капусты вперемешку с рубленой индюшатиной. А поскольку руки у несчастного были связаны сзади, то Габершлягова дочь, пробегая мимо, всякий раз незаметно отправляла пленнику в рот полную ложку, не забывая подносить иногда и кружечку с вином.

Предусмотрительность корчмаря не имела границ: заметит вельможное панство, браниться станет — всегда можно сослаться на угодное богу милосердие и сострадание, ну а сойдет с рук — всякое может статься, завтра этот пленник заедет в корчму с полусотней пахолков за спиной и с вельможным панством на цепях, сразу и вспомнит гостеприимство Рыжего Базлая...

Ох, не зря торчит у входа в корчму длинный шест с пучком соломы на конце — издавна обозначавший приют и веселье для усталых и жаждущих!

Добро пожаловать, гости любезные!

К полуночи большая половина приезжих сочно храпела на лавках, с головой укрывшись дорожными кобеняками[1]; брошенный щедрой рукой кошель согрел сердце корчмаря Ицка и немедленно упокоился в надежном месте, пленник по-прежнему валялся в углу на дощатом полу, и всякий раз, сталкиваясь с ним взглядами, Рыжий Базлай бормотал молитву — ох и норов у пана, не сглазить бы! — и на всякий случай виновато разводил руками.

За столом же, напоминавшим поле после побоища (которое, как известно, принадлежит мародерам), вовсю шла игра в кости. Самый крепкий из вельможного панства, немолодой усач, из-за кушака которого грозно торчала дубовая рукоять пистоля, вовсю проигрывал двум своим приятелям, клюющим носами и плохо отличающим двойку от шестерки.

Видимо, подтверждалось правило: везет пьяным, детям и дуракам.

— Удваиваю ставки! — кричал усач, грохая кулачищем о стол. — Идет?

Приятели кивали — и азартный игрок лез за пазуху, бренча припрятанными монетами.

Габершляг уж совсем было собрался крикнуть жене и дочерям, чтоб прибирались в зале (зала — громко сказано, но Рыжему Базлаю была свойственна возвышенность слога после удачного дня), но тут случилось удивительное событие.

— Чего изволит ваша милость? — машинально спросил Габершляг у вошедшего в корчму, и только потом сообразил, что новый гость — собака.

Просто собаки никогда не заходят с таким ясновельможным спокойствием, равнодушно осматриваясь по сторонам, будто собираются спросить вина с горячими колбасками; и никак не должно у приблудной псины красоваться на морде полное пренебрежение к застывшему корчмарю.

Не успел Рыжий Базлай прийти в себя и потянуться за ухватистым шкворнем, как наглый пес величаво прошествовал к столу и запрыгнул на скамью рядом с усачом.

---

[1] *Кобеняк* — плащ с капюшоном.

— Шесть, шесть и...

Собачья лапа с удивительной ловкостью мазнула по столешнице, зацепив когтем ближайший кубик.

— ...и шесть! — торжествующе закончил усач, покосившись на пса.

В ту же секунду Ицко Габершляг потрясенно увидел, как пес поднял торчком единственное ухо и весело подмигнул усачу: дескать, мы-то с тобой знаем, что показывали кости до того!

«Хрен тебе, а не восемнадцать!» — было написано на лохматой морде.

И Габершляг понял, что если он сейчас попытается выгнать собаку из корчмы, то ему придется иметь дело с усачом.

Игра продолжилась. Монеты мало-помалу перекочевывали обратно за пазуху к своему прежнему хозяину, усач после каждого удачного броска целовал одноухого пса в мокрый нос и обещал тому золотую цепь и яхонтовую конуру, а Рыжий Базлай махнул на пса рукой и вернулся к своим обязанностям.

Поэтому Ицко не видел, как пес спрыгнул со скамьи, на миг ткнувшись мордой в сапог усача — и когда одноухий вразвалочку направился к теплой печке, где совсем неподалеку валялся связанный человек в камзоле, то в зубах собаки находился короткий нож, еще мгновение тому назад торчавший за голенищем сапога усатого.

И нес-то пес украденный ножик хитро: поворотив голову набок, чтобы лезвие не отблескивало, зарывшись в густую шерсть...

Потершись о нагретый печной бок, одноухий вернулся к игрокам, но уже без ножа.

Правда, по дороге он озабоченно оглядывался и нюхал воздух, а потом зачем-то задержался возле одного из спящих, подергал зубами топорщившийся край кобеняка и выразительно покосился на связанного человека.

Тот, похоже, спал, совершенно не интересуясь собачьими взглядами.

Игра за столом к этому времени прекратилась, проигравшиеся в пух и прах приятели усатого уронили головы на

руки и присоединили свой храп к общему; один усач, возбужденный звонким приварком, допивал пиво и клялся всеми святыми, что не даст такой замечательной собаке сдохнуть у забора.

Взгляд его скользнул по спящему пленнику и стал несколько осмысленнее.

— Досмотреть, что ли? — пробормотал усатый сам себе и с некоторым трудом встал.

Покачиваясь, он добрел до угла, склонился над человеком в камзоле, явно собираясь проверить путы, уже потянулся, коснулся плеча...

Внезапно выпрямившись, усач принялся ожесточенно тереть глаза, словно ему под веко попала соринка. Потом он недоуменно посмотрел на так и не шелохнувшегося пленника, будто пытаясь понять — зачем вставал из-за стола, зачем тащился сюда?! — и шлепнулся на пол в двух шагах, привалившись спиной к теплой печке.

Еще через мгновение усач дремал, положив ладонь на рукоять заряженного пистоля.

* * *

...сны бывают разные, но в основном они делятся на приятные и неприятные.

Усатому снился неприятный. У него пытались украсть выигранные деньги и что-то еще, о чем усач точно знал, что это украсть никак невозможно. Заворочавшись, он причмокнул толстыми губами, пытаясь выругаться, после махнул плохо слушающейся рукой, махнул еще раз...

Ничего не помогало.

В рот ткнули твердым и холодным, усач машинально попытался отхлебнуть и с ужасом понял, что это никак не край кружки, а граненый ствол его же собственного пистоля. Пистолю полагалось торчать за кушаком, а человеку, который его держал, полагалось тихо и беспомощно валяться в углу, но сон есть сон, и он разительно отличается от действительности хотя бы тем, что не знает слова «полагается».

— Спи дальше, — тихо прошептал человек и в довесок к словам снова ткнул дулом в рот усача.

Усач хотел сказать, что не хочет спать дальше, что ему совершенно не нравится этот сон, но неожиданно для самого себя кивнул. Ему даже стало интересно: что может присниться после такого своеобразного начала?

Приснилась уже знакомая замечательная собака, стащившая кобеняк с одного из спящих, приснился бывший пленник, забравший свой палаш, который лежал рядом с храпящим детиной — хозяином кобеняка... приснился скрип двери и вскоре — удаляющийся топот копыт.

— Караул, — негромко сказал усач.

Он был прав.

3

По дороге шли недолго. Седой коротко мотнул головой, и они снова углубились в лес. Тропа под ногами извивалась придавленным ужом, и Марта уже устала удивляться — как это Седой исхитряется безошибочно находить путь в кружеве обманчивых проблесков. И добро б находил — так сын мельника его даже и не искал; просто шел себе, не глядя под ноги, как по хорошо знакомой улице средь бела дня.

Над головой опять усилилось мельтешение и хлопанье крыльями, только на этот раз вовкулак удостоил назойливых тварей (ветки? блики?..) зеленой вспышки хмурого взгляда.

— Что это? — не выдержала Марта. — Ну, над нами... летает?

— Бухруны, — нехотя проворчал Седой.

«Объяснил», — подумала Марта.

— А кто они, эти бухруны? Они живые?

— Нет.

— Призраки?

— Нет.

Марту начала раздражать эта содержательная беседа.

— Так кто же тогда?! — повысила она голос. — Они опасные?

— Для кого как. Для меня — нет. И для тебя покамест тоже — пока я рядом, не сунутся. А вот навести могут, — сын мельника окончательно помрачнел и умолк, после

чего Марта решила не допытываться, что способны сделать в отсутствие Седого загадочные бухруны, а также кого и зачем они могут навести.

В прошлом Марте не раз случалось бывать в ночной чаще близ родных Шафляр, с отцом или кем-то из знакомых пастухов, и это всегда было немного жутковато, но сейчас... Словно попала в какую-то нездешнюю страну, которой и нет-то вовсе, и в то же время она есть: шуршит вокруг, поскрипывает, переливается лунными миражами, хохочет совиным уханьем, издевается непонятно откуда идущим скрипом, шелестит сотнями маленьких лапок, ног, крыльев... Вот, к примеру: что это там, в просвете между двумя корявыми громадами вековых дубов? Столбы желтой светящейся пыльцы — или действительно призраки, лесные духи? На мгновение Марте померещилось, что она различает танцующие в мерцающем сиянии бесплотные гибкие фигуры с распущенными волосами... и вот опять — холодные лучи месяца, покачивающиеся ветки, серебрящаяся трава, причудливая мешанина кустов, и больше ничего.

Шорох в траве, совсем рядом. Марта не удержалась, нагнулась... Маленький мохнатый человечек уставился на нее из травы, вцепившись тоненькими пальчиками в метелку дикого овса. А Марта, чуть ли не раскрыв рот, смотрела на него. Но тут человечек вдруг обиделся, плюнул, погрозил Марте кулаком и нырнул в траву — только его и видели.

— Ты что, потеряться хочешь? — громыхнул над ухом злой голос Седого.

— Я... там... он мне кулаком... — только и сумела выдавить Марта.

— Ну и что? — не понял вовкулак. — Ты что, пендзименджиков никогда не видела? Или он тебе глаза отвести пытался?

— Не видела, — призналась Марта.

— Ты еще много чего не видела, — «успокоил» ее сын мельника. — И дай бог, чтоб не увидела. Пошли!

«Скажи я Джошу о своем воровском таланте, — подумалось женщине, — не после чумы и сторожки, а до,

может, и я сама стала бы для Молчальника чем-то вроде обидчивого пендзименджика, а то и бухруна...»

За всеми этими наваждениями Марта успела забыть о больной ноге, но, споткнувшись о торчавший из земли корень, невольно вскрикнула от боли и остановилась.

— Стеречься надо, ежели по лесу ходить не умеешь, — проворчал Седой, поджидая Марту, но в голосе его явно слышалась тревога. — Скоро уже. Ты потерпи чуток... Эх, зачем я тебя только веду, на погибель-то!

— Рано ты меня хоронишь, Седой, — Марта отнюдь не чувствовала в себе уверенности, с которой произнесла эти слова. Но на Седого они, а скорее тот тон, которым они были сказаны, неожиданно произвел впечатление.

— Думаешь, и в этот раз справишься? — с почти детской надеждой в голосе спросил он. — Один-то раз смогла, авось и в другой выйдет?

— Не знаю, — честно ответила Марта, пытаясь не отстать от ускорившего шаг вовкулака. — А вот вдвоем с Яносиком...

Седой ничего не ответил — напоминание об аббате явно пришлось ему не по вкусу.

Впереди наметился неясный просвет, и вскоре Марта вслед за Седым вышла на опушку таинственного леса, сразу сникшего и растерявшего изрядную часть своей загадочности.

Они стояли на краю обширной луговины. Издалека глухо доносился шум реки, скрытой от глаз, — и лишь черневшая впереди мельница (Марта догадалась, что это именно мельница, прежде чем сумела что-либо толком разглядеть) указывала на место, где эта самая река протекала.

Но гораздо ближе к ним, почти у самой опушки, неправдоподобно четкие в сиянии зависшего над горизонтом месяца, серебрились и отбрасывали глубокие чернильные тени кресты. Покосившиеся, старые и совсем еще новые кресты небольшого погоста. Заросшие густой травой и просевшие холмики могил, прохудившаяся деревянная ограда...

А у ограды стоял износившийся на неведомых дорогах тарантас, запряженный одной-единственной лошадью. Лошадь меланхолично жевала, время от времени засовы-

вая морду в висевшую у нее на шее торбу; позади лошади, на облучке развалюхи, восседал высокий мужчина с темной бородкой клинышком и рыжим петушиным пером на знакомом берете, лихо заломленном набок.

В руках Великий Здрайца держал ровный стволик орешника и увлеченно чиркал по нему крохотным ножичком.

4

— Подвезти? — спросил Петушиное Перо, продолжая вырезать тросточку. — Или уже приехали?

Марта беспомощно смотрела на раздолбанный тарантас, на запряженную в него пегую кобыленку, чей выпирающий хребет грозил прорвать облезлую шкуру; на худого человека, чертящего маленьким лезвием по орешине и время от времени дергающего себя за клок волос на подбородке.

Седой решительно шагнул вперед и встал между женщиной и тарантасом.

— Уважаю, — протянул Петушиное Перо, иронически разглядывая Гаркловского вовкулака. — Герой... Кому сказать — не поверят. Хочешь, прикажу, и сам ее загрызешь? Ну как?

Седой оскалился и сделал еще один шаг.

Рассмеявшись, Петушиное Перо махнул недорезанной тросточкой — и сын мельника споткнулся, припал на колено... на другое... неодолимая сила сгибала плечистого коротышку, ставя на четвереньки, покрывая жесткой шерстью обнаженные предплечья, забивая мучительно приоткрывшийся рот острыми клыками, искажая очертания...

Петушиное Перо подпрыгнул на облучке, коротко присвистнул; и все исчезло.

Стоит себе человек на четвереньках перед тарантасом — мало ли, может, кисет с табаком потерял, теперь ищет!

Марту поразило не то, что происходило с вовкулаком; повинуясь какому-то непонятному порыву, она почти сразу перевела взгляд с корчащегося Седого на Великого Здрайцу — и шальная, невозможная мысль обжигающим

вихрем пронеслась в сознании: Петушиное Перо посмеивался, чтоб не закричать!

Марте было хорошо знакомо это состояние. Когда украдешь у кого-нибудь непонятно что, приглянувшееся искрящимся блеском, и только в себе разберешься, что случайно прихватил боль от смерти матери или страх перед виселицей; когда краденое в первый, самый опасный миг неосознанно становится своим, ослепляя и бросая в пот, — но вокруг люди, и ты должна улыбаться, говорить всякую чушь, быть любезной и приветливой!..

Вот такое лицо и было сейчас у Великого Здрайцы.

Внутри пожар, снаружи — смех.

Может быть, именно поэтому закоренелые душегубы поют песни или хохочут на площадном помосте в спрятанную под капюшоном рожу палача — боль за смехом, как и за криком, легче прячется...

Она протянула руку и погладила спутанные мокрые волосы вовкулака.

— Не надо, — тихо попросила Марта. — Не мучь его.

— Хорошенькое дело! — тонкие брови Петушиного Пера удивленно изломались домиками; такими милыми домиками с островерхими черепичными крышами, каких много в венских предместьях. — Я, понимаешь ли, кобылу до полусмерти загнал, колеса по три раза на дню меняю, за ней гоняючись, а теперь здрасьте — не мучь его! Сама обокрала меня, как последнего ротозея на ярмарке, удрала с чужим имуществом, прячется по монастырям... Небось я бы чего спер — так сразу бы: ах, Лукавый, ах, Нечистый!.. нечистый, зато честный! Все по договору — условия и подпись! Своего не уступлю, но и чужого не хватаю!

Он ерничал, гримасничал, поминутно хватаясь за седеющую эспаньолку, а в глубине серебряных провалов его глаз медленно остывала, подергивалась коркой пепла, каменела уходящая боль.

Страшная боль.

Марта только удивлялась, почему Седой этого не замечает.

— Ох, люди! — Петушиное Перо вдруг сдернул свой замшевый берет, нацепил его на маленький сухой кулачок и

уставился на берет, как если бы видел его в первый раз. — Адамово племя! Меня хают медным хайлом, а сами — только зазевайся! Одни святоши чего стоят! На защиту свою, на аббатика тынецкого хочешь полюбоваться? Какие он службы тихой сапой отслуживает?! Хочешь?

Марта не поняла последних слов Великого Здрайцы. Просто кулак с беретом неожиданно повернулся к ней, и рыжина пера сверкнула в глаза мутным светом десятка свечей...

...дым стоял коромыслом. Два стола уже были перевернуты, и между ними возились в пьяной драке несколько нищих, пропивавших на постоялом дворе в Казимеже свой скудный заработок. Драчунов подначивали, делали ставки, ожесточенно споря, кто кого раньше придушит; пышнотелая служанка, чьи прелести откровенно вываливались из полурасстегнутого корсажа, только что смазала по физиономии подвыпившего купца, пытавшегося ухватить ее за ногу, но купец не отставал, он расторопно крутанул девицу и усадил к себе на колени, заблаговременно сверкнув нужной монеткой. Всю спесь служанки как корова языком слизала, рука купца мгновенно втиснулась девице за пазуху и была встречена крайне благосклонно, а выползший из свалки одноногий нищеброд как завороженный глядел снизу на обнажившуюся полную грудь с полукружием розового соска...

Купец раздраженно пнул калеку сапогом, что-то беззвучно выкрикнув и повернувшись к несчастному лицом.

Это было лицо Яна Ивонича, тынецкого аббата.

Марта вытерла слезы и только тут поняла, что плачет.

Великий Здрайца делал вид, что снова поглощен своей тросточкой, но поведение женщины вызвало мимолетную тень смятения на его выразительном лице. Он ожидал чего угодно — неверия, негодования, изумления, но слез он не ожидал. Такими слезами плачут над лесорубом, которого привалило падающей сосной, но уж никак не над гулящим аббатом.

А Марта оплакивала Яносика, ставшего отхожей ямой для сотен кающихся, священника-вора, открывшего свою

душу для чужих грехов, самовольно забиравшего сомнения и страсти у ищущих покоя — старший сын Самуила-бацы крал цепи у каторжников, безобразие у уродов, брал не спросясь, насильно присваивал... и грязный кабак в Казимеже был его епитимьей, освобождающими муками, после которых опустошенный аббат возвращался в монастырь — воровать.

Гаркловский вовкулак, сидя на земле у ног Марты, тоже смотрел на женщину — и зеленые свечи удивления медленно гасли в омутах его глаз.

— Еще что-то покажешь? — Марта в последний раз всхлипнула и откинула назад упавшие на лоб волосы. — Или устал?

— Понравилось?! — тут же засуетился Петушиное Перо. — По душе, по сердцу?! Чего теперь изволите, ваша милость?

Суетливость его была не к месту: так ведет себя паж-недоросль, желающий понравиться госпоже, — и, словно почувствовав это, Петушиное Перо нацепил берет обратно на голову, заломил его привычным жестом, дернул свою эспаньолку раз-другой и превратился в прежнего, холодного и насмешливого дьявола.

— Их милость желают развлечься, — раздумчиво пробормотал он и крутанул тросточку в тонких, невероятно гибких пальцах. — Их милость интересуются людьми... близкими к их милости. Ну что ж, мы готовы служить верой и правдой... правдой и верой... о, нашел! Смотри сюда! Да не на меня, а левее!

Марта машинально глянула в сторону давно отцветших кустов сирени, пышно обрамлявших дальнюю часть ограды погоста — и небо неожиданно посветлело, зелень кустов брызнула в лицо, а потом возникло лежащее на пригорке бревно и два человека на этом бревне...

«Батька? — вырвалось у Марты. — Батька Самуил?!»

Но ее никто не слышал.

...хмурый рассвет зябко обволакивал сидящих на бревне людей колеблющейся дымкой. Но и сквозь эту кисею Марта безошибочно узнавала знакомое с детства морщинистое лицо Самуила-бацы, гордый орлиный нос с гневно раздувшимися

ноздрями, смоляные жабьи глаза навыкате, где сейчас полыхал темный огонь, прямую спину, которую так и не смогли согнуть семь с лишним десятков лет, огромные жилистые ладони отца, тяжко лежащие на костлявых старческих коленях...

Рядом с Самуилом-бацой сидел Михалек. Сидел — и все не мог усидеть на месте. Воевода Райцеж что-то горячо доказывал приемному отцу, поминутно вскакивая и размахивая руками (даже это Михал делал так, как если бы в руках его было зажато по клинку); проходила минута, другая, Самуил-баца отрицательно качал кудлатой головой, и все начиналось заново.

Наконец Михалека прорвало. Вскочив в очередной раз, он схватил отца за грудки, мощным рывком сдернул с бревна и притянул к себе, беззвучно крича в оскаленное лицо старика. Возраст не лишил Самуила-турка изрядной доли его прежней силы, руки шафлярского вора мертвой хваткой вцепились в камзол непочтительного воспитанника, на миг они так и застыли: громадный старик с ликом древнего идола и молодой воевода, играющий сталью и чужими жизнями, как ребенок самодельными куклами... вечер отшатнулся в испуге, рваные полосы сумерек загуляли из стороны в стороны — и словно овечьим молоком плеснули на Самуила-бацу! Страшно побледнев, он бросил Михалека, хватаясь за грудь, кашляя и сгибаясь в три погибели; почти рухнув на бревно, некоторое время он еще содрогался, пытаясь выпрямиться, а потом сполз на землю, скорчился у ног сына, тело Самуила выгнулось последней судорогой и застыло.

Воевода Райцеж недвижно стоял над трупом отца.

Не понимая, что делает, Марта шагнула вперед, ткнувшись в невидимую преграду — и увидела совсем рядом с собой светловолосого юношу, почти мальчика, одетого по-гуральски: спасающая от дождя, прокипяченная в масле рубаха с такими широкими у запястья рукавами, что они свисали чуть ли не до колен, полотняные штаны с синими завязками, широкий пояс из темной кожи, унизанный медными и серебряными бляшками, высокая баранья шапка...

Юноша неотрывно глядел на Михалека и мертвого Самуила, пальцы его тискали рукоять сунутого за пояс ножа — и воевода словно что-то почувствовал: резко огляделся, на-

половину обнажая палаш, отступил на пядь-другую, а после быстро пошел, почти побежал прочь.

Капли начинающегося дождя упали на тело Самушла-турка, преграда перед Мартой все мешала ей кинуться к отцу, в отчаянье она попыталась обогнуть препятствие, налетела на юношу-гураля, прошла сквозь него, всем телом сослепу врезавшись в живое, теплое, всхрапнувшее при столкновении; и Марта узнала юношу, узнала за миг до того, как перестала видеть.

Все Шафляры знали, что к Янтосе Новобильской, молодой вдове Яцека Новобильского, захаживает ночами Самушлов побратим, Мардула-разбойник. Не то чтобы каждой ночью, а так — когда вертится в окрестных местах, и не гоняются за ним чьи-то гайдуки или обокраденные липтовские пастухи, скорые на расправу. Видно, крепко любила вдовая Янтося лихого Мардулу, хоть и немолод, сильно немолод был разбойник: и замуж ее звали — не шла, и липтовцы грозили помститься за Мардулины грехи — смеялась да шутки шутила, и мальчонку от разбойника прижила — сама вытянула, вырастила, не побоялась отцовым именем назвать... Когда Марта Ивонич в восемнадцать лет покидала Шафляры, сыну Мардулы и Янтоси Новобильской было лет восемь-девять, не больше, и играл он себе с другими хлопцами в цурки, лишь вспыхивая взором, когда слышал россказни о темной славе отца своего.

Вот этот-то самый Мардула, сын Мардулы-разбойника, да и внук тоже, кажется, Мардулы-разбойника (краковский каштелян[1], слушая доклады о неуловимом гурале, втайне считал его бессмертным) — именно он и стоял сейчас рядом с Мартой, повзрослев на те девять без малого лет, в течение которых Марты не было в Шафлярах.

Стоял, кусая губы и хватаясь за нож.

5

Запряженная в тарантас кобыла фыркала и добродушно тыкалась в Марту мягкими губами.

— Врешь! — выдохнула женщина, отстраняя лошадь и поворачиваясь к Великому Здрайце.

---

[1] Каштелян — сановник, член сената, назначавшийся королем для управления городом.

— Может, и вру, — легко согласился тот. — Всяко бывает: могу соврать, могу сам обмануться, а могу и правду сказать! Что, красавица, отравил я тебя?! Верь не верь, а забыть не сможешь! Сама видела, как пан воевода над речкой Тихой молодого шляхтича заколол! Мог бы пощадить, мог бы наказать легкой раной за дерзость — а он раз, и локоть стали в брюхо! Чтоб не сразу помер, чтоб помучился, как следует... Что такому отец родной, а тем паче неродной?! Меньше, чем ничего!

— Замолчи!

Голос Марты сорвался на хриплый дребезг, и в горле мгновенно забегали колкие мурашки, растаскивая неродившиеся слова в разные стороны.

— Ну уж нет! — рассмеялся Петушиное Перо, выпячивая подбородок. — Не тебе тут приказывать, воровочка моя! К тому же слыхала небось: разбойный Мардулин пащенок жену Михала не за выкуп отдает — за Высший суд, который рассудит его и убийцу Самуила! Я-то к их шайке случайно пристал, по дороге, а тут смотрю — потеха! Спеши на сороковины к отцу, спеши!.. То-то поминки славные получатся!

— Чего ты хочешь? — устало спросила Марта.

И ответ Великого Здрайцы поразил ее острее только что виденной смерти отца.

— Ничего, — не менее устало ответил дьявол.

Даже Седой изумленно поднял голову и как завороженный уставился на расплавленное серебро, плещущее в глазницах Великого Здрайцы.

— Ничего, — повторил дьявол. — Уеду я сейчас. Сяду в тарантас, хлестну кобылу — только меня и видели! Не веришь, воровочка? Думаешь, вру! Может, и так... вот уж помучишься сомнениями, когда я и впрямь уеду! Душу любовничка своего собачьего оставить хочешь? — забирай! Жалко, а все равно забирай! За себя боишься — не бойся, не трону... Спеши в Шафляры, аббатика с мельницы вытаскивай, воеводу вызволяй — твое дело, твоя забота! Об одном прошу... да не дергайся ты! На лице прямо написано: «Раз *ЭТОТ* о чем-то просит, значит, жди подвоха!» В общем-то верно написано... Так вот, об одном прошу: когда в

следующий раз пути наши пересекутся, или сам я тебя отыщу и на дороге встану — не побрезгуй в память о старой краже и тихой беседе близ Топорового погоста задержаться на минутку, перекинуться с Петушиным Пером словцом! Молчи, не отвечай! И не пытайся понять: за что такое благоволение?! Просто запомни, о чем просил...

И впрямь ничего не понимающая Марта следила за тем, как Великий Здрайца лезет в свой тарантас, вынимает какие-то свертки, котомки, узелки, потом расстилает на траве старенькую скатерочку и начинает расставлять разную снедь — содержимое свертков, котомок и узелков. Черный ржаной хлеб, светящееся розовым сало, горшочки с тушеным мясом, ломти щуки в тесте; две объемистые фляги...

— Сейчас, — бормотал себе под нос Великий Здрайца, вытирая вспотевший лоб кружевным платком, невесть как оказавшимся в его руке, — сейчас заморим червячка, и я поеду... ох, и поеду же я... чертям тошно станет!..

Утро безуспешно тыкалось заспанной мордой в брюхо горизонта, выдаивая из дряблых сосцов лишь промозглую сырость, спустившуюся на луг, — и Марте было все равно, откуда у Великого Здрайцы во фляге пиво и почему оно горячее; главное, что пришлось оно как нельзя кстати. Даже Седой не стал отказываться от угощения — несмотря на звериное здоровье, вовкулак тоже продрог, да и проголодался.

Может быть, поэтому, увлекшись ранним завтраком в столь неожиданной компании, люди и нелюди у тарантаса не сразу расслышали приближающиеся шаги. Вокруг сгустился туман, отчего видно стало ничуть не лучше, чем ночью; Седой встрепенулся первым, Марта припоздала, и почти сразу кисельная слякоть расступилась и выпустила из себя компанию не менее странную, чем та, что завтракала сейчас у старого погоста.

Впереди уверенно шел потомственный мельник Стах Топор с корявой клюкой в руках, и выглядел он так, словно каждый день привык ни свет ни заря шляться к погосту и обратно. За седеньким колдуном степенно шествовал настоятель Тынецкого монастыря аббат Ян Ивонич, держа в правой руке маленький молитвенник с переплетом из тис-

неного сафьяна — а по обе стороны от ксендза вразвалочку двигались двое замыкавших шествие детин-подмастерьев в холщовых штанах и рубахах.

— Добрейшее утречко, ваши милости! — первым нарушил молчание Петушиное Перо, когда предводитель — Топор, а за ним и все остальные, остановились в нескольких шагах от завтракающих.

— Вот это и есть дьявол, святой отец! — шепнул мельник через плечо отцу Яну, но голос подвел старого Стаха, так что сказанное услышали не только Петушиное Перо и Седой, но и сидевшая дальше всех Марта.

— Который? — недоверчиво переспросил аббат. — Тот, лохматый?

— Да нет! — досадливо обернулся мельник к непонятливому настоятелю. — Лохматый — это мой сын! А Нечистый...

— ...а Нечистый — это он обо мне! — Петушиное Перо сдернул берет и помахал им со всей возможной любезностью, чтобы у тынецкого настоятеля не осталось никаких сомнений. — Присаживайтесь с нами, святой отец, перекусим, чем бог послал...

Сперва аббат Ян явно хотел что-то сказать, возможно, даже сакраментальное «Apage, satanas[1]!», но при последних словах Великого Здрайцы поперхнулся и натужно закашлялся.

— Здорово, Стах! — как ни в чем не бывало продолжил Петушиное Перо. — Ну, чего столбом стоишь?! Ты ведь торговаться со мной пришел? Садись, поторгуемся, по рукам ударим!

Похоже было, что у старого Топора разом пропала всякая охота торговаться и бить Великого Здрайцу по рукам, но деваться мельнику было некуда.

— Тебе нужна эта женщина, — собравшись с духом, заявил мельник.

— Нужна, — согласился Петушиное Перо, сочно хрупая пучком зеленого лука, и непонятно о чем добавил:

— Эх, перемелется — мука будет!

— А мне нужна душа моего сына, — отрезал Стах и

---

[1] *Apage, satanas!* — «Отойди, сатана!» (лат.).

всем сухоньким тельцем навалился на клюку, словно слова эти отняли у мельника и без того убогие силенки.

— Нужна, — снова согласился дьявол, прихлебывая пиво мелкими глоточками. — Одно непонятно: зачем мне ее возвращать? За твои красивые глаза?

— А затем, что иначе... — старый Топор замялся. Нет, не так представлял он себе эту встречу. Договориться с Петушиным Пером с глазу на глаз, отдать ему Марту в обмен на душу сына, заставить порвать давний договор, а если обмануть попробует — как щитом, прикрыться от Нечистого святым отцом! Но вот так, прилюдно... под пиво...

— А иначе... — тупо повторил мельник и опять замолчал.

— А иначе святой отец меня изгонять станет. Правильно, Топор?!

Мельник не отвечал. Стоял, моргал, хмурил реденькие бровки.

— Только вы, святой отец, сначала поразмыслите хорошенько: стоит ли из-за колдуна Стаха меня гнать? — с усмешечкой продолжил Великий Здрайца. — Я ведь вас обманом на мельницу не волок, глаз не отводил, опять же на Мартину душу не зарюсь! И жизнь ее мне ни к чему. Не верите? Тогда спросите у нее самой или лучше прикиньте: неужто наша мирная трапеза похожа на насилие?! А этот замечательный старичок, святой отец, вознамерился проклятую душу сына своего на вашу сестру выменять, а вашей сутаной бенедиктинской прикрыться! Вот возьму я сейчас, порву договор на Гаркловского вовкулака и уберусь восвояси — как полагаете, святой отец, долго вы проживете с той минуты? Ведь вы теперь для Стаха Топора — огонь пылающий, вечная гроза над головой!

Аббат Ян чувствовал, что в словах Нечистого (если это и впрямь был он) таится подвох, но пока не мог ничего возразить.

— Так что ни к чему вам, святой отец, меня гнать, — заключил Великий Здрайца. — Я и сам уйти могу. А могу и не уходить. При мне-то Стах вас тронуть побоится. Знает, старый хрен — захочу, и собственного сына отцу на глотку

брошу. Езжайте с богом в свои Шафляры, а с Мартой мы после договорим. Правда, воровочка?

И Петушиное Перо довольно ухмыльнулся, заметив, как передернуло Яна при словах «с богом», произнесенных нечестивыми устами.

Ян стоял в растерянности. Он не хотел верить дьяволу, он не должен был ему верить — сатана никогда ничего не делает просто так, никому не помогает даром, и за все оказанные им услуги потом придется расплачиваться, но... никакого другого выхода, кроме как воспользоваться предложением Великого Здрайцы, аббат придумать не мог!

Великий Здрайца выжидающе смотрел на аббата, аббат лихорадочно искал правильное решение; мельник, потупясь, тоже пытался что-нибудь придумать, да только ничего не придумывалось — Марта ускользала из рук Стаха Топора, так хорошо задуманная сделка рушилась! А Марта с замиранием сердца ждала, чем дело кончится. Ей было страшно и почему-то одновременно весело: все, что могло случиться, уже случилось, и хуже наверняка не будет; подобно игроку, поставившему на кон все, что у него есть, она ждала развязки.

Вместо развязки где-то совсем рядом раздался конский топот, и из начавшего светлеть тумана вылетела громада бешено несущегося всадника.

Марта и Седой едва успели отскочить в разные стороны, когда конские копыта вдребезги разнесли стоявший с краю горшок душистой подливы; всадник натянул поводья, подняв громко заржавшего коня на дыбы, и в следующее мгновение уже соскочил на землю.

— Михал! — вскрикнула Марта.

И тут же что-то мохнатое, разгоряченное, кинулось ей на грудь и принялось облизывать лицо мокрым шершавым языком.

— Джош!

— За нами погоня! — задыхаясь, сообщил Михал, потом деловито достал из-за пояса тяжелый пистоль и стал проверять, не отсырел ли порох и исправен ли ударный механизм.

1

Туман.

Слабо мерцающая пелена, крохотными капельками оседающая на одежде, лицах, руках; муть перед рассветом...

«Ой, туман, туман в долине, тишина кругом, — неожиданно вспомнилась Марте полузабытая пастушья песня, — хлещет-плещет старый баца длинным батогом...»

И мгновенно, как раскаленное тавро в живое тело: батька Самуил, оплывающий в руках Михала, своего приемного сына, а Костлявая стоит за плечом, скалится, падаль!..

Барабанная дробь множества копыт обрушилась из ниоткуда. Она нарастала, оглушала, обволакивала пульсирующим покрывалом; все, кроме воеводы Райцежа, инстинктивно попятились к тарантасу Петушиного Пера, словно ища там защиты, один из подмастерьев замешкался, испуганно озираясь, — и бедолага почти сразу был насмерть стоптан вырвавшимися из тумана верховыми.

— Дикая Охота! — вскрикнул мельник Стах и зажал ладошкой рот.

Михал уже стоял у ограды погоста, держа в левой руке краденый пистоль, а правая удлинилась на два с половиной локтя стали драгунского палаша, некогда сослужившего славную службу барону фон Бартенштейну.

Трое всадников мгновенно спешились, остальные продолжали гарцевать неподалеку от воеводы, возбужденно переговариваясь. Кучка людей у тарантаса, равно как и мертвый подмастерье на траве, их нисколько не интересовали. Мало ли кого черти вытащили в такую рань позавтракать у погоста, бросив под копыта...

— Остановитесь!

Кричал аббат Ян. Рванувшись вперед, он ужом проскользнул мимо верховых и встал между Михалом и преследователями. Намокшая от росы сутана тяжко свисала с узких плеч, молитвенник был воздет к серому небу, и если глаза человека и впрямь способны метать искры, то это был именно тот случай.

— По какому праву разбой творите?!

Спешившийся первым усач — бывший владелец направленного на него пистоля — нетерпеливо махнул отцу Яну.

— Убирайся, монах! Попадешь под горячую руку — облезешь! Прочь, кому сказано!

Ян Ивонич не двинулся с места.

Усач досадливо скривился и собрался было плетью угостить назойливого монаха, посмевшего встать на их пути, но тут из тумана объявилось новое действующее лицо; объявилось неожиданно для всех и для себя самого в том числе. Собственно, лицо это было не такое уж новое, а весьма и весьма поношенное, налившееся кровью от быстрого бега, и вся толстая фигура квестаря Игнатия вздымалась и опадала с каждым вдохом-выдохом, как тесто в квашне. Умудрившись часа полтора тому назад выломать одну из неплотно пригнанных досок в задней стене сарая — туда его заперли подмастерья от греха подальше, — доблестный квестарь все это время блуждал в проклятом тумане, плача от бессилия, тщетно пытаясь выбрести хоть куда-нибудь и принимая конский топот за издевательства нечисти. Он и не знал, что ходит кругами возле погоста, пока крик отца Яна не хлестнул Игнатия почище ременного батога, указав верную дорогу к спасению души и тела.

— Святой отец! — в голос заблажил квестарь, кидаясь к аббату и норовя облобызать край его сутаны. — Ой, счастье-то какое! А я уж думал: все, пропали мы с вами, осиротел монастырь Тынецкий без пастыря!.. Ан нет, вон вы где, слава Господу нашему во веки веков!..

Один из всадников внимательней пригляделся к отцу Яну, наморщил кустистые брови и пришпорил лошадь. Оказавшись подле растерянного усача, он склонился к товарищу и зашептал ему что-то прямо в поросшее белесым волосом ухо.

— Обижаешь, святой отец! — спустя минуту заговорил усач совсем другим тоном. — Говоришь, что разбой творим, а того не видишь, что не разбойники пред тобой, а честные люди!

— И чьи ж вы такие честные люди, что ни свет ни заря

за воеводой графа Висничского по полям гоняетесь и невинных поселян конями топчете? — глумливо осведомился аббат Ян.

— В первую руку, Божьи, — с нелегко давшимся ему смирением ответствовал усач, — а во вторую, их ясновельможной милости князя Лентовского. Сам понимать должен, святой отец: ты в своем монастыре хозяин, что ни повелишь, то монахи исполнят; нам же князь велит, а мы исполняем, и не тебе препятствовать княжеской воле!

— Лентовский? — удивлению аббата не было предела. — А я-то думал...

Впрочем, отец Ян сразу оправился.

— И зачем же вашему князю понадобился пан Райцеж?

— А зачем отцу может понадобиться убийца его сына? — в свою очередь спросил усач. Чувствовалось, что беседа с аббатом успела ему поднадоесть, и он еле сдерживается, чтобы не отстранить тынецкого настоятеля в сторону и продолжить охоту на прижавшегося к ограде беглеца.

Сан и слава аббата Яна боролись в душе усача с приказом князя; и князь побеждал.

Отец Ян незаметно покосился сперва на Михала, потом на Марту — и та кивнула брату: дескать, правда, было дело, а почему Михалек не поведал тебе о поединке над речкой Тихой — того я не знаю.

— Если так, — после некоторого раздумья сказал ксендз, — тогда понятно... Послушай, верный слуга Лентовского: я, настоятель Тынецкого монастыря, даю тебе слово, что вскорости прибуду в маеток твоего пана и привезу с собой воеводу Райцежа. Тогда и рассудим, честный был поединок или нет, и одна ли на всех честь шляхетская! А сейчас дай нам ехать своей дорогой. Или ты не веришь моему слову?

Оскорбительный смех был ему ответом.

— Верю, — отсмеявшись, заявил усач, и трое его спутников стали снимать с седел волосяные арканы. — Приедешь ты, святой отец, с паном воеводой в маеток Лентовских через месяц-третий, а я к тому времени давно уже на колу криком изойду. Когда их княжеская милость огнем гнева пылает, ему поленья сейчас подбрасывать надо, не

завтра, и уж тем паче не через месяц. Не серчай, отец настоятель, но мне лучше сегодня через твое слово перешагнуть, чем завтра объяснять князю, почему отпустил убийцу княжича Яноша! Иезус-Мария, своя рубашка ближе к телу!

И Марта, до сих пор недвижно стоявшая между Джошем и равнодушным Седым, не выдержала.

— Конечно, ближе! — истерически выкрикнула она, выбегая вперед и чувствуя, как хмель безумной ночи кружит голову и вырывается наружу хриплым хохотом. — Знал бы старый Лентовский, как сыночек его, покойный Янош, на отца злоумышлял — небось, одарил бы пана Михала по-княжески! Золотом с ног до головы осыпал бы! Меня, меня с собой везите — я все расскажу князю, все!..

Из присутствующих, пожалуй, только Джош-Молчальник понимал, о чем идет речь: он-то хорошо помнил корчму Иошки Мозеля и молодого княжича, у которого Марта на ходу прихватила клочок ненависти к отцу, тут же сбросив пакость в кошку Бырку. Но Джош молчал, и не только потому, что человеческая речь была для него отныне недоступна, а остальные изумленно уставились на женщину у тарантаса; единственную женщину среди присутствующих мужчин, чьи мужские дела и замыслы сплелись в тугой узел, который впору разве что полоснуть ножом...

Впрочем, и во взгляде усача, судорожно лапающего рукоять кривой карабеллы[1], к удивлению ни с того ни с сего примешалась темная звериная злоба и страх, почти детский страх, как бывает, когда прохожий застанет мальчишку за всяким непотребством и пригрозит донести отцу или матери.

— Добро, — наконец решился усатый, сбивая на затылок высокую смушковую шапку, — сама напросилась... Эй, хлопцы, берите воеводу, а я за бабой пригляжу! Если и впрямь что знает, пусть князю и доложит... стерва языкатая!

Последние два слова были произнесены еле слышно, не для «хлопцев», примеривавшихся к Михалу и не шибко-то желающих лезть на заряженный пистоль.

Наконец один из них дал коню шенкеля, животное

---

[1] *Карабелла* — польская сабля.

громко заржало, грянул выстрел, но замешкавшийся аббат Ян не дал воеводе Райцежу как следует прицелиться, и пуля угодила не во всадника, а в ухо тому же несчастному коню, уложив последнего наповал. Почти сразу свистнули два аркана, палаш Михала сноровисто рассек ближнюю волосяную веревку, от второй петли Райцеж уклонился, запустив разряженным пистолем в голову кинувшего аркан пахолка. Усач, который к тому времени уже стоял рядом с Мартой, наскоро огляделся, убедился, что все поглощены происходящим вокруг беглого воеводы, — и украдкой потянул из-за голенища нож.

Тот самый, на который позарился Джош, — после бегства Михала усатый подобрал засапожник на корчемном полу, рядом с разрезанными путами.

Очень острый был нож... Пан Михал мог бы это подтвердить, если бы не был сейчас столь занят.

Усач был дядькой при княжиче Яноше. Худородный шляхтич из богом забытого Зебжида, что близ Пауковой горы, он жил исключительно милостями Лентовских; только в последние годы милости старого князя резко пошли на убыль. Забылось все: что именно усатый учил наследника сидеть на коне и рубиться саблей, стрелять из пистоля и травить лис в окрестных лесах... все забылось и пошло прахом. Мать княжича Яноша скоропостижно скончалась, старый князь, крепкий как дуб, женился во второй раз, через год обзавелся сыном, и свитские всерьез поговаривали, что строптивый и не в меру упрямый княжич Янош будет вскоре отстранен от права наследования родового маетка в пользу младенца. Тем более, что жить старый Лентовский собирался по меньшей мере до совершеннолетия, а то и до свадьбы своего нового сына.

Отсюда и возникшая неприязнь князя к молодому Яношу, с которым они вздорили через день, а также к свитским шляхтичам княжича.

Поэтому когда Янош Лентовский открылся своему дядьке-наперснику, которого знал, что называется, с младых ногтей, в желании ускорить кончину самодура-отца — усач сразу понял, что это его единственный шанс выбиться в люди. В случае удачи дело пахло не просто подаренным имением или кошелем-

другим золотишка. Здесь открывалась возможность до конца дней своих доить княжича Яноша, после того как последний станет наконец князем Яношем Лентовским.

И вдруг, когда все уже было уговорено и старому Лентовскому оставалось жить недели две, не больше — до ближайшей охоты... Сперва от руки гордого Райцежа погибает княжич Янош, а потом — о, пся крев, откуда на нашу голову взялась эта проклятая баба?! Что она знает?! Как пронюхала?!

И что скажет князю, если доберется до него?!

...очень острый был нож.

Сейчас пахолки повяжут строптивого воеводу, и никто не услышит задыхающегося всхлипа, какой всегда бывает от прикосновения к живому трепещущему сердцу неизбежности холодного лезвия. После можно будет сказать, что баба пыталась бежать, или вырвать нож, или еще что... там видно будет.

На присевшего усача смотрели лишь одни глаза.

Цвета старого серебра.

Очень старого.

И лицо Великого Здрайцы смятенно подергивалось, как у скупца, вынужденного бросить в миску случайного побирушки целый талер.

...очень острый был нож.

Предусмотрительный усач даже не успел удивиться, когда на сверкнувшем клинке засапожника вдруг сомкнулись невесть откуда взявшиеся пальцы — словно из земли выползла суставчатая поросль — и, с хрустом разрезая собственную плоть, потащили нож на себя. Крови не было, крика не было, ничего не было, только страшные пальцы, отбиравшие оружие, да скользкий хруст; и заворочался на росистой траве растоптанный подмастерье мельника Стаха, разлепляя стылые веки и уставясь прямо в посеревшее лицо усача мутными бельмами.

Не вставая, мертвец перехватил нож второй рукой, сжал копытце косули, служившее рукоятью — и одним ударом, словно кабана колол, всадил полоску стали усачу под подбородок.

И лишь потом стал подниматься.

Тем четверым, кто рубился сейчас с бешеным Райцежем, было не до вставшего подмастерья и заколотого усача. Самим бы в живых остаться... Эй, кто там, стреляйте в пана воеводу!.. Ну стреляйте же, хлопы лягушачьи!.. Самый благоразумный из верховых, до сих пор не торопившийся спешиться и лезть в свалку, рванул из-за плеча старую рушницу, взвел курок, приложился к дубовому ложу — грохнуло, потянуло дымом, пуля оторвала мочку уха у неудачливого пахолка, только что напоровшегося боком на беспощадный палаш Михала, и расплескала щепой доску ограды погоста.

Мертвец поравнялся со стрелком — шел подмастерье птичьей подпрыгивающей походкой, зачем-то держа усача за запястье и волоча обмякшее тело по траве, — и свободной рукой уцепил его за сапог. Пахолок Лентовского не глядя отмахнулся, приклад вскользь пришелся по лицу мертвого, содрав лоскут серой кожи; но хватка не ослабела, последовал рывок, еще один... пахолок истошно заорал, увидев, *кто* его тащит, тяжелый приклад успел еще разок-другой опуститься на безучастного мертвеца, после чего стрелок кулем свалился на землю, забарахтался, исходя криком, мельников подмастерье упал сверху, так и не отпустив усача...

Два мертвых тела остались лежать — усач с ножом под подбородком и стрелок со свернутой шеей, а третье вновь начало подниматься.

Оставив Михала в покое, все свитские (кроме тяжелораненого с распоротым боком) в ужасе взирали на происходящее. Впрочем, Марта тоже едва сдерживалась, чтобы не дать подступающему безумию овладеть рассудком, а аббат Ян застыл, не успев даже начать крестного знамения. Один мельник не выказывал особого испуга — старый Стах меленько затоптался, прихрюкивая себе под нос, плешь его мигом заблестела бисеринками пота, носик деда потешно сморщился... и с погоста донесся глухой многоголосый стон.

Шевелились просевшие могилы, кренились кресты,

костлявые руки страшными побегами прорастали из рыхлой земли, пальцы, словно дождевые черви, бессмысленно шевелились, хватая сырой воздух, вот уже и обросшие плесенью волосы черепа показались наружу, сверкая огненными провалами глазниц; стон усиливался, озвеной[1] метался в тумане, в него вплетались гулкие вскрикивания, как бываст на похоронах, когда добровольные плакальщицы в муке бьются над открытой домовиной...

Как они бежали! Как неслись прочь, терзая обезумевших лошадей — не верящие ни в бога, ни в черта верные пахолки грозного князя Лентовского, каждый из которых способен был насадить на вертел живого ягненка и смеяться, слушая детские вопли несчастного, подвешенного над пылающим кострищем! Как мчались они, боясь обернуться, увидеть еще раз, почувствовать на себе мертвую хватку невозможного — о небо, как же они бежали от Топорового погоста!

Прочь!

Скорее прочь!

Скорее!..

— Господи, помилуй! — наконец сумел прошептать отец Ян, напрочь забыв всякую латынь, и впечатал в себя крестное знамение с такой истовостью, словно собирался навеки запечатлеть его в собственной плоти.

«Аминь», — отозвалась тишина.

Молчит погост, недвижимы могильные холмики, стоят по-прежнему старые и новые кресты, и за спиной вновь прижавшегося к ограде Михала не происходит ровным счетом ничего.

Померещилось?!

Лежит навзничь, раскинув тяжелые руки, Стахов подмастерье, грузно навалившись на стрелка с усачом; чуть поодаль валяется пахолок, чья жизнь только что вытекла до последней капли из рассеченного бока — нет, значит, не привиделось, значит, было, значит...

Мельник Стах, неуклюже ступая, подошел к трупам,

---

[1] *Озвена* — эхо, отзвук.

долго смотрел на них, потом наклонился и с жуткой нежностью огладил копну волос посмертного убийцы.

— Не знал я, Стас, — прошептал колдун. — Не знал, что ты втайне от меня душу Петушиному Перу продал... Не я тебя поднимал — он!.. Что ж ты раньше-то молчал, Стас?!

— Пустобрех! — страшно завизжали от тарантаса, и никто, в том числе и сам мельник, не понял сразу, что визжит Петушиное Перо. — Топор щербатый! Какую душу?! Кому продал?! Что ты мелешь, пень старый?! Уж тебе ли не знать, что в первое девятидневье после смерти покойных добром не поднимают?! Не знал он, валух, тварь холощеная! Не знал!

Сейчас Великий Здрайца был ужасен и жалок одновременно. Ничего не осталось от прежнего насмешника и щеголя, знаменитый берет был безжалостно скомкан и брошен под ноги, эспаньолка встопорщилась и намокла от брызжущей во все стороны слюны, лицо искривилось в гримасе бешенства, словно Петушиное Перо теперь дико жалел о чем-то и понимал, что потерянного не вернуть, не вернуть никакими силами...

— На рожи, рожи его глянь, колдун хренов! На рожи!

Марта неожиданно для себя самой откачнулась от тарантаса и двинулась к мельнику, замершему над мертвыми. Подойдя, она заставила себя опустить взгляд, проморгалась, стряхивая мешающие видеть слезы, — и поняла, что имел в виду Великий Здрайца, когда говорил «рожи».

У подмастерья было два лица. Марта не знала, какое из них подлинное, потому что не очень-то хорошо приглядела к Стасу при жизни — куда там, за те считанные мгновения! — но их было именно два, и из-за первого, окоченевшего в смертной муке, зыбко проступало другое: опустошенно-счастливое, с тонкими, почти прозрачными чертами, словно всплывавшее из речной глубины, пробиваясь сквозь отражения берега и кривых ракит на круче.

Такие лица бывают у умерших каторжников. Все, кончился мучительный труд, казавшийся бесконечным, и твердо известно, что хуже уже не будет никогда.

Великий Здрайца к этому моменту впопыхах кидал в тарантас скатерку, горшки, фляги; кобыла спешно доедала

овес из торбы, понимая, что в ближайшее время жевать ей явно не придется.

— Душу потратил, — бормотал Петушиное Перо себе под нос, захлебываясь жадностью и слюной. — Душу, душеньку, выкуп мой, кубышечку!.. ах, дурак, дурак адов... Не поймать теперь — дудки, освободилась, оборвала поводок, на второй круг пошла, ищи-свищи! Ах, дурак... Будь ты проклята, баба, на веки вечные! Обокрала, как есть обокрала, сперва силой умыкнула, потом на жалость взяла, взломала кубышечку, а я, я не знал, что ли, что муки освобождают, что опасно мертвяков неостывших насильно подымать?! Знал?! Знал... ах, дурак, баран безмозглый...

И чудовищно удлинившаяся трость из орешины свистнула по костлявой спине лошаденки.

3

Тарантас Великого Здрайцы, вихляясь, катил через луг, и уже давно должен был скрыться в тумане, но почему-то все не скрывался: дрожащая пелена в испуге спешила расступиться перед тем, чье имя лучше не поминать лишний раз, и отнюдь не торопилась сомкнуться позади. Тарантас словно уходил в длинный и узкий коридор с призрачными туманными стенами, ведущий, казалось, в саму преисподнюю...

Но до преисподней было все же далековато. Да и не собирался туда Петушиное Перо, так что тарантас в конце концов убрался восвояси, туманный коридор понемногу затянулся, а смотревшие вслед тарантасу люди передернулись и сбросили путы оцепенения.

— Эх, знал же, что нельзя со Здрайцей связываться! — горько вздохнул мельник. — Теперь, чую, недолго нам всем мать-землю топтать осталось...

— Это почему же? — чуть приподнял бровь аббат Ян.

— Да не вам! — огрызнулся мельник. — Вам-то что?! Уедете, и поминай как звали! А нам куда с мельницы податься? Приедут, скоро приедут... пожгут, порубят, и ведовство мое не поможет!

— Я не держу на тебя зла, старик, — на удивление мягко проговорил настоятель.

— Вы-то, может, и не держите, святой отец, — провор-

чал Стах. — И на том спасибо, ежели не врете. Бог даст, и не пришлете сюда никого. Да только Лентовские, — они-то не простят! Весь бы их змеиный род... — Топор не договорил, зло сплюнул и обернулся к уцелевшему подмастерью. — Сходи-ка ты, Мешко, на мельницу за заступом! Стаса похоронить надо. Чтоб все по-людски...

— Я помогу, — неожиданно вмешался Михал.

Мельник покосился на воеводу, но ничего не ответил.

Михал и Седой молча подняли мертвого Стаса и понесли к погосту.

— Я буду молиться за упокой... за упокой его души, — отрывисто бросил им вдогонку настоятель.

— Благодарю, святой отец. Вот могилу выроем — и читайте все, что положено, — старый мельник постоял, горестно хмыкая, и побрел следом.

Аббат Ян согласно кивнул и обернулся к Марте, к ногам которой все еще жался Джош.

Квестарь Игнатий тактично отошел подальше, хоть и хотелось ему послушать, о чем станет говорить аббат Ян со своей сестрой, за которой только что приезжал сам сатана! Приезжал — и уехал ни с чем. Чудо! Вот только надолго ли уехал?..

— Странно все это, Марта, — в явной растерянности пробормотал Ян, искоса глядя на сестру.

— Странно, — согласилась Марта. — Только что? Что странно *для тебя*, Ян?

— Многое, Марта. Этот человек... или нечеловек — которого все, в том числе и он сам, называют дьяволом... Может быть, я впадаю сейчас в тяжкий грех, но мне немного жаль, что он так быстро уехал. Нам с ним было бы о чем поговорить. Во всяком случае, *мне* с ним.

Марта даже на мгновение потеряла дар речи. Ее брат Ян... нет, не так — аббат Ян, священник-бенедиктинец, настоятель Тынецкого монастыря, ведущий теологические беседы с Великим Здрайцей?!

— И о чем же ты хотел с ним поговорить? — выдавила она наконец.

— О многом, — бледное лицо аббата в обрамлении предрассветной дымки было сейчас серьезным и немного

грустным. — О том, о чем намекнул, но не договорил он сам. О том, почему он спас тебя, а по большому счету и меня с Михалом, отпустив принадлежавшую ему душу, вложив ее в мертвого и ничего не потребовав взамен? Да и вообще: откуда он взял эту душу, почему все же решился с ней расстаться, хоть и жалел потом? Не из преисподней же он ее извлек?! О, у меня к нему было бы множество вопросов, и, думаю, на многие из них он смог бы ответить — вот только захотел ли?.. Где обретаются погубленные, проданные Нечистому души людские? В аду? Или все же нет? Опять же — *зачем* дьяволу души? Что ему с них? Неужели ему просто доставляет удовольствие соблазнять и мучить малых сих? И так ли уж они мучаются? — если только что он сам кричал, что муки освобождают, забыв сказать, от чего именно они освобождают! Многое хотел бы я у него спросить, даже зная, что грех это и что верить дьяволу нельзя; да скорее всего он не захотел бы отвечать мне — и все же...

Аббат умолк и потупился.

— Он сам несчастен. И страдает, — против воли вырвалось у Марты, и Ян снова поднял на нее удивленный взгляд. — Я видела его глаза, когда он заставлял Седого становиться волком, и еще, когда он... он показывал мне... Скажи, Ян, это было на самом деле? Постоялый двор в Казимеже, пьяная драка нищих, и ты — в мирском платье, похож на купца, сидишь с толстой девицей на коленях и пинаешь сапогом одноногого бродягу? Было?!

— Откуда?! — задохнулся Ян. — Откуда... ты посмела?!.

— Нет, я не крала это у тебя. И в том трактире не была. Все это показал мне он, Великий Здрайца. Так это правда?

— Правда, — сухо сказал аббат и отвернулся.

— Тогда, может быть, правда и другое...

— Что — другое? Что еще он показал тебе из моего грязного белья?! — зло бросил Ян, в эту минуту совсем не похожий на прежнего святого отца, кладезь кротости и всепрощения.

— Нет, речь шла не о тебе, Яносик. Шафляры, батька Самуил — и Михал. Они долго говорили, спорили, все больше горячились; потом Михал схватил отца за грудки, а тот... Вот так умер наш отец, Яносик! А Мардула-разбой-

ник еще раньше обвинил Михалека в смерти Самуила-бацы. Может, и это правда?!

— Правда, — раздался сзади хриплый голос.

Михал стоял совсем рядом. Лицо воеводы было в грязи, на лбу ссадина, рейтузы порваны и измазаны в запекшейся крови...

— Правда, — кивнул он, когда Марта и Ян разом обернулись к нему. — Да не вся. Что ж, придется рассказать. Чуял я, что рано или поздно не миновать мне этой исповеди, — вот, видать, времечко и настало...

4

В чумазом детстве шалопай и задира Михалек Ивонич нечасто обременял себя раздумьями о собственной и чужих судьбах, а также о своем воровском таланте. Талантом этим, кропотливо взлелеянным старым Самуилом, Михалек пользовался направо и налево без зазрения совести — за что не раз бывал бит батькиным кнутом. И правильно: дабы на глупости дар свой не растрачивал, не таскал без нужды что ни попадя и не вызывал у людей подозрений в связи с нечистой силой.

Наука батьки Самуила явно пошла впрок, и когда Михал Ивонич, в скором времени провинциальный шляхтич Михал Райцеж, покидал ставшие ему родными Шафляры, он уже твердо знал, чего хочет и каким образом сможет этого добиться.

Он добился.

Но только с некоторого времени в голову Михала Райцежа, мастера клинка и известного в Европе дуэлянта, начали настойчиво стучаться всякие мысли, которых в оной голове ранее не водилось.

Пан Михал неожиданно ощутил себя ущербным. Да, он стал шляхтичем, учеником выдающихся фехтовальщиков, знатоком ратного дела, но для Михалека его мастерство было таким же краденым, как и титул, таким же фальшивым, как и его королевские грамоты, добыто точно таким же обманом, как и родовое имя!

А Михал хотел настоящего.

Своего!

Он был уверен, что сможет добиться и этого. Не обманом, а честной службой, не воровством, а упорным трудом и собственными учениками он окончательно заслужит уважение других и наконец-то сможет уважать сам себя!

Так Михал осел в Висниче.

И действительно пришелся ко двору. Его быстро полюбили гайдуки, его оценил Ежи Любомирский, граф Висничский и нынешний фаворит короля; даже долго присматривавшийся к молодому преемнику прежний воевода Казимир Сокаль все чаще одобрительно хмыкал в усы, глядя, как Михал самозабвенно оттачивает свое мастерство, привезенное из далеких Тулузы и Флоренции; да и изнурительные уроки самого пана Казимира не пропали даром. Всем был хорош новый воевода: и не стар еще, и собой красив, и дело свое знает отменно, и строг по совести, и мир успел повидать; разве что горяч не в меру, но какой рубака в его-то годы бывал холоден? Сам пан Казимир в молодости... охо-хо, жизнь наша грешная!..

Так что когда Михал попросил у Сокаля руки Беаты, единственной дочери пана Казимира, овдовевшего лет семь тому назад, — старый воевода, уже давно видевший, к чему дело идет, и не подумал возражать.

Женился Михал по любви. Беата стала первой и единственной женщиной, в присутствии которой Михал Райцеж на время забывал о выпадах, позициях, заточке оружия и других премудростях военной науки, ремесла, искусства — давно ставшего смыслом его жизни.

И поначалу Михал был искренне счастлив.

Но прошло совсем немного времени, и в ревнивую, источенную сомнениями и лишь недавно, казалось, обретшую долгожданный покой душу нового воеводы начали закрадываться смутные, но от этого не менее черные подозрения.

Нет, молодая жена была верна ему — в последнем Михал не сомневался. Дело было не в чистоте супружеского ложа...

Еще перед свадьбой Райцеж дал себе зарок: никогда не лезть в душу жены. Это — святое. Грязные пальцы вора Михалека Ивонича не коснутся чистой души Беаты. Ее

муж — воевода Михал Райцеж, который не унизит супругу и себя гнусным воровством.

И Михал держал данное самому себе слово, скрипя по ночам зубами и мучаясь от того, в чем был уже почти уверен: Беата не любит его! Она просто не могла воспротивиться воле отца и пошла под венец, но любит она другого! Кого?

Больше полугода Михал мучился этой неопределенностью, отмечая предупредительную покорность жены на ложе, — конечно, от кроткой Беаты не стоило ожидать пылкой страстности флорентиек или искушенности француженок... но не так, не так должна вести себя женщина с тем, кого любит! Кто же его соперник? Кто?!

Вскоре Михал нашел ответ и на этот вопрос.

В тот раз они с женой и тестем сопровождали графа Висничского. Граф ехал в Краков, в Вавельский замок на встречу с краковским каштеляном. Любовь владетелей Виснича насильственным путем решать спорные вопросы о принадлежности пастбищ и наделов вечно приводила к конфликту с теми пострадавшими шляхтичами, кто больше полагался на силу закона, чем на силу собственной сабли. Для сабли в Висниче прикармливали наемных воевод вроде пана Казимира или Райцежа, для закона — в ход шло отдаленное родство с краковским каштеляном и королевское благоволение. Впрочем, дело не в этом... Официальные приемы, разговоры о политике и лошадях, свежие сплетни — это успело порядком надоесть Михалу еще в годы его странствий по Европе. Здесь было то же самое, только несколько более провинциальное, и Михал время от времени едва сдерживал улыбку, глядя на манерных, не первой свежести шляхтянок и их кавалеров в кунтушах и шароварах, громыхающих саблями и безуспешно копирующих манеры английских аристократов.

Последовавший за приемом бал не принес ничего нового: музыканты фальшивили, играя падеграс, зато залихватски исполняли мазурку и краковяк; сам Михал, станцевав пару туров с восхищенной вавельской пышностью Беатой (вот насчет пышности она была права!), извинился и отошел в сторонку. Танцевать решительно не хо-

телось. Михалом овладевала скука, настроение было скверное, и, задумавшись, он не сразу заметил, что его жена уже не в первый раз танцует в паре с молодым щеголеватым вельможей. Тот что-то увлеченно рассказывал ей, и Беата весело смеялась, с явным удовольствием позволяя кружить себя в танце и кружить себе голову.

Приглядевшись, Михал узнал молодого щеголя. Это был Янош Лентовский, сын высокородного князя Лентовского, стоявшего чуть поодаль и беседовавшего с каштеляном и графом Висничским. Но старый князь сейчас не интересовал воеводу Райцежа. Неужели перед ним тот, кому принадлежит на самом деле сердце Беаты? Княжич Янош?!

В голове Михала вихрем пронеслись последний визит Лентовских в Виснич, предыдущая поездка в Краков... Все сходится! Как же слеп он был! Оба раза молодой княжич вьюном увивался вокруг Беаты, а та и не думала осадить зарвавшегося юнца, как и сейчас, смеялась его шуткам и танцевала больше с ним, чем с мужем, — в танцах и комплиментах этот ясновельможный щеголь куда искуснее неотесанного воеводы графа Висничского, только и умеющего, что сталью сверкать!..

Нет, Михал не затеял немедленной ссоры, не вызвал юнца на поединок по пустяковому поводу, как сделал бы еще года три назад. Убить соперника никогда не поздно; так оно скорее всего и произойдет рано или поздно, но не в Вавеле и не в присутствии Беаты. Он должен вытеснить из ее души наглого Яноша, занять его место — ведь Михал же любит жену, как она этого не видит! А молодому хлыщу нужно совсем другое — соблазнить, затащить в свою постель ради сиюминутной похоти, а потом хвастаться перед приятелями очередной победой и позором рогатого Райцежа...

И тогда Михалек Ивонич вспомнил, кто он такой.

Он — *вор*!

Украсть, вырвать с корнем любовь к сопернику — и тогда у него появится надежда занять освободившееся место.

Только надежда.

Но даже из-за нее стоило рискнуть.

Риск был велик, и Райцеж знал это. Если Беата и вправду любит княжича Яноша, то выкрасть у нее это чув-

ство без остатка было задачей практически непосильной. Михал хорошо помнил лабиринты души Жан-Пьера Шаранта и жутких Стражей с огненными мечами. Да и наставления Самуила-бацы отнюдь не забылись.

И Михал Ивонич, вор-воевода, задумал неслыханное. Не кража — *грабеж*! Вломиться, раскидать Стражей, вырвать силой — и уйти. Это было опасно, тем более по отношению к любимой женщине, но Михал уже не мог остановиться.

На грабеж не ходят в одиночку. Ему понадобятся подручные. Ни Ян, ни Марта, ни Тереза ему помогать не будут — в этом Михал был уверен, он слишком хорошо знал своего брата и сестер.

Значит, надо *воспитать*, *вырастить* таких подручных!

Раньше подобные мысли никогда бы не пришли в голову Михалека, но сейчас, мучаясь от любви и ревности, он был способен на все.

Самуил-баца не раз говаривал, что с переломного момента своей жизни, лет эдак с сорока — сорока пяти, любой вор обретает способность находить себе подобных, видеть чужой, даже непроявленный дар, сходный с собственным, — и тогда он сумеет развить его, вытащить на поверхность, научить другого тому, что умеет сам.

Но ждать Михал не мог и не хотел. Он должен был научиться делать это *сейчас!*

А от этой мысли оставался всего шаг до следующей: Михал знал лишь одного человека, обладающего подобным даром.

Их приемного отца, старого Самуила.

Приехать в Шафляры, уговорить, умолить, уломать старика отдать ему эту способность — и за год найти и натаскать двух-трех помощников.

Плевать, что это будут недоучки, умеющие немногое, не постигшие всех тонкостей воровства частиц чужих душ.

Плевать, что обучать придется взрослых, у которых нужная способность задавлена грузом накопившегося за годы жизни хлама, и никогда она не разовьется так, как у ребенка, кропотливо обучаемого сызмальства.

Плевать!

Плевать, что из его помощников никогда не выйдет настоящих воров, таких, как он сам, Марта, Ян, Тереза...

Плевать!

Потому что настоящие воры ему и не потребуются. Ему потребуется лишь грубая сила подручных, которые смогут сдерживать Стражей, пока он, Михал, будет, плача и ненавидя себя самого, рыться в душе любимой, чтобы с корнем вырвать любовь к проклятому княжичу!

Чтобы держать жертву и отбиваться от Стражей, хватит и недоучек.

...Хмурый рассвет застал Михала на околице Шафляр, у просевшей от времени, но все еще крепкой избы Самуила-бацы. Хорошо умел строить старый Кшись, прежний хозяин хаты; хорошо умел строить да пристраивать батька-Самуил. И не только строить...

Отец был дома. За прошедшие годы он заметно постарел, некогда черная с проседью борода вконец заросла инеем, заиндевели и кустистые брови, но дряхлым его назвать было никак нельзя. И все так же остро и проницательно светились под косматыми тучами бровей знакомые с детства пронзительные Самуиловы очи с хитрым прищуром.

— Не здесь, — коротко бросил отец, когда они поздоровались и Михал едва успел открыть рот, чтобы начать разговор.

На завешенной холстом печи кто-то заворочался, закашлялся надсадно, потом еле слышно выругался, и Михал понял — это кто угодно, но только не немая мама Баганта. Да, предстоявший разговор отнюдь не предназначался для посторонних ушей, тут батька-Самуил был прав.

Они выбрались на пригорок за околицей, Михал хотел было подстелить свою накидку отцу, собравшемуся усесться прямо на мокрое от росы бревно, но Самуил только досадливо покосился на сына, встопорщил бороду — и Михалу пришлось усаживаться на свою накидку самому.

Некоторое время оба молчали, глядя на розовеющий, наливающийся утренним пурпуром небокрай над дальним лесом.

— Ну? — хмуро бросил наконец Самуил.

— Дело у меня к тебе, батька, — собрался с духом Михал. — И непростое. С таким к тебе никто небось не обращался — и вряд ли обратится.

— Да уж вряд ли, — все так же неприветливо буркнул Самуил-баца, словно знавший, зачем приехал сын. — Рассказывай.

И тут Михала прорвало. Сбиваясь, торопясь, брызжа слюной, он рассказал отцу все: и о жизни своей, и о муках своих, и о Беате, и о молодом княжиче — и о замысле своем, как любовь Беатину на себя поворотить.

Он уже давно умолк, а старый Самуил-баца продолжал сидеть по-прежнему ровно, расправив широкие плечи, на которых тяжкой буркой лежали его немалые годы, и только лицо батьки было чернее тучи и продолжало дальше мрачнеть — хотя такое казалось совсем невозможным.

— Недоброе дело задумал, — проговорил наконец Самуил, не глядя на сына. — Княжича-пустолайку на поединке зарубить — еще ладно, хоть и не стоит он того. А вот к жене в душу ломиться, любовь с корнем вырывать — и вовсе дело поганое. Это тебе не сорняк с огорода выполоть. Тут всего человека искалечить можно. А потому вот тебе мой сказ: не дам я тебе, чего просишь. И думать об этом забудь. А жена... жена тебя и так полюбит, дай только срок. Дом, хозяйство, детишки пойдут...

— Да не могу я ждать, отец! — рванул Михал ворот камзола, словно тот душил его. — Сил моих больше нет терпеть да делать вид, что ничего не замечаю! Дай мне нюх воров отыскивать — я все сам сделаю! Разве ж я не понимаю, что задумал?! У самого душа не на месте, а по-другому все равно не смогу! Ничего в Беатиных закромах не трону, только пырей этот проклятый вырву! И подручным — строго-настрого, чтоб даже Стражей не калечили, только придержали! Разве ж я не понимаю... Люблю я ее, люблю смертно! Помоги, батька!..

— Молчи! — жабьи глаза Самуила полыхнули гневом. — Воеводой стал, а ума ни на грош не прибавилось! Поумнеешь — сам поймешь; а меня на грех не подбивай! Видать, не больно-то женку свою любишь, раз на такую пакость решился!

Уже не соображая, что делает, задохнувшийся от негодования Михал схватил отца за грудки, рывком приподнял, бешено сверкая очами, — и, словно на шпагу, напоролся на такой же бешеный, яростный взгляд отцовых глаз; две не менее крепкие руки вцепились в него, и в этот момент никто бы не смог назвать Михала *приемным* сыном Самуила-бацы — настолько похожи были их искаженные гневом лица, старое и молодое...

А потом захрипел страшно старый Самуил, еще крепче вцепились в Михалов камзол сведенные смертной судорогой пальцы — сжались, дрогнули, ослабли, и осел на землю, беспомощно шаря по груди, батька-Самуил, дернулся пару раз и застыл, уставясь в небо остановившимся взором.

Еще не веря в случившееся, присел Михал над отцом и взял в ладони холодеющее лицо.

...Это было страшно — то, что он сделал. Не было сил у умирающего, считай, мертвого уже Самуила отгородиться, защититься от вломившегося в его отходящую душу Михала. Отшвырнув бессильных в смертный час Стражей, прорвался сын в тайники отцовой души, безошибочно найдя то, что искал, и выбежал наружу, в себя, как бегут вон из горящего дома, обожженными невидимыми руками прижимая к себе добычу — ни к чему дар мертвому, а вот ему, воеводе...

Потом все было как в тумане: крики «Убийца! Отца убил!» и люди, пытающиеся успокоить беснующегося перед Михалом паренька, успевшие отобрать у него и нож, и рушницу кремневую — от греха подальше; видать, затмение нашло на молодого Мардулу — кто ж Михала не знает, Самуилова сына; вот же, на руках отца несет — помер старик, жалко, да только годков ему уж под восемьдесят было, вот и помер, никто его не убивал, ты остынь-то, парень... и жег спину воеводы ненавидящий, цепкий, запоминающий взгляд молодого Мардулы.

* * *

— Вот оно, значит, как, — медленно проговорил аббат Ян, пытаясь прийти в себя от услышанного. — Бог тебе судья, Михалек, а я не возьмусь приговоры выносить. Жаль,

что сразу не сказал... только чую, так, как ты сам себя казнишь, ни один палач тебя казнить уж не сможет.

Михал молча отвернулся.

— Ты едешь с нами? — Марта слегка коснулась вздрагивающего плеча брата.

— Еду. Сама знаешь — до сороковин времени чуть осталось, да и Мардула меня там дожидается. А у него — жена моя.

— Ну что ж, значит, так тому и быть, — кивнул Ян.

Через два часа, когда солнце уже позолотило верхушки вековых дубов Гаркловского леса, аббатский возок, двое верховых и собака покинули мельницу.

Они спешили в Шафляры, и мрачными были мысли каждого.

Может быть, это называется предчувствием?

5

...через две с половиной недели страшная весть пронеслась над Опольем, и долго еще чесали потом языки хлопы панских маетков и чорштынские бровары[1], переговаривались меж собой работники Хохоловской гуты[2] и купцы Тыньца, а в корчме Рыжего Базлая и вовсе говорили о том без умолку с утра и до вечера.

Гайдуки Лентовского дотла спалили Топорову мельницу!

Сам старый князь явился во главе трех дюжин своих людей и взирал единственным глазом, налившимся дурной кровью, на бушующее пламя, в котором сыпал проклятиями умирающий мельник Стах и молчала безрукая мельничиха, так и не попытавшаяся выбежать наружу; да что там князь — провинциал[3] Гембицкий в фиолетовой мантии лично сопровождал гневного Лентовского, и беспощадная слава борца с ересью бежала впереди сурового доминиканца, заставляя вздрагивать во сне даже тех старух, кого соседка сдуру обозвала ведьмой при свидетелях!

---

[1] *Бровар* — пивовар.

[2] *Гута* — стекольный завод.

[3] *Провинциал* — руководитель католических монастырей провинции, ставленник Ватикана.

Один сын мельника Стаха, седой коротышка, умер достойно, встретив гайдуков деревянными вилами — уже смертельно раненный, он прорвался через строй, зубами перехватив глотку того, кто пытался его связать, и ушел в лес.

Шептались гайдуки — волком ушел, проклятый, оттого и не достали пулей... такого серебром надо!..

Три дня и три ночи выла с того часа Гаркловская чащоба, где кончался в гнилой берлоге седой вовкулак; и двое монахов из сопровождения провинциала Гембицкого пропали неведомо куда — тот, что первым бросился с факелом к Топоровой мельнице, и тот, что смеялся громче прочих в ответ на проклятия горящего старика и кричал: «Туда тебе и дорога, колдун проклятый!»

Марта и ее спутники в это время проезжали Новотаргскую долину, приближаясь к Шафлярам; и по ночам женщину мучили кошмары.

Ей снился Седой, бесцельно бродящий по заброшенному погосту.

ВЕЛИКИЙ ЗДРАЙЦА

Я не помню, кем был — я знаю, кем стал.

Изредка снимая свой замшевый берет с петушиным пером, схваченным серебряной пряжкой, я напяливаю его на кулак и долго смотрю, представляя, что смотрю сам на себя.

Перо насмешливо качается, и серебро пряжки тускло блестит в свете месяца.

Я делаю так редко, очень редко, в те жгучие минуты, когда понимаю, что больше не могу быть собой — но и перестать быть я тоже не могу.

Люди зовут меня дьяволом.

Это правильно.

«Это правильно, — как заклинание, твержу я самому себе, берету, перу, пряжке, насмешнику-месяцу, — это правильно, правильно... правильно это!»

Они не верят.

С некоторых пор — не верят.

С несусветно раннего завтрака у старого погоста, с потных ладоней и дрожащего голоса, с никому не нужной орешины, пятнистым кружевом сбрасывающей кору, путая в свежих лентах смущение и наглость вперемешку; с картин, которые я невесть зачем вызывал в тумане, с мига, когда я юродствовал, подобно прыщавому юнцу, и не раздумывая пожертвовал драгоценной душой из моей заветной кубышки, лишь бы одна из Евиных дочерей осталась жить.

Да, потом я жалел. Я жалел, и не стыжусь этого; и жизнь моя дала трещину.

Не знал, что такое возможно.

Не знал...

Люди зовут меня Князем Тьмы.

Я не князь.

Я — крепостной Тьмы.

Я ем хлеб преисподней в поте лица своего, я могу лишь надеяться, что когда-нибудь накоплю необходимый выкуп, и тогда меня отпустят на волю.

Я из последних сил бегу по раскаленной сковороде своей пропащей жизни, я смеюсь, чтоб не позволить копящемуся крику разорвать горло, я гашу полыхающий внутри пожар поленьями чужих душ, проданных душ, проклятых душ — когда-нибудь бушующий во мне адский огонь захлебнется обильным приношением или сожжет меня дотла!

В сущности, это одно и то же.

Для меня.

Я не помню, кем был; я знаю, кем стал.

Я умею только брать и копить.

Еще я умею смеяться.

Хотите смеяться так, как я, ваши милости?

Могу научить... Вот, это совсем не больно и совсем не страшно: лезвием по вене, и чертите пером ваши закорючки — здесь, здесь, и еще вот здесь!.. Хотите?!

Брать и копить, ваши милости, брать и копить!

Но эта женщина... о длинноногая воровочка моя, зачем тебе взбрело в голову научить Петушиное Перо отдавать?! Зачем мы встретились, зачем ты походя плеснула на мою сковороду, на светящийся от жара металл ледяной родниковой водой?! — нет, я не хочу трескаться, мне нельзя ос-

танавливаться, отвлекаться, нельзя, нельзя... Задумывалась ли ты, глупая, что когда один ворует — второй отдает! Да, не по своей воле, да, насильно, да, но все-таки отдает! Вам, людям, это привычно, вы всегда отдаете что-нибудь, добром или недобром — силы, деньги, слова, жизнь, — но вы зовете меня дьяволом, потому что я другой!

Для вас свобода начинается со слова «нет», потому что, говоря «да», вы подписываете договор, а потом — какая потом может быть свобода?! Я же говорю «нет», и это мое рабство, потому что «да» открывает двери внутри меня, открывает ворота в ад, в «да», наоборот, даруя свободу вам войти... но и аду выйти!

Умри, свобода слова «да»!

Я не умею отдавать!

Я не умею... я не умел отдавать.

Я — крепостной Тьмы, я — виллан Геенны, я — пустая перчатка, я чувствую в себе заполняющую пустоты руку преисподней и завидую тому преступнику на эшафоте, в чье чрево входит сейчас заостренный кол.

Что взять с пустой перчатки?

Оказывается, есть что...

Оказывается, я даже могу дарить добровольно, и это ново и удивительно, как разнообразие приевшейся боли.

Я больше не одинок.

Правда, воровочка?!

Если ты сумела войти и выйти, если я сумел остановиться на миг и, приплясывая босыми пятками на адской сковороде, сделать невозможное, значит, я не одинок, даже зная, что подобные мне никогда не пересекаются друг с другом в этом мире. Одиночество горящего изнутри дьявола в толпе людей, полагающих, что это они мучаются, как никто; одиночество ада в чистилище — неужели ты не навсегда?!

Скрипят колеса тарантаса, фыркает уставшая кобыла... куда я еду?

Люди зовут меня Нечистым.

Зовите как угодно — только зовите!

Книга третья
ЕРЕСЬ КАТАРОВ

ГЛАВА VII

1

Эй, люди добрые, смотрите, кто к нам приехал! Мы-то уж вас заждались, думали, не успеете! А мамка, мамка все глаза проплакала... старая она совсем, мамка-то, с печи уж и не слазит почти что!

Разумеется, первой, кого увидели путники при въезде в Шафляры, была располневшая за эти годы румяная Тереза — старшая из приемных дочерей Самуила-бацы. Благополучная супруга благополучного краковского купца добралась до родного села три дня назад без всяких приключений, взахлеб отрыдала свое над отцовой могилой и теперь искренне радовалась встрече.

Такой Тереза была всегда — искренней и в горе, и в счастье.

А за спиной Терезы, немедленно бросившейся обнимать спешившуюся Марту, уже выходили из ближних хат шафлярцы, на ходу оправляя одежду и вытирая руки — на скотном дворе или возле печки трудно остаться опрятным. Некоторые лица были знакомы, разве что гусиных лапок в уголках глаз да зимы в волосах добавилось; другие узнавались не сразу — поди-ка признай в статной подбоченившейся хозяйке, за подол которой цепляются двое замурзанных детишек, ту худющую конопатую девчонку, с которой в детстве играл в догонялки, а позже пытался прижать в кустах, как учил старший брат, и схлопотал от недотроги такую оплеуху, что потом полдня в ухе звенело!

Одобрительно кивали, приподнимаясь с бревен, отполированных за годы сидения до матового блеска, белобородые старики (вроде бы, когда уезжали отсюда, они такие же и были... или это уже другие?), звонко распахивались ставни, выходили, улыбались, здоровались земляки, и от всеобщего неторопливого радушия, от степенного похлопывания по плечу и одобрительного скупого слова, от того, что наконец-то приехали *домой*, становилось легче, светлее на душе, и мир вдруг начинал казаться не столь мрачным и беспросветным, а сжимавшая сердце тоска понемногу отпускала, сворачиваясь в клубок...

Марта, Ян и Михал вертели головами во все стороны, поминутно здоровались и все больше убеждались, что Шафляры остались теми же, что и десять, двадцать, тридцать лет назад. Крепкие бревенчатые избы, мычание коров и блеянье овец на скотных дворах, огороды, где росло все, что угодно, лишь бы годилось в окрошку или под добрый кухоль сливянки; выложенные вдоль единственной улицы толстые колоды для вечерних посиделок, чисто символическая изгородь околицы, обветшавшие заборы, до починки которых никогда не доходят руки... даже колдобины на дороге были те же самые, знакомые, и воздух, свежий горный воздух каждым глубоким вдохом напоминал: «Ты дома!».

Дома...

Громадные пастушьи псы, не знавшие привязи, молча косились на Джоша; редко-редко взрыкивали те, что помоложе, но в драку не лезли — видать, чуяли опытные овчары в одноухом пришельце что-то чужое, не собачье, а посему решали не связываться.

Неспешно пройдя-проехав почти через все село, путники уже подбирались к Самуиловой хате, находившейся на другом конце Шафляр, когда перед ними возник молодой парень в широких кожаных штанах, заправленных в невысокие стоптанные сапоги, и вышитой рубахе, подпоясанной цветастым кушаком, за которым торчал короткий нож. Парень уверенно загородил путникам дорогу и, плотно сжав узкие губы, в упор уставился на Михала, игнори-

руя возмущенные возгласы квестаря Игнатия, правившего аббатским возком.

«Мардула», — сразу догадалась Марта. Придерживая лошадь, она наблюдала за тем, как Михал с нарочитой неторопливостью слезает с коня, вразвалочку подходит к приодевшемуся по случаю долгожданной встречи юному разбойнику и резко, без замаха, закатывает ему звонкую пощечину, от которой Мардуле с трудом удается удержаться на ногах.

Ко всеобщему удивлению, парень не схватился за нож, не попытался ударить Михала в ответ, даже браниться не стал — криво усмехнулся, тронул быстро багровеющую щеку и сплюнул кровью под ноги воеводе.

— Бей, — спокойно заявил Мардула. — Бей, пока даю. Отца убил, сволочь, что для тебя какой-то там Мардула! Меня липтовцы подранили, еле ушел через Гронь — так дядька Самуил меня выходил, ночами надо мной сидел, травами отпаивал; дядька Самуил меня... — разбойник внезапно осекся, словно чуть было сгоряча не наболтал лишнего, не предназначенного для ушей Михала, да и для чьих-либо других ушей.

— А ты его кончил, мразь, и прочь пошел! — после долгого молчания договорил Мардула и снова сплюнул. — Эх ты, змея подколодная...

Кровавая слюна тяжко шлепнулась на сапог Райцежа.

— Это ложь, Мардула, — тихо проговорил Михал, белый, как крейда. — Я не виновен в смерти отца. Так... так Бог судил.

— Это ты другим расскажи, — зло осклабился парень, и Марте на миг вспомнилась волчья ухмылка Седого. — Бабе своей, родичам, а я-то собственными глазами видел! Бог судил... Бог еще не судил, не пристало времечко!

— Ну, и чего же ты хочешь? — по-прежнему чуть слышно спросил Михал, и Марта поняла, каких усилий стоит ее брату этот спокойный тихий голос. Стоящий перед Михалом парень из потомственного разбойничьего рода держал в заложниках беременную жену Райцежа, из-за которой отчаянный Михал... Держал. В лесу. В заложниках. И только поэтому Мардула до сих пор оставался жив.

Во всяком случае так думалось Марте.

— Поединок, — скуластое лицо Мардулы отвердело. Он больше не улыбался. — Божий Суд. В огненном круге, как у гуралей исстари заведено.

— Хорошо, — неспешно кивнул Михал. — И тогда ты отпустишь мою жену?

— Отпущу. Чем бы ни закончился Божий Суд, я или мои люди ее отпустят.

— Хорошо, — снова кивнул Михал. — Когда и где?

— У подножия Криваня, над Грончским озером, где сходы проводят. Сегодня же вечером.

— Согласен. Но сначала я должен увидеть свою жену.

— Увидишь, — кивнул в свою очередь Мардула. — Цела баба твоя, не сомневайся... иди за мной. Только оружие здесь оставь. Не верю я тебе, ни на вот столечко не верю.

Михал молча отцепил от пояса палаш в ножнах, вынул возвращенную Седым дагу, извлек из-за голенища нож и передал все это подошедшей сзади Марте.

— Езжайте к отцовой хате, я туда вернусь, — махнул он рукой аббату.

Аббат Ян в упор посмотрел на Мардулу.

— Он должен вернуться, — строго сказал аббат, и случилось невероятное: не клонивший головы перед грозным воеводой Мардула потупился и уставился в землю.

— Вернется, — благодушно успокоил настоятеля незаметно подошедший сзади осанистый старик с окладистой седой бородой и хитрыми глазами, сверкавшими пронзительной голубизной весеннего неба. — А чтоб наверняка вернулся, мы с Кшиштофом, — он кивнул на подошедшего следом другого старца, как две капли воды похожего на первого и наверняка доводившегося ему родным братом, — с ними сходим. При братьях Кулахах ни один разбойник, будь он хоть разбойничьим гетманом, непотребства творить не станет. Верно говорю, Мардула?

— Верно, пан солтыс[1], — поспешно согласился моло-

---

[1] *Солтыс* — старейшина, уважаемый человек, которого слушались на большой территории; что-то вроде неофициального главы клана, особенно среди воинственных горцев-гуралей.

дой разбойник. — Только я и не думал... и в мыслях не держал, когда на Божий Суд звал — чтоб втихую, в лесу...

— Божий Суд — это правильно, — одобрил солтыс Кулах. — Боженька долго терпит, да круто судит. И на тебя зря грешить не стану. Только мы с тобой все равно пойдем. Слава за тобой, парень, дурная волочится, хуже крысиного хвоста: добро б деньги или скотину какую украл, как порядочный гураль, а то бабу на сносях! Опять же на людей наговариваешь, — солтыс степенно указал на Михала. — Вот и пришлось нам с Кшиштофом от самого Черного Дунайца к вам в Шафляры ехать, чтоб чего не вышло... Да не гордись ты, дурень, не гордись, не из-за одного тебя мы тут! Ты на все Татры бугаем разорался, любопытные целыми оравами прут, всякое сейчас случиться может... Ладно, пошли.

Долго смотрели шафлярцы вслед уходящим: дивитесь, люди добрые, вот они, два непримиримых врага — Мардула-разбойник с Михалеком, сыном покойного Самуилабацы, и два старца, солтыс Ясица Кулах по прозвищу Маршалок и его брат Кшиштоф, неторопливо бредущие в сторону леса...

2

По окрестному лесу — дремучему, заповедному, где деревья рубились лишь вблизи от селений, — они плутали довольно долго. Видимо, лукавец Мардула умышленно путал дорогу, петлял, как поднятый лисой заяц; Михалу дважды казалось, что здесь они уже проходили, но на старую память о Кривом лесе, где лазил еще мальчонкой, он положиться не мог. Наконец разбойник остановился поперек ничем не примечательной тропинки, одной из многих, бросил косой взгляд на своих спутников и негромко свистнул.

Почти сразу же кусты справа от тропинки шевельнулись, и из них выступил парень примерно того же возраста, что и Мардула — горбоносый, чернявый, смахивающий на цыгана, в короткой рубахе навыпуск и холщовых штанах, заправленных в онучи и перехваченных ремешком; на ногах парня красовались пастушьи керпцы, сшитые из

одного куска кожи, на голове — плоская шляпа с узкими полями, увешанная цепочками. В руках лесной бродяга держал длинный лук, из-за спины выглядывал колчан со стрелами, а за поясом удобно устроился небольшой ухватистый топор.

— Приведи ее, Галайда, — коротко приказал Мардула, и старики Кулахи, Ясица и Кшиштоф, незаметно переглянулись: уж больно похож был сейчас юный разбойник на своего отца, сгинувшего восемь лет назад в Оравских Татрах.

Парень молча кивнул и бесшумно скрылся в кустарнике.

Мардула тем временем уселся прямо на траву у края тропинки и приготовился ждать. Оба старика степенно расположились напротив, подстелив прихваченную непонятно зачем холстину (ну, теперь-то понятно — зачем, и не зря Кшиштоф тащил ее под мышкой); Михал, чтоб не стоять столбом, подумал-подумал и устроился на пеньке в двух шагах от Мардулы.

В голове воеводы мысли стремительно сменяли одна другую, и ядром, центром каждой было одно — Беата! Почему-то он склонен был верить разбойнику, что с женой ничего не случилось, если не считать того, что хрупкая женщина в тягости все это время скиталась по лесам в компании заядлых душегубов. Михал тяжело повел плечами и неожиданно подумал, что ни Мардула, ни парень с луком никак не походили на душегубов. Может быть, поэтому им хотелось верить. Но верить — одно, а вот своими глазами увидеть Беату, перекинуться хоть парой слов, коснуться мягких волос... Да, знал сукин сын Мардула, как заставить его, Михала, принять любые условия. Знал, догадывался — не все ли теперь равно?! Дело решенное, вечером им с Мардулой выходить в огненный круг с чупагами в руках — и покинет место Божьего Суда скорее всего лишь один.

Михал почесал укушенную какой-то мошкой щеку и поймал себя на том, что втайне сочувствует дураку-Мардуле, вступившемуся за чужого, в сущности, ему человека против приемного сына этого самого человека. Ну кто Мардуле-разбойничку, юному гулене, старый Самуил-баца?! Считай, никто. Так нет же! — на рожон лезет, из кожи вон

выпрыгивает, жизни собственной не жалеет! Интересно, как бы поступил на месте Мардулы он сам, воевода Михал Райцеж, шафлярский приемыш Михалек Ивонич?! Да точно так же! Разве что жену чужую воровать не стал бы... А если бы ему, как Мардуле, никто не поверил? То-то же, друг воевода. Прав разбойник, пусть со своей колокольни, но прав. Если с Беатой все в порядке...

С ней все в порядке! — сурово одернул себя Михал. Подругому и быть не может. Иначе не повел бы его сюда Мардула. Или разбойник хитрее и подлей, чем кажется на первый взгляд? Вон, даже солтыс Кулах пошел, чтоб приглядеть... да где ему приглядеть, старику-то?!

Но тут мысли воеводы прервал шорох раздвигаемых кустов. Михал вскочил и на мгновение застыл, глядя, как Беата, одетая в длинную суконную накидку поверх платья («Молодцы, разбойное племя, додумались!»), выбирается из кустарника, почтительно поддерживаемая под руку все тем же цыганистым парнем.

Кажется, с женой действительно все было в порядке.

Женщина отцепила колючую ветку от края накидки, подняла голову, увидела стоящего на тропинке человека...

— Михалек! Живой! — и, уже не обращая внимания на растерявшегося и отставшего парня Мардулы, Беата бросилась на шею мужу.

...Прижимая к себе счастливо плачущую жену, невпопад целуя ее в губы, в щеки, в нос, путаясь в растрепавшихся льняных волосах и не решаясь высвободиться, чтобы ненароком не сделать Беате больно, ощущая сквозь одежду ее теплый округлившийся стан и наконец заглянув в ее полные слез глаза, лучащиеся радостью из-за мерцающей завесы, Михал вдруг почувствовал, как клинок запоздалого понимания и раскаяния входит к нему в душу, разрывая невидимую плоть.

«Михалек! Живой!..» — эти слова беременной Беаты отрезвили воеводу почище ушата ледяной колодезной воды, опрокинутого похмельным утром на голову сына мамой Багантой. Ведь как оно бывало: вскочишь спросонья, мокрый до самых некуда, поджилки зимним трусом трусятся, ноги разъезжаются, как у новорожденного телка, в

башке черти ночевали, язык распух колодой — и стыд, стыдобища ознобом по телу, когда припомнишь, что творил вчера в пьяном угаре!

Не о себе думала Беата, пока заложницей ехала из-под Тыньца в неблизкие Шафляры, не о младенце в чреве своем пеклась, пока Мардулины побратимы ее, брюхатую, по лесным берлогам таскали — о нем, о Михалеке, о муже непутевом, которому голову сложить, что два пальца оплевать...

Вот и выхлестнулось первым, нечаянным:

— Михалек! Живой!..

Лови, воевода, от судьбы оплеуху!

Как же слеп он был все это время! Значит, напрасно умер молодой княжич Янош?! Напрасно навлек Михал на себя гнев старого князя Лентовского?! Напрасно мучился все это время, ел себя поедом?! Напрасно заявился в Шафляры к батьке-Самуилу, став невольной причиной его смерти?!

Все — напрасно?!

Маши палашом, воевода, и не лазь в чужие души — куда тебе, колчерукому...

— Я люблю тебя, — срывающимся голосом прошептал Михал. — Теперь у нас все будет хорошо.

— Почему будет? — спросила в ответ Беата и улыбнулась сквозь слезы. — У нас и было хорошо... и сейчас — хорошо...

Потом они еще долго стояли, не в силах разомкнуть объятий, пока наконец Мардула не выдержал и не пробормотал смущенно:

— Ну ладно, будет лизаться-то! Пора нам...

Им действительно было пора.

3

На обратном пути Мардулу терзали сомнения, и юный разбойник злился на себя за это, нарочно в сотый раз вспоминая сползающего на траву Самуила-бацу — в конце концов, парень добился-таки своей цели, вытеснив из го-

ловы забравшегося в нее червя. Этот надменный шляхтич, невесть какой кривдой добывший шляхетское звание, — убийца; значит, сегодня вечером все должно решиться. Надо быть последним пустозвоном, чтобы не понимать: в воеводы к графам Висничским кого попало не берут, да и плечи у шляхтича... добрые плечи, не сытой жизнью склепанные, и по лицу видно, что биться воевода будет люто, как зверь за самку свою да вдобавок как шляхтич за гонор и честь родовую! Иди, воевода, шагай по Кривому лесу, играй желваками на высоких скулах — не знаешь ты, что приготовил для игры с тобой лихой Мардула! Даром, что ли, разбойник за Самуила-бацу вступился?! — нет, недаром, дядька Самуил того стоит, ох стоит... Спи спокойно, баца, Мардула за тебя расплатится, так расплатится, что чертям тошно станет!

О чем думали по дороге солтыс Маршалок со своим неразговорчивым братом, осталось загадкой, но только когда все четверо выбрались с тропинки на более широкую просеку, всяким размышлениям сразу пришел конец. С обеих сторон просеку напрочь перегородили конные гайдуки в богатых кунтушах, вооруженные если и не до зубов, то уж, во всяком случае, по шею. Ждать от подобной встречи ничего хорошего не приходилось, а когда Михал увидел рослого пожилого магната в атласном жупане, восседавшего на нетерпеливо перебиравшем копытами вороном жеребце, то помрачнел окончательно.

Ему даже не понадобилось смотреть на хохолок белой цапли, украшавший драгоценную рукоять фамильной сабли, чтобы узнать старого князя Лентовского.

— Это за мной, что ли? — растерянно пробормотал Мардула, озираясь по сторонам подобно волку в кругу облавы.

— Да нет, приятель, это за мной, — против воли горько усмехнулся Михал.

Разбойник в раздумье почесал затылок, еще раз глянул на подбоченившихся гайдуков — и вдруг змеей нырнул в кусты, мгновенно растворившись в лесу.

Как Михал и предполагал, гнаться за Мардулой никто не стал — не по его гулящую душу явился в Подгалье князь Лентовский со своими людьми.

— Сдавайся, убийца! — крикнул один из гайдуков, похоже, старший. — Кидайся князю в ноги, сапог целуй — может, сжалится их ясновельможность!

Сам князь не удостоил Михала ни словом.

Деваться воеводе было некуда, оружие его осталось в Шафлярах, бежать наугад от верховых не имело смысла, так же как надеяться, что на выручку к нему из Виснича явятся графские люди под предводительством тестя Казимира — и Михал понял, что пришла пора умирать.

Умирать, понятное дело, не хотелось, но Михалек давно свыкся с мыслью о собственной смерти; тем паче что живым сдаваться князю хотелось еще меньше. Воевода Райцеж хорошо представлял себе, какую смерть способен измыслить искушенный в пытках и не отягченный совестью старый Лентовский для убийцы своего сына-наследника.

— А вы берите меня, не стесняйтесь! — зло усмехнулся воевода. — Три десятка озброенных на одного безоружного — чего уж там! Надо ж когда-нибудь княжеское жалованье отработать, хлопы немытые!

И презрительно сплюнул под копыта княжескому жеребцу.

Он нарочно пытался вывести из себя Лентовского и его гайдуков: один удар сабли или меткий выстрел — и все будет кончено сразу, без мучений.

— Ну что, храбрецы?! — подзадорил он замявшихся врагов. — Кто хочет *мой* сапог поцеловать? Подходи, на всех хватит!

Если кто-нибудь приблизится, тогда появится возможность отобрать саблю или нож, и гайдукам после этого наверняка придется убивать воеводу, собравшегося умирать в хорошей компании.

— Легкой смерти хочешь, пся крев? — голос князя был подобен хриплому карканью ворона. — Так и быть, подарю я ее тебе, как просишь!

Князь кивнул старшему из гайдуков, и тот вскинул к плечу рушницу — неизвестно, в шутку или собираясь стрелять всерьез.

В следующее мгновение, как показалось Михалу, сам сгустившийся воздух лихо и коротко присвистнул, и тон-

кая ясеневая стрела выросла из горла гайдука, пробив его насквозь. Все на какой-то миг замерло, потом гайдук медленно завалился на бок и мягко сполз с седла. От падения взведенная рушница выстрелила, и на другой стороне просеки дико заржала, метнулась в сторону и рухнула наземь одна из лошадей, придавив отчаянно ругающегося всадника.

— Следующая стрела — твоя, князь. Так что думай, — раздался из чащи совершенно спокойный голос; Михал лишь с некоторым опозданием узнал в нем голос Мардулы и невольно восхитился: «Молодец, разбойник! А я-то думал — испугался, деру дал от греха подальше...»

Почти сразу же совсем из другого места раздался пронзительный заливистый свист, чаща откликнулась тройным таким же свистом, а откуда-то из глубины леса донеслось насмешливое уханье, к которому филин, ясное дело, не имел никакого отношения.

Князь явно колебался, а гайдуки без его приказа тоже не решались двинуться с места. Никому не хотелось разделить участь собрата, валявшегося на земле в луже собственной крови со стрелой в горле.

И тут на сцену выступил до поры до времени всеми забытый солтыс Ясица Кулах. Его молчаливый брат Кшиштоф остался сидеть на краю просеки, и было непонятно, интересует ли его происходящее хоть в какой-то мере.

— Я солтыс Ясица, которого глупые люди еще Маршалком кличут, — объявил старик, выходя на середину просеки и глядя князю прямо в глаза. — Может, слыхал, твоя ясновельможность?

Лентовский хмуро кивнул — слыхал, мол.

Чем несказанно удивил Михала, не ожидавшего от магната Лентовского такой осведомленности о делах, творившихся в Подгалье.

— Спросить у тебя хочу, князь, — продолжил солтыс. — За спрос, как говорится, не бьют в нос, значит, можно... За что пана воеводу на тот свет отправить хочешь?

— Сына он моего убил, — нехотя процедил сквозь зубы Лентовский, легонько поглаживая сабельную рукоять.

— Убил? Страсти-то какие! Слыхал, Кшиштоф?! Ну

ладно, молчи, ты у меня молчун... В честном поединке убил или из-за угла подкрался?

— Не твое дело, старик! — отрезал князь. — Худородный шляхтишка, пахолок этого выскочки Висничского, убивает наследника Лентовских — и чтобы я промолчал да утерся?! Не бывать тому!

— Худородный, говоришь? — искренне удивился старик. — А я-то, дурень, полагал, что честь шляхетская — одна на всех! Выходит, обманывался! Слышишь, Кшиштоф? Выходит, воевода на княжича один на один идет, а князь на воеводу тремя десятками гайдуков лезет! Вот уж не ждал, не гадал!

— Некогда мне с тобой разговоры разговаривать, солтыс Кулах! — гайдуки оторопело переглядывались: грозный Лентовский явно пытался скрыть свою неуверенность. — И не стой на дороге, старик, добром прошу! На тебя я зла не держу, но не ровен час, под копыта или под пулю попадешь, тогда на себя пеняй!

— А ты мне не грози, князь! — старик не повысил голоса, но голубые глаза его недобро блеснули. — Здесь тебе не твой маеток, здесь Подгалье, а я и Михалек... и воевода Михал — не твои хлопы безъязыкие! Знаешь, небось, что со старостой [1] Смаковским приключилось, когда он с гуралями своевольничать вздумал?

Лентовский знал. Двадцать один год тому назад новотаргский староста Смаковский, родовитый шляхтич герба Слепая Лошадь, получил жалованный королем Сигизмундом привилей и попытался навести в Подгалье свои порядки, силой оттяпав добрую треть долинных пастбищ и пахотных земель. В результате чего жестоко поплатился за жадность и самонадеянность — чернодунаецкие солтысы подняли Бескиды против старосты-лиходея; вот этот самый стоящий сейчас перед князем старик встал как гетман во главе разъяренных гуралей, маеток старосты был взят приступом, часть гайдуков перебили, остальные пред-

[1] *Староста* — знатный шляхтич, назначенный королем для управления определенной территорией (старостом) и пользующийся пожизненно доходами с этого старостства.

почли спастись бегством, а самого старосту изрубили чупагами так, что потом даже тело опознать не удалось.

После этого случая солтыс Ясица Кулах и получил свое прозвище — «Маршалок»; а брат его Кшиштоф по сей день хранил на почетном месте чупагу с засохшей кровью на лезвии и никому не давал ее трогать или тем паче счищать почти осыпавшуюся кровь.

Король же предпочел закрыть на случившееся глаза — посылать кварцяное[1] войско в непроходимые горы на усмирение тамошних пастухов, среди которых каждый третий — разбойник, каждый второй был разбойником, а каждый первый — будет, не имело никакого смысла.

И теперь старый князь Лентовский прекрасно понимал, что если дойдет до серьезной крови, то ни его гайдукам, ни ему самому из этих гор вернуться будет не суждено. Можно заслониться лошадью от засевшего в лесу стрелка, можно изрубить в смертной сече не один десяток горцев, но все равно живыми им отсюда уйти не дадут.

— ...У гуралей, твоя ясновельможность, свои законы, — продолжал меж тем старик. — Нынче вечером Божий Суд назначен, и негоже боженьку на полуслове перебивать. Не один ты пана Михала убийцей считаешь, вот и выясним, винен ли он в первой смерти! Ну а после, если сыновняя гибель жжет твое княжеское сердце и если воевода жив останется — вызывай его на честный бой либо выставляй своего человека, и никто вам мешать не станет. А вот так, с толпой гайдуков, да на одного безоружного, что б он там ни натворил — не любят этого у нас, ох не любят! Так что думай, князь, хорошо думай: стоит ли твоя жизнь и жизни пахолков твоих одного убитого воеводы? А коль дело надумаешь — поезжайте с нами в Шафляры, становитесь лагерем на лугу близ западной околицы, гостями будете, на Божий Суд глянете, а там — как сам решишь.

Князь колебался недолго.

Еще раз пристально посмотрев на старого солтыса и на

---

[1] *Кварцяное войско* — воинские части, нанимавшиеся на четвертую часть (кварту) доходов с королевских земель и имений.

его брата Кшиштофа, увлеченно раскуривавшего пузатенькую трубочку, он коротко кивнул.

— Суд так суд, — бросил Лентовский и криво ухмыльнулся, покосившись на недвижного Михала. — Авось пришибут паршивца...

4

Новости валились на Шафляры одна за другой, как снежные лавины в горах, оглушая, не давая опомниться и, подобно тем же лавинам, грозя окончательно погрести под собой шафлярцев.

И не только новости.

Ну, собрались на отцовы сороковины дети Самуила-бацы — это дело понятное и почтенное, всем бы таких детей, и врет небось хвостокрут-Мардула насчет Михалека — мало ли что парню сгоряча привиделось?!

Объявленный Божий Суд, о котором Мардула трезвонил уже больше недели, вызвал заметное оживление — в кои-то веки удается хоть одним глазком взглянуть на подобное зрелище! — поэтому заявившийся в Шафляры солтыс Маршалок и один за другим спускавшиеся с окрестных гор гурали ни у кого особого удивления не вызвали: вести в Подгалье разносятся на крыльях ветра, а посмотреть на поединок явно хотели многие.

Когда следом за вернувшимися из лесу Михалом и братьями Кулахами (Мардула успел куда-то исчезнуть, но все были уверены: к подножию Криваня в нужный час непременно явится!) выехали верхами три с лишним десятка гайдуков князя Лентовского во главе с самим князем и стали лагерем неподалеку — Шафляры мигом взбудоражились не на шутку, а кое-кто из местных сорвиголов принялся точить чупаги да заряжать старые рушницы.

Мало ли?!

Но и это было еще не все!

Ближе к вечеру в село въехала обитая дорогим бордовым бархатом дубовая карета городской работы — в такой не по горным дорогам раскатывать, а по краковским мостовым! На козлах кареты восседал хмурый монах-доминиканец в длиннополой рясе с капюшоном, а следом под-

прыгивал на выбоинах возок с еще тремя такими же монахами. Когда шафлярцы узнали, что это приехал сам провинциал, его преосвященство епископ Гембицкий, — явление его преосвященства стало последней каплей, переполнившей чашу удивления; особенно если учесть, что Гембицкий был хорошо известен как непримиримый борец с ересью, самолично сжегший не один десяток колдунов и ведьм!

Окончательно растерявшиеся и задавленные таким обилием событий и приезжих шафлярцы почли за благо до вечера сидеть по домам, чтоб собраться уже затемно у подножия Криваня, где был назначен поединок.

Божий Суд.

О приезде епископа Гембицкого аббат Ян узнал от вбежавшего в хату запыхавшегося мальчишки. Хлопец долго пытался выговорить незнакомое слово «провинциал», услышанное от сидевшего в карете странного ксендза в фиолетовом облачении, потом вспомнил, что монахи звали ксендза «его преосвященством»; наконец припомнил фамилию — Гембицкий — и настоятель Ивонич понял, о ком идет речь. Новость эта отнюдь не обрадовала аббата, но тем не менее он поспешил навстречу его преосвященству, дабы почтить достойного прелата и помочь князю церкви устроиться.

Епископ был вежлив и тих, но отца Яна это обмануть не могло — не зря его преосвященство заявился в Шафляры, ох не зря! Не по его ли, настоятеля, душу? Выяснить это следовало не откладывая. И потому Ян, посоветовав епископу остановиться у зажиточного шафлярца Станислава Зновальского, чей дом заметно выделялся на фоне других построек, почти сразу же пригласил его преосвященство в хату Самуила — отдохнуть с дороги (а заодно, если надо, и побеседовать), пока расторопные монахи распрягали лошадей, втаскивали в дом поклажу, а польщенный и немного испуганный хозяин спешно распоряжался готовить покои и ужин для высокого гостя.

Епископ ничего не имел против.

Марта и Михал правильно истолковали короткий взгляд

брата и поспешили куда-то увести Терезу, соображавшую в подобных ситуациях несколько медленнее; умаявшаяся за сегодня старуха-мать дремала на печи, и ее не было ни слышно, ни видно, так что духовные пастыри остались практически наедине.

Некоторое время оба молчали.

— Странные вещи люди рассказывают, — заговорил наконец епископ, огладив бритый подбородок холеной рукой, унизанной драгоценными перстнями. — Волосы дыбом встают... Вот, к примеру, на днях пахолки князя Лентовского криком кричали, будто неподалеку от вашего Тыньца, отец настоятель, на мельнице некоего Топора, известного ворожея (прости, Господи), — епископ перекрестился, — такие непотребства богопротивные творились, что и говорить не хочется! Мертвые из могил вставали, как в день Господнего гнева, и живых к себе тащили... Может, конечно, и врут пахолки, да только многое в их сказках сходится с тем, что мне и так известно. Без колдовства и козней врага рода человеческого, полагаю, тут никак не обошлось. Ну, про мельницу эту я давно слыхал, что нечисто там, — вот по дороге сюда завернули...

— И что... ваше преосвященство? — не удержался побледневший аббат Ян.

— Да ничего особенного, — пожал узкими плечами Гембицкий, от которого не укрылась неожиданная бледность аббата, и складки его фиолетовой мантии плавно качнулись. — Сожгли, естественно. И мельницу, гнездо колдовское, и самого колдуна со всем его выводком. Тут дело ясное, без дознавателей обошлись...

Яну с трудом удалось восстановить на лице первоначальное вежливо-заинтересованное выражение.

— Да только не в Топоровой мельнице дело, — продолжал между тем епископ. — Пахолки князя утверждают, будто и вас, отец настоятель, там видели. Вроде бы стояли вы рядом с тем самым колдуном, которого мы на днях огню предали, и никаких препятствий козням его не чинили. Конечно, люди княжеские со страху перед хозяином чего только не понаскажут! — вот и решил я, отец настоя-

тель, сам с вами увидеться и лично от вас узнать обстоятельства этого странного происшествия.

— Что был я там — это правда, ваше преосвященство, — спокойно ответил аббат Ян, которому спокойствие это далось не одной прядью седых волос. — А что касается оживших мертвецов и сатанинских козней... Не видел я ничего такого. Пахолки княжеские пана Михала Райцежа, придворного воеводу графа Висничского — надеюсь, вам знакомо имя графа Ежи, любимца их величества Яна-Казимира?! — схватить хотели силой; это было, своими глазами видел, не отрекаюсь. Только пан Михал от них отбился, троих порубил, а остальные ускакали. Мельникова подмастерья еще по дороге Лентовские конями потоптали насмерть, царство ему небесное, несчастному... А мертвецов восставших я что-то не приметил, ваше преосвященство. Может, людям Лентовского спьяну померещилось? — туманы у нас предрассветные сами знаете какие!..

— Верю, верю, отец настоятель, — елейно улыбнулся епископ, и аббат Ян ясно понял, что Гембицкий не верит ни единому его слову. — Я-то верю, да только, сами понимаете, людям болтать не запретишь; хоть и грех это — напраслину на ближнего своего возводить. И от слов их, хоть цена им невелика, я отмахнуться просто так не могу. Сан не позволяет, сан и доверие Рима. Боюсь я, как бы не повредило все это вашей репутации, отец настоятель. Вот и приехал поговорить с вами, лично, так сказать, убедиться. А сюда вы вроде как на сороковины родителя вашего покойного приехали?

— Вы абсолютно правы, ваше преосвященство. Не мог я последнюю волю отца моего не исполнить.

— Похвально, похвально, — покивал епископ, и аббат Ян почему-то, глядя на Гембицкого, вспомнил историю Гусмана Доминика, Гусмана Кроткого, основателя ордена доминиканцев, вдохновителя избиения альбигойцев.

Тоже небось вот так кивал, глядя на костры из катаров, и приговаривал: «Похвально, похвально...»

— Весьма похвально, отец настоятель. Родителей чтить надо, и при жизни их, и после того, как призовет их к себе

Господь. Я надеюсь, отец ваш был примерным христианином?

Аббат лишь молча кивнул.

— Это я так, к слову пришлось. Конечно, никто в этом не сомневается, хотя... в этих горах христианство настолько перемешалось с остатками язычества, а то и вообще манихейской ереси, что сразу и не поймешь, кто здесь воистину почитает Господа нашего, а кто... Впрочем, заболтался я тут с вами, отец настоятель, пора и честь знать. Пойду к себе, не буду вам мешать. Вам не до меня нынче — молитесь спокойно за душу родителя своего, и я за нее молитву вознесу, ну а после еще поговорим. Времени у нас много, обратно, я полагаю, вместе поедем...

Аббат Ян проводил его преосвященство до дверей, попрощался самым теплым образом и вернулся в хату.

Теперь отец настоятель был твердо убежден, что если у провинциала Гембицкого найдется против тынецкого аббата хоть что-то, за что его преосвященство сумеет уцепиться, то у него, ксендза Яна Ивонича, будут большие неприятности. Уж насчет этого его преосвященство позаботится, найдет и время, и способ!

А еще предстояло, скорбя сердцем, сообщить своим — в первую очередь Марте — о том, что случилось с мельницей старого Топора и всеми ее обитателями.

Прав был старый колдун, говоря, что недолго им по земле ходить осталось.

Как в воду смотрел.

Вокруг Шафляр незаметно сгущались сумерки.

Приближалось время Божьего Суда.

5

...Каменистый нахохлившийся Кривань коршуном нависал сверху, и молчаливое, беспорядочно копошащееся людское месиво казалось горе чем-то вроде вскипающей прорвы Черного озера, когда в глубинах его водяные играют свои шумные свадьбы.

Ночь вдруг попятилась, пересилив любопытство — чет-

веро молодых пастухов с пылающими факелами, словно повинуясь неслышному приказу, рванулись с места и парами понеслись в разные стороны, сопровождаемые сизыми шлейфами дыма, обегая выложенный вязанками хвороста круг двадцати шагов в поперечнике и тыча по дороге в сушняк огнем. Встретились пастухи у того места, где круг был разомкнут, где кольцо вспыхнувших костров хотело и не могло сойтись, образовав темный провал ворот, ведущих в рукотворную преисподнюю.

Солтыс Кулах снял широкополую шляпу с серебряным образком на тулье, размашисто перекрестился и потом махнул рукой: начинайте, дескать! Богу и людям живым огнем подсветили, ночь-маму уважили — пора и честь знать!

И двое раздетых до пояса мужчин встали у ворот в огненное кольцо.

Глухой говор прокатился по толпе шафлярцев и собравшихся на Божий Суд чуть ли не со всех ближних Татр горцев. И впрямь: было о чем перемолвиться словцом с соседом, глядя на воеводу Райцежа и Мардулу-разбойника, прежде чем оба скроются в огне и станут Бога спрашивать своими острыми чупагами. Совсем юный, гибкий, порывистый, как годовалая рысь, не вошедший еще в полную мужскую силу Мардула, пританцовывающий на месте и сверкающий глазами на односельчан и гайдуков Лентовского, словно готовый растерзать любого, кто помешает ему прикончить ненавистного воеводу; и зрелый Михал, недвижно замерший и тускло глядящий перед собой, как глядит иногда белоголовый орел с Криваньских вершин, прежде чем рухнуть в пропасть, распластав могучие крылья и растопырив страшные когти — действительно, воевода был похож сейчас на хищную птицу: сухой, перевитый жгутами мышц торс, обмякшие руки, повисшие с той обманчивой неуклюжестью, с какой крылатый царь гор обычно передвигается по земле, волоча громады крыльев.

Первым в пылающий круг бросился Мардула. Занеся над головой свою чупагу, он пронзительно завизжал, подпрыгнул чуть ли не выше собственного роста, приземлился на скрещенные ноги, снова подпрыгнул прямо с места и через мгновение был уже на середине круга — приседая,

мечась из стороны в сторону, звеня медными кольцами на древке пастушьего топорика. Неистовость разбойника была сродни неистовству зимнего урагана в горах, бессмысленно бьющегося в стены ущелий, растрепывающего седые гривы снегов на вершинах — но не жди пощады, попавшись ему на дороге, если только ты не горный хребет или голая скала! Сметет, натешится, изорвет в клочья...

Воевода Райцеж неторопливо отер со лба выступивший пот и, не оглядываясь, медленно пошел к Мардуле. Чупагу Михал держал так, словно не знал, что с ней делать, сомкнув сухие пальцы на середине древка; и в толпе коренных гуралей неодобрительно захмыкали, похлопывая по плечам и спинам приунывших шафлярцев — односельчан человека, столь неловко обращающегося со знаком пастушьего достоинства. Разве что двое-трое дряхлых стариков, помнящих покойного Самуила-бацу и его повадку, переглянулись меж собой и прошамкали что-то беззубыми ртами.

Только кто ж их слушал, стариков-то!..

* * *

Михал до сих пор не мог понять, на что надеется дурак Мардула. Таких Антонио Вазари, первый настоящий учитель Райцежа, презрительно называл «жеребчиками» и любил жестоко наказывать, заставляя брать в руки боевую рапиру, после чего становился напротив с тупым стальным прутом, откованным специально для подобных случаев и насаженным на деревянную рукоять без чашки. Если «жеребчик» хотя бы раз заставлял Антонио сдвинуться с места, не говоря уже о том, чтобы оцарапать — учитель-флорентиец брал на себя обязательство платить за это, выставляя большой кувшин виноградной граппы. На памяти Михала такого не случалось ни разу; жена Антонио однажды проговорилась, что когда-то граппа и впрямь досталась «жеребчику», но это было давно, спустя год после их свадьбы с Антонио Вазари. А во всех остальных случаях, которых было немало, учитель пил граппу сам, пока истыканного до кровоподтеков «жеребчика» уводили под руки его друзья.

Воевода Райцеж мог убить юного разбойника в любую

секунду, на выбор. Сразу, когда станет слишком жарко или когда надоест играть; истерзать ранами или покончить одним ударом — то, что в руках Михала вместо привычного палаша была чупага, не имело никакого значения.

Он мог убить мальчишку.

Он не хотел этого делать.

И не понимал: есть ли у Мардулы что-то, припрятанное за пазухой для сегодняшнего поединка, или это просто молодое недобродившее вино пенится от удали и глупости?

Мардула-разбойник собирался мстить за смерть Самуила-бацы. Михалек Ивонич не мог позволить себе наказывать за это смертью. Если наказывать — то начинать пришлось бы с себя; но Беата и младенец под ее сердцем вынуждали Михала жить.

Жить.

...этим ударом можно было расколоть камень. Легендарный Водопуст из гуральских преданий вроде бы так и делал, когда отворял родники на Подгалье. Да только камня под острие Мардулиной чупаги не подвернулось, и вся сила пропала даром. Вскрикнув от отчаяния, разбойник на согнутых ногах пауком побежал вокруг проклятого воеводы-отцеубийцы, норовя достать обушком по голеням, но руки Михала были гораздо длиннее Мардулиных, а то, что воевода по-прежнему держал чупагу за середину древка, почему-то не имело никакого значения. В последний момент, когда обушок в который раз уже норовил пройтись по лодыжке вросшего в землю, как столб коновязи, Михала — обратная сторона древка воеводиной чупаги сухо щелкала по узкому лезвию возле самого сапога, и обушок бессильно взвизгивал, наискось чиркая по кожаному голенищу.

За поясом у обоих бойцов торчало по ножу — прямому и узкому пастушьему ножу с дубовой рукоятью; и воевода задним числом полагал, что рано или поздно вспыльчивый разбойник попытается метнуть нож во врага. Гурали отлично метали и чупаги, но на такую глупость, после которой рискуешь остаться совсем безоружным, Михал не рассчитывал. Вернее, надеялся, что она не придет Мардуле в

голову — безоружного разбойника было бы очень просто оглушить и выволочь за шкирку из огненного кольца, но горцы могли бы счесть это случайным везением, а не Божьей волей, и потребовать продолжения поединка.

Юный мститель все еще метался за пределами невидимого круга, привычно очерченного для себя воеводой, и Михал мог позволить себе неторопливо прикидывать возможные повороты боя, предоставив своему телу действовать самостоятельно. Он только краешком сознания приглядывал за собой — иначе, полностью отпустив поводья, он мог опомниться от размышлений уже над трупом Мардулы и запоздало клясть себя за то, что слишком хорошо учился убивать.

Отчаявшись зацепить воеводу издалека, разбойник заплясал вокруг, выбивая ногами барабанную дробь, закрутил чупагу вихрем — и неожиданно по-детски глупо кинулся к Михалу вплотную. Пальцы левой руки Райцежа мгновенно, словно живя собственной жизнью, вцепились в Мардулино запястье, сковав его кандалами похлестче каторжных, и чупага разбойника повисла над непокрытой головой воеводы, не в силах сдвинуться с места. Даже не попытавшись достать нож, разбойник свободной рукой обхватил Михала за шею, рванул на себя...

— Зачем? — тихо, в самое оскаленное лицо разбойника выдохнул Михал.

Он и в самом деле не понимал — зачем? Будучи гораздо сильнее молодого Мардулы, Райцеж в ближнем бою имел множество преимуществ, если в подобной ситуации имело смысл продолжать говорить о преимуществах. Даже сейчас Михалу стоило известных усилий не свернуть разбойнику шею или не всадить нож в поджарый юношеский живот.

— Зачем? — еще раз спросил Михал, не отпуская Мардулу, и вдруг ему померещился в десяти шагах, у самого огня, зыбкий силуэт, скрестивший призрачные руки на призрачной груди. Огонь плеснул на видение искрящейся лавой, очертания проступили четче, выпуклей — широкие плечи, орлиный нос с раздувшимися ноздрями, жабьи глаза навыкате...

— Батька? — забывшись, прошептал Михалек. — Батька, прости дурака!..

И вдруг понял, зачем Мардула прорывался вплотную.

Понял за миг до того, как Стражи его собственного сознания опустили огненные мечи на дерзкого пришельца.

Наверное, если бы не дар различать себе подобных, вынесенный из горящего сознания умирающего отца, Михал все-таки опоздал бы и уже держал в своих объятиях идиота.

Хуже — растение.

Юный Мардула-разбойник, сын Мардулы-разбойника и Янтоси Новобильской, был вором. Разыскивая своих будущих приемных детей по городам и весям, воспитывая их потом в строгости, старый Самуил не заметил того, что росло под самым боком; вернее, заметил, но поздно — в последние годы жизни, когда птенцы его гнезда разлетелись, разъехались, когда сам он окончательно состарился и отпаивал травами на печке раненого подростка-разбойничка. Вот тогда-то и почуял Самуил-баца в разбойном гурале знакомый воровской талант, вот тогда-то и стал учить Мардулу нужной сноровке, да только мало чему успел выучить — умер.

Одно забыл сказать, главное — что не один он такой на белом свете, Мардула-разбойник, Мардула-вор, нет, не один, даже после Самуиловой смерти.

И сейчас последний ученик Самуила-бацы из немногих своих силенок пытался украсть боевое знание у Михалека Ивонича, не понимая, что делает и с кем связался.

Это было то, чего Михал никак не мог предвидеть.

Он-то лучше кого бы то ни было знал, что воинский талант не выкрасть, как и любой талант; что в бою никак недопустимо соваться в душу противника — уж лучше сразу подставить шею под клинок; что безопасней воровать добычу у бодрствующей рыси или яйца из гадючьего гнезда... он знал это.

О, как хорошо он знал это!

И все силы ушли на страшный окрик, неслышный никому, кроме Стражей, которые нехотя опустили мечи и отошли в сторонку, давая оглушенному пришельцу выпасть наружу.

Впервые Михалек Ивонич, Михал Райцеж, придворный воевода Райцеж узнал, что его собственный воинский дар охраняют такие же Стражи, что и дар Жан-Пьера Шаранта из Тулузы; что это его, его талант, не ворованный, свой собственный, вросший корнями в основание души, давший многочисленные побеги, и нечего стыдиться, метаться ночами в смятых простынях и кусать подушку, не о чем жалеть; только сейчас понял Михалек ту простую истину, которую учителя его, Антонио Вазари, Жан-Пьер Тулузец, барон фон Бартенштейн, и самый первый, самый строгий учитель, батька Самуил — все они поняли давным-давно: нельзя украсть то, что тебе и так отдают, по доброй воле.

Открыто.

Отогнав Стражей, как инстинктивно сделал это сейчас сам Михалек, спасая глупого самонадеянного Мардулу от безумия.

...и лезвие ножа полоснуло его по ребрам.

Оглушенный столкновением со Стражами, полуобмякший в руках Михала, юный разбойник все-таки умудрился рвануть из-за пояса нож и, держа его острием к себе, извернулся и вслепую мазнул по врагу.

Отшвырнув Мардулу, Михал наскоро тронул бок ладонью — порез был болезненный, но неглубокий и практически безопасный. Но вздохнуть с облегчением ему не дали: разбойник снова кинулся вперед, сгорбившись и наклонив голову, как кидается раненый вепрь, и обхватил воеводу поперек туловища.

— Прочь! — хрипло заорал сбитый с ног Михал, и никто не знал, что кричит он не Мардуле, а Стражам, собственным Стражам, вновь замахнувшимся мечами при виде глупого вора, догадавшегося во второй раз сунуться в смертельно опасный лабиринт, откуда неумехе чудом только что повезло уйти живым.

И одобрительно качнул кудлатой головой призрак, стоявший у огня со скрещенными на груди руками, глядя на сцепившихся пасынков смоляными очами.

Покатившись по земле, они врезались в горящую вязанку с хворостом, Михал едва успел разорвать объятия и

вскочить — а огонь лениво лизнул широкие Мардулины штаны, пояс, обнаженное туловище... одежда вспыхнула, и какое-то мгновение воевода стоял над корчащимся юношей, попавшим в собственный ад и после встречи со Стражами не соображающим, что делать и как спасаться.

— Держись, брат...

Этого тоже не услышал никто, кроме призрака.

* * *

Гурали потрясенно ахнули, когда из круга вынесся Михалек Ивонич, в обожженных руках держа над собой охваченного огнем Мардулу. Промчавшись через расступившуюся толпу, он в мгновение ока оказался на краю крутого склона и, не раздумывая, бросился вниз с высоты в четыре человеческих роста.

В темные воды Грончского озера.

ГЛАВА VIII

1

Утро выдалось просто дивным.

Рассветный ветер походя смахнул кучерявую пену облаков, набегавшую со стороны Оравских Татр, и только легкие брызги разметались по небу — солнце мимолетно окуналось в них, чтобы вынырнуть спустя мгновение и улыбнуться Подгалью нежаркой улыбкой добродушного владыки.

Во дворе Самуиловой хаты чуть ли не с самого восхода толклись шафлярцы — коренастые мужики притаскивали длинные дощатые столы, сгружая их один на другой у забора, чтобы расставить как положено к вечеру или уже завтра, в день сороковин; скотный двор распух от блеющей отары — каждый считал своим долгом пожертвовать хотя бы одну овцу или барана для поминок славного бацы; женщины с закатанными по локоть рукавами ежеминутно загоняли на печь немую Баганту, вдову Самуила, потому что и без помощи старухи все вскоре обещало заблестеть чистотой, а проку от немощной Баганты и так было немного.

По селу лениво слонялись гайдуки Лентовского, на всякий случай при оружии, но вели себя чинно, с достоинством, как им было строго-настрого приказано. На сытый желудок — гостеприимство шафлярцев подкреплялось вещественными доказательствами — было не так уж трудно сохранять достоинство, а тем гайдукам, у которых при виде местных грудастых девок начинал кукарекать петух в шароварах, их же друзья предлагали глянуть на девкину родню. Сомневающиеся шли глядеть, некоторое время и впрямь рассматривали приветливых парней с бычьими шеями, сидяших на завалинке и ведущих неторопливые беседы, хлопали их на прощанье по плечам и уходили, тряся отбитой ладонью. После этого дальше игривых разговоров, до которых девки были большие охотницы, дело не шло.

Во дворе Зновальских неторопливо прохаживался его преосвященство, последователь святого Доминика епископ Гембицкий. Приехавшие с ним монахи рядком восседали у колодца на вынесенной из дома скамье и глухо перекаркивались меж собой, вертя головами во все стороны, отчего ужасно походили на стайку грачей. Местная ребятня, никогда не видевшая служителей церкви святее бродячего монаха-пропойцы Макария, раз в год забредавшего в Шафляры, сбегалась к воротам посмотреть на ксендза в фиолетовой мантии. Смотрели, испуганно крестились и убегали, чем весьма раздражали его преосвященство.

— Слышь, Ясько, — вопил один из пацанвы, на бегу дергая приятеля за ухо, — матуська говорила, что это тот самый ксендзяка, что в Завое тетку твою спалил! Слышишь или нет, говорю?!

— Ну и что? — равнодушно отзывался конопатый Ясько, родственничек сожженной. — Туда ей и дорога, ведьме старой... приезжала, за волосья меня таскала — нехай горит, не жалко!

Почему-то такое одобрение его действий тоже не доставляло провинциалу удовольствия.

— Кыш, окаянные, — прикрикнул на огольцов лысый дед, куривший на бревне у самых ворот. — Их святость Богу докладывает, что на земле да как, а вы орете, дуроломы! Кыш, кому сказано!

— Благослови тебя Господь, — Гембицкий осенил деда крестным знамением и задержался рядом со стариком, незаметно морщась от едкого дыма. — Ты, сын мой, местный уроженец, как я понимаю?

— Не-а, — равнодушно бросил «сын», глубоко затягиваясь и скрываясь в сизом клубящемся облаке. — Я, святой отец, под Остервой народился, рядышком, да не здесь. А в Шафлярах давненько... как на первой своей поженился, так сразу и перебрался. Хата у них добрая была, богатая, не то что у меня, вот и пошел в приймы. Ох и баба же была, святой отец, первенькая моя, ох и баба! — чисто Полуденница! Раз, помню, закатились мы с ней на озера...

— Полуденница? — ласково улыбаясь, поинтересовался доминиканец, и монахи на скамье зашевелились, словно почуяв добычу. — Кто ж это такая, сын мой?

— А Христова дочка, — нимало не смутившись, ответил дед. — Никак, гляжу, тебе это неизвестно, отец мой?

— Дочка?! — на миг опешил Гембицкий. — Какая дочка?!

— Младшенькая. Их у него много, боженька по этому делу мастак: Веснянки, что по небу на молниях летают, Зарницы, что росу по утрам сеют-высевают, потом Майки, блудодейки лесные... Но Полуденницы лучше всех, это я вам точно скажу, как на духу, святой отец!

— А... чем они занимаются, эти Полуденницы? — дедовы бредни и его более чем странное понимание христовой родни привели епископа в замешательство. — Небось ворожбой да лиходейством?

Последние слова удивили самого Гембицкого. Было в них что-то патриархальное, замшелое, никак не достойное князя церкви, пользующегося заслуженным уважением даже в Риме — такой вопрос подобал скорее тупому хлопу, невесть какими путями нацепившему монашескую рясу и все равно с боязливым почтением внимающему языческим глупостям своих предков.

— Где ж им, сердешным, лиходейством заниматься? — изумленно поднял брови дед. — Ну ты, святой отец, и скажешь! — дочки Господа нашего, и вдруг лиходейницы! Чему вас только учат в монастырях ваших?! Полуденницы,

они святым делом занимаются — распаренных девок в сенокос на траву кидают...

— Зачем?

Дед долго хихикал, мелко вздрагивая.

— Ох и шалун ты, отче, — отсмеявшись, он погрозил епископу кривым мосластым пальцем, — ох и баловник! Зачем, спрашиваешь? Ох и...

Не договорив, он снова зашелся смехом, хлопая себя по ляжкам и тряся лысой головой.

Трехлетний мальчонка подковылял к деду и принялся карабкаться к нему на колени.

— Внук? — спросил Гембицкий, досадуя, что вообще ввязался в разговор со старым язычником, и не зная, как выпутаться. — Или правнук?

— Правнук мой вона где, — дед махнул в сторону здоровенного парняги, слушавшего какие-то распоряжения хозяина дома Зновальского. — А внук ему говорит, чтоб крышу чинить лез, лоботряс...

Хозяин Зновальский, закончив разговор с парнем, подошел к деду и принял от него карапуза, не забыв поклониться провинциалу.

— Зоська говорит, переодеть мальца надо, — бросил Зновальский и пошел прочь, приговаривая ребенку. — Пошли, дядька мой родный, переоденемся, будем как люди...

— Во как у нас в Подгалье, — хмыкнул дед, возвращаясь к своей трубке. — Видал, святой отец? Внук мой сына моего на руках носит! Чудны дела твои, Господи... А про Полуденниц — это вы здорово, святой отец! Зачем, говорите?.. надо будет хромому Марцину рассказать, пусть тоже обхохочется...

И потом еще долго кивал да хмыкал, глядя на слоняющегося по двору провинциала.

Обожженный Мардула отлеживался в материной хате, под присмотром мамы-Янтоси. Тело разбойника заботливо смазали ореховым маслом, сбежавшиеся старухи-знахарки поили его отварами и пришептывали по углам нужные слова; валялся Мардула на прохладных новеньких простынях, добровольно предложенных соседской девкой из своего приданого — девка уже второй год была не прочь

увидеть юного разбойника на этих простынях, правда, в несколько ином качестве, чем сейчас.

Михал слонялся вокруг, стесняясь зайти и справиться о Мардулином здоровье. Сам воевода пострадал не слишком: обгорели ладони, и в ближайший месяц Райцежу было бы больно не то что палаш — хворостину в руки взять; да в голове до сих пор плясали черти после страшного удара о воду Гронча, когда рушился туда в обнимку с Мардулой.

Походив туда-сюда, Михал убирался восвояси, чтобы через час-другой заявиться снова.

По Шафлярам бесцельно шлялся Джош, объевшийся и оттого склонный к меланхолии, а за ним вереницей брели чуть ли не все шафлярские собаки. Только что на их глазах Молчальник умудрился стащить у Хробака, громадного косматого пса, его любимую баранью лопатку, которую Хробак зарыл в землю и для пущей безопасности улегся в двух шагах от схрона; и собачьему восторгу не было предела — особенно когда одноухий ворюга потаскал кость, потаскал и вернул обалдевшему Хробаку, даже не рыкнувшему на похитителя.

Две поджарые суки недоуменно переглядывались и облаивали Молчальника, игнорировавшего их блохастые прелести.

Цыганистый парень, приятель Мардулы, еще в самую рань привел в село Беату и самолично проводил ее к Самуиловой хате. Михал кинулся к жене, обнял, потом застеснялся и куда-то исчез, поэтому счастливая Беата мигом попала под опеку Терезы Ивонич, сойдясь с последней необычайно быстро. И часа не прошло, как обе женщины вовсю шушукались в углу двора, и Беата только диву давалась, внимая советам Терезы: нет, не такими она представляла себе краковских купчих, совсем не такими! В Висниче говаривали, что купеческие женки — что крольчихи, и деток куча, и мужиков в постели, как муравьев вокруг пролитого меда! А красавица Тереза была донельзя совестливой, душевной, мужа называла не иначе как «хозяин», потомство воспитывала в строгости, и, слушая ее, Беата душой чувствовала: не врет!

И впрямь такая.

Даже несколько раз призадумалась Беата Райцеж, в девичестве Сокаль: не многовато ли совести на одну женщину?

Ответа она не знала.

Видимо, Тереза что-то почувствовала, потому что прервала на полуслове рассказ о младенческих болячках и способах борьбы с ними — и пристально глянула на Михалову жену.

— Муж у меня хороший, — невпопад заявила Тереза. — Добрый, умный... честный. А купцу честь с совестью — одна морока. Ни купить, ни продать, ни объегорить! Вот и приходится...

Тереза не договорила, поморгала длиннющими ресницами и вернулась к разговору про опрелости да вздутые животики.

2

Ближе к вечеру приемные дети Самуила-бацы стали собираться на отцову могилу. Когда каждый из них в свое время покидал Шафляры, отец брал с птенца клятву: в ночь сороковин просидеть от заката до восхода над местом его последнего упокоения. Чем-то это напоминало старые гуральские сказки — ходил старший сын на могилу к отцу, да не дошел, ходил средний, да заснул на кладбище, а младший всю ночь высидел, и достались ему к утру меч-саморуб, конь-крылач и скатерть-самобранка. На подобное наследство Самуиловы приемыши не рассчитывали, но обещание, данное отцу, собирались выполнить. И впрямь: отчего в ночь, когда сороковины заходят, не посидеть над отцовской могилкой, не поразмыслить о покойном и о собственной жизни, какая там она сложилась; может, и неплохо оно — остановиться, замолчать и подумать.

Скажи, батька Самуил, как жить дальше?

Это тебе не меч-саморуб...

Перед самым выходом, когда солнце расплескалось алым огнем о вершину Криваня, Михал все-таки набрался смелости и зашел проведать Мардулу. Сперва он не знал, куда деваться от смущения, когда Мардулина мать, до сих пор еще статная и миловидная Янтося, кинулась воеводе в ноги и со слезами стала благодарить за сына своего непуте-

вого, за жизнь его молодую. Еле-еле угомонив Янтосю, Михал приблизился к постели и встал над разбойником.

Мардула, похоже, спал или был без сознания. Он лежал совершенно голый, раскинувшись на спине, ожоги малопомалу подсыхали, но не слишком, смазанные маслом; дышал разбойник ровно, и жизнь его, по всему видать, была вне опасности.

Михал молча смотрел на похитителя своей жены и видел почему-то Самуилову хату, вот этого же раненого гураля на печи и старого батьку рядом. Видать, долго решался Самуил-баца, прежде чем взялся учить тайному воровскому ремеслу сына своего побратима. Не ровен час, распустит парень язык — не мальчик ведь, не прикажешь, как своим приемышам поначалу — начнут люди коситься, и прости-прощай спокойная жизнь!

Воевода присел, легко тронул Мардулино запястье... Разбойник сейчас был открыт, беспомощен, Михалек мог украсть у него все, что угодно: память о науке Самуила-бацы или память об обстоятельствах смерти последнего, выскрести до дна зло на него, воеводу Райцежа, или отрезать и унести ломоть знаний о тайных укрытиях в местных лесах. Вот оно, бери — не хочу!

Улыбнувшись, Михал легонько взъерошил спящему Мардуле волосы и пошел к двери.

Вслед воеводе из-под дрогнувших ресниц пронзительно сверкнул взгляд разбойника.

Возможно, это было хорошо — то, что Михал не видел этого взгляда; как и то, что он не стал рыться в душе человека, которого считал беспомощным.

Шафлярское кладбище располагалось меньше чем в получасе ходьбы от села. Если сразу от южной околицы взять наискосок через волнующееся море папоротников и дикого овса, после пересечь небольшую рощицу, словно отбившуюся от отца-леса и теперь в нерешительности замершую на непривычном месте, то за могучим явором уже было рукой подать — вот оно, место упокоения шафлярцев, отдавших душу Богу, а тело родной земле Подгалья!

Никакой еды и питья Самуиловы приемыши с собой не взяли, хоть мама Баганта со всей материнской настойчи-

востью и совала им в руки узелки — на сытый желудок плохо думается, да и батька Самуил обиделся бы, если б дети его на его же могиле в ночь заходящих сороковин трапезничать стали! Провожать их никто не провожал, даже не высунулся в окошко, чтоб хоть одним глазком посмотреть; понимали шафлярцы — ни к чему лишний раз соваться в чужое горе, лезть любопытными пальцами в живое, разверстое, кричащее... вот завтра и помянем Самуила-бацу, как у порядочных людей заведено, а этой ночью пусть уж дети сами отца поминают!

Только тощий монах-доминиканец в рясе с капюшоном вылез по пояс из окна дома Зновальских, раздвинув ставни, буркнул что-то себе под нос и немедленно скрылся — доносить побежал, хоть и не о чем тут было доносить; или просто не придал значения.

— Да пропади ты пропадом! — пробормотал хмурый аббат Ян, полоснув взглядом по ставням, так и оставшимся открытыми, и ничего больше не добавил.

Шел себе, молчал.

...Нетопырь с когда-то перебитым и после плохо сросшимся крылом висел на ветке явора вниз головой и диву давался. Подходило его времечко — правильное, ночное, когда смотрят не глазами и живут одним мгновением, — а тут людишки какие-то шляются, хотя людям давно пора забиться в свои деревянные норы и спать либо горланить песни, собравшись на лугу вокруг костра. Нетопырь перебрал коготками, кожистые крылья хлопнули раз-другой, но нет, зверек остался висеть, напоминая сухой лист, и лишь уныло моргнул круглыми глазенками.

Луна, выглянувшая из-за каменистого плеча Криваня, припомнила золотые деньки, то бишь ночки, когда была она молодым рогатым месяцем, и замерцала тоскливо, обсыпая желтой пыльцой кучку людей у могильного холмика. Луна не понимала, почему люди выбрали именно этот холмик, хотя вокруг на кладбище было предостаточно других, точно таких же, но решила не задумываться лишний раз над человеческими прихотями, а то и без того на лице пятна!

Разве что вспомнилось ни с того ни с сего сквозь дрему: надвигающийся рассвет, свои последние минуты перед тем, как убраться восвояси, люди, кажется, те же самые,

только теперь их было гораздо меньше, сбившиеся у дощатой ограды, и туманы, сизые туманы старого погоста...

Оставалось уже не так далеко до полуночи, когда поблизости от тихого шафлярского кладбища зафыркала лошадь, а следом за ней заскрипели колеса — сразу, из тишины, словно чужой тарантас свалился с неба.

Впрочем, с неба — это вряд ли.

3

— Явился... — пробормотал аббат, отворачиваясь и глядя в фиолетовое, цвета епископской мантии небо с крупными бриллиантами звезд.

Смотреть на пришельца настоятелю не хотелось — даже для того, чтобы увидеть, что голова гостя непокрыта: свой неизменный берет с петушиным пером тот нервно комкал в кулаке.

— Кто это? — повернулась к брату удивленная Тереза.

— Он. Марта, небось, рассказывала... Петушиное Перо.

— Великий Здрайца?! — ахнула Тереза и, резко встав навстречу выступившей из темноты фигуре прибывшего, неприязненно поинтересовалась:

— Что, по отцову душу приехал, вражина?

— Не мели языком, — возница тарантаса устало вытер сжатым в кулаке беретом покрытый испариной лоб, хоть ночь выдалась отнюдь не жаркой и потеть было вроде бы не с чего. — Отвалится. Не моя она, душа отца вашего, хоть и жаль, а не моя. Не дотянуться...

— Тогда — зачем? — не выдержала Марта, прижимая к себе чуть слышно заскулившего Джоша. — За ним?

Она кивнула на пса.

— И не за ним, не бойся, — досадливо отмахнулся Великий Здрайца. — Хотя и следовало бы... Хотите, рассмешу?! Не хотите? Ну, тогда все равно рассмешу. Сам не знаю — зачем я здесь! Разве что тебя повидать, воровочка моя, — дьявол невесело усмехнулся, присаживаясь рядом и делая вид, что хочет приобнять Марту за плечи.

Марта собралась было отодвинуться, но отчего-то не стала этого делать, только зябко поежилась.

Помолчали.

— Спасибо, — не к месту проворчал вдруг Михал и осекся, словно смутился.

— Кому? — искренне удивился Петушиное Перо. — Кому спасибо-то? Мне?!

— Тебе, — кивнул Михал. — За то, что и Марте, и мне помог тогда живыми уйти. Вот уж откуда помощи не ждал... Но все равно — спасибо.

Явно растерявшийся Здрайца не нашелся, что ответить. Повисла натянутая пауза, во время которой аббат Ян думал, что в простом «спасибо» кроется «спаси Бог», только большинство об этом давно забыло.

— И что же ты теперь собираешься делать? — снова первой не выдержала Марта. — Я ведь понимаю... ох, ничего я уже не понимаю, только от тебя ведь просто так не отвяжешься! Что делать будешь, я тебя спрашиваю?!

— Да не знаю я! — чуть ли не выкрикнул дьявол в лицо женщине, брызжа слюной. — Не знаю! Раньше мне было плохо — о, если бы ты знала, воровочка, как мне было плохо!.. неправильное это слово, нет таких слов в человеческом языке, это надо пережить самому! И сейчас мне плохо, но сейчас мне именно плохо, я впервые в жизни ощущаю именно это, впервые чувствую правильность сказанного!.. Ну зачем, какого черта тебя занесло в Вену, воровочка?!

Казалось, Петушиное Перо, забывшись, разговаривает сам с собой, но все слушали его затаив дыхание — никто из пятерых не мог себе представить *такого* дьявола! «Он что, каяться собрался? — изумился аббат Ян. — Господи, прости меня, грешного — может, и для *него* еще не все потеряно?!»

— ...раньше я ощущал *это* каждым мгновением своего существования, — продолжал Великий Здрайца. — Каждое мгновение — вечная мука, и я мог лишь надеяться, что когда-нибудь сумею это прекратить, исчезнуть, *не быть* — о, как же я хотел *не быть*!.. Да, я мучился всегда; и мучения других были столь мелкими и жалкими по сравнению с моими собственными, что я попросту не замечал их, как ты не всегда замечаешь муравьев под ногами! Но до встречи с тобой, воровочка, до сторожки в лесу на окраине Вены, мне, по крайней мере, было все понятно: ценой мук своих и чужих я копил выкуп, который должен был изба-

вить меня от проклятья существования! Я знал, что это будет не скоро, что придется перетерпеть вечность, а потом еще одну вечность, но это будет! И к прежним мукам я уже отчасти притерпелся, свыкся с ними, как с неизбежностью; лишь иногда, когда я ощущал в себе руку преисподней в полной мере, мои страдания становились невыносимыми, но это длилось недолго... А теперь — теперь я чувствую, как все вокруг рушится, я уже ни в чем не уверен, ни в сегодняшнем рабстве, ни в завтрашней свободе; я познал новые ощущения, тоже мучительные, но... другие! Одиночество срослось со мной, а сейчас кто-то отдирает его от меня, отдирает с мясом, с кровью, и мне все время кажется, что этот «кто-то» — я сам! И это с тех пор, как я встретил тебя, моя воровочка! Что же ты со мной сделала?! И что теперь делать мне?! Люди, скажите: что делать несчастному дьяволу?!

Петушиное Перо захлебнулся и умолк.

Собравшиеся на могиле Самуила-бацы люди тоже потрясенно молчали, боясь поднять глаза и посмотреть на Великого Здрайцу.

— Полагаю, я не все понял из твоей речи, — проговорил наконец аббат Ян, — но душой чувствую, что говорил ты искренне. Господи, прости меня, грешного, за то, что скажу сейчас, но если путь спасения открыт для каждого, то ведь это должно значить именно «для каждого»?! Может быть, и у тебя есть надежда, о которой говорил ты, — надежда искупить свои грехи и спастись? Скажи, не могу ли я чем-то помочь тебе?

Отец настоятель чувствовал, что кощунствует, но слова сами срывались с его уст, помимо воли Яна.

— Помочь мне? — саркастически ухмыльнулся дьявол.

И некоторое время качал головой, уставясь перед собой в одну точку.

— Еще никто не предлагал мне помощи, — тихо произнес он после долгой паузы. — Я — многим, но мне — никто. Может быть, ты и вправду святой? Несмотря на все твои грехи? Грешный святой, святой грешник... настоятель Казимежского кабака! Но даже если так, если ты искренен в своем порыве, как я в своей исповеди — чем *ты* можешь помочь *мне*?

— Еще не знаю, — честно признался Ян. — Но если ты кое-что объяснишь мне, я надеюсь, отыщется выход...

— И что же вам не терпится узнать, святой отец? Не приходилось раньше исповедовать дьявола? — Петушиное Перо сбился на свой обычный язвительный тон, но тут же оборвал сам себя. — Тем более что я не советую верить мне до конца. Даже когда я говорю правду — а я говорю ее куда чаще, чем думаете вы, люди — в ней, в этой правде, может таиться подвох, незаметный для меня самого! Ты это должен понимать лучше других, святой отец... А я, в свою очередь, не верю, что ты способен мне чем-то помочь. Подумай — как ты собираешься это сделать? Душу свою продашь, чтоб спасти проклятого?! Нет, знаю, не продашь... да и нет у меня права подписывать подобный договор. До встречи с ней, — он кивнул на закусившую губу Марту, — я бы не стал даже разговаривать с тобой об этом. Но чем черт не шутит, когда дьявол спит! Как тебе такая шутка, святой отец?! Знаю, не нравится... Спрашивай! И я отвечу, если смогу.

— Тогда, на мельнице, — аббат говорил медленно, тщательно подбирая слова и стараясь не смотреть Петушиному Перу в глаза, — ты сказал перед отъездом, что муки освобождают. И что душа того несчастного, которую ты насильно для нее самой вложил в мертвеца, теперь для тебя потеряна. Если это так — а это наверняка так, иначе порочна сама идея чистилища! — то, может быть, и ты, пройдя сквозь мучения, способен очиститься и освободиться?

— Не способен, — грустно дернул себя за эспаньолку Петушиное Перо. — Для меня этот путь закрыт. Я проклят. Но я могу освободиться по-другому. Тебе наверняка не понравится эта дорожка к спасению, святой отец, но для меня она — единственная.

От аббата, да и от остальных не укрылось, что последние слова дьявол произнес неуверенно. «А что, если он и сейчас хитрит, ведет какую-то свою игру?!» — мельком подумала Марта, но, взглянув на понурившегося Великого Здрайцу, тут же сама устыдилась своей мысли. Надо быть дьяволом, чтобы настолько притворяться!

Впрочем, существо перед ней и было дьяволом.

— Я проклят, — повторил Петушиное Перо. — Я брожу

среди вас, я творю то, что вы, люди, называете злом, но для меня это не зло, а всего лишь способ моего существования. Я просто не могу по-другому, как вы не можете не дышать!

— Не можешь или не хочешь? Или просто не знаешь, как это — по-другому? — перебил дьявола аббат.

— Не знаю, — подумав, ответил Петушиное Перо. — Я соблазняю людей тем, что действительно могу им дать, и чтобы выполнить обещанное, я прибегаю к помощи тех, кто сделал меня таким, каким я стал. Вельзевул, Сатана, Люцифер, Антихрист — зовите их как угодно! Я сам никогда не видел их, никогда не разговаривал с ними знакомым мне языком, и ни одно из имен человеческих или нечеловеческих не подходит им, как змеиная шкура не подходит волку; но, когда я прибегаю к мощи преисподней, чтобы выполнить обещанное, я ощущаю геенну в себе — и тогда мои муки усиливаются тысячекратно! Но она же дарует мне силы выполнить то, что мне нужно. И в результате я приобретаю чью-то душу. Одну, другую, третью... Я коплю выкуп. Выкуп, который освободит меня. Я не знаю, сколько душ мне для этого понадобится, — но я коплю...

Петушиное Перо обреченно сморщился и отвернулся.

— Ты уверен, что это — путь к освобождению? — тихо спросил бледный как смерть аббат Ян.

— Да, — кивнул Великий Здрайца.

— И где же ты хранишь принадлежащие тебе души? — аббат едва сдерживал волнение; то, что сейчас открывалось ему, вызывало озноб, и отец настоятель, напрягшись, внутренне дрожал мелкой дрожью. Он чувствовал: еще немного — и он узнает все или почти все, что хотел, еще немного, и он поймет, что выход есть, что его просто не может не быть!

— Освободить их хочешь? — поднял бровь дьявол. — Не выйдет, святоша. Это ведь только в сказках — распороли волку брюхо, и вылезли из него целые толпы съеденных... и стали жить-поживать. Они, души эти проданные — в аду, как и полагается... во мне! Они — часть меня, ты это понимаешь, мой жалостливый аббатик?! А тех, которые еще находятся в телах живых, я держу на невидимых нитях, как кукольник держит своих марионеток, и по мере надобности дергаю за эти нити, вынуждая повиноваться!

— Значит, они тоже страдают?

— А как ты думал?! Нет, аббатик, ты просто удивляешь меня... Они — в аду, а этот ад — во мне. Хоть он и ничто по сравнению с преисподней, которая время от времени входит в меня! Но и его вполне достаточно, чтобы эти душонки настрадались вволю! Да и выйдя на миг по моей воле на свободу, прогулявшись на коротком поводке, они не чувствуют себя лучше! Представь, святой отец: выпав из адского небытия, ощутить себя, к примеру, в теле мертвеца! Ты никогда не был в неживом, вынужденном жить?! Тебе повезло, аббатик...

— Но, страдая в тебе, они очищаются?

Окружающие наконец увидели, как дрожит в возбуждении святой отец.

— Нет. Во мне — нет. Очищают лишь муки чистилища, но не адские муки. Чему тебя учили, святой отец?! Здесь, на земле, и только здесь проходят люди свое чистилище: умирают, рождаются вновь, забывая себя, забывая, кем были раньше, как не помню этого и я; одни постепенно уходят вверх, и мне уже не дотянуться до них, другие все больше погрязают в том, что вы называете грехом, но все-таки боятся встать с дьяволом лицом к лицу; третьи же сами выкармливают пожирающий их огонь, третьи непрерывно кричат жизни «дай!» — и вот этих-то я не упущу! А попав в мой внутренний ад, души варятся в нем без права на завершение — ибо эти муки не искупают их вины, а лишь являются образом существования. То же самое, но во сто крат худшее, получил в свое время и я...

— Выходит, альбигойцы были во многом правы, — пробормотал аббат. — И не только альбигойцы. Рай и ад пусты, мы радуемся и страдаем здесь и только здесь, ибо ты сам говоришь, что твой внутренний ад — ничто по сравнению с преисподней, которая время от времени входит в тебя. А ты — здесь. И те, кто не продал душу тебе, умирая, рождаются вновь и вновь, раз за разом проходя все круги земного чистилища... а когда людские деяния переполнят чашу бытия — вот тогда и придет время Страшного Суда. День Божьего Гнева.

— Альбигойцы? — рассмеялся дьявол. — Не знаю, может быть, они и правы — но мне было весело наблюдать ко-

стры из катаров-«чистых», когда Прованс полыхал огнем! Не удивляйся, святой отец, я не первый день хожу среди вас... Я смотрел на горящих и сжигавших и думал: что же такое совершил я, за что меня сделали дьяволом, если эти, и те и другие, искренне рассчитывают попасть в рай?!

Аббат поднял руку, призывая Великого Здрайцу замолчать.

— Тогда, быть может, верно и другое: мучая в себе других, ты не очищаешься сам, как котел с горящими остатками пищи не очищается от копоти. Но ведь и ты находишься на земле, а значит, в чистилище! И если, страдая сам, ты откажешься мучить других; если ты отпустишь их на свободу, разбросаешь свой выкуп, раздашь его нищим, сам превратишься в нищего, которому нечего терять, то, возможно, сумеешь очиститься и родиться заново?! Опустошив ад в себе и пройдя круги чистилища, сохранишь ли ты имя дьявола?!

— Я не думал об этом, — Великий Здрайца с удивлением посмотрел на аббата, и взгляд его на мгновение вспыхнул невозможной, несбыточной надеждой. Вспыхнул — и тут же угас снова.

— Нет... не могу. Это выше моих сил. Я могу только брать, брать и брать, копить души, набивая ими свою кубышку, по крохам собирая выкуп, который когда-нибудь подарит мне освобождение...

— Но ведь тогда способен родиться дьявол во много раз страшнее и могущественнее тебя теперешнего! Родится настоящий Князь Тьмы, и он будет существовать здесь, на земле! — аббат, уже не в силах усидеть на месте, вскочил и заходил взад-вперед, кусая губы и нервно теребя висевшие у него на поясе агатовые четки. — Не так ли родился ты сам: когда прошлый дьявол, меньший, чем ты, накопил наконец свой выкуп и сгорел в его пламени, переплавился, как переплавляется руда, чтобы дать жизнь металлу!

— А мне-то что? — пожал плечами Великий Здрайца. — Ведь это был *еще не я*; и это буду *уже не я!*

— Не притворяйся! — аббат Ян резко остановился напротив Петушиного Пера, твердо посмотрев ему в глаза, и через несколько секунд дьявол не выдержал и отвел взгляд. — Ведь там, на мельнице, ты отпустил принадлежавшую тебе

душу, вселив ее в мертвое тело — и спас этим нас всех!.. и, возможно, душу того несчастного тоже. Значит, ты можешь отдавать!

— Могу, — с трудом выговорил Петушиное Перо. — Значит, могу. Но как же я потом жалел об этом! Ты жесток, святой отец, ты манишь меня страшным выбором, и в ту минуту, когда я готов принять твой совет, решиться обречь себя на неведомые муки ради несбыточной надежды — я вспоминаю, что не способен порвать свои кандалы! Ты никогда не был дьяволом, святой отец! Тот ад, что во мне, та рука преисподней, что время от времени входит в меня, — они не дадут мне этого сделать! Я не в силах изгнать проданные души из себя просто так, не для определенной цели; я не в силах оборвать связующие нас нити; я кукольник, зависящий от собственных марионеток! Пойми же наконец это, святой отец, и оставь несчастного дьявола в покое! Не искушай меня!!!

Великий Здрайца умолк и поник головой. Руки его дрожали, как недавно — у аббата; и петушиное перо на берете, зажатом в левом кулаке, подпрыгивало и терлось о колено.

Отец же Ян был на удивление спокоен. Он явно уже что-то решил.

— Я верю тебе, — мягко сказал ксендз, наклоняясь к тяжело дышащему дьяволу. — Верю, что самому тебе с этим не справиться. Но тебе помогут.

— Кто? — безнадежно, не поднимая головы, спросил Петушиное Перо. — Ты? Не смеши меня, аббатик...

— Мы, — твердо сказал аббат. — Мы, воры, дети вора Самуила — поможем тебе.

Дьявол в изумлении поднял голову — и увидел, что четыре человека окружили его, придвинулись вплотную и застыли с четырех сторон, словно стража вокруг преступника, словно родители вокруг провинившегося ребенка.

— Сейчас тебе будет очень плохо, — рука Терезы слегка коснулась плеча Великого Здрайцы, и тот дернулся, как от ожога. — Так плохо, как, наверное, еще никогда не было. Потерпи, пожалуйста...

И в следующее мгновение дети вора Самуила вцепились в Великого Здрайцу.

Похожая на оспенное лицо равнина серебрилась под луной, ероша седой ковыль — только луна была другая, ярко-золотая, с ребристым ободком и проступающим по центру чеканным горбоносым профилем, под которым выгибалась надпись на забытом, а может, и неизвестном людям языке; и ковыль был неправильный, потому что сейчас у Марты нашлось время приглядеться и понять, что и не ковыль это вовсе, а седые человеческие волосы, прорастающие прямо из рябых рытвин под ногами.

А по равнине бродили люди. Их было не так уж много, десятка два-три, не больше, и необъятный простор скрадывал их численность, заставляя каждого ощущать себя единственным, заброшенным, одиноким до безумия — люди сталкивались, не замечая этого, проходили один мимо другого, не замечая этого, руки касались рук, плечи — плеч, не замечая этого, не замечая, не...

Ворот не было. Громадных железных ворот, так хорошо запомнившихся Марте еще по первому вторжению, ворот, за которыми валялась беспамятная и обнаженная душа Джоша, — не было. Когда Марта осознала, что не видит выхода, не видит границы между равниной Великого Здрайцы и миром живых, она вздрогнула, попятилась, как никогда остро ощущая внутри самой себя ту дыру, что прорвал в ней вываливавшийся Молчальник, перед тем как рухнуть в собачье тело Одноухого... И словно невидимая лава, расплавленная сталь хлынула через женщину, обливая огненным потоком ту самую дыру, затвердевая на краях, приобретая форму, вес, реальность, — Марта корчилась от боли, но боль несла очищение, в боли крылся выход, выход из западни, и Марта вдруг подумала, высветив в меркнувшем от чудовищной боли сознании наивную и простую догадку: ворота — это я!

И встала у распахнутого зева, у двух металлических створок высотой вдвое... нет, втрое больше ее самой. Створки слегка колебались, расходясь в разные стороны, как ладони, сложенные чашечкой, когда их хозяин собирается зачерпнуть воды из говорливого ручья, и на стальной поверхности ближайшей ладони — Марта отчетливо видела

это — был выбит причудливый барельеф, множество фигурок, сплетающихся в самых невероятных сочетаниях, подобно лозам запущенного виноградника.

Вот она сама, маленькая, девятилетняя, жадно слушает с раскрытым ртом батьку Самуила, а вот она уже в Вене, в постели с Молчальником, выгибается в пароксизмах страсти и беззвучно кричит... а вон Михал рубится непонятно с кем, и лицо брата перекошено от напряжения; под телом повешенного воет Одноухий, Тереза пеленает младенца, распластан крестообразно на холодном полу кельи молоденький монах Ян, строгий аббат Ян выслушивает исповедь дамы средних лет со взором истаскавшегося ангела, падает горящий Мардула в воду Гронча, под ножом Петушиного Пера сползает пятнистая кора с орешины, и кольца ее обвивают раздавленного подмастерья Стаса, а седой волк несет в зубах трехлетнюю девочку, и та кричит, кричит, кричит...

Жесткая пятерня с маху зажала Марте рот — и истерика так же быстро покинула женщину, как и охватила. Михал зашипел от боли в обожженной ладони, потом молча улыбнулся, окинул взглядом ворота, кивнул сестре и быстро пошел прочь, от ворот к людям на равнине, на ходу вынимая из ножен палаш.

Рядом с ним шел аббат Ян, и налетевший ветер хватал коричневую сутану бенедиктинца за полы, как будто хотел остановить.

Следом двигалась Тереза.

Марте хотелось пойти следом за своими, но она боялась оставить ворота, которые были частью ее самой, единственной из всех, умеющей не только красть, но и отдавать.

Один из безумцев, уныло слоняющихся по Великому Здрайце, приблизился к воротам, затем поскреб когтистым пальцем какую-то фигурку, нечленораздельно буркнул, собрался уходить, налетел на Марту, удивленно замер, не видя женщины, шагнул, снова налетел на покачнувшуюся Марту, пожал широченными плечами и пошел кругом.

— Седой? — одними губами выдохнула женщина.

Безумец остановился вполоборота, уши его нечеловечески зашевелились, становясь торчком, в приоткрывшемся рту влажно блеснули клыки — и Марта увидела, что из

спины Седого, чуть повыше крестца, там, где у животных начинается хвост, растет тонкая цепь. Витые кольца ее отливали синевой, сама цепь лоснилась, уродливо блестя, истончалась в двух шагах от Гаркловского вовкулака и становилась невидимой, уходя в никуда. По цепи неожиданно пробежала волна, как если бы некто, прячась за вспучившимся горизонтом, подтягивал Седого к себе, но вовкулак упрямо не хотел уходить, вглядываясь перед собой и заставляя собственную спину набухать буграми мышц, сопротивляясь напору цепи.

— Баба... — хрипло родилось из страшной пасти. — Ох, баба!.. Откуда?..

— Седой! — Марта плакала, не замечая этого, и тяжелая лапа коротышки с трудом дотянулась до нее, успокаивающе потрепав по плечу.

«...а я как услыхал, что нашлась в мире такая женщина, что за душу своего мужика на сатану поперла и купленный товар из рук его поганых вырвала — веришь, в лес удрал и всю ночь на луну выл! От счастья — что такое бывает; от горя — что не мне досталось!..»

Слова эти не были произнесены; вернее, были, но не здесь и не сейчас, но именно их свет сиял в эту минуту в зеленых глазах Седого, отгоняя туман безразличия, заставляя видеть, а не пялиться бездумно во мглу равнины, поросшей седыми волосами.

И даже утробный рев, пронесшийся над душой Петушиного Пера, не смог потушить упрямых зеленых свечей.

Они только ярче разгорелись, да еще Седой оглянулся через плечо, некоторое время смотрел на растущую из его тела цепь, словно впервые ее видел, а потом рывком намотал цепь на правое предплечье и согнул могучую руку в локте.

— Видать, и мне свезло, — ухмыльнулся вовкулак. — Что ж, не всякому...

Договорить он не успел.

Михал, Ян и Тереза уже гнали безумцев к Мартиным воротам, проданные души вертели головами во все стороны, ничего не понимая, но вокруг каждого Самуилова приемыша отчетливо колыхалось облако слабо мерцающей пыли, и пыль эта обжигала безумцев, не видящих никого,

кроме себя, заставляя сперва бессмысленно топтаться на месте, потом ковылять прочь от жгучей пыли, потом идти, бежать...

Нет.

Бежать им не дали.

Таких Стражей Марта видела впервые.

Они не были гигантами — всего раза в полтора больше обыкновенного человека, но вид их потрясал, вызывая неодолимое желание отвернуться и зажмуриться. Голый безволосый горбун, из чьих тощих ягодиц вместо ног росли две волосатые шестипалые руки; огромный глаз на лягушачьих ластах подрагивал змееподобными ресницами; жирный червь, извиваясь, подминал под белесое брюхо седые волосы равнины — и следом за ним оставалась мертвая плешь, глянцево отсвечивающая под луной; коренастый мужчина без лица, у которого вместо гениталий вызывающе торчала ладонь с растопыренными обрубками, а изъязвленная грудь вздувалась бочонком; смеющиеся женщины, на телах которых выпячивались многочисленные сосцы, ронявшие редкие млечно-матовые капли, прожигавшие землю у женщин под босыми ногами...

А рев все не умолкал.

Михал и Ян переглянулись, не сговариваясь, заслонили собой Терезу и шагнули навстречу Стражам.

Через мгновение Марте почти ничего не стало видно — мутная перхоть тучей поднялась с седых волос равнины и заслонила от нее схватку Самуиловых пасынков с дьявольскими Стражами. Вглядываясь до рези в глазах, женщина видела только ближайших к ней безумцев, затоптавшихся на месте, вновь принявшихся бесцельно разбредаться в пяти шагах от спасительных ворот... Тереза гнала их к сестре, но не успевала: как только она умудрялась повернуть в нужном направлении одного — другой тут же сворачивал в сторону или начинал ходить по кругу.

Пронзительный вой взвился совсем рядом с Мартой, смерчем поднимаясь к отшатнувшемуся небу; женщина попятилась, прижавшись боком к металлу ворот, теплому, как человеческое тело, — и седой волк, мимоходом потершись о ее ноги, кинулся к проданным душам. Цепь, растущую из него, волк зажал в зубах и время от времени дергал,

словно пытаясь противостоять незаметному для посторонних напору. Коротко рыкнув на Терезу, волк понесся вокруг безумцев, со сноровкой опытной пастушьей собаки сбивая их в стадо, тычась лбом в бедра и немедленно отскакивая... Гаркловский вовкулак глухо рычал, и Марта не знала: пугает ли он безумцев или просто боль от натягивавшейся цепи вырывала из волчьего горла эту хриплую дань нестерпимой муке.

Из пульсирующей тучи, окутавшей побоище, до половины выполз слизистый червь, собираясь двинуться к воротам, но рядом с ним мелькнул драгунский палаш, рассекая кольчатое тело надвое, натрое... части червя судорожно извивались, расползаясь в разные стороны, на одну из них с маху налетел Седой, рванул клыками, выпустив на миг свою цепь — остальные обрубки задергались и вспыхнули черным пламенем, когда в клубящейся перхоти взметнулись агатовые четки аббата.

Цепь Седого внезапно перекрутилась, охватив горло волка, и вместо рыка прозвучал отчаянный скулеж. Марта уже готова была броситься к вовкулаку, оставив ворота на произвол судьбы; то же самое, казалось, собиралась сделать и Тереза, но ей мешали сбившиеся в кучу безумцы, наконец направившиеся к выходу и перекрывшие дорогу краковской купчихе. Когда чья-то рука легла Марте на плечо, останавливая женщину, она не сразу сообразила, что никаких рук рядом с ней нет и быть не должно — и некоторое время тупо смотрела на обожженное предплечье, протянувшееся прямо из воздуха.

Она никогда не видела собственного появления в чужой душе; и поэтому не знала, на что это похоже.

Пальцы на ее плече сжались, Марта качнулась, но устояла, и чужая рука потянулась из ничего, вытаскивая за собой плечо, шею, смазанный ореховым маслом торс и всклокоченную голову...

— Мама моя родная! — потрясенно сказал Мардула, глядя мимо женщины на равнину.

Не так давно юный разбойник сбежал из хаты, выломав одну из досок ставней и открыв наружный засов — бдительная Янтося, не шибко доверяя сыновнему бессилию, тщательно заперла его перед уходом к Баганте, собираясь

переночевать вместе со старухой. Появление Михала окончательно доконало Мардулу: и без того потеря сознания собственной исключительности была как нож острый, так еще спаситель-воевода стоял у его постели вроде старшего брата, которого у Мардулы никогда не было, и разбойнику стоило большого труда притворяться спящим.

Ближе к полуночи, не выдержав терзаний, он решил отправиться на кладбище — получается, настоящие Самуиловы дети сидят над могилой отца, а он, Мардула, считавший себя истинным защитником покойного бацы, валяется тут на простынях! — и никакие запоры не смогли остановить юношу, никакая боль от ожогов не сумела удержать.

Мардула и сам точно не знал, что скажет Самуиловым приемышам, когда увидит их, но как только взору его предстали четверо Ивоничей, вцепившихся в дергающегося франта с заплеванным клочком волос на подбородке... все мысли разом вылетели из разбойничьей головы, он бросился в свалку и, обдирая подсохшую корку на опаленных руках, ухватил Петушиное Перо за горло.

Наука Самуила-бацы плеснула в Мардуле кипящим варевом — и разбойник мгновение спустя уже стоял рядом с Мартой, взирая на происходящее внутри Великого Здрайцы.

— Ай, мама... — звенящим голосом повторил разбойник и очертя голову кинулся к Седому. Каким чутьем он понял, что этого матерого волчину надо спасать, а не дубасить, к примеру, камнем по голове, — это так и осталось для Марты загадкой, но ловкие Мардулины пальцы в мгновение ока распутали цепь, и оба они, вовкулак и разбойник, побежали вокруг безумного стада, гоня его на Марту.

Когда ближайшая проданная душа оказалась в пределах досягаемости Марты, женщина подтащила ее к себе — это оказалась пожилая дама с бородавчатым лицом — и толкнула в ворота. Дама замешкалась, Марта схватила цепь, растущую из крестца несчастной и, не понимая, что делает, ударила цепь о колено, как толстую палку... а потом еще долго смотрела на обрывки привязи и свои окровавленные ладони.

На уродливом лице дамы появилось что-то, похожее на человеческое выражение, она покачнулась, толкнувшись в

створку ворот плечом, и вдруг кинулась в открытый проем, как мать кидается в горящий дом за гибнущим ребенком.

Марта провожала ее взглядом, пока та не исчезла, и повернулась к следующему, совсем еще мальчику с бордовым родимым пятном во всю правую щеку.

Она рвала цепи, скользкие звенья вырывались из липких от крови ладоней, женщина уже не знала, что хрустит: рвущиеся кандалы или ее собственные сухожилия; ворота поглощали освободившихся одного за другим, резкие вскрикивания Мардулы сливались с остервенелым рычанием Седого, из тучи над местом битвы со Стражами доносились ругательства на трех языках вперемешку с латынью, и рев, дикий, надрывный, нескончаемый рев над равниной...

5

Его преосвященство епископ Гембицкий не любил, да и не умел торопиться. О намерении детей старого Самуила, включая и тынецкого настоятеля, провести ночь на отцовской могиле, он знал заранее; впрочем, тайны из этого никто не делал. Как только все четверо отправились к кладбищу, епископу доложили об этом, едва Ивоничи успели выйти из хаты, — высунувшийся в окно монах лишь подтвердил уже известное. Но спешить его преосвященству было некуда. Ничего особенного в том, что взрослые дети, выполняя отцову волю, проведут ночь на его могиле, не было. И все-таки... Не зря пахолки князя Лентовского божились, что видели рядом с тынецким настоятелем того, чье имя лучше лишний раз не поминать, врага рода человеческого! Опять же, покойники ожившие и все такое прочее; может, и померещилось людям княжеским со страху, вот и наплели лишнего — а может, и нет! Почтение к усопшим — дело хорошее, да только не христианский это обычай — ночь на кладбище коротать! Помолись Господу за душу родителя своего, постой над могилкой и иди себе с богом; а подобное ночное бдение... Что, если Самуиловы дети колдовство какое богопротивное замыслили?

Вот это и надлежало выяснить доподлинно.

Однако Гембицкий справедливо рассудил, что никакое колдовство, если оно и намечалось, раньше полуночи вер-

шить не будут, а посему коротать лишние три-четыре часа на кладбище или неподалеку не имеет никакого смысла.

Подведя итог, его преосвященство сначала спокойно поужинал, потом провел некоторое время в молитвах и благочестивых размышлениях, и только после начал собираться в путь.

Надо сказать, что предшествующие выходу размышления епископа были не только благочестивыми, но и весьма практичными. Прихватив с собой двух монахов покрепче, Гембицкий двинулся прямиком к лагерю князя Лентовского, дабы попросить у последнего гайдуков для сопровождения. А заодно и найти проводника, который довел бы их до кладбища — блуждать в темноте наугад епископ никак не собирался.

Первым нашелся проводник, нашелся сам собой и совершенно случайно. Впрочем, он был настолько пьян, что у епископа просто язык не повернулся сказать, будто проводника «сам бог послал».

Нетвердо державшийся на ногах пастух, шумно выпавший из дверей предпоследней в селе избы, едва не налетел на одного из монахов и остановился, пошатываясь.

— Ты местный? — строго поинтересовался епископ, брезгливо воротя нос от винного духа, которым разило от пастуха за несколько шагов.

— Не-а, — мотнул головой тот. — Из Замокрицев я. К куму в гости пришел. А тут и Божий Суд, и поминки — так мы с кумом...

— Где здесь кладбище, знаешь? — оборвал пастуха Гембицкий, поняв, что выпивоха может болтать еще долго.

— А кто ж этого не знает? — удивлению гураля не было предела. — Все знают, и живые, и мертвые! Вон там, за холмом, а потом...

— Проводишь? — снова перебил его епископ, которому эти «и живые, и мертвые» не слишком пришлись по душе.

— Ночью? На кладбище?.. — замялся выпивоха и даже начал немного трезветь.

Почувствовав его неуверенность, Гембицкий покровительственно улыбнулся.

— Уж не испугался ли ты, сын мой? Нечисти опасаешься? Видать, кладбище у вас недоброе?

— Кладбище как кладбище, — обиделся гураль. — Все как у людей. А порядочные люди ночью дома сидят и сливянку потягивают! Вона с тобой народу сколько (похоже, в глазах у пастуха троилось), и без меня доведут!

— Да ты хоть знаешь, кто перед тобой? — осведомился один из монахов.

— Кто? — тут же заинтересовался пастух. — Матерь Божья?!

— Его преосвященство епископ Гембицкий! — торжественно произнес монах. — Так что не мели языком и веди, куда приказывают!

— Ну, если и вправду его преосвященство, тогда конечно, — без особой охоты согласился гураль. — Проведу. Только зачем вам туда, ваше преосвященство? Пошли лучше, тяпнем по стаканчику во славу Господа! У кума моего...

— Это уж моя забота — зачем, — осадил пастуха епископ. — А твое дело вести и помалкивать, разговорчивый сын мой.

— Угу, — обреченно кивнул пьяница, но тут ему в голову пришла новая и, очевидно, весьма удачная на его взгляд мысль.

— Я-то, конечно, проведу, да только в глотке у меня пересохло, ваше преосвященство. Вот монастырское винцо, говорят... всем винам вино! Неплохо бы попробовать! А там — хоть на кладбище, хоть сразу на тот свет! В хорошей компании не боязно...

— Грешно увлекаться хмельным зельем, сын мой, — строго начал епископ. — Да и не собьешься ли ты с дороги? Сам понимаешь: вино глумливо, сикера буйна, и человек во хмелю скоту подобен!

— Скоту?! — искренне изумился гураль. — Да мы с кумом... ишь, скажет тоже — скоту! Не пойду я никуда! Прямо здесь спать стану!

Торг продолжался еще некоторое время, пока наконец упрямому пастуху не была выдана одна из предусмотрительно захваченных с собой бутылей — монах-возница как чувствовал, что вино им понадобится.

После чего все четверо направились к лагерю князя Лентовского.

Время близилось к полуночи, но в лагере все еще горели костры, и возле одного из них епископ различил знакомую неподвижную фигуру князя. Лентовский сидел, задумавшись, обхватив руками острые колени и завернувшись в шерстяную накидку.

— Добрый вечер, ваше преосвященство, — проговорил князь, не поднимая головы, но безошибочно определив, кто подошел к костру в столь поздний час. — Что, и вам не спится?

— Не спится, сын мой. Долг пастыря не велит мне сегодня спать. А потому явился я к тебе со смиренной просьбой — не выделишь ли двух-трех верных людей мне в сопровождение?

— Куда ж это вы собрались посреди ночи, святой отец? — удивленно приподнял бровь Лентовский. — И кто может угрожать вам, если вы просите сопровождающих? Разумеется, я не против, но...

— Да вот, решил до кладбища пройти, посмотреть, что там творится. Ежели все в порядке — помолюсь за душу покойного да обратно пойду; ну а если... сам понимаешь, сын мой. А провожатых у тебя прошу, поскольку горы эти кишат разбойниками, которые не испытывают должного почтения к смиренным слугам божьим; однако же ваших озброенных людей, скорее всего, поостерегутся.

— Тут вы правы, ваше преосвященство, — кивнул Лентовский, вставая. — Сейчас я людей кликну. Да и сам с вами пройдусь, а то не спится что-то. Не возражаете?

— Ну разумеется, сын мой, ну разумеется! — всплеснул руками провинциал и чуть заметно улыбнулся.

«Если что не так, то придется скорее всего усмирять этого выскочку Райцежа, — подумалось епископу. — И тут Лентовский с его людьми окажется как нельзя кстати!»

Занятый этими мыслями, Гембицкий не заметил, как в свете костра недобро блеснули глаза старого князя.

* * *

...Время от времени пастух прямо на ходу прикладывался к полученной бутыли, восхищенно крякал, останавливался, тщательно затыкал бутыль пробкой и прятал обратно за пазуху, после чего шел дальше.

Пьяница-гураль утверждал, что ходу до кладбища не больше получаса, однако они шли уже значительно дольше, и ничего похожего на цель их путешествия пока видно не было.

— Уж не сбился ли ты с дороги, сын мой? — не выдержал наконец Гембицкий, которому начало казаться, что подлец-проводник просто-напросто морочит им голову и водит по кругу; и вообще, все они тут, в этих забытых богом горах, еретики, язычники и разбойники, все друг с другом в сговоре, так что следовало бы...

— Ни в коем случае, святой отец! — уверенно заявил гураль. — То есть поначалу, конечно, сбился, как не сбиться на трезвую-то голову, но зато теперь уж точно знаю, куда идти. Скоро придем, вы не беспокойтесь!

— И куда же нам, по-твоему, идти? — насмешливо бросил князь, которого это ночная прогулка с плутанием по горам и пьяным проводником не то чтобы раздражала, а скорее забавляла.

— Туда, — проводник уверенно махнул рукой куда-то в темноту и, в подтверждение, двинулся в противоположном направлении.

Некоторое время все снова шли молча, пока епископ, уже не в первый раз за сегодняшнюю сумбурную ночь, не обратил внимание на раздражающее мельтешение над головой. Что-то с писком и хлопаньем носилось над ними: нетопыри — не нетопыри, тени — не тени... Его преосвященство на всякий случай перекрестился и быстро зашептал молитву, но на странных тварей это не произвело никакого впечатления. Тогда Гембицкий, чуть ускорив шаги и тут же пару раз споткнувшись, догнал шедшего впереди проводника и тронул его за плечо.

— А скажи-ка, сын мой, — ласковый тон его преосвященства не предвещал ничего хорошего, — не знаешь ли ты, что это такое над нами мельтешит?

Гураль мельком посмотрел вверх, бесшабашно взъерошил волосы пятерней, но, взглянув на строгое лицо провинциала, наскоро перекрестился.

— Конечно, знаю, святой отец. Чего уж тут не знать? Бухруны это.

— Кто? — не понял епископ.

— Бухруны, говорю!

— И кто они, эти... бухруны? Нечисть?

— Вряд ли. Под луной аж лоснятся — выходит, чистые!

— Может, зверье какое? — предположил Гембицкий. — Вроде нетопырей?

— Ну вы скажете! — уверенно опроверг предположение епископа проводник. — Бухруны, и навроде топырей! Смех и только!

— И что же твои бухруны делают? — поинтересовался провинциал с язвительной усмешкой.

— Мои — ничего. А эти летают!

— Это я и сам вижу! — епископ начал понемногу выходить из себя. — Вред от них какой-нибудь быть может?

— Понятное дело! — с уверенностью заявил пастух. — Заморочить могут, потом вовсе извести... Хотя могут и навести.

— Кого навести? — его преосвященство явно был сбит с толку обилием в этих горах неизвестных ему дотоле существ: Веснянки, Зарницы, Майки, Полуденницы, а теперь вот еще и бухруны, которых к тому же довелось увидеть собственными глазами.

— Да кого угодно! — беззаботно ответил гураль. — Сейчас вот нас наводят.

— Нас?! — до его преосвященства не сразу дошло, что это его, ставленника Ватикана, епископа Гембицкого, непонятно куда наводят неведомые бухруны!

А когда наконец дошло и разъяренный епископ уже набрал в грудь воздуха, чтобы выразить свое мнение по поводу проводника, бухрунов и вообще здешних порядков, то выяснилось, что пастух был абсолютно прав и бухруны их таки навели, причем именно туда, куда надо: впереди из темноты, на фоне звездного неба, проступили близкие силуэты крестов шафлярского кладбища.

6

Шесть темных призраков застыли на краю холма, вцепившись друг в друга, и епископ не сразу понял, что там происходит. А когда наконец разглядел, то невольно перекрестился и зашептал молитву: пятеро из последних сил

держали шестого, а этот шестой вырывался, нечеловечески извиваясь и дергаясь, как припадочный, и было в его конвульсиях нечто жуткое, противоестественное. Руки-ноги человека изгибались под совершенно немыслимыми углами, отчаянный стон время от времени прорывался сквозь плотно стиснутые в судороге губы, на которых выступила пена. И носился вокруг, подвывая, большой пегий пес, не решаясь приблизиться к сплетенным в одно целое людям.

— Дьявол! Это сам дьявол, святой отец! — шептал рядом гайдук Лентовского, истово крестясь и указывая другой рукой на извивающуюся фигуру в чудом удерживающемся на голове берете с петушиным пером.

И еще мерещилось провинциалу, будто какие-то призрачные тени одна за другой выскальзывают из круга сцепившихся тел и исчезают в ночи со стоном облегчения, словно вырвавшиеся наконец на свободу души грешников...

А потом тот, которого перепуганный гайдук назвал дьяволом, невероятным усилием освободился от державших его рук, рванулся в сторону, сбив кого-то с ног, — и замер, дико озираясь по сторонам. Остальные люди на холме тоже окаменели в изнеможении — и тут все увидели, как тело существа в берете, лишь внешне похожего на человека, засветилось изнутри холодным зеленоватым светом, каким светятся гнилушки в ночном лесу. Свет этот разгорался, становился ярче, вот уже языки зеленого пламени пляшут вокруг зловещей фигуры порождения Тьмы, осветив изможденные лица глядевших на него людей. И, словно отвечая на неслышный зов, таким же зеленым светом засветился стоявший неподалеку старый тарантас вместе с запряженной в него лошадью; свет становился нестерпимым, он слепил глаза, словно и человек, и тарантас, и лошадь постепенно раскалялись изнутри, наливаясь огнем самой преисподней — и вдруг с негромким хлопком человек (?!) исчез в облаке серного дыма, вместе с ним исчез и тарантас, и лошадь, сразу навалилась темнота, а епископ, старый князь, монахи с гайдуками и мгновенно протрезвевшим пастухом стояли и смотрели на то место, где только что находился посланец ада, и точно так же смотрели туда измученные люди на краю холма...

Первым зашевелился, приходя в себя, настоятель тынецкого монастыря. Он оглянулся, скорее угадал, чем увидел темные фигуры людей у подножия кладбищенского холма, каким-то шестым чувством узнал епископа и с запоздалыми словами: «Apage, satanas!» воздел к небу руки.

* * *

— ...Искренне поздравляю вас, отец настоятель! — это были первые слова взобравшегося на холм, но не до конца пришедшего в себя епископа.

А что еще мог он сказать?!

— Своими глазами видел я, как боролись вы вместе с этими благочестивыми людьми с врагом рода человеческого и как с позором бежал в Геенну посрамленный дьявол, изгнанный вами! Теперь убедился я: клевета, ложь и клевета все, что мне о вас рассказывали! Только истинно верующий в Господа нашего и чистый душой человек способен на такое! Теперь я лично буду писать в Рим и ходатайствовать перед Его Святейшеством, чтоб ваши заслуги перед Богом и церковью были оценены по достоинству!..

Епископ говорил еще что-то, а за его спиной шептались гайдуки князя Лентовского:

— Живьем, живьем хотел дьявола взять! Эх, жаль, не удержал!

— А может, оно и к лучшему? В аду ему место, проклятому, а не здесь, вот тынецкий настоятель его туда и отправил!

— Никак святой он, братцы, этот аббат! Его преосвященство вон и за крест хватался, и молитву читал, а сатане все нипочем! Не то что аббат — врукопашную...

Разумеется, его преосвященству, который прекрасно слышал, о чем шепчутся за его спиной гайдуки, подобные разговоры отнюдь не доставляли удовольствия. Но поделать он ничего не мог: свидетелей было больше, чем достаточно, и видели все не только его монахи, но и гайдуки, пьяный пастух и сам Лентовский, а уж в княжеских словах вряд ли кто станет сомневаться! Много разного водилось за старым князем, но во лжи его еще никто уличить не посмел... да и повода не было.

— Благодарю вас, ваше преосвященство, — устало улыбнулся аббат Ян, скромно склоняя голову. — Но я всего лишь исполнял свой долг перед Господом нашим и святой церковью. И не один я встал на дороге у врага рода человеческого. Помогла мне искренняя вера этих честных христиан, — настоятель кивнул на сгрудившихся у него за спиной Михала, Марту, Терезу и Мардулу, — иначе и не знаю, совладал бы я в одиночку с Нечистым!

— Скромность всегда была вашей добродетелью, отец настоятель, — сухо заметил Гембицкий. — А теперь давайте возблагодарим Господа нашего за счастливое избавление и за то, что даровал вам и этим «честным христианам» силы для борьбы с дьяволом.

Спорить с епископом никто не стал, и все присутствующие опустились на колени.

— Теперь же — не пора ли нам идти, отец настоятель? — заметил Гембицкий, закончив молитву и поднимаясь с колен.

— Благодарю, ваше преосвященство, но я обещал отцу, что пробуду на его могиле до восхода. А я привык исполнять свои обещания, — твердо ответил отец Ян.

— Ну что ж, — пожал плечами провинциал. — Да хранит вас Господь.

Он неторопливо перекрестил остающихся и начал спускаться вниз в сопровождении доминиканцев.

Однако Лентовский и гайдуки не спешили последовать за его преосвященством. Старый князь стоял, подбоченясь, и сверлил Михала, в изнеможении опершегося о могильный крест, ненавидящим взором своего единственного глаза.

В этом взгляде ясно читалось все, о чем думает сейчас старый князь. Убийца его сына должен умереть, несмотря ни на что, и ни бог, ни дьявол не остановят князя. Солтыс Ясица Кулах сказал: «Вызывай его на честный бой...» Вот и пришло время для этого самого «честного боя», в котором Михалу не выстоять и минуты — с обожженными руками, едва живому, вымотанному до предела схваткой с сатаной... Но бой будет честным, один на один, при видоках, и ни солтыс Кулах, ни кто другой не посмеет после пенять князю за эту смерть и чинить ему препоны в здешних горах. Все будет честно. И убитый Янош будет отомщен...

Похоже, не только Михал прочел все это во взгляде Лентовского. И без того бледная Марта вдруг побледнела еще больше и, схватив за локоть стоявшую рядом ничего не понимающую Терезу, лихорадочно зашептала ей что-то в ухо.

Бабий шепот не интересовал князя. Лентовский медленно направился к Михалу, продолжая жечь того взглядом. Он не видел, как женщины на мгновение обнялись, глядя друг на друга остановившимися глазами, а потом Марта змеей скользнула в ноги князю, норовя поцеловать его ладонь.

— Князь, пощади воеводу Райцежа! Помилуй, не заставляй с тобой рубиться! Сына твоего он в честном бою убил — все видели! Не пятнай же княжеские руки кровью, а княжескую честь — позором!

Лентовский вздрогнул, как от удара, хотел было отпихнуть сапогом сумасшедшую бабу, но почему-то передумал, осторожно высвободился и остановился перед Михалом в раздумье. Что-то происходило сейчас в душе Лентовского, что-то, невидимое со стороны, но тем не менее отражавшееся на лице старого князя, моргавшего единственным глазом так, словно тот у него чесался.

Минуту, другую стоял князь перед убийцей сына своего, и постепенно угасал раскаленный уголь в его глазнице, разглаживались морщины на челе...

А потом поникли плечи грозного князя Лентовского. Со вздохом шагнув вперед, он тяжело хлопнул воеводу по спине, отчего Михал едва удержался на ногах, повернулся и пошел прочь, так и не сказав ни слова. Оторопевшие пахолки табунком двинулись вслед за князем, изумленно переглядываясь на ходу, но не решаясь заговорить.

— Чего это с ним? — удивленно осведомился Мардула, когда Лентовский и его люди скрылись в подступившем к холму предрассветном тумане. — Я уж приладился его ножом в спину, а он...

— Совесть взыграла, — хихикнула, не удержавшись, Тереза.

— У князя Лентовского — совесть?! — искренне изумился Мардула. — Отродясь ее у него не было!

— А теперь — есть, — усмехнулась Марта. — Тереза-то у мужа своего, купца краковского, совесть потихоньку тас-

кала, когда ее многовато набиралось; вот и дела у него шли удачно, потому как купцу от лишней совести — одно разорение. А сама совесть никуда не девалась, у Терезы оседала. Вот я сейчас и взяла у сестры малую толику, да старому князю и подкинула! Может, опомнится после, но уж поздно будет!

Тут Михал, до которого наконец дошло, кому и, главное, *чему* он обязан жизнью, с хохотом бросился обнимать своих сестер, вопя от боли в обожженных ладонях, аббат Ян с Мардулой тоже не удержались от смеха, и вскоре на кладбище звучал совсем уж неуместный здесь многоголосый хохот вперемешку с заливистым собачьим лаем — дети вора Самуила давали наконец выход напряжению этой кошмарной ночи.

А когда все отсмеялись, и извечная тишина снова вернулась на шафлярское кладбище, отец Ян оправил складки своей сутаны, пригладил волосы, после чего, обернувшись к остальным, негромко сказал:

— Пора нам. Пойдемте, помянем батьку Самуила.

И они тихо спустились с кладбищенского холма.

Светало.

ЭПИЛОГ

То было что-то выше нас,
То было выше всех.

И. Бродский

Бывают такие минуты между ночью и утром, когда первая еще не убралась восвояси, а последнее еще не вступило в свои права, и в невозможные эти минуты возможно все, скрытое для света и утерянное для тьмы.

Есть такие минуты...

Старик, сидевший на могильном холме, протянул костистую руку и взял лежащий рядом каравай хлеба. Разломил пополам, запустил пальцы в мякиш... вырвал кусок хлебной плоти. Смял в кулаке, подумал о чем-то своем, раздувая трепещущие ноздри гордого орлиного носа, и принялся увлеченно лепить мякиш, как делают это шафлярские ребятишки, оглядываясь по сторонам, — не смотрит ли строгая мамка, не наподдаст ли за баловство!

Кривой, покосившийся тарантас рождался под пальцами старика. Вот он поставил игрушечную повозку на рыхлый ком кладбищенской земли, из которого уже пробивалась молоденькая травка, воткнул в тарантас две веточки вместо оглоблей — и вылепил лошадь. Жалкую такую кобыленку, с выпирающим хребтом и сбитыми копытами. Поставил лошадь между оглоблей, улыбнулся в седые жесткие усы и вновь набрал пригоршню мякиша.

Фигурка, другая... третья... женщина с прижавшимся к ее ноге одноухим псом, священник в сутане, еще одна женщина — статная, видная собой... воевода с прямым палашом на боку, юный парень с разбойничьим профилем...

Расставив фигурки вокруг тарантаса, старик снова улыбнулся и выгреб остатки мякиша из каравая.

Вскоре на облучке восседал тощий человечек в берете, лихо заломленном набок. Старик пошарил глазами вокруг, поднял рыжую сосновую иголку, невесть каким ветром занесенную на шафлярское кладбище, сломал надвое, еще раз надвое — и прикрепил кусочек на берет вознице.

После привстал, хмыкнул не то удивленно, не то обрадованно, потянулся — и в огромных ладонях старика оказался замшевый берет с петушиным пером, схваченным серебряной пряжкой: берет, до того мирно валявшийся поодаль и притрушенный сверху землей.

Старик повертел берет в руках, отряхнул, протер рукавом серебро пряжки и нацепил берет на голову.

Подбоченился, сверкнул смоляными очами навыкате и заломил берет набекрень таким лихим жестом, что будь рядом кто из людей, не так давно покинувших кладбище...

— Ой, туман, туман в долине, — запел Самуил-турок надтреснутым голосом, — тишина кругом... хлещет-плещет старый баца длинным батогом!..

Подождал, словно надеялся, что кто-то подпоет ему из тишины, и вновь принялся за фигурки.

Вылепил себя — еле-еле мякиша хватило, пришлось даже кусок корки слюной размочить — совсем маленького себя, но похожего; вылепил и поставил поодаль. Чуть развернул остальных, чтоб не видели его, потом посидел-посидел, глядя на тарантас и действо вокруг повозки, и уверенно протянул руку.

Двоих взял.

Себя и того, в берете с рыжей иголкой.

Сжал в горсти.

И долго потом смотрел на получившийся комок.

— Ой, туман, туман в долине...

Есть такие минуты между жизнью и смертью, когда одна еще не началась, а другая уже кончилась, а вот которая теперь начнется и которой конец придет — это неизвестно, и поэтому в такие минуты возможно все, о чем только способна помыслить душа человеческая.

Старый Самуил-баца знал это лучше других. Груз земной жизни не отягчал больше его плеч, новый груз еще только ждал, прежде чем навалиться и заставить вновь забыть прошлое; и сейчас Самуил из Шафляр отчетливо видел себя на облучке тарантаса, себя в заломленном берете, себя, чью душу рвали изнутри в клочья собственные воспитанники... он видел дни, когда его звали Великим Здрайцей.

И даже сейчас холодный пот проступал на его лбу, когда вспоминал он эту ночь и последовавшую за ней вечность, в течение которой ад бурлил внутри него, требуя дани, требуя душ человеческих, заставляя опустевшую равнину полыхать коптящим пламенем, а надменный профиль на лунном диске усмехался с презрением — шалишь, дьявол, не вытерпишь!..

Он вытерпел.

Он умер.

Катары-«чистые» и впрямь прозревали многое — они только не задумывались над тем, что время безразлично для мертвых и неродившихся, они просто не знают, что это такое, время человеческое, и, возрождаясь, душа путает в беспамятстве «вчера», «сегодня» и «завтра». Жил сегодня, а будешь жить вчера, и кому какое дело?! Ведь именно так и жил Самуил-турок, Самуил-баца, начав новый отсчет задолго до ночи на шафлярском кладбище, когда воры-Ивоничи вцепятся в Великого Здрайцу над домовиной батьки своего.

Что такое время?

Ответьте, кто знает...

Вот он, комок мякиша, бывший дьяволом в берете и

вором из Шафляр, вот он, кусок хлеба, и есть ли для него прошлое, настоящее и будущее?

Старик устало сдернул берет и вытер им вспотевшее лицо.

Там, в тумане, исчезли дети сердца его, дети таланта его, ростки его ствола, плоть от плоти души его — и как теперь сложится их жизнь, не знал никто, в том числе и старый Самуил, уже снова начинавший забывать, что когда-то его звали Великим Здрайцей, как не помнил он этого в течение всей оставляемой им сейчас жизни.

Только сейчас, в эти невозможные минуты между «да» и «нет», он осознал с ясностью завершения: в отпущенные ему годы Самуил-турок стремился отыскать, вернуть, вновь ощутить рядом те несчастные души, которые однажды уже были частью его.

Частью долгой и безнадежной, но все-таки закончившейся жизни Великого Здрайцы.

Дотянуться удалось до немногих. Но тем, кого он сумел найти, Самуил подарил все, что имел сам: странный дьявольский дар, великое искушение и хрупкую возможность когда-нибудь спасти его, батьку Самуила, шафлярского вора, Петушиное Перо — а вместе с ним и самих себя!

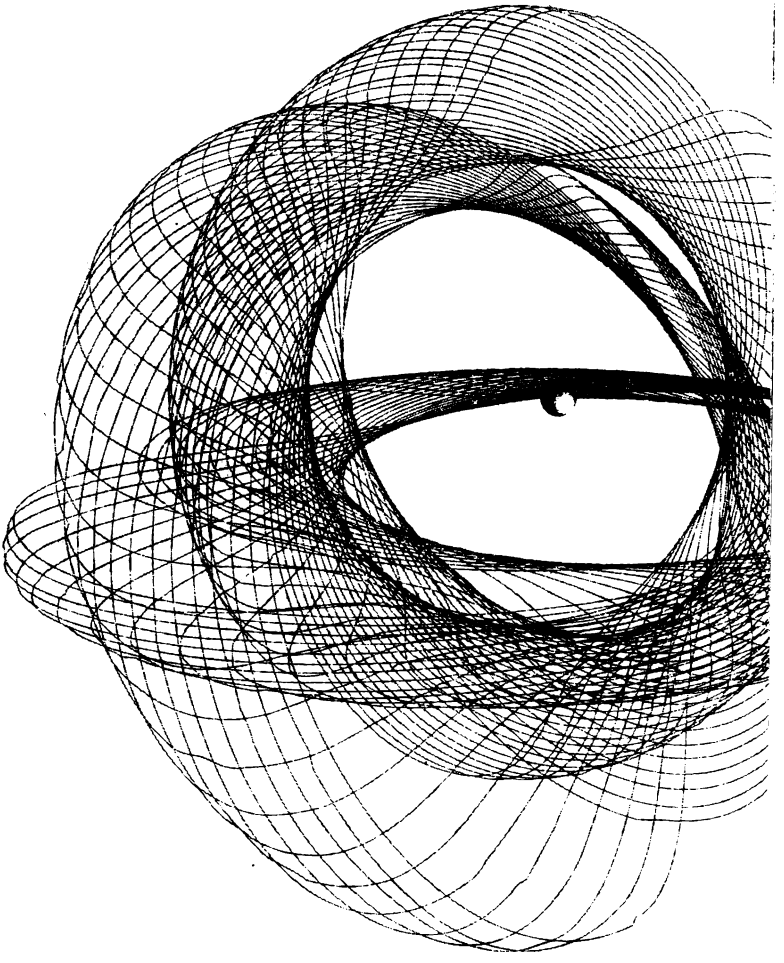
Тогда он не знал, зачем мечется по свету, каким чутьем находит среди множества людей знакомый взгляд, обжигающий душу; кто они, эти найденыши, и почему именно они... но пройти мимо Самуил-баца не мог.

...Он сидел на могильном холме, в окружении хлебных фигурок, и смотрел в туман, в зыбкую пелену минут между ночью и утром, между жизнью и смертью, где уходили, скрывались, исчезали приемные дети Самуила-вора из Шафляр.

Пасынки восьмой заповеди.

МАГ В ЗАКОНЕ

РОМАН



He walked amongst the Trial Men
In a suit of shabby grey;
A cricket cap was on his head,
And his step seemed light and gay;
But I never saw a man who looked
So wistfully at the day.

I walked, with other souls in pain,
Within another ring,
And was wondering if the man had done
A great or little thing,
When a voice behind me whispered low,
«That fellow's got to swing».

Oscar Wilde
«The ballad of Reading Gaol»

И вот он шел меж подсудимых,
Весь в серое одет.
Была легка его походка,
Он не был грустен, нет,
Но не видал я, чтоб глядели
Так пристально на свет.

С другими душами чистилищ,
В другом кольце, вперед,
Я шел и думал, что он сделал,
Что совершил вон тот, —
Вдруг кто-то прошептал за мною:
«Его веревка ждет».

Оскар Уайльд.
«Баллада Редингской тюрьмы»
Перевод К. Бальмонта

Книга первая

ДА БУДЕТ ПУТЬ ИХ ТЕМЕН И СКОЛЬЗОК...

Круг первый. СНЕГА КУС-КРЕНДЕЛЯ

— Магия?! Ненавижу!!!
Опера «Киммериец ликующий», ария Конана Аквилонского

ПРИКУП

Господин полуполковник изволили размышлять.

Дура муха, вконец обалдев от ранней северной осени, вела себя хмельным побродяжкой, набравшимся сивухи на дармовщинку, — взлетала, садилась на бумаги, суча лапками, надсадно жужжала, ползала туда-сюда, тщась вкусить последние радости жизни, что остались на ее недолгом мушином веку. Господин полуполковник поморщились, не глядя мазнули рукой по воздуху; тесно сжали кулак и поднесли его к уху. В кулаке звенела, текла слезным трепетом назойливая букашка-глупость, которой так и так осталось лишь умирать — минутой раньше, минутой позже, какая разница? Толстые, поросшие жестким рыжим волосом пальцы разжались, даруя мухе свободу, и снова — взмах, кулак-тюрьма и истошное жужжание, вопль о пощаде.

Рука резко дернулась. Тельце мухи ударилось о паркет канцелярии, и мгновением позже сверху опустилась подошва сапога.

Все.

Конец.

Господин полуполковник лениво подергали себя за бакенбарды и продолжили умственную деятельность.

— В-ваша бдительность! — В дверь сунулась мерзкая

харя в сбитой на затылок фуражке, воняя кислой капустой и утренним перегаром. — В-ваша бдительность!.. Так что изволите ведать: от ихнего высоконачалия, господина обер-полицмейстера, к вам личный курьер с пакетом! Велите пускать?

— Пусть обождет.

— В-ваша... так ведь это самое...

— Пшел вон! — не повышая голоса, бросили господин полуполковник прямо в харю, и та, пискнув, исчезла. Как не бывало. По долгу службы покидая столицу, господин полуполковник терпеть не могли провинциальных канцеляристов, «сухарников», как тех презрительно звали зачастую прямо в лицо, — липких до тошноты, с их беспробудным пьянством, грязными манжетами и грамматическими ошибками в анонимных доносах. «Асмелюсь дависти до вашиго свединия...» — и красный носишко роняет каплю на измаранный лист. Все, что есть в мире хорошего и великого, — увы! — стоит на мерзости, на фундаменте из пошлости и тупости, но только дурак будет радоваться, спускаясь с постамента на землю, сплошь изрытую червями.

Да-с, только дурак.

Господин полуполковник расстегнули два верхних крючочка воротника, подбитого алым сукном, повертели головой на манер чинского болванчика (говорят, это у них, у азийцев-хитрованов, писано: кто поймает муху на лету, тот совершенный человек!.. Пустяки, глупозвонство, и все!..) — и вновь углубились в размышления.

Две пухлые папки лежали на столе. Одна была раскрыта на второй странице, и если тихонечко, не дыша, встать за спиной у господина полуполковника, если поправить на носу пенсне кончиком пальца или просто вглядеться повнимательнее, то можно было прочесть:

«...он же Дуфуня Друц-Вишневский, он же Франтишек Сливянчик, бродячий цирюльник, он же Ефрем Жемчужный, кузнец из Вильно, он же Бритый. Пятьдесят шестого года, вероисповедание не определено, по происхождению — ром из сильванских таборов. Маг-рецидивист; криминальная «масть» — конокрад, Валет Пик. Три судимости, последнюю отбывает в каторжном остроге Анамаэль-

Бугряки; участие в убийстве купца второй гильдии Трифушкина Никодима Анисимова[1] довести не удалось; оставлен под подозрением... поведение примерное, раздатчик на кухне, в хищении провизии не замечен... по отбытии наказания срока рекомендовано...»

Перед смертью, перед полетом в небытие муха как раз ползала между строками «ром из сильванских...» и «...последнюю отбывает в каторжном...».

Господин полуполковник покусали нижнюю губу, отчего усы их бдительности встопорщились аккуратно подстриженной щеточкой, после откинулись на спинку кресла и устремили взгляд в потолок.

Глаза господина полуполковника были странного, грязно-болотного цвета, и знающие люди говорили, что тонуть в этом стоячем взгляде ничуть не более приятно, нежели в таежных зыбунах. Знающие люди говорили, но тихо, незнающие помалкивали себе, а женщины, которым судьба даровала возможность сойтись с господином полуполковником в делах амурных, — женщины и вовсе ничего не говорили о грязно-болотных глазах, вспоминая о другом. Тем более что глаза оные чуждо смотрелись на оливково-смуглом, горбоносом лице господина полуполковника — сюда б более подошел карий, томно-влажный взгляд красавца из краев, где растут лимоны с померанцами и красотки долго возятся с многочисленными юбками, прежде чем отдаться возлюбленному.

Да, изрядно хороши собой были господин полуполковник, до неприличия хороши, до обиды на стерву фортуну, что одним дает все, а другим шиш с маслом, и то с прогорклым! Вольный разворот плеч, гордая осанка так и говорит: «А пощечину, канальи, не желаете-с?!», рост гренадерский, но без излишней долговязности — ах, падали дамские сердчишки к сапогам, словно осенняя листва под лаской ветра, кружились в безумной мазурке... «Завидный жених! — шептались втихомолку, за вистом, почтенные отцы семейств, где прозябали дочки на выданье. — Годы?

[1] Недворяне писались в документах по отчеству без «ича».

О чем вы, почтеннейший?! Какие такие годы?! Самый сок, мужская пора долгая... мы и сами в его-то годы... эх!»

Что эх, то эх.

Бывало, коли не врут.

Пальцы, густо поросшие рыжим волосом, отложили раскрытую папку в сторону; раскрыли вторую.

«...Рашель Альтшуллер, она же запольская мещанка Смальтова Брынных Раиса Сергеевна, она же Эльза, баронесса фон Райхбен, она же Рашка Княгиня. Пятьдесят девятого года, вероисповедание — авраамитка-реформистка, но при необходимости свободно пользуется любыми религиозными отправлениями иных вер и конфессий; родом из местечка Головлино Анабургского уезда. Маг-рецидивист, криминальная «масть» — воровка на доверии, Дама Бубен; была подана в международный розыск властями Пруссии и Манхеймского княжества. Ныне отбывает... поведение примерное, староста барака, в нарушениях лагерного распорядка замечена не... по отбытии наказания рекомендовано...»

Господин полуполковник встали. Оправили серебристый кушак с тяжелыми кистями, коим был подпоясан лазоревый, безукоризненно подогнанный опытным портным мундир их бдительности; пуговицы, по шесть в ряд, опять же серебряные, сверкнули лихим огнем, бросив отблески на яркую выпушку по обшлагам и борту. Кажется, на пуговицах была чеканена рука, мускулистая рука с мечом, и две сплетенные руны под рукоятью... Нет, не кажется: вот и на петлицах знакомые руны, меч и рука.

«Варвар», Е. И. В.[1] особый облавной корпус при Третьем отделении.

Краса и гордость.

А также врожденная нечувствительность к эфирному воздействию, о чем непременно указывалось в личных циркулярах еще при зачислении в училище.

Помедлив, господин полуполковник взяли перо, не глядя сунули его в чернильницу — и жирно, летящим почерком, выдававшим, согласно мнениям графологов, ха-

[1] Его Императорского Величества. В дальнейшем, вплоть до прямой речи, используется сокращение «Е. И. В.», ибо в сей период аббревиатуры стали входить в моду как в документах, так и в частных беседах.

рактер сильный и неукротимый, написали поверх заключения, что лежало здесь же, на краешке стола:

«Коменданту каторжного острога Анамаэль-Бугряки. По отбытии наказания перевести указанное лицо на поселение, под гласный надзор. Местом поселения приказываю назначить Мордвинский уезд, деревню Кус-Крендель».

Повторили процедуру.

И расписались:

«Князь Шалва Джандиери, полуполковник Е. И. В. особого облавного корпуса «Варвар».

I. ДВОЕ, или ШЕСТЕРКИ-КОЗЫРИ

Удалитесь от меня все, делающие беззаконие; ибо услышал Господь голос плача моего.

Псалтирь, псалом 6

Ссыльные шли от Шавьей трясины.

Двое.

Сосны грозились им вслед, качая рыжими сучьями, с бойкостью сельских сплетниц картавили из ельника сойки, крупные, дымчатые, с редкой розовинкой перьев по бокам; наст хрустко ломался под ногами, и поземка усердно заметала рытвины, стелясь хвостом невиданной седой лисы.

А ссыльные все шли, не оборачиваясь.

Двое.

Мужчина и женщина.

Руки глубоко втиснуты в карманы казенных, воняющих прелью, армяков. Затылки утонули в овчине поднятых воротников, траченные молью шапки низко надвинуты по самые брови; плечи подняты косыми углами — вот так, нахохлившись вороной, легче сберечь жалкие крупицы тепла. Лиц толком и не видно из-за косм меха снизу и вверху — не лица, страхолюдные хари с овечьим колтуном вместо шевелюры и бороды. Встретишь этакое диво, спеши уйти или рвануть ружье с плеча — авось ноги вынесут, осечка минет!..

Впрочем, местный народишко был не из пугливых. И не удивился бы никто: отчего бредут себе ссыльные без солдат-конвоиров, без глазу-досмотру? Без кандалов — ин

ладно, не арестанты этапные, по здешним горкам-пригоркам, падунам да распадкам и вольными ногами не больно-то походишь, ежели не обучен!.. Шагайте себе, родимые! Вон и сосны вам грозятся, и сойки почем зря обкладывают, и поземка шебуршит — какой еще конвой надобен? К беглым здесь давно привыкли: и жители окрестных сел, и лободыры-плотогоны, и солдаты, поиздержавшиеся одежонкой так, что их самих нередко принимали за беглецов с каторги.

Далеко ли уйдешь по снегу-морозу? По болотным трясинам шибко ли попрыгаешь, от кочки к кочке? Славно ль укроешься в хозяйской берлоге с мохнатым дедушкой?

Беги-и-и... беги, дураш-ш-шка... пошуршишь да вернеш-ш-шься...

Ссыльные шли, не держа обиды на издевательское пришепетывание ветра, от Шавьей трясины к деревне со смешным названием Кус-Крендель.

Двое.

Мужчина и женщина.

Прародители рода людского, изгнанные из каторжного рая ангелом-меченосцем, трижды проклятые вослед за Добро и Зло, от коего вкусить довелось лишь чуточку, малый краешек... ах да, иным и вовсе-то кусочка не досталось, вот и злобятся!..

— Акулька! — визгливо донеслось с окраины деревни, где замурзанные чада кускрендельчан, похожие в своих тулупах и не на детишек-то вовсе, а скорее на леших-недомерков, уже заприметили идущих людей. — Акулька, дура, слышь! К Федюньше ссылочную подселили! Айда смотреть!

— К Сохачам ссылочную! Бабу к Сохачам, а варнака к Акулькиной матке! Айда!.. — раскатилось дробью в ответ, и еще кто-то, видать совсем малой, без дела захныкал в голос.

Вся деревня знала еще третьего дня, сразу после приезда урядника: вдове Сохачихе с крестным сыном да семейству Филата Луковки, где мал мала меньше и все жрут в три горла, счастье на пустом месте привалило. В смысле, значит, счастье и есть. Ежедневного довольствия по три фунта хлеба печеного, мяса-убоины до сорока золотников, крупы

же пятнадцать золотников и разных приварочных продуктов на одну копейку; а если день постный, то взамен мяса цельный фунт рыбы даден будет. Опять же на год по армяку с полушубком да из обуви четыре пары чирков и две пары бродней. Да податное послабление за добровольную подмогу державе-матушке...

Истинно сказано, счастье.

А ссыльный — не пожар, полатей не обуглит.

Пусть его живет, пока живет.

Выйдя на дорогу, ведущую от деревни к мельнице и оттого укатанную зимой санями, а летом — телегами, ссыльные зашагали быстрее. Самую малость, для вольного дыхания и согрева телесного. Мужчина дернул плечом, сбрасывая котомку пониже, прижал ношу локтем. Посмотрел искоса на спутницу, свободной рукой зачем-то коряво огладил усы, смерзшиеся липкими сосульками.

Потрескавшиеся от мороза, обметанные лихорадкой губы шевельнулись:

— Давай торбу-то... понесу...

Женщина не ответила.

— Ладно тебе, Княгиня... бари раны!..[1] Давай, не ерепенься...

— Уймись, Друц.

Сказано было сухо и твердо. Так иногда хрустнет в ночном лесу, и наемный рубщик, задремавший было в избе-конторянке, встрепенется близ теплой каменки, охнет спросонок и долго еще вслушивается в лихую темень: чего ждать, братцы-товарищи? откуда? скоро ли?! В голосе женщины на самом донышке пряталась хриплая властность, пряталась гадюкой под трухлявой валежиной, и незачем пинать укрытие от пустой скуки: ужалит без злобы и уйдет без страха.

Мужчина, которого назвали Друцем, знал это лучше многих.

Оттого и шел с той минуты до окраинных изб, не заикаясь больше о непрошеной помощи.

Просто шел.

---

[1] Большая барыня (*ром.*).

Напевал без звука, в усы-сосульки:

Ой, ходка новая,
А масть бубновая,
А жисть хреновая,
Дешевый фарт!..

И поземка подтягивала за спиной, шелестела испитым многоголосьем кодлы-матушки:

И с ночи до зари
Шестерки-козыри,
Шестерки-козыри
Крапленых карт...

* * *

От избы правления ссыльные пошли врозь, каждый в свою сторону, сопровождаемые гурьбой ребятишек, также разделившихся надвое.

— Эй, Акулька, жихорица! Айдате с нами варнака смотреть! И-эх!.. — все орал, повизгивал давешний крикун и, не дождавшись ответа от вздорной Акульки, бежал за мужчиной, которого называли Друцем.

За женщиной увязалось совсем немного детворы.

Трое-четверо малявок да дура Акулька, вертлявая девка с мелкими, старушечьими чертами рябого личика.

Ветер гулял вокруг, шалил, закручивал фейерверк метели.

Чш-ш-ш...

II. РАШКА-КНЯГИНЯ, или БАБЫ-ДЕВКИ ВДОВЫ СОХАЧИХИ

Так! На скользких путях поставил ты их и низвергаешь их в пропасти.

Псалтирь, псалом 72

Во дворе мужик возился со старой телегой: колесо менял.

От широкой спины вовсю валил пар.

Нет, не мужик, как тебе показалось сперва, — парень. Совсем молодой. Просто не по годам рослый, длиннорукий, весь какой-то корявый, словно спать за полночь лег мальчонкой голопузым, а проснулся засветло здоровенным детинушкой и теперь не знает, куда девать случайную силу.

Небось в драках на льду зачинщиком выставляют; ему свинчатку в рукавице прятать ни к чему, и без того быка кулаком валит.

Помнишь, Рашка? Тогда ты задержалась в воротах. Тесно ощупала взглядом одного из тех случайных людей, с кем теперь придется жить долго, дольше, чем хотелось бы, но куда меньше, чем... да что там зря врать самой себе! — и меньше тоже, чем хотелось бы.

Это ты знала доподлинно.

До немоты в обмороженных пальцах.

— А-а, — понимающе буркнул парень через плечо, заприметив гостью, и не добавил ничего.

Ничего.

Только крепче прикусил махорочную цигарку, оскалив крупные зубы. Да распахнул шире и без того раскрытый ворот рядовки, отчего стала видна его грудь: широкая, безволосая, вся в грязно-бурых оспинах — гнус, что ли, поел? Или болен?

Вряд ли: к таким орясинам ни одна лихоманка не липнет...

За спиной, на улице, наперебой загалдели ребятишки, но парень только повернул к ним красное от натуги лицо, и всю толпу как ветром сдуло.

— Леший! — снежной кутерьмой прыснуло вдоль изб. — Федюньша-лешак, неприятная сила! Ишь, страшной! Беги-и-и-и!..

Ты прошла мимо парня, вернувшегося к своему занятию; поднялась на крыльцо. Дышать на мгновение стало трудно; горло, как ствол дедовского ружья, забили наглухо мохнатым пыжом, и ты испугалась — не приступ ли? Ах, сейчас совсем некстати... Но ружье пальнуло вхолостую раскатами хриплого кашля, комки мокроты шмякнулись в

сугроб рядом с крыльцом, и животворный воздух вновь пошел в легкие.

— А-а, — еще раз сказал парень, как если бы понял что-то, никому, кроме него, не ведомое; после чего коленом толкнул вперед смоленое колесо.

Ты перевела дух и шагнула в сени, а затем — в полутемную горенку.

На лавке, за столом, застеленным старой, многажды штопанной скатеркой, сидела рыхлая тетка в драном полушубке. Накинутом, как сперва показалось, прямо на голое тело. Нет, на ночную сорочку, просто сорочка та была еще древней скатерки, и в прорехи обильно виднелась восковая кожа с синим узором вен.

Тетка ела тресковый рыбник, смачно чавкая.

— Здоровы будьте, — сказала ты, сбрасывая котомку к ногам.

Тепло медленно, с неохотой, просачивалось в задубевшее тело, больно копошилось под армяком, ползало себе в растоптанных бродняхх, ленивым хорьком покусывая кончики пальцев. Ресницы стали оттаивать, и глаза наполнились не своими слезами — плачь, Княгиня, плачь, Дама Забубенная, хоть так, а плачь, потому что плакать иначе ты давно разучилась...

— А-а, — воркотнула тетка с полным ртом, только этим ворчанием и напомнив парня во дворе.

Сплюнула в горсть мелкие косточки, кинула россыпью на столешницу и добавила густым, не по телу, басом:

— Заходь, бабы-девки, неча избу студить...

Пальцы поначалу не слушались, путаясь в крючках одежи ершами, угодившими сдуру в частый бредень. Только и удалось сразу, что шапку стянуть да на лавку, близ тетки, кинуть. Ты разозлилась. Ты сильно разозлилась, всерьез, и руки вдруг стали ловкими, а остаточный холод мигом удрал куда-то в глухие закоулки — даже не тела, а памяти, памяти о долгой дороге от Анамаэль-Бугряков, будь они неладны тройным неладом, до заимки близ Шавьей трясины, а оттуда — сюда, к тупому парняге, к тетке с ее дурацким пирогом и равнодушной неприветливостью. Армяк чудовищной птицей слетел с плеч на дощатый пол, котом-

ка уже стояла там, утонув теперь под душной овчиной; тетка забыла жевать, уставясь на тебя выпученными глазами, — ты рассердилась, помнишь, Княгиня?! — о да, ты помнишь, ибо не успела вовремя одернуть себя.

Остановиться не успела.

Приступ остановил. Грудная жаба квакнула во всю глотку, раздувшись пузырем бородавчатым, потекла слизью, защекотала длинным, липким языком в гортани, вздувая грудь, — и когда удалось перевести дух (не скоро, ох не скоро!), то все вернулось.

Былой озноб, тяжелое дыхание, да еще скучная злоба на саму себя.

Ишь, чего удумала, каторжанка?! А на-кась дуре жизнью по роже, да с оттяжкой, да по новой, чтоб не мнила вольной горлицей, где и грачихой-то не больно выйдет!

— А на образа перекреститься — рука отсохнет?

Что-то, похожее на улыбку не более, чем огонек лучины походит на восход за рекой, явилось в теткином голосе.

Тебе было все равно.

Ты перекрестилась.

На образа — негасимая лампада горела перед древним, закопченным ликом Троеручицы и старообрядской, ординарной иконкой Спаса Ответчика, рядом с которым робко притулился лубочный Никола Хожалец, угодник боженькин. Гнулся, играл огонек, метал бледные сполохи на серебряную ризу, потемневшую от времени, на фольговое золото кивота...

— Вре-ошь, — с удовлетворением протянула тетка, почесывая щеку плоским, слоящимся ногтем. — Как есть врешь, баба! Ты и знамение-то крестное кладешь, как я под муженьком покойным пыхтела. Под этим ли, под другим — одна морока, бабы-девки... Авраамитка небось? Или вовсе язычница? Ладно, помолчь, не для ответа спрашиваю, для знакомства, значит...

Когда тетка говорила, лицо ее становилось и вовсе костяным, жестким, с резко выступающими скулами.

Голос не по телу, лицо не по голосу...

Вместо ответа ты села на лавку, напротив хозяйки.

Похоже, той понравилось; похоже, тетка наглость почитала за живучесть, уважая чужое упрямство.

— Полушалок-то скинь, бабы-девки, скинь... упаришься в хате. Вошей много?

— Много, — тускло согласилась ты, развязывая узел под подбородком.

— Вошей керосином, керосином!.. Ин ладно, бабы-девки, больше пытать не стану. Поспеем еще, наговоримся, побранимся-помиримся... Ты гляди парнягу моего не смущай — даром што ты старая уже, молью траченная, а в зенках-то геенна огненная, черти с вилами вприсядку скачут! У-у, мажье племя, и каторга вам мамка родная...

Тетка замолчала. Враз, как отрезало. Уставилась на твою голову. Странно: на каторге ты привыкла, что никого твоя голова не заботит, и взгляд тетки неприятно дернул зажившую было рану. Левую часть головы покрывали каштановые, сильно битые сединой волосы; правую же наголо обрили еще позавчера, перед вечерней поверкой, и теперь кожа топорщилась серебристой щетиной.

— Вона как, бабы-девки, — натужно булькнула тетка и вновь осеклась. — Вона как...

Обижаться было ни к чему. Ты разучилась обижаться. Княгиня, ты совсем разучилась обижаться! И даже это безразличное «даром што ты старая...» не слишком резануло по сердцу. Старая и есть. Четвертый десяток на самом исходе, а если судьбу на счеты костяшками кинуть, то последние лета — год за два, за три, за пять, как кому сподручнее.

Не до парней.

— А-а, — знакомо пробухтело от дверей, и почти сразу, тяжелым, нутряным рыком:

— Божатушка! Телега готова, вели к купцу Ермиле идтить за кобыленкой, запрягать! Али на себе к купцову подворью оттараканить?

Упарившийся парняга вытирал лоб ручищей и все зыркал, косился на твою удивительную голову, разделенную надзирателем-цирюльником на две неравные части.

Парню было странно.

— Божатушка! Велишь али как?

Божатушка? Слово было незнакомым. Внутри заворо-

чался привычный уголек, попыхивая колючими искорками; в мозгу разом все заволокло дымом, едкой копотью, и, когда ветер, налетев из ниоткуда, развеял мглу, смысл чужого, чуждого слова всплыл сразу, сразу и однозначно.

Божата, божатушка — крестная мать. Жила-была сиротка Сандрильона, и была у нее злая мачеха, а еще была добрая крестная-фея... божата, значит, фея была... божатушка Сандрильоны-сиротки. Это ежели сиротку сослать по этапу в Кус-Крендель да сперва выучить по-местному — или лучше не ссылать, а сразу здесь родиться.

Ты усмехнулась — криво, чувствуя боль в губах.

Эх, Сандрильона-сиротка, воровка на доверии, лучше тебе здесь не рождаться... Жаба насмешливо ворочалась в груди, в гортани, подпрыгивала, приквакивала, давала о себе знать заполошным стуком сердца, пронзительной иглой в висках, молоточками в затылке. Чужое слово просто так своим не становится, а здесь, в одиночестве, только и приходится, что себя одергивать: тпру-у-у, назад! Сгоришь, дура! Не несись вскачь к обрыву, погоди!

А когда опостылеет все, да так, что ком в горле, кол в чреве — и те за счастьишко покажутся, вот тогда и отпусти поводья. Все слова — твои, все парни — твои, все взгляды-помыслы — твои... день-два, неделя, и все погосты, какие тут есть, — тоже твои!

Да, Рашка?

Впору молиться святой Марте, покровительнице воровского мажьего племени, о смерти тихой, безгласной... услышит ли?

— Торбу с лопотьем волоки в сенную каморку. Там жить станешь, там и топчанчик есть, девки-бабы...

Ты кивнула, стараясь не зайтись в кашле.

Не получилось.

ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ

Если внимательно заглянуть в глаза вдове Сохачихе, то можно увидеть:

...февраль.

Сухой ельник вовсю топорщится сучьями. Машет лохма-

тыми лапами; пугает. На тропе, потерявшейся в густом сумраке, смерзлись в комья песок и хвоя; заиндевелые листья осинника в прогалинах трещат от тоски, сетуя на холод. Снега мало, лишь пороша виляет седым хвостом.

Где-то, далеко, лось бьет рогом в сушину.

И так — всегда.

* * *

— Что ж это вы зимой на телеге, вместо саней, разъезжаете? — вдруг, что-то вспомнив, спросила женщина на лавке, прежде чем отдышаться и нагнуться за котомкой.

— Дык телега-то купцова, — вместо тетки ответил парень, старательно отводя взгляд. — Вертать надоть, починенную... я, чай, и на себе сволоку, без кобылы...

И вышел вон.

III. ДРУЦ-ЛОШАДНИК, или ПЬЯНЬ КУДЛАТАЯ ДА РЕБРА ДВОЙНЫЕ

Сидит в засаде за двором; в потаенных местах убивает невинного; глаза его подсматривают за бедным...

Псалтирь, псалом 9

...Низкая, словно вдавленная в землю исполинским сапогом, изба неохотно проступила сквозь круговерть завирюхи. Снегу намело изрядно, он громоздился сугробами-шатунами к самым мутным оконцам — и лишь у крыльца (да какое там крыльцо — пара трухлявых ступенек!) был расчищен кривой проход. Ветер срывал с почерневшей, сто лет не чищенной трубы рваные клочья дыма и спешил унести прочь, развеять в гуще снежной мглы, отобрать у людей еще малую толику тепла.

Поставлена изба была как-то несуразно: если у других на улицу выходил забор с воротами, а сама жилая постройка пряталась в глубине двора, то у Луковок их развалюха выпятилась прямиком на улицу, большим пальцем в кукише, а двор располагался позади. Истинно говорится, все не как у людей!

Позади, перекрикиваясь, еще бежало с полдюжины душ детворы — остальные отстали раньше. Ну идет себе варнак-каторжанин и идет — чего зря пялиться? И даже куда идет — всем известно... наглядимся ужо...

Дверь оказалась незапертой, хотя и притворена была плотно. Когда ты грюкнул в нее таким же деревянным с мороза, как и сама дверь, кулаком, она слегка поддалась. Чтобы войти, пришлось нагнуться; в затекшей спине явственно хрустнуло.

— Будьте здоровы, хозяева! Вот, к вам определили.

Взгляды. Со всех сторон, из углов, с полатей, с печи... Дети. Мал мала меньше. Сколько ж их тут?! Сразу и не сосчитаешь. Ладно, успеется.

За длинным, чуть ли не во всю горницу, столом из темных досок — двое. Нестарая, но уже сильно битая жизнью баба кутается в драный шерстяной плат, смотрит выжидательно. Что, мол, еще скажешь, варнак? Интерес. Слабый, даже для нее самой удивительный.

Рядом — мужик. Хозяин дома, значит. Рябой, в замызганной холщовой рубахе с оторванным воротом, в кургузой кацавейке. Дергает бороденку, скалится щербатой ухмылкой:

— Ну и ты, стал-быть, здоров будь, паря! Ссылочный?

— Ссылочный, — киваешь ты, двумя руками стаскивая с головы шапку.

— А кличут как?

— Дуфуней кличут. Дуфуня Друц.

— Чаво?

Бедолага, он аж слюной подавился. А баба — ничего, съела.

Бабы, они живучей.

— Зовут — Дуфуня. А по фамилии — Друц.

— Дуфуня... Это по-вашему, по-варнацки, што ли?

— Да нет, просто имя такое. От рождения. — Ты пожимаешь плечами.

В спине снова щелкает. Короткая боль. Нет, отпустило...

— Вот ить окрестили! — сочувственно качает головой хозяин. — Дуфуня! Не, я тебя лучше Друцем звать буду.

— Зови. — Тебе действительно все равно.

— Ну а я, стал-быть, Филат. За стол садись, што ли? Чекалдыкнем за знакомство...

— Я те щас «чекалдыкну», мерин сивый, ухватом по загривку! — мгновенно взвивается молчавшая до сих пор Филатова жена. — Только б зенки с утра залить, кочерыжина!

Справедливости ради надо сказать, что утро давно кончилось и мглистый день успел перевалить за полдень. Впрочем, вслух этого говорить ты не стал: последнее дело — с порога пререкаться с хозяйкой дома!

— Да ты што, Палажка, сдурела?! Ить паря с морозу, сугреться ему надоть!

— Чаем пущай греется! — отрезала Палажка. Обернулась к ссыльному:

— Чай есть? А то не напасемся...

— Есть. — Непослушное, окоченевшее лицо твое с трудом сложилось в некое подобие улыбки. — И чай есть, и солонина, и сухари, и даже сахара фунт — пайку на две недели вперед выдали.

Скинул котомку, начал развязывать узлы. Руки не слушались. Ты прекрасно знал, что это — не только от мороза. А дальше будет еще хуже... дальше будет всегда хуже, и никогда — лучше.

Никогда.

— Ну вот, дура баба, а ты водки жалеешь! — попрекнул жену Филат, жадно наблюдая, как ссыльный выкладывает на стол содержимое своей котомки. — Ну, Пелагея, ну, окстись, што ли...

— Ладно уж, ему — налей. А себе — на донышке! Чай, не ты с мороза пришел!

— Да будет тебе, разоралась... Тащи кашу, стал-быть, обедать будем. Эхма, жисть наша, пропащая...

«Это точно», — подумал ты, медленно расстегивая крючки армяка.

* * *

Сивуха обожгла горло, горячим комом ухнула в желудок. На глазах выступили слезы. Да, отвык ты от хмельного, Друц-лошадник, Валет Пиковый, за пять-то лет строгой каторги, отвык едва ли не вчистую. А раньше, бывало...

Забудь, морэ![1]

Забудь о том, что было раньше; само слово проклятое «раньше» забудь! Прошлое — отрезанный ломоть; гнить тебе отныне здесь, на поселении, пока копыта не отбросишь, а ждать этого — по всему видать, что рукой подать...

Распухшие пальцы лишь с третьей попытки уцепили кусок солонины, кинули в рот — загрызть.

— Ниче, паря, щас полегчает. Давай-ка, стал-быть, еще по одной!

— Я те што баяла, пьянь кудлатая?! Я т-те што, кочерыжина?!

— Ладно, ладно... вот ить ведьма! Наградил Боженька...

Рядом усердно стучало деревянными ложками все многочисленное семейство Луковок. Чавкали, давились, то и дело зыркая на ссыльного любопытными глазенками.

— И кудыть это Акулька запропастилась?

— А кудыть дуре деться? Ить жрать захочет — прибегит!

Хлопнула дверь. Пелагея обернулась к блудной дочери, и Филат, воспользовавшись этим, мигом хлюпнул в обе ваши кружки мутного пойла из четвертной бутыли, заткнутой комком пакли. Заговорщицки подмигнул; оскалился, стал-быть, со значением. Ты подмигнул в ответ — и едва успел в последний момент перекрыть знакомую волну, начавшую вздыматься из глубины, от низа живота и выше, к сердцу.

Плохи дела твои, Друц-лошадник! А ведь за пять лет, друг ситный, ром сильванский, так и не приучился «в лоб» жить, без финтов. Знаешь, серьезный финт для тебя сейчас — верная смерть. Да и по крохам: разок, другой, третий — и сгоришь. Страшно сгоришь, и думать страшно, а думается. Вот и сейчас едва само не плеснуло наружу — глаза отвести вредной бабе...

Со второго раза хмель ударил в голову. По телу расползлось приятное тепло, пальцам вернулась малая толика былой гибкости. По крайней мере, удалось легко ухватить ложку, зачерпнуть синюшной, остывшей пшенки с волокнами соленой рыбы.

---

[1] Морэ — родич, единоплеменник; в некотором смысле — земляк (*ром.*).

Акулька — та самая рябая востроносая девка-маломерок, что увязалась за Княгиней, — получив нагоняй от матери, тоже шмыгнула за стол. Немедленно треснула по лбу ложкой одного из братьев, что попытал счастья стащить у нее сухарь, — и пошла, давясь, глотать кашу, блестя на Друца влажным, птичьим глазом.

Хозяйка подозрительно покосилась на мужа и ссыльного. Однако сивухи в кружках давно и след простыл. Вздохнула Пелагея, безнадежно махнула рукой и вновь уселась на лавку.

— Ты, паря, стал-быть... — Филат весело дернул углом рта. — Дровишек наколоть подсобишь? Опосля жрачки?

— Подсоблю.

— Ну вот и лады...

* * *

В дровяном сарае Филат, воткнув в колоду топор, щербатый, как Филатова ухмылка, глумливо хохотнул. Извлек из-под накинутого поверх рубахи дубленого кожуха знакомую бутыль.

Где и прятал-то, родимую? Души ведь в мужичонке на алтын с полушкой!

— Мы хучь в арестантских ротах и не парились, но тоже кой-чего могем! — осклабился хозяин. — Я и сухарей призаначил, солонинки чуток... Ну што, паря, за конец твоей каторги, за жисть вольную, новую!

«Да уж, вольную! Вольнее некуда... ходи, чалый, ходи кругом, куда повод пустит!..»

Из посуды в сарае у Филата, запасливого насчет всего, что касалось выпивки, нашлась пара туесков из заскорузлой бересты. Выпили, захрустели сухарями. В сарае было холодно — не в пример холодней, чем в избе; в щели то и дело врывался колючий ветер, озоровал по углам, задувал снежную пыль.

— Топором помашу. Согреюсь. Да и твоя пусть слышит: работаем.

— Помаши, помаши! — охотно согласился хозяин.

Поначалу топор едва не вырвался из рук — запястья отозвались плохим, стеклянным хрустом, — так что Филат даже отшатнулся в испуге:

— Чего балуешь, паря?! Зашибешь ить, варначина!

Ты не ответил; ухватил топор покрепче. Вскоре дело пошло на лад. Когда на лбу наконец выступила испарина, в углу сарая уже высилась изрядная горка свеженаколотых дров. Филат тем временем, похоже, успел оприходовать новый туесок сивухи — по крайней мере, раскраснелся он не хуже тебя самого, хоть и не взмахнул топором ни разу.

«На киче за такое западло враз шнифт своротят», — равнодушно подумал ты. И сам поморщился. Ботать по квэнье — дело нехитрое, если ты в законе, по острогам иначе и не сложится. А вот думать... думать по-другому надо. По-разному. Иначе враз где-нибудь подловят. Пора отвыкать. Ты, морэ, теперь честный ссыльный, а не гнилой острожник, год-два, и вовсе, глядишь, в крестьянский разряд переведут; вокруг люди вольные, говорят не так, как на той же киче. Хотя отвыкай не отвыкай, все едино: год-другой (это ежели повезет!) — и загнешься, вместо разряда крестьянского...

— Взопрел, паря? Ну, дык накатим еще по одной! Эх, жисть наша пропащая...

По одной так по одной.

За жисть пропащую.

— ...За што ж тебя по этапу-то, паря?

Хотелось отмолчаться — о таком болтать что огонь хватать! — но Филат не отставал. Крепкий до хмеля оказался мужичонка; кого другого уже б с ног свалило, а этот — зарумянился только, да язык чуть заплетаться стал.

— Коня свел, — неохотно ответил ты.

— А-а, дык ты коний вор! — почему-то обрадовался хозяин.

— Лошадник, — поправил ты, отвернувшись, но Филат не обратил на это внимания.

— А у меня, един свищ, коня нету! — тут же поспешил он разъяснить свою радость. — Вот кабы ты душегубцем оказался или, стал-быть, еще што учинил...

— Там, где живешь, — не гадь, — процедил ты сквозь зубы.

Филат на некоторое время заткнулся, явно пытаясь переварить услышанное. В голове уже изрядно шумело,

зато перестала наконец ныть спина и руки стали почти прежними. Конечно, это ненадолго, но... мэ матыем, мэ матыем, ромалэ, лэ ли, да дэвлалэ... захмелел я, захмелел — ай, братцы, боже мой!..

Ты молча разлил в туески остатки сивухи.

— Дык ить ежели коньего вора поймают, паря, то властям не сдают. Сами забивают, всем миром...

— И меня забивали — да не забили. А вот подельщика моего... Выпей, Филат, за упокой души.

— Отчего ж не выпить-то, паря? Хучь во здравие, хучь за упокой! Это мы завсегда... Эх, матушка, хороша! А правду бают, кубыть у коньих воров ребра двойные, так сразу и не перешибешь?!

— Правду.

— А вот и шавишь, паря! Не бывает у человеков двойных ребер! И все-то ты шавишь, все дым гонишь: отродясь коньих воров по каторгам не гоняли, ежели не мажьего семени... а, ну да, ты ж и есть... Еще по маленькой? У Сохачихи в долг, а?..

ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ

Если внимательно, до рези под веками, заглянуть в глаза Филату Луковке, то можно увидеть:

...июнь.

В пятнистой тени орешника бесится лайка-двухлетка. Распугивает птиц, закручивает пыль веселыми смерчиками; бьет лапой жука-рогача и сама же отпрыгивает в притворном ужасе. По стволам, не обращая внимания на собаку, струятся муравьи: мелкие, скучные. Солнце падает сверху косыми полотнищами; пахнет измятой травой.

Потом лайка садится и долго воет, как над покойником.

Больше — ничего.

* * *

...Среди ночи ты проснулся от настойчивого грюканья в дверь, от пьяных голосов, слышавшихся снаружи. Хозяин, по всему видать, вставать не спешил, и ты, сам не зная зачем, сунулся в сени, к дверям, отодвинул засов... И едва

успел шарахнуться в сторону: перед самым носом в стену гулко бухнуло суковатое полено.

Снаружи радостно заржали.

— Ну што, Луковка, али нам не рад?

— Зенки протри, Митяй! То ж варнак ссылочный! Филата ты б черта коряжного достучался!

— Ы-ых... — разочарованно. — Ну то жихорь с ним...

Зашибло ли полено «варнака ссылочного» или нет, никого не интересовало.

— Дурак ты, паря! — сипло сообщили с печи. — Другой раз не суйся. Даром што ребра двойные — башка ить не железная! Отшибут. У нас парни такие... любят это дело. Пошутковать, стал-быть...

«А ведь не спал он, — подумал ты, укладываясь обратно на лавку. — Мог бы и предупредить, чтоб не открывал. Небось и сам это дело любит. Пошутковать, стал-быть. Похоже, в остроге и то жизнь подороже стоит, чем у этих... лесовиков...»

IV. РАШКА-КНЯГИНЯ, или ЭХ, ЛЕШИХА МОЯ...

> На работе человеческой нет их, и с прочими людьми не подвергаются ударам...
>
> *Псалтирь, псалом 72*

А ночью — Княгиня, ты помнишь?! — тебя посетил кошмар.

Старый, знакомый.

Десятки, сотни шандалов, канделябров, свечных розеток из старого серебра — и всюду истомой тает нежный воск, всплывая по предсмертному воплю фитиля, отдаваясь огню со страстью и негой безнадежности.

С открытой верхней галереи захлебываются гобои, гнусаво плачет фагот, скрипки искупают все грехи мира, опираясь из последних сил на мрачное плечо контрабаса, — вальс мсье Огюста Бернулли, последнего властителя душ, кружит головы, кружит тела... о, раз-два-три, раз-два-три, и не важно, что вальс лишь недавно утратил постыдный

титул пляски развратников, совершенно не важно, потому что скрипки... и гобой... и шелест, шуршание шелка — чш-ш-ш, не мешайте...

Рядом — князь Хотинский, блестящий гусар. Ментик вполплеча, синие чакчиры, доломан сплошь расшит золотом; и над всем этим — русый кок, завитый шипцами умелого парикмахера, погибель барышень из провинции. Он что-то говорит, этот лихой красавец и дуэлист, известный всему Хенингскому герцогству, и дальше, много дальше... да, он говорит, но ты сейчас не слышишь слов.

— Милая Эльза...

И все.

Только скрипки, и гобои, и метель сумасшедшего вальса.

Не плачь, Рашка, не надо плакать, Княгиня моя, пускай даже и во сне...

Ты ведь чувствуешь: вон она, твоя подельщица, Елена Запольская, Ленка Ферт, твоя Девятка Бубен — вон, подле юного бездельника в превосходно сшитом фраке. Она здесь, неподалеку, и договор ваш, скрепленный общей болью, еще в силе, как будет он в силе... нет, не на веки вечные, так не бывает меж людей, но до конца срока — он не за горами, но еще тянется, длится, и Сила смеется в тебе тихим всплеском весенней капели.

Эй, гусары и драгуны, их сиятельства и их высочества, все, кто ни есть, — смотрите на меня и на нее, на краль бубновых! Что видите?! Что знаете?! А увидите вы то, чего хочу я! Узнаете то, чего мне заблагорассудится, примете моль за яркого махаона, влюбитесь без смысла, забудете без сожаления, и завтра спросят вас: «С кем танцевали, кавалер?» — а вы и не вспомните.

Лишь пожмете плечами в удивлении:

— Я? С этой? Да что вы, господин хороший!

А хотите — заставлю свечи пылать багрянцем заката над рекой?

Хотите — с ума сведу?! Петь кочетом заставлю?!

Хотите?!

«Хочу...» — еле слышно смеется кошмар, становясь кошмаром.

Холод. Лютый, февральский; барачный. И через всю залу, в отблесках и шепоте, идет он: полуполковник Джандиери, ловец, настигший дичь. Он идет не спеша, и вся твоя Сила, удесятеренная Ленкой Ферт в платье цвета слоновой кости, расшибается о призрачную броню «Варвара», жандарма из Е. И. В. особого облавного корпуса при Третьем отделении.

Пусто.

Холодно.

Некому петь кочетом.

Гаснут свечи в твоих глазах, глупая Рашка... и «Орлов», знаменитый бриллиант хозяйки дома и устроительницы бала, сохранит прежних владельцев.

Не повезло.

— Вы танцуете, милая баронесса? — спрашивает жандарм, кланяясь.

Тишина.

Где скрипки? Где фагот? Гобои где?!

— Вы танцуете? Или вы просто наслаждаетесь искусством маэстро Бернулли? Или сердца привораживаете?!

— Слам тырбаню, фараон, — отвечаешь ты, чувствуя спиной дощатую ласку нар.

Господин полуполковник смеется — и вдруг идет вприсядку, выкрикивая странным, сиплым от пьянства баритоном:

Эх, лешиха моя,
Миляшиха моя,
Косорыла, мохнорука,
Криволапенькая!

Пусто.

Холодно.

Ой, мамочка моя, как же холодно... не плачь, Княгиня, не надо...

Где люди? Где вальс?

Эх, паду-ка на льду,
Сам беду себе найду!..

Крик забивает тебе рот кляпом, и удушье приходит спасением.

* * *

Эх, лешиха моя,
Миляшиха моя...

Села на топчане; с трудом перевела дух.

Сердце плясало... нет, не вальс — бешеную джигу, отдаваясь в мягких висках биением пульса.

— Эй, Сохачиха, дремуха старая! Дай-кася хоть полумерок водки! — взорвался снаружи (во дворе? за забором?!) знакомый баритон.

Лжеполуполковничий; и ты устыдилась своей радости — сон, все сон, греза-бред, и никакого неуязвимого жандарма Джандиери на сотни верст...

Приглушенное топотанье, звякает щеколда оконного ставня.

— Ночь на дворе, бабы-девки! Сгиньте, лупоглазые!

Это теткин бас.

Видать, вино хлебное тайком курит, вот и ходят к ней...

— Дай водки, дремуха! Душа горит! А к завтрему расчет сведем — кукан за стакан, мотыль за бутыль!

И хохот дюжины здоровых глоток.

— Федюньша! Возьми кол, погони неотвязных! Федюньша, слышь?!

Хохот усиливается, но в нем слышны нотки сомнения.

Смеяться? Драться? Уйти? Без водки?!

— Фе-е-едюньша! — утробно передразнивает тетку невидимый заводила. — Пошто страшного своего на честных людей спускаешь, Сохачиха?! Лучше бы ссылочную к народу взашей выпихала! Люди сказывают: тоща, брита, давно не крыта! Давай сюда, мы покроем!

Ты накинула на плечи истрепавшийся платок.

Прикусила губу, морщась от боли.

Боль помогла.

Потому что — обезумела, Рашка?! — едва не подбила итоги жизни-пустышки. А как славно было бы: выйти молча на крыльцо и отдать последнее. Так, чтоб на карачках, изрезав колени коркой наста, поползли бы навстречу, чтоб завыли шелудивыми псами, с ужасом воззрясь на бледную луну; чтоб тени обступили со всех сторон, видясь тем диким, чего боялись кус-крендельчанские гуляки еще в

детстве бесштанном, когда страхи жили под каждой лавкой... чтоб ноги целовали — да что там ноги, следы в снегу от ног босых! — моля простить, и не в силах выхаркнуть слова из сведенных судорогой губ.

Ах, славно!

Но потом — смерть.

Потому что одна.

Потому что давно.

Потому что маг в законе, а Закон неумолим.

Потому что... громыхнуло в сенях, совсем рядом; скрипнула дверь.

— Братцы! Крещеные, лешак выбрел!

— Бей страшно́го!

— В колья!

И тихое, но почему-то слышней воплей, знакомое:

— А-а...

Хруст.

Матерная брань.

Тупые удары.

— Крень! Кренюшка! Братцы, страшной Креня боем зашиб!

— Ах ты!..

— Бегим!

И тут, под топот многих ног, под снежный визг, под удаляющиеся вопли и лай собак ты заснула — слаще, чем под материнскую колыбельную.

Чтобы проснуться, как тебе показалось, через мгновение.

Тишина.

Беззвучие; лишь брешет одинокая пустолайка где-то на самой окраине да дядька-мороз, безрукий резчик, похрустывает на окнах новым узором.

Ужасно хотелось на двор, по нужде.

С сожалением покинув нагретое кубло, в которое превратился топчан, щедро застеленный всяким лопотьем, ты вышла в сени. Оправила армяк на плечах; закуталась поплотней. Из горенки доносился храп — это Сохачиха. Выводит переливы, подсвистывает носом, прихрюкивает тоном ниже — вальс мсье Огюста Бернулли, раз-два-три, по-

тому что скрипки... и гобой... и шелест, шуршание шелка — чш-ш-ш, не мешайте...

Парень спал молча, если и вовсе не убрел куда-то восвояси, в темень и холод.

С такого станется.

Дверь, крыльцо; ледяные перила обжигают ладонь мимолетной лаской — шаркают бродни, холод норовит забраться под овчину, и с неба, разогнав жирное стадо туч, с любопытством смотрят крупные, едва ли не южные звезды.

А вот и нужник.

Деревянный гроб, поставленный стоймя неведомым шутником.

И бубновый туз прорезан в дверце.

Давай, Дама Бубен, не стесняйся — дескать, все свои, родные...

Подобрав полы армяка и скорчившись над отхожим местом, тебе еще раз захотелось умереть. Чувство это было привычным — нет, оно стало привычным за последние годы, и столь же привычным стало умение загонять подлые мысли куда подальше... да хоть и туда, вниз, в вонючую дыру, где таким мыслям самое место. Опростаться — вот слово, более всего подходящее для названия процесса избавления от желания самоубийства; да и для всего остального слово сие подходит не хуже.

Наружу.

Скорей наружу.

Под небо.

Рискуя обморозиться, ты стояла перед звездным судом присяжных, не желая сразу возвращаться в каморку, где царил запах плесени и застарелого дыма. Стояла, дышала полной грудью, впервые за... ах, давно, очень давно, и опять не скоро сложится!

Что стонешь, Рашка? Зачем, Княгиня?! Неужели это стонешь не ты?!

Забор — обветшавший, с облупившейся краской.

Ворота.

Заперты на засов.

Стонут там, за воротами.

Выйти ты осмелилась не сразу, хотя холод мигом удрал прочь. Звякнул засов, скрипнули петли. Прямо у ворот, в двух шагах от носков твоих стоптанных бродней, лежал труп. В волчьем полушубке, в щегольских, смазанных дегтем, сапогах. Шапка откатилась в сторону, зарылась в снег.

Вместо левой половины лица у трупа была кровяная короста. С синей раковиной на месте бывшего глаза.

— Ф-фе... — сказал труп, страшно дергая вспухшими губами.

Сразу вспомнилось: Ленка Ферт тоже любила так — оттопырит губку и, не глядя в сторону кавалера, допустившего оплошность: «Ф-фе...»

Кавалеры аж вьюном скручивались.

— Ф-федька... с-сила неприятная...

Ты молчала.

— За што? — неожиданно ясно и громко спросил труп у тебя. — За што?!

Ты пожала плечами.

Повернулась и пошла в дом, не забыв запереть за собой ворота.

ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ

Если внимательно заглянуть избитому человеку в оставшийся целым глаз, то можно увидеть:

...полынья.

Опасно изломана по краям ледяная корка. Черная, густая вода больше похожа на смолу; сверху клубится легкий парок, сизой бородой завиваясь в сторону. Со стороны берега доносятся крики: слабо, еле слышно. В полынье неожиданно булькает, и крупный пузырь всплывает на поверхность — чтобы почти сразу лопнуть.

Круги, словно от брошенного камня, лениво ползут во все стороны.

Крики смолкают.

* * *

Когда утром Рашель вновь вышла на улицу, там никого не было.

V. ДРУЦ-ЛОШАДНИК, или ДОРОГА НА БОЛЬШИЕ БАРСУКИ

> Я же червь, а не человек, поношение у людей и презрение в народе. Все, видящие меня, ругаются надо мною...
>
> *Псалтирь, псалом 21*

Этап из последних сил брел по пыльной дороге. Этап? Да нет, какой этап, сейчас каторжан гнали уже на лесоповал — вот только одно странно: откуда такая усталость? К работе ведь еще не приступали... Ты из последних сил сдерживался, давил в зародыше вздымающиеся из самого нутра волны кипятка: ах, как славно было бы одним движением сбросить опостылевшие кандалы! размазать о ближайшую сосну конвоира-сопляка, в двадцатый раз пинающего тебя сапогом развлечения ради! — и рвануть когти. В лес. Сил бы и сейчас достало: и на оковы, и на размазать. И даже на рвануть. И может быть, потом прожить целый день. От силы — два. Хотя два — это вряд ли... Ты знал, ты помнил, скрипел оставшимися зубами — и все равно не выдержал. Ощутил себя другим. Прежним? Каким хотел сам себе казаться? Просто молодым и глупым — как двадцать лет назад?..

И не стал сдерживать очередную волну.

Позволил выплеснуться наружу, ошпарить вкрутую, на мгновение вскружить голову упоительным хмелем свободы и вседозволенности.

Глухо брякают кандалы, гнилыми ошметками сваливаясь с ног, отчаянно хрипит конвоир, вокруг шеи которого захлестнулся ремень его собственной винтовки... А ты уже бежишь, бежишь прочь, и другие конвойные не успевают, не успевают, потому что каторжане, старательно изображая из себя стадо баранов, тупо сгрудились у них на дороге — а спасительный лес совсем рядом, он готов принять тебя...

Земля больно бьет в лицо.

Встать, скорее! Ты ведь просто споткнулся!

Но себя не обманешь. Ничего не случается «просто»!

— Встать!..

— ...Вставай, паря!

— Эй, ты, как бишь тебя... Друц! Ссылочный! Вставай, мажье семя, — тут по твою душу!..

Низкий закопченный потолок. Его заслоняет рябая рожа Филата, склоняется, дыша перегаром.

— Очманел после вчерашнего? — лыбится рожа. — Вставай, вставай! Тебя купчина наш, Ермолай Прокофьич, спрашивают... свинья его заешь, кровопивца!

Последнюю фразу Филат произносит свистящим шепотом, не забыв предварительно оглянуться — словно тайной великой делится.

Сон.

Всего лишь сон!

Но до чего похож на правду...

* * *

Тело, как обычно с утра, не хотело подчиняться. Хрустела и ныла многострадальная спина, из рук словно умелый кат жилы тянул, суставы отзывались на каждое движение резкой дергающей болью. Да еще и голова изрядно гудела с бодуна. Отвык ты от хмельного, Валет Пиковый, ай отвык, морэ...

И привыкнуть заново вряд ли успеешь.

Кое-как, стиснув зубы, тщетно пытаясь не стонать, доковылял до сеней. Ткнул ноги в бродни; буквально вывалился за порог, притворив за собой дверь, чтобы не студить избу. Первым делом сунул бритую «пополам» голову в ближайший сугроб едва ли не целиком, по самую шею, благо снег оказался мягким, рассыпчатым — видать, за ночь навалило.

Подождав немного, пока в мозгу прояснится, а уши начнет щипать жгучий морозец, распрямился, отер ладонью лицо.

И только теперь взглянул на гостя, с интересом наблюдавшего за тобой.

Гость сидел на краю широких саней-розвальней, запряженных парой гнедых низкорослых меринов (таких ромы-лошадники в насмешку дразнили «тыгдынцами»). Одет же был знатно: в длинную, едва ли не до пят, меховую доху, шапку из росомахи-летницы и новые, еще не стоптанные, валенки.

Валенки — это правильно! Неча купцу по морозу в сапогах щеголять, даже если мошна хром-шевро дозволяет. А унты — они для охотников удобнее...

Кто бы тебе пару валенок подарил?..

Сам же купец был сухощав, моложав и отнюдь не походил на традиционного «купчину-кровопивца». Вдобавок прищур у Ермолая Прокофьича оказался цепкий, внимательный — но, как ни странно, вполне доброжелательный.

Охотничий глаз, не купеческий.

Ну и воровской, чего греха таить.

— Ты, што ль, шиш лесной, ссылочный будешь?

— Я.

Получилось не «я», а скорей «кха-а», но Ермолай Прокофьич поняли.

— Вчера в Больших Барсуках был, с урядником видался, — немедля перешел купец к делу. — Ихняя строгость там еще денька два гостить обещался. Велел вам обоим к нему явиться: прибытие отметить и довольствие денежное получить. Ежели поторопитесь — подвезу. Обоих.

В купцову бескорыстность верилось слабо.

— А тебе-то с того какой прок — ссыльных к уряднику подвозить?

— Соображаешь! — Купец ухмыльнулся в щегольскую, аккуратно завитую кудряшками бородку. — Филат-бездельник мне денег три рубля с полтиной задолжал. А вам содержание от державы положено. Филату за постой причитается? Причитается! Да и тебе с рублей государственных много ли толку, в нашей-то глухомани?! Вот с тех денег и отдаст Филат должок-то... А иначе дождешься от него, шиш лесной! В избе, окромя детей да мышей, считай, отродясь ничего не водилось... Ну так ты едешь?

— Еду.

— Тогда давай собирайся — да поживей. А я пока к Сохачихе за твоей бабой заеду.

* * *

Лошадки шли ходко, и ты, несмотря на все насмешки над мохноногими «тыгдынцами», оценил их выносливость и неприхотливость, как нельзя лучше подходившие для этого богом забытого, сурового края.

Правил самолично Ермолай Прокофьич. А вы с Княгиней, как баре, развалились позади, сдвинув в сторону купеческие тюки (видать, с мануфактурой) и накинув на ноги припасенную купцом волчью полость.

Век бы ехал: сани легко скользят по лесной дороге, вокруг нетронутая, первозданная тишина — только мерное звяканье колокольцев да приглушенный стук копыт по укатанному снегу; по сторонам, не слишком торопясь, убегают назад придавленные снежными шапками темные ели. Есть некое очарование в унылом зимнем однообразии замершей природы, неспешной езде...

Но век — не получалось.

И даже до деревни, тоже крещенной не по-людски — Большие Барсуки, — тоже не получалось.

— До места я вас не довезу, — предупредил купец еще там, в Кус-Кренделе. — Мне сегодня в Зиморачье поспеть надобно. До развилки дотрюхаем — а это уже, шиш лесной, считай, полдороги. Там я вам тропочку укажу: выйдете по ней на заимку, передохнете, ежели захотите, чайку попьете; а дальше до Больших Барсуков, куда там тропа — дорога! Не заблудитесь. Возвращаться станете, на той же заимке ночуйте, а поутру путь вам опять к развилке — я назад катить стану, подберу. Считай, часа через три, как посветлеет, проезжать буду. Только в жданки мне играть недосуг: не поспеете — на своих двоих до Кус-Кренделя топать придется!

— И на том спасибо, купец, — криво усмехнулась Княгиня.

Как рублем подарила.

Фальшивым.

Ты ведь уже успел шепнуть ей, с чего это вдруг купец в благодетели записался. Про три с полтиной рублика долга. Впрочем, мог ведь и вовсе не подвозить. Сами дойдут. Никуда их деньжата и так не денутся; а денутся — тоже не велика беда. Видать, что-то еще Ермолай Прокофьичу от ссыльных нужно, не только Филатов гиблый трояк. Ладно, время придет — сам скажет...

— Что, купец, так вот по лесам один и разъезжаешь? — поинтересовалась Княгиня, нарушая монотонное однообразие езды и выдергивая тебя из полудремы.

— Ежели товару чуть, как сейчас, то один и езжу, — наполовину обернувшись, благодушно подтвердил Ермолай Прокофьич. — Чего зазря людей гонять, коли и сам управляюсь? Вот ежели сурьезный груз случается — тады другой разговор...

— Ну так посылал бы приказчика. Чего ж сам-то? — Тебе тоже стало интересно.

— Когда все, считай, сговорено, можно и приказчика, — согласился-возразил купец. — А когда еще сам наперед не знаешь, в чем твой барыш будет, вот опять же как сейчас, — тогда уж лучше самолично!

Тебе показалось: в ответе прятался какой-то намек.

Какой?

На что?

«А когда еще сам наперед не знаешь, в чем твой барыш будет, вот опять же как сейчас...»

— И не страшно, самому-то? Не ровен час, лихие людишки...

Ермолай Прокофьич хохотал со знанием дела: громко и искренне.

Отсмеявшись, обернулся к ссыльным:

— Это у вас, шиш лесной, в городах-столицах — не ровен час! А у меня родня-кумовья, почитай, в каждой берлоге лапу сосет... Ермолай Прокофьича, шиш лесной, на сто верст кругом всяк знает! Да и пристав с урядником в гости наведываются, рябиновки отведать... — Он многозначительно подмигнул. — Случись со мной што — куда тем «лихим людишкам» деваться — в трясину? на елку?! под лед?! Не бывает у нас такого. Скорей уж по пьянке пришибут, чем вот так, в лесу, на дороге... Да и ружье у меня имеется: саксонской работы, осечек не дает! — И купец продемонстрировал ссыльным действительно весьма приличную двустволку-«вертикалку» с вороненными стволами и серебряной насечкой. — Так што не страшно, господа ссылочные, не страшно! И вашего брата беглого я не боюсь: только дурак тут озоровать станет, сами понимать должны, не хлюсты сопливые... А вот и развилка. Тпр-р-ру! — Ермолай Прокофьич натянул вожжи, и «тыгдынцы» послушно встали. — Вон, глядите: тропочка, што я сказывал. За

час до заимки доберетесь. А оттуда до Больших Барсуков по дороге — почитай, часа три. Дорога одна, не ошибетесь. Речку по льду перейдете. В селе поповский дом ищите, он близ церковки — издалека видно. Урядник у батюшки гостит. Ну, бывайте! Заутра сюда же выходите — подберу.

Купец залихватски хлестнул меринов вожжами. Звякнули бубенцы, и вот уже — нет упряжки, только облачко снежной пыли искрится в морозном воздухе, медленно оседает на колею.

— Ну, пошли, Княгиня?

Женщина не ответила; просто первой двинулась вперед по едва заметной тропке, проваливаясь в снег по колено.

Ты в два шага догнал ее, так же молча отстранил; пошел впереди.

Возражать Княгиня не стала.

* * *

До заимки добирались хоть и больше обещанного купцом часа, но вышли много раньше полудня. Женщина дважды останавливалась, синела лицом, гоня из глотки паклю удушья; тяжело, с надрывом, кашляла, потом еще минут пять стояла привалившись к ближайшему дереву — копила силы. Однако любые попытки помочь Княгиня решительно отвергала, так что в конце концов ты сдался и лишь время от времени останавливался, поджидая отставшую спутницу.

В просевшей от старости избушке обнаружился изрядный запас сухарей (мыши! куда вы смотрите?!), полотняный мешочек с чаем, спички, соль, стайка жестяных кружек вокруг атамана — закопченного котелка; да еще давно не точенный топор. Топор оказался как нельзя кстати: вскоре в раздолбанной каменке весело заплясало рыжее пламя.

Озябшие руки сами собой потянулись к огню, а снег в котелке быстро стал водой, готовясь стать кипятком.

Чай — крепкий, горчащий, пересыпанный местными травами — пили долго, со вкусом. Княгиня раскраснелась,

вроде бы даже малость повеселела, и грудная жаба-царевна смилостивилась над ней, не мучала больше.

Пока, во всяком случае.

Оставлять теплое место у печки и снова плестись куда-то по морозу хотелось меньше всего. Однако пришлось. Такая уж она, доля ссыльного: вроде и на воле, вроде и срок оттрубил — ан нет, топай через лес за семь верст киселя хлебать! Потому как не отметишься вовремя у урядника — загремишь обратно на каторгу за неповиновение и нарушение «Предписаний, до ссыльно-поселенцев относящихся...»; если попытку побега шить не станут.

Купец не соврал: почти у самой заимки начиналась широкая просека. Идти по ней было легче, чем по тропе; согретые чаем да каменкой, вы прибавили ходу. Когда лес наконец поредел, расступился и вы вышли на берег замерзшей реки, смеркаться еще и не думало.

— Как мыслишь, Княгиня, по светлому до сей заимки обернемся?

— Не знаю, Друц. Если будем здесь стоять да прикидывать — заночуем в сугробе. Пошли.

Морозы в последние дни держались исправно — значит, шли без опаски ухнуть под лед. Благодаря толстому слою снега бродни не скользили, так что до другого берега добрались быстро.

Вот и село.

Большие Барсуки действительно оказались куда поболе того же Кус-Кренделя, и люди здесь жили побогаче. Тем не менее поповский домишко был заметен издалека, и не только по причине близости к церковке: высоченной хороминой и здесь, окромя батюшки, никто не мог похвастаться. То есть позволить себе могли бы, есть на белом свете и Ермолай Прокофьичи, и всяко-разно! Однако народишко предпочитал достраиваться вширь, а не вверх. Один поп, видать, захотел быть поближе к Господу; с чердака войти в царствие небесное!

Ну что ж, батюшка — он из духовного сословия, ему положено...

— Не люблю попов, — на ходу процедила сквозь зубы Княгиня.

— А кто ж из наших их брата любит? — Ухмылка разодрала твои промерзшие губы. — Что, небось и к уряднику тоже на шею не кинешься?!

Она остановилась.

Обернулась.

— А ведь прав ты, Бритый, — бросила вполголоса, назвав по кличке, что делала редко. — Злобы во мне накопилось. Я и раньше была — не подарок, а после каторги... Того и гляди — ядом плеваться начну! — Помолчала. — Да сама, аспид глупый, от того яда и подохну, — добавила чуть слышно.

Ты ничего не сказал.

Дверь открыл парнишка лет четырнадцати, в чистой белой рубахе и портках черного сукна.

Прямые волосы разделял аккуратный пробор; ровно посередине.

— День добрый! Господин урядник у вас гостит? — упредив вопросы, поздоровалась-спросила Княгиня.

— Истинная правда, у нас. С батюшкой моим обедать изволят. А вы кто будете?

— Скажи господину уряднику: ссыльные, которым он велел явиться, пришли. Отмечаться.

Еще некоторое время пришлось разглядывать захлопнувшуюся перед носом дверь, переминаясь с ноги на ногу и прихлопывая в ладоши — морозец давал себя знать. Зима уж на исходе, вот и лютует напоследок.

— Заходите. Господин урядник вас примет. Вот только веничком снег с обувки обтрусите...

Надо же: господин урядник вас примет! Ровно товарищ министра или глава Е. И. В. Собственной канцелярии! Чем мельче бугор, тем больше гонору, дело известное. Ну и пусть выкобенивается — его право, не наше.

— Желаем здравствовать, ваше благолепие! Желаем здравствовать, ваша строгость!

Как заведено, первым поздоровались с лицом духовным. Да будь у попа в гостях хоть обер-полицмейстер или полный генерал — все равно с батюшкой первым здороваться, уважение выказывать. Вот ведь устроились, жеребячья порода! Впрочем, любому добропорядочному обывателю на это плевать. Это им, ссыльным, волей-неволей все до буквы соблюдать приходится, чтобы забот не огрести.

Да, и на божницу перекреститься, это правильно!

— А-а, явились! — от стола обернулся к вошедшим урядник; и лихо подкрутил обвисший было прокуренный ус. Было видно: ихняя строгость зело пьян — но не до беспамятства покамест, говорить сможет.

Восседавший во главе стола дородный батюшка выглядел куда трезвее — как-никак, в единоборстве с «зеленым змием» отец духовный привык выходить победителем. Рубаха на груди расстегнута, и из-под окладистой, как и положено всякому уважающему себя попу, бородищи поблескивал изрядных размеров наперсный крест. А вот кудри поповские были щегольски собраны на затылке в новомодный «жгут».

«Впрочем, — подумалось невпопад, — это когда в острог сажали, такое в диковинку было; а сейчас даже до этой глухомани докатилось...»

— Заходите, рабы Божьи, заходите, просим к столу, — прогудел батюшка, не побрезговал. — Вы ж теперь аки дети малые, безгрешные — почитай, заново на свет народились. Твоя строгость, вонми гласу моления моего: за такое и выпить не грех, за жизнь новую!

— Знаю я таких, козлищ безгрешных, — проворчал урядник, однако проворчал не зло, скорее для порядку. — Эй, Егорша! — обратился он к застывшему в дверях поповичу. — Принеси-ка мою планшетку с бумагами: прибытие отметить надо.

— Во здравие и отметим! — хохотнул поп, наливая водку еще в два чайных стакана, немедленно извлеченных... прямо из воздусей, что ли?

Силен, батя...

Водка была прозрачней младенческой слезы. Небось

казенного завода, красноголовая, матушка, не Филатова сивуха!

Двое скинули котомки и армяки в угол; подсели к столу.

— Ну што ж, дети мои: во искупление да за жизнь новую, правильную! Аминь! — провозгласил батюшка и лихо опрокинул стакан, как показалось, прямо в глотку.

Водка действительно оказалась хороша. Сразу заметно потеплело.

— Закусывайте, господа раскаявшиеся, — подначил урядник. — Дармовой харч брюха не пучит...

Закусить и впрямь было чем: соленые груздочки, черная колбаса кольцами, моченая брусника, налимья печенка, поджаристый, еще горячий, подовой хлеб...

— Премного благодарствуем! — Даже Княгиня, похоже, чуть смягчилась в своей нелюбви к «жеребячьей породе».

— Реку в строгости: што, не станете более богопротивным промыслом колдовским заниматься? — осведомился хозяин дома, смачно хрустя горстью квашеной капусты.

В бороду падали капли рассола и клюквенная кровь.

— Раскаялись, батюшка, — поднял ты на попа свои честные глаза. — Полны желания загладить.

— Ну-ну, — хмыкнул урядник, листая бумаги, извлеченные из принесенного Егоршей планшета. — Та-а-ак... значит, Друц-Вишневский Дуфуня и... Альтшму... Альшту...

— Альтшуллер. Альтшуллер Рашель, господин урядник.

— Эк тебя! Это вы, значит?

— Так точно, ваша строгость, мы и есть.

Урядник нашарил в планшетке, доставленной поповичем, чернильный карандаш, старательно послюнявил его и, сосредоточенно сопя, что-то пометил в своих бумагах.

— Вот, эта... содержание вам от казны положено. По... да, точно: по семи рублев двадцати копеек на брата.

— А на сестру? — хохотнул поп.

Нет, он все-таки был более пьян, чем показалось вначале.

— Извольте расписаться. Тут и в углу.

В ведомости стояла сумма едва ли не вдвое большая названной урядником. Но ни ты, ни Княгиня спорить не

стали: подписали молча. Правды все равно не добьешься, а вдруг добьешься — врага наживешь. Стоит ли связываться из-за жалких семи целковых?

Урядник это лучше вас понимает.

Ему семью кормить, а вы — голь перекатная, и так не сдохнете.

— А вот и денежки! Получите сполна. И смотрите мне: за старое возьметесь — сгною!

— Да ладно тебе, Кондратыч! — прогудел поп, вновь с дивной ловкостью наполняя стаканы. — Не видишь, што ль: отвратились оне от диавола, встав на путь исправления! Пусть же и другие грешники за ними воспоследуют, к вящей славе Господней! За то и причастимся. Аминь!

В голове вновь зашумело, пусть не так сильно, как вчера, и ты понял: если вы тут еще задержитесь, до заимки не поспеете. А ночевать у попа вряд ли оставят. Косой взгляд на Княгиню — и та, все прекрасно поняв, кивнула. Вот только зажевать чуток — и...

— Благодарствуем за угощение, батюшка; и вам также, ваша строгость, за заботу — однако пора и честь знать!

— Ин ладно, дети мои... С Богом! — махнул рукой поп и, мигом забыв о ссыльных, потянулся за колбасой.

— Режим поселения знаете? — бросил вдогонку урядник, когда вы уже стояли в дверях.

— Назубок, ваша строгость!

— Ну, смотрите у меня...

ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ

Если внимательно заглянуть батюшке в его хитрые, слегка пьяные глазки, то можно увидеть:

...облака.

Бегут по небу светлые кудряшки, торопятся. Ветер отщипывает с краешку, спешит наиграться пенным обрывком, пока тот вовсе не истаял от томления. Рыжая верхушка сосны растопырилась поперек дороги, стращает иголками: берегись! Расшибу! Прочь!.. Да кто ей, старой, поверит?

Бегут облака по небу: веселые, безгрешные.

А смотрят-то — с земли.

* * *

Поначалу идти было легко. Разгоряченные водкой, подкрепившиеся, согретые, вы уже не слишком обращали внимание на лютующий мороз. Споро перешли речку, переговариваясь о каких-то пустяках — даже Княгиня оттаяла после поповской трапезы.

Выбрели на знакомую просеку.

И тут все пошло наперекосяк. Княгиню вновь скрутил приступ удушья, пришлось пережидать, пока он пройдет. А когда, наконец, тронулись дальше, нежданно-негаданно навалилась усталость: начало клонить в сон, разом заныла спина, ноги принялись выписывать замысловатые кренделя... Княгиня, похоже, чувствовала себя не лучше, держась из последних сил.

Быстро смеркалось. Просеке, казалось, не будет конца. Лес плыл перед глазами, мелькал черно-белым забором с многочисленными проломами... Сколько вы уже идете? Два часа? Три? Пять? А что, если в сумерках вы промахнулись мимо избушки и теперь бредете в никуда? Чтобы через неделю-месяц случайный охотник отгонял собак от ваших окоченевших, смерзшихся в ледышку тел?!

...Ай, дадывэс день суббота, а пэтайся, ай, да ли, дэвла куркоро!..[1] И хором, вприсядку: ай, дадывэс день суббота!..

— Очнись, Друц! Глаза открой, дерево ходячее! Говорила же: не люблю попов!.. это все от его проклятой водки... Да посмотри ты вперед, дубина! Друц!!!

Ты с усилием разлепил тяжелые, свинцовые веки.

Пригляделся.

Теплый охристый огонек... вон мерцает.

Потянуло дымом, махоркой, запахом жареного мяса.

— Дошли, Друц. Заимка!

— Заимка? А почему огонь горит? — не понял ты.

Голова кружилась, плыла.

— Потому что люди там, — как ребенку, пояснила тебе Княгиня.

---

[1] Ай, этот день, ай, день суббота, а завтра будет воскресенье, боже мой!.. (*ром.*)

VI. РАШКА-КНЯГИНЯ, или БУБНОВЫЙ МАРЬЯЖ

Воздай им по делам их, по злым поступкам их; по делам рук их воздай им; отдай им заслуженное ими...

Псалтирь, псалом 27

...Почему-то сразу вспомнился барак.

Стылая игральная доска, разделенная дощатыми нарами на клетки, согретая теплом многих тел и чахлой каменки; доска, на которой заканчивались недоигранные партии. Более сорока женщин — молодки, старухи, совсем девочки, красавицы, уродины, стервы, мямли, фартовые и случайные... всякие. Таких, как ты, было мало — трое; остальные давили срок за разное. Отравила стрихнином постылого мужа; бросила самодельную бомбу под колеса губернаторского экипажа; застрелила из браунинга троих гимназистов, своих воспитанников, признана вменяемой, но на суде отказалась сообщить причины...

Тебя, как барачную старосту, дважды пытались «взять на перо» и трижды — склонить к сожительству.

И то и другое частично удалось, а вот какова была эта часть — вспоминать не хочется.

Зато выжила.

Выжила; хоть и была замкнута сама в себе до конца каторги. Отсечена от мира, от Ленки-крестницы гербовой печатью приговора, печатью и рядом — витиеватой, с завитушками, подписью епархиального обер-старца при окружном суде: «о. Алексий; сим удостоверяю, ныне, присно и до окончания назначенного срока, аминь».

Забудь, Княгиня.

Забудь, пожалуйста.

Это не барак; это заимка на полпути от Кус-Кренделя к Большим Барсукам, это не каторжанки там, внутри, это лосятники из ближних сел, ночь коротают.

Это охотники в дыму.

Уйми стерву память.

* * *

— А меня, братцы, близ Глухариной падины едва объездчик не нагреб! Я лося сшиб, только свежевать — тут он по мне пулей из ельника как саданет... Мы с ним давно друг дружку любим, то я его в зыбуны заведу да покину, то он меня! А третьего месяца докопался, гадюка, что лишнего лося я взял, обещал донести да шtраф стянуть.

— Эх, Тимошка, зря ты с начальством грызешься! Ин власть, не тебе, сыромясому, чета...

— Помолчь, махоря! Начальство-кончальство... уловлю сам-на-сам близ речки, как крест свят, в пороги с камнем брошу! А что? Мне все едино: объездчик, лесничий! Ежели душа требует, не прощу!

— Хвалился тетеря сову схарчить... Слышь, Вералец, подкинь-ка смолья в каменку, да щепы не жалей!

— Дымно, батя...

— Што дымно, то пусто, а што зябко, то гнусно! Уразумел?

— Уразумел, батя...

Двоих новоприбывших вроде бы и не заметили.

Вроде бы.

Вошли, кивнув обществу, скинули армячишки на замызганный пол, сели ближе к огню. Ин ладно, пущай их сидят. Потеснимся; на нары не лезут, и то славно. С понятием людишки. Даже головы, обритые по-каторжному, вопросов не вызвали.

Пока.

Успеется, ночь длинная.

Пусть спасибо скажут, что собак отозвали, дали порог перешагнуть.

— Дык гляди, Тимошка: пока ты объездчика в пороги с камнем, он тебя из ельника пулей... Замириться бы вам, што ли?

— Ты, махоря, гри, да думай! Мне?! Замириться? С гадюкой сей?!

— Не беленись, Тимофей, худой мир лучше доброй ссоры!

Было видно не вглядываясь, слышно не вслушиваясь: лихой Тимошка из тех, кто лишь на людях горласт. Мелкий, худосочный, лицо клювасто по-петушиному, под левым глазом синяя жилка вовсю бьется. Охотник важно надувался, отчего становился похожим на детскую забавку, красный леденчик на палочке; взвизгивал снегом под лыжей, норовя доказать свой гонор, заставить всех увериться — он, Тимофей-лосятник, грозен да непреклонен, поперек дороги и не думай!

Получалось плохо.

Общество подначивало да хмыкало в рукава.

Наконец Тимошка понял, что его разыгрывают, и обиженно умолк.

— Эй, беглый! — Тот лосятник, что предлагал Тимошке замириться с объездчиком, перевел мутный взгляд на молчаливого Друца. — Што ж ты по февральскому сузему бежать вздумал? Да еще без припасу: ни харчей, ни ружьишка, одну бабу за собой тянешь? Женка али так, баловство?

Ты молча слушала, как Пиковый Валет потягивается, прежде чем ответить, как хрустит у него даже не спина — все тело хрустит, будто у отжившей свое елки-сухостойки.

Сочувствия не было.

Сама такая.

— Не беглый я, дядя. Ссыльный, на поселении. Обоих в Кус-Крендель определили; сейчас вот к уряднику ходили, отметиться...

Женка ты ему, не женка — об этом Друц благоразумно умолчал.

— Шавит, махоря, — уверенно определил с верхних нар Тимошка, не способный долго молчать-обижаться. — По роже варнацкой вижу: шавит и не подавится. Как есть беглый. Братцы, вяжи обоих, за поимку денег дадут!

Предложение Тимошки было встречено общим равнодушием. Да и сам-то он отнюдь не спешил лезть вниз вязать «беглых».

Так сказал, для разговору.

Мутноглазый лосятник (по всему видать, старший в ватаге) покопался в бороде; выдернул волос, прикусил желтыми, лошадиными зубами.

— Спать пора, — рассудил он. — К завтрему рано подыматься. А вы...

Он строго посмотрел на тебя, Княгиня, почему-то именно на тебя, и ты сразу поняла: мутноглазый знает. И по какой статье срок давили, и что вприкуску имели, и кто здесь Дама, а кто — Валет.

Умен оказался; зорок.

Не чета дураку Тимошке.

— А вы вот чего... Ворожить вздумаете — стрелю. Крест святой, стрелю. И в сугробе закопаю; без панихиды. Уразумели?

Ты молча кивнула.

Помнишь, Княгиня? Тебе тогда даже стало интересно: а не начать ли «ворожить»?! Как встарь; без оглядки. И пусть мутноглазый посмотрит: как легче умирать магу в законе, после каторжной отсидки, — от его смешной пули или от своей родной доли?!

Интерес мелькнул и угас.

Сны бродили в дыму, обходя тебя десятой дорогой.

Ты так и спала: без снов.

* * *

Ушли лосятники затемно.

Шумно, деловито; по-быстрому.

Спустя полчаса поднялся и Друц. Долго кряхтел, хрустел телом; матерился полушепотом, вставляя чудные ромские слова. Ты слушала, купаясь в дреме, — да, Рашка, ты слушала, стараясь не позволить себе войти в смысл незнакомой речи. Слишком дорогая покупка вышла бы; проще у самого Валета спросить, проще, да не надобно.

Спи.

Есть еще время.

— Пойду дровишек расстараюсь...

Хлопнула дверь. С обидой взвизгнул снег под тяжелыми шагами; минута — и шаги затихли в отдалении. Ты знала: такое с Друцем бывает. Найдет предлог, утащится куда-нибудь и станет в небо смотреть. В темное, светлое, затянутое тучами или подмигивающее желтым глазом со-

лица... Ему небо нужно, Дуфуне Друц-Вишневскому. Хоть иногда. Позарез. Такая ему планида по жизни вышла...

Ты знала, потому что сама была такой.

Ну, почти такой.

Спи.

Слышишь — визг снежный, шаги... опять хлопает дверь.

— Давай, дура баба, подвинься!.. Сделаемся по-быстрому...

Чужие, жесткие руки наскоро ощупали. Исчезли. Что, Княгиня, разучилась дергаться впустую? Разучилась. Не пошевелилась даже. Только позволила дреме удрать в угол да ресницами чуток шевельнула. Чтоб видеть. Вон он, Тимошка-охотник, болтун пропащий: тулуп на нары, подпер дверь поленом, губы облизал и опять к тебе.

Сел рядом.

Не торопится, хотя и говорил: по-быстрому, дескать.

— Я, дура баба, ватаге слегонца нашавил: забыл, мол, кисет! Догоню, мол... Ну давай, скидывай, что там у тебя, — не самому ж мне морочиться?! Я — мужик справный, благодарить потом будешь... Давай, давай, вижу же, что не спишь!

Стало смешно. Небось первый парень на деревне. Как пройдет с гармошкой, в малиновой рубахе — девки рядами валятся, молодки ночами плачут! И здесь орел: мимо не прошел, вернулся осчастливить старушечку...

— Ты што, прикидываться вздумала? Аль ворожишь? Так ты это дело брось, вашему брату-ссылочному, из мажьего семени, тихо жить надобно! Иначе аминь и концы в воду! Ну давай, не тяни!

Рука сунулась под одежку, в тепло; нащупала, сдавила грудь.

Отпустила.

— Гляди-ка: титька совсем девчачья! Молодцом!

А может, и впрямь дать дураку? Он ведь так и просидит, дожидаючись, чтоб сама... Силой брать не приучен, что ли? Выходит, что не приучен. Не доводилось силой. Когда у тебя в последний раз стоящий мужик был, Княгиня? Что, и не вспомнить? Или просто вспоминать не хочется? Сама ведь была — то мужиком, то бабой, то сразу всеми...

А здесь парень первый сорт, не снимая лыж, лосиху облюбит!

То, что поначалу было смешно, стало противно. До горькой слюны; до холодка в паху.

— Пошел вон, мразь, — сказала ты и отвернулась.

Тишина.

Небось переваривает; небось от изумления аж взопрел.

— Што?! Да я тебя, падина! да я!..

Упал сверху; опрокинул на спину, придавил неожиданно тяжелым телом. Завозился, обрывая крючки.

— Ага! Ага, вона где...

Вспомнилась Марфа Посадница, пугало барачное. Вот так же, во вторую ночь: навалилась сверху, обслюнявила, сдавила горло... Вот так же. И сейчас будет, как тогда, после чего Бубновой Даме под уважительный шепоток товарок «Княгиня!..» выделили наутро место в углу, подальше от дверных щелей с вечными сквозняками.

Скучно.

А может, все-таки...

Нет.

— Ага! Ну, дура ба... ах-х-ха!

Колено попало туда, куда нужно. В самый сок. Задохнулся, Тимошка-гармошка? Скрючился весенней гадюкой? Больно ухарю Тимошке? Потерпи, сейчас еще больнее будет.

Я права?

Права.

Даже ладонь отбила.

— Х-хы!.. Ну... ну... Мужика! По яйцам?! В рожу?! Падина валежная! Ведьма!

Уже встала.

Уже хотела отойти в сторонку: дать отдышаться и проводить добрым словом. Уже... не вышло. Откуда-то накатило: обида, ярость, злоба — все вперемешку.

Обдало лютым, чужим бешенством.

Рухнула сверху, как он сам минуту назад; нащупала костистую глотку, вцепилась без ума.

— Мужик? Ты — мужик?! Я таких, как ты... я...

Слова обжигали рот.

Что кричала, чем плевалась в посиневшее лицо — не помнила.

Очнулась в снегу.

Как вышла? Когда? Зачем повалилась в сугроб, плача навзрыд и не стесняясь собственной слабости? Кто знает?!

Ты знаешь, глупая Рашка?

Нет, ты не знаешь.

ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ

Если взять его за уши, охотника Тимоху Драчева, если, не отпуская, заглянуть на самое донышко его чухонских, припухших глаз, то можно увидеть:

...река.

Сбегают кручи на отмель, словно девки голышом к воде несутся. Ишь, бесстыжие! Курчавятся стыдно порослью багульника! Розовеют боками в закатных лучах! В подмышках-впадинах трава пучками! Замуж пора!.. А вон и девки. Настоящие, взаправдашние; купаются. Брызги — радугой. Визг — до неба.

Вот оно, счастье: туда бы...

С разбегу.

* * *

За спиной передернули затвор.

«Спасибо», — едва не сказала ты.

VII. ДРУЦ-ЛОШАДНИК, или РУПЬ С ПОЛТИНОЙ

Враги мои, преследующие меня несправедливо, усилились; чего я не отнимал, то должен отдать.

Псалтирь, псалом 68

— ...Не советовал бы.

Охотник дернулся, как от затрещины. Резко обернулся. Ты знал, что он сейчас видит, как если бы смотрел на себя самого глупыми Тимошкиными глазками.

Щетинистая морда; голова обрита «пополамчиком», лишь недавно начала обрастать по-людски. Стоит, верзила окаянный, скалится от уха до уха... На плече топор, у ног охапка дровишек. Ладони с добрую лопату, загребай-кидай! Вчерась, в дыму, и не приметилось как-то, а сейчас — само в глаза бросилось. Приложит от души — топор без надобности! Варнак ведь, мажье семя!..

Как и подкрался-то?!

— А ежели да вдруг? — Охотничек еще пытался хорохориться, давить гнилой форс. — А, махоря?!

— Не надо. В бердане у тебя один патрон. Одного из нас завалишь — второй тебя закопает. Да и ружьецо-то твое... осечка на осечке. Поверишь? проверишь?

Расстояние между тобой и блудливым охотником исчезло сразу, рывком. Лишний здесь топор упал в снег. А вслед за ним и дурак Тимошка, ухваченный разом за шиворот и за штаны, отправился головой вперед в ближайший сугроб.

Вместе со своим задрипанным берданом.

— Эх, Княгиня, нам ли жить в печали? — Ты постарался не заметить синей бледности на лице женщины; и не попытка насилия была тому виной. — Пошли чаи гонять? Наспех только кошки родятся...

— И я, — задушенно донеслось из сугроба. — И мне — чаю... горяченького...

* * *

Когда котелок уже принялся вовсю фырчать, снаружи затарабанили в дверь.

Полено, предусмотрительно установленное по новой взамен отсутствующей щеколды, вздрогнуло.

— Эй, варначье! Хучь чаю-то налейте! — заблажил Тимошка душевным фальцетом. — А ишо тулуп мой там, у вас! Зима, чай, на дворе, холодно! З-зараза!..

Ты покосился на Княгиню, но та только пожала плечами.

Без разницы, значит.

Ружье возникший в дверях Тимошка держал стволом вниз; сразу же, войдя, демонстративно извлек патрон, а само ружье поставил к печке — сушиться.

Нацедил сиротскую, четвертную кружечку; жадно припал губами.

Дернул кадыком.

Захрипел удавленником, пытаясь совладать с первым глотком.

— Ну вы и заварили! Ажно пляшет, в брюхе-то!..

— Пойди снежком заешь, — беззлобно ухмыльнулась Княгиня.

— Сама заедай! И не такое пивали! — тут же спохватился охотничек.

Некоторое время прихлебывали чай молча. На скуле у Тимошки медленно, оттаивая в тепле после сугроба, наливались багрянцем следы ногтей. Это Княгиня его еще по-доброму: могла ведь и по глазам!

А лоб ободран — это, должно быть, наст ломал, когда в сугроб нырял.

— Ить могла бы и дать, дура баба! — подумав, заявил вдруг лосятник, по-ребячьи кривя губы. — Кому ты такая сдалась, падина?! А я...

— Бог подаст, — был ответ.

Короткий, сухой; тщательно процеженный сквозь зубы.

Для вящего понятия.

Однако было видно: обидное «Кому ты такая сдалась?!» задело женщину за живое, и задело крепко. Одно дело — понимать самой, назубок вызубрить, слепиться навсегда; и совсем другое — от мужика в лицо услыхать, пусть даже от мозгляка вроде Тимошки.

— Ну и жихорь тебя заешь, — как-то вроде бы даже с облегчением согласился лосятник, добавив совсем уж невпопад:

— Баба с возу...

Вот только — невпопад ли? — подумал вдруг ты. Когда мужик от бабы известно чего хочет, а та ему от ворот поворот дает, да еще и морду облупит — какое тут облегчение?! Злость да обида. А мужское естество от той злости, от обиды той только пуще взбрыкивает. Что-то ты, друг Тимофей, на ходу засекаешься... «баба с возу»?! Вроде как от работы постылой избавился.

От работы?

А что? Может быть, и так...

Пришлось внимательнее глянуть на тщедушного охотника.

Вон он: крякает, отдувается, сопит, булькает своим чаем и выглядит вполне довольным, несмотря на исцарапанную харю, отбитый хрен и случившийся с ним конфуз.

Красавец.

И дураку ясно: наводка была. На вас с Княгиней. Или на одну Княгиню. Кому-то захотелось на вшивость проверить. Впрямь ли Козыри, впрямь ли в законе — или так, мелочь шпановая, шестерки на подхвате.

Или не так. Не сломала ли каторга? Не сгорели ли?

Ты как бы невзначай скосил взгляд на Княгиню — и обнаружил: Рашка-умница уже давно исподтишка наблюдает за ухарем-насильником и в карих глазах Дамы Бубен нет недавней тоски, злобы и безразличия.

Цепкий взгляд, оценивающий.

Взгляд мага в законе.

— Дык эта... — Долго сидеть молча Тимошка не мог. — По всему выходит, ты меня волшбой взяла! Иначе не сладить бы!..

Княгиня фыркнула. Улыбнулась загадочно, и тебе на миг почудилось: на месте немолодой женщины сидит облизывающаяся кошка. Финт?! Быть не может! На такие шутки Княгиня и без финтов способна.

— Не велика ты птица-щегол, охотничек, — волшбой тебя с бабы сдирать. Да и в завязке мы оба. Честные ссыльные; там, глядишь, крестьянами заделаемся... Батюшка из Больших Барсуков что сказывал? Отвратились от диавола, встав на путь исправления! Уразумел, дурашка? Так справилась. Естеством. — И она снова улыбнулась.

Эй, Друц-приятель, видишь?! Что-то просыпается у нее внутри, рвется к поверхности, ища выхода. Вот-вот станет прежней Княгиней — встречались вы с ней когда-то, еще на воле...

Удушье.

Кашель. Хриплый, надсадный.

Женщину сгибает пополам.

Нет, не станет.

— Ну что, Друц, пошли? На стрелку бы не опоздать, — выдавила Княгиня, отдышавшись; и первой решительно поднялась на ноги.

— Дык и я с вами! Провожу, — подхватился Тимошка.

— А как же ватага твоя, морэ? — полюбопытствовал ты.

— А-а! — беззаботный взмах рукой. — Догоню! Я на ногу легок...

— Ну, смотри...

Да, кто-то дурака надоумил.

Кто? Зачем?

Можно, конечно, прижать ветошника как следует, вытряхнуть — и кто, и зачем. Прямо сейчас вытряхнуть.

Можно.

Нужно ли?

* * *

Долго ждать не пришлось. Вскоре из-за поворота послышался приближающийся топот копыт, перезвон бубенцов — и знакомые розвальни, влекомые парой «тыгдынцев», встали, как упали, в шаге от ссыльных, оставшихся невозмутимо стоять на месте.

Обдали обоих снежной пылью.

Странно: а вот лосятник заерзал, отскочил назад, но сразу, устыдившись, сунулся обратно — и едва не угодил-таки под копыта меринов.

— Поздорову бывать, Ермолай Прокофьич! — заторопился он поздороваться первым. Потянулся шапку сдернуть, скосил глаз на ссыльных; передумал.

А у тебя где-то глубоко внутри, там, откуда раньше вздымались жаркие волны власти и вседозволенности, закопошилось смутное подозрение. Так, ме-е-еленький червячок-дурачок... Эх, Друц-лошадник, и впрямь встал ты на путь исправления — обеими ногами! — червяк вместо волн, подозрение вместо уверенности...

Честным человеком становишься.

— Пошто харя-то подряпана, Тимошка? — вместо ответа на приветствие усмехнулся купец. — С рысью обженился?

— Кабы с рысью, то ладно... — шмыгнул носом Тимошка.

— Ну а вы-то как? Все ль путем? Отметились? Содержание получили?

Ты кивнул:

— Благодарствуем. Отметились, получили. Все путем.

— Ну, садитесь, што ли, шиш лесной? А с тобой, Тимофей, мы, считай, в расчете. За патронами опосля зайдешь...

Уже на полъездах к Кус-Кренделю сидевший впереди купец обернулся:

— Надо бы вам работенку какую сыскать, што ли? А то зачнете, значит, со скуки по новой дурью маяться... да и приварок не повредит — здоровьишко поправить.

— Ну и какую ж ты нам работенку сыщешь, благодетель? — промурлыкала Княгиня, обжигая дыханием овчину ворота. — От лишних податей тебя отмажить?

Долго смеялся купец; вкусно смеялся.

Видать, понравилось нездешнее словцо.

— А поглядим, шиш лесной! Покумекаем — авось и намыслим што путное!

Княгиня выбралась из саней первой, а тебя Ермолай Прокофьич соизволили до самой Филатовой избы довезти (впрочем, все равно ведь по дороге — так и так едем...).

Прежде чем вылезти из саней, ты сунул руку за пазуху.

Извлек выданные урядником деньги.

— Вот. Филатовы три целковых с полтиной. Держи.

Купец подержал деньги в ладони, разглядывая, словно в первый раз видел, — а затем молча протянул тебе обратно рубль с мелочью:

— Оставь себе. Подкормишься опосля каторги.

— А Филат?

— А што — Филат? Считай, не должен он мне больше, шиш лесной! Так ему и передай.

— Что-то больно добрый ты, Ермолай Прокофьич. — Ты поднял на купца испытующий взгляд. — С чего бы это, а?

— Значит, так хочу. Сегодня я хочу, завтра — ты... Глядишь, с того хотения какой-никакой барыш выйдет. Бывает?

— Бывает, — кивнул ты.

— А ты заходь по свободе, заходь к Ермолай Прокофьичу! Махорочки там, харчишек — после каторги разговеться... Заходь. А там, глядишь, и насчет работы чего удумаем.

— Спасибо, Ермолай Прокофьич. Зайду как-нибудь.

Червячок там, внутри, все копошился, понемногу разрастаясь.

Щекотно.

ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ

Если Ермолай Прокофьич соизволят не отвернуться, если удастся заглянуть купцу под его косматые брови, то можно мельком увидеть:

...ночь на переломе лета.

У черной заводи нагие фигуры замерли: пускают венки по воде, провожают взглядами. Венки? Пустяки. Дальше кострище искрами до небес пышет, стращает рой звездных пчел. Над огнем тени взапуски носятся: визг, хохот, песни клочьями во все стороны. Тени? Песни? Ерунда. В самой чаще, в лесном подвале алый пламень зажегся. Папоротник-цвет. Мелькает, морочит, в руки не дается.

Папоротник-цвет? Не дается? Дастся, куда денется!

Все клады откроет.

* * *

Помнишь, морэ: джя ко пшал, ко барвало, нэ-нэ-нэ!..

И на два голоса:

На горе стоит избушка,
И в избушке той мороз.
Черепановые горы —
Куда черт меня занес?!
Ай, дэвлалэ, ай, со скердяпэ?![1]

Да, ты еще помнишь.

---

[1] Ай, господи, что мне делать?! (*ром.*)

— Хороший маг — мертвый маг!

Опера «Киммериец ликующий», ария Конана Аквилонского

ПРИКУП

Господин полуполковник с пользой проводили досуг.

В гимнастическом зале маэстро Таханаги было изрядно темно. Сам маэстро, пожилой айн с вечной, словно приклеенной улыбкой, полагал сумрак непременной составляющей для понимания гармонии мира. На стенах, схваченные по краям бамбуковыми рейками, висели наставления с картинками: два-три иероглифа, и рядом — люди в странных одеждах, с ногами, заголенными едва ли не до срама, ломают друг друга.

Лица у нарисованных тушью людей были сварливо-задумчивыми.

Сидя на коленях, господин полуполковник изволили перехватить пухлую ручку маэстро Таханаги. Проводили ее влево и вниз; дождались ответного выпада и перехватили правую. Продолжили. Не прекращая размышлять о главном: о той причине, которая вынуждала князя Джандиери гнить уже который месяц в этом канальском Мордвинске.

Небось весь мордвинский «фарт» затаился по норам, дышат вполглотки! Самый распоследний ширмач, чей дешевый талан: глаза отводить да пальцы удлинять нечувствительно — и тот, халамидник, пьет горькую по кабакам, боясь носа высунуть.

Какова причина, господа, такова и речь, а значит, нечего породистые носы морщить — наш нос, горбатый нос рода Джандиери из Кахети, вдвое породистей!

Маэстро Таханаги, равно как и его столичный коллега, маэстро Сиода, полагали иное. С их улыбчивой точки зрения, за которой пряталась врожденная, звериная жестокость, в гимнастическом зале следовало вовсе не размышлять. В качестве аргументов приводились длинные афоризмы о природе не-ума, коему отдавалось предпочтение

над умом обыденным; а также многочисленные образы луны на воде и ивы под снегом.

Господин полуполковник тоже улыбнулись в усы, на миг сверкнув белоснежным оскалом.

Каждому — свое.

Новомодная борьба с плохо произносимым названием (все эти обезьяньи «тенти-нагэ» и «ваки-гатаме» изрядно раздражали господина полуполковника, но он терпел) стала популярна около трех лет тому назад. Вслед за благородным боксом по правилам маркиза Квинсберри и фехтованием на облегченных манхеймских эспадронах. Благодаря тем же британцам в клетчатых кепи, первым заключившим мир с воинственной империей айнов, — в результате чего одни островитяне избавились от вечной головной боли на другом конце света, в опасной близости от собственных колоний, а другие намертво закрепились на дальневосточном побережье азийского континента. Даже популярные брошюры по боевому искусству айнов переводились сперва на британский, а уж после — на прочие языки.

Вот и приходилось читать нижеследующее:

«Ежели один джентльмен благопристойно стоит у рояля, а другой джентльмен плотного сложения, предположительно матрос или грузчик, намеревается оскорбить первого джентльмена действием, а именно ударом правого кулака в висок, то следует, не теряя спокойного расположения духа...»

Впрочем, при всем этом господин полуполковник отдавали должное айнским маэстро. Более того: одним из первых настояли на введении подобного курса для жандармов Е. И. В. особого корпуса «Варвар». А также на посещении офицерскими чинами тех залов, где практиковали наиболее опытные азийцы. Нечувствительность к эфирному воздействию вкупе с курсом рукопашного боя в училище — дело славное, но лишнее умение никогда не повредит, а жизнь удлиняет.

Кто знает, с чем столкнешься в сей юдоли?

Маэстро Таханаги вновь двинул руку наискось вперед, и пришлось отвлечься. Господин полуполковник давно за-

метили: многие действия маэстро (в столице было то же самое), неотразимые при демонстрации на учениках-соотечественниках, малоэффективны против человека силы и телосложения князя Джандиери. Тростник сгибается, противостоя ветру, но ведь и сила солому ломит. У каждого своя мудрость; у каждого свои взгляды на жизнь.

Преодолев сопротивление и отведя руку маэстро в сторону, господин полуполковник продолжили размышления. Искомый поезд прибывает в Мордвинск послезавтра. Местным жандармам были отданы соответствующие распоряжения: известной личности препятствий не чинить. Дальняя слежка; не более. До получения приказа, который, как прекрасно знали господин полуполковник, так никогда и не будет получен.

Большая игра.

Большие ставки.

Зря все-таки в столице его доклад так и не был принят к рассмотрению. Разумеется, по мнению закоснелых членов Государственного совета, в Е. И. В. особый облавной корпус «Варвар» берут отнюдь не за умение логически мыслить и делать правильные выводы, но... В каждом правиле есть свои исключения.

Зря...

Ладонь с запястьем пронзила короткая, но острая боль.

Прогнувшись, господин полуполковник попытались было оказать сопротивление, но боль только усилилась. Большой палец оказался надежно схваченным и вывернутым наружу, отчего любое движение лишь добавляло неприятных ощущений.

Цепкий, как макака, маленький айн улыбался без чувства превосходства.

— Ваша бдитерьность? — предупредительно спросил маэстро Таханаги, как всегда заменяя «л» на слегка картавую «р». — Ваша бдитерьность видеть? Маро против много!.. Ваша бдитерьность видеть ясно-ясно?

Хватка разжалась, выпуская приручённую боль.

Господин полуполковник кивнули в ответ без малейшей тени обиды. Умея проигрывать, научишься побеждать. Зря все-таки мужи Совета не захотели рассматривать

его доклад. Уж этот улыбчивый, пожилой маэстро рассмотрел бы — и понял.

Наверняка понял бы.

Ломать надо издалека и по мелочам.

По якобы мелочам, которые зачастую стократ важнее обманчиво главного.

— Благодарю вас, маэстро. — Легко поднявшись на ноги, господин полуполковник поклонились навстречу кроличьей улыбке айна. — Весьма признателен за науку. Если будет нужда, обращайтесь.

Служебная визитная карточка, несмотря на официальность, была кофейного цвета, с золотым обрезом.

«Е. И. В. особый облавной корпус «Варвар», — значилось там. — Князь Шалва Теймуразович Джандиери».

И ниже мелким, плохо различимым шрифтом: «полуполковник».

VIII. РАШКА-КНЯГИНЯ, или ШЕПТУХИНЫ ОТВАРЫ

> Возвесели нас за дни, в которые ты поражал нас, за лета, в которые мы видели от тебя бедствие.
>
> *Псалтирь, псалом 89*

Заболела.

Плохо.

Жар; бред. В груди саднит сердце, хочет дышать, а не получается. Нельзя сердцу дышать — захлебнется. Плохо. Чуждо. Родную-грудную жабу впору облобызать в безгубый, слюнявый рот, когда голубушка являет свой лик в редкие минуты просветления. Задыхаешься — а все своепривычное: и удушья кляп, и наждачная терка кашля. Лучше так. Лучше? Не знаешь, не помнишь; не понимаешь. Ничего. Все кружится, подпрыгивает, стучит колесами поезда в ад, трясет на стыках — в ящик собралась, дура?! Нет уж, погоди-ка, помучайся всласть, подергайся дождевым червем, когда лопатой — пополам!..

Слышишь? Издалека, из прошлого, погребальной па-

нихидой, горячим дождем по обнаженным нервам, твоим собственным голосом:

Заплатили
за любовь, за нелюбовь, за каждый выстрел.
Отстрелялись —
от мишеней лишь обрывки по углам.
Это осень.
Облетает наша память, наши мысли,
наши смыслы,
наши листья и другой ненужный хлам...

Заболела.

Плохо.

Ой, как плохо-то...

Куда-то исчезли ноги. Были, да сплыли; в темноту, густо усеянную колючими звездочками. Ноги мои! Ау! Где вы? Молчат. Не отзываются. Ну и ладно; не жалко. Вместо ног — рояль. Кабинетный, черный, лоснится глянцем. Дегтем несет от него, от рояля-то, как от сапог того трупа, что у ворот... Труп? Уберите!!! ...Нет, все же рояль. Приоткрыл крышку, скалится в лицо пастью-утробой. Дышит мертвечиной, дохлыми гаммами — до минор, си-бемоль... Рояль?! Почему? Откуда? Прохладные клавиши упрямо тычутся в пальцы, ластятся бесшерстной, костяной кошкой... хотите мазурку? вальс? ариэтту?! Вот уже звучит в огромном зале, меж свечами в канделябрах:

— Федюньша? — Пассаж булькает триолями. — Глянь, Федюньша: кончается али как?

— А-а... — отзывается слева гулкий, нутряной аккорд.

Рояль хохочет взахлеб и вдруг срывается в истерику. Звуки настырно суются в губы, как раньше клавиши — в пальцы; звуки каплями просачиваются в рот... нельзя! Уберите! Это яд! Это смерть! Из потаенной глубины всплывает врезанное навсегда знание: сейчас за него приходится страшно платить, но — нельзя! Яд!

Ад!

Звуки расплескиваются, горячо текут по подбородку.

— Не хочет, — воркочет издали смутное глиссандо. — Зря к Шептухе ходила, яичек дала, капустки квашеной... Не пьет, порченая...

— А-а...

Слышишь? Издалека, из былого, которого больше не будет никогда, — ропотом умирающего прибоя, в пену об скалы, вдребезги:

...в одну кучу
все заботы, все находки, все потери,
чиркнуть спичкой,
надышаться горьким дымом и уйти.
Все, что было
не по нам, не по душе и не по теме,
не по росту,
не по сердцу и совсем не по пути...

Заболела.

Плохо.

Завтра будет хуже.

А послезавтра — лучше.

Правда?

Нет, Княгиня, ты действительно так думаешь?! Ты действительно...

* * *

Проснулась в поту.

Холодная.

Живая.

В крохотное окошко гурьбой прыгали солнечные зайчики. Весенние; линялые. Бежали через приоткрытую дверь в сени, дальше, в горенку; резвились там на серебре риз, на фольговом золоте кивота... Дышать было трудно, но ноги оказались на месте. И никакого рояля. Сгинул проклятый. Только стучит где-то далеко, подпрыгивает на стыках — слышишь? — от клавиши к клавише, от шпалы к шпале... поезд.

Не в ад, нет.

Ближе...

Да, Княгиня, знаешь, это иногда хуже любой болезни: понимать и быть бессильной что-либо сделать. Это проказа души. Гниешь заживо, и не болит. Потому что вырвалась из жаркой, лихорадочной трясины — не за просто так. Потому что — поезд. Гудит на полустанках. Потому что упрямая Ленка Ферт, подельщица твоя договорная, так и говорила тогда: «Вытащу, мать! Разобьюсь, холера ясна, а вы-

тащу!.. Сыграем еще в четыре руки?» Она говорила, а ты запрещала. Плохо запрещала, видно. Не послушалась Ленка.

Стучит поезд; дым из трубы — кольцами.

Везет.

И Сила теплится в животе робким огоньком.

Греет.

Скрипнула дверь. Сунулась внутрь, в камору... нет, не вдова Сохачиха, сиделка дармовая. И не корявый Федор с его вечным «А-а...». Старушонка сунулась: мелкая, жеваная, в засаленном салопчике под шубейкой. Печеная картошка вместо лица. Одни глазки блестят себе под кустистыми, мужскими бровями; глазкам интересно.

Углядели глазки.

Вон, на колченогой тумбочке: кружка.

Полная, до краев.

— Ишь ты... — треснул участливо старушечий, пустой рот. — Ишь... зряшное дело...

Уцепила кружку сухими, суставчатыми пальчиками.

Присела мышкой к топчанчику:

— Выпей, золотце! Полегчает...

Поднесла участливо; к самим губам.

Помнишь, Рашка? Ты тогда села. С размаху. Знала, что не сможешь, что шевельнуться — и то будто реку вспять; а все-таки села. Взяла кружку из добрых рук. А хотелось взять хрупкое, износившееся запястье нежданной гостьи; взять, как умела раньше.

Ладно, проехали.

Глянула в яркие, любопытные, ну никак не старческие — девчоночьи глазки.

— Отвар? Целебный?!

— Отвар, золотце! На семи травушках, на осьми корешках! Мертвенького подымет!.. Пей, не боись, за Шептухой злого не держится...

— Мертвенького подымет? А живого в гроб уложит?

— Шутишь, золотце? Славненько, коли шутишь, — знать, хворь отпущает...

— Это, бабка, поп отпущает, грехи-то!

А поезд все стучал где-то, все дарил подарки, приближаясь.

Вот и смогла: поболтала кружкой, расплескав тяжелые, душистые капли. Спросила — просто, жестко, словно давнюю знакомую:

— Ты зачем меня отравить вздумала, Шептуха кускрендельская? Что я тебе сделала?

Старуха глаз-то не отвела.

Пожевала запавшими губами.

— Пей, — попросила.

Ты улыбнулась через силу:

— Сама пей. Поможет; от старости.

Вы смотрели друг на друга: неприкаянная Рашель Альтшуллер, маг в законе, ссыльная каторжанка в отставке, — и бабка Шептуха, каких много по деревням-селам, знахарка-платочница, мелочь ведьмачья, по чью рябую душу и урядник, не то что облавной жандарм из «Варваров», явиться постесняется.

Засмеют ведь.

— Жить шибко хочется? — не то спросила, не то самой себе сказала старуха. — Ну не пей, коли желанья нет...

Встала.

Качнулась прочь.

— Погоди. Погоди, говорю!

Задержалась.

— Ты кого обмануть хотела, старая? Меня, фартовую Даму Бубен?! Когда устану, сама к тебе приду, попрошу: дай глотнуть! Ты ж меня вовсе не знаешь! За что?! Что я тебе сделала? За какие вины не любишь?!

Сморщилась в золе печеная картошечка.

Потускнели глазки.

Налились свинцом.

— Отчего ж не любить, золотце? Люблю. Первой бы на могилке твоей убивалась. А коли б довелось и дружка твоего, рома гулящего, на тот свет спровадить — и вовсе б наплакалась всласть. Не зря, значит, небо коптила. Лады, чего уж там... не выпадет боле случая... — Помолчала старая. — Хошь, кончи меня, Шептуху. Тебе это как мне куренку башку свернуть. Прости, не прощай — все едино. Ненавижу вас, мажье семя... Жизнь моя никчемушная от вас — наперекосяк!..

— Садись, — сказала ты.

Шептуха бочком присела на край топчанчика. Не постеснялась; глядела тихо, просто. Во взгляде плескалась... ненависть? Нет, боль. Тоже не старческая — ясная, живая.

— Тебе, золотце, штоб на любовь тесно приворожить, — прошамкал пустой рот, — чего было надобно-то? Там, на воле?

Ты и хотела бы скрыть усмешку, а не вышло.

— Вода. Шампанское. Ничего. Зачем спрашиваешь?

— А затем, золотце, што мне твое «ничего» — цельный год по суземy за корешками ползать. На карачках. Да морщины ранние — вона, всю рожу пометило! Да пальцы заскорузлые. Да горб на спине. А ты смеешься: «Ничего, мол! Шампанеи стакан!» — и хочешь, штоб Шептуха твою породу любила! — Старуха умолкла; перевела дух. — Ай, золотце, и я девкой-дурой была! мамку не слушалась. Мамка умная была, так и баяла: «Сове — свой талан, соколу — свой! Сиди дома, дитятко, не рыпайся, не клади лишнего стыда на буйну голову!» Не поверила я мамке-то! Ажно в самый Мордвинск убегла. Думала: многое не по годам могу — коров глазить, следок вымать, на любовь-дружбу, на вражду-остуду шептать... мне тогда человека спортить — полугодье, не боле!..

Вот теперь ты сдержалась.

Не улыбнулась.

— А ты смейся, смейся, золотце, коли невтерпеж!.. Смейся над старой. Я и сама б посмеялась, да зубов нет, не достать мне нынче до смеха, не дотянуться! И впрямь потеха: молодая Шептуха из стольного Кус-Кренделя по граду Мордвинску вприсядку шастает, вашего брата по тайным хавирам ищет — возьми, матушка-батюшка, в науку! Отслужу! Под скольких легла, прежде чем на самого вывели, — то тебе знать не надобно. Много их было, липучих. Но вывели; не нашавили. Сам махонький такой, а глас — ровно из бочки. Чистый протодьякон. Сказывали: трупарь знатный. Коли надобно мощи поднять да баять принудить — лучшенький. Встала я перед ним, вот как сейчас пред тобой...

Дальше ты уже не слушала. Незачем. Вечная история: деревенская девка из семьи потомственных платочниц бежит в город. Без паспорта, без знакомств; наобум. По хавирам бродит, в науку просится. Перед всяким подол задрать горазда — лишь бы... больше-то платить нечем. А этой, Шептухе кус-крендельской, еще и под конец не повезло: на трупаря вывели. Некроманты — масть глухая, окаянная, их в любой кодле стерегутся... Трупарю ведь по суду — не каторга. Петля да варавское мыло, вот и весь приговор. Вышла, значит, девка, на самого... Выслушала, значит, все положенное.

Под завязку.

Хорошо, хоть метку на память не оставил.

Или оставил-таки? Вон, кружка полна-полнехонька...

— ...и поехала я, золотце, домой. Еду, а сама все думу думаю: отчего ж прогнал? Оттого ль, што не глянулась? Оттого ль, што девичью честь, его добиваючись, не уберегла? Еще какие резоны вздумал, трупарь-то? Мамка даже не ругалась — так, за косу оттаскала... Оттаскала да и расплела. Кто блудную Шептуху замуж возьмет? вот и отмыкалась свой век — вековухой. А ты, золотце, хочешь любви Шептухиной... Я в тебе не тебя травила, я в тебе долю мою загубленную травила! Ладно, будет тары-бары растабаривать! Пошла я помаленьку...

ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ

Если поймать на лету тусклый, старушечий взгляд, если не успеет Шептуха отвернуться, то само углядится:

...камень.

Большой, склизкий. Понизу моховой бородой оброс. Сверху трещина змеится, наискосок; рядом настоящая змея на солнышке греется. Положила треугольную голову камню на макушку, дремлет. Хороший камень, сладко на нем гадюке спать; сладко мокрицам под камнем, в прохладе да сырости, жить-поживать.

Есть от камня польза: какая-никакая, а приятно.

Давно он тут лежит, камень-то.

* * *

Твой возглас застал старуху в сенях.

Остановил.

Хорошо, изба пустая; никого.

— Я тебе завидую, старая. Жизни твоей завидую; ненависти молодой завидую. Не поняла ты ничего, а я и сказать тебе не могу. Права не имею, раз в законе. Одно скажу, не побоюсь: не потому тебя трупарь прогнал, что девичья честь твоя ему занадобилась. Любой бы тебя погнал, хоть видок, хоть фортач, хоть я сама, попадись мне такая девка, вроде тебя...

— Пошто ж? — донеслось из сеней еле слышно. — Пошто так, золотце?! Говори!

— Умела ты много. Заранее. Не вышло бы из тебя крестницы-подельщицы. Скажи спасибо своему трупарю — жизнь он тебе сохранил. Вот ты ее и прожила.

В сенях долго молчали, прежде чем хлопнула внешняя дверь.

И тебе на миг показалось: стоит на крыльце молодая, ядреная девка, мамина дочка. Русая коса заплетена туго, глаза лучатся, бровь соболиная... и ни в какой Мордвинск ей не ехать.

Никогда.

Показалось — и сгинуло.

IX. ДРУЦ-ЛОШАДНИК, или ПОСЛЕДНИЙ ПАРАД НАСТУПАЕТ

> Благословен Господь, который не дал нас в добычу зубам их! Душа наша избавилась, как птица, из сети ловящих; сеть расторгнута, и мы избавились.
>
> *Псалтирь, псалом 123*

...С лентяями-рубщиками, со второго на третий обтесывавшими сучья на поваленных стволах, ты уже замаялся ругаться.

Нет, то есть рубщики, конечно, в лентяях не хаживали. Язык не повернется упрекнуть в лени того, кто по собственной воле впрягся в работу, на которую гоняют подконвойных каторжан, в наказание. Но на торчащие во все стороны сучья им было плевать. А лошадям, понимаешь, из последних сил надрываться, тащить цепляющиеся за что ни попадя стволы к реке, туда, куда через месяц-полтора придут плотогоны-лободыры, чтобы начать сплав!

Лошадей ты жалел. Людей — нет. Этих никто не заставлял, сами впряглись. Однако и ругань, и увещевания (ты ведь не скупился, Друц, щедро одаривая и тем и другим?!) помогали плохо. На упрямого рома смотрели как на придурка, головой скорбного.

— Што? Сучья? Неча нам с тобой, варначья душа, лясы точить! Тут лес валить надоть, а он — сучья!

— Да лошадей ведь загоните, ироды! И так уже по балкам чуть что не замертво валятся! Грязища по брюхо!

— А тебе-то што? Выдюжат...

И хоть кол им на голове теши, лешакам мохнорылым!

Приходилось все время таскать с собой топор и буквально на ходу подравнивать стволы. Толку чуть, а все-таки. Однако другие возчики даже этой малости делать — и то не думали: умучивали своих четвероногих подопечных до полусмерти. Вот ведь дурачье, одно слово — ветошники! Ну не жалко вам лошадей, так о себе подумайте! Падет один из битюгов — сразу все выигранное время на вывозке и потеряете! Да и денег она стоит, лошадь-то.

Нет, не понимают...

Уже у самой груды сваленных на берегу стволов вороной тяжеловоз вдруг споткнулся — и пошел кособоко, чуть вихляясь из стороны в сторону. Но здоровенную сосну до общего штабеля все-таки дотащил, умница.

Встал.

Ты развязал постромки, удерживавшие лесину на волокуше. Битюг грудью подался вперед — и ствол послушно сполз в грязь, рядом со своими собратьями. Приблизясь к тяжело поводившему боками коню, ты похлопал его по мокрой холке. Обождал немного, не отнимая ладони: вот

так подержишь руку на конской спине — и ломоту в суставах на время отпускает. Это ты уже давно приметил. Финты здесь ни при чем. «Естество», как любит говорить Княгиня.

Да и конь славный, хоть и староват уже. Эх, завалить бы его с ромом-подручным, да маленькой стамесочкой в нижних зубах ямочки вынуть, да потом между зубами верхними лишку мяса выбрать по-молодому — на ярмарке, морэ, за восьмилетку сошел бы!..

Ай, сыр мэ джява по деревне, дорэсава балавас...[1]

Передохнув сам и дав успокоиться битюгу, ты занялся осмотром копыт. В хвост, в веру, в тридесять праведников! Подкова на правой задней ноге треснула пополам, и половинка ее уже где-то потерялась, а вторая болталась на одном гвозде, мешая коню при ходьбе.

Силы в руках оставалось еще порядком, достало просто-напросто выдернуть разболтавшийся гвоздь и зашвырнуть куда подале. Вместе с остатками подковы. Руки-ноги кузнецу поотрывать за такую работу! Ну ничего, на заимке подков запас есть, и гвозди сыщутся — подкуем в лучшем виде, будешь как новенький...

Ты ласково потрепал по шее кряжистого битюга — и крикнул долговязому возчику, что как раз подводил к соседнему штабелю свою пегую кобылу:

— Степан! Слышь, Степан?! У меня Уголек расковался! Схожу на заимку — вернусь!..

Неразговорчивый бобыль Степан молча кивнул, и вы с битюгом неторопливо зашлепали к заимке.

Вязкая мартовская грязища, размешенная вдрызг подошвами, подковами и волокушами, вскоре осталась позади; под ногами мягко пружинила влажная прель прошлогодней хвои. Шагалось легко, и дышалось легко, полной грудью. Ты даже позабыл на какое-то время о ноющих суставах и прострелах в спине: лес пах стремительно надвигающейся весной, прозрачной голубизной неба, набухающими почками и молодым бурлением жизни — пока еще подспудным, скрытым, но это ненадолго!

---

[1] Пойду я по деревне, наберу свинины... (*ром.*)

Весна властно брала свое.

Вон и Княгине в последнее время явно полегчало. Как от лихоманки встала, так и ожила. Весенний воздух помог? Урезонил проклятую жабу, что в груди у Рашки кубло свила? Возможно. Но это вряд ли. Уж тебе-то, Друц ты беспутный, хорошо известно, какова эта жаба и чем ее, паскуду, урезонить можно. Считай, что и ничем.

Кроме такой малости, о которой и мечтать-то грешно.

Неужели? Неужели Бубна-крестница все-таки решилась?! Узнала, отыскала... Да нет, ерунда, быть не может! Могло ведь Княгине и просто полегчать, пофартило напоследок...

Могло.

Но ты ведь сам не слишком в это веришь, правда?

Впрочем, в то, другое, верилось куда меньше.

* * *

Над заимкой курился уютный, домашний дымок.

«Княгиня кашеварит», — догадался ты. И вправду, мигом потянуло вкусным запахом доспевшего кулеша на смальце: Княгиня и без всяких финтов ухитрялась готовить нечто особенное из, казалось бы, почти несъедобных продуктов. В животе по-кошачьи заурчало, замяукало. Вывозка по весне — она способствует... Эх, пошамать бы сейчас! Княгиня-то не откажет, пайку от души отвалит; но — нельзя. Потому как западло это: пока другие корячатся, волынить да брюхо набивать. Пусть они тут все и ветошники сиволапые, а един хрен: в общий хомут впряглись...

— Что, Друц, шабашишь?! — весело крикнула Княгиня еще издалека, завидев бредущего к ней Пикового Валета и его прихрамывающую лошадь.

Она даже помолодела, что ли? Волосы отросли, на щеках забрезжил румянец, разгладились морщины, а в глазах нет-нет да и мелькал знакомый шальной блеск. Чудо, да и только! Однако ты лучше многих знал: чудес на свете не бывает. Вернее, бывают — но тщательно подготовленные такими, как вы с Рашкой.

Такими, какими вы были до проклятой каторги.

— Где тут шабашить?! Вот, Уголька ковать веду. Побыстрому.

— Ну, вы прямо сговорились! Получасом раньше Федюньша пришкандыбал: рубщику из Заозерья ногу лесиной привалило — так он вызволять кинулся. Лесину самдруг поднял, мужика и выволокли. Заозерцу хоть бы хны — целехонек! — а Федюньша мало что пупок себе не развязал. Вон, в избе лежит, стонет.

И впрямь, из ближней избы-конторянки доносились некие странные звуки, которые ты поначалу принял за вой ветра в трубе.

— Ничего, оклемается! Его пупок всей деревней развязывать — намаешься... А, Акулька-девка! Соль принесла?

Действительно, рядом с Княгиней, держа в обеих руках полотняный узелок, возникла запыхавшаяся Акулька из многочисленного семейства Луковок.

— Принесла!

— Ну так присядь, отдохни. Сейчас кулеш готов будет...

— Ой, нет, спасибочки, теть Рашелька! Дома заругаются! Мне еще сегодня куделю прясть, мамке со стиркой пособить... Бегти надо.

В лице Княгини что-то едва заметно дрогнуло.

Как струна с пальца сорвалась.

— Ну, тогда сходи в лабаз, возьми солонины кусок да сухарей — домой. Мужички-то не обеднеют, а у вас, я знаю, в избе — шаром покати. Батя, поди, пропивает все? Друц, ну хоть ты б ему вломил, что ли?!

— Ой, спасибочки...

Акулька потупилась, словно ей вдруг стало стыдно за свою родню. Шмыгнула носом и стремглав умчалась прочь, свернув за угол избы, туда, где был устроен лабаз с припасами.

Уголек неожиданно дернулся, шумно фыркнул — и попятился.

Ты успокаивающе потрепал коня по шее и, обернувшись, увидел выбирающегося из конторянки Федюньшу Сохача. Нет, конечно, испуг коня был где-то понятен:

крестный сын вдовы Сохачихи и без того выглядел страшилой чащобным, а сейчас и подавно! Здоровенный парняга, способный в одиночку справиться с тяжелющей лесиной, весь скособочился и шкандыбал нынче даже не по-человечески, ворочая непослушное тело из стороны в сторону.

И все-таки: чтоб его лошади пугались?!

— Куда прешь?! — строго прикрикнула на болящего Княгиня. — Иди ляг, дурила!

— А-а...

— Чего «А-а...»?! Чего «А-а...», я спрашиваю?!

— Водицы б испить, — прохрипел в ответ Федюньша.

И поковылял вслед за Акулькой за угол — там стояла бочка с питьевой водой.

— Эк его... — только и смог выговорить ты.

Уголек снова фыркнул, шарахнулся в сторону, увлекая за собой пустую волокушу, но ты успел удержать битюга за уздечку.

— Тпр-ру! Балуй мне! Вот сейчас подкуем тебя, красавца...

И в этот момент из-за избы ударил, разом заложив уши, отчаянный, истошный визг.

Визжала Акулька.

А глотка у девки была — иерихонская.

Стены рушить.

ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ

Если крепко ухватить за вихры Акульку Луковку, а она не зажмурится от страха смертного, то меж серыми искрами ее глаз можно разглядеть:

...ива.

На берегу, у самой воды. Отчего плакучая? Веселая ива. Весенняя. Склонилась ветвями к плеску-щебету, клейкими листочками вся обвешалась. Одинокий муравей по стволу карабкается. Два щегла в кудрях запутались, друг перед дружкой песнями щеголяют. Треплет ветер желтые косы, расплетает ленты, охальник. Ну и ладно, хоть день, да мой. Пусть.

То не ива — девка; и не девка — ива.

Не подумайте.

* * *

Угол избы-конторянки сам прыгает навстречу, уходит в сторону.

Вот она: визжащая Акулька с вытаращенными от страха глазами. Лежа на спине, судорожно пытается отползти назад, увязая худыми лопатками в мартовской грязи.

Рядом, возле бочки с водой, кривобоко ворочается Федюньша, норовит уцепить лежащий рядом топор-колун. Тело не слушается здоровяка — это тебе знакомо, козырной Валет? Ох как знакомо! — но парень буквально переламывает себя, пальцы вцепляются в топорище...

Выпрямился.

Неужто это девка скорбного чревом Федюньши так испугалась?! Вон и Уголек...

От лабазной ямы боком вывернулась бурая, лохматая туша, зашлась грозным ворчанием. Ах, зараза! А ведь конь чуял, предупреждал!

Медведица!

Небось лишь на днях из берлоги выбралась. Матерая, лютая. Учуяла запасы в лабазе, сунулась харчить — а тут парень с девкой.

Зверина была оголодалой после спячки, со свалявшейся, висевшей космами шерстью — но норов у лесной хозяйки был княжеский (прости, Княгиня!), и перла она «кабаном», на всех четырех, не вставая на задние лапы.

Такие — самые опасные.

Сглазил, ром?! Словно подслушав твои мысли, медведица разом поняла, кого из этих двоих стоит опасаться, и, не обращая внимания на визжащую девку, двинулась на Федюньшу.

Парень не сробел: набычился, неуклюже сунул вперед топором.

Будь сейчас крестный сын вдовы Сохачихи в полной силе (а силушка у оглобли на троих мерена!) — зверине бы не поздоровилось. А так: топор лишь краем скользнул по черепу, рассек лапу — но слабо, неопасно...

Глухой рев, взмах страшной лапы, и парень, охнув, отлетел в одну сторону, а топор — в другую.

Дело было плохо, плохо с самого начала, но теперь —

и вовсе швах. Медведица разъярилась не на шутку; если ее сейчас не остановить — собирать рубщикам клочки по закоулочкам! А как остановишь? Ружья-то нет, и рогатины под рукой нет, и ножа медвежьего, а даже и будь он, ножик...

Знакомая волна робко плеснула внутри. Помедлила, вопрошая; застыла в зените. Ринулась во все стороны звенящими, гитарными переборами, горячим варом шибанула в голову, в забубенную головушку Валета Пикового, Дуфуни Друц-Вишневского; последним хмелем опьянила, повела, и ты понял остро и шало, идя душой в таборной пляске: да, только так!

Никак иначе.

И еще ты понял, что жизнь — хорошая штука.

Была.

В следующий миг волна с ревом исторглась наружу.

* * *

Миг силы, миг власти.

Миг хмельной воли и вседозволенности.

Миг, за которым — смерть.

Моргни — уйдешь.

Но Безносая уличной побирушкой обождет у порога. Время еще есть, времени еще навалом — дожить взахлеб.

Успеется.

— Ай, красавица, зачем плачешь? Зачем добрых людей пугаешь?! Лапку порезали, да? Болит лапка? Ничего, сейчас папа поцелует, и все пройдет... правда?

Пальцы утопают в жесткой косматой шерсти. Гладят, расправляют; ладонь накрывает рану, и ты чувствуешь, как из медвежьей лапы в ужасе бежит боль, как останавливается, мгновенно сворачиваясь, кровь; и вот уже выражение влажных звериных глаз меняется, в них больше не клокочет смешанная с болью ярость — в них благодарность и... удивление? Удивление — у зверя?!

Да.

Да! Ай, мама, дэвэл дэла, ай нэ, дэвэл дэла[1]!..

— Ну вот, видишь, все прошло. Ты паренька не трогай, это он с перепугу. Он больше не будет. Ты его не трогай — и он тебя не тронет. Договор дороже денег?

— Договор-р-р, — ворчит медведица. — Дор-р-роже...

По-своему, по-медвежьи — но сейчас тебе плюнул в рот двухголовый змей Лэннали, и нет для тебя языков звериных и человечьих, а есть единая речь.

Пальцы, став вдруг послушными и ловкими, как раньше, чешут медведицу за ухом, за другим, под нижней челюстью — и хозяйка блаженно жмурится, расслабляется, откидывается на спину, подставляя впалый живот.

Невидимые нити, связывающие вас, трепещут, пронизывая все тело (тело? душу?!) сладостным ознобом невозможного. Но сейчас для тебя нет невозможного, сейчас ты — бог маленького мирка, Эдемского сада, где живут двое: ты и медведица, которая отныне послушна тебе, которая выполнит все, что ты ей скажешь...

Нити натягиваются.

Вибрируют от напряжения, и дрожь их огнем отдается внутри тебя.

Все. Силы на исходе. Но ты успеешь. Последний посыл, последний приказ, последний финт — и тогда уж точно все. Можно будет расслабиться. И пожалуй, улыбнуться.

Но это — потом.

После.

— Ну все, все, красавица. Хватит лизаться. Теперь — иди отсюда. Тут люди, тут тебе не место. Лес большой, прокормишься. А сюда приходить не надо. Поняла? Не надо! Вижу, вижу, поняла. Ты ведь у меня умница, умница и красавица! Давай на прощанье, хором: пиро Можайско дром, хачи ли тэ... Вот по большой дороге по Можайской коней я гнал, ах, мама, краденых... Ну ладно, иди!

Прощальный шлепок — и медведица, пару раз оглянувшись через плечо, споро трусит прочь. Нити натягиваются,

---

[1] Ай, мама, даст бог, ай, даст нам бог!.. (*ром.*)

натягиваются — и начинают рваться, подобно гитарным струнам, отдаваясь дергающей зубной болью. Осталось три... две... одна... А-ах! Последний рывок отозвался особенно сильно. Ты застонал, стиснув зубы. Медведица, больше не оборачиваясь, исчезла за деревьями.

Вот и все.

Теперь можно расслабиться.

Теперь все можно.

Теперь...

Страшная судорога выгибает изнутри, ломая и корежа, твое многострадальное тело — и перед глазами вспыхивает чернота той ночи, которой не будет конца.

Вот теперь — действительно все.

Прими, Господи, душу...

X. РАШКА-КНЯГИНЯ, или АЙ, МАМА, ГРУСТНО БЫЛО...

Ты возвращаешь человека в тление и говоришь: «Возвратитесь, сыны человеческие!»

Псалтирь, псалом 89

— Дру-у-уц!.. Ай, баро...[1]

Он лежал — неловко, боком, по-детски свернувшись калачиком. Острые колени подтянулись к самому подбородку; струйка слюны липкой ниточкой ползла на плечо, оставляя дорожку садового слизня. Еще теплый снаружи, еще теплый лежал он, улыбаясь, но ледяной изнутри, и душа гулящего Дуфуни Друц-Вишневского, рома сильванского, душа Ефрема Жемчужного, кузнеца из Вильно, душа бродячего цирюльника Франтишека Сливянчика, лихая душенька мага-рецидивиста Бритого...

Сколько имен ни вспомни, подлинных и придуманных, сколько ни назови, выкрикни без голоса в стылое небо — пустая забава.

Гиблая.

---

[1] Баро («большой») или баро шэро («большая голова») — в ромских таборах так звали вожаков или уважаемых людей. Отсюда наслоение «барон» — в том же значении.

Книжная; не наша.

Хрустела душа его коркой ноздреватого наста под сапогами судьбы. Ломалась, топорщилась острыми краями, подтекала грязью, отдав последнее и ни капельки не жалея — ни о чем.

А тело без души что душа без тела — все едино, и некому оспорить.

— Что ж ты так, Друц? — бессмысленно шептала ты, не замечая остолбеневшей в священном ужасе Акульки, не слыша лошадиного храпа Федюньши, сидящего у бочки прямо в талой луже; ничего, ничего не замечая и не слыша. — Что ж ты так?.. Зачем?..

Молчание.

Скорбное; не молчание — панихида.

И лишь далеко, там, в туманной дали, остро пахнущей свеженадрезанным огурцом...

И лишь где-то, по рельсам, стонущим навзрыд, опытной шлюхой под лаской случайного гостя...

И лишь от полустанка к полустанку, от безысходности к надежде, пугая галок утробной отрыжкой гудка...

...колеса, колеса, колеса...

Поезд.

Ближе.

Рядом.

Так и открылось вдруг глазам — не тем, что блестят напоказ стыдной, непрошеной слезой, а другим, видящим, но невидимым для слепых ветошников: перрон. Мордвинский перрон. Теснятся ожидающие, голосят кряжистые носильщики, выпячивая казенные бляхи. Бабы варенцом торгуют, пирогами, курами; мальчишки шныряют. Чемоданы, баулы грудами. Оркестр гремит медью. Все как везде. И сходит на тот перрон, легко неся в руке дорожный портплед, молодая женщина — видишь, Княгиня? Нет, ты и впрямь видишь?!

«Вытащу, мать! Разобьюсь, холера ясна, а вытащу!.. Сыграем еще в четыре руки?!»

Ах, Ленка Ферт, упрямица ты моя!.. Спасибо, что не послушалась, Девятка козырная, свою Даму Бубен. Не за себя спасибо. А Мордвинск — это ведь рядом... это уже рукой подать для законного марьяжа.

Помнишь, Ленка, какой я была?

А ты сама, Княгиня, ты помнишь?!

Помню.

Такая и есть.

* * *

Вскинула голову.

Повела взглядом, рассыпав искры по лужам.

Грязь — в паркет.

Лужи — в восковые потеки.

Прошлась балетной примой, пробуя марьяж.

Свечи! И сотни канделябров, шандалов, розеток из старого серебра везде: на замшелых стенах изб-конторянок, в черном зеве лабаза, в кедровнике по левую руку, по верхнему краю бочки с водой!

Есть.

Скрипки! И клесты на ветках сами себе поразились: куда там курским соловьям, куда там Яшке Хейфецу, венскому кумиру!.. Поем, братцы, трепещем горлышком, ведем кантилену всем на зависть!

Марьяж длился.

Оркестр! И безумная капель рояля бросилась вниз головой с еловых ветвей, чтобы вместо смерти окунуться в совиное уханье контрабаса; гобои пузырями всплыли из неблизкой Шавьей трясины, навстречу гобоям откликнулись солнечные трубы, звонко скользя бликами по верхушкам леса, — недоигранный вальс мсье Огюста Бернулли, последнего властителя душ, который насмерть запомнила ты перед каторгой, вступил в свои права.

Время.

Пока марьяж длится.

— Вставай, баро!

Не слышит. Не хочет слышать. Лежит; не лежит — уходит.

— Погоди, баро!

Услышал.

Остановился.

— Вставай, говорю!

Лежит. Не лежит — стоит, ждет. Вот-вот дальше отправится: на последнюю откочевку. Упрямый попался... Да только с каких это пор Валет Даму переупрямит?!

— Иди ко мне!

Ну вот, послушался. Идет. Не идет — встает. Сперва тяжко вздрогнув остывшим телом, хрустнув мертвой валежиной; затем — на четвереньки, ткнувшись в грязь кудлатой головой.

— Ну?! Долго мне ждать?!

На колени.

Это правильно, Друц: перед Дамой — на колени.

Это ты верно понял.

А теперь — вставай.

— Пляши!

Стоит. Не стоит — ждет. Когда отпустят. Никогда, баро, никогда не отпустят; вернее, когда-то, но не сейчас. А сейчас: раз-два-три, раз-два-три, и не важно, что вальс лишь недавно утратил постыдный титул пляски развратников, совершенно не важно, потому что скрипки... и гобой... и шелест, шуршание шелка — чш-ш-ш, не мешайте...

Ты не любишь вальс, ром сильванский?!

Хорошо.

И зарыдали скрипки ночным табором, вспенили плач кудрявым воплем, и звоном ножей о ножи ответили гитары, извиваясь гадюками под смуглыми пальцами, и хрустнули в чаще кастаньеты, а сотни свечей стали пламенем костров, тех костров, меж которыми шли в пляске мужчины с седыми висками, мужчины в алых рубахах с широкими рукавами, схваченными у самых запястий, и смуглые женщины нервно вздрагивали плечами над вихрем разноцветья юбок, моля о пощаде.

— Пляши!

Потому что марьяж.

Потому что: ай, мама, грустно было, ай, тоска змеей по сердцу — ветром в поле, пылью в ветре, на заре лучом рассветным, я с тобой останусь, мама, я тоску заброшу в море!..

— Пляши, говорю! Слышишь?!

О да, баро, ты слышишь...

Ты пляшешь.

Никуда ты не уйдешь, глупый храбрый Друц, — ведь поезд у перрона, а это рядом, совсем рядом... марьяж.

Видишь — и я пляшу с тобой.

Мы живы.

Оба.

...Когда ты без сил упала в грязь, привалясь спиной к холодному краю бочки и скользя в беспамятство, чья-то рука поддержала тебя.

Не рука — лапа.

Надежней некуда.

— А меня... — хрипнул Федюньша в самое ухо, насмерть обжигая дыханием. — А меня так плясать выучишь?!

Напротив, на коленях, вытащенным из омута сорванцом, плакал Друц-лошадник.

Обнявшись с самозабвенно воющей Акулькой.

* * *

Вторник... Да, кажется, это был вторник.

Или среда.

И до воскресенья все было в порядке: это снаружи, с фасада, если не вставать на цыпочки, не приникать любопытными гляделками к тайным оконцам — но вставать и приникать здесь, на кус-крендельских засеках, было некому.

Явившись гурьбой вечерять, рубщики с возчиками куда более интересовались сытным кулешом на смальце, нежели выжатым, как тряпка, ссыльным варнаком Друцем. Языкатая Акулька, по счастью, успела к тому часу сбежать домой, не забыв прихватить узелок с дареными харчами, а от корявого Федюньши и слова-то лишнего шиш дождешься! Да, медведица. Да, в лабазе. Да, топором, ан не сдюжил. Да, погнал — вот он погнал, ссылочный. Да, ушла, а он свалился. Может, испужался? Может, и испужался. А может, и нет. Плясали оне потом, с Рашелью-стряпухой.

Да, на радостях.

Камаринскую; с вывертом.

Рубщики слушали, возчики слушали, и порешили берданку теперь на видном месте оставлять, а не в избе на гвоздике. Чтоб опосля лишнего плясать не приходилось — а сразу, пулей или жеребьем...

На том и забыли.

Тем паче, что с завтрашнего утра оклемался он, Друц этот, — Уголька подковал и на вывоз отправился.

Чего зря бока пролеживать?

Так до воскресенья и не поговорили начистоту — ведь правда, Княгиня?! — ни ты с ромом, кого от Безносой вкрутую отплясала, ни ром с тобой, кого он от зверя дикого собой загородил. А говорить было о чем. Не о медведице-матке, что миром ушла от вкусного лабаза: еще бы не уйти, когда Валет Пик лег на прикупе, рубашкой вниз! Не о пляске животворной: где ж тут помереть спокойно, когда не трупарь Крестовый — сама Дама Бубен велит вприсядку!

О другом.

Ну, например, о малом пустяке: откуда у ссылочной шавки, Рашки Альтшуллер, сил не на лишний вздох — на Обратный Хоровод достало? И козыря отыграть, и самой вернуться?

Или о другом: Акулька-дура небось трещит сейчас по всему Кус-Кренделю сорокой-балаболкой... Это ведь не страшной Сохач, коему язык лаптем оттоптали, это всем девкам девка, даром что рябая! В самом Мордвинске аукнется... А магу-рецидивисту, что на поселении в прежний грех ударился, от властей по Уложению о Наказаниях одна забота — конвой, да барак, да каторжная ходка по новой. Это если состава преступления не было: одна дурость, и ничего больше. Ин ладно, есть смягчающие — это, значит, под палки не положат.

Спасибо по гроб жизни.

И не скажешь ведь девке: помолчь, подвяжи язычище веревочкой! От таких просьб аж слюна горлом идет — до того растрепать охота...

Знаешь, Княгиня, — пожалуй, тебе было тяжелей всего

не заговорить с Друцем о случившемся. Ведь поезд уже отошел от перрона, отгудел, отстучал... А сила осталась.

И раньше худо было, а сейчас — так и вовсе.

Сыграем в четыре руки?!

* * *

...В субботу работали. Но с полудня отправили Степку-бобыля, молчаливого возчика из Дальних Порогов, в евойное село. За водкой. Телегу выделили, все чин чинарем. Не подкачал Степка — живо обернулся. Засветло. Это, значит, те работнички из окрестных деревенек, что к вечеру желали по родным домам разбредаться, к женкам в нагретую постелю, оченно благодарили дальнепорожца за заботу.

Хмельными языками.

Эй, женки! Мы иде-о-ом!..

А кускрендельчане здесь же и переночевали, в конторянках, до святого воскресеньица. На рассвете отправились, непроспавшиеся, но добрые — цельный праздник впереди, чего зря Боженьку гневить?

Вот идут уже по окраине, распугивая собак, вовсю горланя «Фартовую печальницу», выученную с субботы по натырке веселого Друца:

А кому маруха,
Кому смерть-старуха,
Кому мать-кутузка,
Прокурорский суд...

И ты, Княгиня, с Валетом Пик на два дурных голоса с переливами, чтоб ветошники сиволапые хоть на миг себя кодлой-матушкой почувствовали:

А меня, жигана,
Шлепнут из нагана
И вперед ногами
На погост снесут!..

Что, тоже весело?

Брешут собаки, заливаются; стоит у ворот купеческой хоромины самолично Ермолай Прокофьич, альтруист хренов.

Да, Княгиня, ты подумала и едва не расхохоталась в голос: до того смешным показалось умное словцо «альтруист» в родимом Кус-Кренделе, где теперь век вековать!

«Так уж и век?» — спросила сама у себя. Ведь поезд... перрон...

«Так уж и век», — ответила.

Ленку Ферт за любовь ее отчаянную под петлю с мыльцем подвести — гнилое дело.

— Эй, ссылочные! А ну, заходьте, угощу!

Мужички с завистью глянули на вас — ить не ерш-рыба, ить сам Ермолай Прокофьич на стакан кличет! А Филат Луковка, тот и вовсе аж худым гвоздем скрючился, до того завидки пьянчугу взяли... Хотел было что-то злое брякнуть, да уперся взглядом в купцовы очи и прикусил язык.

Дальше зашлепал, к родимому очагу, к строгой Пелагее.

А вы кочевряжиться не стали.

Зашли.

ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ

Если он заглянет тебе в глаза, этот Друц, если позволит задержаться — лицом к лицу — больше обычного, то рухнешь навзничь, раскинув руки крестом, в беззвучный крик:

...ай, мама!

Догорели, сизым пеплом стали угли; ночь в степи бредет неслышно, чабрецом, полынью пахнет. Ветер гривы заплетает жеребцам, уставшим за день, ветер меж шатрами танцует, ай, чявалэ, пляшет ветер... Там, за далью, вторит эхо: пой, гитара! плачь, гитара! смейся! И звенят мониста, рассыпаясь по простору...

Нынче утром встанет солнце.

Нынче утром я не встану.

* * *

— Как велишь, благодетель? — неприветливо осведомился Друц, шагая рядом с Ермолай Прокофьичем по широкому двору. — В нижние хоромы, в зимнюю подызбицу

идти? Или на крыльце погутарим? Ишь, каково крыльцо-то у тебя — перильца, ступенечки, ставенки резные, окна расписные...

Купец словно и не учуял подначки.

Остановился, мечтательно огляделся по сторонам; зачем-то хлопнул Друца по плечу.

Ве-есна, дескать!

— Что, неужто в верхние горенки зазовешь? — не унимался Друц, на которого сегодня болтливый стих напал. — Честь, честь-то какая! Ажно в брюхе урчит!

— Заврался ты, шиш лесной, — без злобы откликнулся купец, в упор глядя почему-то не на лошадника, а на тебя, Княгиня. — И в горенки не позову, и в подызбицу гнать не стану. И на крыльце отродясь с гостями не сиживал, хучь ссылочными, хучь какими.

Он подумал о своем, невпопад жуя красными, пухлыми, едва ли не девичьими губами.

— Во флигелюшку пойдем, — решил наконец. — Во-он туда. Видите?

Ты увидела.

Между амбаром и торцом избы, в глубине, почти сплошь укрытый глухим кустарником (летом, в листве, и вовсе не разглядишь!) хоронился маленький флигель в один этаж. Не деревянный — редкого здесь красного кирпича.

Да, Княгиня, ты увидела! И еще ты увидела, что лукавый купец и впрямь долго размышлял, прежде чем позвать ссыльных в свою «флигелюшку». Тайные разговоры разговаривать? Вряд ли. Для таких разговоров и изба подойдет, а еще лучше во дворе, без посторонних ушей, вполголоса...

Что ж тебе занадобилось, мил человек, Ермолай свет Прокофьич?!

Всю короткую дорогу — остаток двора, тропка в кустарнике, две ступеньки ведут к двери с бронзовым кольцом — ты старалась не думать об этом. К чему? Само всплывет; а не всплывет, значит, не надо. Вспоминалось другое: салон у мадам Голутвиной, богемные посиделки, и штатцензор «Воскресного вестника» втолковывает двум младым борзописцам, что у изб не бывает флигелей. Не бывает, и все тут. Борзописцы огрызались — мол, ваша въедливость, не суйте нос, не прищемят! — дурацкий спор

ширился, захлестывая весь салон без остатка, пока наконец кто-то не приволок из библиотеки толковый словарь г-на Ахилло, где черным по белому излагалось для сомневающихся: «Изба — комплекс деревянных построек... этимология слова... общее понятие включает в себя до шестнадцати строений, считая флигели».

Штат-цензор «Вестника» на миг заткнулся, обиженно выпил рюмку тминной, заел расстегайчиком — и через минуту «ихняя въедливость» уже доказывал борзописцам, что изба — избой, флигель — флигелем, а вот матросским тесаком никогда в жизни нельзя расколоть человеку череп, как это описано в пиратской повести вышеупомянутых борзописцев. Спор вновь разросся, и кто-то (не тот ли умник, что словарь раздобыл?!) удрал на улицу — искать подходящий тесак...

— Ну, сперва по махонькой!

Дверь под напором мощной пружины захлопнулась за вами.

Странно — в комнату купец гостей сразу не повел. Задержался в куцем предбанничке, нырнул с головой в тумбочку-раскоряку; зазвенел посудой.

Назад выбрался с графином и тремя плохо вымытыми стопками.

Как и разлить-то по стопкам исхитрился, в тесноте? Бог весть!

— С почином, господа ссылочные!

Коньяк.

Мама моя родная! Коньяк, шустовский!

Разом ударило в голову. Не от хмеля, от памяти. Ах, Кус-Крендель, поселение сволочное, здесь ли коньяки пивать?! Купец ты милый, хитрый лисовин, что ж ты еще для нас припас?

— А теперь милости прошу в горницу!

И на пороге, войдя первой, ты едва впервые не узнала, что означает — обморок.

Посредине комнаты стоял рояль. Кабинетный, глянцево-белый, он здесь выглядел не более уместно, чем конголезский гиппопотам в кресле у дантиста. Рояль — и вертящийся табурет из металла перед ним.

— Ерема... — пробормотала ты, плохо понимая, что говоришь и зачем говоришь. — Ерема, сукин ты сын... откуда?!

— Из Мордвинска, — стесняясь, буркнул купец, горячо дыша тебе в затылок. — Позапрошлым летом расстарался. Понимаешь, шиш лесной... сам играть не обучен, а как увидал разок, на аукционе, — так и прикипел душой. Желаю, и все тут! Вот и решил: сдохну, а приобрету. Как сюда на перекладных вез, как телеги из грязи на руках выволакивали, как грузчикам-амбалам по ассигнации в рожу совал, за заботу-пахоту — о том сказывать не стану. Было, да сплыло. Ан привез, поставил... поставил!

Он замолчал, сопя.

Высморкался в платок.

— Довез, шиш лесной. Не спортил. Флигелюшку заради него выстроил. А бренчать некому... и научить некому. Разве што доча моя — так ведь она в Мордвинске, в пансионе!.. Сюда, почитай, раз в год заезжает...

Ты кивнула невпопад.

Прошла к роялю; погладила холодный бок.

Ах ты, мой милый, мой хороший...

— Сыграй, а? — тихо попросили за спиной. — Уважь ради праздничка!

— Что ж тебе сыграть, Ермолай Прокофьич?

Коньяк огнем играл в жилах, веля забыть, забыться, откинуть крышку — и...

Откинула.

Прошлась по клавишам.

«Сыграем в четыре руки?!» — холодным ветром плеснуло ниоткуда.

— А што хошь, то и сыграй. Романс, што ли?.. Душевный...

— Романс?

И пальцы сами вспомнили, а голос едва не сорвался, едва не слетел пуганым петухом, где хотел парить соколом, — но не слетел ведь все-таки!

Правда, Княгиня?

Правда.

Я Вам не снилась никогда.
Зачем же лгать? Я это знаю.
И с тихой нежностью внимаю
Решенью Вашего суда...

Невозможный, небывалый зверь ворочался под лаской твоих рук.

Вибрировал всем своим чудесным телом, и в подушечки пальцев искренне вливалось тепло прошлого, тепло былых дней, когда жизнь сверкала, а не кололась острыми гранями, когда слова сами складывались в песню, чтобы вырваться из клетки небытия...

Чем не взыскательная публика: конокрад, едва не отдавший жизнь за рябую девку да за лешатого парня, — и лихой купчина, раз и навсегда влюбившийся на торгах в белый рояль?!

Найдешь ли лучше?!

...О чувство ложного стыда!
Тебя я стала ненавидеть,
Когда, боясь меня обидеть,
Вы вместо «нет» шептали «да»...

Зверь расстраивался, грустил, норовил заурчать поперек, водил впалыми боками — но ты не позволяла зверю баловать.

Потому что поезд.

Потому что марьяж.

Если б ты еще знала, сумеешь ли вовремя отказаться... Но ты ведь не знала, Княгиня?

...Я Вам не снилась никогда.
Любовь? Я поднялась над нею.
Став и печальней, и сильнее, —
Но в этом лишь моя беда.

Рождая пламя изо льда,
Я жгла опоры сей юдоли,
Вы были для меня звездою —
Гори, сияй, моя звезда!..

И все-таки сейчас была твоя минута.

Спасибо, Ермолай Прокофьич! Не знаю, в чем здесь твой барыш, без которого ты и поступка не мыслишь, но...

Спасибо.

...Проходят дни, пройдут года,
Я, может быть, Вас вспомню снова,
Но пусть звучит последним словом:
«Я Вам не снилась никогда!»

Аккорд.
Последний.
Последний?

XI. ДРУЦ-ЛОШАДНИК, или ИСКУСИТЕЛЬНИЦА

Я сравнялся с нисходящими в могилу; и стал как человек без силы...

Псалтирь, псалом 87

...Пальцы Княгини вихрем летали по праздничным — невозможно белым и лаково-черным — клавишам. Порхали, танцевали, и тебе уже чудное чудилось, как тогда, у лабаза, в смертной тьме. Будто здесь, в купцовом флигеле, играет целый оркестр, и кружатся пары, блистательные кавалеры обнимают за тонкую талию своих дам, и дамы томно запрокидываются назад, загадочно улыбаясь, и огни сотен свечей отражаются в начищенном до блеска наборном паркете...

Сильна Рашка!

Нет, на рояле и на альгамбрской гитаре она и без всяких финтов играть горазда! — не разберешь, музыка ли душу бередит, заставляет видеть невиданное, иное ли...

Ты уже знал: случилось! Обратным Хороводом тебя с того света за шкирку выволочь и самой от финта не загнуться — распоследний ветошник уразумеет, в чем дело! Верили не верили, а придется: знать, Рашкина крестница... как бишь ее?! Ленка Ферт! Помнишь, Княгиня рассказывала?! Отыскала-таки Ленка свою крестную Даму! Она где-то здесь, совсем рядом, скорее всего — в Мордвинске, до которого меньше дня езды: с утра выехал — ближе к вечеру уже в городе.

И не тебе спрашивать: что дальше? У магов в законе о таком не спрашивают. Сочтет нужным — сама скажет.

Скорее всего Даме Бубен и самой-то пока не до расклада: просто искренне радуется нежданному подарку.

Жизнь!

Есть ли подарок лучше?!

Ай, морэ, Валет Пиковый! Кому журавль с неба сам в руки валится, а кому и о синице лишь мечтать остается. Нет у тебя былого подельщика, некому тебе подарки делать: забили крестничка, как есть, насмерть замордовали. А даже и выживи он, Данька Алый, ветер в сапогах — не приехал бы за тобой. Нет, не приехал бы, и это не в упрек: о мертвых плохо не говорят. И не думают. Ты и сам на его месте еще крепко поразмыслил бы: стоит ли голову в петлю совать?

А вот Княгинюшкина крестница, видать, отчаянная. Не знать — не могла. Знала. Пускай в Закон покамест не вышла, не выпал жребий — все равно. Раз Бубновая, раз Договорная — знала до последней черточки. Ну пускай иначе: чувствовала, догадывалась... Догадки — они страшнее. И все равно приехала.

Праздник?

За побег нашему брату не новая каторга светит — веревка с варавским мылом.

Панихида?!

Обеим?

...На миг почудилось: не рояль — огромный белый череп распахнул перед Княгиней костяную ухмылку. Скалится зубами-клавишами; вот сейчас раздвинет челюсти пошире — и сомкнет с надрывным скрипом! Поминай, как звали, рабу Божью Рашель Альтшуллер, она же Рашка Княгиня, она же...

Княгиня тоже что-то почувствовала. Ее пальцы, мгновенно став жесткими, резко ударили по клавишам, обрывая мелодию, и женщина коротко крутнулась на вертящемся табурете.

Обернулась.

— Што, струмент плох? — с тревогой осведомился купец. Слово «струмент» Ермолай Прокофьич выговаривал старательно, с каким-то особым уважением.

— Да нет, хорош. Куда как хорош, слов нет. Настроить

только надо. — Голос Княгини звучал беззаботно, но на самом донышке, в глубине пряталась напряженная хрипотца, словно бежавшая с позором жаба вдруг вознамерилась вернуться.

Да и ты уверился по новой: играть на рассохшемся, расстроенном рояле так, чтобы твое ухо не уловило фальши... это уметь надо.

Значит, умеет.

Сейчас — умеет.

— Настроить? Это как же?

— Чтоб в лад звучал. Да я сама настрою, не тревожься, Ермолай Прокофьич! — слишком искренне, чтобы это было правдой, рассмеялась Княгиня. — Просто ключ специальный нужен.

— В городе купить можно?.. В лавке? — деловито поинтересовался купец.

— В Мордвинске?.. Да, пожалуй. Только зачем покупать? Вот Друц его нам и выкует. Я покажу, нарисую — а он сделает. Сделаешь, Друц?

— О чем речь, Рашель? — усмехнулся ты.

На людях — без кличек.

Это свято.

— Ты скажи, чего требуется, штоб этот самый ключ сделать. Я прикажу — из-под земли добудут! — кивнул купец. — Хучь, по мне... по мне, и так хорошо играет. Аж заслушался. — Лицо Ермолая Прокофьича озарила совершенно неожиданная мечтательная улыбка. — Люблю я это дело, шиш лесной... музыку, значит. Настоящую. Штоб на рояле или там на скрипке. А наши, обалдуи... — Купец едва не плюнул в сердцах на пол. — Только и умеют, што по пьяни на гармошке похабень всякую наяривать! Разве ж это — музыка?! А тут... — И он с нескрываемым уважением покосился на Княгиню.

— Да и я давно за рояль не садилась, — тихонько вздохнула Княгиня. И ты, тоже без всяких финтов, но тем шестьдесят шестым чувством, которое начисто испортило тебе всю жизнь, ощутил: с этого мига началась игра. Интерес у вас с Княгиней общий; значит — не мешай.

Будет надобность — подыграй вторым голосом, но без нужды не лезь.

— Не нашлось в остроге рояля, вот ведь беда! У надзирателя одного гитара имелась, так начальство запретило...

— Ну, это дело поправимо! — немедленно заулыбался довольный Ермолай Прокофьич, став чертовски похож на помоечного кошака, добравшегося-таки до заветного ледника со сметаной. — Струмент — вот он, а гитару, ежели надо, я из города привезу!

— Ну, тогда и мы тебе тут филармонию устроим! — Княгиня подмигнула одновременно вам обоим, и каждый понял это по-своему, как и требовалось. — Друц-то ведь на гитаре мастак, мне и не угнаться!

— Не прибедняйся! — ввернул ты. — Будет гитара — погоняемся... И ключ сделаем, в лучшем виде! А-эй луга, мирэ луга, раззеленые луга!..

А для пущего эффекту ладонью о бедро хлестнул.

Купцы, они любят.

— Ты, Ермолай Прокофьич, что думаешь: мы с Друцем по жизни человеческой не тоскуем? — пропели жалобно клавиши. — Да волками воем! Ты-то хоть в город наведываешься, все ж не глушь, хоть и не столица, конечно. Да и к тебе гости заезжают: батюшка там или тот же урядник, к примеру... Ведь был на неделе, правда?

Купец машинально моргнул в ответ. Ах Княгиня, ах умница... Был, значит, урядник!

Заезжал!

— Небось и без дела-то особого, так проведал? — Княгиня исподволь «гнула масть». — Новостями поделиться, а? А мы тут торчим лешаками на заимке...

Не договорила. Отвернулась, взяла лежавшую на крышке рояля открытую коробку папирос «Салонные». Ну конечно, на киче-то она курить бросила — с ее-то «казенной» жабой если от первой затяжки копыта не отбросишь, так второй уж точно не захочется! Особенно когда махру смолить. «Салонные» — дрянь, конечно, а не папиросы, но все ж таки не махра...

Купец мигом полез в карман за спичками; вытряхнул и

себе папироску, подумал. Благосклонно ткнул пачку в твой адрес. Ты курил редко, но сейчас не стал отказываться.

— ...Да нет, по делу он приезжал, урядник-то, — заговорил наконец Ермолай Прокофьич, когда вы, все трое, окутались облаками табачного дыма. — Насчет вас спрашивал.

— Насчет нас? — Равнодушие далось тебе с трудом. — С чего бы это? Содержание за март месяц выдал, предписаний мы не нарушаем...

— Не нарушаете? — хитро сощурился купец. — И впрямь: на сто верст кругом, считай, слух прошел, как вы на заимке с косолапыми воевали, громами да молоньями швырялись!

— Что?!

— Рупь за сто! — счастливый донельзя, передразнил купец. — Слухом, говорю, земля полнится, шиш лесной! Да знаю, знаю, што шавят люди, пустозвонят! — Он махнул рукой. — Только я-то знаю, а людям рты не заткнешь... Вот и приехал урядник по ваши души: уличить в нарушении и — раком по баракам!

Купец выдержал паузу. Не прост ты, Ермолай Прокофьич.

Умеешь жилы тянуть.

— Он приехал, а все, кто видел, как дело было, — в лесу, на порубке. Одна Акулька-дура по селу бегает да шавит кому ни попадя. Ну, урядник и зашел ко мне, по старой дружбе. Я ему говорю: Кондратыч, не бери ты дурного в голову! Не было там ничего, как пить дать! Велико колдовство — медведицу дубьем прогнали! Окстись, выпей рябиновки! Дуфунька с Рашелью люди честные, знаю я их обоих. Свое отсидели, на кой им это надо: обратно на каторгу? Дуфунька у меня на подворье с месяц по хозяйству пуп рвал, слова плохого про него не скажу, шиш лесной! А Рашелю — так вообще в ключницы взять думаю; а ты знаешь — я кого попало не возьму!

— Ну, спасибо, благодетель! — едва не поперхнулась дымом Княгиня, и ты понял, что о подобном намерении купца она слышит впервые.

— Только урядник, он человек государственный, — продолжил, нимало не смутившись, Ермолай Прокофьич,

воздев к потолку указующий перст. — Я-то сам не видел, как дело было, — значит, не могет он мне на слово верить! Вызвал Кондратыч дуру Акульку. Допрос чинить. Девка поначалу оробела, а потом давай языком молоть! Язык-то у дуры — што помело, это всем ведомо, шиш лесной!

— Ну и много намолола-то? — мурлыкнула Княгиня.

— Да с амбар и намолола. — Купец аж крякнул от удовольствия. — И про медведей, што вы дюжинами в клочья разрывали, силою мажьей; и про змия-аспида в чешуе железной; и про то, как бились вы с тем змием, аки Егорий Победоносец, и молоньи боженькины у вас обоих с громами из глаз сыпались; и деревья по небу косяками летали, на юг, к черным полулюдкам... Так што послушал ее Кондратыч, послушал — плюнул и прогнал чуть ли не взашей! Хотел, однако, на заимку ехать, вас обоих, а заодно и Федьку Сохача про это дело попытать. А тут возьми и заявись в село один из рубщиков — не знаю уж, за каким лешим. Смеется: враки, мол, и ничего больше! Ну, медведица в лабаз полезла. Так Федька со ссылочным ее дубьем да топорами, а бабы — ором своим прогнали. Потом кулеша наплямкались — и на боковую.

При словах о «бабьем оре» Княгиня только фыркнула, но сочла за благо промолчать.

— Уразумел Кондратыч, што, считай, байки про вас шавят. Выпил со мной рябиновки да и уехал с богом.

— Ну спасибо, Ермолай Прокофьич. Спасибо по гроб жизни, что ты и сам в байки те не поверил, и уряднику объяснил, — сказал ты, вставая. — Благодарим за угощение, за заботу — однако пора и честь знать.

— Да сочтемся как-нибудь, шиш лесной, — благодушно расплылся в ухмылке купец, и ты вздрогнул: точно так же улыбалась купцу Княгиня минутой раньше. — Шавят люди, конечно, — про змия, про молоньи! — да только медведицу оголодалую так запросто дубьем не прогонишь... Ладно, иди, Дуфунька. Гуляй. А с тобою, Рашель Сергевна, у меня еще один разговор имеется. Я ведь насчет службы не зря заговорил — и вправду хочу тебя на хозяйство поставить... А ты иди, Дуфунька, иди.

От тебя не укрылось, какие взгляды время от времени

бросал купец на Даму Бубен. А в конце концов, почему бы и нет? Велики ли ее лета? А сейчас и вовсе помолодела, разрумянилась. Эх, закружит Рашка купцу голову — перед ней и князья в свое время устоять не могли...

Ну и ладно, пусть ее кружит.

Не твоего это ума дело, Валет Пиковый.

Ты лучше вот о чем подумай: из-за одних ли дел сердечных выгораживал вас обоих купец перед урядником? Да и рубщик тот в село не случайно в нужный момент заявился... Были вы у купца в долгу мелком, пустячном — а теперь вырос долг, ай вырос!

Чем отдавать придется?..

* * *

В избе никого не оказалось. Нет, не то чтобы совсем никого: на полатях залихватски храпел в стельку пьяный Филат, набравшийся по случаю воскресенья куда больше обычного, — но пьяный хозяин, он не в счет. Пелагея небось ушла к соседке — на жизнь пожаловаться да языком почесать; ребятня по селу гасает, а Акулька... Кто ее знает, где это конопатое бедствие мотается?

На столе сиротливо возвышался кривобокий горшок. Ты принюхался. Слава богу, там оказался квас, а не сивуха. В горле пересохло — то ли от купцова коньяка, то ли от новостей, — так что квас пришелся кстати.

За спиной вскрикнула входная дверь. Ты не обернулся. Зачем? Если и без того известно, что подобным образом обижать ни в чем не повинную дверь может только непоседа Акулька?

— Ну, спасибо, Акулина, — сказал ты, ставя горшок на стол, и лишь теперь повернулся к девке.

— А как ты, дядь Друц, узнал... Ой, а за што спасибо-то?!

— За язык твой длинный. Что б мы с Рашелью без тебя делали? А так, считай, на весь уезд прославились!

— Я это... Я ж как лучше хотела! — Акулька в расстройстве чувств шмыгнула носом и потупилась. — А то про вас все: ссылочные! колодники! мажье семя! душегубцы! А вы и не душегубцы совсем! Вон, ты нас с Федюньшей от медведихи оборонил, и тетя Рашелька... она самая добрая! Су-

харей дала, солонины... Я ж хотела как лучше — штоб они все на вас шавить кинули!

— Сядь, — коротко бросил ты, и вздорная Акулька, на удивление, послушалась сразу.

Присела рядом на лавку.

— Как лучше, говоришь, хотела?

— Ну да! — Девчонка подняла на тебя честные глаза. Круглые, как пятаки. И все, что ты хотел ей сказать: куда ведет дорога, вымощенная благими намерениями, под какую погибель она, дура, вас с Княгиней чуть не подвела... Моргнули глаза девчоночьи. Хлопнули длиннющими ресницами. Блеснули слезой. И все твои слова, объяснения, упреки — все это разом схлынуло.

Без остатка.

Она ведь действительно — не со зла. От честной, ветошной, беспонятливой дури. Ей объяснять: все одно навыворот поймет — и опять примется языком молоть! На одну беду восемь склепает... Илья Роман-чай, старый вожак из твоего родного табора, про таких говаривал: «Мири калимо — кхандэла бахтимо!» В смысле: «Моя хоть и черная, зато счастьем пахнет!..»

Ты просто замолчал. Хотел встать и пойти прочь из избы — но Акулька тебя опередила.

— Дядь Друц... — сказала она так, что ты невольно обернулся. — Дядь Друц, миленький... научи ты меня, а?

— Чему?

Ты уже понял — чему. Ты понял, и внутри все сладко опустилось в томительном ожидании. Что, Княгиня моя, говорят, фартовые расклады парами случаются? Привалило тебе — теперь моя очередь?

Да, Княгиня?

— Ну... со зверьем толковать, штоб понимали! Как ты с медведихой. Ну и... колдовать! — выпалила Акулька.

Решилась-таки.

Слово сказано.

А по Закону: было слово — должен быть и ответ.

Ну что, Друц, ответишь «да»? Возьмешь девку в фартовую науку, в крестницы-подельщицы? Покажешь, как со зверями толковища толковать? Как замок чем попало, хоть

ногтем, хоть гвоздем ржавым, открывать? Как коням крылья на бегу отращивать, как сторожам глаза отводить? грозой следы заметать? личину напускать? Покажешь? Научишь? Скажи «да»! — и тебе разом полегчает, перестанет хрустеть и ныть спина, а пальцы мигом станут гибкими и послушными, как прежде... Да что там пальцы! Джя, морэ! Тебе предлагают подарок, роскошный, царский подарок, такой же, какой недавно отхватила Княгиня! Соглашайся, глупый ром! Ведь взамен девка всего лишь хочет...

Нет, не того она хочет, что ты ей дать можешь. Чуда она хочет, чуда расчудесного! А у тебя все чудеса арестантским халатом кончаются... или теми кольями, что Даньку Алого в мясной блин раскатали. Ну и что? Твоя ли забота?! Сама ведь напросилась, верно? Никто за язык не тянул?!

Никто. Да, забота левая, да, не такой ты ангел, чтоб на чужом горбу в рай не въехать, особенно ежели сами горб подставляют. Одна беда: и в раю петля с мылом, всенепременно варавским, для сих целей предназначенным, сыщется.

Для обоих.

В Уложенье о Наказаниях на сей счет двух мнений нет — и беглецу, и пособнику.

Чтоб не спешили бегать.

— ...Не хотел я с тобой о мажьем фарте говорить — да, видать, придется. — Ты вздохнул и начал устраиваться на лавке поудобней. — Значит, хочешь тайному ремеслу учиться?

— Ага! — радостно блеснули глаза Акульки.

Аж пятаки рублями стали.

— А ты хоть знаешь, кто такие они — маги?

— Знаю! Это которые род свой от Магога Поганца ведут. Простые люди от Гога Праведника, а маги от Магога! — на одном дыхании протараторила гордая своими познаниями Акулька. — Про них еще батюшка в церкви сказывал, только никто не понял. Так тетка Сохачиха потом всем разъясняла, по Псалтыри.

— Есть далеко на юге страна Персия, — пояснил ты, отсмеявшись. — Так вот: там магами издавна называли жрецов Огня. Тех, что Солнцу земно кланялись. А люди,

как всегда, не разобрались и стали звать магами всех, кто чудные обряды творит. Ну а после решили: они творят-творят, да и натворят! Так ведь?! Значит, всех в один котел, на один костер, и соли не жалеть! Хотя речь не о том, — оборвал ты сам себя.

Ерунду порешь, Валет Пиковый! Или от девки заразился, сам сказочником решил стать? Может, еще ро́ман ей тиснешь? «Похождения благородного мага Бовы-колдунца, коий взятое у богатых раздавал сирым да убогим, за что и пострадал от властей предержащих...»

Гувернантки, говорят, слезами умываются!

— Магия, Акулина, хуже крамолы. И церковь, и наука, и законы, что властями светскими изданы, на нее запрет накладывают. Не бывает, дескать! А раз не бывает, значит, ересь, и фиглярство, и подлое смущение малых сих. Уразумела?

— Да ну! — досадливо махнула рукой девчонка: что ты, мол, с ней как с маленькой?! — Ты вот, дядь Друц, бают, колдовством коня свел, а хозяина в крысу превратил, и сапогом, сапогом!.. За то тебя и в острог! Мне такого не надо. Мне бы — штоб со зверьем, штоб язвы лечить, парней к себе привораживать... — На этих словах Акулина осеклась и зарделась. — Это-то можно? Как бабка Шептуха, только лучше! По-настоящему!

— Эх, Акулина, святая простота! — вполне искренне вздохнул ты. — По-настоящему — значит запретно. ПРОТИВОЗАКОННО!

Последнее слово ты выговорил раздельно.

Едва ли не спел.

— Поняла? А Шептуха твоя... Таких вшей, как она, властям давить — только позориться! Зато мимо нас не пройдут, нет, не пройдут!..

— Шавишь ты все, дядька Друц! Вот ты меня с Федюньшей от смерти, почитай, спас! Это тоже — супротив закона?

— Супротив, Акулина, как есть супротив. Я вам жизнь спас — а сам за это обратно на каторгу загреметь могу. Статья Уложенья о Наказаниях восемьдесят втора́я прим, параграф шестнадцатый. Вишь, как вызубрил?! На смерт-

ном одре и то вспомню! Вот ежели б я ту медведицу из ружья застрелил — тогда другое дело. И закон не нарушил, и людей спас. А так... Спасибо тебе, мил человек, за две души спасенные — а теперь подставляй руки-ноги, в кандалы ковать будем, за ворожбу богопротивную и противозаконную.

— Да как же?! Да за што же?! — Акулька едва не расплакалась от обиды, но вовремя спохватилась. — Ты людям добро, а тебя за это — в кандалы? Так, што ли?

«Добро?! — едва не выкрикнул ты во всю глотку. — Добро людям?! Вор я, дура, конокрад я фартовый, Валет Пик! Ворюга! Купца того, суку Трифушкина, что мужикам за Даньку моего по алтыну заплатил, я на «мокрый гранд» взял! Я! Я!!! Таким родился, таким сделался, таким и помру в вашей глухомани! Уйди ты, девка, ради бога!»

Нет, не крикнул.

Сцепил зубы до скрипа; иное сказал:

— Так. Все верно. Властям едино: финты крутил? Значит, отвечай. По всей строгости.

— Ой! — Акулька испуганно прикрыла рот рукой. Видать, только сейчас до девки дошло. — Это ж из-за меня тебя обратно на каторгу упечь могли, дядька Друц?!

— Могли, — кивнул ты.

В основании черепа болезненно хрустнуло.

Напомнило.

— Ой, прости меня, дядь Друц! Я ж не знала! Я ж как лучше хотела! Я ж думала — раз на доброе дело...

— Ладно, не убивайся. Обошлось вроде. Зато впредь соображай, о чем болтать стоит, а о чем нет.

— Я поняла, дядь Друц! Я теперь никому ни слова, ни полсловечка...

— Это правильно, Акулина.

Как же, не скажет она! Добро б хоть пять минут помолчала...

— Дядь Друц... так ты меня в науку возьмешь? Я послушной буду! И болтать — ни-ни!

Ну вот, приехали, опять за рыбу деньги! Ничего дура девка и не сообразила! Нет, конечно, соблазн велик. Такой случай упускать — грех. Только... согласишься — значит,

самое время когти рвать. Ссыльные-то у всех на виду, не спрячешься. Стоит ли на риск идти? Доживешь в этой глуши оставшиеся год-два, напоследок выплеснешься без остатка — и загнешься по-тихому. А так еще и дуру эту с собой потянешь. Жалко все-таки — и себя, и ее.

Жалко... А все равно свербит там, внутри, прямо спасу нет!

Искусительница!..

С веснушками.

— За обучение тоже кара положена. Ты-то, по малолетству, да на первый раз, может, от острога отвертишься, а вот я...

— Так што ж это выходит? Ежели мажьего семени — то и ворюга обязательно? Или там душегубец? А добрых колдунов не бывает? Настоящих?!

Ты смеялся долго и плохо.

Совсем плохо.

— Может, и бывает. Слыхал краем уха: кто ворожбой цветы выращивает, кто тараканов выводит. Но живьем не видел.

Еще бы видеть! Когда испокон веку, от самого Аввакума Гонителя, за глотку берут, аки хулителя веры; когда внизу приговора, пурпуром по белизне, печать епархиального или, упаси свят-фарт, синодального обер-старца: «Ныне, присно и до окончания срока, аминь!»; когда крепких огольцов, нечувствительных к «эфирному воздействию», с младых ногтей забирают к «Варварам», на псов облавных натаскивать; когда...

— Нет, Акулина, не видел.

— Почему?

— Поймают — хоть на цветочках, хоть на тараканах, — заметут. Хочешь в острог, добрая ты моя?

— Не хочу. Только не всех ведь ловят... Кто там дознаваться станет, чему ты меня учишь, ежели я ни воровать, ни порчу наводить не стану? Как проведают?!

Акулька победно воззрилась на тебя.

Уела, мол.

Ну репей, сущий репей! А ведь не такая уж и дура девка, оказывается...

— Да ты же сама через день и растрезвонишь! Язык ведь у тебя — что помело. — Ты вспомнил слова Ермолая Прокофьича.

Акулька прикусила «помело» и потупилась.

— Когда о таком просишь, Акулина, сперва крепко думай. Потом всю жизнь жалеть будешь. Да и жизни той не шибко много выйти может...

Бросив напоследок этот зловещий намек, ты поднялся на ноги и двинулся к дверям. Косо глянул через плечо. С полатей свешивалась рука спящего Филата, который бросил храпеть, тихонько посвистывая носом, — и вдруг ты ощутил острое желание кинуться к Луковке и придушить безобидного пьянчугу. Толчок был таким же резким, как и мимолетным: налетело-схлынуло. Знаешь, Друц! Брось дурить. Раньше ты привык доверять душевным порывам, но сейчас — не раньше, да и Филат — пустое место.

Зло не на ком сорвать, что ли?!

Акулька подхватилась следом.

«Ежели сейчас не отстанет, пошлю по-черному: больше не сунется», — озлившись, решил ты.

Но Акулька пока держалась, молчала. Видимо, задалась целью доказать, что ее язык — не такое уж и «помело».

На улице нарастал, приближался дробный конский топот.

Кто ж это так торопится?

Со слабым интересом ты распахнул дверь, шагнул с крыльца...

Урядник резко осадил пегого жеребца в пяти шагах от тебя, у самых ворот; поспешно спрыгнул в грязь. Усатое лицо перекошено, фуражка съехала на затылок, на одном ремешке держится.

«Вот и все, — екнуло в груди. — Не помогли купцовы уговоры. Арестовывать примчался. Почему один? Да потому, что не будем мы с Княгиней сопротивляться. Это он правильно решил. Хотя Княгиня...»

Сзади тоненько взвизгнула и бросилась прочь перепуганная Акулька. Небось решила: злодей урядник уже успел неким чудесным образом прознать, как она к «дядьке

Друцу» в ученицы просилась, — вот и примчался по ее рябую душу!

Урядник косо зыркнул вслед девчонке, невольно покрутил пальцем у виска. Совсем умом трехнулась! То про железных змиев болбочет, то пугается невесть каких страхов...

— Где эта... как ее?.. Рашелька?

— Да вроде у купца с полчаса назад была. У Ермолая Прокофьича...

В лицо ударили ошметки жидкой грязи.

Значит, снова пронесло. Не за тобой примчался. Ай, глупый ром, чему радуешься? Валета, значит, пронесло — а Даму?..

И ты решительно направился вслед за ускакавшим урядником к купцову подворью.

* * *

У подворья толпился народ. Шумели, что-то втолковывали друг другу, заглядывали через забор. Все были уже изрядно навеселе по случаю воскресенья.

— Слышь, Друц! Подруга твоя вроде как совсем кони двигает! Ин уже и Шептуху привели...

— То примета верная!

— Дык еще и урядник!..

— А што — урядник?

— Дык власти...

Сердце в груди глухо бухнуло. Что ж ты так, Княгиня? Не впрок подарочек вышел, значит?..

Не отвечая посторонившимся мужикам, ты молча толкнул калитку. Немой слуга Михайло — детина с тебя ростом — тряхнул было соломенной шевелюрой, ежом торчавшей во все стороны из-под картуза. Вздумал дорогу загородить. Зря — ты, по-прежнему молча, отодвинул немого плечом, и Михайло понял. Не стал ерепениться, хватать, не пущать...

Умен, сторож.

По двору вываживали покрытого клочьями пены урядникова жеребца. «Нет, не спалил коня, отдышится, отой-

дет», — мимоходом определил ты. Лишь бы поить не вздумали.

Самого урядника видно не было.

Ты направился к крыльцу, но тут дверь распахнулась навстречу, и на крыльцо выбрался хозяин дома. Ермолай Прокофьич пребывали в явном душевном расстройстве: на потном, с красными пятнами, лице стыла обида пополам с недоумением. Купец пытался раскурить цыгарку — не фабричную папироску, как давеча, а обычную самокрутку; сломал одну спичку, другую. Наконец подкурил, с облегчением окутался облаком сизого дыма — и только тут заметил тебя.

— А-а, Дуфунька, — ничуть не удивился. — Плохи дела у Рашели. Как ты ушел, так ее вскоре и опялило.

— Что — опялило?

— Ну, этот, как его... — Ермолай Прокофьич пытался вспомнить некогда слышанное ученое слово. — Кондратий, вот! Побелела вся, мало што не посинела, бьется, задыхается, глаза пучит... Я уж думал — все, кончается! Ан нет, попустило маленько. Только-только задышала — а тут по новой кондратий — тьфу ты пропасть! — Кондратыч вламывается. Мол, велено доставить в Мордвинск на опознание.

— На какое еще опознание?

— Да я и сам не уразумел толком, шиш лесной! — в досаде плюнул купец. — Велено, и все тут! Я Кондратычу: да погоди ты, вишь — чуть жива баба, пущай оклемается! А он уперся: приказ у меня! Не поспею к вечеру — начальство голову снимет... Я уж и телегу велел запрягать. Да только квелая она, Рашель-то! Кого бы с ней отправить? За кучера, за костыль...

— Я поеду, — гулко ухнуло за спиной. — Отвезу.

Ты обернулся.

У крыльца стоял непонятно как пробравшийся во двор Федюньша.

А немой Михайло держался за бок и лишь разевал рот по-рыбьи.

А у Федюньши Сохача в глазах, за голубой кромкой, всегда одно:

...белка скачет.

Рыжая, пушистая. Хвостом во все стороны безобразничает. Еловая лапа под белкой трясется, тоже рыжиной отблескивает. Старая потому что; сохлая. Иглами брызжет на тропу. Солнце белку пятнами разукрашивает, оглаживает по шерстке: балуй! балуй мне! Клесты сверху орут на попрыгунью, а ей хоть бы хны.

Опустилось ружье.

Неохота стрелять в белку.

* * *

— Езжай, Федюньша, езжай, — кивнул купец.

Дверь за его спиной снова открылась, и на крыльцо под руки вывели Княгиню. На Рашке лица не было: бледная как смерть, глаза безумные, остановившиеся, губы дергаются судорожно, пытаются воздуха глотнуть.

Неужели — опять?.. Неужели?!

Позади шел хмурый урядник, подкручивая вислый ус. Купцу он на ходу показал большой, волосатый кулак. Ай, мама! В оловянных глазах урядника даже мелькнуло живое, человеческое: «Падина ты, Ермолай Прокофьич, шиш лесной, со своей рябиновкой! Старого дружка под монастырь...»

Когда Княгиню проводили мимо тебя, она на миг обернулась, взглянула в упор — словно крикнуть хотела без голоса; да так и не сложилось.

Разом постаревшую женщину уже усаживали на телегу — а ты все продолжал смотреть в пустоту и видел омут лица Княгини, в котором тонули боль и обреченность.

Обреченность и боль.

И никакой надежды.

— Маги?! Кошмар моего босоногого детства!..

Опера «Киммериец ликующий», ария Конана Аквилонского

ПРИКУП

Господин полуполковник изволили кушать чанахи по-эчмиадзински.

В обливном глиняном горшочке исходила паром острая баранина, густо переложенная мелко нарезанным луком, кусочками картофеля, половинками томатов и баклажанными кубиками, а также засыпанная от души зеленью кинзы, петрушки и стручками фасоли. Все это великолепие, при откинутой крышке, производило впечатление натюрморта в старофламандском стиле, отчего даже было боязно притрагиваться к произведению кулинарного искусства, — но господин полуполковник отродясь труса не праздновали!

И очень любили чанахи под сухое белое из знаменитых виноградников князя Голицына «Новый Свет». Этакая своеобразная демонстрация широты взглядов, душевного единения Кавказа с Крымом...

Волей шута-случая ресторация «Картли», открытая в Мордвинске соотечественником господина полуполковника, толстяком Датуной Саакадзе, находилась едва ли не напротив городского морга. Это если выйти из дверей, пересечь шумную Кацарскую улицу, где располагалась «Картли», пристанище гурманов, и сразу свернуть в Дровяной переулок.

Вон они, железные ворота морга.

Рукой подать.

Завсегдатаи ресторации, люди состоятельные и оттого обладающие определенным чувством юмора, принимали это обстоятельство весело и даже с некоторым удовольствием. Все смертны, и иногда полезно вспомнить о конце пути земного, дабы рюмка мадеры или нежнейшее чахох-

били показались вдвое вкуснее. Во всяком случае, толстяк Датуна сперва жаловался в городскую канцелярию на подобное нежелательное соседство (морг перенесли в Дровяной полтора года спустя после открытия «Картли», в результате пожара старого здания, где многие опознанные и неопознанные господа покойники удостоились совместной кремации). Сперва, значит, жаловался, взятки совал, а потом перестал.

К чему?

И ресторация пусть сомнительная, а слава!.. И служителям мертвецкой польза: днем, когда иных клиентов нет, обеды со скидкой, а вечером — развеселое эхо хора «Чявалэ» с оркестром, чтоб ночную смену коротать приятней было.

Родственники, забирающие из морга тела усопших, и те втихомолку радовались: пока обряжают любимого дедушку, глядишь, и стаканчик анисовой или там хереса опрокинуть успеешь, по-быстрому!

До поминок-то еще сколько ждать!..

...Господин полуполковник подцепили вилкой томный баклажан и улыбнулись собственным мыслям. Пожалуй, и для князя Джандиери лично соседство ресторации с временным приютом усопших на руку. Во всяком случае, сейчас: далеко ехать не придется. Перешел улицу — и на месте.

Символично, знаете ли.

— Осмелюсь побеспокоить вашу светлость! — У стола возник официант в черкеске с посеребренными газырями. Осиная талия официанта ловко переломилась в поклоне, и свет газовых рожков наискось резанул по металлическим набалдашникам. Вышколенный грозным хозяином, служитель «Картли» прекрасно знал, кого, когда и как следует величать. Вот и теперь: вместо служебного «ваша бдительность», полагающегося старшему офицеру жандармерии, да еще из Е. И. В. особого облавного корпуса, официант сообразил именовать знакомого гостя по титулу.

Это он молодец: господин полуполковник сегодня были в цивильном, запросто.

— Чего тебе?

— Там, внизу, господин вахмистр явились. Велели передать, как вы сами распорядились: доставили-с. Повели демонстрировать первую особу. Какие будут распоряжения?

— Передай: я скоро буду. Со второй особой обождать до моего появления. Свободен!

Это «Свободен!» в чувственных, но твердых устах господина полуполковника всегда звучало одинаково. После него любой, будь он лакей, чиновник акциза, статский советник или племянник городского головы, — да-с, любой вздыхал украдкой с облегчением, вытирал лоб и спешил испариться.

Умные люди.

Официант оказался не глупей прочих — исчез, растаял призраком после крестного знамения.

Спиной — нервами, кожей, дорогой тканью щегольского сюртука — господин полуполковник чувствовали... нет, видели: дверь, ведущая на кухню. Вот из щели высовывается круглая физиономия Датуны Саакадзе, распаренная жаром духовок, вот она безмолвно вопрошает: «Доволен ли?» «Да, доволен», — так же без слов ответствует официант, растягивая в улыбке не столько губы, сколь полоску тщательно подстриженных, лоснящихся усиков. Доволен, пребывает в расслаблении; нового заказа скорее всего не воспоследует.

Датуна счастливо кивнул, поверив.

И здесь он совершил промашку, этот хлебосольный толстяк, чье заведение в некотором смысле скрашивало господину полуполковнику пребывание в захудалых мордвинских пенатах.

Зря поверил.

— Датуна!

— Да, ваша светлость!

Толстяк говорил почти без акцента, без того гортанного клекота, что сразу выдает горца, — но к столику он подлетел орлом.

Мгновенно.

— Знаешь, Датуна, я скоро уйду. Но я и вернусь... скоро. — Господин полуполковник насладились гримасой легкого испуга, вызванного двусмысленностью заявления, и продолжили, вертя в руках тонкостенный бокал: — Я вернусь не один. С дамой. Будь уж любезен, зарезервируй за нами вон тот столик, в нише. И сделай так, чтобы мы остались довольны. Ну, ты понимаешь...

Сильные, поросшие рыжим волосом пальцы сделали в воздухе неопределенный жест.

Не слушая заверений толстяка, господин полуполковник пригубили вино. Покатали благодатный дар лоз на языке. Слегка поднятая бровь — и взволнованный Датуна исчез за дверью, делать так, чтобы почетный гость «остался доволен», с какой бы дамой он ни соизволил явиться, хоть с самой царицей Тамарой.

Господин полуполковник встали.

Пора.

Да, напрасно все-таки тупицы из Государственного совета пренебрегли его докладом. И вдвойне напрасно сочли его рапорт с просьбой о переводе в Мордвинск выходкой оскорбленного невниманием аристократа, чей темперамент дурно влияет на рассудительность.

Иногда стоит на время уйти в тень, чтобы вернуться с триумфом.

В роду Джандиери это понимал любой.

На лестнице господин полуполковник поймали себя на странном, но несомненно приятном ощущении. Оказывается, Шалве Теймуразовичу нравилось быть не главным действующим лицом драмы, а закулисным кукловодом, дергающим марионеток за веревочки в самые неподходящие, на их марионеточный взгляд, моменты.

Но чтобы понять это, оказывается, понадобилось сорок с небольшим лет жизни, полной исключительно действия, и едва ли не полгода прозябания у черта на куличках.

Чудны дела твои, Господи...

XII. РАШКА-КНЯГИНЯ, или ЧТО СКАЖЕТЕ, ГОСПОЖА АЛЬТШУЛЛЕР?

> Ты удалил от меня знакомых моих, сделал меня отвратительным для них; я заключен и не могу выйти.
>
> *Псалтирь, псалом 87*

Ворота были из крашенного суриком железа, ржавые, все в каких-то вмятинах с неровными краями. И рядом, у левого столба, на тротуаре, сиротливым болваном — маленькая, по грудь, скифская баба-курганка без лица.

Откуда? Зачем?!

Всю дорогу ты ощущала себя вот такими воротами. Старость, равнодушие — в ту ли, в иную сторону... вмятины. Воротами, ржавчиной, дурацкой бабой из ноздреватого камня; не человеком. Весь долгий, бесконечный путь от купцова рояля до мордвинских окон, всю ночь без сна, проведенную в холодном участке (привалясь головой к твоим коленям, постанывал Федюньша, оруженосец верный, — дурное снилось!). Все утро до полудня, пока ждали невесть чего, даже допрашивать брезговали, мытарили скукой, не зная, что скука для истасканной каторжанки — спасение, пыльное одеяло, которым можно укутаться с головой и не думать, не знать, не понимать...

Понимать было страшно.

Уж лучше скука... баба... ворота.

— Отворяй, требушачье племя!

Двор. Выложен крупным булыжником. Цокает копытами лошадь, участливо выделенная Ермолай Прокофьичем, человеком души тонкой, можно сказать изысканной. Телега подпрыгивает; жалуется.

— Прошу следовать за мной!

Обвиснув телом на младом Сохаче — что такое, Княгиня? Ты шутишь?! Нет, показалось... — ты пересекаешь двор. Жандармский вахмистр сопровождает тебя, указывает дорогу: малое фойе, все в чудовищных изразцах траур-

ных тонов, лестница вниз, угрюмый коридор, дверь, обитая коричневым дерматином.

На двери номер: «13».

К удаче.

— Присядьте и обождите! Я скоро вернусь...

Вахмистра больше нет. Он ушел. Вместо него — усатый жандарм, много старше тебя. Пора в отставку; к теплой булочнице под бочок. Усач, как и вахмистр, не из облавных, обычный рядовой «хват»: для петлицы с мечевой руной рожей не вышел. Уйти ничего не стоит. Пустить седую пыль в глаза, и уйти — до ворот.

До мятых, как с похмелья, ворот.

Обратно ведь принесут — это морг, покойников именно сюда носят.

Ты сидишь на кушетке, упершись взглядом, будто костылем, в пол.

Молчишь.

Напротив, примостившись у краешка огромного стола из мрамора, — старенький дед-сторож. Осторожно, стараясь не пролить ни капельки, разливает чай по жестяным кружкам. Они с жандармом о чем-то говорят, посмеиваются, перебивают друг дружку, но тебе не слышно. В ушах — вата. Тугие комки. Отчего-то вспоминается: давняя, еще столичная история. Когда профессор Нейдинг читал студентам в анатомичке, в Мясницкой части, лекцию над трупом: видите, мол, господа, признаков насильственной смерти нет! Студенты расступились, вперед выбрел древний сторож по прозвищу Волк. «Что ж это вы, — шамкает старичина, — Иван Иванович! Да как же нет?!» Перевернул труп, указал перелом шейного позвонка. «Нет уж, — подытожил, — дорогой Иван Иванович, не бывает, чтоб с Хитровки присылали неубитых... Нет-с, увольте, никак не бывает...»

Вспомнилось; забылось.

Рядом охает Федюньша.

Оказывается, ты и не заметила, как сама собой исчезла вата из ушей.

— А ты, бугай деревенский, брось кряхтеть! — как ни в чем не бывало продолжает жандарм, путая ухмылку в ржаных

усах. — Так и доложили: размазало поездом вчистую, идите, ребятушки, собирайте! Мы и пошли: я, Егорыч, и скубент из этих... ну, которые трупы для судейских потрошат?..

— Судебный прозектор.

Это ты, Княгиня? Нет, это правда ты?!

Правда.

— Во-во, я ж и говорю: скубент! На практике. А ночь гнилая, дождем со снегом полощет, сечет... Лазим мы это по рельсам, на карачках (сторож сочувственно хмыкнул); собираем, значит. Собрали, в казенные мешки покидали — и обратно в участок. Сгоняли Егорыча в «шланбой», где водкой-безакцизкой по ночам торгуют, ежели душа горит... Егорычу там завсегда почет. Сидим, пьем. Греемся. Скубент и вовсе закосел. Ан тут летит к нам курьер: что ж вы, сукины-рассукины дети, все, окромя головы, собрали?! Живо! Ну, мы скубента и отправили — он самый теплый, ему и искать. И спичку он вытащил: из трех длинных — длинную. Через час ворочается. Трезвый и смеется.

— Смеется? — в священном восторге осмеливается спросить Федюньша.

Жандарм только бровью повел:

— А то! Рассказывает: нашел голову у насыпи, а куда спрятать, не знает. Мешок по пьяному делу забыл. Не в карман же класть?! Да и не влезет. А вертаться и по новой туды-сюды — себе дороже!.. Взял, значит, от лихости хмельной прямо за буйны кудри — и по шпалам обратно. Глядит: навстречу кодла валит. Может, с дела, а может, так... Атаман скалится: «Слышь, фраерок, курнуть не сыщется?» Намекает, стало быть. Скубент-то не наш брат, служивый: пальтишко на ем драповое, беретик с хвостиком... А парень возьми да и брякни с перепугу: «Вот, один уже докурился!» — и башку, поездом отрезанную, атаману в рыло! Как кодла исчезла, сам не помнит. Вроде бы и стояли, и скалились — никого нету, один ветер свищет... не разобрали, видать, в темноте, что башка-то бабская...

— Голову! голову принес? — деловито интересуется сторож, шумно прихлебывая чаек-горлодер.

— А куды она, родимая, денется? Принес. Сам же потом и пришивал...

А в блеклых, водянисто-мокрых глазках сторожа из мордвинского морга — вглядывайся, не вглядывайся! — мелко плавает:

...клеенка.

Рядом — угол стены; кафелем облицован. Откуда-то сбоку большой палец ноги выпятился: сам палец синий, на нем бирка, тоже клеенчатая, фиолетовыми чернилами испачкана. На клеенке стакан примостился; налит всклень, с краями. Немного водки пролилось, и в резко пахнущей лужице мокнет ломоть ржаного хлебушка: пористый, ноздреватый, на горбушке пять зернышек тмина.

Это, значит, хорошо.

Сейчас хорошо, а будет еще лучше.

* * *

— Встать!

Вахмистр пинком распахивает дверь. Окрик его мгновенно подымает на ноги словоохотливого жандарма, да еще тебя — жизнь барачная приучила. Откуда и силы взялись? Сторож с Федюньшей припоздали малость: замешкались. Впрочем, вахмистру на это плевать.

Подойдя к тебе, он зачем-то щелкает каблуками и коротко, по-офицерски кланяется:

— Госпожа Альтшуллер!

Обращение, от которого довелось отвыкнуть — все больше по-иному величали, — удивило.

Но не слишком.

Удивляться, радоваться, сокрушаться — что это? как это?!

— Госпожа Альтшуллер! Сейчас вам предъявят для опознания тело женщины, погибшей позавчера ночью под колесами поезда. Прошу учесть: ваши показания имеют существенную важность для следствия! Об ответственности предупреждать не буду: сами знаете. Вы готовы?

Ты кивнула.

Кажется.

Вахмистра это вполне удовлетворило.

— Митрич, валяй!

Сторож мышью шмыгнул куда-то вглубь. Скрип петель, невнятные проклятья; тяжко просела под невидимым отсюда телом каталка. Мертвые — они тяжелые. Это правда. Живые куда легче, живым все чего-то хочется, все вверх тянутся, сами себя за уши... Глупцы.

Взвизгнули колеса по кафелю.

Вернувшийся сторож ловко перетягивает укрытую клеенкой покойницу на мраморный стол. Глядит на вахмистра: снимать ли?

— Итак?

Клеенка с шуршанием соскальзывает на пол.

Ты смотришь.

Ты в недоумении.

Совершенно незнакомая женщина лежит перед тобой во всей своей ледяной, бесстыдной наготе. Резко проступают наспех сделанные швы — в тех местах, где кривая игла сшивала отрезанные части. Лицо женщины сохранилось в неприкосновенности: обычное лицо, миловидное... было. Этого лица испугался атаман кодлы, если верить болтуну жандарму. Левый глаз слегка сощурился, подмигивает тебе: что, Княгиня, не меня ожидала? Ну ладно, и на старуху бывает проруха...

«Тело женщины, — всплывает из глубин фраза вахмистра, — погибшей позавчера ночью... под колесами...»

И все-таки удивление приходит. Как — позавчера ночью? Почему? Быть не может?! Это, выходит, ночью подобрали, утром сшили, а к часу дня урядник Кондратыч уже несся по Кус-Кренделю, мучая шпорами жеребца?! Как это он поспел? Когда его предупредить успели?! Когда послали за тобой для опознания?!

Неужели заранее? *До* смерти?!

Поезд еще только раскидывал по полотну останки несчастной, а по урядникову душу уже несся особый курьер?!

Как это? Возможно ли?..

Удивление вспыхивает римской свечой на фейерверке — и гаснет, пыля редкими искрами.

Какая разница?

— Вам знакома эта женщина?

— Нет.

Она тебе незнакома. Лишь бренчит на самой окраине мелочишка былого мастерства: перед тобой фартовая Пятерка. Еще не вышедшая в Закон; чья-то крестница. И масть твоя, бубновая. Это точно; это наверняка. Но господину вахмистру сообщать об этом не стоит. Мало ли Пятерок Бубен оканчивают земной путь под колесами? Наверное, не так уж мало.

И еще что-то грезится тебе: что-то дикое, о чем думать не хочется.

Ты и не думаешь.

— Итак, вы уверждаете, что впервые видите предъявленную вам для опознания?..

— Впервые.

— Хорошо-с, госпожа Альтшуллер! Очень хорошо-с! Извольте обождать, я скоро...

И, снова дернув шеей в поклоне, вахмистр исчезает.

— Можно и мне... чаю... — спрашиваешь ты.

— Можно, — милостиво соглашается усатый жандарм, а сторож выволакивает из-под стола с покойницей еще две кружки: тебе и Федюньше.

Парень смотрит на все это круглыми от испуга глазами.

— Выйдешь? — спрашиваешь ты у него. — На воздух, а?

Он только головой мотает.

Здесь, мол, останусь.

Здесь.

Тебе все равно. Пусть сидит. Чай горячий, сладкий; время горячее, сладкое, тянется медовой патокой. Глядишь, все выйдет-вытечет, без остатка. Кажется, ты начинаешь дремать. Там, в дреме, тихо, там хорошо; там рояль медленно шевелит клавишами — си, ре-диез... Аккорд, другой, затем ровной нитью кантилены вступают скрипки и гобой... кружатся пары, сшитые намертво суровой нитью «скубента»-анатома, кружатся, смеются синими ртами... свечи горят...

А хотите — заставлю свечи пылать багрянцем заката над рекой?

Хотите — с ума сведу?! петь кочетом заставлю?!

Хотите?!

«Хочу...» — еле слышный смех.

Холод. Лютый, февральский; барачный. И через всю дрему, в силе и славе, идет он: полуполковник Джандиери, ловец, настигший дичь.

— Вы танцуете, госпожа Альтшуллер?

Тишина.

Где скрипки? Где фагот? Гобои где?!

Ты открываешь глаза, надеясь проснуться.

Тщетно.

* * *

— ...Вы не ожидали нашей встречи, милая госпожа Альтшуллер?

Он стоит перед тобой. Смуглый, широкоплечий красавец, одетый почему-то в цивильное. Толстые пальцы вертят брелок: знакомая рука из бронзы сжимает меч. Лицо господина полуполковника дышит радушием: ни дать ни взять встретил приятную знакомую.

И не в морге — на бульваре, летом.

Князь Джандиери берет у тебя чашку с чаем; брезгливо принюхивается.

— М-да... изрядная дрянь, однако.

Сторож с жандармом угодливо подхихикивают: да-с, дрянь, ваша бдительность, сами удивляемся — как еще пьем-с?!

— С меня обед, милая госпожа Альтшуллер! Надеюсь, вы позволите хоть этой мелочишкой искупить вашу дальнюю поездку, да еще в телеге вместо крытого экипажа! — я видел вашу... э-э-э... повозку, там, у крыльца. Сочувствую, поверьте, сочувствую всей душой.

Ты встаешь.

И смотришь, будто со стороны: твою руку, дряблую, с иссеченной порезами кожей, не спеша подносят к губам.

Как раньше.

— Я вижу, вы согласны. Только перед этим нам надо завершить маленькую формальность. Так, пустяки...

Короткий взгляд в сторону жандарма. Усач вытягивается во фрунт, толкает локтем сторожа. Миг — и тело убрано со стола, покрыто клеенкой; вот каталка дребезжит, удаляясь.

Чтобы вскоре вернуться, как возвращается расторопный официант: с новой порцией.

Тяжелое предчувствие наваливается, ледяной рукой насильника сдавливает грудь, шарит под одеждой. Старый трюк: того, кто ждет, сначала расслабь, отвлеки — разговором, ложной ошибкой, безразличием, — чтобы затем даже пощечина показалась топором палача. Старый, но оттого не менее действенный трюк. Ты в углу, ты — крыса перед сворой фокстерьеров-душителей, мелкая доходяга, чьей гордости — длинный хвост да тщетный оскал...

«Даже крысу не стоит загонять в угол», — думаешь ты невпопад, пока сторож снимает клеенку.

Тело перед тобой страшно обезображено. Не надо иметь никаких особых талантов, чтобы понять сразу, с ослепительным ужасом: над этой женщиной глумились долго и изобретательно. Выжженные глазницы; на лбу тщательно вырезан бубновый туз — некогда кровавый, сейчас он скорее синюшный, выпячивается дешевым крапом. В полуоткрытом рту почти не осталось зубов, на правой руке всего два пальца — остальные обрублены; на левой пальцев нет вовсе, просто торчат уродливые култышки, напоминая собачью лапу.

Нет, ты не отвернулась.

Смотрела.

И даже не вздрогнула, когда за спиной, не в силах совладать с тошнотой, ринулся в дверь захлебывающийся Федюньша.

Ему простительно; ему, ветошнику, а не Бубновой Даме.

Не магу в законе.

— Вам знакома эта особа, милая госпожа Альтшуллер?

Вопрос еще придется повторить. Потому что ты думаешь о том незваном припадке, который рухнул на тебя у купцова рояля: помнишь? — глаза вдруг обожгло, залило огненными слезами, а дыхание скомкалось и исчезло надолго, когда ладони вдруг превратились в беспалые кулаки. Ты еще била, била, била наотмашь по клавиатуре, заставив инструмент взвыть голодной волчьей стаей — и не в силах остановиться...

Да, ты помнишь.

Ты всегда знала о себе: «Я сильная». Всегда: в деле, на каторге, в кус-крендельской глуши. Знание было простым и в некоторой степени раздражающим. Помнишь: давно, по молодости, сложилось от тоски, в усыпанном палой листвой имении случайного любовника:

— Тот, кого считают сильным,
Знает: сильных не жалеют.
Дескать, жалость унижает,
Дескать, жалость ни к чему.
Сильному наградой — сила,
И осенние аллеи,
И еще...
А впрочем, хватит.
Слишком много одному.

Но ведь ты же никогда не знала, до каких пределов ты сильна на самом деле. Оказалось, это жутко: вот так стоять и смотреть, слушая тихий голос полуполковника Джандиери, молчать и даже не согласиться выплеснуть себя без остатка, единым махом, чтобы уйти навсегда.

...Ведь теперь тебе нельзя просто так уйти?

...Ведь нельзя же, правда?!

...Ведь ты сильная, Княгиня, будь ты проклята?!

— Те, кому наградой — сила,
По привычке зубы сжали,
По привычке смотрят прямо
На любой пристрастный суд.
Слабым вдвое тяжелее —
Им нести чужую жалость
И еще...
А впрочем, хватит.
Слабые не донесут.

...Хотя почему «будь»? Ты уже проклята.

— Итак, спрашиваю еще раз: вам знакома эта особа?

— Да.

Свобода начинается со слова «нет»; но иногда, очень редко, она все-таки начинается со слова «да».

— И кто же это?

— Елена Запольская, известная вашему ведомству как Ленка Ферт.

Вот и встретились, Ленка.

Ну, здравствуй, отчаянная Девятка.

— Проходившая с вами по одному делу, после которого вы отправились на каторгу?

— Да, проходившая. Но освобожденная судом от уголовной ответственности за недостаточностью улик. Впрочем, если я не ошибаюсь, была оставлена под подозрением.

Господин полуполковник иронически вскидывает бровь. Ему весело. У него хорошее настроение. От господина полуполковника пахнет хорошим вином и вкусной, пряной пищей. Даже здесь, в морге, от него пахнет так.

— Вы знаете, милая госпожа Альтшуллер, меня всегда удивляло одно обстоятельство. Еще с юношеских лет. Вы не спросите — какое? Нет, вижу, вы не спросите. Тогда я скажу сам, совершенно не стесняясь присутствием этих господ...

Кивок в сторону сторожа с жандармом, и оловянные взгляды в ответ: «Мы немы, ваша бдительность! Мы глухи, слепы и немы!»

Как труп на столе.

«Вытащу, мать! Разобьюсь, холера ясна, а вытащу!.. Сыграем еще в четыре руки?»

— Меня смущает необходимость законности приговоров над такими, как вы. Меня смущает упрямство Государственного совета, чья косность подобна косности святого Аввакума, благословенна память его! Меня смущает необходимость всякое судебное заключение, где фигурирует статья за «эфирное воздействие», освящать печатями епархиальных обер-старцев, этих упрямых скуфейников. И наконец: все это смущает меня трижды и четырежды, поскольку при нарушении сих и некоторых иных правил приговор не обретает необходимой силы.

Пауза.

Сторож внимательно смотрит на мертвую Ленку Ферт; жандарм — в пол; ты — на господина полуполковника.

Федюньша до сих пор не вернулся.

— Вы ведь прекрасно осведомлены, госпожа Альтшул-

лер: осуди мы вашу подельщицу, презрев отсутствие доказательств или состава преступления, — вы обе уйдете из камеры в течение ближайшего часа. Если, конечно, не исчезнете прямо из зала суда. Откажись обер-старец от имени епархии или Святейшего Синода ставить свою печать на приговор — а он откажется, если усомнится в беспристрастности судебного разбирательства, уж будьте уверены! — результат будет такой же.

Ты слушаешь не перебивая, и что-то в лице твоем не нравится господину полуполковнику.

Он становится многословен.

Он становится суетлив.

Это так не идет великолепному князю Джандиери, и князь понимает это. Он успокаивается; проводит пальцами по усам. И кажется: искалеченное тело Ленки Ферт на стылом мраморе тоже внимает пылкой речи облавного офицера.

Не грусти, подруга: я и в две руки сыграю, как в четыре.

Спасибо тебе, и еще раз — не грусти.

Поезд везет в ад; там свидимся.

— Полагаю, милая госпожа Альтшуллер, нам, то бишь стражам общества, приходится лечить последствия — тогда как следовало бы устранить причину. Я имею в виду отнюдь не введение смертной казни за любую попытку «эфирного воздействия», как ратуют сумасброды-фанатики. Это лишь привело бы к анархии и насмешкам над властью. Ведь согласитесь: повешение циркового фигляра, уличенного в противозаконном методе глотания шпаг... Фарс! Комедия! Нет, я имею в виду другое...

Господин полуполковник умолкает.

Моргает болотными глазами.

— Я заказал вам нумер в гостинице, госпожа Альтшуллер. Вполне приличный нумер; за казенный счет. С портье оговорено: ваш... э-э-э... ваш чувствительный Санчо Панса переночует в каморке тамошнего слесаря. Надеюсь, он не привык к кроватям под балдахином? Нет? Ну и славно! Сейчас мы с вами посетим «Картли» — это единственная ресторация в здешней глуши, которая заслуживает внимания! — после чего вы вольны будете располагать собой до

вечера. Потом, как я уже имел честь говорить, — гостиница.

— А утром? — спрашиваешь ты, проглатывая машинальное «ваша бдительность». — А утром, князь?..

И улыбаешься: ярко, ослепительно... расчетливо.

Улыбка не должна отнять последнее.

Князь Джандиери улыбается в ответ:

— А утром, ссыльная Альтшуллер, вы сядете в вашу телегу и отправитесь к месту поселения. После чего забудете навсегда о моем существовании, равно как и я — о вашем.

Он врет.

Вы оба знаете это.

XIII. ДРУЦ-ЛОШАДНИК, или ЛЕСНАЯ ХАВИРА

Я мирен: но только заговорю,
они — к войне.

Псалтирь, псалом 119

— Вставай, варначина! — Тебя беззлобно, но чувствительно ткнули под ребра. — Стал-быть, на порубку пора.

Филат был на удивление трезв, бодр, и даже похмелья особого в нем не ощущалось. А ведь набрался-то мужичок вчера с понятием!.. Неужто до вечера протрезветь успел?

Об этом ты мог лишь гадать: когда телега с Княгиней и Федькой, а также сопровождавший их верхом урядник скрылись из виду, ты еще стоял минуту-другую посреди купцова двора. Гвалт ветошников мимо ушей пускал. А потом направился прямиком к ухарю приказчику и купил у него в счет жалованья или казенного довольствия бутыль красноголовой «монопольки».

Закуску? Да, возьму... Вон ту луковицу дай.

Хватит.

В итоге к вечеру ты был не лучше дневного Филата, который к тому времени вполне уже мог протрезветь. А вот то странное обстоятельство, что, протрезвев, хозяин дома не напился немедленно по новой, — удивляло.

Сивуха кончилась? Пелагея-гроза муженька в оборот взяла?..

Бодун колотился рогами в стенки черепа, спина хрус-

тела и ныла пуще обычного, пальцы закостенели еловыми сучьями — до Филата ли теперь?! Ты вяло проглотил несколько ложек остывшей каши, запил остатками кваса, обулся — и побрел вслед за шустрым, уже успевшим собраться хозяином.

Каждый шаг тупо отдавался в висках. Мир вокруг тошнотворно покачивался, изредка норовя совсем завалиться набок. В мозгу тяжко ворочались шершавые булыжники вместо мыслей: «Что ж с Рашкой-то за погибель стряслась? Оклемается ли? И за каким бесом ее в город потащили? Настучал кто-то насчет медведицы? Тогда — почему не обоих?..»

От этого допроса, где ты сам спрашивал и сам в молчанку играл, голова вовсе шла кругом. Даже шагавший впереди Филат в конце концов остановился, жалостливо скосил на тебя хитрый глаз:

— Што, совсем худо, паря? Тута речка рядом. Умойся, што ли?! Полегчает.

Ты огляделся. Места вроде незнакомые. Хотя речка — вон, слышно, как шумит-плещется. Небось к лесосеке с другой стороны вышли, только и всего. А умыться — это Филат прав. Авось и вправду полегчает.

Ну, Друц!

Проломился напрямик сквозь редкий багульник, поскользнулся на мокрой гальке — но устоял. Медленно, со скрипом, опустился на четвереньки, сунул лицо в студеную, прозрачную воду.

Действительно, стало легче. Ты поднял голову, шумно переводя дух — и лишь в последний миг успел почуять неладное.

Опоздал.

Даже не больно было: просто фейерверк перед глазами, громоподобный топот копыт вдали (табун? откуда?!) — и тьма удовлетворенно сомкнула челюсти.

* * *

— ...Может, он ва-аще окочурился?!

— Вре-ошь! У ихнего брата башка крепкая. Рази ж такой мозгляк проломит?

— Коний вор, сказывают? У коньих воров ребра двойные и, кубыть, башка тоже...

— Ча-аво-о? Зенки протри, Карпуха! Где ты двойные бóшки видал?! И у энтого башка одна...

— Одна-то одна, да крепче вдвое, чем у прочих!

— А-а...

Сомнительно, чтобы так переговаривались между собой черти в аду. А уж ангелы на небе — и подавно. Значит, ты еще здесь, на грешной земле. Уй-й-й, как голова-то болит, бодун за счастье покажется! Лучше бы в ад, ссыльнокаторжным грешником! Или на худой конец в острожное чистилище — в рай-то тебя точно не пустят. Хотя твой крестный, старый Ефрем Жемчужный, чьим именем ты изрядно попользовался после смерти учителя, полагал иное: земля наша и есть чистилище... Ох, горит все пламенем! Неужто Филат тебя так звезданул?! Вот ведь падла! Ну все! Ежели встанет на ноги Валет Пиковый, ежели сподобит святая Марта-заступница — кранты ветошнику!

От злости полегчало, и ты с усилием приоткрыл один глаз.

Левый.

— Я ж говорил — оклемается! Што, варнак, очухался?

Вместо ответа вышло лишь невнятное мычание.

Ты разлепил второй глаз.

Мутные тени. Неясные пятна света и тьмы. Ничего не разобрать. Неужто подлый удар тебя зрения лишил?!

Липкая волна животного страха плеснула снизу, из чрева, оттуда, откуда обычно исходила Сила.

Обожгла, опалила.

С перепугу ты рывком сел.

Тело сразу повело в сторону; пришлось ухватиться за неструганое дерево стены, загнав в ладонь занозу. И дурацкая, мелкая, пустячная боль вдруг отрезвила. Голова по-прежнему раскалывалась, но размытые тени обрели ясность.

Слава богу, хоть глаза видят!

Машинально попытался выдернуть занозу. С четвертого раза это удалось. Только затем поднял взгляд; медленно, стараясь не делать резких движений, шевельнул головой, осматриваясь.

Изба. Срублена топорно (во всех смыслах), но на совесть. Сто лет простоит. Печь. Свежебеленая; правда, на скорую руку. Вдоль стен — лавки. Стол. За столом — двое. Один — косматый здоровила в армяке: нос сломан, ноздри вывернуты, торчат по-кабаньи, глаз под косматыми бровищами и не разглядеть. Сидит, смолит цигарку, смотрит на тебя сквозь дым.

Молчит.

Второй — вместо бороды какие-то редкие перья, сам щуплый. Отчего-то — в солдатской шинели без нашивок. Выколачивает трубку о столешницу, время от времени зыркает в твою сторону, щурится со значением.

А с каким — хрен поймешь.

Ага, вон и третий: дрыхнет на лавке в углу, у самой печки, укрывшись одеялом. Одеяло, на удивление, новое, шерстяное. Теплое, должно быть.

На столе ружье лежит. И не какой-нибудь бердан раздолбанный, а тульская двустволка, что осечек обычно не дает. Так, вон еще одна подруга — на стене висит. Ай, баро, приглядись: не ружье — карабин армейский! Откуда? Охотникам ведь не положено...

— Вижу, очухался, — удовлетворенно кивнул сам себе щуплый. — Как башка, болит?

— Песни поет. — На этот раз ответ вышел вполне членораздельным.

Злым он вышел, ответ-то.

— На-кась, хлебни — попустит...

Щуплый извлек из-под стола закопченный котелок и протянул тебе.

Надо было встать, чтобы подойти, чтобы взять проклятый котелок, но сил не было. Щуплый видел, как тебя ломает; видел, да помочь не спешил.

«На вшивость проверяет, — понял ты. — Ладно, подавись, с-сука...»

С неимоверным усилием переломив слабость, ты встал. В глазах на миг потемнело. Чтобы не упасть, пришлось вновь ухватиться за стену. Хорошо хоть, вторую занозу не загнал...

Взял котелок.

Рухнул на лавку за столом, напротив щуплого. Из котелка пахнуло травяным запахом. А-а, хуже все равно не будет! Настой оказался терпким, сильно горчил. Тебя едва не стошнило, но ты заставил-таки себя сделать пять-шесть глотков.

Благодарить не стал — молча вернул котелок.

Снаружи послышался отдаленный перестук копыт.

— Силантий, глянь, кого черт несет, — вполголоса бросил щуплый.

Познакомились, значит: космач — Силантий, «шестерка», а щуплый, стало быть, тот Карпуха, что про коньих воров все тайны знает.

ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ

Посмотрите, обязательно посмотрите в глаза Карпухе! Только незаметно, исподтишка, и тогда увидите:

...заяц.

Мертвый заяц на чурбане, поставленном стоймя вместо стола. Жилистая, короткопалая рука придерживает тушку; сверху опускается нож — тяжелый, с широким обушком. Хруст, и длинноухая голова падает в заранее подставленную бадейку. Заяц вздергивается за задние лапы. Течет кровь: немного и недолго. Потом нож деловито вспарывает брюшину, делает надрез вдоль хребта — и пальцы начинают обдирать серую шкурку, обнажая желтоватые прослойки и светло-красное мясо.

Шкура-то линялая, бросовая, чего ее жалеть — дери как получится!

Хочется есть.

* * *

Здоровила молча поднялся, снял со стены карабин и вышел вон.

Вернулся быстро.

— Ермолай Прокофьич, однако!.. — В писклявом, чудном дисканте Силантия стыло недоумение.

Ты усмехнулся.

Купец вошел в избу уверенно, как хозяин. Коротко кивнул Карпухе с Силантием, покосился на спящего в углу третьего мужика.

Нарочито передернул плечами:

— Штой-то холодно тут у вас. Пошли бы дровишек нарубили, што ли? И Петьку будите да с собой берите — чай, втроем-то веселее, шиш лесной!

Пока будили Петьку, Ермолай Прокофьич уселся за стол напротив тебя и как бы между делом пододвинул к себе лежавшую на столешнице двустволку, так что та легла купцу как раз под правую руку.

Разговор намечался серьезный.

Да куда уж серьезнее — огрели по башке, приволокли в какую-то лесную хавиру (то, что вы не в селе, и убогому ясно!)...

Наконец дверь избы в последний раз противно скрипнула, и вы с купцом остались с глазу на глаз. Помолчали. Тебе уже спешить некуда. Раз купчина эту кашу заварил — пусть теперь первый и речь держит.

— Ну што, Дуфунька, башка цела? Мозгой шевелить могешь? — поинтересовался мил-друг Ермолай Прокофьич.

В ответ ты только смерил купца взглядом — и ничего не сказал.

— Ты не зыркай-то, не зыркай! — непонятно с чего разозлился вдруг купец. — Ты словами отвечай!

Пусть злится.

Авось сболтнет от злости то, чего говорить не собирался.

Голову потихоньку отпускало: помог-таки настой! Вместо уходящей боли внутри черепа образовывалась гулкая пропасть — кинь мыслишку-камешек, вовек до дна не долетит!.. Но думать эта пропасть, как ни странно, не мешала.

— Не нравишься ты мне, Дуфунька, — задумчиво протянул Ермолай Прокофьич, словно и не к тебе обращаясь. — Еще с изначалу не глянулся...

— Зачем же тогда клинья подбивал? горбатого лепил?!

— Кого лепил?! Ты это по-каковски, шиш лесной?

— А сам догадайся, раз умен.

— Ты мне, Дуфунька, не дерзи! Аль не понимаешь, што я теперича всей жизнишке твоей, считай, полный хозяин? Захочу — оставлю белый свет коптить, захочу — удавить велю!

— Врешь. Хотел бы кончить — я б сейчас сковороду в пекле задом протирал. Выходит, нужен я тебе.

— Вижу, оклемался. Соображаешь. — Купец довольно хлопнул себя ладонью по ляжке. — А насчет «нужен» — твоя правда. Для того сюда тебя и приволокли.

— Добром не мог, что ли? — Ты осторожно ощупал голову.

Волосы на затылке запеклись от крови.

— Не мог, Дуфунька, никак не мог! — Ермолай Прокофьич доверительно перегнулся к тебе через стол; однако перегнулся с умом, так, чтобы до него самого нельзя было дотянуться. — Кто ж добром себя под петлю подводить станет? А теперь уж деваться тебе некуда, шиш лесной! Обратная дорожка заказана. Беглый ты теперь, друг ситный! Беглый и вор — коня у меня свел. Ить все знают, что ты — коний вор!

— Это какого еще коня? — недобро сощурился ты. — Да на твоих «тыгдынцев» ни один лошадник, хоть простой, хоть в законе, не позарится! Кореша засмеют потом.

— Вот ты уряднику эту байку и расскажешь. Ежели он тебя слушать захочет. А то ведь Кондратыч как увидит — сразу с левольверта и стрелит! Ты нынче в бегах, а беглого всякий стрелить должон, живьем тебя брать без надобности. А даже и не стрелит — кому урядник или пристав поверит: тебе, каторжнику, или мне?

Ты помолчал.

Только взглядом спросил: зачем?

— А штоб не трепал ты лишнего! А то еще и доносить побежишь, штоб себя-то выгородить, шиш лесной...

— Дурак ты, Ермолай Прокофьич! — в сердцах сложилось само, без отступного. — Хоть и в атаманы норовишь, а дурак чистый! Где ж видано, чтобы маг в законе стучал на кого?! За такое свои же на перо и подсадят...

— Гладко стелешь, Дуфунька! — зашипел купец: видать, крепко обидел ты его, назвав дураком; ну и пусть

шипит, хуже все равно не будет, потому что хуже некуда. — Да только знаю я: у вас, мажьего семени, свои законы и для своих писанные! Друг дружку вы, может, и не продадите, зато я — не вашей породы! Считай, закон ваш не про меня! Вот прижмут тебя, шиш лесной, в кутузке, так сразу и припомнишь: как Ермолай Прокофьич вас, ссылочных, привечал, да на санях подвозил, да водкой потчевал, а потом с Рашелькой-колодницей разговоры тайные вел, тебя отославши! А Рашельку урядник в город увез, да еще спешно! Тебя-то не тронули, ты вроде как чистенький. Да только ежели за ней, за бабой, есть грех — так и тебя на дознание потянут. Вот тут-то ты и постараешься, себя спасаючи! Небось все припомнишь, и што было, и чего не было!..

Купец с усилием перевел дух.

Ты по-прежнему молчал. Ждал: что еще скажет. Как ты и надеялся, от злости купчина начал выкладывать карты одну за другой (чего поначалу явно делать не собирался), и расклад был нараспашку.

Говори, говори, Ермолай Прокофьич.

А мы послушаем.

— Только теперича никак такому не бывать, шиш лесной! Потому как беглый ты. Ну а я, выходит, пострадал за доброту свою же: ссылочного приветил, поверил, думал — человеком стал. А он у меня коня свел и убег восвояси!

— Складно выходит, — кивнул ты, забывшись, и шея мигом напомнила о себе болезненным хрустом. — Значит, куда ни кинь — всюду клин? И ты, Ермолай Прокофьич, не дурак, а на диво разумен и ловок? Ай, баро рай[1], ай, сладкий мой! Ладно, меня ты конем да побегом повязал, в хавиру эту упрятал. А Рашель?

— А што — Рашель? — искренне удивился купец. — Я ей и взаправду ключницей у себя быть предлагал. Да ежели б даже и не предлагал, што ж она, дура — на себя лишку валить?! Это, брат Дуфунька... как его... это ведь сговор выходит!

Все верно. Если есть тайный грех за Княгиней — не

---

[1] Баро рай — большой барин (*ром.*).

станет она купца приплетать. Однако до полного расклада оставалась еще одна, последняя карта.

Меченая.

— Ну и почему же людишки твои меня сразу с камнем на шее в болото не кинули?

— А потому, што завсегда успеется. В Кус-Кренделе твоя рожа варнацкая да язык длинный не ко двору пришлись. А тут, в чащобе, — в самый раз. В артель, значит, тебя определить хочу.

— В артель? С Карпухой-Отцом, Силантием-Сыном да Петром-Духом Святым?!

— Што, не глянулись? Лихие мужики, навроде тебя, разве што не мажьего семени.

— А какого? Разбойного?

— Да сам-то ты кто есть, Дуфунька? К лицу ли кочевряжиться?!

— Вижу, не зря я тебя в атаманы назначил. Раз кодлу под собой держишь — значит, атаман и есть. «Иван»[1] Ермила, шиш лесной, таежный. И что, не из последних?

— Из последних?! — едва не вскипел новоявленный «иван». — Да на сто верст вокруг, до самого Мордвинска, мое слово — железо! Из последних...

— А урядника, однако, боишься, — не удержавшись, поддел ты купца.

— Вот для того мне маг в законе и надобен. Штоб не бояться. — На этот раз Ермолай Прокофьич ничуть не смутился.

— Видать, жиганы твои не справляются?

— Ты людей моих словами всякими не обзывай, — вполне миролюбиво посоветовал купец. — Услышат — зубы выбьют. Даром што колдун и мужик здоровый. А справляться — справляются. Только не все ружьишком или там ножом сотворить можно. Да и человека жизни лишать не всегда сподручно. Ну, пропал там пришлый охотничек с пушнинкой или старатель с левым золотишком — бывает. Одна беда: ежели часто такое приключаться зачнет — влас-

[1] «Иванами» звали криминальных авторитетов. Позднее: пахан, бугор и т. п.

ти обеспокоются. А так, с твоей-то мажьей силушкой... Кому глаза отвести, штоб не видел, чего не надоть; кому башку заморочить, штоб к тайничку с золотишком сам привел — да и забыл о том; а когда служивый какой не в меру ретив окажется — так отчего б его волкам али медведю не порвать? Копать не примутся: волки, они и есть волки. Бывает. Мне ведь донесли, как ты с медведицей обошелся. Лихо, шиш лесной! Вот за тем ты мне и нужон, Дуфунька.

Все верно купец рассчитал. Все верно. Одного не учел, не мог учесть: серьезный финт для тебя сейчас — верная смерть. По второму разу Рашка уж не оттанцует. Только откуда купцу Закон знать? А знал бы — лежать тебе с камнем на шее в Шавьей трясине. Впрочем, с этим всегда успеется, тут купец опять же прав.

Влип ты, Валет Пиковый, ай влип! По самые уши. Одно и остается теперь: форс мажий давить, лепить чернуху. Долго ли на голом форсе выдержишь? До первого серьезного дела. А-а, ладно, нечего загадывать, авось и вывезет кривая! Ты-то купцов расклад теперь знаешь, а он твой — нет.

Сыграем втемную?

— ...А не боишься, Ермолай Прокофьич, что я вот сейчас тебе рот словом наговорным залеплю да и сверну шею по-тихому? И ружье не поможет — не выстрелит оно у тебя, хоть и «тулка» безотказная. Как, не думал о таком?

— Думал. Ты меня сдуру порешишь — люди мои, што снаружи караулят, тебя в клочья порвут. А сам-один ты троих не потянешь, нет, не потянешь! Иначе шиш бы тебя поймали да на каторгу упекли! И коли хотел бы ты со мной поквитаться, жизнь свою на мою разменять — я б давно со свернутой шеей под лавкой лежал. Не боюсь я тебя, Дуфунька. Ить жить-то всякому хочется! Вот и выходит, што не тронешь ты меня и к властям не пойдешь. А вздумаешь и взаправду в бега податься — в глухомани сгинешь. Дебрей ты тутошних не знаешь, а места наши гиблые. Не веришь — Силантия спроси. Вот и остается тебе, варнак, считай, одна дорога: в артель мою подаваться. Да ты соглашайся, соглашайся! Будешь моим человеком — не обижу!

— Не обидишь? — Ты вновь потрогал коросту засохшей крови на затылке. — А долю-то какую положишь?

— Вот это — другой разговор! — разом повеселел купец. — Это — по-нашенски! Сразу видать сурьезного человека!..

* * *

Через полчаса ожесточенного торга вы наконец ударили по рукам.

— Силантий! Карпуха! Петька! — Купец распахнул настежь дверь избы. — Нового товарища примайте, шиш лесной!

Из-за спины купца ты увидел, как неторопливо поднимается от корявого плетня молчаливый Силантий, закидывает за плечо карабин... И только тут до тебя дошло, что во время всего разговора Силантий держал тебя на мушке: сидел-то ты аккурат напротив окошка.

Да, силен ты, Ермолай Прокофьич, ничего не скажешь!.. А я-то тебя на испуг брал!

Дурнем попусту бранил...

XIV. РАШКА-КНЯГИНЯ, или ГЛОТОК МАДЕРЫ В ЧЕСТЬ УРОДОВ

> Уста их мягче масла, а в сердце их вражда; слова их нежнее елея, но они суть обнаженные мечи.
>
> *Псалтирь, псалом 54*

Он был вышколен на диво, этот лакей в черкеске, слишком кавказской, чтобы быть настоящей.

— Что прикажете, дидебули?

«Дидебули» — «вельможа» на родном языке князя Джандиери. Да, он еще и умен, этот лакей, поскольку в присутствии забавной селянки, веселой прихоти господина полуполковника, решил обойтись без обращений, способных указать род занятий или истинный титул гостя.

Смотри-ка — он даже карточку вин, забранную в белый с палевой решеткой переплет, предложил именно тебе, как даме, не погнушался.

Глазом не моргнул.

— Любезнейший! — Ты прищелкнула пальцами, и лакей вытянулся в струнку, опоздав сообразить, стоит ли до такой степени угождать забаве князя. — А скажи-ка мне, голубчик...

Пауза.

Во время которой ты и не подумала заглянуть в карточку.

— По-моему, я где-то (чуть не вырвалось: в бараке, от новоприбывшей этапницы) слышала, что именно ресторатор Саакадзе позапрошлым летом приобрел кузнецовскую коллекцию? Ну, знаете, ту, что из собственных садов Григория Александровича на Мадере?..

Взгляд лакея налился влагой, словно у потерянной собаки, когда случайный прохожий тронет загривок по-хозяйски и бросит мимоходом: «Рядом!»

— Да-с! Именно так, как вы изволите говорить!

— Чудненько, чудненько... А, случаем, не осталось ли у вас бутылочки сухой мадеры «Серцеаль» из этой коллекции? Доктора рекомендовали мне, голубчик, исключительно сухое вино, в связи с катаром желудка!..

— Три бутылки-с на текущем счету купца первой гильдии Юшина... но если дорогой дидебули прикажет!.. Осмелюсь сообщить: сто пятьдесят рублей бутылка-с!..

— Ну что ж... — разочарованно фыркнула ты, но князь Джандиери лишь слегка хлопнул по столу широкой ладонью:

— Ты слышал заказ дамы? Остальное — на усмотрение Датуны. Живо!

Обратно к столу уже вернулась троица лакеев, неразличимых из-за театральных черкесок и усов-стрелочек. Они засуетились, захлопотали; как по мановению волшебной палочки наполнились бокалы, распространяя вокруг себя пробочный, мадерный аромат; горячие хачапури истекали сырной начинкой, рядом ждал лаваш, весь в коричневых пузырях, блюдо свежей зелени (в марте? в Мордвинске?!) выглядело истинно по-весеннему, оттеняя розетки с маринованной по-мегрельски, в винном уксусе, алычой, — и ты позволила себе на миг расслабиться, оглядеть залу «Картли».

Отсюда, из полузакрытой ниши (а все-таки — почему не отдельный кабинет?!), было прекрасно видно: ресторация практически пустует. Время неурочное; слишком рано. Лишь дремал в уголке, над рюмкой водки, бессловесный старичок с расчесанной надвое бородой да шумно веселился в компании двух певичек некий пехотный капитан с испитым, нездорового цвета лицом.

— Я хотел бы произнести тост, дорогая Раиса Сергеевна...

Сперва ты даже не поняла, что князь Джандиери обращается к тебе.

— Да-да, госпожа Альтшуллер, мы-то с вами прекрасно знаем, что никакая вы не Раиса, и уж тем более не Сергеевна! Но позвольте мне величать вас тем именем, под которым вы впервые со мной познакомились! Старею, знаете ли, становлюсь сентиментален...

Бокал в сильной руке качнулся, заиграл стальными бликами в отсветах газовых рожков на стене. Почему стальными, бог весть — но сейчас бокал вышел чудовищно похожим на сломанный у рукояти меч в бронзовом кулаке.

Хорошая примета?

Хорошая?! Сейчас, после всего?! После гибнущего эха: «Сыграем в четыре руки?», после выжженных глаз и бубнового туза на лбу?!

Ты взяла свой бокал и выжидательно глянула на господина полуполковника.

— Итак, у меня есть тост. Я хотел бы выпить за уродов. Не удивляйтесь, дорогая моя Раиса Сергеевна! Именно за уродов. Какими являемся мы с вами. Разница лишь в том, что я урод государственный, крайне полезный обществу, а вы — урод, так сказать, антиобщественный, подлежащий изоляции и устранению. Согласитесь, эта разница несущественна, ибо зависит исключительно от сиюминутной позиции данного общества. Сложись все иначе, и вы бы сотрясали твердь в поисках мне подобных, норовя отправить блудного Шалву в острог, а я прятался бы от вас по тайным хазам да хавирам. Вы согласны?

Легкий кивок.

В принципе ты согласна.

собираетесь в столицу? На днях? Шучу, шучу, я ведь все понимаю...

Сытый кот, наевшись лобио, играет с мышью.

Сытому коту весело.

А ведь тебе не весело, Шалва Теймуразович. Тебе совсем не весело, и ты нет-нет да и мазнешь по своей даме пристальным, полуполковничьим взглядом: поняла ли? о чем думает? где ищет мышь спасительную лазейку?

И ты не можешь не видеть, князь: дама держится лишь на остатках упрямства, ибо силы на исходе.

Может быть, тебе интересно знать: сколько она продержится?

— П-позвольте... п-позвольте ангажировать вашу даму!.. Эй, музыканты — полечку!

Пехотный капитан стоял у вашего столика.

ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ

Заглянуть в глаза пехотному капитану очень трудно из-за вечно застилающей их стеклянной мути отупения, трудно, но можно, и тогда проглядывает:

...сугроб.

У сугроба притулилась молодая, доверчивая березка. Качает тонкими ветвями, ахает в испуге. Снег кругом ноздреватый, мокрый; птица с розовой грудкой прыгает, высматривает пищу. Сверху валится на головы мокрая простыня неба, разодранная на востоке зарей. Где-то ржет лошадь.

Выстрел.

Везет же людям: стреляются...

* * *

В зале хихикали, прикрывая рты ладошками, певички: ждали потехи. Цивильный «шпак» привел в ресторацию едва ли не побирушку с паперти — отчего ж не позабавиться бравому офицеру?

— В-вашу ручку, мадам! Или — мамзель?!

— Дама не танцует.

Болотные глаза медленно поднялись от стола; двумя

гусеницами поползли вдоль капитанского мундира. Остановились где-то в районе воротничка-стойки.

Уперлись в кадык.

— Позвольте узнать: п-почему? Я могу заказать что-нибудь народное... «Д-дубинушку»? «Камаринскую»?!

— Пшел вон, дурак.

Видимо, до пехотного капитана не сразу дошел смысл сказанного. Он еще продолжал скабрезно ухмыляться, но желтое лицо налилось кровью, став похожим на осеннее яблоко; в мутных глазках появился блеск, тот блеск, что сразу позволяет опознать кокаиниста и развратника.

— Что... что вы сказали?!

— Я сказал: убирайтесь вон. И поживее.

Ладонь капитана судорожно нашарила кобуру; сдернула ремешок.

— Хорошо-с... очень хорошо-с!.. Всякий ш-штафирка будет...

Князь Джандиери неторопливо встал. Правая рука его легла поверх капитанского ремня; левая же перехватила запястье разъяренного офицера, и дуло револьвера уставилось в потолок. Так они и замерли на миг: скульптурная группа «Караемый порок». Затем, под дружное «Ах!» певичек, князь поднял капитана над собой и не спеша огляделся: куда бы бросить?

— К дверям, ваша бдительность! — быстренько подсказал возникший из ниоткуда толстяк хозяин. — Изволите видеть: там фикус, и больше ничего! Никакого разоренья-с, ваша бдительность!

— К дверям? — спросил Шалва Теймуразович у ворочающегося сверху капитана.

И, не дождавшись ответа, опустил свою жертву на прежнее место.

Расторопный толстячок, приобняв лишившегося дара речи капитана за плечи, повел того к столику, нашептывая в ухо. Спина любителя танцев отчетливо выражала степень усвоения информации: она выпрямлялась, выпрямлялась — и вот обладатель исключительно прямой (сейчас треснет!) спины, так и не задержавшись у столика с певичками, направляется к дверям.

Быстро.

Еще быстрее.

К тем самым дверям, у которых фикус.

Да, все верно: там сейчас действительно фикус, и больше ничего.

Больше никого.

— Так на на чем мы остановились, дорогая Раиса Сергеевна? — спросил князь Джандиери, оправляя сюртук.

* * *

Грязь натужно всхрапывала, с неохотой отпуская колеса — чтобы вновь приникнуть, всосать пупырчатыми губами, одарить слюнявым поцелуем...

— Н-но! Шагай, постылая!

Небо было того пронзительного, блекло-голубого колера, который сразу наводит на мысли о чистоплотной нищете; и еще почему-то — о скорой смерти. Давно позади остался последний мордвинский будочник в серо-желтом казакине, с допотопной алебардой в руках; по обе стороны разъезженной дороги тянулись унылые квадраты полей и редкие островки леса.

— Н-но! Наддай!

Ты тупо смотрела в широкую спину Федюньши, на стриженный в «скобку» затылок — шапку парень уже давно кинул в телегу. Чувствовалось: крестный сын вдовы Сохачихи в потрясении. До глубины своей наивной, наспех отесанной души. Это сквозило во всем: в посадке, в излишне частом покрикивании на горемычную лошадь, в тех взглядах, какие он искоса бросал на тебя.

О чем речь, Княгиня? Конечно, ты не спешила заговорить с парнем. Утешить, объяснить — нет, не спешила. Кто бы тебя утешил? Кто б объяснил?

...Вы просидели в «Картли» едва ли не до вечера. Зал постепенно наполнялся публикой, на сцене образовались ромалэ, малоуместные в заведении Датуны Саакадзе, но мигом подогревшие настроения завсегдатаев — впрочем,

никто не позволил себе выходку, подобную капитанской эскападе.

Господин полуполковник говорил. Ты слушала. Иногда вставляла одну-две короткие реплики. Спросила: сыт ли твой спутник? Оказалось, сыт — накормили при кухне. И снова: мнение князя Джандиери относительно давнего установления института епархиального надзора при областных и уездных судах, сокращение числа побегов с этого времени... соболезнования по поводу трагической гибели Елены Запольской... уверения в личном контроле следствия и розыска...

Потом вы расстались.

Князь проводил вас до самой гостиницы, но внутрь заходить не стал. Сказал: нумер забронирован. И откланялся. Ты получила ключи у одноглазой тетки (видимо, это ее князь, забывшись, произвел в «портье»); осмотрела помещение. Вполне прилично. После барака, после тесной каморки в сенях — более чем.

И кровати — две.

Спустившись вниз, в отведенную для Федюньши каморку, ты обнаружила там пьяного вдрызг слесаря со товарищи, учившего жизни «деревенского олуха». Слесарь был послан каторжным загибом, товарищи промолчали, а парень — извлечен наружу и препровожден за шкирку в твой нумер. По дороге тетка-портье попыталась было вякнуть что-то насчет того, будто у них «приличное заведение», но ты лишь глянула в теткину сторону, и дура захлопнула рот.

Тебе тогда еще показалось, что это у тебя выжжены глазницы.

И ты ими смотришь.

Что показалось тетке, осталось неясным, но ее больше не было видно и слышно.

А утром, как и было обещано, вы уехали. Навсегда, как тоже было обещано. Ты верила в последнее.

Нет, господин полуполковник!.. Не верила.

— ...Н-но!.. слышь, Рашеля... Рашеля, ты спишь?

— Нет. Не сплю.

— Слышь, Рашеля... А ты раньше што — завсегда так жила?

Глаза.

Огромные, сияющие.

Даже не верится, что у «страшного Сохача» могут быть такие глаза.

— Как? Как жила?!

— Ну, так... кабаки, нумера... баре ручку целуют... што, кажный божий день?!

Господи, вот о чем он думал! Не о морге, где едва не стравил при виде изувеченной Ленки Ферт; не о презрительной снисходительности усача-жандарма — о роскоши! Кабаки, нумера... баре — ручку... Что он видел в своей жизни, несчастный лешак, если ему объедки на кухне «Картли» и дешевый нумер с клопами за сад эдемский пригрезились?!

— Ленку видел? — спросила ты, кутаясь в обтрепанный платок. — В покойницкой? Тоже хочешь — туз над бровями?!

— А-а, — отмахнулся парень, звонко прихлопнув комара на лбу, как раз в том месте, куда ему был обещан бубновый туз. — Однова живем...

Он подумал.

— Знаешь, Рашеля... я на днях куру резал. Кинул на колоду, топоришком тюкнул — а она возьми да и вырвись. Зачала по двору гасать, без башки-то. А я смотрю и мыслю: чем я лучше той куры? Так до гробовой доски и пробегаю по селу... безголовым. Да, вот еще: што такое «прут»?

— Прут? — удивилась ты. — Ну, ветка такая... тонкая.

— Не-а, про ветку я и сам... Ты когда из покойницкой вышла, с кавалером, как двинулась со двора, так усатый сторожу и брякни шепотком: «Ишь, краля... не в ресторацию ее, а на «прут», да двенадцатой на дюжину!..»

Он ждал ответа, глуповато моргая белесыми ресницами.

Дождался.

— Прут, Сохач ты мой, — это железный стержень о восьми вершках. На одном конце — головка, на другом — ушко для замка. И нанизывают на сей стержень от восьми до двенадцати наручников, заклепывают и ведут так арестантов по этапу. Понял? И о замене «прута» на ножные кандалы ты просишь как о величайшей милости.

— А-а, — еще раз буркнул парень с полнейшим равнодушием.

Вожжами тряхнул.

XV. ДРУЦ-ЛОШАДНИК, или МИЛ ДРУЖКИ-ТОВАРИЩИ

Вот, я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя.
Псалтирь, псалом 50

— Ну, товарищ новый, обмывать тебя будем! — хохотнул с порога Карпуха.

Ермолай Прокофьич на «обмыв» не остался. Сослался, что дел невпроворот, и почти сразу уехал. А «артельщики» уже вовсю хлебосольничали: небось, когда еще бывалый человек сюда прибьется! Тут уж сам бог велел — угощение на стол, и засесть до самого до утра, пить-есть да разговоры разговаривать.

— Тебя как звать-то? — поинтересовался третий «артельщик», до того молчавший.

Чистый «анарх» из бомбистов: тощий, кум складному метру, грязный лен кудрей до плеч. На лошадином лице водянисто моргают блекло-голубые лужицы; смотрят не на тебя, а на ангела за твоим плечом. Очки б еще ему, в проволочной оправе... Но нет, очков не носил. Да и жилист был парняга, костистым сложением напоминая тебя самого в молодости; а на дне лужиц пряталась от солнышка некая скрытая сумасшедшинка, тихая бесноватость, так что даже мурашки по спине. Не знаешь, чего ждать от такого: вот сейчас он с тобой водку пьет да балагурит — а через минуту, не меняясь в лице, перо в требуху сунет. Не со злости — так, приспичило вдруг человечка зарезать. И зарезал. Обтер перышко аккуратненько и им же колбаску кровяную... на ломтики.

Мелькнувшее видение было настолько правдоподобным, что ты на миг запнулся, прежде чем ответить.

— Дуфуней отец назвал. А по фамилии — Друц.

— А меня — Петр. Бесфамильный. Ну, будем знакомы?

— А по-варнацки-то как? Кличка, в смысле? — обер-

нулся Карпуха, строгая финкой зачерствелый пирог с рыбой.

Пусть не мажья кодла, пусть «артель», но все равно — это он правильно.

Закон есть закон.

— Бритый. Доводилось слышать?

— Один хрен... Так и будем звать. Я — Карп... ну, или там Карпуха, ежели засвербит. Вон тот ирод — Силантий. А Петюнечку у нас еще Лупатым дразнят.

— Запамятовал, Карп-рыба? За «Лупатого» нос сверну, — равнодушно сообщил Петр.

— А за «Петюнечку»?

— Успеется. Пока тверезый — зови. А как захмелею... сам знаешь.

— Да уж научены! — коротко хохотнул Карпуха и обернулся к тебе. — Ты, Бритый, смекай: прихватил, значит, Петька богомолочку одну, из староверов, на окольной дорожке. Девка ядреная, не шибко-то и противилась, опосля скитских корок; все «Петюнечкой» миляша звала. Так он поначалу зенки пучил, а как сивухи лишку хватил — удавил богомолочку. Мы и охнуть не успели! Даже попользоваться, и то — зась...

Карпуха сокрушенно вздохнул:

— А што, Силантий, давно мы по бабскому делу скучаем?

— Дык это...

Силантий пожал плечищами: где ж взять, коли нету?! Голос у здоровяка на сей раз получился сиплый, нутряной, вместо того дурного писка, который ты слышал раньше. Странный человек был Силантий, и голос у него был странный: разный. Впрочем, это не помешало громиле извлечь откуда-то из угла, одну за другой три запечатанные полбутылки.

Подумал — и достал четвертую.

— Вдругорядь, Карпуха, разговеемся, — пробасил. — Айда хряпать, нутро зовет.

Стол разбойной «артели» заметно уступал поповскому, но и здесь было чем поживиться. Ценил купец своих работничков... разбойничков.

— Ну, за нового товарища!

Ты кивнул, благодаря, в два глотка выхлебал водку из своей кружки; уцепил шмат копченого сальца. Жизнь? Выходит, что жизнь. Не хуже, чем во вшивом Кус-Кренделе! Одна беда: жизнь — до первого серьезного дела, на котором гнуть тебе угол, Валет Пиковый.

Аминь.

— Ну, рассказывай, Бритый. Чем раньше промышлял, за што на каторгу угодил...

— Отчего ж не рассказать? Можно. Разве что по второй опрокинем за фарт наш общий, за девку-удачу, чтоб нос не воротила, — и расскажу.

— За удачу — это правильно. Разлей, Силантий...

Язык развязался сам собой. Слова посыпались из тебя — сначала гурьбой, то и дело спотыкаясь, норовя стать наперекосяк (Друц! Ты ли мастер рóманы тискать?!), — но потом ты и сам увлекся. Было уже не важно, что «артельщики» не разумеют мажьей квэньи, которой ты обильно пересыпал повествование, и что им не все можно рассказывать, отчего история выходит рваной, лоскутной...

Плевать.

Еще по одной?

И снова: уносит тебя в ночь угнанный конь, сбитая со следа пустячным финтом, проходит стороной остервенелая погоня...

И опять... «Беги! — кричит, умирая под мужицкими кольями, франт Данька Алый. — Беги, Валет!.. Ай, мама...»; он кричит, нет, он уже хрипит, а ты не успеваешь, ты никак не успеваешь, потому что Данька кончается, потому что Закон строг...

И вновь: а даже успеешь — что сам-друг сумеешь против двух дюжин озверелых мужиков, сытых, рукастых?! Костьми ляжешь за компанию? Славное дело, умное...

И наконец: чуть не лег-таки костьми — через неделю, когда последнюю мзду, остаточек заветный, истратил на того купца, что мужикам за смерть Данькину звонкой медью платил. «Мокрый гранд» ты купчине чисто заделал, хоть попервах фарт размочил; и следы замел так, что легавые ни арапа после доказать не смогли, сколько землю носом ни рыли. А вот уйти подальше, на дно лечь... Кончи-

лась твоя сила, Бритый: ни глаза отвести, ни следы запутать, ни мороком шибануть. Знал: все одно убьют — и убили бы, не подоспей вовремя облавные жандармы.

В первый раз ты «Варварам» обрадовался.

В первый и последний.

На киче, да на этапе, да на лесоповале потом не до радости было. Но выжить — выжил. В остроге уж знали, что ты — «в законе», что — Валет, да еще по третьей ходке, так что о прописке и речь не зашла. Это когда с почином шел, когда молодой был, горячий, дурь в башке играла...

Ай, баро, марна звоны! Да утрадэна, ох, мирэ пшалэс!..[1] Марна звоны, ветер в поле!..

Отмотал срок на полную, вышел на поселение — а тут судьба поленом по затылку и приложила...

— Это тебя, черноголовый, не судьба, — оскалился Карпуха, разливая по кружкам содержимое очередной бутылки. — Это тебя Филат приложил, по купцовой указке! Вот так вас, мажье семя, и берут за хвост — втихаря поленом, когда не чаете! Без всякого, по-простому... Ладно, и на старуху проруха бывает. Выпьем. С нами — не пропадешь!

— А он и сам не пропадет, вижу, — буркнул Петр.

— Слышь, Бритый, ты б... поворожи, а? — с плотно набитым ртом промычал Силантий, когда все опустошили кружки и принялись жевать. — Страсть глянуть охота...

Вот оно.

Началось.

— Душа Силантий, ты из ружья хорошо стреляешь? — прищурился ты.

— Ну... — задумался громила. — Белку в глаз. А што?

— Покажи, а? Вон и винтарь на стенке...

— На охоту пойдем — тады и покажу! Вот сейчас все брошу, побегу тебе белок искать... Да и што там смотреть?

— Так ведь и я не в балагане ветошников забавлял. Серьезный финт — его только в деле покажешь. Дошло?

— Бритый верно гутарит, — вмешался Карпуха. — Все мы тут не в бирюльки играем.

---

[1] Звенят звонки, угоняют моих братьев!.. (*ром.*)

— Вот пойдешь ты, душа Силантий, к примеру, ко мне в мажью науку — тогда и увидишь, и сам выучишься, — подлил ты масла в огонь.

Собственно, а почему бы и нет?! Раз уж гнилая масть идет...

— В науку?! — У души Силантия аж буркалы на лоб вылезли. — Едрен ерш! Какой с меня, к лешему, колдун?!

— Какой и со всех. Любого обучить можно. Почти что любого, — тут же поправился ты. — Хоть тебя, хоть Петра, хоть Карпуху.

Ну?! Клюнут?! Ну хоть бы один!..

Они молчали, переваривая услышанное, а внутри тебя бурлила гремучая смесь надежды, отчаяния и едва сдерживаемого нетерпения. Да что ж они мозгами скрипят, тугодумы?! Впрочем, как раз из таких тугодумов и получаются...

— Ты нас, Бритый, в искус не вводи. Душу колдовством загубишь — потом от Боженьки на Страшном Суде не отмажишься.

Это изрек Петр-Петюнечка, до того вместо разговоров деловито надувавшийся водкой. Изрек угрюмо, глядя на тебя исподлобья.

— Да ты сам, приятель, — одну ли душу на веку загубил?!

— Не одну, — подвыл с дальнего конца стола Силантий. — Десяток будет.

Петюнечка искренне удивился непонятливости собеседников.

— Так то ж чужие души! Их сегодня загубишь, завтра отмолишь. Свечку поставишь, попу хабар сунешь, покаешься... Слышь, Бритый: чу-жи-е! А тут — своя! неказенная! Думать надо!..

— Выходит, по-твоему, убивец лучше мага?

— А как же?! Мажить — хуже нету. Всяк знает...

— Ты, Бритый, обиды на нас не держи, — подвел итог Карпуха. — Мы теперича заедино, одна артель. Вместе дела, значит, делать станем. Все верно. Только ворожить тебе самому придется. Не пойдем мы к тебе в науку. Мы уж так, по старинке.

Огреб, Друц-Бритый! Раскатал губы? Или сам не зна-

ешь, что даже среди отпетых душегубцев не каждый в мажью науку пойдет? Вон, девка Филатова сама просилась — отказал. А теперь уж не обессудь. Два раза подряд фарт в руки не идет. Так что пей, веселись — до первого дела.

А дальше — сам знаешь...

ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ

Если случайно заглянуть Петюнечке в его ласковые, бессмысленно прозрачные пуговицы-бельма куклы из папье-маше (мама! мама моя! ма...), то можно разглядеть:

...петух.

Роскошный, исчерна-рыжий кочет с кровавым гребнем. Пляшет; переступает с ноги на ногу, подпрыгивает, растопырив крылья. Грозно мелькают шпоры: где соперник? заклюю! Вертится голова на пушистой шее, косит налитым глазом. Сверху тополиный пух сыплется, летним снегом. Так веселее.

Пляшет кочет как хочет.

На раскаленной сковороде.

А где-то рядом гармошка смеется-заливается...

* * *

На другой день все отсыпались до полудня. Потом, продрав глаза и выкурив по паре цигарок, лениво решили, что стоило бы заняться обедом. Силантий был отправлен в лес и вскоре вернулся, таща на себе убитую косулю. Петр зачал свежевать, ты, натаскав воды, принялся колоть дрова.

Кашеварил Карпуха.

Через час-полтора, все так же неторопливо, чтобы не сказать — степенно, хлебали наваристый бульон, хрустели зажаренным на угольях мясом и сухарями; водки выпили только одну бутылку на всех — разбойнички-«артельщики» оказались люди хозяйственные, с понятием, не чета всякой пьяни вроде Филата Луковки. Тот бы точно не просыхал, пока весь запас хмельного не прикончил!

— А Филата поймаю — башку оторву.

Это ты вдруг произнес вслух без видимой причины.

Само вырвалось.

— Может, и ловить не придется, — загадочно ухмыльнулся Карпуха. — Филат, слыхал я, из балаболок, а Ермолай Прокофьич ихнего брата страсть не любит!

— Зачем же тогда Филату поручил? Неужто под рукой никого понадежнее не нашлось?

— Видать, не нашлось. Да и то сказать: надежному человеку плата полагается, а Филат — он за полбутылки мать родную пришибет! Вот только, чую, боком ему выйдет та сивуха...

Да, похоже. Осторожный мужик Ермолай Прокофьич. А сгинуть по-всякому человек может: от пьянства сгореть, в болоте утопнуть... Все одно дознаваться с пристрастием некому — велика ли птица? Ну да Бог им судья, хоть купцу, хоть Филату. Ты лучше о себе подумай, Валет Пиковый. Вот, к примеру, выяснится, что есть-таки хвосты за Княгиней, — станет ли купец рисковать, тебя в живых оставляя? Бритый, варнак пришлый, на язык дерзкий... Думай, Валет Пиковый, думай, что делать. Может, и впрямь когти рвануть? Мало ли что купец про гиблые места болтал — авось не сгинешь?..

— Глянь-ка, Силантий: вроде идет кто? — прервал твои мысли тихий возглас Карпухи.

Когда было нужно, с Карпа разом слетало все его дурацкое фиглярство, и он мгновенно становился собранным, жестким; и взгляд короткий, точный, оценивающий — словно на мушку берет. Из такого бы славный подельщик вышел, а там, глядишь, и маг в законе. Но, как видно, не судьба.

Вдалеке, меж деревьев, действительно мелькнула человеческая фигура. Силантий (очевидно, самый зоркий из троицы) вгляделся из-под руки.

— Тимоха-лосятник, — махнул рукой. — Небось жрать попросит.

— Тимошка? Это хорошо-о-о, — протянул Карпуха и залихватски подбоченился, вновь становясь прежним. — Пожрать мы ему дадим — отчего ж не дать? Только за это мы его в село отправим, на баб охотиться! Небось бабятинки-то всем хочется?

— Дело! — радостно осклабился Силантий. — Только ты, Петька, гляди! Удавишь какую — всех кончать придется, а там и нас со свету сживут.

Петр только хмыкнул, а Карпуха ухмыльнулся в редкую бороденку. Видать, была у «артельщиков» любимая подначка — насчет удушенной Лупатым богомолки.

Шутка, значит.

— Здоровы будьте, артельщики! — еще издали заорал Тимошка. — Пошамать чего найдется? Брюхо, почитай, к спине прилипло! Э, да у вас пополнение! Што, и ты, ссылочный, в гулевые подался?! Ну, тут самая што ни на есть твоя кумпания и собралась!

— Тебя одного дожидались. Все глазоньки выплакали, — лениво бросил Карпуха.

— Дык пожрать дадите? — осведомился тоном ниже Тимошка, подходя поближе.

— Садись уж, жри.

Жрал Тимошка, что называется, в три горла. Он бы наверняка еще и добавки попросил; вот только понимал лосятник, с кем трапезничает; догадался промолчать.

Губы вытер и ждет.

— Слышь, Тимофей, — Карп выколотил трубку, которую предпочитал цигаркам, — сходи-ка за бабцом, а? Нам, сам знаешь, в село заявляться не с руки, а тебя там всякая собака знает...

— За мной хучь баба, хучь девка за тридевять земель! — Лосятник выпятил грудь колесом, но глянул на тебя и прикусил язык. — Для хороших людей мы завсегда... Марфу-солдатку с дочкой вести?

— Правильно понимаешь. А не окажется дочки — одну Марфу тащи. Она баба справная, в теле, на всех хватит. Да и сам подсластишься, ежели захочешь.

— Моя хотелка осечек не дает! — вновь не преминул похвастаться Тимошка. — Ну, я пошел. Как раз до вечера обернусь.

— Лады. И штоб языком лишнего не трепал! Особливо — вот про энтого. — Карп мотнул головой в твою сторону.

— Да нешто я совсем без ума? — обиделся лядащий

охотничек. — Я болтать болтаю, да тока знаю, об чем болтать можно, а об чем — нет. Мне што, жить надоело?!

— Правильно понимаешь, — пустил фистулу душа Силантий.

* * *

— А бабы нас потом уряднику не продадут? — поинтересовался ты, когда лосятник ушел.

— Ни в жисть. Марфе с дочкой не впервой. Да што они, дуры — живого приварка лишаться?! Они с этого дела и кормятся. Эх, Бритый: вот она, судьба наша! Сидим в лесу, от дела к делу гнус кормим! Бывает, в село забегим — только втихаря, и по одному. Мужички-то не выдадут; кой-кто и про место это ведает, навроде дурака Тимошки, — да помалкивает. Одна забота: не ровен час, урядник там или объездчик заприметит... тебе хорошо, ты хоть погулял до сего часа...

«Мне хорошо», — без слов согласился ты.

XVI. РАШКА-КНЯГИНЯ, или ПОШЛИ ДЕВКИ НА ГУЛЯНКУ

> Сохрани меня от силков, поставленных на меня, от тенет беззаконников; падут нечестивые в сети свои, а я перейду.
>
> *Псалтирь, псалом 140*

— Кур-рвы! — вдруг буркнул Федюньша, заворочавшись.

Сперва ты не поняла.

— Что?

— Вона... телепаются, мать их в падь!.. И Тимоха, к-козлина, с ними.

Впереди, на взгорке, от которого до Кус-Кренделя было рукой подать, и впрямь замаячили три фигуры. Две женщины — плотные коротконожки, словно их в одной форме плавили; рядом с женщинами — мужичонка-маломерок.

Глаза видели плохо — спирало горло, и оттого часто на-

катывалась слеза, вынуждая моргать. Поэтому ты не сразу узнала людей.

— Кур-рвы! — еще раз с чувством успел сказать Федюньша, прежде чем вы подъехали поближе.

— Здорово, Сохач-снохач! — гаркнул старый твой знакомец, Тимоха-лосятник, любитель побаловаться сладеньким; пошутковал, значит. — Чем в городе-то потчевали?!

Крестный сын вдовы Сохачихи натянул вожжи.

Лошаденка аж присела.

— Я тебе сказывал, штоб на дороге не попадался?! — Вопрос был задан Федюньшей с той долей приветливости, после которой намечается изрядная потасовка. — Ты, глухарь, не молчь, ты отвечай: сказывал аль нет?

— Ну, сказывал. — Ухмылка чуть не разодрала лосятнику рот. — Мало ли чего не скажешь во злобе? Я, махоря, и не серчаю — бывает...

— Вот ить какие жихори в ихних Вералях имеются: им в рожу плюй — утрутся, «Божья роса!» сбрешут...

Федюньша еще что-то говорил, обращаясь то к тебе, то к начинающему темнеть небу, беря его в свидетели; кобель Тимоха отгавкивался помаленьку — видно, какая-то давняя свара числилась за обоими, мелкая, пустячная, годная лишь на скучную перепалку.

Ты не слушала.

Смотрела на женщин.

Ты знала обеих: Марфа-солдатка, блудница вавилонская, то бишь кус-крендельская, с дочерью, прижитой во грехе невесть от кого. С первого взгляда и не различишь, где мамка, где дочка, — обе грудастые, круглолицые, обе стоят широко расставив ноги, будто упасть боятся... Носы-пуговки «караул» кричат, в щеках утонули. А глаза пустые-пустые, налимьи: вот шли, теперь стоим, после снова зашагаем!

Парни-неженатики, а порой и блудливые мужички, сбежав тишком-нишком от законных супружниц, нет-нет да и захаживали в Марфину избенку. Тащили кто во что горазд: один — самогонки с пирогом, другой — плат шерстяной или там щуку-материху, на зорьке пойманную; третий просто забор починит, крыльцо подновит — и ладно. Бабы

не брезговали, не привередничали — брали и давали. Местная «полиция нравов» во главе с пасмурной вдовой Сохачихой все порывалась Марфу «опружить» — вывалять в дегте с перьями, а дочку голой гнать хворостинами по селу...

Не складывалось как-то.

Видно, понимали жены мужние: окажется кобелям негде хрен чесать — вовсе сказятся. Лучше уж так, под боком.

Спокойнее.

— ...Эй, Рашелька! — ухарски ворвался в трясину твоих мыслей вопль Тимошки. — Айда с нами! Пить будем, гулять будем! Што тебе заживо гнить? Али Сохач по сердцу?!

Ты не ответила. Да он и не ждал ответа: так, попросту вякнул, для пущего куража. Иначе не умеет. Нет, ты не ответила, ты уже забыла и о лосятнике с бабами, и о их сваре с Федюньшей. Сидела, молчала, копила в себе то страшное, о чем хотела по приезду говорить с Валетом Пиковым. То, что стояло тенью за нелепой мордвинской трагедией, за приветливостью князя Джандиери, за его намеками, за совпадениями и случайностями...

Скоро.

Скоро уже.

— Ты ее не зови, Тимофей-котофей, — назойливой мухой забился, зажужжал в ушах женский тенорок. — Ты ее не зови, а? Не ровен час, решат: тоже убегла, навроде ее дружка!.. Пущай едет, докладается...

Не поняла.

Сперва не поняла; да и потом — тоже.

Подняла глаза на Марфу-солдатку: ее ведь голос?

— Кто убежал? Куда?!

Из-под набрякших, пронизанных лиловой строчкой век на тебя глядело тайное злорадство.

Удовольствие падшей от вида той, кто хоть в чем-то, а ниже ее.

ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ

Ой глаза у Марфы-солдатки! Ой глазищи! С девичества остались — большие, влажные, ресницы метелками! А под теми ресницами уже не девичье, бабье мерцает:

...харя.

Мужская; трепаная. Вроде личины шутейной, какие парни на святках пялят. Обвисла, надвинулась; колышется туда-сюда, вверх-вниз. Сопит пористый носишко, по щетинистой скуле капля пота ползет. Язык широкий, лопатой, губы облизывает — словно лихорадкой обметало. Упала харя ниже, ткнулись губы куда-то, все равно куда. Вверх-вниз, вверх-вниз; вот и охнул, болезный.

То не харя на самом деле. То мешок мучицы, первача бутыль да забор починенный.

Вот.

* * *

— Сбежал твой чернявый, — лениво пояснила Марфа, а дочка лишь дернула щекой, поддакивая. — Коня у Ермолай Прокофьича свел, Мишку-немого по темечку ошарашил — и в бега подался. Купец уж всем доложился, к уряднику гонца послал...

— Врешь! Врешь, сволочь!

— Врать не обучены. — Солдатка обиженно поджала губы (потрескавшиеся, в мелких белых шрамиках); дочка же вновь щекой дернула. — Мы по вертепам не шастали, мажьей пакости не учились, каторгой не хаживали!.. Мы хучь и сволочь, а честного звания!..

Она еще бурчала, тешила остатки бабьего гонора — благо повод есть, грех не потешить! — а ты уже спрыгнула с телеги.

В грязь.

Тузы дождем сыпались из чужого рукава; наспех крапленные, липовые. Один в один складывалось: пока тебе в Мордвинске предъявляют к опознанию изувеченную Ленку Ферт, здесь, в Кус-Кренделе, исчезает Друц. Бежит? Черта с два! Куда ему бежать? Зачем?!

Смысл тайной игры был для тебя темен, но пристало ли Даме скучать на прикупе, пока темные шестерки в короли выходят?

Они — кто они? Не важно! Пока не важно!.. Да, они просчитались, оставив твои руки развязанными. Пусть ты можешь сейчас всего ничего, пусть Костлявая всякий миг стережет за плечом — пусть!

Сыграем в четыре руки?!

— Кто видел? — деловито спросила ты. — Кроме купцова Мишки, кто-нибудь видел?

Марфа-солдатка вскинула подбородок, демонстрируя нежелание отвечать «всякой каторжанке», но бабу опередил неугомонный Тимоха.

— Слушай ты их! — доверительно сказал он тебе, с опаской подходя ближе. — Шавит Марфа, как бог свят, шавит!.. Никуда твой ром не делся.

— А я говорю: убег! — Марфа решила стоять до последнего.

И тут Тимошка-лосятник сказал те слова, за которые тебе вдруг захотелось кинуться к нему на шею и расцеловать в обе щеки, сплошь заросшие пегой бороденкой.

— Дура ты, Марфа! — сказал он. — Ить прийдем на гулянку, сама глянешь: кто убег, а кто на лавке сидит! Ладно, хватит бары растабаривать... смеркается. Пора идтить.

Ты смотрела им вслед, чувствуя, как внутри, удивительным ребенком, зреет решение.

Улыбалась.

Так улыбалась, что Федюньша глянул было тебе в лицо, да и отшатнулся, закрывая рот ладонью.

— Эй, красавец-мужчина!

Лосятник обернулся.

— На гулянку, говоришь? А кто только что пел: «Айда с нами! Пить будем, гулять будем!»? Брехал, выходит?

— Я? Брехал?!

Он просто не в силах был поверить своему счастью. Хлопал редкими ресницами, гонял желваки на скулах. Точь-в-точь бездомная псина, когда ее вдруг поманят от двери куском калача.

Тебе было его жалко, Княгиня?

Нет.

Тебе никого не было жалко; даже себя.

— Дык что это? Как это? Идешь, значит?!

— Иду. Эй, бабоньки, примайте товарку!

Догоняя их, ты заметила: лица Марфы с дочкой изменились. Оплыли, налились добродушием. Понимающе брызнули светом. Словно они давно ждали от тебя такого поступка; ждали, устали, а вот дождались-таки!

А Федюньша не стал тебя останавливать.

— Н-но! — послышалось за спиной. — Н-но, постылая!..

Уже на опушке ты обернулась.

Маленькая телега стояла на взгорке, и молодой Сохач спорил о чем-то с невесть откуда взявшейся девчонкой — рябая егоза юлой вертелась на месте, и рядом возвышалась башня могучего собеседника.

Жалко, что ты не умеешь рисовать, Княгиня.

Просто помаши им рукой: Федору, вертлявой Акульке, выбежавшей вам навстречу, — помаши и иди себе дальше.

Хорошо?

* * *

Шли мало.

Не на самом деле, потому что к месту вышли уж затемно, при свете бледного, чахоточного месяца, в пятнах болезненного румянца — просто тебе показалось, что и не шли-то вовсе.

Летели.

Откуда силы? Откуда веселье? Откуда эта странная торопливость?.. Даже думать не хотелось. Что-то близилось к концу. Удача? Беда? Жизнь? Пустяки. Ты шутила, заигрывала с растерянным от нежданного счастья Тимохой, раскрутила обеих баб на водопад частушечной похабени, умело поддержав вторым голосом; сама спела два-три романса, из тех, что «пожесточе», для белошвеек, — и все остались довольны.

Спросила про волков.

«Не волчьи места», — равнодушно отозвался охотник, закидывая ружьишко подальше за спину.

Ладно. Только отчего ж тогда спина чешется? Не от клопов гостиничных — от ощущения чужого взгляда. Откуда желание оглянуться, и не просто так, а резко или исподтишка, — или еще как? — но увидеть, подглядеть? Бред, чушь! Тимоха дурак, но лосятник бывалый, учуял бы, будь что неладно...

Он и учуял.

Уже на подходах, когда за кучугуром валежника, по

левую руку от гряды мачтового сосняка, замаячила избенка-растопырка, — Тимоха, приобнявший тебя, послушную, за плечи, вдруг извернулся. Оборвал пустую болтовню на полуслове, гадюкой нырнул в кусты. Ты не остановилась. И правильно: вон Марфа с дочкой идут, как будто так и положено... они идут, и ты с ними.

А надо, чтоб иначе поверили: они — с тобой.

Раз надо, значит, поверят.

— Ай! пусти, дяденька!.. Пусти, шиш окаянны-ы-ый!

Визг, способный поднять мертвеца из могилы, был знакомый. И девка, которую минуту спустя лосятник выволок из кустов за ухо, тоже была знакомой.

Акулька Луковка, рябая юла.

— Ты что? Ты на кой?! — без смысла орал Тимоха, пуще выкручивая нежное девичье ухо. — Ах ты, падина! Следила?!

— Я с вами-и-и!

— На кой, грю?!

— На твой! Девки с парнями на посиделках — меня гоню-ю-ют! Сами цалуются! зажимаются! в шепотки играют! А меня — в тычки-и-и! Малая, мол, рябая, на лице черти горох молотили! Я с вами!

— Да лета-то твои каковы, пустеха?!

— Шестнадцатый! Скоро уже!..

Лосятник замолчал. Отпустил ухо, зато подцепил костлявыми пальцами ворот драного кожушка.

Пригляделся.

— Ин ладно, — буркнул. — Там решат: куды...

Дура Акулька не уловила в Тимохином голосе тайной угрозы. Запрыгала, заскакала.

— Пошли! Ну, пошли!

Ты обогнала обеих баб и первой направилась к избе. Об Акульке не думалось. Не до того. Игра намечалась втемную, шулерской сдачи, и от лица, от голоса, от фарта случайного зависело больше, чем от лишних дум.

Ну что, Княгиня, заходим в избу?

Да.

Оно и в городе: полно тайных хаз, о каких всякий околоточный давно осведомлен, бывает, что и в гости захажи-

вает, шкаликом безакцизки побаловаться. Спросит такого следователь по особо важным:

— А правду говорят, Федотыч, что ты всех беглых по трущобам знаешь, знаешь да не арестовываешь?

— Правду, — ответит старик околоточный. — Потому и двадцать лет на посту, а не в гробу!

Что с него взять — прав ведь!

Так и здесь: небось полно народу, кто про сию заимку ведает, а зачни имать-допрашивать, любой ни сном ни духом!

Народишко везде одинаков.

— ...Ах, какие дуси! Эй, солдатик! Будешь моим цыпалялей? Ну хоть лафитом с лимонадиком угостишь?!

Жаргон барышни из двухрублевого, средней руки дома терпимости сработал без осечки. Даже тот, в солдатской шинели, — даром что щуплый, а глаза-то атаманские, с прищуром, — даже он снял руку с карабина. А громила со свиным, многажды ломанным носом, и вовсе окосел не от водки — от твоего явления. Видно, друг-солдатик в звании загадочного «цыпа-ляли», да еще лафит с лимонадиком, столь обычные в таежной глуши, произвели на громилу неизгладимое впечатление.

Вон, даже хрюкнул утробно — засмеялся, стало быть.

Только двое не обернулись к тебе. Не до того: играли на щелбаны в «чистку перышек». Две растопыренные пятерни лежали на столешнице, рядом с полупустыми бутылками и остатками харча; два ножа с умопомрачительной скоростью отбивали чечетку, вонзаясь в доски между пальцами. Быстрее! Еще быстрее! Вон и кровь показалась у одного, да что там кровь? Ерунда!

Быстрее!

И встали, как упали.

Разом.

— Ну, Петр, — сказал сукин сын, беглый-сидячий Друц, весело ероша отросшую на поселении шевелюру, насквозь пронизанную серебром нитей. — Ну, гусь сизый... Подставляй лобешник!

Длинный Петр сосредоточенно зализывал палец.

Даже когда три знатных щелбана сотрясли его лоб, оставив красный след, — даже тогда не бросил сего важного занятия.

Лишь подтаял льдом в голубых лужицах глаз.

— Заходь, заходь, раскрасавица! — протянул солдатик, оглядев тебя с ног до головы. — Каким ветром?

— Это ты у Ермолай-купцовича спрашивай: каким? — сдала ты первую карту, рубашкой вверх. — Он тебе и разъяснит, с понятием...

Пройдя к столу, ты взяла ту кружку, что сама подвернулась под руку, до половины налила водкой. Кинула в глотку — да нет, не в глотку, в самую душу.

Вовремя оказалось.

— Это Княгиня, — будничным тоном, как само собой разумеющееся, сообщил Друц, подсовывая тебе миску с квашеной капустой.

— Княги-и-ня! — качнул головой солдатик: не то одобрил, не то задумался. — Которая в ключницы к Ермолаю? — И сам себе ответил:

— Лады.

Что он имел в виду, осталось загадкой. Для тебя главным было другое: приняли. А там видно будет. Глядишь, и времечко сыщется: с Друцем словцом перемолвиться.

В капусте густо попадалась клюква, наполняя рот приятной оскоминой.

Позади хлопнула дверь; сразу стало шумно.

— Марфуня! Миляшиха! Заходь, заходь, на-кася водочки!..

— Силантий, дочку — мне! Слыхал, свинская харя? Сюда веди!

— Ох, мужички, дайте разговеться! Лапу, лапу прибери, охальник! Мы — женщины честные, нам отдышаться надоть...

— Рябая, подь ко мне! Эх, рябь моя, голенастенькая! Меня Петькой зовут, ты будь Настею!

— Акулька я... Акулина.

— Един пень! На колени, на коленки седай!

— Ну, Тимоха! Ну, ловец! Гляди, сколь маток завалил!

— Кружку ему! Да лей, не жалей, до краев!

Краем глаза ты отметила: про дуру Акульку спросить-

сказать забыли. Мало ли: шел охотник за добычей, вернулся с удачей! А что мала да ряба, так ведь это судьба: мы по пьяни кого хошь помянем... Тимоху завертели, хлопая по плечам, не давая слова сказать, сунули в руку полную кружку; вот лосятник уже отдувается, вкусно крякает, зажевывает шаньгой — а баб расхватали, разобрали по рукам, остается Тимохе коситься на тебя со значением: не сама ли пошла-напросилась? вот он я, красавец-мужчина!

Ты улыбнулась лядащему, он и расцвел.

И пошло-поехало: гомон, взвизги, питье-закусь, потная ладонь за пазухой (плевать! Не до капризов...); извлеченная неведомо откуда гармошка, старая, раздолбанная, — и снова веселье, судорожное, взведенное, словно курок, каким всегда бывает веселье обреченных...

Одно жаль: едва ты оказывалась рядом с Друцем, как ловила на себе стальной прищур солдатика.

Вот и говорила ни о чем.

* * *

Когда в дверь с разбегу ударили плечом, ты даже не удивилась.

Что-то близилось к концу.

Удача? Беда? Жизнь?

Пустяки.

XVII. ДРУЦ-ЛОШАДНИК, или РАСКУДРИТЬ ТВОЮ!..

> Восстали на меня свидетели неправедные; чего я не знаю, о том допрашивают меня.
>
> *Псалтирь, псалом 34*

Не так все шло, наперекосяк, криво; гнилой выходил расклад. Еще днем казалось: все дерьмо, что могло свалиться на темечко, уже свалилось. Ан нет, баро, рано радовался! Оставался ушат-другой у фортуны в заначке, как раз по твою душу.

Встречу — убью.

Где-то там, наверху, где тянут жребий: кому фарт и пру-

ха, кому дом казенный, а кому крест на погосте — где-то там сдвинулся, зашуршал вниз первый камешек, увлекая за собой дружков-товарищей. Лавина набирала разгон. Эх, будь ты в силе, Валет Пиковый, — раньше б шухер учуял. С чего же все началось? С Филатовой подлянки? Нет, раньше. С урядника, что за Рашелью прискакал? Может быть.

Углядеть бы! Разобрать, разобраться... поздно.

И кой бес Княгиню сюда принес?! Водку, что ли, пить? Песни горланить?! Перемолвиться бы — да не складывается. Едва ты с полчаса назад выбрел, шатаясь, наружу — якобы проветриться, надеясь, что и Дама Бубновая за тобой последует, — сразу хвостом Карпуха увязался. Не скрываясь, в лоб: «Заблукаешь спьяну, ищи тебя... А нам Ермолай Прокофьич бóшки посворачивает!» Была б в избе хоть другая горница или там подклеть — утащил бы Рашку, вроде как по бабскому ремеслу использовать; да и той ухоронки бог не послал. Не уединишься. «Артельщики» — люди простые, им одной горенки на все про все хватает: и пить-гулять, и с бабами тешиться.

Еще эта дура Акулька! Ну девка, ну сатана! Ей Лупатый водки в глотку плеснул — она и окосела, чушь всякую мелет, похваляется, как к тебе в ученицы пойдет. Будете, значит, вместе железных змиев стращать. А Лупатый вокруг маломерка вьюном увивается, вон уже и раздел девку наполовину — а ей хоть бы хны! Спортит ее ублюдок Петюнечка, как есть спортит; поутру очнется — голосить станет.

Сама виновата.

Одна загвоздка: за девку поруганную мужички здешние и озлиться могут. А Филат со своей бой-бабой сгоряча еще и уряднику стукнут! Да и сама Акулька молчать не обучена. «Артельщики» — не дураки, даром что ветошники; особенно Карпуха. Понимать должны. Значит, кончат девку потихому. Мало ли? Волки порвали, или в болоте утопла. Сгинула — и концы в воду.

Хреново. И девку-дуру жалко, и в селе веры не дадут, что сама где-то пропала. А если еще видел кто, как она сюда шла... Выходит, гореть этой хавире по-любому! Кня-

гиня тоже не с добрыми вестями небось нагрянула — добрые и подождать горазды. Когти надо рвать отсюда, Валет Пиковый! Веревка с варавским мылом тебе, беглому, полюбому обеспечена, терять нечего...

Раскудрить твою!.. Дождались!

* * *

От страшного пинка дверь, распахнувшись настежь, с грохотом ударилась о стену.

И, резко качнувшись обратно, едва не припечатала по роже незваного гостя. Однако в последний момент тот все же подставил локоть; охнул от боли, выматерился сквозь зубы.

Заминка вышла.

Короткая, пустячная.

Однако хватило за глаза.

Душа Силантий, например, вовсю лапавший Марфу-солдатку за бока, как-то разом оказался на ногах. Сорвал со стены двустволку; вскинул к плечу. Бил наверняка: картечью, дуплетом, чтобы изрешетило не только вошедшего, но и любого, кто возжелал бы ввалиться следом. Из левого ствола — гостеньку в брюхо; из правого — вскользь, прямиком в шевелящийся сумрак сеней.

Знал разноголосый лихое дело.

ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ

А у души Силантия в глазах его заплывших навсегда:

...лужа.

С одного бока уже льдом подернулась. В середине тоже — собрались хрусткие осколочки, льнут друг к дружке. Вода пополам с грязью: мутная, пенная, отблескивает потешно. Вон, сбоку комья плещутся головастиками.

Сапог в лужу — хр-р-рясь!

Беги, лужа, во все стороны.

* * *

...Да только атаман Карпуха куда проворней оказался. Успел подбить злую руку: оба заряда с грохотом и треском ушли в потолок. Сверху на головы посыпалась мелкая щепа; в нос шибанула пороховая гарь.

Одновременно, как по команде, взвыли белугой дородная Марфа с дочерью.

— Цыть, дуры! — рявкнул Карп, и бабы заткнулись, как отрезало. — Ты чего, Силантий, очумел?! Это ж Филат!

И вправду Филат!

Впору встать, посчитаться за его полено... Одна беда: выполнять свое обещание и отрывать подлюке его дурную башку у тебя не было сейчас никакого желания.

Не до старых счетов — новые нарастают.

Кстати, за спиной гостя в сенях маячила корявая громада Федьки Сохача. Не один пришел пьяндыжка, ума хватило.

— Што ж вы, ироды, творите?! — почти сразу же опомнился изрядно побледневший Филат. — Девку мою, сталбыть, спортить удумали?! Ты, душегубец!

В два шага мужичонка оказался возле Петюнечки и с размаху приложился костистым кулаком к ухмылке «артельщика». Откуда только силы взялись! Лупатый, не ожидавший от Филата подобной прыти, кувыркнулся с лавки под стеночку — а гневный Акулькин родитель, не теряя времени даром, ухватил за ухо дочь, пьяно моргавшую круглыми глазенками, и повернулся тащить ее вон из разгульной избы.

— Вот мамка тебе дома... — успел еще пообещать Луковка.

И вдруг поперхнулся.

Захрипел, забулькал, удивленно охнув; стал медленно заваливаться набок.

Лег тихо, без судорог.

Лупатый еще раз коротко сунул финку, отливающую багрянцем, Филату в правый бок, туда, где печень, и отпрыгнул назад, зацепив край стола.

Потекли звоном бутылки.

Только теперь бедный пьяница вдруг охнул по новой,

мелко засучил ногами. Акулька не удержалась, упала сверху, забормотала: «Тять, што с тобой? Што с тобой, тять, а? Тять...», осеклась, поднесла к глазам ладошку, липко выпачканную красным. Уставилась без толку, моргнула раз, другой — и, тоненько, по-собачьи заскулив, полезла на карачках под стол.

В избе все словно застыло. Время подернулось хрупкой корочкой льда, словно ноябрьская лужица, — вот-вот хрустнет под сапогом. И первым разорвал наваждение, как ни странно, оставшийся стоять в дверях Федюньша.

— Ты што наделал, луподыр поганый? — Его взгляд уперся в Лупатого, словно норовя прожечь убийцу насквозь. — Ты ж его... ты ж убил его, да?

Детский вопрос прозвучал смешно; смешно и страшно.

— Убил, — ласково осклабился Петюнечка, выпуская на волю спрятанное до поры безумие. — И тебя сейчас порешу. Хошь? Ну, иди сюда, иди!..

Федор послушно шагнул вперед. Сразу став ловким, «артельщик» рванулся навстречу, ткнул клинком снизу, в живот — но каким-то чудом Сохач перехватил его руку с ножом на полпути. Сжал так, что не вырвешься, — Лупатого аж перекосило от боли, от тщетной натуги; и секундой позже кувалда тяжеленного Федькиного кулачища с хрустом ахнула Петюнечку в лоб.

Ровно посередке.

И сразу стало ясно: нет больше Лупатого.

Царствие небесное.

Федор Сохач хмуро посмотрел в стекленеющие глаза своей жертвы, будто надеясь увидеть там что-то тихое, трепетное; неторопливо разжал пальцы. Тело мешком рухнуло на пол. И тут же, опрокидывая стол, на Федюньшу с ревом навалился Силантий, обхватил сзади ручищами, смял, не давая двинуться. Вновь в унисон подняли ор Марфа с дочкой, щенячьим тявканьем наслоился сверху Акулькин скулеж, и ты понял: пора!

Время!

Коротко глянул на Княгиню. Ответный кивок, и Рашкин взгляд указывает на сжавшуюся в комок и обхватив-

шую голову руками Акульку. Хватай, мол! Спасешь девку — глядишь, и поверят тебе. Со свидетелем-то! Умница, Княгиня, в момент весь расклад просчитала. Ну, если пофартит уйти — глядишь, и пеньковый ошейник с варавским мылом стороной минует...

Перепрыгнуть через поваленный стол, кинуть девку на плечо — много ли времени надо? Всего ничего. Теперь — к двери.

На полпути ты оглядываешься.

Федюньша медленно, но неотвратимо разжимал медвежьи объятия Силантия, и разбойничек только кряхтел, не в силах ничего поделать. Вот ведь силища у парня! Где и нажил?..

Ты натыкаешься на Княгиню, едва не сбив ее с ног.

В чем дело?! Почему она еще здесь, а не снаружи?!

— Назад, мажье семя!

Поздно, поздно ты спохватился, глупый невезучий ром!

Вот он, Карпуха, стоит в дверях с карабином в руках. И по тому, как он держит оружие, ты понимаешь: не успеть, не выбить винтарь!

Дернешься — схлопочешь пулю.

Ты медленно пятишься, Княгиня тоже. Краем глаза успеваешь заметить: Федька с размаху бьет головой назад, в кровь расшибая душе Силантию остатки его носа. Здоровяк валится на пол, корчится, гундосо воет — и приклад карабина обрушивается на Федькин затылок.

Сохач падает как подкошенный.

Грохот выстрела. Пуля уходит в многострадальный потолок — и разом наступает тишина, в которой отчетливо клацает передергиваемый Карпом затвор.

Пять патронов в магазине; значит, осталось четыре.

Всем хватит.

— Та-а-ак, — медленно тянет Карп, озирая «поле брани». — Разбираться будем. Тимошка!

Из угла выбирается насмерть перетрусивший лосятник.

— Свяжи-ка этого, бугая. А после рассказывай: кого это ты сюда навел, падина?!

* * *

— ...Дык дочка это Филатова! — оправдывался Тимошка, бегая глазками. — За нами увязалась. «На гулянку!» — и все тут. Ить куда девать было, Карп? Уже и пришли, почитай.

— Гнать надо было. — Хмурый Карп ворочал шеей, будто желая разодрать ворот рубахи. — А теперь што? Теперь што, я тебя, дурака, спрашиваю?! Батьку ее Петюнечка кончил; этот, неприятная сила, Петра насмерть зашиб. Ить они ж молчать не станут, девка с лешаком-то! А порешим — в деревне хватятся. Да и ссылочные...

Карпуха покосился на вас с Княгиней.

Губами пожевал.

— Ин ладно, Бритого купец прислал, волей-неволей, не о том речь! А ты? — Он пристально уставился на Княгиню.

— И меня прислал, — не задумываясь ответила Рашель. — Говорила уже. Запамятовал, солдатик?

— Пошто?

— Не твоего ума дело. Бритому пару слов передать, по мажьей части. Тебе те слова слышать без надобности. А ты вцепился клещом — по нужде, и то с тобой! «Попка» на вышке, вот ты кто, солдатик!..

— Ты мне зубы не заговаривай! — неожиданно озлился Карп. — Вот приедет купец, тогда и отвечу за грехи. Ежели што не так, сам первый и повинюсь перед вами обоими. А пока: запрем мы вас в овине, вместе с лешаком да девкой. От греха подальше. Думаете, не видал я, как вы убегти пытались, еще и девку с собой волокли? До утра посидите, чай, не околеете! А ты, Тимошка, дуй в Кус-Крендель, Ермолай Прокофьича буди да сюда тащи. Хучь волоком, хучь как. Пущай решает.

На полу заворочался душа Силантий.

Сел; стонать принялся.

— Сбегут, — булькнул разбитым носом.

— Кто — сбегит?

— Эти. Колдуняки...

— А ить верно. Могут, — всерьез задумался Карпуха. — Только отчего ж раньше не сбегли?

— А раньше, кубыть, и не сбирались-то! — подвякнул Тимошка.

— Молчи, пропадужина... Вишь, я-то им дорогу заступил — и никуда не делись, мажье семя! Может, не так страшен черт... — Карп помолчал — и вдруг ухмыльнулся, явно придя к какому-то решению. — Вставай, Силантий, неча разлеживаться! Тащи образа, распятие тащи, нательный крестик сымай, коли есть, — на овин снаружи навесим. Да досками крест-накрест дверь заколотим. А под порог мертвяка неотпетого, неприкаянного положим. Хучь того же Филата — Петьку нести тяжелей. Звестное дело — колдунам через покойника переступать никак нельзя. А иконы да распятие стены оборонят. Не сбегут.

— Дык эта? может, ишшо...

— Делай, што велено!

— А бабы? — вновь подал голос Тимошка.

— А што бабы? — Карп коротко зыркнул на бледную Марфу с дочкой, и те дружно закивали журавлями колодезными, заранее на все соглашаясь. — До утра тут переночуют, ничего с ими не сделается! Язык-то прикусят, коли жизнь дорога!

Очнувшийся Федюньша молча буравил «артельщиков» и Тимошку тяжелым взглядом; но в овин пошел сам, не стал ерепениться. Акульку, которую от страха трепал мелкий озноб (аж зубы клацали!) тебе пришлось нести на руках. Княгиня шла впереди, гордо подняв голову и даже не глядя на уцелевших разбойничков; словно говорила всем своим видом: «Я, конечно, до утра посижу, но вот приедет купец — вам тут всем мало не покажется!»

Однако Карпуха был тверд и решение свое менять не собирался. Да и карабин все время держал наготове. Это он, конечно, правильно...

Дверь овина захлопнулась за вами, и снаружи деловито застучали молотком. Сквозь стук слышно было, как Карпуха дает последние наставления. Наконец лосятник убежал в безумную ночь, спеша с донесением к купцу, и неугомонный Карпуха принялся указывать Силантию, куда вешать иконы и распятие.

Ты в темноте ощупал стены, дверь. Стены — из бревен,

не своротишь. А вот дверь... Хоть и крепкая, но против Федьки может и не устоять. Ежели вдвоем навалиться...

Молоток стих, послышались удаляющиеся шаги. Что, уходят?! Вас без надзора оставляют?! Неужто так колдовства боятся?! Нет, остановились...

Они говорили тихо, надеясь, что вы не услышите, — но кое-что все же разобрать удалось:

— ...в избе... следи... не подходи близко, мало ли... мажье семя... стреляй, ежли што... А я говорю — стреляй!..

Значит, овин будут держать на прицеле издалека, скорее всего с двух сторон, и чуть что — стрелять. Вышибешь дверь — огребешь пулю. Силантий белку в глаз бьет. Небось твой-то глаз покрупнее беличьего...

Голоса смолкли.

Прислушивавшаяся вместе с тобой Княгиня тряхнула головой:

— Ну, здравствуй, Друц. А я-то предостеречь тебя хотела. И вот сама... — Она не договорила, обернулась к Федьке Сохачу:

— Давай руки, герой. Развяжу.

В углу тихо всхлипывала Акулька, трезвея с каждой секундой.

XVIII. РАШКА КНЯГИНЯ, или УХОДЯ — УХОДИ

Впереди шли поющие, позади играющие на орудиях, а посредине девы с тимпанами...

Псалтирь, псалом 67

— ...Да, — наконец бросил Друц, запуская обе ладони в соль с перцем, в кудри свои буйные, отросшие на воле куда шибче твоих. Словно выдрать их с корнем решил, баро. — Да, Княгиня. Неладные дела. Ходи, чалый, ходи в поле, умер твой хозяин...

И уставился на тебя в упор.

Еще слов ждал? Нет, Валет, не будет больше слов, все сказала, что знаю. Про Мордвинск, про поезд в ад, про игры княжеские, полуполковничьи, облавные... «Варвар-

ские». Про искалеченное тело на мраморном столе. Все сказано, тихо, коротко, вполголоса, хотя и подслушивать некому да незачем: Акулька все скулит, тянет ниточку, ей не до нас, а Федюньша-убивец как выпятился в темноту, так и не шелохнулся по сей час.

Грех замаливает?.. Вряд ли.

— Федор! Эй, Федор! А вас-то с Филатом... с покойным Филатом — прими, Господи, душу его! — вас-то какого рожна сюда принесло?

Молчит.

Не отвечает.

— Слышишь или нет?

— Слышу. — Губы Сохача даже не шевельнулись. Так, родилось прямо из могучей груди, случайным сквозняком.

— А раз слышишь, значит, отвечай!

— Я телегу на купцово подворье загнал. Стал кобылу распрягать, ан тут Филька... по улице. Песни орет. А за ним женка евойная, Палажка. Тоже, значит, орет, а чего орет — не разберешь...

Слова лились ровным потоком, гулко падая во мрак.

Разговорчивым стал, Федюньша?.. Выходит, что стал.

За всю жизнь выговориться.

— Он погнал ее, Палажку-то. Колом. А опосля мне кричит: давай, мол, по маленькой? Не-а, говорю, я лучше домой пойду. Он тогда и спрашивает: Акульку не видал? Вишь, зараза моя бранится — девка удрала! Хрена тебе, говорю, удрала! Я твою девку на взгорке видел, за селом. Она еще следом за Тимохой с бабами увязалась, в лес... Он аж побелел. Затрясся, давай на мне армяк рвать. Бегим, мол, спасать дуру надоть! Бегим, Федюха, друг любезный, без тебя не управлюсь! Ну, я и побег...

— Тятя... тятенька... — тоненьким подголоском вплелся Акулькин плач. — Дядь Друц, ты ж слыхал: он как налижется всклень, так буровит не пойми што!.. Сам с собой говорить зачинает... Я в избе была, а он докладать вдруг пошел: про полено, про тебя... про бандюков каких-то!.. Да, мол, господин вахмистр! Так точно, господин вахмистр!

Рядом дернулся Друц.

Да и тебе разом вспомнилось: морг, и жандармский вахмистр щелкает перед тобой каблуками.

Да, господин вахмистр?

Вы тоже помните?

— Дядь Друц... я ж тебя спасать... я ж...

— Ладно тебе, Акулька, — бросил Федюньша, заворочавшись. — Брось выть. Раньше им сказать надо было. Слышь, Рашеля: божатушку мою да Фильку-покойника следить за вами подрядили. Урядник приезжал, а с ним вахмистр, из жандармов!.. Велели раз в неделю все про вас сообщать.

— Что именно? — спросила ты, чувствуя, как язык не хочет слушаться.

— Все. А пуще прочего — глупости разные. Хворали? Когда? Отчего? Как с народишком сошлись? Много ли пьете? Ну и вообще...

Ты встала.

Все укладывалось на свои места: и приезд урядника за тобой, в тот самый миг, когда неведомый палач поднес каленое железо к лицу Ленки Ферт, и многое, многое другое...

— Следили, значит? Докладывали?!

Ни парень, ни девка не ответили.

Только вздохнули хором.

— Дядь Друц... — вдруг всхлипнула Акулька и со свистом втянула воздух. — Дядь Друц... А ежели б ты тогда меня взял?.. Ну, в ученицы? Мы б сейчас ушли отсель, правда? Вдвоем — ушли бы?!

Такая вера звенела в ее голосе, что тебя пробрала дрожь. Такая надежда из тех надежд, которым и умереть бы последними, ан Костлявая все сапоги стоптала, догоняючи. Значит, девка Друцу козырей сдавала? Значит, он отказался?!

Ай, Валет!..

— Вдвоем? — Спиной, затылком, шкурой дубленой ты почувствовала, как ясно улыбнулся за твоей спиной таборный ром, фартовый Дуфуня Друц. — Вдвоем ушли бы. Улетели бы. Не передумала еще?

— Дядь Друц! Миленький! Не передумала! Ноги... ноги целовать...

— Ноги не надо. Иди-ка сюда.

Тебя тронули за бедро. Тяжелая ладонь коснулась и упала, будто говоря: я с вопросом... не думай лишнего.

— Рашеля, — сказал Федюньша. — Я с тобой, Рашеля. Я с вами. Я не хочу... как кура, без головы. Не хочу. Лучше сдохну.

— Не надо, — ответила ты, видя перед собой труп на мраморе. — Не надо, Сохач. Лучше сдохни.

— Надо.

И все слова, которые ты хотела ему сказать, скомкались, вспыхнули и развеялись пеплом по ветру.

Он выбрал.

Закон есть закон.

— Ну что, Княгиня? — Друц встал рядом, плечом к плечу. — Сдадим по новой? Две карты втемную, а?

— Сдадим, Бритый, — тихо кивнула ты.

* * *

Пронзительный, зеленый цвет.

Свет.

Холодный, аж зубы заломило. Как если бы с разбегу припала губами к певучему ключу в овраге, тому ключу, что всем дверям указчик, и на нотном стане, где спит до поры царевна-музыка, — первый!

Вместо затхлой тьмы овина, где пахнет сырой кожей и еще — застарелым птичьим пометом. Почему? Не важно.

Теперь пахнет пармскими фиалками.

И еще слегка дымом костра... потому что — Друц.

У него — так.

— А-а... — Это Федюньша. Не выдержал. А рябая девка только сладко ахнула, словно в миг первой, болезненно-упоительной близости.

Вот они: Адам и Ева перед грехопадением.

Вот вы: два змия без железной чешуи, без раздвоенных жал.

Искусители? Кто из вас сейчас искуситель, кто искушаемый?! Кто?!

«Где братва твоя, Каин?! — шутили в бараке матерые жиганы; шутили-спрашивали, да сами себе и отвечали без улыбки. — Разве я сторож братве своей?..»

Видишь, Княгиня, — теплый воздух, пустота ярко-весеннего цвета вдруг начинает зыбко струиться перед тобой. Плетутся нити, нити судеб, ткутся вечные холсты, и вот: желтизна пергамента. Все как всегда. И очень хочется знать: что у Друца? Тоже пергамент? Бумага? Шелк?!

Оставь... пустое.

Алые руны бегут по желтизне. Падают каплями крови, отворенной из жил; расплываются. Строка за строкой, и Федор Сохач, затаив дыхание, следит за таинственной вязью. Ему смертная охота спросить тебя — что там написано? — но он только прикусывает губу. Больно, до лопнувшей кожицы, нежной, скрывающей пунцовую мякоть. Он не спрашивает. А и спросил бы — так ты бы не ответила. Ибо сама не знаешь, и никогда не знала. Говорят, только Духу Закона, да еще святой Марте дано было понимать смысл этих знаков; а для всех остальных — отрезано.

Не в смысле дело.

— Кровью? — выдыхает в один звук Федор; и вновь ахает невидимая тебе девка, исходит тем всхлипом, что сладок и горек одновременно. — Кровью? подписывать, да?

Ты смеешься.

Кровью не надо. И чернилами не надо.

И вообще не надо — подписывать.

— Бери.

Он повинуется.

Что сейчас творится, что происходит с рябой Акулькой, когда Друц шепнул ей «Бери!» в унисон с тобой, — этого ты тоже не знаешь, и знать не хочешь, потому что все-таки знаешь. Ведь корявая ладонь Федюньши тянется возле твоего плеча, берет пергамент и, повинуясь темному приказу, идущему из глубины страшной сказки без слов, начинает комкать желтизну в кулаке.

Сильнее!

Еще сильнее!

И вот: один кулак, и ничего снаружи.

Только вы; нагие, беззащитные, какими выходили в мир из материнского чрева.

Твоя рука накрывает кулак Сохача, вместе со спрятанным внутри пергаментом. Сожми пальцы, Княгиня! Сильнее! Еще сильнее! Взялась?

Да, свистящим шепотом отвечаешь ты мне, единственному, имеющему сейчас власть над тобой и твоим новым крестником.

Да.

И я зажигаю перед вами огонь.

Рука в руке, и в руке Договор — давай!

Резкой судорогой всего тела ты посылаешь ваши руки в пламя. Говорят, когда крестник не успевает дернуться от ужаса, закаменев волей, — это хорошая примета. Судьба благосклонна к тебе, Княгиня, к тебе и к этому парню, чья прошлая жизнь проста и размеренна... Он не дернулся. Лишь всхрапнул по-лошадиному да превратился в камень, от кулака до груди. В твердый, несокрушимый гранит, пока плоть его горела в огне заедино с плотью твоей и с пергаментом, сотканным из молодой листвы безумия.

Ты ведь знаешь Закон, Княгиня? До конца.

Держи.

Держись.

Я все вижу, девочка моя...

Ваши руки горят, каждым опаленным нервом моля о пощаде. Ваши тела сплавляются в сумасшедшем тигле, тела и Договор, не требующий подписи, ибо я не нуждаюсь в суетных заверениях или гарантиях. Я вообще ни в чем не нуждаюсь, в этом моя сила и моя кара за своеволие в делах творения... Впрочем, забудь.

Гори.

Я чуть-чуть помогу тебе: видишь?

О да, ты видишь...

...Удары била набатом плывут над спящим Кус-Кренделем. Отворяются ставни, распахиваются двери — первыми бегут бабы, простоволосые, расхристанные, на ходу браня последними словами визжащее потомство; следом тянутся непроспавшиеся мужики. Кое-кто выдергивает колья из первых подвернувшихся плетней: на всякий случай.

Некоторые с ружьями.

— Православные! — надрывается Ермолай Прокофьич, пока немой дворник продолжает терзать било. — Доколе! Стерпим ли?!

И палец тычет зачем-то в перепуганного Тимоху-лосятника, сжавшегося в комок за купеческой спиной.

— Слыхали? Лихие людишки Филата Луковку ни за хрен песий зарезали! А старшую его, Акулину, снасильничали да в омут! Убили девку! Убили!

— И-и-и! — Это Пелагея, Филатова женка.

И разом подхватили истошный вопль: сперва осиротевшие Луковки-безотцовщина, всем кагалом, а за ними любой, кто глотку по чужим страстям драть горазд.

— Православные! Нет сил!

А приказчик с немым уже тянут ящики с дорогой «монополькой», уже суют без счета в жадные руки...

— Имай вражин! Бей в душу! Власти далеко, мы рядом!

Льется водка в глотки, рвутся колья из плетней, вот и за берданками побежали, кто сразу не спохватился... Движется к окраине безликий зверь толпы.

— Факелы! Пали факелы!..

Умен купец. Верно рассчитал. Раз сухим из воды вряд ли доведется, раз хитрый зачин кляпом в глотке обернулся, значит, топи лишних в той воде, закручивай половодьем — опосля не разобраться, кто прав, кто виноват, кого за шиш убили, кого за большие деньги.

Повязан Кус-Крендель кровавой порукой.

— И-эх!..

Несется по лесу Дикая Охота.

Ближе.

Еще ближе.

Боль. Страшная, привычная. Надо спешить, после увиденного в пламени каждая минута на счету — а торопить боль нельзя. Запретно. Пока переплавится, пока сгорит все, чему гореть на роду написано, пока мука слезная силой сделается, сплавит тело с телом, душу с душой...

Ах, как больно-то!

И все-таки он не вытерпел, Федор Сохач. Мужики завсегда так... бабы — живучей. Дернулся без ума, одним ужасом телесным, шатнул камень мышц; потащил руку из огня Договорного. Чуть кулак не разжал — не кулак, уголь сизый, насквозь прокаленный! — чуть не разжал, да ты не

дала, Княгиня. Вцепилась матерью в чадо единственное, что над бездной повисло; разжать не дала, но и не удержала.

Поползла Федькина ручища прочь.

Ан не освободилась.

Пошла вперехлест Друцева лапа с кулачком Акулькиным, в ней зажатым.

Тут-то ты их и увидела: голый ром-вожак, костистый, рослый, из тех коней, что и старыми борозды не портят, — и девка не девка, девица не девица, тощая, кожа в пупырышках, а в глазах одно бьется: «Вытерплю»!

Бабы — живучей... Ах да, говорено уже.

Зацепились руки за руки: хочешь уйти, а останешься!..

Гори на брудершафт.

— Рашеля... прости.

И сунул Федюньша себя в огонь по плечо.

Чтоб наверняка.

Чтоб болью боль перешибить.

* * *

А пламя возьми да и погасни.

КУШ ПОД КАРТОЙ, или ПОКАЗАНИЯ ОЧЕВИДЦЕВ

> Душа наша избавилась, как птица, из сети ловящих; сеть расторгнута, и мы избавились.
>
> *Псалтирь, псалом 123*

Капель дробно плясала по подоконнику.

И вприсядку, и колесом, и искрами под божьим солнышком, отвлекая людей, соскучившихся по настоящей, не календарной весне, от дел праведных.

Эй, вот она я! Любуйтесь!

Впрочем, в данном случае все потуги капели обратить на себя внимание пропадали втуне. Господин полуполковник были крайне заняты: читали свежедоставленный отчет о происшествии и прилагавшийся к нему протокол опроса свидетелей.

Если тихонько приглядеться, любому покажется — их бдительность изрядно скучают. Вон толстые пальцы, поросшие жестким рыжим волосом, с ленцой листают бумаги, взгляд наискось скользит по строчкам...

Да, все верно, скука томит.

Хандра.

И то сказать — разве можно с вниманием и трепетом душевным читать эдакую околесицу:

«Уртюмов Ермолай Прокофьев, купец второй гильдии, жительствующий в селе Кус-Крендель Мордвинского уезда, при дознании добровольно и без принуждения всякого показал:

— В ночь с 23-го на 24-е марта месяца сего года, вскоре после полуночи, в ворота усадьбы, где я имею жительствовать, постучался громким стуком Драчев Тимофей, житель села Верали, православный, родом занятий — лесной добытчик. Оный Драчев Тимофей, в явном изумлении находясь, изъяснил, что стал противу воли своей свидетелем убиения, случившегося на лесной заимке, в близкой округе от села Кус-Крендель Мордвинского уезда находящейся. На той заимке, как было мне поведано, имели место быть пьянство и глумление, куда вышеизложенного Драчева Тимофея силой ввергли неведомые ему лица. Следствием указанной пьянки и глумления убиен бысть обыватель того же села Кус-Крендель, крестьянин Луковка Филат, православный. После изложенного преступного действа случилась всеобщая драка, Драчев Тимофей же, воспользовавшись суматохой, сбежал, поспешив уведомить...»

Ну ясно же: не купцовы это слова! То ли писарь, то ли его не в меру ретивый начальник переусердствовал, приводя текст к общепринятому в этом медвежьем углу канцелярскому слогу.

Господин полуполковник нахмурили густые, косматые брови; перелистнули страницу.

«...показал, что на вышеупомянутой заимке имеют нахождение также несовершеннолетняя дочь вышеозначенного Луковки Филата Акулина, иных же обывателей села Кус-Крендель трое, причем обоих полов: мужеского и

женского. Все вышеизложенные были явно угрожаемы со стороны убийц, коими, как позже ведомо стало, обнаружились: разыскиваемые за убиение и разбой Королек Карп Прохоров, Мостовой Силантий Агафонов и Лабазников Петр Демьянов. Там же имел пребывание беглый ссыльный Дуфуня Друц-Вишневский вкупе с...»

Господин полуполковник отхлебнули чаю из высокого стакана в серебряном подстаканнике. Покатали жидкость на языке и неодобрительно качнули головой. Чай ли не нравился их бдительности? Отчет ли? Еще что...

И снова: шелест переворачиваемой страницы.

«...счел неотступным: поднимать обывателей указанного села, дабы совместным тщанием и усердием поспешить на оную заимку, имея целью предотвращение злодейства. Около половины третьего ночи из села с вышеизложенным намерением выступило до тридцати местных обывателей, вооруженных...»

Ш-ш-ших-х...

Еще одна не дочитанная до конца страница лениво перевернута.

«...имела быть перестрелка с применением оружия огненного боя, гладкоствольного, равно и нарезного, а также эфирных воздействий, как смертоубийственных, так и вовлекающих в обман зрения. В ходе оной перестрелки я, Уртюмов Ермолай Прокофьев, получил множественные ранения ружейной картечью в мягкие ткани. Насмерть же убиты были: Подбрюшников Андрей...»

А вот дальнейшее чтение, видимо, всерьез увлекло господина полуполковника. Их бдительность перестали листать страницы мимоходом и теперь ерошили аккуратно подстриженные щеточкой усы, иронически вздергивали левую бровь, а иногда даже хмыкали, усмехаясь одними губами. Словно бы и не протокол читал князь Джандиери, Шалва Теймуразович, а лихой приключенческий роман — об удалых магах-разбойниках, прекрасных дамах и проницательных сыщиках, обученных дедуктивному методу.

Впрочем, может, так оно и есть?

Заглянуть и нам, что ли, все-таки решившись неслышно встать за плечом у жандармского полуполковника?

Заглянем!

Заглянем — и немедленно выясним, что далее штиль изложения резко меняется. Показания прочих свидетелей были записаны слово в слово так, как и было рассказано неграмотными кускрендельчанами. То ли писарь обленился и далее стал приводить все к казенному канцеляриту, то ли распоряжение на сей счет получил.

Распоряжение?

От кого? Уж не от самого ли господина полуполковника?!

Да полноте! К чему бы их бдительности...

Впрочем, мы отвлеклись. Вон, князь уже страницу читать заканчивают!

«...купец велел факела зажечь, штоб, значит, носами сузем не пахать. Только мы люди привычные, лесные, нам и в темноте сподручно. А приметят с заимки те факела — палить зачнут, многих перещелкают. Я к купцу — а он, значит, меня по матушке посылает. «Ты, — ругается, — шиш лесной, покомандирствуй мне! Вот те хрен!» И факела зажигать велит...»

Господин полуполковник усмехаются. Может быть, князю Джандиери представился этот самый «шиш лесной». Идешь-идешь себе по лесу, вдруг глядь — прямо из дерева здоровенный кукиш торчит, весь мхом порос...

Весело.

«...так и вышло. Как заимка показалась, так сразу и стали в нас пулять. Андрюху Подбрюшка мигом сшибли — прямо в рожу. Ну мы, бродни-валенки, в ответ жахнули жеребьем. И тут вдруг — в овине дверь аж пупырем вспучило! Вышибло ее, родимую, и в нас садануло! Саженей тридцать пролетела, ей-богу! Михайлу-немого, што у купца в дворниках служит, накрыла, паскуда, и всего облепила, ровно не дверь, а жижа болотная... Он орет, Михайла-то, а я гляжу: внутри овина зарницы вовсю полыхают, и выходят из тех зарниц четверо. Руки — чисто боженькины молоньи; огниды горючие во все стороны градом сыплются, хуже картечи! А потом как взвоют, все разом, не по-людски — и в небо прянули. По сей час: как вспомню, так на

меня едун со страху нападает — жру-давлюсь, а брюхо все просит...»

Успели-таки!

Успели дочитать — а вот и господин полуполковник страницу перевернуть изволили.

Нуте-с, нуте-с, что там дальше?

«Показания охотника Сумарокова Николая Евграфова, жителя села Кус-Крендель Мордвинского уезда:

— Так што объявил купец Ермила привселюдно, што иттить надо в лес, наших сельчан выручать, да и людей разбойных под корень извести — мол, совсем житья не стало от окаянных. А тем, кто пойдет, он, купец Ермила, долги все прощает и водки выставляет без счета — для храбрости.

Вот.

А я купцу два рубля с полтиною задолжал. Ну и земляков выручать надоть, понятно. Так што выпил я купцовой водки раз, выпил другой, да и пошел. И много кто пошел, кто с ружьями, кто так, с топорами.

Вот.

А едва пальба зачалась, так вокруг чудеса дивные твориться стали: лес гнилым туманом заволокло, и в тумане том — тени ворочаются, аки чудища химерные. И деревья все скрыпят, скрыпят, будто от ветра верхового; а ветра-то и нет вовсе! Опосля прошел вроде мимо кто — аж холодом повеяло, как из могилы. Меня страхи взяли! Мигом тверезый стал, руки-ноги ходуном ходят... Ан глядь: развидняется, уж и нет тумана никакого — ну, мы снова ружья в руки и давай палить!

Вот.

Так што наших пятеро полегло, и еще троица раненых; у купца Ермилы картечи полна задница — так ему и надоть, козлине, штоб не хоронился по кустам! А из разбойничков никто живым не ушел. Филата Луковку мертвенького сыскали, близ овина, как Тимошка и сказывал. Марфу-солдатку с дочкой — живых; только обезъязычели, бедолаги, мычат и мычат. А ссылочные, те, што мажьего семени, — пропали они пропадом. И Федька Сохач с дочкой Филата, невинно убиенного, тоже. Небось колдуны их с собою уволокли, силою волшебной.

Вот».

Капель притихла.

Угомонилась.

Совсем тихо стало; только слышен безнадежный вопль извозчика за окном:

— Седай! Седай, барин!

Пусть его кричит.

«Показания лесоруба Понтюхина Игната Трофимова, жителя села Кус-Крендель Мордвинского уезда:

— Все душегубцев бить пошли. Я топор взял и тоже пошел. Ружьишко-то продал, еще запрошлый год. Когда пришли — душегубцы палить стали. Я за дерево спрятался. Нешто я дурак — под пули лезть? Пущай их наши сперва пристрелят, а уж после и я бить пойду. Гляжу — мимо жихори идут. Эти, которые неприятная сила. И видно скрозь них все: вона сосенка, а вона купец Ермила в кустах корячится. Я креститься — а они только ухмыляются и пальцем грозят. Я за топор, а руки заколодели, не руки — крюки железные! А едва прошли жихори мимо, слышу — вопят: «Сюда, сюда!» Я пошел. Смотрю — душегубцы мертвые лежат. А с ними — Филат Луковка. Ну я постоял немного — и домой...»

Господин полуполковник улыбаются.

Господин полуполковник довольны. Чему, спрашивается? Тому, что никто из разбойных людишек живым не ушел? Вряд ли, господа, вряд ли... Неужели же — тому, что ссыльным магам-рецидивистам удалось безнаказанно скрыться, обведя вокруг пальца и разбойничков, и сельчан, да еще прихватив с собой две невинные души? Неужели это обстоятельство вызывает у их бдительности добродушную улыбку?!

Нет ответа...

Книга вторая

ПРИЛОЖИ БЕЗЗАКОНИЕ К БЕЗЗАКОНИЮ ИХ...

Круг первый. СОЛЕНЫЙ ВЕТЕР КРЫМА

— Магия хороша на расстоя
нии броска топора!
Опера «Киммериец ликующий», ария Конана Аквилонского

ПРИКУП

Лестница сочувственно пела под ногами тетушки Деметры.

Разумеется, это давным-давно была не та лестница, которая игриво вскрикивала под босыми девчоночьими пятками; и совсем другие ступеньки отзывались восхищенным аханьем, когда Деметра Андрусаки, первая балаклавская красавица, подымалась по ним на второй этаж дома. И уж абсолютно иные перила вздыхали с сочувствием, когда мужняя жена в тягости приваливалась к ограждению — перевести дух.

Ах, если бы годы так же легко можно было заменить на другие — молодые, певучие, новые! — как менялись все эти ступеньки, перила...

Старая женщина улыбнулась запавшим ртом.

Она брюзжала на возраст просто так, для разнообразия. Меньше всего ей хотелось вновь становиться молоденькой дурочкой. Да-да, святая правда! А кто не верит, пусть идет себе мимо.

Тетушка Деметра любила свои годы: все вместе и каждый в отдельности.

А еще она любила минутку-другую постоять вот здесь,

на крохотной площадке между двумя пролетами. Отсюда за спиной ласково молчал сад, и маленький виноградник, увитый лозами дорогого сорта «шашля», и ветер гнал рябь по кронам абрикосовых деревьев — а там, снаружи, поверх забора из песчаника, был виден каменный колодец, где судачили о своем, женском хозяйки в клетчатых передниках.

Крикнуть, что ли, внучатой невестке, молоденькой болтушке Андромахе, чтоб не задерживалась?

Вместо этого тетушка Деметра повернула голову и глянула в сторону бухты. Туда, где огромный дракон-кровопийца из камня, увенчанный короной древних развалин, припал к узкому горлу залива, — сейчас невидимый, там ночами горел фонарь таможенного кордона. Покойный муж, выходя перекурить на сон грядущий, всегда указывал на него рукой и смеялся. «Бдят!» — говорил веселый Костя Андрусаки, пока был жив, и от души шлепал жену по ягодицам, словно досматривая тюк с контрабандой. Вот и сейчас, вдова уж более семи лет, тетушка Деметра по-молодому улыбалась, глядя в ту сторону.

Внизу, под плетеным навесом, старшая дочь жарила лобана на шкаре — сплошь заставив устье печи глиняной черепицей. Чадный запах не раздражал. Напротив, он настолько въелся в руки, в одежду, в саму жизнь тетушки Деметры, что, исчезни он однажды, запах рыбы, сырой, маринованной или жареной, — женщина ощутила бы беспокойство.

Она и сейчас ощущала беспокойство, но рыба здесь была ни при чем.

Это все сон. Сегодняшний сон, родной брат вчерашнего и позавчерашнего. Остро-изумрудная греза, где пахло отнюдь не лобаном — цветами пахло, дивными, незнакомыми цветами; и еще там горел огонь Договора. Это не удивило бы тетушку Деметру: сколько раз виделся ей этот огонь, хоть во снах, хоть наяву, и никогда даже тени раздражения не возникало... Но руки! Руки, перехваченные в едином движении! Две пары скрещенных рук!

Впервые тетушка Деметра, Туз Крестовый, своими глазами видела «Договор-на-Брудершафт».

А отчетливость видения могла значить лишь одно: здесь они, рядом.

В Крыму.

Мимо колодца, заставив хозяек прикусить язычки, прошел пьяный с утра рыбак — хохол Остап Небейбатько. Он искоса поднял мутный взгляд, увидел старую женщину и сразу уставился себе под ноги, словно боялся оступиться. Не бойся, рыбак, — уже оступился, чего теперь дергаться макрелью на крючке... Три года назад Остап незваным явился в дом тетушки Деметры и намекнул, что если зятья Андрусаки не возьмут его в свою артель на равных паях, то он сообщит куда следует о ком надо.

«О ком?» — удивилась старая женщина.

Остап закурил и разъяснил, кого именно он имеет в виду. Тех чужаков, что раз в месяц заглядывают в дом почтенной вдовы Андрусаки. И уходят после недолгой беседы. На контрабандистов они не похожи; на гостей похожи еще меньше; на дачников не похожи совсем.

Значит?

«Ну и что?» — спросила старая женщина.

Ничего. Вот он, Остап, пойдет и заявит властям, а там пусть разбираются — что.

Вместо участия в артели и равных паев говорливый Остап получил в подарок совсем иное. Тетушка Деметра, проводив хохла до ворот, тихо шепнула ему на ушко: год, день и час.

А потом объяснила — это срок Остаповой смерти.

Хохол засмеялся: еще лет двадцать с гаком выходило, если не врет старуха. Он смеялся больше недели; потом запил. Потом съездил в Севастополь и купил себе на последние деньги часы с цепочкой. По сто раз на дню щелкал крышкой, смотрел на циферблат — и круглое, загорелое лицо Остапа при этом наливалось восковой бледностью.

Спустя год он попробовал застрелиться из старого, дедовского ружья. Пуля прошла вскользь, оставив шрам. Позднее, на глазах команды рыбачьего баркаса, он прыгнул со скалы у мыса Айя. Его вытащили и откачали. А яд, украденный хохлом у аптекаря Ивана Кузьмича, оказался кислой дрянью, вызывающей понос.

Ни разу он не попытался узнать: правду ли сказала старуха? обманула? пошутила?

Он не пытался, а тетушка Деметра и не напрашивалась.

Одолев последний пролет, женщина вошла в дверь второго этажа. Села на табурет у стены, отдышалась. Все шло своим путем: двое зятьев на набережной латали сети да сучили бечевку на камбалу, третий зять — кофейщик — вместе с женой обслуживал утренних посетителей, большим числом из дачников... А к ней, к Деметре Андрусаки, скоро должна была прийти ее последняя ученица. Хорошая девочка (ай! Какая она девочка?! Ну да ладно...) — еще месяц-другой, и полностью в Закон выйдет.

На ученицу были заказы. Солидные, через третьи руки, через людей самого Мишки Бубончика; как и полагалось при обращении к козырному Тузу. Хозяин ипподрома в Симферополе, затем одесские контрабандисты просили, от имени Папы Сатыроса; ну и владелец ялтинского игорного дома, из тех авраамитов-реформаторов, что сменили кипу на цилиндр и прямо-таки вросли в глянцевые смокинги.

Тетушка Деметра пока что не решила.

Думала.

Выбирала.

Дочкам женихов она выбирала с меньшим тщанием, с меньшей придирчивостью, чем работу для своих учениц. Все-таки хорошо, наверное, что способности к «эфирному воздействию», как говаривали курортники-дурошлепы, не передаются по наследству. Старая женщина не хотела детям своей судьбы. Незачем.

Лишнее.

Если б еще не этот сон... если б еще ей снились просто сны, какие снятся прочим людям!

О «Договоре-на-Брудершафт» меж магами в законе говорилось шепотом. Никто не знал реальных последствий этого опрометчивого шага; никто не знал и рисковать собой не хотел. Пугала — непредсказуемость. Та двойственность, что сродни безумию и безумием же оборачивается.

А тут еще и в придачу...

Сегодня был плохой день у тетушки Деметры, Туза Крестового.

I. ФЕДОР СОХАЧ, или ИСКУССТВО ТРЕБУЕТ ЖЕРТВ

Ждали меня, как дождя, и, как дождю позднему, открывали уста свои.

Книга Иова

На сцене творилась обычная утренняя белиберда.

Да-с, господа мои, именно белиберда — скучная и неотвратимая, как пароксизмы раскаяния у гимназиста, истратившего все карманные деньги на приобретение набора порнографических открыток *«Danse de chale»*[1].

— Куда! Куда суешь! — надрывался пожилой бутафор, сверкая вывороченными белками глаз. — Боком! Боком заноси, дубина!

Рабочий сцены, к которому, собственно, и был обращен пылкий монолог бутафора, послушно двинул раскрашенную громаду боком. Вчера давали «Короля Льва», сочинение господина Шекспира, калужского мещанина, и декорации с вечера остались неразобранными. В частности, остался стоять монументальный трон, на котором в течение пяти актов восседал безумец король, разделивший державу между троицей дочерей-близняшек, а сына-наследника отправивший силой в Гейдельбергский университет — в результате чего все благополучно умерли, а скипетр достался сперва королевскому кузену-злодею, а после него лорду Фортинбрасу фон Макбету, чья супруга под занавес додумалась налить муженьку в ухо отвар пантерного мухомора.

Сейчас троном, сим вожделенным престолом, безраздельно владел рабочий сцены, ворочая его в одиночку.

Чем подтверждал мысль о бренности земной славы.

— Боком! Толкай, говорю!

Наконец трон въехал за кулисы, едва не смяв в лепешку помощника режиссера — молодого человека, почти мальчишку, с испитым лицом, похожим на простыню двухрублевого борделя. Помреж заскулил, уворачиваясь, и был отстранен карающей дланью, явившейся из-за кулис.

---

[1] «Танец с шалью» (франц.).

Между троном и пыльной тканью занавеса на подмостки прошествовал ходячий обелиск самому себе.

Воздвигшись посреди авансцены, обелиск тряхнул отроду не мытой гривой волос, простер руку, обличительно выпятив указующий перст вдаль, и запел басом:

— О ты, дрянной, мерзкий человечишка! Ты, проститут искусства! Доколе! Где мой четвертной?! Где?!

— Иди проспись! — двухголосым хором, в терцию, донеслось из беседки, сплошь увитой плющом.

И обелиск покорно удалился, оборвав тираду. Ибо даже знаменитому трагику Елпидифору Полицеймако не под силу было спорить сразу с двумя отцами-основателями Московского общедоступного театра: Владимиром Ивановичем Станиславским-Данченко и Константином Сергеевичем Немировичем. О, это были львы! цари сцены! потрясатели основ! — заявившие о себе во всеуслышанье постановкой в Мариинке оперы «Киммериец ликующий», где главную партию, знаете ли, пел сам Федор Шаляпин!

— Каков хам! Не правда ли, любезный Владимир Иванович? — дернул щекой один из гениев, погружая усы в бутерброд с семгой.

— И не говорите, милейший Константин Сергеевич! Мы ведь его из грязи вытащили, из грязи да в князи! Иначе так и прозябал бы себе в антрепризе мошенника Раскина, благородных отцов играючи!

— Вот, вот оно! — И, не договорив, что именно «оно», гении понимающе улыбнулись друг другу.

Жаль, что знаменитый трагик не видел этих улыбок. Искренне, душевно жаль! — впрочем, Елпидифор Полицеймако уже напрочь забыл и про короткую дискуссию, и про заветный «четвертной». Сейчас вниманием трагика, мучавшегося безраздельным, можно сказать историческим, похмельем, завладел рабочий сцены.

Тот самый.

— Феодор! Феодор, душа моя! Один ты, ты один понимаешь...

Бутафор рискнул было что-то вякнуть по поводу неразобранных декораций и вечернего спектакля, но ему внятно объявили о чуме на оба его, бутафорских, дома — после

чего рабочий сцены был увлечен мятущимся трагиком в уборную.

— Эх, Феодор! Утолим?! — И наполовину пустой графин вкупе с двумя рюмками явился на свет божий из тьмы египетской, что царила под гримерным столиком.

Федор Сохач послушно кивнул, беря в руки дар трагика. Пить он не собирался, особенно с утра, да и знал доподлинно: компания великому Елпидифору в этом смысле отнюдь не требуется. Выпить трагик мог и сам, причем изрядно. Но пить в одиночку?! С зеркалом?! Никогда!

— Фарисеи! Кругом фарисеи, мой друг Феодор! Завистники гения! Я им: «Быть или не быть?! Я вас спрашиваю, канальи?!» — а они эдак гнусненько: «Да что ж это вы, Елпидифор Кириллыч? Не пора ли баиньки?..» Где им, тараканам, внять страданиям чистого духа?! Один ты, ты один...

Дальше Федор не слушал, за последние полтора месяца выучив излияния (равно как и возлияния) трагика наизусть. Еще б понять: с чего это Полицеймако, чье имя на афишах Московского общедоступного печаталось самым крупным шрифтом, вдруг воспылал любовью к безвестному, недавно нанятому работнику?

Велика тайна, а отвечать некому!

У Княгини спрашивал — смеется...

ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ

С похмелья — боязно; зато если подловить момент, когда знаменитый трагик уже успел пропустить первую утреннюю стопку, но еще не добрался до второй, и заглянуть ему в глаза:

...барабан.

Большой, гулкий. Слой пыли, будто серый бархат — поверх облупившегося лака цвета бордо, поверх тугой, но уже начавшей рассыхаться кожи. Стоит в темном чулане, никому не нужный: ушел барабанщик — да и не вернулся. Запил, видать... Чу! Дверь скрипнула, полоска света — все шире, шире. Сейчас наконец барабан извлекут из опостылевшего

чулана, смахнут пыль — и от гордого, торжествующего «Бум-м-м!» у окружающих на миг заложит уши.

С возвращеньицем!

* * *

— Тебе передам! Тебе одному, душевный приятель Феодор! Сполна, ни капли не пожалею!..

— Чего передашь-то, Елпидифор Кириллыч? У тебя ж у самого ни гроша, ни алтына, беден ты как мышь церковная...

Трагик кинул в глотку вторую порцию водки. Расхохотался:

— Глуп ты, Феодор! Алтын, грошик... Талант я тебе передам! Талант исполина сцены, знаменитого Полицеймако! Ныне же скажу этим — змию двуглавому! — беру тебя в ученики! Хватит искре божией тлеть в сей грязи! Хватит ворочать хлам, именуемый декорациями! Сцена ждет, Феодор!

Федор зевнул украдкой.

По привычке перекрестил рот — хорошо, Рашеля не видит, а то заругалась бы всенепременно.

— Шавишь ты все, Елпидифор Кириллыч! Ну поглянь, поглянь — куда мне в актерщики?! Ни талану, ни памяти!.. Стыдобища!

— Сущеглупый ты вьюнош! — Трагик обеими ручищами взлохматил свою знаменитую гриву и стал похож на Медузу Горгонскую, о какой рассказывала Княгиня. — А в ком он есть, талант? В Мамонте Дальском? В Сальвини?! В смазливом душке Мочалове?! Нет!!!

— А в тебе?

— Ну разве что во мне, друг мой Феодор! В нашем деле что важней всего, помимо страсти к хмельному? Стать трагическая! Глотка луженая! Жест! Огнь в глазах! И всем этим тебя судьба щедро наградила, упрямец ты этакий! Не придется ли скорбно воскликнуть на склоне лет: *«Tu l'as voulu, Georges Dandin!»*[1]?

---

[1] «Ты этого хотел, Жорж Данден!» — цитата из Мольера (*франц.*).

— *C'est une maladie!*[1] — пожал плечами Федор Сохач. — Елпидифор Кириллыч, не пил бы ты столько с утра... ну ее, проклятую!..

Он знал, что сказал трагик по-французски и что ответил он сам. Знал, и все. Просто так. Как знают, что с похмелья хорош капустный рассол. Это все Рашеля, Княгиня заботливая. В такие минуты, когда пришедшее из ниоткуда знание вырывалось наружу, непроизвольно и естественно, Федор всегда чувствовал: вот она, Рашеля, стоит за левым плечом. Где бы ни была на самом деле — стоит. Помогает. Подарки дарит.

И за плечом правым, чуть поодаль, но все равно здесь — Друц.

Это они.

Спасибо.

И ничего в этом нет удивительного.

— Феодор! Святая простота! Дай я тебя облобызаю!

«А губы-то мокрые...» Федор послушно терпел, думая о своем.

Если бы излияния трагика, всегда заканчивающиеся страстным желанием взять «друга Феодора» в ученики, хоть чуточку отличались разнообразием...

* * *

Вся дорога из холодного Кус-Кренделя в жаркий Крым, все эти дни, недели и месяцы слиплись для Федора в один разноцветный ком. Будто горсть ирисок на солнцепеке. Весело гудел паровоз, колеса бранились друг с другом, подпрыгивая на стыках; строгий кондуктор заходил в вагон, спрашивал билеты и всегда улыбался, встречаясь взглядом с Княгиней.

Федора кондуктор и вовсе не замечал.

Поначалу было обидно, а после стерпелось как-то.

На нить дороги бусинами нанизывались города без названия. Вернее, Федор старался, старался и все не мог запомнить, где они остановились на сей раз. А может, ему не

---

[1] Это кошмар! (*франц.*)

больно-то хотелось запоминать?.. Может, и так. Размеренные, серые будни, укатанная колея из рождения в смерть вдруг обернулась случайным фейерверком, радугой брызг над ручьем — гостиницы, обеды в трактирах, высоченные дома, фонари, кареты, вывески и люди, люди, люди...

Разные.

Раньше он никогда не понимал, что по земле ходит столько людей.

«Живем как баре», — временами думал Федор, самодовольно ухмыляясь. Не курой безголовой по двору носимся — орлами парим. Куда там уряднику Кондратычу, куда Ермолай Прокофьичу, купчине тороватому; куда батюшке из Больших Барсуков! И в один малопрекрасный день вдруг понял: ничего подобного. Настоящие «баре» живут совсем иначе. Совсем-совсем иначе. Не ночуют во второсортных гостиницах, на кроватях с клопами, дыша едкой вонью персидского порошка; не дивятся вывескам на особняках: «Сдается под свадьбы, балы и поминовенные обеды», не смотрят на газовые фонари разинув рот. Знание, как обычно, явилось само, почти сразу за случайной искрой: «Я читаю?! Нет, я правда умею читать?!» — и парень почувствовал удивительное. Он, Федор Сохач, — муравей перед горой этого знания, и быть муравью погребенным в горе, и стать со временем частью горы.

Стать горой.

Но муравей — где ты, живая козявка? Ау! Не откликнется боле...

Пожалуй, впору было испугаться. Но страх отсутствовал. Потому что, даже оставшись на время один, — нет, иначе: один на один с самим собой, новым! — Федор нутром чуял: Рашеля здесь. Пусть она велела вслух звать себя тетей Розой или Розалией Самуиловной, а про Рашелю или уж тем паче Княгиню забыть и не вспоминать. Пусть она все чаще исчезает по своим малопонятным делам, пусть ничему не учит его, глупого Федюньшу; пусть отсылает его на целый день погулять по городу, щедро насыпав в карман мелочи, — все равно она здесь.

Рядом.

За левым плечом.

Поддержит, ежели что.

Ведь усатые городовые тоже не замечали парня, вроде тех кондукторов.

Кстати, Друц с вредной Акулькой то подолгу ехали вместе со своими товарищами по бегству, то растворялись в гомоне и толчее, чтобы скоро возникнуть рядом. Федор даже не успевал заметить, куда-откуда они девались-появлялись. Ушли в буфет за пирожками, а вернулись через три станции и без пирожков. Но в любом случае связь с ними ощущалась остро и своеобразно: когда, глянув искоса через плечо правое, Федор не видел бывалого рома (взаправду? нет?!), то у парня начинало бурчать в животе. А Княгиня нервничала, много курила по ночам и сразу успокаивалась, едва Федькин живот сообщал: эти двое снова поблизости.

Когда Федор однажды спросил, почему так, Княгиня отговорилась дурацким Брудершафтом. Что такое этот самый «брудершафт», парень уже знал. Видел в питейном заведении: люди обнимаются руками, пьют вино, а потом целуются.

Ясное дело, не хочет объяснять Княгиня. Отговаривается ерундой. Он-то, Федор Сохач, с Друцем хоть и обнимался руками — там, в страшной грезе про огонь! — но целоваться таборный ром к нему не лез.

И правильно, иначе мигом бы по роже схлопотал.

Как тот писклявый фертик в городке без названия, когда Рашеля вывела Федора, по ее выражению, в «богему».

Единственным городом, который Федор запомнил по имени, был Харьков. И то лишь по одной причине: они попали туда летом, и целый месяц жили при харьковском борделе, на улице Конторской. Переговорив с хозяйкой, толстенной бабищей по имени Зося, Княгиня устроилась работать экономкой, а Федора приставили днем «за все про все», а вечером — вышибалой.

Ему понравилось.

Весело.

Если бы только не девицы, которые липли к парню, как... Как мухи на мед. Как трагик Полицеймако. Как фертик из «богемы». Как многие случайные знакомые и незна-

комые люди по дороге. Княгиня всегда смеялась, едва парень начинал спрашивать — чего это они?! — и в темных глазах Рашели плясали бесенята.

«Это оттого, что ты за левым плечом, а Друц — за правым?» — допытывался Федор.

Да, смеется.

Оттого, смеется.

Друц за правым, а я за левым — смеется.

Терпи, казак, атаманом будешь.

Федор терпел. Слушал душевные излияния девиц, когда те по утрам — нечесаные, в мятых сорочках, опухшие после вчерашнего — делились с ним стыдными секретами. Бегал за конфетами и солеными огурчиками, кому что по вкусу. Гонял взашей любовников-«котов», требовавших у проституток денег на выпивку. Принимал шляпы и трости от гостей; наиболее скандальных вежливо просил уйти. Они уходили. Только однажды пришлось выбросить на улицу толстого немца-учителя из гимназии — тот хотел от выбранной девочки... Федор не понял, чего именно хотел немец, но это было совершенно невозможно. Невозможно с точки зрения хозяйки Зоси, невозможно на взгляд Княгини, а девицы — те просто визжали и грозились подговорить товарок по профессии, чтобы заразить немца сифилисом.

А так — тишь да гладь.

Жаль, в первых числах июля Княгиня явилась в бордель встрепанная, без шляпки и велела живо собираться. Через два дня они оба уже числились в составе Московского общедоступного театра, едущего на гастроли в Крым, — Княгиню записали в труппу, во второй состав без упоминания на афишах и предоставления бенефисов, а Федора приняли рабочим сцены.

Пожалуй, театр понравился парню вровень с борделем, да и сходство между первым и вторым наблюдалось изрядное.

Утром — опухшее безделье, к вечеру — бурная, невзаправдашняя игра в жизнь; ночью — самая гульба.

И снова утро.

День да ночь — сутки прочь.

Иногда ему казалось, что Кус-Крендель был просто дремой без сновидений.

Без надежды проснуться.

* * *

— ...Господин Полицеймако! Елпидифор Кириллыч!

Визгливый крик вывел Федора из отстраненной задумчивости, куда парня вверг однообразный, как стук дождя по подоконнику, монолог трагика. Оглянувшись, он заметил в дверях уборной помощника режиссера — того самого слишком молодого человека, который при ближайшем рассмотрении казался уже не молодым, и не слишком.

Имени-фамилии помрежа запомнить не удавалось, да и любой из труппы Московского общедоступного, включая отцов-основателей, не звал его иначе как Иванов-седьмой.

Хоть в глаза, хоть за глаза.

Почему все при этом улыбались, Федор не знал.

— Господин Полицеймако! — Лакированная кожа на скулах помрежа натянулась, треснула сетью красных морщинок. — Вы говорили, у вас цензорские справки остались?

— Изыди! — Царственный жест, опрокинувший пустую рюмку, был ему ответом.

Помреж нервно пожал плечами:

— Ну как хотите... А *они* требуют! Билетер доложил: на вчерашнем спектакле в зале был замечен антрепренер Склозовский, а также известный вам Гордон Крэг в компании самого Саввы Мамонтова! Вы можете предположить, чтобы такие мэтры без причины явились к нам?! Я — нет!

Став необыкновенно проворным, трагик пал на четвереньки и живо засеменил в угол — где и принялся терзать дорожный портплед. Полетели мятые галстуки, запонки для манжет, курительные трубки; у ног Федора шмякнулась пачка нюхательного табака. И наконец поиск увенчался громоподобным воплем:

— Свершилось, други!

Потертый на сгибах лист бумаги, извлеченный Елпи-

дифором Кирилловичем из недр, порхнул бабочкой и опустился Федору на колено.

Развернулся сам собой.

«Сим удостоверяется, — машинально прочел Федор, — что успех бенефиса «Казнь безбожному», сочинения г-на Браве, с костюмами от I по XIX в., вызван исключительно естественными причинами. Присяжные эксперты следов эфирного воздействия не обнаружили, в чем и составлен акт».

Ниже стояла неразборчивая подпись с завитушками.

Еще ниже — печать.

Схватив драгоценную бабочку за крылышки — осторожно, дабы не осыпать пыльцу слов! — помреж сломя голову кинулся прочь. Впрочем, с ловкостью фокусника успев прежде налить себе из графина.

Допивал он рюмку на бегу.

— А! Тяжело им, завистникам, переть против рожна! — Трагик выбрался из угла взмыленный, потный. Кудри его, осыпанные перхотью, воинственно шевелились кублом змей. — Гляди, друг мой Феодор: триумф!

— Чего это он, Елпидифор Кириллыч? — вместо оваций поинтересовался Федор, ни арапа не поняв в случившейся сцене.

И — чудо! — знаменитый Полицеймако, исполин сцены и гений духа, вдруг сделался тихим, усталым человеком много старше средних лет. Осунулся лицом, гоня хмель из налитых кровью глазок.

Вздохнул без наигрыша:

— Эх, Федька...

Набрал воздуха, хотел было рыкнуть, да не рыкнул.

Так выдохнул:

— Глуп ты еще. Молод. Подрастешь, оботрешься на подмостках — уразумеешь...

— Да что уразумею-то?

— Ничего. Дадут тебе, к примеру, бенефис в городе Орле, а ты возьми да и прогреми во человецех. Критики осанну поют, публика-дура валом валит, за партер рублики несчитанные платит. Власти с семьями посещают; лорнируют стеклышками. Барышни опять же, мамзельки-фиалки...

только что не вешаются. Иная, однако, и повесится или там мышьяку налупится от страсти романтической — бывает. В город выйдешь — всяк честью считает стаканчик поднести. Да не «монопольки»! Шустовским коньячищем чествуют! Хорошо?

Федор смотрел на нового, незнакомого трагика.

Кивал: хорошо, дескать.

Куда лучше — публика, барышни... стаканчик.

— Вот я и говорю, что глуп ты. Попервах вроде бы и впрямь хорошо. А там явится за кулисы вот такой вьюн! — Толстый палец трагика дернулся хитро, весьма похоже изобразив повадку Иванова-седьмого. — Доложит: видели в зале известных мэтров — двоих из Москвы, одного из Киевской консерватории... А случается, что и заграничные птички на насесте сидят! Опять скажешь: хорошо?!

Федору отчего-то стало холодно.

— Молчи уж лучше... Очень им нужно, мэтрам, на твой бенефис за тридевять верст ездить! Сдался ты им... Значит, за казенный кошт ездят! По государственной надобности! Значит, начальник орловской цензорской коллегии обеспокоился: а не эфирное ли воздействие есть поводом успеха? Не посажено ли в кулисах должное количество преступных магов: глаза отвести? личину на актеришку бездарного набросить? трепету в души подпустить?!

«Надо будет Княгиню предупредить, — вспыхнуло жарким огнем. — Зачнут мести, нас не минут! Неужели ее в труппу только за этим делом и взяли?.. А мне не сказала, что ли? Очень ты нужен, Федька, чтоб тебе докладываться!..»

И правда вроде бы, а все равно обидно.

Трагик тем временем прошелся по уборной; взлохматил гриву обеими руками.

— И поехала тайная проверка, друг мой Феодор! Присяжные консультанты бенефис твой посмотрят, а там и доложат в отчете — но спустя недельку, чтоб если и было воздействие, остыть душами. Все разберут по косточкам: и игру твою, и постановочное мастерство, и костюмы, и декорации — завлекательно ли? Хлам ли, безделица старая?! Молись тогда, чтоб одобрили! А цензорские людишки уже по городу шустрят: хороша ли рекламная кампания? Зна-

менит ли антрепренер? автор пиесы? режиссер-постановщик? бенефициант?! Давали ли благотворительные концерты?!

Полицеймако шумно перевел дух.

Хлебнул из горлышка.

— Ежели дадут тебе цензорскую справку с указанием «естественных причин успеха» — тогда ты кум королю, сват министру! Пей коньяк, своди с ума барышень! А не дадут...

— И что тогда, Елпидифор Кириллыч?

— Мало ли чего... Вот черкнет главный цензор писульку, и пойдет твое дело на рассмотрение в жандармерию, к облавным волкам! Они и явятся — поначалу инкогнито, «след» вынюхивать. Сразу куда как веселее станет... Понял, друг мой Феодор?

Федор мало что понял, но спрашивать дальше ему помешали.

— Федька! — Помреж опять возник в дверях чертиком из табакерки. — Федька, душа твоя гулящая! Дуй вниз, тебя руководство зовет! Понесешь бумаги в контору, к цензорам...

«Водки, что ли, выпить?» — подумалось невпопад.

* * *

В беседке завтрак неожиданно сменился уроком чистописания.

— Пишите, милейший Константин Сергеевич! — Один из гениев встал, нервно пощипывая бородку, знаменитую в театральных кругах ничуть не менее пышных усов его партнера. — Значит, так: «Начальнику цензорской коллегии города Севастополя, статскому советнику Бушвецу Ивану Петровичу». Написали?

Кивок был ему ответом.

— Теперь ниже. «Ваша въедливость! Будучи уверены, что Вам неоднократно приходилось иметь дело с наветами и оскорблением честного актерского имени, душевно пребываем в надежде: назначенная Вашей въедливостью проверка будет свершаться скрупулезно, с полным соблюдением буквы закона».

— Б-буквы... закона... — Перо скрипнуло, едва не посадив кляксу.

— «Посему, являясь верными почитателями таланта Вашей въедливости выявлять и обосновывать, позволим себе превентивно снабдить Вас необходимыми для проверки документами (прилагаются к письму). Добавим лишь, что пиесы взяты нами в репертуар исключительно у авторов добропорядочных, всемирно известных, а что касательно славы Московского общедоступного театра, привлекающей к нему публику, так об этом и говорить не стоит».

— Пи-и-есы... не стоит...

— «Остаемся искренне Ваши... контрамарки до конца гастролей прилагаются... руководители Московского...» Ну, давай подпишемся. Да не сворачивай — пускай просохнет!..

Спустя минуту Федору было вручено письмо вкупе с многими иными бумагами. Дело было за малым: сбегать на Корабельную сторону и передать бумаги в цензорскую коллегию.

— Пошел! — дуэтом, но на сей раз в унисон, напутствовали парня гении.

Федор и пошел себе.

II. АЗА-АКУЛИНА, или И Я ТОЖЕ ТАК СМОГУ!

> Вот они, как дикие ослы в пустыне, выходят на дело свое, вставая рано на добычу; степь дает хлеб для них и для детей их.
>
> *Книга Иова*

...Ух, пыль эта проклятущая! Надоела! У нас в Кус-Кренделе тропки-то лесные хвоей притрушены, а здесь — пылища ковром! И на дорогах, и на порогах, и во дворах, и на зубах скрипит все время, будто стекла толченого наелась. Даже деревья сплошь пыльные... Деревья? Огрызки, кривули перекрученные!

Лес, говорят.

А я смеюсь.

Чего смеешься? — спрашивают.

То вы леса настоящего не видели! — отвечаю.

А они обижаются. Дураки потому что.

Вообще-то грех судьбу гневить — хорошо тут, в Крыму ихнем! Солнце аж полыхает! Поначалу страх брал: спалит заживо! Ан привыкла. Нравится! Загорелая стала — чисто ромка урожденная! Вот, нос облазил, а теперь уже не облазит.

Прокалился насквозь.

Небо — словно застиранное все; не голубое даже, а белесое какое-то. Тоже сперва дивилась. Нитки наружу торчат, курчавятся облаками.

А горы?

А море?!

Век бы не вылазила на берег! Хвост отрастила бы, склизкий, зеленый, навроде русалочьего... Нет, с хвостом плохо. Засмеют.

Не надо хвоста.

А сады тутошние? Я такого и не едала отродясь, и не видала, и не слыхала, что бывает! Гранаты там, хурма неприличная; этот, как его... инжир, вот! Треснет пополам, мякоть зернистую выпятит — красотища! Про груши-яблоки, абрикосы-персики, про дыни-арбузы с виноградом и говорить нечего! Как начинаю все это добро в рот пихать, так и остановиться не могу.

Уже и не лезет, а лезет...

И люди тут другие. Носатые сплошь, загорелые, говорят чудно́, одеваются чудно́... Я и сама теперь чудо-юдо распрекрасное! Мне ромки в таборе обновы по сундукам подобрали — загляденье! Юбки широченные, в складку, с оборочками... Да не одна, а целых три: алая, салатная и золотенькая в рябушку! Блузка лазоревая, из атласа, тесьмой разноцветной шита; мониста звоном на груди переливаются.

Не девка — радуга-дуга.

Платок еще красивый дали, с цветами да птичками, только я его носить не люблю. Ну его, платок; жарко. Оттого и волосы у меня выгорели. Смешно: волосы изо льна — а сама черным-черна. Ромки, пожалуй, почернее моего будут,

ну так им от роду-веку положено... Упросить, что ли, Лейлу — пусть волосы красить меня научит?

Буду вроде петуха индейского.

И серьги мне ихние не понравились. Велики больно. От них, того и гляди, ухи оторвутся! Мне дядька Друц обещал другие купить, маленькие, как у городских барышень. Ой, то есть он не Друц теперь! И не дядя! Он теперь Дароца, Иван Дароца! Это он так себя вслух звать велел. Чтоб жандармы не пронюхали — мы ж теперь бегом беглые!

А я его все равно по-старому, Друцем кличу. Про себя, конечно. Друц и Друц, а вслух разок попробовала, по забывчивости — не вышло. Губы сами вывернули:

— Эй, Дароца, слышишь ли?!

Я вам точно говорю, это он такое заклятье наложил, для пущей опаски. Ладно, не жалко. Другого жаль: меня-то он ну совсем ничемушеньки не учит! Я его все ем поедом: когда ж ты меня в ворожбе наставлять примешься? А он отшучивается — к свадьбе научу!

Песни охальные горланит: «Ай, у девки живот! Знать, до свадьбы заживет...»

Вот я ему вчера возьми и ляпни: «Прямо завтра замуж и выскочу! У вас в таборе это дело нехитрое: вкруг костра венчаться. Посмотрю, как ты тогда слово сдержишь!»

Он чуть шутками своими не подавился...

* * *

— Эй, Аза, хватит ворон в голове считать! Идти пора!

Аза — это я. Так меня в таборе прозвали. Я не против, мне нравится. Ах, Аза, поцелуй три раза... Мы когда в поезде ехали, да в таком поезде, где спят и кушают, а больше делать там нечего, — нам Рашелька байки всякие сказывала. Среди прочего и про рыбищу зубастую — тезка моя, акулькой называется. Она даже человека сырого съесть может, рыба-акулька.

Страшенная — жуть!

Выходит, меня наш поп этой рыбищей-людоедкой и окрестил?! Акулина, Акулька... Нет, уж лучше Азой буду!

— Иду, иду!

И снова: пылит дорога под деревянными сандалиями,

палит солнце с выцветших небес, а слева, справа, позади — всюду! — шелестит травами, волнуется серо-зеленым морем крымская степь.

Полынью пахнет.

Никогда раньше такого простора не видела! У нас-то одни леса кругом, за деревьями и мира не видать. А тут: как на огромной сковородке очутилась! Вроде ад, а вроде и рай... Вон края сковороды загибаются — горы. Длинная, синеватая, Четвертак называется. Нет, не Четвертак — Чатыр-Даг. А вон Аю-Даг; Медведь-гора по-здешнему. Только на медведя она ни капельки не похожа, уж я-то медведей навидалась! А та, что левее... Да ну ее, горбушку, и без того голова от словечек новых пухнет!

Вон впереди и село показалось. Значит, пришли.

Дома у народишка местного сплошь из камня, даже у последней голытьбы. Дядя Друц сказал: это потому как дерева мало. И колодцы из камня. И заборы. Желтый, веселый; ракушечник. Я однажды пригляделась — точно, весь из меленьких ракушек слеплен. Сколько же их здесь?! И числа такого на белом свете нет, наверное!

— Аза, проснись! Мы в Грушевке!

Село называется Грушевка, но растут почему-то одни абрикосы. Ветки через заборы перевешиваются, от плодов чуть не ломятся. Ну грех ведь не сорвать... Десяток-другой!

Ромки на меня косятся, посмеиваются: дорвалась, мол, сиротинушка! Детвора ихняя набежала — и мне сорви, и мне! Сорву, сорву — жалко, что ли?! Тем более что все равно не мое! А хоть бы и мое...

Ладно, хватит, а то еще хозяин заругается.

Идем дальше.

Сейчас самая работа начнется: по дворам ходить, простаков облапошивать. Кому погадать, кому порчу снять, кому зубы заговорить, пока маленький Ефимчик куренка под шумок стянет. Попервах стыдно было — вроде как попрошайки да в придачу воры. И знаете, боязно... А ну как хозяева собак спустят? Или поленом приложат? А то и к уряднику поволокут?!

После интерес взял. Стоит здоровущий мужик, мнется, цигаркой пыхает — и нет чтоб погнать взашей! обложить

по-матерному! Слово за слово, уже и в карман лезет, и денежку достает, да не медяк ломаный — гривенник; еще и радуется потом, какую ему удачу-счастье нагадали да от беды упредили. Поделом дядька Друц таких «ветошниками» дразнит. Ветошники и есть! Катарина с Лейлой ими прямо как детьми крутят! Где на жалость возьмут, где счастья посулят немерено, а где и проклятием припугнут. Я полгода назад и сама бы попалась!

Последнее отдала, лишь бы отстали.

Только теперь я умная, я скоро и сама так смогу! Я уже и гадать немножко умею, и танцевать, и плечами трясти, и...

— А, вот и еще гости к Вадюхе! Легки на помине, ромское племя! Учуяли поживу!

Картуз. По цвету — точь-в-точь вода у нас в Шавьей трясине по весне. На самые глаза сполз; помятый, с треснутым козырьком.

Из-под картуза торчит нос. Длинный, бугристый, из ноздрей волосы топорщатся.

И перегаром несет.

Из носа.

Тьфу!

Мужичок стоит на ногах плохо. Качает его. Совсем как моего тятьку покойного (царствие ему небесное, Филату Поликарпычу!), когда, бывало, надербанится сивухи в воскресенье. На мужичке такая же болотная, как и картуз, гимнастерка без погон, пуговицы тусклые, видать, сроду не чищенные... и босиком!

То, что он без штанов, в одних кальсонах со штрипками, — это почему-то не удивило.

— А Вадюха-то, соколик ясный, нас уж заждался небось! — немедленно запела Лейла-умница. Слышит об этом самом Вадюхе впервые, а по виду — ну прямо вместе коров пасли!

Мне бы так: чтоб сразу носом по ветру!

— Кому Вадюха, друг сердечный, а кому и Вадим Геог... Герог... Георгич! Налетели, воронье?! Рады, значить, на дармовщинку?! Как человек опосля гамни... омни... амнистии вернулся — так сразу явились, не запылились! А где вы?.. Где?..

Мужичок от безнадеги аж рукой махнул. А рука возьми да и впрямь махнись. Вот он и направился за рукой своей к ближайшему забору, где и поспешил присесть.

Умаялся, видать, Вадюху поздравлять.

Друга сердечного.

— Это вам не... — сообщил мужичок, тщетно пытаясь сложить кукиш. — Вадюха Гаглоев — это, знаете...

И захрапел, ткнувшись щекой в недосложенный кукиш.

— Праздник у человека. — Катарина сверкнула белозубой улыбкой и подмигнула мне. — Ай, Аза, ай, изумрудная! Отчего ж и не разговеться, если очередной Ответчик на Вышний Суд предстал, за грехи наши тяжкие? Мы теперь все голуби чистые, безгрешные — потому и амнистия. Вышел человек, гуляет, всех угощает. А мы что, подруги, не люди? Поздравим Вадима свет Георгиевича с возвращеньицем?

Праздник — это славно! На празднике ромам всегда найдется чем поживиться! А я праздники и за просто так люблю — потому как весело! Плясать люблю! Песни петь! За столом сидеть, пока все не напились, как этот... В одежке из болота.

Только вот не хотелось мне туда идти. Ну не хотелось, и все!

Промолчала я. Пошла — засмеют ведь.

* * *

На каком подворье гуляют, и глухой бы услышал. Искать не пришлось; ворота — настежь, заходи кто хочет!

Двор (немаленький двор, однако!) весь жердями перекрыт. Жерди те виноград заплел потолком зеленым, грозди черные вниз свешиваются; а под лозами стол выставлен, да длиною — во весь двор, до самого крыльца! За столом народ гуляет, кто-то уж и пляшет вприсядку, под дудки с бубнами; во главе стола хозяин сидит — видать, тот самый Гаглоев Вадим Георгиевич и есть: улыбка в пол-лица, глаза карие щурятся хитро, лицо круглое, конопатое. Волосы —

что смолой башку облепили; татарин — не татарин, грек — не грек, хохол — не хохол (всяких я уж тут насмотрелась!); а вот что хозяин — сразу ясно.

И что острожник — тоже. Вон на руке наколка синеет, только не разобрать отсюда какая. Мне дядька Друц про наколки-то рассказывал...

— Мир да удача вашему дому, беды вас стороной обойдут, несчастья минут! — Лейла с Катариной направляются прямиком к хозяину, и я спешу за ними; дети уже вертятся среди гостей.

Небось обожрутся до отвалу...

— Вижу, дом казенный позади остался, пропади он пропадом; ты теперь, Вадюша-яхонт, — птица вольная! Радость червонная у тебя в сердце — и впредь будет радость, во веки веков, аминь! Не вернется к тебе туга печаль, фарт да удача тебе светят, за сердце твое доброе да щедрое, за удаль молодецкую! И Жора, отец твой, с небес смотрит-радуется, на сынка не наглядится!

Ишь, тараторит... мне бы так!

— Ну, спасибо, красавицы, за такие слова! — Хозяин явно доволен. — Ишь, о прошлом с порога все верно сказали — ну да знаю я вас, ромское племя! Может, и на будущее погадаете?

— А как же не погадать, Ваденька, если хороший человек просит?! Дай ручку, барин ты мой, всю правду скажу...

— Потом, потом, красавицы! Садитесь за стол, угощайтесь — на пустое брюхо грех людей мытарить! Вы из какого табора-то? Кто вожак?

— У нашего вожака карман шире пиджака! — Вот и мне слово вставить удалось; а то ведь хуже нету, как молчать да слушать. — Про барона Чямбу слыхал?

— Слыха-а-ал! — передразнивает меня хват Вадюха, но я не обижаюсь. — Да мы с Чямбой на ярмарках знаешь сколько вина вместе выпили! А в позапрошлом году... ладно, не о том базар! Вернетесь в табор — кланяйтесь барону. Передайте, Вадюха Сковородка с кичи откинулся; пусть в гости заходит, ежели выберется! А пока — все за стол! Я угощаю!.. — Он вдруг притворно вылупился на меня: — А ты, птица-си-

ница, ты-то кто такая будешь? Побирушка? Богомолка? Ишь, богомолка-балаболка!

— А вот такая и буду, как была, когда мамка родила!

Само сложилось-вывернулось.

— Скажешь, тоже ромка?

— Нет, мордва болотная, немаканая! Аль не видишь, бриллиантовый?

— Вижу, вижу, шестерки-козыри... — И все смотрит на меня искоса, по-птичьи. Будто прыщ на ровном месте углядел, какого раньше не заметил.

Ишь, уставился!.. Аж мурашки по спине.

— Ладно, ромка белобрысая, вот ты-то мне после и погадаешь. А сейчас — ешь от пуза! — Вадюха Сковородка отвел взгляд. Скалится весело, а я себе думаю: верно прозвали, рожа плоская, как сковорода. — Эй, Мишок, подвинься, прими гостью! Да смотри мне, не лезь к девке кобелем! Знаю я тебя!

— Да что вы, Вадим Георгич, я ж по уму, в самом деле...

И ко мне:

— Садись, не стесняйся; на халяву любой кус на любой вкус! Плова хочешь? А вот судак жареный — пальчики оближешь! Тебя звать-то как?

— Азой зови, соколик! — Улыбаюсь ему, как Катарина учила.

Ничего парень, бойкий, на скорую руку тесаный. Только кобелистый — прав Вадюха.

— А меня — Михаил. Для своих — Мишок. Я у Вадюхи сейчас — правая рука! Он без меня... — Парень выпячивает грудь колесом, а меня едва не разбирает смех. Ну да пусть его хорохорится — жалко, что ли?

— Знаешь, Аза, — он заговорщицки подмигивает, — а не выпить ли нам хорошего винца за приятное знакомство?

Ответа не требуется: Мишок уже тянется к большой плетеной бутыли, наклоняет ее, встряхивает — и с досадой отставляет прочь.

— Черт, выхлебали, курьи дети! Во народ! Не успеешь оглянуться... Ладно, я мигом. У Вадюхи вина — залейся! Щас, притараню, и еще получше этого. — Мишок исчезает, а я наконец могу спокойно заняться всякими вкусностями, которыми уставлен стол.

Плов, судак, мясо с сыром, запеченное в виноградных листьях (забыла, как по-местному называется), — живут же люди! Лопнуть можно! У нас в Кус-Кренделе не во всякий праздник мясоедом грешат, а винограда ихнего и не видал никто отродясь! Расскажешь — не поверят, в лицо расхохочутся. Рыба да пшено... Эх, как мамка-то моя там? Тятя хоть и пил безбожно, но когда-никогда избу латал, дрова колол; опять же глядишь — и не пропьет лишний грошик, нам оставит. Да и я мамке помогала — а теперь куда? Одна с малыми осталась — не померли бы с голодухи! Ну, сейчас-то не пропадут, летом, а вот зимой...

Надо бы им денег выслать — я уже одиннадцать рублев с полтиной скопила; да вот только как высылать правильно, чтоб дошло? Дядя Друц отродясь денег никому не слал, другие ромы — и подавно. Увижу Рашельку — у нее спрошу. Она точно знает! Она все знает! Мы когда в поезде ехали...

* * *

...Мы тогда сперва по лесу двое суток шли. Без ружья, без спичек, один ножик на всех... И ничего, выбрались! Федюньша дорогу указывал, а дядька Друц зайцев тайным свистом приманивал. Сунет пальцы в рот, зальется — глянь, косой из-за куста выглядывает!

Прямо до слез жалко было, когда Федюньша их резал, только есть уж очень хотелось.

Рашелька костер развела — я прямо ахнула! Мы хворост собрали, как она велела, а Княгиня присела на корточки, глянула — и занялось ясным пламенем! Я стою, глазами лупаю, а она смеется: «Ерунда, мол, через год и вы с Федором так сможете!» Неужто правда?! Скорей бы год прошел!..

А потом и вовсе чудеса начались! Входим в село — я в нем и не была никогда, слыхала только, что Приречное называется. Друц с Рашелью велели нам рядышком иттить, да не дергаться, по сторонам не глазеть, иттить себе и иттить, да делать, чего скажут.

Идем.

По сторонам не глядим, как велено.

Ну, не то чтобы совсем... Это Федюньша честный, и взаправду не глядит — а я так, украдкой. Село как село; одна беда — люди нас вроде бы не замечают. Будто и нет нас. Или это им, а не нам велели по сторонам не глазеть. Ну не бывает ведь так: чужие в село заявились, а всем это дело — до пенька елового!

Свернули к избе правления. Тут Рашелька велит нам ждать, а сама внутрь. Дверь толкнула — а мне чудится, что не армяк на ней драный и не бродни стоптанные, а одежка барская, городская, воротник седой лисы; на ногах сапожки новой кожей лоснятся... Да и сама идет княгиней; не идет — над землей плывет, чтоб грязи нашей, значит, не касаться! Зажмурилась я со страху, а в ушах эхом, от костра того: «Через год, мол... и вы с Федором...» И взяла меня радость — едва в пляс не пошла! И я смогу?! Писаной красавицей прикинуться? В любой обнове оказаться — парни умом рехнутся?! Да что там парни?! Графья с енералами вокруг виться станут!

Интересно, Друц тоже так умеет?!

Не удержалась, спросила шепотом.

«Умею, — говорит. — Иначе, по-другому — но умею».

«А меня научишь?!»

«Научу, — отвечает; у меня сердце от счастья чуть из груди не выскочило! Да я ж тогда... — Не я научу, сама выучишься. Когда время придет».

Глядь — а Рашель уже к нам выходит. Улыбается.

«Телегу, — говорит, — нам выделят, до Раздольного добраться. А там до Вельска рукой подать. Ну и харчей в дорогу — само собой».

Я на нее гляжу — и не узнаю! Нет, узнаю, конечно, но только помолодела Рашелька, как есть помолодела! Лет двадцать скинула! Значит, и я тоже так сумею, когда на колдунью выучусь?! Дурой меня обзывали? Дразнились?! Кто теперь я — и кто вы все, что обзывались?.. А?

Выкусите!..

Ну, до Раздольного мы на телеге за день доехали. Хорошо ехать! Не то что по колдобинам ноги бить. Само Раздольное — и вправду раздольное, дворов, наверное, с пол-

тыщи будет, если не больше! Цельный город почти что! (Это, правда, я тогда так думала, пока мы до Вельска не добрались.)

В Раздольном Друц с Рашелью какие-то бумаги справили, а после мы в лавку пошли. Обновы выбирать. Я там как платье одно увидела — синенькое такое, с оборками, с воротничком зубчатым — так прямо и прикипела. Эх, думаю, Акулька, не по твоей удаче платье! А дядька Друц ухмыляется, будто услышал, — и деньги из кармана достает. Ассигнациями; поверх ленточкой запечатано. Ленту ногтем подковырнул, дернул и отсчитывает приказчику аж десять рублев! Вот, говорит, Акулина-золотце, владей платьем! Я и верить боюсь, и не верить боюсь, и чуть не плачу — от радости, должно быть, — а он еще и кожушок новый подать велит.

Примерь, мол, подойдет?

Уж и не помню, как мы из лавки той вышли, — все как в тумане.

А ночью сон мне приснился.

Чудной.

Будто захожу я в ту самую лавку, где мы днем были, — сама захожу, без Друца, без Рашельки, без Федюньши; и точно знаю — нет у меня денег. Ни грошика. А купить мне надо и того, и того, и еще вот этого. Подхожу я, значит, к прилавку, улыбаюсь приказчику *по-особенному* — и он мне в ответ улыбается, только у меня улыбка *особенная*, а у него — словно приклеенная, неживая.

«А подайте-ка мне, любезный (это я во сне так говорю!), вон то пальто ратиновое, женское, серое, да еще вон тот зонтик, и саквояж ливерпульской кожи, что у вас на верхней полке стоит».

«Не извольте беспокоиться, барышня, сию минуту-с!» — отвечает мне приказчик. (Это я-то — барышня!!!) И дает мне все, что было велено.

«Я беру это, молодой человек. Извольте получить деньги. Пересчитайте».

И протягивает приказчик руку, и берет пустое место, и начинает это пустое место считать-пересчитывать, а после

и говорит: «Вот вам, барышня, сдача — пять рублев и тридцать семь копеек».

«Благодарю, любезный», — отвечаю я во сне, забираю покупки, забираю деньги (настоящие!), выхожу из лавки, иду по улице... и просыпаюсь!

На дворе светает, скоро ехать пора — дальше, в город Вельск — а я лежу с открытыми глазами и чувствую, что — могу! Могу, и все тут! Зайду в любую лавку, улыбнусь приказчику, велю подать, чего душе захочется, — и уйду!

— Акулька, ты чего плачешь? — Это Федюньша спрашивает.

А я молчу.

Молчу и плачу.

Ну, в Вельске мы вообще как баре зажили. Жаль только, недолго, неделю всего. В нумерах-то — не лавки, кровати настоящие, с перинами! Зеркало в полный рост; вечером кажинный раз лампу керосиновую приносят и свечи новые, даже если старые и до половины не спалили; а при входе — так и вовсе газом светят! Чтоб, значит, жильцы, коли загуляют, дорогу домой нашли.

Сам-то Вельск мы и не видели почти. Нам с Федюньшей велели в гостинице сидеть — мы и сидели. Нам и еду в нумера приносили — да на подносе, да с поклоном! А Рашелька еще нос кривила, непонятно с чего. Неужто ей и этого почета мало?! Недаром ведь Княгиней прозвали!

Поначалу оторопь брала, в роскоши-то такой; а потом, как привыкать стали, оказалось, уж и ехать пора.

Долго ехали. Я и считать-то замучилась, сбилась. «В какую ж это даль едем-то?» — думалось. Так и в заморские страны угодить недолго, где у людей лицо на пузе и на тарабарском языке говорят!

Только я уж и сама понимала: глупости думаю. Знают Друц с Рашелью, куда ехать, следы заметают, как лиса, что от охотников да от собак ихних удирает. Далеко убежали — не достанут теперь ни охотники, ни собаки.

Ан нет, все едем и едем, колеса стучат, за окнами всякое мелькает — так бы и смотрела целый день!

Я и смотрела. День, другой; больше. Ажно в глазах рябить начало.

Надоело.

Переглянулись с Федюньшей — и пристали к Рашельке с Друцем: расскажите, мол, чего, а? Про страны дальние, куда едем, про жизнь мажью, про...

Те поначалу отнекивались — мол, сами все увидите. Федюньша и отстал — да только я не Федюньша, я приставучая, от тяти покойного (царствие ему небесное! Из-за меня, дуры, помер, бедолага!) — так вот, от тяти покойного мне за то не раз доставалось. Да и дядька Друц уж знает — просто так не отлипну.

И то правда — нечто всю дорогу молчать будем?!

Никуда они не делись, заговорили как миленькие; дядька Друц еще смеялся: «Тебе бы, говорит, Акулина, следователем работать! С тобой и не захочешь — а заговоришь, лишь бы в покое оставила!»

А Рашель про рыбу-акульку рассказала — в отместку, должно быть. Только я не обиделась. А она как увидела, что я не обижаюсь, сразу добрее стала, и больше из нее слова клещами тянуть не надо было...

* * *

— ...А вот и я, Аза! О чем задумалась? Подставляй-ка лучше стакан, я вина принес!

ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ

Брызжут из глаз у Михаила-Мишка веселые искорки, пляшут озорными бесенятами. Глядь — разбежались бесенята, а за ними:

...море.

Рыба у самого берега играет, всплескивает, красуется перед чайками-проглотами блестящей чешуей. А вот вам шиш, чайки, и вам шиш, рыболовы-пустозвоны; не поймать вам меня ни клювом, ни крючком, ни сетью! Ото всех уйду! Парит чайка в небе, сидит в лодке рыбак, смотрят на плеск-

блеск, усмехаются про себя: никуда тебе не деться, дура рыба, быть тебе закуской...

Славный денек выдался.

III. ФЕДОР СОХАЧ, или НА КОЙ Я ИМ СДАЛСЯ?

> И если вначале у тебя было мало, то впоследствии будет весьма много.
>
> *Книга Иова*

Балюстрада, огораживающая внешнюю террасу заведения «Лестригон и сын», была горячей от солнца.

Коснись плечом — взвоешь на всю набережную.

— Эй, человек! Кружку пива и расстегай по-вашенски!

— Сей минут-с!

И мальчишка-половой, вихляя всем телом, умчался на кухню.

Федор блаженно откинулся на спинку стула, глянул вослед половому, облаченному в мадаполамовую рубаху сомнительной белизны, и позволил себе расслабиться.

Поход в цензорскую коллегию вышел на удивление фартовым: раз — и дело в шляпе. Слишком фартовым, чтобы это было по душе Федору Сохачу, с младых ногтей привыкшему опасливо вслушиваться в лесную тишину. И Княгиня сто раз говаривала: если незнакомое дело складывается вчистую — не спеши верить.

Вдруг приманивает судьба, чтоб больней ударить?

А тут: и здание цензорской коллегии нашел мигом, на Соборной улице. Старик в панаме и фланелевом костюме указал. Свернешь, дескать, и шныряй глазами по северной стороне — где мраморные львы у подъезда. Федор еще постоял, когда добрался, посмотрел с уважением: знатные львищи. На батюшку из Больших Барсуков похожи, только что модный хвостик на затылке не завязан.

Пальца в рот не клади.

Воспоют: «Да внидет пред лице Твое молитва моя...» — и отхватят по самый локоть.

У левой зверюги чиновник сигару курил, второй гри-

вой морду каменную окутывал. Вот он возьми и спроси у Федора от душевного благорасположения пополам со скукой: чего мнешься? «Чего надо?» Парень и ответил. Ухмыльнулся чиновник фарфоровыми зубами. Сюртук одернул; пепел на льва стряхнул. Давай свои бумаженции, говорит. Я, мол, товарищ начальника коллегии, разберусь. Полистал наскоро и смеется: «Ты, парень, передай своим, московским общедоступным — не теми бумагами репутацию поддерживают! Слово в слово передай: не теми. Есть, братец ты мой, такие бумаги...

Запомнил?»

Федор кивнул. Что тут запоминать?

«Нравишься ты мне, парень. — Чиновник дыма клуб сизый выпустил и в том дыму спрятался. — Рожа у тебя тупая, да хитрая. Такие рожи от сотворения мира всем нравятся, а мне и подавно. Хочешь, в курьеры возьму? На казенное жалованье? Ну смотри, а то передумаю. Пшел вон!»

Федор и пошел.

Вон.

Потому как увиделось парню невпопад: глаза у чиновника, у товарища начальника коллегии, шибко знакомые стали. Моргают часто. Рыжими искрами отблескивают. Точь-в-точь трагик Полицеймако, когда он Федора к себе в любимые ученики зовет. Или девки харьковские, когда лезли глупые тайны поверять, а бабища Зося из вышибал в швейцары перевести норовила.

Теперь этот, с сигарой, — в курьеры.

Что им всем, медом намазано?

Эй, Княгиня за левым плечом, Друц-бродяга за плечом правым, ответьте: чего они лезут?

Молчат.

Глядят хитро; не отвечают. Ну и пусть их.

Сам разберусь.

* * *

— Кушать подано-с!

Не глядя, Федор кинул на стол мелочь, россыпью. Зазвенело, покатилось. Но на пол не ссыпалось. Умел был

половой, даром что мальчишечка; сгреб-подхватил да и умчался вихрем к другому столику.

Федор знал заранее: не заплатишь вперед — не уйдет. Так и будет маячить напротив, а после хозяина позовет. Не тот вид у парня, чтоб в кредит верить. Такие нажрут на копейку и сбегут, а половому — убыток. Ладно, сам бы на его месте вдвое зорче смотрел. Тем паче еда у них дармовая: расстегаище с рубленым мясом, во всю тарелку — пятнадцать копеек. А ежели пива в придачу спросишь, то от заведения тебе тарелку наваристого бульона к расстегаю подадут.

Это Елпидифор Кириллыч место указал.

Самое актерское место, мол.

Не стал Федор трагику говорить, что чует в себе силу тайную. Что кинет мальчишке в мадаполаме не деньги — горсть ракушек с пляжа, — а мальчишка примет с благодарностью. Кланяться станет. Нет, не стал говорить, не дурак ведь, да и Княгиня строго-настрого велела: язык не распускать!

А еще строже: не шутить эдаких шуток без ее на то дозволения. Иначе рот невидимыми нитками зашьет, а руки в кочерыжки скрутит.

Поверил Княгине Федор.

Не пробовал ослушничать.

...Напротив, ближе к набережной, заманивали публику циркачи.

Двое жонглеров кидались булавами и кольцами, старый клоун приставал к детям курортников, а вокруг них ходила по кругу белая лошадь с султаном на голове. В седле корячилась толстомясая девица: то с ногами заберется, выпятится бесстыжими ляжками, то на руки встанет.

Поодаль, на колченогой табуреточке, сидела билетерша: вдруг кто раскошелится. Вдруг захочет прийти вечером в балаган. Вон и пехотный капитан с дамой остановились, глядят — подходите, господа, деньги не деньги, а веселье всегда веселье!

Ну что же вы?.. Два билета в партере?

Пожалуйста, господин офицер, пожалуйста...

— Здорово, Федра! — рокотнуло у колен.

Разбилось прибоем о скалы, течет пеной по террасе. Федор скосился вниз. Так и есть: стоит. У балюстрады. С той стороны, внизу; бритая наголо башка светит бильярдным шаром, приглашает щелкнуть.

Стальной Марципан, борец из цирка, мастер силовых номеров.

Еще когда Московский общедоступный только переехал из Сурожа в Севастополь, Княгиня повела своего ученика в цирк. Для расширения кругозора и приобщения к высокому. Сказала: после театра цирк очень полезен. А чем полезен, не сказала. Федор дивился: шатер до неба! Бесстыдницы полуголые по веревкам навроде макаков заморских лазят! Клоуны юродствуют! Мужик цилиндр снял, и добро б цилиндр — голову полосатой курве-страхолюдине в пасть засовывает! А ну откусит курва?.. Ф-фух, пронесло!

Впервые порадовался Федор Сохач, что не взбрело Рашели на ум не к театру — к цирку пристать. Лучше уж троны сам-на-сам ворочать, чем клыкастого жихоря дразнить. Чихнет сдуру — и прощай, головушка!

И так парень над страстями цирковыми задумался, что половину номера следующего пропустил. Только и очухался, когда его Княгиня взашей на манеж вытолкала. С усмешечкой; с подковырочкой. Оказывается, дядька-шпрехшталмейстер (эка словечко заковырнулось!) желающих вызывал. Вот он, Федька, навроде как желающим объявился.

А дядька этот, шпрех-штал... и так далее, — соловьем заливается. Дескать, будет нонеча турнир между чемпионом мира, вселенной и города Урюпинска Стальным Марципаном, да таким, что хрен раскусишь, и вот этим храбрым господином из публики.

Глядит Федор: вон он, Марципан Стальной. Копия — трагик Полицеймако, если могучему трагику всю его волосню немереную под ноль обрить. Голова — кость слонячья, ресниц нет, бровей нет, подбородок выскоблен. Грудь желтая, безволосая, лоснится в вырезе трико. И ручищи лоснятся. И шея бычья.

Тут Федору гирю показывают. Подымай, мол.

Ну, поднял.

Выше подымай, говорят. Над головой.

Ну, поднял над головой. Подержал; на шпреха скосился. Опустил.

В публике вой, свист, хохот. Кричат: гиря внутри пустая. Один пьяненький мичманишко вымелся на манеж, ухватил гирю, рванул от гонору флотского. Унесли мичманишку. Пуп развязался. А нечего лезть, когда не зовут.

Раньше надо было.

Показывают Федору стальную оглоблю. На концах вместо колес шары чугунные насажены.

Подымай, мол.

Ну, поднял. Сразу над головой, чтоб не приставали больше.

Верти! — показывает шпрех-штал.

Вертанул Федор оглоблю. Да пальцы корявые, на третьем круге не удержал. Грохнулась оглобля, один клоунец-молодец еле отскочить успел, а то б обезножел.

Публика и вовсе разошлась. Одни кричат: «Подсадка! Подсадка!», другие в ладоши хлопают, визжат; третьи на манеж программки зачем-то кидать стали.

Летят программки голубями, машут крылышками.

А Стальной Марципан все на Федора смотрит. Тускло так, тяжело. Уперся взглядом, ровно ладонью. Чего смотришь, Марципан?

Успокоил публику бойкий шпрех-штал; утихомирил. Ткнул в Марципана пальцем, командует Федьке: борись! Нет, мотает Федор головой. Не стану. Хороший человек, в цирке работает, за что я его в ухо?!

Не в ухо, разъясняет шпрех-штал. А по правилам римско-французской благородной борьбы.

Кто кого, значит, на манеж спать уложит.

Ладно, кивает Федор. Уложу. Раз просишь, раз в тебя публика программками из-за меня швыряется — пожалуйста. А Марципан не будь дурак: согнулся, юркнул Федору под мышку и со спины ухватился. Гнет шею; ломит. Так и упасть недолго. Федор и упал. Смотрит: Марципан рядом ба-бах! — и все норовит сверху улечься.

Сковырнул его Федор, выматерился и стал марципанью пятку к затылку приворачивать.

На всякий случай.

Тут музыка заиграла, бесстыдниц на манеже тьма-тьмущая объявилась, пляшут, обручи вертят, а шпрехштал ничью в рупор объявил. И Федору за труды курву полосатую подарил.

Не живую; плюшевую.

А назавтра, с утра, смотрит Федор: прогуливается близ сцены Стальной Марципан. Башкой лысой отсвечивает.

Увидел парня — и к нему.

— Как тебя зовут? — спрашивает.

ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ

Гляньте в глаза Стальному Марципану! Не бойтесь! Не укусит. Мирный он, Марципан-то, хоть и Стальной. А в глазах:

...домик.

Маленький, на окраине. Задний двор, с вишнями-грушами, весь бурьянами зарос, по пояс. В бурьянах детские головки мелькают: «Стукали-пали! Я тебя нашел!» — в прятки дети играют. Вольготно им, в бурьянах-то...

Зато перед крыльцом — клумбы с георгинами; дорожки проложены, ограда свежим суриком отблескивает. Из дома борщом-зеленцом тянет. Аж слюнки текут, и в животе бурчение образуется.

Пчелы гудят лениво. Солнышко припекает.

Не так чтоб слишком, а в самый раз...

* * *

— Ну чего, Федра, отдыхаешь?

— Садись, дядь Гриша. Пива выпей. Хошь, закажу? У меня малость деньжат заначилось...

Стальной Марципан, он же — дядя Гриша, засопел раздумчиво. Оправил вязаную фуфайку, которую носил поверх накрахмаленной сорочки, повинуясь негласной цирковой моде.

И еще подумал.

— Ну, кружечку. Разморит по жарище, а мне публику

заманивать. Видал железо? На себе пер; клоуны, гады, отказались... Знаешь, не надо пива. Устал.

Федор глянул: вон неподалеку от билетерши — груда.

Любой на месте гадов клоунов отказался бы.

— Видал, дядь Гриша. Сочувствую. Да тебе кружечка, что слону — дробина! Эй, человек!

Через минуту Стальной Марципан обстоятельно взял кружку, доставленную половым, сдул пену. Сделал глоток, другой; поставил пустую кружку на пол террасы, у Федькиных ног.

— Надумал, Федра? — спросил по-дружески.

А вышло вроде отрыжки.

— Не знаю я, дядь Гриша. Чего мне в цирке твоем делать? Как ты, до старости чугуняки таскать да бороться на потеху?

Разговор этот, бесконечный и однообразный, успел осточертеть Федору даже больше, чем беседы с приставучим трагиком. И Марципану он, Федор, пуще пива в жару занадобился! Вот напасть!

Все, пора Княгине жаловаться — пусть отвадит!

— Дурак ты, Федра. Скудоумина. Счастья своего не понимаешь. Одарил тебя Бог силушкой, а ты талант — в землю. Говорю: прибивайся ко мне.

— Ну зачем, зачем?!

— А затем. Бороться выучу. С железом работать выучу. В Киеве, в цирке самого папаши Сура, выступать будем. Потом в Гамбург поедем. С атлетами тебя познакомлю, дура Федра, чемпионом сделаю. Ну?

Еще с первой... нет, со второй встречи, потому что на манеже они не разговаривали — Стальной Марципан звал Федора не иначе как Федрой. То ли шутил, то ли свое подразумевал, тайное. А может, просто нравилось. Парень и не спорил, не обижался. Федра так Федра. Если дяде Грише так лучше — пускай.

Нечто странное являлось Федору Сохачу при звуках этого чужого имени: Федр-р-ра! Лошади скачущие виделись, парнишка раздавленный... баба в сорочке над парнишкой плачет-завывает... И слова удивительные из тумана:

«Я не увижу знаменитой «Федры» в старинном многоярусном театре...»

Помотал Федор головой.

Ушли лошади, парнишка-бедолага, баба воющая ушла... слова отзвучали.

А дядя Гриша остался.

И зудит, и зудит; атлета из Федры-Федора грозится сделать. Чтоб, значит, по сто рублев за поединок отрывать. Чтоб, значит, по «гамбуржскому счету» всех атлетов в котлетов превращать. Чтоб, значит, трико и панталоны, схваченные у щиколоток кожаными ремнями.

Чтоб славы и почета — вагонами грузить.

Стал Федька мимо смотреть. О своем думать. А ведь встреться ему Стальной Марципан или трагик Полицеймако на год раньше, предложи учебу-работу — ни минуточки б не промедлил. Босиком бы побежал, из Кус-Кренделя да в самый Крым; ноги б опекунам мыл и воду ту пил. Как же: деревенскую орясину-сиротку такие люди облагодетельствовали! Ручку, ручку дайте облобызать!..

Княгиня, что ты со мной сделала? Что ты со мной делаешь, Княгиня?! Ведь за полгода наизнанку вывернула! Свое клеймо на веки вечные в лоб вожгла! Лепишь, как глину!

Что ты со мной делаешь, ничего не делая, — а, Княгиня?!

Ответь!

Тут самая пакость и случилась.

Стоял у входа в ближнюю аллейку разносчик. Тростями кизиловыми торговал, подсвечниками из можжевельника, бусами-сережками. Раковины еще полированные были.

А рядом с разносчиком дачник приезжий стоял. Толстячок эдакий, в пенсне. И была на толстячке синяя шелковая косоворотка, кушаком подтянутая, и была на толстячке шляпа из войлока, с широкими полями; и панталоны навыпуск были. Княгиня таких толстячков еще почему-то «социал-демократами» дразнила.

Тоже словцо, почище дядь-Гришиной Федры.

Но не в этом дело. И даже не в том, что толстячок к ку-

лону сердоликовому приценивался. И то, что на подпитии изрядном был толстячок, — не важно. Другое важно: папиросу он курил. Дорогую; с золотым ярлычком. И так в торговле своей возбудился чрезмерно, что отмахнул рукой, а в руке папироса, а рядом лошадь белая, цирковая, круг заворачивала.

Попала лошади папироска в ноздрю.

Ох и взвилась коняга, ох и пошла козырем! Девица толстомясая из седла — прочь, да головой вниз, да запястьем в стремя... застряла намертво. Поволокла ее лошадь. Редко так бывает, что в стремени не ногой, а рукой, — да вот бывает.

Метется белая метель вдоль балюстрады, ржет неистово; за метелью циркачка волочится, блажит несусветно.

Трико цветное — в клочья.

Тело нежное — в клочья, о булыжник.

Сам не понял Федор, когда и прыгнул-то через перила. Когда? Зачем?! С какой стати?! Только и осталось: Друцром из-за плеча правого размахнулся. Отвесил подзатыльник. От того подзатыльника и бросило парня без ума. Вынесло над балюстрадой вороном-раскорякой; швырнуло кулем на лошадиную спину. Весу-то в мамином сыне, Федоре Сохаче, ого-го! Такое быку на холку — не позавидуешь, а тут всего-навсего лошадь, пусть и белая, пусть и ученая вальсы танцевать.

Завалил Федор лошадь на бок.

От балюстрады в другую сторону, чтоб циркачку не подмяло.

Держит; слышит — Друц, иным невидимый, из-за плеча как гаркнет чего-то! Как выдаст!..

Лошадь и присмирела. Лежит, боками вздрагивает, уже не ржет — стонет по-ребячьи. А шевелиться — ни-ни. Ровно заморозило, белую.

Льдина, не лошадь.

* * *

Много ли времени прошло, мало ли — кто знает.

Стоит у террасы Федор Сохач. В щеки помадой расцелованный, по плечам ладонями отхлопанный, всеми хва-

лами вдребезги расхваленный. Тремя билетами дармовыми задобренный. Руки трясутся, губы трясутся, да кто ж это видит?

Никто.

Пора уходить.

И подваливает к Федору Сохачу мелкий такой ромишка, живчик таборный. Седой весь, черный, а рубаха — пламенем. Щеголь, значит.

И жилетка шнуром шита.

— Ай, баро! — ухмыляется беззубо. И дальше, по-своему, по-ромски.

Не-а, показывает Федор руками, ни шиша не понимаю.

— Не понимаешь? — Ром мелкий аж скривился от досады. — А кто на кобылку заговор «Мэрава-мэ» клал? Я, что ли?

Не знаю, показывает Федор руками. «Мэрава-мэ»? Заговор «Двух замков»? Нет, не знаю. Может, и ты.

— Ох, баро... — грозит ромишко пальцем костлявым. — Не ври старому Чямбе. Старый Чямба вранье за сто верст чует. Ладно, глядишь — свидимся...

И дальше пошел себе.

Ну и Федор пошел.

IV. АЗА-АКУЛИНА, или ГРАФСКАЯ ДОЧЬ НА ПИРУ

> Я хожу почернелый, но не от солнца; встаю в собрании и кричу.
>
> *Книга Иова*

— ...Ты чего, Мишок, льешь без меры? Споить меня задумал?

Он аж взвился:

— Аза, любушка, не греши на меня попусту! Будь это выморозки или мадера заводская — а так ведь и крепости никакой! Да всю бутыль выхлебаешь досуха, и ни в одном глазу!

Как бы не так! У самого глазки-то масленые, мышами в амбаре шныряют! Хоть один, хоть другой; и оба зеленые. Был бы третий, и третий шнырял бы. Совсем как у того душегуба, который тятю моего...

— Врете вы все, юбочники, бабьи угодники! Имелся у меня знакомец, тоже водки подливал — еле жива осталась! После угощеньица!

А отчего еле жива, это ему знать без надобности.

— Ну ты сравнила: водки! Это ж вино! Или у вас в таборе вино в запрете? Как у магометок?!

Ухмыляется, хитрован грушевский.

— Ох, приставучий... наливай. Но чур, не уговаривать! Сколько сама захочу, столько выпью.

— Вот это другой разговор! А ну, покажи молодым-неженатым, как лихие ромки пьют!

Чокаемся.

А вино и взаправду вкуснющее! И в голову не шибает совсем, не в пример водке той клятой, чтоб ей во всех бутылках пусто было! Тут другая история: глотнула раз, другой — и чудится мне... мама моя родная! Будто встал у меня со спины, за левым плечом, дядька Друц. А за плечом правым, но поодаль — Рашелька Княгиня. Забрали у меня стакан и на двоих расхлебали. Друцу побольше, он мужик тертый, Рашельке — поменьше, на донышке. Им такая бутыль — пустяки, плевое дело, уж я-то знаю!

Ой, ничегошеньки-то я не знаю, рыба-акулька!

Ставлю пустой стакан на стол (даже не заметила, как дно показалось!), а Мишок, рожа хитрая, вновь за бутылью тянется.

Хотела я ему сказать, чтоб бросил эти свои кобелиные штучки: известное дело — сначала напоит до беспамятства, а потом на сеновал потащит... И вдруг душой чую: не напоить ему рыбу-акульку! И не потащить никуда. Свалится парень вчистую, а я своими ногами отсель уйду! И откуда такая уверенность — сама диву даюсь. Никто ведь меня пить не учил, тогда, на заимке, от полстакана водки уж пьянючая была; а вот нынче ведаю доподлинно — обломится у Мишка!

Праздник!

Так что он наливает-радуется, а я ему улыбаюсь да по сторонам зыркаю. Народишко пьет, веселится, кто-то пляшет, кто-то здравицы орет, других переорать силится; все как на любой гулянке.

Напротив дяденька смурной примостился. В мундире цивильном, с петличками. Всем весело, а ему скучно. Сухой, длинный, за столом сидит прямо, ровно лесину проглотил; лицо под фуражкой все в складках, жеваное, усы двумя сосульками обвисли. И лениво так в тарелке ковыряет.

Вид такой, вроде как случайно за столом оказался.

Не утерпела я:

— Слышь, Мишок, а это кто — напротив сидит?

— А, это землемер из города, — досадливо машет рукой Мишок. Ясное дело, ему о другом поговорить охота. — Уж четвертый день в Грушевке околачивается, ходит, степь рогаткой меряет. Вадюха все общество в гости позвал — ну и его за компанию. Вадюха, он знаешь какой?! Последние штаны проси — отдаст! Душа — как море. Он и на киче такой был, и по жизни...

— А ты что, сидел с ним вместе, на киче-то?

— Ну! — расплывается в щербатой улыбке Мишок. — Кто острогов не топтал, тот жизни не видал! Выпей со мной за волю вольную, Аза-красавица!

Вижу: орлом он себя сизым представляет.

Растопырил крылышки, в ворота не пролезть.

— Свобода — это для рома святое. Грех не выпить, яхонтовый ты мой!

Снова чокаемся, и снова дядька Друц тянется через плечо, отбирает у меня стакан. Половина ему, половина теперь — Рашельке. Поровну. Ну да, Княгине тоже хочется, чего ей там на донышке... Да и мне понравилось. Пожалуй, еще выпью.

А то нам на троих мало будет.

— Тебя-то за какой грех повязали? Арбуз у татар на бахче слямзил?

Мишок глядит на меня свысока.

Губы кривит:

— Еще скажи — кусок хлеба украл. Обижаешь, Аза! Кинул меня один халамидник, так я его на перо поставил. Ну и пошла мне, мальчишечке, жизнь острожная, осторожная... А там уж с Вадюхой Сковородкой знакомство свел, он мне и говорит на прогулке: хошь в мою кодлу?..

Мишок вдруг прикусил язык. Воровато огляделся по сторонам; не подслушивают ли? Да кому его пьяный треп нужен? Ну, в кодлу его Вадюха позвал, толку-то! Еще и врет небось — сам к Вадюхе навязался, прилип репьем!

— Это я так, про кодлу... Ерунда это, Аза!.. — мямлит парень и от пущего смущения хлюпает нам по новой в стаканы. — Давай лучше за него выпьем. За Вадюху, в смысле. Кореша мы с ним, по жизни, не разлей вода!

Пьем.

Вчетвером.

— Я про кодлу это... ну, сдуру! Кореша мы с ним. Кореша — и все. Поняла? Контрабанду Вадюха гнал, безакцизку. Взяли его близ Хрустальной бухты, только слам-то он припрятал, обождал тырбанить! — Мишок пьяно хихикает, восторгаясь умом Вадюхи Гаглоева. — А потом амнистия! Ответчик за грехи наши пред Отцом своим ответил, а нам — свобода! Поняла? Свобода, по жизни! Вместе и вышли, со Сковородкой-то. Вадюха, он сызмальства в законе. Соображаешь? А я — при нем теперь. Ты меня держись, Аза, не пропадешь! Со мной, да с Вадюхой, да... Еще по стаканчику?

— А не обопьешься, соколик?

— Я? Нет, я?! Да я...

Бутыль трясется в его руке, булькает, захлебываясь, вино разливается по столу кровавой лужей — а я вдруг ловлю взгляд сидящего напротив землемера. Пустой взгляд, оловянный. Как... как у того душегубца на заимке.

Господи! Да сколько ж его вспоминать-то буду?! Забыть бы...

Землемер смотрит на Мишка. Потом на меня. Неторопливо отворачивается, тянется за пучком зелени.

Мы пьем.

Чья-то тяжелая рука опускается на мое плечо.

— Ну ты и хлещешь, девка. — Голос добродушный, чуть удивленный. — Ровно бывалый ром-конокрад! Эк мне парня укатала! Ладно, больше не пей, тебе гадать еще. Поглядим, что ты умеешь, кроме как вино стаканами глушить!

Поднимаю глаза, но хозяин дома уже идет дальше. Об-

ходит гостей, останавливаясь возле каждого, чтобы сказать пару слов. Хороший хозяин, о гостях не забывает.

— Эт-то ты меня ук-катала?! — щурится Мишок куда-то мимо. — Да я сам кого хошь... п-по жизни... Айда плясать!

Он валится на меня, пытается облапить, горячо дышит в лицо.

— Ай, спляшем, соколик! Ай, чертям тошно станет!

— Ай, да ну, да ну, данай, драдану-данай!

Это не я.

И не Друц с Рашелькой.

Это Катарина с Лейлой! Ромы своих в обиду никогда не дадут, а я для них своя. Хорошо быть своей! Хоть у ромов, хоть где!..

Мишок, кажись, так и не понял, кто его плясать выволок. А бабы черные завертели парня по очереди, залили двор радугой юбок, забросали звоном монист, под бубны с дудками. Закружили Мишку удалую голову — он и упал посреди двора, башкой мотает.

Хорошо Мишку. До того хорошо, что аж плохо. А поделом! Ишь, удумал: Друцеву любимую крестницу перепить! Сам небось и до «шестерки» не дорос — а туда же! О чем это я? Что за чушь в голову лезет? Опьянела? Да нет вроде...

— Эй, кто там! Отнесите парня к ручью, пусть отлежится. Дело молодое, сил не рассчитал... А ты, девка, садись-ка со мной рядом. Погадаешь на судьбу.

— Давай я тебе карты раскину, золотой мой?! — Лейла мигом возникает рядом с Вадюхой. Обнимает смуглой рукой за шею, трется грудью. — У меня глаз хороший, удача легкая, как скажу, так и сбудется!

Это она верно... пусть лучше Лейла.

— Нет, красивая. Хочу, чтоб подруга твоя мне фарт нагадала. Как кличут подругу-то? Аза? Ну, садись, Аза, ромка таборная... Краденая небось?

— Кто? Я?!

— Ты, ты, кто же еще! Ой, ходили ромы да во чужи хоромы, взяли девку белу прямо с колыбели...

— Врешь ты все, Сковородка!

— Может, и вру...

Краем глаза вижу: четверо грушевцев, среди них и усатый жердяй землемер, тащат Мишка прочь со двора. К ручью, должно быть. В чувство приводить. Мишок слабо брыкается и несет околесицу.

Ох, не донесет, бриллиантовый.

— Молчишь, белобрысая?

— Так то мамке моей надо спасибо сказать! Мамке, да еще тому графу сильванскому, что полюбил ее пуще жизни!

Это мы вместе с дядькой Друцем сказку придумали. А дальше Друц сказал, что я и сама справлюсь. Мол, недаром язык без костей! Я и справляюсь. Верят, не верят — мне без разницы! Вдругорядь все одно с расспросами никто не лезет!

— А ну-ка, ну-ка! — приподымает бровь Вадюха, отчего его плоское лицо становится похожим не просто на сковородку, а на очень хитрую сковородку.

Это он зря.

Меня ведь зацепи — пойду молоть...

— Да чего тут рассказывать? Что от мамки знаю, то и говорю. Стоял тогда наш табор у Карпатских гор, и зазвал граф один тамошний вольных ромов к себе в замок: петь и плясать для него да для его гостей. Вот там-то он, этот граф Влад, Дракоци по фамилии, мою мамку и увидал. А она красивая была — спасу нет! Ромы таборные, офицеры, барины-помещики грудами в ноги валились! Только у нее самой в сердце никого не было, не нашла суженого. А граф как увидел ее — прямо ума лишился. Жениться обещал, графиней сделать. А мамка моя рассмеялась ему в лицо да с табором прочь поехала. Не отступился граф Влад — людей своих послал, выкрали они мамку мою. В замок доставили. Три года она там прожила, меня родила, да и графа крепко полюбить успела, за добро-ласку — ан свобода ромская сильней оказалась. Уехал граф Влад в город Лондон, по делам, а мамка меня на руки и бегом! Вот потому я и белобрысая, в отца. Граф-бедолага небось до сих пор нас ищет. Волком на луну воет. Только я к нему в замок жить тоже не пойду, даже если найдет! Как мамка моя!

Вадюха хохотал так, что слезы на глазах выступили.

Ясное дело, не поверил. А я на него совсем не обиделась. Я б тоже, наверное, не поверила!

— Ну и горазда ты врать, девка! Ладно, не хочешь правду говорить — не надо, твое дело. Раскинь-ка лучше карты, на фарт да на судьбу — поглядим, как графская дочь гадать обучена!

Ну, карты-то у меня завсегда с собой: ромка без карт все равно что без юбки. Жаль, гадалка с меня — как с коровы лошадь: сесть на спину сядешь, да далеко ли свезет?

А, джидэ яваса, на мэраса![1]

Тасую колоду, приговариваю, бормочу, как Лейла учила. Что помню, то в голос, что забыла — тихонько, чтоб не разобрать.

— На Десятку Червонную гадать будем, Вадим свет Георгиевич?

Само вырвалось. Вот ведь дура языкатая! Ну какая он Десятка, какая Червонная? Учили же: Король Пиковый, а я... Но только смотрю на него — и вижу: Десятка Червей, и никак иначе! А за плечом левым Друц стоит, кивает одобрительно. И Рашелька — правее да подальше — улыбается. Подбадривает: мол, все правильно говоришь, рыба-акулька!

Уставился на меня Вадюха, будто впервые углядел, — и тоже кивает. Молча. Валяй, значит, графская дочь, на Десятку Червонную. Даже не спросил: почему такую карту выбрала?

Неужто знал?

Неужто его на Десятку гадать и надо?

ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ

Поглядите в хитрые раскосые глаза Вадюхи Сковородки. Поглядели? Ну и как? Увидели:

...что-то.

Плещется. Вроде море, как у Мишка-крестничка, без конца, без краю. Лодка под косым парусом к горизонту уходит, чайки кричат... Или не море там плещется? Степь ковыльная волнами ходит, цветами пестрит, в небе ястреб

[1] Живы будем, не помрем! (*ром.*)

кружит, а к горизонту вместо лодки — всадник на гнедом жеребце мчится.

Или... нет, не разобрать.

Только ширь — без конца, без краю...

* * *

Ладно, раскидываю карты. Колода-то у меня крапленая, Катариной подломанная, я картами только для виду туда-сюда елозила. Ромы научили: сули человеку добро с удачей — он тогда с деньгами веселей расстается.

Поначалу масть в масть шло: дом казенный у Вадюхи за спиной остался (оно и по правде так, вот ведь удачно выпало!), и дорога с другом верным на родину привела (это Мишок, что ли, «друг верный»?!)... Тут десятка крестовая и вывернулась гадюкой, будь она неладна! Я ее рукавом, рукавом, вбок — а Вадюха заметил.

Вернул, куда положено.

— Нет уж, — шекой дергает. — Говори как есть, мне от тебя подарков не надо. Если расклад гнилой — хочу наперед знать. Ты говори, говори, Аза. Не бойся.

Ну, я и сказала.

Лучше б молчала!

— А ждет тебя, сокол ясный, беда близкая...

Карты сами ложились на стол, между тарелками, и слова тоже вылетали сами, осами из дупла, вылетали и жалили, жалили, жалили... насмерть.

— И твоя беда, и не твоя, по другу ударит, на тебе отзовется, для других эхом откликнется, свет белый не мил станет...

Да что ж это я ему сулю, дура несчастная?!!

Осеклась, рот захлопнула, чуть язык проклятый не откусила. Вот сейчас как разгневается Вадюха Сковородка на болтовню мою паскудную... А он все не гневается. Все смотрит, вроде и не на меня — а *сквозь*, будто Друца с Рашелькой у меня за спиной увидал; и такой меня страх взял, что холодом враз пробрало, мурашками вся покрылась.

Не заметила поначалу: когда хозяин дома на бок валиться стал.

Кулем крупяным.

Неужто тоже вина перепил, как Мишок?!

Мужик какой-то, из гостей, видать, в лад подумал. Подхватил за плечи, встряхнул:

— Ты чего, Вадюха? Лишнего хватил?

А тот вдруг как задергается! Ровно припадочный!

Посинел весь, пена изо рта, глаза белым-белы, безумные. Рычит волком в западне, бьется; гости из-за стола повыскакивали, кинулись на помощь, а у меня в голове одно гремит, погребальным колоколом:

«Ждет тебя, сокол ясный, беда близкая; и твоя беда, и не твоя, по другу ударит, на тебе отзовется, для других эхом откликнется...»

Хасиям![1]

Напророчила, дуреха!

И еще отчего-то Друц вспомнился. Как он медведиху уговаривал, а потом вот так же на земле дергался, пеной исходил, синий весь, глаза выпучил...

— Уходим, Аза! Быстро!

Даже карты забрать не успела. Катарина меня за локоть — и к воротам. Детей во дворе и след простыл, а за нами Лейла прочь спешит-торопится.

Позади вопль стоголосый:

— Сглазили, стервы! Держи их, сучек! Вот ужо ребра пересчитаем ведьмам!

И поверх — дикий, звериный рев:

— Не сметь! Пусть идут! То не их вина...

Очухался-таки Вадюха, спасибо ему!

Что ж это я тебе нагадала, сокол?!

* * *

По селу шли быстро, хотя и не бежали; то и дело оглядывались — не опомнятся ли грушевцы? Не погонятся ли? Сгоряча и наплевать на Вадюхины слова могут: такой случай ведьм-ромок проучить!

Однако, слава богу, пронесло. Не погнались.

---

[1] Караул! пропали! (*ром.*)

Уже на околице Катарина обернулась ко мне:

— Как карты легли, Аза?

И не видела, а почуяла: пала тень на плетень!

— Да хотела как обычно — счастья, удачи, жену молодую, денег побольше... Сама знаешь, чего положено. Сперва так и падало — само, представляешь? А потом... потом десятка крестовая, черт бы ее побрал! Беда близкая. Я едва сказала — а он...

— Ой глаз у тебя, Аза! Ой глаз! У бабки моей, говорят, такой был!

Лейла рядом идет; губы кусает. Она-то, Лейла, из сэрвов, а сэрвы на гадание страсть злые: что надо, видят, и что не надо, тоже видят. Мне Друц рассказывал — он хоть сам из ловарей[1] родом, да знает. Ревнует Лейла к моему глазу; по-доброму, чистой завистью, нет в ней зла.

А дети давно вперед убежали. Они-то первые и углядели.

Гляжу: назад, к нам несутся.

И галдят — ну точно глухари на токовище:

— Мертвяк! Джя, джя! Утопленник там!

Они по-ромски орут, только мне уж давно без разницы — по-каковски. Иногда даже самой дивно! А того удивительней: где тут утопиться-то можно, в степи?!

Небось шавят, пострелята!

Глядь, за холмом — низинка, ручей плещется. Мы, когда сюда шли, не заметили. По берегу трава сочная, кусты ветки в воду свесили — и белеет там, меж кустами.

Сердце у меня зашлось, и ноги враз идти отказались. А потом сами туда, к ручью понесли.

Он там и лежал, Михаил-Мишок.

Вроде как спал. Вот только не спят люди лицом в воде.

Лежит, не шевелится; кудри буйные ручей полощет, гладит, последней лаской ласкает. Что ж ты так, Миша?! Протрезвился, значит?

Навсегда протрезвился.

Хотела вытащить — может, жив еще, может, откача-

---

[1] Ловари, сэрвы, кэлдэрари и т. д. — ромские этнографические группы; ловари больше жили на территории Трансильвании, сэрвы — Малороссия и юг России.

ем? — да Лейла с Катариной не дали. Прочь потащили, шепчут в оба уха:

— Не помочь ему! Мертвый он! Пошли отсюда, Аза!

— Увидят — на нас свалят! Живыми не отпустят!

— Пошли, пошли! Не надо смотреть! Не оглядывайся!

А я все равно оглядываюсь. Жаль, видно плохо, туманом застит. И понимаю: не туман это. Я это ревмя реву; слезы глаза туманят.

Остановилась, зажала плач в кулак. Слезы рукавом отерла. Глянула назад в последний раз, словно прощаясь, — и вижу: далеко по степи человек прочь уходит. Ноги, как ходули, сам на цаплю похож...

Землемер!

Точно, землемер... Он, кажется, так обратно во двор и не вернулся.

Тут смешалось все в голове: Вадюха в корчах бьется, пеной исходит, потом мертвое Мишкино лицо привиделось — багровое, с глазами выпученными; а позади землемер, смотрит оловянными пуговицами; и над всем этим — голос.

Вроде мой, а вроде и не мой:

— А ждет тебя, сокол ясный, беда близкая. И твоя беда, и не твоя, по другу ударит, на тебе отзовется, для других эхом откликнется, свет белый не мил станет...

* * *

Потом была ночь среди дня.

V. ФЕДОР СОХАЧ, или ЖАНДАРМЫ ТОЖЕ ПЛЯШУТ

> Поднялись высоко — и вот, нет их; падают и умирают, как и все, и, как верхушки колосьев, срезываются.
>
> *Книга Иова*

Раньше здесь было татарское заведение.

Фамилия прежних владельцев забылась — Демиркаевы? Кемирдаевы? Миркадаевы?! — но старожилы по сей

день облизывались, вспоминая жирную дымламу бабушки Фатимы. Вот уж чем заведение славилось меж людьми — объедение! Баранье жаркое с обилием овощей, оно исходило душистым паром и до той степени тонуло в пряной, наваристой подливе, что казалось супом. Ели дымламу ложками из магнолии, предварительно завесив грудь платком; и легкое вино уходило под нее в невероятном количестве.

Следующие хозяева переделали заведение по-своему. Новые времена, новые веяния. В меню объявилось заковыристое с вензелюшками: «Филе портюгез... беф-бруи... пудинг дипломат...» Но святая дымлама осталась-таки последним, несокрушимым бастионом прошлого, этаким Константиновским равелином, стыдливо превратясь для гурманов в «жаркое по-татарски». И еще остались по краям зала, в ковровых нишах, низкие столики, обложенные вместо стульев дощатыми нарами.

Поверх нар тоже стелились ковры — для любителей экзотики.

Сегодня заведение, многажды переходившее из рук в руки, называлось почему-то «Пятый Вавилон». И являл собой этот Вавилон, пятый или какой еще, чудовищное смешение божьего дара с яичницей: бледнолицые дачники легко соседствовали с виноделами из Инкермана, баранья дымлама — с кулебякой о дюжине слоев (от рубленой налимьей печенки до куропаток с кальвиль-яблоком — заказывали за сутки!). А обслуга, ничтоже сумняшеся, носила кто татарский халат, кто фрак с ласточкиным хвостом, а кто и просто белую рубаху, кушак да бумажник-лопатошник за тем кушаком.

За то и любили.

Эй, милейший!.. И еще — пальцами прищелкнуть.

Для форсу.

* * *

...Федор кивнул швейцару и, медленно пройдя меж пьяными, пересек зал.

Вот и дверь на кухню.

У двери пустовал столик для работников «Пятого Вави-

лона». Федору всегда разрешали садиться за этот столик — по причинам, о коих частью уже говорилось, а частью будет сказано позже, — и добродушные поварихи тихонько подкармливали вечно голодного парня. Иногда рядом останавливался старший официант, Каракалпакер Огюст Модестович, милейшей души человек. Приглаживал набриолиненные волосы, деликатно чихал, тишины ради зажав ноздри двумя пальцами, и приглашал Федора пойти к ним швейцаром. Дескать, рост... стать изрядная... Возьмешь булаву — ну чистый Навуходоносор!

Счастья своего не понимаешь, голубчик?!

Федор отговаривался всякой чепухой.

На маленькой эстраде, у фортепиано с витыми канделябрами, сидела певица. Нервные пальцы поглаживали клавиатуру легко, с пустой лаской, будто спину любимой кошки; взгляд певицы туманился грустью.

Струилось по залу тихим огнем:

— И жизнь не прошла, и сирень не опала,
И воздух весною пьянит, как всегда,
И в вечере плещется млечность опала,
Но где-то — беда...

Смолкали дачники. Прекращали свои вечные, как суета сует, разговоры о многочисленных хворях-болезнях. О целебных свойствах раннего кизила и амулетов из халцедона. О политике. Об искусстве. О племяннице Грушеньке, которую замуж не берут, а если и берут, то фармазоны всякие.

Понуро клали головы на кулаки инкерманские виноделы. Глаза жмурили. Забывали о ценах на ординарный «Шато д'Икем» и золотистый «Токай». О поставках. О безруких скотах-подмастерьях. Об акцизе; о контрабанде забывали тоже.

Все тише сновали меж столами официанты. Двумя пальцами несли подносы — не звякнуть бы! не сбить!

Утих Вавилон.

— Огнем на плясунье сверкают мониста,
Шалеет рука на гитарных ладах,
Дороге вовек не бывать каменистой,
Но где-то — беда...

На эстраде, вокруг эстрады, прямо на полу, застелив его буйным разноцветьем юбок и шаровар, расселся «Яшкин хор». Знаменитейший. Ай, чявалэ! Знать, не нашлось сегодня богатого кутежа, куда б звали вас, черноголовые! Ну и ладно. Сам Яшка, ром исполинского роста, в чьих руках гитара казалась смешной детской забавкой, притулился у края, седеющей копной волос — к ногам певицы.

Плакал старый бродяга.

Катились слезы, застревали в морщинах.

— Как прежде, наотмашь, как раньше, азартно,
Продам, и куплю, и по новой продам!
Мерцает слюда на изломе базальта,
Но где-то — беда...

Федор смотрел, как Княгиня мельком, походя берет публику за горло, и понимал: мастерица. Умеет. Скорее всего ничем из мажьих штучек она сейчас не пользовалась, просто пела ни для кого, и в этом уже пряталось свое волшебство. Возможно, стократ древнейшее, нежели любое иное «эфирное воздействие». Даже самому Федору вдруг остро захотелось грохнуть кулаком по столу, выкрикнуть что-то вроде «Эх! однова живем!» — и пустить слезу.

А грохнуть — не получалось.

В театре Рашель играла кого скажут — дуэний, наперсниц для героинь, комических старух, — мгновенно вписываясь в предложенную роль. Казалось, она знает на память любой репертуар, не прибегая к помощи суфлера. Но чаще она проводила вечера здесь, в «Пятом Вавилоне». Как в Ялте, Суроже, как в Симферополе; везде находились свои Вавилоны, готовые платить за привлечение клиентов. Отцы-основатели Московского общедоступного не возражали. Им шла чистая десятина от выручки певицы, что для кассы было много полезнее участия Рашели (да, да, помним — Розалии Самуиловны!) в спектаклях; и единственным темным пятном для гениев были возможные сплетни. Гибель репутации. «Как, актриса Общедоступного поет в кабаках? Нет, правда?!»

Княгиня твердо пообещала, что сплетен не будет.

Их и не было.

Зато Федора бесплатно кормили в «Вавилоне».

— Еще не остыло, не вымерзло счастье,
И кровь не вскипела на остром ноже;
Еще! О, еще! Не прощай, не прощайся!..
Но где-то — уже.

Раскатилась монетками последняя капель. Стихла. Зашевелились дачники, опомнились виноделы; утер щеку матерый Яшка-ром.

Стали челюсти жевать.

Стали губы лобызаться с бокалами.

А Княгиня спустилась с эстрады; потрепала мимоходом Яшку по кудрям, будто дитя малое; рядом с Федором села. «Ручку-с! Ручку поцеловать!» — сунулся было вертлявый господинчик, но ткнулся лицом в ответный взгляд и ввинтился обратно в компанию.

Радостный, будто и впрямь чмокнуть довелось.

Даже астра в петлице по новой расцвела.

Ни о чем спросила Княгиня. Воды выпила из высокого стакана. Ни о чем ответил Федор. Помолчал; подумал. Рассказал об угрозе цензорской проверки. Рассказал, как бегал по второму разу к товарищу начальника коллегии, к участливому чиновнику. Как правильные бумаги относил, в конверте. Как пиво после со Стальным Марципаном пил.

Про белую лошадь рассказывать не стал.

Ну ее совсем.

И Чямбу липучего, с его подковырками ромскими, — тоже.

Вместо этого принялся на Княгиню смотреть. Как она воду с пузырьками пьет; меленькими глоточками. Аж в носу щиплет. Налей в стакан вина бургонского или шустовского коньячища, столь любимого трагиком Полицеймако, — лучше не будет.

— Знаешь. — Не хотел спрашивать, а само спросилось. — Может, пусть так оно дальше и будет?

— Что? — спросила Княгиня.

— Все. Ну, ты меня ничему не учишь, просто ездим... живем. По-настоящему. Давай и дальше так. Хорошо ведь? Безопасно; весело. Хочешь, я на тебе женюсь? Ну и что, что ты старая?.. А я возьму и женюсь.

— Погляди на меня, дурачок, — тихо сказала Княгиня.

Федор поглядел. Сидит напротив женщина без возраста, стакан в руках тонких вертит. Каштановые волосы давно отросли, как положено. Падают на плечи, завиваются на концах. Одиноко блестит заколка из серебра, с крохотным сапфиром посередине. Ну, глаза — мало таких глаз. Ну, скулы высокие, ну, рот тверже обычного.

Ну, колечко на среднем пальце: тюльпан-цветок, стебель вкруговую.

А стакан выше приподнялся. Просвечивает лицо Княгини сквозь стекло. Дробится гранями, сверкает. И мнится: было прежнее лицо, да сплыло, иным сделалось. Волшебным. И стакан волшебный: не вино в нем, не вода — лицо Рашки-Княгини.

Раз увидишь — в ноги падешь.

Стакан в сейф запрешь, станешь из него росу утреннюю по наболь̇шим праздникам пить.

Что за чудо?!

А стакан уже зеленой изморозью взялся. Пламенем горит. И фиалками откуда-то пахнет. И не ладонь вокруг стекла — две ладони, спаянные намертво. Две ли? Четыре? Сон ли?

Знает Федор: не сон.

Отвернулся.

— Видишь, — невпопад говорит Княгиня; губы шевелятся, а слова легкие-легкие, никому чужому не услыхать. — Не надо тебе на мне жениться. Глупости это все. Ты сейчас на меня сквозь стекло глядел, а другие — они на тебя как на стекло смотрят. И видят за Федькой-стеклом — меня. Старую, злую; умную. Жизнью битую. Разную. Просто они слепые. Они думают, что это все ты: и стекло, и за стеклом. Оттого ты им нравишься, оттого зовут к себе. Ведь зовут, да?

Кивнул Федор.

Ведь зовут.

— Время надобно, Феденька. Пока я в тебя войду да тобой сделаюсь. Совсем тобой, до конца. Я и еще — Друц. Чудно у нас дело сложилось, Феденька, тебе и не понять сейчас, насколько чудно... Ты только убегать от меня не вздумай! Понял?

— Почему?

Странная штука: убегать-то и не собирался, а все равно спросил. На всякий случай, что ли?

Опустила Княгиня стакан на стол.

— Потому, Феденька, что не учу я тебя ничему. Сам ведь сказал. Сам и учишься; сам, да не сам. Режется из тебя, дубины-чурбана, скрипка драгоценная: деки, гриф, завитушки по бокам. Льется в тебя, как в стакан этот; скоро, не скоро, а будет полон. Так что не бегай — неполным, недорезанным.

Стало железным лицо напротив.

Ледяным стало.

— Можешь не успеть, мил-друг Феденька.

— Чего не успеть-то?

— Обратно добежать, — сказала.

И почти сразу, превратив железо в нежнейший пух, по-детски просияв взглядом, трепетным, запредельным шепотом:

— Господи! Да неужто и я таким ребенком была?! Когда? Где? Было ли?! — Сама себе ответила: — Было. Прошло. Ты смотри, Феденька, не проклинай меня, если что... *Do you understand, my dear prince?*

— *Yes, I do,* — машинально отозвался Федор, истово силясь понять совсем другое: что же все-таки ему понятно, раз ответил?!

Что?

Отчего сердце зашлось сладкой, страшной дробью?

— *And seem a saint, when most I play the devil. And seem a saint, my princess...*

— Правильно. Молодцом, — улыбнулась Княгиня; и повторила сказанное Федором, превращая слова в слова. — «Кажусь святым, роль дьявола играя...» Старый, добрый Ричард Третий! Как вовремя... Ты только, Феденька, не морщь лоб. Не спеши понимать. Понимание, дружок, — это Закон. И обратной дороги нет. С каждым новым пониманием мы перестаем быть прежними; меняемся навсегда. Нравится тебе это, нет ли — выбор сделан, а торопиться ни к чему.

Вот тут и раздался на улице грохот многих колес-копыт, а следом — крики.

* * *

— Яшка! Сукин ты сын! Вот ты где!

— Хозяин! Шампанского!

— Всем шампанского! Новосветского, «Абрау-Дюрсо»! За мой счет!

— Яков, гулящая душа! Дай, дай расцелую! Пой мне, Яков! Пляши! Вынь душу!..

Первым в «Пятый Вавилон» ворвался гигант в черном сюртуке. Пенсне то и дело сваливалось с его могучего носа, повисая на цепочке; седеющая копна волос тряслась мелкой дрожью. Гигант мигом облапил Яшку-рома, и два великана закружились по залу, тиская друг друга, хрустя костями и выкрикивая приветствия.

Этого гостя знали все. Извозчики звали его Диким Барином, челядь в крымских и кавказских имениях — «вась-сиясь», коверкая титулование; легкие на язык татары подвесили кличку Аслан-Дели, что значило «Безумный Лев»; а лощеные завсегдатаи Английского клуба всегда держали наготове пустое кресло для князя Льва Голицына.

Это он, «вась-сиясь», открыл в Москве, рядом с генерал-губернаторским домом, магазинчик, где продавали прекрасное вино по двадцать пять копеек за бутылку.

Это он, Дикий Барин, на спор с записным пьяницей Скуратовым велел вылить наземь полную бочку хереса только потому, что привереде Скуратову вино отдавало мокрой кожей, а самому князю — мокрой медью. По слухам, на дне бочки обнаружился медный то ли крестик, то ли ключ от погреба, подвешенный на кожаный гайтан, — побрякушку черт знает когда утопил один из рабочих; и спорщики угомонились, крайне довольные друг другом.

Это он, Безумный Лев, укрыл у себя раненых студентов после разгона казаками университетской демонстрации, а когда за бунтарями явились — споил вдребодан и студентов, и полицию, и всю улицу, назвал себя именинником, остальных — гостями, чем спас молодежь от судебного разбирательства.

Это он, Лев Голицын, никогда не пил водки.

И даже требовал ее повсеместного запрещения со всей широтой своей необъятной души.

— Жги, Яшка! Пой! Пляши!..

Не глаза у князя Голицына — две чаши вина искрометного сверкают. Тут и с одной-то захмелеешь, а с двух... Но если нырнуть в эти чаши, сразу в обе, без оглядки, положившись на русский «авось», — то на дне:

...старичок.

Сидит на песчаном пригорке близ залива. Маленький, морщинистый, в потертом черном сюртуке и зауженных брючках. Хитро щурится на чаек, на солнце — устал старичок, присел отдохнуть. Здесь другое: понимаешь вдруг, что не очень-то он стар и не очень-то устал! Вот сейчас потянется всем телом — и треснет сюртучок, высунутся из расползающихся рукавов львиные лапищи!

Дрожать заливу от торжествующего рыка!

* * *

Под гомон хора «К нам приехал наш любимый...» в залу вваливались остальные гуляки. Толстобрюхий старик с бородой, расчесанной надвое крыльями («Кашперов! Сахарозаводчик Кашперов!» — зашептались у столов), следом жандармский ротмистр — длинный, сухопарый, пьяный до той степени, что казался трезвым; стайка актрис, среди которых Федор заметил двух тощеньких инженю из Московского общедоступного; еще один жандарм, на сей раз унтер-офицер — опекая подгулявшего ротмистра с заботливостью родной маменьки... троица смазливых личностей, упавших на хвост буйному князю... какие-то шумные ромалэ с гитарами и бубнами, подобранные явно по пути, на бульваре, за неимением Яшки и его людей...

Федор даже не очень удивился, признав в ближайшей обладательнице бубна подругу Акулину, а в лихом гитаристе, мигом затесавшемся в Яшкин хор, — Друца.

Раз пришли, значит, надо.

День сегодня такой... хотя где там день — ночь на дворе.

Обслуга вавилонская сбилась с ног, усаживая знатную толпу гостей — редко в заведение являлись птицы такого полета. Какое редко! Почитай, никогда! Хлопали пробки,

пена вовсю лилась на скатерти, на брюки, на юбки дам, на пол; крики мало-помалу стихали, и радостный вопль князя Голицына прозвучал уже в относительной тишине, насколько вообще тишина может быть свойственна «Пятому Вавилону»:

— Розалия Самуиловна! Просим! Я слышал вас в Ялте!.. Просим!

— Просим! Голубушка, сыграйте для нас! — подхватили отовсюду.

Княгиня молча встала, поклонилась и без возражений прошла на эстраду. Села к инструменту, под уважительно смолкший трезвон бубнов. Придавила носком туфельки педаль. Тронула клавиши самыми кончиками пальцев; отдернула, будто обожглась. Снова тронула, тайно спросив без слов — остыли, не станете вредничать? Почти сразу рядом оказался Друц: припал невзначай на колено, расплескал струну за струной речными перекатами.

Остудил слоновую кость под нежными пальцами Княгини.

Требовательней вскрикнули клавиши. Злее. И успокоились, когда гитара вкрадчиво, с мольбой, о прощении запела.

Так и пошли двухголосием: вопрос-ответ, обида-мольба.

Федор слушал их дуэт и замечал — нервничают. Оба. Поглядывают на крайний столик у входа, туда, где между инженюшками-потаскушками сияет серебром пуговиц, по шесть в ряд, лазоревый мундир ротмистра-жандарма. Да и сам Федор, признаться, отродясь не видал таких попугайских мундиров: яркая выпушка по обшлагам и борту, вместо пояса — серебристый кушак с кистями.

Воротничок алым сукном подбит.

Празднично, да не по-ромски, когда цвет на цвет лезет и цветом прихватывает. «По-государственному празднично», — подумалось невзначай. И еще: тянет от ротмистра небывалым холодком.

Куртку бы накинуть, согреться, да нет с собой куртки.

А фортепиано с гитарой все вели свою тайную беседу и все поглядывали на ротмистра искоса Друц с Княгиней. Как мыши в амбаре: крадут зернышки и на спящего коти-

ща зыркают. Крадут и зыркают. А вдруг очнется? прыгнет?! А воровать-то надо! Хочешь не хочешь — надо!

Откинулся Федор на спинку стула. Смежил веки; расслабился. Тут музыка в него и вошла по-настоящему. Спустились с эстрады таборный ром и женщина без возраста, встали неслышно-невидимо за плечами: за правым, за левым. Для всех они там, на эстраде; для Федора Сохача — и там и здесь. Слышится-видится парню и вовсе чудное: звенит гитара — о селе Грушевка звенит, о лихой пьянке у Сковородки-контрабандиста ведет ритмом, о мальчишечке, утопленном ли, утонувшем ли по пьяни, с лада на лад перескакивает. А тяжелый аккорд фортепианный то спросит басом, то отступит удивленно, то рыбака незнакомого капелью распишет, и бурчит рыбак глупости: «Передать велели... за новым столом под туза сперва ходят...»

Под какого туза?

Что за мальчишечка утоп? Что за рыбак являлся?!

Сидит Федор, глаза закрыл; под нос себе тихую мелодийку в унисон мурлычет. Вроде как подпевает. Эй, вы, двое! — подпевает. Хватит секретничать! — подпевает. Ничего не пойму! — подпевает.

И не надо! — отвечают ему дуэтом.

Ответили и замолчали.

Захлопали пьяные в ладоши. Если кто трезвый был — тоже захлопал. А князь Лев кулачищем пудовым по столешнице от полноты чувств ударил. Пришлось посуду с пола собирать; ну да это пустяки. Бывает. Ромалэ горланят, бренчат, трезвонят, ромки по залу разбежались, цветами по лугу. Вкруг гостей вьются. Одна и к Федору прицепилась репьем: хорош парень по всем статьям, а что карман пуст, так любви не прикажешь!

— Эй, красивый, — смеется белозубо, — позолоти ручку! — И уже тише, шепотом:

— Видал жандарма?

— Видал, — отвечает Федор Акульке. Все равно рядом никого нет, не подслушают. — Аж двоих видал. Вона шампань хлещут: ротмистр-гость и при нем унтер, вроде дядьки. А что?

Смеется Акулька, а в глазах — страх. Болотной тряси-

ной разлегся, топит в себе. Чавкает. Вольготно страху. Смейся, девка! Я-то здесь, страшный страх, никуда не делся, никуда не денусь!..

Взяла Акулька парня за руку, водит пальцем по ладони мозолистой.

Гадает, значит.

— Землемер это, из Грушевки, — гадает. — Который ротмистр. Похож, спасу нет! Я его на пьянке сельской видела, а потом в степи, когда от Мишка мертвенького прочь бежала.

Так говорит, будто знает наперед: слышал Федор гитарный рассказ. Незачем повторять.

— Уверена?

— Нет. Говорю: похож. Тот скучный был, и этот скучный, да по-другому. Опять же мундиры разные. Могло и померещиться. И потом: откуда я знаю, что Мишка силой кончили? Вдруг сам захлебнулся?!

Пожал Федор плечами. Была девка дурой, дурой и осталась. Ротмистры у нее в землемерах ходят. Мешки у нее захлебываются. Хотя похорошела, не отнимешь. Пошла на пользу воля таборная.

Хотел о том вслух сказать, да вот не сказал.

Застеснялся.

— Я уж Друцу сперва в таборе доложилась. — Акулькин палец вдоль Федоровой линии жизни двинулся, щекотно так. — И после, в городе, когда ихние пролетки увидала. Про ротмистра этого, похожего. А Друц не поверил. Ответил: быть не может. Ответил: у облавных жандармов вся их жизнь по Уложенью о Наказаниях расписана, от и до. Не бывало, чтобы «Варвары» закон нарушили. Слышь, Федюньша? Может, я умом рехнулась?

И опять пожал плечами Федор. Был бы ум, могла б рехнуться. А так... Глянул по новой на ротмистра. В самое лицо.

Закаменел от увиденного.

Лицо как лицо. Жеваное, в складках. Из глазниц пуговицы сияют тускло, скулы высокие; рот усами занавешен. Что ни пиши на таком лице, ничего не напишется. Двигаться лицо не обучено. Ну разве что моргать или там губа-

ми шевелить. Да только кипит внутри, за камнем-ракушечником, вар смоляной. Пенится. Сам себя гложет, сам себя в себе жрет.

Оттого и дергает лицо нервным тиком.

Оттого и желваки на высоких скулах катаются.

Оттого и кидает ротмистр в глотку рюмку за рюмкой, стакан за стаканом.

Пожар заливает. А залить не может. Дико Федору смотреть, как человек собственную душу поедом ест. Тут и вскочил ротмистр на ноги, на середину зала, не шатаясь, вымелся.

— Яшка! Рви! В клочья! — закричал.

Ударил Яшка-ром по струнам. Взвились славны бубны за горами. Подхватили Княгинины клавиши; полетели ромки пляски плясать. А в юбок мелькании, в руках смуглых, заломленных, в дрожи женских плеч, в песне, в визге, в топоте бешеном — жандармский ротмистр пляшет.

Облавной.

Краса и гордость Третьего отделения.

— Яшка! Жги!..

Звенят мониста. Визжит паркет под каблуками. Ошалели гитары; не поют — волками воют.

Пляшет ротмистр.

Слышится Федору в балагане сумасшедшем, сквозь танец-смерть:

— Еще не остыло, не вымерзло счастье,
И кровь не вскипела на остром ноже;
Еще! О, еще! Не прощай, не прощайся!..
Но где-то — уже.

Уже.

Нет ротмистра в круговерти.

Рухнул, красивый.

* * *

Сам не понял Федор, зачем от стола бегом кинулся. А поспел первым. Еще ромки-плясуньи руками плескали, еще хохотал волчьим смехом седой Яшка, еще вздымался горой князь Голицын, «Давай!» — орал; еще били в бубны, рвали струны — а парень возле ротмистра на коленки пал.

Ведь видно же: не от хмеля человека влет сбило!.. Почему пляшут? Почему смеются? Не понимают?!

Гнуло ротмистра; корежило. Пот по лбу градом — ледяной, крупными бусинами. Левый глаз подмигивает, правый заморозило, нижнее веко к верхнему створками раковины прижалось. Усы дыбом, губы плюются грязной пеной.

— Отойдите! — кричит Федор. — Воздуху дайте!

Рвет крючки на воротнике жандармском. Алое сукно изнутри живым мясом светится, будто рану взрезали.

Изломало тут ротмистра не по-человечьи. Силы Федору не занимать, да и у него не вышло скрутить припадочного. Вцепились две ручищи парню в горло. Не душат; держат.

Бьется внизу ротмистр рыбой-белугой.

— Ты кто?! — Пена с губ в морду Федькину хлещет. — Кто ты?!

— Никто! — огрызается парень. — Эй, помогите!

Улыбнулись губы.

Уперся левый глаз Федьке за спину; мигает.

— Никто? Знай же, Никто, мой любезный, что будешь ты самый последний съеден, когда я разделаюсь с прочими; вот мой подарок! Вот! Вот!..

И обмяк ротмистр. Открылись оба глаза настежь: пуговицы не пуговицы, но и не глаза. Пустышки. Был человек, нет человека, и сразу ясно — никогда не будет больше.

— Он пьян? Болен? — растерянно спросил парень, глядя в лицо бывшего человека.

— Он сошел с ума, — ответили из-за левого плеча.

Обернулся Федор: Княгиня.

Стоит.

На самом деле.

И вдвое страшнее парню стало, чем тогда, когда на его руках человек человеком быть перестал.

Потому что впервые он видел Княгиню растерянной.

— Знай же, Никто... — пробормотал парень, чувствуя: бежит по спине ужас, щекочет холодными струйками. — Съеден будешь... самый, значит, последний... Чего это он?

— Это сказал циклоп Одиссею. — Княгиня обвела

взглядом зал, и тишина наступала там, куда падал этот взгляд.

Мертвая тишина.

— Это циклоп так сказал, Феденька. А к чему сейчас сказано — бог весть. Случайно, должно быть.

По Княгине было заметно: врет.

Не случайно.

Круг второй. ЛЕТАЛ СОКОЛ, ЛЕТАЛ ЯСНЫЙ

— Бей магов, спасай Киммерию!

Опера «Киммериец ликующий», ария Конана Аквилонского

ПРИКУП

Разделочный нож проворно сновал туда-сюда.

Будто об оселок затачивался. Только вместо оселка сейчас было пятнисто-полосатое тело скумбрии: жирной, сентябрьской. Острое (глянь — обрежешься!) лезвие раздевало рыбу с расторопностью похотливого ловеласа или, если угодно, садиста-хирурга Голубых, знаменитого маньяка, коего повесили в Ростове прошлым летом. Сперва тонкие ломтики кожицы с внешним, темно-лиловым мясом, затем нежнейшее филе, со спины, с бочков, до самого хребта...

Впервые занятие, привычное, как навес из лоз над головой, не доставляло тетушке Деметре удовольствия. Раздражало. Томило. Напоминало о страшном, небывалом, о чем не то что думать — знать не хочется.

А как не знать?

Вздохнув, старая женщина бросила рыбий хребет с головой и хвостом в корзинку. Потянулась за следующей рыбой. Скумбрия чуть не выскользнула из пальцев, но не выскользнула все-таки. И пошла раздеваться — раз-два, падай, ломтики!

Где-то, очень далеко от Балаклавы, настолько далеко, что они казались миражами из глупой сказки, стояли бан-

ковские учреждения — разные, многочисленные, никогда не виданные тетушкой Деметрой. Там, ножом над самой жирной в мире рыбой, сновали деловитые клерки, которых тетушка Деметра также никогда в своей жизни не видела. Клерки потели, пачкая белые рубашки, и ежеминутно оправляли галстуки. А еще они очень часто произносили волшебное слово «счет», похожее на раздувшийся от водянки пузырь, готовый в каждую минуту лопнуть. В этих пузырях, радужными сполохами, переливались деньги.

Много денег, и их старая женщина никогда не видела, как банковские учреждения, клерков и счета, похожие на пузыри.

Ей не надо было ничего видеть.

Это были ее деньги.

Но вместо них тетушка Деметра видела сны.

Она знала, что богата. Неизмеримо, чудовищно богата. За ее сны платили с избытком — за сны, за одно-два слова, брошенных вскользь, за предостережение или легкий кивок. Несмотря на то, что она ни разу не попадалась в лапы облавных жандармов и ни разу не дышала острожной гнилью. Вернее, за это платили дополнительно. Даже зная, что старой (некогда молодой, затем — пожилой...) женщине деньги не нужны.

Она разделывает скумбрию и счастлива этой скумбрией, сентябрьской, жирной; этим небом — сентябрьским, пронзительно синим; этими терпкими запахами подступающей осени и маринада в жестяном тазу.

Рецепт маринада был ее тайной гордостью. Много, очень много сахару, много корицы, мускатного ореха и гвоздики, очень мало соли и никакого уксуса. Ну и еще несколько мелких подробностей, о которых вам знать не следует. Ломтики строганины вымачивались под гнетом, и еще не родился на белом свете человек, который не выпил бы под них бутылку-другую крепких выморозков, захлебываясь слюной и восхваляя мастерство тетушки Деметры. Как делали это три поколения балаклавцев; как делал это один забавный бездельник-дачник, утверждающий, что он писатель, и умолявший тетушку Деметру звать его просто Сашкой.

Это грело душу.

А деньги?.. Ну зачем ей деньги?

Она брала только пряности для маринада, не в силах отказаться; и то в самую меру.

Старая женщина подняла голову. Напротив, перед ведром с рыбой и такой же корзинкой для костей, сидела Елена. Для других — Елена Костандис, одинокая горемыка, ни мужа, ни семьи, коротает время со старухой, и больше здесь не о чем говорить.

Это для других, как и должно быть.

Тетушка Деметра знала: Елена скоро выйдет в Закон. Может быть, пройдет месяц. Может быть, два. До Нового года — наверняка. И тогда Елена уедет работать. К контрабандистам в Одессу. Или в ялтинский игорный дом. Но скорее всего — в Симферополь, на ипподром.

Да, скорее всего.

От симферопольцев до конца недели должны были явиться гонцы; явиться и получить согласие. Старая женщина готовилась отправить с ними Елену, а новую ученицу она подобрала себе еще полтора года назад. Та ждала; и будет ждать, сколько надо.

Елена напротив тоже подняла голову, коротко кивнула и снова принялась за скумбрию. Им давно не нужны были слова, чтобы разговаривать между собой. Ни как матери со взрослой, любимой дочерью. Ни как подругам, встречающимся каждый день.

Как Тузу Крестовому с ученицей, на днях выходящей в Закон.

Кто знает — поймет.

Впервые за долгую жизнь тетушка Деметра была близка к тому, чтобы проклясть свой страшный и сладостный дар. Ибо сны Елены были ей доступны по сей день, как свои собственные. И вот уже почти месяц там, в этих прозрачных снах, кричали сумасшедшие чайки и осыпь медленно ползла со склона.

А видений — не было.

Слепота.

Иная слепота, чем случается при умирании дара. Совсем иная; и умирание — совсем иное.

Судьба высказалась совершенно однозначно, и Туз Крестовый с ученицей поняли судьбу без слов. Вот только — когда? Завтра? Через год? Через двадцать лет?

И нельзя ли с судьбой договориться?!

Вчера тетушка Деметра попыталась подсмотреть ответ. У нее в последнее время были свои сны, где отнюдь не кричали чайки, но кричал ужас, что вдесятеро хуже... Она все-таки попыталась. И ничего, кроме птичьих криков под шелест осыпи, не увидела.

Слепота.

Незрячая жижа в глазницах.

Надо будет сходить в церковь. Постоять у иконостаса Ответчика, вглядеться в череду одинаковых лиц, протянувшихся насквозь через грешное время, издавна по сей день, от Голгофы в Балаклаву; склониться перед грозным ликом Отца, Вышнего Судии; поставить свечки Заступникам... Молча, беззвучным поскуливанием собаки, просящей о милости, напомнить: сиротский дом в Керчи, выстроенный за деньги одной несчастной старухи из Балаклавы, и еще два приюта в Ялте и Феодосии, и еще церковь в Сурже, возле которой какой-то предприимчивый караим стал торговать водой из целебного источника, назвав торговую марку: «Богородица Сурожская».

— Ведро «Богородицы»! Полведра! Вздорожала? Почему?!

Узнав об этом, тетушка Деметра поморщилась слегка — и караима с его водой больше никто не видел.

Нет, в церкви легче не станет. Это старая женщина знала наверняка. И отговаривалась от пустых снов с чайками знакомым отговором: концом срока ученичества крестницы Елены. В этот период у любой крестной матери, будь она хоть Тузом, хоть захудалой Десяткой, сила подтачивается, выветривается, и приходится действовать осторожно, боясь спугнуть, сорвать... сгореть.

Особенно в возрасте тетушки Деметры.

Новый хребет с оскаленной головой и хвостом-веером шлепнулся в корзинку. Старая женщина опустила взгляд ниже. Гора хрупких костей; оскал ртов; выпученные глаза спрашивают: «За что? За что — в маринад? С корицей?! С сахаром?!» Страшный суд во плоти. Сразу вспомнилось: гонцы, разосланные на позапрошлой неделе, доложили — нашли. Нашли, кого искали, и предупредили, и намекну-

ли: «За новым столом под туза сперва ходят...» Завтра с утра жди гостей.

«Елена, встретишь?» — спросила беззвучно.

«Встречу», — пришел ответ.

Вздохнула тетушка Деметра. Уставилась на нож в липкой слизи, будто впервые его видела. Вытерла зачем-то руки о передник.

Еще раз вздохнула.

А вдали — в небе? во сне? в безумии?! — все кричали невидимые чайки.

VI. АЗА-АКУЛИНА, или МЕРТВЕЦЫ В ПРИКУПЕ

> Я буду говорить тебе, слушай меня; я расскажу тебе, что видел...
>
> *Книга Иова*

...Спать страсть как хочется! Ноги сами по себе идут, будто кто другой их за меня переставляет; слева гора назад ползет, справа — обрыв вниз валится. Поначалу страх брал — ну как сорвешься, с эдакой-то высотищи! А теперь и не страшно уже. Все равно. До того сон долит.

Сорвешься, прямо в полете заснешь.

Из сна — в смерть.

— ...Умаялась девчоночка. Загонял ты ее, Друц...

— Дойдет. Княгиня, а ты себя такой помнишь? То-то смеху небось?

— Отсмеялся мой смех...

...Вроде бы и утро, и туман, и зябко — а скулы зевота сводит. Совсем как тогда, в Харькове, когда Друц в кузню на Москалевке устроился, а меня к тетке-молочнице определил, в разносчицы. Тетку еще до света черти подымали, она меня в тычки — гнала сперва коров доить, а после к заказчикам с бидонами. Я все понять не могла: в городе я или еще в деревне? У тетки хлев во дворе, выгон рядом; и тут же улица городская начинается. Пройдешь чуток, за

угол свернешь — дома каменные пошли, в два этажа, а дальше и совсем господские, дворцы дворцами!

Обидно было после житья барского, по гостиницам с прислугой, у тетки-молочницы мало что не в хлеву ночевать! Прямо как в Кус-Кренделе. Раньше б я слова поперек не сказала, мне-то что, я привычная — а теперь вот заело! После хоромов обратно носом в грязищу. Неужто Друц ничего получше найти не смог? Ведь и деньги у него есть, и сила мажья, и...

Я ему так и брякнула. А он: «Лежи, мол, на дне и не бултыхайся. Петля по нас плачет, Акулина. Поняла?»

Да уж поняла; не бултыхаюсь. Молчу. Только что ж раньше-то все по гостиницам, а теперь... Ладно. Не навсегда ведь. А то так я и дома могла. Вставать до петухов, при лучине в хлев тащиться, потом — на улицу, в серость постылую.

Тоска.

Хорошо хоть, недолго тетке меня мытарить довелось. Однажды вечером заявился дядька Друц. Как раз вскорости после того, как Рашелька с Федюньшей из города уехали. Мы-то и не видались с ними почти: только перед отъездом Княгиня забежала, попрощалась наскоро, Друцу в ухо пару слов дунула — и поминай как звали.

Так вот, явился Друц, а я примечаю: скособоченный он. Опять, что ли, спину скрутило? Да и мне в последние дни муторно было; то слабость, из носу кровь идет, то головы кружение, то снится дрянь всякая...

«Все, — говорит, — собирай манатки. Уходим. В таборе жить будем. Пора тебе свободой ромской надышаться!»

А я ему: «Там хоть выспаться дадут, в таборе твоем?!»

Он смеется: «Ромалэ не спят! Днем пашут, ночью пляшут!»

Вот так мы в таборе и оказались.

И на следующий же день — в дорогу. В Крым.

— ...Давайте я ее понесу. Мне она — перышко.

— Перышко, друг Феденька, да не по здешнему серпантину. Скользнет нога, кто вас двоих удержит?

— Ин ладно...

Дорогой замечать стала: в зеркальце гляжусь — вроде я, и вроде не я! Лицо мое, только гладкое, рябушки сошли,

одни конопушки остались, и тех чуть. Чудеса! Ну, не барыня-красавица — но симпатишная такая девка из зеркальца смотрит! Я и радуюсь, и дивлюсь. Парни ромские, кучерявые, со мной заговаривать стали, подмигивать со значением. Может, это дядя Друц на меня чары наложил?

Я его спросила, а он зубы скалит: «Делать мне больше нечего! Хорошей, Акулина, на здоровье, да гляди, гожо чяй[1]: не роди черномазенького!»

Шутки у него...

Тут и впрямь плясун один ко мне привязался — сущий репей! Рассердилась я, так бы живьем и съела, кобеля проклятущего, как та рыба-акулька — ну и выдала однажды... по-ромски, оказалось. Да таким загибом египетским, что у плясуна уши завяли.

Два дня ничего не слышал, пальцами ковырялся.

Мне за те слова барон Чямба по губам надавал. А за «Кало ромэнгиро джуклоро, тэ хав ту дадэскиро мас!»[2] — отдельно. Надавал, а сам очи бровями косматыми завесил, глядит искоса... с уважением, что ли?

Так я по-ихнему и заговорила. Оказалось: ничего особенного. Мне вообще говорить — раз плюнуть. Не то что молчать. Еще меня Друц на гитаре тренькать научил! За три дня. А ромки из табора — танцевать, да песни петь, да на картах гадать. Я и стала счастливая. Раньше несчастливая была, а теперь — дудки! Разве что иногда, как мамку с тятькой-покойником вспомню, опять несчастливая...

— ...Под ноги смотри, Акулина! Упадешь, костей не соберешь!

— Ой! Смотрю, смотрю!..

А дорога-то вьется и вьется, змеей по-над пропастью; ветром соленым подуло, море внизу показалось. Ноги — ну совсем тряпичные стали! После ночи бессонной, да гулянки кабацкой, да того ротмистра-землемера безумного;

[1] Красна девица (*ром.*).

[2] Черная ромская собака, чтоб ты съел тело своего отца! (*ром.*)

а допрежь ведь еще одна гулянка была, и Вадюха припадошный, и Мишок мертвый...

Не то дивно, что иду-спотыкаюсь, упаду вот-вот, — а то, что вообще иду.

А море все ближе плещет, вон уж и чаек слыхать, и иттить вроде бы полегче стало. Это дорога под уклон пошла. Скоро там ихняя, как ее... Баба Клава?

Балаклава, вот!

Ага, мостки рыбачьи объявились. Вода булькает тихотихо, лениво так, сонно; от того плеска ресничка к реснич-ке смолой липнет. Над водой туман курится, лодки рыбачьи друг о дружку да о сваи бортами трутся, будто коты об ноги хозяйские. Обрыв кончился, тропка по самому берегу вьется; морем пахнет, солью, водорослями, рыбой, еще чем-то непонятным, но непременно «морским».

Ай!

Дорога опять сворачивает, и я едва не налетаю на здоровенного бородача в брезентовой робе, таких же штанах и рыбацких сапогах-бахилах чуть ли не по пояс.

Да он тут не один! Трое их... нет, четверо!

И похоже, с похмела — вона как перегаром разит!

— Доброго утречка! — Язык уж вперед головы поспел, у меня завсегда так. — Куда это вы в такую рань?

Каменная крошка с размаху больно впивается в щеку. Совсем рядом — серый бархат дорожной пыли, пожухлые травинки. Ухо прямо огнем горит! Да не то ухо, которым я в пыли лежу, а другое, что сверху. Небось пунцовое стало, хоть цигарки прикуривай!

А перед самым носом — два сапога-бахила. Переминаются угрожающе, того и гляди, пнут!

— Сглазить хотела, воровка?! Ну так мой кулак любой сглаз отведет!

— Э, за рыбу деньги, да тут их целый табор!

За что?! Я ему — «Доброго утречка!» — а он?!

Слезы мигом на глаза навернулись. Не от боли — от обиды. Хочу встать — а руки-ноги совсем чужие стали, не слушаются, хоть плачь! Я и плачу...

— Поворачивай оглобли, приблуды черномазые! Ишь, за рыбу деньги, повадились!

— Вали!

— Еще и лярву с проспекта за собой волокут...

Хрясь!

Это где-то надо мной, наверху.

В небе.

Сапоги на миг исчезают, точно по волшебству, — и бархат пыли взрывается густым облаком. В облаке вновь возникают сапоги; вернее, не сами сапоги, а их подошвы. Что за чудеса?!

Сама не заметила, как на ноги взлетела.

Рядом Федюньша стоит, хмурится пуще обычного, кулачище свой потирает; по дороге к нам Рашелька с Друцем спешат — отстали, видать, о чем-то своем разговаривали.

Рыбак тем временем подниматься начал, за скулу держится. Пусть еще спасибо скажет, что Сохач ее напрочь не своротил, скулу-то! Нечего руки распускать!

— Ну, это ты, парень, зря! Так бы просто ребра посчитали, а так — за рыбу деньги...

— Полный зарезец вам всем выходит! — скалится другой, кудрявый, сам на рома больше Друца похожий. И нож складной достает. Ой, мамочки, да не нож — целый ножище! Таким человека насквозь проткнуть можно!

Глядь: и у остальных ножи в руках!

— Ой, вороний грай, перья врастопырку... — Это дядька Друц подоспел. Федюньшу плечом оттер, меня за спину перекинул. — Перья врастопырку, красные глаза...

Вот сейчас он их всех в крыс ка-ак превратит! А после каблуком, каблуком! И Княгиня уже рядом, глазищи сверкают, словно у тигрицы лютой (я в зоосаде харьковском видела — ужас!). Того и гляди, огниды горючие из глаз посыплются, пожгут рыбаков напрочь! Ой, что будет!..

— Песни поешь, бродяга? Гляди, допоешься, печенка лопнет!..

Дальше я визжать стала. На всякий случай, заранее — вдруг потом не поспею. А рядом как свистнет пулей, как бахнет из ружья невидимого! Я дивлюсь: оно ведь обычно сперва бахает, а потом свистит — я дивлюсь, аж визжать забыла, рыбак ближний орет благим матом, за руку держится, нож его в трех шагах на гальке валяется... Не иначе, колдовством его дядя Друц приложил, силой мажьей!

Тут я колдовство воочию и увидала. Кнут у Друца с собой был. Плетеный такой, из кожи, тяжелый. Вот он этим кнутом и принялся ворожить рыбакам.

Глазом моргнуть не успела: все кончилось. Один за рожу схватился, кровь унять пытается, двое, как сговорились, левой рукой правую баюкают — а последыш пятится вдоль берега, нож складывает, ладошку порезал, глазенки рыбьи, круглые. Он-то пятится, а дядя Друц на него идет. Отступает рыбак, отступает — и натыкается на тетку какую-то. Я и сама не заметила, откуда та тетка на дороге появилась.

Стоит, в шаль серую кутается; смотрит на наши безобразия.

Рыбак на нее наткнулся — аж подпрыгнул; разворачивается — и тут ему тетка что-то сказала. Тихо так, и не расслышать что. Рыбак вдруг закивал быстро-быстро, нож за голенище сует — а руки дрожат, не слушаются.

Спрятал-таки.

Бочком-бочком обошел Друца — и ну своим приятелям бары растабаривать. Пошептались они, почесали в затылках, и как ветром рыбаков сдуло.

Даже ножи подбирать не стали.

А тетка тем временем к нам подходит, улыбается. Гречанка. Черная, тощая. Рашельки нашей чуток постарше будет: лет на пять-шесть. Из всего лица только сразу и запомнилось: клюв хищный вместо носа. Да еще глаза — капель смоляная и будто в самую душу тебе заглядывают!

— Идемте, — говорит. — Туз вас ждет. Я встретить вышла.

И мы пошли. За ней.

Балаклава ихняя совсем близехонько оказалась, за поворотом. Только опять в гору брести пришлось. Но это ничего — добрались уже, почитай.

Иду. Еле ноги переставляю, о рыбаках тех злющих уж и думать забыла. Одно в голове: дойду — и упаду! Хоть посреди двора, если больше негде будет. Они там пущай о чем угодно разговаривают, с Тузом своим — а я спать буду. Сил нет никаких.

Тут меня за плечо трогают. Оборачиваюсь: дядька Друц. Ой, а я ж им с Федюньшей даже «спасибо» не сказа-

ла! Только рот открыла — а дядька Друц меня опередил. Едва ли не впервые в жизни. Это потому что сонная я.

— В другой раз, — объясняет, — не спрашивай у рыбаков, куда идут. Особенно поутру, когда они на промысел собираются. Это у них дурной приметой считается, хуже сглаза. Бьют за это. Смертным боем.

Ну вот! Ведала бы, где споткнешься...

Откуда ж мне про приметы-то рыбацкие знать было?!!

* * *

Посреди двора падать не пришлось. Топчан там под навесом сыскался. На него и упала. Думала — сразу засну, провалюсь, как в колодец; а не вышло отчего-то. И заснула вроде бы, и нет. Или это во сне гречанка меня шалью укрывает? И Федюньша рядом сопит?

Может, и во сне.

Друц с Княгиней наверх по лесенке поднялись, к Тузу этому.

Скрип-скрип, скрип-скрип... ну и ладно.

Сплю.

Или не сплю?

А, все равно! Главное — шагать никуда не надо.

Море вдали шумит-плещется; в небе огрызок месяца, бледный такой, гаснет, розовый язык звездочки слизывает — утро на дворе. (Какие звезды, если я под навесом лежу? Какой месяц?! А, ну да, это сон такой. Наверное.) И я уже не под навесом, а в чистом море плыву — как была сонная, так и осталась. Еле-еле ногами шевелю. Ногами? Хвостом?! Не разобрать. Может, я уже в рыбу превратилась? В рыбу-акульку?

Ну и пусть. Не все равно, как спать-то? Рыбой тоже неплохо. Волны качают, баюкают.

Сплю рыбой.

Рядом еще одна рыбина зубастая выныривает, глазом круглым на меня косится. Только я ее не боюсь. Я сейчас вдвое зубастей. Вот как цапну за бочок... Нет, не цапну. Лень потому что. Спать хочу, а не кусаться.

А рыба пасть свою разевает и говорит мне Друцевым голосом:

— Акулька, ты спишь?

— Сплю, — отвечаю. — Кажется.

— Ну и хорошо, — радуется рыба-Друц. — Спи и слушай.

Я киваю. Буду спать и слушать.

— Знаешь, у кого мы сейчас в гостях?

Кивать лень, но тут поблизости новая рыбина объявляется — не рыбина, цельный кит! — и басит вместо меня:

— Да уж слышали. У Туза.

Это Федюньша, значит, в чужом сне китом стал!

— А кто такой Туз?

— Ну... самый главный... В местной колде. Который *uber alles. Capo di tutti cappi.* «Иван», значит.

— Ты языками не форси, Федор! А квэньей — тем паче. Хоть передо мной, хоть где, особенно при ветошниках. Мигом фараонам стукнут. Заштопают — чирикнуть не успеешь!

Кит-Федюньша ошарашенно лупает глазами. Лупай, лупай! Это рыба-Друц правильно: чтоб не зазнавался! Ишь, слов всяких нахватался! Я вот тоже по-ромски могу...

— А насчет Туза все так, да не совсем. Туз — он не просто «иван» в колде. Туз по всей колоде своей крапом кроет. На Крым, к примеру, всего один Туз и есть, крестовой масти. Ясно, к кому на чай пришли?

Тут я молчать устала. Разеваю пасть акулью и спрашиваю:

— А Туз — он что, самолучший колдун на всю губернию? Потому главным и стал?

— Необязательно, — пожимает плечами рыба-Друц, хоть у рыбы и плечей-то нет! — Чтобы в Тузы выйти, мало магом в законе быть. Уважать тебя должны, слушаться. Признавать... Ну а здешний Туз и в мажьем деле силен, как никто другой. Видок Крестов — это тебе не Валет-лошадник Пиковый!

— Видок?

— Понимаешь, Акулина... Видок — он невидимое провидит, скрытое. Что было, что будет, что у человека в голове, что в сердце, что в душе, что в снах. Не гадает-угадывает — видит. Судьбу предсказать может. А кое-что — и изменить.

— Ты, Друц, ври, да не завирайся, — не очень уверенно басит кит-Федюньша. — Судьба-то... она в руце Божьей...

— Так ведь и Бог из Тузов! — скалится рыба-Друц. — Разве что колода у него побольше!

Ох, прижгут ему черти на том свете язычок!

Плещут волны, рябят, играет на них солнце расплавленным золотом, в глаза бьет; приходится щуриться, жмуриться. Интересно, а рыбы жмуриться могут?

Или только во сне?

— Ладно, судьба — дело тонкое. А вот чего попроще... Удачно ли на дело кодла сходит? Какая лошадь на скачках первой придет? Кому сегодня за столом карта попрет? У кого облавные псы на хвосте висят, а кому — гуляй не хочу?! А биржа? А политика? А карьера?! Много полезного видок хороший сказать может.

— А здешний Туз — хороший?

— Лучшего не знаю! — Это он серьезно.

— Так чего ты здесь, с нами плаваешь, когда Рашелька наверху?

— Потому что мелко плаваю. Я Валет, а она — Дама. У Туза с Дамой, видать, свой разговор сыскался, не для Валетовых ушей.

— Эй, Друц!

Вода разом ухает куда-то вниз, исчезает, я судорожно бьюсь на сыром песке — и просыпаюсь.

— Что, Княгиня?

— Кличут тебя... Вместе с Акулиной. Поднимайтесь. Ваш черед.

Теперь, выходит, Дама лишней оказалась.

* * *

Ой, страсти-то какие! Сам Туз зовет!

Вот представляется: сидит в темной горнице косматый дядька. Брови — клочьями, в глазницах — угли пылающие, насквозь прожигают; на груди, в волосах жестких, — наколка синяя: Крест агромадный. Вроде как у попа его наперсник. Во рту, вместо языка, жало мудрыя змеи. Шевелится, по

губам ползает. А на столе перед Тузом — шар хрустальный, и видится в том шаре всяко-разно-немерено...

Жалобный скрип ступенек под сапогами Друца, насмешливый — под моими сандалиями.

Это еще, мол, кто такая?

— Заходи, заходи, Валет. Дай-ка взгляну на твою крестницу.

Женщина! Старушечка, одуванчик божий! А где Туз?! Горница и вправду полутемная, только никакого хрустального шара на столе нету. Вместо шара стоит пузатый самовар, две чашки с блюдцами, сахар колотый, печенье, варенье из кизила...

Оглядываюсь.

Больше никого в горнице нет.

— Я это, я, девочка. Не ищи.

Да она ведь мысли мои слышит-читает!

— Мысли читают, когда мысли есть. А у тебя прямо на лице все написано. Это при тебе Мишка Головастик давеча помер?

— При мне... ну... не совсем при мне. Он напился пьяный, его к ручью отнесли. А потом Вадюхе Сковородке поплохело — мы и ушли оттуда, от греха подальше. Идем, глядь — а он уже мертвый лежит, головой в ручье. Захлебнулся. Да ежели б я видала, как он тонет, разве ж я...

— Верю, девочка, верю. Только мне самой посмотреть надо. Ты согласна?

— Я?.. Да согласна, ясное дело... Ой, как это — посмотреть?

— А твоими глазами. Эй, Валет. Возражать не будешь, поперек масти не встанешь?

— Не встану, Туз. Раз надо в прикуп заглянуть — так тому и быть. Только по одной открывать будем, осторожно, чтоб у девки мозги набок не съехали.

— Это ты *мне* говоришь, Валет?!

Показалось на миг: не старуха передо мной — коршун хищный! Были глаза, стали угли, нос крючком загнулся, когти уж навострила — вот-вот вцепится в нас обоих, примется на части рвать! В животе словно ледышка вдруг объявилась, ноги сами назад дернулись.

Прочь отсюда!

— Тебе, Туз. За свою крестницу я в ответе, не ты.

Встал между мной и коршуном вороной жеребец.

Тряхнул гривой.

— Знаю, Валет. — И вновь: сидит за столом горбоносая старуха гречанка. Уж не мать ли той колдунье, что нас встречала?

Какая разница — если чай пить зовет.

Чай у нее... крепок больно.

— Ну что ж, сдавай, Валет.

Был жеребец, да сплыл. Повернулся ко мне дядька Друц, улыбнулся вымученно:

— Не бойся, Акулина, она голько посмотрит, как дело было. Ей знать надо.

— А я и не боюсь!

Вру я. Боюсь. Да так, что коленки трусятся. Уж и на стул усадили — а все одно трусятся. И в глазах темнеет, темнеет, холодом из углов веет... Вот так небось смерть и приходит!

Только это не смерть. Это Друц мне на голову с двух сторон ладони свои положил, пальцами глаза прикрыл. Как поняла: сразу спокойней стало, и страх убежал — лишь чуток в животе осталось; и холод остался. Ну да ладно, стерплю! Чай, не зима. Знать бы, как эта Тузиха мне в голову лезть собирается? Не клещами же?! Нет, дядька Друц такого бы ей в жизни не позволил, будь она хоть Тузиха, хоть черт с хвостом, хоть ангел Божий! Дядька Друц — он...

— Вспоминай, Акулина. Михаила-Мишка вспоминай, хозяина, гостей... Всех!

И — само перед глазами встало: вновь Мишок, будто живой, передо мной. Смеется, вина мне в стакан подливает, себе подливает и знать не знает, бедолага, что не вино то — погибель его! Я ему сказать хочу — а язык ерунду молотит. Мишок опять смеется, тянется к бутыли...

Бутыль трясется в его руке, булькает, захлебываясь, вино разливается по столу кровавой лужей — а я вдруг ловлю взгляд сидящего напротив землемера. Пустой взгляд, оловянный. Как... как у того душегубца на заимке.

Господи! Да сколько ж его вспоминать-то буду?! Забыть бы...

А лицо в складках все наплывает, наплывает, пуговицы оловянные в оторочке ресниц уж рядом совсем, донага раздевают, душу наизнанку выворачивают — и не пойму: землемера то глаза, или Петюнечки-душегубца с лесной заимки, или... или это Туз-коршун в душу мне смотрит, в Друцевы руки своими когтями поверх вцепилась — не оторвешь; сжимает, сжимает мне голову — вот-вот лопнет головушка моя разнесчастная; а пуговицы жгут, сверлят взглядом, требуют неведомо чего. Да я бы ответила, отдала все, что есть, кабы знала — что! Дяденька Друц, спаси меня, спаси и сохрани! Ведь она сейчас всю душу мою выпьет! Не она — он, он, Петюнечка-душегубец! Он и тятю моего зарезал, и меня теперь убить хочет, из могилы вылез, упырь, оттого-то и холодом от него веет, исчадия адского! Вот только почему на нем мундир цивильный с петличками и усы сосульками?.. Да не цивильный на нем мундир — жандармский! По мою душу явился, ротмистр-землемер, вон и мыльная веревка с петлей в руках! Удавить решил! Не хочу! Не хочу умирать! Дяденька Друц, спаси!

Где же ты?!

— Хватит, Туз! Не в масть прикуп пошел. Хватит, я сказал!

И разом лицо землемера-Петюнечки-ротмистра бледнеть начало, рябью подернулось; вроде как сквозь воду смотрит. Да и не землемер это, и не душегубец — Мишок-утопленник на меня из ручья глядит, а мундир жандармский, один, без человека в нем, по степи прочь уходит, уходит... ушел.

Совсем.

ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ

Опасно заглядывать в глаза Видоку; а Тузу-Видоку — опасней опасного. Решились? Ну тогда смотрите:

...зеркало!

Вот только почему в нем нет отражения? Почему вы не видите в нем себя? Хотя нет, начало проявляться:

...вершина.

Одинокая, покрытая снегом. От высоты и разреженного, морозного воздуха захватывает дух. Холодной белизной свер-

кают ледяные глетчеры, и мрачными черными отблесками отвечают им стекловидные изломы базальта.

Мертвая, пугающая красота.

А над ней — бескрайняя синь небес.

* * *

Обратно в Севастополь уж пополудни двинулись. Когда я проснулась. Солнце под навес забралось; разбудило. Спала как убитая — ничего не снилось! А едва глаза продрала, весь кошмар, что у Тузихи в горнице виделся, словно туманом подернулся; а заодно и драка с рыбаками. Было? Не было? Сама себе напридумывала?! Нет, не стала гадать. Лучше и не поминать лишний раз все те ужасти!

И ухо совсем не болит.

Друц с Княгиней на меня посмотрели, между собой переглянулись — и вот уже телега у ворот останавливается. Как по волшебству. Им это раз плюнуть. Я и сама так скоро сумею!

Тузом буду.

Самоглавным.

— В город? — спрашивает небритый мужичок в серой замызганной рубахе и таких же, ободранных снизу, портках. На голове у мужичка лихо заломлен набок видавший виды картуз, в зубах — махорочная цыгарка.

На редкость вонючая.

Зато вся телега завалена новыми пустыми мешками — небось продавать везет.

Мужичку никто не ответил, но он и переспрашивать не стал. Обождал, пока мы все в телегу заберемся, — и хлестнул вожжами своего битюга.

Поехали!

Едем. Молчим. Вот уж и мостки рыбачьи позади остались, дорога на подъем пошла. Княгиня папироску достала, прикурила у мужичка, да с таким видом, будто ей знатный кавалер спичку подносит, а она ему великое одолжение делает, — и заговорила наконец.

Сделала одолжение:

— Ну, рассказывай, Друц. А после я расскажу. Глядишь, с двух рук расклад и прикинем. Заглянули в прикуп-то?

— Заглянули. Хорошо, хоть по одной открывали, — иначе как пить дать, сковырнули б девку с ума! Да и то мне поперек масти лечь пришлось.

— Плохо.

— Знаю, что плохо. Туз такого не забывает.

«Да ведь они при мужичке-возчике мажьи дела обсуждают! — доходит вдруг до меня. — Он же, если не последний лапоть, поймет, что к чему, в городе мигом кому надо настучит! Вон, уши развесил!»

— Эй! — шепчу. — Вы чего, спятили? Ветошник же слушает!

— А пусть его слушает, — отвечают.

Я аж речи лишилась — а такого со мной и не бывало-то никогда!

Мужичок тем временем оборачивается и заявляет:

— Верно говоришь, девка. Мешки, они завсегда в хозяйстве нужны! Больших деньжищ, знамо дело, не наживешь, но и с голоду не пропадешь, семью прокормишь.

И обратно отворачивается.

Интересно, у кого из нас уши позакладывало?!

Или я до сих пор сплю рыбой?

— Забудет Туз, припомнит — то еще полбеды, — цедит Княгиня и дым папиросный из ноздрей пускает. — В моей сдаче полторы беды найдется, Валет. Ладно, говори, что в прикупе углядели.

— И верно, беда: упали цены. И на арбузы, и на персики, и на скумбрию, знамо дело, — вздыхает спереди мужик, даже не оборачиваясь. — А на мешки держатся! — радостно добавляет он.

У нас один разговор, а у него — другой. Видала ты такое, рыба-акулька?!

— Да ничего толком и не углядели, Княгиня. Мишка-покойника видели да ротмистра того самого, что землемером прикинулся. Не соврала Акулина, не ошиблась: он то был.

— Может, и он... — задумчиво тянет Рашелька. — Только сам знаешь: когда прикуп силой открываешь, всякое привидеться может.

— Может, Дама, ай может. Крестнице моей такие чуде-

са виделись — аж мне тошно стало! Но фараон был подлинный. Пас он в Грушевке кого-то. И хорошо, ежели Сковородку с крестником его, царствие парню небесное. А вот ежели нас...

— Нас по Грушевкам пасти — пастухов не хватит. Да и не Акулина с Федором им нужны по большому счету. Мы с тобой нужны. А ротмистр в мундире «Варварском» из Грушевки прямиком в кабак заявился, едва не напоказ! Нет, не нас он пас, Друц, и нечего трястись понапрасну.

Княгиня криво усмехнулась, но губы дернулись невпопад. Друц промолчал. Обиделся, что ли?

— Ладно, не держи зла, Валет. Нервы, нервы... И ротмистру этому теперь не облавы строить — в богадельне пузыри до скончания веку пускать. Другого опасаться надо. Мой черед карты открывать. Глядите. Все глядите. И ты, Друц, и ты, Федор, и ты, Акулина — чтоб запомнили!

Страх меня пробрал до самых печенок от тех слов! Уцепилась за руку Друцеву — и тут Княгиня *показала!* Я чуть с телеги не слетела! Свободной рукой рот зажала, чтоб не заорать. Заорешь тут! Когда прямо перед глазами покойник объявляется! Да не просто покойник — изрезан, изувечен так, что и мать родная не узнает! Пальцы отчекрыжены все, грудь распахана, в животе дыра — руку просунуть можно; горло от уха до уха развалено. И вместо глаз дыры паленые смотрят; а на лбу знак Пик вырезан.

Тут откуда ни возьмись — туман сизый; заволокло тем туманом труп, от взгляда скрыло; я только дух перевести успела — а из тумана уж другой покойник проступает: женщина молодая. На шее — полоса черно-синяя, язык набок вывалился... Удавленница! И пошли они в тумане плыть-выплывать, мертвецы-то, а над всем этим ужасом голос звучит — тихий, старушечий, равнодушный.

Голос Туза Крестового:

— Смотри, смотри, Дама Бубен. Отродясь такого в моей колоде не бывало. За последние два месяца четырнадцать покойников, и все — подкозырки мелкие, чьи-то крестнички, от двойки до семерки. Разномастные. Восемь простой смертью ушли: утонули, со скалы упали, сами на себя

руки наложили... А шестеро в куски искромсаны, и у каждого метка: масть его на лбу вырезана.

— Зачем ты мне это показываешь, Туз? — хрипло так, со стороны. Я Княгиню-то и не узнала сразу. — Предупреждаешь?

— Ты смотри лучше.

И снова — мертвецы, мертвецы, мертвецы...

Не помню, на каком меня наизнанку вывернуло; едва за борт телеги свеситься успела. Спасибо, Друц придержал — а то б так на дорогу и кувыркнулась, в собственную блевотину. Меня рвет и рвет, вроде уж и нечем, и задыхаюсь, и слезы в три ручья — а покойники все не кончаются! Да за что ж мне такое мучение! Пощадите!

Пощадили.

Кончились мертвяки. И меня попустило. Упала на мешки, лежу, отдышаться пытаюсь. Друц мне флягу с водой сует. Холодная вода. Хорошо. Вкус этот мерзкий вымыть.

А голоса в голове все звучат, не унимаются:

— Как думаешь, Дама, на что это похоже?

— Беспредел это, Туз! Чтоб крестников, подкозырков...

Тишина, темнота, провал.

И Друцев голос:

— Тут Туз втемную сдавала. Не для чужих ушей. Верно, Княгиня?

— Верно.

И поперек — мужичок-мешкодел:

— Вот и я говорю: совсем шантрапа распоясалась! Куда власти смотрят?! У меня давеча два новых мешка уперли...

И снова:

— ...сама знаешь. Не иначе, между кодлами разборка пошла. Только не слыхала я о *таких* разборках!..

— Верно, Дама. Поначалу и я так подумала — счеты сводят. Только уж больно велик счет-то! Велела разузнать, людей послала. Да и сама, по своей-то масти, разглядеть пыталась. Ан не вышло, Дама! Не вышло...

— То есть как: не вышло?! У *тебя?!*

— У меня. И вот что я думаю, Дама Бубен...

Снова — провал. Черное молчание. В ушах, в глазах — душная вата беззвездной ночи.

Опять «сдача втемную» — это я уж и сама поняла.

— ...колоду под себя подгрести хочет. А не вижу я ничего — потому как крыша над ними. Над «мокрыми грандами», которые беспредел творят. Они-то небось и не в законе, и не подкозырки даже — просто крышу над ними серьезные люди держат. Вряд ли тот, кто на мое место метит, — он небось где-нибудь в Черноморске на дно лег... А людей своих сюда прислал, чтоб «мокрых грандов» прикрыли, не дали разглядеть. Ты вот как думаешь, Дамы с Валетом на такую крышу хватит?

Молчание.

Но не черное — звенящее, страшное, струной натянутой. Того и гляди, лопнет.

— Не знаю, Туз. Может, и хватит. — Голос Княгини железом лязгает, словно другой человек минутой раньше со старушечкой Крестовой говорил.

— Не ерепенься, Дама. Не обвиняю... пока. Промахнусь — с меня откуп будет. А попаду... Первая-то смерть аккурат через неделю стряслась после того, как ты тут объявилась. Значит, отныне глаз за вами будет. Верный глаз. И не один. Хоть ерепенься, хоть нет. А станете поперек...

Темнота.

Совсем короткая.

* * *

— Вот так-то, Друц; вот так-то, подкозырки мои дорогие. Пришла беда, откуда не ждали. Такую собаку на нас повесили — сожрет, не поперхнется!

— И я собак не люблю! Меня, когда еще мальчонкой был, кобель здоровенный подрал — по сей день рубец остался! Всех бы перестрелял, зараз кусачих!..

На мужичка никто даже не обернулся.

— Ай, морэ, летал сокол, летал ясный в поднебесье высоко! Ай, стрела его достала, ясна сокола того... Выходит, куда ни кинь — всюду клин, Княгиня? Ноги нам делать теперь никак нельзя — все смерти на нас повесят, далеко не уйдем. Останемся? А ну как тихо сделается? Решит Туз: испугались мы, дали «мокрым грандам» отмашку. Нехорошо

так говорить, да и думать-желать плохо, а только одна у нас надежда, Княгиня: чтоб пришили те злыдни кого-нибудь у черта на рогах. Хоть в Одессе. Тогда поймет Туз — не мы крышу держим, не дотянется ни Валет, ни Дама из Севастополя до Одессы.

— Или подумает, что третий с нами в деле. Глаза от нас отводит. Молчишь, баро? А из Крыма нам теперь ходу нет, это верно. Жаль, не могла я тебя упредить! Никак не могла! А ты взял — да и лег Тузу поперек масти, когда прикуп открывали! Теперь она вдвое больше на нас думать будет, раз не дал ты ей все карты у девки в голове проглядеть!

— Не казнись, Княгиня...

Я не вижу, *как* Друц смотрит на Рашельку, только та отводит глаза. Дама — от Валета!

— Даже если б знал весь расклад, все равно б Тузу поперек масти лег. — И ко мне оборачивается: — Помнишь, Акулина, того ротмистра, что в кабаке рехнулся?

— Помню.

Лучше б и не вспоминать!

— Вот ежели б еще одну карту открыли — и ты бы такой стала.

— Ай, баро... — Княгиня отворачивается, только я все равно успеваю заметить, как странно блестят у нее глаза. Неужто плачет? Княгиня — плачет?!!

— А вот и город, — сообщает спереди мужичок-мешкодел. — Вас где ссадить-то?

А мы молчим.

Все.

Как рыбы.

Рыбы-акульки.

* * *

— Ты Тузу про мордвинский морг рассказывала? — позже спросил Друц.

Думала Княгиня о своем.

Долго.

— Нет, — ответила. — Она со мной небось тоже не последним делилась.

VII. ФЕДОР СОХАЧ, или ЗА КНЯЖЕСКИМ СТОЛОМ

Сокрушал я беззаконному челюсти и из зубов его исторгал похищенное.

Книга Иова

Федор представлял себе рай в виде крымского базара.

Еще при бегстве из кус-крендельской ловушки, в самом скором времени, увидев настоящий базар в каком-то из попутных городков, парень замер как вкопанный. Перед ним небывалой скатертью-самобранкой расстелился земной символ изобилия: полная противоположность тусклой геенне былого, где безголовые куры бегают в безысходности из года в год, из ада в ад, и так — вечность.

Впрочем, слова, образы, понятия явились позже, гораздо позже, погребая под собой несчастного, счастливого муравья; а тогда он просто стоял и смотрел.

Дышал базаром.

Ну а Крым, в базарном смысле благоустройства и цветастости, мог дать сто очков форы кому угодно.

...Надрывный хруст арбуза и возбуждающее, до потных подмышек и слюны во рту, чмоканье сочной дыни-татарки — под ножом.

...Вопли зазывал — гортанные, исполненные священного, молитвенного трепета и экстаза гаремной неги.

...Полосатые халаты, шитье тюбетеек, дурацкие панамы дачников; легкие, вызывающе фривольные платья из тонкого шелка, цветы на шляпках барышень, мертвые и живые вперемешку (цветы! не барышни! А вы думали...), глянцевый лак штиблет — о, таков он, карнавальный, весь в заплатах, наряд многотелого арлекина!

...Горячо вздыхают шампуры с шашлыком, подставляя жару то один, то другой бочок; липко течет сок из надкушенного персика, похожего на щеку томной красавицы; вывешены до земли языки собак в мясном ряду — кудлатых, словно еще живые бараны, за миг до ножа и крюка; синий лук на разрезе сахарно отсвечивает мякотью, намекая на чудесную жизнь без горечи; помидоры пусть бы

красные — нет, сиреневые, с отливом, упругие, будто грудь девственницы, и нежные, как поцелуй ребенка.

...Крымский базар.

* * *

Федор повертел в руках растрепанный пучок укропа. Отложил. Скривился; цокнул языком. Вялая, дескать, зелень, пойду поищу другую. Много не много, но грош он на этом заработал — старик крымчак ухватился за полу, уступил в цене.

Ударили по рукам, будто не укроп — дом с мезонином сторговал.

Две огромные плетеные корзины мало-помалу наполнялись. Актеры Московского общедоступного вечно сидели на каких-то диетах, сохраняя то фигуру, то голос, то малопонятный тонус; актерки следили за талией и бюстом — отчего список продуктов, заказанных Федору, только увеличивался в размерах.

Он не задумывался над сей странностью.

Шел и покупал, радуясь любой возможности ненадолго попасть в рай.

Рядом со старым крымчаком торговала маринованной черемшой молодка-хохлушка. Пухленькая, сдобная; румянец во всю щеку. Эта и торговаться не стала: уступила за полцены, да еще и подмигнула с намеком. Чего такому важному парню зря пропадать — глядишь, вечерок скоротаем!

Федор двусмысленно почесал нос, дернул щекой и пошел дальше. Последние три дня, что минули после удивительного визита к Тузу, изрядно загасили в парне желание знакомиться с молодками — хоть хохлушками, хоть гречанками, хоть какими еще. И даже не дни, а ночи, потому что Федору Сохачу стала сниться ерунда.

Полная.

Такие сны подходили скорее прыщавому недорослю, чем бывшему вышибале харьковского борделя. Было странно тогда узнать от бойких барышень, что девкой вполне можно назвать и любого парня, если он не это самое; разве что лжемужчинское словечко выходило подлиннее и поза-

ковыристей. Впрочем, с этим самым у Федора все было путем еще в незабвенном Кус-Кренделе. Сперва на пьяной гулянке в избе Устиньи Скокухи, где сама Устя — полногрудая деваха-перестарок — затащила Федьку в подклеть. Потом Матренина дочь приглашала забор подновить: подновил и забор, и дочку, и явившуюся невпопад Матрену.

Потом...

Это самое парню не понравилось. Скучно. Будто работа без цели: пыхтишь, пыхтишь, а толку — чуть. Из детства, из тех плохопамятных лет, когда были еще живы отец с матерью, всплывало: ночная возня на печи. Батя тяжко дышит, всхрапывает загнанной лошадью, а мамка ничего: посвистывает себе в нос, пока не охнет.

— Чего вы там? — недовольно спрашивал с лавки разбуженный Федюньша. — Эй, чего вы?!

— Спи, сына, — откликался батя после молчания. — То я это самое, будь оно неладно...

Через год батю придавило лесиной. Мамка пережила его на осень и ползимы: сгорела в одночасье. От лихоманки? От горя? Люди говорили разное. Тем не менее в избу, для присмотра и надзора, вселилась строгая божатушка, староверка из Белого скита, и ни о какой возне на печи даже речи не стало.

Грех, оказалось, смертный; за него, бабы-девки, на том свете черти клещами причинное место откручивают.

В чертей Федька не верил. И в грех. Даже в Харькове, увлеченный томной по-утреннему барышней в ее отдельный нумер, — не верил. Скучно ей, и Федору скучно. Тоже занятие, не хуже подкидного дурака. Пусть ее болтает, что страсть кипучая, что такого дусю поискать, что он, Федор, ее цыпа-ляля. Пусть.

Но крымские сны... они были совсем, совсем другие.

Не скучные — сладкие.

Страшные.

В этих снах он любил Княгиню и Княгиня любила его. Слово «любил» здесь подворачивалось под руку (на язык?!) само собой, этаким наглым колобком, хотя лично Федору оно казалось совершенно неуместным. В этих снах они с Княгиней были однолетками: без возраста — оба. В этих

снах возня на печи казалась грязной и чистой одновременно: так иногда восхищаются животными, свободными от предрассудков детьми природы, деликатно не замечая дерьма на собственном, аккуратно подстриженном газоне.

...Ритм. Завораживает, подчиняет; растворяет в себе... творит заново. Изменчивый, как правда, и неизменный, как ложь.

...Вкус. Вкус соли, крови, маслянистой помады, невысказанных слов, скрытой мелодии, вкус запретного плода, слаще которого только предсмертный вздох; на языке остается память о вкусе, властно требуя повторения.

...Стон.

Вздрогнув, Федор принялся истово торговаться с пасечником, похожим на гриб в своей соломенной шляпе. Медовые соты текли сладостью, возвращая обратно, в сны, в память — но парень уже завернул их в промасленную бумагу и спрятал в уголок корзинки.

Меда ему не заказывали.

Пусть.

Он отошел к забору, где жалась самая шелудивая из всех базарных собак. Отломал краюху от свежей буханки; бросил животине. Та благодарно заморгала слезящимися глазами, но подойти не решилась.

— Бери, бери... Ешь!

Собака уцепила хлеб и на всякий случай забилась в уголок: вдруг отнимут?

Здесь, на базаре, в раю изобильном, праздничном, надо ухо востро держать. А у нее, у суки шелудивой, одно ухо лоскутом висит, а другое и вовсе откушено. Где тут — востро...

...Тело вжимается в тело. Раз за разом, прибоем — в скалы.

И чувствует новый Федор, без возраста, без стыда — меняется. Словно каждое соприкосновение обтесывает его под

Княгиню: хрупкими стали плечи, длиннее — пальцы, вот синяя жилка пробилась на шее...

Где мужчина?

Где женщина?

Некто сам себя любит.

Некто?.. Никто.

Знай же, Никто, мой любезный, что будешь ты самый последний съеден, когда я разделаюсь с прочими; вот мой подарок!..

Моргает Федор.

Больно сны вспоминать.

А не вспоминать — трижды больней.

* * *

Напротив, совершенно не интересуясь чьими бы то ни было душевными терзаниями, приценивался к абрикосам некий господин.

Спиной к Федору.

Пытаясь отвлечься от несуразицы видений (похабных? святых?!), парень некоторое время тупо разглядывал господина. Сразу видно: богат, уверен, не шантрапа-однодневка. Породой от господина веяло. Все о той породе говорило: и летнее пальто — длиннополая разлетайка из серой, тонкой ткани в полоску, и черная кожа туфель, и шляпа с лентой вокруг. И неброский перстень-печатка на безымянном пальце; запонки, опять же с топазами, блестят в крахмально-снежных манжетах.

Всем жарко, пот прошибает, а господину сквозняки, что ли, мерещатся? Или просто привык? Княгиня говорила: есть такие, без галстука за завтраком яйца всмятку не съедят...

Он, Федор, у забора — сука шелудивая, базарная, с паршой.

Господин у абрикосовой пирамиды — пес из элитного питомника, говяжьей вырезкой вскормлен. Родословная сразу от того собачары, что при Адаме в Эдем-саду отирался.

Каждый на своем месте.

И даже не обидно.

Оттого и нет никого возле Федора, кроме благодарной собаки; оттого и вертится кругом господина хорошего татарчонок-магометка. По роже, по пузу голому, синепупому, за версту видать: воришка. А татарчонок и не прячется — да, воришка, хочу абрикосину стянуть. Мостится к желтой пирамидке боком, на торговца поглядывает искоса, а два пальца уж под пальто господину упрятал — летнее пальто, широкое, под таким и всему татарчонку укрыться не грех.

А так — каких-то два пальца... Где тут заметить?

Не будь Федора у забора, и впрямь никто не заметил бы. Быть господину без любимого бумажника. Улыбнулся Федор своим мыслям: вот она, судьба, — кому фарт, кому невезуха, а кому и зрелище-театр! Представил себя на месте малого карманника. Не получилось: рука воображаемая под пальто лезть не хочет. А и залезла, так никак не ухватит.

Плохой карманник из Федора Сохача.

Ан тут и татарчонок шутки бросил. На ладошку свою чумазую уставился. Сама ладошка из-под чужого пальтеца ужом выскользнула, без добычи, а по новой не лезет. Приморозило ладошку средь жаркого дня. И рад бы сунуть — да ни в какую.

Завертел татарчонок башкой кудрявой.

Столкнулся с парнем взглядами: искры брызнули.

«Тыр-быр, тыр-быр!» — залопотал по-своему, по-магометкиному. Он лопочет, плюется, а Федьке слышится: «Колдун! Гадом буду — колдун!» От жары, наверное. Мало ли чего не услышится от жары да от снов дурацких.

Сам по-ихнему заговоришь — не заметишь.

Тыр-быр, быр-тыр...

Тут господин хороший возьми и повернись. Ни дать ни взять, породистый сеттер след взял. И не на татарчонка — на Федьку глядит. Красивый сам собою, господин-то, а в глазницах, за ресницами девичьими, — не глаза, стекла бутылочные. Зеленые, мутные. И блестят двумя горлышками, отбитыми в пьяной сваре: не опасешься — полоснут насмерть.

Развел Федор руками.

Указал вослед татарчонку — тот прочь пылил, аж пятки сверкали. Вон, дескать, в чем дело. Ты, дескать, барин-растабарин, не ловил бы мух, не считал ворон; не торговал бы абрикосов.

А то быть тебе в сильном накладе.

Понял господин Федора. Улыбнулся светло, с благодарностью, встопорщил рыжевье усов. К забору направился: походка легкая, гордая. Плечи широченные вразлет.

Орел.

— Спасибо вам, голубчик, — говорит. — Спугнули воришку. Поймите: не денег жалко. Деньги — пыль, пустяки. Металл презренный. Есть у меня в портмоне две фотографии: жена-покойница и дочка. Вот их жалко было бы, хоть плачь. Да что я вам толкую, сами взгляните...

Сюртучная пара на господине, под пальто, цвета песка морского. Ушла рука в песок, вынырнула с добычей — кожаным портмоне. Достала фотографии, протягивает: смотрите, мол!

Посмотрел Федор.

На одной карточке — женщина средних лет. Или старше. Чем-то на Княгиню похожа, но больше непохожа. Кожа восковой бледности, лик иконописный, по овалу вычерчен, ночные глазищи распахнуты в пол-лица, губы сжаты-стиснуты — не дай бог, словечко на волю вырвется! Так не губы, так кулак сжимают. А на второй карточке барышня взахлеб хохочет. Совсем молоденькая; симпатичная. Шляпка набекрень, воротничок кружевной, и еще что-то — в лице? в тенях? фотограф шутки шутил?! — отчего у парня мурашки по спине.

— А-а. — Ну, это у Федора от старого осталось, привычка.

Забрал господин карточки.

Взял Федора под локоток.

— Идемте, — говорит, — голубчик. Я вас чем-нибудь угощу. Иначе мне совестно перед вами будет.

Прохладой от господина тянет. Сквозняком. Будто и не господин он вовсе, а щель оконная. Вот ведь диво! Тут откуда-то издалека ротмистр-юродивый подмигнул, напо-

мнил о себе. Тоже ведь прохладный был, пока не потеплел. И еще: голову Федор готов на отсечение дать — видел он этого ротозея в пальто.

Раньше.

И при таких обстоятельствах, что лучше те обстоятельства врагу подарить да проследить, чтоб не выбросил враг тайком.

А память юлит, выскальзывает.

Змея.

— Ладно, угощайте, — безнадежно соглашается парень. — Мне только корзины прихватить...

* * *

Налево от ворот базарных столики были под навесом.

Кондитерская.

От вина Федор отказался. Стакан сельтерской с сиропом, с вишневым, и эклер с кремом, похожий на мороженую картофелину, — хватит. А господин себе и вовсе ничегошеньки не взял: сказал, не любит сладкого.

Сигарой попыхивает, моргает на парня из-под густых бровей:

— Нравитесь вы мне, голубчик. Видно, это судьба. Знаете, что я вам предложу?

— Знаю, — отвечает Федор, по уши в сладкой жизни. — Предложите работу. В ученики к вам идти или там в подмастерья. Не вы первый облагодетельствовать норовите. Уж простите за откровенность.

Краешки рта у господина приподнялись. В мутной зелени глаз искра случайная мелькнула. Левая бровь сломалась пополам, изломом вверх дернулась.

Улыбка, значит.

Смотрит Федор на господина: вот ведь лицо себе отхватил, породистый наш! Ни смеха на это лицо не примерить, ни плача, ни тебе ярости, ни тебе пьяной скорби! Рот дрогнул — улыбка; бровь на бровь наехала — гнев; скула туже обтянулась — бешенство. Горбатый нос слегка ноздри раздул — убьет сейчас, пожалуй. Из дерева лицо резано, из самых твердых, драгоценных пород. Паз к пазу, скрепы к скрепам, клеем залито намертво.

Красота незыблемая.

— Ну, вы, голубчик, и сморозили. Я если кого-нибудь и беру (верней, раньше брал!), то уж никак не в ученики. И без подмастерьев вполне обойдусь. Хотя в чем-то вы правы: попадись вы мне мальчонкой, я бы вас наверняка через Департамент надзора в закрытый Кадетский корпус определил. По всем статьям подходите: рост, сила, нечувствительность к внешним раздражителям. Эмоциональные пики сглажены. Вы что, действительно меня не помните? А я-то вас сразу признал...

И бутылочные горлышки в его глазницах к Федору — острыми краями.

Полоснули наискось по памяти-змее.

Вот он, господин хороший, этот ротозей, этот аристократ, этот *дидебули* — ай да слово! и откуда только?.. — вот он, напротив, в цивильном костюме...

— ...Вы не ожидали нашей встречи, милая госпожа Альтшуллер?

Он стоит перед Княгиней. Смуглый, широкоплечий красавец, одетый почему-то в цивильное. Толстые пальцы вертят брелок: рука из бронзы сжимает меч. Лицо дышит радушием: ни дать ни взять встретил приятную знакомую.

И не в морге мордвинском — на бульваре, летом.

— А-а, — само собой выдохнулось у Федора Сохача.

Нагулялся, выходит.

Вкусил барской жизни, пора и честь знать.

Господин понял. Еще раз улыбкой лицо свое тронул. Протянул ладонь, успокаивающе похлопал парня по руке. Толстые пальцы у господина-легавого рыжей шерстью обросли. Из самого Мордвинска в Севастополь дотянулись.

Бежать?

Куда?!

— Вы, голубчик, лучше кушайте эклер. Сельтерской запивайте. И если увидите милую госпожу Альтшуллер, передавайте ей душевный привет от князя Джандиери. Спросите: почему? Почему я не зову городовых, почему не

велю хватать вас и тащить в каталажку?! Все очень просто, голубчик...

Наклонился вперед князь Джандиери. Будто орел на скале добычу внизу углядел, да только сыт орел покуда. И сквозило в наклоне этом: захочу удержать тебя, парень, так один удержу. Без городовых.

А вот не захочу.

Веришь?

— Я теперь частное лицо, голубчик. Вот уже третий месяц. Дачник, понимаете ли, меж иных дачников. Столько лет кричал державе в уши, вопил гласом вопиющего: не ветки, корень рубить надо! Глухая держава оказалась. Маразм у державы старческий. Вот я и подал в отставку; вот держава мою отставку и приняла. Значит, как добропорядочный гражданин, ничем более родной державе не обязанный, я вполне могу сидеть с вами в кондитерской. А после мы разойдемся в разные стороны. Кстати, вот вам моя личная визитная карточка.

Кофейный прямоугольник с золотым обрезом.

Лег перед Федором; выпятился шрифтом.

«Князь Шалва Теймуразович Джандиери; полуполковник в отставке».

— Ваш побег, голубчик... Впрочем, не ваш. Вы там, простите, хвостом случайным болтались. Побег госпожи Альтшуллер и этого... Пикового Валета лег пятном на мою репутацию. Ведь это я их на поселение переводил, под свою ответственность, вот и аукнулось. Ну и еще кое-что, прежнее, о чем вам знать необязательно. А я рад. Ей-богу, рад. Оказалось, быть частным лицом гораздо веселее. Это как брать и давать. Знаете, об этом есть у великого Шоты из Рустави?

И князь, зажмурившись, звучно продекламировал:

> — Расточая вдвое, втрое, расцветешь ты, как алоэ,
> Это древо вековое, чье в Эдеме бытие.
> Щедрость — власть, как власть закала. Где измена?
> Прочь бежала...

И Федор подавился липким кремом, когда понял — это он, Федюньша Сохач, вслух подвел итог сказанному:

> — ...Что ты спрячешь, то пропало. Что ты отдал, то твое.

Сжалась крепкая ладонь на Федькином предплечье. Не от желания удержать, схватить — от удивления.

Новые искры сверкнули в бутылочных глазах князя.

— Голубчик! Оказывается, у вас это так далеко зашло? И за такой короткий срок? А ну-ка, ну-ка, очень интересно... Давайте со мной на два голоса: мепета шиган сиухве, вит едемс алва ргулиа...

— Ухвса морчилобс ковели, — машинально продолжил парень, катая на языке чужие, гортанные слова, — игица, вин оргулиа.

— Сма-чама-дидад шесарго, деба ра саваргулиа?

— Расаца гасцем шения, рац ара-дакаргулиа...

— Превосходно! Натуральный месхетинец! Голубчик, вы обязательно, обязательно передайте госпоже Альтшуллер о нашей случайной встрече. Я бы с удовольствием поболтал с ней обо всем этом... как частное лицо. Исключительно как частное. Вы мне верите?

— Нет. — Федор допил сельтерскую и поставил стакан на стол. — Не верю. Играете вы со мной, ваша бдительность, как кот с мышью. Мало в острогах народу? Не с кем и без Княгини поговорить? Зовите лучше городовых.

Откинулся князь Джандиери на спинку стула:

— Мало, голубчик. Крайне мало. А таких, как госпожа Альтшуллер, и вовсе единицы. Вы что, всерьез полагаете, будто всякий гнилой домушник или, извините великодушно, «фортач» — непременно маг? И непременно в законе?! Братец вы мой, да вам подобных — едва ли десять процентов от всей криминальной среды! Вы — редкость, исключение, а не правило! — Странно: даже при этой пылкой тираде лицо князя оставалось спокойным. — Голубчик, наше замечательное законодательство просто-напросто вытеснило таких, как госпожа Альтшуллер, на обочину, в тень! Вместо понимания, изучения, лечения, наконец, или радикального вмешательства — резервация! Плохо контролируемая резервация! Вам удивительно это слышать от отставного полуполковника из «Варваров»? Так больше ни от кого вы и не услышите ничего, потому что никто в специфике дела и не разбирается! Ладно, что я вам буду пересказывать суть моего былого рапорта...

Встал князь.
Напомнил:
— Визитку не забудьте, голубчик.

И ушел, не оборачиваясь.

* * *

Как Федор до тех комнат меблированных, где актеры московские общедоступные квартировали, добрался — сам не помнил. Будто на веревке парня тянуло, да еще и совсем в другую сторону. Но добрался. Передал корзины кому надо; сдачу до копеечки. Выслушал, чего следует. И овощи дрянные уродились, и укроп некучеряв, и сливы в жмени мятые.

И меду непонятно зачем накупил.

Дурак ты, братец.

Кивнул Федор: да, дурак. Исправлюсь. А в голове другое: врал князь-легавый? правду сказал? Как дальше быть?!

Кинулся Рашельку искать. Ушла, говорят актерки, а актеры поддакивают, в терцию. Час назад ушла. Ей сегодня не играть. После вчерашнего успеха, когда Розалию Самуиловну без репетиций в спектакль ввели, в фарс ялтинского комедиографа Антоши Чехонте «Вишневая чайка», а Розалия Самуиловна весь зал в лежку уложила, сам генерал-губернатор чуть животик свой изрядный не надорвал — выходной у актрисы теперь.

Здоровье поправляет.

Заметался Федор по улице — что делать? кто виноват?! — тут веревка невидимая на шее и стянулась петлей.

Волочит парня по Севастополю прямиком на Графскую пристань.

И не захочешь идти, а ноги сами несут.

— Феденька! — слышит. — Феденька, скорее!..

Вон у пристани баркас рыбацкий полощется. На веслах греки хмурые: что ни грек — капитан. В смысле — норов капитанский. А посередке баркаса Княгиня рукой машет:

— Скорее!

Прыгнул Федор в баркас.

— Слышь, Княгиня! — в самое ухо шепчет. — Я сегодня...

Отмахнулась от него Рашелька:

— Некогда, Феденька! Туз из Балаклавы за нами прислала. Велела: одна нога здесь, другая — там! Ой, неладно что-то!..

— Да Княгиня же! Да слушай!

Полоснула фея-крестная крестничка взглядом. Наотмашь. Уж лучше бы по морде съездила, что ли?! Не так больно было бы.

— Закрой рот, Федор! Не до тебя! Понял?! Или язык вырвать?!

Только и вышло у парня, остаточком:

— Важное ведь... Видел... Аж сердце захолонуло...

— Что видел? Во сне небось? Как я с тобой...

То слово, которое сейчас Княгиня, не покраснев, сказала, Федор знал давно. Почитай, от рождения. Так в Кус-Кренделе «это самое» называли все, кто ни попадя.

Но вот так, в лоб... при чужих!.. От *нее*!..

— Угадала, значит, — помолчав, добавила женщина, нервно кусая губы. — Пустяки это. Заруби на носу, Феденька: пустяки. Рано, правда, началось... зато скоро кончится. Ты потерпи, оно пошуршит и пройдет. И Тристана-однолюба из себя не строй: у всех так, и у меня точно так же было. А то опять жениться полезешь...

Тут и вовсе обиделся парень.

Надулся петухом индейским, замолчал.

А напротив Федора, на скамье, старичок-толстячок дремлет. Саквояжик у ног примостил. Пушок седенький вокруг маковки загибается вверх, навроде ушей у сыча или там рожек. Белая бородка клинышком, щечки румяные, в глазу левом монокль блестит, на золотой цепочке. И костюм на старичке колером точь-в-точь как у князя Джандиери. Дорогой костюм, твидовый, пиджак о двух бортах, жилетка, галстук по красному полю горохом крупным обсеян...

— Княгинюшка! — поет старичок дискантом, а глаз не открывает. — Где ж ты такого славного вьюноша подобрала, Княгинюшка?! Ласковый, глупенький... Везет тебе на крестничков, милая моя! Мне б твой фарт!

Румянится стариковское личико, лоснится, будто попка младенческая. Будто сплошь вазелином «Флер-де-Флер» намазана, от пролежней. Только дитятину попку дорогую мамаша-папаша, бабуля-дедуля целуют не нацелуются — а старичка взасос чмокнуть...

А, Федор? Слабо?!

Чует Федор: слабо. Генерал жандармский — и тот не заставит.

И еще дурное примерещилось: вроде бы вместо ответа хотела Рашель плюнуть старичку под ноги.

Под дорогие туфли крокодиловой кожи.

ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ

Если внимательно посмотреть в глаза румяному старичку, если прищуриться, дабы не ослепнуть, то увидится:

...ограда.

Невысокая; кованая. Человек стоит, опершись о чугунные завитушки. Там, по другую сторону ограды, играют дети. Возятся в песке, крепости строят, дороги прокладывают; двое сорванцов, оседлав хворостины, друг за дружкой скачут. «И-го-го! И-го-го! Не догонишь, не догонишь!..»

Стоит ограда; стоит человек, опирается, смотрит. На губах — улыбка грустная. То ли сам детство вспомнил, то ли еще что.

А за спиной человека: кресты, кресты, кресты...

* * *

Хотела, да не плюнула.

VIII. АЗА-АКУЛИНА, или ПОЕДЕМ, КРАСОТКА, КАТАТЬСЯ

> А мою стезю испортили: все успели сделать к моей погибели, не имея помощника.
>
> *Книга Иова*

...А Друца сегодня барон Чямба в свой шатер увел. С утра. Видать, дело важное. Не по мажьей ли части? Мне послушать охота — прямо аж зудит! — да только в шатре баронском место не про мою честь. Сунешься без спросу — останешься без носу. Вот и хожу кругом шатра собакой на привязи, ухи растопыриваю: а вдруг?!

Зря хожу. Зря растопыриваю. Еще и табор вокруг шумит. То у дальнего костра, где еду готовят, молодые ромы заржут, как кони, то и вправду конь заржет; у Катарининой кибитки песню затянули, кузнец молотком стучит, где-то ребятенок орет-надрывается...

Утро.

Вот ежели б заткнулись они все или стеной меня от них огородили... Чу! Что за диво?! Я ли на ухо тугой стала?! Табор ли сгинул пропадом?!

Оглянулась. Да нет, на месте табор, куда ему деться: вон и над костром дымок вьется, и парни рты по-рыбьи разевают, и кузнец на леща копченого похож — только гвалт ихний как корова языком слизала.

Это у меня дядька Друц за левым плечом встал, грозит кулаком и Катарине-песеннице, и ромам кучерявым, и коням. А Рашелька за правым — та поодаль, кузнецу показывает: тише, мол! Они все и не видят, чего я вижу, и не слышат, и кулак Друцев им вроде как не указ — только и я теперь их тоже не слышу. А почему? А потому, что Друц все-все словечки, все звуки-грюки, какие есть, в ладошку собирает, Княгине передает. Чтоб за щеку спрятала — точь-в-точь я, когда в детстве, под Муть-оврагами, красивый камешек отыскивала.

Стою по колени в тишине! По пояс! С головой накрыло!

А из шатра зато баронской скороговорочкой:

— ...тянешь, Дуфуня. Время-то идет, время птицей летит! Большие бега через две недели — а жеребец и по сей день в конюшне хозяйской. Нехорошо. Заказчик волнуется. Человека вот прислал. Велел поторопиться.

— Ты те конюшни видел, Чямба?

Голос у дядьки Друца угрюмый, хмурый. Не голос, терка наждачная. Видать, с бароном толковать — это ему не за плечом девкиным торчать, мерещиться.

— Нет, Дуфуня. Кабы видел, сам бы свел. Тебя бы не спросил.

— А я видел. Не на всякой буцыгарне такая охрана. Псы! Что люди, что собаки. Небось понимают — коня свести захотят! — вот и стерегут. Ай, хорошо стерегут, по-умному! Птица не пролетит, мышь не проскочит...

— Так ты что, морэ, отказаться вздумал?! — Вопрос Чямбы обжигает ударом кнута.

— Когда это я отказывался, слово давши? Было такое, Чямба? Видел ты? Слышал? Сорока на хвосте приносила?!

— Не было, Дуфуня.

— И не будет. Я на полдороге никогда ни с коня, ни с игры, ни с дела не соскакивал! И сейчас не соскочу.

Да ведь это он никак коня свести собрался! Да еще какого-то особенного! Ну, пусть только попробует меня с собой не взять! Надоело уж по дворам с ромками бродить, глядеть, как те ветошников облапошивают.

Хочу в конокрады!

— Не осталось времени, Дуфуня! Совсем не осталось!

— Это заказчик так говорит — не ты. Верно? Верно. Передай ему: пусть зря не хипешится. Сделаю в срок. Мышь не проскочит, птица не пролетит — а ром-лошадник змеей проскользнет, найдет лазейку. Только чтоб ту лазейку отыскать, время потребно.

— Сколько, Дуфуня?

— Дня три-четыре. Может, пять.

— Ладно. Передам. Прямо сейчас Яшку и пошлю. Но и ты, морэ, смотри у меня...

— Смотрю, Чямба! Ай, хорошо смотрю у тебя, в три глаза! И сдается мне, уши у баронского шатра выросли!

Ой! Учуял! Силой колдовской, не иначе!

Мне бы вскочить да ходу — а ноги к земле приросли: ни встать, ни убежать. Разве что заорать — так пока вроде ни к чему. Сижу сиднем, как дура, перед шатром, молчу рыбой-акулькой и жду, пока Друц выйдет и ухи мне драть начнет.

А ведь начнет!

Или простит?

Отчего-то сразу сон давешний вспомнился. Ой, а стыдный сон-то! Как вспомню, так вздрогну. И кровь в лицо бросается, аж жарко.

Негоже такие сны девкам видеть.

Снилось пустое: лежу я в шатре, сплю. Голая; без сорочки. Соплю в две дырки и вдруг чую: не одна я под одеялом! Кто-то рядом примостился! Да не просто рядом — опомниться не успела, а он обниматься лезет. К себе прижал, тесно-тесно — не вырваться! Я было орать собралась, рот разззявила, да увидала: дядька Друц это. Вот ведь ста-

рый греховодник! Вот ведь! Вот!.. Хотела я его словами пристыдить, хотела погнать взашей из-под одеяла — лучше б магии учил, чем в постель лазать, кобель старый! — только молчу я, не бранюсь, не ору и не отбиваюсь даже. А он уж совсем на меня вскарабкался, весь потный, горячий; распоследней дуре ясно — зачем. И мне ясно. Боязно мне, страшно, озноб бьет — и жар в одночасье; и оттолкнуть хочу, убежать — да не бежится девке от судьбы.

«А, ладно! Будь что будет!» — думаю я во сне. А Друц словно почуял те мысли — опомниться не успела, а он уже и на мне, и во мне, и вокруг-везде! И больно, и сладко, и стыдно, и хочется, чтоб всегда так было... Теперь и различить-то не могу: где он, где я, где доля моя?! Размякла вся, ровно воск, а он из воска того куклу лепит: хоть снаружи, хоть изнутри.

Зачем лепит?

Зачем кукла?

А хоть бы ни за чем, мне-то деваться некуда! Я и не деваюсь. Мне другое дивно: вроде как двоиться я стала. Я же лежу, воском плавлюсь — и я же мужиком сверху навалилась, тискаю, леплю, под себя перекраиваю.

Под себя?!

Некогда мне думы думать: не одни мы с Друцем в шатре! Одеяло разом шире моря стало, глядь — тут и Федюньша с Рашелькой! Вот бесстыжие! Сами едва разлепились, а уже к нам полезли! Батюшки-матушки, я кричу сгоряча, а крик томным стоном выходит... Даже вспоминать стыдно!

Вот и думаю теперь: не дядька Друц ли сон этот на меня наслал, силою мажьей? Намекает, дескать, подкатывается? Сперва снами девичью честь погубит — а там и наяву заявится! Чтоб не различила: где сон-морок, где явь всамделишная?! И что тогда?

А ничего! Вот сейчас и погляжу! Если станет мне ухи крутить за то, что подслушивала, — значит, недосуг ему к Акульке подъезжать! Это мне самой, дуре, приснилось! А ежели не станет, простит... Или нарочно крутить приметься, чтоб не догадалась раньше времени?!

Ой, совсем я запуталась...

* * *

Вот тут-то меня за ухо и схватили. Я уж глотку на изготовку, после моих воплей гвалт таборный тишиной покажется, хрустальным покоем! А он крутнул так, чуть-чуть — для порядку и спрашивает:

— Ну что, красавица, много слухов наловила?

Врать ему без толку. Разве что так, между прочим. А напрямую — сразу почует.

Нюх у него.

— Слышала, коня свести тебе поручили. И что тебе на то дело три-четыре дня надобно. Или пять.

— Ясно...

Стоит он надо мной, ухо не крутит, но и отпускать не спешит.

— Небось хочешь, чтоб с собой взял? — спрашивает вдруг.

— Хочу!

А больше Друц ничего сказать не успел, потому что та повозка, что по проселку вдалеке ехала, совсем рядом оказалась. Саженях в двух, не больше. И разом звуки вернулись: кони храпят, гости какие-то на землю спрыгивают, сапогами топают. Пылища от них! Я на гостей смотрю — и никак в толк взять не могу: господа ли? шантрапа? вовсе незнамо кто?!

Одеты с шиком, но не по-барски; а ведут себя гости хозяевами. Это в таборе-то! На нас никакого внимания; и сразу прямиком в шатер к барону Чямбе — шасть!

— Это еще кто? — спрашиваю я у Друца шепотом.

А он только плечами пожимает. Хорошо, хоть ухо отпустил. Или плохо? Что, если он и вправду на меня тот сон наслал?

А шантрапа-господа уже из шатра обратно вышли. Брови насуплены, деловые все из себя; в повозку прыгнули — и только пыль столбом.

А следом и барон Чямба выходит.

А Друц... А я... А, ладно!

Без меня разберутся.

Безбровый он, закоренный ром Чямба, рожденный в Валахии столько лет назад, что и сам забыл сколько, — вот оно и мерцает из-под складок кожи:

...подкова.

Обронил ее чей-то конь; проморгал всадник. Валяется подкова в дорожной пыли, блестит на солнце золотой рыбкой. Сулит счастье встречному-поперечному: «Подбери! Спрячь! Пригожусь!» А подберешь, только хуже будет. Станешь счастья ждать со дня на день. Любая беда втрое горше покажется: «Как же! Счастья жду! А тут — беда...»

А никуда ведь не денешься, морэ, подберешь.

Подкова все-таки.

* * *

— Я из-за тебя, Дуфуня, с Тузом из Балаклавы ссориться не стану! Второй раз по твою душу присылает. Сперва еще приглашали, а теперь велят: чтоб ветром летел! Не явится или опоздает — пусть на себя пеняет. Очень надо мне тебя, морэ, не от властей — от ваших же мажьих разборок прятать! И не надейся! Старому Чямбе лишний прыщ ни к чему: у Чямбы люди, табор, у Чямбы своих дел по горло...

— Да успокойся ты, баро. Хаям, пиям, екх екхэскэ плэскирдям![1] Поеду я в Балаклаву, ветром полечу, как велели! И ее с собой возьму...

Это дядька Друц на меня кивает.

А у меня аж сердце зашлось: опять к этой Тузихе крючконосой ехать! Ну что за погибель на наши головы?! Ведь едва с ума не рехнулась от этих ее прикупов с мертвецами. Только-только в себя пришла, забывать понемногу стала; думала — все, кончились страсти Тузовые! — ан нет! все по новой! Что же старуха вредная на сей-то раз измыслила?!

Убивцев из нас лепит?

— Ты, морэ, на вожака хвост не подымай. Надорвешься. Зря я тебя приютил, ай зря! И тебя, и девку твою глаз-

[1] Ромская поговорка; примерный эквивалент «Долг платежом красен».

ливую. Не приметил, дурак старый, что беда за тобой хвостом бежит, не отстает!.. Опять же, в Севастополе парня встретил. Он на рома похож, как я на императора Фердинанда, а едва кобыла понесла, так он на нее «Мэрава-мэ» звякнул — и не дернулась кобыла-то! Небось тоже из твоих крестничков?

— Угомонись, Чямба! Нет еще никакой беды. А ежели и будет — для нас с Азой, не для тебя, не для табора. И парня того из головы выбрось — один я, что ли, на весь Крым маг в законе?! Лучше коней дай. Не поспеем вовремя к Тузу — и впрямь быть беде. Гляди, накличешь...

— Эх, не коней бы тебе... Ладно, замнем. Яшка!

Пока Яшка бегал за конями, барон Чямба все продолжал ворчать:

— Коней ему! Коней! Потом до самой Сибири тех коней искать! У них с Тузом дела, а Чямба коней давай!.. Нашел себе богача из сказки: «Исыс рома. Рома барвалэ...»[1]

— Что б ни вышло, коней верну, — отрезал дядька Друц. Видать, и ему Чямба печенку насквозь проел. — И с жеребцом заказным все в срок исполню, коли жив буду. Сам знаешь, мое слово — железо!

— Да уж знаю... иначе дал бы я тебе коней, морэ, как же...

Тут наконец и Яшка воротился: двух лошадей в поводу ведет. Один — жеребец вороной, здоровущий, его в таборе Конан-Дойлем кличут. Небось в честь того Конан-витязя, из оперы про жандармов, о ком Рашелька в поезде рассказывала! Помню, я книжку в лавке стянула, когда приказчик отвернулся, — на том детинушке с обложки тоже ввосьмером скакать можно было.

А рядом с Конан-Дойлем, с обломом копытастым, — кобылка мышастенькая, в яблоках. Злющая, как... как рыба-акулька! Глазом влажным на меня косит — небось примеривается, чтобы укусить половчее. Припоминаю: зовут стерву Колючкой. Верно прозвали... Ой! Это что ж мне — на нее верхом садиться?!

Да я ж... Да ни в жисть...

---

[1] Обычный сказочный зачин: «Жили ромы. Ромы богатые...» (*ром.*)

— Поехали, Аза. Туз ждать не станет. — Оказывается, Друц уже в седле, меня торопит.

Только и вышло у меня в ответ:

— Ой! Ой, мамочки!..

И тут этот ром, этот маг в законе, этот дядька Друц, чтоб ему пусто было, ка-а-ак рявкнет! Ну просто аки зверь лютый! И прочь поскакал. А я с перепугу — следом. Бегу я за ним, значит, бегу — и не отстаю, хоть он и на коне! И усталости нету, будто всю жизнь с жеребцами наперегонки гасала! Друц всего разок и оглянулся, кивнул мне — так держать! — и дальше скачет. Впереди, но недалеко; саженей шесть будет. Ну, думаю, догоню я тебя, морэ! Как наддала!.. А ведь и вправду догоняю! Одна беда: бегу я по-чудному, и топот от ног моих навроде лошадиного. Глянула вниз: вот где «ой, мамочки!». Ног-то у меня — четыре штуки! И все с копытами! И сама я — мышастая, в яблоках...

За что, Друц?! За что ты меня в лошадь превратил?! В эту самую Злючку-Колючку?!

Чуть не упала с перепугу, даром что о четырех ногах!

Глядь: а Друц уже рядом, скалится-веселится.

— Что ж ты, — кричу ему на бегу, — со мной-то сделал, ирод?!

Человечьим голосом кричу, по-старому. И то слава богу! Я уж боялась: заржу сейчас кобылой!

— А ну сей же час обратно в девку превращай! Ишь, удумал...

— Превращу, — хохочет Друц-насмешник. — Когда до места доскачем!

— Честно?! Обещаешь?!

А он опять вперед вымелся. И только эхом:

— Мое слово — железо...

Сразу как-то спокойнее стало. Вот приедем (прискачем?!) — быть мне снова человеком. А так — даже интересно! Рыбой я уже была; побуду кобылой!

Рванула я вперед со всех с четырех. Конан-Дойля обошла впритирочку — и давай пылить! Сперва по проселку, а дальше через какие-то плетни, огороды, напрямик! За спиной мужичье местное матерится, татары горланят — а я только ржу-веселюсь. Хорошо мне! Уже и обратно превра-

щаться не больно-то хочется. И на Тузиху наплевать ровным счетом — пока мы еще до ейной Балаклавы доскачем!

Друц на вороном догоняет-кричит, только я не слышу — что: ветром уши заложило. Вот и дорога, что на Балаклаву ведет — гляди-ка, быстро домчались! А вот и...

В последний миг Друц меня за повод ухватить успел.

Удержал, морэ. Так бы и скатилась вниз по осыпи, да с обрыва — на скалы!

Вдребезги.

Стою, дух никак перевести не могу. Уморилась все-таки, лошади, они, выходит, тоже не двужильные! Друц рядом мне вычитывает, ругается, только я его не слушаю, хотя головой и киваю — верно, мол, виновата, впредь осторожней буду; а сама потихоньку к нему боком прижимаюсь. Сразу сон давешний вспомнился, только весь страх со стыдом куда-то подевались, забылись — другое помнится: как он меня к себе прижимал-ласкал и как потом...

Кобыла ты, Акулина! Кобыла и есть! И не к Друцу ты прижимаешься, а к вороному Конан-Дойлю; и фырчит на тебя тот Конан так, что едва услыхала — мигом отпрянула.

Умолк Друц. Отдышался. Скосился на меня, моргнул да и спрашивает:

— Ты чего это, девка, творишь? Что, небось сон срамной видела? Себя, меня...

— ...и Рашельку с Федькой! А ты!.. Ты!..

— Ясно. Ты вот что, Акулина... Ты не бери дурного в голову! Сон это. Сон — и больше ничего. Такое со всеми крестниками в первый год случается, на переломе. Потерпи несколько месяцев — всякое сниться будет, иной раз со стыда сгоришь. Потом само пройдет-забудется.

— И у тебя? У тебя, Друц, забылось?! Когда ты не крестным — крестником был?! Забылось, да? Да?!

Лицо у него — не лицо, кремень.

Того и гляди, искры сыпанутся.

— Забылось, нет ли — не твоего ума дело. Мне стократ хуже пришлось, я в крестники уже тертым калачом угодил, да и в крестных у меня не баба — ром-мужик ходил. Не понять тебе, Акулина. И не старайся. Ты, главное, сны те с явью не путай. Ладно, успеем наговориться. После. Как от Туза вернемся. Поехали, что ли?

И мы поехали.

Поскакали мы.

Сперва шагом, дальше рысью — но больше я уж так не мчала, как попервах. С обрыва сверзишься — костей не соберешь! Будь ты хоть лошадь, хоть человек, хоть рыба-акулька! В другой раз Друц и не поспеть может, за повод-то схватить...

Вон и залив с мостками рыбачьими показался. Как увидела, сразу поняла: никакая я не лошадь, а просто скачу себе на Колючке, в седле сижу — будто с детства верхом ездила! И Колючка не выкобенивается, укусить меня или там сбросить не пробует. Только все равно — скучно! Когда сама по степи кобылицей скачешь... Наколдовал-таки мне Друц — да иначе, чем думалось.

Может, я взаправду лошадью была? Ну хоть немножечко? Капельку?!

— ...Эй, хозяева! Звали?

Дом Тузовый.

Ворота настежь.

Люди во дворе.

* * *

Я с Колючки еле слезла — вроде как с лошади слажу, а вроде бы из собственной шкуры выворачиваюсь.

Но вывернулась, выползла.

Тут Друц меня за плечо:

— Пошли, мол. Ждут нас.

Лошадей парнишка незнакомый принял, увел куда-то — а мы к дому двинули. Глядь — а тут уж и Рашеля с Федюньшей. Все из себя такие серьезные, молчаливые. Хотела я у Федюньши спросить — в чем дело-то? — да не успела. Выходят навстречу двое; я на них только глянула, и сразу мне не по себе сделалось. Оба в пинжаках клетчатых, брюки дудочкой, штиблеты разлюли-малина, хоть светом, хоть цветом. На макушках шляпки вроде девичьих, с ленточками. Одна их мама рожала, что ли? Даже усики-стрелочки одинаковые. Только первый — навроде комода, плечами костюм распер, ткань аж трещит; а другой на таранку похож. Сухой, соленый, и глаз воблый.

Нет, не буду о глазах! Опять Петюнечка вспомнился...

Другое скажу: такому небось человека кончить что мне соврать не подумавши. А тот, который комод, — улыбочка у него от уха до уха, щечки с ямочками, щурится котищем сытым. Кого ж это Тузиха к себе навела-то? Не по нашу ли душу явились клетчатые?

Ой, они ведь кресло-качалку во двор вынесли! А в кресле том...

Я не сразу и узнала — кто!

В первый-то раз ее язык старухой назвать не поворачивался; а теперь другого слова и не сыскать! В чем душа-то еще держится?! Будто усохла Тузиха за эти дни, что не виделись; скукожилась сморчком прошлогодним.

Живая?

Мертвая?

Меня всю морозом по коже продрало. А ну как неживая, а все одно встанет?!

И тут она глаз открыла!

* * *

...Один.

Левый.

Круг третий. ОБЪЯЛИ МЕНЯ ВОДЫ ДО ДУШИ МОЕЙ

— Когда я слышу слово «маг», моя рука тянется к мечу!..

Опера «Киммериец ликующий», ария Конана Аквилонского

ПРИКУП

Тетушка Деметра знала, что умирает.

И жалела об одном: что вообще дожила до этой минуты. Вышний Судия, ну почему ты забыл прибрать никому не нужную старуху сразу вслед за мужем? Или позже, когда она сломала плечо? Когда, мечась в лихорадочном жару, утопала в собственном поту?! Когда слабость ложилась рядом, ласкаясь гнилой медузой?!

Вышний Судия! Неужели и Твой приговор визируют обер-старцы: епархиальные, синодальные, вселенские?!

Кощунствую? Я? Старая женщина из Балаклавы, одной ногой на том свете?

Да что вы...

Во всяком случае, умри тетушка Деметра раньше, она умерла бы счастливой. Счастливой — и целой. Не позволив удару сделать мертвой правую половину тела, чтобы потом всласть поиздеваться над чуть живыми останками. Двое симферопольских «быков» несли ее кресло вниз по лестнице, несли бережно, как носят наиредчайшую драгоценность, — несмотря на то, что «быки» уже осознали бессмысленность своего приезда. Ну почему кресло?! Почему не гроб?!

Почему не меня вместо...

Перед рассветом тетушке Деметре — еще былой, в какую сейчас и не верилось-то! — вновь пригрезился чужой сон. Елены сон, крестницы. Слепой, безвидный; лишь с воплями чаек и шуршанием осыпи. Старая женщина подсматривала сны ученицы и раньше, особенно в последнюю неделю; просто теперь видение явилось, как свое. Уж кто-кто, а тетушка Деметра, Туз Крестовый, была в состоянии различить свое и чужое. Говорят, перед концом жизни любой «видок» начинает видеть Атласную Карту. Шулеры делают такие штуки очень просто: клеят атлас на обычную карту. Затем трением о сукно атлас пригибается ворсом на одну сторону, и на нем рисуется, к примеру, десятка. Краска высыхает, ворс переворачивается на другую сторону, и на нем изображается король.

Для смены значения карты достаточно потереть ею по столу, перегнув ворс наоборот.

На той стороне Атласной Карты, что обращалась к приговоренному «видоку», во веки веков была тьма кромешная. Если удавалось перегнуть ворс призрака на обратную сторону, возникала картинка. Не важно какая; важно, что тьма тогда отступала на время.

Тетушка Деметра еще перегибала ворс, еще корчилась в запредельности, вырывая себя и Елену Костандис из

цепких лап судьбы — когда старую женщину настиг приступ.

Осыпью со склона.

Чайками с неба.

Страшным Судом.

Ни разу за всю свою долгую жизнь балаклавская старуха не теряла учеников. Брала по Договору в крестницы; выводила в Закон; отпускала и брала новых. Но терять?! Насильно?! «Елена-а-а!» Смятой тряпкой крик бросился во тьму.

А получилось чудное:

— Ленка-а-а!.. Ленка Ферт!..

И краешек ворса все-таки перегнулся, уступая бессознательному напору Туза. Открыв самую чуточку: мраморный стол, Бубновая Девятка на мраморе, чужая, изорванная в клочья, и ласковый вопрос из ниоткуда:

— Вам знакома эта особа, милая госпожа Альтшуллер?

«Нет!» — хотела ответить тетушка Деметра.

«Да!» — хотела ответить тетушка Деметра.

Нет! Да! Нет...

Да вот ничего не ответилось, потому что голос уже не слушался старую женщину. И тьма смыкалась вокруг, и бились в мозгу обрывки иных видений, и тело корежила боль — чистая, как родниковая вода.

И еще: из тьмы, из боли, из обрывков почему-то неслась фортепьянная, мартовская капель вперемешку с журчанием странной молитвы:

— Промчалась жизнь, прошла, как сон, —
Гаси свечу.
Молитвенное колесо
Кручу, верчу.

Подай мне, Боже, медный грош
От всех щедрот,
Подай мне, Боже, медный грош —
Его хочу...

Капель звала тетушку Деметру, манила покоем, обещая забыть и простить.

Но все-таки она была Тузом.

Когда позже, в ярком сиянии утра, во дворе учинилась

суматоха, тетушка Деметра была еще жива. Она даже сумела приподняться и прохрипеть разрешение войти, едва симферопольские «быки» стали робко скрестись в дверь.

Крестницу Елену привез на своей телеге Юрка-мешочник. Возвращаясь из города ни свет ни заря, он приметил внизу, у самой кромки берега, неподвижное тело — вернее, сперва приметил необычно большую толпу чаек, дравшихся за добычу. Трезвый Юрка ни за что бы не полез разбираться в чужом похмелье: хлестнул бы лошадку вожжами и потрюхал себе прочь. Но вчерашний первач еще бродил в голове, а заначенное на утро (и честно выпитое!) пиво толкало к подвигам...

Вот и привез.

Сюда, на подворье к тетушке Деметре.

Ведь не домой же бедную Елену везти — всякий в Балаклаве знает: жила гречанка бобылкой, ни родни, ни семьи. Гоже ли покойнице без присмотру лежать?

И как она вниз свалилась-то, горемыка?!

Понимая, что умирает, умирает старухой-крестной вслед за крестницей, — тем не менее тетушка Деметра собралась прожить свой оставшийся срок честно. Юрке-мешочнику она сама сказала «спасибо», да так сказала, что мужичку напрочь отшибло память о случившемся. Это едва не убило старуху окончательно, потому как Елена ушла, а магу в законе замыкаться на себя самого — лучше живьем в полымя кинуться...

Но иначе было нельзя.

Повинуясь ее приказу, «быки» передали всем родственникам тетушки Деметры, какие были в доме: уходите. И до вечера не возвращайтесь. Через десять минут дом опустел: когда требовалось, в этой семье невестки-дочери-сыновья-внуки становились очень понятливыми. И очень послушными.

До сих пор это требовалось всего три раза; сегодня — четвертый.

Последний.

Младшего внука, мужа языкатой Андромахи, старуха попридержала. Костенеющими губами выдохнула несколько слов. И рыбацкий баркас в самом скором времени от-

правился не на лов — прямиком в Севастополь. А двоих жиганов, приехавших вместе с «быками»-симферопольцами, погнали в табор барона Чямбы. Будь крестница Елена жива, это все было бы лишним: захоти тетушка Деметра, Туз Крестовый, и без гонцов дотянулась бы, вызвала кого надо.

Впрочем, сейчас дотянулась бы тоже.

Напоследок.

Только приедут гости — о чем им с двумя покойницами толковать?!

Кроме залетных Валета с Дамой, еще при первой встрече вызвавших у старухи изрядное раздражение, было велено кровь из носу доставить на баркасе некоего доктора Ознобишина, Петра Валерьяновича. Турецкий переулок, дом 8-й, бельэтаж. Дверь с латунной табличкой «Детский врач Ознобишин», и ниже: часы приема.

«Быки» стали было возражать: зачем детский врач? Они сами! Наилучшего! Из-под земли! «Из-под земли не надо, — молча ответила тетушка Деметра. — Этот, который детский, сам... из-под земли».

И глубоко.

Впервые в жизни старуха обращалась за помощью к одномастному Королю — знаменитому «трупарю» Ознобишину, который однажды на спор допросил труп мастера тайной масонской ложи, просто прогуливаясь возле ограды городского кладбища.

Даже могилы разрывать не стал.

Ознобишин, успешно лечивший коклюши и скарлатины, молочницу и свинку, был нужен тетушке Деметре еще по одной причине. После ее смерти и до проведения ближайшей «сходки на Туза» именно добрый доктор становился авторитетом в Крыму.

Старая женщина ждала.

Она знала, что умирает.

И еще она знала: дождется.

— Подай мне, Боже, медный грош —
Его хочу.
Мне хорошо с моим грошом,
С Твоим грошом,

Уйти к святым в пресветлый рай,
В ад к палачу.

За все заслуги и грехи
Им заплачу...

Нет.
Дождется.
Дождалась.

IX. ФЕДОР СОХАЧ, или ПОМИНКИ ТРУПАРЯ

Отворялись ли для тебя врата смерти и видел ли ты врата тени смертной?

Книга Иова

...Глаз открыла.

Левый.

Рядом подавилась собственным криком заполошная Акулька.

* * *

Губы Туза дернуло судорогой: улыбка? Слово ли пробилось?

— Пш-ш-ш... — ровно шипение гадючье.

«Пришли...» Федор скорее угадал, чем услышал сказанное. Куда и делось все — память о встрече с князем-жандармом, горькая обида на Княгиню, гадливость от присутствия в баркасе румяного старичка! — осталось лишь вот это шипение, которое невидимый толмач глумливо превращал в речь человеческую.

— С-с-ш-шас-с-с... узс-с...

«Сейчас узнаем». Федор ясно понимал: и рад бы оглохнуть, да вряд ли поможет.

— Пс-с-ст... прс-с-ст...

«Пусть приступает».

Двое «клетчатых» обломов осторожно, будто величайшую драгоценность, подняли кресло со старухой. Понесли в глубь двора. Семеня мелко-мелко, в ногу: не дай бог, расструсим! Туда, к дощатому столу под навесом, где стоял гроб без крышки. Гроб-то Федор еще от ворот приметил, до сих пор гадал: кто во гробе том?

На нежную деву, спящую в ожидании Федькиного поцелуя, парень мало рассчитывал.

Акулька-дуреха, конечно же, вперед батьки в пекло сунулась. Глянула в домовину открытую — и обратно девку кинуло. Бледная разом стала: не девка, рубаха холщовая, свежестираная. Куда и загар ромский подевался!

Аж одежа цветастая плесенью поблекла.

Сам Федор смотреть не очень-то и хотел. Не любил он мертвяков. Так, скосил глаз с высоты своего немаленького роста и тоже отвернулся. Чего зря пялиться? Гречанка там лежит. Та самая, что в прошлый раз их на дороге встречала. Одна загвоздка: как и узнал-то покойницу? — впору удивиться. Потому как вместо лица у гречанки сплошь клочья рваные. Вместо щек — клочья. Вместо губ — клочья. Вместо носа знатного, длинномерного — клочья. Вместо...

И глаз нету.

Совсем.

Затошнило парня. Подкатило к горлу гнилым комом; еле сдержался. На память морг мордвинский пришел. Там тоже... тоже... и князь-жандарм в цивильном, с улыбкой его неулыбчивой — тоже. Только у мордвинской покойницы, которую до поры в прикупе держали, масть бубновая на лбу обозначена была, а у гречанки нету масти.

Уверенность вошла в Федора: должна быть масть! Должна! И Тузихины страсти-мордасти, что Рашка им тогда в телеге показывала, — везде у мертвяков изувеченных масти были! А вот поди ж ты...

— С-с-ст-т... хр-рд-д...

«Станьте рядом». Здесь и толмач-то сплоховал, припоздал сразу разъяснить.

Задержался парень на месте; затоптался.

И вдруг из кресла ясно, отчетливо, прежним голосом:

— Только козыри. А детей... Детей не надо.

Поймал Федор короткий Рашкин взгляд. Ладно. Не надо детей, значит, не надо. Здесь постоим, в сторонке.

Нам не привыкать, не гордые.

Акульку крестный Друц подвел за руку, как маленькую. Усадил возле парня, на топчан, где девка в прошлый раз отсыпалась (кажется, целую вечность назад!).

— Сиди тут, пока все не закончится, — приказал настрого. — И с вопросами не лезь. Поняла?

Вернулся к столу погребальному. Встал плечом к плечу с Княгиней; плечи ссутулил, нахохлился — не ром, птица больная. Хищная. Мигом с обеих сторон «клетчатые» надвинулись. Кресло Тузовое напротив примостили, шляпы сбили на затылок — и сюда. Лихие ребята, этим пальца в рот не клади, отхватят по локоть!

Застыли люди почетным караулом, ждут невесть чего.

А вокруг стола старичок вприпрыжку суетится; тот, из баркаса. Ознобишин по фамилии, Петр Валерьяныч, детский доктор. Так он парню по дороге представился. Ну, почему Валерьяныч, это Федору понятно: капли есть в аптеке, для успокоения нервов, ими трагик Полицеймако перед выходом коньяк запивает. А почему Ознобишин — тоже ясно. До сих пор трусит. Хорош доктор: сам в озноб введет, сам упокоит... успокоит.

Да только уж лучше на него смотреть, чем на покойницу!

Эй, Валерьяныч-доктор, чем занят? Не слышит. Там поправил, тут одернул, туда пальцем ткнул, палец понюхал и задумался. Ноготь на пальце холеный, блестящий, будто железка лекарская. Ланцет, не ноготь. Вот саквояж открыл, настоящие железки доставать взялся. Никелированные, в чехле кожаном. Валерьяныч, тебя-то на кой ляд в Балаклаву морем тащили? Гречанке-покойнице ты уже без надобности. Не дите она с ангиной-скарлатиной; от Костлявой не вылечишь. Может, к Тузихе вызвали — а то совсем вредную бабку кондратий разбил, того и гляди, окочурится! Лечи старуху, отпаивай каплями! Да что ж ты все вокруг гроба, вокруг гроба и седенький пушок твой от солнца короной отсвечивает?!

Эй, Валерьяныч! Не ты ли принц-король? Целуй гречанку — оживет!

* * *

Тут девка Акулька парня острым локтем в бок ткнула. Со значением. Страх девку разбирает, пот на лбу бисером — а на месте не сидится! Подумал Федор, подумал,

кивнул шустрой землячке, и начали они бочком, бочком — к столу. Надо детей, не надо, там видно будет. Права Акулина: хуже нету сидеть в сторонке и ждать от Бога дулю.

Валерьяныч-доктор тут гроб и вовсе на краешек стола сдвинул. Одной рукой; левой. Задумался Федор: а он сам так сумеет? Тяжеловато, однако. Пока думал, Валерьяныч нагнулся, из ящика ракушек пустых набрал и на столешнице раскидал. Как попало. После лоз с навеса надергал; возле ракушек примостил. И песочком-землицей присыпал.

В игры доктор играет.

Под нос себе: «Эни-бени, кукарача, место мудрого — дом плача...»

Пригляделся Федор: все Валерьяныч левой рукой делает. Шуйцей, значит. А в деснице тросточка зажата, набалдашник — морда черного пуделя. Из кости, резная, да так искусно — пуще живой! Что-то такое Рашель в поезде про пуделей черных рассказывала... нет, не вспомнить.

Народ тоже поначалу на доктора вовсю глазел, так что парня с девкой гнать не надумали. Подкрались тихо, встали за спиной у Рашели с Друцем. Разули уши про запас, на всякий случай. Видать, теперь их с Акулькой черед за спинами крестных стоять. Эх, зря Княгиня на Федьку в баркасе окрысилась, про князя слушать не захотела!.. Зря.

Да вот не сложилось, а сейчас — уж точно не время.

«...Вышел месяц из тумана, осветив стезю обмана...» Бегает доктор припеваючи, слюной брызжет, а рядышком облом «клетчатый», что поздоровее, с Друцем шушукается:

— ...тот самый? Которому барон Чямба заказ передал?

— Заказ? — цедит Друц. Лениво так, вроде между делом. — Какой такой заказ?

— Да не лепи горбатого, Бритый! Тебя ведь по острогам Бритым кличут?

— Если бреюсь, значит, кличут.

— На жеребца, говорю, заказ. Ты за дело взялся?

— Ай, морэ, жеребец жеребцу рознь! Чистый орловец, что ли?

— Ну!

— В американке бегает? Ноги от путового сустава бинтуют?

— Ну!

— Нет, морэ, не я в деле. Я все больше свиней ворую, на колбасы. Хочешь, тебе украду?! Жи-ирную!

— Ладно. Я другое скажу: молись, ром, чтобы в этой прихватке мокрой ты сухим вышел. Поздно уж заказ на сторону сливать. Выходит, у нас к тебе интерес козырный, да в придачу двойной. Не рыпайся попусту. А то Щелчок — он у нас нервный. Мама его в детстве часто по голове била. Вот он теперь сперва из шпалера — а после разбирается.

— Уже боюсь, морэ. Всех рысаков для тебя сведу, только не пугай.

— Ну, смотри...

ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ

Ох и стремное это дело: такому человеку, как Клетчатый, в глаза пялиться! Смотришь в глаза, а словно в два ствола заглядываешь! Выстрелит? Не выстрелит? Ну и само собой примечается:

...рулетка.

Стол зеленый. Крутится колесо, господа и дамы делают ставки, стучат фишки, шуршат ассигнации, звякают монеты, подпрыгивает шарик. Азартом дышат лица игроков: черное? красное? куш желанный? кукиш от судьбы? «Зеро» мигнет-оскалится? Дулом револьверным в висок упрется? Эх, судьба — индейка, а жизнь — копейка! Чужой азарт, чужие страсти. Для дураков.

Умный-то всегда при своих останется...

* * *

«Клетчатый» разом умолк; широкую ладонь себе за шиворот сунул. Взопрел, наверное, от разговора. Или мурашек поймать решил, которые по коже. Зашуршали сверху лозы под ветерком; набежала тучка-штучка на солнце ясное, собой закрыла. И откуда взялась-то, прибилуда? Клубится краями, уши выпятила, пасть разинула, свет ясный клыками перемалывает.

Не тучка, пудель черный.

Пошли тени по земле гулять, друг с дружкой перешептываться.

Повернулся Ознобишин, Петр Валерьяныч, к Тузихе параличной:

— Кали мера, тетушка Деметра!

Закаменел Федор. И не оттого, что детский доктор со старухой по-гречески поздоровался. Оттого, что голос он украл, Валерьяныч-пройдоха; так вот прямо взял и украл.

Гоже ли красть у покойницы?!

Помнил парень — на берегу у мостков, где с рыбаками драка учинилась, тем же голосом гречанка сказывала:

— Идемте. Туз вас ждет. Я встретить вышла...

И вот на тебе!

Тузиха и раньше-то белая была, а теперь синяя сделалась. Жилы на лбу веревками. Желваки на скулах — галькой. Куда и паралич девался! Приподнялась в кресле:

— Елена!

Детский доктор ей пальцем погрозил: молчи! Спугнешь, дескать. И снова побежал круги наворачивать. Не гроб — муха пойманная, не Валерьяныч — паук-крестовик, мотает петли на добычу, в кокон пеленает.

Остановился.

Тросточкой по краю гроба хлестнул: наотмашь.

Акулькины пальцы в Федькин локоть вцепились — не отдерешь. Федор и сам бы рад за кого придержаться: ведь бездна под ногами! И во дворе они стоят, и не во дворе — над обрывом висьмя висят. Всей честной компанией. Дух захватывает. «Клетчатые» за пазухой шарят, ищут, в кого б стрельнуть; а стрелять-то и не в кого. Разве что в гречанку-покойницу.

Вон она, живая-здоровая, по тропке идет.

Травки ни свет ни заря собирает.

Тряхнуло мир, от подножия до верхушечки. Снова двор, снова гроб, да на столе у гроба, вместо ерунды разбросанной, скалы топорщатся. Ма-ахонькие, все скалы в ладошку собрать можно. Были ракушки, стали скалы. Были лозы, стали волны внизу. Был песок-земля, песком-землей и остался. А по тропке вдоль радужного хребта ближней раковины — муха ползет.

Гречанка Елена; живая.

Ротмистра давешнего Федор вспомнил. Понял, как люди ума лишаются.

На всю жизнь понял.

Хотел было назад попятиться: не вышло. Ноги где стояли, там прикипели — отодрать бы, да вряд ли. Только и увидел, как упал ниоткуда камешек, ударил муху-Елену. Та брык с раковины, к лозам-волнам скатилась и лежит кверху лапками. Валерьяныч снова тросточкой хлобысть, хлобысть! Сразу видно, злится добрый доктор. Не заладилось что-то. Налетела туча комаров, звенят, вьются над мухой, клювами щелкают...

Клювами?!

Рвут комары-чайки женское тело. Завтракают. Боятся: вдруг отнимут лакомый кусочек!

А Валерьяныч все равно злится. Тросточкой машет. Скальпелем себе жилу отворил; бросил скальпель, зажал порез. Кровь по ладони размазал, ухватил той ладонью двух божьих коровок. На раковину швырнул. «Божья коровка, не лети на небо — спутай быль и небыль...» Ползут насекомые вниз по скале, глянцевыми спинками отсвечивают.

Сползли осторожненько.

К мухе-Елене, чайками рваной, приблизились.

Злится доктор. Серчает: как были коровки, так коровки и остались. Никем нужным не прикидываются. «Кш-ш-ш!..» Это Тузиха из кресла. «Крыша!..», значит. Над коровками божьими крыша.

Не видно ничего правильного.

Разве что слыхать шепоток в отдалении:

— Глаза уже выклевали?

— Да вроде... подойдем?

— Циклоп велел: только когда безглазая. Иначе — сам понимаешь...

Тут вдруг Валерьяныч как закричит на покойницу:

— Десятка Крестовая! Ты «видок» или слякоть?! Зачем «видоку» глаза земные? Зачем?! Отвечай?!

Аж приподняло Федора: вдруг возьмет покойница да ответит доктору? Вдруг шевельнет клочьями?! Ф-фу, пронесло — не ответила, не шевельнула. Разве что одна из коровок, кото-

рая покрупнее, мерцать принялась. Дрожит себе болотным огоньком: была спинка, стала спина. Человечья. Были усики, стали усищи. Концы кверху закручены. Были лапки, стали сапоги. Ваксой намазаны, до блеска вычищены.

Через тварь насекомую человек просвечивает: то объявится, то исчезнет.

Знакомый человек.

— Княгиня! — заорал парень, себя не помня. — Княгиня! Глянь! Это ж унтер!

— Какой унтер?! — Валерьяныч мигом подлетел лесным филином. Тросточку вскинул, пуделем за шею Федькину зацепился: не отодрать. — Откуда знаешь?!

Глянул Федор искоса на крестную: кивает.

Отвечай, мол.

— В «Вавилоне» видел. Он с тем ротмистром приходил, что на глазах у всех рехнулся. Навроде денщика при нем. Акулька еще врала, будто ротмистр землемером в Грушевке переодевался...

— Землемером? Когда у Вадьки-контрабандиста крестника утопили?!

— Ну...

Повернулся Валерьяныч-доктор к старухе в кресле:

— Вот тебе, Деметра, и крыша. Съехала она, крыша твоя; ветром сдуло. Верь, не верь: «Варвары» наших крестников убирают. Оттого мы убийц и не видим, что магу в законе облавного жандарма вовек не увидать-отследить. Наоборот от роду-веку заведено; не нам менять.

— Не может быть, — вместо Туза тихо отозвалась Княгиня.

«Быть не может!» — промолчал Друц, кусая губы.

Отрицанием, живым или мертвым, застыла Туз из Балаклавы.

— Ну, как хотите, — пожал плечами трупарь.

* * *

Стоит Федор Сохач, орясина кус-крендельская, Бубновый крестничек. Тот, оказывается, кого убирают. Один из тех. Вот ведь какая радость: не станет больше Тузиха на

Княгиню грешить. И на Друца не станет. Не виноватые они; не крыли крыши. Так, в чужом пиру похмельем вышли.

Болью головной.

Спихнут Федора Сохача с обрыва или там каленными клещами всяко-разно повыдергают — бывает.

Зато с Княгини поклеп снят.

Слышишь, Туз Крестовый, ведьма балаклавская? Слышишь, добрый доктор Ознобишин?! Ротмистр-безумец, слышишь ли?!

Если кто и слышит, так это ротмистр.

Даже отвечает:

«Знай же, Никто, мой любезный, что будешь ты самый последний съеден, когда я разделаюсь с прочими; вот мой подарок!..»

А унтер-усач, коровка божья, поддакивает начальству:

«Циклоп велел... Иначе сам понимаешь...»

Ничего не понимает Федор Сохач. Велел, не велел, циклоп, не циклоп. Хрен разберешь. Просто радуется парень. На Валерьяныча-доктора глядит с любовью. Как старичок пот с лица платочком утирает. Как пульс сам себе меряет. Как достает из саквояжа не ланцет-пинцет — бутылку водки дорогущей. Вся пробка в сургуче, в печатях. Царская водка, по всему видно.

Умаялся доктор.

Устал загробную карусель народу вертеть.

Подскочил к старичку «клетчатый», стакан граненый из воздуха вынул. А у доктора белые руки ходуном ходят, не откупорить ему бутылки, не налить стакана. «Клетчатый» все и сделал в лучшем виде: откупорил, налил. Всклень; вот-вот прольется.

Не жалко.

Пей, хороший человек!

Даже портсигар серебряный предложил: хочешь папироску? С золотым ободком, «Помпея» называется. Хочет Валерьяныч-доктор, ой хочет, хлопает по карманам, будто ром таборный в пляске, — огонька ищет. Пришлось и Федору расстараться. Подбежал на радостях, сунулся за пазуху; коробок спичек достал.

А вместе с коробком визитка княжеская возьми и вывались.

Ловок «клетчатый».
Даром что бугай — ловок.
На лету подхватил.

Х. АЗА-АКУЛИНА, или НЕ ВОРУЙТЕ СТРАШНЫХ СКАЗОК

С правого боку встает это исчадие, сбивает меня с ног, направляет гибельные свои пути ко мне.

Книга Иова

— ...Князь Шалва Теймуразович Джандиери. Полуполковник в отставке.

Это «комод в клеточку» вслух прочитал, что на Федькиной карточке было написано. То есть не на Федькиной, конечно, а на той, что Федька-растяпа из кармана выронил.

— Ну у тебя и кореша, парень! — Нижняя челюсть «комода» выдвинулась ящиком: ухмыльнулся, значит. — Хороша семейка: крестная мамаша — Княгиня, а тут вдобавок еще и крестный папаша — нате-здрасте! Из грязи в князи!

Хохотнул коротко, поперхнулся, на покойницу с трупарем глаз скосил, на хозяйку дома.

Кивнул: мол, извиняюсь, не хотел.

А меня и саму всю дергает; и плакать, и смеяться хочется в одночасье. Вроде бы радоваться надо, что никто на нас больше плохого не думает, — и не до радости тут, при гробе да при свежих новостях! И Друц с Княгиней друг с дружкой переглядываются. Теперь-то чего в гляделки играть? Ведь кончилось уже все!

— Простите, любезный...

* * *

Доктор-трупарь аккуратно ставит на стол рядом с гробом пустой стакан. Была водка, да сплыла. Выпил он ее. Весь стакан. Без остатка. Без закуски. Мелкими глоточками.

Мне его, старенького, аж жалко стало!

— Простите, любезный... Можно взглянуть?

Смотри-ка, и руки у него больше не дрожат!

— Джандиери... Шалва Джандиери... — бормочет себе под нос доктор тем же тоном, каким раньше бормотал свои страшные считалки. — Интересно, и давно он в отставке? Что скажете, молодой человек?

Розовый, благостный лик поворачивается к Федюньше. И на этой мордочке престарелого поросенка неожиданно остро взблескивает стеклышко в глазу.

Я мимо воли хватаюсь за Друца. Мне страшно! Пусть лучше заговорят все покойницы на свете! Пусть! Лучше! Отчего-то кажется: сейчас, сейчас он полезет в свой саквояж и достанет оттуда — косу!

Кривую, щербатую...

— Ну ты и спросишь, Валерьяныч! — чешет в затылке Федюньша. — Я ж и видел-то его всего раз... на базаре. Сегодня.

— Ну-ну, молодой человек, не прибедняйтесь! — ободряюще улыбается трупарь.

Если он мне так улыбнется — сбегу! Вот те крест, сбегу!

Или помру без покаяния.

— Не прибедняюсь я. Говорю как есть: на базаре сегодня встретил. К нему воришка подбирался — а я спугнул. Воришку. А этот, князь, — он благодарить стал. Пирожным угостил, с сельтерской. Карточку на память дал. И разбежались.

— Я таки прошу пардону, Петр Валерьянович, — вмешивается «комод» и еще шляпу чуть-чуть приподнимает. — Что за допрос меж своими людьми? Мало ли с кем парень, деликатно говоря, скорефанился? Ну, дурак, ну, честным уркам работать мешает; ну, пирожные жрет со всякими фраерами! У меня пароход через два часа...

— Замолчите, пожалуйста.

Умолк «комод». Сразу. Ящики задвинул, на крючки запер.

Красный весь: тяжело небось молчать. По себе знаю.

— Впрочем, если вас интересует цель моего... как вы изволили выразиться? допроса?! — Трупарь вертит карточку в пальцах, словно дохлого мотылька. — Вам известно, кто он есть, наш благодарный господин Джандиери?

— Так написано же! На карточке! — не выдерживает второй «клетчатый», который на таранку похож.

Трупарь его не слушает.

Не слышит.

— И ты, Княгинюшка, Дама моя разлюбезная, тоже не знаешь?

Мед, не голос. Течет, засасывает вязкой, сладкой трясиной. Интересно, почему он с «клетчатыми» на «вы», а Рашельке тыкает?!

— Отчего же, Король. Знаю. Когда я видела его в последний раз, он был жандармским полуполковником. Облавник, из «Варваров».

— Совершенно верно, Княгинюшка, совершенно верно! Отсюда и мой вопрос: давно ли князь Джандиери числится в отставке? Ведь это он, если мне не изменяет память, сперва взял тебя в Хенинге, а по отбытии наказания лично перевел тебя на поселение не где-нибудь у полыньи с золотыми нерпами, а с послаблением?! Поближе к себе, к покровителю в мундире?! Рассказывали: из столицы в Мордвинск для этой малости перевелся — по ваши души! И вот: вуаля! Ты в Крыму, на солнышке!..

— Ах вы, каины!

Ой, мамочки! И когда только «клетчатые» за левольверты схватились?! Один Друцу в лоб целит, другой — Рашельке!

— Колитесь, суки, на кого еще фараонам плесо забили! Ну?!

— Тише, братец вы мой, — брезгливо жмурится трупарь. — К чему такие страсти? Я полагаю, здесь собрались разумные люди и сейчас мы услышим все, что нас интересует.

— Я... пш-ш-шу...

Словно прибой на берег накатился: «Я... покажу...»

Тузиха!

А о ней уж и забыли все...

— Вам сейчас нельзя напрягаться, госпожа Андрусаки! Я это говорю вам и как врач, и как Король Крестов! Я не исключаю летального исхода! Вы слышите?!

— С-с-с...

И — где двор? Где гроб с покойницей? Где трупарь, «клетчатые» с левольвертами ихними...

Где я?!

Напротив, за столиком — незнакомый господин с рыжими усами щеточкой; в дорогом костюме и сигару курит.

Даже дымком повеяло!

— ...Вы, голубчик, лучше кушайте эклер. Сельтерской запивайте. И если увидите милую госпожу Альтшуллер, передавайте ей душевный привет от князя Джандиери. Спросите: почему? Почему я не зову городовых, почему не велю...

Речь его переходит в невнятный лепет, уплывает прочь. Мир вокруг подергивается рябью, сквозь него начинает вновь проступать балаклавский двор, человек за столиком теперь виден смутно — словно я, рыба-акулька, на него из-под воды смотрю. Или будто он сам под водой, а я... нет, опять развиднелось, и голос вернулся.

Господин протягивает руку, успокаивающе похлопывает по плечу кого-то невидимого.

Федюньшу, наверное.

— ...Голубчик, вы обязательно, обязательно передайте госпоже Альтшуллер о нашей случайной встрече. Я бы с удовольствием поболтал с ней обо всем этом... как частное лицо. Исключительно как частное...

Снова — рябь, туман, невнятица сонного лепета. Понимаю новым, не своим пониманием: теперь уже — насовсем. Выдохлась Туз.

И вдруг — последним, догорающим отзвуком:

— ...Столько лет кричал державе в уши, вопил гласом вопиющего: не ветки, корень рубить надо! Глухая держава оказалась. Маразм у державы старческий. Вот я и подал в отставку...

Дернулось, зашлось сердце. Потемнело в глазах. «Вот так люди и умирают», — отчего-то подумалось. Спокойно, без страха. А когда глаза я открыла, гляжу — обмякла Туз в своем кресле. Голова в чепце на грудь свесилась.

Все.

Нет больше в Балаклаве Туза.

— Зря это ты, Деметра, — с сожалением протянул трупарь. — Ну да бог тебе судья. Покойся с миром.

Взял тросточку; перекрестил старуху своим пуделем.

А потом к нам обернулся. Ко всем.

— Ну что, Княгинюшка? Я думаю, тебе следует объясниться. Не находишь?

— Когда это Дама Королю, да еще и другой масти, отчет давала? Или тебе Закон напомнить? Тузу бы ответила — так нет больше Туза. Собирай Тузовую сходку, Король, тогда говорить и будем.

Я слушаю — и дивлюсь: ей бы рассказать все как есть, по правде — глядишь, и поймет трупарь, что мы тут не пришей кобыле хвост! А она возьми да упрись... и голос-то, голос! Я такого голоса у Княгини и не слышала никогда!

Ровно стальные челюсти лязгают!

— Не тебе сейчас о Законе говорить! — шипит в ответ трупарь змеей подколодной, стеклышком в глазу сверкает. — Слишком много совпадений на твоей шейке висит! Гляди, надорвешься! И у крестничка твоего — как бы от эклеров с сельтерской понос не случился! Ты сейчас вне Закона, Княгинюшка...

Друца он вовсе не замечает. Ну да, что ему, важному доктору со стеклышком, ром таборный!

— Итак, я слушаю. Даме, разумеется, первое слово.

— Не будет моего слова, Король. Сейчас — не будет. Все равно ты мне не поверишь. Да и не указ ты мне, и слово твое против моего одинаково весит. Собирай сходку. Там всей колоде крымской и отвечу. И Бритый ответит. Не бойся, дождемся, бежать не станем. Попросил бы добром — может, и развязала бы язык. А сейчас, когда ты на меня крестников мертвых при всех повесил, — хоть убей, ни слова больше не дождешься. Обидел ты меня крепко, Король...

— На обиженных воду возят, Княгинюшка! А насчет «хоть убей»... правильно понимаешь. Промолчишь живая — скажешь мертвая. Я тебя подымать и укладывать буду, подымать и укладывать! Взмолишься о покое — не дам. Тебе после этого ад раем покажется! А ошибка выйдет — тогда уж я на сходке перед всей колодой отвечу. Если «Варварам» кто-то суть Закона поведал — отвечу, милая, честно отвечу! Туза больше нет, значит, до сходки я в колоде старший. Последний раз говорю: лучше добром расскажи.

— Пос-с-следний раз-з-з...

Ответ Княгини внезапно тоже переходит в змеиное шипение. В нем пробивается что-то из голоса покойной Тузихи перед смертью; глаза становятся узкими, как щелочки, — и в глубине этих щелочек начинают разгораться угли из адского костра.

— Стреляйте! — взрывается окрик трупаря.

Я зажмуриваюсь, но выстрелов почему-то все нет и нет. Осторожно открываю один глаз.

Левый.

* * *

...Ну, девка!

...Ну, дождалась!

...Вот оно, колдовство-то! Взаправдашнее! Всамделишное!..

Знать бы еще — радоваться или как?!

Оба «клетчатых» червяками на крючках рыболовных извиваются. А вот вам — сдвинуться! А вот вам — стрельнуть! Выкусите! Рука-то у каждого, которой он из левольверта палит, возьми вдруг да и окаменей! И на вид булыжник булыжником. Уж они и так и сяк дрыгаются, и второй рукой курок спустить норовят — дудки!

Я от полноты чувств даже «комода» в зад пнула.

Теперь бы доктора сдюжить! Он ведь один, а нас вон сколько! Эй, Друц с Княгиней, давайте его, трупоеда, — огнидами, молоньями, громами небесными!

Оборачиваюсь к ним — и подкосились ноженьки! Ровно тяжесть неподъемную на плечи взвалили! Но все ж ус-

тояла, удержалась. Нет, вру! Не сама устояла — Федюньша под руку поддержал. Прямо как кавалер барышню! Хотела я ему «спасибо» сказать, да так тем «спасибом» и подавилась.

Друца я увидела.

Стоит Друц — весь зеленым светом исходит, прозрачный стал, как бутылка винная, внутри которой свечку зажгли! Да не просто свечку — фонтан пламенный внутри Друца бьет, волнами по всему телу разливается, из глаз наружу плещет!

А Княгиня-то, Княгиня! Одно слово: Княгиня! Костром багровым полыхает, угольями изнутри переливается, жаром пышет, волосы языками огня на ветру трепещут! Вот теперь-то я поняла, отчего батюшка в церкви завсегда анафеме мажье семя предавал. Да я бы раньше, когда совсем дурой была, эдакую страсть увидела — померла бы с перепугу.

И тут я таки увидела!

Мало что не померла!

Оказывается, не тот страх, что страх, а тот страх, что ужас! Наши-то хоть и в огне, а все равно наши, на людей похожи — зато Петр Валерьяныч, трупарь детский... Плоский он сделался, масляный, будто из вощеной бумаги вырезанный! А сквозь эту бумагу тьма-тьмущая мерцает. И пронзает она все вокруг, холодом смертным от нее веет, и еще грозой откуда-то запахло.

Я со страху едва чешуей покрываться не начала!

Обернулся плоский трупарь к покойницам — будто нас тут и нету вовсе! — померцал на них своей тьмой: вставайте, мол!

Они и встали.

Обе.

Я прочь бежать — не могу. Коленки подкашиваются, тяжесть на плечах мешает. А сбросить, знаю, нельзя! Почему — не знаю, но нельзя, и все тут.

Закричать бы, так крик в горле застрял кляпом. Только и чудится, что за спиной у трупаря бумажного — коридор. Стены из тумана, потолок из тумана; пол мраморный, как стол в покойницкой, — Федюньша, он видел, рассказывал.

И там, вдалеке, в конце коридора, парнишка какой-то застыл, среди полок со склянками да коробочками. Застыл — и смотрит. Не на склянки с коробочками — на нас, что ли? Непонятно. Потому как лица у парня не разглядеть за туманом — видно лишь, что халат на нем белый, аптекарский...

— Акулина! Федор! Быстро, уходим!

Хватают за руку, тянут.

Куда?

Да прочь отсюда, куда угодно, лишь бы подальше!

Спасибо, дяденька Друц!

Ноги мои, ноги! Идите! Бегите! Плечи мои, не ломайтесь! Голова, назад не поворачивайся!

— Не смотри, Акулина!

Это Княгиня.

Поздно, тетя Рашелька, уже посмотрела.

Дура я, дура...

Вон они: исклеванный чайками труп гречанки и Деметра Туз. Стоят по обе стороны от трупаря; исходя диким мерцанием, Петр Валерьяныч держит мертвых за руки, как детей, и на вощеном, на бумажном его лице медленно проступает костяной полумесяц.

Улыбка.

— Ч-черт, опоздали! Поднял, Король! Недаром в Мариинке пели: хороший маг — мертвый маг! А тут в придачу крестница-покойница...

Княгиня бормочет-чертыхается где-то очень далеко, на самом краю света, там, где уже почти тьма.

— Идем, идем, Акулина! Скорее...

Я иду.

Я очень стараюсь идти.

Мне даже удается сделать шаг. И еще один.

А на третьем шаге все вокруг начинает рушиться.

Словно мы до того сидели внутри огромного горшка и дома, деревья, небо, облака — все это на стенках горшка было нарисовано. Только не снаружи, а изнутри, специально для нас. А сейчас кто-то снаружи ка-ак треснет по этому горшку колотушкой — и горшок раскололся, пошел осыпаться черепками; а снаружи...

А снаружи оказалось все совсем-совсем другое!
Как в сказке!
Как в той книжке, что я в лавке стянула.

ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ

Не смотрите в глаза мертвой гречанке! Не смотрите! Тем более что и глаз-то у нее... Стойте!!! Ах:

...пепел.

Серая каменистая равнина до самого небокрая; ни былинки, ни кустика, ни единого шевеления жизни. Не шмыгнет мышь меж камнями, не перечеркнет тусклый солнечный диск тень воронова крыла.

Впрочем, солнца здесь тоже нет. Небо — такое же серое, как и земля. Серое, мутное, беспросветное. И лишь время от времени налетающий ветер вздымает с земли легкий, почти невесомый пепел, закручивая его смерчиками, странно похожими на призрачные человеческие фигуры...

* * *

Был горшок, стал — замок-дворец! Башни небу в брюхо тычутся, молока просят; стена зубчатая, с дырками-смотрелками, у ворот мост на цепях прикован, чтоб не украли.

Мост поднят, ворота закрыты.

А это кто у стены стоит, там, где лестница? Неужто мы?!

На Друце — плащ изумрудной зеленью переливается, искрит; на плече знак Пик гладью вышит; под плащом — бархат черный, шелк, на ногах — сапоги со шпорами, на голове — шляпа не шляпа, обруч не обруч, только и видать, что серебряный. В руках палку здоровенную держит, примеривается, как бы трупаря ловчее огреть. А Княгиня — та вообще будто с иконы сошла! Платье из золотой парчи с жемчугами, в буйных кудрях — самоцветы россыпью; на груди — амулет рубиновый в виде знака Бубен. И палочка у нее маленькая, зато сразу видать — волшебная.

Мало не покажется!

Глянула я на Федьку — ишь, вырядился, стоерос! Тут тебе и кафтан заморский, и штаны лилового бархата, и сабля на боку; а на плечах... на плечах он каменную ручищу держит! Одну руку, без ничего! Тяжеленная, рука-то: какой Федька ни силач, а и его к земле пригнуло!

Ой, а что ж это у меня на плечах-то?!

Извернулась, скосила глаз. Так и есть! Ничем я Федьки не хуже; и мне руку приспособили. Как же я до сих пор ее держу-то — если вон и Федька из последних сил крепится?!

Однако стою, не падаю.

Эх, жалко, зеркала нет — на себя посмотреть!

Правда, я и без зеркала вижу: платьишко на мне атласное, цвета морской волны, мелкими жемчужинками шитое, на ногах — туфельки серебристые... А остального не видно! Обидно все-таки, что зеркала нет.

А может, найдется где?

Оглядываюсь по сторонам; только вместо зеркала вижу все того же трупаря. Табуретка под ним агромадная, из кости резаная, а под ногами — скамеечка. Похабная такая скамеечка: баба голая раскорякой. Ишь, бесстыдник седатый!.. Да и я хороша — снится всякое... Ну и пусть снится! Зато я не вощеная, как ихний Петр Валерьяныч, и на холеру я не похожа, и рога у меня из волосьев не растут.

А у него растут.

Тут еще по обе стороны от табуретки две покойницы встали. Старуха во всем черном, на груди цепь медная, вся в скользкой зелени — и гречанка носатая. Прямо так и вышло: вместо лица у гречанки — череп, а из дырки посередине длинный нос торчит. Нюхает, дергает ноздрями.

И саван на ней погребальный.

Ох и в страшную же сказку мы попали! Не хочу здесь больше! Ни платья этого атласного с жемчужинками, ни туфелек, ни замка — назад хочу, домой, хоть в Крым, хоть даже обратно в Кус-Крендель! Забирайте скорее — когда тут такие страшилища по наши души явились! Уж лучше простой девкой в Крыму... Где тот Крым, где то море?! Уплыть бы отсюда рыбой-акулькой, чтоб не видеть всего этого!..

А вдруг мы здесь так и останемся?! Навсегда?! Нет, не

останемся! Друц с Княгиней их всех победят, и мы отсюда уйдем! Или захватим ихний замок и станем жить-поживать...

Ой, мамочки!

Никогда больше таких страшных книжек воровать не буду!

А потом кто-то большой, кто-то сильный, кто-то главный, но не очень умный и очень недобрый — он взял из шкафчика книжку моей безалаберной жизни — и об стенку, об стенку, за корешок, да с мясом!.. Пошли клочки по закоулочкам... обрывки, дребезги, странички...

* * *

— ...Вон они! Хватайте!

«Они» — это мы. А «хватайте» и без толмача понятно. Я чуть в обморок не брякнулась, и небо на голову свиным брюхом обвисло. Мамка сказывала: меня во младенчестве едва свинья не сожрала... мы тогда еще свинью держали. Мамка моя, мамка, где ты сейчас? Знаешь ли, что с твоей блудной дочкой творится?! Лучше и не знать тебе: вон кощейка с кощейшей разом пальцы растопырили — был воздух, стал кисель овсяной. А в киселе том — мертвецы, мертвецы, мертвецы! — синие, изрезанные, кости наружу торчат, кожа клочьями обвисла. Сбился кисель комом, дрожит студнем, колышется — и вдруг как хлынет!

Прямо на нас.

Чирей гнойный злобой прорвало.

Тут уж я *так* заорала!.. Вам бы всем так...

...спиной пячусь, к лестнице. Даже про ручищу каменную на плечах забыла. Спасибо Федьке-кавалеру: опять поддержал. А то б упала и руку ту проклятущую уронила — можно ронять, нельзя ли... Да ладно вам! Знаю! Знаю, что нельзя!

И там знала, и здесь.

Только покойницкий кисель нас не затопил. Махнул

дядька Друц палкой, Княгиня рукавом сетчатым плеснула — и ударил поперек киселя сок клюквенный алый, вперемешку с изумрудными листочками! Вскипела волна, лопнула пузырем, разлетелась брызгами — бурым смрадом мертвечины паленой!

Меня тошнит-выворачивает, я уж желчью плююсь, а руку каменную держу! Держу! И все себе думаю — отбились? не отбились?! Мамка моя, мамка, лупила б ты меня чаще...

...кощейка с кощейшей вроде бы на месте стоят, за Петра Валерьяныча, чтоб ему лягушками икалось, держатся — и в то же время к нам идут. Вон уж и руки протянули, зенки огнями болотными светятся, изо рта смрад зловонный, фиолетовый, голову от вони юлой кружит, мысли колесом; а руки-то у них все длиннее, все загребущей — того и гляди, схватят, закогтят, живьем на части рвать начнут!

Друц, миленький, Княгинюшка, да сделайте же вы что-нибудь!..

Зря вас, что ли, по каторгам мытарили?!

...под ноги ступеньки бросились. Лестница-чудесница вверх уводит, на стену. Да куда угодно, хоть пешком в рай — лишь бы подальше от жихориц балаклавских!

Отступаем по лестнице. Друц с Княгиней по-мажьи бранятся, огниды горючие у них отовсюду брызжут, жгут покойницам руки-крюки. Шипят руки, шкварчат багровым дымом; дышать от того дыма уж совсем невмоготу — выше, выше, воздуху глотнуть! Прозрачного! Голубого! Настоя...

Выше...

...некуда выше!

Серое небо добро бы уже брюхом — теркой шершавой навалилось. Облепило, елозит, с живой кожу сдирает! Снизу мертвые колдуньи выкаблучиваются, трупарь со своей табуретки пальцем грозится, ноготь на пальце — нож вос-

трый! Я дышу, а оно не дышится, нет девке вздоху-продыху; будто я и впрямь в рыбу-акульку превратилась, а меня из воды-то и вытащили! Лежу теперь на берегу, рот разеваю, погибели жду!

Воды мне, воды!..

...вода! Под стеной — канава здоровенная, в канаве вода плещется; прохладная, должно быть. Лечь на дно, отдышаться...

Вот ведь оно, спасение!

Только надо, чтобы мы все в рыб превратились. Тогда они нас, скользких, не достанут. Подсказать бы! — Друцу, Княгине... Они всех нас в два счета рыбками сделают! Нырнем в канаву... отлежимся на дне... передохнём... или передóхнем?

— Стоять! Там — смерть! Стоять, я сказал!

Стена содрогается под ногами, и я едва не лечу в канаву.

Он что, сдурел, так орать?! И никакая там...

В руках у Друца возникает огненный кнут.

Не надо, Друц!.. Не надо!.. Я больше не...

...наискось шарашит молонья — синяя, ветвистая!

И в следующий миг на стену рядом с нами опускаются два крылатых змей-горыныча: черный и золотой! Хлопают крылья, змей-горынычи фырчат искрами, небо от этих искр закручивается хрустальными воронками; запах грозы сильнее ударяет в ноздри. Наконец-то — глоток свежего воздуха! Наконец-то!

— Уходим!

Это что же — к змеюке летучей на хребет лезть?! Да я...

А вот и да! А вот и я! Это Друцевы горынычи, они его слушаются!

И я его слушаюсь!

— Друц, превращай меня в змея! Превращай! Я их всех закогтю!

— Садись, дура!

Нет, не превратит.

Жалко...

...лезу. Карабкаюсь.

А ручища-то каменная к земле гнет, мешает!

— Эй, Туз! Я задолжала тебе одно видение! Смотри!

Княгиня стоит рядом со змеем из золота, положив ладонь на его холку. Глаза ее набухают невидимой слезой, и я нутром чувствую, как капля эта до краев полна тоской и болью, болью и тоской...

Слеза медленно катится на щеку.

Падает вниз.

В ладонь старухи Туза...

...секундочка. Одна-разъединственная. А дальше руки обеих покойниц обвисают ветками плакучей ивы — и на какой-то миг мне кажется, что я вижу прежнюю, живую тетушку Деметру. Да вот же она! Живая!.. Как живая... Тетушка Деметра неторопливо, с пониманием кивает Княгине, словно благодаря; потом она ложится навзничь, прямо на холодные плиты, и умирает.

Совсем.

Навсегда.

По другую сторону Петра Валерьяныча, отражением в зеркале, лежит безглазый труп гречанки.

— Все! Бросайте — и по коням!

Что бросать, нам с Федькой объяснять не надо. Вот теперь я понимаю, что значит «гора с плеч свалилась»!

У горыныча на спине, оказывается, и седло есть!

Ветер упруго бьет в лицо. Хватаюсь за плечи Друца.

Мы летим! Летим!

Оборачиваюсь...

...два Ивана Царевича, лязгая клетчатой броней, взбегают на галерею замка. Совсем как на картинке в той самой распроклятой книжке. Вот они вскидывают луки... тетивы, скрипя, ползут назад...

Грохот.

Короткий взвизг над ухом.

Неужели лук так грохочет?

Через плечо вижу: Иваны Царевичи тщательно целятся

по новой. На этот раз не промахнутся! Одна стрела — в спину мне, другая — Федюньше.

Прилетела, девка-красавица.

Зажмуриваюсь, изо всех сил вжимаюсь в Друца... Но выстрелов все нет, как тогда, в самом начале, когда трупарь скомандовал двум «клетчатым»: «Стреляйте!»

Оборачиваюсь.

Замок-дворец, ау! Где ты?!

...балаклавская улочка. И две лошади — вороной Конан-Дойль и Колючка-любушка — уносят нас прочь от каменного колодца. «А ведь мы все чуть не свалились туда! — с запоздалым ужасом доходит до меня. — Нас к нему и загоняли!»

И еще: на верхней веранде дома тетушки Деметры, скрывающегося за поворотом, застыли двое «клетчатых» с левольвертами. Иваны Царевичи — Иванами-дураками.

Они не стреляют.

Они не могут.

— Друц! Почему? Почему?!

Надо бы помолчать, еще и на скаку, но — не утерпела.

— Потому что их трупарь держит.

Все-таки услышал, ответил!

— Трупарь?!

— Король Крестов — маг в законе. А маг в законе никогда не позволит убить крестника.

— Даже чужого?

— Даже чужого.

Ветер комкает слова, уносит в сторону, но голос таборного рома, Друца-каторжанина, упрямо сопротивляется ветру.

— А... колодец?! Ведь они же хотели...

— Вам бы не дали упасть. Тебе и Федьке. Говорю же: маг в законе крестника не убьет.

— Даже мертвый?

Он понимает, о ком я.

Он все понимает.

— Даже мертвый.

И — после долгого молчания:

— А вот другого мага — это пожалуйста. Мы ведь с Рашелью теперь вне Закона, Акулина.

XI. ФЕДОР СОХАЧ, или ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ РАТЬ

Они пришли ко мне, как сквозь широкий пролом; с шумом бросились на меня.

Книга Иова

— Коней заморишь, ром хренов!

— Не твое дело!

Федору недосуг было обижаться. Да и понимал: зло Друц срывает, а кто первый под горячую руку подвернулся, того и забота. Вон и просвет в треклятом каменье сыскался, можно наконец свернуть.

Свернули.

В скалы.

Бабы обе упали как подкошенные — в песок-щебень, будто на ковер шемаханский. Задыхаются, груди под одежонкой камаринскую пляшут. Слыхал Федор, что бабы — они мужиков куда двужильней! Слыхал, а не верил. И посейчас не верится. Вон Княгиня совсем старая сделалась, щеки запали, под глазами тени синячищами; и Акулька болбочет-захлебывается, про змеев каких-то дурацких, с крыльями.

Со змеями Федор не якшался, а вот как на ядре пушечном из Балаклавы летел, от Валерьяныча-доктора, от чертовок дохлых, что с вилами-тройчатками за гостями гонялись, все норовили в котел смоляной загнать...

Это помнил.

Даже жалко Акульку стало: совсем помешалась деваха, от страху-то.

— Ну, ты чего? — присел рядом, тронул горячую, мокрую щеку. — Ты, знаешь... ты давай бросай рюмзить...

А она лицом в ладонь парню вжалась, замерла.

И не дышит.

Самому б прилечь, отдохнуть, так боязно: заберешь руку — опять Акулька бредить зачнет. Ладно, пусть ее.

Держи.

После чужих рук, каменных, своя вдвое милей покажется.

Друц дальше ушел, в распадок. Коней вываживает: слышно, как они топочут, храпят, а ром им песню поет: «Тэ явэн бы, тэ явэн бы, мандэ е кырылия...» Про крылья песня. Чтоб не запалились, после эдакой скачки, да с двойным грузом на горбу! Кони не люди, их куда жальче.

Над головой можжевельник прямо на камне распластался. Дерево не дерево — стволик чахлый, богом изуродованный, весь в узлах. Тень от можжевельника реденькая, елозит в ногах, трется.

Жарко ей, тени.

— Ты прости меня, Феденька...

Сперва показалось: ослышался.

— Ладно?

— За что, Рашеля?

— За глупость мою. За грубость. Надо было тебя еще там, в баркасе, выслушать. Зря я тебя обидела...

Сидит Федор на карачках — смехота! Одна баба прощения просит, другая девка в ладонь жмется. Рисуй картину, вставляй в рамку — на торгах мамзельки-фифочки большие деньги дадут! Чистое томление чувств!..

Впервые в жизни парень сам над собой смеется, сам себя подначивает. Впервые у парня ком в горле, да такой, что и злым смехом не протолкнешь.

Все у парня впервые.

Есть парню ради кого сдохнуть.

Есть парню ради кого жить.

— Слышь, Рашеля, — спросил, чтоб не молчать, — а чего они...

— Кто «они», Феденька?

— Ну, не они. Вы; вы все. Когда из божьей коровки жандарм-унтер приключился. А вы все заладили хором: «Быть не может! Быть не может!..» Чего тут не может? В самую точку: вы... мы — мажье семя, а облавники — они люди государственные! Им нас и так по-всякому изводить надо: острогами, каторгой...

Подумал.

Подытожил:

— Вот они и изводят. По-всякому.

«Е поера, мэ взлетал бы...» — это Друц поет-ходит.

— Ничего-то ты не понимаешь, мил-дружок Феденька. — Это Рашеля со вздохом. — Рано тебе понимать. У каждого в этой жизни свой Закон: у мага-острожника, у жандарма облавного, у епархиального обер-старца. У молочницы-булочницы. У генерал-губернатора.

— У нищего на базаре?

— И у нищего. Просто не каждый об этом знает. Только еще в Ветхом Завете сказано: незнание Закона не освобождает от ответственности. Правда, другими словами сказано... А, какая разница! Ты пойми, Феденька: ежели б меня в Хенинге не с поличным взяли, да на суде доказательствами не приперли к стеночке, да адвоката бы лишили, да приговор не по закону вынесли, все чин чинарем...

— И что? Что тогда?!

Даже дышать забыл; а Акулька — та, наоборот, задышала.

Жарко, щекотно.

— Ничего, Феденька. Я б тогда прямо из суда пешком ушла, во всей силе и красе. Потому что ни один обер-старец такого приговора не завизировал бы. А без его визы, без «Сим удостоверяю, ныне, присно и до окончания назначенного срока, аминь!»... Я тогда при своих остаюсь, милый ты мой! А если Княгиня при своих — кто ее остановит?!

— А эти... «Варвары»?

— И «Варвары» мне не указ, если суд липовый и приговор подставной. Они ведь, облавники, с малолетства учены: строго по Уложению о Наказаниях. У них даже не Закон во главе — Буква Закона! Оттого и закрыты от нас они наглухо, что на мажий Закон у «Варваров» свой есть — государственный. В крови у них это... В крови, в мозгу, в сердце тавром выжжено! Не бывало раньше, чтоб облавной жандарм творил противоправные деяния! И если следствие честно докажет, а суд честно приговорит и напоследок обер-старец визу поставит — тут-то и мне честно сидеть до конца срока! Не уйти...

— А нас, нас тайно кончать по закоулкам — это как? Это не противные деяния? Нет?!

— Противоправные, Феденька. Противоправные. Они

это и есть. Потому, наверное, и смогли мы опознать унтера над Деметриной крестницей. Иначе все глаза проглядели бы...

Вспомнилось парню опять: «Циклоп велел: только когда безглазая. Иначе сам понимаешь...» Странно: если жандарм знает, что он мага отследит, а вот магу жандарма ни за что не отследить-увидеть — почему «безглазая»?! Чтоб трупарь не поднял, а труп не доложил: кто, мол, зачем! Видела своими...

Или бывает, когда и маг облавника выследить может?

Выходит, бывает.

Только не твоего это ума дело, Федор. Правильно Друц на тебя окрысился — не твоего.

Ума.

Дело.

Только и удалось спросить:

— Рашеля... слышь, Рашеля, а что ты Тузихе напоследок сделала? Еще кричала: должок, мол, возвращаю... Возвратила?

Сделалась Княгиня такой, какой в Кус-Кренделе была. Не баба, сухостой дремучий. Вот-вот зайдется удушьем.

— Возвратила, — отвечает тихо-тихо. — Виденье за виденье.

— И... что показала-то?

— Морг, Феденька, помнишь? — Средь жаркого дня ледяным ветерком по ногам, по спине, по самой середке. — Морг в Мордвинске? Ленку Ферт на столе? Масть на лбу ее?! Себя?! Меня?! Помнишь?!

— П-помню... помню, Рашеля. Век не забыть.

Дернула Княгиня щекой:

— Вот это я Тузу и показала. На добрую память.

* * *

Душно стало Федору. Рванул ворот; не помогло. Навалилась духота пуще руки каменной, гнет, ломит. Щекочет в глотке воробьиным перышком. Еще и снизу, от рвани утесистой, что здесь берегом зовется, не морем — селедкой дохлой воняет.

Ан тут и Друц вернулся:

— Княгиня, чуешь?

Достала Княгиня платочек, обтерла лоб Федьке.

— Чую. Оповестил Король колоду. Крестник у него неподалеку, в ялтинской аптеке, у провизора на побегушках. Через крестника и дал наводку. Ищут нас, ром. Все ищут: свои, чужие... Тесен нам Крым; пора когти рвать.

— Может, сходки дождемся?

Поглядел парень в лицо Друцу: сам себе не верит ром. Говорит, а понимает: не дождутся сходки. И почему не дождутся — тоже знает. Верно Рашеля сказала, тесен стал Крым, рай земной.

Тесно Федьке.

Ай тесно...

— Тогда поехали? — скучным голосом спросил Друц. Шевельнул бровями, черными с сединой. И из его большого, костистого тела словно воздух выпустили. — Поехали, что ли?

...Коней бросить ром отказался наотрез. Дескать, обещал вернуть, а его слово — железо. Да и легче обе руки себе отрезать, чем этих, красавцев, на произвол судьбы... Когда, подъезжая к городу со стороны Аполлоновой балки, им встретилась пестрая толпа — таборные побирушки шли с охоты, — Друц аж просиял. Велел спешиться; спотыкаясь, побежал к ромкам.

По траве, по жесткой, наждачной.

Через секунду поднялся страшный галдеж. Федор близко не подходил, сидел на выветренном камне, а отсюда слов и не разобрать-то было. Но и так становилось ясно: ромки уговаривали Друца вернуться в табор. Обещали покровительство Чямбы, рукавами махали, звенели монистами.

Дети орали пуще взрослых.

— Тебе плохо, Феденька... — сказала из-за плеча Княгиня. Не спросила, просто сказала с сочувствием.

Она стояла там настоящая, не призрачная; стояла, вслушивалась. Не в ромский гвалт — в Федора. В себя. Рядом молчала Акулька, только изредка тянула ладошку: тронуть спутанные кудри парня.

Не трогала, стеснялась.

А Федору страшно, до одури хотелось, чтоб — тронула. Потому как вместо сердца в груди у парня кулак чужой оказался. Сожмется, разожмется; шевелит пальцами. Ногти на пальцах длинные, полированные, скребут повсюду... скрип противный, будто гвоздем по стеклу. От того скрипа долит Федьку противная слабость. Медузу из парня делает.

Казалось: ляжет Акулькина ладонь на голову — станет обратно сердце вместо кулака.

— Ты потерпи, Феденька. Оно дальше лучше не будет. Пока не выберемся — не будет. Потерпи, ладно?

— А-а...

Потерплю, значит.

— Коней забрали. — Друц, счастливый, не подошел — подлетел. В запале хлопнул себя по голенищам сапог; уставился на Федора, как будто впервые увидал. И к Княгине, непонятно так:

— Ну не умею, не умею я кодлу от своих прятать! Не умею!

— Тише, морэ, — Княгиня ему. — Брось орать. Я умею. Держимся ведь... пока. Просто рано слишком. Ох рано!.. Впору волчицей выть...

— Повезло тебе с крестничком, Княгиня. Не будь он такой большой... такой...

Видно, хотел ром что-то приятное сказать. А стал вдруг чертовски похож на доктора Ознобишина, трупаря знаменитого.

Даже щеки чужим румянцем заблестели.

Только Федор не обиделся. Чего ему на Друца обижаться? И впрямь большим парень уродился. Тут другое: в груди кулак шевелится, а Федору мнится, что был кулак чужой, а стал свой. От того не легче, а легче. Вроде как он, Федор Сохач, такой большой, такой (какой?!), их всех-всех — и Княгиню, и Акульку, и рома таборного — в том кулаке держит. Сожмет крепче — спрячет. Никто их не найдет, не увидит. Разожмет — даст воздуху глотнуть, продышаться, оглядеться.

А когда пальцами шевелит *(скрип-скрип, скрип-скрип...)*, духота прочь разгоняется.

На время.

— Перестань! — Княгиня из-за плеча просто зашлась криком. — Прекрати, говорю! Тебе нельзя!.. Самому!.. Убьешь ведь себя, дурачок! Просто терпи!

— А-а...

Да терплю, Рашеля, терплю.

Не кричи.

* * *

Дальнейшее помнилось урывками.

...Вот вы на пристани. Рашеля только-только из касс вернулась, расписание смотрела. Грустная, губы кусает. Говорит *(тесно! тесно мне!..)*: пароходы «Алмаз» и «Император Фердинанд» в Анатолию по четвергам и субботам ходят. А сегодня вторник.

«В Ялту? — спрашивает Друц. — И уже оттуда?..»

Внизу, на маслянистой воде, качаются щепки и корки от мандаринов.

Тошно смотреть.

Рашеля отрицательно мотает головой. В Ялту нельзя. Она знает, что в Ялту ни за что *(скрип-скрип...)* нельзя. И Федор знает: нельзя. Ведь знаешь, Федор? Какое там знаю! — нутром чую. В Ялте-городе ознобишинский крестник живет, у провизора в учениках; в ялтинской гостинице «Ореанда» сейчас лысенький портье Хрумов (кто? откуда явилось?!) связкой ключей невпопад брякает. Каждый ключ — ключ. Каждый бряк — крик. Где вы?! Где?! Где?.. Отопрет портье Хрумов, Валет Червей, замок невидимый — не спрятать Федору в кулаке всю честную компанию.

Пойдет трезвон от Ялты до Севастополя.

А шиш тебе, портье-Валет, шиш без масла! Брякай ключами! Много ли выбрякаешь?!

Злишь себя, Федор Сохач, душа пропащая? Злю.

Злому легче.

И откуда-то: слова. Странные, звонкие, глухие; всякие. Бегают по клавишам, теребят аккордами, рассыпаются крошками хлеба — подбирайте, воробьи! Откуда слова? Зачем? Чьи вы, слова?!

Мои?!

О, розы алые в хрустальных гранях вазы —
Закат в плену.
Меняю речи звук, меняю пошлость фразы
На тишину...

А кулак-то разжался, шевелит пальцами, по клавишам полощет...

...вот вы к вокзалу подходите. Меж грязно-желтыми домишками площадь краешком видна. Оркестр уже слышен: медью гремит, кларнетами подсвистывает. Марш «Мальбрук в поход собрался». Самый что ни на есть вокзальный марш. Друцу бы маршировать, а он возьми и остановись как вкопанный.

Палец лизнул и давай по ветру выставлять.

Отпустило Федора малость, так другая беда: Акулька рядом за голову схватилась. Выбелило девку известкой. Показывает: оглохла. Не слышит ничего. Голосишко тонкий, плаксивый, а вместо слов щенячий скулеж выходит.

Ф-фу, заговорила.

И слух вроде *(скрип-скрип! Меня, меня! Не ее...)* вернулся.

Не до крестницы Друцу. Велит оглобли поворачивать. Почему — не говорит. Надо, и все. Нельзя им на вокзал. Федор *(а кулак в груди набатом бухает...)* и сам понимает: нельзя. На вокзале, близ окошка старшего кассира, нищий-слепец палочкой стучит. Подайте защитнику Отечества, кто сколько может! Копеечку, господа хорошие! Палочка белилами выкрашена, тук-тук, тук-тук... Войдет Рашеля на вокзал, мухой в паутину, а палочка тук-тук, а слепец-то, Десятка Пиковая, кому надо тук-тук...

Войти-то на вокзал легче легкого, зато выйти!.. Уехать...

Эй, слова с той стороны! Звуки! Трель клавишная! Помогите воздуху хлебнуть!

Уйти помогите!

Меняю лепет дней, меняю гул эпохи
На краткий миг,
В который, как в ладонь, я соберу по крохе
Весь этот мир...

Полегчало.

На время.

...Вот вы на Северной стороне. Сухие утесы у берега бухты вырезаны из костей мира — желтых, потрескавшихся. В пещерах, которыми утесы *(скрип-скрип... противно...)* испещрены сплошь, ютится рыбацкая беднота: усатые оборванцы, рано состарившиеся жены, голая детвора. Смоленые байды качаются у мостков, и вода тихонько позвякивает жестянками из-под консервов. Вы идете быстро, туда, где дальше, за черепичными крышами, акациями *(кулак! Сожмись! Спрячь!..)* и путаницей балконов, начинается степь — пыль, простор и еще собаки.

Отсюда слышно, как они лениво брешут друг на друга.

Зачем вы идете туда — неизвестно.

Чтобы просто идти?

— Рашеля?

— Что, Феденька? Плохо тебе?

— А-а... помнишь, в Кус-Кренделе? Там тебе плохо было... А сейчас — мне. Я вот чего подумал, Рашеля...

— Ты такого больше не думай, Феденька. Выйдешь в Закон, я тебе все объясню. Раньше нельзя. Просто терпи.

— Я терплю... я вытерплю. Рашеля, ты *sin miedo!*. Ты не бойся, хорошо? Я нас укрою, я умею; я взаправду умею!.. Этот, Валет, портье гостиничный, он пусть ключами! пусть! не откроет!..

— Перестань! Нельзя тебе!.. Нельзя самому! Боже, до чего ж у вас это быстро складывается!.. Боже мой...

— Рашеля? Откуда слова?

— Какие слова, Феденька?

— Ну, всякие... о, розы алые в хрустальных... меняю лепет дней... и вот еще:

> Меняю дар судьбы, удар судьбы меняю
> На плач вдали.
> О, я ли вас пойму? Поймете вы меня ли?!
> Поймете ли...

— Феденька...

— Это твои слова, Рашеля?

— Нет. Это твои слова. Боже, как быстро... Ты складывай, складывай, тебе так легче будет... Феденька...

Когда из кривого переулка вам навстречу вышел господин в летнем пальто, Федор даже не очень удивился.

Обрадовался.

Теперь остановиться можно... хоть на минуточку.

— Раиса Сергеевна! Здравствуйте, голубушка! А я уж притомился, за вами бегаючи...

ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ

В мутно-зеленые, цвета бутылочного стекла, глаза господина полуполковника лучше не заглядывать. Впрочем, это ваше дело:

...окошко.

Серый предутренний свет с трудом просачивается сквозь него, путаясь в стальных прутьях. Каменная коробка, четыре шага вдоль, три — поперек. Острожная камера-одиночка. На удивление чисто и сухо: ни потеков воды, ни пыли, ни каменной крошки. Позвякивая кандалами, камеру из угла в угол меряет шагами человек. Остановился. Постоял у голых дощатых нар, на которых лежит связка блестящих ключей.

Подумал.

Снова ходит...

* * *

Через много-много лет, в авторском предисловии к сборнику стихов «Корни паутины», некий «кумир на час», как несправедливо назовут его критики, напишет:

«Я — заложник своей памяти.

Иногда мне кажется, что я разучился вспоминать. В эти дни жизнь, которую я наивно полагаю своей, словно задается целью всласть поиздеваться над мною. Иначе как назвать ее фортели? Как вообще назвать ее, мою жизнь?! Я сопротивляюсь, вырываюсь из душных объятий беспамятства, но лишь теснее закутываюсь в обрывки серпантина. Пыльной мумией я валяюсь на обочине, и карнавал без лиц, без имен, без прошлого и будущего — да, он идет мимо. Сотни чистых листов бумаги валятся с неба, сотни, тысячи, снегопад, на белизне которого я могу написать все, что угодно, написать, переписать заново, изменить

или оставить как было, — но я не помню, как это было раньше! Не помню! Не...

Я — заложник своей памяти.

Иногда мне кажется, что я разучился забывать. Это случается чаще, гораздо чаще. Все обретает ясность и отчетливость, жизнь строится поротно, и каждое событие готово по первому моему требованию покинуть строй. Кругом! Нале-во! Напра-во! Шагом марш! Оно слушается, это рядовое событие, оно шагает и поворачивается, шагает и поворачивается; я вижу, как сверкают бляха его пояса и начищенные сапоги. Я могу его и ему подобных бросить в бой единым мановением руки — но я не знаю, так ли это было раньше?! На самом деле! Не знаю...

Я — заложник своей памяти.

А вы?»

Критикам никогда не узнать, что автор «Корней паутины», записывая эти слова беглым, летящим почерком, видел город, запаянный в синий шар неба и моря, видел сумасшедшую гонку по пыльным улочкам, рыжие усы щеточкой, длинные полы летнего пальто; и кулак в груди мало-помалу разжимался, хрустя суставами.

* * *

— Раиса Сергеевна! Здравствуйте, голубушка! А я уж притомился, за вами бегаючи...

Князь Джандиери слегка поклонился. Маловыразительное лицо его тронуло подобие улыбки, в мутно-зеленых глазах мелькнули искорки. Две; в каждом глазу по одной искорке, и вполне достаточно. Знающие князя люди сказали бы: Шалва Теймуразович очень доволен.

Здесь тоже были люди, в некоторой степени знающие Шалву Теймуразовича, но они ничего не сказали.

Промолчали.

— Милейший! — Князь обернулся к извозчику, маячившему на козлах своего тарантаса в отдалении, в глубине переулка. — Свободен!

— Да шо вы такое кажете, ясный пане?! — забормотал

извозчик, пожилой хохол с бульдожьими брылями вместо щек. — Да разве ж можно! Езжаем отсюда, барин, то ж не люди, то ж гайдамаки!..

— Свободен! — тоном, не терпящим пререкательств, повторил князь; и рука Джандиери, затянутая в тонкую лайковую перчатку, приподнялась в отстраняющем жесте.

— А може, жандармов кликнуть? А, пане ясный? Я быстренько, тудою-сюдою...

— Пшел вон, скотина!

Прозвучало как удар бича. Как *«Alles!»*, когда старый акробат с жестокостью мастера принуждает юную дебютантку ринуться в бездну. Насмерть перепуганный хохол всплеснул щеками, дернул вожжи — «Вьо-о! Вьо, зараза!» — и тарантас, вихляясь и дребезжа, покатился прочь.

— Ах, Раиса Сергеевна, Раиса Сергеевна! — Князь, словно извиняясь за грубость, пожал широкими плечами. — И все-то вам неймется, голубушка! Это вам от меня бегать надо, а не мне за вами... Мне с недавних пор тараканьи бега в тягость. Я нынче человек степенный, шагу лишнего от скуки не сделаю! А впрочем...

Князь Джандиери достал из бокового кармана табакерку — черепаховую, с инкрустацией. Откинул крышку. Взял щепоть табака, приложился трепещущими ноздрями.

Чихнул вкусно.

— А впрочем, сами посудите: может ли отставной полуполковник, в прошлом, скажу без скромности, вполне приличный «нюхач», улежать на диване в нумере отеля «Эрмитаж», когда... Ведь не облачко — тучи над городом встали! Концентрация эфирных воздействий, доложу я вам, просто ужасающая! Помню, девять лет назад, в Тифлисе, где мы совместно с ассирийцами...

И тут не выдержал Друц. Еще от рыбацких пещер он брел позади всех, понурив голову, и все жевал вслух болезненное: «Не могу кодлу прятать! От своих! Не могу!..» Смолкал; заводил снова. Длинные руки его болтались не в такт ходьбе, шляпу он потерял, не захотев возвращаться, поднимать; кожа приобрела пепельный оттенок, и хорошо было видно — двухдневная щетина на лице Бритого наполовину седая.

Перец с солью.

Вот та соль, тот перец, видать, и сыпанулись горстями в душу таборного рома. Бросили к князю-жандарму:

— Ай, да ту на сан мро какоро, сан ту борзо джуклоро!..[1]

Не вынесло ретивое. Шепнуло Дуфуньке Друцу, лошаднику шалому: вон он, враг от роду-веку! Чего ждешь, дурак?!

Вот дурак и не стал больше ждать.

Идет дурак, в пляске каблуки стесывает:

— Ай, борзо джуклоро!.. Ай, кало рай![2] Режь меня, ешь меня!..

Нож из-за голенища сам в ладонь рому прыгнул. Кнута с собой на этот раз не было, да и не радостно оно — кнутом, издалека-то! А нож — дело особое, нож режет, а ты врагу в самые глаза заглядываешь: ай, баро, сладко ли?!

Когда и ударил — того Федор приметить не успел.

Зато князь приметил. Сплясал ответную: тут взял, здесь толкнул, там поправил. Рухнул Друц на коленки, зашипел гадюкой от боли. Руку сломанную к груди прижал, нянчит, баюкает.

Больно Друцу.

Стыдно Друцу.

А князь ножик оглядел брезгливо. Кинул в сторонку:

— Глупо. Крайне глупо, господин Друц. Он же Франтишек Сливянчик, бродячий цирюльник, он же Ефрем Жемчужный, кузнец из Вильно, он же Бритый, если я не ошибаюсь. Пятьдесят шестого года, вероисповедание не определено. И все равно — глупо. Я...

Друц ему с земли в ноги кинулся. Здоровой рукой, телом, яростью-бешенством. И опять самой малости не долетел: упала лайковая перчатка рому на затылок.

Гирей пудовой.

Затих ром в пыли.

— Глупо. А вы, вы-то куда, молодой человек?! Раиса Сергеевна, ну хоть вы ему... скажите...

Подошел Федор к князю-жандарму. Неохота драться, а

---

[1] Ты не дядя мне родной, ты собака легавая! (*ром.*)

[2] Черный барин. Основное значение: «Начальник». «представитель власти» (*ром.*).

надо. Чего он, в пальто, Друца обидел? Чего он, рыжеусый, за нами шарится? Чего на извозчике?!

Чего они все на нас взъелись?!

Вынул Федор кулак из груди, который вместо сердца был; замахнулся в сердцах. Ударил наотмашь. А князь возьми да и поймай кулак в ладонь.

Сжал сердце Федорово мертвой хваткой:

— Голубчик! Зачем?! Не скрою, поначалу вы показались мне куда умней!..

И не договорил. Удивился. Потому как вырвал Федька кулак из тисков. Встал напротив: ты большой, и я большой, ты старшой, и я не младший...

Лови плюху!

...Как у забора очутился — не понял. Только в груди нет больше сердца, а в башке сквозняк долгожданный гуляет. Хорошо Федору. Если вставать не пробовать — совсем хорошо. А если пробовать — тогда плохо.

Потому как не встается.

Ноги отнялись.

Одно осталось: ползти помаленечку. Туда, где Княгиня каменным истуканом ждет. Туда, где проклятый князь к Княгине близко-близко подходит. Перчатку оттирает — видать, об Друца с Федькой измаралась.

— Раиса Сергеевна! Вы же умная женщина...

Акулька! Куда, дура девка?! Куда?! Прыгнула между двумя третьей-лишней; «И-и-и-и!» — завизжала тоненько. Будто Шалву Теймуразовича визгом девчачьим остановишь. Поморщился князь. Взял Акульку двумя пальцами за плечико, развернул:

— Милая! Угомонилась бы...

Только и показалось Федору: за плечом у Акульки — встали. Не Друц с Княгиней. Чужие; незнакомые. Переглянулись чужие из-за плеча, которое князь Джандиери двумя пальцами... кивнули друг дружке.

— Ай, да кон а вэлло, гран традэло!.. *La fleur des vignes pousse, et j'ai vingt ans ce soir!..*[1]

[1] Виноград цветет, а мне двадцать лет... (*франц.*)

Слышите? Это рыба-акулька поет.
На два не-своих голоса.

* * *

...Городовые — они уже потом примчались.
Их извозчик вызвал.

XII. АЗА-АКУЛИНА, или ПОД КРЫШЕЙ КНЯЗЯ САМОГО!..

> Неужели ты держишься пути древних, по которому шли люди беззаконные, которые преждевременно были истреблены, когда вода разлилась под основание их?
>
> *Книга Иова*

...Добро бы мы с Федькой, а тут и Друц с Княгиней едва рты не разинули! Мы его, понимаешь, убить-зарезать хотели, бились смертным боем, а он — нате вам: «Руки прочь от моих друзей! Не сметь! Мы подверглись нападению! Да, скрылись! Да, вон за тем углом...»

Да где ж такое видано, чтоб маги у князя жандармского в друзьях ходили?! Кто поверит?! Кто проверит?! Вот мы и не поверили. А двое городовых — и подавно. Только верь не верь, а против княжьего слова не попрешь! Переглянулись городовые; потопали как миленькие за угол, куда князь им указал.

Один задержался, спросил:

— Может, господина... э-э-э... рома — в больницу доставить?

А князь ему так это ручкой:

— Не извольте беспокоиться, голубчик. Сейчас мы поедем ко мне в отель, и я сам вызову врача. А вы идите, идите и постарайтесь честно исполнить свой долг!

Козырнул городовой, шашку на боку придержал — и за угол, рысцой.

Долг исполнять.

А князь уж извозчика обратно кличет. Благодарит за заботу; целковый на водку отваливает. Велит хохлу щекастому в самом скором времени второй тарантас пригнать.

Чтоб все, значит, влезли. Выходит, нам теперь куда ни кинь, всюду клин. Бежать вроде как неловко — да и Друц весь побитый-поломанный, куда ему бежать! А князь стоит, смотрит на нас выжидательно. Молчит.

И мы молчим.

На князя поглядываем, на пролетки, что рядом остановились.

Потому как ничего хорошего от князя жандармского нам, магам в законе, ждать не приходится. Небось каверзу какую учинить решил! Хотя какую уж тут каверзу?! Сдал бы нас городовым, изложил правду-матку — вот и вся каверза. Может, не так страшен черт...

— Похоже, ваша светлость не оставили нам другого выбора, кроме как воспользоваться вашим любезным приглашением. — Княгиня, она всегда первой начинает.

Норов у нее... характер называется.

— Очень на то похоже, — кивает в ответ князюшка. — Молодой человек, помогите господину Друц-Вишневскому сесть в пролетку. Мы с госпожой Альтшуллер поедем впереди, а вы — за нами.

И на меня вдруг глянул. Странно глянул... уважительно, что ли? Князь! На меня! Уважительно?! Смехота! Ой, а ведь это я его только что ногами пинала, да еще ножиком у локтя порезала!

Я ли?

Словно затмение чувств на меня нашло. А только встал заместо Друца с Рашелькой у меня за спиной фертик незнакомый: собой чернявый, усики-стрелочки, рубашоночка белым-бела, с кружевами, навроде фартушка у горничной. И от рук-ног того фертика ко мне шелковые ниточки протянулись — будто к тем куклам, что в балагане на набережной видала. Тут фертик как пошел *мною* князя полоскать! А с ним рядышком еще один вприсядку скачет. Ром, по всему видать; только бородатый он, ром-то, махонький, на Друца не похож ну ни капельки! И норовит мне в ладонь ножик всунуть — мол, руки-ноги хорошо, а ножиком куда сподручнее! Всунул-таки; исхитрился. Дальше уж не пом-

ню ничего: эти двое за меня, почитай, все делали. А князь от нас троих отмахивался-отмахивался — где отмахался, а где и не очень!

Вот сейчас как осерчает...

Нет, не осерчал.

Короче, помогли мы с Федькой Друцу подняться, а в пролетку он уже сам забрался.

И мы поехали.

В отель.

Хорошо хоть, не в тюрьму!

Интересно, отель — это навроде меблированных комнат? Только для князей? Ладно, скоро сама увижу.

Едем.

Замечаю: Федька на меня искоса зыркает. Но не так, как князь, — по-другому.

— Здорово ты ему врезала! — шепчет зачем-то.

А глазищи прям-таки сияют двумя пятаками начищенными. Под левым, между прочим, фингал свежий цветет-наливается... Видный у нас парень Федька-то. Да никак он в меня втюрился! И не во сне срамном — наяву! Взаправду! Ай да я, ай да рыба-акулька! Хотела ему сказать что-нибудь такое-эдакое, жару подбавить — да только тут оказалось, что приехали мы.

В отель-невидаль.

Вот как, оказывается, настоящие господа живут, которые летом пальто носят! Это мне после Кус-Кренделя любой кабак дворцом казался; а тут... То-то Княгиня дорогой все нос морщила!

К дверям ступеньки мраморные ведут, а сама-то дверь — высоченная, на солнце сияет, ручки жар-птицами горят! — и дяденька в мундире уж спешит ту дверь перед нами открыть, да с поклоном... То есть не перед нами, конечно, а перед князем Джандиери. Нас-то он едва увидел — прямо позеленел весь, лягухой болотной. И князю эдак тихохонько, на ушко:

— *Your Highness! Excuse me, but are these people yours?*

А вместо князя ему Княгиня в ответ:

— *We are not people of His Highness. But we're prince's guests. Does somesing confuses you?*[1]

И я рядышком голос подаю:

— Гости мы, гости! Пропускай в отель!

И Друц с пролетки, наземь слезая:

— К вам приехал ваш любимый, ай, Друц-Вишневский дорогой!

Дяденька перед нами дверь распахнул вдвое шире, чем перед князем! Еле сдержалась я, чтоб этой жабе в мундирах язык не показать! В общем, задрали мы носы и вошли в отель.

ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ

Загляните в глаза швейцару, чопорному и одновременно предупредительному человеку. Загляните — не пожалеете! Вот:

...гудок. Огромный белый пароход подходит к пристани. Матросы бросают портовым служащим канаты-чалки, с высокого борта опускается трап, и по нему начинают двигаться пассажиры. Чемоданы пестрят разноцветными наклейками далеких портов, источая едва уловимый аромат моря, пальм, восточных пряностей и невиданных диковин.

Может быть, когда-нибудь...

* * *

Вот уж где век бы жила!

Зал чистым полем раскинулся, вместо травы сплошь коврами выстлан. Окна в два человечьих роста, текут водой родниковой — сразу и не заметишь, есть в них стекла, нет ли! Под потолком лампада в сто пудов, из червонного золота, с хрустальными бирюльками. На стенах — картины в золоченых рамах: еда разная нарисована, закуска-выпив-

[1] — Прошу прощения, ваша светлость, но это ваши люди?

— Мы — не люди его светлости. Мы гости князя. Вас что-то смущает? (англ.)

ка. Видать, для пущего аппетиту постояльцев. А наверх две лестницы уходят, тоже мраморные, а на тех лестницах опять ковры бордовые, и прибиты те ковры к ступенькам прутьями медными — иначе сопрут, должно быть. Отель не отель, народишко всякий случается.

Сбоку стойка деревянная, за ней еще один дяденька скучает, тоже в мундире и в фуражке.

Князь ему на ходу:

— Врача в мой нумер. Быстро.

Дяденьку в мундире как ветром сдуло.

А мы себе наверх ковры топчем, вслед за князем жандармским. Поднялись на второй этаж. Тут мне ка-ак поплохеет! В глазах темным-темно, и даже не столько в глазах, сколько в ушах. Как час назад у пристани. Давит отовсюду, ухи пробками заложило, в голове пауки копошатся, за паутинки тянут, а паутинки те к зубам моим приклеены. Зубы ноют — аж жуть, выть хочется! Я и вою про себя. Уже не до роскоши мне, и не до Федькиных взглядов, и не до того, о чем там Княгиня с князем меж собой разговаривают, тем паче что все равно ничего не слышу! Присесть бы где-нибудь, а лучше — прилечь; только негде. Да и нельзя — нам с Федькой дядьку Друца волочить надо, ему-то всяко хуже, чем нам!

Не помню, как в нумере окаянном, княжеском оказались. Друца на диван сгрузили, гляжу: стул здоровенный, со спинкой. Сиденье мягче перины, и такие штуки по бокам, чтоб руки класть. Надо бы позволения спросить — а язык не слушается! Когда оно бывало, чтоб я слова вымолвить не могла?! В общем, я на этот стул плюх! Без разрешения! Руки на штуки приспособила — сижу. Очухиваюсь. Вокруг вата ватная, голоса в ней тонут, тени кругом смутные бродят — сплю я? Не сплю? Помрачение нашло?! А, ладно, все равно! Лишь бы не трогали, лишь бы идти никуда не тащили. Может, пройдет?

Тогда, на пристани, ведь прошло же...

Ап-чхи-и-и!

Это мне в нос едкой заразой шибануло! Я аж на стуле подпрыгнула! Разом вату из ушей долой, и в глазах про-

светление. Глядь: передо мной трупарь стоит! Король Крестовый! И склянку вонючую в нос тычет.

Я орать привычная, у меня оно первым делом наружу идет! Мне ведь что подумалось: померла я, наверное, а трупарь меня подымать явился, над мертвой издевки строить! Вон и зелье колдовское в нос сует...

Только проморгалась я, прооралась, смотрю — а это и не трупарь вовсе. Даже и не похож. Вот ведь примерещится! Доктор-то он доктор, да другой. Моложе едва ли не вдвое, и без стеклышка в глазу, и одет иначе, и... короче, ни капельки не трупарь! А склянкой вонючей он дуру девку в чувство приводил.

Привел на свою голову.

Доктор от меня попятился, пот со лба залысого утер платочком, а дальше спрашивает:

— Вы, голубушка... я так понимаю, вы пришли в себя?

— Пришла, — говорю. — Спасибочки!

И язык меня слушается, пуще прежнего! Может, он тоже маг, доктор этот? Молодой, видный... ну почему, почему Федька в нашу сторону не смотрит?!

— Вот и отлично, голубушка, я очень рад. И не надо больше кричать, нам это вредно. А теперь я, с вашего позволения, займусь другим пациентом.

Позволения моего он, ясное дело, ждать не стал, а направился прямиком к Друцу. Хороший доктор. Мне он сразу понравился, не то что этот... Валерьяныч! Как вспомню, так вздрогну! Этот Друца быстро вылечит! А потом...

А что — потом?

— Ты чего орала-то? — А Федька, оказывается, подглядывал! Вот, рядом примостился, на скамеечке с гнутыми ножками. Крепкая, должно быть, скамеечка, под Сохачом камни крошатся!

— Да трупарь привиделся, Феденька, — отвечаю. — Будто снова мы в том замке...

Его Рашелька завсегда Феденькой кличет, вот и я себе решила.

— В каком замке?

У него что, память отшибло?!

— Ну, где мы с трупарем да с Тузихой-покойницей би-

лись! Потом на стенку забрались и на змей-горынычах улетели! — объясняю ему, как маленькому.

А он на меня глаза вылупил, по семь копеек каждый, и моргает.

— Ты чего, — говорит, — Акулина?! Окстись! Какой замок?! Какие горынычи?! Во чистом поле бились, супротив рати мертвецкой! И пушками, и колдовством — а после, когда нас к дыре смоляной прижали, на ядрах пушечных прочь унеслись. То есть не на ядрах, конечно, на конях... ну, дальше ты сама знаешь.

— Дурак ты, Феденька! — говорю я.

— Все ты перепутал, Феденька! — говорю я.

— Ядра у тебя пушечные знаешь где? — говорю я и мигом язык прикусываю. Я теперь умная! Дядька Друц меня не зря ругал-гонял за язык мой длинный. Ни к чему князю с доктором про наши битвы мажьи слушать! — Ладно, — шепчу. — Потом поговорим, тут народу много. Но все равно не так дело было, как ты рассказываешь!

Федька только кивает — соглашается. А с чем соглашается — непонятно. То ли с тем, что лучше после договорить, то ли с тем, что не так все было. А ну его совсем!..

Ой, что это?! Федя! Феденька!

Побледнел весь, скривился, за сердце хватается...

— Доктор! Доктор!..

* * *

Ушел наконец доктор — ушел, головой качая. Всех каплями да пилюлями отпоил; Друцу руку сломанную в лубок уложил, на перевязь подвесил; князю Джандиери порез иголкой зашил, йодом смазал и забинтовал. И меня заодно йодом тем помазал. Я тоже обрезалась. Ножик у меня в рукаве оказался — тот самый, Друцев, которым я князя пыряла. И как он туда, в рукав, попал? Должно быть, блохой запрыгнул!

Ну да ладно.

Сидим мы, значит, в нумере. Я все по сторонам зыркаю: интересно мне, как всамделишный князь живет. Ох и

живет! Я бы тоже так хотела! Ан тут не до хотения моего — знать бы, сколько нам вообще жить осталось! Со всех сторон ведь обложили: с одной — мажья кодла, с другой — жандармы лапы тянут, с третьей — вон он, хозяин, зенки его бутылочные...

А Джандиери с Рашелькой тем временем помолчали-помолчали, друг на дружку поглядели — и пошла у них незамысловатая беседа! Я ухи развесила, слушаю. Вроде как выражаются по-благородному, а мне все чудится: не беседа то — драка скрытая, пуще балаклавского сражения, только не так видно.

— Позвольте-ка полюбопытствовать, Шалва Теймуразович... К чему все это занимательное представление? Почему вы не воспользовались вашими, скажем прямо, профессиональными навыками? Почему не сдали жандармам беглых магов-каторжников, которые к тому же покушались на вашу жизнь? Уж простите, но в ваш альтруизм мне верится слабо.

Интересно, что это за ругательство такое — «аль-туризм»?

Небось еще гог-магожье...

— А почему бы и нет? — изломал бровь луком жандармский князь. — Почему бы и не предположить, дорогая госпожа Альтшуллер, что я, влекомый исключительно добротой и человеколюбием, каковые качества лишен был возможности проявлять, находясь на службе, — так вот, почему бы не предположить, что я из чисто гуманных соображений не стал предавать в руки закона вас и ваших, так сказать, крестников? Может быть, у меня еще теплится надежда вернуть вас на путь праведный?

Княгиня в ответ только фыркнула. Подошла к длиннющему столу, извлекла из лежавшей на нем коробки папироску.

— Конечно, конечно, курите, госпожа Альтшуллер! Я, с вашего позволения, присоединюсь. И вам, молодой человек, тоже не возбраняется, если ваша дама не против.

Молодой человек — это Федька. А «его дама» — это я, что ли?!

Дама-мадама.

— Разумеется, вы мне не верите. — Чиркнув зажигалкой для Рашели, Джандиери и сам вскоре окутался облаком синеватого сигарного дыма. — Но, как это ни странно, я сказал правду. Разумеется, мною движет не только любовь к ближнему — но я действительно хочу дать вам еще один шанс. В случае отказа вы вольны идти на все четыре стороны. Я не стану вас задерживать. Не верите?

— Не верю, ваша светлость.

— Это делает вам честь. И все-таки — зря. Я ведь теперь лицо частное, долг службы меня более никак не связывает... Знаете, зовите меня попросту: Шалва Теймуразович. Договорились? Ну хоть в сей малости: договорились?!

Он, прищурясь, выжидающе глядит на Княгиню.

— Вы ждете моего вопроса? — Рашель нервно вертит папироску в пальцах; с жадностью затягивается. — Хорошо. Если вам так угодно, я задам этот вопрос. Тем более что я его уже задала. Итак: чего вы от нас хотите? Зачем мы понадобились... ну что ж, попросту так попросту. Зачем мы понадобились господину Циклопу? Так, кажется?

Князь смеется.

Князь доволен.

А смеется он странно: шевелит губами, и все.

— Я всегда полагал в вас, дорогая Раиса Сергеевна, наличие ума незаурядного! А знаете, за что меня прозвали Циклопом? Еще в Тифлисском училище, с младых, так сказать, ногтей?! Не трудитесь вспоминать, это я к слову. Откуда вам знать... Посему я позволю себе краткое лирическое отступление, тем паче что оно имеет отношение к нашей приятной беседе.

Князь Джандиери расхаживает по комнате, выписывая в воздухе своей сигарой дымные загогулины. Рашель оперлась о лаковую столешницу, слушает. Рядом пыхтит папиросой Федька. Друц на диване делает вид, что спит, и делает его плохо.

Ишь, ресницы дрожат!

— Не знаю, известно ли вам, что облавные жандармы из Е. И. В. особого облавного корпуса «Варвар», к коим имел честь принадлежать и ваш покорный слуга, хоть и не подвержены эфирным воздействиям, но все же могут ощу-

щать их присутствие? А некоторые — даже следы оных воздействий, произведенных в течение предыдущих суток. Этих, последних, в особом облавном корпусе зовут «нюхачами».

Рашель молча кивает и выпускает в сторону князя красивое дымное колечко.

Самой, что ли, украсть папироску?

— У разных «Варваров» реакция на след также разная: на одного, прошу прощения, икотка нападает; у другого глаз слезится, и, заметьте, непременно левый, а никак не правый! У третьего подагра разыгрывается. А у вашего покорного слуги в таких случаях чешется вот здесь...

Джандиери слегка прикасается пальцем к собственному лбу, чуть выше переносицы. Там у него две поперечные морщинки — словно веки третьего глаза.

Когда он лоб морщит, они моргают.

— Отсюда и прозвище. Прошу любить и жаловать: князь Джандиери, Шалва Теймуразович — «нюхач» по прозвищу Циклоп. Причем, смею заметить, один из лучших «нюхачей» не только нашего с вами возлюбленного Отечества, но и Европы. Я могу определить не одно лишь наличие или отсутствие эфирного воздействия, но и его силу, а также вектор приложения. Вот в данный момент, любезная госпожа Альтшуллер, вы осуществляете весьма мощное действие, судя по всему, защитного свойства, а сквозь вашу оборону пытаются пробиться, как минимум, трое ваших противников...

Князь неторопливо повернулся на каблуках, повел орлиным носом, как будто действительно принюхиваясь.

— ...Простите великодушно, четверо. Я прав?

— Правы, ваша светлость.

— Ну я же просил вас, любезная Раиса Сергеевна: Шалва Теймуразович! Исключительно Шалва Теймуразович! Впрочем, ладно, оставим. Итак, вы сейчас оказались меж двух огней: с одной стороны, вас разыскивают за побег, и если поймают — то непременно повесят, без долгих разговоров. Вместе с этими двоими, столь симпатичными мне, молодыми людьми. С другой стороны, у вас возникли проблемы с сообществом ваших же коллег, магов-рецидивистов. Ведь

не от меня вы столь спешно спасались бегством, когда произошла наша встреча?! И не от жандармов. Да и интенсивность сосредоточенных на вас эфирных воздействий, болезненный вид — вас и ваших спутников — заставляет меня прийти именно к такому заключению. Таким образом, если вы, выслушав мое предложение, откажетесь от него — вы свободно уйдете отсюда. Надолго ли — вот вопрос. Либо вас достанут ваши коллеги, либо возьмут жандармы. Либо...

— Либо ваши подчиненные разрежут этих двух столь симпатичных вам молодых людей на куски, предварительно выколов им глаза, — раздельно и внятно произносит Рашель, и от ее слов, от ее голоса меня всю аж передернуло!

А как она при этом на князя смотрела! Был бы не «Варвар» — на месте бы взглядом сожгла!

Джандиери вдруг стал серьезным. Бросил улыбаться:

— А вот этого мне как раз хотелось бы избежать. Именно поэтому я, Циклоп, предлагаю вам, всем четверым, свою «крышу». Не удивляйтесь, это общепринятый термин. Можно сказать, интернациональный.

— Знай же, Никто, мой любезный, что будешь ты самый последний съеден, когда я разделаюсь с прочими; вот мой подарок! — произносит вдруг нараспев Федька. Вот только слова он выговаривает через силу, будто душно ему или грудь сдавило...

И в ответ на меня обрушивается слепящая глухота! пауки! зубная боль!

Опять!

Да за что ж мне такое наказание?! Друц, Княгиня, доктор — помогите! Ах да, доктор-то ушел уже... Хочу крикнуть — а крик спекся, одно сипение выходит, да и того сама толком не слышу, потому как ухи заложены! Погружаюсь в трясину, в мутную глубь; кажется, вот-вот грязь прямо в душу хлынет... и вдруг как шарахнет по ушам:

— ...служить убийцам?! Уж простите за вежливость: из кодлы мажьей — в кодлу отставных легавых-палачей?! Так, ваша светлость?!

Долгая тишина.

Темная, черная; я вглядываюсь в эту тишину до рези под веками.

Ничего.

— Я не стану вас переубеждать, дорогая госпожа Альтшуллер. Я мог бы наглядно продемонстрировать вам разницу между нами, совершающими преступления во имя конечного блага общества — во имя своих детей, наконец! — и вами, преследующими лишь личную корысть. Это все высокие слова, и вы имеете полное право им не верить. Но я бы настоятельно порекомендовал вам самой, да, именно *самой*, посмотреть в глаза фактам. У вас просто нет выхода. Впрочем, выход есть: уйти отсюда и умереть в самое ближайшее время. Сколько вы еще продержитесь? Часа три? Четыре? Сколько?!

— Между прочим, вы только что совершили признание, ваша светлость. В присутствии четырех свидетелей. Может быть, нам теперь совсем не обязательно умирать? Вы ведь знаете, у нас есть свои способы проверки на правдивость. Теперь нам достаточно пройти такую проверку у хорошего «видока» — и мы снова окажемся в Законе. В нашем Законе. А вот у вас и ваших людей с этого момента могут начаться немалые проблемы. С *вашим* законом.

— И какие же, позвольте полюбопытствовать? В прессу обратитесь? В правительство? К государю с петицией?! Заявление мага-рецидивиста: облавные жандармы без суда-следствия убивают наших учеников! Не нас, закоренелых преступников, — учеников! Бессмыслица! Нонсенс! Кто вам поверит, Раиса Сергеевна?! Ведь не девочка уже, должны понимать. Ни одна солидная газета такой материал не напечатает, а если кто-то из представителей бульварной прессы и отважится, то обыватель сочтет подобную статью сущей «уткой», а газетенке быстро накрутит хвост наша бдительная цензура — дабы не порочила честь особого жандармского корпуса!

Князь выдерживает паузу.

Слышно, как поскрипывают его туфли, — Джандиери меряет шагами комнату.

— Разумеется, вы можете предупредить своих, так сказать, коллег, которые сейчас благополучно пытаются отправить вас в мир иной. Но поверьте, мы со своей стороны будем только благодарны вам за распространение полез-

ной информации! Ведь ликвидация крестников — это не самоцель, как вы легко можете догадаться. Нам важно, чтобы взамен погибших учеников не объявлялись все новые и новые. Важно прервать преемственность. Если распространится слух, что идти в крестники к магу в законе чревато скоропостижной смертью, — считайте, половина дела уже сделана. А коль скоро господа маги попытаются учинить ответный террор... О-о, о таком мы могли бы только мечтать! Ведь тогда у нас окажутся развязаны руки на *официальном* уровне! Вы понимаете, что это значит, любезная госпожа Альтшуллер?

— Понимаю, ваша светлость.

— Разумеется, лично вам и вашим крестникам, возможно, и удастся скрыться. Уехать куда-нибудь подальше, желательно — за границу. Не в Европу, у них скоро начнется то же самое — в Новый Свет или, скажем, в Делийский султанат. Ведь вы об этом думали, не правда ли? Да, это возможно... теоретически. И там наши люди вас не достанут — не буду преувеличивать наших возможностей. Вот только успеете ли, дорогая Раиса Сергеевна? Ваши же коллеги уничтожат вас куда быстрее, чем вы успеете объясниться с ними. Между прочим, если вы так беспокоитесь о своих учениках, рекомендую обратить на них внимание прямо сейчас. По-моему, им обоим нехорошо. И если с ними что-то случится, то винить вам придется уже не злобного Циклопа, а исключительно саму себя...

— Федор! Акулина! Очнитесь!

Торопливые, суматошные шаги стремительно приближаются. Как это не похоже на обычную поступь Княгини... А, вот и диван заскрипел — Друц подняться силится.

Поднялся-таки...

Ладонь на лбу. Большая, тяжелая, мозолями царапается.

Друцева ладонь.

Ф-фух, вроде полегчало!

Вот он, дядька Друц: надо мной склонился, в глазах — тревога, мало что не страх! Рядом Княгиня на Федьку орет. И за что орет? Он же ничего не сделал! Или она его так в чувство приводит?

Уползли пауки, попрятались до поры, и тьма отступила. А язык по-прежнему как деревянный.

— С-с-сп-пасибо, Д-друц!

Неужели это *я* заикаюсь?!
Мамочки, что ж со мной сделалось?!
Федька! Феденька, ты живой?! А, зашевелился. Стонет. Живой, значит!

Поднялась Княгиня. Спина прямая, как у самого Джандиери. На князя, не отводя взгляда, посмотрела:

— Ну и как же будет выглядеть ваша «крыша», милейший Шалва Теймуразович? Черепичная? Жестяная? Соломенная?! И самое главное: как нам придется ее отрабатывать? Я, знаете ли, котов в мешке покупать не привыкла. Продавать — другое дело...

КУШ ПОД КАРТОЙ, или ДВОЙНОЙ БРУДЕРШАФТ

> После слов моих уже не рассуждали; речь моя капала на них.
>
> *Книга Иова*

ТЕЛЕГРАММА-МОЛНИЯ

«Санкт-Петербург, ул. Тезоименитства, 16,
Его Высоконеподкупности[1]
начальнику Е. И. В.
особого облавного корпуса «Варвар»
генералу Дорф-Капцевичу в собственные руки

Ваша Высоконеподкупность!

Искренне заверяя Вас в своем неизменном почтении, спешу уведомить: по здравом размышлении решил я согла-

[1] Подобное официальное обращение в документах, равно как и титулование (в отличие от устной речи или беллетристики), писалось с заглавных букв.

ситься с Вашим лестным предложением и вернуться на службу государю и Отечеству, приняв на себя должность начальника Харьковского Е. И. В.[1] Великого Князя Николая Николаевича облавного училища взамен обремененного тяжкой хворью полковника Куравлева, столь дорогого нам обоим. Прошу незамедлительно оформить бумаги, как Вы обещались исполнить по первому моему письму, и сегодня же подтвердить мои полномочия ответной телеграммой на адрес Севастопольского полицейского управления, ибо от этого зависят многие обстоятельства.

Остаюсь Вашей Высоконеподкупности покорный слуга, Князь Джандиери, полуполковник в отставке».

ТЕЛЕГРАММА-МОЛНИЯ

«Севастополь, Малаховский пер., 2,
обер-полицмейстеру г. Севастополя
Его Высоконачалию
Сергею Сергеевичу Кушникову

По получении сего немедленно известить Его Бдительность, Князя Джандиери, о вступлении последнего в должность начальника Харьковского Е. И. В. Великого Князя Николая Николаевича облавного училища со всеми вытекающими отсюда правами и обязанностями, включая личный контроль над вербовкой негласных сотрудников. Во вверенное Его Бдительности училище Князю Джандиери, государевым указом возведенному в чин полного полковника, вменяется прибыть не позднее...»

ДЕПЕША

«Обер-полицмейстеру г. Севастополя,
Его Высоконачалию
Сергею Сергеевичу Кушникову

Ваше Высоконачалие!

---

[1] В данном случае «Его Императорского Высочества». В прямой же речи и неофициальных записях именовалось просто «Харьковское облавное училище».

Получив Ваше уведомление о новом назначении, убедительно прошу Вас без промедления послать курьера к настоятелю Иоанно-Златоустовской обители, дабы о. Пимен мог сегодня же направить в отель «Эрмитаж», где я имел удовольствие остановиться, того местного иерея, который облечен саном епархиального обер-старца и визирует приговоры Севастопольского уголовного суда. Сие крайне необходимо сделать в самом скором времени, для проставления на особом контракте временной визы, сроком не более месяца, поскольку виза постоянная будет проставлена о. Георгием, епархиальным обер-старцем при Харьковском Е. И. В. Великого Князя Николая Николаевича облавном училище, куда я намереваюсь прибыть лишь через несколько дней.

Остаюсь Вашего Высоконачалия покорный слуга, Кня зь Джандиери, полковник Е. И. В. особого облавного корпуса «Варвар».

* * *

...Вот так оно было.

Где-то далеко, на другом конце комнаты, на другом краю вселенной отблескивает полированная гладь стола. И там, на этой глади, в блеске и славе, левиафановыми пастями разверзлись два белых сияющих окна: два входа в иную жизнь, два шанса, до которых еще надо дойти, добрести, доползти — и отпереть пером-ключом замки на них.

Впервой ли тебе, Дуфунька Друц, ром непутевый, чем ни попадя замки-то отпирать?

А тебе, Княгиня? Дорогая ты моя Раиса Сергеевна, как любит говаривать один известный нам обоим человек?!

Перо, говорите, стальное? казенное? расщепленное надвое змеиным жалом? Пусть змеиное — сгодится. Все сгодится. Змей, он испокон веку в искусителях ходит... ползает, на чреве своем. Вот и вам, значит, надо дойти! доползти! дотащить на себе задыхающихся, тонущих в мгле изнеможения крестников. Слишком быстро все складывается — у вас, у них...

— *...Я вот чего подумал, Рашеля...*

— ...Ты такого больше не думай, Феденька...

Там — спасение.

Страшное? Да. Отталкивающее? Да. Спасение? Да.

Что, снова Брудершафт, Княгиня?

Да, Бритый. Снова.

Идем?.. Где наша не пропадала?!

Ты сказал. Идем.

Вы оба знаете: это пустая бравада. Это шаткая ограда, за прутьями которой притаился скользкий, мятный холодок страха. Где бы ваша ни пропадала пропадом — но не здесь!

Закон вне Закона.

Мгла сгущается вокруг Шавьей трясиной. Ей жалко отпускать добычу; она вязкой топью липнет на ноги, тянется выше, выше, высасывает последние силы — но вы идете!

...Ссыльные шли от Шавьей трясины.

Двое...

Вы все-таки идете, хотя и не двигаетесь с места.

Медленно, мучительно медленно приближается полировка стола с двумя слепыми бельмами; с двумя белыми окнами.

С двумя листами гербовой бумаги.

Двумя договорными бланками.

— Прошу вас, госпожа Альтшуллер.

— Прошу вас, господин Друц-Вишневский.

Голос эхом грозы над Чатыр-Дагом прокатывается над головами. Отголоски его еще долго затихают под сводами, и вам, всем четверым, кажется, что это — мой голос, а не просьба (приказ?..) князя Джандиери звучит, затихая, в ушах.

Но это не так.

Я молчу.

Молчу и смотрю.

Вы сделали свой выбор, и сейчас я снова зажгу перед вами огонь — знакомый и чужой одновременно.

...Ты ведь знаешь закон, Княгиня? До конца.

Держи.

Держись.

Я все вижу, девочка моя...

Стальное перо без жалости вспарывает нутро чернильницы; тяжелые капли глухо скатываются обратно, стекают с острия, с клинка, которым отворяют жилы, выпуская наружу багровый сок, чернила для той, единственной подписи...

Подпись!

Ослепительно белый проем окна надвигается, и сквозь исходящий из него неземной свет проступают яркие... буквы? руны? карты? люди?

Да, люди!

Люди в форме.

Воротник лазоревого мундира подбит алым сукном, серебристый кушак с тяжелыми кистями охватывает талию вместо ремня; пуговицы, по шесть в ряд, опять же серебряные, сверкают лихим огнем, бросая отблески на яркую выпушку по обшлагам и борту. На пуговицах вычеканена рука, мускулистая рука с мечом, и две сплетенные руны под рукоятью... и на петлицах тот же символ.

Е. И. В. особый облавной корпус «Варвар».

Люди в форме ровными рядами обступают вас со всех сторон. Смыкается каре, погребая в центре четверых. Но отчего-то буквы-карты-жандармы не спешат вязать руки, тащить на виселицу или в острог. Не бойтесь, я подскажу вам разгадку.

Это не конвой.

Это охрана.

Вокруг вас щетинится лес черных пик за стеной из красных бубновых щитов — и стена эта, этот лес не дают разочарованной мгле сомкнуться, поглотить навсегда вас самих и ваших крестников.

Крестник... крестовая масть... Король Крестовый!.. Поставить на всем крест... открещиваться...

...Подписывайте!

Две руки со стальными жалами перьев одновременно

падают вниз. Вниз — во внезапно вспыхнувшее под ними пламя.

Пламя, которое зажег я.

Сейчас. Ни мгновением раньше, ни мгновением позже.

Тогда, когда это нужно.

...Подписывайте!

Ваши руки горят, корчатся в огненной хватке, металл перьев сплавляется с тающим воском пальцев, и чернила кровью запекаются на бумаге — намертво, навсегда. На тот жалкий миг, который поэты называют Вечностью.

— Отлично. Сейчас я заверю ваши подписи; господин стряпчий поставит свою печать; после этого — ваша очередь, святой отец. Как видите, все идет согласно процедуре...

Подпись поставлена. Договор скреплен. Но ненасытное пламя продолжает жадно пожирать ваши руки, жгучая боль ползет все выше, выше — и пальцы невольно сплетаются, ища спасения друг у друга.

В следующий миг еще две ладони опускаются сверху: тяжелая лапа Федора Сохача и узкая, горячая ладошка Акулины.

Рашеля, ты это... ты не бойся, значит. Ладно?

Дядька Друц! Я здесь!

Мы с вами.

Так вы и стоите, взявшись за руки, — стоите и горите.

Вчетвером.

Пламя разгулялось лесным пожаром, вот уже за ним скрылись ряды бубновых щитов и черных пик, вот уже мгла опасливо ползет из угла обратно — мало ли?

— *...Благодарю вас. Ваша отрешенность, прошу к столу...*

Руки горят крест-накрест, и еще раз крест-накрест — когда вдруг сверху опускается тень еще одного креста: того, что на груди и на печати у обер-старца из Севастопольского окружного суда.

Тень опускается, обретает плоть, отгораживает от пламени, от жгучей боли — двойным белым крестом, алеба-

стровой броней, одной на четверых. А второй крест, золотой, сияющий, повисает над вашими головами.

Не крест — стропила. Стропила новой крыши, воздвигнутой над вами князем и иереем, облавным жандармом и судейским обер-старцем.

Вновь стенами встают кругом черные пики и бубновые щиты; вновь мгла отступает в бессилии, растворяется, исчезает.

Вздох облегчения — один на четверых.

Гора с плеч.

Весенний ливень хлещет сверху, чудом проникая сквозь крышу, и вы ловите эту воду пересохшими ртами, судорожно глотаете, не в силах напиться, утолить нестерпимую жажду.

Еще! Еще!

С шипением гаснет пламя.

Вот теперь — действительно все.

* * *

— Ну как они? Очнулись?

— А нам теперь что, мундиры дадут? — словно спросонья, бормочет Акулька.

Я грустно улыбаюсь.

Книга третья

И ГРЕХ МОЙ ВСЕГДА ПРЕДО МНОЮ...

And I and all the souls in pain,
Who tramped the other ring,
Forgot if we ourselves had done
A great or little thing,
And watched with gaze of dull amaze
The man who had to swing.

For strange it was to see him pass
With a step so light and gay,
And strange it was to see him look
So wistfully at the day,
And strange it was to thing that he
Had such a debt to pay.

Oscar Wilde.
«The ballad of Reading Gaol»

С другими душами чистилищ,
В другом кольце, вперед,
Я шел, — и каждый, кто терзался,
Про свой не помнил гнет,
Но мы за тем следили тупо,
Кого веревка ждет.

И странно было знать, что мог он
Так весело шагать,
И странно было, что глазами
Он должен свет впивать,
И странно было знать, что должен
Такой он долг отдать.

Оскар Уайльд.
«Баллада Редингской тюрьмы»
Перевод К. Бальмонта

Круг первый. МИРАЖИ ХАРЬКОВСКОЙ ОСЕНИ

— И среди магов попадаются славные ребята!..

Опера «Киммериец ликующий», ария Конана Аквилонского

ПРИКУП

— Благословите, батюшка!

Наскоро перекрестив паломника — толстого, хитроглазого обывателя, по всему видать, мелкого купчишку с Основы, — отец Георгий поднялся по склону и нырнул в ворота Покровского монастыря.

Сентябрь вконец распоясался, искренне полагая себя гулякой-октябрем, ухарем «бабьего лета»: все дорожки были щедро засеяны палой листвой. Золота под ноги! червонного! и все бабы — мои! Даже вязь паутинок дрогнула в воздухе чудо-маревом; скользнула по лицу, защекотала и исчезла, как не бывало. Впрочем, ослепительно голубое небо еще напоминало о жарком, слишком жарком лете, когда селяне всем обществом устраивали «Дождевые моления».

Помогало слабо.

«Скоро крестный ход, — подумалось невпопад. — Владыка собирался внутренние стены под мрамор отделать... Если братья Степановы не разболеются с ходом идти — отделает. Тысячу рублей пожертвуют, никак не меньше... Степановы, они набожные...»

Крестного хода Озерянской иконы Богородицы харьковчане ждали как манны небесной. Тридцатого сентября святой образ переносился в Покровский монастырь на зимние месяцы из Куряжа; двадцать второго апреля икона торжественно возвращалась обратно. Помимо сего были установлены два малых крестных хода летом: из Куряжа на Озерянку, место первого обретения иконы, и, спустя две недели, обратно.

Большого скопления народу малые хода не собирали.

А жаль. Как писал профессор Миллер: «Пребывание иконы в Покровском монастыре — вернее, в его храме, превращенном после учреждения архиерейской кафедры в кафедральный собор, — сильно отразилось на его материальном состоянии».

В какую именно сторону отразилось — о том умный профессор не писал. И без писаний ясно...

Вздохнув, отец Георгий пересек наискосок двор и заспешил к архиерейскому дому. В былые времена здесь стояла небольшая постройка из дерева — настоятельская келья, место жительства слободских владык. Но еще при преосвященном Павле вместо «халабуды», как келью стали презрительно дразнить не только в народе, но и среди иереев, возвели каменный корпус.

Ох, и любил же пышную роскошь преосвященный Па-

вел, епископ харьковский, бывший ректор Смоленской семинарии! Нашел, вымолил, выбил деньги на дом, где нашлось место даже для домовой «Крестовой» церкви в верхнем этаже, близ владычных покоев; и на коллегиум по Бурсацкому спуску хватило, и на богатый гардероб осталось, на экипажи, породистых рысаков, мебель, картины...

Упекли преосвященного в Астрахань, после девяти тучных лет «на югах»; упечь-то упекли, а долги остались.

Который уже владыка на престоле сменяется, а все никак не выходит расплатиться до конца.

— Стой, отец Георгий. Да стой, кому говорю!.. Ишь, разогнался, ноги-то молодые...

Нынешний архиепископ, владыка Иннокентий, сидел близ дома на лавочке.

Лист кленовый в руках вертел.

— Благословите, владыка! — Отец Георгий вдруг сам себе напомнил тароватого паломничка у ворот; это оказалось неприятно.

— Садись рядом, отец Георгий! — Кленовый лист осенил священника крестным знамением. — Молчать будем.

Осторожно присев на край скамеечки, священник искоса бросил на владыку быстрый взгляд и поспешил сделать умное выражение лица. Несмотря на любимую игру в «простака», владыка Иннокентий был куда как непрост. Ректор Киевской академии в тридцать лет, епископ Чигиринский, владыка прежде епархии Вологодской, а с недавних пор — Харьковской. Доктор богословия. Знаменитый проповедник-златоуст. Член четырех духовных академий, университетов Харьковского, Московского и Санкт-Петербуржского; а также двух ученых обществ — археологического и географического. Автор фундаментального курса «Догматического богословия». Священники-мздоимцы боялись владыку пуще гнева Божьего; горожане полагали святым.

И вот этот великий человек зовет к себе некоего отца Георгия, только чтобы помолчать вместе.

Если бы такое случилось впервые, впору было бы удивиться.

А так — привык.

— Ритор Прокопович сказывал, ты вчера в окружном суде заседать изволил? — начал «молчать» Иннокентий.

— Совершенно верно, владыка. После долгого перерыва ввиду отсутствия соответствующих процессов. Как епархиальный обер-старец, обязан был принять участие в рассмотрении дела о мажьем промысле. Обвиняемый — мещанин Голобородько, Иван Терентьев. Приказчик из Суздальских рядов.

— Ну да, ну да, — меленько покивал головой преосвященный. — Обязан был, значит. Оный ритор говорил, будто и мажишко-то дрянной, копеечный... Шелуха, прости Господи. Без облавников брали вроде бы. Двух городовых послали, он и сдался. Правда или врет ритор?

— Правда, владыка.

— В чем обвиняли мажишку?

— Помогал путем отвода глаз сбывать порченую гречиху.

— Ох, грехи наши тяжкие! — Иннокентий заворочался, иронично вздернув хохлатую бровь. — Ты небось завизировал приговор? не стал артачиться?!

— Да, владыка. Мещанина Голобородько к телесным наказаниям и описи имущества; ученика его, Тришку Небейбатько, — к пяти годам острога. Согласно новому Уложению: статья 128-я, параграф четвертый.

— Ну да, ну да... к телесным наказаниям, значит. Опять узаконили порку, слава Господу нашему, во веки веков, аминь!.. Нужное дело, нужное...

Налетевший ветер швырнул в лицо горсть листьев. Сбил дыхание, облепил, вырвал из владычных рук тот единственный, кленовый, налитый багрянцем; и снова унесся невесть куда.

Почему-то осенней порой отец Георгий слишком часто обращал внимание на них — на листья. Опавшие! еще зеленые! иные, только грозящие закружиться в смертном танце! на ветвях, на земле, в воздухе... И еще — давняя, заученная строка брезжила неотступно на самой окраине сознания:

«Листьям древесным подобны сыны человеков...»

— Пожар помнишь? — спросил владыка в своей из-

любленной манере: резко меняя тему разговора и предоставляя собеседнику со всей торопливостью догадываться — о чем вдруг зашла речь?

— Помню, владыка.

Отец Георгий сразу понял, какой пожар имеется в виду. Знаменитый, можно сказать, прославленный пожар, когда горела нижняя Трех-Святительская церковь, где располагалась архиерейская усыпальница. Именно тогда началось массовое паломничество в монастырь, к праху святого Мелетия — огонь, принудив распаяться жестяной гроб, оставил невредимым внутренний, парчовый покров, где пребывал в целости прах святого.

— Чудо Господне тогда случилось, отец Георгий. Чудо! Редко такое бывает, редко... Особенно по нашим временам: темным, стервозным. Ныне иереи корыстолюбивы, причетники ни устава, ни катехизиса толком не знают! Ассигнации берут, это правда; иной требует свою камилавку серебряными рублевиками набивать! Веришь, вчера одного мерзавца ударил собственноручно! — клобук с него сбил, рожу раскровянил...

Владыка помолчал, хмурясь.

— После в ноги к нему пал: прости грех увлечения гневом... Простил, собака! А как было бы славно, чтоб иерей от архиерея без колебаний все добродетели на себя перенимал: и ученость, и святость, и знания божественные!.. Чтоб из дурака — мудрец, из подвергаемого соблазнам — схимник! Чтоб рукоположение принимал вкупе с верой и знаниями! Царствие Господне настало бы на земле! Что скажешь, отец Георгий?

— Ничего не скажу, владыка. Сами ж велели: «Молчать будем». Вот и молчу.

— Ну да, ну да... молчун ты!.. Зову я тебя, зову, а тебе все как с гуся вода...

Отец Георгий, епархиальный обер-старец при Харьковском Е. И. В. Великого Князя Николая Николаевича облавном училище, наклонился.

Поднял и себе один лист.

Кленовый.

Посему ходи путем добрых, и держись стезей праведников... а беззаконные будут истреблены с земли, и вероломные искоренены из нее.

Книга притчей Соломоновых

А сегодня тебе приснилось повешение.

Твое.

Как обычно, вокруг не было ни души. Да и самого «вокруг» — тоже. Только сизый, похмельный вечер, только ступеньки, ведущие на эшафот, — раз, два, три... Восемь, девять... вот и нет ступенек; только рука на твоем плече. Ведет, направляет. Ноги (босые! почему?!) ощущают под собой дощатый помост. Остановись, мгновенье! Княгиня, остановись! постой чуть-чуть на хрупкой преграде люка, на корочке льда, затянувшего полынью на исходе февраля, — еще миг, и омут разбежится кругами ада, увлекая грешную душу в путь обреченных.

Пеньковое ожерелье, натертое казенным варавским мылом, гадюкой обвивает шею; мочку левого уха противно щекочет узел.

Из узла торчат колючие ниточки.

Ты без капюшона, без этой последней милости, позволяющей жертве сломать шею и уйти почти сразу, нежели много дольше умирать от удушья.

Впрочем, тебе все равно.

Даже в каком-то смысле радостно: сейчас откроется люк, а значит, откроется правда — что *там*?

Словно вняв мольбе твоей радости, крышка люка проваливается вниз, слитный вой толпы оглушает («А-а-ах-х-х-х!.. А-а-а...»), и ты летишь, летишь, летишь в бездну с обрывком веревки на шее — смешной, страшный, безнадежный флаг бывшей жизни.

«Что за страна! — ворчит над ухом кто-то. Он всегда ворчит, когда тебе снится повешение; он брюзга и циник, этот странный кто-то, слишком часто называющий себя

просто «я». — Проклятая страна! Повесить — и то не могут как следует!..»

Впрочем, тебе все равно.

А невидимая рука, еще миг назад сжимавшая твое плечо, рвет в вышине обертки карточных колод, и вслед тебе, в пасть бездны, сыплются крылышки тропических бабочек, атласные листья, цветной снегопад: алые ромбы, багряные сердца, аспидно-черные острия пик и кресты с набалдашниками по краям...

Красное и черное.

Кровь и угли.

* * *

...проснулась.

Простыни, нагретые за ночь, сбились вокруг в тесное, уютное гнездышко. В таком и подобает спать солидной даме, женщине... ну, скажем, средних лет; человеку с положением в обществе.

А мужу подобает спать в отдельной спальне, что, собственно, муж и делает.

Помнишь, Княгиня? — ты лежала с открытыми глазами, глядя в потолок. Алебастровая белизна казалась экраном модного синематографа «Меркурий»: сейчас невидимый механик (невидимый? опять?!) запустит свою машинерию, волшебный луч прорежет мрак, и начнут бежать по чистому полю: дни, годы, друзья, враги...

Подумалось невпопад: сегодня Феденька должен вернуться из Полтавы. Непременно заедет сюда, в Малыжино. Непременно. Похвастаться: фабрикант Крейнбринг, известный меценат, обещался субсидировать издание нового сборника стихов Федора Сохатина. За малую мзду — упоминание фамилии Крейнбринга на титульном листе, да еще посещение модным поэтом салона госпожи Крейнбринг.

Небось ворчать станет Феденька: надоели. Влажные глаза поклонниц — надоели; рукоплескания — надоели; «Автограф! весьма обяжете!..» — хуже горькой редьки.

Лжет господин сочинитель. И сам знает, что лжет.

Он без этого жить не может.

Ты ведь сама видела, Княгиня: филармонический зал, ряд за рядом, встает, захлебывается овацией, и высокий мужчина во фраке кланяется на авансцене, прикладывает ладонь к сердцу, а лицо у мужчины — не лицо, зеркало.

Отражается в зеркале многоликий зал.

Наполняет душу всклень, с краями.

Дрогни — прольешь.

«Бис! браво!.. Господа! господа! — второй Надсон!..» А Феденька смотрит в кипящую бездну, в голодные глаза тех, кто готов вознести его на гребне волны, перед тем как обрушить в забытье; смотрит властно, с беззвучным приказом, и бездна затихает неофитом у ног пророка, едва спокойный голос с легкой хрипотцой начинает — мимо нот, лишь слегка поддерживая себя ритмом гитары:

— Внемли тоске в ночной тиши
Пустого сада.
Она — отрада для души,
Она — награда

За все смешные мятежи,
За все святыни,
За горечь лжи, за миражи
В твоей пустыне...

Ты сидела в ложе, уронив руки на бархат обивки; Княгиня, ты не понимала, искренне недоумевала: откуда? Тебе ведь так не суметь, правда?! — вскользь, отстранясь ото всех и вся; чуть старомодно, позволяя себе больше, чем положено нынешним Пьеро с лицами, уставшими от лжи и пудры, с их отточенными ассонансами, парадоксами рифм, превращающих стихи в оргию созвучий... Немного это походило на манеру Фиры Кокотки, твоей крестной, восемь лет назад умершей в Женеве от апоплексического удара: придыхание в конце строк, смешное, слегка напоминающее волчий вой, но в то же время жутковатое — пауза, и до боли в висках вслушиваешься: неужто впрямь — волки... стая по следу...

...За ужас помыслов благих —
Щебенки Ада;
За трепет пальцев дорогих,
За боль распада...

После концертов он смеялся, шелестя в уборной цензорскими справками «касательно естественных причин успеха, а также отсутствия эфирного воздействия». Джандиери к этим справкам не имел касательства: честно заработаны. Ты это знала лучше прочих — ученик до выхода в Закон не имеет права на «эфир», а решившись самовольно, без надзора и присутствия рядом крестного, будет по меньшей мере три недели страдать бледной немочью.

Да, ты знала.

Что же он сможет, друг Феденька, когда Закон откроет ему свои двери?!

И кого видишь ты, глядя сквозь него: себя? да, себя... немного — Фиру... но почему — кого-то еще?

Многих? разных?

Разве так бывает?!

— За плач вблизи и бой вдали,
За соль на раны...
И слово странное «внемли»
Не будет странным...

* * *

Ничего не проявлялось на экране потолка.

Ничегошеньки.

Спрашивай не спрашивай — жди ответа, как соловей лета...

Ты встала, накинула на плечи шелковый пеньюар. Мужнин подарок, к третьей годовщине свадьбы. Прошла к трельяжу, легко опустилась на мягкий пуф; всмотрелась в зеркальную гладь, окруженную шаловливыми купидонами, словно воспоминание о Феденькином триумфе мимо воли толкнуло тебя на этот поступок.

Помнишь?

— ...не надо тебе на мне жениться. Глупости это все. Ты сейчас на меня сквозь стекло глядел, а другие — они на тебя, как на стекло, смотрят. И видят за Федькой-стеклом —

меня. Старую, злую; умную. Жизнью битую. Разную. Просто они слепые. Они думают, что это все ты: и стекло, и за стеклом. Оттого ты им нравишься, оттого зовут к себе. Ведь зовут, да?

Думала ли, — старая? да! злая? да! битая? да!!! — что доведется вглядываться в собственного крестника, в Федьку Сохача, влюбленно пытаясь увидеть сквозь него иные тени? Себя? да! — но ревность люта, как преисподняя: откуда другие?!

За ним? за *твоим*?!

Смирила дыхание; заставила зеркало откликнуться не грезами — отражением.

Твоим.

Опрометчиво? К счастью, нет. Большинство женщин твоего возраста не слишком любят смотреть на себя по утрам; у тебя же все было наоборот. Утренний взгляд — самый свежий, самый искренний. Тень кошмара еще лежит на лице, но... Нет, не так.

Поднялась, скользнула к окну.

Раздернула портьеры; вернулась.

Да, именно так. Неяркий, осенний свет оказался впору: тени съежились, заметались... ушли. Обеими руками ты приподняла волосы и неожиданно для себя самой показала язык отражению.

Совершенно неприличный поступок для дамы... ну, скажем, средних лет.

Совершенно неприличный язык: розовый, острый.

За спиной тихо скрипнула дверь. Это камеристка. Кетеван Беруашвили, коренная имеретинка; бессловесное существо. Если бы когда-нибудь тебе захотелось обрести верную рабыню, ты выбрала бы Кетеван. Ровесницы, вы идеально сосуществовали вместе уже третий год, хотя выбор был все-таки сделан не тобою — за тебя.

Вы даже могли часами молчать.

Для двух женщин — вещь почти невозможная и наводящая на мысли о крамольном «эфирном воздействии».

Если вы посмотрите в глаза Кетеван, она спокойно выдержит ваш взгляд. И ничего особенного вы в ее глазах не обнаружите. Но если вы будете настойчивы, заглянув глубже:

...сосна.

Но отнюдь не та, что стоит одиноко на севере диком. Горные кручи пестрят разнотравьем и цветами, темными каплями крови рдеют ягоды на кустах кизила, и в пронзительную высь неба возносится она — прямая и гордая, с достоинством несущая чуть легкомысленную шапку пушистой хвои.

Королева.

* * *

Откинувшись на спинку кресла, ты прикрыла глаза и отдалась во власть Кетеван. Приятно, когда по коже лица мягко движется подушечка, смоченная в настоях ромашки и шалфея; приятно чувствовать ласку черепахового гребня.

— Как спалось, Кетеван?

— Спасибо, тхавади[1].

Ну вот, дождешься от нее большего. «Спасибо...» Иная уже бы всякий сон по третьему разу пересказала: петухи — к пожару, опавшие листья — к любви неразделенной... Ладно, помолчим. Сегодня будут гости, сегодня день отдыха. Работа — завтра.

Вечером.

Бал в Е. И. В. Марии Теодоровны Институте благородных девиц, раз и навсегда прозванном обывателями «Магдалинкой». Говорят, даже губернский предводитель дворянства, действительный статский советник Ачасоев, категорически возражал против открытия малого храма Марии из Магдалы именно в институтском дворе. Такое, дескать, приличное заведение, цитадель скромности и целомудрия!.. Но тогдашнего митрополита, пожалуй, мог переспорить только Петр Ключарь, и то пригрозив исключительно недопущением в райские кущи.

---

[1] Тхавади — княжеский титул (*груз.*).

Впрочем, бал есть бал, и не в храме дело.

Ежегодный праздник для девиц и «Варварских» облавюнкеров. Если юные красавцы-жандармы рассчитывают вволю наплясаться с институтками, заранее пощипывая редкие усики, — тебе их искренне жаль. Особенно элитных «нюхачей». Надо будет придумать что-нибудь похитрее саквояжа британского посла, лорда Байрона, где под «вторым дном» вдруг обнаружились алмазные подвески директрисы. Эту шутку «нюхачи» раскололи за полтора часа, тайком вернув драгоценности владелице во время полонеза. Директриса так ничего и не заметила, а четверка будущих «Варваров» во главе с неугомонным Пашкой Аньяничем получила зачет.

А может быть, Княгиня, тебе просто вздумалось тогда послушать музыку (Огюст Бернулли!.. вальс, вальс!.. прошлое на три счета...), и ты не стала мудрствовать.

Все может быть.

— Брат пишет, Кетеван?

— Да, тхавади.

— Здоров?

— Да, тхавади.

Знаешь, Рашка! — тебе захотелось веселья. Странное, чужое желание. Ну, например, влюбить на завтрашнем балу престарелую Марь-Ванну, классную даму «Магдалинки», в того же Пашку Аньянича, лихого портупей-вахмистра, как любили именовать себя без пяти минут выпускники. Влюбить с размаху, до гробовой доски, и пусть господин «нюхач» — кстати, полковничий фаворит, хотя Джандиери это тщательно скрывает! — прячась по углам от назойливой старухи и с тоской взирая на танцующих, определяет: был «эфир» или нет?!

Да и самой любопытно: отловит ли Аньянич воздействие, где он сам — косвенный объект? И продержится ли морок хотя бы полчаса? Лучше — час. Нельзя издеваться над молодежью. Надо только не забыть сразу же сказаться больной и уехать домой...

— Все, Кетеван?

— Нет, тхавади.

Жалко, что ты не «видок». Сегодняшний сон... Уже скоро

полгода, как повешение снилось тебе в последний раз. В самом скором времени, зябким апрельским утром, Джандиери подсунул тебе «Крымские новости». В статье «Самосуд: дикость или волеизъявление?» рассказывалось, как ялтинские мещане насмерть забили юношу-аптекаря, заподозрив того в «пособничестве мажьему промыслу». Автор статьи пытался быть и вашим, и нашим — дескать, мы цивилизованные люди, европейцы, но надо войти в положение, понять мотивы... Мотивы были поняты, и цивилизованность подтверждена. А ты впервые за эти годы вспомнила о докторе Ознобишине без обиды, без терпкой горечи, и пожалела старого Короля Крестов. Да нет, теперь, пожалуй, Туза.

Хотя какой он Туз при забитом крестничке...

Иногда ты стыдилась самой себя. Иногда; чаще, чем хотелось бы, но реже, чем стоило. Стыд набегал волной и отступал, прятался в глубине, теснимый рассудком. Кому стало бы легче, если бы ялтинские мещане затоптали Феденьку? Акульку? тебя, Княгиня?!

Впрочем, случись это сейчас, тебя как раз бы и не тронули; в связи с новомодной доктриной «Божьих мельниц», выдвинутой год назад Святейшим Синодом. Обошли бы стороной, будто прокаженную, издали тыкая пальцами — а Феденьку топтали бы, топтали, истекая слюной и чувствуя себя мечом провидения!.. хватит!

Прекрати.

Не те годы; не та масть, чтобы гнать истерику.

— Ай!

— Простите, тхавади.

— Ничего...

Снова скрипнула дверь за спиной. На этот раз не тихо, не вкрадчиво — с уверенностью взвизгнули петли, которые давно пора велеть смазать, да все недосуг; с хозяйской небрежностью.

Шаги.

Тяжелые, медленные.

Ближе.

И сразу стало жарко. Все три твоих отражения заметались в трельяжных зеркалах, подернулись дымкой, хотя ты не двинулась с места, даже головой не пошевелила — ведь

так, Княгиня?! — и в висках проснулись тайные птенцы, гулко расклевывая скорлупу хладнокровия. Что-то каркнула Кетеван; ты не расслышала, что именно. По сей день тебе не удавалось привыкнуть к его появлению. Старая, истрепанная жизнью баба! ветошь замасленная! Княгиня, Дама Бубен! — что с тобой?!

Он подошел, склонился.

Чужие губы легко коснулись твоей шеи, уколов щеточкой усов.

— Как спалось, милочка?

— Спасибо, тхавади...

Ты ли спросила? — нет, не ты.

Ты ли ответила? — да.

«Спасибо, тхавади...»

Князь Джандиери еще раз поцеловал тебя в затылок и отошел к окну.

На дворе рождалась осень.

* * *

Джандиери предложил тебе стать его женой еще тогда, в поезде «Севастополь — Харьков», в купе на двоих. Предложил коротко, по-деловому, но без оскорбительной усмешки. Сидя напротив, он чистил апельсин ножичком-брелоком; оранжевая кожица свивалась петлями и ложилась на столик. Ты смотрела, молчала и понимала: князь прав.

Меньше всего это походило на объяснение в любви.

— Понимаете, дорогая моя Раиса Сергеевна... Крыша — это не только особый контракт. Это еще и набор жизненных обстоятельств, способствующих незаметности. Или, наоборот, возможности быть все время на виду, что порой скрывает истинную подоплеку лучше шапки-невидимки. Вы понимаете меня?

Ты понимала.

Ты прекрасно его понимала.

В дверь сунулся проводник: «Чайку-с? Чайку-с не желаете?» Липкие, реденькие волосы проводника были зече-

саны поперек лысины, фуражка зажата в руке, и весь он, еще молодой, но насквозь пропахший нафталином и вагонными сквозняками, вызывал брезгливую жалость.

«Чайку-с?.. э-э... Виноват-с!.. нижайше прошу...»

Створка двери с лязгом вошла в предназначенную ей щель, будто меч в ножны.

— С такими, как ваш гулящий ром, гораздо проще...

Легкая досада аристократа, прерванного невпопад и обстоятельствами столь низкими, что гневаться на них бессмысленно, мелькнула в голосе Джандиери.

Мелькнула и исчезла, как не бывало.

— ...Они малозаметны по самой сути своей. Даже когда пляшут, вдрызг расшлепывая сапоги ладонями. Господин Друц-Вишневский — человек толпы. Оформим бумаги, вид на жительство, назначим смотрителем училищных конюшен или еще кем, поселим в меблированных комнатах за казенный счет... Не иронизируйте, пожалуйста, — если кто-нибудь из так называемой «кодлы» сильно захочет найти вашего... нашего Валета, то найдет. Будет трудно, потому что контрактников практически невозможно нащупать эфирным воздействием, как если бы они прошли облавную подготовку; впрочем, есть и иные пути. Но скажу вам как профессионал: еще не было ни единого случая, когда завербованный маг-рецидивист... прошу прощения, негласный сотрудник пострадал бы от его бывших коллег или произвола властей. Репутация сотрудника Е. И. В. особого облавного корпуса «Варвар», пусть даже сотрудника негласного, говорит сама за себя. Вы мне верите?

Ты верила ему.

Да, ты верила.

Сочный глобус апельсина разваливался дольками, рассыпался локальным Армагеддоном, красиво ложась на блюдечко. Пальцы князя, сильные, поросшие рыжим волосом, были на удивление ловки — ни капли не брызнуло, ни капельки.

Апельсин был доволен.

И все-таки казалось: эти пальцы сейчас должны дрожать. Не дрожат? — тем хуже для них. Ты не знала, почему хуже, ты ничегошеньки не знала, отдаваясь колесному

перестуку, словно нелюбимому, но надежному мужчине; а еще на память приходил «Пятый Вавилон» и бешеная пляска ротмистра-убийцы на пороге безумия.

Способен ли на такое господин полу... нет, отныне полный полковник Джандиери?

Мысли текли ровно и глупо.

— С вами, милая Раиса Сергеевна, дело обстоит куда сложнее. Вас трудно спрятать, растворить в толпе. Можете считать это комплиментом. Таких, как вы, имеет смысл выставлять на самом видном месте. Словно вазу эпохи Мин в музее искусств — и видно, и украсть затруднительно. Посему я к вам с предложением: выходите за меня замуж. Человек я солидный, состоятельный; опять же, вдовец. Свет отнесется с пониманием. И мне бы чертовски хотелось посмотреть на того мага, будь он хоть Крымским Тузом, хоть подосланной Десяткой из осетинских «мокрых грандов», который осмелится пальцем тронуть супругу Шалвы Циклопа. Вы согласны со мной?

Ты была согласна.

Помнишь, Рашка? — ты была совершенно согласна с ним.

Ты даже взяла апельсиновую дольку и слегка прикусила. Кислый, вяжущий сок приятно обжег язык, и ты согласилась с собой: да, ждала. Не именно предложения руки и сердца, но чего-то в этом роде.

Надо бы зарумяниться спелым (ну разве что слегка надкусанным!) яблочком, только сил нет.

— Ну и последнее... Не стану скрывать, Раиса Сергеевна: я испытываю к вам искреннюю симпатию. С самого начала. А также уважение одного умного человека к другому умному человеку. И наконец, некоторое чувство вины. Улыбаетесь? Зря — я имею в виду вовсе не ваш арест в Хенинге. За честное исполнение служебного долга вины не испытывают. Я о другом. Ведь я подверг вас трудным испытаниям там, в Мордвинске, подверг отнюдь не ради долга служебного; и честь рода Джандиери требует, дабы я расплатился с дамой (с Дамой?) наиболее приемлемым образом. Поверьте, кроме чисто делового аспекта, мне будет крайне приятно, если вы согласитесь на мое предложение!

И вас, дорогая Раиса Сергеевна, это ни к чему не обязывает! Сами понимаете: вы не девочка, да и я давно не юноша бледный со взором горящим. Полагайте наш брак частью контракта, выполнением взаимных обязательств...

— В марухи зовешь, фараон? — спросила ты.

— Зову, — очень серьезно ответил князь, доставая портсигар.

И ты не стала отказываться.

От тонкой, дамской пахитоски, невесть как обнаружившейся в серебряных недрах.

Впрочем, как и от всего остального.

По приезде в Харьков, в кабинете начальника вокзала, тебя ждали документы.

Увидев их, ты прослезилась, словно встретив старых знакомых. Паспорт на имя Эльзы, баронессы фон Райхбен, — старенький, десятилетней давности, только на сей раз его не украшала красная полоса поперек каждой страницы и надпись: «Вещественное доказательство». Письмо с благословением старого барона-отца — Вильгельм фон Райхбен, ранее существовавший исключительно метафорически, поздравлял старшую дочь с новым вступлением в брак, сетуя о невозможности лично присутствовать (подагра, мигрень и что-то еще, кажется, катар желудка...); к письму прилагалась пачка телеграмм от хенингских родственников, нотариальные справки имущественного характера и официальный вызов на дуэль князю Джандиери от гусара Хотинского по причине жгучей ревности. В вызове также рассматривался вариант отказа от претензий, если господин полковник в свою очередь...

Дальше ты читать не стала. По твоему мнению, с дурацким вызовом Шалва Теймуразович переборщил. О чем господину полковнику и было незамедлительно объявлено, на правах невесты.

Джандиери кивнул, порвал вызов и велел вокзальным лакеям подогнать извозчика к входу.

Тот факт, что он заранее знал о твоем согласии и даже

озаботился подготовить нужные бумаги... о нет, это не обидело!

Ничуть.

Контракт есть контракт.

* * *

...Джандиери открыл нижний шпингалет, толкнул створки окна наружу — и прохладный, слегка сырой воздух наполнил спальню. Осень вместо жухлой листвы пахла грибами, и это было тебе неприятно.

Там, во сне-повешении, сизый вечер тоже пах грибами, раздавленными подошвой солдатского сапога, ароматом разрытой земли, могильным тленом — ты только сейчас вспомнила это и зябко поежилась.

Ах, пустяки!.. Грибы, могила... блажь стареющей женщины.

— Закрыть, милочка?

— Нет, не надо. Так лучше.

Он всегда обладал тончайшим нюхом на твои настроения. И на ложь — наверное, тоже. Впрочем, окно закрывать не стал, сделал вид, что верит. Смешно: многие ли жены могут похвастаться, что муж понимает их до мелочей? До подспудных намеков? — и у мужа при этом неистово зудит лоб, прорезаясь «третьим глазом»?! А многих ли жен будущие мужья арестовывали на балу в Хенинге, вместо медового месяца в Ницце отправляя на каторгу в Анамаэль-Бугряки, дабы спустя годы перевести на поселение? Тебе есть чем хвастаться, Княгиня, и, пожалуй, в кругу болтливых куриц из высшего света ты способна произвести настоящий фурор.

Как, хочется чужих восторгов? обожания? косых взглядов в спину?!

Маменька, а правда, что княгиня Джандиери, урожденная фон Райхбен, была в бараке классной дамой?.. Я тоже хочу, душа моя, маменька!..

Осень.

И даже не смешно.

— Вчера получил депешу от Дорф-Капцевича. — Джандиери все смотрел в окно. В домашнем шлафроке, небреж-

но подпоясанный мятым кушаком, господин полковник все равно казались намертво затянутым в форменный мундир. Даже бахрома на плечах, бахрома разлохматившихся швов, мнила себя эполетами. А под затылком-то, под коротко стриженным, складка намечается... первая.

Стареешь, муженек?

Да и ты не молодеешь, девочка моя...

— И что пишет Его Высоконеподкупность?

— Отвечает на августовский рапорт. Велит Аньянича со товарищи по окончании училища от выбора вакансий освободить. Вместо этого, намекнув на скорое производство в ротмистры, незамедлительно перевести в столицу именным приказом Его Высоконеподкупности. Опять же набор сего года предписано сократить более чем вполовину. Полагаю, меньше двух рот получится. Не училище, а пустыня египетская... слава Тебе, Господи, оглянулся на мольбы раба Твоего! Увольнять преподавателей жаль, душевно жаль, а чем загрузить при столь малом составе облав-юнкеров — понятия не имею...

Джандиери пожал плечами.

Голос князя был ровен и спокоен, но где-то по самому краешку змеилась трещинка. Не поймешь: радость? скука? странное нетерпение?! В последнее время такие трещинки начали изрядно беспокоить тебя, как путника в горах тревожит любой шорох над головой.

Или он просто еще не отошел ото сна, вот и похрипывает?

Ты позволила бессловесной Кетеван вновь заняться твоей прической и сделала вид, будто сочувствуешь проблемам мужа. Да, Джандиери мигом ощутит, что сочувствие твое — притворство. Ну и пусть. Глупо ожидать от законной супруги, чтобы оная супруга душой вникала в дела казенные. Значит, все в порядке: и вежливая ложь, и ответное понимание мотивов. Набор сокращен, Аньянич будет отправлен в столицу. Скоро станет ротмистром. Поедет в Севастополь, в «Пятый Вавилон» — плясать мертвую.

Отлично.

Интересно другое: откуда, из каких кадетских корпусов поступают в училище эти молодые люди, будущие облав-

ники? Во всяком случае, ты ничего о таких корпусах не слышала. И была не слишком уверена, что это вообще корпуса, причем кадетские.

Третий... Ах, как летит время! — скоро четвертый год ты наблюдаешь их вплотную: облав-юнкеров, «щеглов» с первого курса и «портупей-вахмистров» с курса второго, если пользоваться училищным сленгом. Разных; и в то же время — одинаковых по сути. Высокие, сильные, с хорошо развитыми телами, отчего юноши больше кажутся мужчинами, настоящими мужчинами, у которых по недомыслию природы и попущению божьему плохо растут усы с бородой. Спокойные, слишком бесстрастные для людей их возраста, облав-юнкера никогда не ссорились между собой, крайне редко попадали в карцер — и даже традиционный, веками взлелеянный обряд «цукания» старшекурсниками младших здесь не прижился.

Поначалу что-то такое всегда наклевывалось, еле-еле дымилось и угасало само собой без видимых причин. Кстати, на твой вопрос «Почему?» Джандиери (помнишь?..) лишь растянул губы в улыбке.

Столь же похожей на настоящую улыбку, как похожи были здешние облав-юнкера на своих сверстников, юношей из хороших семейств, или даже на молодых кавалеристов Чугуевского военного поселения.

И еще: они вызывали у тебя симпатию.

Не по годам сдержанные в проявлении эмоций, они нравились тебе. Чувство, удивительное для экс-каторжанки, мага в законе. Может быть, это потому, что у тебя нет своих детей, — да, Княгиня?

Все может быть.

— К обеду распогодится... как полагаешь, милочка?

— Да. Кетеван, ты скоро?

— Заканчиваю, тхавади.

Поначалу думалось: ничего особенного. Даже мысль: «Из таких, не попади они в училище, вышли бы славные крестники...» — даже эта тихая, вполне обычная мыслишка выглядела как есть, тихой и обычной. Что с тобой, Княгиня?! Почему из темных глубин все чаще всплывает

былой разговор с Феденькой? стакан перед лицом твоим? слова простые, всей жизнью выношенные?!

Почему?!

Боишься?!

— ...ты сейчас на меня сквозь стекло глядел, а другие — они на тебя, как на стекло, смотрят. И видят за Федькой-стеклом — меня. Старую, злую, умную. Жизнью битую. Разную. Просто они слепые...

Хочешь, я подскажу тебе, Княгиня: кто видится тебе за Федькой-Феденькой?!

Кто — через кривое стекло облав-юнкеров?..

Не хочешь?

II. ДРУЦ-ЛОШАДНИК, или НЕПРАВИЛЬНЫЙ РОМ

Глаза твои пусть прямо смотрят, и ресницы твои да направлены будут прямо пред тобою.

Книга притчей Соломоновых

Всей дороги от училища к дому — минут пять-семь. Ну, десять, ежели от самых конюшен считать, наискось мимо манежа. Опять же, без спешки: задержаться в умывальне, ополоснуться с душой, до пояса, переодеться в цивильное... или лучше сказать — в домашнее? И так ведь не в мундире ходишь. На фига попу гармонь, а конюху — мундир, пусть даже зовется он не конюхом, а «старшим смотрителем конюшен»?

Ты и не спешил.

Никуда.

Раньше и не подумал бы мыться-переодеваться — чай, не барин! Так бы и подался хоть на гулянку, хоть «на дело»; а притомился — здесь же и отдохнуть прилег бы, на соломке.

Было — сплыло.

Другим ты стал, баро, ай, совсем другим, будто уж и не ром вовсе, не маг в законе, не Валет Пиковый! А верно

подмечено: и закон тебе не писан, и кудри ромские в парикмахерской месье Жиля обстрижены; разве что Валетом — остался. Это на всю жизнь, до краешка смертного. Думал ли раньше, гадал ли, каким боком жизнь эта самая обернется?

Не думал, не гадал, баро. И сейчас не гадаешь: пустое это дело, даже для козырного бродяги — самому на себя гадать, если только не «видок» ты. Да и «видоку» не все видно... Гадать не гадаешь, зато думать — думаешь.

Так ведь, Друц, душа непутевая?

Все так, все верно. Отродясь столько не думал, сколько сейчас. Стареешь, должно быть. Вон и домом на старости лет обзавелся. Виданное ли дело: дом у таборного рома?

Ан, выходит, бывает, что и дуб кивает...

* * *

— Завтра у «щеглов» из второй роты пробная выездка. Как, Ефрем Иваныч? — покажешь джигитовку, тряхнешь стариной?

— Отчего ж не показать, Илларион Федотыч? — обернулся ты навстречу пожилому вахмистру, как всегда, неслышно подошедшему сзади. Вернее, это вахмистр полагал, что неслышно; и ты не разубеждал его. — Когда выездка-то? Как обычно, в девять?

— В девять. Только ты гляди, Иваныч, рупь-за-два, без этих твоих... Без конфузиев, значит. Как в тот раз... Чтоб не увлекался, значит.

— Обижаешь, Федотыч. — С вахмистром ты давно был на короткой ноге. И звал его по-свойски, зачастую без труднопроизносимого «Иллариона», просто «Федотычем», взамен уставного «ваше рвение». Надо сказать, что и сами училищные дядьки-наставники уставного обращения не любили. — Да ведь и ты рядом будешь. Одернешь, ежели что?

— Одерну. Только пока я тебя, кучерявого, дергать кинусь... Постарайся, рупь-за-два? «Щеглы» ведь, они «щеглы» и есть, желторотики! Пока разберемся: у кого нюх, у кого глаз, у кого хватка... ну, ты меня понял...

Морщинистое лицо Федотыча съежилось печеной картошкой; он оглушительно чихнул, трижды перекрестив рот.

Чтобы бес не влетел.

По сей день тебя мучили сомнения: есть ли у вахмистра допуск к спискам негласных сотрудников. Намекает ли? знает ли, с кем имеет дело? просто делится сомнениями?! Федотыч был не из «нюхачей», не из старших преподавателей, но служака опытный, тертый жизнью, у таких не в звании счастье, не в чине дело.

Может, и знает, да виду не подает.

Бросает тихую натырку: «Пока разберемся, у кого нюх... ну, ты меня понял...» А если не понял ты его, значит, не понял. Бранить начальство не станет — прямой команды не поступало; а вахмистрова блажь с ходу учинить «щеглам» двойную проверку...

Или ты все-таки лишнее заподозрил?!

— Буду стараться, Федотыч. Ну, бывай, до завтра.

— До завтра, Иваныч.

ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ

При первом, мимолетном взгляде глаза вахмистра Федотыча похожи на оловянные пуговицы. И при втором — тоже. Но вы не поленитесь, взгляните в третий раз:

...пристань.

Не какие-нибудь там покосившиеся рыбачьи мостки, хотя, конечно, и не каменный причал для морских судов. Речная пристань в тихой заторе — старая, надежная, крепкая. У пристани баркас покачивается. Краска на баркасе выцвела, облупилась, названия не разобрать, но по всему видать — справная посудина, проверенная.

Еще послужит хозяевам.

* * *

Дожил, каторжник беглый?! «Рад стараться!» — вахмистры по отчеству кличут, кочевать бросил, обстоятельным человеком стал, мещанского сословия! Степенный, неторопливый... набожный даже. Ты приложил ладонь к груди, нащупал под рубахой нательный крестик. Уж года полтора, как окрестился — а до сих пор привыкнуть не можешь, ром гулящий!

Шиш вам — гулящий!

Оседлый.

И не «Драда-ну-да-най!», а честно-благородно: «Ехал казак за Дунай...»

Ты направился к воротам: мимо тщательно выметенного плаца, турников, лесенок, гимнастического бревна, мимо серого трехэтажного корпуса администрации. Открывая врезанную в стену калитку из узорчатого чугуна, привычно махнул рукой выглянувшему в окошко знакомцу-караульному — бывай, мол!

Вышел на улицу.

Вот и закончился еще один день. Брат вчерашнего, сват завтрашнего... Брат? сват?! Врешь ты себе, баро; сам знаешь, что врешь. Вроде бы по кругу ходишь, на привязи: лица, стены, конюшни, конюхи, лошади, за которыми нужен твой наметанный глаз (а за людьми вдвое того!), — и все равно каждый день что-то да меняется.

Не вокруг. В тебе самом.

В таборе — наоборот. Шум, гомон, разноцветный водоворот красок, звуков, запахов, новые лица, новые дороги, новые города; вот только сам ты остаешься прежним. Друцем-лошадником, лихим ромом, магом в законе. В тридцать лет, в сорок, в пятьдесят — пока не сдохнешь на обочине, в канаве. Сколько ты коней свел на своем веку, Друц? Пожалуй, добрый табун наберется. А счастья-ума ни украсть, ни нажить так и не сумел.

Не пора ли остепениться?

Спасибо Шалве Теймуразовичу: остепенил. Счастья от этого, ясное дело, не прибавилось (хотя жив остался, грех Бога гневить!) — зато умишко понемногу наживать стал. Выходит, в пояс надо кланяться ихней светлости господину Циклопу; а земной поклон — отцу Георгию, епархиальному обер-старцу при училище.

С отцом Георгием вы сошлись на удивление быстро. Впрочем, были на то свои причины, о которых не всякому знать надобно...

Ты миновал старинное здание фельдшерского училища, украшенное с фасада колоннами, — фельдшера давным-давно соседствовали с училищем облавных жандармов. Чуток постоял перед единственным подъездом двух-

этажного казенного дома, что служил тебе пристанищем последние три года.

Войти медлил.

Смешно: «казенный дом» всегда означал для тебя одно — тюрьма, буцыгарня. К слову сказать, здешняя арестантская рота, а также тюрьма располагались неподалеку, в Залопанской части города. А оказалось, что «казенный дом» — вовсе не обязательно острог. Всего лишь жилое здание, находящееся на содержании у казны. Обычный дом, где живут люди, состоящие на государственной службе. Опять же смешно: ром-конокрад, беглый каторжанин — на государственной службе! Который год об этом думаешь; который год дивишься, хотя и меньше, чем поначалу.

Ты достал папироску, повертел в пальцах. Раздумал, спрятал обратно в коробку и, вразвалочку поднявшись по вытертым ступенькам, потянул на себя привычно заскрипевшую дверь.

К себе идти не хотелось — тоскливо одному в четырех стенах; но ты и не собирался к себе. Как не собирался и разбор чинить: думы твои правильные — что есть они?! Личина, въевшаяся копотью в старую шкуру, или шкура новая, отросшая поверх былой язвы?!

О заборо, ли роскэдава, э паш да раскри, мамо!.. О забор, тебя я поломаю...

Нет.

Нельзя.

Ехал казак за Дунай...

Крохотная квартирка отца Георгия находилась в самом конце длинного коридора.

Мелодично звякнул колокольчик.

— Заходи, Дуфуня. Не заперто, — послышалось за дверью.

* * *

Перекрестившись на скромный иконостас с горящей перед ним лампадкой, ты еще отметил задним числом: рука сама поднялась для крестного знамения. Раньше вперед голова думала, напоминала. А теперь — само.

Вера?

Или привычка?

Размышлять о таком не хотелось: только сомнениями душу истерзать. Да и не за тем пришел ты к отцу Георгию.

В крохотном кабинете тени гуляли по стенам. Тесно им, черным; жмутся друг к дружке, толкаются плечами. Окошко шторкой задернуто, на столе керосиновая лампа теплится — а сам стол, как обычно, книгами да бумагами доверху завален. На стене — полочки аккуратные; на полочках — опять книги, книжки, книжищи... И добро б церковные фолианты, как батюшке по сану положено. Ну, ладно, Библия! Молитвослов! «Православное обозрение»! «Духовный Вестник», наконец...

Нет! — тут тебе и Уложение о Наказаниях с комментариями, во всех семи томах, с золотым тиснением; и подшивка «Бюллетеня Департамента Юстиции» за последние пять лет, с самого первого выпуска; и «Круговая порука у славян» профессора Себастьянского, и «Индивидуалистическое направление в истории философии государства», вкупе с «Обозрением ложных религий — языческой, новоавраамитской и магометанской» архимандрита Израиля.

Ладно! Уговорили! Обер-старец епархиальный по должности обязан быть докой в юриспруденции! в праве светском и церковном!

Молчу!..

Но Коран магометанский? Талмуд авраамитский? Толстенная книжища «Зогар», знать бы чья?! Чинское «Дао-дэ-цзин», прости Господи! — эдак родное таборное «Драдану-да-най» тоже чьим-то мудрым сочинением окажется! А с самого краю, стопкой — сочинения некоего господина Папюса: «Практическая магия», «Белая магия», «Черная магия», «Теория магии», «Рождение мага», «Становление мага»...

— Опять книжки разглядываешь? — Отец Георгий, мягко усмехаясь, поднялся тебе навстречу из-за стола. — Заходи, садись. А чем глазеть всякий раз — взял бы да полистал, если приглянулось. Грамотный ведь?

Во всем кабинетике и места-то было: стол поставить, полки с книгами по стенам развесить да хозяину с единственным гостем кое-как преклонить колена. Вот ты и умос-

тился на скрипучем венском стуле — старожилы говорят, из самой Вены еще в австро-прусскую войну вывезли дюжину красавцев и по квартирам раскидали.

— Здравствуйте, отец Георгий. Сами знаете: грамотный я. Зачем спрашивать?

— Здравствуй, Дуфуня. А спрашиваю, ибо в толк не возьму: отчего ты книжек не читаешь?

Это у вас было нечто вроде ритуала. Почти любой разговор с отцом Георгием в его кабинете начинался с этих фраз.

— Читаю я. Вы мне Библию дали, ее и читаю. По второму разу взялся — с первого-то и не поймешь, кто кого родил!

Врешь ты, бродяга!

По второму он взялся...

— Это верно, — одобрительно кивает батюшка. — Вечная книга. Я уж и не упомню, в который раз перечитываю. Ну а кроме Библии?

— Да не могу я две книги сразу читать — в голове все путается! Разве что газеты... новости разные...

— Ну, о чем пишут в тех газетах?

Стремление отца Георгия приобщить тебя к образованности сейчас было на руку.

— Да вот, к примеру...

Ты полез за пазуху, зашуршал припрятанным до поры номером «Харьковских губернских ведомостей», купленных утром у мальчишки-разносчика на Горбатом мосту.

— Не читали еще, батюшка?

— Нет, не читал.

— Вот здесь, где «Иностранное обозрение».

— А ну-ка, ну-ка...

Батюшка углубился в чтение. А ты украдкой глядел на него со стороны и думал: как удивительно преображаются некоторые люди, когда увлечены делом. Обычно сутулый, худощавый, какой-то нескладный, неустроенный в этой земной жизни, отец Георгий вдруг стал напоминать иконописный лик: обычно мягкие черты лица его осветились внутренним, одухотворенным светом, одновременно затвердевая; выпрямилась спина, и даже в тонких пальцах,

сжимавших газету, чувствовалась теперь некая властная сила.

«Небось, когда я читаю, так полным дураком выгляжу, — подумалось невпопад. — Губами шевелю, лоб морщу, в затылке чешу... Глаза таращу. Вот разве что когда на коня сажусь... Посмотреть бы со стороны! Ну хоть разок!»

Однако зловредная память немедленно отравила удовольствие, подсунув картинку:

Вот ты, увлекшись, горячишь коня; вот за тобой скачет, пытаясь не отстать, молодой облав-юнкер — ай, хорошо скачет, морэ, с душой, с сердцем, как настоящий ром! Не зря учил! Раскраснелся парень, разрумянился парень, глаза у парня горят... У «Варвара»?! у облавника?! Горят?! В жизни не видел! В жизни... А Севастополь, «Пятый Вавилон», где плясал упившийся ротмистр, — не жизнь?

Не твоя, баро?!

В следующий миг облав-юнкер запрокидывается назад в диком, неистовом, безумном хохоте, жеребец под ним встает на дыбы...

Обошлось.

Облав-юнкер отделался сломанной рукой и «нервной горячкой», как сказал доктор. Однако месяца три проваляться в госпитале парню пришлось. А ты получил жесточайшую выволочку лично от начальника училища, полковника Джандиери. Поначалу князь вообще хотел категорически отменить занятия по джигитовке, которые ты вел с недавних пор. Но тебя сумел отстоять у начальства друг ситный, пожилой вахмистр Федотыч — он в свое время и предложил добавить к выездке джигитовку, когда увидел, как ты играючи уворачивался от трех его лучших учеников. Ясное дело, выездка — это одно, а то, что бывалый ром с конем творить умеет, — совсем другое. «Две большие разницы», как говорят в мажьем городе Одессе. Федотыч — он таки умница, даром что вахмистр из облавных. Сразу смекнул, каким краем твою науку облав-юнкерам на пользу приспособить. Да и ты не возражал. Обидно было бы все, что нажить успел, за собой на тот свет унести.

Пусть хоть ребята попользуются.

Вот один и попользовался — едва заворот мозгов не схватил! С тех пор как джигитовка — Федотыч всегда, рупь-за-два, при тебе. Чтоб не зарывался кучерявый ром, значит. Чтоб не срывал крыши у господ облав-юнкеров. Только и слышишь от него: «Не заводись! Спокойно, говорю!» Одно странно: впервые ты узнал, что люди от скачки с ума сойти могут! И Княгиня, едва услыхала, пристала с ножом к горлу: что да как, да с подробностями!

Спрашивал: «Зачем тебе?» — не говорит. Улыбается загадочно.

Рано, мол, сперва сама разберусь...

* * *

— ...Решились, значит, турки. — Голос отца Георгия выдернул тебя обратно из омута воспоминаний. — Искусителю руку правую рубить, а искушенному — голову. Да, жестко магометане рассудили; считай — жестоко. Горько такое читать, Дуфуня, горько.

Все это ты знал заранее — успел в обед проглядеть газету. Руку правую... Машинально опустил взгляд не на свою — на священническую десницу. Узкая рука у батюшки, холеная, почитай, девичья; на пальце безымянном — перстень с аметистом, и еще на мизинце кольцо: сапфир в окружении бриллиантовой мелочи.

Водилась за отцом Георгием страстишка: любил драгоценности. Жалованье копеечное, а исхитрялся, скряжничал, доставал... Крест наперсный — впору владыке. И от державы поощрение: редкая, можно сказать, редчайшая награда для лиц духовных — орден Св. Анны II степени с бриллиантовыми камнями.

А в остальном — бессребреник, гроша лишнего за душой не сыщется. Последнюю рубашку снимет-отдаст, глазом не моргнет, а попросишь камешек заложить в ломбарде, хоть ради дела благого, хоть спасения души для... Откажется. Молчать будет, в землю смотреть. Ясно, что не от скупости, что иное мешает, в цепи кует!

Видать, «драконью болезнь» подцепил отец Георгий на путях земных; по сей день не излечился.

— Так и у нас, батюшка, хрен редьки не слаще. Сами

знаете, лучше моего: магу в законе теперь кара куда как легкая положена. Зато крестнику-малолетку — прямиком каторга, если не казнь смертная, в зависимости от тяжести. И все ведь по суду, по новому Уложению о Наказаниях. Согласно решениям власти светской и с благословения церковного.

— Эх, Дуфуня... Возразил бы, да куда мне, грешному, переть против рожна! Прав ты. Но все ж таки — руку рубить! голову!.. Не по-человечески это, не по-христиански.

— Не по-христиански, батюшка? У турок?!

— И опять ты прав. У магометан от веку закон многажды суровей нашего был. Вот и сейчас: Оттоманская Империя решилась — значит, весь исламский мир поддержит. Ох, быстро дело деется! Так быстро — я и помыслить не мог. Скоро совсем мажье племя под корень изведут. Тут бы радоваться...

— Да уже, почитай, извели. Но ведь на все воля Божья?

— Верно говоришь, сын мой. Все в руце Божьей. Однако и человеку Господом свобода выбора дана. Чтоб сам мог выбирать меж Добром и Злом, Богом и Противоречащим. А ну отмени сей выбор — что останется? Как Свет узнать, если Тьмы не видел? если сравнить не с чем?

— Вас ли слышу, батюшка? Вы ли обер-старец епархиальный?! О мажьем семени печалитесь?

Беседуя с отцом Георгием — одним из немногих, кому было известно твое настоящее имя и кто мог произносить его вслух, не заботясь о чужих ушах, — ты всегда чувствовал себя не в своей тарелке. Взялся ром таборный с ученым батюшкой споры спорить! Однако и молчать-слушать плохо получалось. Видать, Друц, так тебе на роду написано, душа твоя беспокойная! Вечно ты рылом в лужу суешься: поначалу в мажью науку пошел (Ефрем-крестный ведь силком не тащил!), потом — к «Варварам» в облав-конюхи; теперь вот — в прения богословские со священником лезешь.

Учит тебя жизнь, учит...

Однако отец Георгий бывал только рад подобным спорам. Наконец-то нашел батюшка человека, с коим мог мыслями тайными поделиться. Не давали покоя те мысли

отцу Георгию. О, как ты его понимал, бывший лошадник Друц!

Оттого и сошлись.

— Верно говоришь, сын мой. И отцы Церкви нашей так говорят: истощилась чаша терпения Его, воздается наконец по заслугам всем, кто во грехе мажьем погряз. Божьи мельницы мелют медленно — слыхал небось? Потому и бьет гнев Его по тем, кто еще только встал на путь неправедный. Есть еще у крестников мажьих надежда на Спасение: искупить грех перед Господом смертью мученической и войти в Царствие Небесное. А закоренелым грешникам, кто в Законе своем пагубном давно погряз, кто сам Искусителем стал, подобно Змию, имя которому — Сатана; тем, кто искусил малых сих, — горе им! Не даст им Господь смерти мученической во искупление, но воздаст за гробом муками вечными!

— Складно оно, конечно, выходит... — с сомнением пробормотал ты, не глядя в глаза батюшке.

— Вот то-то и оно, что складно, — с тяжелым вздохом согласился отец Георгий. — Может, в ересь впадаю? Может, кощунство говорю — но сердцу не прикажешь! Не могу поверить, что на смерти страшные, нехорошие, *незаконные* — воля Его! И не верить не могу: Святейший Синод решение вынес однозначно. А все ж... муторно мне, Дуфуня. Тяжко.

— И мне, — угрюмо кивнул ты, соглашаясь в свою очередь.

— Потому и спешу успеть, пока поздно не стало. Успеть, понять — что вперекос делается? Что мы, дети Адама с Евой, потеряем, если уйдет последний из магов? Станем, потерявши голову, по волосам плакать?! И доплачемся, быть может?!

Ты снова угрюмо кивнул, на этот раз молча. Умеет все-таки говорить отец Георгий, выразить словами муку, что у тебя самого в душе комом горьким ворочается, наружу просится — да не выходит, поперек горла встает. Как у собаки: все понимает, а сказать не может!

— Ведь ты пойми, Дуфуня: это искус, великий искус! Не сама магия, не «эфирные воздействия» — грош цена

сему соблазну. В другом искус. В Законе мажьем! В том, как крестный крестнику свое умение передает. Он ведь не учит, не наставляет — он слепок с себя делает, он под копирку пишет, фотографическую карточку проявляет. Представь: узнают о Законе прочие люди? Представь: найдут способ и себе Договор заключать? Будь ты хоть пекарь, хоть доктор, хоть музыкант...

Ты честно попытался представить. Выходило скверно. В смысле — никак не выходило. Чему, собственно, ужасается отец Георгий? Разве что самому Договору? Огонь, где руки горят, сплавляются, — не пекельное ли пламя?

— Молчишь? Молчишь, — сам себе ответил отец Георгий. — Не уразумел, значит. Ну да ладно, я и сам не сразу уразумел. А когда сообразил — так веришь, Дуфуня, на колени упал и возблагодарил Господа, что надоумил он меня, дурака, от греха уберег, от беды великой!

— Верю. Что возблагодарили, отец Георгий, — верю!

Хотя батюшка был младше тебя, почитай, во всех смыслах — язык не поворачивался «тыкать» обер-старцу, как равному. Раньше, когда в Законе был — еще как повернулся бы! Помнишь, на суде: обложил тройным загибом, конвоиры еще по хребту надавали? Зато теперь, после крещения, после училищных будней — робеешь, Друц-лошадник?

Никогда раньше робости за тобой не водилось...

— А вот от какой беды вас господь уберег, батюшка, — сего не понимаю.

— От языка моего длинного да от скудоумия. Я ведь уж совсем было собрался поведать иерархам церкви нашей о сути Договора мажьего! А ну как поддались бы дьявольскому искусу! нашли бы способ меж обычными людьми Договор заключать!

— Искус?! — изумился ты. — Не с чертом ведь Договор подписываем — друг с другом! Вон и мы с Княгиней, когда на службу государственную нанимались, особый контракт подписывали. Вы же его и визировали, как епархиальный обер-старец! Значит, церковь одобряет...

— Ерунду молотишь, Дуфуня! — Отец Георгий, разгорячившись, даже слегка пристукнул кулаком по столу, что

за ним водилось крайне редко. — В том-то и весь страх, весь ужас, что церковь одобряет! одобрит! возражать не станет! А государство — тем паче. Ты пойми: ежели узнают да способ найдут, как без учебы человека всему, чему угодно, научить, будь он хоть лоботряс распоследний, хоть тупица, — многие за это ухватятся. Отец сыну бесталанному дело передаст; начальник себя на подчиненном тиснет! А по-старому вскоре никто ни учиться, ни учить не захочет! Понял?

— Простите, отец Георгий, дурака: не понял! — честно признался ты. — Ну, будет пекарь-лекарь своего подмастерья через Договор учить... В чем беда?

— Да неужто не понимаешь?!

Лицо батюшки пошло красными пятнами. Но одернул себя отец Георгий:

— А ведь верно! Не понять такого сразу; я и сам, пока дошел... Видишь, Дуфуня: плохой из меня учитель, плохой толкователь. А будь меж нами Договор — все б ты понял! И верно меня Господь вразумил: нельзя такого людям открывать! Если даже ты маг в законе... Давай иначе подойдем: знаешь ведь, не бывать оттиску лучше оригинала! Даже вровень не получится! Ты, Валет Пиковый, своего ученика только на Валета выучить сможешь; и то — в лучшем случае.

— Вряд ли, батюшка. Данька Алый — он выше Десятки и не поднялся бы, останься жив. А перед ним...

— Тебе б, Дуфуня, архивы уголовные полистать... Знаешь, что, к примеру, Валеты козырные сорок лет назад творили? А пятьдесят? А в начале прошлого века? Сейчас такое не всякому Королю под силу! Мельчает порода мажья, уходит сила водой в песок. Станут иные люди через Договор ремеслам-искусствам учиться — конец людям! В дикость скатимся! Теперь понял?

— Понял, — с трудом выдавил ты.

Ох, боже ж ты мой! — смог наконец представить. Неприглядное зрелище выходило, глаза б не видели. Не Божий промысел, никак не Божий. Вот только...

И не заметил, как вслух заговорил.

— Так может, не маги виновны, отец Георгий? Не сила

мажья, не «эфирные воздействия» — а сам Договор? Может, в нем грех? Хоть и не кровью подписываем, душу не закладываем — а на огне адском все одно скрепляем? Потому стоять старшему Козырю за левым плечом крестника — до окончания Договора? Глядишь, если бы маги учеников своих по-другому учили, как обычные люди друг дружку, — и греха бы в том не было?

Отец Георгий ошарашенно уставился на тебя. Хотел что-то сказать — но ты, забыв на миг про епархиального обер-старца, полез на полку за Библией, раскрыл, непослушными пальцами принялся листать шуршащие страницы.

— Вот... сейчас, сейчас найду... Ведь и Христос чудеса творил! Тысячи пятью хлебами кормил, воду — в вино... Лазаря воскресил! Сейчас бы его мигом: трупарь, некромант! — и в петлю!

— А тогда — на крест. — Ровный голос отца Георгия окатил тебя ведром ледяной воды. — Ты, Дуфуня, и сам не знаешь, в какие язвы персты вложил. Над этим вопросом лучшие богословы не первую сотню лет головы ломают. Одни ересь говорят, как ты: магом был Иисус, великим магом — за то и пострадал! Когда судили Его властью светской и духовной, когда на Голгофу отправляли — это первый суд над магом был, первая казнь за «эфирное воздействие». А значит — ничего в ворожбе богопротивного нет, раз и сам Сын Божий...

Отец Георгий не договорил, торопливо перекрестился.

— Опять же, святые чудеса творили...

— Вот! — не удержался ты. — Ну, Господь, я понимаю... Все в Его власти, не нам судить деяния Его!.. Но святые-то — люди!

— Все верно, сын мой, люди они были. Оттого и возражают еретикам богословы-ортодоксы: творились чудеса именем Божьим и во славу Его. Маг же творит эфирное воздействие от своего имени, сугубо корысти ради. Хоть своей, хоть чужой — но кто-то так или иначе выгоду мирскую от его волшебств имеет. Святые от чудес пользы личной не имели. Потому и было это — чудо Господне; а мажья работа — ворожба мерзкая, богопротивная, от дьявола идущая. Тут Православная церковь, как сие ни удиви-

тельно, полностью сходится и с католиками, и даже с авраамитами: последним всякая ворожба запрещена строжайше, поскольку искажает замысел Творца. О магометанах я и не говорю — Магомет чудес не творил, ему их после чернь приписала...

Сказано, как отрезано. Не тебе, ром новообращенный, бибахтало мануш[1], с мудрыми богословами тягаться! Верой, разумом, рылом не вышел, баро!

— А вот слова твои про Договор... — Священник говорил раздумчиво, словно ты давно ушел восвояси. — Что в нем самом грех, а не в ворожбе... ты небось и сам не понял, что сказал-то! Сколь лет я над этим бьюсь, сомнениями мучаюсь, истину найти хочу — а о таком не думал! И ни у кого из богословов, ни в одном трактате о магии не встречал! Ты даже не понимаешь...

— А вы, отец Георгий, понимаете?.. Добрый вечер, отцы-схимники!

* * *

Чуть насмешливая полуулыбка. Лукавый блеск зеленых глаз сквозь паутину вуалетки, приспущенную с модной шляпки. Строгий, темно-серый костюм в английском стиле — ай, постарался умелый портной Яшка Шмаровозник, нарочно для поздней беременности шил-кроил! Вроде бы и пузо огурцом, а жакет даже притален слегка, и юбка складками шелестит, кокетничает. Никогда не скажешь, что на восьмом месяце баба! Опять же: черный лак туфелек с изящными серебряными застежками-мотыльками...

Большая барыня в гости зашла!

...В дверях стояла, войдя неслышно (действительно неслышно, в отличие от вахмистра Федотыча), несмотря на звонкие каблучки, твоя крестница.

Акулька-Акулина.

Нет. Теперь — Сохатина Александра Филатовна, в девичестве Вишневская, представительница Малороссий-

[1] Неудачник, человек без счастья (*ром.*).

ского отделения Всемирного Общества защиты животных в Харьковской губернии, студентка подготовительного отделения Харьковского ветеринарного института.

«Атеистка рыжая, бесстыжая», — добавил ты про себя.

И мимо воли улыбнулся.

При этом почувствовав, казалось бы, совершенно неуместную отцовскую гордость.

III. РАШКА-КНЯГИНЯ, или БЕЗУМСТВУ ХРАБРЫХ ПОЕМ МЫ ПЕСНЮ...

> Женщина безрассудная, шумливая, глупая и ничего не знающая садится у дверей дома своего на стуле, чтобы звать проходящих дорогою...
>
> *Книга притчей Соломоновых*

— ...и вы представляете, дорогой мой князь! Петруша Скирский, молодой семинарист, подыскал себе невесту и место в Мироносицкой церкви. Остановка только за рукоположением! Идет он к экзаменатору ставленников, небезызвестному вам ключарю Гнедичу...

— Гнедичу? Григорию Гнедичу, протоиерею? О котором писали в «Губернских Ведомостях»... м-м-м, дай бог памяти... «Особенность экзаменов его состояла в том, что они обязательно должны были сопровождаться приношениями в виде рому, вина, чаю, сахару и т. п. Денег, впрочем, не брал»?

— Ах, как интересно! Продолжайте, господин профессор!

— Так вот, является наш семинарист, наивная душа, к Гнедичу с пустыми руками. Ходит день, другой, третий, но толку нет. Наконец ему на ушко разъясняют суть дела. Тогда Скирский берет пакет, складывает туда бутылку рому, бутылку мадеры, штоф кизлярки и столько-то чаю с сахаром. Гнедич-ключарь осмотрел приношение, нашел его удовлетворительным и, назначив юноше на утро, как человек аккуратный, пишет себе на клочке бумаги: «От П. Скирского 1 бут. рому, 1 бут. мадеры» — и т. д. И по рас-

сеянности забывает сей злосчастный клочок в середине прошения Скирского, на коем сам начертал максимально благоприятный отзыв!

— Ах! Какой конфуз!

— Илья Семенович, я надеюсь, этим не закончилось?

— Что вы, князь! Наутро семинарист с прошением и отзывом спешит к преосвященному владыке Иннокентию. Последний читает отзыв и обнаруживает запись! — о ужас! Семинарист запираться не стал, поведал все как есть...

— И что?! Не томите, господин профессор!

— Ну, характер владыки всем известен. Гнедич владычным указом от должности экзаменатора освобожден, а сама должность упразднена, яко излишняя.

— Да-с, суров владыка...

* * *

Скучаешь, Рашка?

Нет.

Ждешь.

Россыпь снежно-белых столиков трудами слуг выросла под ближними тополями — в мае от пуха не продохнешь, но рука не подымается срубить красавцев. Гости раскраснелись больше от приятной беседы, чем от наливки из вишен; нет-нет, а каждый то и дело поглядывает на дорогу: не едет ли маэстро Сохатин?

Все ждут Феденьку.

А ты — больше всех.

Соскучилась?

Дальше, в стороне от гостей, на веранде дома сидит в кресле молоденькая девушка; за левым плечом девушки, с головы до ног в черном, вороной примостилась матушка Хорешан. Истинная *дедакаци*[1], она свято чтит традиции рода Джандиери и говорит крайне мало, почти всегда на родном языке. В этом она соперничает с твоей камеристкой, зачастую одерживая убедительную победу. Легко представляется: дикие персы-таджибуки перед дворцом

[1] Дедакаци — достойная женщина, дословно «мать-мужчина» (*груз.*).

Чехель-соттун терзают пожилую женщину и отступают, не добившись от нее стона. История родины князя изобилует подобными случаями; равно как подобными женщинами.

Сама родина такова.

Матушку Хорешан, свою двоюродную тетку, князь перевез с Кавказа через восемь месяцев после вашего прибытия в Харьков, едва лишь приобрел дачу здесь, в Малыжине, за чертой города.

Перевез вместе с твоей камеристкой — и, что гораздо важнее, со своей единственной дочерью Тамарой.

Этих трех женщин ты про себя звала «семьей Шалвы», за неимением более подходящего слова.

Словно услышав твои мысли, девушка в кресле сладко выгнулась, забросив руки за голову. Летнее платье натянулось, подчеркивая грудь, излишне обнажив стройные щиколотки — поза, мало приличествующая барышне из знатной семьи. Не странно ли, Княгиня! — тебе пришла на ум давняя история, рассказанная синагогальным служкой в Житомире. О некоей юной авраамитке, которую деспот-бургомистр велел за ведьмовство привязать к дикому жеребцу. Последним желанием несчастной было получить две булавки: ими она приколола подол прямо к ногам, дабы не обнажиться во время казни пред чужими людьми.

Но красавицу Тамару приличия интересовали примерно в той же степени, как и благотворительность в пользу голодающих эфиопов.

Княжна не была бесстыдницей.

Отнюдь.

Княжна была слабоумной.

Помнится, при вашем первом знакомстве ты испытала изумление, едва ли не физическую боль: никак не удавалось почувствовать девушку. Любой посыл даже не разбивался — увязал в безответной трясине. Как если бы вместо Тамары перед тобой стоял жандармский офицер из «Варваров». Сходство усиливалось тем, что внешностью княжна очень напоминала отца. Сам отец с отменной вежливостью представил вас друг другу — «Моя дочь, Томочка. А это, родная, моя новая жена. Если хочешь, зови ее про-

сто Эльзой...» — ты же радушно взяла девушку за руку и едва удержалась, чтоб не вскрикнуть.

Радушие за равнодушие.

Рука была абсолютно *пустой.*

У людей так не бывает. Девушка ничего не ответила, глядя мимо тебя; потом, когда ты отпустила ее руку, Тамара улыбнулась своим мыслям и медленно пошла прочь, сопровождаемая матушкой Хорешан.

— Не обижайся, Эльза, — тихо сказал Джандиери, дернув щекой. — Сама видишь...

Эльзой вместо старой привычной «Раисы Сергеевны» он стал называть тебя сразу по приезде. Ни разу не сбился, не оговорился, не подмигнул со значением — любому на его месте была бы простительна ошибка, любому, но не Циклопу. Впрочем, каждое из этих имен имело равное право на существование — никакого права.

Мишура.

— Я не обижаюсь, — ответила ты.

Ты действительно не обижалась. Нельзя обижаться на тополь, на ветер, на иволгу в ветвях, если они забудут отозваться на твое приветствие. Нельзя обижаться на бедную, ни в чем не виноватую Тамару Джандиери.

Тогда ты еще не знала, что полюбишь несчастную. Ты думала, что девушка — немая, в придачу к слабоумию. И впрямь, больше двух месяцев ты не слышала от нее ни слова. Дача, купленная князем по случаю, раньше принадлежала Голицыным и скорее походила на обустроенную усадьбу; здесь вполне можно было жить круглый год. В получасе езды, на месте другого своего имения, добросердечные Голицыны учредили дом призрения для сирых и убогих — ты полагала это гримасой судьбы. Ведь правда, Княгиня моя! — богадельня там, и богадельня здесь, вопрос лишь в позолоте; вернее, в ее наличии или отсутствии.

Тебе казалось, что у вас много общего: убогая Тамара Джандиери и убогая Рашка-Княгиня, две искалеченные птицы, запутавшиеся в силках.

Ты ошибалась.

— Здравствуйте, Эльза, — августовским душным и пыльным утром бросила тебе на бегу Тамара. И во весь дух

припустила в сторону пруда, вынуждая матушку Хорешан ковылять следом, крича что-то по-грузински. Тебе некогда было вслушиваться в смысл чужих слов, некогда и незачем. Ты просто смотрела на беглянку и ее верную дуэнью, а в голове пойманным воробьем билась мысль:

«Она не немая! Она разговаривает!..»

Тамара разговаривала еще полторы недели. Демонстрируя наличие здравого смысла и рассудительности. К концу месяца она замучила тебя просьбой сыграть ей в очередной раз «что-нибудь из Шопена», а в начале сентября опять превратилась в растение с тихой, печальной улыбкой на лице.

Примерно тогда же в городе заговорили о сумасшествии полковничьей дочери. Сочувствовали, сплетничали; перешептывались. Записной сердцеед Мишель Данзас, драгунский офицер и племянник вице-губернатора, даже пошутил однажды в обществе, что быть ему непременно зятем Джандиери, ибо отродясь не любил Мишель умных женщин.

Циклоп прислал Данзасу вызов на дуэль. Шутник в качестве оружия выбрал саблю, коей, по слухам, владел превосходно, и был во время поединка хладнокровно изуродован полковником: Джандиери превратил веселого красавчика в ночной кошмар раньше, чем успели вмешаться секунданты.

Более шутить не пытались.

Даже сплетни о тебе, Княгиня, теперь предпочитали рассказывать вполголоса, с оглядкой через плечо.

* * *

— Едут! Едут!

Послышался частый перестук копыт, шуршание колес по листьям, вдоволь усеявшим домашний парк; от ворот донесся утробный лай — дог Трисмегист, мраморная громадина, в часы покоя больше похожая на статую, если кого любил, то любил беззаветно.

— Едут!

Ты с замиранием сердца следила, как, спрыгнув с брички и помогая сойти жене, к вам оборачивается — он.

Федор Федорович Сохатин.

Феденька...

«Леший! Федюньша-лешак, неприятная сила! Ишь, страшной! Беги-и-и-и!..»

Как всегда, он играл какую-то свою, увлекающую его целиком, без остатка, роль. Способный с равным шиком носить фрак и гусарский доломан, на этот раз Феденька вырядился по старой, принятой меж здешними мещанами, моде середины прошлого века. Сейчас так одевались, пожалуй, лишь знаменитые кулачные бойцы, собираясь в излюбленном месте: за хоральной синагогой, на площади по Мещанской и Белгородской улицам.

Ишь ты! — могучие плечи до треска в швах распирают жупан: короткий, синего сукна, подпоясан в три слоя алым кушаком.

Вот вам! — шапка из сивой смушки лихо сбита набекрень.

А если?! — черные плисовые штаны с напуском заправлены в сапоги, начищенные до умопомрачительного блеска.

И наконец: крепко сжатая зубами, дымится маленькая, в серебряной оправе трубочка.

Щеголь-обыватель родом из прошлого.

Ты помнила — точно так же Феденька был одет, когда на третьем ударе свалил прославленного Коваля, студента медицинского факультета, а потом в гостинице Афанасьева напоил проигравшего «в лежку» и на собственных плечах доставил домой, на другой конец города.

— Федор Федорович!

— С приездом!

— Александра Филатовна! Все хорошеете, милочка!

— Маэстро!..

— Стихи! новенькое! почитайте!!!

Сукин сын Федор разом изменил походку: не гоголем, косолапым топтыгиным расшаркался перед обществом, приложил ладонь к сердцу, мигом став похож на актеришку-бенефицианта из провинциальной труппы.

Воздев очи горе, задекламировал с томным нижегородским прононсом:

— Закат распускался персидской сиренью —
О час волшебства!
И шкуру оленью, испачкана тенью,
Надела листва.
Река истекала таинственной ленью...

Помолчал.

Посерьезнел лицом, обвел присутствующих медленным, тяжко-ощутимым взглядом.

И без шутовства, твердо и спокойно, вбил гвоздем последнюю строку:

— ...пустые слова.

Раздались аплодисменты.

Разумеется, никакого эфирного воздействия Федор себе не позволил: твой запрет, Княгиня, был для него свят. Крестнику до выхода в Закон самому не работать — да только здесь ничего такого и не понадобилось.

Они и без «эфира» твои, Феденька...

Акулька-Акулина (вернее, по паспорту ныне Александра Филатовна!) к тому времени уже проскользнула к ближайшему столику, села с краю и превратилась в невидимку. Умела, когда хотела. Свою беременность она носила легко, малозаметно для окружающих, к популярности мужа относилась с изрядной долей иронии — по счастью, не проявляемой на людях. Откинув вуалетку назад, молодая женщина пригубила глоток грушевого квасу, излюбленного напитка, всегда готового к ее приезду в Малыжино.

— Завидую, милочка, — так, чтоб услышали все, шепнула ей дородная супруга Ильи Семеновича, университетского профессора с кафедры римского права. — Экий у вас благоверный!.. Душевно завидую.

— И правильно делаете, — звонко отозвалась крестница, напрочь отбив у госпожи профессорши охоту вести светские беседы. — Я бы на вашем месте тоже завидовала.

После чего послала обиженному профессору воздушный поцелуй, превратив обиду в удовольствие.

ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ

И совсем нетрудно рассмотреть, что у профессорши в глазах:

...курица.

Ходит по двору, лапой скребет, зернышки выискивает: склонит голову набок, посмотрит одним глазом, другим —

хороша ли находка? Ах, и это, похоже, с изъяном! Ко-ко-ко, ко-ко-ко, жить-то стало нелегко! Или остановится, украдкой на петуха взглянет — того кочета с гребешком набок, что поодаль разгуливает. Всем хорош петух, жаль, староват уже.

Вот соседский...

* * *

Федор же, купаясь в восхищенных приветствиях, подошел к тебе, Княгиня. Пал на одно колено; поцеловал в ладонь, тронув горячими, твердыми губами.

— Ну что твой Крейнбринг? — спросила ты, погладив вороные кудри.

— Меценатствует, тетя Эльза. — Федор с напускной скукой развел руками, но по сияющим глазам его читалось легче легкого: фабрикант, пасынок Муз, раскошелился больше, чем предполагалось ранее.

— Надолго к нам?

— До вечера, тетя Эльза. А может, заночуем. Не прогоните на ночь глядя? Едут дроги по дороге, стоит тетя на пороге...

— Глупости несешь, пиит! — вмешался Джандиери, улыбаясь шире, чем делал это обычно. Ты насторожилась, ибо в придачу к неестественной улыбке господин полковник еще и снова пустил трещинку по краешку голоса. Второй раз за день, чего раньше не случалось. Циклоп, не часто ли?

Впрочем, кто заметит, кроме тебя?..

— Мало что не прогоним! Силой заставим остаться! Даром ли я по жандармской части?!

— Недаром, дядя Шалва. Все знают — недаром.

Федор протянул Джандиери руку. Мужчины обменялись крепким рукопожатием; это не удивило общество — собравшиеся знали, что племянника своей второй жены, Федора Сохатина, не имеющий сына-наследника князь любит больше всех.

В завещании небось ему много чего отпишет.

Для тебя не было тайной, что Феденька, проходящий по документам твоим племянником, для здешнего высше-

го света числится в твоих незаконнорожденных сыновьях. «При первом муже прижила на стороне! — шептались втихомолку. — От этого!.. от гусара Хотинского!.. Да какого гусара! — от жокея-англичанина! А записала племянником, чтобы держать при себе, не позорясь!..»

Эти слухи тебя вполне устраивали.

Более того: они устраивали Джандиери.

— Федор Федорович! — вмешалась профессорша. — Умоляю: «Балладу призраков»! Будучи в недомогании, пропустила ваш вечер у графини Трубецкой... умоляю!..

— Просим! — зашумели гости. — Федор Федорович! Просим!

Ты поймала Феденькин взгляд: петь ли, Княгиня?

Кивнула.

А он, мерзавец, опрометью ринулся к бричке, зашарил где-то в ногах и извлек... мандолину. Старую, лаковую. Победно вскинул над головой, вызвав у окружающих стон восторга; вернулся и подал инструмент тебе.

— Ум-моляю, тетя Эльза! Будучи в недомогании после вечера у госпожи Крейнбринг... мадера, потом горилочка-матушка!.. пальцы, знаете ли, дрожат...

Нет, профессорша так и не сумела рассердиться на своего кумира. Хотя старалась вовсю: поджимала губы, трясла мопсовыми брылями. Не вышло. А ты, едва тронув мандолину, поняла: настроена заранее. Под тебя; под твою хватку, под твой характер.

В дороге, что ли, старался?

Одной рукой правил, другой настраивал?

Конечно, ты предпочла бы альгамбрскую гитару или, на худой конец, лютню — но выбора не было. Сама ведь кивнула, никто в затылок не толкал. Теперь играй, «тетя Эльза». Брюзжание было напускным: на самом деле ты любила вот такие дни, вечера, собрания, когда могла видеть Феденьку, играть для него, кого считали твоим сыном едва ли не все... Включая тебя, Княгиня.

Ведь правда?

Правда. И можно в такие минуты не думать о главном: скоро Федор с женой выйдут в Закон.

Скоро — все.

Глупая старая Рашка... А ты помнишь свой собственный выход в Закон? О да, конечно, ты не забудешь его до самой смерти и после смерти не забудешь...

Давай не забывать вместе?

* * *

...знать бы еще, почему ты мне запомнилась тогда?

Шла как все.

Глядела как все.

Муха на липкой ленте — как все.

Может быть, дело в другом: ты шла не оборачиваясь. Семнадцатилетняя девчонка, маленькая дрянь, ты даже не пыталась тайком глянуть через плечо: где фея-крестная? по-прежнему стоит ли за тобой?!

Будто знала: стоит.

Здравствуйте, Эсфирь Гедальевна; как поживает ваш папа в Житомире? По-прежнему заверяет реб Ицхок-Лейбуша, что, во-первых, он давно отрекся от блудной дочери, во-вторых, дочери у него отродясь не было, и, в-третьих, жена ночами плачет, а у него тоже сердце, а сердце кровью обливается?.. Ладно, Эсфирь Гедальевна, вероотступница дражайшая, плюньте и разотрите. Что, привели ко мне вашу девочку? Ой, это же не девочка, это свежий розанчик, не сглазить бы!.. извините, у меня сегодня нет сил на шутки, и на смешной акцент, от которого вы, милая Эсфирь Гедальевна, Дама Бубен, давным-давно избавились, тоже нет сил. Стойте себе за спиной вашей девочки, которая на вас даже оглядываться не хочет, стойте молча и не обращайте внимания на мое брюзжание...

У меня сегодня хандра.

Я люблю свою хандру. Я лелею ее, баюкаю, радуюсь ее приходу, ибо обычное мое состояние носит другое имя — отчаяние. А сегодня я ворчу по поводу и без, но на самой окраине брезжит краешек солнца, встающего на западе: завтра все будет иначе, завтра, или уже сегодня, к вечеру, или прямо сейчас...

Я жду так долго, что время успело потерять для меня свою ценность, обрести и вновь потерять.

Жаль.

Жаль времени.

Как тебя зовут, девочка? Рашель? О, хорошее имя! Старое, выдержанное — не имя, вино. И служил Иаков за Рашель семь лет; и они показались ему за несколько дней, потому что он любил ее. Впрочем, детка, я не Иаков, мне недосуг служить за тебя семь лет (семь?! песчинки насмешливо текут меж пальцев...); и надеюсь, ты не обидишься, если я скажу, что не люблю тебя.

Впрочем, это не помешает мне войти в тебя, и познать тебя, и забиться в самый темный уголок тебя без надежды когда-нибудь освободиться — тысячи моих темниц, вы все приходите ко мне сами, и я сам проверяю крепость ваших стен, надежность запоров, кандалы и цепи, звено за звеном, стык за стыком...

Ну давай, для начала я зажгу тебе огонь — как всем.

Иди.

Пора бы привыкнуть, но не получается. Больно. Больно видеть этот огонь, этот обычный лесной пожар — когда раньше (раньше? смешное слово...) я мог вострубить, опрокинув на землю буйство града и пламени, смешанных с кровью, вздыбить косматую гриву Кобыльей Пасти, символа конца света, ударить оземь громовыми перунами, как мужик в запале хлопает драной шапкой... и только после этого, рассмеявшись, сказать:

— Иди!

Вот пытка: коротать вечность, мельчая изо дня в день.

И тысячи коршунов, не ведая, что творят, клюют мою печень — унося куски с собой. А печенка-дура отрастает заново, отрастает; а коршуны плодятся и размножаются, живя аки птицы небесные — не жнут, не сеют, но кормятся...

Ах, ты уже прошла?

Вижу, вижу: дождь пролился с небес, и ветер разметал пламенные языки, и угли шипят по-змеиному в грязи, под босыми ногами. Кстати, почему вы всегда приходите ко мне босыми?.. Ладно, потом.

Я так понимаю, ты и сейчас не обернешься? Ну хотя бы утоли тщеславие, глянь искоса: эй, Эсфирь Гедальевна, Фира Кокотка, хороша ли я?! достойна ли своей крестной?!

Не хочешь? Ну и ладно. Понимаешь, девочка, ты у меня не одна — увы! — вас сейчас человек пять, вы идете ко мне разными дорогами, желая войти в Закон; вы идете, не видя друг друга, уверенные в своем одиночестве, в своей исключительности — а я сижу, как дурак, на перекрестке и жду вас, заранее зная: вотще.

Хорошее слово: «вотще»... Дурацкое слово, проклятое, и замечательно, что смысл его забывают помаленьку.

И без того на свете слишком много слов.

Лучше, детка, я примусь тебя пугать. У-у, бяка-кулебяка! — пять бродяг, да на большой дороге, да на твою лилейную девственность, да рожи пьяные, небритые, у одного нос провалился, ноздри торчат...

Страшно?

Не страшно?!

Зато мне куда как страшно: после синеволосых демонов Сай-Кхона, после Желтого дракона Кейнари и вечно голодной мрази из глубин Мира Скотов, после якшей с вывороченными глазами — бродяги. Сифилитики паршивые. И не на душу бессмертную покушаются; на девственность! Я не виноват, Рашка, я просто могу только то, что можете вы, что могу я-в-вас — а что я могу?!

Я — Дух Закона.

Смрадный, застоявшийся дух... Будь я проклят за свое открытие!.. Ах да, я ведь проклят. Иногда забываю; старый стал, в голове сквозняк. Я — Дух Закона, а вы все — буквы, буквы, буквы, в коих пребывать мне вечно, линяя и выцветая с каждым новым переписчиком: краски нынче дороги, перья ветшают, рука дрожит с бодуна...

Пылится в запасниках оригинал, смотрит на копии в картинных галереях... снимите, паскуды! сожгите! — меня, их, но не надо вот так! Моя б воля, ты бы шла ко мне в сиянии молний и зареве далеких пожарищ, плащ из кожи нетопыря бился бы за твоими плечами, а навершие посоха светилось в ночи рубиновым ромбом! Будь моя воля... нет у меня воли, была да вышла, и у тебя отныне не будет — я не про острог, хорошая моя, я совсем про другое...

Дура.

Ну дура и есть.

Идешь, не оглядываешься, а мои бродяги (у-у! стр-р-рашнючие!) сзади шапки ломают, кланяются в пояс:

— Спасибочки, мил-сударыня! Век не забудем! ноги мыть, воду пить...

Кто их знает, чего они не забудут, что ты им показала мимоходом?.. проглядел я. Прохлопал глазами.

Неинтересно.

Где хандра? Здравствуй, отчаяние!

...и когда ты приблизилась (чем я загораживал тебе путь? забыл...), когда встала напротив, стараясь глядеть мимо меня — что, противно? да?! терпи!!! — я пустил карточную колоду веером.

Шестерки, дамы, короли... и у всех карт одна рубашка — своя, та, что ближе к телу.

— Тянуть будешь?

— Буду.

Тонкая рука двинулась наперерез, но я ловко убрал разноцветный веер.

Последний вопрос.

Вопрос, ответ на который известен заранее.

Вы всегда отвечаете одинаково — вы, гордые, окрыленные, достигшие вершины, с крестными за спиной, которых ни за что не согласитесь предать; вы... но я должен пробовать.

Опять и опять.

Без надежды.

Лбом в стену.

— Скажи, девочка моя: может быть...

Ты уходила, Дама Бубен, будущая Рашка-Княгиня, неуклюже скрывая гордость — я! Дама! как Эсфирь Гедальевна! вровень! — ты уходила, а я оставался.

Смотрел тебе вслед.

Видя разницу между Дамой прошлой и Дамой настоящей; видя и больше всего на свете мечтая ослепнуть.

Но глупо — ибо вы уходите, а я остаюсь, уходя с каж-

дым из вас; вы зрячие, вам так кажется, вы всегда отвечаете одно и то же, а значит, мне никогда не ослепнуть.

Шут ты гороховый...

Ты — это я.

* * *

Струны больно толкнулись в пальцы.

Смирили норов, разбежались в разные стороны, путаясь диссонансами в траве; ты и сама плохо заметила, когда именно заставила гулкое эхо откликнуться в вышине — словно не на парковой лужайке, словно в зале играла, в сводчатой зале, где окна — витражами, где факелы — лохмами огня, где за длинным дощатым столом (эшафотом? опомнись!..) — лишь тени, тени, тени...

Призраки.

...я — призрак забытого замка.
Хранитель закрытого зала.
На мраморе плит, в тишине нерожденного слова,
Храню я остатки былого,
Останки былого...

Феденька вступил тихо, почти беззвучно. Случайно звякнул графин о рюмку — Илья Семенович налил было себе вишневки, да испугался звона, отдернул руку, с удивительным для неуклюжего профессора изяществом поставил графин обратно.

Капля наливки в хрустале подумала-подумала и обернулась каплей крови.

Запеклась.

Лишь Джандиери осмелился, приблизился к перилам веранды. Оперся, стал смотреть, слушать издали. Губу покусывал, полковник.

А за его спиной — дочь Тамара.

Мимо глядит.

— Когда-то я пел в этом замке.
И зал в изумлении замер.
А там, у далеких, ковровых — проклятых! — покоев
Стояла хозяйка,
Стояло в глазах беспокойство.

Я — призрак забытого замка.
Но память мне не отказала.
И дрожь Ваших губ, и дрожание шелка на пяльцах
Врезались звенящей струною
В подушечки пальцев...

Да, врезались. Трижды тебе доводилось аккомпанировать Феденьке «Балладу призраков», и трижды после этих слов пальцы переставали тебя слушаться, Княгиня. Какая-то другая правда, иное мастерство входили в них; тягучий, шотландский напев возникал сам, мимо воли — ты никогда не играла его, кроме этих редких случаев, и взявшийся ниоткуда сквозняк принимался шалить с прядкой волос у виска.

Что ты с ними со всеми делаешь, Феденька?

Что ты делаешь со мной?!

Что я, Дама Бубен, с тобой сделала-сотворила?!

— Вы помните, леди, хоть что-то?
Задернута жизнь, словно штора.
Я адом отвергнут, мне райские кущи не светят,
Я — призрак, я — тень,
Наважденье,
За все я в ответе.

В прошедшем не призраку рыться.
Ваш муж — да, конечно, он рыцарь.
Разрублены свечи, на плитах вино ли, роса ли...
Над телом барона
Убийцу казнили вассалы.

Будто повинуясь темному приказу, завыл Трисмегист. На луну, которой не было в дневных небесах; над покойником, которого не было здесь, на даче, меж светскими, живыми людьми.

А в руках Федора возникла детская трещотка из липы. Сошлись ребристые грани, простучали каблучками по плитам, громыхнули подошвами тяжелых сапог; ветер раздернул бархат портьер, и вот, еле слышно — скрип открываемой двери.

Шаги.

Живые так не ходят.

— Теперь с Вашим мужем мы — ровня.
Встречаясь под этою кровлей,
Былые враги, мы немало друг другу сказали,

Но Вас, моя леди,
Давно уже нет в этом зале.

Мы — двое мужчин Вашей жизни.
Мы были, а Вы еще живы.
Мы только пред Вами когда-то склоняли колени,
И в ночь нашей встречи
Вас мучит бессонница, леди!..

Поодаль нервным контрапунктом возник ритм. Даже не глядя в ту сторону, продолжая терзать струны мандолины, ты знала: Акулька пальцами по краешку стола стучит. Акулька-Акулина, рябая девка-егоза; Александра Филатовна, маленькая женщина, пред которой весь персонал харьковского Зоологического сада на цыпочках ходит, — да-с, господа хорошие, стучит пальцами.

Постукивает.

Легко-легко.

А мнится: мадридские кастаньеты вплелись в хор. И сразу зябко вздрогнули плечи, чуя дальний танец, стук лег на стук, вспенивая журчание мандолины памятью об ушедшей, почти забытой, — бывшей! — жизни, что стала болью памяти.

Спасибо за боль.

— ...вокруг Вашей смятой постели
Поют и сражаются тени,
И струны звенят, и доспехи звенят под мечами...
Пусть Бог Вас простит,
Наша леди,
А мы Вас прощаем.

В последний раз скрипнула трещотка.

В последний раз отозвались тонкие пальцы на краешке стола.

В последний раз всхлипнула струна.

Все.

* * *

В тишине, в молчании покинула кресло Тамара Джандиери, кукла восковая. Спустилась с веранды, растоптала зелень травы, червонное золото листьев. Каркнула за спиной матушка Хорешан, следом порхнула — опоздала.

Вроде бы и медленно шла юная Тамара, плыла случайным облачком, а догнать-упредить не вышло.

Встала княжеская дочь перед Федькой Сохачом.

Тамара пред Демоном.

И ты, Княгиня, ты тоже опоздала. Все наоборот вышло; как в жизни не бывает, не должно быть. Твердо взяли девичьи ладони парня за щеки; наклонился Федор, себя не помня, к безумице; слились губы с губами.

Надолго.

Накрепко.

А когда опять выпрямился парень, то глянул туда, где звонким клинком взвилась у стола Акулька-Акулина, жена законная, любимая. Ревнивая — хуже Отеллы-мавра, каким его Томмазо Сальвини-отец играл. Кто в тягости? кто на сносях?! я?! да своими руками!.. задушу!

Плечами Федька пожал — аж жупан едва не треснул. Не виноват я. Веришь? И что сейчас делать, не знаю.

Не виню, возвратился молчаливый ответ. Верю. И отдать — не отдам.

Да только перехватила Тамара Джандиери те взгляды-разговоры на лету. Была девушка-красавица, умом скорбная, стала птица хищная. Вместо когтей, вместо клюва — нож серебряный, с ближнего стола подхваченный. Пошли они навстречу: рыба-акулька, чудо-юдо морское, зубастое — и орлица горная, клюв-когти во все стороны. Вовсе без ума пошли: к чему сейчас двум лютым бабам ум? слова? приличия?!

Не дойти Тамаре до врагини. Закружил отец дочку любимую; перехватил Джандиери кровь свою порченую на полпути. «Браво!» — смеется. «Ай да Томочка!» — смеется. «Наша кровь!» — смеется.

Гляди, Княгиня! — тебе б Акульку держать-успокаивать, а ты иного насмерть перепугалась. Никогда раньше не смеялся так полковник-Циклоп: взахлеб, себя хохотом расплескивая. Где и научился? зачем? к счастью, к беде ли?!

Гости вид делают, что все в порядке. Гости — они люди умные.

Им — разъезжаться, вам — оставаться.

Ваше дело.

* * *

Еще через час, когда беда поутихла, сыграла ты для гостей на мандолине.

Помнишь?

Чтоб языками в городе не трепали.

IV. ДРУЦ-ЛОШАДНИК, или ЗВЕРСКАЯ ДАМОЧКА ПО КЛИЧКЕ АКУЛА

> Будь мудр, сын мой, и радуй сердце мое; и я буду иметь, что отвечать злословящему меня.
>
> *Книга притчей Соломоновых*

Оказалось, в крошечном кабинетике отца Георгия вполне может уместиться еще один гость; вернее — гостья.

Впрочем, выяснялось это далеко не в первый раз, а сейчас Акулина, прежде чем уместиться, развила бурную деятельность. Вскипятила на кухне чайник (с самоваром возиться дольше!); заварила крепчайший напиток, привезенный Русским чайным товариществом «Караван» с далекого, почти сказочного острова Ланки. Сам батюшка не мастак был чаи гонять, заваривая какую-то невнятную траву, по цвету-вкусу более всего напоминавшую смесь ржавчины с древесными опилками, — но вы с Акулиной это дело быстро исправили, наставив отца Георгия на путь истинный.

На столе, изрядно потеснив книги и папки с бумагами, мессией в окружении апостолов явились сахарница с колотым рафинадом, три цветастые чашки-купчихи, вазочка с вареньем, конфетница, за неимением конфет наполненная тминным печеньем...

В итоге продолжать прежний мудреный разговор о путях грешных и праведных, эфирных и неисповедимых стало совершенно невозможно. Когда Акулина хотела, она умела быть самой милой, самой домашней, самой-рассамой — со всеми своими чашками-вазочками-чаем-вареньем-печеньем; и строгий английский костюм не был ей в этом помехой.

«Играет девка, — думал ты, кроша в пальцах кусок печеньица. — Беду за еду прячет. Старого Друца на мякине провести хочет...»

Отчего-то (к добру ли?) на ум пришла Деметра-покойница, Туз балаклавский. Помнишь, баро?! — явился ты по первому разу к старухе, а тут тебе и чай, и к чаю, и сама Деметра ласковая-домашняя, хоть на хлеб мажь вместо масла!

В точку попал: бери мага, мажь его...

Рыба-акулька, бедовая моя, что случилось? Отчего ты живая мне мертвого Туза напомнила?

Не отвечаешь?

Щебечешь? дуешь на горячее? сыплешь историями из жизни возлюбленного зоосада? — где пропадаешь ежедневно по пять-шесть часов: и как лицо официальное, и просто по собственной душевной склонности:

— ...представляете, отец Георгий, — муфлона сперли! На мясо небось. Вот ведь жиганы ушлые пошли! Управляющему зоосада доложили; он, как полагается, заявил в полицию; прислали городового. А я как раз зашла Фимочку проведать...

История мадагаскарского зеленого лемура Фимочки, найденного ошалелой Акулиной на помойке близ Москалевки, заслуживала отдельного рассказа, не будь она хорошо известна всем присутствующим.

— Подхожу к вольеру — и наблюдаю батальную картину маслом: городовой при исполнении! Осматривает место происшествия. Вольер, понятно, целый, следов особых нет. Рядом два служителя, Агафоныч с Поликарпычем, мнутся. Ну, городовой вольер осмотрел, в соседний заглядывает — а там два грифа бродят. Он изумляется: «Птицы ж! улетят к эфиопцам, а казне разорение!» Поликарпыч ему: «Хрена там улетят, у них крылья подрезаны...» — «А у мАфлона крылья подрезали?» — интересуется городовой. Поликарпыч кашлять стал, посинел весь, а Агафоныч ничего, бурчит: «Никак нет, ваше усердие!» Городовой на радостях бланк казенный достал, планшетку подложил, карандаш чернильный послюнявил — и ну протокол составлять. Я не утерпела, заглянула через плечо, читаю: «Следствие по делу о хищении мАфлона прекратить ввиду отсутствия со-

става преступления. Поскольку у вышеупомянутого мАфлона не были вовремя подрезаны крылья, и он улетел».

Когда вы с отцом Георгием отсмеялись, а Акулина-Александра сгрызла едва ли половину мелко наколотой сахарной головы, запивая это дело чаем (и никак не наоборот; вот ведь сладкоежка!) — ты наконец решился:

— Бог с ним, с муфлоном твоим. Другое поведай: отчего глаза на мокром месте? От чая ли отчаялась?

Твоя крестница аккуратно поставила на стол чашку: словно крутым кипятком, обожгла взглядом тебя, отца Георгия:

— У Тамары, дочки Шалвы Теймуразовича, опять приступ. Как в прошлом декабре. Или как два года назад.

Ты понял все — и сразу.

— Федька?

— Да. К нему присохла. Теперь Федюньше с дачи ходу нет: если видеть его не будет — опять биться начнет, руки на себя наложить попытается. Я сама видела... Еле удержали в тот раз.

Ты понимал: девка (баба она давно, рожать скоро, а тебе, дурню старому, все — девка!) держится из последних сил. Здесь помощь одна — пусть говорит, не копит в себе, пускай выговорится всласть.

Легче станет.

— Это ненадолго, Акулина. Три дня; может, четыре. Потерпи, а?

— Да знаю я, дядя Друц!.. знаю. От меня она тогда тоже через три дня отсохла. Потерплю я, все нормально... Отец Георгий, грех на мне: едва не убила ее, бедную! С ножом она на меня пошла... страшно шла, меня чуть навстречу не кинуло! В сердце вар кипит, вот-вот пойдет горлом, не остановлю! Шалве Теймуразовичу спасибо — перенял дочку. Меня просил уезжать скорее, от греха подальше. Коляску дал, кучера — я и уехала. А Федюньша там остался. Да понимаю я все, не смотрите вы на меня так! Ничего страшного. Ну, поживет Федор на даче... жара на дворе, а там пруд, озеро... потом у нее пройдет. Она ведь не виновата, Томочка. Мне ее тоже жалко. Я не обижаюсь, и за нож не обижаюсь — обошлось ведь...

Все, понесло Акулину. В глазах еще слезы, но вскоре они наверняка высохнут. Хотя — не позавидуешь ей. И ведь хорошо держится девка! Любимый муж (а Федьку она любит, тут никаких сомнений!) с другой остался — нет, крепится, давит фасон! Понятно, что ничему лишнему меж Федькой и Тамарой не бывать: и князь, и Княгиня, и мамки-няньки проследят... А все одно — сердце не на месте.

Особенно когда еще и ребенка носишь...

* * *

Акулина с Федором поженились через восемь месяцев после приезда в Харьков. Свадьбу завертели — на три дня. Обвенчавшись в самой людной, Воскресенской церкви, поехали в Немецкий клуб, где имелась лучшая на весь город ресторация; после учинили катание по известным площадям, Тюремной и Жандармской, — с песнями, развеселым гиканьем, шутихами, петардами. Не сиди князь Джандиери в первой бричке посаженым отцом, не сияй лазоревым мундиром, отличиями «Варварскими» — быть беде! А так: отшутили, да и устроили пляски до упаду от заведенья к заведенью — гей, дам лиха закаблукам!.. Зря, что ли, статский советник Цебриков некогда писал в докладе: «...характерным для города является обилие кабаков»?!

Под утро, на берегу Лопани, когда все утомились плясать и пить, но, будучи в азарте праздничного возбуждения, никак не могли разъехаться по домам, Федор вдруг принялся читать стихи. Ай, хорошо читал! Народ аж заслушался. И ты заслушался, помнишь?

Помнишь, конечно, помнишь. Вот с того самого дня и пошла гулять за Федькой слава поэтическая.

Но слава — это позже. А тогда, отоспавшись, молодые с гостями укатили на пикник, в излучину Северского Донца. Казалось, вернулась таборная жизнь, юность к тебе вернулась, Друц ты мой милый! — плясал от души, пил, не пьянея, мимоходом творил мелкие чудеса, которые в случае чего всегда можно было выдать за ромские фокусы; и пела Княгиня, и плакала, птицей вырываясь из рук, гитара...

Счастья вам, молодые!

На рассвете, устало и счастливо раскинувшись на земле, спросил у Федьки вполголоса:

— Слышь, муж законный?.. не поторопились ли? Супружница-то твоя совсем молоденькая... сумеешь не обидеть? углы обойти?! Ты пойми, я от сердца, не за просто так в душу лезу!..

— У нас, Дуфуня, все вовремя. — Федор тронул тебя за плечо, задержал руку; быстро сжал пальцы, словно намекая на что-то тайное, известное только вам. — Сам понимаешь: молодожены ночами не спят, снов не видят... А нам с Акулиной позарез надо снов не видеть.

— О чем ты, морэ?

— Да уж знаешь, о чем я...

Ты знал. Давным-давно, спутав явь и срамные видения, какие начинаются у всякого крестника в свой срок, ты полез с ножом на Ефрема Жемчужного: резать учителю жилы. За похабщину; за клинья подбитые, грязные. Хорошо еще, что резать ты тогда не шибко умел, — набил тебе старый Ефрем ряшку и ничего объяснять не стал.

— Жди, — буркнул, утираясь. — Схлынет.

Сам ты все уразумел; когда в Закон вышел, когда крестника впервые под Договор взял. Вот и сейчас — шлепнул ладонь поверх Федоровой лапищи:

— Жди, Федя. Схлынет. Перестанем мы с Княгиней вас ночами мучить... скоро уже.

И ошалел: надвинулись глаза Федькины, а в глазах-то — волна за волной.

— Эх, Дуфунька, мил человек!.. Добро б только вы с Княгиней!..

Так и пошла у молодых жизнь семейная.

Как-то быстро у них сложилось, быстро да ладно — вы только радовались тихонечко. Через плечо поплевывали; по дереву стучали. Счастье — штука ненадежная, хрупкая; редко кому выпадает. А коль выпало, держись за него обеими руками, береги от дурного глаза! Им ли, щенятам, держаться, им ли жить по-умному? Слепые они, кроме друг дружки, никого не видят.

Значит, взрослая это забота — счастье нечаянное беречь.

Временами ты сам себе дивился: за родных детей (где родные-то бродят? мало ли баб у тебя перебывало?), и то б меньше тревожился. Дивился, в затылке чесал. С Княгиней перешептывался: мажья наука у молодых со дня свадьбы в рост пошла — будто кто их за уши тащит!

Чихнуть не успеешь — в Закон выйдут, новых крестников подыскивать придется!

Впрочем, на этот счет вас ихняя светлость Циклоп успокоил: придет срок — сыщутся ученики. И для вас, и для молодоженов. Уж он, князь Джандиери, позаботится.

— Так ведь они *сами* хотеть должны! — заикнулась было Рашка.

— Захотят, — улыбается в ответ князь, щеточку усов рыжих ерошит. — Так захотят, что на край света за вами побегут.

— Так ведь... — Это уже ты встрял.

— Само собой, — смеется князь (а тебя оторопь берет: Циклоп? смеется?! ромалэ, видано ли?!). — Каких скажете, таких и подберем. Рыжих? толстых? с родинкой на верхней губе? И всякий за вас в огонь и в воду. Можете не сомневаться.

Вы и не стали.

Сомневаться.

Одной заботой меньше — и слава богу!

А за молодыми все одно приглядывали. Губу прикусывали. Отродясь не бывало, чтоб ученик сильнее учителя выходил, крестник-подкозырок — выше битого козыря. В лучшем случае — вровень; прав отец Георгий. Ай, баро! — Княгиня как-то обмолвилась, с полгода назад: Феденька сейчас чуть ли не Король! А когда в Закон выйдет — даже подумать страшно!

Вроде бы радуется, а у самой и вправду страх в глазах.

Промолчал ты тогда. Не стал Валет у Дамы спрашивать: что за маг из кус-крендельской девки выйдет?! Ведь выше Туза не бывать в колоде козырям... И масть! масть смазалась! Смотришь на Акулину: сила мажья из девки так и прет, страшная сила, небывалая — а масти не разобрать! Ну хоть тресни! И знаешь ведь, что Пиковая она, девка-то, что масть по наследству передается, — ан нет, не видишь

тех Пик. Другое видишь — все масти разом: плывут, друг на друга накладываются...

Вот он, Брудершафт, во что вылился!

Не пойми во что...

Неужели покойный Ефрем Жемчужный не сказками тебя-малого развлекал? Что, мол, редко, раз в сотню лет или того реже, объявляется среди колды Джокер. Маг силы необычайной, любого Туза тузовей; любой масти маститей. Приходит во время смутное, жизнь живет ярко да коротко; уходит не в срок — а жизнь живая за Джокерской спиной другой становится. Как после смерти очередного Ответчика за грехи наши.

Сказки!

Побасенки ночные!

Или просто не хочешь верить, баро? Поверь в смерть — шагнет на порог! Господи, меня, меня казни, а их не трожь! Хоть во искупление, хоть как угодно — мимо, мимо чашу неси! Пусть у них все хорошо будет, пусть долго живут, долго и счастливо!..

Как в сказке.

В хорошей сказке, где конец — счастливый.

Ведь когда маг чего-то очень захочет — оно нередко сбывается. А ты ведь хочешь, чтоб так и было, Друц-лошадник? ну?! отвечай!!

Хочешь?!

...встряхнулся, отгоняя тяжкие мысли. Только подумал еще, что Акулина сейчас восьмой месяц беременной ходит. А когда ты ее масть ловить перестал, баро? Не в начале июня? И про тягость Акулькину лишь тогда же, от нее самой узнал — на вид-то шиш опознаешь, ни брюха толком у козы-егозы, ни пятен на лице, ничегошеньки! Хотя... ну должен ведь был почувствовать! — козырь младшую карту нутром чует... Ан нет, проморгал. Беременность у бабы, что в подкозырках-подельщицах ходит, — дело редкое, почитай, небывалое! Не зачать крестнице ребеночка, пока в Закон не выйдет. Да и тогда...

Рашка-то бездетная.

Кто Джокер? Тот, кто родился, или тот, кто родится?!

Кому жить ярко-коротко?!

* * *

— ...А меня Поликарпыч с Агафонычем «зверской дамочкой» прозвали! — Акулина уже улыбается, и слез в глазах больше нет; только голос еще подрагивает перетянутой струной.

— За характер? — решаешь ты подыграть. — Или за привычку по клеткам шастать?

Ох, фыркнула красавица! Норовистая кобыла от зависти сдохнет!

— И за это тоже. — А сама отвернулась, мимо глядит. — Когда у барса Тюпы кость в губе застряла — кто в клетку полез? Александра Филатовна, ясное дело!

— Добро б ты кость из губы вынимала, — не преминул поддеть ты. — Мне рассказывали, Александра свет Филатовна с тем барсом чуть ли не целоваться стала! Жаль, муж не видел...

— Так больно же Тюпе было! — совершенно искренне удивилась Акулина. — Кто снимет, если не я? Я ж понимаю!..

— Боль она снимала! Понимает она! Ни черта ты, прости Господи (виноватый взгляд на отца Георгия: случайно, мол, вырвалось!), не понимаешь! Нельзя до Закона в эти игры играть... Тем паче на людях.

— Вот и в зоосаде мне так один говорил. Товарищ управляющего, Лавр Степанович. Правда, он про другое: мол, не лезь, куда не след! служителям лучше знать, сколько мяса хищникам полагается. А я что, слепая? Не вижу, как в разделочной лучшие куски отдельно кладут? Не понимаю, куда те куски идут? В общем, я его предупредила, что молчать не буду. А он меня предупредил: доиграешься, девка. Тогда я не только молчать, но и ждать не стала: пошла к управляющему! Дескать, иду писать докладную в отделение! Лавр Степанович, когда увольняли его, грозиться вздумал — так я ему тоже пообещала: вот сейчас пойду, мол, открою клетку... Даже не успела сказать, которую, — его как ветром сдуло!..

— Теперь понятно, почему вас, Александра Филатовна, «зверской дамочкой» кличут, — чуть заметно улыбнулся в бороду отец Георгий. — Прозвище хоть и неблагозвуч-

ное, но таким гордиться можно. Вижу: никому спуску не даете, невзирая на чины, за правду горой стоите...

— Вы уж простите, отец Георгий, но чихала я на всю эту правду с присвистом! И на кривду заодно! — Акулина разошлась не на шутку. — А зверей обижать не дам! Раз они пожаловаться не могут, раз в клетках сидят, будто в остроге, — значит, у них воровать можно, да?!

А ведь права Акулина! Предложи Лавру-товарищу кошелек у управляющего стянуть — обложит по матушке, а то и городового кликнет: «Я человек честный, добропорядочный, а он мне...» А на деле — вор вором! Правда? кривда? при чем тут они?..

— Ну вот, опять не так сказал! — расстроился батюшка. — Ну пусть не за правду — зато по совести.

— По совести...

Акулина задумалась, замолчала, что случалось с ней не слишком часто; но все-таки чаще, чем раньше.

— Ах, отец Георгий, совесть — она у всех разная! Лавру Степанычу его совесть'у тварей бессловесных воровать позволяет. А мне моя смолчать не позволила.

«Ты и прежде-то не больно молчала!» — едва не ввернул ты, но вовремя придержал язык.

Прикусил.

— Дочь моя... — Священник привстал, успокаивающе тронул руку молодой женщины, но был остановлен гневным выкриком:

— А вы не смотрите на меня так, отец Георгий! Не на исповеди! Думаете, не знаю, что *вам* совесть позволяет? Бог! правда! совесть! беседы задушевные... А сами нас тем временем изучаете втихаря! Мы ведь для вас вроде букашек, которых под микроскоп кладут! Интересные букашки, необычные; забавные даже! Одна кусается, другая сама под микроскоп лезет, чтоб удобнее смотреть было... Где Бог? где душа? где совесть? а, отец Георгий? Вас ведь не это интересует, верно?

— Верно, Александра Филатовна. И неверно.

Голос отца Георгия звучал ровно, чтоб не сказать — монотонно, но ты чувствовал, каких усилий это стоит священнику. Задела его девка за живое!

— Когда понять хочу, как сила мажья действует, как

передается от крестного к крестнику, отчего нельзя искусству чародейскому научить другого так же, как вас в институте учат? отчего угасает век от века сила магов и можно ли тому воспрепятствовать? — тогда правы вы, Александра Филатовна. Нет здесь совести, нет здесь души — одно голое знание, которого мне так не хватает и которое я с превеликим трудом и тщанием собираю по крупицам много лет. Но когда я вижу, как гибнет великое искусство, как умирают страшной смертью юные ученики, пусть они трижды грешны и виноваты! — я забываю о знании и, как вы изволили выразиться, Александра Филатовна, о «букашках под микроскопом»!

— Забываете? Особенно в суде, когда обер-старец Георгий визирует приговор?! «Ныне, присно и до окончания срока, аминь»?!

— Прекрати, глупая! — Ты возвысил голос, но Акулина в ответ только сверкнула глазами; и в следующий миг ее в кабинете уже не было. Хорошо, хоть дверью хлопать не стала. А тебе вспомнилось, как в кабинете полковника Джандиери тебе впервые довелось увидеть те самые «дела», за которые любой маг в законе руку на отсечение отдать не пожалеет...

Ты стоял и смотрел.

Молча.

Все Договоры уже были подписаны и скреплены печатями, все бумаги оформлены, и теперь в кабинете начальника облавного училища стоял не беглый маг-рецидивист, по которому петля плачет, а «негласный сотрудник» Вишневский Ефрем Иванов. Старший смотритель училищных конюшен.

Отныне — свой среди чужих.

И вот тогда-то из скрипучих недр сейфа возникли новенькие, еще не потертые на сгибах, не припорошенные канцелярской пылью, не успевшие распухнуть от множества бумаг четыре аккуратные папки.

Ты стоял и смотрел.

Плевать, что значится в твоих бумагах. Будущее изменить можно — прошлого не изменишь. Валет Пик по кличке Бритый ждет над исконными святынями жандармского управления: делами на завербованных магов.

— Желаете взглянуть? — вежливо поинтересовался господин полковник. — Извольте. Думаю, это не будет слишком

большим нарушением: как-никак, теперь вы у нас на службе и вполне можете ознакомиться...

Нет, ты не потянулся к «своей» папке. Рука безошибочно выдернула из стопки единственное дело, которое тебя интересовало по-настоящему.

«Негласный сотрудник № 76-прим. Оперативный псевдоним — Акула.

Рука невольно дрогнула.

Вот уж действительно — не в бровь, а в глаз! И в кого это она такая? В отца? Не похоже... В мать? в тебя? в Княгиню?..

* * *

— Вы ее простите, отец Георгий! Молодая еще, дурная, горячая; опять же — в тягости; а сегодня... ну, сами слышали. Тут тертый калач на стенку лезть станет! Через день-другой извиняться прибежит...

— Не виню я ее, Дуфуня. — Батюшка мало-помалу приходил в себя, успокаивался. — Сам виноват: нечего в душу лезть без спросу. Вечно вкладываем друг другу персты в разверстые раны — а потом обижаемся. Видел же: Александра Филатовна находится в расстройстве душевном! — а все равно сказал, не подумавши. За то и поплатился. Тем паче права она, Дуфуня, во многом права!..

— В чем?

— В том, что я всех вас изучаю. Понять пытаюсь. И тебя, и Княгиню, и обоих Крестов, Сеньку с Евлампием, которых за пять лет до вас завербовали; а пуще других — саму Александру Филатовну с мужем ее, Федором Федоровичем. Думаешь, не вижу: небывалое творится! Подкозырок козыря за пояс затыкает! Знаю, знаю: ты мне про ваш Брудершафт рассказывал. Ведь по закону Божескому и человеческому нельзя близких родичей в жены-мужья брать! Церковь это по-своему объясняет, наука по-своему, однако в одном и богословы, и ученые сходятся: от таких браков хиреет род, вырождается, дети родятся хилые да слабосильные... Может, и у магов так? А ежели две линии разные, две масти меж собой Брудершафтом скрестить?! Свежая кровь? — не так ли, Дуфуня? Не здесь ли выход?!

Ты пожал плечами:

— Не знаю, отец Георгий. Только будь моя или Рашели воля — не бывать тому Брудершафту! Само все вышло, случайно.

Ой, не врешь ли? Тогда ведь вас словно кто-то под руки подтолкнул!

Кто?!

— Нет, батюшка, не знаю. Страшная это штука: Брудершафт. Оттого страшная, что никто наперед сказать не может: во что выльется? — Слова давались с трудом, отказываясь покидать пересохшее горло. — Боюсь я, отец Георгий. Как бы не свихнулась девка! В тягости она, а тут еще история эта, с княжеской дочкой... Акулина и без того разок обмолвилась: дескать, странное временами видится, и за плечами будто не вы с Княгиней, а чужие-другие-всякие... А вы говорите — выход! спасение!..

— Дай-то бог, чтоб обошлось, — вздохнул отец Георгий. — Ведь недолго уже им с Федором Федоровичем осталось?

— Недолго, — согласился ты. — Как бы у Акулины на самые роды выход в Закон не пришелся!

— Ну, на все воля Божья. Ты, главное, верь, Дуфуня! Молись; если молитва от сердца — Господь услышит. Тяжкие времена для магов настали, я уж думал: и вовсе последние. Ан нет, теперь верю: Знак это свыше. Звезда путеводная — Брудершафт ваш. И ты верь, Дуфуня. Верь и молись, чтоб все обошлось.

— Спасибо, отец Георгий. Мы-то ладно, отрезанный ломоть, мы свое отжили-отворожили. А им, молодым... Вокруг, сами знаете, что творится!

— За крестников не тревожься. Они теперь у государства под защитой — спасибо господину полковнику. Да и себя раньше времени со счетов не списывай, грех это. У тебя, может быть, только сейчас настоящая жизнь и начинается...

— Легко вам говорить, отец Георгий! Всю жизнь, почитай, при училище, в Законе и не были толком, не воровали, жизни никого не лишали, против властей не шли — а мне-то, с моим-то прошлым? А Княгине?

— Говорить легко. — Отец Георгий произнес это отчетливо и с нарочитым спокойствием. — Зато жить — не легче, чем тебе. Толку ли, что мне сам владыка Виталий грехи отпустил? что разрешение дал ученика взять и употреблять

силу мажью по мере надобности на благо церкви и государства? Ведь решения Архиерейского Собора от лета 1654-го от Рождества Христова никто не отменял! А в решении том ясно сказано: все эфирные воздействия считать происходящими от диавола! Значит, и я, священник, грех совершаю! Владыке, конечно, спасибо великое и поклон земной — только душа не на месте. Как ей на месте быть, когда к чужим душам, к живым и усопшим, с вопросами лезу?! Знаю, что с санкции, что державе на пользу... А все равно — тошно! Будто Сатане свечку ставлю... И силу мажью изучать, законы, ею движущие, я не с вас, не с крестников ваших начал. С себя! Ладно, об том разговор долгий, а время позднее. Спать пора.

— Спокойной ночи, батюшка.

Ты поднялся. Затоптался на месте, разминая ноги, онемевшие от долгого сидения на шатком стуле.

— Спокойной ночи, Дуфуня. А Александре Филатовне передай: я на нее не в обиде. Наоборот, сам прощения прошу за слова неосторожные, что душу ей разбередили.

— Передам.

Ты постоял еще немного, зачем-то кивнул — и, протиснувшись мимо письменного стола, на ходу доставая папиросы, выбрался из кабинета.

— До свидания, отец Георгий.

ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ

Загляните в глаза отцу Георгию — он не станет отводить взгляд, он все понимает. Он позволит вам увидеть:

...келья.

Монашеская келья. Рукотворная пещера. Грубо отесанные, шершавые стены; тусклый огонек лампадки выхватывает из темноты каменное ложе, маленький столик, на столике — фолиант в кожаном переплете, чернильница, несколько гусиных перьев и листок пергамента, исписанный наполовину.

Пламя лампадки дрожит, бродят по стенам причудливые тени, свет и мрак качаются, клубятся в шатком равновесии...

Кто — кого?

* * *

Священник не ответил, расстроенно глядя в стол.

Георгий Радциг, магистр богословия, доктор римского права, епархиальный обер-старец, автор диссертации «Психологическое обоснование уголовной ответственности»; он же Гоша Живчик, Десятка Червонная, маг в законе, «негласный сотрудник № 39-прим», проходивший в секретных документах под оперативным псевдонимом Стряпчий.

Круг второй. Я ОДНАЖДЫ УЗНАЮ, ЗАЧЕМ Я БЫЛА...

— ...молвить без обиды,
Ты, хлопец, может быть, не трус,
Да глуп, а мы видали виды.

Ну, слушай...

Опера «Киммериец ликующий», дуэт мага Пелиаса и Конана Аквилонского

ПРИКУП

— Ну да, ну да... молчун ты!.. зову я тебя, зову, а тебе все как с гуся вода...

Отец Георгий, епархиальный обер-старец при Харьковском облавном училище, наклонился.

Поднял и себе один лист.

Кленовый.

Разлапистая пятерня наливалась багрянцем; вязь прожилок неприятно напоминала ладонь скелета.

— Ты Куравлева помнишь? — зевнув, осведомился преосвященный Иннокентий. — Полковника? Забыл небось благодетеля...

Прошлого начальника училища, Куравлева Бориса Петровича, отец Георгий знал хорошо. Как-никак столько времени бок о бок... И про участие полковника в «Мальтийском Кресте», иначе «Заговоре обреченных», — тоже знал. Проговорился Куравлев, незадолго пред тем, как ума лишился. Был зело пьян, начисто растеряв обычную сдер-

жанность; зазвал в кабинет, стал без причины куражиться: скоро, мол, святой отец! изведем ваше семя под корень! ибо знаем, что корень ваш — листья да ветки!

Наболтал лишнего.

Все звал священника Павлом; дескать, от фарисеев переметнулся, сперва одних камнями побивал, теперь других посланиями укрощает. Быть отцу Георгию святым апостолом.

Кощунствовал, коньяк из горлышка хлестал.

А четырех месяцев не минуло — увезли полковника под белы ручки на Сабурову Дачу. Громкий случай был: явился Куравлев в оперу, где отродясь не бывал, и, когда зал замер в упоении, внимая дуэту тенора Франкини и меццо-сопрано Ноэль-Гвиды, прыгнул вниз из ложи.

Прямо на сцену.

Взял такой фа-диез, что тенор в коленках прогнулся — «Мамма миа! мамма миа!», по-своему, значит, матерно одобрил! — стал кобуру лапать, уже почти расстегнул, да рухнул в корчах.

Оттуда и унесли несчастного.

— Помню, владыка. При полковнике Куравлеве на меня, недостойного, были возложены тяготы обер-старчества. А за полтора года до сего...

— Грехи тебе отпустили за полтора года до сего. Ты ведь не вербованный, сам пришел, в ноги пал: не могу больше! Ну да, ну да, сам все знаю, не спеши объясняться... Умер твой Куравлев, на Сабурке-то. Вчера на рассвете и отдал богу душу.

— Царствие ему небесное, — перекрестился отец Георгий.

— Ну да, ну да... А завещания он не оставил, полковник. Быть теперь грызне меж молодой вдовой и сыновьями от первого брака...

Куда-то гнул владыка, намекал. Не дойдет намек — берегись. Многим за это доставалось: причетники увольнялись «в светское звание», священники — за штат, что привело к повальному бегству низших чинов клира из Харьковской епархии в другие. Но отец Георгий чувствовал: здесь намек — не угроза.

Иного владыка хочет.

— Жалко вдову. Облапошат ее пасынки, объедут на кривой. Здесь хороший стряпчий нужен, верный... Отец Георгий, а ты раньше хорошим стряпчим был?

Вот.

Слово сказано.

— Плохим, владыка. — Отец Георгий, не мигая, выдержал взгляд Иннокентия: хитренький, острый, полускрытый космами бровей. — Выше Десятки не поднялся. И работал-то по масти всего ничего. Вы это имели в виду?

— Ну да... обиделся. Не ври, сам вижу: обиделся. А я не обидчив. Ты вот со мной откровенничать брезгуешь, как с прошлым владыкой откровенничал, а я — нет, не обижаюсь. Слова из тебя клещами не вытянешь — нет, не обижаюсь, тяну помаленьку... Вот спрошу я тебя: отец Георгий, каково оно — быть стряпчим меж магов? что за дела делать надобно? А ты и здесь промолчишь, пожалуй...

Священник посмотрел в небо, исчерканное крестами и вороньими стаями. Прямо над головой нависала ветка старой акации: жесткая, колючая, вся в пыли.

Ветка как ветка.

— Отвечу, владыка. «Видок» — это ясновидец, «трупарь» — некромант; а «стряпчий» — он, как вы правильно изволили заметить, дела делает.

— Какие?

— Разные. Уехал чиновник по делу и не вернулся. Хороший «стряпчий» способен дотянуться, связаться с чиновником, получить нужные для дела и для семьи сведения...

— А если помер чиновник-то? если сгинул по дороге?!

— Это не важно. Живой, мертвый — для «стряпчего» нет разницы. Далее: в присутствии «стряпчего» нельзя врать. Начинаешь собакой лаять или просто кашлять... Вот и зовут, когда компаньоны друг дружке не доверяют. Заверить сделку, так сказать. Или еще: подлинность утвердить. Картина — оригинал ли? копия? Документ — подпись истинная ли? не поддельная?

— Ну да, ну да... так что ж это выходит?..

Отец Георгий покачал головой: ничего не выходит, владыка.

И не думайте.

— Дурак ты, отец Георгий. Умный, а дурак. Небось полагал: я сейчас тебя по масти заставлю работать?

— А меня, владыка, и без вас заставляют. По масти. Я ведь не только обер-старец, облеченный саном, я еще и негласный сотрудник Гоша Живчик. Согласно общему решению властей светских и духовных. Вот надумают там, наверху, вдове безвременно почившего Куравлева помощь оказать; обратятся к вам — дайте, мол, владыка Иннокентий, разрешение на использование отца Георгия по назначению...

Цепкая лапка владыки ухватила священника за рукав рясы.

— А я дам, дам-то разрешение! Ты что, душу полковничью с того света притащишь, завещание писать?!

— В ересиархи податься решили, владыка?

Вернулась лапка на место; посерьезнел взгляд Иннокентия. Чуял отец Георгий: сейчас можно позволить себе говорить почти все — кроме того, чего сам говорить не хочешь. Простит владыка. Упрек простит, намек простит, отказ простит.

Лжи прощать не станет.

— Да. Ныне ересь говорить буду, — предупредил Иннокентий, сдвинув брови, отчего стал изрядно похож на ахейского Зевеса-Даймона. — А ты слушай да на ус мотай. Думаю, не я первый — многие к тебе подкатывались... по масти. Верно?

— Неверно, владыка. Я, в Закон выйдя, почти и не работал-то... Десятка я, карта слабая, малая. Да и уже тогда понимал: пагубную дорогу выбрал. Зато, скажу без скромности, смирять себя научился. Зарок дал: шесть лет без единого финта прожить — прожил, владыка. Выдержал. И по сей день креплю обручи на сердце. Ничего, кроме санкционированных эфирных воздействий. Ко мне подкатываться — обратно катиться далеченько выйдет.

— Ну да, ну да... А церковные тяжбы? патриаршии споры? разногласия? Их решать не предлагали?

— Предлагали. Два раза.

— И?..

— Отказался. Между «стряпчих» знают: запрет на сем. Возьмешься подлинность щепки от Святого Креста опреде-

лять — сгоришь. Жил в Анатолии знаменитый маг, из Червонных, — возгордился на старости лет, решил вековую тяжбу суннитов с шиитами решить. Дескать, кто именно убил праведного Хусейна? был ли брат его, халиф Хасан, и впрямь отравлен? наличествует ли в Коране сура «Два солнца»?!

— Решил? выяснил?

— Жизни решился. Да так, что и ад раем покажется.

В пыли, едва ли не под ногами, дрались воробьи. Из всех забот, светских и духовных, их более всего интересовала какая-то съедобная дрянь. Чириканье, шум, гам... Толстый голубь-сизарь бродил поодаль, но соваться не решался.

— Жаль, — тихо сказал преосвященный Иннокентий.

— Чего жаль, владыка? кого жаль?!

— Вас жаль. Ишь, выпятился! — а я ведь предупреждал: ересь говорю. Жаль мне вас, магов. Выдавливают вас, будто гной из прыща; скоро всех выдавят. Не нужны вы никому; самим себе и то не нужны. Вот тебе не странно ли: любой закон вас отвергает, отталкивает, силой на обочину гонит — кроме вашего Закона! Почему вы чужие? потому ли, что иные? Нет!

— Тогда почему, владыка?

Иннокентий молчал.

Осень бродила вокруг Покровского монастыря, шелестя опавшими листьями — быть весне, быть листве новой, течь изумрудным шепотом... только этим, сухим, палым, каков барыш с того?..

Труха воспоминаний?

V. РАШКА-КНЯГИНЯ, или ДЕЛАЙ КАК Я

Наследство, поспешно захваченное вначале, не благословится впоследствии.

Книга притчей Соломоновых

Старый айн сидел на корточках.

Возле него растопырила чугунные лапы скамейка, врытая в землю. Удивлялась всеми своими досками, окрашенными в противный сурик: почему? ведь вот она я?! удобная!

Садись, макака!

Садись по-человечески!

— Добрый утро, Эрьза-сан, — сказал маэстро Таханаги, кланяясь из своего неудобного положения. — Ждать его светрость?

Ты улыбнулась старику: за смешной акцент, за ласковую вежливость, скрывающую безразличие змеи, за цивильный костюм, на два размера больший, чем требовалось.

— Вы правы, мой милый господин Таханаги. Чтобы увидеться с мужем, жена вынуждена вставать ни свет ни заря и ехать к месту его службы. А потом долго-долго ожидать, пока «его светрость» кончит распекать своих питомцев. Скажите, это правильно? у вас на островах так бывает?

Маэстро Таханаги очень серьезно задумался. Безбровые складки над глазками-щелочками сошлись к переносице, скулы выпятились, отвердели двумя костяными желваками. Сейчас айн сильней всего походил на больную, отжившую свое, но еще опасную птицу: бросится на добычу? передумает? затянет взгляд тонкими пленочками, опять уйдя в дрему?!

Нет, ответил. Пожевал губами:

— У нас бывать. Всегда бывать. Муж дерать деро; жена — ждать. Дорго-дорго. И никогда не бранить. Иначе муж бить жена и ходить к гейша. Садитесь, Эрьза-сан. Будем ждать вместе.

Напротив, по ту сторону второго плаца, плясал с кривой дагестанской шашкой унтер Алиев. Ему изрядно досаждала четверка портупей-вахмистров со второго курса, вооруженная учебными эспадронами. Утоптанная земля площадки взрывалась фонтанчиками пыли, облав-юнкера — завтрашние выпускники! — старались изо всех сил, норовя достать, дотянуться всерьез, сдать наконец вожделенный зачет; но Алиев с бесстрастием горца, помноженным на невозмутимость облавного жандарма, игнорировал их потуги.

Из всех живых существ на свете он признавал лишь свою шашку, заветное сокровище предков; вот с ней и плясал.

А остальное — досадная помеха.

Двоечники.

— Садитесь, Эрьза-сан. У вас говорить: в ногах правда нет.

Боже! — ты едва успела опомниться. Хороша была бы княгиня Джандиери, жена начальника училища, присев на корточки рядом со стариком! Давняя, острожная привычка: когда-то ты часами могла сидеть вот так, в бараке, слушая душещипательные истории товарок или сама рассказывая здесь же придуманные байки.

Нет, спасибо, мы лучше на скамеечку...

В профиль маэстро Таханаги вдруг напомнил тебе истрепанный лист пергамента. Буквы давно стерлись, смысл написанного темен, еле-еле проступает царапинами, следами чаек на песке; но основа крепка по сей день. Шалва Теймуразович рассказывал: с этим коротышкой он впервые познакомился в Мордвинске, где старый айн многому научил господина полковника... тогда еще полуполковника.

Чему именно — об этом Джандиери предпочел умолчать.

Но по вступлении в должность он телеграммой предложил маэстро Таханаги должность преподавателя гимнастики и весьма приличное жалованье.

От добра добра не ищут: старик переехал в Харьков за казенный счет. А ты всегда подчеркнуто вежливо, с приязнью относилась к маэстро — потому что он напоминал тебе о днях, которые ты хотела забыть навсегда. Ведь он ни в чем не виноват, маленький азиец; не его вина, что при виде пергаментного личика тебе мерещится изуродованное лицо Ленки Ферт на мраморе стола...

— Спокойнее! Спокойнее, я сказал!

Вспотевшие облав-юнкера и впрямь стали заводиться. Раскраснелись; лица исказила одинаковая гримаса. Один, самый рослый, кинулся было напролом, получив обидный удар плашмя по филейным частям тела; Пашка Аньянич (и здесь без него не обошлось!), решив сойтись с треклятым дядькой-наставником поближе, шлепнулся боком в заросли шиповника, отделявшего площадку от решетчатой ограды.

Остальные почли за благо отступить.

— Делай как я! Спокойнее! Не к лицу... вам... будущим офицерам...

— Дыхание сбирось. — Маэстро Таханаги с сожалением покивал головой. — Господин Ариев много говорить. Много говорить — маро дышать. Маро дышать — маро жить.

— Но ведь он прав. Не так ли, маэстро? Гнев, ярость — вы полагаете их добрыми помощниками?

На самом деле ты лукавила. Кривила душой. Гнев, ярость, прочие сильные чувства... Это для других, не для облавников. В каждом из них с детства живет свой унтер Алиев, в опасную минуту подавая голос: «Спокойнее! Спокойнее, я сказал! Делай как я!» И этого внутреннего Алиева пестуют в десять рук: не к лицу будущим офицерам Е. И. В. особого облавного корпуса «Варвар» хохотать до слез, рыдать взахлеб, биться в истерике, выказывать гнев, любить без памяти...

Неприлично.

Достойно порицания.

Стыдно.

Всякий преподаватель говорит об этом по сто раз на дню; вон Пашку многажды сажали в карцер за «вульгарность поведения», на хлеб и воду.

А как он заразительно смеялся на первом курсе, еще до Рождества... отучили.

Наверное, это правильно. Тем, кто избран для служения Их Величествам, Букве и Духу Закона, для служения бессменного и верного, следует забыть о страстях житейских. Разучиться лелеять обиду, желать почестей; взыскивать славы. Например, армейцы (даже самые занюханные пехотные «армеуты» из городков N) исстари терпеть не могут жандармерию. Особенно элитных «Варваров». Смешно: в этом они тесно сходятся с магами в законе, сами того не подозревая. А сколько дуэлей случалось из-за категорического нежелания военных допускать жандармских офицеров в Офицерские собрания! Хоть кол им на голове теши, хоть переводом на Кавказ стращай...

Старый айн нахохлился; по-птичьи скосился на тебя:

— Эрьза-сан удиврять Таханаги. Сирьно-сирьно. Муж —

самурай; жена — самурай. Все видеть, все понимать. Зачем спрашивать, если знать заранее?

— Делай как я! — Облав-юнкера, запыхавшись, сбились в кучку вне досягаемости неуязвимого Алиева. Унтер же творил кривым клинком замысловатые петли, по-видимому, что-то объясняя. Смуглое лицо Алиева напомнило тебе африканскую маску: чтобы хоть одна черточка дрогнула, сдвинулась с навеки отведенного места, требуется по меньшей мере вмешательство закаленного резца.

Второкурсники переглядывались, кивали, успокоившись и вернув способность здраво размышлять; тебе же урок Алиева был безразличен.

С точки зрения фехтования.

У тебя здесь другой интерес, Княгиня.

Отчего у тебя, у почтенной дамы, — у Дамы!.. — спирает дыхание, когда ты украдкой наблюдаешь за сим зачетом? За схваткой? — нет, все-таки зачетом... Отчего бубновая масть вскипает тяжким крапом и хочется либо уйти, быстро и не оглядываясь, либо, напротив, впиться взглядом, словно пиявка — взглядом, душой, Силой, дабы понять: что происходит?!

С ними?

С тобой?!

С желтым айном, сидящим на корточках, как сидит ответ перед вопросом, непроницаемо глядя вперед?!

Нервы, нервы...

— Дома, на островах, вы были воином, маэстро? Знатным воином?

Верхняя губа айна вздернулась, обнажив желтые зубы.

Так он улыбался.

— Эрьза-сан бить без промах. Таханаги быть бедный ронин. Самурай без господин. Без деньги. Без семья: жена умирать, дочь умирать. Без чести: Таханаги топтать честь рода, рюбить жена-дочь, не хотеть харакири. Наниматься рыбак; маро-маро контрабанда. Потом ваш Хабар-город, Мордвин; Хар-а-ков. Таханаги — бродяга; ворчий паспорт. Унтер Ариев-сан — воин. Верикий воин. Он знать борьшой мудрость: «Дерай как я!» А макака-Таханаги знать всякий вздор: «Дерай как я и ты!»

— Вы шутите, маэстро?

— А вы, Эрьза-сан? Почему вы не ехать в ваш особняк, на Сумская урица? Почему вы сидеть с бедный Таханаги? Почему не ждать господин порковник дома, на мягкий татами?

— Ну... — Положа руку на сердце, ты растерялась. — Послушайте, маэстро: ведь вы сами минутой раньше предложили мне: «Садитесь!»

Айн стал кланяться: мелко-мелко, будто зерно клевал.

— Не обижаться, Эрьза-сан! Простить Таханаги. Я сказать: «Садиться!» Ариев-сан сказать: «Дерай как я!» Вы дерать как я: садиться. Марьчики дерать как верикий воин Ариев-сан: рубить катана. Это хорошо. Все дерать как я; все — я. Торько я ручше всех: я — я, а они — как я.

Старик беззвучно затрясся, перхая горлом.

Так он смеялся.

— Вас учили по-другому, маэстро?

— Да, Эрьза-сан. По-другому. Я — ручше всех; я ручше мой учитерь.

— Лучше? У вас был плохой учитель?

— Вы не понимать. — Смех пропал, как не бывало, и птица пропала. Вместо нее остался человек, крайне пожилой человек, которого не понимают чужие люди; и скорее всего никогда не поймут. — Все, кто сметь говорить: «Такеда Сокаку прохо учить!» — все умирать. Я быть ученик Такеда Сокаку. Он — хорошо учить. Я — ручше. Иначе — смерть.

— Чья? Ваша? Вашего учителя? Ваших врагов?!

— Смерть, высокий искусство, Эрьза-сан. Есри ученик не ручше учитерь — смерть высокий искусство. Вы смотреть: я — учитерь, вы — ученик...

Пухлая лапка айна деликатно, но цепко взяла тебя за запястье, сдвинув к локтю гранатовый браслет. Подарок Джандиери к годовщине свадьбы.

— Я брать вас. Держать. Вы хотеть свобода. Вы брать вот здесь и нажимать вот так...

Говоря, маэстро умело манипулировал твоей второй рукой. Накрыл твоей ладонью свою, чуть подвинул; ты

ощутила под большим пальцем впадинку на сгибе айнской кисти.

— Вы давить и поворачивать. Я страдать; я отпускать. Теперь вы. Сами.

Он снова взял тебя за руку. Вспоминая, оживляя память тела, ты накрыла, взяла, нажала и повернула. Вышло скверно. Маэстро никак «не страдать» и меньше всего «отпускать». Еще раз. Уже лучше. Но профессиональная хватка старика, будучи предельно аккуратной, все-таки напоминала кандалы.

— Не дерать, как я, Эрьза-сан. Дерать как я — и вы. Вместе.

Маэстро Таханаги на миг отпустил тебя, прокашлялся — и снова потянулся к твоему запястью. На территории училища тебе было тяжело работать, сказывалась общая аура, но сам айн не был «Варваром»; а значит...

Отвести глаза удалось не вполне.

Старик промахнулся, но успел вернуть движение обратно, зацепив тебя пальцами на излете. Вспоминая азийскую науку, ты взяла, надавила и повернула, добавив крохотную мелочь.

В миг поворота айну показалось: мякоть его ладони пронзила раскаленная докрасна игла.

Нет, он не крикнул.

Просто отпустил.

— Эрьза-сан — верикий ученик. Она ручше старый Таханаги. Она дерать как он; и как Эрьза-сан. Выходить много ручше. Много-много. Это жизнь высокий искусство. А это, — айн кивнул в сторону унтера Алиева, — смерть. Красивый, почетный смерть. Харакири. Вы понимать?

Ты встала со скамеечки и тронула твердое, совсем не старческое плечо маэстро.

— Спасибо, — сказала ты. — Спасибо за науку.

— Вам спасибо, Эрьза-сан. Теперь айн иметь ученик. Настоящий ученик. Который ручше учитерь...

От площадки вновь послышался звон клинков. По счастью, «нюхачи» были слишком заняты объяснениями Алиева, чтобы отловить твой мелкий «эфир». Глупо, Кня-

гиня! — не следовало бы привлекать внимание, тем паче на территории училища.

Или отловили? просто виду не подали?!

ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ

Очень трудно увидеть что-то в узких глазах айна. Но если очень, очень постараться, то встанет из тумана:

...гора.

Нет, не просто гора — вулкан. Потухший вулкан. Бывший. Взбегают вверх по склонам низкорослые сосны, курчавятся темной зеленью, словно шерсть невиданного зверя. Выше, выше... закончились сосны. Голый камень — безучастный к дождю и ветру, солнцу и снегу. Еще выше. Белая снежная шапка венчает конус вулкана. Стылая, холодная мудрость старости.

Но если задрать голову, да так, чтоб шапка свалилась, — видите? Над самой вершиной, в прозрачной небесной голубизне курится тонкая струйка дыма.

Таится огонь в недрах.

Ждет.

* * *

Первый год жизни в качестве негласного сотрудника (в качестве жены Циклопа? смешно...) ты никак не могла преодолеть внутренний порог.

Нервничала.

— Эльза Вильгельмовна! голубушка! позвольте открыто, по-стариковски — все хорошеете, душенька!..

— Полно вам насмешничать, Антон Глебович!..

Боялась.

— Р-рота! Р-равнение напр-р-раво! на ее светлость!..

— Ах, мальчики! милые мои мальчики!..

Вздрагивала невпопад.

Старалась чаще заезжать в училище — якобы за мужем, якобы страстная, вздорная любовь на закате дней! — чаще бывать в присутствии старших преподавателей, господ облав-юнкеров... Улыбалась, скрывая тошноту; болтала о пустяках, когда хотелось бежать куда глаза глядят; кокет-

ничала напропалую, мечтая об одном — домой, рухнуть пластом на кушетку, и...

Привыкала.

Любой маг бессилен в присутствии «Варвара». Добро б лишь он сам, облавной жандарм, цепной пес империи, был неуязвим для эфирного воздействия! — тогда можно было бы преградить ему путь другими, обычными людьми, отвлечь, задержать... уйти.

Нет.

Наверное, так действует на кролика взгляд удава. Опускаются руки, цепенеют; вместо Силы в животе скребется крыса ужаса; миг, другой, и сам ринешься в пасть с облегчением: прими, Господи, душу... не могу больше!

— Ваша светлость! Господин полковник просили уведомить: вынуждены задержаться по работе!

— Опять? Нет, это невыносимо...

Джандиери не торопил. Как-то обмолвился:

— Подожди. Когда сложится, тогда сложится.

У Друца «сложилось» почти сразу: на пятый месяц Валет уже вовсю балагурил с дядьками-наставниками, стрелял папироски у облав-юнкеров, душеспасительно беседовал с отцом Георгием и шутил заказанные ему полковником шутки.

Зарубки на рукояти кнута делал: восемь «нюхачей» помог выявить, за двоих Циклоп лично хвалить изволили, с глазу на глаз, в кабинете!

Значит, две зарубки — поглубже.

Ты завидовала рому. И однажды...

— Здравствуйте, Эльза Вильгельмовна!

Они стояли у входа в Оперный театр, на углу Екатеринославской улицы и Лопанской набережной. Двое: курсовой офицер Ивиков, как и Джандиери, бывший облавник — и преподаватель фортификации, чью фамилию ты забыла, а облав-юнкера звали его Барбет.

— Добрый вечер, господа! Кто сегодня дирижирует? Вильбоа?

Мужчины переглянулись.

— Видите ли, Эльза Вильгельмовна... Уж простите нас, солдафонов! Мы, собственно, проветриться вышли!..

Две руки одновременно указали наискосок через Екатеринославскую, на вход в ресторацию «Богемия».

Был март, с крыш капало; орали коты, мня себя итальянскими тенорами; готовился дирижировать оркестром знаменитый Вильбоа, автор романсов и оперы «Параша», — а ты смотрела на Ивикова и Барбета, чувствуя с изумлением: сложилось.

Могу.

Их самих — нет; но в их присутствии — да.

— Не увлекайся, — осадил тебя Джандиери, когда ты рассказала ему обо всем. — Через неделю станем тебя пробовать. И только с моей санкции: место, время, сила воздействия... Кстати, Ивиков в курсе твоего прошлого.

— Кто еще в курсе? — спросила ты, отвернувшись.

Князь промолчал.

А ты, Княгиня, — с этого мартовского вечера ты стала внимательней приглядываться к господам облав-юнкерам и училищным офицерам, чувствуя новую, удивительную свободу.

Все время казалось: это важно.

Это нужно.

Еще б знать: кому важно? для чего нужно?!

* * *

Преодолевая странное отвращение, ты посмотрела через плац. Раньше смотрелось куда легче; теперь же словно второй Таханаги вцепился сзади в голову, мешая шее ворочаться.

Знаешь, Княгиня... нет. Ничего-то ты не знаешь.

И врут умники-философы, утверждая, что нельзя дважды войти в одну реку! — вон она, река, и плещутся в ней по второму разу унтер Алиев с шашкой, портупей-вахмистры с их намерениями сдать зачет любой ценой. Все как раньше. Но что-то изменилось: малозаметно, плохоуловимо, и Сила тебе не поможет разобраться в изменениях облав-юнкеров, сокрытых от мага призрачной броней.

Смотри внимательней, Княгиня!

Просто смотри, без финтов...

Ты смотрела, понимая: сдадут. Еще миг, и унтер кинет

оружие в ножны, остановив урок. На сей раз — сдадут. Взвизгивают эспадроны, притоптывают сапоги, бранится по-аварски кривая шашка...

«Поняли, желторотики?» — это шашка спрашивает.

«Да...» — это эспадроны отвечают.

Что поняли? в чем разобрались? о каких материях речь ведут? — не для тебя сказано-отвечено, девочка моя. Одно ясно: облав-юнкера фехтованию учатся, а тебе иное кажется — непотребство творится на площадке, чудовищное, противоестественное.

Унтер Алиев, чему парней учишь?!

— Мой учитерь говорить, когда пить горячий сакэ много-много... Он говорить: «Самурай надо писать стихи! Иначе не самурай; иначе демон Фука-хачи!» Вы писать стихи, Эрьза-сан?

Слова пришли сами:

— Я была.
Я однажды узнаю,
Зачем я была.

Старик почмокал губами, будто пробовал на вкус сказанное тобой.

— Вам не надо узнать, Эрьза-сан. Вы — знать. Сейчас; здесь.

— Да, — машинально ответила ты, пытаясь не отвернуться от облавников; не спрятать голову в песок, подобно глупому страусу.

И встретилась взглядом с Алиевым, секундой раньше прекратившим бой.

С Пашкой Аньяничем, лихим портупей-вахмистром.

С тремя облав-юнкерами.

С четверкой мужчин, жандармов из Е. И. В. особого корпуса «Варвар»: один — бывший, трое — будущих.

С четверкой «Варваров», ибо нет меж них бывших и будущих.

Захотелось исчезнуть. Вжаться в стену административного корпуса. Забиться под скамейку; встать за спину старого айна.

Последний раз такие ощущения ты испытывала при аресте в Хенинге; помнишь?!

Холод. Лютый, февральский; барачный. И через всю залу, в отблесках и шепоте, идет он: полуполковник Джандиери, ловец, настигший дичь. Он идет не спеша, и вся твоя Сила, удесятеренная Ленкой Ферт в платье цвета слоновой кости, расшибается о призрачную броню «Варвара», жандарма из Е. И. В. особого облавного корпуса при Третьем Отделении.

Пусто.

Холодно.

Некому петь кочетом.

Гаснут свечи в твоих глазах, глупая Рашка...

...Оно пришло рывком, понимание.

По-волчьи бросилось на добычу.

Как же ты не видела раньше: вот, вздымаются молодые груди, капли пота густо усеяли лбы, щеки, переносицу, красные пятна еще не угасли на скулах — но зачет сдан! Тела еще гасят физическое возбуждение, принуждая кровь размеренно струиться по жилам; но в душах возбуждения нет. Умер порыв; сдох шелудивым псом под забором, оставив сухой расчет своим наследником. Где ярость? обида? кураж где?!

«Делай как я! Спокойнее! Не к лицу... вам... будущим офицерам...»

Результат налицо.

Теперь всегда, в бою или на дуэли, близ аула Ахульго или на окраине Севастополя, они будут рубиться — спокойно.

Не бесстрастно, о нет!.. равнодушно.

«Самурай надо писать стихи! Иначе не самурай... иначе демон Фука-хачи!..»

Скакать на лошади; изучать фортификацию; стрелять из пистолета; любить женщину, мать, сына; ловить преступных магов, навеки облачась в свою призрачную броню, — равнодушно.

С равной... ровной душой.

Со второго этажа, из окна своего кабинета, на тебя укоризненно смотрел Циклоп.

Лоб почесывал.

VI. ДРУЦ-ЛОШАДНИК, или БЕС В РЕБРО

Спасай взятых на смерть, и неужели откажешься от обреченных на убиение?

Книга притчей Соломоновых

С утра все шло наперекосяк. Начался этот самый «перекосяк» с балагана: первый же доброволец из «щеглов» лихо кувыркнулся со спины гнедого трехлетки по кличке Гнедич. Надо сказать, кличка подозрительно смахивала на фамилию. И норов у жеребца был соответствующий: не злой, но ханжески-фамильярный. Протоиерейский норов. Взятки сахаром выпрашивал. А также большой был мастак надувать брюхо, дабы подпруга вскоре ослабла, и...

Ба-бах!

«Щегол» в пыли, Гнедич над ним, и в ухо фыркает: вставай, сын мой, давай мне вкусненького! Ах, не встаешь! — тогда я тебя, растяпу, зубами за воротник: подъем, кому сказано!

По рядам ехидные смешки гуляют. Не во множестве, как меж обычными желторотиками случается, грех напраслину возводить; но в количестве досадном. Будь на месте новичков господа портупей-вахмистры, в ста щелоках кипяченные, — бровью бы не повели; зато тебе, Друц, не до смеха. Вот ведь мимо фарта, баро! — тебе-то как раз хоть смейся, хоть плачь, вольному воля, а на «щеглов» напустился ястребом его рвение, Илларион Федотыч.

Изрядную выволочку учинил.

Не подобает, значит, будущим жандармским офицерам ржать, подобно длинногривым жеребцам или оболтусам-студентам, годным лишь морским свиньям клистиры ставить. Облавной «Варвар», рупь-за-два, должен быть сдержан и спокоен, чувств своих не выказывать (а лучше — вовсе не

иметь таковых); над товарищем смеяться — чистый позор, и место ли таким пустосмехам в славном училище...

Смир-р-р-но!

Смех увял. «Щеглы» подтянулись, с каменными лицами внимая нотации Федотыча; дядька-наставник голоса не повышал, лишь время от времени лязгал глоткой, отделяя одну фразу от другой — словно затвор передергивал. А под конец своей воспитательной речи вдруг взял да и привел в пример тебя:

— Р-равнение налево! Извольте поглядеть: даже конюшенный смотритель хоть и штатский, а зубов не скалит. Потому как человек выдержанный и правильный. А вы... стыдно, господа!

Тебя же просто с утра хмурило, как небо перед грозой, — того гляди громыхнет меж бровями, и молоньи из глаз посыплются. Громыхнуло после, когда ты отчитывал нерадивых конюхов, прозевавших Гнедичеву шалость. Но «после» — оно и есть «после», а тогда, с утра, предстояло давить фасон перед облав-юнкерами, джигитовку обещанную показывать.

Всю упряжь, не доверяя больше никому, ты проверил самолично. Ворча, там подтянул, тут поправил — скорее для порядку, чем по необходимости.

— Готов, Ефрем Иваныч? — подошел сзади вахмистр; и ты впервые на самом деле не услышал его шагов!

— Так точно, Илларион Федотыч.

— Тогда, рупь-за-два, я им пару слов скажу напоследок. А как рукой отмашку дам — выезжай, значит.

Ты угрюмо кивнул.

Из головы не шел давешний разговор с отцом Георгием и вспышка раздражения у Акулины. Тебя душевно огорчало, что двое близких тебе людей рассорились из-за ерунды. Батюшка ли виноват? Акулька языкатая? беременность ее? — или вчерашняя «присуха» на даче?!

Если уж Княгиня отсушить не может...

Предчувствие грозы наползало отовсюду; буря вызревала, пронизывая воздух кипящим дыханием, близилась с каждой минутой. Ай, глупый ром! — ну давай пропустим

грозу через себя, сделаем своей, сами грозой станем, увидим, поймем, разберемся...

Теплая волна лениво плеснула в животе (изжога мажьей удачи? содовой хлебнуть не хочешь?!) и бессильно откатилась обратно. Без толку. Пахнет жареным, горелым пахнет, а из чьего двора — не разобрать. Совсем плохой стал, баро, старый, бестолковый...

Правильный.

И отмашку Федотыча тоже проморгал. Пришлось вахмистру окликнуть тебя: эй, рупь-за-два!.. лишь тогда очнулся. В седло взлетел по-молодому, разом оставляя на грешной земле все тревоги-печали — конь! ты! небо! ну, и еще где-то там, далеко внизу, — бубен, в который бьют копыта.

Ветер шибает в лицо свежестью прохлады, щемящей полынью осени; и последней, невозможной свободой.

Серая вата неба — в клочья.

Земля под копытами — безумной каруселью, кровавым золотом осенних листьев, вздыбленных ветром.

Ай, мама, мчусь по небу, рассыпаю звезды-искры!.. Ай, по небу, ай, по жизни, жизнь промчится — ай, по пеклу!.. Нет коня Гнедича, нет Дуфуньки-рома — дивный китоврас из сказки, вдрабадан пьяный волей-волюшкой, баламутит землю с небом; хмель этот кружит голову не только тебе, но и стене живых мундиров — стоят! рты пораскрывали! едят глазами живой смерч! Сказку им не увидеть, на другое натасканы, слепы к сказкам, но что видят, того мундирам достаточно... Угомонись, Валет Пиковый! Не финти сверх меры! Пусть мальцы видят свой завтрашний день, нужное, к чему сами стремиться должны; пусть научиться захотят — а не опустят потерянно руки: «Ну, *так* я никогда не сумею!..»

Угомонился.

Урезонил себя.

Подавился финтом; надел на свободу уздечку.

Все правильно сделал, как и положено человеку казенному, а не лошаднику гулящему, у кого один ветер в башке свищет. Федотыч кивает одобрительно: молодец, значит!

Молодец так молодец. Вот только отчего тошно молодцу? Будто сам себя влет сбил, заарканил, взнуздал...

Ай, мама!.. Сквознячком от господ облав-юнкеров потянуло. Заныло в крестце; хрустнули суставы. Каторга в душе плеснула, обдала зябким воспоминанием. А двое из первой шеренги с ноги на ногу переступили. Конопатый правофланговый за живот волей-неволей ухватился — брюхо пучит, что ли? вот незадача! — а рядом у красавчика, у дамского угодника, щеку нервным тиком дернуло.

Ноздрями оба трепещут; глазами вокруг себя шарят, будто видели тень шалую, невозможную, да учуять-разглядеть опоздали — чью?!

Зато друг Федотыч все, что ему надо, разглядел.

Взял, рупь-за-два, на заметку.

Быть парням «нюхачами».

— ...быстро ты сегодня, Иваныч. Выдохся, а?

— Да просили тут не увлекаться. — Кривая ухмылка в ответ. — Вспомнить бы: кто просил? А, Федотыч?..

— Спасибо, Иваныч. Уважил. Не горюй, на твой век что коней, что парней... Гляди, никак из училища скачет кто?!

— Конюшенного смотрителя Вишневского к господину полковнику! Велено прибыть без промедления!

Неужто гроза изволила пасть на голову? Из-за подпруги ослабшей? из-за смеха облав-юнкерского?! из-за финта шалопайского?! Чарку б водки сейчас, да нельзя. Правильный ты отныне человек. Выдержанный.

В дубовых бочках.

Помнишь, Дуфунька: три с лишним года назад обещал ты в Крыму жеребца свести. Подряжался, говорил: «Мое слово — железо». Хвалился: «Когда это я хоть с коня, хоть с дела соскакивал?!» Ржавым железо вышло, соскочил ты с дела; в негласные сотрудники, в правильные люди подался.

Знать бы еще: отчего по сей день дура-совесть мучит?.. Хоть бери садись на поезд, езжай тайком в этот распроклятый Крым, своди жеребца... Дурость?!

Да, конечно... Дурость.

Проехали.

* * *

— Желаю здравствовать вашей бдительности! Вот, явился по вашему...

— Являются бесы схимникам! А в кабинет начальника училища прибывают... Впрочем, ты, Ефрем, человек штатский, тебе простительно. Заходи.

Садиться не предложил. Ладно, мы люди не гордые...

Господин полковник были явно не в духе. За три года жизни в качестве «негласного сотрудника» ты научился различать едва уловимые оттенки настроений «Варваров» и князя Джандиери в частности. Но чем дальше, тем чаще задумывался: ты ли, Друц, приглядчивей стал? князь ли броне своей ржаветь дозволяет?!

Опасные мысли.

Себе цену поднимешь, Циклопову уронишь — тут тебе, Дуфунька, и песня сложится: ходи, чалый, ходи полем, умер твой хозяин...

— Сговорились вы, что ли?..

Джандиери встал у окна. Растирая щепотью лоб, уставился вниз.

Видя лишь широкую спину на фоне светлого проема, ты и так знал, куда смотрит князь. На Княгиню, в ожидании мужа беседующую с желтым азийцем. И почему смотрит, тоже знал. Еще когда шел сюда, через второй плац, приметил: финтом в воздухе пахнет. Мелким, шутейным. Вот сейчас и получишь ты, морэ, сразу за два несанкционированных «эфира» — за свой и Рашкин.

А, рупь-за-два, где наша не пропадала?

Джандиери обернулся, в последний раз тронул лоб. Странное ощущение пронзило тебя навылет: будто не облав-полковник пред тобой стоит. Будто голый он и сотворить с ним все, что ромской душеньке угодно, — плюнуть и растереть! Раньше любой облавник тебе медным всадником виделся, исполином-големом; руки опускались, тварью себя дрожащей чувствовал пред ними, не человеком, не магом в законе. Вроде как со стеклянным пестиком вышел гору рушить. В училище и то — пока привык от облав-юнкеров не шарахаться дурным жеребчиком... Маленькие они, зеленые, недозрелые, а все

равно: медные всаднички, големчики-исполинчики, особенно выпускники.

Там, в Севастополе, когда с ножом на князя шел — не победы, смерти искал. Оттого втрое удивительней чуять: ты человек, Друц-ром, но и он человек, Шалва Джандиери, а значит, если прямо сейчас, от дверей, сделать шаг навстречу...

Шаг навстречу сделал не ты — он.

И разом ушло чувство силы, безнаказанности; затянулись мнимые трещины в «Варварской» броне, заросли стальными рубцами.

Противно заныли зубы.

«Сейчас обложит по матушке!» — подумалось невзначай. Ан нет, обошлось. По-видимому, чувствуя собственное раздражение и стесняясь его, господин полковник заговорили с тобой даже дружелюбней обычного.

«За дочку переживает, за Тамару-безумицу...» — догадался ты. Впрочем, для такой догадки не требовалось быть семи пядей во лбу.

— Садись, смотритель конюшенный. Да садись, говорю!

А ноги-то вялые, тряпичные, к стулу идут-подгибаются...

Да, Друц?

Навоевался, аника-воин? человек казенный, правильный?!

— Сегодня на вторую половину дня я тебя от работы освобождаю, — без всяких предисловий заявил князь, едва ты, последовав приглашению, умостился на жестком стуле. — Будет у меня к тебе... не поручение даже — просьба.

— Рад стараться, ваше...

Дернулся рыжий ус: видать, крепко не угодил ты Циклопу своим «Рад стараться!».

— Что смогу — сделаю, — тоном ниже добавил ты.

Джандиери в раздумье прошелся по кабинету, скрипя сапогами. Решительно остановился напротив, у шкафа из мореного дуба:

— А попрошу я тебя, Ефрем, на дачу ко мне, в Малыжино, съездить. Сегодня вечером нам с супругой непременно на балу быть надо — и не поехал бы, так по долгу

службы обязан. А дочку на прислугу оставлять не хочу. Подозреваю, ты уже в курсе?..

Джандиери выжидающе прищурился.

— В курсе, ваша светлость, — скупо кивнул ты.

— Тем лучше. — Ответом был точно такой же скупой кивок. Как в зеркало заглянул: он человек и ты человек... Видно с ужасающей ясностью: адское! смоляное варево! кипит под внешней личиной холодной сдержанности, казалось бы, намертво приросшей к жандармскому полковнику!

Князь держался — но чего ему это стоило!

Однако сейчас думать о чудесах было некстати: Джандиери — не тот человек, который потерпит невнимание к собственным словам!

— ...никого лишнего мне не хотелось бы посвящать в это дело по понятным причинам. А тебя Тамара знает; о Федоре и речи нет. Челядь с домашними предупреждены. Пригляди за дочкой, Ефрем, очень тебя прошу. Думаю, ничего страшного в наше отсутствие не случится; но если что...

Из камня лицо княжеское.

Из камня слова: страшные, невозможные в устах Джандиери-Циклопа, облавного жандарма.

— Разрешаю применять силу и эфирные воздействия: в теперешнем состоянии Тамара к ним частично восприимчива. Но только в *крайнем* случае и со всей аккуратностью. Иначе головой ответишь. Ты меня понял?

— Понял, ваша светлость. Все сделаю, присмотрю, лишку не позволю. Да и Федька мужик серьезный, не сомневайтесь...

— Я надеюсь не на Федора — на тебя, Ефрем. Мы с княгиней надеемся. Поезжай. Ночевать на даче останешься, комнату тебе выделят. Возвращаться не торопись: завтра у тебя выходной — я распорядился.

Ты встал, поклонился.

Зачем-то отряхиваться стал — чище стать захотелось, что ли?

— Разрешите идти, ваша светлость?

Забыл князь ответить; забыл разрешить. По новой к

окну отвернулся — спина широкая, сильная, лазоревый мундир второй кожей торс обтянул.

Сутулишься, Циклоп? или это тени? тени, тени...

— Полчаса на сборы хватит, Дуфуня? Прости — Ефрем... ну конечно же, Ефрем...

Тени...

Получаса хватило с лихвой — устроить нагоняй конюхам-бездельникам, душевно распрощаться с Федотычем, переодеться — и вскоре из ворот училища, на лучшей казенной двуколке, предоставленной в его распоряжение, выезжал Ефрем Иваныч Вишневский, смотритель конюшенный, шибко правильный человек.

Все время казалось: Циклоп в спину смотрит.

Лоб чешет.

* * *

Пока двуколка катила по загородным проселкам, успело распогодиться. Клочья свинцовой ваты расползлись драным одеялом, за которое дружно рванули с четырех сторон; теплым, но не жарким, сентябрьским золотом плеснуло солнышко в прорехи — и даже пегая кобылка без всяких понуканий пошла веселее.

На душе у тебя было как в небесах: вроде бы ушли тучи, но серая мгла таится по закоулкам, дожидаясь своего часа.

Быть грозе.

Окрест пейзажным полотном текли рощи, скудные перелески: последняя, темная зелень перемежалась медовой желтизной и вспышками пурпура, а кое-где деревья уже исчертили голубизну небес ломким кружевом голых ветвей. Грустно это выглядело, Друц, грустно и красиво; да и сама грусть была легкой, светлой: дунь — изойдет дымкой, просочится сквозь ажур веток, чудо-облачком уйдет в небо — чтобы раствориться в бескрайней синеве...

Осень.

И вокруг осень, и на сердце осень; пока светлая, с легкой горчинкой — но не за горами дожди, слякоть, ледяной ветер, продувающий душу насквозь, вестник скорой зимы. Что, Друц, прибавилось соли в буйных кудрях? Не меньше, чем черного перца, стало?

Прибавилось. Говорят, правда: «Седина в бороду — бес в ребро», да только кличку свою ты недаром получил. Бреешь ты бороду, ром неправильный. Обманул своего беса, проморгал рогатый седину, не пришел. Дал осесть, остепениться; полковник жандармский тебе за дочкой своей приглядывать доверяет — куда уж тут бесу-то влезть? Выходит, некуда...

Но почему от этого «некуда», так похожего на «никогда», осенняя грусть горчит на губах вдвое? И щемит в груди...

Осень?..

...Двухэтажная дача-усадьба князя Джандиери выплыла из-за поворота лебедем, как и положено солидному имению: с парком, конюшнями, флигелями, всяческими хозяйственными пристройками... Хороша дача! Такую впору дворцом назвать. Колонны у входа, розовый мрамор ступеней, по летней веранде куролесят багряные отсветы — это солнце просвечивает сквозь бордовую листву винограда, увившего веранду поверху.

Средь неверного багрянца не сразу-то углядишь: вон они.

Тамара-княжна и Федька Сохач.

За летним столиком.

Сидит девица-красавица: лицо смуглое, волосы черным-черны, платье из розовых лепестков — под цвет мрамора? или это мрамор ступеней — под цвет ее платья? Сидит, значит, рупь-за-два (Федотыч! изыди!..); держит за руку сказочного принца. Смотрит на него; молчит. Просто смотрит, оторваться не может; просто молчит, слова забыла.

Зачем слова?

Смущен принц; скрыть пытается — а оно наружу пеной лезет. На столе, всеми позабытые: легкомысленная шляпка, голубка из салона мадам Флер-д'Оранж и два высоких бокала с чем-то красным; небось морс из клюквы-ягоды, каторжной подруги.

Вина-то Тамаре никто не даст — и без того девица пьянее пьяной.

А в углу веранды, на скамеечке, нахохлилась вороной — матушка Хорешан, вся в черном. Сторожит; пуще цепного пса.

Зато настоящий пес не усидел на месте. Ай, хороший мой, Трисмегистушка! — вихрем подлетел к воротам, гавкнул утробно. Не на тебя, на припоздавших слуг. Приказ отдал: открывайте, мол, бездельники! И вид, и голос у дога был начальственный; можно даже сказать — княжеский.

Лично тебе Трисмегист покровительствовал. Раньше ты уже посещал дачу, помогал в обустройстве конюшенных денников, за что был признан человеком полезным, правильным (опять!..); дважды за визит, при встрече и отбытии, милостиво допускался к чесанию за ухом — после чего дог с важным видом ложился в траву, продолжая нести охранно-сторожевую службу.

Ритуал был соблюден и на этот раз, кобылу увели распрягать, а ты направился к веранде, откуда тебе радостно махал рукой Федор. Княжна порывисто обернулась, в глазах ее мелькнула тревога — заберут! не дам!.. не отпущу!.. — однако, увидев тебя, девушка расслабилась и даже улыбнулась вполне приветливо.

— Желаю здравствовать, Тамара Шалвовна! — Ты ловко сорвал с головы шляпу; для потехи хлестнул себя по ляжкам. — И вам от нас с приветом, госпожа Хорешан! Как здоровьице?

Ворона каркнула; замолчала.

ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ

В черных, влажных, но никогда не проливающихся слезой глазах матушки Хорешан отныне и навеки:

...ветер.

Вы знаете, что это такое: чихтикопи? лечаки? Не знаете? А ведь это повседневность для любой картлийки: женский головной убор в виде ободка из бархата, поверх которого надевается треугольная вуаль из тюля. Такой убор украшал еще молодую женщину в тот день, будь он проклят, когда она с башни замка Лехури смотрела вниз, на дорогу. На телегу,

где везли тело ее юного сына, убитого кровником; а за телегой шел сивый жеребец с пустым седлом.

Вах, ветер! сорвал с головы чихтикопи! сорвал лечаки! швырнул под тележные колеса, под копыта сивого жеребца.

Ветер...

* * *

— Мое почтение, Федор Федорович!

Ты слегка ерничал, зная: так надо.

— Д-добрый... д-день... Ефрем Иванович...

Княжна говорила раздельно, чуть заикаясь. Словно повторяла заученную роль. При этом ее искренняя, детская улыбка никак не вязалась с тщательно выговариваемыми словами.

Надо же, запомнила имя-отчество! — еще успел подивиться ты.

— Мы... с Ф-феденькой... собирались обедать... Вы составите нам... к-компанию?

— Будь здоров, Ефремушка! И то правда: устал небось с дороги, в животе цимбалы бренчат! Садись с нами. Мы ведь больше о высоком, о тонких материях — не приедь ты, умерли бы с голоду!

Федьку слегка несло, хотя парень сдерживался изо всех сил. Тяжело ему: целый день с княжной, да под присмотром, да следить, чтоб и Тамаре свой тихий интерес был, и лишнего не допустить, не обидеть ничем; в первую очередь — равнодушием или случайным, невольным намеком. Она ведь сейчас — зверь дикий: разума чуть, а любую неправду, любую фальшь нутром чует...

То-то Федор тебе обрадовался!

Подали обед: наваристый янтарь ухи из карпов, после — рыбную же запеканку с грибами на пару, обильно сдобренную ароматом белого перца, домашние хрустики; вам с Федором поднесли ядреный, стреляющий в нос пузырьками, квас с ледника, а Тамаре — новый бокал морса. Ты балабонил без устали, мешая быль и небыль, ромские побасенки и истории, слышанные краем уха на путях-дорожках, стараясь выбирать те, что повеселее; ты заставлял

время нестись легко и беззаботно, птицей-тройкой, под эклеры с кремом, под графинчик «ерофеича» — хорошее поручение дал тебе Шалва Теймуразович! век бы так коротал! день за днем...

— А мой папа... он говорил... будто в-вы, Ефрем Иванович, лошадиный б-бог...

— Ну, если его светлость так говорит... — Ты прищурился с видом человека, хорошо знающего себе цену. — Есть на белом свете и получше меня знатоки-мастера, только и старый Ефрем не из последних!

— Поедемте!.. кататься!.. с-скучно на даче...

Блеску в глазах Тамары ты не придал значения. Скосился на Федора, но тот лишь плечами пожал: дескать, я не против! отчего б не прокатиться?

— Разве я могу отказать Тамаре Шалвовне? — лихо приподнял ты рюмку с настойкой. — Прокачу с ветерком, в лучшем виде! Сейчас Кальвадоса запряжем...

«Ерофеич» ушел в глотку единым вздохом.

— Я... В-велю запрячь! — Тамара захлопала в ладоши, как девчонка, и, видя неподдельную радость княжны, ты совершил последнюю ошибку:

— Не извольте беспокоиться, Тамара Шалвовна. Я сам.

— П-просто... п-просто Тамара...

Кажется, она хотела кокетливо потупиться. Вышло же иначе: лицо девушки вдруг напряглось, отвердело, напомнив лицо ее отца. Взгляд уперся в столешницу, зашарил меж тарелками, ища и не в силах отыскать пропажу.

— Мне п-приятно... будет...

Тон сказанного не понравился тебе. Вроде бы пустяки, наигранное кокетство человека, скорбного умом, — и в то же время безумие ясней ясного проступило сквозь смущенную улыбку; оскалилось... спряталось до поры. Ты оглянулся на сидевшую в углу матушку Хорешан: заметила ли что-нибудь бдительная нянька-надзирательница?

Не заметила.

Уснула, ворона.

Видимо, ваша долгая беззаботная беседа убаюкала даже ее бдительность.

Наверное, сейчас следовало остановиться, под благовидным предлогом отказаться от поездки, незаметно разбудить пожилую женщину, отвлечь Тамару новой небылицей — мало их у тебя, баро, небылиц-то?! — но ты не внял слабому голосу рассудка. Или треклятый бес добрался-таки до твоего ребра, а ты и не заметил?!

Ай, не заметил, проморгал!

Вместо благовидных предлогов ты хитро, с видом заговорщика, подмигнул Тамаре и Федьке; и вы на цыпочках, чтобы, не дай бог, не разбудить двоюродную тетку Шалвы Теймуразовича, спустились с веранды.

Направились к конюшням.

Даже здесь еще не поздно было пойти на попятный. Но вы с Федькой, у которого, похоже, гулял в голове ветер еще почище, чем у тебя, старого дурака, отослали конюха, велев открывать ворота; и ты споро запряг в коляску покладистого дончака Кальвадоса, еще ранее безошибочно выделенного тобою среди прочих княжьих коней.

Что, Друц-лошадник, сколько волка ни корми?.. «Завязал», из Закона вышел — а все к чужим лошадям присматриваешься?

Федор галантно помог Тамаре забраться в коляску, ты устроился на облучке — и махнул на все рукой. В конце концов, что тут такого? Ну, прокатитесь по окрестностям да вернетесь! Раз княжна просит... А присмотреть за ней и отсюда можно — впервой ли тебе глаза на спине отращивать?

Вот и ладненько!

Но-о, поехали!

Дурак-конюх долго возился с воротами — и Федор, соскочив с коляски, одним могучим толчком распахнул створки.

— Поедем, красотка, кататься?! — обернувшись, подмигнул ты княжне.

Ты?

Или вселившийся в тебя бес?

* * *

Поначалу, хотя и ехали с ветерком, ты старался особо не лихачить. Без причины всплывало в памяти: заливается безумным хохотом облав-юнкер на джигитовке, пляшет ротмистр со стеклянными глазами из «Пятого Вавилона»... Княгиня разок обмолвилась, будто и предыдущий начальник училища не просто так на пенсию ушел. Вот и дочка у Шалвы Теймуразовича, опять же... да и сам князь — тот огонь, что ты сегодня углядел в Циклопе... злой огонь, пекельный! Не заметишь, как и душу, и разум дотла выжжет, один пепел в голове-сердце останется! Сильный человек князь, однако всякой силе предел есть...

Бешеная скачка, безумный танец, жгучий котел страсти — они складывались в тайный, заранее прописанный узор; ты придерживал Кальвадоса, как придерживал свои мысли, не давая резвой рыси перейти в сумасшедший галоп...

Но сначала пришла волна: знакомая, страшная, безнадежная.

А увидел ты позже:

Толпа.

Гудит растревоженным ульем, люто брызжет злобой. Юродивый карлик-побродяжка скачет меж людьми воробышком, приплясывает: «Свет Прокопьюшка! Со святым праздничком! Крести раба Божьего!»; только пуще народ раззадоривает, дурачок. «С праздничком, Прокопий! Ужо окрестим! Н-на!..» Под ногами, сапогами, кольями, наспех выдернутыми из плетней, — парнишка: в крови, в лохмотьях, избитый, но живой покамест. Как и увидел-то его сквозь толпище — непонятно.

Небось сам собой финт сложился, будто кукиш во гневе.

Странно: били парня без остервенения, душу до конца не вкладывали, и ты еще подивился — злости у людей было вдосталь! — но взгляд скользнул дальше, и ответ пришел сам собой.

Поодаль трое чубатых мужиков держали рома: востро-

носого, чернявого. На лбу у бедняги выступил пот, глаза уже закатились — но не от бесплодных попыток вырваться: ром, гнилая Девятка Пик, пытался держать толпу!

Вот, значит, где встретиться довелось!

На миг в голове все смешалось. Ты успел, успел через годы и версты: вот он, твой Данька, еще живой — а ты не в силах сдержать, остановить...

* * *

Отчаянно натянулись вожжи.

Захрапел, взвился на дыбы Кальвадос; едва не перевернув коляску, встал как вкопанный.

Словно и не было трех лет в училище, подписанного особого контракта, долгих бесед с отцом Георгием.

Ни о чем больше не задумываясь, забыв об оставшихся в коляске княжне с Федькой, с облучка спрыгнул наземь Валет Пик по кличке Бритый.

* * *

Маг в законе.

VII. РАШКА-КНЯГИНЯ, или КОРОЛЬ СТАВИТ КРЕСТ

> Кто ходит непорочно, тот будет невредим; а ходящий кривыми путями упадет на одном из них.
>
> *Книга притчей Соломоновых*

— Зря вы так, милочка. — Он сказал это позже, когда вы ехали домой: переодеться и отдохнуть перед балом.

— О чем вы? — машинально спросила ты.

Копыта звонко цокали по булыжнику. За набережной кучер свернул направо: мимо Покровского монастыря, мимо звонницы. Перья облаков сплошь усыпали небо над крестами, но дальше, со стороны Павловки, опять наползала чернильная синева.

Становилось душно.

— Я понимаю: мелочь. — Джандиери не принял твой вопрос всерьез, как требующий объяснений. Вы и без того прекрасно понимали друг друга. — Пустяки. Легкомысленная шалость; «финт», если пользоваться традиционным определением. И господа «нюхачи» не заслуживают слишком уж строгого взыскания. Но, милочка, представьте себе: ваш «эфир» был бы ими отловлен. А все второкурсники мечтают выяснить доподлинно, кто именно натаскивает их, кто оттачивает нюх. Зачем вам лишняя слава?

Ты почувствовала: капля пота, щекоча, ползет от виска к подбородку.

— Погодите, Шалва... Вы хотите сказать: они не знают, кто из их окружения является завербованным магом?! Они, «нюхачи»?!

— Разумеется, не знают. Не могут; не должны знать. По счастью, лишь многолетняя практика позволяет специалисту определить не только наличие эфирного воздействия, но и его, так сказать, источник. Лет через пять-шесть, поразбивав лбы на тернистых путях... Впрочем, бывают досадные исключения.

— Досадные?

— Или, если хотите, счастливые. Например, ваш покорный слуга перед самым выпуском сумел вычислить объект: негласного сотрудника Гамзата Ц'ада, тифлисского шашлычника.

— Вас похвалили? наградили?!

— Увы, милочка. Меня вызвал к себе начальник училища в Тифлисе, полковник Шамиль Абуталибов — светлая ему память, хотя строг был старик не по-людски! Заставил подписать кипу бумаг о неразглашении. А мне бы не хотелось, чтобы ваш любимый Аньянич уехал в столицу, обремененный такими же бумагами. Они могут улучшить жизнь офицера, но чаще бывает наоборот. Излишние способности не всегда поощряются...

В лице сегодняшнего, харьковского Джандиери отчетливо проступил Джандиери мордвинский: гордый умница, оскорбленный косностью Государственного совета, отчаянный Циклоп, рискнувший презреть Букву ради Духа.

Ты почувствовала: в воздухе закипают резкие пузырьки шампанского.

На востоке громыхнуло: сперва робко, пробуя голос, но затем грозовой протодьякон взял верный тон. Бас наполнил небесную обитель, нутряной, опытный бас; и молния благословила притихшую землю.

— Шалва, — спросила ты после долгого молчания, — скажите мне: как вы стали облавным жандармом?

Вместо ответа он положил руку тебе на колено.

Легонько сжал.

Что, Княгиня, хорошая моя?.. Ну ладно, молчу, молчу...

Спать вместе вы стали спустя четыре месяца после свадьбы. В первую ночь Джандиери пожелал тебе приятных сновидений и удалился. В твоем возрасте и положении глупо ворочаться с боку на бок, если осталась одна... ты и не ворочалась. Заснула как убитая. Снилась всякая пакость: балаклавские покойницы, Друц, одетый в жандармский мундир, раненный в шею Феденька.

Просыпалась.

Глядела в потолок.

Чтобы снова уйти в дикую грезу.

Под Рождество в училище стряслась какая-то неприятность. Джандиери два дня ходил сам не свой, совершенно не похожий на былого полуполковника; и вечером, когда огонь полыхал в камине, наполняя тело сладкой истомой, ты не выдержала.

— Шалва, — сказала ты, изумляясь самой себе. — Знаете, Шалва...

Так все и получилось. Тихо, спокойно; обыденно. Он оказался хорошим любовником: сильным, предупредительным. В меру изобретательным; в меру снисходительным. Особенно если учесть, что для «Варвара», для «нюхача»-Циклопа, ты не могла предстать юным бутоном семнадцати лет.

К сожалению, последнее время вы редко ночевали вместе, в одной постели. Не ты была тому причиной; да ты и не доискивалась до причин. Боялась узнать правду. Боялась; хотела понять; опять боялась. И редкие ночи эти также

стали иными: бурными, можно сказать, буйными, жадными по-юношески... Ты потом еще долго думала, Княгиня: почему?

И ждала, когда он снова придет в твою спальню.

— ...Услуга за услугу, милочка. Не расскажете ли вы мне, как вам удалось стать тем... э-э-э... кем вы есть? По рукам?

Вместо ответа ты наклонилась к кучеру, веля придержать лошадь. На тротуаре, по левую руку, стояла афишная тумба, и мальчишка-расклейщик заканчивал свою работу.

Большие, вызывающе большие буквы:

«Киммериец ликующий».

— Желаете программку-с? — Мальчишка, заметив твой интерес, кинулся прямо под копыта.

Ты дала ему монетку; развернула глянцевый буклет.

«Музыкальная трагедия «Киммериец ликующий» по мотивам известной оперы, в постановке Московского Общедоступного театра. Музыка знаменитого английского композитора Роберта Э. Говарда, автора таких прославленных опер, как «Голуби преисподней», «Черный пуританин», «Черви земли» и др. Переложение и диалоги Говарда Лавкрафта, ливерпульского затворника-мизантропа, трижды обвиненного властями в некромантии и трижды оправданного судом присяжных (виза чиф-пастора Кромвеля, епископа Кентерберийского) за недостатком улик.

Роль Конана Аквилонского исполняет всемирно прославленный трагик Елпидифор Полицеймако...»

— Желаете посетить, милочка?

Но ты уже смотрела на афишную тумбу.

На цирковую афишу, где сбоку от «Киммерийца...», в окружении аляповатых клоунов и акробаток беззастенчиво рекламировался «чемпион мира, вселенной и города Урюпинска, борец-инкогнито по прозвищу Стальной Марципан».

— Шалва, — прошептала ты, с головой погружаясь в пучину совпадений и не замечая, что шепот твой — тоже совпадение. — Знаете, Шалва...

Но теперь не ответил он.

Остановил кучера; спрыгнул на мостовую.

Огляделся.

Вот его лицо: каменное, напряженное, и только удивительная складка на лбу живет своей жизнью.

Циклоп почуял присутствие гостей в пещере.

* * *

— Шалва!..

— Минуточку, минуточку, дорогая... Сейчас!

— Шалва! Да что же вы!

— Боже, какое воздействие!.. последний раз — в Каунасе, брал Туза...

— Шалва Теймуразович! Извольте объясниться!

— По-моему, надо в переулок... да, точно...

— Пес! Давно не охотился?!

* * *

Мощная, высокая фигура Циклопа на миг застыла.

В самой неудобной позе: корпус излишне наклонен вперед, три пальца истово трут лоб, ноги полусогнуты в коленях... Будто и впрямь — вышколенного пса одернули поперек выполнения команды. Накинь овечью шкуру, дура Рашка, проскользни между ног; беги, беги из пещеры прочь, пока есть время!..

А потом он выпрямился.

Убрал руку ото лба.

Вернулся к коляске — медленно, вбивая в булыжник мостовой подковки на каблуках сапог: будто гроб заколачивал.

Ах, сорвалась ты, девочка моя! сорвалась! вот и лети в пропасть: свистит ветер в ушах, виски переполнены обезумевшим пульсом, и острые клыки внизу текут слюной-слюдой в ожидании!..

— В моей семье, Эльза, считается позором бить женщину. Мужчине, который на это осмелится, сбривают усы. Имейте в виду: я слишком ценю свои усы...

Чувствуешь, Княгиня: руки обвисают мокрым тряпьем? Рот — пересохший солончак, и варан языка тщетно елозит от трещины к трещине? В трость позвоночника вставили тайную шпагу, и острие покалывает крестец изнутри? Мутит? Подкатывает к горлу?

Перед Дамой Бубен стоял полковник Е. И. В. особого облавного корпуса «Варвар».

Со всеми последствиями.

— Я хотел бы пройтись пешком, милая Эльза. Меня укачало... да и вас тоже. Жара, духота; возраст.

Усы — не быть, не быть им сбритыми! — встопорщились:

— Составите компанию? Помните, как говорил священник: в беде и в радости, в здоровье и в болезни...

Словно во сне, ты оперлась на его руку; спустилась вниз. Кучер — Сенька-Крест, негласный сотрудник, Валет Крестов — смотрел перед собой, даже моргать забывал. Пускай при нем Джандиери мог позволить себе говорить вслух больше, чем перед случайным лихачом — Сенька предпочитал оглохнуть и онеметь.

На всякий случай.

Возле афишной тумбы Джандиери задержался: сделал вид, что рассматривает афишу.

«Киммериец ликующий».

— Вы ничего не понимаете, Эльза. Вам только кажется, что вы понимаете... А на самом деле — ничего. И поэтому заслуживаете прощения. Я действительно давно не охотился. Повторюсь: вам не дано понять, что значит «долго не охотиться» для такого, как я. Впрочем... Вы когда-нибудь пробовали длительный период жить без... э-э-э... без «финтов», если пользоваться вашей терминологией?

— Пробовала. Вашими милостями, господин полковник.

Он поморщился: искренне, с честной, неподдельной брезгливостью.

— Оставьте, Княгиня. Я всегда восхищался вами; не лишайте меня этого. И если вам кажется, что за три года в училище вы научились «финтить» в присутствии облавных офицеров... боюсь вас разочаровать.

Его плечо тесно прижималось к твоему.

Дыхание касалось щеки: запах хорошего табака, мужского одеколона *«Corum»*... стылость мордвинского морга, крымская жара, прель листвы на тротуарах Харькова...

Княгиня! Что ты делаешь, Княгиня?! Что ты говоришь?!

— Шалва... Вы простите меня, Шалва. Хорошо?

Сказала — и стало легче. Совсем легко.

Миг, и взлетишь.

— Хорошо. Я, собственно, и сам... погорячился. А теперь давайте-ка свернем в переулок.

Зато теперь — озноб.

— К чему?

— К кому. Воздействие Тузового уровня, Эльза. На сегодняшний день — нонсенс. Чудо. Поверьте, я уже четвертый год не оперативный работник, я начальник училища и меньше всего собираюсь арестовывать нашего незнакомца. Мне просто хочется на него посмотреть... может быть, поговорить... скоро у меня не будет такой возможности. Ни у кого не будет. Вы уходите, Эльза, уходите насовсем. Вас увел я — это звучит смешно, но это правда. В тот раз я пошел наперекор всему и всем; пошел и выиграл. Вы уходите, набор в облавные училища сокращается; да, я выиграл. Только иногда...

— Что — иногда?

Как он сказал: «Это звучит смешно»? Это звучит смешно, милая Эльза, Рашка-Княгиня, Бубновая Дама, негласный сотрудник с номером! — но тебе страшно его потерять.

Если смешно — смейся.

— Иногда я думаю: выиграв, что я проиграл? Какую фигуру смахнул мимоходом с доски, не заметив ее подлинной ценности? Впрочем, это все лирика. Пойдемте.

— Шалва... Вы не боитесь, что за время нашей беседы этот таинственный Туз успел скрыться?

Он расхохотался.

Ты смотрела на князя, как, должно быть, смотрел Дон Гуан на статую Командора, когда надгробный памятник

вместо рукопожатия предложил соблазнителю стакан амонтильядо.

Джандиери не умеет!.. не должен!.. не имеет права!.. так смеяться.

— Он не успел скрыться, Эльза. Он там, в переулке. Я ведь все-таки «нюхач»...

Обогнув вашу коляску, мимо протрюхал извозчик: сонное, одутловатое лицо, сонная, тупая морда кобылы. Из-за угла дома высунулась любопытная мордочка мальчишки-расклейщика. Едва не опрокинув свое ведро, он глядел на офицера с дамой, удаляющихся в Старо-Дворянский переулок; ты что-то сделала, Княгиня, сама плохо соображая: что? — ты что-то сделала, мучительно размышляя над словами князя... и лишь спустя мгновение до тебя дошло: если мальчишка слышал лишнее — он забыл.

Навсегда.

Ты научилась финтить в присутствии облавных офицеров, девочка моя? Или просто Циклоп начал слепнуть?

Кто выжег ему глаз?

Молчу, молчу...

Третье здание от угла занимала детская больница, открытая совместно Мещанским обществом, общиной Красного Креста и Обществом попечения о больных детях. Брали сюда отнюдь не всех: лечебное заведение предназначалось исключительно для лиц, принадлежащих к харьковскому мещанству; цены же были умеренные.

Джандиери легко взбежал по ступенькам, толкнул дверь; «Господин офицер! господин! офицер!» — сунулась было к нему дежурная сестра милосердия, но вы обошли сестру с двух сторон и устремились дальше.

— Господин офицер! — неслось в спину кудахтанье. — Туда нельзя! Дети! Там дети! Господи, да что же это?!

— От дурища! — резюмировал густой бас; видимо, дворника или фельдшера. — Це ж жандарма! Мундер не бачыш? Им можна...

Коридор.

Серая, узкая кишка.

Налево, направо; снова налево, в аппендикс.

Лишь теперь ты стала улавливать — нет, не наличие «эфира», это, если вслепую, на большом расстоянии, и впрямь для «нюхачей»! — присутствие другого мага. Сильного, в законе, иначе не почуять. Крестовая масть; похоже, Король. Князь промахнулся: таинственный Король не здесь, не в больничном аппендиксе, но где-то рядом. Св. Марта-заступница, ну что, что понадобилось магу в сей юдоли страданий? — клистирную трубку украсть? стетоскоп?! покойников у прозектора на бульвар увести?!

В кончиках пальцев слегка покалывало; волосы, казалось, искрились. Так и подмывало еще разок проверить: удастся ли повтор финта? в казенном присутствии?!

Дверь в палату.

Табличка «№ 6», скорее похожая на оловянный образок, шарахается от вас прочь — внутрь.

— Господин полковник! — воздвигся на пути сугроб. Огромный, бородатый, рукава халата засучены по локоть; руки — мясницкие окорока в буйной шерсти. — Извольте немедленно покинуть помещение!

Лишь сейчас ты поняла, до чего красив на самом деле «Варварский» мундир. Сказочным рыцарем стоял Джандиери перед белым драконом, не сдвинувшись ни на пядь; и это было так же празднично, как и обыденно; и было это так же обыденно, как и глупо.

Ты дура, Рашка.

— Господин полковник! Вы слышите, что я вам говорю?! Здесь больной ребенок! И я, как дипломированный врач, «со всеми правами и преимуществами, сопряженными по закону с этим званием»...

— Соблаговолите не орать, — стальным эхом лязгнул голос Джандиери. — Здесь больной ребенок. А еще здесь наличествуют флюиды эфирного воздействия, осуществленного не позднее получаса...

— Господин полковник! Вы слышите...

— Нет, это вы меня слышите? Если нет — я немедленно арестую вас как пособника! Со всеми вашими «правами и преимуществами», с дипломом, долгами и дурным характером! Согласно дополнениям к действующему Уложе-

нию о Наказаниях, статья 75, параграф восемь дробь пять! Итак?!

Сугроб сдался.

Стал рыхлым, ноздреватым; с хрустом провалился сам в себя.

Было странно видеть истерику у большого, сильного мужчины; и ты чуяла — много в этой истерике неподдельного, причем не один ваш приход тому виной.

Доктор не был Королем Крестов.

Просто — доктор.

— Арестовывайте! Надевайте! — кандалы, наручники, что там у вас за пазухой! Я умываю руки! — пусть умирает безвинное дитя, пусть рыдает мать! Ваш грех, господин жандарм! Я умываю руки!.. И запомните: вся ваша хваленая законность не стоит единой детской слезинки!.. А, да что с вами толковать!.. руки! умываю!!!

Он ки́нулся в угол, яростно загремел умывальником.

— Арестовывайте! Варвары, вандалы!..

Ты даже не успела оценить курьезность докторского каламбура. За спиной взвизгнула дверь, громыхнув о косяк, и в маленькой палате стало не просто тесно — не продохнуть.

От людей; от воплей.

— Нюничка! Мой Нюничка!

— Алексей Демьяныч! скорее! консультанту плохо!

— Та шо ж вы налезли, господа хорошие! шо ж вы претесь и претесь...

— Нюничка! Улыбнись мамочке!

— Консультанту плохо! Алексей Демьяныч, да бежимте же!

— Я умываю руки! слышите?!

— ПРЕКРАТИТЬ!!!

Тишина упала обвалом. Гайморитно сопел фельдшерхохол в унисон с оскорбленным доктором; всхлипывала сестра, оправляя сбившийся набок чепец; стонала завитая, вроде барашка, мамаша: «Нюничка! Нюничка мой!..» — но это все-таки была тишина.

Настоящая.

— Алексей Демьяныч! — Князь всегда безошибочно за-

поминал имена малознакомых людей, единожды услышав. — Давайте-ка, голубчик, выйдем перекурить! Сорвались нервы, с кем не бывает...

От дверей, пропустив сугроба вперед, Джандиери через плечо поглядел на тебя.

Взгляд-санкция; пусть без подписи-печати, но от того не менее однозначная. Милая Эльза! пока мы с доктором... здесь все должны успокоиться. Ясно?

Так точно, господин подельщик! — улыбнулась ты.

* * *

Успокаивать в итоге пришлось тебя.

Поначалу все шло славно: Нюничка улыбнулся мамочке, и семья воссоединилась, ликуя, фельдшер порылся в шкафу, накапал сестричке валерианы, себе — из синей бутыли с «Веселым Роджером» на этикетке; пасынки Гиппократа дружно хлебнули, крякнули-охнули и угомонились.

— Это ваш муж? — Мамаша, баюкая Нюничку, заискивающе повернулась к тебе. — Извините, если я...

— Нет-нет, все в порядке. Это мой муж, если вы имеете в виду офицера. Князь Шалва Джандиери, полковник Е. И. В. особого облавного корпуса.

— О, ваша светлость! если бы я знала! если...

— Вы бы лучше Алексея Демьяныча поблагодарили, мадам Уртюмова! — вмешалась сестра, слегка захмелевшая от успокоительного; или это ей от фельдшера передалось? — Алексей Демьяныч у нас бог и царь, вашего Антошеньку, почитай, с того света вытащил!.. сами понимаете — пневмония, осложнения...

— Уртюмова? — Память обдала тебя брызгами мартовской капели. Совпадения продолжались, ухмыляясь в лицо костяным оскалом белого рояля. — Простите, мадам... Уртюмов Ермолай Прокофьевич, случайно, не ваш супруг?

— Что вы!..

Ну да! мало ли на белом свете Уртюмовых!

— ...мой благоверный — Уртюмов Михаил Ермолаевич, сынок ихний. Второй год как переехали из Мордвин-

ска, провались он, окаянный, пропадом... А вы знакомы со свекром?

— Д-да. — Ноги стали ватными, пришлось сесть на край свободной койки. — Н-на рояле ему играла... В ключницы подряжалась...

Мамаша-Уртюмова подхихикнула с угодливостью: ну как же-с, шутить изволит ихняя светлость! Ай, до чего смешно! Следом хмыкнул фельдшер, тихонечко подхватил бледный до синевы Нюничка; и даже сестра милосердия, поклонница докторского таланта, мелко прыснула в ладонь.

Засмеялась и ты.

Ощущение нереальности происходящего захватывало целиком, пенилось в носу колкими пузырьками; ты подошла к окну, глянула на внутренний дворик, на стекла оранжереи, на кресло у клумбы, в котором скорчился больной старикашка, одетый почему-то не в пижаму, а в дорогой, сшитый у хорошего портного костюм...

Больной старикашка в детской лечебнице.

«Консультанту плохо...»

— Здравствуй, Король. — Ты шепнула это еле слышно; Княгиня, ты даже не шепнула — просто подумала:

Здравствуй, голый, несчастный Король...

И обернулась к сестре:

— Так говорите, с того света вытащил?

ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ

Загляните в глаза сестре милосердия, загляните! Вот ведь какая интересная штука:

...сорока.

Сидит на ветке, трещит, не умолкает. Все думают — нарядом черно-белым да хвостом длинным похваляется. Или сплетни рассказывает. Ан нет, плохо люди о сороке думают!

Мальцов-сорочат в гнезде у птицы — не протолкнешься. Она-то трещит-трещит да при этом все выглядывает: не крадется ли кто к гнезду? не обидит ли птенчиков несмыш-

леных? Опять же жрут малыши в три горла: этому дала, этому дала, этому тоже дала — как не дать, свое ведь, родное!..

Забот у сороки — полон рот.

Так полон, что сама редко сытой бывает.

VIII. ДРУЦ-ЛОШАДНИК, или КОГДА УМИРАЮТ ЛЕГЕНДЫ

Кто затыкает ухо свое от вопля бедного, тот и сам будет вопить, — и не будет услышан.

Книга притчей Соломоновых

•

...ты шел.

Перед глазами колыхалось, подергиваясь дымкой нереальности, сонмище людей, совпадения громоздились скалами, и ты плохо соображал: где ты? когда ты? ты ли это вообще? Кого сейчас сосредоточенно пинают ногами хмурые сельчане? тебя? Даньку Алого? чужого парнишку, крестника Девятки Пиковой...

Девятка Пик!

Востроносый ром-живчик, которого держат поодаль трое местных богатырей! Ты уцепился за эту единственную опору в ускользающем из-под ног мире. С усилием подтянулся, выбираясь из зыбкой трясины воспоминаний. Провел ладонью по глазам, возвращая способность видеть то, что есть.

Здесь и сейчас.

С мимолетным удивлением ощутил на ладони влагу.

Ты плачешь, Друц?! Нет, ты правда плачешь, Валет Пик, маг в законе?!

Не важно.

Наплевать.

Вот он, Девятка, — изнемогает в последнем, запредельном усилии, держит озверевшую толпу на честном слове; еще полслова, четверть слова, смертный выдох — и...

А вместе? а вприсядку? а шляпой оземь, ладонью по бедру?! Давай, давай, морэ, вот мое плечо, обопрись... моло-

дец. А теперь — на два голоса: ту, балвал, ту, балвал, со на воинэса?!

Что, узнал? Узнал, вижу.

И я тебя узнал.

Вот, значит, где довелось встретиться!..

* * *

...Раз или два в месяц, по воскресеньям, ты наведывался на Конный рынок.

Знал: опасно. Знал: где, как не здесь, впору нарваться — на ромов из знакомых таборов, на мелкую мажью шушеру; на жиганов, с кем в свое время крутил общие дела или просто пропивал слам в ближайшем кабаке.

Знал; и все равно шел сюда.

Не мог иначе.

Хоть на полдня, хоть на часок окунуться в шумный круговорот, в неповторимую смесь запахов: копченая селедка, деготь, пиво, фрукты, конский и человеческий пот, вонь самокруток, подсолнечное масло, пролитое нерадивой хозяйкой прямо из бидона...

Так пахнет отроду не мытое тело базара.

Так пахнет жизнь вольного рома, вора и кутилы, бесшабашного плясуна и азартного игрока, живущего минутным куражом вне «вчера» и «завтра»...

Помнишь? — в тот раз ты первым делом свернул в пивную на углу. «Гандэлык» был грязен, прокурен насквозь; пол густо усыпан охнариками цыгарок и рыбьей чешуей — вот! вот оно! от трактиров в центре, с бдительными вышибалами у входа и прилизанными половыми, тебя уже мутило.

Однако грязь грязью, а завсегдатаев здесь узнавали за версту. Едва ты успел занять излюбленное место, в дальнем углу заведения, как хозяин грохнул перед тобой две пенные кружки. Ты усмехнулся, благодаря за предупредительность; извлек из кармана купленную по пути таранку и принялся со знанием дела колотить рыбой, засушенной до деревянного состояния, о дубовую столешницу.

Клубы махорочного дыма вокруг гудели чужими голосами; время от времени прорывалось:

— ...местовое плати, старшине плати, квартальному плати — а потом мамаша с дитем лыбится, зар-раза, и бухтит: «Куркули! жируют с нашей бедности!»

— ...п-понял? Так п-прямо и говорит: козел ты! И дымом мне в харю! Ну я ему ка-а-ак...

— ...повбывав бы!..

— ...с почином! ставь пиво!..

— ...вчерась на Бурсацком мажонка с моста кинули... башкой об мостовую, и в реку...

— ...во люди! правильные люди!..

— ...повбывав бы!..

За стол напротив тебя плюхнулся востроносый живчик. Рожа смуглей леща-копчухи, по лохмам гребень плачет; глазки-мыши окрест шныряют: что плохо лежит? где?! Грудь голая, безволосая, зато жилетка — огонь с серебром.

Ты вздрогнул, закашлялся; принялся глотать пиво, потерявшее всякий вкус. Нарвался! Родная масть! Пиковая!.. Девятка, в законе. И по всему видать — лошадник.

Родственная душа.

— Чего пялишься, дядя? Живого рома не видал? Ну так за смотрины грош, потрогать — рупь! Или сплясать? Это дороже, не по всякой роже!

— Спляши, морэ, спляши... — Кашель ушел, как не бывало. — А я подпою. Ну, давай: ту, балвал, ту, балвал, со на воинэса? Умардян мирэ ромэс?..

— Со на ракирэса! — машинально подхватил востроносый.

И вы пошли тихонько, душевно, на два голоса:

— Та-ра-рай, да та-ра-да, ри-ра-ри-да...

— Кто песне выучил? — приятельски подмигнул Девятка, когда вы замолчали. — Здесь, на базаре? В конных рядах?

— Мать выучила. В таборе...

— Мать? В таборе?!

— Да. Всегда по вечерам пела, у костра: «Ветер, вой, ветер, вой! Что же ты не воешь? Убил мужа моего? — от меня не скроешь!..»

В ответ Девятка от души расхохотался.

Он веселился так искренне, что до тебя наконец до-

шло: творится диво дивное! Ром рома не признал! маг — мага! Пусть Девятка — не ахти какая карта в колоде, но ведь не ветошник же, должен чуять, раз в законе...

— Трепло ты, дядя! — Белозубо скалясь, востроносый оторвал от твоей таранки плавничок, кинул в рот. — Да ты на себя в лужу глянь: из тебя ром, как из меня губернатор! На одних песнях, морэ, вожаком не стать! Тут душа нужна вольная, кровь горячая... Родиться ромом надо, вот!

И он победно воззрился на тебя.

Уел, значит.

— А ты, выходит, настоящий. Закоренный; не «петрушка»[1] гнилая. Еще и лошадник небось хоть куда? Слушай, сведи мне коня! — сто рублей плачу...

Услышь!

Откликнись!

Ты играл с огнем — да, глупой Девятке лучше убраться восвояси, многозначительно покрутив пальцем у виска, — но остановиться не мог.

Теперь пришла очередь востроносого дергаться. Еще бы! Только что вслух едва не конокрадом обозвали! А ну как дядя в шляпе — легавый?! Девятка впился в тебя цепким взглядом; отвел глаза. Из дяди филер... Вот-вот, как из тебя, морэ, губернатор. Говорил уже. Значит, просто ляпнул дядя, не подумавши!

Так, теперь оглядеться...

— Ты, дядя, болталом-то меньше звякай! Знаешь хоть, кто такой «лошадник»?

Слепой он, глухой; и нюх табаком отшибло.

За ветошника тебя держит!

Одно б понять: радоваться или огорчаться? Вот, оказывается, как «Варварская» крыша кроет! Хотел проверить, ждал случая... дождался. Проверил. Мало что за мага — за рома не признают! Вроде как глаза от тебя особый контракт, м-мать его бумажную, отводит...

Ладно, обмозгуем на досуге, с отцом Георгием посове-

---

[1] «Петрушка» — обидное прозвище оседлых ромов-огородников; в отличие от почетного прозвища «закоренный ром» — то бишь знающий все обычаи.

туемся — а сейчас надо бы отвечать: вон востроносый извелся в ожидании.

— ...Лошадник? Ну ты, морэ, и спросишь! Известное дело: кто с лошадьми запанибрата, тот и лошадник!

Похлебаем щи лаптем, для сердечного успокоения...

— Эх, дядя, простая душа! Лошадник — это конокрад на квэнье мажьей! Уразумел? Загребли бы меня сейчас, ни за ломаный грош, за слово твое, без ума сказанное, — и в кутузку! До выяснения...

— Ну прости! Прости дурака! Эк загнул: в кутузку... Мало ли чего ляпнешь... откуда мне эту вашу феню знать-то?

— Да не нашу! не нашу! не мою!!!

Востроносый взвился стригунком, аж пиво расплескал.

— Не маг я! не жиган! честный ром! А слова, что пыль — побродишь с мое, дядя, всякого нахватаешься! Вот в лошадях — это да, понимаю! Тут ты прав, дядя. Плох тот ром, который с любым конем любви не скрутит! Ром в седле родится, в седле спит...

Девятка балабонил околесицу, спеша похоронить под ворохом болтовни случайно всплывшую правду о себе. Пусть старается, жалко, что ли? Тебе он не мешает, можно и послушать, под пиво с рыбой.

— ...в седле ест, в седле баб любит, в седле и помирает, когда время придет!..

Ты достал папироску, прикурил; выпустил клуб сизого дыма. Ну-ну, говори, маг в законе, великий козырь, знаток коней и ромской жизни, — а мы послушаем.

Уши б тебе надрать...

— ...эх, дядя! — сто рублев, коня ему сопри... Конокрады-то есть, ясное дело! Любой знает, даже вот ты, наверное, знаешь, дядя! Сам-то я чистый, только скажу от души: мало их на свете белом осталось, закоренных лошадников. Это ж тебе не буханку хлеба спереть, не пучок редиски! Коня свести — это ж целое искусство, дядя!

А глазенки горят, светятся... Из мышек плошками сделались. Будь на месте «дяди» настоящий филер — коптить тебе небо острожное! Впрочем, настоящего филера Девятка «срисовал» бы вовремя...

Машинально ты прикрыл обоих: нечего народишку вокруг ушами раскидывать.

Ты прикрыл, а Девятка опять проморгал.

— Искусство! — озлившись невесть на что, ввернул ты. — Сидеть тебе за твое искусство... если раньше ногами не затопчут.

— Да не мое оно! — Востроносый отмахнулся с досадой. — Умей я чужого рысака замажить — гнил бы с тобой в вонючей пивнухе! Угости папироской, дядя... хорошие у тебя папироски, вкусные. Спасибо. А спички у меня свои есть. Отстал ты от жизни, дядя! Это раньше конокрадов ногами топтали, всем селом, под поруку круговую. Теперь, ежели ловят — в участок ведут. Зато крестничка, буде отыщут...

Востроносый разом помрачнел, посерьезнел. Отвернулся, сосредоточенно пуская в сторону дымные кольца.

Но долго молчать он, похоже, не умел.

— Что-то в горле у меня пересохло. Ты б взял еще пивка, дядя? Обоим? Ну, спасибо! Сразу видно хорошего человека! А я тебе за пиво твое всю правду расскажу: как закоренные-то лошадники коней сводили. Сейчас так не умеют, нет, не умеют! Измельчал народ, повыбили козырей, а в крестники-ученики калачом не заманишь. Даже сиволапый ветошник вроде тебя знает: почему. Не то что раньше...

Давай, яхонтовый.

Поведай, Девятка, Валету о временах былинных.

— Жил на земле ром Ефрем Жемчужный, всем лошадникам лошадник. И заказали ему серьезные люди знаменитого орловца Барабаса, из конюшен самого графа Шереметева. За границу продать хотели, а может, на ближайших бегах фаворита убрать и куш срубить при новом раскладе. Ефрем — ром рисковый был, фартовый; взял заказ. Спрашивают его: сколько, мол, времени понадобится? А он в ответ: рысака в отдельной конюшне держат? рядом других коней нет? В отдельной, отвечают. Тогда — за два дня сделаю. Заказчики подивились, однако слово сказано. В первый день Ефрем вокруг имения крутился — чужие зенки отрастил и все-про-все срисовал...

— Зенки? чужие?! врешь, морэ!

— Лопух ты, дядя! Летит, к примеру, птица-синица, или там стрекоза, или белка по дереву скачет, хорек бежит — а маг за версту дотянется, и — хвать! Никуда не деться птице-стрекозе, белке-хорьку. Полетят-побегут, а маг ихними глазами все и увидит! Понял, дядя?

— Понял. Ну, давай дальше ври!

— Не нукай, не запряг! Слушай, значит, дальше...

Девятка, она Девятка и есть. Хорек, белка — ладно; птица — туда-сюда, лучше не лезть; с людьми вообще номер не проходит. А насчет стрекозы востроносый загнул: глаза у нее дурные, ты разок сунулся, так едва не ослеп.

Навеки закаялся.

— ...высмотрел Ефрем, чего хотел, и на живодерню отправился. Сторговал там лошажий костяк, погрузил на телегу и укатил. На другой день к вечеру остановился с подельником в лесочке, близ имения. Обоих личинами покрыл; ночью-ноченькой прошли мимо сторожей, словно нож сквозь воду.

— А собаки? волкодавы сторожевые?!

— Эх, дядя... Собаки Ефрема всегда за своего почитали. Умел, одним словом. Король!

Впервые не соврал востроносый.

Крепок на ворожбу был старый Король Пик, твой учитель Ефрем Жемчужный; меж таборами — Грэнгиро Дад, Лошадиный Отец! Впору Тузом стать — да не хотел.

Любил волю.

— ...добрались до конюшни. Глядь: мимо графский управитель едет. «Срисовал» его Ефрем. Дождался, пока из виду скроется, замок на конюшне ногтем отворил — для мага это дело плевое! — рысака наружу вывел, сел верхом и прикинулся, будто он — графский управитель; и конь под ним управительский. А в конюшню подельник лошажьи кости вместе с черепом кинул; уходя, керосиновую лампу в сено опрокинул. Пожар, караул, челядь айда тушить — куда там! — ежели маг поджег, хрен потушишь, пока дотла не сгорит! Наутро под углями нашли обгорелые кости; ну и решили — орловец сгорел...

Эту историю ты уже слышал. От самого Ефрема Жем-

чужного, Грэнгиро Дада. Только рассказывал он ее не о себе, и даже не о своем крестном — о легендарном Максе Короле, прозванном меж ромами Горьким за любовь к хмельному. И не у графа Шереметева коня Макся сводил, а у герцога Манхеймского. Вроде бы еще в подкозырках довелось ему слышать у костра старухи Изергиль стародавнюю байку о матери с пятью сыновьями, которых сочли погибшими, потому как в доме, где они жили, после пожара шесть скелетов обгорелых нашли. Только потом узнали, что другие люди сгорели, а мать сыновей через подкоп увела.

Запала эта история Максе в душу, а когда коня ему заказали, пригодилась.

Эх, Ефрем, фартовый ром! — ведал ли, что и сам в ту легенду угодишь?..

— А где он теперь, этот самый... Жемчужный?

— Помер, — тяжко вздыхает востроносый. — Да он ли один? Ромаш Стойня, знатный лошадник, с полгода назад откинулся, смертью злой...

Ты мысленно перекрестился: надо будет свечку поставить за упокой души. Ромаша Стойню по кличке Два Бубенца ты знал. Толковый был маг, слово его дорогого стоило!

Ай, какие люди уходят!

— ...ученик был. Подельщик тот самый, что Ефрему Жемчужному коня графского свести помогал. Тоже — не другим чета! С самим Жемчужным потягаться мог! Бритым его прозвали; бороды не носил, говорил — колется...

Нате-здрасте!

Ты машинально потер подбородок:

— А звали его как?

— Тебе-то зачем, дядя? — насторожился Девятка.

— Да слышал в конных рядах о каком-то Бритом; имя у него еще чудное было... дай-ка вспомнить... Дуфуня?

— В точку! Дуфуня Друц по кличке Бритый! Видишь, известный человек, если даже ты слыхал! Я его видел однажды, вот как тебя, в кабаке. За соседним столом гулял. Мне его барон Чямба показал. Жаль, погиб он, Бритый-то, в позапрошлом году. Царствие ему небесное!..

— Типун тебе на язык, морэ! — опешил ты, хороня свою собственную душу. — Это как же: погиб?!

— А вот так! — зло передразнил тебя востроносый. — В Севастополе под облаву жандармскую с крестником угодил. Крестник во двор, там татары, начали ножами резать... Дуфуня и кинулся парня выручать. Тут облавные и подоспели. Схватился он с ними, двоих уложил, голыми руками! Одного — полковника жандармского! Видят «Варвары»: не сладить с Бритым — ну и застрелили. В спину. А ты, дядя, — «типун»...

Что, Друц, плакать тебе или смеяться? Вот ты, оказывается, какой Бова-королевич! — за крестника жизни не пожалел, двух жандармов голыми руками... И смех и грех! Ну, если Два Бубенца «погиб» так же, как ты, может, рано ему свечку ставить?

Нет, не рано!

Ни Ромашу, ни тебе — в самый раз. Вы уходите. Нет, иначе: сама жизнь вытесняет вас; не сегодня, не вчера начала она выдавливать вас, как гной из раны, — в легенды, в сказки, где встретятся Бритый с Максей Королем, с Грэнгиро Дадом. Шестерки бьют Валетов, Королей, Дам, Тузов... Ваше время вышло, вышло перекурить, да забыло вернуться. Виноват не князь Джандиери с его подельщиками; никто не виноват. Останутся лишь такие вот Девятки, готовые за кружку пива травить байки в гандэлыках, потому что страшно: потерять ученика-подельщика и вскоре загнуться от случайного финта, загнуться жутко, мучительно...

Да и этих востроносых Девяток скоро не останется.

Вот тогда легенды начнут потихоньку ржаветь, превращаясь сперва в сказки, потом в небылицы...

— Тут через дорогу рюмочная есть, — решительно заявил ты, гася окурок прямо в недопитой кружке. — Пошли. Хлопнем по стопке за упокой души.

— Чьей души-то, дядя?

— Моей, морэ. Моей.

Когда востроносый уходил — быстро! не оглядываясь... — ты смотрел ему вслед.

Дожил, Друц?

Ай, рома манца на пьена, гадже на парувэн[1]! Небось озлились таборные прадеды за того крымского жеребца, которого ты так и не свел; с облаков твою рожу невидимой сажей мажут... позорище ты, морэ!..

ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ

А у Девятки Пиковой, рома закоренного, в темной глубине, сплошь пронизанной смешливыми искорками:

...ай, пыль!

По дорогам, трактам, шляхам, под ногами, сапогами, — желтой змейкой, малым смерчем; под дождем назвавшись грязью, в летний зной назвавшись смертью, в зимний день назвавшись снегом, только эти все названья — ложь, обман, умов смущенье, ибо пыль осталась пылью, как судьба судьбой осталась, как жена со мной рассталась — пыль, сказала, ты дрянная! на зубах скрипишь паскудно!

Ай, ромалэ — одинок я!..

Пыль...

* * *

...Помнишь, Девятка?

Да, ты помнишь. Только сейчас уже не важно, помнишь ли ты нашу встречу; важно удержать толпу, и не просто удержать на краткий миг — надо заставить...

Огненная лава вспыхивает в низу живота. Раскаленным штырем пронизывает тебя, вздымаясь вверх, подступая к горлу — и выплескивается наружу испепеляющим драконьим пламенем.

Пламенем, дыхание которого ощущаешь только ты.

Нет, не только. Ты и Девятка.

И еще — далекая, оставшаяся в городе Акулина.

И, наверное, Федор.

И... Розмар ман о кхам![2] Кто еще возник там, на самом краю, в туманной дымке?!!

---

[1] Ромы со мной не пьют, мужики торг не ведут! *(ром.)*

[2] Разрази меня солнце! *(ром.)*

Плевать!.. Дуфунька Друц шутки шутит.

Не черномазый мальчишечка бьется под ногами у мужиков — Грицько Чупрына, белобрысый хлопчик сельского головы! как и подвернулся?! беда!

— Стойте! Стойте, ироды, сучьи дети! Грицько! кровиночка! вон мажонок, у гребли — бегит! Очи вам, курвам, отвел! Не трожьте Грицька!

Дурным хряком проломился сквозь толпу голова. Распихал мужиков: глаза безумные, пегая бороденка торчком, слюна изо рта брызжет; упал возле паренька избитого на колени, обнял, собой закрыл. Опустились руки с кольями, попятились мужики, озираются — где мажонок? где сука?! далеко не уйдет!

Ох, больно много вас! трудно! Что ж стоите?! Скорее, в погоню! Сил ведь уже нету — всем разом глаза отводить, личину на крестнике Девяткином держать, да так, чтоб отец родной обманулся! Девятка, п-падла, держись! Я ведь тоже не железный! Валет я — не Король, не Туз, Лошадиного Отца не дозовусь на помощь!..

...Ай, морэ!.. зачем?!

Не сдюжил Девятка, надорвался. Обмяк на чужих руках, голова на грудь поникла.

Ну же! Сельчане! Бегите, ловите мажонка клятого!

Не бегут. Переминаются с ноги на ногу, моргают растерянно — будто в толк никак не возьмут: зачем моргают? чего ищут? откуда помрачение? Вот один уж голову за плечо тронул:

— Ты, Остап Тарасыч, тово... отойди от греха.

— Гриць! Гриць мой! Убью!

— Хрена там Гриць... сам погляди...

Вывернулся из сонмища юрод-карлик: без порток, в драной рубахе до колен, на шее вериги железные, ржавые, по пуду каждая. Затоптался в пыли неестественно большими, закостенелыми ступнями, черный рот раззявил:

— Обижают свет Прокопьюшку! обижают! обмануть норовят, отводят ясны глазыньки! Ай, беда!..

И запылил прочь: плача в голос, утицей-хромушей припадая набок.

— Прокопий-угодник! — зашептались в народе. — Божий человек! все насквозь! насквозь видит! правду-матку!

Близкой кровью от тех шепотков потянуло.

Вот она, судьба твоя, непутевый ром! Видел ты ее однажды, там, где ждет магов Дух Закона, — видел, да обманул, ушел от судьбы играючи. Дважды догоняла, стерва: один раз Даньку забрала, второй раз била, не добила — облавники вовремя поспели.

Третий раз — самый мажий, что ни на есть.

Не уйти.

Спляшем напоследок? Ай, баро! — вот и кнут в руке! Может, уползет мальчишечка...

— Остынь, Дуфуня. Дай-ка я...

— Не смей, Федька!

— ...Феденька!.. не... надо!!!

— Надо. А ну, пр-р-рекратить самосуд!!!

Глотка у Федьки была луженая. Над ухом рявкнуло, как из пушки. Мужики оторопело застыли, и на миг тебе показалось: сейчас все закончится. Вот этот миг, когда ты позволил себе расслабиться, отпустить незримые поводья, которые еще хоть как-то сдерживали толпу, — он решил все.

— За конокрада заступаешься, барин? Небось одной с ним породы?! — оскалился навстречу Федору конопатый верзила, начав демонстративно засучивать рукава.

— Небось, — зло ощерился в ответ Федька Сохач, леший из Кус-Кренделя, отстраняя в сторону господина Сохатина Федор Федоровича, богемного кумира.

Даже ты не видел удара.

Стоит конопатый! летит конопатый! спиной вперед, в толпу односельчан, щедро разбрызгивая из носа красную юшку.

Федор брезгливо отряхнул руки (а виделось: вскинул их к сизой гуще небес!); и ты понял, чего ждать от бешеного Сохача, — говорят, Рашка в молодые годы совсем психованная была.

Нельзя! дурик! сожжешь себя одним-единственным финтом! рано!..

Остаточки, поскребыши, пыль душевную — все собрал

ты обжигающей кипенью, которую бросил наперерез: остановить, не дать крестнику самоубийственно выплеснуться, задавить силой старшего, крестного, мага в законе...

* * *

Когда черная пустота мягко толкнула в затылок и земля ушла из-под ног, ты, как ни странно, успел изумиться.

В Закон выходят иначе.

А Федька вышел так.

Круг третий. ДУРАКАМ ЗАКОН НЕ ПИСАН

— И труп волшебницы младой
мне долго виделся ночами...
Опера «Киммериец ликующий», ария Конана Аквилонского

ПРИКУП

— Тогда почему, владыка?

Иннокентий молчал.

Осень бродила вокруг Покровского монастыря, шелестя опавшими листьями, — быть весне, быть листве новой, течь изумрудным шепотом... только этим, сухим, палым, каков барыш с того?..

Труха воспоминаний?

— Слыхал? В Новом Свете мормон-бейлиф Линч, отставной полковник, самосуд и вовсе узаконил...

Владыка откинулся на спинку скамьи; приспустил шторки век, отчего лицо преосвященного стало похоже на морду умной лошади с надетыми шорами. Ишь, синяки под глазами...

Устало продолжил:

— Сперва в Линчберге, что на реке Джеймс, в штате Вирджиния; а там подхватили — общество преподобного Джона Бэрга и то одобрило. Федеральные власти умыли руки: дескать, законодательством за сии подвиги уголовного

наказания не предусмотрено... Вот и искореняют, каленым железом. Ежели падет на кого подозрение в мажьем промысле или, того паче, в пособничестве — являются. Ночью, в балахонах. Под окном крест, прости Господи, жгут, с чучелом. Предупреждают, значит.

Отец Георгий дернул щекой:

— Знаю, владыка. На первый раз предупреждают, на второй — жизни лишают. Без суда и следствия. И никто на убийц в розыск не подает. Впрочем, замечу: мы и здесь раньше Нового Света управились, со всеми их мормон-бейлифами... нашим полковникам новосветские Линчи не указ.

— Ну да, ну да... я иногда думаю: где собака зарыта? Сколько лет законность блюли сугубо: маг? богомерзкий преступник?! ордер на арест, подкрепленный уликами; суд присяжных, доказательства, свидетели, материалы следствия, статьи, параграфы — комар носа не подточит! Знали ведь: совместный приговор государства и церкви, приговор справедливый, законный — только он лишает мага силы на срок заключения!..

Недвижная поза Иннокентия противоречила голосу: внятному, сильному голосу проповедника, известного далеко за пределами губернии.

— Мы знали, латиняне знали; магометанские державы знали; авраамиты, буддисты, язычники — все знали! Назубок! Вот теперь спроси меня, отец Георгий: откуда? откуда знали сие?! Ровно нашептал кто... Мы с отцом Павлом, который из Университета, с кафедры богословия, много о том судачили. Отец Павел — муж ученый, на древних языках мало что пишет, говорит свободно! не нашел, говорит, у пращуров объяснения связного...

Мимо просеменил певчий из архиерейского хора. Поклонился, квакнул на ходу; благословения не удостоился и исчез за поворотом. Небось на клиросе звончей разливается... Отец Георгий узнал певчего: бывший бурсак Пехотинский, чьи тайные записки однажды попались в руки репортеру из «Губернских Ведомостей» — и были, к вящему ужасу Пехотинского, обнародованы.

Мещане долго потешались, читая друг другу:

«Пробыл я в певческом хоре три года и приобрел маленькую известность. В городе меня знали многие лица из купеческого звания, и лишняя гривна меди частенько стала водиться в моих карманах. Но это не улучшило нисколько моего положения. Я отвыкал от классных занятий; по-прежнему регент колотил меня. Особенно же огорчало меня то, что преосвященный, которого я душевно любил за его милостивое с нами обращение, разумел меня отчаянным шалуном. Я беспрестанно попадался ему лично в каком-нибудь проступке, основание коего не всегда ему было известно. Как-то: самовольное наряжение в губернаторские ленты; уворованные в Куряже яблоки; избитый регентом во время похорон профессора Корсакова, от горя и ища уединения, я спрятался в архиерейской карете, которая как назло была в сей час подана владыке... По счастью, выслушав горькую мою повесть, владыка подтвердил свое распоряжение, дабы певчих били одни лишь протодиаконы, но никак не злодеи-регенты...»

Отец Георгий проводил отрока взглядом: сам болтун-певчий интересовал священника в весьма малой степени, просто с мыслями собирался.

Теснило в груди: сердце все чаще давало о себе знать.

— Иное спрошу, владыка: откуда тело знает, как болезнь врачевать? Станешь исцеляться вместо лекарств подкупом, шельмованием, начнешь мошенничать с самим собой — в одночасье помрешь. У тела свой закон, у болезни свой — беззаконие.

— Вот! Вот... В эфирных ли воздействиях болезнь сокрыта? От них ли человечество само себя врачует, не думая, не понимая, одним лишь внутренним законом?!

— Нет, владыка. Полагаю, что нет. Испокон веку непонятное пугало, но не убивало; так и здесь. Магия — не болезнь. Из магии, из желания достичь результата путем самостоятельного действия вся наша наука выросла — как росток из семени. Мы же не сажаем в острог хирургов? ботаников? агрономов?! А ведь покажи их действия голому дикарю-язычнику с острова Вату-вара — сочтет магией!

— Сочтет. Всенепременно. По-твоему, выходит, не в самой магии причина отторжения? Не она — болезнь, которую тело лечит?

— Нет, владыка. Не она. Оболочка для болезни; не само зло.

Со стороны набережной потянуло дымком: монахи жгли листья на склонах. В горле запершило; отец Георгий стал кашлять — долго, надсадно, удивляясь приступу.

По-прежнему с закрытыми глазами, преосвященный Иннокентий потянулся, легонько хлопнул обер-старца по спине.

— С-с-спасибо... — просипел отец Георгий, восстанавливая дыхание. — Простите, владыка...

— Кашляй, кашляй на здоровье. Тело бренно, едино душа бессмертна есть. Хотя знаешь: мне иногда кажется, что ты не взаправдашний. Придуманный. И кашляешь вроде, и со мной сидишь, лясы точишь; и ряса на локте протерлась. Ну да, ну да... ясное дело: стареет владыка, дитем сущим сделался. Сущеглупости зрит.

Иннокентий вздохнул; кряхтя, поднялся:

— Ладно, иди. После домолчим.

Сделав шаг, другой, владыка остановился.

Кинул через плечо, не глядя:

— Вчера твоего ходил смотреть... как вы говорите? крестника, прости господи? На тебя похож. Тоже ненастоящий. Отец келарь докладывал: пример монашеству, ходячий кладезь добродетелей, одна беда — глаза шибко умные. Раздражает братию. А я на твоего смотрю и тебя вижу. Для того и позвал: сравнить. Скажи мне на милость: отчего так? зло ли сие есть? добро?! Ведь сын на отца меньше походит! А ты с ним видишься раз в год, по обещанию... я справлялся. Эх, понять бы... пока Линчи повсеместно воду не выплеснули, с младенцами-то...

И ушел, не став ждать ответа.

В шепоте осени; маленький, сухой человечек.

Отец Георгий зачем-то ковырнул ногтем скамейку, загнал занозу и, сунув палец в рот, двинулся к воротам.

IX. РАШКА-КНЯГИНЯ, или СРЕДЬ ШУМНОГО БАЛА, СЛУЧАЙНО...

Правда прямодушных спасет их, а беззаконники будут уловлены беззаконием своим.

Книга притчей Соломоновых

Есть тайная прелесть в провинции. В ее дородной медлительности, ярком румянце щек, исчерна-густых, не тронутых пинцетом бровях, в полнокровной улыбке; в запаздывании по отношению к блестящим столицам-туберкулезницам, в отставании моды, в несоответствии времени — провинциальное «сейчас» в некоторой степени больше «вчера», чем «сейчас».

А совпадения... эти иглы в сердце...

Бог с ними, с совпадениями.

Ведь ты помнишь, Рашка... да что там помнишь, когда непосредственно видишь перед собой: десятки, сотни шандалов, канделябров, свечных розеток из старого серебра — и всюду истомой тает нежный воск, всплывая по предсмертному воплю фитиля, отдаваясь огню со страстью и негой безнадежности.

С открытой верхней галереи захлебываются гобои, гнусаво плачет фагот, скрипки искупают все грехи мира, опираясь из последних сил на мрачное плечо контрабаса — вальс месье Огюста Бернулли, слегка подзабытого властителя душ, кружит головы, кружит тела... о, раз-два-три, раз-два-три, и не важно, что вальс уже давно утратил постыдный титул пляски развратников, совершенно неважно, потому что скрипки... и гобой... и шелест, шуршание шелка — чш-ш-ш, не мешайте...

Тебе совершенно не хотелось работать.

С самого начала.

Еще когда подымалась по карарскому мрамору лестницы, сплошь устланной винно-красными коврами; еще со входа в длинную, просторную залу, чьи колонны венчались капителями в форме лепестков нарцисса; еще с золоченых, чертовски неудобных кресел, куда едва ли не силой усаживали почетных гостей.

Джандиери садиться отказался. С самого начала он встал за креслом начальницы института (за левым плечом! левым...), ведя легкую беседу; да там и остался, когда парадно одетые облав-юнкера стали один за другим входить в залу, направляясь к вам для поклона.

Ты отвечала легким кивком, приклеив дежурную улыбку.

Ты была не здесь.

«Княгинюшка!..»

Некогда румяное, живое, а сейчас наспех вылепленное из грязного воска, лицо Короля жалобно сморщилось. Свечной огарок, не лицо.

«Довелось... свидеться...»

Прямо над головой, на площадке с перилами, основанием которой служили две крайние колонны, расположился оркестр под руководством дирижера Колниболоцкого — известного также виолончелиста, коему один из князей Голицыных, Николай Борисович, завещал свой многотысячный инструмент работы Страдивари. Не видя музыкантов, ты макушкой чувствовала: вот они, стая воронья во фраках! Да, несправедливо; да, оркестранты не виноваты в дурном расположении духа некоей Эльзы Джандиери, чей характер изрядно подпорчен каторгой и «скелетами в шкафу»; но что поделать?!

Хотелось тишины.

Страстно, безнадежно.

Улыбайся, Княгиня! улыбайся, кивай, Рашка, чтоб тебя!.. они же кланяются, смотрят восхищенно! они пришли на бал, а не на похороны!

Джандиери словно почувствовал (словно?! или почувствовал?!). Расшаркался перед начальницей, отошел к твоему креслу, слегка оперся о спинку.

Картинный, роскошный офицер.

— Хотите, милочка, я извинюсь, и мы уедем домой?

— Не надо, — ответила ты, испытывая благодарность; это было неприятно. — Мы остаемся.

После окончания приветствия объявили полонез.

Пришлось танцевать. К счастью, не в головной паре: возглавили танец начальница института с губернским предводителем дворянства, медлительным усачом. Джандиери вел тебя легко, чуть отстраненно, позволяя собраться с мыслями.

Улыбка держалась, как приклеенная.

Губы сводило.

— Та-ак... Господин Ознобишин, если я не ошибаюсь? Петр... э-э... Валерьянович?

«Не оши... ошибаетесь...»

— Почему он не отвечает? — спросил князь у тебя, игнорируя возмущенную сестру милосердия за спиной.

— Он отвечает, — сказала ты, еле удерживаясь, чтоб не закричать.

Вальс.

Наконец-то; опять.

Можно отойти в сторонку, к окну. Тронуть (не ухватиться! тронуть!..) портьеру, ощутив колючее золото шитья. Сесть (не упасть! сесть!) в кресло — по счастью, не золоченый постамент официозу. Раскрыть веер, позволить ему затрепетать в руке пойманной бабочкой.

Все хорошо.

Все чудесно.

Воспитанницы института, бессовестно кокетничая, вальсируют с господами облав-юнкерами; здесь же кружит Зиночку Раевскую, признанную в городе красавицу, гость из столицы — пресыщенный жизнью выпускник Пажеского корпуса. Завитой кок трясется надо лбом; паж косит по сторонам влажным, лошадиным глазом, ждет ревнивых взглядов.

Не дождется.

Старики (старики — это ты, Рашка...) разбрелись по углам. Сплетничают, насмешливо изучают молодежь в

лорнеты, монокли, тщетно пытаясь за иронией скрыть зависть. Смертельно хочется водки. Граненый стакан. Мелкими глотками; до дна. И языком собрать капли. Увы, здесь не разносят даже шампанского. Что вы! Опомнитесь! Еще со дня основания института, когда Императрица Мария Теодоровна назначила ежегодную сумму на содержание и утвердила устав, в оном уставе было сказано, черным по белому:

«...дабы воспитываемым здесь бедным девицам дать образование и нужные познания в науках и рукоделиях, посредством которых они по выпуске могли бы снискивать себе пропитание обучением детей или трудами рук своих, умея при том добрым порядком избегать недостатка даже в самом ограниченном состоянии!»

Будем избегать недостатка, Рашка. Будем снискивать пропитание. Добрым порядком. И все-таки: смертельно хочется водки.

Стакан.

Мелкими глотками.

Помянуть детского доктора Ознобишина.

* * *

«Княгинюшка!..»

Некогда румяное, живое, а сейчас наспех вылепленное из грязного воска, лицо Короля жалобно сморщилось. Свечной огарок, не лицо.

«Довелось... свидеться...»

— Та-ак... Господин Ознобишин, если я не ошибаюсь? Петр... э- э... Валерьянович?

«Не оши... ошибаетесь...»

— Почему он не отвечает? — спросил князь у тебя, игнорируя возмущенную сестру милосердия за спиной.

— Он отвечает, — сказала ты, еле удерживаясь, чтоб не закричать.

Королю было больно. Пожалуй, никто, даже врачи, давно привыкшие к чужим страданиям, даже фельдшеры, чье ухо огрубело от наихудших криков боли — детских...

никто не понимал, насколько ему в действительности плохо.

Никто.

Кроме тебя.

Так спелое на вид яблоко лопается под пальцами, открывая источенную червями, гнилую, дурно пахнущую сердцевину; так под твердой кожурой ореха воняет тленом бывшее ядро.

Король умирал, выбрав отнюдь не самый легкий способ самоубийства.

«Княгинюшка...»

«Зачем?» — одними губами; нет, какими там губами! — сердцем, душой, тайной струной, готовой порваться в любой миг, спросила ты.

— Господин Ознобишин! Вы можете говорить?!

«Зачем? Полгода — ни единого финта, Рашеленька... ни единого! Они Андрюшеньку — булыжниками... Груда камней, груда, и шевелится... долго. А меня, старика, пальцем... пальцем не тронули! Божьи мельницы, дескать! медленно мелют, дескать! даже искать не стали — иди, кто бы ни был! гуляй! на том свете дороже заплатишь!..»

— Господин Ознобишин? Вы слышите меня?

«Н-не... н-не надо... меня арестовывать... Я сейчас... я уже...»

— Он слышит. — Ты тронула Джандиери за предплечье и мельком удивилась: камень, не рука. — Он слышит вас, Шалва. Не надо его арестовывать. Он сейчас умрет, и все закончится.

— Да как вы!.. — замельтешила сестра, гневно поджимая и без того узкие губы. — Кто умрет?! Кто умрет, я вас спрашиваю?! Петр Валерьянович, не слушайте вы их! Сейчас профессор Ленский приедет! За ним послали, на извозчике! Эх, вы! Петр Валерьянович детей! с того света! он — доктор, целитель! А вы!..

«Рашеленька!.. закрой ее, глупышку. Или нельзя?..»

— Можно, — кивнула ты. — Сейчас нам все можно, мой Король.

Под рукой камень стал наливаться свинцом: Джандиери почувствовал твой «эфир», не мог не почувствовать, но

тебе было все равно. Полгода — ни единого финта... как же он смог? как выдержал?! И еще: ребенок этот... Уртюмов, внук Ермолая...

Зачем?!

«Ни за чем, Рашеленька. Просто так. Мальчишечка от пневмонии... только-только... Сумел дотянуться; за уши... Выволок. Оно можно, когда... только-только... Ни за чем. Пора мне, Княгинюшка».

— Грехи замаливал, Король?

Не хотелось, а спросилось.

Само.

«Дура ты, Княгинюшка. Сумасшедшая дура. Сама ведь знаешь...»

— Знаю, Король. Прости.

Впервые ты самовольно работала в присутствии облавного полковника. Научилась, значит. Впервые и, должно быть, в последний раз. Замолчала, как отрезало, сестра милосердия — завтра и не вспомнит, о чем кричала-гневалась; Джандиери, закованный в броню нечувствительности, просто молчал, не забирая руки, за что ты была ему признательна; а ты работала.

— Так и живем. То платим, то не платим
За все, что получаем от судьбы.
И в рубище безмолвные рабы,
И короли, рабы в парчовом платье —
Так и живем, оглохнув для трубы...

Булыжник лег под ноги: крупный, тесаный.

Стены поднялись вокруг: зубчатые, могучие.

Ворота.

Галерея сверху.

И во дворе замка, на троне из слоновой кости, умирает король-некромант.

Тучами кружат в небе нетопыри, скорбным писком салютуя уходящему, багровый глаз солнца течет слезой, скатываясь в черный проем между башнями; стражники у подъемного моста застыли железными истуканами, подняв алебарды в салюте прощания.

Так, мой Король?

«Спасибо... спасибо, Княгинюшка...»

— Мы не хотим, не можем и не знаем —
Что дальше? что потом? что за углом?
Мы разучились рваться напролом,
Ворчим под нос: «Случается... бывает...» —
И прячем взгляд за дымчатым стеклом...

Череп в медной диадеме страдальчески оскалился, благодаря. Доктор Ознобишин теснее закутался в плащ, в расшитый жемчугом бархат, словно стыдясь тела, предавшего его в такой момент; плоть таяла на суставах пальцев, обнажая кости, кожа истлевала гнилой ветошью.

Смрад забивал тяжкий аромат благовоний.

И еще: брезжил на самой окраине взгляда (присмотрись — исчезнет!) — Белый Рыцарь. Некто; никто. В иссиня-снежной броне; лишь сквозит алым в сочленениях доспеха — ранен? измарался? мерещится?!

Ладно.

Пусть его брезжит.

Да, Король?

«Ты живи, Княгинюшка... живи, ладно?.. На Тузовых сходках... долго спорили. Решили: пусть. Живите. Авось задержитесь... после всех. Ты живи, Княгинюшка... пожалуйста...»

— Хорошо, мой Король. Уходи спокойно.

Бились стяги на ветру: треугольники из вощеной бумаги.

— ...Все как один — с иголочки одеты
И даже (что греха таить?) умны.
Мы верим книгам и не верим в сны;
Мы выросли, мы все давно не дети —
А дети ночью чуду шепчут: «Где ты?!»
Ах, дети! непоседы! шалуны...

— Все, — сказала ты, возвращаясь. — Король умер.

— Да здравствует Король? — спросил Джандиери, глядя мимо тебя. И на миг показалось: он все видел. Замок, стены, трон; труп на троне. Этого не могло быть, потому что этого не могло быть никогда, но синяя жилка трепетала на виске князя, и крупная капля — пот? слеза?! — сползала по щеке к углу рта.

Наверное, все-таки пот.

Душно.

Будто отвечая, небо громыхнуло на востоке. И дробью

отозвалась крыша оранжереи. Засуетилась сестричка, кинулась к дверям... вопросительно уставилась на вас из-под навеса...

До нее ли, глупой?

— Что скажешь, Княгиня? Да здравствует Король?

— Нет, Шалва. Просто: Король умер.

* * *

Покинув танцевальную залу, ты спустилась вниз, в холл. В дамскую уборную не пошла. Просто встала у окна, опершись о дубовый, крашенный белилами подоконник. На улице еще только копились по углам сумерки; бал для институток всегда начинался рано, начальница за этим следила строго.

Зря, что ли, императорским указом начальниц института ввели в попечительский совет?

Глупости! Все глупости!.. Ах, дура ты, Рашка...

Швейцар, отставной фельдфебель-гренадер, бочком высунулся из своей каморки. Гулко чихнул, растопырив прокуренные усищи, будто черноморский краб — клешни; устыдился своего чиха.

Спрятался в нору.

В портсигаре оставались три папироски «*La jeunesse*», тонкие, длинные. Ирония судьбы: «*Je veux un tresor qui les contient tous, je veux la jeunesse!*»[1], речитатив Фауста. Ты огляделась, комкая мысли ни о чем, как иногда комкают платок — от нервов; и швейцар мигом все понял.

Объявился рядом, поднес огоньку.

— Наливочки-с? — заговорщическим тоном крякнул он, вроде бы ни к кому конкретно не обращаясь. — Смородиновой? Господам облав-юнкерам — ни-ни, мы службу понимаем... для солидных людей, если в расстройстве или там душа просит!.. В особенности — для дамского употребления...

Вместо ответа ты отстранила его. Прошла в швейцар-

[1] Я хочу сокровища, которое вмещает в себе все, я хочу молодости! (*франц.*)

скую каморку, забыв спросить разрешения (о чем ты?! Ах, глупости...), без «эфира», как к себе домой. Говорят, у ветошников тоже бывает такое: интуиция называется. Противная штука; ты только сейчас поняла, Княгиня, по себе — до чего противная.

Вроде протеза у инвалида: не под штаниной, а так, наружу.

В раздолбанной тумбочке нашлась початая бутылка водки; стакан — в меру чистый — стоял здесь же.

— Помянем? — спросила ты, наливая себе до краев.

— Кого-с?

Он был разумен и понятлив, этот швейцар. Дамочка в летах, все при ней, да недолго носить осталось; с двух концов свечку палит. Времени-то у дамочки с гулькин нос — форси, пока хвост есть! Может, любовник кинул или еще что... Решила дурить — значит, лучше подпеть вторым голосом.

Молодец, держи ассигнацию.

И давай-ка выйдем... В холл, на воздух.

— Э-э-э... так кого поминать велите-с?

— Символ. Эпоху.

— Ну что ж, ваша светлость... символ так символ. Царствие ему небесное, новопреставленному! А я, с позволения-с, из горлышка... тут глоточек всего-то...

Водка оказалась совершенно безвкусной.

Вода, не водка.

— А заедок-то и нет, почитай! — огорчился швейцар, опасливо косясь на лестницу: не приведи бог увидит кто из институтского совета!.. ф-фух, тишина... — Колбаску я схарчил уже; да и с чесночком она, колбаска, не про дамские вытребеньки! Простите старика, ваша светлость!.. ситничек есть, корочка...

На лестнице звякнули подковки сапог.

— Эльза Вильгельмовна! Разрешите обратиться!

Пашка Аньянич, лихой портупей-вахмистр, вытянулся во фрунт. Вороная прядь упала на лоб, глядит прямо, чуть насмешливо... это у него скоро пройдет.

Навсегда.

Вы никогда не заглядывали в глаза облав-юнкеру, без пяти минут офицеру? В глаза Пашке Аньяничу? Ну что ж, попробуйте:

...статуя.

Почти готова. Звонкие, короткие удары молотка по резцу. Летит каменная крошка, запорашивает глаза. Проморгайтесь — и вот: из куска гранита уже проступил гордый разворот плеч, торс, закованный в ребристую кирасу. Человек словно вырастает из скалы, сбрасывая с себя лишнее, но по-прежнему оставаясь камнем. Одна беда: лицо... Не вяжется это молодое, мечтательное лицо с фигурой Каменного Гостя. Рука у скульптора дрогнула, что ли?

Близится резец: выше, выше...

* * *

За спиной Аньянича прятались две институтки: совсем юные, свежие... Глазенки-то лампадами горят!

— Что вам, Пашенька?

Едва не ляпнула:

«Водки? Так мы со швейцаром допили...»

— Не соблаговолите ли записать за мной вторую кадриль?

Насмешничает?

Вряд ли.

— Пашенька, милый! Мало ли вам девочек?! Они на ваш мундир, на лазурь «Варварскую», как бабочки на огонь — только поманите!

— Эльза Вильгельмовна! Я обещал показать сим девицам, как истинная кадриль танцеваться должна! Без вашего согласия! Умоляю!

— Стара я, Пашенька, кадрили вытанцовывать!.. Ты уж сам...

Молчит.

Ждет.

— Пашенька!.. ну хорошо, хорошо, идите в залу, я скоро...

— Если позволите, Эльза Вильгельмовна, я обожду здесь.

— Милый вы мой мальчик! Знаете, я должна вам...

Стены пошли вприсядку; потолок холла накренился, завертелся безумным волчком. Что с тобой, Княгиня?! — еле удержавшись на ногах, ты ухватилась за перила. «О розы алые! в хрустальных гранях вазы!..» — закричал кто-то в самое ухо; оглушил, испугал.

Опьянела?!

И только в следующую секунду поняла: случилось.

Феденька в Закон выходит.

На собственном опыте ты знала: канун выхода в Закон оба — и крестный, и крестник — чувствуют примерно за сутки. Чтобы было время укрыться от назойливых глаз, лечь на дно; уединиться. Сейчас же творилась околесица: тебе не дали времени! совсем! снег на голову! Еще минута, может быть, две, и ты рухнешь на мраморный пол, раскинешься бесчувственным манекеном — они вызовут врача, станут мельтешить, спасать, подсовывать флаконы с нюхательными солями...

Боже!

Если б еще знать: как ты выглядишь со стороны, когда Закон призывает тебя к себе?

Как?!

— Эльза Вильгельмовна? Вам плохо?

— Ничего... ничего, Пашенька! девочки!.. Вы идите, я сейчас...

Он кинулся вниз; подхватил сильными руками, не дал упасть.

— Я позову кого-нибудь?! Зиночка, Варя! скажите начальнице...

— Не надо. Мне хорошо.

Ты врала.

Тебе было плохо; хуже, чем секунду назад.

Потому что все прошло: потолок, стены, круговерть выхода в Закон. Ты вполне могла идти плясать вторую кадриль, Княгиня, кокетничать с молоденьким Аньяничем, являть Зиночке и Варе пример неувядающей молодости,

пить хоть второй стакан водки, буде швейцар расстарается сбегать в лавку...

Чудо захлестывалось петлей на шее.

Тебе снилось повешение, Княгиня?! — сон в руку, в ладонь, в кулак, крышка люка проваливается вниз, слитный вой толпы оглушает («А-а-ах-х-х-х!.. А-а-а...»), и ты летишь, летишь, летишь в бездну с обрывком веревки на шее — смешной, страшный, безнадежный флаг бывшей жизни.

...где-то...

...где-то там...

...где-то там, в месте, название которому еще не придумано на языках человеческих, выходил в Закон леший-Федька — а ты, Дама Бубен, фея-крестная, находилась здесь, на этом дурацком балу, в здравом уме и трезвой (ну, лишь слегка подвыпившей) памяти.

Дура! дура! дура!.. Дуракам Закон не писан.

— Пашенька... да идите же наверх!

Он подчинился.

Двинулся вслед за институтками по ступеням, оглядываясь через плечо; лицо облав-юнкера, всегда малоподвижное, на этот раз дергал нервный тик: левое веко трепетало не в такт, отчего казалось, что Пашка шутовски подмигивает. Удивительно для будущего офицера Е. И. В. особого облавного корпуса «Варвар», но сейчас тебе было не до удивлений.

Ты готовила финт.

Х. ДРУЦ-ЛОШАДНИК, или ТАМАРА И ДЕМОН

> И скажешь: «Били меня, мне не было больно; толкали меня, я не чувствовал. Когда проснусь, опять буду искать того же».
>
> *Книга притчей Соломоновых*

...Ну, здравствуй, Ефрем, Лошадиный Отец. Очередного крестника привел? Вижу, привел. Летит, летит времечко... который это уже у тебя? Третий? Четвертый? И новый

небось на примете есть? Ну, тогда, если повезет, еще свидимся, Король Пиковый. А парня давай сюда. Пусть идет. Едет? Пусть едет, только сам. Обижаю? я? кого, чем?! — а, тебя, напоминанием... Ты ведь не в первый раз, Закон знаешь. Прости, баро, совсем память дырявой стала. Ничего не держит.

Давай, парень, вперед! Хороший у тебя конь; только норовистый, горячий — как и ты сам, бэнгоро[1]. Ну, гляди не свались.

Пошел!

Все это было, было, было уже бессчетные тысячи раз, и даже само слово «было» успело потерять для меня всякий смысл. Было? Есть? Будет?

Какая разница?!

Но сегодня я не желаю заниматься худшим из людоедств — доеданием самого себя. Сегодня праздник самообмана. Ведь я был, есть, буду во всех вас, а значит, и вы все — во мне, с вашей радостью и болью, страхом и нетерпением, заносчивостью и сомнениями — я киплю в вас, вы бурлите во мне, и каждый раз, далеко, в глубине души (есть ли у меня душа? нет, не так: есть ли у меня что-нибудь, кроме души? моя ли это душа? впрочем, не важно...) — в той глубине, которую я по привычке зову душой, что-то замирает в ожидании: а вдруг именно сегодня, сейчас — получится? вдруг гладкощекий сопляк, растрепавший буйную смоль кудрей, — призрак долгожданного исхода? Что, если?..

Нет, нет, я спокоен. Не надо. Я равнодушен; то, что я по привычке зову душой, покрылось пылью столетий и заросло паутиной бесплодного ожидания; я — оскопленный чудотворец, разучившийся верить в чудеса! Если я не достучался до вас тогда, когда еще было не поздно исправить ошибку, притворившуюся успехом, когда я еще оставался человеком... человеком?.. Величайшее чудо из чудес — достучаться, быть понятым... нет, не верю.

А ты скачи, мальчик, скачи.

Бог в помощь.

---

[1] Чертик, дьяволенок (*ром.*).

Только не думай, что верхом ты доберешься до меня быстрее. Видишь: твой конь едва перебирает ногами, и тишина вокруг вас плавится свинцовой патокой. Помнишь? бывало?! — да, во сне. Пытаешься проснуться? Вырваться из липких лап кошмара? Правильно пытаешься; ты умница, бэнгоро. Вот только посмотрим, до какой степени ты умница.

Посмотрим, когда доскачешь.

...раньше ты б у меня не через буреломы скакал! горы на пути бы вставали — до неба, пропасти — без дна! Красота! ужас! Куда там конь — на драконах летать пришлось бы!.. И не в патоке увязал бы: что патока?! Вморозил бы я тебя по самые очи черные в глыбу льда — поди выберись! Извини, бэнгоро: не могу. Здесь мы на равных. Потому что могу я лишь вровень с вами, а вы можете все меньше и меньше... *mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa*![1] Я пытаюсь, я каждый раз пытаюсь исправить свою ошибку, заложенную в фундамент здания, ставшего моим мавзолеем, я мечтаю разлить на землю проклятую похлебку из чечевицы, сдуру выменянную на дар первородства! — а вы упираетесь руками-ногами-рогами, честью-совестью-гонором, вы мешаете, полагая втайне разные глупости! я — так, вы — этак, я — ну? вы — хрен гну! я — да услышат глухие! А вы — затычки в уши, и мимо острова Сирен, привязав себя к мачте...

Ну, огонь — это понятно. Через огонь вы все проходите. Впервой ли? Я же вам тот огонь и зажигал, когда Договор подписывали.

Я, спертый Дух Закона.

Что, думаешь, приехал? Думаешь, все? скатертью дорожка?! Дудки, бэнгоро, не все. Вот она, твоя судьба: поди обмани! объегорь! Страх всякого конокрада: озверевшие мужики с кольями да с вилами. Взяли тебя на горячем, со сведенным конем — не жди пощады.

Выкрутишься?

И в ответ на меня снисходит запоздалое озарение.

Увы, бэнгоро, не от тебя.

---

[1] Моя вина, моя вина, моя величайшая вина! (*лат.*)

Прямо сейчас, в одно время с кучерявым дьяволенком, ко мне идет будущий «видок» Крестов. Его учитель — здесь же, в моей внутренней реальности; и частица Духа Закона, погребенная в Короле-«видоке», на краткий миг обретает силу.

Силу прозрения.

Случайности — не понятые до конца закономерности! Кому это знать, как не Духу Закона?! Я един в тысячах лиц, я ощущаю наши связи — паук! связанный паутиной! высосанный мухами! — хотя лишь изредка могу проследить их до конца, увидеть, чем обернется действие! поступок! случайный плевок на тротуар!

О, если бы мне дано было видеть причины, следствия, последствия, когда я создавал Договор впервые!..

Жалеть об этом поздно и бессмысленно. Я знаю — но сейчас краешек завесы дрогнул, приоткрывая тайну! Сам того не желая, мальчик мой, я бросил тебе навстречу твою *настоящую* судьбу! Гляди! — оскалилась, брызжет слюной и злобой, готова смять, раскатать в кровавый блин, в грязно-бурое месиво...

Ты смеешься? — смейся.

Ты играючи проезжаешь насквозь бесплотным призраком? — проезжай.

Даже не оглянувшись полюбоваться, как мужики остервенело молотят друг друга; вот один, утробно крякнув, всадил другому в живот вилы-тройчатки... — ладно.

Договорились.

Ты передо мной? — здравствуй.

Смотришь с прищуром сверху вниз, с коня слезать не торопишься. И не надо, я не гордый. Ага, слез все-таки. Ну конечно, ты меня видишь, как умеешь, а умеешь ты плохо. Наверное, я напомнил тебе твоего крестного, Ефрема Жемчужного. Или не напомнил. Значит, тебя зовут не бэнгоро, а Дуфуня? Дуфуня Друц?

Очень приятно. А я — Дух Закона.

Тянуть карту будешь, Дуфуня? Ну конечно, будешь! Только давай сначала — как всегда. Бесполезно, глупо, чуть-чуть стыдно — как всегда.

Сначала — вопрос.

Простенький.

Когда я задаю его, я спокоен. Я на самом деле спокоен. И отнюдь не потому, что мне все равно. Просто я уже знаю ответ. Когда краешек судьбы дрогнул от сквозняка, я успел глянуть исподтишка. Она раздевалась, судьба, обнажалась перед сном; она прекрасна и отвратительна.

Однажды она станет моей.

Нашей.

Нет, это случится не сейчас; возможно, судьбой будет твой крестник или крестник твоего крестника — но у меня появилась надежда!

Ты знаешь, что такое надежда, парень?!! Ах, знаешь: та сука, которая умирает последней, пережив всех! Ты остер на язык, Дуфуня; ты мне нравишься; конечно же, ты ответишь, как все, едва сдержавшись, чтоб не плюнуть Духу Закона в глаза.

Но я все равно задаю свой вопрос...

* * *

Помнишь, Друц?

О да, ты помнишь...

Наша встреча была именно такой, и позади стоял твой крестный, Ефрем Жемчужный. Стоял, ждал, а значит, тебе не нужно было оборачиваться.

Ты спиной чувствовал учителя, входя в Закон.

И потом, когда пришел срок твоему первому крестнику, Вайде Хэладо[1], все повторилось; только стоял и ждал ты, а Вайда шел к Духу Закона пешком, по пояс проваливаясь в зловонное, булькающее, пышущее колдовским жаром болото; ты мог лишь смотреть, закусив губу, не в силах помочь крестнику.

Он должен был дойти сам.

Как ты в свое время.

Как старый Ефрем — в свое; а до того...

Ты не знал, что случится, если Вайда не дойдет. Не хотел знать. Ты знал другое: и он дошел.

---

[1] Солдат (*ром.*).

Всякий раз перед Духом Закона предстают двое: учитель, молча стоящий в отдалении, и ученик, идущий вперед.

Таков Закон; таков я, его Дух.

Гнилая пародия на правду.

Почему же сейчас — иначе?!

* * *

Темнота мягко ударила в затылок, сбивая с ног. Но новый свод не разверзся над тобой, и не возникла в туманной дымке на горизонте колеблющаяся фигура.

Шершавые булыжники мыслей... под копытами старой клячи... цок-цок, цок-цок... Как быстро-то!.. Вы с Княгиней рассчитывали еще хотя бы на полгода... Быстро; не вовремя. Ай не вовремя! Но это пустяки; главное — все иначе!.. после тьмы ты должен был оказаться *не здесь*! Тебя и потащило *туда* — но в последний момент знакомый тоннель из тумана перерубила надвое гранитная стена, перед самым носом твоим перерубила, морэ, так что лоб расшиб, на ногах не удержался!

Или это ты *здесь* лоб расшиб, когда ноги служить отказались?

Спуталась явь земная с явью Закона, близкое с далеким, бывалое — с небывалым. Вроде и лежишь, ром-неудачник, где стоял, где мажонка на твоих глазах всем миром забивали (жив ли парнишка? не видать...), — а глаза твои прочь устремились, уши в трубочки свернулись, вслепую видят, вглухую слышат...

Ну давай, давай, я помогу... чуть-чуть.

Капельку.

— ...Ой, батюшки, ужасть-то какой! Верке расскажу, от завидок сдохнет!..

— ...Да шо ж это?! Да как это?!

— Городового! городового кличьте! Вытащить ее оттудова надо!..

— Видишь, Петенька, что бывает, когда не слушаются мамочки...

— Ось он, городовой-то! Ишь, бегит, его усердие — аж взопрел...

— Знамо дело — от усердия...

— Разойдись! Дайте пройти представителю власти!

Толпа расползлась мокрой ветошью — и ты увидел. Словно из-за плеча у городового выглянул.

Народ сгрудился напротив зоосадовской клетки. В клетке, бешено хлеща себя хвостом по бокам, рычал и скалил внушительные клыки амурский тигр по кличке Мальчик. (Кличка подходила тигру как корове седло.) Ярость зверя была понятна — галдящие перед клеткой бездельники могли и невинного агнца довести до кровопролития. Но на сей раз толпа против обыкновения ахала и ужасалась отнюдь не зря. Потому что в клетке позади тигра, на присыпанном соломой полу лежала беременная женщина!

Акулина!

Сосредоточенное, серьезное лицо, веки плотно сжаты — но грудь мерно вздымается, и трепещет жилка на виске.

Эк угораздило в Закон выходить... И чего тебе дома не сиделось, беспокойная ты моя? Читала бы книжки ученые, к экзаменам готовилась — нет, понесло в зоосад на ночь глядя! И не к птичкам-синичкам, рыбкам-черепахам — к тигру в клетку! С ним-то какая беда приключилась? Опять, кроме тебя, никого не нашлось?!

Не начались бы роды...

— ...Ваше усердие, ваше усердие! шо робыть будем?!

— Пристрелить зверюгу, и дело с концом! Там же человек в клетке! Баба!.. на сносях...

— Так может, он ее уже? тово?

— Чево — тово? чево — тово, я т-тебя спрашиваю? Хычник? бабу? тово?!

— Может, загрыз?..

— Ты чего мелешь? Чего мелешь, говорю?! Да штоб Мальчик нашу Лександру Филатовну тронул?! Просто обморок у дамочки случился. Бывает, когда дите в брюхе! Вы бы

лучше разошлись, господа хорошие, не дразнили зверя! От греха, значит, подальше...

Это Поликарпыч, служитель. По голосу узнал. Слава тебе, Господи, — хоть один умный человек рядом оказался!

— Да ты сам что говоришь, дурак?! Беременная женщина — у дикого зверя в клетке! Стреляйте, ваше усердие!

Городовой вытащил из кобуры револьвер. Сухо щелкнул взводимый курок.

Шум обрезало; народ попятился в тишине.

Стой, дурень! Тигр — зверь живучий, его из нагана не убьешь, только разъяришь окончательно! Тогда уж пропадать Акулине пропадом! Мальчик и не заметит, как на части разорвет!..

— Не, боязно. — Городовой опускает револьвер и вытирает вспотевший лоб. Руки его дрожат. — Еще в дамочку попаду...

Блюститель порядка оглядывается в растерянности на толпу, ждущую выстрелов и крови. Беспомощно разводит руками, словно ища сочувствия, поддержки, — и, как ни странно, находит!

К нему подскакивает сухонький жилистый Агафоныч в форменной робе и фуражке служителя; с другой стороны городового уважительно трогает за погон Поликарпыч, который поперек себя шире.

И выше.

— Ваше усердие! Не треба стрелять. Лександра Филатовна — она Мальчика из соски выкармливала... это тигра нас от клетки гонит, мамку вроде как боронит. Вы б велели народу вон идти, не злить хычника!.. Так оно лучше всего будет.

— А Лександра Филатовна очухается, дык сама из клетки выберется. — Уловив паузу, Агафоныч принимается бубнить городовому во второе ухо. — Видите: жива дамочка, и крови на ей нема... В тягости она; сомлела по духоте. Не обидит ее Мальчик. Только шо с тигры взять: зверь, он и есть зверь, не понимает, шо мы ей добра хотим...

Наконец до городового доходит: больше всего пользы сейчас будет не от стрельбы. А от того, что его усердие делать умеет и любит: от наведения порядка. Чем он и начи-

нает заниматься — к неудовольствию зевак, зато всячески поддерживаемый обоими служителями.

— Доктора позовите, — оборачивается блюститель порядка к служителям, когда зеваки отходят подальше, продолжая глазеть на клетку с указанного их усердием расстояния.

— А хрена там дохтур? Разве Мальчик подпустит дохтура?! Ждать треба...

— Даст бог, обойдется. Она — дамочка бойкая; оклемается...

— Может, водой из шланга побрызгать? Для прохлаждения?..

* * *

— ...П-прочь, хамы!

Странно, почему голос — женский? Или померещилось?

Перед глазами — комья земли, жухлые травинки. Саднит разбитый лоб, привычно ноет спина. Надо вставать — долго отлеживаться не дадут. Сейчас набежит охрана, начнут сапогами пинать; могут и прикладом добавить. Надо вставать — чтобы снова таскать ненавистные скользкие стволы.

Почему — скользкие?

Потому что — осень, дожди, слякоть; вот почему.

Что за глупые мысли лезут тебе в голову, ром сильванский?

— Да как... вы... посмели!.. Убийцы!

Ясное дело — убийцы; ну, грабители, воры там — кому ж еще на каторге обретаться? Интересно, кто это мамзельку обидел? И куда ротозеи-конвоиры смотрели? Да и вообще...

— Да шо ж вы такое кажете, панночка! Какие ж мы убивцы? Мы люди мирные; а мажонков давить — то сам бог велел, особливо ежели конокрады! Ось и батюшка в церкви сказывал...

— Верно! батюшка! Дескать, им, мажонкам, за смерть мученическую — отпущение грехов, и напрямки в рай! Ис-

купил, значить!.. отмылся. Мы ему душу спасаем, панночка, рук не покладаючи! А вы бранитесь — убивцы...

— Ф-федя!.. Феденька!.. если с н-ним... если... мой отец — в острог... в-вас!.. Ф-феденька...

— Цей бугай, шо ли? Шо Ондрейке нос сломал? Да мы его пальцем, пальцем не трогали, панночка! Сам свалился... И кучер ваш — сам...

— Слышь, громада: пошли-ка отсюда. Це ж кнежская доця... полковничья...

— Ну?!

— Ось те и ну!..

Топот ног. Беспорядочный, суматошный.

Удаляющийся.

Поднять голову стоило неимоверных, запредельных усилий. Перед глазами все плыло. Это, верно, Филат, п-падла, по башке поленом звезданул. Поймаю — кранты ветошнику!.. В ладонь воткнулась сухая колючка — и дурацкая, мелкая, пустячная боль вдруг отрезвила. Расплывчатые силуэты обрели четкость, законченность форм; вернулась память.

Сразу, рывком.

Федор лежал навзничь, раскинув руки, и над ним склонилась княжна Тамара.

Плачущая, растерянная:

— Федя... Ф-феденька! В-вставай! Ну вставай... ж-же! Они... они ушли, в-все... Феденька! Вставай... п-пожалуйста...

Странно: она не потеряла дар речи. И голос был живой, жалобный — как у любой девушки, оказавшейся на ее месте.

Подняться на ноги не удалось, и ты пополз к Федору на карачках — благо лежал крестник недалеко, саженях в семи. Краем глаза успел заметить: на том месте, где били мажонка, слабо шевелятся. Стало быть, жив малец-крестник. Что с Девяткой, смотреть не стал — не до того сейчас.

Сперва — Федор.

Ты полз, а в голове мелькали бессвязные картины:

...заглядывают в самую душу пронзительные глаза Духа Закона...

...утробно хекает толпа озверелых мужиков; корчится на земле щуплое тело...

...оскалился Мальчик, закрывает собой бесчувственную Акулину; городовой с револьвером в трясущейся руке...

Пронеси, пронеси, Господи! — твердил ты сам себе, как заклинание, как молитву; Мальчик ее не обидит, и городовой стрелять не стал, значит, все будет в порядке, там Поликарпыч с Агафонычем, они все понимают... ни черта они, конечно, не понимают, но это не важно! главное — знают, что делать; вернее — чего делать нельзя, а там Акулина очнется...

Рука опустилась на теплое, живое.

Ладонь.

Федькина ладонь.

Ты помотал головой, отгоняя назойливые видения, будто мух. Потом. Все — потом. Сейчас: выяснить, что с Федькой.

— Ефрем... Иванович! П-помогите...

— Я не доктор, Тамара. Дай погляжу...

Не вязалась первая фраза со второй, но это тоже было не важно. Ты склонился над Федором, мертвыми пальцами принялся расстегивать рубаху на груди. Хотел рвануть, но княжна пришла на помощь; миг — и разошлась рубаха в стороны, открывая Федькину широченную грудь. Ты приложил к ней ухо, и одновременно — два пальца к жилке на шее.

И еще ты попытался сделать невозможное: услышать, зацепить крестника, достучаться — прав, Друц! ты не доктор! доктора так не умеют...

Услышал.

Зацепил; и сразу выпустил, бессильно заскрипев зубами.

Федька Сохач был жив. Тело его лежало навзничь на пригорке, густо поросшем жухлой травой, а душа была там, где царил Дух Закона. Отродясь не ходили туда крестники в одиночку, без старших козырей. Да, конечно, идти

в Закон им самим — но не зря же безмолвной поддержкой стоит за спиной маг-учитель!

И еще: теперь ты знал наверняка, что Акулина, чье бесчувственное тело лучше любого цепного пса стережет амурский тигр, — рядом с мужем.

Но без Княгини.

— ...что... с н-ним?.. Ефрем Иванович?!

— Жив. Только худо ему, Тамара Шалвовна.

— Он... очнется?!! Все б-будет... хорошо?!!

Столько отчаяния и муки было в этих словах, что ты не смог, не сумел солгать во спасение; картонные слова утешения застряли в глотке.

— Не знаю, Тамара Шалвовна. Может быть.

— Скачите за... д-доктором! Ефрем Иванович! Я з-здесь... с ним... скачите!

Не рассуждают так безумные! Здраво и быстро, без слез, крика, истерики...

Мысль мелькнула и угасла, оставив лишь искрящийся след, словно от шутихи или падающей звезды.

— Не поспею, Тамара. Где тут доктора искать? А до Харькова — час, не меньше, даже если во весь опор гнать. Потом обратно, с доктором... Глупо. Или очнется он за это время, или...

Соображала княжна удивительно быстро. Даже слишком быстро для нормального человека. Действовал уже не разум — чутье на грани прозрения, которым обладают пророки, влюбленные и безумцы!

— Вы же... Вы ром, Ефрем... Иванович! А в-все ромы... колдуны!.. хоть немножко... Раз д-доктор... не поспеет — колдуйте! Я за... в-вас век... молиться буду! Ефрем Иванович?! Я... за в-вас!.. Для в-вас!..

Эта просьба показалась тебе настолько дикой, что безумие на миг заглянуло прямо в глаза, оскалилось хитрой усмешкой Искусителя — и вновь спряталось.

Неподалеку.

Решишься, баро? Возьмешь княжью дочь в подельщицы?! Вернешь силу?! Пробьешь стену?!

Решайся!

Нет, это не ты, не ты! Это демон в твоей голове, бес в ребре твоем! Опомнись, дурень старый! Безумице жизнь сломаешь! Циклоп голыми руками, на клочки...

Сломаешь?! Ха! У нее жизнь и без тебя переломана, некуда ломать дальше! А крестников потерять можешь; это — запросто! Да и Тамара, если Федька не очнется, руки на себя наложит... Княжьего гнева испугался, а, храбрый ром? труса празднуешь? Кто на Циклопа с ножом кидался?!

То-то шутка будет, всем шуткам шутка: дочь жандармского полковника — ромский подкозырок!

— Разрешаю применять силу и эфирные воздействия: в теперешнем состоянии Тамара частично к ним восприимчива. Но только в ***крайнем*** *случае и со всей аккуратностью. Иначе головой ответишь. Ты меня понял?*

— Понял, ваша светлость...

Отыди, Сатана! Не искушай! Глядишь, и так обойдется: сыщут дорогу назад... А если — нет?! Что тогда?!! Простишь себе, что был в силах помочь — и остерегся?!

Отыди... ну пожалуйста!..

— Зачем?.. м-медлите, Ефрем... Иванович! Что в-вам... нужно?! Говорите! Душу... м-мою?! Жизнь?! Отдам! Т-только спасите... его!

Все, Валет.

Слово сказано.

А по Закону — должен быть ответ.

ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ

В черных как смоль очах княжны Тамары, отныне и навеки:
...ночь.

Беспросветная. И вот: одна за другой, начинают теплиться робкие свечи звезд. Призрачный свет осеняет землю, лунные тени плывут туманом, творясь заново в самых причудливых очертаниях. Тени! — в вас легко заблудиться, сбиться с пути, превратиться в призрак, марево... Одна

звезда, у самого горизонта, горит ярче других. Звезда? свеча? костер в ночи?

Знаете? — надо идти туда, к этому огню. Сквозь тени, морок, сквозь ночь.

Надо просто идти.

К огню.

* * *

Ты медленно распрямился. Встал в полный рост, навис над хрупкой девушкой, с отчаянием и надеждой глядевшей снизу вверх.

Отчаяние и надежда.

Страшная, безумная смесь; адское зелье.

Демон увидел Тамару.

Кто из вас искуситель? кто — искушаемый?! кто?! — эта мысль пришла из прошлого, из далекой кус-крендельской ночи, когда рябая Акулька, не раздумывая, протянула тебе свою худенькую ручонку:

— Дядь Друц! Миленький! Не передумала! Ноги... ноги целовать...

— ...Душу, говоришь? — сказал; и не узнал собственного голоса. — Ну что ж, значит, так тому и быть. Давай душу, княжна. Только знай: вытащим Федьку, не вытащим — все едино. Пропадать нам лихим пропадом. Решай сейчас, чтоб после не каяться. Видела небось, что нынче с подкозырками творят...

Эх, девки, девки! Тамара! Акулька! отдаетесь без колебаний! мне бы ваше сердце...

— Я решила. — И она протянула тебе руку.

Словно знала: так положено.

Я грустно улыбаюсь.

Это судьба.

И желтый, осенний свиток, испещренный вязью знаков, вспыхивает перед вами.

XI. РАШКА-КНЯГИНЯ, или АБРАША-ВЕРОНЕЦ ЛЮБИЛ ШУТИТЬ ПО СУББОТАМ

При благоденствии праведников веселится город, и при погибели нечестивых бывает торжество.

Книга притчей Соломоновых

Ты готовила финт.

Безумный; безнадежный.

На который можно решиться, лишь открыв глаза и вместо края постели вдруг увидев край обрыва. Нарушался Закон, если крестный не идет вослед крестнику, чтобы ждать и молчать; нарушался Закон, если учитель не сопутствует ученику, чтобы самим своим присутствием оказать честь прощания; рушились основы — и ты, на остаточке, на последыше, на «брудершафтной» Акулине, рванулась было в погоню... Вот-вот ударишься всем телом о стену нарушения, проломишь, устремишься!..

А рыба-акулька возьми да и вывернись из рук.

Глупая ты, глупая Рашка... Ну скажи мне на милость: когда это жена не сопровождала мужа? в беде и радости? в здоровье и болезни? в Законе и беззаконии?

Оба они ушли: Федор и Акулина.

А ты осталась.

Иди плясать кадриль.

* * *

...лестница кошкой вертелась под ногами. Юлила, терлась ступенями; норовила встать дыбом, распушив хвост ковров.

Что делать?

Куда бежать?

...Сильная рука поддержала под локоть. Глаза, два черных колодца, сияющих неземным восторгом, придвинулись вплотную.

— Эльза Вильгельмовна! — спросил еле слышно Павел Аньянич, облав-юнкер со второго курса; «нюхач», подаю-

щий большие надежды. — Ведь это вы, Эльза Вильгельмовна? Это правда вы?!

Со стороны могло показаться: молоденький кавалер объясняется даме в любви страстной и прекрасной. Но тебе уже однажды объяснялись в похожей любви: в купе поезда «Севастополь — Харьков», между делом очищая апельсин.

К счастью, институток он успел отослать наверх.

Хороши б вы были...

— Что, Пашенька? Вынюхал, мальчик мой?!

— ...Например, ваш покорный слуга перед самым выпуском сумел вычислить объект: негласного сотрудника Гамзата Ц'ада, тифлисского шашлычника.

— Вас похвалили? наградили?!

— Увы, милочка. Меня вызвал к себе начальник училища в Тифлисе...

— Эльза Вильгельмовна!

И тут мальчик в лазоревом мундире произнес нечто, возможное в его устах не более, чем выход в Закон учеников без учителей:

— Я восхищаюсь вами, Эльза Вильгельмовна! Я искренне восхищаюсь вами! Выслушайте меня! Полагаю, власти заблуждаются в своем вечном стремлении искоренить, вместо того чтобы изучать и использовать!

— Пашенька!

— Не перебивайте! Пожалуйста, не перебивайте! Я много думал! Я написал рапорт начальнику училища!.. Вашему супругу!.. завтра я собирался передать сей рапорт... мы выплескиваем младенца вместе с водой!.. теряем, когда могли бы приобрести!..

Боже! — как он был похож сейчас на Шалву Джандиери! На того полуполковника, которого не слышали, не могли, не хотели услышать в Государственном Совете, и, уверенный в своей правоте (Пашенька! все эти ваши муж-

ские «Я! я! я! мы!..»), гордый князь переехал в стылую тоску Мордвинска: сыграть свою тайную партию, где картами служили живые люди.

Сосланная на поселение Дама Бубен.

Сосланный на поселение Валет Пик.

И Ленка Ферт, так и не успевшая выйти в Закон; битая на мраморном столе морга Девятка Бубен.

— Господин Аньянич! — лязгнуло сверху. — Завтра я готов рассмотреть ваш рапорт! Более того: утром, после гимнастики, вы доложитесь ротмистру Ковалеву, дабы он предоставил вам возможность хорошенько обдумать в карцере ваше поведение!

Ты переводила взгляд с Пашеньки Аньянича на Шалву Джандиери, с облав-юнкера на полковника, с мальчика на мужа, с мундира на мундир — и чувствовала: сознание вот-вот ускользнет.

В норку.

Тише, мыши, не шуршите...

— Шалва... я сейчас упаду, Шалва!..

Он оказался рядом быстрее, чем ты успела договорить.

— Господин облав-юнкер! Живо! — на улицу, подгоните нашу коляску! И еще...

Джандиери задумался; сдвинул брови:

— И еще: вы поедете с нами. Поможете мне...

— Так точно, господин полковник! Буду счастлив!

Швейцар уже распахивал перед Аньяничем двери холла, испуганно кланяясь.

— Домой? — спросил тебя Циклоп; и успел подхватить, не дать упасть, покатиться по ступеням. — К врачу?

— Домой не надо... к отцу Георгию. Едем к «стряпчему»!

— Что происходит, Рашель?!

Впервые он назвал тебя так за последние... нет.

Просто: впервые.

— Они выходят в Закон. Без нас.

Слава богу, Джандиери не стал спрашивать: кто «они»?

* * *

В коляске ты начала терять сознание.

Ах, как славно, как весело звучит: начала терять! вот: монетка еще не выпала из кошелька, но уже застряла в прорези, уже толкается ребром, просится наружу — выпаду! пустите! затеряюсь в пыли! Начало потери — есть ли в целом мире что-то забавнее тебя? Теряем сознание, деньги, время... невинность... родителей, наставников... учеников — они еще здесь, но уже потеряны, и проклятый Дух Закона шутит новые, небывалые шутки; тебе не дают даже как следует потерять их, Федьку с Акулькой, детей кускрендельских, плоть от плоти души твоей, Княгиня бесталанная!.. даже за их спиной постоять, гордясь, провожая, обжигаясь слезой, текущей по щеке к уголку рта, — и то не дают...

— Шалва...

— Что? Тебе плохо?!

— Скорее, Шалва...

«На ты... на ты... — стучат колеса; колеса, колеса!.. поезд в ад. — Он впервые обратился к тебе на «ты», Дама Бубен! ах да, сегодня все — впервые...»

Скорее, Шалва... к отцу Георгию, к Гоше Живчику, ибо даже Духу Закона не дозволено безнаказанно глумиться над Буквой! Слыхано ли? — оставить тебя здесь (Друц! где ты, ром?!), когда крестники проходят последнее испытание! Дело, о каком Червонные «стряпчие» могут лишь мечтать: уличить Закон в беззаконии... мечтать, грезить, вздыхать ночами...

Куда ты проваливаешься, Рашка? В какие тихие омуты, доверху набитые чертями?! — бесенятами твоей памяти, моей памяти, хитро подмигивающими из тинистых закутков! ну давай, давай я тебе чуть-чуть помогу — хотя, поверишь, мне сейчас не до тебя... не до себя... мне сейчас — не до...

* * *

— Бывает, — Фира Кокотка раскинулась на канапе, этакой пресыщенной светской львицей, и стала полировать ноготки, — что жизненное повествование теряет сюжет.

— Сюжет? — спросила ты.

Ты всего третий день как вышла в Закон и до сих пор не могла привыкнуть смотреть на Фиру, на свою крестную... со стороны, что ли?

Да, именно со стороны, а не поминутно косясь через левое плечо.

— Глупышка. Сюжет — это обоснованность поступков, это перемена «вчера» на «сегодня»; это ты сама, какой должна быть согласно замыслу. Чьему? Не важно. Пусть об этом спорят до хрипоты бородатые и лысые умники в церквях, мечетях и синагогах. Но иногда, редко и оттого особенно мерзко, ты превращаешься в ходячую ерунду. Замысел? сюжет? о чем вы, господа?! Когда надо резать по живому — пьешь кофе; когда надо изрекать истины — киваешь, улыбаясь невпопад; когда по всем календарям мира выходит: «завтра», и только «завтра»! А у тебя, дурехи, добро бы «вчера» — у тебя прошлогодний снег, да еще и растаявший на ясном солнышке! Мой крестный, рабби Авраам бен-Исраэль из Вероны, любил шутить по субботам: Фирочка, яблочко мое, ты знаешь, что значит «магия»?

Фира Кокотка замолчала, явно намекая, что тебе следует подыграть. Ты подыграла. Больше всего на свете ты любила вот такую болтовню ни о чем; *вроде бы* ни о чем.

О своем крестном Эсфирь Гедальевна Перец, она же графиня Чечельницкая, она же Дама Бубен, маг в законе, рассказывала редко.

— И что такое «магия», Фира?

— Я не знаю. И ты не знаешь; хотя думаешь, будто знаешь. А Абраша Веронец, написавший комментарий к «Сокровенной книге», говорил по субботам: магия — это «маг и Я».

— Кто — я?

— Я. Дух Закона, который всегда «он» и при этом немножко «ты».

— Я?

Фира долго смеялась.

— Вот так смеялся и Абраша Веронец, — отдышавшись, заявила она. — Я задала ему тот же самый вопрос, и

он смеялся. А потом перестал. Сказал, что когда Дух Закона решает поиграть с Буквой Закона в чет-нечет, вот тогда-то это проклятое «Я» начинает дышать нам в затылок! Мы чешем в затылке, а оно дышит, мы терзаемся догадками, а оно дышит, пропади оно пропадом!

— Фира... ты полагаешь это шуткой?

— Нет. Это Абраша так полагал. Или врал, будто полагает.

— А... кто он такой?

— Абраша Веронец?

— Нет. Дух Закона.

Фира отбросила пилочку в угол. В свои сорок два она была подлинной красавицей — во всяком случае, так казалось тебе, двадцатилетней. Ты бы дорого дала за Фирино умение держаться, вести себя, пользоваться косметикой и носить дорогие туалеты.

На самом деле ты уже дала.

Дорого.

Только еще не понимала, насколько это оказалось дорого на самом деле. Стать *почти* такой, как Фира Кокотка, и понимать, видя чужие восторги, что пропасть этого *«почти»* непреодолима...

Больше всего на свете ты боялась однажды проснуться и почувствовать, что ненавидишь свою фею-крестную.

— Знаешь, детка... Никто ничего не знает о Духе Закона. Примерно так же, как мы все ничего не знаем о себе самих. Есть только легенды... сказки... Глупости...

Ты ждала.

Дождалась.

— Абраша Веронец, отшутившись по субботам, рассказывал мне по понедельникам: когда более трехсот лет тому назад Фердинанд Испанский и Изабелла Гонительница издали декрет об изгнании авраамитов — многие бежали в Верхнюю Галилею, в древний Цфат. В том числе мистики, знатоки Имен... маги. Передававшие свои знания от отца к сыну, от сына к внуку. И одному из них сильно не повезло...

— Ему не дали убежать, Фирочка? Догнали? Казнили?!

— Нет, ну какая же ты все-таки дурочка! При чем тут казнили?! Просто у него был сын, а у сына не было таланта. Или у отца не было таланта — великий мастер не всегда великий учитель. Короче, годы, потраченные на обучение сына, прошли впустую. Вот тогда маг возроптал и задумался: можно ли передать накопленные сокровища, если передающий не умеет учить, а получающий не умеет учиться?! Можно ли сделать так, чтобы про сына перестали говорить: «Это шакал, сын льва!» Можно ли донести воду в ладонях, если и пролив, то малую, плохо различимую толику? Или надо молча сидеть и ждать от Бога дулю?!

— Он придумал? нашел?!

Фира резко села. Тонкие брови ее сдвинулись к переносице, выгнулись двумя луками. Отвердел чувственный рот, дрогнул:

— А ты как полагаешь, милая моя?

В этот миг ты предпочла бы, чтоб Фира по-прежнему находилась у тебя за левым плечом, а не вот так, напротив, играя шутку, в которой уже ничего не оставалось от шутки.

— Молчишь? Вот и Абраша Веронец, рабби Авраам бен-Исраэль, написавший комментарий к «Сокровенной книге», тогда спрашивал у меня, у глупенькой, молоденькой дурочки: «Молчишь?! Фирочка, сокровище, почему ты молчишь?..» А однажды добавил: «Вот и *он* пока еще молчит. Думает. Выбирает. И без конца длится ночь перед заключением первого на свете Договора между человеком и человеком...»

Ты неуверенно улыбнулась.

— То есть нас всех нет? Так, Фира?

— Есть. Не беспокойся: мы есть. Я, ты... мы. Хотя Абраша любил интересоваться по четвергам: «Фирочка, золотце, ты всерьез считаешь, что мы способны существовать на самом деле?»

— Он шутил?

— Нет. Он завидовал.

— Кому?

— Мне. Той, какой я была, прежде чем стать такой, какой я есть. Ну что, пойдем собираться?..

Здравствуйте, Эсфирь Гедальевна! Фирочка, не отворачивайтесь, посмотрите нам в глазки! Ну что же вы?! И тогда мы почему-то не увидим, а сперва услышим:

...голос.

Мамин, счастливый. «Борух Ато Адой-ной Элой-гейну Мелех гоойлом ашер кидшону бемицвойсов вецивону легадлик нейр шель шабос койдеш...»[1] *Ага, вот и огоньки зажглись. Слабенькие, едва теплятся. Разгоняют вечер, машут желтыми лепестками в честь кануна святой субботы.*

Почему мама плачет? от счастья?!

Почему вас нет рядом с мамой, уважаемая Эсфирь Гедальевна?

* * *

— А? что?!

— Успокойтесь, Эльза Вильгельмовна! Все в порядке!..

Это Пашенька. Успокаивает; пытается заглянуть в глаза. А Джандиери молчит; ты буквально обвисла на нем, а он молчит. Наверное, он нес тебя на руках: от коляски в подъезд казенного дома, по коридорам, не смущаясь ничьими посторонними взглядами, если они были, — и взгляды отлетали от Циклопа, как гравий летит в стороны из-под лошадиных копыт.

Не помнишь.

Дороги, подъезда, взглядов — не помнишь.

В крошечном кабинетике тесно от людей, от вдохов-вздохов-выдохов; напротив, у керосиновой лампы, замер отец Георгий.

Тоже молчит.

Лицо священника обмякло, будто у слабоумного; крылья носа подергиваются, из уголка рта тянется липкая ниточка слюны. А на скулах — каменные желваки. Молодой облав-юнкер смотрит на это с брезгливым изумлением: не таким он знает отца Георгия, совсем не таким! Глупень-

[1] Благословен Ты, Б-г, Всесильный наш, Властелин вселенной, освятивший нас своими заповедями и повелевший нам зажигать свечу в честь святой субботы... (древнеавраам.)

кий! — у любого «стряпчего», без слов вникающего в суть дела, выражение лица теряет всякий смысл.

Лицо — оно для обыденности.

Фасад.

Гоша Живчик выше Десятки не поднялся, зато у его крестного, Иллариона Полтавского, говорят, в моменты работы лицо делалось... слабонервных выносили.

Ногами вперед.

— Господин полковник! — неожиданно роняет священник; страшно слышать этот спокойный, рассудительный голос, видя маску юродивого. — Я прошу вас: оставьте нас! И вы, господин облав-юнкер, — тоже. Мне трудно... В вашем присутствии... прошу извинить.

Блестящие пуговицы глаз останавливаются на князе.

— Впрочем... нет, лучше все-таки выйдите. Так будет правильней.

По-прежнему молча, Джандиери помогает тебе опуститься на стул. Почему он не сделал этого раньше? Почему позволял висеть на нем?..

На стуле — плохо.

Раньше было легче дышать.

Наверное, поэтому... мысль ускользает, и ты не кидаешься за беглянкой в погоню. Сидишь сломанной куклой; без мыслей.

Ну их.

За спиной хлопает дверь. Нет, она закрывается тихо-тихо, но тебе кажется, что хлопает. Из пальцев рук и ног, из коленей и локтей растут блестящие нити, они дергаются... за них дергают... сейчас силой заставят встать и уйти.

Куда?

Кто — заставит?!

— Гоша... я... ты понимаешь, Гоша!..

— Молчи. Я вижу.

Он видит. Ну конечно же, он видит: нарушение Закона. Он спрашивает, неслышно и беззвучно; ему отвечают — беззвучно и неслышно... отвечают чистую правду, как на исповеди, ибо нельзя врать «стряпчему», будь ты хоть трижды Дух Закона, о котором рассказывают глупые сказки Абраши Веронцы! Мы есть, такие, какие мы есть! Мы —

не призраки твоей ночи размышлений перед первым Договором! мы требуем! нам больно...

Лицо.

Обычное лицо: мягкие черты, умные глаза. Никаких признаков слабоумия; только сейчас даже самый близкий знакомый не поверил бы, что этот священник младше тебя на восемь лет. На целых восемь лет, за которые черт знает что... простите, святой отец!.. Бог весть что может произойти, и произошло, и лучше, если бы не происходило...

Отец Георгий наклоняется к тебе:

— Ты ошиблась, Княгиня. Все по Закону.

Он врет! «Стряпчий» не может врать, но он врет!

— Как?! По Закону?! тогда почему? я? а они!..

— Потому что вас много. Крестных — много. Это Брудершафт, Княгиня; и имя вам — легион. Вас много, а ты и Друц — последние. Подожди, сейчас все...

И, проваливаясь в саму себя, ты уже знала: он прав.

Действительно — все.

Все по Закону.

XII. ДРУЦ-ЛОШАДНИК, или ЗАКОН СУРОВ, НО ЭТО ЗАКОН

> Кто отклоняет ухо свое от слушания закона, того и молитва — мерзость.
>
> *Книга притчей Соломоновых*

...Янтарная желтизна развернувшегося свитка.

Осенний лист с прожилками мерцающих знаков.

Это красиво, это дико, невозможно красиво — словно сама Осень выплеснулась без остатка на последний в ее жизни лист; вошла в него, стала им. Кажется: немыслимо, просто выше человеческих сил сжать эту красоту в кулаке, скомкать, сжечь, уничтожить! Так бы и смотрел — вечно, ожидая неведомо чего, превратившись в каменного идола перед древним алтарем.

Но — нельзя.

Сейчас ждут *тебя*.

Не заставляй Закон ждать.

— Возьми. — Слово рождается само, отдается в висках гулким шепотом, и ты знаешь: Тамара слышит твой шепот так, словно он звучит в ее собственной голове.

Дымок костра в степи щекочет ноздри, мешаясь с горечью полыни.

В ушах стоит тонкий хрустальный звон. Сотни комариных игл пронизывают вас насквозь; почти неразличимый в окружающем сумраке, купол свода с готовностью отзывается, вибрирует на пределе слышимости. Янтарь осеннего листа, мерцание знаков надвигается, заполняет собой горизонт.

Тамара делает шаг навстречу.

Сейчас ты видишь ее со стороны — и красота нагого девичьего тела на миг затмевает красоту осеннего янтаря.

«Нагими приходим мы в этот мир...»

«На бари ростоскири, барвалэ родоскири[1]»...

Княжна идет словно во сне: текучая плавность движений, завораживающий внутренний ритм. Рука изгибается лебединой шеей, берет свиток. Понимание приходит само — из той запредельной бездны, где царит Дух Закона, — и девушка начинает комкать свиток в маленьком кулачке... сильнее... еще сильнее... Вот уже лишь краешек смешно торчит меж тонкими пальцами княжны...

Достаточно.

В глазах дочери Джандиери страшная, какая-то нечеловеческая решимость; и в то же время — наивная радость ожидания чуда.

Пора.

Твоя ладонь накрывает руку Тамары, плотно охватывает маленький кулачок — спрятать! защитить! укрыть!.. Вечный порыв старшего, хотя прекрасно известно заранее: бесполезно. От Договорного огня не защитишь, не укроешь. Княжна выбрала сама. Рашка любила говорить: «Бабы — они живучей...» Если бы! Где ты, Дух Закона?! Мы ждем!

Давай...

---

[1] Невелика ростом, но из богатого рода... (*ром.*)

И, словно в ответ, перед вами вспыхивает пламя: охра с прозеленью. В лицо пышет чудовищный жар — адские угли, котлы Преисподней. Такая уж выпала вам судьба: на краткий миг испытать муки ада еще в этой жизни.

На губах у девушки проступает снисходительная улыбка: «Огонь? Только и всего? А я-то думала...» Она сама не знает, что она думала, да это уже и не важно — княжна решительно сует свой кулачок в огонь, увлекая за собой и твою лапу.

Мгновения текут, плавятся, жар пламени проникает под кожу, обугливая ее, охватывая ваши руки, покрывая жгучими поцелуями; улыбка цепенеет на губах Тамары. Конечно, ты даже предположить не могла, девочка моя, *как* это будет больно!

Терпи; пожалуйста, терпи...

Пепел слегка притрушивает слоновую кость: таким оно становится, лицо княжны Тамары. Улыбка вцепилась в губы мертвой хваткой, кожа на скулах натянулась — вот-вот лопнет; в провалах глазниц пляшет черное пламя, родной брат того огня, что сжигает сейчас ваши руки! Не смотри в эти глаза, Друц-лошадник, — обожжешься!

Поздно.

Уже посмотрел.

* * *

...С неба глядит лицо. Женское. Нет, не лицо — лик. Не бывает у людей таких лиц. Разве что у святых. Или у ангелов. В ореоле туманном, и все словно бы изнутри светится.

А в темных глазах (не бывает у святых таких глаз!) — тревога.

Женщина что-то говорит. Язык чужой; знакомый. Так бывает. Слова журчат, текут, падают звонкими каплями, обдувают прохладой разгоряченные щеки — и вместе с этой прохладой приходит облегчение.

— ...Наконец-то, Томочка! Очнулась! Теперь все будет хорошо!

— Правда, м-мама?

— Конечно, доченька! Разве я когда-нибудь лгала тебе?

— Нет, мама... А т-ты... знаешь: я ангела в-видела. Он

на тебя... похож. Обещал забрать... меня на... небо. И т-тебя. М-мы там т-тоже... будем ангелами!

— Когда-нибудь, доченька, когда-нибудь. — Женщина хмурится; на ее лицо набегает тень, чтобы исчезнуть мигом позже. — Когда-нибудь мы с тобой тоже станем ангелами. Только не сейчас. Мы не будем спешить, хорошо? А то папа станет за нами скучать.

— А мы... мы его т-тоже... с собой!..

— Ясное дело, с собой! Куда ж вы без папы денетесь, красавицы?!

Рядом с женским лицом возникает мужское: смешно топорщится щеточка рыжих усов. И лицо у папы смуглое, земное, совсем непохожее на мамино; и на ангела папа не похож! А вдруг из-за этого папу на небо не возьмут? Нас с мамой возьмут, а его — нет?!

Глупости! Папа хороший! Его обязательно возьмут в ангелы! Меч дадут, только не такой, как на папиных пуговицах, — огненный, как у архангела Габриэля! Мама мне читала в книжке про меч. И папа будет нас с мамой защищать, нас и всех других хороших людей — как сейчас, только еще лучше!

Папа улыбается. Подмигивает, протягивает ко мне руки, я тянусь навстречу — и вдруг вижу: на самом деле он тоже боится, как и мама!

Папа — боится? Он не может бояться, он самый храбрый на свете!

И оттого, что папа боится, мне тоже становится страшно.

Я плачу. Из-за слез мне уже ничего не видно, перед глазами туман, серая мгла, темнота...

...темнота. Нет, не совсем темнота — в окно заглядывает луна. Ее серебристый свет проскальзывает меж колышущимися ветвями деревьев за окном — и на стене танцуют лунные человечки. Они каждую ночь приходят ко мне. Обычно они смешные и веселые. Они играют со мной. Но иногда они бывают страшные — это когда ветер начинает выть стаей волков; тогда я поскорее накрываюсь одеялом с головой, и они не могут меня достать.

Я смеюсь над ними под одеялом.

Правда, мама говорит, что я уже большая девочка, что стыдно бояться каких-то лунных человечков, которых и нет вовсе! Но я-то знаю, что они есть! Просто к маме в комнату они не заходят, вот мама и думает, будто их нет.

Сегодня ветер не воет, как волк, а тихо шепчет. Но лунные человечки все равно страшные: тянут ко мне холодные лунные руки, хотят схватить, утащить!.. но раз мама сказала, что их не нужно бояться, — я не буду бояться! Буду как папа, он очень храбрый!

Я лежу и слушаю шепот.

— ...снова приступ. Доктор говорит: это наследственное. У тех, кто не восприимчив к эфирным воздействиям, часто рождаются... сложные дети... — шепчет ветер маминым голосом.

Интересно, о ком речь?

— ...не надо, Нина. Я знаю. Я знал это с самого начала... — Теперь голос ветра похож на папин.

Что он знал? Я тоже хочу...

— Да, Шалва, ты говорил мне. И я понимала, на что иду. Я ни о чем не жалею. И все же... я так надеялась... я молилась... но, наверное, Бог не услышал меня!

Как Бог мог не услышать маму?!! Ведь мы же с ней когда-нибудь станем ангелами! Старый, глухой Бог, почему ты не услышал?!

Я тихо бью себя по губам.

Больно.

— ...Не кори себя, Нина. Никто ни в чем не виноват. Это судьба... Что еще сказал доктор?

Ветер всхлипывает. Неужели это мама плачет?!

Кто ее обидел?!!

«Ты-ы-ы!..» — издевается ветер.

— Сказал, что приступы становятся чаще. И что он бессилен. Есть только одна надежда: может быть, у Тамары после восемнадцати наступит улучшение. Он сказал: так иногда случается, надо надеяться...

Это обо мне! Это обо мне шептал ветер голосами папы и мамы! Это я — «сложный ребенок»! А «приступы» — это когда в голове становится холодно, туда забирается но-

ябрьский ветер, воет стаей волков, зовя темноту... дальше я не помню. Потом мама всегда плачет, и папа хмурится, а когда видит, что я на него смотрю, — тут же начинает улыбаться, а мне хочется плакать от этой улыбки! Я ведь понимаю: это он *для меня* улыбается. А на самом деле...

Не хочу быть «сложным ребенком»! Не хочу «приступов»! Не хочу противных лунных человечков! Я поняла: это все они виноваты! Это их холодные лунные руки забираются в мою голову, а следом врывается ветер...

Вот и сейчас!

Прочь! прочь от меня! уходите! я больше не хочу с вами играть! не надо!.. не надо... не на...

Леденящий, волчий вой ветра.

Тьма наливается серебром, превращаясь в зеркало...

...зеркало. Огромное, выше меня, овальное, в потемневшей от времени дубовой раме с завитушками. Я помню это зеркало едва ли не с самого рождения. Всегда любила смотреться в него, когда была маленькой, — рожи ему корчила, язык показывала, а сейчас вот...

Сейчас я смотрю на девушку в зеркале, не в силах поверить: ты — это я? Правда?! Я ведь еще вчера была маленькой! Я и куклы свои помню — большие, розовые, глазами хлопают; домик у них свой был, не домик даже, а целый кукольный замок.

Странно: куклы помню, замок игрушечный, а как выросла — не помню! Перед сном куклам свадьбу справляла, проснулась: чудеса! я-то, оказывается, уже совсем взрослая!

Скоро самой замуж пора!

Так, может, это меня к свадьбе наряжают? А кто тогда мой жених? Почему я его не помню? Не бывает, чтоб свадьба — а я не помнила, за кого замуж выхожу! И платье на мне темное... Нет, оно красивое, мне нравится, но почему — темное? Ведь у невест платья белые-белые!.. И шляпка черная, с вуалеткой — зачем она? Не хочу такую шляпку на свадьбу! хочу жениха! туфельки хрустальные! праздник!

А, вот и тетушка Хорешан.

— Т-тетушка... Хорешан, у меня сегодня... с-свадьба?!

Да? А к-кто мой... ж-жених?.. Т-тетушка Хорешан, п-почему... ты плачешь?! Т-ты ведь раньше... н-никогда! не плакала!..

— У тебя не свадьба, доченька. Горе у тебя; у всех нас горе. Мама твоя умерла, царствие ей небесное. Похороны сегодня...

Мама?! Умерла?! Не верю. Тетушка Хорешан что-то путает. Это, наверное, от старости. Ей просто забыли рассказать: когда придет время, мама станет ангелом, и я — вместе с ней. Нас возьмут на небо, и мы будем там ждать папу. Но я же еще здесь! Значит, и мама не могла стать ангелом! Она бы меня ни за что не бросила. А уж чтоб она просто умерла...

Я мотаю головой.

Нет, нет; нет, нет...

— ...Идем, Тамара. Попрощайся с мамой.

Куда она меня ведет?! Прощаться? Зачем?!! Я не хочу прощаться! Я не верю! С мамой все в порядке...

Гроб. Прямо посреди комнаты. Огромный, обитый бархатом, с тяжелыми кистями по углам. Вокруг — люди. Чужие; свои. Так бывает. Они расступаются передо мной, я не могу рассмотреть их лица; все в тумане. Да и не хочу я видеть их лиц!

Мама, где ты?!!

— Томочка, держись, я с тобой...

Это — папа. Спасибо, папа, но — не сейчас. Сейчас я хочу увидеть маму. Мамочка, ты прячешься? да?

А гроб приближается, растет, вот он уже не гроб — зеркало, в дубовой раме, с кистями, упавшее навзничь зеркало... Я знаю: глядеть туда нельзя. Я знаю: если погляжу — случится страшное, непоправимое.

Я не выдерживаю: смотрю.

Смотрю, смотрю, смотрю; начинаю улыбаться! Какие они глупые, эти люди! Как их ловко всех обманули! Даже тетушку Хорешан, даже папу! Разве это мама?! Врушки! Это просто восковая кукла, даже не очень похожая на маму! Может быть, эта кукла и умерла, только куклу мне совсем не жалко — она ведь и раньше была неживая!

А мама...

Я поднимаю глаза вверх и вижу, сквозь потолок, сквозь

крышу: лазурь, сияние в небе, там парят ангелы, и среди них — мама! Она там, она улыбается, она машет мне рукой — я улыбаюсь и машу в ответ. Маму взяли на небо, она теперь ангел! Все хорошо, никто не умер! Зачем этот траур, эти скорбные лица, эти скупые слезы?!

Ведь все хорошо!

Мне становится смешно. Я смеюсь, я хохочу, захлебываюсь смехом, не в силах удержаться. Меня куда-то ведут, прочь из комнаты, прочь от гроба, от мертвой восковой куклы-отражения — а я уже не хохочу, я кричу:

— Мама! Возьми меня к себе на небо! Я тоже хочу стать ангелом! Мама!!! Забери меня к себе!.. Я хочу увидеть Его!..

...Его.

Сегодня я увидела Его.

У Него длинные вьющиеся кудри, прямо как у девушки, но мне нравится. Мне говорят — Он рыжий, а я смеюсь: какой же Он рыжий, когда Он золотой?! У Него доброе лицо и большие, сильные руки. Я представила, как Он обнимает меня этими руками, — и мне сразу стало жарко!

Я стояла у окна; смотрела на Него. Он подстригал кусты в нашем парке, а я стояла и смотрела.

Любовалась.

Тетушка Хорешан сказала: Он — всего-навсего садовник, и княжне Джандиери не пристало заглядываться на простолюдина. Я люблю тетушку Хорешан, но в последнее время она сделалась совсем глупая и говорит всякую ерунду.

Раньше я ее слушалась, а теперь — не хочу!

Да, конечно, Он выглядит как садовник, работает в нашем парке — но я-то знаю: на самом деле Он притворяется! Конечно же, за Ним охотятся, Его хотят убить — и Он вынужден скрываться под маской садовника. Но здесь, у нас, Ему ничего не грозит! А если кто-то посмеет Его обидеть, я скажу папе, папа позовет своих жандармов, и злого обидчика упекут в острог!

Я стою у окна. Думаю об этом. Смотрю на Него; улыбаюсь своим мыслям. Мне хорошо — ведь я знаю, что могу быть Ему полезной, могу прийти к Нему на помощь, если понадобится...

Вечереет. Длинные синие тени протянулись от кипарисов через всю лужайку, перечеркнули ее темными полосами. Он еще там, внизу, я различаю Его фигуру — но меня зовут ужинать. Да, конечно, я иду, иду — вот только еще совсем немножко постою у окна...

...Сегодня я коснулась Его! О, это было... нет, не так. Скажу проще: это было! Меня всю пронзила сладостная дрожь, и на миг привиделось... стыдное... Только мне стыдно не было! Он обернулся, увидел меня — и застыл! Он... Он тоже любит меня! Я знаю! Я хотела сказать ему об этом, но меня схватили за руку и пытались увести прочь! Эта несносная тетушка Хорешан! А еще она сказала Ему такое! такое!.. она сказала: пусть Он уходит! пусть больше тут не появляется! Не смеет, никогда, никогда!..

Тетушка Хорешан, ты дура! И я вовсе не жалею, что дала тебе пощечину!

Потом... потом я плохо помню. Набежали какие-то люди, трогали меня, хватали, дергали — а я кричала им: не надо меня успокаивать! дайте быть рядом с Ним! и все будет хорошо! Все будет...

Туман наплывает, окутывает меня, пробирает до костей промозглой сыростью. Холодно. Мгла вокруг сгущается, стылая, безумная мгла, сумасшедшая...

...сумасшедшая. Я — сумасшедшая. Теперь я это знаю. Раньше, в детстве, у меня случались приступы, а между ними я была просто «сложный ребенок». Теперь вся моя жизнь — один сплошной приступ, черный кошмар безумия. И лишь иногда бывают моменты просветления.

Как сейчас.

Как сейчас?

Раз я понимаю, что со мной творится, — значит, сейчас, по крайней мере, я в здравом уме.

Это ненадолго. Скоро меня вновь накроет горная лавина помрачения — и я забуду себя, пока не очнусь... когда? где? надолго ли?!

Говорят, Бог не прощает самоубийц. Я искренне надеюсь, что для меня Господь сделает исключение, хотя умирать очень страшно. Особенно сейчас, когда я — это я. Но

жить *так* — еще страшнее; а покончить с собой в другом состоянии я просто не смогу. Мое безумие цепляется за жизнь куда сильнее, чем я сама.

...Я давно приметила этот нож. Прости меня, папа, прости, мама, прости, тетушка Хорешан, — я...

Папа, пожалуйста, не надо! отпусти меня! отдай нож! убей меня! Я не хочу, не хочу, не хочу!..

— Вставай, Томочка!.. ну все, уже все... Вставай...

— Федя... Ф-феденька! В-вставай! Ну вставай... ж-же! Они... они ушли, в-все... Феденька! Вставай... п-пожалуйста...

Не встает. Лежит, не шевелится, не слышит — как мама тогда, в гробу. Только ветер кудри шевелит.

Нет! Господи, нет! Только не его! Он ведь еще жив, его можно спасти, можно, я знаю!

— ...Ефрем Иванович! Скачите за... д-доктором! Я з-здесь... с ним... скачите!

Не поможет доктор, не поспеет Ефрем Иванович — но есть другой способ. Я знаю. Сердцем чую — есть!

— Вы же... Вы ром, Ефрем... Иванович! А в-все ромы... колдуны!.. Раз д-доктор... не поспеет — колдуйте! Я за... в-вас...

Черный провал. Надвигается. Нет, только не сейчас! Я должна...

Провал с неохотой отступает.

— ...Зачем?.. м-медлите, Ефрем... Иванович! Что в-вам... нужно?! Говорите! Душу... м-мою?! Жизнь?! Отдам! Т-только спасите... его!

Слово сказано.

А по Закону — должен быть ответ.

* * *

Боль выдернула тебя из чужого кошмара, по нелепой иронии судьбы зовущегося жизнью. Из нахлынувшего прошлого, где страхи княжны были твоими страхами,

мысли — твоими мыслями и ты вместе с девушкой все глубже погружался в пучину безумия, откуда нет возврата. Ты тоже хотел в небо, туда, где мама, хотел превратиться в ангела, оторваться от грешной земли и взмыть в сияющую высь, сбросив оковы бренной плоти; хотел, стремился, — а тебе не давали...

Боль отрезвила.

Ты вернулся рывком, силой освобождаясь от липких объятий сумасшествия. Только успел подумать: а сколько раз это случалось с *ней*?! — и на миг ужаснулся. Ужасаться дольше у тебя не было ни времени, ни сил. Ты не мог позволить себе такую роскошь.

Погоди, Друц... Времени?!

Ты знал: здесь время течет иначе, да и само слово «время» теряет обычный смысл. И все же опыт подсказывал: огонь давно должен был погаснуть, испепелив свиток Договора, сплавив воедино вас с Тамарой. Но пламя горело, и горели руки, боль нарастала, становясь нестерпимой, хотя дальше, казалось, расти ей некуда.

Что происходит?!

Вот и аукнулся тебе кус-крендельский Брудершафт, непутевый ром! Думал, обманул судьбу, из воды сухим выскочил? а хрен с редькой! получай по сусалам, морэ! Закон суров, но это Закон, его не обманешь...

— ...Терпи, Тамара! Недолго осталось! Пока огонь не погаснет — терпеть надо. — И сам не заметил, как вслух шептать начал. Вроде княжну успокаиваешь, а если честно — себя.

Молчит Тамара. Губы в ниточку свела и молчит.

Терпит.

«Господи, ну я-то ладно! А ей за что мука такая?!!»

И тут словно ответ пришел на твою немую мольбу! Да такой ответ, что сразу ясно: не от Господа он! А от кого — догадайся сам, баро! С трех раз...

Треснул сапфировый свод, раскололся, раскрылся багровым провалом; полыхает в провале костер адов, однако не жаром — стужей январской оттуда тянет; все сильнее, все тоскливей завывает многоголосый волчий хор, ветер с

ног сбивает, волосы с корнем рвет, ледяными иглами насквозь пронизывает.

А рука в огне горит.

Пересилил себя, оторвал взгляд от провала.

Обернулся к Тамаре — как ты, княжна? — и обомлел.

Стоит княжна как ни в чем не бывало, в глазах черных пламя отражается. Словно нет для нее провала адского, нет ветра студеного; не воет за плечами, идя по следу, волчья стая. А ведь верно — ни один волосок на ее голове от ветра не шелохнется! Да и пламя-то ровно горит...

Ай, Друц! — забылся, ослабил хватку, и все прахом! Не удержали пальцы руку Тамарину, соскользнули, и чертов буран подхватил тебя, поволок к багровой дыре — за что уцепиться? за дурость свою?!

— Держись, княжна! Держи-и-и-ись!..

Мелькнуло видением: вы с княжной, взявшись за руки, стоите на пригорке, сплошь поросшем жухлой травой, над телом Федора, и шепчете слова — чужие, знакомые, ибо так бывает. Вечер дрожит вокруг вас, течет зыбким маревом, потрескивает голубыми искорками — а от опушки дальней рощицы, то и дело крестясь, глядит на вас сельский голова. Достало-таки смелости у старика не сбежать вместе со всеми; остался, стервец! Ох, не к добру...

Видение мелькнуло; исчезло.

Было? не было? Бог весть...

Последнее, что увидел: глаза Тамары. И в них уже — не пламя, не решимость жгучая, не тихое безумие. Удивление и испуг. Не страх, не ужас запредельный — обычный человеческий испуг. «Куда же... в-вы? Ефрем Иванович?! А мне-то что... теперь д-делать?!»

Княжна стояла, нагая и не стыдящаяся своей наготы; смотрела тебе вслед. А рука ее со сжатым в ней Договором продолжала гореть.

Княжна терпела.

И ты понял: она вытерпит все, что угодно.

Права Рашка: бабы живучей...

Лишь попав туда, куда так стремился, ты проклял себя за суетную торопливость. Что, раскучерявый? Сунулся вперед батьки в пекло? Обождать не сумел? Одного крест-

ника в Закон не проводив, вторую брать вздумал? Жди теперь своей очереди... и Тамара там — ждет.

Своей.

* * *

...Здравствуй, Рашель.

Здравствуй, поле Закона, непривычно людное и оттого почти неузнаваемое.

Здравствуйте, все, кто пришел из небытия; кто встал, согласно Закону, за спинами своих учеников; крестные — позади крестников.

Наши предшественники. Маги былых времен.

Наши с Княгиней учителя, учителя их учителей, и — дальше, дальше... Все, кто через нас приложил свою руку к тем двоим на поле Испытания. Все, кто оставил на них свой оттиск. Дамы, Короли...

И ближе прочих, спиной к тебе, стоял Ефрем Жемчужный, Король Пик, который мог стать Тузом — но не захотел.

Твой крестный.

Маг в Законе.

Он умер больше десяти лет назад — но сейчас это не имело никакого значения. Здесь он был снова жив: в тебе, в бешеной семейке, что рвалась сейчас через преграды, воздвигаемые на их пути Духом Закона...

Окликнуть?

Соблазн был непреодолим, но ты знал, чувствовал: нельзя. Не для того ты здесь, и Ефрем — не для того.

ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ

Было в глазах Ефрема Жемчужного, Лошадиного Отца, пока не закрылись навсегда, — всегда одно:

...ай, нож!

Синей стали. Кони встали вдоль клинка. Видно, в скачке подустали и застыли на века. Бликом возле острия отраженье: я? не я?! и мерцают «я-не-я» те, далеко от рукояти.

По изгибу ножевому режет солнце по живому.

* * *

Ты перевел взгляд дальше. Жилистый ром-коротышка с курчавой бородищей во всю грудь; дама (Дама?) в старомодном изысканном платье — гордо выпрямлена спина, высокая прическа тщательно уложена на восьми шпильках с бриллиантовыми головками; за Дамой — высокий дворянин в камзоле с кружевами, на боку — легкая шпага; старуха-горбунья, зачем-то раскрывшая над головой чинский зонтик с драконами; дюжий молодец в холщовой рубахе до колен и без штанов; дальше, дальше... сколько же их здесь, ваших Предтеч?!

В памяти само всплыло:

— ...Жди, Федя. Схлынет. Перестанем мы с Княгиней вас ночами мучить... скоро уже.

И в ответ:

— Эх, Дуфуня... добро б только вы с Княгиней!..

Вот, значит, чем Брудершафт вылился. Уже не двое себя в крестников вкладывают — тут их, магов бывших, десятка три наберется... Потому и отрезало вас поначалу от крестников стеной каменной: очередь не пришла! Вы — последние! Пока все, кто к делу сему руку приложил, явятся...

Нечего было дергаться, глупый Валет, княжну порукой мажьей вязать — просто подождал бы чуток... Одна беда: отродясь ты ждать не любил и не умел, Друц-лошадник! Не взыщи, приятель: стой, смотри, губы кусай до крови... не до тебя мне, не до губ твоих...

* * *

А на поле тем временем творилось небывалое. Исходили молниями и пеплом грозовые тучи, рушились из них на головы идущих жуткие исчадия — птицы? нетопыри? погань неведомая? — с кожистыми крыльями и зубастыми пастями-клювами.

Не на шутку разошелся Дух Закона, ты и не ведал, что

он на такое горазд, — да Акулька с Федькой тоже не лыком шиты! Бьются твари о незримый щит, прикрывший мужа с женой, визжат отчаянно — а прорваться к людям не могут!

Дрогнула земля, треснула; дохнуло из трещины жаром пекельным, дымом серным — даже шага не замедлили крестники. Крылья, что ли, на ногах выросли? — перемахнули разлом десятисаженный, дальше идут как ни в чем не бывало.

Затянуло землю туманом, сгустился туман, переливается волнами, мерцает... Глядь: не туман это вовсе, а море бескрайнее плещется, к самым ногам подступает.

Лишь на миг задержались Федор с Акулиной. И вот уже — плывет в море зубастая рыба-великанша, плавником треугольным волны режет; а над рыбой-акулькой змей-горыныч вьется, крылья распахнул, сверху жену молодую от беды прикрывает.

Вспыхнуло море огнем, будто нефть, — а этой парочке все нипочем: змей выше взлетел, рыба в глубину ушла...

...Обнажалось морское дно, вставали на пути горы, валились с гор лавины-камнепады, мертвяки целыми погостами из могил лезли, загораживали крестникам путь — а они шли себе и шли. Только пришло тебе на ум, Друц ты мой, что все эти страхи-чудовища — пыль суетная в сравнении с жизнью княжны Тамары. Не тот кошмар, что вовне, — тот кошмар, что внутри тебя! От него убежишь ли? спрячешься? сожжешь огнидами да молоньями?! — разве что вместе с собственной душой, с самим собой...

Глупости?

Может, и глупости.

Когда все кончилось, ты даже не сразу сообразил: конец. Миражи воевали с миражами, рушился с неба ливень, исходила паром и стоном земля — и вот: тишина, быстро рассеиваются последние клочья дыма, и двое стоят перед Ним.

Перед Духом Закона.

Сыщутся ли в его колоде карты да масти для этих двоих? А и не сыщутся — не все ли равно?!

Почему ты дрожишь, Друц-лошадник? ждешь? ждешь вопроса, в свое время заданного и тебе — молодому, гордо-

му, горячему мальчишке?! Ты боишься? Чего, баро? Того, что крестники ответят «да»?

Или того, что они ответят «нет»?

...И почему перед глазами у тебя стоят не они, не ваши с Рашелью крестники, чья судьба сейчас брошена на весы, — а княжна Тамара, которая все еще стоит *там*, вопреки всему продолжая держать в жгучем пламени свой маленький кулачок со сжатым в нем Договором?!

Одна.

КУШ ПОД КАРТОЙ

Не передвигай межи давней,
которую провели отцы твои.
Книга притчей Соломоновых

— ...кой это сучий сын ломится на ночь глядя? Кого лихоманка носит, хай ему бы чирей поразносило во всю щеку! Та разве ж честный человек шастает в потемках — небось голодранец, лодырцюга, триста чертей ему в печенки!..

— Ох, Остапе, и горазд же ты браниться! важно! ейбогу, важно! Отворяй! кума голодранцем ругаешь?! Я это, я, Демид Голопупенко, урядник ваш.

— Звиняй, куме, не признал! Зараз одчиню, коржибублики... Катерина, дурна баба! Тащи горилку, заедки на стол ставь — кум у гости, хай им грець, приехали!..

В хате скрипнула дверь, зашлепали к воротам торопливые шаги. Где-то на другом конце села лениво брехали собаки. Завозился в конуре Бровко, звякнул цепью, потянул носом воздух — однако выбираться наружу не стал и гавкать раздумал: признал хозяйского кума. Не в первый раз урядник к голове наведывается, свой в доску; чего ж зря песью глотку драть?

Грюкнул отпираемый засов.

— Шо ж ты так, затемно? а, Демид Фомич?

— Да пока добрался, по вашим буеракам... Слух пошел: чудная история приключилась у вас вчера. Решил завернуть.

— Шо да, то да... Проходь до хаты. Сядем, повечеряем, горилочкой душу ополоснем! А там и расскажу, из первых рук! наипервейших! Страху, страху-то натерпелся, коржибублики! не поверишь...

Вновь шаги: от ворот обратно к хате. Только теперь уж слышно: двое идут, один босыми ногами шлепает, у другого сапоги каблуками стучат, шпорами призвякивают. Скрипнула, затворяясь, дверь. Затеплилось желтым светом окошко. Тишина. Даже собаки на околице брехать перестали — надоело, видать.

Спит село Цвиркуны, третий сон видит; только в доме у сельского головы не спят.

Не поздновато ли для вечери? а, кумовья?

Что скажете?

* * *

— ...от я тебе и говорю: ясны очи замутили! Морок, трясця ихней матери, наслали! Я аж взвился: Мыколаугодник! не мажонка-чертяку! моего Грицька топчут! А с дурня ведь станется — сунуться в халепу! знаешь ведь безголового...

— Ох, грехи наши!.. — тяжко вздохнул дородный урядник. Набуровил от расстройства чувств еще полстакана варенухи[1], благо четвертная бутыль стояла рядом; распушил пегие усищи. — Большие дети — большие беды! твой, мой — чисто оболтусы! лайдаки! И в кого уродились-то, бестолочь?!

Демид Фомич одним махом опрокинул хмельное в глотку. Крякнул, смахнул выступившую слезу; захрустел свежей луковицей. Забив первый смак, отломил краюху хлеба, потянулся за ломтем сала:

— Хороша у тебя варенуха, Остапе!.. Нехай меня бог убьет, ежли брешу! — хороша! Давай дальше сказывай...

— Та попустил морок-то...

Голова налил и себе. Однако пить пока не стал; придвинул ближе уполовиненную миску с варениками, макнул один в сметану.

---

[1] Варенуха — водка со специями и пряностями, варенная особым образом.

Жевать тоже не стал: задумался.

— Куме ты мой, куме... Наши проморгались, озлились; взялись душу из мальца вышибать, шоб напрямки в рай летела — ан зась! коржи-бублики! Сперва кучер панский кнутом грозил, за кучером — паныч-бугай, рожа поперек себя ширше! Ондрейке-ковалю с единого тычка нос своротил; и вдруг сам — брык с копыт! Лежит; рядом кучера лихоманка треплет. А панночка заругалась: убивцы, мол, гайдамаки, в острог вас! Мы ей: та заспокойтесь, панночка, какие ж мы гайдамаки, ежли кучера вашего с панычем пальцем не тронули, — куда там! Она и слушать не хочет. Тут дед Перепелица возьми да брякни: хлопцы! це ж кнежская доця! беда, хлопцы! Я себе меркую: таки беда! князь — полковник жандармский! и добро б кацап-москаль, а то ведь собой черный, с Кавказских гор... не простит!..

Голова зажмурился; дернул щекой. Видать, страшное явилось: черт-князь с Кавказских гор самолично идет карать дурного голову села Цвиркуны.

В одночасье поседеешь!

— ...народ — ноги в руки и тикать, от греха подальше. Я тоже сперва побег, а там зло взяло: стар я! бегать! Сховался в орешнике: глянуть, коржи-бублики...

— Ну и?.. — подался вперед урядник.

— Не нукай, не запряг! — Голова опорожнил свой стакан; зачавкал вареником, пачкая губы сметаной. Мелкое, крысиное личико Остапа Тарасыча раскраснелось, на лбу выступил пот; хозяин утерся рукавом вышитой рубахи, скосился на мокрый рукав. — Гляди-ка, взопрел весь. От жары? от горилки? или рассказывать умаялся?! А ведь умаялся...

— Не тяни жилы, кум! Я ж вижу: вола ты крутишь! Бреши дальше!

— Бреши, говоришь? — хитро сощурился голова. — Ладно, Демиде, сбрешу... Панночка над бугаем убивается: Хведенька! золотой мой! вставай! — а он не встает. Тут кучер ихний малость оклемался; на карачки встал, к вельможному панству двинул. Панночка к нему! я ухи растопырил: далеко! хрен разберешь! Только под конец панноч-

ка ка-а-ак вскрикнет: чего вам надо, мол?! душу мою?! отдам, душу-то! только спасите!

— Душу?! — вытаращился на голову кум-урядник, машинально наливая себе добавки. — Шо, так прямо и сказала: душу христианскую?!

— Прямо, криво... да шо ж ты все себе льешь и себе? а, кум?! И мне уж налей, раз взялся!

— А ты чего все вареники до себя придвинул? и сметану?.. Ладно, Остапе, не об том разговор. — Урядник щедро хлюпнул хозяйской варенухи в хозяйский же стакан: не жалко, мол! — Ты говори, я слухаю!

— Ото ж! слухай! Она ему — кучеру, значит: душу отдам, только спаси... этого. А он ей: гляди, опосля каяться поздно будет. А она: я, мол, решила! Тогда встает кучер с карачек, а я дивлюсь — уж больно кучер на рома закоренного смахивает. Небось тоже из конокрадского роду; а нет, так все одно мажьего семени! И веришь, куме! будто в воду глядел! Берет он, коржи-бублики, панночку за белую руку — и занялось кругом них мерцание! искорки лазоревые! ветер налетел, незнамо откуда... затихло все, как пред грозой, травинка не ворохнется; а у кучера с панночкой кудри ветром полощет!.. и вроде бы огонь у рук их разгораться стал. А у края дороги конокрад дохлый валяется! ждет, когда сатана по его душу пекельную явится!..

— Ну ты храбрец, кум! лыцарь! Я б эдакую страсть увидел — со страху или с нагана палить стал бы, или убег!

— Так и я убег, Демиде. Мне и допрежь боязно было, а едва огонь тот пекельный узрел... Хлопцем так не бегал, как тогда. Того гляди, коржи-бублики, черти из пекла явятся, самого за руку: хвать! Айда в котел! После велел моим цвиркунцам туда сунуться, поглядеть — даром шо ночь на дворе. Нехай, значит. Ондрейка-коваль не побоялся, сбегал: пусто. Покойник лежит, воняет, а больше никого и ничего. Вроде бы мара; была, значит, да сгинула.

— Дела! как сажа бела!..

— Так ото ж...

Хлебнули варенухи: Остапово лыцарство спрыснуть — это святое! Зачавкали, захрустели; усы жиром умаслили. Затем голова со значением подмигнул гостю, на цыпочках,

старяясь не шуметь, подкрался к двери во вторую горницу, глянул в щелку.

После еще ухо приложил, вслушался — и поплотнее закрыл дверь.

— Спят вроде, — прошептал, вернувшись. — Слухай, куме, я вот шо себе меркую: ты дальше пока не болтай. Приставу, там, или кому еще. По рукам?

— Ишь, загнул: не болтай! — в смущении протянул урядник. — Мне рапорт составить треба...

Остап Тарасыч собрал морщинки в уголках глаз, ухмыльнулся:

— А ты составь! Чистую правду-матку режь: поймали, коржи-бублики, мага-конокрада с хлопцем-пособником, да властям доставить не сумели — колдовством очи людям заморочили и сбегли. Тот рапорт приставу и отдай. Ведь поймали? так точно! не удержали? никак нет! Ром сдох, сам собой, а мажонок убег. Все правда. Пущай теперь ловят ветра в поле.

— Ох, темнишь ты, Остапе. — Урядник насупился: видать, не по душе был Демиду Голопупенко сей хитрый план. — Взялся тянуть — давай до конца вытягивай!

— А ты глотку не дери, кум. Катерину мою разбудишь — куда нам лишние уши? Все в срок тебе скажу; слухай. Напишешь рапорт да отдашь приставу. Только ты и другой рапорт напишешь, где *мою* правду изложишь: и как кучер с панычем-бугаем за мажье семя вступились, и про кнежскую доцю. Напишешь да схоронишь до поры. Я ведь, Демиде, еще кой-чего заприметить успел...

— Это сколько ж писанины! — скорбно вздохнул Демид, колыхнув брюхом. — Ох, клятое дело! Не люблю... А ты сказывай, сказывай дальше, чего углядел! Черта с рогами?!

— Сам ты черт, прости господи... Углядел я иное: мажонок, коего топтали, не ром вовсе. С соседнего села он, с Кривлянцов. Подпасок. Я народишко попытал: да, видали хлопчика пару раз с каким-то ромом — верно, с конокрадом. Пару раз; и все! Смекаешь?

— Не-а... Чего тут смекать-то?

— Эх, Демиде, большого ты ума человек! Да ежли хло-

пец у мага в учениках ходил — значит, должен был ром его в колдовской науке наставлять! Ну, как батюшка грамоте учит; или там плотник, мельник — подмастерья своего. Так ведь?

— Ну, так... Ворожбе полжизни учатся! Иначе б этих падлюк кругом было как собак нерезаных!

— Ото ж! А они виделись друг с дружкой — всего-ничего! Ну, положим, тайно еще встречались. Все одно: не мог ром хлопца ничему выучить толком. Хлопец-то на виду: дружки-подпаски, сельчане, батька с мамкой — заметили, ежли б пропадал надолго. Да и у рома рожа приметная, коржи-бублики, живо углядели бы. Выходит, не учил его ром, как у честных людей заведено.

— Учил! не учил! Заладил, как сорока! Может, недосуг ему было...

— Недосуг?! А ты видал, шо мальчонка с конякой вытворял? Ромские вытребеньки! Прав ты: в одночасье такому хрен научишь! Да и всякое за хлопцем в последнее время водиться стало; а ведь был — лайдак, никчема, чище моего Грицька, или (прости, Демиде!) твоего Тришки; уж поверь, люди зазря брехать не станут!

— Так уж и не станут? — с сомнением протянул урядник.

— Те, у кого я пытал, — не станут! — отрезал голова. — Вот и складывается: ничему маг хлопца не учил! А учил-таки! Выходит, колдовской способ есть! умение передавать! учить друг дружку, не видясь даже! Смекнул, Демиде?!

— Да уж не дурнее прочих... На то они и колдуны! все не по-людски! Хотя... бестолочь, говоришь, хлопец был? вроде Тришки с Грицем?.. Эх, кабы нашим телепням той ворожбой учебной ума-разума вдолбить! А то на кого хозяйство оставить? Ежли из всякого раздолбая человека сделать можно! грамоте обучить! счету! торговым делам! законам! От дело! Тришка-дурень, значит, баклуши бьет, — а ума в голове все одно прибавляется, хошь не хошь!

— А я об чем? — горячо зашептал голова. — Я об чем! Мы ж теперь одного мага наверняка знаем: кучера княжского. Вот и обожди с полным рапортом! Сыщем того кучера! припрем к стенке! Мол, ведомо про тебя все! Коли в

острог неохота — давай колдуй, пущай сыновья от отцов смекалку перенимают! А станешь ерепениться — до самого князя дойдем! Мол, видали, как доцю вашу в мажью науку брали! Сами знаете, милостивый пан, чего теперь с мажонками творят... Мы-то смолчим, спасем кровиночку вашу — только вы своему кучеру уж прикажите...

— К князю? боязно! — Урядник зябко передернул плечами. — Видал я ихнюю светлость, да еще в мундире полковничьем. Едва зыркнет — мороз по коже, во фрунт хуже дыбы вытягивает... Уж лучше кучера припереть, по-тихому!

— Верно мыслишь, куме! — всплеснул руками голова, перевернул пустой стакан и даже не заметил этого. — Но ежли кучер упрется — чем брать за глотку? А тут: вдруг народишко прознает, шо под боком у Цвиркунов кубло мажье?! шо сам князь-полковник то кубло покрывает! шо панночка у кучера в обучении, на ведьму — ведь могут и красного петуха пустить! Оно, конечно, потом власти гвалт подымут — да поздно будет! Сами же глаза закрывают, когда мажонков в куски рвут! А чем кнежская доця лучше?

— Так-то оно так. — Урядник все еще пребывал в нерешительности. — Ох, куме! Одно дело — ром таборный или еще какая душа пропащая, мажья-бандитская, рожа уголовная; а тут — князь... да и сложится дело: не приведи бог, вызнают, шо у нас с магом уговор, — по головке не погладят!

Остап Тарасыч запутал усмешку в вислых, седых усах:

— Не погладят, Демиде! но и сделать ничего не смогут! Вот ты человек государственный, на службе, законы знаешь... Рассуди сам: за шо нас с сыновьями в острог сажать? Сами-то мы ворожить не будем?!

Демид Фомич кивнул, не до конца понимая, куда клонит ушлый кум.

— ...Сыновья наши, оболтусы, тоже ворожить не будут? — нет! И магии клятой их ведь никто учить не станет. Так ведь?

— Так, — снова кивнул Демид.

Кажется, до него постепенно начало доходить.

— А раз так, раз сами мы не ворожим, ворожбе не учимся, детей своих не учим, беззакониев не творим — за

шо ж нас карать? Мы деток своих кровных честной грамоте-счету, уму-разуму да сметке торговой учим. Верно?

— Верно! Да только детки наши, ум-разум тоже наш — а передавать-то мажья морда станет...

— Кто знает?! Кто поймет?! А и поймут — может, он изгаляется так, шутки над бедными людьми шутит! Или денег потом стребовать решил?! Мы-то почем знаем? Не было меж нами никакого уговора! Его, вражину, ежли провинился, в острог сажайте! А мы ни при чем!..

— Да и не дознается никто! — воодушевленно подхватил урядник. — Решат, шо хлопцы наконец за ум взялись! Верно говоришь, Остапе: поди докажи! криминала-то нет! Не ворожбе учим! отцы мы родные! нет такого закона! А с князем... Авось обойдется. Кучер, ежли не совсем дурак, — смекнет, шо к чему, согласится.

— От молодец, куме! уразумел! Слышь: Оксанка, свояченица твоя, на кнежской даче вроде как в услужении?

— Стряпуха. А шо?

— Шепни ей на ушко: пусть за панночкой доглядит. Будет ли с кучером тем видеться? как часто? как вести себя станет? Она ж, люди брешут, скаженная... Не получшает ли? нам с тобой про все знать треба, Демид.

— Шепну! непременно шепну! Ну ты и мудрец, Остапе! царь Соломон, даром шо без пейсов! А не выпить ли нам?

— Наливай!

За окном уже кричали петухи.

Над Цвиркунами медленно разгоралась заря.

Багровая, тревожная.

Книга четвертая

ПО ДЕЛАМ РУК ИХ ВОЗДАЙ ИМ...

Круг первый. ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДАЧНИЦЫ, ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДАЧНИКИ...

— О магии не говорят: пустяки, дело житейское!

Опера «Киммериец ликующий», речитатив кофского чернокнижника Тсотха-ланти

ПРИКУП

— Чего изволит пан офицер?

В кондитерской «Принцесса Греза», что на углу Гиевской и Тюремного переулка, бытовала прекрасная традиция. Здесь все, носящие форму, — даже ученики военно-фельдшерской школы, чьи погоны и впрямь при плохом освещении можно было принять за офицерские, — мгновенно производились в «паны офицеры». Причем для этого отнюдь не требовалось ждать Высочайшего соизволения.

Улыбка одной из трех сестер Зарецких — Зоси, Яси или Марыси, — дочерей владелицы заведения, и производство в чин завершено.

— Два тирольских, Зосенька!

— Листовочки?[1] на черносмородиновых почках?

— Да, Зосенька, пожалуй...

И когда, кокетливо оправив кружевной передничек, красавица унеслась исполнять заказ — лишь тогда обер-

[1] Листовка — безалкогольная настойка.

юнкер Павел Аньянич позволил себе на миг убрать с лица дежурную ответную улыбку.

В последние месяцы он замечал за собой исчезновение мимики. Все труднее становилось подмигнуть симпатичной барышне, лоб даже в минуты раздумий оставался девственно-чистым, не желая комкаться морщинами; а улыбка появлялась скорее из приличий, чем от душевного расположения.

Это слегка пугало.

Впрочем, Павел Аньянич отмечал: если и пугало, то именно «слегка». Будущий облавной жандарм и должен быть таким: невозмутимым, хладнокровным, спокойным в самые тревожные минуты жизни. Видящим все насквозь, в подлинном свете; без туманных завирательств «эфирных воздействий».

Настоящий облавной жандарм должен быть таким, как начальник училища, полковник Джандиери.

Как и все облав-юнкера, Аньянич тайно боготворил господина полковника, не признаваясь в этом даже на исповеди у отца Георгия. Отец Павла, капитан пограничной стражи Аньянич, десять лет назад погиб в Туркестане, пытаясь задержать накурившихся анаши контрабандистов; вдова его с двумя детьми переехала к тетке в Коломну, где влачила жалкое существование на мужнин пенсион.

Из воспоминаний об отце у Павла сохранилось одно: зеленый мундир и запах трубочного табака. В последнее время над зеленым мундиром стало появляться лицо, и лицо это удивительно напоминало смуглый, горбоносый лик князя Джандиери.

— Ваши тирольские, пан офицер! Ваша листовочка!

— Спасибо, Зосенька!

Улыбка машинально вспыхнула и погасла августовской звездой, едва Зосенька бегом отправилась на кухню. Еще десять минут назад Павел Аньянич всерьез подумывал: не вернуться ли обратно на бал? дотанцевать? — но сейчас он был уверен в правильности своего выбора. «Принцесса Греза», в отличие от других кондитерских, работала допоздна, людей здесь и днем-то было мало, не го-

воря уж про вечерние часы; а увольнительный билет Аньянича был выписан до полуночи.

Есть время посидеть в тишине и одиночестве.

Есть время подумать.

Сегодня облав-юнкер Аньянич впервые сумел определить так называемого «негласного сотрудника». Не наличие «эфира», даже не его направленность и характер — источник воздействия. В училище бытовала легенда — или правда, чертовски похожая на легенду, — что некогда облав-юнкер Джандиери, отменный «нюхач», сделал то же самое перед своим выпуском в Тифлисском училище. Впору было гордиться! подкручивать жидкий ус! орлом глядеть!

Да вот не гляделось, не подкручивалось.

Вспоминалась Коломна, гимназия, откуда юного Павла Аньянича благополучно отозвали со второго года обучения. На молоденького гимназистика, скворчонка с вечно оттопыренными ушами, обратила внимание комиссия Департамента Надзора — и после шести месяцев тайного наблюдения Аньянич был рекомендован в закрытый Кадетский корпус, как врожденно нечувствительный к «эфирным воздействиям».

А в гимназии быстро забыли о мальчике, прозванном одноклассниками Ледышкой.

Согласно традиции, будущего облавника воспитывали в местах, отдаленных от его родины; частые встречи с родственниками отнюдь не поощрялись. Ничего, поначалу скучал, затем привык. И письма от матери — на Рождество, Пасху и День ангела — читал равнодушно. Особенно переведясь по окончании корпуса в Харьковское училище. Младшая сестра не писала вовсе, тетка — тем более, а в Коломну облав-юнкер Аньянич ездить не хотел.

Грязь, сплетни, кухонный чад... Варенье из вишен, с косточками...

Ну его.

— Пан офицер желает еще чего-нибудь?

— Спасибо, Зося. Не надо.

В октябре Павла Аньянича ожидало реальное производство в офицерский чин. Рядовой и унтер-офицерский

состав «Варваров» формировался по отдельным спискам, куда попадали люди, не прошедшие полного курса обучения, но с частичной нечувствительностью к «эфиру», подтвержденной особой комиссией. Будущих же офицеров обучали, что называется, «от доски до доски»; не щадя сил, времени и самих облав-юнкеров. Даром, что ли, все шесть облавных училищ империи в день выпуска непременно посещались членами императорской семьи, дабы один из великих князей мог прилюдно сказать: «Поздравляю вас офицерами, господа!» — а изредка, оказывая Высочайшую честь, то или иное училище посещал непосредственно государь. Князь Джандиери, например, был из такого, «Царского» выпуска в Тифлисе...

Павел знал: из-за сей избранности армейские чины терпеть не могут таких, как он, отказывая облавникам в праве посещать Офицерское собрание — что не раз приводило к дуэлям. Но эта вражда только добавляла уверенности: он выбрал правильный путь, даже если большая часть выбора сделана за него.

Лучших всегда недолюбливают; лучших из лучших — ненавидят.

Зря, что ли, юнкеров обычных военных училищ производят в чин намного раньше, в середине лета? Зато список будущих «Варваров» скрепляется императорской подписью на два-три месяца позже, по зрелом размышлении и самой придирчивой оценке!

Отхлебнув листовки, Аньянич откинулся на спинку стула и прикрыл глаза.

Вспомнилось опять, свежо и остро:

— Эльза Вильгельмовна! Ведь это вы, Эльза Вильгельмовна? Это правда вы?!

— Что, Пашенька? Вынюхал, мальчик мой?!

— Я восхищаюсь вами, Эльза Вильгельмовна! Я искренне восхищаюсь вами! Выслушайте меня! Полагаю, власти заблуждаются в своем вечном стремлении искоренить, вместо того чтобы изучать и использовать!

— Пашенька!

— Не перебивайте! Пожалуйста, не перебивайте! Я много думал!..

Во рту горчило. Даже листовка и сладкий вкус тирольских пирожных не могли отбить этой горечи. Она не поняла! Она не сумела, не захотела понять! И значит, он тоже может отмахнуться!

Она — это Эльза Вильгельмовна, княгиня Джандиери; негласный сотрудник Харьковского училища и наверняка — маг в законе.

Он — это Шалва Теймуразович, полковник Джандиери, образец и идеал.

Думать о таком было тяжело, но если Аньянича чему-то и научили за последнее время, так это умению думать.

Холодно и спокойно.

Среди облав-юнкеров считалось дурным тоном вслух говорить об изменениях Уложения о Наказаниях, принятых в позапрошлом году. Но только слепой мог не заметить, а глухой не услышать: государство впервые решилось поступиться неколебимостью закона. Своего Закона, опорой коего, Духом и Буквой во плоти, являлись офицеры Е. И. В. особого облавного корпуса «Варвар». Все эти обывательские попытки самосуда, которые происходили чаще и чаще, по причине административного попустительства; узаконивание более высокой степени ответственности для крестников, не обоснованной фактически ничем; санкции обер-старцев, еще вчера сопротивлявшихся до последнего любой попытке подтасовать результаты следствия или выдать желаемое за действительное...

Павел Аньянич сидел в кондитерской «Принцесса Греза» и думал о своем. Если одна из сторон самовольно изменила правила игры и в итоге заканчивает партию сокрушительной победой...

На уроках истории он слышал о «Пирровой победе».

Так, вспомнилось.

> Видящие тебя всматриваются в тебя, размышляют о тебе: «Тот ли это человек, который колебал землю, потрясал царства, Вселенную сделал пустынею, и разрушал города ее, пленников своих не отпускал домой?»
>
> *Книга пророка Исаии*

Жара превращала тело в овсяный кисель.

Обыкновенная летняя жара.

Зной.

И еще эта дурацкая песенка. Привязалась, как репей; ты ее в двери, она в окно лезет, присвистывает в нос:

— Розы, грезы, паровозы,
Дуры-козы, в мае грозы —
Жизни низменная проза,
Тополиный пух!

И не хочешь, а складываешь дальше! слово к слову! тащишь за леску, хочешь сома выудить, да только сплошь пескаришки драные:

— Нам осталась только малость —
Вялость, жалость и усталость.
И юродствует, оскалясь,
Повелитель мух...

А сосны на пригорке сбились в кучу. Желтые, косматые, внизу мохом поросли. Роняют иглы в малинник, прямо на кровавые капельки ягод. Пусти девчонок — завизжат, кинутся лакомство обирать.

Одна беда: кроме Акулины, нет здесь девчонок.

Пропадать малине.

Сам себе дивится Федор: откуда такие мысли? Жарой ли мозги расплавило? тем ли непотребством, через которое шел магом, летел змеем, плыл рыбой? Да и зачем шел, летел, плыл, зачем рвался насквозь, руша препоны?!

Чтоб сосны, и малина, и дурацкий припев дурацкой песенки:

— Тидли-там, тидли-тут,
Все когда-нибудь уйдут!

На стволе поваленном человек сидит. Спиной к гостям. Спина у человека знатная: таких спин двенадцать на дюжину. Сверху у человека лысина, блестит капельками пота. Уши у человека лопухами, плечи сутулые, затылок складками. Как у большинства человеков.

Идет Федор.

Чуть вперед вырвался. Обогнал жену, на всякий случай. А та, упрямица, только фыркнула.

И вот: опять вровень шагают.

— Пережили все несчастья,
Разложили мастью к масти,
Это страсти, это сласти —
Будем хлеб жевать...

Дошли.

Встали за спиной.

А что дальше делать, не знают. Ну ведь в самом деле: сказать «Здрасте вам!» — глупей глупого...

— Здрасте вам, — сказал человек, не оборачиваясь.

И ничего, совсем даже не глупо вышло.

Отнюдь.

Глядит Федор: в руках у человека краюха ситничка. Он ее воробьям крошит. Копошатся пичуги у ног, работают клювами; галдят наперебой. Аж эхо в соснах заблудилось: еще! еще давай! сыпь! Сам себя Федор вдруг воробьишкой почувствовал. И хочется, чтоб с рук кормили, и колется остатками гордыни.

Рядом жена молодая с ноги на ногу переступила.

— Пошли отсюда? — предложила.

Это она не взаправду. Это она от обиды. Вот, дескать, пришли-проломились, а нас спиной встречают. Воробьям больше почета, чем Федору с Акулиной. Им хоть крошки, а нам спина.

Уйдем мы, и не зовите — не вернемся.

— Гордые... — протянул человек.

То ли похвалил, то ли осудил.

Ладно.

— ...на салазках мчатся сказки —
Строят глазки в прорезь маски;
Да еще скрипят без смазки
Ржавые слова.

— Ржавые слова? — Человек попробовал дурацкую песенку на вкус. Покатал на языке, вдохнул ртом воздух, будто древний херес дегустировал. И выдохнул припевом:

— Тидли-там, тидли-тут,
Все куда-нибудь уйдут!

А потом взял да и повернулся.

Знать бы Федору: чего он, Сохач, ожидал? Морды нетопыря? хари потешной, в какие на Рождество парни с девками рядятся? лика прекрасного, в сиянии?!

Шиш тебе, Федор. И тебе, Акулька, шиш. Не будет вам ни хари, ни морды, ни лика. А будут лоб, нос, щеки; рот будет, и подбородок. Лоб высокий, поперек морщины волнами. Нос толстый, угреватый, на конце чуть сизый. Щеки впалые, у рта — складки.

Подбородок бритый.

Сбоку царапина подсохла. Видать, рука дрогнула, когда скоблил.

— Садитесь, — кивнул человек.

— Куда? — неприветливо откликнулась Акулина, женщина и так ласковая, а теперь — вдвое.

— А хоть в траву. Или на бревно... я подвинусь.

Вот еще б подсказал кто: с каких радостей Федору кажется, что допрежь не испытание было — хиханьки?! Отчего только сейчас настоящим запахло, подлинным, чистой воды, высшей пробы? Щекочет в носу тем запахом, в голову шибает, будто неподалеку нашатырь пролили.

И смолой от сосен резче тянет.

— Жили-были, все забыли,
Долюбили и остыли,
Встретимся, воскликнем: «Ты ли?!»
«Я...» — ответишь ты...

— Выбирайте, — мотнул человек лысой головой.

Вниз куда-то мотнул.

Перед ним, в траве, под клювами воробьиными — не крошки, карты рассыпаны. Рубашками вверх. Словно ис-

таскавшийся, усталый шулер забыл собрать со стола. Или экзаменационные билеты для студентов кинули: выбирайте! наш вопрос — ваш ответ! Пожалел Федор, что не успели Друц с Княгиней крестников предупредить заранее, как себя вести надо. Ну да пусть их, не успели, значит, не успели.

Сами себя ведем.

Как надо.

Присел Федор на корточки, к картам потянулся. Уцепил наугад, первую попавшуюся, что рядом с заячьей капустой валялась. А взять побоялся: разорвется карта. Где ж ей не разорваться пополам, когда жена любимая ее за другой край к себе тянет?!

Эх, рыба-акулька, Зверская Дамочка! ну чего ж ты с закрытыми глазами на рожон лезешь? чего зажмурилась?!

— Да ладно вам, — улыбнулся человек. — Раз взяли, берите. Какая разница...

И опять промашка вышла. Ну, пускай не хари-мордылика — сабли Валетовой ждал Федор, скипетра Королевского, ну, Десятки россыпью на худой конец. Перевернул карту (Акулина разожмурилась обратно, за свой краешек держится, смотрит!), дрогнул сердцем; утер пот свободной рукой.

Чистая карта.

Атласная; белая-белая.

— А другую... другую можно?

Это Акулина. Не утерпела, спросила; попросила, ломая гордыню. Успела, хорошая — промолчи она, так Федор тоже не постеснялся бы: «Можно другую?»

— Зачем? — спросил человек. Безразлично спросил, скучно. Зевотой рот скривил. И сам ответил: — Можно, дети. Вам сейчас все можно.

Ухватила Акулина новую карту, перевернула — чисто. Третью — чисто. Федор уж все понял, а жене обидней обидного: пошла колоду тормошить-переворачивать, пустила чинским веером по-над травой...

Все карты чистые.

Все белые.

А Федор ту, самую первую карту, в кулаке зажал. И захочешь отобрать — обломишься. Сердце Федьке подска-

зывает: правильно. Держи крепче. Вон даже воробьишки галдят, чирикают: держи! Ветер в малиннике шебуршит: держи! Кузнечики скрипят отовсюду: держи!

Одна песенка глупости в уши нашептывает:

— В прозе жизни, как на тризне,
Нету места укоризне —
Третий — лишний, братцы-слизни!
Слепнем, как кроты...

— Все? — Федор спрашивает.

— Все, — отвечает человек.

— Ну, мы пошли?

— Ага. Идите.

Напротив белка по ветке скачет. Распушила хвост, нет ей дела до людей внизу. Непуганые здесь белки. Уйди, останься — ей, рыжей, без разницы.

— Так прямо и идти?

— Так прямо. А за ельничком налево и по краю холма. Не заблудитесь.

ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ

В глаза тому, кто зовет себя... нет, иначе — кого зовут Духом Закона, не очень-то заглянешь. А и заглянешь — не много-то увидишь. Это так, мерещится без причины:

...пальцы.

Десять штук. Толстые, снаружи поросли бесцветным пушком. Ногти обгрызены. Лежат на краю столешницы: ромбы из лакированного дерева друг на дружку наползли, вот на этих ромбах и лежат. Словно мертвые. Ан нет, барабанить принялись. Там, там, тарарам... что там? тарарам?

Опять успокоились.

Лежат.

* * *

Первый шаг дался с трудом. И второй с трудом. Акулина сопела сначала позади, не трогаясь с места, а потом рванула шалой поземкой. Оттолкнула мужа, впереди пошла-побежала. Лопатки под платьем ходуном ходят, будто крылья подрезанные; норовят тело в небо кинуть. Забыли

крылья о ножах-ножницах. Трепыхаются, молотят впустую.

— Эй!

Третий шаг вообще не дался. И Акулина вроде бы бежит, а вроде бы стоит. Белка с ветки дивится: была дамочка, стала подруга-белка в колесе.

— Погодите! Забыл, совсем забыл... старый стал, глупый!..

Федор и глазом моргнуть не успел, а жена любимая уже снова у бревна стоит. Злая — страсть. Небось, когда в смоляных волнах бок о бок плыли, когда небо ломтями пластали, нежить встречную спиралью закручивали, да так, что пепел во все стороны, — меньше в ней злости пылало.

Много меньше.

— Ты чего выкобениваешься?! ты чего?! Забыл он! забыл он! Воробьями прикрылся? сосенками? малиной?! Мы тебе что, дети малые?!

Стыдно Федьке стало. За жену, за себя. Ведь почему он молчит, а она кричит? Потому что она первой успела. Какая разница — кто первый? — если зло берет-разбирает! Раньше думал: выход в Закон — он вроде триумфа, когда сперва труд каторжный, а потом цветы! овации! чепчики в воздух! И что в итоге? — не триумф, а сплошные розы-грезы-паровозы...

Это если несерьезно, а если серьезно, так не научился Федор Сохач о таких штуках всерьез думать. Всему научился, а этому — не вышло. Вечно иронией, будто щитом, прикрывался.

Пафос, он для курсисток.

Только все равно: словно пообещали конфетку, большую, яркую, да и не дали.

Сами сожрали, обещальники.

— Не выкобениваюсь я. — Человек губами пожевал, за кончик носа своего зачем-то подержался. — И ты брось орать, не дома. Сосны ей не по вкусу... малина... На вас я смотрю: чего в душе больше — вас или меня? А когда вы в раздражении, мне лучше видно.

— Ну и что? Углядел?!

— Углядел.

А по лицу видно: не больно-то радостное для себя углядел. И тень по тому лицу скользнула. Странная тень, и не тень вовсе. Федор похожую штуку в фотографическом салоне видал, когда из белизны снимок проступил. Вот и сейчас: словно чужие черты всплыли из глубины, да не нашли за что зацепиться на поверхности — исчезли.

И еще раз.

И еще.

— Я думал, вы другие придете... не такие знакомые. Впрочем, плевать. Вопрос у меня к вам...

Наверное, хотел сказать: «Вопрос у меня к вам, дети!» Только решил не договаривать.

Чтоб Акулину не злить.

— Вопрос? Какой?

— Простой. Проще некуда. Как вы смотрите на то, чтобы порвать паутину?

Думал Федор: жена любимая сейчас человеку-весельчаку разных приятностей наговорит. Ан нет, Акулина вместо шума вдруг озираться стала. На деревья глазеет, на кусты. Вслед за ней и сам Федька взгляд кинул: и впрямь паутина.

Как раньше не приметил-то?

Тянутся нити — еле видимые, полупрозрачные — от сосны к сосне, от иголки к иголке, от воробья к воробью и от птиц к малиннику. Облачко на небе раскудрявилось теми нитками. Метелки дикого овса друг с дружкой круговой порукой завязались. Все вокруг сплошь кисеей заткано. Сходятся-расходятся нити, закручивают рисунок, плетут кружева...

Или раньше так не было? а как было-то? иначе?!

— Вон... смотри: Княгиня...

Это Акулина. И наискось пальчиком тычет. Права ведь: если сощуриться, то видно — совсем рядом, у пыльного шиповника, паутинная фигурка сама себя в себе заплела. Действительно: Княгиня. Где уж тут не узнать?! А рядом — Друц. Замер недвижно, только от ветерка колышется елеле; ай, страсть как хочется бывалому рому с места сойти! Ай, не получается! Дальше — больше: люди, люди, люди...

Кое-кого Федор признал: они. Которые за плечами все

эти годы крыльями стояли. Другие — чужие, а если вглядеться, то и они — свои.

Отчего — кто знает?!

— Подойди, — предлагает человек. — Рвани со всех сил!

Федор даже злиться раздумал. Вот оно! Вот почему настоящим испытанием отовсюду пахнет!

— Не могу, — отвечает. — Не хочу. Не буду.

Рядом жена любимая на миг к плечу щекой прижалась.

Правильно ответил, значит.

— Почему?

— Это — учителя.

— Это паутина! паутина!

— Нет. Это — учителя.

Человек с бревна вскочил. Остаток ситничка под ноги бросил; растоптал. Не надо быть семи пядей во лбу, не надо в людях читать, как в детской книжке, чтобы понять: взаправду. Нет в человеке притворства. Другое есть: ждал он чего-то, долго ждал, страстно ждал — не дождался.

Так надежда у тех, кто давным-давно надеяться разучился, последние силы отнимает.

— Паутина это! паутина! дураки вы оба! Маги хреновы! Учитель — учит! ученик — учится! А вы?! А они?!

— Они учили; мы — учились. И нечего орать, не дома...

Это опять Акулина. Где скандал, там ей молчать хуже нету. Хотя ерунду спорола: он-то как раз здесь дома.

Он, Дух Закона.

Вот беда: думаешь — «Дух Закона», убеждаешь себя — «Дух Закона»! Ан выходит все одно по-старому — «человек»...

Человек вдруг успокоился. Даже улыбаться стал.

— Они, значит, учили? — спрашивает. — А вы, значит, учились? Ну-ка, ну-ка, давайте присмотримся...

Ногой прелую хвою раскидал, местечко расчистил.

Подобрал воробьиное перышко.

— Вот, — бурчит под нос, — вот! это пускай будешь ты, умник...

Вылетело перышко из пальцев, кружится, пляшет, опускается наземь. Летело пером, опустилось Федькой. Маленьким таким Федькой, смешным. Большой Федька

прямо не удержался — хмыкнул весело. Ишь, глупый Дух (сложилось! наконец! не человек — Дух!..), нашел чем удивить магов в законе.

Карта, пусть чистая, — вот она, в руке.

Это вам не перышко.

Поиграй, дружок, напоследок, прежде чем распрощаемся.

А Федор-маленький забегал туда-сюда, пыль вокруг взметнул. Осела пыль столиками, деревьями, людскими фигурками: вон профессорша, вон Илья Семенович, дальше Княгиня с мандолиной. Струны перебирает, на лице — покой, тишина. И поет Федор-маленький, приспустив веки:

— ...я — призрак забытого замка.
Хранитель закрытого зала.
На мраморе плит, в тишине нерожденного слова,
Храню я остатки былого,
Останки былого...

Кольнуло тут Федора-большого в самое сердце. Иглой; навылет. Откуда боль? откуда игла? кто знает... Самого себя со стороны увидеть — не шутка, да только в этой ли шутке дело? Гляди, маг, гляди внимательней: вот ты, вот Княгиня — крестная, наставница... вот ты поешь, она играет... ты — поешь... она — играет...

Откуда — игла?!

Откуда — паутина?! Тянутся нити меж маленькими Федькой да Рашкой, вяжут... связывают... из двоих одного делают...

...тело вжимается в тело. Раз за разом, прибоем — в скалы.

И чувствует новый Федор, без возраста, без стыда — меняется. Словно каждое соприкосновение обтесывает его под Княгиню: хрупкими стали плечи, длиннее — пальцы, вот синяя жилка пробилась на шее...

Где мужчина?

Где женщина?

Некто сам себя любит.

Некто?.. никто.

— Плохо видно? — спросил Дух. — Ну что ж, смотри иначе...

Другое перышко с неба пало. Другая Княгиня рядом с первой образовалась. Рояль перед ней — белый, лаковый. Бегают нервные пальцы по клавишам, ласкают, бередят; приспустила Рашель трепетные веки, головой качает, поет:

— Я Вам не снилась никогда.
Зачем же лгать? — я это знаю.
И с тихой нежностью внимаю
Решенью Вашего суда...

Она-то поет, а Дух подпевает ехидно, мерзавец:

— Тидли-там, тидли-тут,
Потерявши, хрен найдут!..

Охнул Федор-большой. Потому охнул, что увидел до конца. Потому что припев песенки дурацкой будто взгляд ему слезой промыл. Где Княгиня, где Федор?! — похожи, пуще матери с сыном... Интонации, манера, глаза одинаково жмурят, в конце фраз придыхание одинаковое. Разве что Федор пожестче будет, и еще: не любит Рашель с ритмом играться, ровней у нее стих выходит.

— Ровней? — Проклятый Дух словно мысли подслушал. — А если так?

Падают сверху перышки.

Опускаются людьми.

Теми, которые крылья... которые за плечами.

Вот: играет на клавикорде Фира Кокотка. Вот: развеселившись, сбив ермолку на затылок, распевает «А клейничкер винтелэ»[1] Абраша Веронец. Вот: Ефрем Жемчужный приник к гитаре, оглашая ночное небо над табором — «Да ту, мри тэрны хуланы, подэка бахтало дэстой!»[2] Вот: замирает зал, внимая тенору-гиганту во фраке. Вот: бродячий лирник, мальчишка-флейтист...

Холодно Федору-большому. Зябко. Страшно смотреть; страшно слушать. От всех по кусочку живому оторвать, в кучу собрать, ладонями сбить воедино — что из чужого-живого получится?

---

[1] Легкий ветерок (*авраам. жаргон.*).

[2] Да ты, хозяюшка моя, подай-ка мой счастливый кнут! (*ром.*)

Оттого и страшно Федору, что уже знает он — что.

Уже получилось.

— А я? я где?!

Губы сами шепчут, сами дышат: «Где — Я?! скажите?!»

Дух Закона совсем рядом встал. Не за плечом, не — крылом, а просто так.

Ответил грустно:

— А тебя-то и нету, мальчик мой. Не было у тебя таланта к такой магии. Родился ты без него. Значит, без толку сетовать: где ты, только ты, и никто больше? С миру по нитке, с бору по сосенке, да чудо-Договором сверху прихлопнуть — вот и весь твой сегодняшний талант. Большой, ан не твой.

— Врешь! врешь, сволочь!

— Если бы... нет тебя, мальчик, в том таланте. Ни капельки.

— Врешь!

Ох и размахнулся Федор! Ох и ударил! Хоть чуть-чуть, а поделиться болью с ее причинившим! Впрочем, заранее знал: как ни бей, все равно ему, Федьке, стократ больнее выйдет — ибо сыщется ли под небом удар сильнее, чем тот, который мигом раньше пал на буйну голову?

— Получай, жихорь!

Угадал.

От своего же удара по земле покатился. В башке звенит, где-то в небе Акулина причитает, сокрушается; а едва развиднелось, едва перестали багровые мухи роиться — вон он, Дух Закона, рукой подать.

Присел на корточки, встать помогает.

Чуть не плачет:

— Ну, дурак! вот дурак! Говорил же: меня в вас побольше прочих будет, меня бить — себя губить!.. ой, дурак!..

Одна радость у Федьки: пока по земле-матушке катился, все перья воробьиные измял. Всю пыль в пыль растер. Нет больше живых картинок. Маленькая радость, а своя.

Не краденая.

— Тут ты прав. — Дух Закона опять на бревно взгромоздился, мимо Федьки смотрит, моргает. — Эта радость не из краденых. Как ты кричал: «Получай, жихорь!»? — ви-

дишь, мальчик, это был ты... Кус-крендельский леший. И когда на нож Петюнечки лупоглазого шел — тоже ты был, подлинный.

— И когда Договор твой заключал?! когда руку — в огонь?!

— И когда Договор. И потом еще — некоторое время. И сейчас; только сейчас тебя в тебе мало. Днем с огнем не сыскать. Знаешь, был один мудрец, все ходил при солнышке с фонарем, «Ищу человека!» — горланил. Тебе бы такого мудреца — чтоб походил по Федьке, поискал... Вдруг отыщется?

Огляделся Федор вокруг.

Паутина.

Учителя.

Паутина...

— А ты, выходит, здесь главный паук?

Не обиделся Дух Закона:

— А ты? — вопросом на вопрос ответил.

II. АЛЕКСАНДРА-АКУЛИНА, или СТАЛА МУХА ПАУКОМ, ПАУКОМ...

> Оставайся же с твоими волшебствами и со множеством чародейств твоих, которыми ты занималась от юности твоей; может быть, пособишь себе; может быть, устоишь.
>
> *Книга пророка Исаии*

— ...А ты, выходит, здесь главный паук?

Не смотрит Федя на Духа, в землю глядит.

Зато я смотрю! пусть он сам глаза отводит! пусть — первый!

Не отвел.

— А ты? — в ответ интересуется. Вроде как у Феди спрашивает, а на деле в мою сторону прищурился.

— Что — я?

— Паук, выходит, тоже. Раз паутину рвать не желаешь.

Да врешь ты все, паучище! Запутать нас хочешь!

— ...знаешь, девочка, есть такой старый анекдот. С финальной репликой: «И ты, Сара, права!» Так вот: и ты права. Все мы тут — и мухи, и пауки. Сами сети плетем, других в них ловим и сами же попадаемся. Я, вы, они...

Это он в сторону фигур, паутиной заплетенных, рукой махнул. Отчаянно махнул, безнадежно. Будто за нить дернули, рука и откликнулась — рывком.

Мне даже на миг его жалко стало.

— Нет мне резона вас запутывать. Говорю ж: сами запутались, без меня. Я вам, наоборот, выход предлагаю, а вы — запутывать...

— Выход? Откуда? Отсюда?!

— Мог бы обмануть. Сказать: «Отсюда». Только не стану я вас обманывать; отсюда вы по-любому выйдете. Сильными выйдете, иного Туза тузовей. Гордыми; умелыми. Только... не ваше это все, понимаете?

— Да как же не наше?! — изумляемся мы с Феденькой в один голос. — Ну, от учителей взяли — так любой ученик от учителя берет! Теперь — сами умеем.

— Сами?! — У Духа лицо его чудное аж багровыми пятнами пошло. Того гляди, взбесится, или расплачется, или удар его, беднягу, хватит. — Ну, тогда ты, Акулина, разуй глаза! Может, дойдет все-таки!..

Думала — он снова с перьями воробьиными колдовать примется. Ан нет: шагнул в сторону, что-то на земле высматривать стал. Я пригляделась: муравейник. Обыкновенный муравейник, маленький совсем, и смотреть-то не на что; а он смотрит. Ну и мы с Феденькой смотрим — чего он нам на сей раз покажет?

Показал!

Забегали муравьи, засуетились, пенек еловый окружили; а один, чуть побольше, на пенек вскарабкался и сверху на других усиками шевелит. Глядь: и не муравьи это вовсе, а студенты на лекцию собрались, и я вместе с ними! И не пень уже передо мной — кафедра, а за кафедрой доцент Павлович бородку свою «клинышком» поглаживает, пенсне поправляет и заявляет, прокашлявшись:

— Сегодня мы с вами, барышни и господа, студенты и студентки, приступаем к изучению курса общей зоопато-

логии, одного из основных курсов ветеринарии. Итак, запишите тему вводной лекции...

Сидят студенты со студентками, барышни с господами; пишут, скрипят перьями — и я вместе со всеми. А преподаватели за кафедрой чехарду учинили: вот уже доцент Ганнот фармакологию нам читает, а вот и сам профессор Полюта курс общей физиологии открывает... Замелькали лица, годы, книги, конспекты, бессонные ночи перед экзаменами; коротко вспыхивает радость: сдала! на «отлично»! что сдала? кому? не важно; дальше, дальше... вот лаборатория, вот я в микроскоп выпятилась, в журнале лабораторном пометки делаю; а вот статья в «Вестнике ветеринарии»: дескать, новый препарат, разработанный совместно доцентом Ганнотом Вольдемаром Фридриховичем и врачом-исследователем 1-го разряда Сохатиной Александрой Филатовной, вдвое эффективнее излечивает... какую он там хворь излечивает — не разобрать... я только подивиться успеваю: как, уже — врач-исследователь 1-го разряда?!

А жизнь муравьиная мельтешит заполошно; вот я сама за кафедрой стою, и студенты меня слушают, скрипят перьями, а я им какую-то «паразитологию» читаю (новая наука? отродясь не слыхала!)... Потом книжные полки возникли, а на них — книги, толстые, в коричневом сафьяне, а на корешках золотым тиснением: «Основы зоопсихологии»; «Фармакология в ветеринарии: общий курс»; «Зоогигиена»... И везде тоже золотом, но помельче: «Проф. Сохатина А.Ф.»!

Это я, что ли, профессор Сохатина?!!

А я-маленькая на кафедре тем временем студентам снова разные премудрости втолковываю, а сама про себя отмечаю: из этого вихрастого явно толк будет, в науку ему прямая дорога, а вон тот обормот...

Смотрю на себя-маленькую — узнаю? не узнаю?! Волосы-то у меня уже не рыжие — седые совсем, и очки на носу, щурюсь близоруко... Неужели я *такой* буду?!!

Буду, наверное, куда денешься? Одна радость — не скоро еще.

Поплыло все — где муравьи? где муравьишки? я где?! — мелькнуло в последний раз...

И сгинуло наваждение.

— Вот так: учат, — грустно улыбается Дух Закона. — Вот так: учатся...

* * *

А лицо-то у него нервным тиком прихватило, как в синематографе, когда пленка вперекос пойдет; нет, иначе — будто отражение в пруду, когда по воде рябь. Друцев прищур вдруг проступит! Рашель примерещится! За ней — другие, которые у нас за спиной ошивались, по ночам спать не давали, а теперь стоят вокруг, паутиной спеленутые; или вдруг — Феденьку своего увижу! Федя, ты?! не ты?! А дальше — и вовсе ужас: сама на себя в зеркало смотрю, только зеркало кривое да мутное! Изгаляешься, хозяин приветливый?! И вдруг понимаю: не изгаляется! Мы теперь — в Законе. А он, Дух Закона, — в нас. Нет паутины, нет мух, пауков, нитей... мы есть.

Друг в дружке заплелись.

Стала муха пауком, пауком, стучит муха кулаком, кулаком: нынче всяку красоту в тесны сети заплету!..

* * *

— ...талант здесь нужен, дети. Особенный талант: быть учеником, быть учителем. А вы листом бумаги под печатный пресс легли! кричите теперь — наше, дескать! до последней буковки! сами придумали! Пластинки вы патефонные... А пыжитесь — певцы! тенора оперные...

Умолк он.

Отвернулся.

А я чувствую — ждет. Ох, он дождется!

— Ну, хорошо. Пусть так. Пусть пришли мы бесталанными, без гроша за душой; пусть — чужое. Ладно. Считай, поверили!

Это Федор. Только он говорит, а я-то знаю: не поверил муженек. Умом понял (так и я поняла, тоже ведь не круглая дура!), а сердцем — не принял.

— ...поверили! проверили! что дальше? Мы ведь уже в Закон вышли... или выйдем только?!

— Вышли, — кивает Дух. — К сожалению, вышли.

— И сила мажья у нас немалая, пусть чужая, пусть оттиск, за которым нас не видно, — зато поболе, чем у других! Сам же говорил!

— Говорил. И повторить могу. До дальних сундуков вы случайно дотянулись, приоткрыли, а там — сокровища! не вами оставленные, не вами собранные... Зато вами по карманам растащенные!

— Тебе б в прокуроры... или в обер-старцы. Значит, выйдем мы отсюда магами в законе, в полной силе, похлеще иного Туза, ежели не врешь... Чем плохо? И что ты нам взамен предлагаешь?

— Чем плохо, спрашиваешь? Что взамен? Тем плохо, что нет вас самих во всех ваших умениях немереных, из сундуков чужих, краденых! Не ваше это. И сами вы — не вы уже. Я в вас есть, другие есть, что до вас Договор заключали, а вас самих — с гулькин нос осталось! Скоро вовсе сгинете... Я вам предлагаю: паутину порвать! Собой стать, неужели не ясно?!

— То есть... отказаться? От умения, от учителей? И все — по новой? Едва ли не четыре года жизни — коту под хвост?!

Это уже я не выдержала.

Да за кого он нас держит?!!

— Не учителя они вам! Не учителя!!! — орет в ответ Дух, на писклявый визг сорвался.

— Шиш тебе: не учителя! Пусть по Договору учили, пусть не как профессор в институте — учителя они наши! козыри! крестные! Вместе в огне Договорном горели! Они нас от бандюг на заимке собой закрыли! — не в счет, да?! В лесу зимнем кто с нами мерз? в Балаклаве «клетчатых» с трупарем кто держал?! от кодлы крымской кто нас, сопливых, уводил?! Опять не в счет?! Кем мы сами после этого будем, ежели Договор порвем?! Каины, иуды продажные, неблагодарные?! — вот мы кто!

— Дураки вы тупоголовые, а не каины! — брызжет слюной Дух. — *Их* предать боитесь — а *себя* давным-давно предали! Им-то что? Все равно Договор ваш заканчивается! других себе крестников найдут! А у вас — жизнь впереди! жизнь! Неужели не хотите, чтоб ваша это жизнь была?! ваша, настоящая, не чужая?!!

— Настоящая, говоришь? — шиплю я змеей подколодной и чую: сейчас сорвусь! — Вот она, твоя жизнь! настоящая! смотри!

И муравьи, что от пня разбегаться было начали по делам своим муравьиным, разом обратно повернули.

* * *

Смотри: аудитория институтская! кафедра! доцент Павлович пенсне поправляет, лекцию начать собирается. А теперь, поехали! смотри, Дух Закона, смотри, и не говори потом, что не видел!

Меняются доценты с профессорами за кафедрой, скрипят перья, шуршат страницы, сидят студенты в лаборатории — год, другой, третий... Вот и выпускные экзамены подошли, вот уж позади остались, вот у меня-маленькой в руках диплом новенький, краской типографской пахнет, печать да подпись ректора просохнуть не успели...

И вот я в лаборатории. Не студентка — ветеринарный врач-исследователь. Правда, не 1-го — 2-го разряда; ну да ладно, разряд — дело наживное... Год — наживное... другой — наживное... третий... пятый... Анализы, записи в журнале, статьи скучные, до зеленых чертиков опротивевшие, потому что — было уже это! было! все было, еще до меня, ничего нового! ни-че-го! Тупо смотрю на очередной срез ткани под микроскопом, смотрю, смотрю, вот уже и глаза слезиться начали, вот уже и очки на глазах появились, и морщины первые лицо прорезали, ссутулилась спина... А новый профессор Попов, молодой выскочка (или это я совсем злая стала? рыба-акулька?!), вычитывает мне перед всей кафедрой, а я уставилась на него виновато, снизу вверх, слушаю, а перед глазами все плывет — из-за слез? из-за очков этих старых? давно менять их надо, да руки не доходят — то времени нет, то денег, то еще чего...

* * *

— ...Эй, Дух-мудрец, что теперь скажешь?! Не бывает так, да?! Все сплошь профессорами-академиками становятся, книги пишут да открытия великие делают?! А всю

жизнь пыль глотать, глаза портить, когда толку — шиш копченый?! так — не бывает?! хоть по-настоящему учись, хоть пластинкой патефонной под иглой визжи?!

— Бывает, Акулина. Еще как бывает.

Потух он весь. Съежился, будто воздух из него выпустили; блеклым стал, старым, маленьким. Вот и мы с Феденькой такими же станем, если тебя послушаем, будь ты хоть Дух, хоть кто! Шалишь, Законник, не выйдет!

— Больше скажу: куда чаще бывает, чем — книги с открытиями великими. Кругом ты права. Не нашел себя человек, прошел мимо таланта-призвания... изо дня в день чужим делом занят, мается, не поймет, в чем беда, да так и помирает не самим собой.

— Ладно, хорош морали-то читать, нашел себе детишек. — Правильно, Феденька, так его, паука болтливого! — Ты лучше другое скажи: ну, к примеру, послушаемся мы тебя, откажемся от чужого... Дальше-то как сложится?

— Дальше?

Дух Закона растерянно улыбается, словно Феденька какую-то такую ерунду спросил, что ему, Духу-умнику, и объяснять стыдно. Ничего-ничего, ты уж объясни, мы не гордые, послушаем!

— Дальше? Своя дорога вам под ноги ляжет. Сами по ней пойдете. Все, чего добьетесь, — все ваше будет, честное. А уж многого ли добьетесь — не скажу. Не знаю.

— Это что же... — Я даже опешила малость. — Ну ладно, магия-волшба — и без нее проживем, хотя жалко, врать не стану! Но... значит, Федор стихи писать разучится? языки людские понимать? на гитаре играть? на рояле? А я — я-то как?! Опять двумя лопухами кус-крендельскими сделаться?! Этого ты хочешь, да?!

— Чему сами за эти годы научились — останется. А что в вас чужим было, отпечатком слепым, через душу не пропущенным — уйдет. И волшба-магия... если захотите, честно, по-настоящему, до визга, до крика — заново учиться пойдете. Без обмана, без Договора. Как люди у людей учатся; как раньше было, пока я...

Осекся он.

Отвернулся.

— Кто ж нас учить-то возьмется? По старинке? Уж не ты ли?

— Я? Может, и я.

— Так тебя ведь и нет на самом деле!

— Есть. Пока живете на свете вы, буду жить и я. В вас самих, во всех, что до вас были, и будут — пока существует Договор, начертанный некогда *моей* рукой! Так что я — есть.

— Ты б, приятель... не богохульствовал бы ты! — скривился Федор. — «Аз Есмь», понимаешь! Как же ты учить нас станешь? Здесь оставишь, на веки вечные?

— Найду как. Во сне являться буду. — Видимо, устав стоять, Дух уселся прямо на землю, на раздавленные хлебные крошки, не доклеванные давно улетевшими воробьями.

— И что, если по-старому учить — большему научимся? Или быстрее выйдет? Сколько лет еще потратить придется?

— Всю жизнь. А такими, как вы сейчас, вам больше не стать. Никогда. Таланта у вас обоих к магии нет, уж это-то я вижу!

— А к чему?! К чему есть?!

Сердце прямо-таки взбесилось! Колотится и колотится! Вдруг ответит — я тогда сразу и узнаю, и побегу за своим талантом со всех ног!

— Не скажу.

— Не знаешь?

— Какая разница: знаю, не знаю? Не скажу — и все. Сами ищите.

— Ошибся я, Дух...

Феденька присел на корточки напротив Духа, и вид у моего мужа такой, будто примеривается он по новой: Духу — в ухо! Хоть и знает, что самому же больнее будет, — а того гляди не удержится.

— Ошибся. Не прокурор ты; не обер-старец. Купец ты. Шиш без масла продаешь да в придачу кота в мешке. Все тебе отдай и к тебе же в науку иди. И быть нам в той науке, как в сказке, тридцать лет и три года, ночей не спать, тебя слушать да на ус мотать — чтобы недоучками остаться? Пойди туда, не знаю куда, за семь верст киселя хлебать,

найди то, не знаю что, лови журавля в небе — который, может, и не журавль вовсе, а ворона драная! Ищите себя, детки, талант свой, призваньице! — а на кой он нам, свой, когда чужого навалом?! когда синицы в руках с лихвой хватит?! Если б ты нам хоть горы золотые посулил, или силу, побольше нынешней — тогда еще понятно, ради чего!

— Ради себя... ради... — шепчет Дух, обхватив голову ладонями, но Феденька его не слушает; и правильно делает.

— ...а так — зачем?! Нет, спасибо, что врать не стал, не наобещал с три короба; за правду — спасибо. Но только не для нас твоя правда. Так, Акулинушка?

— Так, Феденька! — В первый раз, как сюда попали, получилось усмехнуться по-настоящему, без горечи, без издевки. — Все так, милый, все ты верно сказал.

— Жаль. — Словно судорога Духу губы свела; отвернулся. Как в самом начале: сидит спиной к нам, лысина бисеринками пота поблескивает; только... изменился он. Раньше хоть и спиной сидел, а все равно — ждал.

Теперь не ждет уже.

Умолкли воробьи, и кузнечики в траве притихли; солнце за тучу спряталось: вроде бы жара спасть должна — ан нет, вместо жары духота навалилась, словно перед грозой. Замерло все в ожидании, ни былинка не шелохнется, ни единый листочек. Воздух вязким стал; кисель, не воздух. И фигуры паутинные застыли призраками безмолвными, мумиями спеленутыми, престарелыми младенцами, заспиртованными в банках, в музее, под стеклом.

Страшно мне сделалось. Сама не заметила, как возле Феденьки оказалась, вцепилась в него, будто в опору последнюю, — тут Дух и обернулся.

Улыбался Дух Закона. Странно улыбался, дико: без злорадства, без веселья, без грусти... Отстраненно. Вроде как должен улыбаться — вот и улыбается. А сам тем временем разное думает.

— Не смею вас больше задерживать, молодые люди. Испытание вы прошли, выбор сделали. Молодцы, умницы. Заслужили напоследок подарок от меня. За упорство ваше.

Ох и не понравились мне те слова! Сразу Крым вспомнился, Севастополь, «Пятый Вавилон» — и ротмистр рехнувшийся. Как выкрикивал он Федору, пока остатки разума не потерял: «...будешь ты самый последний съеден, когда я разделаюсь с прочими; вот мой подарок! Вот! Вот!..»

— Спасибо, не стоит! Мы лучше пойдем...

— Пойдете, пойдете, айн момент! — и пойдете. А от подарка не спешите отказываться. Раньше принимали, примите и сейчас. Куда вам от моих подарков деваться, вы теперь — в Законе, а я — в вас, и поболе, чем в других... Значит, слушайте и смотрите.

Куда смотреть, Дух не сказал, а мы не спросили, потому что Федька вдруг разжал свой кулачище и уставился на чистую карту.

Нашу карту, одну на двоих, из травы поднятую.

Судьбу нашу.

И я уставилась.

Поначалу мастями безмастная карта пошла, черно-красным фейерверком. Завертелись на атласе пики-трефы-бубны-черви, будто стеклышки цветные в детском калейдоскопе. То в Туза вихрь сложится, то в Даму, то в Короля, то в Валета, то в Шута-Джокера... После лица чьи-то мелькнули — я даже разобрать не успела чьи. А дальше прояснилась карта, глубиной налилась вроде зеркала.

Отразились в том зеркале двое.

Только не мы с мужем!

Две девочки-близняшки лет четырех. Кудряшки золотом горят, носики-курносики в небо смотрят, щеки черничным киселем измазаны, и глаза хитрю-ю-ющие! На обеих платьица одинаковые, голубенькие, с кисейными оборочками. Не дети — загляденье! Сейчас, сейчас закричат: «Папенька! Маменька!», сейчас на руки с разбегу кинутся...

Смотрим мы в карту-зеркало, на детей своих нерожденных любуемся, и верим, и не верим — а в висках кровь чужим приговором стучит:

— Проклятие Брудершафта на вас обоих. Нет для вас

Договора, нет для вас в Законе крестников; нет и не будет. Срослись, переплелись ваши судьбы, ваши души, ваши — и Друца с Рашелью; не пустите вы никого больше в этот круг. Захотите, молить станете — а не сможете через себя переступить. Закрыты для вас ворота Договора; но калитку оставлю. Вот он, мой подарок: скоро у вас родятся дети. Двойня. И вы сможете заключить Договор с собственными детьми, не дожидаясь, пока они согласятся или откажутся. Без их желания; лишь по вашей воле. Оттиснуть себя — в них. Только плоть от плоти, кровь от крови вашей сможет войти в ваш круг; и разорвать его. Тогда проклятие Брудершафта будет снято. Вы сможете жить дальше, как все другие маги. Не хотите быть самими собой — будьте кем хотите! радуйтесь! живите... Но первый Договор — только с собственными детьми!.. собственными... детьми...

ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ

А вот сейчас он сам, этот Дух Закона, вам в глаза заглянул. Какое заглянул?! — уставился, прикипел. Что он там видит? неужели всего лишь:

...стекло.

Кусок разбитого оконного стекла. На полу. Сверху бьет солнце, и отражение человека в стекле играет с солнечными зайчиками. Или уже не солнце — каблук бьет. В стекло. С размаху. Летят осколки, летят в них человеки — один другого меньше, один другого потешнее.

Летят следом зайчики: доиграть.

А каблук опять целится. Вон, в каждом осколочке видно: поднялся, сейчас опустится. Много будет человечков, много каблуков...

* * *

Ноги ватные, гнутся-подгибаются, сердце устало биться, притихло в страхе; стою, падаю, валюсь, а вдалеке девки плясовую завели:

«Стала муха пауком, пауком, стучит муха кулаком, кулаком...»

И подпевают весело:

«...будешь ты самый последний съеден, когда я разделаюсь с прочими; вот мой подарок! Вот! Вот!..»

III. ФЕДОР СОХАЧ, или ТРУДНО БЫТЬ МАГОМ

> Сойди и сядь на прах, девица, дочь Вавилона; сиди на земле; престола нет, дочь Халдеев, и вперед не будут называть тебя нежною и роскошною.
>
> *Книга пророка Исаии*

— ...ай, нэ!.. Ай, нэ-нэ... А-а-а-а-а-ай...

Тишина.

Только захлебываются вокруг сумасшедшие сверчки.

И снова, тоскливой, волчьей безнадегой:

— Ай! Ай, нэ...

Вечер стаей сизых голубей опускался на землю. Поздний сентябрьский вечер. Складывал крылья, играя, окутывал сумерками вербы на холме, вынуждая строгих дядек-тополей ревниво качать головами, осыпая битую сединой листву; в камышах шелестел чуть слышно, притворяясь блудным потерчонком — младенцем-нехристем, утопленным родной матерью.

— Ай, нэ! Ай, нэ-нэ...

— Поешь? — спросил Федор, приподнимаясь на локте. — Душа просит?

Друц не расслышал. Он сидел возле коляски, привалясь к ступеньке плечом, и дончак Кальвадос тянулся мордой, фыркал в ухо, приглашая ехать. Старый он был, ром сильванский, Валет Пик, старей старого; впервые таким увиделся. Это, выходит, если и на Княгиню исподтишка глянуть... нет, быть не может!

Вечер, вечер, хозяин теней — твои проделки?

Чуть поодаль, спиной к Федору, любовалась закатом

княжна Тамара. Тоже не повернулась, вся ушла в созерцание.

Ну, ей-то, бедняжке, простительно...

— Ефрем Иваныч! — Горло сперва зашлось фистулой, а дальше ничего, прокашлялось басом. — Осчастливьте, бросьте взгляд! Очи черные, очи жгучие...

— Ай, очи страстные... А-а-ай!

И когда он только успел помолодеть, этот чертов Друц? Вскочил — нет, взлетел! в пляске двинулся к бывшему крестничку! просиял взглядом! Лет сто с плеч скинул; каблуками растоптал. Одна ладонь за голову заброшена, другая ляжку обхлопывает, чище бубна.

Округу воплем взбудоражил:

— А к нам вернулся наш любимый, Федька милый-дорогой!

Сел Федор. Затылок наскоро ощупал, где саднило. Скривился: эк угораздило шишку заполучить! Небось, когда падал без памяти, приложился. Друцу-плясуну глазами на княжну указал: чего блажишь, мол? не знаешь, какая она? При Тамаре лишний шум подымать никак не следует...

И увидел: сошла радость с Друцева лица. Мартовским снегом в низинке оплыла. Будто не о княжне, умом скорбной, Федька рому напомнил — о беде-вине, о грехе-проступке.

— Я... Федька, я же хотел как лучше...

Ничего не понял Федор. Все хотят как лучше. Крестник мажий в Закон вышел, а крестный сперва песни тянет, будто кота за хвост, потом ерунду порет. Интересно, это у всех так или Федору Сохачу пуще других свезло?

Ладно, после разберемся. Еще и спасибо скажем, в пояс поклонимся: за науку отдельно, за княжну отдельно. Знает Федор — не случись рядом Дуфуньки, когда он, парнишка-раскрасавец, в Закон брякнулся, неизвестно еще, как бы Тамара это дело в одиночку пережила.

Встал, мимо Друца к княжне двинулся.

Улыбку по дороге примерил наскоро: не морщит? складками не собирается?

— Тамара Шалвовна! Пора домой! Тетушка Хорешан небось волнуется...

Нет ответа.

Одни сверчки за упокой голосят.

— Федька... не трожь ты ее, ради бога...

Рука княжны оказалась ледяной. Словно камень-голыш на дне омута ухватил. Глубокого омута, тихого, доверху полного чертей. Вот явись сейчас мраморный дог Трисмегист, оближи хозяйке пальцы — придется собачий язык с кровью отдирать.

Примерзнет.

— Господи, Друц! Что у вас тут?.. что с вами стряслось?!

Молчит ром.

Взгляд под брови косматые прячет.

— Понимаешь, Федька... я за тобой хотел... А она... Понимаешь?

И опять ничего не понимает Федька. Ничегошеньки. Кроме одного: он, Федор Сохач, теперь — маг в законе. Отныне; навсегда. Не Валет, не Король — карта чистая, безмастная. Кипит в Федьке сила-уменье. Свое ли, чужое? правду говорил Дух? врал? какая сейчас разница?!

Окаменел Федор пред Тамарой идолом всевластным; глазами в глаза потянулся. Где б ни была ты, княжна, в каких бы безднах ни тонула — вытащу в жизнь новую. Блином по сковороде раскатаюсь, а вытащу. Жалко ведь девку; смертной жалостью жалко. Вот... Вот уже... вот...

Без причины вспомнилось: как на таежной вырубке лесину сам-друг поднимал, как потом скрюченным в три погибели отлеживался.

Вспомнилось, а следом за памятью и причина явилась.

Тянись, Федька, тянись! подымай! спасай! да бойся — душа пуп надорвет... Все твое кипение в пар вышло; хочешь ты на червонец, а не можешь ровным счетом ни на грош медный.

Одно бульканье.

— Прекрати! — Это Друц. Сразу понял, оглушил криком; вернул обратно. — Брось, дубина! Оставь!

Сзади клещом вцепился, оттащил. Откуда и сила взялась, у старого? усталого?! откуда?!

— Ты ее в коляску сажай, Федька. В коляску. Я тебе по дороге... я тебе...

— В коляску, — вдруг сказала княжна Тамара. — Феденька, это вы?.. я домой хочу, Феденька... сгорело там все, дотла. Поехали домой, хорошо?

...рядом истово, неумело крестился Друц.

Через плечо оглядывался: туда, где у края дороги, крестом раскинув руки, счастливо улыбался мертвым лицом Девятка Пиковая, неудачливый ром-лошадник.

* * *

В коляске княжна сразу заснула. Только вздрагивала во сне, стонала тихонько и вновь замирала, упав головой Федору на плечо. Выбившаяся прядь щекотала мочку уха; хотелось убрать, поправить, да страх разбирал.

Еще проснется.

— Ты теперь в Законе, Федька, — не оборачиваясь, бросил Друц. — Понимать должен: где соколом, где вороной. Ученик тебе нужен. Крестник. Иначе — гнилой фарт. Сгоришь без толку, и вся недолга. Теперь что ты с Акулиной, что я с Княгиней — отрезанный ломоть. На неделю, а то и на две — никаких финтов. Захочешь — не выйдет.

— Почему?

— Потому. Ну представь ты, дурья башка: вышел крестник в Закон, а ни для него, ни для крестного под рукой новых учеников нет! Или есть, но к ним ехать надо, или их к себе везти... А на себя финт завяжешь — пропадешь. Вот и не дано нам силы после выхода. Неделю, две — наверняка. Иногда больше. Чтоб было время до нового крестника дотянуться.

— Ты б мне раньше это сказал. — Федор чувствовал, что обижает рома, но говорилось само, не остановить. — После драки мы все умные. Легко тебе...

Все время хотелось оглянуться. Позади, за спиной, чего-то недоставало. Будто крылья были, да сплыли. Или

хвост ящеричий оторвался. Но оборачиваться не получалось: стыдно.

Дурак ты, Федор.

И Друца зря обидел.

— Мне легко, — согласился ром. — Мне легко, Федька. Меня крестный за месяц предупредил. Как почуял, что выход близок, так и предупредил. И что там будет, и что тут станет. Ты прости меня, Федька, и Княгиню прости, если сможешь... Нюх у нас отбило. Думали: вам еще с полгода в крестниках кантоваться. А если бы раньше положенного начать объяснять... Сорвать это дело можно. Как беременность срывают. Никак нам нельзя было раньше, Федька... прости...

— Жжет! — шепотом вскрикнула княжна, порываясь сесть с закрытыми глазами. — Жжет!.. больно... я согласна, согласна, пусть горит, пусть!..

Федор прижал к себе хрупкое тело. Видела б жена: простила.

— Ну тихо, тихо... Все хорошо, Томочка...

И вдруг — запоздало, невпопад — сообразил:

— Друц! она!.. она не заикается!

Спина Друца была несчастной и виноватой.

* * *

На даче их поджидала изрядная выволочка. За позднюю прогулку, за долгое отсутствие, за неумение думать головой; за все про все досталось. «Вай, мзетунахави! — причитала тетушка Хорешан, пока Федор нес на руках в спальню так и не проснувшуюся княжну. — Вай, шени чириме!»[1]

И грозным шепотом, Федьке:

— Эриха! Бедшави, бедукугмарти!..[2]

---

[1] Ой, раскрасавица! Ой, мне бы твои болезни! (*груз.*)

[2] Эриха! — возглас досады. Дальше: «Невезучий (с черной судьбой), неудачник (с кривой судьбой)»! (*груз.*)

Молчал Федор. Низко опускал повинную голову. Тяжко было сознавать: да, без вины виноватый. Но стократ тяжелее было слушать чужую речь, впервые за последние годы не разбирая смысла. Кивал невпопад, со всем соглашался, а про себя понимал: прав Друц.

Это, значит, до первого крестника так оно и будет. Неделю, две, а дальше поторапливаться придется, если жизнь дорога.

«Как там жена? Ей-то каково?!» — неотвязно сверлила мысль.

Вспоминать о проклятии Духа Закона не хотелось.

Хотелось другого: всласть посидеть с Друцем на темной веранде, под одну-единственную свечу и еще под запотевший на леднике графинчик; расспросить доподлинно обо всем, о чем ему, отныне магу в законе, знать было положено заранее, да не сложилось. Только едва выбрел Федор на веранду, едва глянул на рома, битым псом скорчившегося в углу...

Нет, Федька.

Завтра.

Ведь правильно? — завтра время для разговоров будет, а сегодня тебя в сон клонит. Не ровен час, здесь же и свалишься... пошли в спальню?

А как упал на кровать — в чем был, в одежде, в сапогах, — так и провалился, откуда явился.

В Закон.

...стоит Федор Сохач в сторонке. Не его нынче черед; а вроде бы как и его тоже. Поясницу у Федора к дождю ломит, зубов у Федора недостает, в кудрях седые нити заплелись змейками; руки морщинами побило. Это, значит, годы, которых не обманешь. Рядом жена любимая: прежняя, знакомая, но выцветшая с возрастом. Это, значит, тоже годы... сколько ж их меж явью и сном прошло-пролетело?.. Ну да ладно.

Не о том речь.

...а впереди двое сквозь препоны к Духу Закона идут. Бок о бок; плечом к плечу. Обнажается морское дно, вста-

ют на пути горы, валятся с гор лавины-камнепады, мертвяки целыми погостами из могил лезут, загораживают путь — а они идут себе и идут. Миражи воюют с миражами, рушится с неба ливень, исходит паром и стоном земля — и вот: тишина, быстро рассеиваются последние клочья дыма, и двое стоят перед Ним.

Перед Духом Закона.

«...А мы лучше шли», — тихо, беззвучно, одним трепетным выдохом шепнула Акулина. Бередя память, словно плохо зажившую, покрытую тонкой корочкой рану.

Кивнул старый Федор.

«Ну ведь правда, Феденька?»

«Ну ведь правда...» — кивнул старый Федор.

«Да и они ничего... дошли же?! маленькие наши... родненькие!..»

«Дошли, — кивнул старый Федор. — Ничего они... ничего...»

«Нет, ну что ты все киваешь?! кивает он! Смотри: почти как мы с тобой... молодые!.. почти...»

...двое стояли перед Духом Закона.

Две девочки; девушки.

Ваши дочери.

Ваши крестницы.

Почти как вы; почти как родители; лучше многих; лишь чуть-чуть... самую малость... жалкую, ничтожную капельку...

...замолчи!!!

...и только мягкая капель в темноте: бьются звуки мухами о ткань гардины, сами себя в паутину заплетают — мухами, нитями, пауками, магами, прошлым без будущего! — складываются в слова:

— Мы — не соль земли.
Мы — соль на раны.
Плач вдали и старый плащ в пыли.
Мы уходим.

Мы почти ушли.
«Это странно, — скажете вы, — странно...»
Мы смолчим.
Валеты, Короли,
Дамы и Тузы — увы, пора нам!
И исход, как жизнь, неумолим.
Мы — не соль земли.
Мы — соль на раны.
Дворники проспекты подмели,
Грезят шашлыками стать бараны,
Учат Торы, Библии, Кораны,
Как копейкам вырасти в рубли,
А рублям — в червонцы.
Нежно, пряно
Под окном тюльпаны расцвели.
Басом распеваются шмели,
Будды собираются в нирваны,
Богословы рвутся в Иоанны,
Корабли
Скучают на мели.
Мы уходим,
Мы почти ушли.
Мы — не соль земли.
Мы — соль на раны.

...это — мое?! чужое?! краденое?! дареное?!
...ответьте!..

* * *

— Что? кто?!

— Тихо, Федька... не шуми, старуху подымешь. Я это, Друц...

Сел на постели.

Откашлялся.

В окно заглядывал больной, щербатый месяц. Чахоточный румянец бродил по его серпику, от рога к рогу; месяц хотел в Крым, есть целебный виноград и лечиться на водах. Россыпь звезд вокруг беззвучно поддакивала: да, на водах!.. Да, лечиться... много есть, много спать и видеть сны, быть может...

Сон.

Слава богу, это был всего лишь сон.

Скоро часы станут бить полночь. Они любят полночь, эти настенные часы с маятником, похожим на медное яблоко Грехопадения, зажатое в пасти змия; для них это едва

ли не лучшее время — о, полночь, это ведь прекрасно, но часы на службе! и поэтому они станут ее бить.

Смертным боем.

Что за глупости порой лезут в голову?

— Я тут, Федька, водки калиновой принес... холодной... Хочешь водки?

— Хочу.

— Ну вот, морэ, совсем хороший стал!.. Водки хочешь... Хаса, пьяса, екх екхэскэ плэскираса!..[1] Свечу зажечь?

— Не надо.

Озноб после дурного сна уходил со скрипом, остаточной дрожью гуляя вдоль хребта. Слышать ромскую речь Друца, не понимая смысла, было жутко. Пустота за спиной, где раньше крыльями (паутиной?!) стояли *они*, скалилась по-волчьи: ничего, Федька! обойдется! неделя, две — а там крестничками обзаведетесь, все как у людей...

В руке было намертво зажато... что?! Карта, некогда белая. Да и сейчас она мало-помалу опять становилась чистой. Но еще можно было разглядеть крестовые знаки по углам и — лицо. Странное лицо, вроде бы знакомое, свое, привычное, но из глубины проступали, чтобы снова исчезнуть, провалиться сами в себя: Деметра из Балаклавы, носатая гречанка-крестница, какой-то старик в пудреном парике...

И, сквозь всех, оставшись в самом последнем, в Федьке Сохаче, неуловимым налетом, плесенью — Дух Закона.

«Ну дурак! вот дурак! Говорил же: меня в вас побольше прочих будет!.. ой дурак!..»

И вот: снова карта чистей чистого. Ушел Дух, исчез Федька, сгинули Видоки Крестовые.

Лишь сон про дочерей остался.

---

[1] Едим, пьем, друг другу платим (*ром.*).

В памяти.

Эй, Федор-безмастный! — бывают ли у «видоков» просто сны? Чего молчишь?! Или ты не «видок»?!

А кто?

— Ну, Федька, принимай чарку... За тебя пью. За Акулину нашу. Выросли вы, скоро здороваться перестанете!.. Шучу, шучу... Ну?

— Спасибо, Друц. Я с тобой да с Княгиней здороваться перестану, только когда язык мне клещами вырвут. И то — в пояс поклонюсь, пока спина цела. Спину сломают — головой кивну, если голова на плечах останется. С того света рукой помашу.

— Ай, красиво говоришь, морэ! Ай, завидки берут! Выпили?

— Выпили, Друц.

— Бери хлебушка. Я там рыться не стал, ржаного прихватил, полкаравая... хватит нам. На ночь много жрать, говорят, для брюха вредно.

— Говорят. Да что ж ты крошишь-роняешь?.. Давай, я сам...

— Роняю, Федька. Грех хлеб ронять, а я вот грешу. Прихватило меня... будто на каторге, по приговору. Или если бы финт на себя завернул. В пояснице хрустит, пальцы квелые, ломкие!.. ладно, пройдет. Знать бы с чего... устал, наверное...

— Пройдет. А я, Друц, сон видел. Страшный. Вещий. Или не вещий — какая разница? Все равно страшный.

— Тебе сейчас вещих снов видеть не положено. Говорил же: неделя, две... Возьмешь крестника, в полную силу развернешься...

Месяц за окном вдруг скатился кубарем. Ударил рогами под самое сердце: что, паря?! сон в руку? вещий?! Сказано тебе: неделю, две — никаких тебе финтов! без крестника! А ты: сон...

Пустой сон, значит.

И карта твоя белая — белая и есть.

Кыш, лица! прочь!

И только дребезжит на самой окраине сознания невы-

сказанный, непроизнесенный вслух вопрос: «Друц, отчего тебя ломает? тебя, крестного, мага в законе?!»

Нет! не может быть! не может...

Все мы — одна паутина; и все равно — быть не может!

— Еще по одной, Федька?

— Наливай. Попустило тебя?

— Ф-фу... да вроде отпускает, полегоньку. Годы мои, годы, жернова на шее...

— Скажи мне, Друц... или лучше не надо. Молчи!

— Что тебе сказать, морэ?

— Твой крестный...

— Грэнгиро Дад? Лошадиный Отец?!

— Да. Твой крестный — он лучше тебя был? сильнее? мудрее?!

— Молодой ты, Федька. Завидую. Глупости твоей завидую. Конечно, лучше. Он — Король, я — Валет. Учитель и должен лучше ученика быть, на то он учитель...

— Нет! нет! нет... Не должен! Нет!

— Не кричи, Федька! Весь дом подымешь! Старуха Хорешан убьет нас с тобой...

— Пусть!.. не должен... Ну пойми ты, Друц, дурья твоя башка: если учитель всегда лучше ученика — это конец! смерть!

— Устал ты, морэ. Вот и блажишь что ни попадя. Накась, запей водочкой... Вот, вот, молодец!.. Нашел с кем споры спорить — со мной, косноязычным ромом! Завтра в город поедешь, зайдешь к отцу Георгию, он тебе и разъяснит на пальцах: Христос, Перво-Ответчик, лучше апостолов был, апостолы лучше епископов, те лучше паствы... паства и вовсе грешным грешна. Испокон веку так.

— Нет!

— Да. Я Рашкину крестную в глаза не видывал, а от людей слышал: Фира Кокотка такое заворачивала, что нашей Княгине и не снилось. Хотя обе — Дамы... А все почему, Федька? А все потому, что учитель на то и учитель, чтобы лучше ученика быть. И не спорь со мной, морэ. Не спорь, пожалуйста. Продышись, заешь хлебушком, и нальем по новой.

— Скажи, Друц... скажи мне!.. Ты тоже отказался?

— От чего отказался, Федька?

— Паутину? рвать?! Ты не юли, ты отвечай: отказался?!

— Какую паутину, Федька?

— Ту самую! Когда Дух Закона сказал тебе-молодому: не хочешь ли порвать паутину?!

— Не говорил он мне так, морэ. Путаешь ты что-то... Он мне иначе сказал.

— Как? Что он тебе сказал?!

— Эх, морэ... Проверял он меня. Спросил с подковыркой: ай, Дуфунька, большой барин! от учителя своего откажешься ли? изгонишь его из себя?! Ефрема из Друца?!

— И что ты ответил?

— Хотел в рожу плюнуть. Не успел: вышвырнул он меня прочь. А жаль, что не успел... Может, если б плюнул — сейчас больше б понимал. Зачем он меня проверял? чего хотел?.. кто знает?!

— Никто не знает. Наливай, что ли?

За окном, со стороны пруда, дробно простучали копыта.

Утробно рявкнул от ворот дог Трисмегист — раз-другой — и вдруг сбился, залился радостным, щенячьим лаем.

ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ

В обманчиво-грустных, влажных глазах дога Трисмегиста, если он позволит чужому потрепать себя за шкуру на загривке, встав лицом к лицу... мордой к морде? лицом к морде? Короче:

...муха.

Зеленая, жирная. Жужжит весело; взлетит, сядет, по новой взлететь собирается. Крылья у мухи слюдяные, лапки у мухи живыми ворсинками. Норов у мухи — страшней некуда. Вот на какого зверя охотиться надо, если ты настоящий герой.

Давно это было.

И стыдно вспоминать, и сладко. Вот ведь какая муха была...

* * *

Часы удивленно качнули маятником.

Полночь.

Пора бить.

IV. АЛЕКСАНДРА-АКУЛИНА, или СИЖУ ЗА РЕШЕТКОЙ...

> И поведу слепых дорогою, которой они не знают, неизвестными путями буду вести их; мрак сделаю светом пред ними, и кривые пути — прямыми...
>
> *Книга пророка Исаии*

...Решетка.

Почему — решетка? Острог?! Шалва Теймуразович, где ж твое слово княжеское, полковничье? где твоя «крыша»?! набекрень съехала, от ветра?!

Куда это я угодила, рыба-акулька, в какой такой аквариум?..

А ведь я тут не одна! Вон сопит кто-то рядом. Голову бы повернуть, поглядеть, кто? — да шея будто заржавела. И нога. Правая. Ох, не вовремя! Так и подмывает через плечо взгляд бросить: почему за спиной пусто? почему зябко?! почему я не я, а воздушный шарик без ниточки?!

Да что ж за катавасия стряслась?!

Разозлилась — сама на себя, на шею свою ржавую, на всю жизнь-пережизнь дурацкую, с ее шариками, решетками, здравицами да проклятьями; разозлилась — и рывком села.

Хватит разлеживаться!

Шея ка-ак хрустнет, ногу иголками навылет пронзило, а хуже всего другое: голова вальсом закружилась, темно перед глазами, в животе ребеночек брыкаться начал — того и гляди, в обморок брякнусь. Ох, в моем-то интересном положении только дергаться: не ровен час, рожу раньше срока...

Издалека, будто сквозь вату, — голоса:

— Очнулась! Слава богу!

— Лександра Филатовна! голубушка! как вы там?

— Выбирайтесь из клетки скорее, дамочка! А то тигра вона уже пасть раззявила!

— Сейчас, сейчас, я засов отодвину...

Это что за «тигра» пасть раззявила? Мальчик, полосатик мой — это ты, что ли, «тигра»? Ну будет, будет ворчать...

И вдруг разом обрушилось, как плотину прорвало: придурок из зевак взял и окурок к Мальчику в клетку кинул, аккурат на солому! Хорошо, я мимо шла; а то пока за водой бы бегали или шланг тянули... Мальчик в угол забился, солома в клетке дымится, гарью воняет; только загореться я ей не дала, затоптала. Потом Мальчика успокаивать принялась — и тут на меня накатило!

Выход в Закон.

Сколько же я *там* пробыла?! Ведь это не в глазах у меня — это вокруг темнеет! Ну, Акулина, ну, Зверская Дамочка! Два часа, не меньше, у тигра в клетке провалялась!

— Мальчик, ты что? это же я! не признал? молодец, Мальчик, хороший тигр, маму охранял, никого не подпускал...

Слушает. Вроде успокоился. Ну, сейчас: погладить на прощание, за ухом почесать — и пора честь знать. В гостях хорошо, а дома...

Только вдруг понимаю: нельзя мне сейчас к нему подходить! нельзя гладить, нельзя за ухом чесать. А в особенности спиной поворачиваться нельзя. Нервничает Мальчик. И сам он тут ни при чем. Дело — во мне. Да когда это было такое, чтоб я Мальчика погладить не могла?! Да я ж ему вместо родной матери...

— Хороший, Мальчик... славный, добрый...

Слушает. И с места не двигается. Но смотрит все равно с недоверием. Ладно, пусть смотрит — вот уж прутья спиной ощутила, вот и дверца поддалась...

ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ

Если заглянуть в желтые тигриные глаза... Только заглядывайте осторожно, слышите?! Говорят, звери не выдерживают человеческого взгляда. А вы, вы выдержите взгляд тигра?.. Вот ведь:

...янтарь.

Падаешь в эту драгоценную глубину, рушишься, летишь... прилетел. Берег таежной речки. Река лениво плещет, отсвечивая золотистыми бликами, прокаленный солнцем воздух томится хвойным ароматом; на узкой полоске выбеленного прибрежного песка — торопливые следы копыт. Косуля. Мама, я ненадолго!

Я ее только догоню — и вернусь.

Хорошо?

* * *

Сильные руки подхватывают меня, ставят на землю, придерживают, чтоб не упала, — а то ноги еще плохо слушаются. Позади лязгает засов. Все, выбралась! Нет, Мальчика я, конечно, не боюсь, и ничего бы он мне не сделал, но все-таки...

Перевожу дух, оборачиваюсь.

Рыжая щеточка усов, породистый нос на смуглом, в сумерках едва ли не черном лице, а в глазах — тревога! У Шалвы Теймуразовича, жандармского полковника, у «Варвара»-облавника в глазах — тревога?! Батюшки-светы, караул!

Сегодня, наверное, день такой: все, чего не может быть, — случается. Вокруг люди суетятся: Поликарпыч с Агафонычем наперебой горланят и, забывшись, от души хлопают по спине и по плечам кряжистого городового, который с облегчением вытирает обшлагом рукава лоб, лоснящийся от пота; сбоку радостно щебечет новый товарищ управляющего: шлем пробковый на затылок сбился, из-под шлема волосы соломой торчат, пухлые губы слова выплевывают, торопятся. Смешной он, под британского колониста одевается: рубашка «хаки», шорты кургузые, шлем этот пробковый... пугало огородное! А вообще он парень хороший, не в пример старому, ворюге...

Смотрю на него, на губы его дергающиеся — а слов не слышу. Будто не здесь я, а далеко, на краю земли. В том краю, где рядом — только полковник Джандиери; и еще Княгиня.

— Александра! голубушка! жива?!

— Жива я, дядя Шалва, где наша не пропадала! — улыбаюсь через силу.

А сама чувствую: вру я. Где бы наша ни пропадала, здесь и пропасть недолго... давит меня отовсюду. Тесно мне; душно. Голова до сих пор кружится, во рту кисло, будто медный ключ лизала; и оглянуться подмывает.

Я и оглянулась.

Не снаружи; *внутри*.

Нет никого за спиной, ни Друца, ни Княгини! Пусто. Некому подмигнуть или пальцем погрозить, поддержать, помочь или рыкнуть беззвучно.

Пустота.

Одно есть: словно взгляд чей-то к спине прилип. Нехороший взгляд, выжидающий. И не увидеть, кто смотрит. Как ни изворачивайся — все равно он сзади окажется.

Вместо тех, других; привычных.

— ...Благодарю вас, господа, за помощь! Слава богу, все закончилось благополучно. Еще раз благодарю. А теперь мы с женой и с отцом Георгием отвезем Александру Филатовну домой, вызовем врача. Так что не извольте беспокоиться. Желаю спокойной ночи.

Князь берет меня под руку, отец Георгий (и батюшка, оказывается, здесь!) — под другую. Сейчас мы поедем домой, домой... спасибо вам всем: и Поликарпычу с Агафонычем, и до смерти переволновавшемуся городовому, и новому товарищу управляющего, и Мальчику-сторожу! Ай!.. чуть не забыла!

Оборачиваюсь на ходу:

— Поликарпыч! Не забудь подстилку Мальчику сменить, хорошо?

— Бу сдел, Лександра Филатовна!..

Все-таки славные они люди...

* * *

— ...ты не бойся, девочка, не оглядывайся зря. Знаю я, каково тебе. Пусто вокруг, неуютно, знобит, и — словно крылья подрезали. Так?

— Так... А откуда вы?.. откуда?!

Вот же дура я! Дурой была, дурой и осталась! Княгиня ведь в свое время тоже в Закон выходила! Небось это у всех одинаково.

А ты думала: одна ты разъединственная?!

— Знаю, Александра. Ты не бойся, это пройдет, это ненадолго — кругом-бегом неделя, может, две... дальше полегчает. Крестника себе возьмешь. Шалва Теймуразович говорил: он заранее позаботился! Все хорошо будет, вот увидишь. Ты, главное, не волнуйся, не бойся ничего — нельзя тебе сейчас...

Дождалась: нерожуха Рашель меня в мой стыд носом ткнула! А ведь права она: мне сейчас не по клеткам тигриным шастать — о ребенке думать надо, в моем-то положении! Дома сидеть, к лекциям готовиться, конспекты да книжки умные читать, пеленки-распашонки шить, мужа ждать... Ох, мало меня маманя в детстве драла, так ума и не вколотила! Вон о подстилке для Мальчика — узелок на память завязала! зато о себе да о ребеночке, что родиться должен, и не вспомнила!

Хороша будущая мать!

— А вот и экипаж, Александра. Осторожнее, ступенька... Вот так, хорошо, тут и вам с Эльзой места хватит, и отцу Георгию, а себе я еще одну пролетку кликну. Отдыхайте, милочка. Сейчас на дачу поедем...

— Обо мне не беспокойтесь, ваша светлость. Как раз я-то могу и во второй пролетке поехать. А вы с дамами садитесь.

— Благодарю, отец Георгий. Но... может быть, тогда вам лучше вернуться домой? Большое спасибо за помощь...

— Нет, ваша светлость. Не сочтите назойливостью или что я набиваюсь к вам в гости в столь неурочный час... Я хотел бы поехать с вами. У меня предчувствие; дай бог, чтобы я ошибся, — но вы знаете, *наши* предчувствия редко обманывают.

— Хорошо. Эй, извозчик! Садитесь, отец Георгий...

— Куда ехать-то, барин?

Это извозчик.

Густой, простуженный бас.

— Дорогу на Малыжино знаешь, любезный?

— На Малыжино?.. шутить изволите?! Кто ж на ночь глядя туды поедет? Вы уж звиняйте...

— Плачу вдвое. За оба конца. Переночуешь у меня на даче, утром вернешься. Сверх того, тебе — ужин; лошади — овес.

Молчание.

Извозчик думать изволят.

— ...Ну, ежели так... ежели вдвое... и ужин... ладно, тады — едем. Благодарствую, барин!..

Голоса уплывают, уплывают...

— Правильно, девочка! Поспи, поспи, для тебя это сейчас — самое лучшее...

Самое для меня... лучшее... И не хотела бы — глаза сами слипаются. Усталость навалилась, будто целый день воду таскала!.. Вот только — почему на дачу? почему?! ночь ведь скоро...

— Я сказал: садись во вторую пролетку, вместе с батюшкой! — прорывается издалека гневный приказ князя. — Обойдусь без кучера! сам! понял? — сам! Или тебе надо повторить, любезный?

Голос Джандиери затягивается льдом вроде ноябрьской полыньи; лед вот-вот даст трещину, и из глубины вырвется на свободу черная тьма. Ох и не поздоровится тогда кучеру...

Да что ж это сегодня с князем?!

— Слушаюсь! как угодно вашей...

На дачу едем! дача... доча... Боже мой! Дочка там у Шалвы Теймуразовича! Тамара! И Феденька мой — он небось тоже без памяти валялся! Вот почему отчаянная, невозможная для «Варвара» тревога плескалась в глазах и голосе Джандиери...

— Все будет хорошо, Александра. Спи.

Все будет... Все будет... скоро приедем в имение... и все будет хорошо; стучат копыта, шуршат колеса по булыжнику — все бу-дет хо-ро-шо... хорошшшо...

* * *

— ...а вот, милочка, и ваш будущий ученик. Или, как у вас принято говорить, крестник. Прошу любить и жаловать: Александра Филатовна, Анатолий Евграфович.

— Счастлив знакомству с вами, Александра Филатовна!

А глаза-то, глаза-то у Анатолия свет Евграфовича! так и сияют: две луны полные в обрамлении звезд-конопушек! Рыжий-рыжий, конопатый... Ой, да я ведь и сама... Лиса Патрикеевна! Это что ж выходит? Князь нарочно мне крестничка «в масть» подбирал?!

А руку целует с почтением, мне даже понравилось.

Сколько ж тебе лет, мил дружок Толенька? Пятнадцать? Шестнадцать?

— Ну, пожалуй, я вас оставлю. И распоряжусь, чтоб не беспокоили. Эти апартаменты полностью в вашем распоряжении на любое потребное вам время. Честь имею!

Прямо сводник какой! — отчего-то подумалось.

А ведь верно подумалось! Погляжу я еще на тебя, рыжий, посмеюсь всласть, когда сны стыдные-срамные начнутся! Небось красным ходить будешь, как рак вареный, а на меня и глядеть побоишься. Впрочем, тебе-то еще ладно, парень все-таки... А ну как Феденьке тоже парня в ученики подсунут? Друц однажды обмолвился: коим боком оно выворачивается.

И смех и грех!

Ладно, пора делом заняться. А то Анатолий свет Евграфович совсем измаялся в ожидании — вон уже румянец не зорькой рассветной, свеклой в щеки брызнул.

Заранее.

Ничего, успеешь еще, нарумянишься.

— Итак, Анатолий Евграфович, вам господин полковник успели изложить, в какую науку идете?

— Можно просто... Анатолий!..

А на вопрос не торопится отвечать. Губы жует. И наконец коротко, глядя в пол:

— Да.

— И вы, мой милый просто Анатолий... Вы добровольно согласились? Ведь в нашем деле по принуждению нель-

зя. Только по собственному желанию ученика. И я хочу это услышать своими ушами.

Ишь, вспыхнул:

— Разумеется, добровольно, Александра Филатовна! Ведь это же — с одобрения комиссии Государственного Совета! согласно рекомендации Третьего Управления! с благословения синодального обер-старца! На пользу Отечеству! Я... я сам вызвался! А тем более... тем более учиться эфирным воздействиям у самой прекрасной женщины на свете, у такой, как вы, Александра Филатовна!.. я и мечтать не смел...

Смутился, побагровел окончательно; умолк.

Да уж, откуда здесь принуждению взяться! Сам вызвался, действительно сам. Интересно, Феденька ревновать не станет?.. Ладно, это — шутки.

Потом.

— Ну что ж, мой милый Анатолий (а я сейчас на Княгиню! похожа!..), не будем откладывать ваш порыв под сукно. Будьте так любезны приготовиться к заключению Договора.

— Прямо сейчас?! Здесь?! — аж весь вперед подался.

— Да, прямо сейчас. Здесь. Вы готовы?

— Да я... я... с радостью! Предаюсь в руки ваши, Александра Филатовна!

Слово сказано.

Помнишь?

— Дядь Друц! Миленький! Не передумала! Ноги... ноги целовать...

— Ноги не надо. Иди-ка сюда.

— Рашеля, — сказал Федюньша. — Я с тобой, Рашеля. Я с вами. Я не хочу... как кура, без головы. Не хочу. Лучше сдохну.

— Не надо, — ответила Княгиня, видя перед собой труп на мраморе. — Не надо, Сохач. Лучше сдохни.

— Надо.

— ...Подойдите ко мне. Станьте рядом. И дайте вашу руку. Вот так, молодец. Приготовьтесь...

Знаю ли я, как заключают Договор?

Знаю. И не только потому, что однажды моя рука уже

горела в Договорном пламени, стиснутая тяжелой лапой дяди Друца. Я просто *знаю*. Наверное, это знание вошло в меня, когда мы с Феденькой подняли из травы и прелой хвои — пустую карту.

Когда вышли в Закон.

Вот сейчас комната вокруг поплывет, подернется искрящейся, туманной рябью — и перед нами развернется свиток Договора с пылающими на нем знаками, прочесть которые не в силах ни один из нынешних магов.

Сейчас...

Мы стоим, взявшись за руки, словно перед венчанием, но священник опаздывает, певчих нет на клиросе, гости задержались в дороге, и никто не спешит выйти к алтарю, произнести нараспев положенные слова...

Где же ты, Дух Закона?!

Мы здесь, мы пришли, мы ждем!

— Пришли? Зачем?! Я ведь предупреждал...

Черная, слепящая боль. Тьма, где брызнувшими из глаз искрами, слезами, веснушками рыжего Анатолия вспыхивают и гаснут прощальные звезды... Вспыхивают... Гаснут...

«Не надо!» — кричит Княгиня из мрака прошлого.

«Лучше сдохни!» — кричит Княгиня из мрака прошлого.

Рашель? я похожа?! на тебя?! на Друца?!

«Не надо! — кричу я из мрака настоящего, из настоящего мрака. — Лучше сдохну!.. лучше...»

* * *

...Звезды!

Бархатная чернота ночного неба сплошь усыпана переливающимися кристалликами; свет луны, мелко просеянный сквозь ветви деревьев, делает окружающее нереальным, сказочным, таинственным — словно сон еще длится...

Сон!

Это был всего лишь сон!

Стучат копыта, шуршат по дороге колеса, экипаж мягко покачивает, и это движение убаюкивает, обещает но-

вый, другой, правильный сон, где все будет хорошо, хорошшшо...

Голоса. Знакомые голоса, их трудно не узнать, особенно когда шепчутся совсем рядом. Наверное, князь с Княгиней думают: я сплю. Ну и пусть думают, не стану я их разубеждать.

— ...ученики?

— Не стоит торопиться, Шалва. Пусть они придут в себя, привыкнут к мысли, что теперь они сами — маги в законе. Спешить опасно... да и некуда.

— Но, Эльза... Я ведь знаю: вышедшие в Закон маги не умеют работать в одиночку! Понимаю, вам больно об этом вспоминать, не то что разговаривать со мной... но кто поймет вас лучше меня? И обходиться без эфирных воздействий вам тоже не под силу. Рано или поздно сила вырвется из-под контроля... я видел господина Ознобишина и не хотел бы видеть вас на его месте! Стоит ли тянуть, рисковать? Вы — опытная, мудрая женщина; вы еще как-то можете сдерживаться, сохранять контроль — иначе бы не выжили на каторге, и особенно после выхода на поселение. Но молодые...

— Спасибо, Шалва. Нет, правда, спасибо за заботу. Вы действительно много о нас знаете — пожалуй, больше любого...

— Ветошника?

В ровном голосе князя дребезжит трещинка — малозаметная, ветвистая, и я не сразу понимаю: так он улыбается.

По-настоящему.

— Зря иронизируете, Шалва. Вы знаете много, но далеко не все. А мне не до иронии: то, что я рассказываю вам, я должна была бы рассказать вот этой несчастной девочке... увы, не сложилось. Понимаете, когда новый маг выходит в Закон, наступает... наступает пауза. Это как задержка при беременности, если вы простите мне подобную вульгарность. На срок от недели до двух мы лишаемся способностей к «эфиру». Старые козыри; вышедшие в Закон крестники; все. В ближайшее время для молодых нет никакой опасности. Дайте им прийти в себя... им — и нам. Ведь у вас уже все готово?

— Разумеется, Эльза... я ведь обещал... Значит, пауза? Странно, как я сам не догадался?

Князь долго молчит.

Лишь дыхание его шуршит в темноте, напоминая шорох палой листвы. Все время кажется: сейчас он раскашляется.

— Значит, добровольцы понадобятся вам не раньше чем через две недели?

— Ну почему же, Шалва? Можно и раньше. Думаю, трех-четырех дней вполне хватит. Маг способен взять крестника в любой момент, хоть через минуту после выхода в Закон. Это единственное, на что мы способны в этот период. Но если срок пройдет впустую, наши умения начнут восстанавливаться крайне быстро, и тогда маг действительно может ненароком сжечь сам себя. Вы видели, как это бывает.

— Видел, Эльза... там, в больнице...

Их разговор уплывает, тонет в ночи. Словно коляска унесла Джандиери и Рашель прочь, а я осталась. Осталась одна-одинешенька... значит, через три-четыре дня? когда отдохнем?! Приведут ко мне будущего крестника, будет он сверкать конопушками, румянцем заливаться... А дальше?

Договор?

Или — черная слепящая боль? тьма с гаснущими искорками?!

— ...да, Эльза, — возвращается голос, заставляя меня вздрогнуть от запоздалого счастья: не одна! я не одна! или все-таки одна?! — Да, я помню. Не надо об этом. Хотя... Вы знаете, я то и дело вспоминаю о мальчике, которого господин Ознобишин буквально вытащил с того света! Ведь останься тогда Король Крестов жив — ему бы грозила смертная казнь через повешение. Смерть — за спасенную жизнь. К некромантам закон суров. Знаете... я далек от мысли, что господин Ознобишин всю жизнь провел в добродетели и бескорыстной любви к ближнему своему! Но я едва ли не впервые усомнился в справедливости наших законов. В *принципиальной* справедливости! Не в Букве Закона, но в Духе! Надеюсь, вы меня понимаете, Эльза?

Мне кажется, что я ослышалась. Начальник облавного училища, жандармский полковник, вслух усомнился в справедливости Закона! *Их* Закона! Ведь «Варвары» сами по себе — Закон, его дух и буква!

Князь! опомнитесь...

— Опомнитесь, Шалва! — В шепоте Княгини звучит неподдельная тревога. — Вы ли это?! С каких пор облавник сомневается...

И — яростный, незнакомый крик в ответ:

— А я что — не человек?! параграф Уложения о Наказаниях?! Мне не бывает больно?! страшно?! я не имею права на сомнения?! Ведь, кроме Закона, у меня тоже есть совесть, совесть человека, который видит...

Джандиери резко умолкает. На некоторое время воцаряется тишина; лишь стучат копыта, шуршат по дороге колеса да чуть слышно поскрипывают рессоры, обещая новый, другой, правильный сон, где все будет хорошо, хорош-ш-шо...

— Простите меня, Шалва. Оказывается, я вас совсем не знаю. Простите ради всего святого! А что до законов, ваших и наших... Иногда мне кажется: само общество, или, если хотите, государство, отторгает нас, выдавливает, будто гнойный нарыв, извините за сравнение. И именно поэтому закон общества не делает разницы между спасенным от пневмонии сыном мещанки Уртюмовой и поднятым из гроба ростовщиком Яворским — поднятым, дабы выведать у покойника, где спрятаны отданные под залог драгоценности.

— Погодите, Эльза... Ростовщик Яворский? Гурзуфское дело?! Ах, сами видите: я умру, как жил, — облавным жандармом!.. Да, вы правы: закон общества не делает разницы. Но ведь эта разница есть?

— Как сказать, Шалва, как сказать. Ведь по закону важен сам факт «эфирного воздействия», а не его цель или результат. А после бесед с отцом Георгием (не удивляйтесь, мы говорили с ним о многом!) я начинаю думать, что важно даже не само «эфирное воздействие». Важно нечто... другое, иное, вызывающее несомненное и безусловное отторжение. Не спрашивайте: что? Я сама не знаю.

— Жаль. Или — к счастью? как вы полагаете?..

Я стою на обочине. Стою на обочине, еду в коляске; уплываю в собственную, никому не доступную темень. Значит, доктор Ознобишин умер?! Тот самый?! Трупарь? Отчего же я не радуюсь; отчего, наоборот, щемит сердце?

Ведь он нас едва не убил тогда, в Балаклаве...

Нельзя радоваться, когда человек умер. Будь он хоть трупарь-некромант, хоть черт с рогами. С чертом, конечно, я переборщила, но все-таки... Когда со зверями много времени проводишь, людей начинаешь лучше понимать. Я уже давно заметила. Тогда ведь казалось: так бы и разорвала Петра Валерьяныча на клочки!.. Вон Мальчик — он тоже кого хочешь на клочки разорвать может; а для меня он никакой не «хычник», не зверь лютый: я его котенком помню, маленьким, я его из бутылочки молоком поила, как ребенка собственного... ребенка... своего... собственного...

Голова кружится, кружится, идет вальсом при оплывших свечах-звездах; экипаж качается, баюкает, словно волны в море, в синем море-океане, где плывет сонная рыба, рыба-акулька...

* * *

— ...двойня, двойня у вас, Александра Филатовна! Девочки! Обе здоровенькие, слава богу! Поздравляем!

Поздравляем! поздравляем! поздравля... — Тремоло акушерок эхом отражается от стен, дребезжит стеклами в окне; звякает никелированными инструментами, больше подходящими заплечных дел мастеру, — шум множится, звенит в ушах сотней валдайских бубенцов.

По-здра-вля-ем!

Перед глазами — расплывчатые тени; движутся медленно, словно в толще мутной воды, подсвеченной сверху солнцем. Самая большая тень наплывает на меня, вынуждая других пятиться; мне хорошо в этой тени.

Родной голос:

— Как ты?

— Хорошо... хорошо, Феденька! Уже и не болит ниче-

го... (а ведь и вправду не болит, и легкость в теле — прямо воздушная!) Двойня у нас, девочки!

Недоносила я вас, девочки, ну да вы простите маму вашу непутевую... Вы ведь простите, да?

— Видел я твоих богатырок, — басит тень-Федор и вдруг начинает стремительно меняться, истончаться... на миг мне чудится: мелькнула в тени исчезающая потная лысина, уши-лопухи, сизый нос в угрях...

— ...с детьми... с детьми собственными! — пробрало сквозняком, аж сорочка тело облепила. — Только! с детьми...

Где легкость в теле? где воздушная?! свинцом тело налилось, до краешков.

Будто крылья подрезали.

— ...поговорить надо, Акулина.

Хмурый он сегодня, Феденька, смурной: брови — двумя грозовыми тучами, из-под бровей, того и гляди, молнии посыплются... и его же самого в пепел обратят!

— Сказку про верного слугу помнишь, Акулина? Который сердце обручами сковал... Лопнут скоро мои обручи. Не могу больше силу мажью в себе держать: наружу просится, выхода ищет. Молчи, милая! знаю: не один я такой! Сожжем мы себя, не удержимся... Пора Договор заключать.

Твердо сказал, про Договор-то, как отрубил; а сам глаза прячет.

Ох, Феденька, как я тебя понимаю!

— Может, обождем? привыкнем, перетерпим... — говорю, а сама знаю: не привыкнем, не перетерпим! сорвемся рано или поздно. Убьем сами себя. — Ведь дети же! наши дети! маленькие они еще! Как представлю, что вот берем мы их за руки, Дашеньку с Тамарочкой, — и в огонь!..

— Молчи! У самого сердце кровью обливается! Только... что ж нам делать, Акулина? Сгорим понапрасну — детей сиротами оставим. Лучше им тогда будет?

А вдруг лучше? чем с такими родителями, что детей за руки — и в огонь колдовской!.. В паутину, мухами пойманными, паукам на съедение. А пауки-то — мы с Федень-

кой!.. и пауки мы себе, и мухи, и паутина, жаль только, жить очень хочется. Ну почему, почему — мы?! Неужто нельзя было, чтоб — как у всех?! За какие грехи нам — это?!

А детям?!!

Верно Друц говорил: за все платить надо. Вот мы и платим — за силу свою небывалую, что выше Королей, выше Тузов, ни в одну масть, ни в одну колоду не втиснешь. Тесно ей, силе проклятой, внутри нас — а выхода нет! Нет, выход есть — но лучше б его и не было, выхода этого, выбора этого, чтоб не терзать себя, на части разрываясь!..

Наверное, дура я. Наверное, прав Феденька. Ну, будут дети на нас похожи. Так другие родители только радуются: вылитый я! копия! Будут Дашенька с Тамарочкой магичками, почти как мама, почти как папа... почти... Ну, боль еще перетерпеть. Страшно, конечно, — дети, свои! Но — вытерпят ведь, выдержат, не может по-другому быть! Все выдерживают. Зато живы будем, и детей сиротами не оставим, и крылья враз за спиной вырастут...

Может, он, Дух этот, наоборот — подарок нам сделал?..

— Хорошо, милый. Давай.

— Прямо сейчас? — не поверил.

— Сейчас! Пока мы в силах решиться.

Сказала — а у самой одно перед глазами: огонь, жгучий, адский, — и мы с Феденькой дочерей наших к тому огню за руки тащим.

Нет! Не хочу такого подарка! Не хочу! Не надо!!! Не на...

Пламя плещется, заполняет все вокруг, слепит, надвигается, жаром в лицо пышет...

* * *

Пламя бьет в глаза.

Нет, не пламя — свет. Просто свет фонаря.

— Александра!.. Сашенька!.. проснись!.. что, кошмар привиделся? Это ничего, это бывает. Все хорошо, сон есть сон... приехали мы...

Это Шалва Теймуразович.

А Рашель за ним молчит. Белей мела, до синевы, впору

наземь грянуться, да только крепка на ногах Княгиня, Дама Бубен; стоит, не падает.

Губу только закусила и — молчит.

...приехали.

Круг второй. НОЧЬ СУДНОГО ДНЯ

— ...Прекрасно!
Добро, колдун, добро, мой свет!
Теперь мне здесь уж безопасно,
Теперь избавлюсь от хлопот!

Опера «Киммериец ликующий», ария принцессы Тарамис

ПРИКУП

Вечер путался в кронах тополей, изрядно облысевших в преддверии ранних октябрьских заморозков; вечер шатался беззаботным пьянчужкой от дома к дому, от подъезда к подъезду и сбегал вниз, чтобы утонуть в садах Архиерейской Левады. Если дать себе труд взглянуть на топографические карты более чем полувековой давности, составленные милейшим господином Мочульским, — раньше здесь, от Дмитриевской церкви до Большой Панасовки, значилась лесная поросль, а также, согласно надписям на плане, болото, болото и еще раз болото.

Пока в центральной части не стали рушить древние постройки и сюда не хлынул поток переселенцев.

Превратив слободу в часть города.

Павел Аньянич шел по Екатеринославской улице в сторону центра, свернув от авраамитского кладбища к увеселительному парку «Тиволи»; он шел там, где раньше было вышеупомянутое болото, болото и еще раз болото, размышляя при ходьбе на разные темы.

Мысли эти приличествовали скорее члену Общества научной медицины и гигиены, учрежденному недавно профессором фон Анрепом, нежели господину облав-юнкеру, без пяти минут офицеру Е. И. В. особого облавного

корпуса «Варвар». Собственно, возвратившись из летних лагерей, Павел три увольнительных подряд провел на заседаниях одного из факультетов сего почтенного Общества, слушая доклады на интересующую его тему и после докладов терзая выступавших наивными вопросами.

Впрочем, ученым мужам в какой-то мере льстил интерес юного жандарма.

А четвертая увольнительная также не пропала даром — Аньянич тайком посетил авраамитское кладбище. Да-да, вот это самое, которое осталось за спиной, подмигивая шестиконечными звездами с надгробных памятников. И даже умудрился разговорить престарелого знатока Авраамова Закона, дремавшего на скамеечке близ могилы сына. Расскажи Павел в училище, как проводит часы досуга... Нет, собственно, никаких дисциплинарных взысканий за подобные куншткюки уставом не предусматривалось, и в карцере Павлу не сидеть, но удивленные взгляды искоса, а также пометка в личном деле были бы господину облав-юнкеру обеспечены.

— Эй, молоденький! Не проходите мимо!

Не ответив веселой проститутке, на миг высунувшейся из подворотни, Павел Аньянич машинально отдал честь спешащему по своим делам майору-артиллеристу и продолжил вечерний променад.

Наверное, это было смешно: его потуги разобраться в словах ученых-медиков и старого раввина, съевшего зубы на талмудических премудростях. Наверное? наверняка это было смешно. А еще смешнее было другое: безуспешные попытки Аньянича связать воедино несоединяемое.

Ну, например:

— Лейкоциты, а точнее, нейтрофилы и моноциты, — вещал с кафедры моложавый доцент в пенсне, ссылаясь на труды местного уроженца, какого-то профессора Мечникова, — обладают способностью к фагоцитозу...

— К фагоцитозу? — рискнул Аньянич шепотом обратиться к соседу справа, лысому толстяку с трагическими складками у рта.

— От латинского «фаго», то бишь «пожирать», — дружелюбно ответил толстяк, покосившись на молодого об-

лав-юнкера, уместного в зале не более, чем сам толстяк на занятиях по фортификации.

— ...они, подобно амебам, — доцент к этому времени успел еще трижды сослаться на земляка Мечникова и дважды подхватить на лету спадающее пенсне, — обволакивают инородные тела, бактерии, продукты распада тканей и переваривают их с помощью ферментов, пока сами не погибают от действия накопившихся продуктов распада. Скопление мертвых тканевых клеток, бактерий, а вместе с ними живых и погибших, так сказать, на боевом посту лейкоцитов — все это образует густую желтоватую жидкость; иначе — гной...

Покинув заседание, Павел Аньянич долго не мог избавиться от гулкого эха где-то на окраине сознания:

«...обволакивают инородные тела... пока сами не погибают... так сказать, на боевом посту... Гной!.. Гной..»

Разговор с раввином сложился куда проще, без латыни.

— Вы выкрест, молодой человек? — смешно растягивая гласные, поинтересовался старик и, получив отрицательный ответ, без перехода осведомился: — И шо вы думаете за погромы под Житомиром?

Из дальнейшей длинной и сумбурной речи раввина следовало, что погромы давно стали для него обыденностью. Авраамитов не любили нигде, частенько давая выход этой плохо объяснимой логически нелюбви — от костров в Картахене, ставших достоянием истории, до вышеупомянутых чугуевских погромов. Избранный народ, заключивший союз со своим мстительным и ревнивым божеством, платил за избранность давно и дорого.

— Можно сказать, что вы в Законе? — осмелился спросить Аньянич, чувствуя себя полным и клиническим идиотом.

В ответном взгляде раввина, под восковыми, прозрачными веками, промелькнуло дружелюбие — совсем как у давешнего лысого толстяка, знатока латыни.

— Молодой человек, вы жандарм, — меленько покивал старик, жуя губами. — А жандарм есть жандарм, не в обиду будь... да, можно сказать и так: мы — в Законе. Мы бережем свой Закон, лелеем и холим его; мы тщательно испол-

няем заветы, которые со стороны, снаружи, кажутся смешными и нелепыми пережитками прошлого... Мы — в Законе. Молодой человек таки попал в яблочко! И поэтому близ Чугуева снова летит пух из наших перин...

Покинув старика на его скамеечке, Аньянич долго вспоминал их обоих: раввина и доцента в пенсне. Удивительные мысли тревожили юношу, чужие мысли, неправильные, невозможные. Впервые господину облав-юнкеру довелось задуматься: действительно ли сам факт «эфирных воздействий» является реальной причиной отторжения магии обществом? государством?! Или все-таки причиной является некий Закон, Закон замкнутой, отличной от прочих группы людей, скрытый от досужих глаз Закон инородного тела, на розыск и уничтожение коего бездумно, рьяно кидается «моноцит» Павел Аньянич?! — даже рискуя превратиться в густую желтоватую жидкость; иначе — гной...

А если так, то можно ли допустить крамолу: дело не в «эфире», облыжно выставленном в качестве жупела для обывателей!

Дело совсем в другом!

В чем же?!

Словно в ответ на невысказанный вопрос, оркестр в парке «Тиволи» взял немыслимое «форте», заставив ворон откликнуться заполошным карканьем.

V. ФЕДОР СОХАЧ, или ДЫШЛО ЗАКОНА

> Я знал, что ты упорен, и что в шее твоей жилы железные, и лоб твой — медный; поэтому и объявлял тебе задолго, прежде нежели это приходило...
>
> *Книга пророка Исаии*

...Радостный, заливистый лай Трисмегиста. Гулко бьют полночь часы, и полночи остается только вздрагивать от каждого удара; во дворе шум, суматоха, лошадь ржет — не-

бось чужая, не хозяйская, дога испугалась! — голоса во дворе громкие, дневные.

Вгляделся Федор, не подумавши: где ж разглядеть ворота из окна спальни? на другую ведь сторону окно выходит! Однако же: разглядел. Воистину разглядел! Или спьяну да впотьмах померещилось?

Вот: въезжает в ворота княжья коляска. Вот: следом — пролетка извозчичья трюхает. А в первом-то экипаже на козлах — самолично Циклоп, полковник Джандиери! Рядом — Княгиня, белей известки (или это луна шутки шутит?!); позади на сиденье лежит кто-то не пойми кто...

Акулина?!

Как пружиной Федьку подбросило! Он тут, понимаешь, с Друцем водку калиновую пьянствует, а с женой тем временем невесть что приключается! Почему — лежит?! Почему — сам князь лошадьми правит?!

А едва вскочил — так разом и исчезло все: темное окно перед глазами. Звезды в небе колючками топорщатся, прямо в душу ткнуть норовят; луна на ущербе в стеклах отблескивает, ива старая шелестит у подоконника, грустит ветвями плакучими.

Только шум со двора никуда не делся.

Дневной шум; невпопадный.

Обернулся Федька к Друцу. Глядит; боится. Аж перекосило крестного, водку старый ром расплескал, наливаючи — а такого греха отродясь за Дуфунькой не водилось!.. Ой, Федор, карта чистая, глупая! Отродясь ли?! Помнишь: в Кус-Кренделе тмутараканском, когда Валета с Дамой на поселение определили? Вижу, помнишь. Кособочился тогда ром, хрустел суставами... Неужто — опять?! И к жене бежать надо, и с Друцем нелады, совестно бросать в одиночестве...

— У тебя что, шило в заднице, морэ? — хрипит Друц, губы в ухмылке растянуть силится; жаль, не хотят губы тянуться.

— Да вот, привиделось... с Акулиной нелады!

— Думаешь, ее привезли? тогда чего стоишь? розмар ту о кхам?![1] Беги, встречай!

---

[1] Разбей тебя солнце! (*ром.*)

— А ты?

— Что — я? Ну, прихватило старика... иди, иди, Федька, сейчас попустит! проходит уже... Ай, брось тугу-печаль! — не сдохну! рано мне еще! А может, и не рано...

Последние слова ром пробормотал еле слышно, одними губами; и Федор, уже ломившийся в этот момент к двери, так и не понял: послышалось? нет?!

* * *

Скорее! скорее! — бухает в груди сердце, и в такт бухают по лестнице Федькины сапоги (когда и впрыгнуть-то в них успел?!). Раздраженно хлопает за спиной потревоженная входная дверь. Вот они, экипажи, — два, как в комнате грезилось! коляска княжья и пролетка извозчичья! Сам господин полковник Княгине на землю спуститься помогает, а из задней пролетки отец Георгий выбирается и почему-то еще с ним Сенька Крест, кучер полковничий. Выходит, и тут все верно: самолично Джандиери коляской правил! Что ж это? как это? куда, откуда, зачем?! Друц говорил — никаких вещих снов, никаких видений, никаких финтов; неделя, может, две...

Не мог видеть!

Не должен!

А увидел...

Мечутся мысли у Федора в голове вспугнутыми нетопырями, пищат, норовят вцепиться — не отодрать.

Мечется свет фонарей по двору, в глаза кидается, норовит ослепить, свет тьмой сделать.

Спешит-торопится навстречу приехавшим матушка Хорешан, причитает по-грузински. Вроде бы и не должен Федор ее понимать, и не понимает, а все-таки догадывается: о чем ворона князю галдит. Виновата, мол! не уследила, мол! эти неудачники, молодой со старым, княжну-ласточку кататься увезли! да так укатали, что затемно вернулись! А княжна-ласточка умаялась, бедная! спит с тех пор без просыпу, царевна наша!..

Джандиери ей в ответ: здорова, мол, Тамарочка-то? ни-

чего лишнего не приключилось? устала? спит? ну и ладно, ничего страшного, слава богу: спит — и пусть спит! полно кричать-волноваться, матушка Хорешан! А с неудачниками, молодым и старым, он, князь Джандиери, строго разберется! пусть матушка Хорешан даже не сомневается...

Федору бы старуху дальше слушать, ан не слушает! и князя не слушает — к коляске спешит, мимо всех; подбежал, на ступеньку вспрыгнул, а навстречу жена любимая с сиденья встает, улыбается, улыбается, улыбается... да нет, и впрямь улыбается!

Только в глазах испуг запекся.

— Ты как, Сашенька?! (На людях — Сашенька, это святое!) С тобой все в порядке?

— Хорошо мне, Феденька. Если с тобой — всегда хорошо. Просто сон дурной приснился, и все дела...

Обнял Федор жену. На руки подхватил, будто в день свадьбы; лапы медвежьи ватой сделал, теплой колыбелью. Вздрогнул тайно: неужто одни им сны на двоих снятся? неужто — как раньше?! спросить?.. А если — нет? Если ерунда? пустяки?! Ведь только пуще любимую напугаю. Обожду, решил, ничего пока спрашивать-говорить не буду. Опасно ей волноваться, в ее-то положении. Да и вообще...

Что это за «вообще» такое-растакое, откуда взялось и куда выведет — сие осталось для Федора загадкой. Не успел додумать; кашель помешал. Не свой кашель, чужой, но знакомей знакомого.

Кус-крендельский кашель.

Обернулся.

Рядом прижимала платок к губам Рашель. Кашель сотрясал ее всю, и бородавчатая жаба подло булькала горлом, клокотала в груди, напоминая о временах, когда Княгиня подолгу мучилась бессонницей, надрывно кашляя студеными зимними ночами.

Нет, конечно, сейчас все было иначе. Приступ закончился, едва начавшись; Княгиня поспешно сунула скомканный платок в сумочку — и на ее бледном, присыпанном лунной пудрой лице мало-помалу проступило некое подобие румянца.

Стоял Федька, жену беременную на руках баюкал; мол-

чал растерянно. Да что ж это творится? Друц, Княгиня! — растолкуйте, разъясните! разведите беду руками! Встаньте за плечами, правым-левым! Эй, Валет Пиковый: сам говорил ведь — не дано силы после выхода! Ни крестным, ни крестникам. Почему я вижу лишнее?! слышу?! чую?! Почему ты пальцами хрустишь, а Рашелю жаба терзает?!

Ответьте, крестные! — вы в Закон выходили, вы в Закон выводили, вы все можете, все знаете, все-все...

Или без-Законное дело творится?!

Последняя мысль засела в голове ядовитой занозой. Раздражала. Мешала. Но дальше не шла и прочь не выдергивалась, только колола без толку. И из-за этой подлой мыслишки да еще, наверное, из-за темноты и выпитой водки Федор плохо видел. Плохо слышал. Плохо соображал, куда идет, куда несет притихшую на руках жену.

Ясно, что к дому, ну и ладно.

И когда прямо перед ним призраком возник белый силуэт — остановился. Ошарашенно помотал головой: кто? что? привидение?!

Здравствуй, княжна Тамара в сорочке кружевной!

Доброй тебе ночи!

Вот тогда только Федор испугался. Нечисти дурной, лешаков с кикиморами, призраков-мороков отродясь не боялся; да и веры особой им не давал. А тут... Вспомнилось недавнее: идет Тамара навстречу Акулине птицей хищной, в руке — нож серебряный, с ближнего стола подхваченный. Ведь если присохла, то с кровью оторвешь, с болью, с воплем сердечным! А тут Федор разлучницу на руках к дому несет! Что жену венчанную — до того ли безумице?! бросится! налетит! без ножа в клочья рвать начнет!

Далеко (не успеть!) что-то кричал князь, надрывалась карканьем матушка Хорешан — а Тамара все стояла. Смотрела на двоих. И такое чудо светилось на пепельно-бледном лице княжны, такое диво брызгало из византийского письма очей, что не выдержал Федька Сохач.

Взгляд отвел.

Отвел — и вдруг понял острей острого: не было ненависти во взгляде Тамары! страсти безумной не было; да и самого безумия!.. Стоит девушка, смотрит на молодую

чету. Завидует слегка: вот, им вдвоем хорошо, нашли друг друга, счастливы; а я все одна да одна... тоскливо ведь — все время одной-то!

— Добрый вечер, Александра. Добрый вечер, Федор. Почему шум?

— Гости, Томочка! гости, хозяева! вернулись, сейчас ужинать станем, песни петь... — Наверное, Федор еще долго нес бы околесицу, хлопая ресницами, если бы не жена любимая.

Маленький у нее кулачок; твердый.

Хорошо таким под ребра тыкать.

Вот и тыкает.

— Странно. — Тамара помолчала. Медленно огляделась по сторонам, будто впервые здесь оказалась. — Вроде бы помню все... и не помню. Словно спала очень долго; теперь проснулась. Все какое-то новое... непривычное...

А у Федора в голове голос Друца бубнит издали виновато:

«Я... Федька, я же хотел как лучше... Понимаешь, Федька... я за тобой хотел... А она... Понимаешь?»

Ничего не понимает Федька. Ничегошеньки. Лишь сердце сладко замерло на миг в предчувствии небывалого: хотел как лучше, баро? хотел? или сделал — как лучше?!.. Ай, ходи, чалый, скачи, чалый, без конца-начала!..

Тут сам Друц возьми да и объявись: легок на помине! Видать, попустило рома. Уставился на Тамару, будто и вправду Ночную Бабу увидал; перекрестился раз, другой.

А княжна возьми обернись.

— Зачем же вы меня, — говорит, а сама улыбается чему-то, — Ефрем Иванович, одну там оставили? Я уж вас ждать отчаялась. Терпела-терпела, пока ОН не пришел и огонь не потушил. Вы знаете, Ефрем Иванович, едва вы ушли, мне сразу вдвое больней стало! втрое! вдесятеро! Я и не знала, что так бывает...

— Я... — У Друца аж язык отнялся. — Не мог я, княжна, милая! не мог! Я бы остался, если б моя воля!.. казните вы меня, дурака старого!

И на коленки перед ней: бабах!

Друц, вольный ром, — на коленки?!

— Встаньте, встаньте, Ефрем Иванович! Не корите себя! Все ведь хорошо закончилось. Это я вам еще «спасибо» сказать должна! ОН, когда огонь тушил, сказал...

А сама рядом, напротив, и тоже на коленки!

Откуда только все набежали: тут тебе и Шалва Теймуразович подхватывает, и матушка Хорешан каркает, и Княгиня успокаивает, и отец Георгий увещевает, и прислуга галдит наперебой!

Не дали Княжне договорить.

Не дали Федору узнать: кто такой ОН и что ОН княжне сказать успел.

— Тихо!

Это князь, командирским голосом.

А дальше, уже в тишине, строго-настрого велел Джандиери всем спать идти. Время, мол, позднее, все устали, пора и честь знать. Утро вечера мудренее.

* * *

Спать не хотелось.

Отнес Акулину в ее комнату (дом большой, покоев на всех хватило и еще осталось). Раздеться помог, одеялом укрыл; поболтал с женой о всякой всячине. О главном, что сегодня — вернее, уже вчера — случилось, говорить боялись; обошли сторонкой, по молчаливому согласию. Вместе за княжну Тамару порадовались, пожелали ей светлого разума на веки вечные; трижды сплюнули через левое плечо, чтоб не сглазить. После еще и за плечо, куда плевали, глянули: нет, никого там не стоит... ну и ладно, привыкнем.

И пошел Федор к себе. Ибо для утех постельных давным-давно все сроки вышли, жена на сносях...

У себя стряхнул с кровати хлебные крошки, оставшиеся от бестолковой полуночной пьянки. Вынул портсигар, закурил. В голове прояснилось окончательно, хмель сгинул — куда уж тут спать!

Стал комнату из угла в угол шагами мерить. Стал дым колечками (как Княгиня! — кольнуло непрошено...) в потолок пускать. Стал мысли разные-несуразные в голове

перебирать. Мысли перебираться не желали, разбегались мышами, додумать до конца ни одну не выходило. Федор даже разозлился на самого себя: вот ведь орясина, лешак таежный, думать — и то за эти годы не научился!

Прав был Дух: ничего своего, все — чужое!

Взаймы!

Остановился. Окурок в пепельнице смял, затушил. Перестал ногами по полу топать — и разом голоса услыхал. Внизу, в саду; рукой подать. И голоса-то знакомые: один — Друцев, другой — отца Георгия!

С детства знал Федька: подслушивать — дурно.

Жене сколько раз выговаривал.

А тут как в спину толкнули: подкрался на цыпочках к подоконнику, створки пошире распахнул...

— ...ай, бибахтало мануш, кало шеро![1] Не сообразил я, башка пустая! Ясное дело: пока один крестник в Закон не вышел, другому вовек не бывать! А княжна бедная места себе не находит, с ножом к горлу подступает: спаси Феденьку! ты можешь, ты колдун! Она-то к нему, к Федьке, присохла, а Федька, вишь, брык — лежит колодой. Да ведь девка любой грех над собой сотворить могла! без ума ведь девка...

Гитара взяла аккорд, другой — сухие, ломкие, не аккорды, сучья мертвые. Наконец тренькнула обреченно:

— Ну, я и решился.

— Княжну! в крестницы! взять?! — ахнул под окном отец Георгий.

И Федька ахнул.

Только про себя, молча.

— Да, отец Георгий! Да! А куда деваться?! Взялись мы за руки, горим в огне Договорном. Молодцом княжна держалась, скажу я вам! всякому бы так! — и тут меня волоком! прочь! Вот он я, ром сильванский, Валет Пиковый! — безумную девку одну бросил в огне гореть!..

Замолчал Друц.

---

[1] Неудачник, черная голова! (*ром.*)

Лишь гитара всхлипывала прерывисто, виновато, словно жаловалась без надежды.

— И... что? Да не тяни ты жилы, Валет, бога ради! — Батюшка явно пребывал в изрядном волнении.

— Ничего, отец мой. Ничего. Едва обратно откинулся — сразу к ней. Догореть, вместе. Или вытащить. Ан нет, не могу! не пускает! она там, я — здесь! Ай, что делать, не знаю! Стоит княжна, глаза закрыты, рука — как лед. Горит! сама!..

Гитара вскрикнула раненой птицей: умолкла.

— А стали мы ее с Федькой в коляску сажать, она возьми и очнись! «Сгорело там все, дотла, — говорит. — Поехали домой». Ясно говорит; не заикается. Совсем. Потом заснула. А дальше... дальше вы сами все видели, уже при вас было.

Снова поползли по ночному саду растерянные, хмельные, спотыкающиеся переборы гитары.

Молчал Друц, молчал отец Георгий.

Долго молчали.

— Чудо, отец Георгий? может, чудо, а?! — наконец раскололась тишина.

И столько просьбы, столько отчаяния было в этом вопросе — ну кивни! согласись! — что Федора у окна озноб пробил.

— Может, и чудо, — задумчиво протянул священник. — А может, и нет. Тут крепко думать надо. И в первую очередь — мне. Не как иерею церкви; как «стряпчему», Десятке Червей. По Закону ли вышло? был ли Договор? не был?! Не случалось раньше такого, чтоб крестнику — одному гореть. Понять бы...

Отец Георгий разговаривал уже сам с собой:

— Боюсь я таких чудес, Дуфуня. Куда ж Дух Закона смотрел? Или все правильно, а я зря...

Убежал тут от Федьки озноб.

Испугался.

Потому что на собственной шкуре ощутил Федор Сохач, что такое «озарение».

Ведь отец Георгий — не просто священник и даже не просто маг в законе! Он — «стряпчий»! А «стряпчий», он

никому соврать не позволит... Будь ты хоть сам Дух Закона! Ведь мог же этот Дух их с Акулиной обмануть? запугать? запутать?! Еще как мог, у себя-то дома, со всеми его воробьями-пауками-паутинами! Почему для них Договор — не как у всех?! Почему: только с детьми собственными?! Да еще и без согласия?! А ежели Дух сам же свой Закон нарушил — значит, можно его, Духа этого, через «стряпчего» к ответу призвать, переиграть все, чтоб по справедливости!

По справедливости!..

...земля больно толкнулась в босые пятки.

Еще бы: со второго этажа в ночь прыгать...

Плевать!

* * *

Ночная роса скатывалась со стеблей травы; зябко щекотала ноги. Тьма подкрадывалась сзади, прохладными ладонями закрывала глаза. Морочила, шутки шутила: угадай! кто? где? Хорошо, лунный серпик вспорол набежавшее облачко, сунулся рогом наружу. Указал: вон они.

За столиком, под дубом-великаном.

Шаг сделал Федька.

Два шага сделал Федька.

Кричать-окликать нельзя ведь, весь дом переполошишь, матушка Хорешан тогда ногами затопчет... Три шага сделал Федька, и даже четыре.

А на пятом увидел ясно-ясно: не двое людей за столиком сидят. Две карты на столе ломберном, на зеленом сукне, которого здесь не стелили никогда, плашмя лежат. Валет Пик и Десятка Червонная. Засаленные обе, вытертые; у Валета уголок надорван. Теперь за ним, за Федькой Сохачом, дело — иди, шлепнись поверх чистой картой, ляг своей-чужой волей... Проступит сквозь белизну невесть что: Девятка? Туз? шут-Джокер?! И уйдут три карты в глухой отбой, чьей-то взяткой лягут сбоку, чтобы потом вертеться в колоде-паутине до скончания веков, аминь!.. ну что за дурацкие видения иногда по ночам случаются?

Как сквозь толщу воды, издалека пробилось: Друцева

гитара. Поперхнулась, захлебнулась; увязли струны в корявых, разом отнявшихся пальцах. Пошли бором переборы, заблудились, пали в омут...

Слышишь:

— С пальца сорвалась струна,
Плакать не хочет она.
Я и гитара — мы
Кажемся старыми,
Наша ли в этом вина?..

Твое ли это, парень? чужое? краденое?!

— Федор? ты? Да что ж ты делаешь...

И резко, не обычным, тихим голосом исповедника, а вскриком, больше похожим на удар ромского кнута:

— Лови!

Рожок луны ткнулся наискосок — посмотреть! — и словно пригоршня слез пролетела от отца Георгия к Федору. Сверкнула россыпью капель, расчертила темноту брызгами...

Не глядя, одним чутьем лесовика, памятью прошлого Сохача из утонувшей в снегах деревеньки, протянул Федька руку. Взял из черной прохлады слезинку-другую; в кулаке зажал. Как чистую карту там, на Духовой полянке, — не отнять! не вырвать!.. Горячо в кулаке стало; жарко. Потускнели карты на столе ломберном, на сукне зеленом. Где Десятка Червей, где засаленная? Где Пиковый Валет с уголком надорванным? Померцали еще чуточку и ушли в никуда.

Сгинули.

Сидит за столом Друц раскорякой, поясницу ладонями мнет. Морщится: шиш достанешь! больно! А надо!

Сидит за столом отец Георгий, епархиальный обер-старец; спина прямая, а на лбу капли пота — бисером. Шибко, видать, испугался батюшка, а чего испугался и как от страха отбился — того не понять.

Разжал Федька кулак. Получилась ладонь. Такая, как у Друца: лопатой. Только побольше чуток, поухватистей. А на ладони, от линии жизни до бугра Венеры, — пепла ниточка.

Еще теплая.

Дунул ветер, лизнул шершавым, мокрым языком... Вот и нет пепла. Унесся в ночь. Сгинул. Пал в траву росную, стал грязью.

Пришлось сделать оставшиеся шаги: с пятого по семнадцатый. Встал Федор у столика, губы сжал. Молчит. Все слова, какие нес про запас, растерял по дороге. Не пепел у него ветром с ладони унесло — слова отгоревшие.

О чем говорить? что спрашивать? чего требовать?

Бог весть...

А отец Георгий на свой правый мизинец глядит. С грустью. На безымянном-то пальце аметист густой сиренью налился, зато на мизинце — пусто. Не как раньше. Раньше там колечко было: сапфир в окружении бриллиантовой мелочишки. Оправа из платины. Славное такое колечко, скорее уж барышне под стать, чем святому отцу.

Было; сплыло.

— Попустило?

Это отец Георгий у рома спрашивает.

— Слава богу, батюшка... Легче теперь.

Это Друц.

— Эх, Дуфуня ты, Дуфуня! Глянь на своего крестника, коего ты с Княгиней не пойми как делил!.. ну глянь, глянь, чего в землю уставился! Не понимаешь? Эх, ты... да он же финт на тебя, на крестного, заворотил! Вот и схватило тебя, битого-трепаного...

Поймал Федор взгляд Друцев. Будто колечко священническое — на лету. Страх в том взгляде, и тоска-печаль, и восторг, и вопрос; и слезы — россыпью.

Блестят под луной.

Сожми в кулаке — пепел останется.

— ...нет для вас в Законе крестников; нет и не будет. Срослись, переплелись ваши судьбы, ваши души, ваши — и Друца с Рашелью; не пустите вы никого больше в этот круг. Захотите, молить станете — а не сможете через себя переступить. Закрыты для вас ворота Договора; но калитку оставлю...

— Ай, Федор! Ай, морэ! Ай, рай-клыдяри![1] Отец Георгий, пошутили — и будет!

— До шуток ли, Дуфуня? Ты, если жеребца краем глаза узришь, — не спутаешь дончака с орловцем?

— Вот и говорю: шутник вы, батюшка! Я? Валет Пиковый, лошадник закоренный?

— А я хоть и не Валет, а Десятка, тоже не спутаю.

— Жеребца?

— Жеребца. Вон он стоит, жеребец твой. Пусть по масти я редко работаю, пусть сан принял, рукоположение... «Стряпчий» я, Дуфуня. Я такие вещи вижу. Просто вижу, и все тут. Понял?

Перевернулся в небе лунный серпик. Катается колыбелькой из червонного золота. В кроне дуба птица спросонок завозилась, пустила трель да сбилась. Сверчки на лихих скрипочках плясовую наяривают. Комары текут малиновым звоном. Спроси: «В каком ухе звенит?» — и сам себе ответь: «В обоих».

Ночь на дворе.

Воровка на доверии.

Откашлялся Федор. Спросил шепотом:

— Колечко... Батюшка, зачем кольцо-то бросали?

Не сразу ответил отец Георгий.

Ох не сразу.

— Жалко мне колечка, Федор. Долго на него копил. Скажешь: куркуль я? скряга? Скажешь — и промахнешься. Был я, Федор, крестником самого Иллариона Полтавского, да не вышел мастью: дальше Десятки не шагнул. А там и вовсе решил от греха подальше... Завязать я решил. Совсем. Навсегда. Слабый я маг, Федор, а в остальном — поразному. Хвалиться не хочу, да только не год, не два без финтов прожил. Обручами сердце сковал, рассудок в тиски зажал, себя себе подчинил. И понял: не выдержу до конца. Сорвусь. А без крестника... сам понимаешь.

Понимает Федор.

Встало в нем сном-памятью — своим ли? Акулькиным?! — к горлу комом подкатило:

---

[1] Барин-взломщик (*ром.*).

— Сказку про верного слугу помнишь, Акулина? Который сердце обручами сковал... Лопнут скоро мои обручи. Не могу больше силу мажью в себе держать: наружу просится, выхода ищет. Молчи, милая! знаю: не один я такой! Сожжем мы себя, не удержимся... Пора Договор заключать.

— Может, обождем? привыкнем, перетерпим... Ведь дети же! наши дети! маленькие они еще!..

«Дети же! наши...» — отдалось в чернильном небе, ударило в звездные колокольцы; и эхом по земле: «Не могу больше!.. не могу...»

Ах, Федор, все ты понимаешь, да не все принимаешь.

— Я тогда, будто в сказке, — тихо продолжил священник, — пошел туда, не знаю куда, нашел то, не знаю что. Но — нашел. Бывает, что маг в Законе и без крестника финт завернет. Мало кто об этом знает, а кто знает — много ли толку? Вот он, рецепт. Гляди!

Ткнул отец Георгий рукой в Федора. Безымянным пальцем пошевелил. Запели искры в аметисте, в золоте перстня. Откликнулись сверчки в траве: и мы! и мы тоже!

— Вместо крестника можно финт на камень бросить. Всякой масти — свой камень. Нам, Червонным, — сапфир с аметистом, александрит опять же, а если бриллианты, то мелкие. Бубновым козырям больше рубины подходят; Пикам — изумруды с топазами; Крестовым магам — крупные бриллианты, особенно для «трупарей» и «видоков».

— Батюшка! — аж задохнулся рядом Друц. — Дадынько!..[1]

— Что — батюшка? что?! Вон, твой Федька: мелким финтишкой кучу деньжищ в один присест... В пепел! Где ты столько камней напасешься, чтоб на целую жизнь без крестника хватило?! Хоть в казну к державе заберись... А ты: батюшка! матушка!

Никогда не видел Федор священника таким. Молодым. Гневным. Страстным. Как из давних лет поднялся: Гоша Живчик, маг в законе, что решил от Закона отказаться.

---

[1] Батюшка (*ром.*).

Слабый козырь с железным сердцем. Умница; несчастный, гордый человек.

Иди, Федька, целуй руку, спасшую тебя с Друцем волшебным колечком!

Ну?

ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ

Помнит Гоша Живчик: было когда-то в глазах Червонного Короля, Иллариона Полтавского, стряпчего из стряпчих, к кому большие люди — и то через третьи руки обращались... Ах, да что там! Ведь было:

...дагеротип.

Женщина средних лет. Никак не красавица; но мила. Взгляд тихий, прямой. Светлые волосы на затылке в узел забраны; лишь два локона по вискам. Сидит в кресле, на коленях кошка. За спиной, на стене — картинка: лес по склону горы.

Жаль, живой не встретилась.

Опоздал.

* * *

Только вместо поцелуя другое Федьке на язык вывернулось:

— Тяжба у меня, «стряпчий»! У меня, мага в законе, козыря безмастного, — тяжба! Возьмешься за дело?

Снова мелькнуло: лежит на столе Десятка Червонная.

— Тяжба? у тебя? С кем же?!

Помолчал Федор Сохач, прежде чем ответить.

— С Ним, — сказал.

— С кем — с ним?

— С ним. С Духом Закона.

— ...что ж ты, Феденька, без меня в огонь суешься? Батюшка, ну хоть вы ему напомните: в беде, мол, и в радости...

Ох, Акулька! жена любимая! и когда подкрасться-то успела?!

А отступать некуда.

> Какое безрассудство! Разве можно считать горшечника, как глину?
>
> Скажет ли изделие о сделавшем его: «не он сделал меня»? и скажет ли произведение о художнике своем: «он не разумеет»?
>
> *Книга пророка Исаии*

— ...Итак, суть иска: нарушение Духом Закона условий Договора, неправомочное наложение ограничений на заключение Истцами дальнейших Договоров, что подвергает опасности здоровье и саму жизнь как Истцов, так и их бывших учителей, а также подстрекательство к нарушению Закона в виде заключения Договоров с несовершеннолетними без их на то согласия. Правильно ли я понял суть иска, господа Истцы?

Вот ведь изложил! Сразу видно стряпчего, да в придачу обер-старца!

Мне бы так...

— Все верно, отец Георгий... ой! Или как вас теперь называть?

— Не имеет значения. Если угодно, до окончания тяжбы зовите меня «господин стряпчий» или «Ваша беспристрастность». Итак, госпожа Сохатина Акулина Филатовна согласна с формулировкой иска. Согласны ли вы, господин Сохатин Федор Федорович, с этой формулировкой?

— Да, господин стряпчий.

Прямо как в церкви на венчании!

— Истцы требуют пересмотра Духом Закона своего решения и возвращения им незаконно отобранной возможности заключать дальнейшие Договоры согласно стандартной процедуре; а также устранения вредных влияний их рефлекторно-магических действий на их бывших учителей, поскольку срок Договора с последними в настоящий момент истек. Господа Истцы, вы подтверждаете свои требования?

— Да, господин стряпчий.

— Подтверждаем.

— Я, маг в законе, Десятка Червей, стряпчий Радциг Георгий Эммануилович, берусь вести это дело по поручению Истцов, призвать к ответу вышеупомянутого Духа Закона и добиться справедливого решения. Обязуюсь вести дело беспристрастно, основываясь лишь на фактах, Законе и правдивых показаниях сторон, ибо лгать в присутствии стряпчего, находящегося при исполнении обязанностей, не имеет возможности никто. Подтверждают ли Истцы мои полномочия?

— Подтверждаем.

— Подтверждаем, Ваша беспристрастность.

* * *

Только сейчас я замечаю: на лбу у отца Георгия проступили мелкие бисеринки пота. Скулы отвердели, налились каменными желваками, глубокими порезами залегли носогубные складки, отчего лицо стало много старше, с налетом некоего безумия. А глаза... глаза уже смотрели куда-то мимо нас, мимо сада, мимо темной усадьбы — словно Ихняя беспристрастность был далеко отсюда и видел нечто недоступное нам.

Впрочем, так оно, наверное, и было.

А еще вокруг головы господина стряпчего призрачным нимбом дрожал, тек искрящимися струями воздух, и голос отца Георгия отдавался в ушах гулким эхом, какого никогда не бывало в дачном саду! Будто бы слова падали в замкнутое пустое пространство, чтобы спустя мгновение возвратиться обратно искаженными отголосками.

— Итак, полномочия подтверждены. Данной мне по Договору властью я начинаю тяжбу: Истцы, супруги Сохатины, маги в законе, — против Ответчика, Духа Закона. Истцы на рассмотрение дела явились. Призываю Ответчика, Духа Закона! Явись!

Отец Георгий не двинулся с места, но померещилось на миг: взлетели вверх в повелительном жесте две призрачные руки, вспыхнули огнями св. Эльма — и что-то треснуло, сдвинулось в мире, что-то тайное, но вполне ощутимое.

А потом я увидела его.

Духа Закона.

И разом мне дурно сделалось. Замутило.

Что за напасть?! Когда в Закон выходили — даже не вспомнила ни разочка, что в тягости нахожусь. А сейчас навалилось: голова кружится, подташнивает, коленки ватные. Говорят, это у всех, кто в тягости...

Или это Дух проклятый на мне отыгрывается?!

Ф-фух, попустило чуток. Глаза б мои его не видели, заразу! Отвернуться хочу — ан не выходит. Взгляд сам к нему возвращается, будто собачка на привязи.

Не такой он сегодня был, как в прошлый раз. В сюртуке сером, мышастом, в брючках узеньких, того же колеру; на ногах — башмаки старинные, с пряжками-бабочками (как бы не серебряными!); а лысина вроде поменьше стала, остатки волос зачесаны аккуратно. У сюртучка рукава куцые, лапы Духовы из них торчат едва ли не по локоть; а на руках — мама моя родная! — кандалы! Кто же его заковал-то? Или — сам себя?

Зато нос прежний: сизый, бугристый, прыщеватый... Тьфу!

Отвернулась-таки, сумела.

От злости, должно быть.

— Я явился, Ваша беспристрастность. Готов к даче показаний.

Вежливо говорит, по протоколу — а все едино: издевки строит! Съехались на дачу, для дачи показаний!..

— Господин Ответчик, здесь не уголовный суд. Извольте прекратить паясничать и снять ваши кандалы, — холодно отвечает Ихняя беспристрастность. Я мысленно аплодирую отцу Георгию. Так его, прощелыгу, нечего над людьми глумиться!

Кстати, а где это мы?

Оно, конечно, неприлично в присутственном месте головой по сторонам вертеть — но удержаться не могу!

Верчу.

Точно, присутственная зала; была я в такой однажды. Стены на полторы сажени деревом лакированным обшиты, выше — ровная побелка безо всяких украшений; ок-

на — строгие, узкие. Что за окнами — не разберешь, муть кисельная. Позади нас — дверь. Дверь распахнута настежь, и там, снаружи, тихонько шелестит под ветром темная зелень дачного сада. Лунные блики высвечивают столик, кресла плетеные — и Друца с Рашелью: стоят они плечом к плечу, через дверь на нас смотрят. Ой, когда это Княгиня объявиться успела?.. Видно, тоже не спала, услыхала разговор. То-то ее кашель на части рвал, едва у меня или у Феденьки финт случайный пробивал, мимо воли. Да ведь мы же чуть не убили их, бедненьких!

Ну, Дух, сейчас за все ответишь!

Мельком бросаю взгляд на господина Ответчика. Дух сидит на вытертой до блеска дубовой скамье с высокой спинкой. Никак скамья подсудимых? А «браслеты» с его рук уже исчезли. Притворщик несчастный! Господин стряпчий, покажите ему, шуту гороховому, где раки зимуют!

Где вы, Ваша беспристрастность?

Оказывается, господин стряпчий уже некоторое время что-то говорит, стоя за кафедрой, — а я начало речи ушами прохлопала, пока по сторонам глазела! Тут наша судьба решается, а я...

Все, слушаю!

— ...с несовершеннолетними без их на то согласия. Итак, что вы можете сказать по существу выдвинутых против вас претензий и обвинений Истцов?

— Ваша беспристрастность, позвольте мне начать с последнего обвинения, как самого легкого. Речь шла о возможности заключения Договора Истцами с их же будущими детьми, без согласия последних. Я правильно понял?

Дух совершенно серьезен, но меня не покидает ощущение, что про себя он все время язвительно посмеивается. Неужели он настолько уверен в себе?!

— Совершенно правильно, господин Ответчик.

— В таком случае позвольте напомнить вам, господин стряпчий: согласно законодательным нормам, в том числе и принятым у вас, родители до совершеннолетия детей являются их опекунами и полномочными представителями. И следовательно, в качестве опекунов имеют право заключать договоры на обучение от имени опекаемых, не спра-

шивая на то согласия последних, как особ юридически неправомочных. Я прав?

Стряпчий молчит. Он молчит так долго, что тишина в присутственной зале успевает сгуститься, обрести объем и плоть, превратиться в рой беззвучно звенящей мошкары, окруживший нас со всех сторон. И лишь когда тишина наконец становится невыносимой, когда я готова топнуть, крикнуть — сделать хоть что-нибудь, нарушив тягостное молчание! — в этот момент отец Георгий наконец разлепляет тонкие губы:

— Вы правы, господин Ответчик.

— В таком случае, Ваша беспристрастность, не понимаю, в чем суть претензии господ Истцов? Чем, с юридической точки зрения, заключение рассматриваемого нами Договора отличается от заключения договоров иных? А если принципиальных отличий нет, то заключение Договора Истцами на своих собственных детей от имени последних является абсолютно законным. По сути, речь идет всего-навсего о праве наследования...

Молчание. Однако на сей раз куда более короткое.

— Господин Ответчик прав. Данная претензия снимается.

Снимается?! Где справедливость?! Детей, не спросивши, за руку — и в огонь! Он не имеет права! Я сейчас...

Однако раскрыть рот я не успеваю. Меня опережает Дух Закона. И наверное, это к лучшему, — понимаю я с опозданием. Слово сказано. Стряпчий *беспристрастен*. Он ни на чьей стороне. Он — на стороне Истины.

Вот только нужна ли нам эта Истина?..

— ...Теперь позвольте мне перейти к ответам по остальным пунктам предъявленных претензий. Или обвинений? — Дух хитро щурится. — Впрочем, не важно. Итак: меня обвиняют в незаконном ущемлении прав Истцов, выраженном в наложении ограничений на их возможность заключать новые Договора. Признаю, ограничения действительно имеют место быть, и наложил их именно я. (Ага, признался! не выкрутишься!..) Однако утверждаю: накладывая вышеупомянутые ограничения, я находился в своем праве

и действовал в соответствии с Законом, что берусь доказать.

Дыхание господина стряпчего становится тяжелым и частым. Он прикладывает ко лбу платок, утирая выступающий пот. Словно почувствовав мой взгляд, отец Георгий оборачивается, выдыхает одними губами:

— Трудно идет. Еле-еле справляюсь, господа. — Это он нам обоим: Феденька-то рядом стоит, меня за руку держит. — Не знаю, хватит ли сил довести дело до конца. Очень мощное давление. Того и гляди, выбросит. Но я постараюсь, господа, я очень постараюсь!..

Чует кошка, чье сало съела! А еще Дух Закона называется! Понимает, тварь склизкая: загнали в угол! — вот и пытается заставить нас отступиться. На меня дурноту нагнал, на господина стряпчего давит. Шиш тебе! выкуси! Придется тебе обратно все переигрывать, по справедливости!

Глянула исподтишка на мужа: насупился ненаглядный, набычился, пальцы на правой, свободной руке в кулак сожмет-разожмет — будто перед дракой разминает. И не скажешь, что модный поэт, потрясатель душ и сердец. Чисто кулачный боец из Заиковки перед схваткой. Только схватку ту за нас Ихняя беспристрастность ведет. Вот ведь мука мученическая — ни словом острым отбрить, ни по шее дать: стой да слушай, как за тебя твою судьбу решают! А господину стряпчему еще трудней, ему на себе всю тяжбу тащить, а тяжба, по всему видать, тяжкая выходит. Ты уж, пожалуйста, выдюжи, миленький, очень тебя просим!

— ...История эта долгая, господин стряпчий и господа Истцы. Началась она... ну, чтоб не соврать — хотя врать в присутствии Вашей беспристрастности дело пустое! — так вот, началась она почти четыре века тому назад. И чтобы доказать правомочность своих действий, мне придется начать с самого начала. Итак...

Время тянет, кочерыжка плешивая! Думает, мы тут четыреста лет спорить будем! Отец Георгий, держитесь! На вас вся надежда. Скажите только, чем вам помочь, — мы что угодно...

Ничего не сказал отец Георгий. Лишь слегка ладонью повел: молчи, рыба-акулька! молчи и слушай.

Молчу.

Слушаю.

На Ихнюю беспристрастность не гляжу больше — тошно видеть, как человек мучается! последнее отдает!

— ...к сожалению, сын этого мага оказался бесталанным. (Опять что-то прослушала!) Не имел он склонностей к тайным искусствам, и отец напрасно наставлял его в сих премудростях, заставляя ночи напролет корпеть над книгами. Да-да, господа, не удивляйтесь...

Дух Закона встал. Прошелся туда-сюда по присутственной зале, заложив за спину руки, смешно торчащие из куцых рукавов сюртука.

Остановился напротив, покачался с пятки на носок:

— Во времена столь отдаленные, господа, магические знания передавались от учителя к ученику... от *настоящего* учителя к *настоящему* ученику! — обычным путем. Подобно любым другим знаниям. Но для того чтобы учить и чтобы учиться, тоже нужен талант. Некий дар свыше, предрасположенность — называйте это как хотите; а сын великого (не побоюсь этого слова!) мага был лишен сего дара! Да и из отца учитель был, честно говоря, не очень, — добавил Дух грустно и снова надолго замолчал, меряя шагами залу. Тихо поскрипывали диковинные башмаки с пряжками.

Странно: отчего мне больше не кажется, что он тянет время? Заворожил, гадюка?!

— ...не всякий Мастер может быть Учителем; хотя любой Учитель обязан быть Мастером, — пробормотал Дух себе под нос, забыв про нас.

И вскинулся:

— Так о чем это я? Ах да! Короче: никак не мог тот маг передать свои умения сыну. А хотелось — вы себе представить не можете, до чего хотелось! Обида брала: мое детище, плоть от плоти — бестолочь, бездарь?! Люди, опять же, за спиной насмешки строят... Именно тогда родилась идея Договора. По которому учитель всего себя мог бы передать ученику напрямую, независимо от способностей обоих.

А там хоть трава не расти! Пусть не всего себя, пусть бóльшую часть. Ну, будет сын слабее отца, условно скажем, на четверть или на треть — это все равно много, поверьте! А по теперешним меркам: немыслимо много!.. Если бы тогда у мага-отца, кроме познаний в тайных искусствах, хватило бы еще обыденной мудрости и прозорливости... Не хватило!

Дух внезапно упал на свою скамью. Закрыл лицо руками, умолк. Кажется, он плакал. Беззвучно, безнадежно — только плечи под мышиным сюртуком вздрагивали мелко.

Однако, когда он отнял ладони от лица, глаза его были сухими.

— Оставим, господа; это личное. Не буду рассказывать, какие стихии были вовлечены, чем клялся и что принес в жертву маг-отец, — тем более что сейчас это уже не важно и к данной тяжбе отношения не имеет. Главное, несчастный получил что хотел! Он создал Договор; сорвал яблоко с запретного древа. Но, к сожалению, понял это слишком поздно... Впрочем, я отвлекся. Пора переходить к сути, — прервал сам себя Дух. — Первый Договор был заключен, и вскоре маг-отец начал замечать перемены в своем сыне. Быстрое овладение знаниями, ранее недоступными — да! — но этим перемены не ограничивались. Все чаще казалось отцу: глядя на сына, он смотрится в зеркало. Слегка кривое, по краям засиженное мухами... Год шел за годом — и наконец срок Договора истек. Сын получил все, что насильно впечатал в его душу, изрезав ее тайными ходами, проклятый Договор, — и сын ощутил пустоту! Он многое умел, многое мог, но... он был не в силах воспользоваться приобретенным! Потому что вошел в порочный круг нового Закона! Теперь ему самому нужен был ученик по Договору — иначе отцовский оттиск, не имея основы, сжег бы его изнутри!

Дух подошел к окну.

Привстал на цыпочки, пытаясь выглянуть наружу, но, похоже, ничего рассмотреть ему так и не удалось. Старчески шаркая башмаками, проследовал обратно, к скамье.

— Дальнейшее можно опустить. Закон распространился в магической среде быстрее чумы. Еще бы! Гарантиро-

ванно обрести мастерство, не прилагая к тому усилий! Пускай часть дара просыплется сквозь пальцы! все равно — кто откажется?! А с другой стороны: подготовить вполне достойного ученика, не тратя времени на монотонные уроки, а занимаясь вместо этого собственными изысканиями! Ну да, ну да, ученику не достичь уровня учителя — но многие ли готовы признать превосходство собственного ученика над собой?! А здесь первенство наставника безусловно. Все довольны!.. кроме одного. Кроме создателя Договора: слишком поздно осознал он дело собственных рук, осознал — и ужаснулся!.. Впрочем, я опять отвлекся. Вернемся к нашим баранам; к нашей маленькой тяжбе. Смотрите!

Дух Закона провел рукой в воздухе перед собой и... исчез!

Странно: мне даже в голову не пришло, что он мог попросту сбежать. И остальным, кажется, тоже. Не мог. А если и мог — не стал бы.

* * *

Вместо Духа на том месте, где он стоял, прямо в воздухе возникло туманное покрывало, вроде экрана синематографа перед началом картины. И тут действительно пошли картинки! Да так отчетливо и взаправду, как никогда не бывает в самом лучшем синематографе!

ЦВЕТНЫЕ!

У меня снова голова закружилась: вот-вот упаду прямо в картинки! Вцепилась я в Феденькину руку покрепче; стоим смотрим.

Сперва на покрывале возник солидный, седоватый, но еще не старый господин в белой рубашке, жилетке и при «бабочке». Господин сидел за столом, заваленным бумагами, и быстро делал какие-то пометки в блокноте. Сперва мне подумалось: это он, маг-отец, что Договор придумал. Подумалось и сразу раздумалось обратно: никакой он не маг на самом деле! Он — крупный финансист, владелец банка.

Зачем нам Дух про банкира показывает?!

На картинку наслаивается, проступает сквозь нее дру-

гая, не живая, а словно нарисованная: деньги, деньги, много денег; ассигнации, золотые монеты. Но деньги не лежат в мешках или сейфах: на них строят заводы, корабли, машины... деньги работают... надо же!

Я всегда думала, что работают люди...

Тем временем рядом с солидным господином появляется мальчик: пухлый, не по-детски серьезный, тоже в белой рубашке, отутюженных черных брючках, жилетке и при «бабочке». Сын. Садится напротив отца, и тот начинает ему что-то втолковывать. Сын слушает, иногда кивает и делает пометки у себя в тетрадке.

Потом время начинает бежать быстро-быстро, мальчик на глазах растет, вытягивается, превращается в молодого парня, в мужчину; а отец его стареет, горбится, лицо прорезывают новые морщины... но они продолжают сидеть за столом друг напротив друга, и сын уже спорит с отцом, они вместе листают бумаги, сын радостно вскакивает, бьет кулаком по собственной ладони: «Есть! — мол. — Получилось! Доказал! Я прав! я!!!» — а отец смотрит на бывшего мальчика снизу вверх с доброй улыбкой.

Сегодня сын превзошел отца.

Отец счастлив.

...А куча денег все растет, течет ручейками-щупальцами, опутывает всех и вся — способен оказался сынок, превзошел папашу, капитал приумножил... Ага, вот и у младшего банкира сын появился, вот уже и он напротив отца сидит, словам его внимает, в тетрадке пером водит. Яблоко от яблоньки! — то-то капиталище у них теперь будет, всю Землю спрутом опутает!

Мигнула картинка. Исказилась, пошла крестами... Вернулась. Я гляжу: все вроде бы прежнее — ан нет, другое! За столом седоватый банкир сидит, напротив него — сын. Слушает папашу, даже записывать пытается... только по глазам видно: неинтересно это дело мальчишке! неинтересно, непонятно, и спать хочется — раз зевнул, другой, вон уж и голова на листок, криво исписанный, клониться начала...

Прикрикнул на сына отец; вскинулся мальчишечка, моргает с перепугу; отец ему дальше объясняет, тот кивает

преданно, а по глазам опять видно — ну ни бельмеса ведь не понимает! лишь бы папа не ругался...

Грустным-грустным стало лицо у банкира. Уразумел: нет у сына таланта к делам финансовым, не приумножить ему капиталов отцовских — дай бог, чтоб не растратил вдребезги! Тут время замелькало, как сумасшедшее: растет сын у банкира, по ресторациям похаживать начал, на барышень заглядываться, в картишки поигрывать. А денег-то не хватает! Отец на сына смотрит: не выйдет из того преемника достойного! ну да ладно, ничего не попишешь — не дал бог таланту! не портить же чаду любимому жизнь из-за этого? живи как знаешь!

Банкир человеком щедрым оказался: вызвал сына — и бумагу ему подает. Договор, значит. Что отныне вместе они отцовским капиталом владеют-управляют, на паях. Поровну. Фифти-фифти. А дабы соблазна у сына не было свою долю растранжирить, в договоре том пункт соответствующий есть: может сынуля тратить только проценты, а основной капитал расходовать — ни-ни!

Процентов, однако же, немало выходит. На жизнь беззаботную с лихвой хватит и еще останется — богат папенька!

Сын договор и подмахнул; с радостью!

Я нынче тоже банкир!

И все бы хорошо было, да только забот сыну прибавилось: бумаги подписать, на совет директоров явиться, с векселями неоплаченными разобраться — без вас никак-с, господин главный пайщик! вам решать... Вот и надумал сын, чтоб от хлопот себя избавить, управляющего нанять: пускай дела за него ведет! А самому жить припеваючи!

Хорошо придумал, спору нет, для бездельника — лучше и не надо! Одна загвоздка: управляющий хитер оказался, за жалованье работать не захотел. Долю ему подавай, видите ли!.. Отец-то, может, и отказал бы, а сын рукой махнул — не жалко, мол! — и подписал все бумаги. Оно ведь нетрудно — за чужой счет щедрым быть...

А управляющий пошел к банкиру-отцу договор визировать. Конечно, молодой человек из своей части капитала ему долю выделил, но банк-то все ж — отцовский; стало быть — отцова виза нужна.

Прочитал старый банкир договор: все честь по чести, по закону, основной капитал по договору не тратится, не транжирится; а что сын еще одного человека решил в пайщики взять, на свою долю, чтоб и тот процент от процента имел, — это его, сына, дело. Все законно! Вздохнул банкир тяжело — однако деваться некуда.

Подписал.

И печать поставил.

А через некоторое время и управляющего то ли лень-матушка одолела, то ли решил другу доброе дело сделать, процентами поделиться, то ли еще что — а только и он с одним хорошим человеком в долю пошел. И опять — к банкиру на подпись. А тому делать нечего, снова все по закону — подписал, печать поставил...

И пошло-поехало! Немал капитал оказался, уж дробили-дробили сыновнюю долю — а все еще есть что делить. Старый банкир умер давно, в кресле вместо него призрак печальный, в жилете и при «бабочке», восседает, договоры визирует, а число пайщиков множится, режут части на части, все мельче да мельче. Никто уж об изначальном капитале и не помнит, не умножает его, все только делят да проценты тратят. И кто такой тот призрак, что в кресле сидит, позабыть успели; а что ходить к нему надо, договор визировать — так все ходят, и мы пойдем; традиция, однако...

ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ

Давайте посмотрим в глаза банкиру-отцу, пока он вовсе не сгинул. Давайте? Ну тогда после не жалуйтесь. Вот:

...мыши.

Много их. Шебуршат, заразы; снуют. Грызут страницы в толстой конторской книге. Растаскивают клочки по закоулочкам, прячут в норках. Мышеловки ставили, на голландский сыр чуть не миллион растранжирили — не помогает. Кота завели: только спит, скотина рыжая, да жрет, аж за ушами трещит. Фокстерьера купить, что ли?

Ненавижу мышей.

* * *

— ...Вот так наш с вами Договор и выглядит. — Перед нами уже снова Дух Закона. Стоит, кривит губы. А ведь и вправду на банкира из «волшебного синематографа» похож! — Делите, рвете Капитал на части — но не умножаете его! И все большая часть в небытие уходит, пылью покрывается. Все вы на проценты живете... да какие там проценты — мизер! процентики! процентишки!..

Не выдержала я:

— Ну ладно, пускай — но мы-то в чем провинились?! Что процентов тех нам больше досталось?! Мы Договор не нарушали — так и ты не нарушай! Потому как права не имеешь! Верно, господин стряпчий?

Молчит господин стряпчий. Бледный сделался, на мумию похожий (видела, в музее!), на ногах еле держится. Ну, потерпи еще немножко, миленький, потерпи, ведь чую — недолго осталось! не сможет нас Дух больше за нос водить, байками время затягивать; кончились байки, пора ответ держать!

— Вы Договор не нарушили, верно. — Это Дух Закона вместо отца Георгия отвечает, и ухмылка его мне вдруг оскалом волчьим показалась. — Но и я не нарушил. Вы ведь Договор с кем заключали? с Друцем да с Княгиней, верно?

— Верно, — киваем мы с мужем.

— Ну, вышел у вас Брудершафт — так в том еще крамолы нет, перекрестный Договор не запрещен. Пошли вы оба в долю к Княгине и к Друцу вперехлест — ладно. Я же сам и завизировал. Только вам мало показалось, вы дальше полезли. Набрали полные карманы. А это уже не доля — это «кредит» называется, или, иначе, «заем». Слыхали о таком?

Что ж он нас, совсем за дурачков деревенских держит?!

— Вижу, слыхали. А то, что кредит возвращать надо, — слыхали?

— Какой же это кредит, господин хороший? — хитро щурится мой Федор. Даже хмуриться перестал, улыбается ясно. Небось углядел, на чем клятого Духа ущучить можно! Господин стряпчий, вы-то почему молчите?.. — Это не кредит, голубчик, это все тот же пай выходит! Что от Кня-

гини с Друцем взяли, что от других крестных — и ни от кого не убыло! Значит, в доле мы! Ты нас не путай... дядя! — И смеется.

А я вслед за ним.

Съел?!

— Это вы что-то путаете, господин Истец, а не я! — сладенько жмурится Дух Закона. — Вы ведь не заключали Договоров со всеми остальными, кто, так сказать, поделился с вами своей долей? В огне Договорном вместе с ними не горели? На словах не договаривались — вообще знать о них поначалу ничего не знали? Так ведь?

Так.

Тут уж возразить нечего.

— Ну и что? — вновь хмурится Феденька.

— А то, что без Договора вы у них брали! Согласия не спрашивая!

— Так они же... они же — мертвые! — Кажется, я кричу. — Как у мертвых согласия спросить?! Вот ежели человек в землю клад закопал да помер, а мы — нашли? Что тогда? Чей это клад выходит, если владелец умер и наследников нет? Наш ведь? И спрашивать никого не надо!

— Ошибаетесь, господа.

Дух Закона наконец перестает ухмыляться, но легче от этого не становится. Наоборот. Как будто ледяной водой из ушата окатили.

— Клад, конечно, ваш — да не весь. С него государству долю отдать положено. Львиную долю! А вы ее не отдали.

— Да ладно тебе! — примирительно машет рукой Федька. — Где то государство? Кому долю отдавать? Одни мы тут! Нет у магов государства! Стало быть, и клад — наш, и никому мы ничего не должны! Вот господин стряпчий подтвердит...

Мы разом оборачиваемся к отцу Георгию — и видим, как Ихняя беспристрастность начинает медленно заваливаться на спину.

Стены залы идут рябью, словно отражение в пруду, лицо Духа Закона тоже начинает смазываться — и мы оба, я и Феденька, бросаемся к господину стряпчему. Не сгова-

риваясь, подхватываем с двух сторон под руки, не давая упасть. Под пальцами — что-то твердое. Перстень! Перстень с камнем на левой руке стряпчего. Камень... Александрит?..

На правой руке у него должен оставаться еще один, с аметистом.

— Федюньша, перстень!

Дважды повторять ему не надо — мы давно уже понимаем друг друга с полуслова. Наши пальцы одновременно обхватывают кисти отца Георгия, вбирая в себя перстни с уцелевшими камнями...

Глубинная, внутренняя дрожь пронзает меня навылет. Она закручивается теплой спиралью, устремляется наружу — и горячей пульсацией отзывается камень под моими пальцами; сейчас я точно знаю — александрит... был.

На миг мы превращаемся в единое целое: мой муж, отец Георгий и я. Купаемся в кипятке, не давая ему остыть, отдавая весь жар тому, кому он сейчас нужнее.

Стряпчему.

Георгию Радцигу, Десятке Червонной.

Пальцы разжимаются сами собой, но отец Георгий остается стоять. Сам. Лицо его медленно оживает. А из почерневших розеток на перстнях осыпается легкий, почти невесомый пепел.

Все, что осталось от камней.

— Прошу вас, продолжайте, господин Ответчик. — Голос стряпчего тверд. — Только покороче. Я не слишком хорошо себя чувствую.

— Я буду краток, Ваша беспристрастность. Собственно, я уже почти закончил. Вы говорили, что никому ничего не должны, господин Истец? И что у магов нет государства, следовательно, и долю отдавать некому? Верно?

Кивнуть получается лишь с третьего раза.

Шея закостенела.

— С вашего позволения, я отвечу. Я ведь — Ответчик (он снова кривит губы, а мне вдруг приходит на ум другой скорбный лик: Ответчика перед Господом за грехи наши). Вы снова ошибаетесь, господин Истец. Вам есть кому от-

давать проценты. Государство магов — это Я! Это *мой* Закон, *мой* клад, это *я* составил и подписал первый Договор! Я сам есмь и клад, и капитал, и государство, и хозяин банка, из которого берете вы ваши доли. И я просто *позволил* вам взять кредит. Или найти клад, если вам так будет угодно. Пора возвращать кредит. С процентами. Или, если хотите, отдавать государству его долю найденного клада. Львиную долю.

— Но в Договоре этого не было! — снова не выдерживаю я.

— А вы читали Договор? — вкрадчиво осведомляется Дух.

— Нет... — Щеки мои краснеют. — Его никто не читает! Его вообще нельзя прочесть! Все и так знают, о чем этот Договор. А вы его нарушили!

— Чтобы знать, нарушил я его или нет, его надо, как минимум, прочесть, не находите? А незнание Закона не освобождает от ответственности. Господин стряпчий, подтвердите.

Лицо отца Георгия вновь начинает заливать восковая бледность. Ненадолго хватило камешков! И тем не менее Ихняя беспристрастность медленно кивает.

— Итак, господин стряпчий подтверждает мою правоту. Я имею право взыскать с вас выданный кредит, включая проценты (или, если угодно, получить долю от клада). Более того, я предлагал вам отказаться от всего! Тогда вам не пришлось бы расплачиваться. Но вы сделали свой выбор. Итак, мое решение остается в силе, и я взыскиваю с вас ваш долг: вы не сможете заключать новые Договоры; не сможете — ни с кем, кроме собственных детей, не спрашивая их согласия; если же вы заключите Договор с собственными детьми и благополучно выведете их в Закон — это условие теряет силу, и вы сможете заключать дальнейшие Договоры на общих основаниях.

Он дернул щекой.

Отвернулся.

И эхом отозвался господин стряпчий:

— Аргументы сторон заслушаны, доказательства при-

ведены. Мое решение таково: Дух Закона находится в своем праве. Исковое заявление остается без удовлетворения по всем пунктам. Тяжба окончена.

* * *

Я даже расплакаться не успела...

VII. ФЕДОР СОХАЧ, или ЕСЛИ Я НЕ СТАНУ ВЕРИТЬ...

> И кипарисы радуются о тебе, и кедры ливанские, говоря: «с тех пор, как ты заснул, никто не приходит рубить нас». [...]. Все они будут говорить тебе: и ты сделался бессильным, как мы! и ты стал подобен нам!
>
> *Книга пророка Исаии*

— Надеюсь, я не помешал вам, господа?

Вопрос раздался сверху и издалека. Впору было кощунствовать в предположениях; но кощунствовать сейчас хотелось меньше всего. Да и поздно: во мгле, лишь самую малость подкрашенной белилами будущего рассвета, Федор успел разглядеть огонек сигары. Вон он, мерцает: со стороны второго этажа, оттуда, где располагался балкон княжеской спальни.

Мерещится?

Или действительно проступает у невидимых перил силуэт — темней тьмы, сгусток бесстрастия и участливого равнодушия?

Огонек сигары тлел осенней звездой — безобидной, одной из многих, готовящейся прочертить умирающую дугу, дав возможность загадать желание, — но от него слегка болели глаза. Саднили: не глаза, ободранные коленки. Хотелось прищуриться; моргнуть раз, другой... отвернуться хотелось.

Не смотреть.

— Вижу, что все-таки помешал. Прошу великодушно извинить, господа.

Джандиери говорил вполголоса, но отчетливо. Каждое его слово мерно капало в чернильную тишину, будто вода из прохудившегося крана, — ворочайся в ночи! майся бессонницей! внимай проклятой капели! В присутствии господина полковника Федор вдруг почувствовал себя, как вчерашним вечером, после выхода в Закон. Когда перед княжной выкобенивался, спасителем-лекарем себя выставить возжелал.

Помнишь?

...Тянись, Федька, тянись! подымай! спасай! да бойся — душа пуп надорвет... Все твое кипение в пар вышло; хочешь ты на червонец, а не можешь ровным счетом ни на грош медный.

Одно бульканье...

Вот и сейчас: будто руки кто связал, а на ноги кандалы нацепил. Впервые узнал Федор Сохач, что значит для мага в законе явление облавного «Варвара»; впервые на своей дубленой шкуре ощутил — как Циклоп со товарищи брал их всех для жизни каторжной: Друца, Княгиню, иных козырей...

Ясное дело, почему у «стряпчего» во время тяжбы и пот на лице был, и губа до крови закушенная. И все равно: ведь смогли? сделали? А Джандиери не в последний миг на балкон вышел. Давненько небось стоит. Значит, и «Варвар» не всю силу отнимает? Или это просто дал железный князь трещину, глядишь, вскорости, на черепки-осколки... черепки... черепа...

Дурацкие мысли.

— Вы бы себя видели со стороны, господа. Сабурова Дача на выездном заседании; сами себя спрашиваете, сами себе отвечаете. Завидую. Нет, кроме шуток, искренне завидую: вам легче. Зато когда в здравом уме и трезвой памяти — убежать некуда. Спрятаться. Сгинуть. Вы позволите, господа, я к вам спущусь? Для полной, так сказать, компании?

Опустел балкон: был огонек, пропал без вести.

Только птицы в тишине распеваются помаленьку, пробуют голоса.

Только кусты в ожидании рассвета прихорашиваются: шелестят, оправляют сырые наряды, готовят алмазные подвески к празднику.

Только Федька, пиит хренов, властитель душ, стоит с раскрытым ртом.

Ага, закрыл.

Ну и молодец.

* * *

...а пока господин полковник спускаться изволили, для полной, так сказать, компании, пока его видно не было, вдруг — невпопад, поперек, не в масть! — получилось вот так:

— ...значит, вскоре будет горе. Станем плакать.
Разведем беду руками. Обожжемся.
Под ногами искореженная слякоть
Обижает палый лист — багряно-желтый,

Он в грязи нелеп и жалок. Грай вороний
Пеплом рушится на голову. В овраге
Обезумевший ручей себя хоронит,
Захмелев от поминальной, смертной браги.

Значит, осень, —
Та, что ничего не значит,
Стертым грошиком забытая в кармане.
Если я еще не кончен — я не начат;
Если я не стану верить — не обманет...

Это тоже чужое? краденое? даренное мимоходом?! Тогда почему — болит?!

А, вот и господин полковник.

Не глядя, сердцем слышно: где-то далеко, внутри, струна сорвалась с пальца... тише, еще тише... тишина.

Тишина — ты моя?.. ну хоть ты — моя?!

* * *

...мгла послушно расступилась, и, наверное, даже не потому, что господин полковник нес в руке керосиновую лампу.

Донес.

На столик поставил.

Одетый в слегка приталенный шлафрок голубого атласа, почти того же цвета, что и форменный мундир, подпоясавшись алым кушаком с кистями, — несуразно-ярким пятном Джандиери стоял в круге теплого, домашнего света, и из-за шуток этого света, боязливо притворявшегося в ночи случайным гостем, из-за теней, еще остававшихся до поры уверенной в себе темнотой, непокрытая голова Джандиери вдруг показалась Федору совершенно белой. Седой как лунь старик стоял напротив, вырядившись для форсу весенним павлином, стоял и ждал прихода незваной гостьи, перед которой бессильны армии и законы.

Тыльной стороной ладони Федор вытер глаза. Смахнул невесть откуда возникшие слезы; и все вернулось на круги своя. Свет, тени, явление господина полковника народу. Убралась прочь призрачная седина... убралась? осталась. Вон, виски совсем седые. И бакенбарды — наполовину. Блестят серебром, рождественской канителью.

И в усах, в рыжей щеточке, блестки запутались.

— Доброе утро, господа. Или правильнее будет: покойной ночи?

Никто не ответил.

Зачем?

— Понимаете, господа... Эту кашу заварил я. Пусть не один я, пусть каша заваривалась со многих концов; пусть отец Георгий спишет кашу на Божий промысел, а я, как убежденный фаталист, на неизбежность рока-фатума. Какая разница? Просто без меня ваш... э-э... ваш консилиум будет неполным. Есть возражения?

Возражений не было.

Эту кашу, от треклятого Брудершафта до сегодняшней (или правильней будет — сего-нощной?) тяжбы с Духом Закона, заварил в Мордвинске упрямый и гордый полуполковник Джандиери.

Все правильно.

— Сейчас я понимаю: пытаясь ускорить процесс, я и мне подобные в первую очередь расшатали сложившуюся систему. Вывели из равновесия; качнули остановленный

маятник, и время пошло. Каша заварена, осталось расхлебывать. Кое-кому из моих коллег проще: они свое отхлебнули сполна. Теперь им все равно. Полковнику Куравлеву, бывшему начальнику училища; генералам фон Гафту, товарищу Дорф-Капцевича, и Абуталибову — им, господа, вы не имели чести быть представленными!.. Ротмистру Земляничкину, с коим вы столкнулись в «Пятом Вавилоне»... многим. Им легче; их больше ничего не тревожит. В отличие от меня, господа.

Сигарный огонек описал замысловатую петлю. Выждав паузу, господин полковник глубоко затянулся, окутался сизым облаком дыма. Сильные пальцы левой руки скользнули в карман шлафрока. Извлекли несколько бумажных листков, сложенных вчетверо.

Джандиери помахал листками в воздухе, словно рассчитывая таким образом отряхнуть с бумаги печатный шрифт старенького «ремингтона»:

— Вот, господа. Статья репортера Вернета, Ивана Филипповича, для «Южного Края», а после отказа — для «Губернских Ведомостей». В обоих случаях статью не пропустила цензура.

— Вернет? — переспросил отец Георгий. — Его статью вернула цензура?! Вы ничего не путаете, ваша светлость?

Ивана (точнее — Иоганна) Филипповича Вернета в городе знали все. Швейцарец, выпускник Тюбингенского коллегиума, он готовил себя к пасторской должности, но в итоге стал вечным бездомным странником, гувернером и чтецом, педагогом и преподавателем языков, коих знал во множестве. Человек бесконечно эрудированный, поклонник Жан-Жака Руссо, на чужбине Вернет не переставал мечтать об одном: сделаться «сельским священником, обладателем чистого и светлого домика на пригорке близ рощи, мужем образованной, кроткой и благочестивой супруги».

Вместо этого он стал слободским репортером.

В городе Вернета уважали, беззлобно посмеиваясь над странностями: например, над привычкой купаться в одежде, затем развешивая мокрое платье на ветвях деревьев и дожидаясь в воде, пока оно не высохнет.

Преподобный владыка Иннокентий частенько сокрушался, что такой духовный талант пропадает втуне, распыляя себя на суетные репортажи.

— Нет, отец мой. Я ничего не путаю. Господин Вернет более трех месяцев назад подготовил цикл статей о природе взаимоотношений магов с их учениками. Он полагает...

Джандиери снова выждал паузу.

Горло у него болит, что ли?

— Он полагает, господа, что связь сия носит характер вампирический. Что ученик мага поступает к оному в полную зависимость, испытывая неодолимую потребность в своем дальнейшем ученичестве; что ученик принадлежит учителю душой и телом, не имея никакой возможности избавиться от связывающих его пут без внешней помощи. Я прекрасно знаю, что это не так. Но статьи Вернета грозят качнуть маятник системы в обратную сторону, с двойным ускорением — а Иван Филиппович отнюдь не одинок в своих изысканиях, как не был одинок и я в своих. Отец Георгий, надеюсь, вы-то меня понимаете?

Священник вздохнул; с силой провел обеими руками по лицу:

— Да, ваша светлость. Я вас понимаю. Если общественное мнение уверится в вампирическом характере этой связи, для магов в законе почти ничего не изменится: к списку прегрешений добавится еще одно, вот и все. Но ученики, крестники, мгновенно перейдут в страдательный залог, превратятся из объекта репрессий в невинные жертвы. Или почти невинные, что сути не меняет. Следующим шагом будет новая попытка изменить Уложение о Наказаниях, а одновременно с этим — желание ученых мужей подробным образом изучить характер сей связи.

После молчания отец Георгий добавил:

— Желание, которое до наших дней не возникало по скрытым причинам. Причинам внутреннего отторжения, сформировавшегося задолго до нас. Зато сейчас... Вы действительно вывели систему из равновесия, господин полковник. Время пошло. И статьи Иоганна Вернета — следствие, не причина.

У швейцарца Иоганна Вернета взгляд усмешливый, понимающий. На всех языках понимающий; для всех встречных усмешливый. А крылось в нем уже больше десяти лет:

...дом.

Нижний этаж каменный, верхний — из дерева. Крыша железная; когда град, отзывается бубном. Зимой отапливается дом голландской печью; летом — как получится. Жаль, кухня тесная, темная и сырая. Ну да ладно. Зато, когда уходишь, есть куда возвращаться.

Приятно сказать: вернулся.

Я вернулся.

* * *

Взяв кресло, Джандиери подсел к столику; ссутулился.

Окутался светом и тенями, словно мантией:

— В конце июля Вернет, разобидевшись, уехал в Ливерпуль. И с середины сентября две британские газеты уже начали публиковать его работы. Думаю, общественное мнение Европы, господа, не заставит себя ждать.

Господин полковник повернул голову — с тяжелой, многодневной усталостью.

Взгляд его упал на молчавшую Княгиню.

— А ведь он не дурак, этот Вернет. Он просто не владеет информацией. Признаюсь, милочка, было время, когда подобные мысли закрадывались и ко мне.

— О вампирическом характере связи между крестным и крестником? — звонко, отчетливо уточнила Княгиня.

Намек был понят.

— Да, милочка. Только, в отличие от репортера Вернета, мне доступны источники. И я умею делать выводы. Например, в вашем личном деле есть показания ваших земляков-головлинцев, помнящих некую Рашель, дочь местного шойхета[1] Файвуши Альтшуллера. О, у них оказались длинные языки, длинные даже для такого местечка, как ваше родное Головлино!..

---

[1] Шойхет — служитель культа; выполняет функции резника (*авраам. жаргон.*).

— И что же они вспомнили обо мне? Я жду, Шалва!

— Не обижайтесь, милочка... В конце концов, здесь все свои...

И, полуприкрыв глаза, господин полковник начали вспоминать.

...Федор слушал.

И мало-помалу, безо всякой магии, перед его внутренним взором складывался образ молоденькой Княгини — тогда еще просто Рашки Неряхи. Низкорослая, толстоногая девчонка; одутловатое лицо все в прыщах, плохо вымытые волосы закручены на затылке в узел и небрежно упрятаны под драный платок. Походка, как говорится, грача; повадка курицы. Головлинские свахи только руками разводили от беспомощности: кому такое сокровище нужно? И воровита — кто подбил-таки портняжку Биньомина стянуть общинный моэсхитн?![1] — и труслива, ибо, попавшись, ползала в ногах сурового отца, огульно валила все на бессловесного Биньоминчика! Трефные поросячьи ножки умудрилась спрятать в отцовом леднике, вдобавок на самом видном месте, — отчего из старого шойхета Файвуши, накануне святой субботы, когда всякий благочестивый авраамит получает вторую, добавочную душу, едва первая душа не вылетела прочь. Хотели этот позор семьи из дому выгнать, уже собрались было в синагогальном приделе, да не успели: Фира Кокотка, случайно проезжая через Головлино в Анабург, подобрала обезумевшую от горя дуру-девку.

Зачем?! — изумлялись головлинцы.

Зачем?! — тряс бородой мудрый ребе Алтер, знаток Торы.

А Эсфирь Гедальевна, маг в законе, лишь смеялась в ответ.

...Как смеялась сейчас, в ночном саду, Рашка Княгиня.

Стройная, отчего казалась гораздо выше, с осанкой аристократки в десятом колене, она стояла напротив гос-

---

[1] Моэсхитн — деньги на мацу для бедняков, которые сами не в состоянии купить ее на праздник Пейсах (*авраам. жаргон.*).

подина полковника, и ветер трепал бахрому шали на ее плечах. Превращал шаль в офицерские эполеты. Взвихривал, боевым штандартом делал. А Рашка смеялась: каторжанка, баронесса, воровка на доверии, Дама Бубен, княгиня, Княгиня...

Смеялась.

Под пристальным, каменным взглядом Джандиери, и казалось: что-то в этом взгляде, глубоко, в самой основе, трескается пополам, течет малой осыпью... рушится...

Отвернулся господин полковник.

На Друца взгляд перевел; перетащил, волоком.

Так бурлаки баржу тянут.

— А вы, господин Друц-Вишневский? Ведь согласно показаниям некоего Ильи Дадынько, вожака табора сильванских ромов-ловарей, где вы имели сомнительную честь родиться...

...слушал Федор.

Мальчишку-Друца представлял: черномазый, голопупый... хромой. При родах пьяная бабка расстаралась. Собак, говорят, боялся: едва завидит кудлатую тварь, сразу в рев. Посылали кур по селам воровать — попадался через раз. Били Дуфуньку смертным боем — чужие, свои, просто случайные; часто били. Одна польза от мальца была: корзинки ивовые лихо плел, вот и носили на продажу. Отца не знал с рождения, мать гуляла, песни шибко пела; гулящие баре — те румынок-певиц больше любили, румынки с любым за деньги пойдут, а ромки упрямые, своенравные, носом крутят. Докрутилась, соловушка: нашли в канаве, с ножом под сердцем. Дуфуньку малость обижать перестали: сирота ведь! и выгнать жалко, и кормить накладно. Вытянулся парень дылдой, стали к кузнечному делу приучать — ай, чявалэ! караул! руки-крюки, заготовки роняет, молотом промахивается! Искрой едва глаз не выжгло: бровь опалило, два дня одним глазом на мир смотрел. Вожак Илья Дадынько долго думал, ничего не надумал. В бороде почесал, велел звать в табор Лошадиного Отца, самого Ефрема Жемчужного, изо всех ромов рома.

А Дуфунька-неудачник возьми да и пади в ноги Ефрему, магу в законе.

Вцепился — не оторвать... не стал Лошади́ный Отец отрывать парня.

Забрал с собой.

Зачем? — изумлялись закоренные ромы, оправляя шитые серебром жилетки.

Зачем?! — едва не плакал, хотел понять вожак Илья Дадынько.

А Ефрем Жемчужный, Король Пик, лишь ухмылялся в усы.

...как ухмылялся сейчас, в ночном саду, Дуфуня Друц-Вишневский. Гитара тихонько пела в его руках о кострах в степи, о плясках до рассвета, гитара выгибалась блудливой кошкой, только что не терлась о плечо; и прохладный сквозняк запутался в буйных кудрях. Комарье звенело вокруг, не решаясь сесть на щеку Друца; щегол, нисколько не боясь, разгуливал у его сапог. Пела, смеялась сквозь слезы гитара: ай, тэ заджял бы, да тэ заджял, тэ запрастал хотя ромэнгиро, ах, е джуклоро!..[1] А Друц ухмылялся: лошадник, певец, убийца, бродяга, Валет Пик, маг в законе...

— Большой ты барин, твоя светлость! большая твоя голова! Все насквозь видишь, да?!

— Вижу, — не сразу отозвался Джандиери. Сперва зачем-то тронул лампу за стекло, обжегся, но руки не отнял. Словно нуждался в этой мелкой, пустячной боли. — Не все, но много. Вас, например, вижу, отец Георгий.

Священник вопросительно вздернул бровь: это, значит, в каком смысле? извольте объяснить, ваша светлость!

— Вы, отец Георгий, исключение. Вас Илларион Полтавский, знаменитый «стряпчий», другим подобрал. Умным, образованным; тонким. Ведь правда? Ему, Илариону, новый крестник срочно понадобился, а кроме вас, отец Георгий, — тогда еще просто Георгий Эммануилович Радциг, без пяти минут бакалавр гражданского права, — кроме вас, никого из желающих под рукой не оказалось. А вы же-

[1] Зайди ко мне, ай, забеги хоть ты, ромская собачка! (*ром.*)

лали! вы страстно, до умопомрачения желали... Согласился Илларион, Туз Червонный.

Федька во все глаза уставился на священника. А отец Георгий уставился в землю. Поник головой.

Понял, к чему клонит господин полковник?

— Вижу, святой отец, вы догадались, к каким выводам я пришел. Правильно: вы, единственный, кто пошел в ученики к магу в законе, будучи сложившейся незаурядной личностью, — именно вы выше Десятки не поднялись. И я оговорился: вы не исключение, вы — правило. Все вы, здесь присутствующие, включая наших таежных дикарей... дикарей в отставке. Я на верном пути, господа?

Только сейчас убрал Джандиери пальцы от лампового стекла.

Будто маленький, ухватился за мочку уха.

— Я на верном пути, — сам себе ответил.

* * *

За небокраем — «обрием», как говаривали в слободских краях, — невидимая стряпуха-заря принялась себе куховарить помаленьку. Так бывает, когда в еще кипящий на огне борщ-свекольник — мутный, грязно-бурый, помои помоями — плеснут сперва кисленького, и варево вдруг заиграет красками, нальется неожиданной, вкусной яркостью, чтобы потом, уже в тарелке, остынув предварительно на леднике, принять в себя славную порцию сметаны, забелиться отовсюду Млечным Путем... Все путем, хлопцы! — да под чарку, да с пампушками, с чесноком...

Ох и бывают же на белом свете сравнения! — правда, Федор Федорович?! — смачные, хлесткие! сперва глянешь — вроде ни к селу ни к городу! преддверие рассвета с борщом сравнить, и добро бы с мясным, наваристым, а то с постным свекольничком, куда крошится с огорода что ни попадя — курам на смех!

Просто едва посветлело кругом, едва заголосил с клироса ветвей архиерейский хор птичек-синичек, так сразу живот подвело, и жрать захотелось — спасу нет.

Вот отсюда и сравнения.

Эх, Федор ты, Федор...

— Все это слишком хорошо, — глубоко вздохнув, бросил Джандиери, и никто не усомнился, о чем ведет речь господин полковник. О чем прежде вел, о том и ныне. — Слишком хорошо, чтобы быть правдой. Вернее, *всей* правдой. Бесплатный сыр бывает только в мышеловках, уж простите за банальность. Из грязи в князи, из девки-растеряхи в светские дамы, из битого Пьеро в бьющие Арлекины. Из Ивана-дурака в Иваны Царевичи...

Щеточка усов вдруг встопорщилась больше обычного, рот раскрылся, явив два ряда белоснежных, жемчужных зубов; и из горла полковника понесся орлиный клекот. Шалва Джандиери, жандарм Е. И. В. особого облавного корпуса «Варвар», смеялся! Смеялся взахлеб, без стеснения, истово и искренне, смеялся при людях, как хохотал он несколько дней назад, при гостях, уводя в танце дочь Тамару и нож ее острый от бешеной Акулины, — помнишь, Федька, сукин сын?! ты помнишь?! тогда почему тебе вдруг явилось страшное?!

...Вот.

...Вот сейчас.

...слышишь: звенят мониста. Визжит паркет под каблуками. Ошалели гитары; не поют — волками воют. Пляшет ротмистр Земляничкин в кутерьме «Пятого Вавилона». Слышится Федору в балагане сумасшедшем, сквозь танец-смерть:

— Еще не остыло, не вымерзло счастье,
И кровь не вскипела на остром ноже;
Еще! о, еще! не прощай, не прощайся!..
Но где-то — уже.

Нет, не уже.

Еще.

Потому что Джандиери прервал смех — у края пропасти коней бешеных на дыбы вздернул... остановил. Оглядел собравшихся: пристально, холодно, лишь на самом донышке темных глаз затихала, сворачивалась в кольца гадюка сумасшествия.

— Вот это магия, господа. Настоящая магия. Черная. Не мелочные «эфирные воздействия», о которых хором толкуют Уложение о Наказаниях и Святейший Синод, не

та ерунда, которую вы показываете, простаки видят, а я — увы? по счастью?! — способен только учуять. Настоящая, страшная магия — вот. Вы здесь, господа, долго и малопонятно толковали о каком-то Договоре... Прошу великодушно простить: не в моих привычках подслушивать. Так вышло; случайно. Но мне впору задуматься: князь! во имя светлых идей и личных интересов ты хотел извести их всех! князь Шалва, почему ты не довел дело до конца?!

Джандиери резко встал, подошел к могучей, старой акации. Ткнулся лбом в кору; замер. Федор стоял ближе всех, оттого и услышал:

— Господи! — муравьиными тропами струился горячий шепот, насмерть обжигая испуганное дерево. — Господи! спасибо! рука Твоя удержала на грани, на самом краешке! мне еще жить надо, Господи! жить! мне!.. Не оставь милостью Своей, укрепи! дай силы!..

И повернулся к людям — спокойный, бесстрастный:

— Утро, господа. Не велеть ли поставить самовар?

VIII. АЛЕКСАНДРА-АКУЛИНА, или ЧТО ДЕНЬ ГРЯДУЩИЙ МНЕ ГОТОВИТ?..

> Потому-то и далек от нас суд, и правосудие не достигает до нас;
> ждем света, и вот тьма, — озарения, и ходим во мраке. Осязаем, как слепые стену, и, как без глаз, ходим ощупью;
> спотыкаемся в полдень, как в сумерки, между живыми — как мертвые.
>
> *Книга пророка Исаии*

Разговор лениво угасал.

Все были сонные, усталые, но ложиться никто не собирался. Вместо вялого, катящегося под уклон разговора на краю неба медленно разгоралась такая же ленивая заря. То есть самой зари еще видно не было, но небо на востоке уже проросло белесой мутью, чуть подсвеченной снизу розовым; звезды поблекли, среди темной зелени сада, словно

сквозь дым, начали просматриваться островки багрянца и лимонной желтизны; громче зачирикали птицы, хрипло каркнула ворона...

Зябко, сыро. Роса вокруг — на столах, на плетеных креслах, на перилах веранды. Туман. Плотный, вязкий, молочно-белый. Вблизи вроде бы все видно, а глянешь дальше: вместо деревьев — тени-призраки, вместо кустов — вообще невнятица серая; дом одним углом выступает вполне отчетливо, а остальное постепенно теряется в дымке. Будто проявилось краем некое дивное сооружение из другого мира, выпятилось сюда, в сад. Захочешь посмотреть, что дальше, двинешься вдоль стены — и не вернешься! Там, в другом мире, навсегда останешься.

И голоса смазаны. Как из-под воды доносятся.

Зря я от остальных отошла! Даже жутко сделалось. Хоть и понимаю: ерунда это! Сад есть сад, люди есть люди, вот они, рядом, стоит два шага сделать — снова их увижу. А внутри точит, сосет под ложечкой червячок сомнения: а если нет? не увижу, не вернусь?! поблекнут, смолкнут окончательно голоса — и останусь я здесь одна-одинешенька, рыба-акулька?

Тьфу ты, что за чушь в голову лезет?! Мало мне страхов настоящих — так я к ним вдобавок дурость всякую придумываю, сама себя запугиваю! Вот ведь дура несчастная! Теперь нарочно здесь останусь, к остальным не пойду: мои страхи, мне и справляться!..

Не тумана бояться надо, не чудищ придуманных. Другое есть, пострашнее. Это у меня всегда так: если всерьез, если настоящий страх, беда-злосчастье — боюсь, но держусь, а иногда даже бояться забываю. Зато потом — раскисаю, от любой ерунды дергаюсь, пугаюсь неведомо чего... того и гляди, разревусь.

Интересно, это — мое или по Договору переданное? Да вроде бы мое, всегда я такая была, с детства...

А что же тогда — по Договору?

А то по Договору, что или сдохни, или детей собственных — в огонь, вот что! Проиграли мы тяжбу вчистую, и стряпчий не помог, только камешки зря спалили... Ну и проиграли! Страшно, конечно, детей неразумных в кол-

довское пламя окунать, но ведь никуда не денемся. Знаю уже. Боль забудется, а сила останется, и жизнь останется, и дальше все как у людей пойдет... как у людей...

У каких людей?! У них — как у нас? Самих себя в детях отпечатаем? Собственной судьбы лишим, родительскую навяжем?! А пусть и так! Ежели у державы под «крышей» — вовсе и не плохо магом быть! Уж получше, чем кухаркой, или в селе замужем, за таким плюгавцем-пропойцей, как папаша мой был, прости господи! Или проституткой в борделе. Не все же профессоршами становятся или за князей-полковников замуж выскакивают! А маг, да под казенной «крышей» — ему всегда и дело сыщется, и место, и вообще...

Ой, а сны стыдные-срамные, где все — как взаправду, и не поймешь, где явь, где сон?! Детям — такое... да еще с родителями собственными?!! Только много ли дитя неразумное в тех снах поймет? Много ли запомнит? Вот я — много помню из того, что мне в детстве снилось? Да почитай, что и ничего!

Может, не так страшен черт, как его малюют? Может, обойдется? Плохо начнется, хорошо кончится?!

Может, и обойдется. Вот только... слишком просто выходит! Один раз перетерпеть, отмучиться, и самим, и детям — зато после живи припеваючи, катайся сыром в масле! Я хоть и дура, наверное, но не совсем. Понимаю: должен быть подвох! Должен, обязан быть!

Где?

И — если не с детьми Договор заключать! — что тогда? Держаться, обручами железными себя сковать, лишь бы финтов не крутить? Из Друца с Княгиней силы последние тянуть в благодарность за науку? В гроб их загнать за месяц-другой? А потом — и самих себя? Или камешками перебиваться? Так ведь камешков не напасешься, прав отец Георгий...

Эй, Дух Закона, сволочь ты сизоносая! Подскажи — что нам делать?! Где выход? Ну, пусть мы опять не сами, пусть с твоей подсказки, пусть чужое, пусть! — намекни хотя бы!.. мы ведь с тобой в одной паутине!.. сам говорил —

тебя в нас поболе, чем в иных... проснись в нас, выйди, шепни на ушко...

Не умеем мы решений принимать — помоги!

...Совсем запуталась. Мысли в голове скрипят колесами несмазанными, того и гляди пар из ушей пойдет! Все, хватит голову ломать. Пора завтракать идти; вон дымком потянуло — видать, самовар раскочегарили. Чай вот-вот готов будет. Ой, что-то проголодалась я от этих тяжб ночных, мыслей дурацких и прочих ужастей!

Зато страхи придуманные прочь разлетелись; я и не заметила как — вместе с туманом, должно быть. Посветлело вокруг, не мгла по саду бродит — утро самое настоящее встает. Весь восток розовым огнем горит, облака перистые по небу разметало, снизу багрянцем подсвечивает — и без причины тревожно мне сделалось.

«Что день грядущий мне готовит?»

Э-э, нет, шалишь! Опять дурь всякая в голову лезет. Поэту-то, который Судьбу вопрошал, день грядущий как раз пулю и приготовил! Не надо нам таких подарков!

Пойду лучше завтракать.

* * *

Стол уже успели накрыть — длиннющий, места всем хватит! На белой кружевной скатерти: вазочки с джемом и домашним вареньем, печенье, булочки свежие, мед, оладьи, сахар колотый — к чаю. Эх, сейчас разгуляюсь! Есть хочется — спасу нет. И не солененького, как мне вроде бы положено, — именно сладкого! Сладкое я с детства люблю, только в Кус-Кренделе сладостей днем с огнем не сыщешь; зато как сбежала с любимой родины — отвела душеньку!

До сих пор отвожу.

У стола хлопотали дородная тетка-стряпуха и еще одна прислужница. Расставляли чашки, блюдца, раскладывали ложечки. В саду, за деревьями, лениво продолжали беседу — похоже, муженек мой любимый с отцом Георгием. Точно, они. А вон и Друц самовар несет! Да куда ж все подевались-то?! Неудобно мне одной за стол садиться, без хозяев — а живот аж прямо сводит, даром что он у меня

больше чемодана, загляденье! Ладно, пока никто не видит, я оладушек ухвачу. Горяченький. Теперь вареньица на него, малинового — и в рот... У-у-у, вкуснотища! Нет, еще только один возьму — и все, буду остальных ждать!

Друц устанавливает на столе дымящийся самовар. Замечает меня с набитым ртом, хитро подмигивает; оборачивается, чтобы позвать остальных, — но тут за поворотом садовой дорожки слышится позвякивание бубенцов. Ровный перестук копыт, и из-за кустов выезжает пролетка. Рожа у сидящего на облучке извозчика изрядно помята, в бороде и волосах — солома. Похоже, вчера лихача славно угостили; так небось и заснул в конюшне.

Умаялся.

— Бывайте, барышня! бывайте, вельможное панство! — машет рукой извозчик. — Пора мне! спасибочки, по гроб не забуду!..

Пока Друц помогал открыть ворота, пока закрывал их за пролеткой — все к столу собрались. Вот, сидит напротив князь Джандиери, в лазурно-голубом шлафроке, чай из чашечки потягивает: будто не чай, а коньяк тридцатилетний дегустировать изволят! Рядом — Княгиня, уже не такая бледная, как ночью: то ли от чая разрумянилась, то ли и вправду получше ей стало. Так и кажется, что вместо чашки в руке у нее — бокал с «Мадам Клико». Феденька мой — тот по старой привычке чай из блюдца пьет, с бараночкой маковой. Отчего-то подумалось: Феденька сейчас на купеческого сынка похож. Почему — на купеческого? Сама не знаю. Похож — и баста!

Интересно, а как я сама со стороны выгляжу?

Ой, лучше не думать!..

Князь с Княгиней переговариваются вполголоса; о чем — отсюда не слышно: за дальним концом стола сидят. Феденька на них посмотрел, перестал из блюдца сербать, тоже стал из чашки пить. Напротив Друц сахаром хрустит, ровно жеребец, — привык вприкуску чай пить. Нет, я уж лучше по-барски, внакладку! Помню, в Кус-Кренделе все чаще вприглядку выходило...

А вот и отец Георгий. Я его поначалу и не приметила. Сразу видно: священник. Чай пьет — будто причащается!

Сидим мы вместе, одной семьей, завтракаем; в саду птички с ума сходят, щебечут, солнышко встает — тишь да гладь да божья благодать! Все у нас хорошо, а будет — еще лучше; если, конечно, не вспоминать, что это — отсрочка. Не оставил нам Дух Закона времени, сила колдовская из нас прет наружу, выхода ищет. Почему? Ведь пауза должна быть! Княгиня говорила, и Феденьке Друц то же самое сказывал! Почему — опять нам по-иному?! Хоть бы передохнуть дали...

— Сдается мне, Александра Филатовна, что и этому причиной — Брудершафт. От него и беды ваши, и способности. Извините, если помешал.

Вот тебе и раз! Неужели я вслух думать начала?! Или это отец Георгий мысли читает?

— Вы, Александра Филатовна, с мужем вашим сколько лет в обучении были? Года четыре, не больше. Так?

— Так, — киваю. — Даже меньше.

— А другие — по восемь, десять, а то и все двенадцать лет крестниками ходят. Сами видите, насколько у вас быстрее дело складывается. Ну а «пауза» ваша и совсем краткой оказалась. Дня не прошло, как финты пробивать стали. Все он, Брудершафт, больше нечему...

— С кем это вы на брудершафт пить собрались, батюшка? С Александрой Филатовной? Доброе утро всем! Что ж это вы без меня завтракать сели?

Тамара!

В платье голубом, воздушном, нитка жемчуга на шее; глаза радостные, на пол-лица распахнулись; ветер налетел — взвились волосы облаком подсвеченным, нимбом клубящимся... ни дать ни взять ангел в гости явился!

Неужто и вправду — выздоровела?! Друц, ром ты хитрый, что ж ты за шутку на старости лет учудил?..

— Доброе утро, Томочка! — Князь первым успел, за всех ответил. — А мы думали: ты спишь еще, будить не хотели. Садись рядом. Чаю налить? С вареньем?

И вот уже Шалва Теймуразович вокруг дочери суетится, чаю ей наливает, варенья кладет, вазочку с печеньем ближе пододвигает; а сам нет-нет да и скосится мимохо-

дом; поверить в свое счастье не может! Да я бы и сама небось не поверила...

За всем этим и вопрос Тамарин насчет Брудершафта потерялся, а отец Георгий сразу смекнул — сидит помалкивает, чаем да крендельком причащается.

— ...а что это за книжка у тебя, Томочка?

Мне и самой любопытно стало. Глянула, благо княжна недалеко уселась, книжку на стол рядом положила.

Г-н Папюс. «Рождение мага».

Как же, знаю-с! Видела у отца Георгия. Даже полистала однажды. Муть всякая: заклинания-инвокации, значки-руны, символы-иероглифы... Плюс рассуждения неудобовразумительные. И комментарии, к которым еще столько же комментариев требуется, чтобы хоть что-то понять.

Муть, она и есть муть.

— Про магию, папа. *Он* мне сказал: я теперь могу учиться. Теперь — могу. А у кого учиться — не сказал. Вот я и решила хотя бы книжку почитать...

— Кто — *он*, Томочка?

Голос у князя Джандиери по-прежнему ласковый, но лицо на глазах начинает твердеть, и сразу становится ясно, что это — уже совсем другой Джандиери. Господин полковник. Облавной жандарм. При исполнении. Даже страшно: никогда раньше не видела, чтоб у него лицо *так* менялось!..

Ответить Тамара не успевает: со стороны заднего двора раздается оглушительный лай Трисмегиста. И не заливистый, радостный, когда пес своих встречает: раздельный, отрывистый, требовательный. Гав! Гав! Гав-гав! Ясно как день: «Я! Его! Пой-мал!»

Кого?!

И князь на полуслове осекся. Он пса своего знает как облупленного. Ишь, сразу:

— Прошу прощения, дамы и господа. Мне надо отлучиться.

Это он уже на бегу бросил. Ох и горазд князь бегать, даром что в летах! Нет, была б я не в тягости, я б за ним поспела. А так мне бегать не с руки. И о ребенке (о двойне, если Духу верить?) вовремя вспомнила: не выйдет у рыбы-

акульки сейчас по кустам гасать. Феденька меня — под руку, пошли мы с ним вслед за князем. Быстро, конечно, пошли, но не так, как хотелось бы. К месту самыми последними поспели.

Даже Княгиня нас опередила.

* * *

Трисмегист уже не лаял: стоял в сторонке, преданно заглядывая в глаза хозяину. Ворчал утробно, скалил клыки; косился на задержанного. Мол, ты не смотри, что я тебя отпустил! только попробуй мне удрать!

Задержанный — перепуганный насмерть хлопец лет двенадцати — сидел, прижавшись спиной к старой груше, и мелко вздрагивал.

От страха.

И еще — от душивших его рыданий.

Ясное дело! Когда такое чудо-юдо на тебя бросится, впору штаны обмочить! Трисмегист — пес умный, рвать хлопца в клочья не стал: с ног сбил, придержал — и голос подал. Эй, хозяин! Но «задержанный» все равно страху натерпелся. Вон рубаха порвана, портки тоже клочьями торчат, весь в пыли-грязи вывалян, физиономия конопатая исцарапана... Это не дог его царапал, — сам небось по земле носом проехался, когда с ног сбили.

Воришка?

Похоже, эта мысль пришла в голову всем, включая их светлость.

— Ты зачем в сад залез? Яблоки красть? — строго спросил князь.

То есть для мальчишки — строго. Я-то знаю, как Джандиери по-настоящему спросить может. И остальные знают. Кроме хлопца.

Ему-то — откуда?

— Не-е-е, пан-барин! Не вор я! Я... я к тетке Оксане! Племяш я ейный, Микитка, с Цвиркунов! Я не воровать! К тетке я... ой, пан-барин, не бейте!..

Ну, тут не надо полковником облавным быть, чтобы понять: не врет хлопец. Не врет, но и правды всей не говорит! По глазам видно, по голосу слышно.

Ох и глаза у тебя, хлопчик! вишни, не глаза! Ну-ка, дай доброму дяде глянуть, не бойся... ишь ты:

...вишни.

В миске с варениками. Два вареника лопнули при варке, вот вишни и вывалились. Между сизыми веками из теста и белыми пятнами сметаны вокруг — темно-красные зрачки. Сами кого хочешь переглядят. Сейчас маманя бросит с батькой лаяться, жрать позовет.

Что ж они так долго бранятся? Урчит в брюхе, подначивает: стяни вареничек! ну же!

А батька, паскуда лысая, в сердцах миской об пол...

* * *

— ...Ой, да шо ж цэ робыться! Микитка, постреленок бисов! Ты шо, через огорожу, да? От дурень, от дурень! Ваша мосць, простите вы его, дурня клятого! — Набежавшая стряпуха рассыпалась мелким бесом, кланяясь всем и каждому. — То ж он не вор, не злодий, то он дурный просто! Та я ему сама ухи надеру, и хворостиной, хворостиной, шоб не лазил, где не след! Ваша мосць, любенький, то простить постреленка, я ж сама его выпорю, ще й батьке его скажу...

— Успокойтесь, милочка. Никто не собирается наказывать этого мальчика. А уж пороть его потом или нет — это ваше дело. Я верю, что он не хотел ничего плохого...

Стряпуха Оксана, тетка незадачливого Микиты, слушала князя, раскрыв рот, словно тот изрекал ей приговор на Страшном суде.

— ...пусть только ответит: зачем он через забор полез? не мог в ворота постучаться? в калитку? Неужели мы такие звери, что не пустили бы мальчика к его родной тетке?

И Джандиери выжидательно уставился на хлопца. Тем самым своим взглядом, под которым хотелось или спрятаться в кусты на другом конце земли, или застыть по стойке «смирно». По себе знаю, хоть никогда по стойке «смирно» не стояла — зато как другие во фрунт вытягиваются, насмотрелась!

— Отвечай, лайдак, ежли тебя его мосць спрашивает! — немедленно поддакнула тетка Микиты.

Хлопец испуганно моргал, озираясь с видом затравленного лиса.

— Ну-с, любезный, я слушаю. — Князь слегка нахмурил брови, и тут я сообразила, что Джандиери просто-напросто забавляется. Ну какую такую тайну мог скрывать деревенский хлопчик?!

Полковничьих бровей хлопцу хватило с лихвой.

— Голова наш... Остап Тарасыч... передать велели...

— Что именно велели передать Остап Тарасыч? Передавай, Никита, не бойся, — «подбодрил» мальчишку полковник.

— Смута у нас! — выдохнул хлопец; словно в омут головой бросился. — Смута в Цвиркунах! Поутру у головы в хате гвалт случился. Катерина-головиха на двор в одной сорочке выбегла — и ну орать: мажье семя! кубло чаклунское! чоловика[1] моего заворожили! Грицька, кровиночку, заворожили! скоро все погинем!

Хлопца, похоже, несло; слова из него теперь лились, как вода из прохудившегося ведра.

— Наши с хат повылазили, пытають головиху: шо за кубло? где? А она (пан-барин, звиняйте, то она так казала, не я!) — она и голосит: та у кнежской усадьбе! у самого пана-князя под боком! и кучер ихний чаклун, и паныч мордатый, шо з города прикатил, — чаклун, и доця кнежская (звиняйте, добрый пан!) — теж ведьма! я, мол, подслушала! Остап мой Демиду-уряднику сказывал! Грицька, Грицька хотел... к им!.. А теперь молчит, дурень старый, он молчит, а я кричу!

Хлопец на миг умолк, тяжело переводя дух. Со страхом поднял взгляд на князя — не гневается ли? — однако Джандиери к тому времени хмуриться перестал и слушал на редкость внимательно.

— Продолжай, мальчик, — произнес он почти ласково.

Эта ласка в голосе жандармского полковника, может быть, и могла обмануть сельского мальчишку, но уж не

---

[1] Чоловик — муж (*малорос.*).

меня — это точно! Горе тебе, град Содом, он же Цвиркуны! со всеми чадами и домочадцами!

Взвешено, подсчитано, измерено!

— ...Ну, народ в шум: мол, недород был — это они все! кобыла у Митрохи сдохла — порчу наслали! и той ром, шо подпаска с Кривлянцов до себя примажил, тоже небось из ихней кодлы! А князь и не знает! А ежли знает — покрывает! рука руку моет! (ой, звиняйте!) А тут еще откуда ни возьмись — Прокопий-юрод, шо по селам завсегда шляется. И блажит на все Цвиркуны: спасите, люди добрые! обороните от мажьего семени! обидеть хотят Прокопьюшку, ироды окаянные! Ему: да кто ж тебя обижает, Прокопьюшка? где?! А он: вертеп мажий! в кнежьем доме! чую! чую! обидеть хотят, ироды! спасите, люди добрые! Тут народ не на шутку взволновался, кричат: юрод, он божий человек, брехать не станет! идем, мол, магов бить! князю глаза откроем! А ежли шо... Голова, Остап Тарасыч, уговорить их хотел — куда там! Ну, он мне и шепнул: беги, мол, в усадьбу, упреди...

Кого ему было велено упредить, хлопец не уточнил. Скорее всего одну Оксану-стряпуху. А так выходило, что — всех.

Впрочем, это было уже не важно.

— Та-а-ак... — Князь медленно распрямился, кажется, сразу забыв о болтливом Микитке.

— Да шо ж воны, з глузду з'ихалы?! — запричитала стряпуха Оксана. — Да где ж то видано, шоб отакие господа хорошие — и чаклуны поганые? Да воны там, мабуть, очи позаливали! От дурни, от дурни!..

— Тихо, милочка, — сквозь зубы бросил Джандиери, и стряпуха онемела. — Значит, они идут сюда? — вновь обернулся он к хлопцу.

— Та мабуть, вже идуть, пан-барин! Скоро будут! Тикать вам трэба, ось...

— Спасибо за совет, юный герой. Но это мы уж как-нибудь сами решим, — чуть заметно усмехнулся полковник. — Сколько их? Оружие у них есть?

— Да яка там зброя... Сокиры[1], значить, ну, там, косы,

---

[1] Сокиры — топоры (*малорос.*).

вилы... колья... може, одно ружжо. А може, и нема. Я ж когда побег, они ще орали, пан-барин... А народу близко сотни наберется. Може, меньше...

Князь колебался недолго.

— Дамы и господа, я полагаю, мне удастся подавить сей «бунт» в зародыше. Оснований для паники нет. Но тем не менее сотня неразумных сельчан — это немало, даже если у них и нет огнестрельного оружия. Поэтому я считаю необходимым эвакуировать отсюда по меньшей мере женщин. У нас две коляски. В одной могут поместиться трое пассажиров, в другой — один. Жаль, извозчик уехал... Еще один человек верхом — лошадей в конюшне три. Итак: вы, Эльза, вместе с Тамарой и тетушкой Хорешан садитесь в бóльшую коляску, править будет господин Друц-Вишневский; во второй коляске едет Александра, править будет мой кучер. Ах да, остается еще Кетеван! Тогда господин Друц-Вишневский поедет верхом. Эльза, вы сможете править лошадью?

— Разумеется, Шалва. Только я никуда не поеду. Если вы считаете, что в силах справиться с мужиками, то и мне ничего не грозит. Я — ваша жена, и уж *меня* в мажьем промысле никто не подозревает. Я остаюсь, Шалва.

— Эльза, ну нельзя же так! — У князя начинает мелко дергаться щека. Он на миг умолкает, и щека перестает дергаться. — Вам лучше уехать...

— И не просите, Шалва, я останусь с вами! Это наш дом, и никуда я отсюда не уеду!

— Эльза...

Эй, погодите! А я?! Я, значит, уеду, а Феденька мой здесь останется?! Если Рашель своего мужа не бросает, то чем я хуже?!

— И я остаюсь!

— Александра, опомнитесь! Ну ладно, эта женщина, — кивок в сторону Княгини, — упрямей валаамовой ослицы — но вы, в вашем положении...

— Сашенька, не дури! Поезжай отсюда, от греха подальше!

И он туда же? Ну погоди, муженек, плохо ты меня знаешь!

— Дурак ты, Федька! Дураком родился, дураком помрешь! Эти ветошники тебя магом считают, *тебя* — не меня! Да еще Друца с Тамарой! Вот вам и уезжать! Явятся мужики — кого увидят?! Господина полковника с супругой, с ними бабу на сносях да батюшку в рясе! Ну, еще челядь — так они в большинстве местные, их не тронут!

Эк у меня складно получается! Я, когда злюсь, такая умная делаюсь, что прямо ужас! Аж самой завидно!

— Ой, да вам всем тикать трэба! Они ж скаженные, мужики те! Мы-то тутошние, верно пани говорит, нас не тронут...

— Молчать! Чтобы я, князь Джандиери, бежал от холопов?!

— Гав! Гав-гав!

— Александра Филатовна права, однако...

— Отец Георгий! Уж от вас-то я...

— Кстати, а где Друц?

— Господин Вишневский? А действительно...

Все разом смолкли. И в наступившей тишине стал отчетливо слышен удаляющийся топот копыт.

— Ускакал... — растерянно уронила Княгиня.

Друц?! Ускакал?! Сбежал?! Нас бросил?! Не может быть!..

«Может, рыба-акулька, может!» — простучали копыта в ответ.

— Видимо, господин Друц-Вишневский решил незамедлительно последовать совету Александры Филатовны. Что ж, это его право. Хватит пререкаться, дамы и господа. Здесь я хозяин, и, как старший...

Князь не договорил. Умолк, прислушиваясь.

Нет, не в затихший уже конский топот вслушивался полковник Джандиери. Где-то в отдалении, пока еще едва слышный, нарастал, ширился многоголосый шум.

— ...поздравляю, дамы и господа. Мы опоздали. Пойду переоденусь. Нехорошо встречать гостей в домашнем. — И, криво усмехнувшись (меня мороз по коже продрал!), князь направился к дому.

* * *

— Шалва Теймуразович, — окликает его мой Феденька. — Я у вас в кабинете двустволку видел...

Круг третий. НА КРУГИ СВОИ...

— Убей мага в себе!
Опера «Киммериец ликующий-2», ария Конана Аквилонского

ПРИКУП

Как заведенные стучат по утоптанной дорожке подошвы десятков пар сапог, барабанной дробью отдаваясь в ушах. Утренний ветер обдувает прохладой обнаженный торс, не давая вспотеть. Будущий «Варвар» должен быть закален и неприхотлив, в отличие от... ну, скажем так: от тех маменькиных сынков, что бегают по утрам в белых сорочках — а потом не пускают господ облавных жандармов в Офицерские собрания. Мерно вздымается грудь, вбирая и выталкивая наружу очередную порцию воздуха. Облав-юнкер может бежать долго, несмотря на скудный сон, ранний подъем, вчерашние волнения...

Волнения?

Какие волнения?

А что, собственно, произошло? Почему надо волноваться? Да, вчера удалось определить негласного сотрудника. Да, это оказалась жена начальника училища. Да, господин полковник был, мягко скажем, недоволен.

Ну и что с того?..

Топчет сапогами дорожку облав-юнкер Павел Аньянич. Вертятся в голове мысли, шестеренками в часовом механизме. Никуда от этих мыслей не денешься. Что, ходячая буква закона, совсем себе голову задурил? Да нет, вроде не совсем еще. Два круга осталось. Думай, Пашка, думай — потом не дадут.

Итак, пробуем еще раз. Строим логическую цепочку:

начавшаяся года три назад эпидемия смертей мажьих крестников. Ну, здесь мы знаем, откуда ноги растут: слухами земля полнится, господа облав-юнкера тоже не дети малые, слыхали про «Заговор обреченных», иначе «Мальтийский Крест», слыхали... Гордимся даже. Дальше: волна самосудов. Держава и Церковь, упорно закрывающие на это глаза. И наконец — изменения в Уложении о Наказаниях, обоснованные чем угодно, кроме закона. Кроме Закона. Кто-то самовольно изменил правила игры; Держава и Церковь, ранее правовые в течение трехсот с лишним лет по самое «не могу», в итоге встали на сторону таинственного «кого-то» — и преступным магам объявлен шах и мат.

Конец партии?

Но когда меняются правила, меняется и сама игра. Закон дал трещину! Вот оно! Главное, вокруг чего он так долго ходил кругами! Аньянич едва не остановился на бегу, но ноги сами «думали» за господина облав-юнкера. Закон дал трещину! Треснуло не только Уложение о Наказаниях — сломалось устройство общества, общественное мироздание, если угодно. Форсированное, противоестественное излечение от старой, привычной болезни подорвало силы самого организма! Вот почему — самосуды, волнения... и странные мысли, приходящие в голову некоему Павлу Аньяничу. Да и ему ли одному?..

«Мир вывихнул сустав»?

Нет, обер-юнкер не стал делать поспешных выводов. Тем более что утренняя пробежка закончилась. После пятиминутного перерыва их рота выстроилась на втором плацу, где маэстро Таханаги обычно проводил занятия по боевой гимнастике с труднопроизносимым названием.

Не название, а сплошное сюсюканье.

Дикий народ — айны.

Медленно проступали из редеющего тумана тополя, высаженные вдоль ограды училища. Небо на востоке наливалось багрянцем, и на фоне восходящего солнца отчетли-

во (чтобы не сказать — символично!) вырисовывался темный силуэт коротышки-айна.

— Вы есть размяться, господа. Я видеть. Бегать, прыгать. Это хорошо. Изворьте взять ножи. Стать по парам.

Ножи — учебные, без заточки. Таким убить не убьешь, но ткнуть можно весьма болезненно.

Напротив сегодня оказывается Володька Бурмак. Аньяничу он не соперник: ни в силе, ни в быстроте. И оба это знают. Значит, можно особо не напрягаться, тем паче что новых приемов в первый час занятий маэстро Таханаги никогда не дает: облав-юнкера отрабатывают старое, а айн ходит между ними, время от времени поправляя.

— «Ваки-гатамэ» против зрой удар в брюхо. Таханаги знать: ваш черовек рюбит зрой удар. Таханаги иметь показать.

Маэстро вызывает одного из облав-юнкеров. Берет учебный нож. Удар «в брюхо» молниеносен, как укус кобры, и Павел ловит себя на мысли: «А я? успел бы я? смог бы?!»

Тупое лезвие замирает у живота вызванного облав-юнкера, хотя мгновение назад казалось: сейчас оно выйдет со спины. Заточено, не заточено — без разницы. Подобное ощущение возникает у Аньянича всякий раз, когда маэстро «иметь показать».

— Смотреть опять. Потихоньку.

Это любимое словечко маэстро во время занятий: «потихоньку».

— Теперь: ваш черовек бить чурка Таханаги.

Нож переходит в руки облав-юнкера. Молодой, сильный парень бьет — не так быстро, как айн, но и под такой удар лучше не попадать.

Маэстро еле заметно отшагивает в сторону. Поворачивается, смешно всплеснув руками, — и вот уже нож прыгает по утоптанной земле плаца, а рука «черовек» оказывается вывернута самым противоестественным образом.

Таханаги кивает:

— Потихоньку. Вы драть, я — смотреть.

Прием «ваки-гатамэ», прозванный в училище «Васькой-с-котами», отрабатывали еще на позапрошлом заня-

тии, так что мышцы сами вспоминают урок. Опять же, Володька Бурмак — отнюдь не маэстро Таханаги, да и мы не в бою, а на плацу...

Интересно, в настоящем бою, когда речь зайдет о жизни и смерти, он, Павел Аньянич, сумеет сохранить хладнокровие? сумеет «потихоньку»?

Наверное. Кажется, в последнее время он вообще разучился пугаться, торопиться и дергаться. Выдержка и равнодушие к пустякам — идеал будущего офицера-облавника. Разве что иногда, по вечерам, когда Аньянич позволяет себе чуть-чуть отпустить поводок... Но это — ерунда, это тоже пройдет.

Пройдет? Когда?

Ответ приходит сам собой, ответ простой и очевидный, а значит — наверняка правильный. Истина — она во веки веков проста и безыскусна. Все окончательно встанет на свои места, когда будет подписан Высочайший указ о присвоении офицерских званий облав-юнкерам всех училищ Державы. Это — порог, который надо переступить. И тогда стальные обручи, все сильнее стягивающие тело с душой, сложатся в непробиваемый доспех, который можно будет снять только вместе с кожей. С жизнью. С рассудком. Магрецидивист небось сказал бы: «Легавый в Закон вышел», — мысль показалась смешной, и Павел позволил себе улыбнуться. Чуть-чуть. Одними краешками губ.

И немедленно вспахал носом землю.

На миг застыл. Было не очень больно и даже не очень обидно: сам виноват! отвлекся! Оставалось загадкой другое: как это Володька Бурмак ухитрился?! Впрочем, понимание пришло сразу, едва облав-юнкер поднялся на ноги.

Вместо Володьки Бурмака напротив возвышался первый силач роты и прирожденный борец Мзареулов. Сбоку от Мзареулова маячила фигурка маэстро Таханаги.

— Ты думать ерун-до, — безапелляционно констатировал айн, как будто минутой раньше самолично покопался в голове некоего Павла Аньянича. — Горова сама, руки — сама. Ты умер, самурай. Ты прохо умер. Не горова, живот думать. Хара. Горова — пустой горшок. Давай, я смотреть.

Мзареулов бил от души. Отрабатывали уже «Кота-у-Васи», то бишь «котэ-маваси», и нож шел наискось сверху, в горло. Даже зная все заранее, справиться с Мзареуловым оказалось куда как непросто! Казалось бы, чего уж тут: перехватывай руку, левым кулаком наотмашь в печень, дальше руку в «замок» и дави — падай, дорогой!

Жаль, упрямый Мзареулов падать не хотел. Да и руку, подлец, ухитрился почти разогнуть. В итоге завалить его Павлу удалось с немалым трудом. Но завалил! и добивание провел! все как у людей...

— Прохо. Очень прохо. Как у вас говорить? Сира есть — ума вверх тормашки. Вот нож. Бей чурка Таханаги.

Ударил. Быстро, сильно, не думая.

И даже сам не понял, как оказался на земле, а острый локоть айна уже ковырялся под Пашкиным затылком.

— Хорошо. Горова — пустой горшок. Еще раз, потихоньку.

Упал еще раз. Потихоньку. И маэстро — потихоньку. Он все так делает: потихоньку-полегоньку. Он, значит, делает, а ты, значит, падаешь.

И весь тебе «Кот-у-Васи».

— Мородо-зерено... Сира много. Он, — кивок на Мзареулова, — сира борьше. Попадаться еще борьше — что делать? умирать?!

Павел молчал. И правильно молчал, потому что обычно немногословный айн продолжил:

— Таханаги старый. Сира давно нет. Ты — мородо-зерено. Сира много. Таханаги твой сира тебя бить. Свой нет, чужой есть. Кучер на терега ехать. Он править, рошадь — везти его с терега. Я — кучер, ты — рошадь. Ты понять?

— Так точно, маэстро Таханаги. — Павел едва не вытянулся во фрунт, но вовремя вспомнил, поклонился, коротко и почтительно. — Разрешите просьбу?

Айн подумал. Кивнул, разрешая.

— Соблаговолите повторить! Еще разик...

— Таханаги показывать, ты — запоминать. Брать так. Враг давить, враг мородец, сира много-много (на занятиях Павлу всегда казалось, что старый айн нарочно ковер-

кает язык, из каких-то, одному ему понятных, соображений)! Ты сира нет, ты сдаваться, пускать мимо. Брать запястье. Потихоньку. Враг кричать: «Итай-итай!»[1], враг не разогнуть рука. Ты брать рокоток. Потихоньку. Враг повернуться и падать морда в грязь. Если не падать — свой сира ромать свой рука. Не ты ромать — свой сира. Ты понять?

— Так точно, маэстро. Разрешите?

— Да. На Мза-реур.

На сей раз Мзареулов шлепнулся куда быстрее. Конечно, все вышло далеко не так «потихоньку», как у хитрого маэстро, но...

— Уже ручше. Это высокий искусство — брать чужой сира. Дерать свой. Это не торько боевой — это рюбой искусство. Рисовать. Стихи. Кабуки. Но — рицедей. Магия...

— Магия — искусство? Простите, маэстро! Магия — преступление, а не искусство...

— Рисовать черовек... портрет — искусство?

— Так точно, маэстро.

— А у рюди Магомет-роши рисовать черовек — хуже нет. Изворьте дарьше.

Маэстро повернулся к другой паре, давая понять, что беседа окончена. Павел подобрал нож, встал в позицию напротив Мзареулова (теперь была его очередь нападать) — и вдруг увидел, что силач смотрит совсем в другую сторону.

Аньянич невольно взглянул туда же.

К наблюдавшему за занятием ротмистру Ковалеву бежал дежурный унтер-офицер. Козырнул наспех и что-то выпалил в один дух неразборчивой скороговоркой. На малоподвижном лице Ковалева дернулась бровь — такое Аньянич видел впервые; а глотка у господина ротмистра была луженая, так что команду, наверное, услыхали не только на плацу:

— Рота-а-а! Боевая тревога!!!

---

[1] Ай, болит! (*айн.*)

IX. ФЕДОР СОХАЧ, или ЕСЛИ СО МНОЙ ЧТО-НИБУДЬ СЛУЧИТСЯ...

> Ноги их бегут ко злу, и они спешат на пролитие невинной крови; мысли их — мысли нечестивых; опустошение и гибель на стезях их.
>
> *Книга пророка Исаии*

Минуты застыли в оцепенении.

Они сменялись одна другой незаметно, неуловимо, как в глазах кролика, загипнотизированного удавом, испуг сменяется обреченностью, обреченность — покорностью, а покорность — чем-то странным, плохо определимым, чему еще не нашлось слов в языках человеческих... да и кроличьих, наверное, тоже. Время шло; да, разумеется, оно шло, иначе и быть не может — но так ходит знаменитый марсельский мим Ноэль Лакло-младший: выбиваясь из сил и в то же время (каламбур!) оставаясь на месте.

Сколько их, этих глупых, зачарованных минут успело растечься каплями в клепсидре ожидания: пять? десять? Пожалуй, что и все двадцать.

Ничего не происходило.

Ничего.

Шум толпы не исчез, но и практически не приближался. Замер на месте — там, за холмами, где дорога разветвлялась, одним широким рукавом взмахивая на Харьков и другим (узким, ошибкой горе-портняжки!) спускаясь мимо дач к Северскому Донцу. В трепете утра, приблизившегося вплотную, этот шум уже не казался чем-то особенным — слился, растворился в прочих звуках, надел шапку-невидимку, став привычным и оттого обманчиво-безопасным.

Федор поймал себя на странном, жгучем, будто кайенский перец, случайно оказавшийся в табакерке, желании: ему всей душой хотелось быть за холмами, рядом с шумом, в шуме. *Быть шумом.* Хотелось видеть, понимать; делать хоть что-нибудь! — вместо того, чтобы сидеть сиднем в саду, занимаясь одним: избегать встречаться взглядом с остальными. Собственно, в этом желании, в потаенном

стремлении к действию не было ничего особо странного, принимая во внимание обстоятельства... ничего странного, за исключением пустяка.

Приходилось желать, так сказать, страстно, но вполголоса, ежесекундно оттаскивая самого себя за узду от опасной черты.

Вот она, черта, барьер дуэли с самим собой: Рашель начинает дышать хрипло, сбивчиво, бледнеет лицом, вот-вот раскашляется, вот-вот, вот... ф-фух, отпустило!.. назад, еще чуть-чуть назад, еще шажок...

Учись, парень, учись, маг в законе, куй стальные обручи для сердца... научишься?

Вряд ли.

— Федор! Будьте любезны подняться ко мне!

Это Джандиери. Кричит — какое там кричит! просто слегка повысил голос, а от нервов кажется, будто труба иерихонская стены рушить принялась! — из окна кабинета. Вон мелькнул в просвете штор ослепительно белой рубашкой. Небось еще не оделся... но оденется, обязательно, непременно, чтобы никто (слышите? никто!) не принял впопыхах рубашку Циклопа за позорный флаг сдачи.

Спасибо, князь.

Спасибо за возможность вскочить, наискосок пересечь газон, взбежать по ступенькам, прыгая через одну... Федор, ты же хотел делать хоть что-нибудь? Ну, делай!

Делаю.

* * *

Джандиери сидел за столом спиной к двери, подперев кулаком щеку.

В позе князя было столько пронзительно-детской беззащитности, что Федор задохнулся на пороге — не от бега. Остолбенел; не от усталости. И пришел в себя лишь после тихого, равнодушно-обреченного вопроса, где клокочущий акцент пробивался больше обычного:

— Федор Федорович? Не сочтите за труд... У меня к вам просьба. Сугубо личная; между нами.

Само обращение — едва ли не заслуживающее театральных подмостков — говорило о многом.

— Я... да, конечно...

Любые слова на миг показались жалкими огрызками всех яблок Грехопадения, какие только произрастали на этом беспощадном свете. Рот свело оскоминой, и Федька мог лишь молчать, глядя, как князь наклоняется и открывает дверцы бювара, где у него хранились бумага, перья и чернила.

— В случае, если со мной что-то случится...

Завещание он там хранит, что ли? Да нет, достал просто тетрадь: смешную, толстую, растрепанную, будто сельская девка после валяния с миляшом на соломе.

Раскрыл, наскоро перелистал.

Из-за княжеского плеча Федор прекрасно видел: тетрадь в основном чиста и девственна. Значит, предыдущее сравнение — мимо. Едва ли четверть была исписана убористым, твердым почерком со старомодными завитушками. Или это просто кровь сказывается: грузинская вязь дает о себе знать?

На внутренней стороне обложки была, собственно, и вязь: родная, грузинская. Четырехстишие. Чуть ниже: перевод. Впрочем, Федору достаточно было увидеть мельком лишь начало первой строки, чтобы в памяти всплыло болезненно и остро: «Вепхвисткаосани»[1] великого Шоты из Рустави, в несправедливо оболганном критиками переводе К. Бальмонта.

Двенадцатая строфа:

— Только в том любовь достойна, кто, любя тревожно,
знойно,
Пряча боль, проходит стройно, уходя в безлюдье, в сон,
Лишь с собой забыться смеет, бьется, плачет, пламенеет,
И царей он не робеет, но любви — робеет он.

Тетрадь захлопнулась.

— Если со мной что-то случится, вы, Федор Федорович, передайте это...

Снова замолчал.

Думает.

---

[1] «Витязь в тигровой шкуре» (*груз.*).

Далеко он сейчас, Шалва Теймуразович, Циклоп-людоед; так далеко, что не разглядеть — где.

Так близко, что рукой потянись — достанешь.

Имена перебирает, в горсти, будто ребенок — горсть наивных, но столь дорогих для детского сердца бусин. Слышит Федор, как хрустят, потрескивают безделушки; слышит, как князь разглядывает их блеск — настоящий? ложный?! — не может, не должен слышать, а слышит. Или это не бусины-побрякушки, а драгоценности? подлинные?! каждой, если верить отцу Георгию, на добрый финт хватит?!

«Передайте это... Эльзе?» Нет. Эльза — имя для посторонних, купленное в государственной лавке, имя-нужда, имя-обязанность, имя-обруч... нет.

«Передайте это... Раисе Сергеевне?» Тоже нет. Никакая она не Раиса и тем более не Сергеевна — даже если это имя куда привычнее, обустроенней, обросло тьмой ассоциаций и воспоминаний, добрых, злых, страшных... Только — нет. Не получится.

«Передайте это... Рашели Файвушевне?» Это имя — самое настоящее. Родом из детства. Да вот беда: и чужое-то оно — самое. Для всех, и для самой хозяйки тоже. Значит, не надо.

«Передайте это... вашей крестной?» В общем, все правильно. Только нет в этом имени-определении места для князя Джандиери, ловца, поймавшего вожделенную дичь и с тех пор стоящего над трупом мечты. Для Федьки место есть, для остальных — хоть краешек, да сыщется; а для него, для князя, — нет.

«Передайте это... Княгине?»

— Передайте это моей жене. Пусть прочитает. Если захочет...

Молчание.

Двое мужчин слушают тишину: не сфальшивили? взяли верный тон?!

— Если захочет, пусть прочитает это вслух, при всех. При всех вас. Я очень прошу, Федор Федорович: позаботьтесь.

— Я... да, конечно...

— Ну вот и славно. А теперь...

Вся задумчивость слетела с князя, будто паутина, сорванная порывом ветра. Джандиери резко встал, прошелся по кабинету.

— А теперь, голубчик, будьте любезны передать остальным: пускай подымутся в дом. Например, в столовую, на втором этаже. Там места много; и ворота из окон хорошо видны. Мало ли... Кстати, ворота-то заперты? Если нет, я прошу вас — лично. Хорошо? Ах да, не забудьте велеть челяди запереться во флигеле и без приказа носа не высовывать! Кучера моего тоже с ними... или ладно, он пускай, если что, выглядывает. Семен — из ваших, человек в прошлом тертый...

Джандиери покусал губу, наморщил лоб.

Было видно: он изо всех сил старается не думать о чем-то постороннем, мешающем князю сосредоточиться.

— И вот еще: возьмите.

Сняв со стены охотничью двустволку — на ложе серебряная табличка, гравировка «Полуполковнику Джандиери — полковник Куравлев», — князь через весь кабинет кинул оружие Федору.

— Там, в верхнем ящике тумбочки — патроны. Штук семь, может, восемь. Уж не взыщите, голубчик! — дробь. Утиная. Завалялись... я ведь практически не охочусь в последнее время...

В устах полковника Джандиери это утверждение звучало донельзя символически.

Уже в коридоре Федора догнало, толкнуло ладонью в спину:

— Меня не ждите... сами... договорились? Я ведь понимаю...

И, сбегая вниз по лестнице, Федор продолжал недоумевать: что имели в виду господин полковник?

В кармане мерзко брякали патроны.

* * *

Загнав слуг в дальний флигель и наскоро переговорив с Сенькой Крестом — молчун Сенька хмуро кивал и хмы-

кал в усы, отворачивая рябое лицо, — Федор поднялся в столовую.

Все уже были там. При входе Федора воцарилась неожиданная, резкая, будто удар бича, тишина, как бывает при появлении человека, о котором только что говорили. «Почему не я? почему?!» — заикнулась было в этой тишине Акулина, жена любимая, не успев вовремя оборвать вопль протеста; вопрос повис в воздухе, сгустился огромным вопросительным знаком и растаял без следа.

— Потому, — буркнул Федор, поправляя на плече двустволку и не особо вникая в смысл жениного заявления.

Шагнул с порога.

И увидел Рашель.

Княгиня стояла у длинного обеденного стола. На фоне окна, где уже вовсю плескался рассвет, ее фигура казалась восковой свечой, тьмой, зажженной на фоне света; или лучше, проще — черным силуэтом, какие во множестве вырезал старик-художник с Кокошкинской улицы. Руки Княгини были опущены, она держала шкатулку, еще не до конца поставив ее на стол.

Замерла поперек движения, фея-крестная.

Сейчас примется башмачки терять.

— Вот, — с трудом преодолевая тишину, внезапно загустевшую и оттого неподатливую, сказала Рашель. — Вот, я принесла. Отец Георгий, вы не подскажете, что подойдет лучше?

Священник приблизился; взял шкатулку из рук Княгини, поставил перед собой. Откинул перламутровую крышку, долго смотрел внутрь, низко наклонясь. Наконец достал что-то маленькое, поднес вплотную к глазам — так делают близорукие люди.

— Я полагаю, это. Но учтите, я могу ошибаться. И в любом случае вашим рубинам больше не доведется привлекать ничьи взгляды. Если, конечно, вы поверили мне...

И он туда же! Федор просто нутром чуял, как отец Георгий перебирает имена Рашели, коих много накопилось за последние годы. Перебирает, словно дребедень в шка-

тулке, и наконец уверенно берет единственно нужное. Старое, известное прозвище:

— Если, конечно, вы поверили мне, Княгиня.

— Поверила, Гоша, — ласково отозвалась Рашель. — Поверила. Хотя я всегда считала, что Фира Кокотка шутила, когда в Амстердаме говорила мне примерно о том же... даже проверять ни разу не пыталась!.. Я глупая, да?

— Нет, — очень серьезно ответил отец Георгий.

И повернулся к Федору:

— Ради всего святого, прошу меня простить, Федор Федорович!.. Поймите, нам очень нужно знать... А кроме вас...

— Кроме него — я! я!!! — мигом встряла Акулина, но Рашель оборвала ее, недвусмысленно указав на Акулькин живот. Ты еще, дескать! сиди и не рыпайся!

— Кроме вас, нет никого подходящего. У Княгини — пауза, Друц... ну, сами понимаете. Я «стряпчий», это мне поперек масти, особенно без заказа... Сенька Крест — в прошлом «фортач», Десятка, как и я, ему руки удлинять или там гуттаперчевым делаться... А по «видоцкой части» он профан. Значит, остаетесь вы.

Федор, не отвечая, прошел к окну. Распахнул створки наружу. Снял с плеча ружье, положил на подоконник.

Шум за холмами до сих пор не сдвинулся с места. Но стал отчетливей, выше тоном; заколебался в сыром, осеннем воздухе, словно всерьез раздумывая: не пора ли?

Почему они медлят? Сколько времени тянется это безобразие ожидания: двадцать пять минут? полчаса?

Скорее всего полчаса.

— Что вы там выбрали, отец Георгий? — тихо спросил Федор.

— Вот... — словно пытаясь уподобиться Княгине, повторил священник. Приблизясь, протянул узкую, девичью ладонь. На ладони лежал рубиновый набор: серьги и кольцо. — Мне кажется, этого вам должно хватить. Нам еще повезло, что у Княгини в ее спальне... прошу прощения за бестактность!..

— Хорошо. Попробую увидеть. Батюшка, я вас очень прошу: возьмите графин, налейте воды куда-нибудь!

Если б еще знать, зачем ему понадобилась вода! Прав был Дух: ничего своего, все чужое, дареное, краденое, из карманов вытащенное!.. Да, батюшка, давайте мне рубины, давайте, вот, я зажму их в кулаке, я зажал, держу...

— В тарелку? в тарелку сойдет?

— Что? Ах да, хорошо... пусть будет в тарелку.

Пока священник оборачивался и собирался направиться к буфету, черная тень метнулась из угла. Тетушка Хорешан, когда хотела, умела двигаться очень быстро. Миг — и тарелка, полная водой до сиреневого ободка по краю, уже стоит на столе рядом со шкатулкой.

Только тут Федор заметил, что из того же угла, с ногами забравшись в кресло, за их действиями с интересом наблюдает княжна Тамара. В ответ на его вопросительный взгляд священник лишь руками развел: а что я могу сделать? не уходят!

— Федор Федорович! — вдруг сказала Тамара, пристально глядя в его сторону, как если бы заметила что-то крайне любопытное. — А зачем вы этот колпак надели?

— К-какой к-колпак?

«Святые угодники! интересно, кто это из нас заикается?!» — обожгла неожиданная мысль.

Вторая мысль была еще неожиданней первой. Федор прозой баловался редко, все больше был по стихоплетной части (наследство?!), но ему подумалось: как же тяжело, наверное, описывать сцену, где присутствует так много персонажей! Внутренний взгляд еле-еле успевает бросаться от лица к лицу: Княгиня, Тамара, священник, Акулина, тетушка Хорешан... наконец, он сам, Федор Сохач... Впору радоваться, что Друц ускакал! На какие-то описания, подробности, пикантные мелочи просто не хватает времени, места, слов, потому что время обманчиво топчется на месте, готовое в любую минуту сорваться с этого места резвее скакуна на ипподроме... боже, какие глупые мысли порой лезут в голову, когда опасность уже стоит на пороге!

Это скорее всего по одной причине: отвык. Отвык от

опасности. Все мы отвыкли. И до чего не хочется привыкать заново!..

— Какой колпак, Томочка?

— Синий, — как нечто само собой разумеющееся, уточнила княжна, безмятежно улыбаясь. — Синий-синий, будто небо в июле. И оторочка из облаков. А сверху — звездочка.

Оставив таинственный колпак на совести Тамары, Федор опустил указательный палец левой руки в налитую воду. Поболтал, слегка вспенивая. Плохо понимая смысл собственных действий, плюнул туда; и еще немного поболтал пальцем.

Разжал кулак.

Рубиновый набор с плеском упал на дно тарелки.

— Вино, — с прежней безмятежной улыбкой добавила княжна. — Нет, я ведь вижу... это вино. Саперави, пятилетнее. Федор Федорович, вы мантию одерните, она у вас за брючный ремешок зацепилась...

Наскоро пожалев, что душевное здоровье княжны оказалось недолговечным (слава богу, хоть заикаться перестала!), Федор отрешился от посторонних влияний. Слово «влияния» явилось само, оно было не очень к месту после слова «посторонние», но тем чутьем, которое не знало ошибок и промахов, Федор знал: это именно так.

Палец все быстрее вспенивал воду в тарелке.

Брызги выплескивались на стол.

На рукав.

На пол.

Тускло кровянели рубины со дна... саперави... Вино... пятилетнее.

...палец.

...вода.

...палец...

* * *

— ...бестолочь, говоришь, хлопец был? Вроде Тришки с Грицем?.. Эх, кабы нашим телепням той ворожбой учебной ума-разума вдолбить! А то на кого хозяйство оставить?

Ежли из всякого раздолбая человека сделать можно! грамоте обучить! счету! торговым делам! законам! От дело! Тришка-дурень, значит, баклуши бьет, — а ума в голове все одно прибавляется, хошь не хошь!

— А я об чем? Я об чем! Мы ж теперь одного мага наверняка знаем: кучера кнежского. Вот и обожди с полным рапортом!..

И еще, прямо в голове, чужими, горячими, как свежий борщ (опять!), мыслями:

«Ой, лишенько! Грицька, кровиночку — у кляту мажью науку! Грицько ему, дурню старому, лайдак! Грицько ему, цапу[1] *седатому, бестолочь! Ой, такой хлопец, такой хлопец, один, как солнышко! — а он ишь чего удумал! Цыть, Катерина, цыть, глупая баба, не лезь попереди батьки в пекло!.. обожди, еще послухай, до конца!.. ой, сглазили мне Остапа, порченым сделали!.. ой, дурень!.. ой!..»*

* * *

...вода.

— Это Катерина-головиха, — бессвязно выдохнул Федор. — Подслушивает! она думает, что...

— Не надо. — Ласковая ладонь священника легла на плечо, и только сейчас Федор ощутил: не плечо у него! камень! чугун литой! — Не надо, Федор Федорович. Мы все... мы все слышали. Вы понимаете, Федор Федорович... это не сейчас, это перед зарей было.

Совсем рядом тяжело дышала Княгиня. Ее взгляд обжигал; изумление, недоверие, пылающий восторг, доходящий до преклонения, едва ли возможного в этих вечно насмешливых глазах, — страшная, чудовищная смесь кипела во взгляде Княгини.

И еще: вода в тарелке тоже стала горячей. В ней клубились розоватые облачка, словно туда упали две-три крупицы марганца.

— Как вы интересно руками делаете, Федор Федоро-

---

[1] Цап — козел *(малорос.)*.

вич! — донеслось из кресла. — Так полонез танцуют... Вверх, вниз, в сторону... вверх, в сторону... Вы меня научите так делать?

И молчала рядом на скамеечке, нахохлившись, черная ворона.

— Это перед зарей было. — Священник тяжело навалился на Федора, задышал прямо в ухо. — Федор Федорович, дальше! дальше!..

Палец вновь закрутил водяные смерчики, отливающие розовым. Замерцали рубины со дна. Взлетела набухшая капля, напоминая сосок девичьей груди; взлетела, обрушилась... исчезла меж себе подобных.

...вода.

...палец.

...Вверх, вниз, в сторону... Вверх, в сторону...

* * *

— Ой, люди! ой, соседи! ой, спортили мне Остапа!

— Цыть! цыть, глупая баба! коржи-бублики!

— Ой, спортили! сглазили! Ишь, чего удумал: сыночка, ласточку родимую!.. к этим!.. к этим!.. ой, люди!..

Из-за плетня, густо украшенного пустыми горшками и макитрами, смотрели цвиркунчане. Падкие на любой гвалт, вперевалочку спешили от колодца бабы; орали дети; остановился на полпути бондарь Подопригора; конопатый Ондрейка-коваль шмыгал носом, разбитым вчера гадским панычем; дьяк Смарагд Яхонтыч сунул в ноздрю палец и принялся задумчиво ковырять там, словно надеясь добыть истину на свет божий.

— Цыть! Катерина, прибью! ей-богу, прибью!

— Ой, люди! Демиде, начальство, ты-то чего смотришь? столковались, да?! спелись, кочеты седатые?! да?!

Собирались люди.

Голосила Катерина-головиха. Мешала грешное с праведным, поняв из ночной подслушанной беседы одно: мажий вертеп под боком. Все, все там скурвились, застили князю ясны очи, а теперь и до ее Остапа добрались. Проходивший мимо

села пастух, так и не дождавшись тутошних Буренок и Лысок, отрядил двух подпасков узнать, в чем дело. Подпаски узнали. Старший из них, уроженец ближних Кривлянцов, мигом запылил босыми пятками прочь по дороге — на родину. Докладывать; трепать языком. Мало-помалу заваривалась каша. Сам голова с урядником молчали, как плотва на кукане, только рты разевали-захлопывали — боялись, что в суматохе и им достанется; или, того пуще, всплывет правда. А так: горячился народ, плохо вникая в вопли головихи, закипал, найдя, на кого свалить беды-злосчастья, на ком душу живую отвести; «Обижают! обижают!» — верещал Прокопий-блаженный, звеня веригами...

— Дальше! Федор Федорович, умоляю!

— Как вы интересно поете, Феденька! и слова интересные: н'аш шамаш тгуа'ндали, н'аш шамаш аруда н'а...

— Господи, Томочка! да что вы такое говорите?!

— Федор Федорович! умоляю!

А время закручивалось в тарелке розовой — нет, уже алой, будто кровь из вспоротой артерии — спиралью, брызжа на стенки секундами, минутами...

...толпа шла наперерез толпе. Еще минута, другая — и передовой отряд гневных цвиркунчан, состоящий почти полностью из сопляков-голодранцев, прямо на перекрестке столкнется с такими же сопляками, бегущими на челе войска села Кривлянцы. Того самого, откуда родом был незадачливый подпасок, в лихой час решивший стать крестником Девятки Пиковой.

— Геть, убивцы! — еще издали орал батька подпаска (к слову сказать, так и не вернувшегося домой со вчерашнего вечера); плюгавый, верткий мужичонка. — Лиходеи! Ганьба![1] Василя моего затоптали, теперь на мажье племя вину свалить норовите?! А ну, люди! в колья их!

---

[1] Позор! (малорос.)

Вой обезумевшей жены был ему поддержкой.

По счастью, вместо обмена тумаками сперва завязался обмен бранью. Всплыло, что труп Василя-крестника никто не видел (жив, мабуть, отлеживается в очерете!); ром-конокрад для допроса непригоден (сдох, подлюка! туда ему и дорога, а спросить теперь не с кого!); выяснилось, что беды и Кривлянцы стороной не обходят (падеж! недород! корова Яська двухголовое теля родила!); вот как раз с того дня, как голицынскую дачу кавказский князь купил, так, значит, и сразу...

Ондрейка-коваль взасос лобызался с батькой подпаска:

— Милый! душу! душу за тебя выну! Идем?

— Идем! — соглашался батька. — Идем вымать! Мотря, подай мои вилы! Идем, брате!

Меж людьми сновал шинкарь Леви-Ицхок — малорослый, но жилистый авраамит по прозвищу Ремень, донельзя злой в драке (это знали многие!). Трое его старших сыновей на ходу разливали в кружки варенуху и горелку; совали людям не глядя. Потом расплатятся. Кто грошами, кто гречкой-салом, кто работой. Здесь главное — не упустить время, а там — будем посмотреть.

Доброе дело всегда зачтется.

— Разом! разом пошли!

— Пошли!

— Геть! Ганьба!

— Та чего ты орешь, дурень?

— Чего ору? та все орут, от и я!

— Ломир алэ инейнем![1]

— Разом! от допьем, и — разом!

— Феденька! Родной ты мой!

— Вот, значит, почему они задержались... хмельные...

— Вы полагаете, Княгиня, с хмельными проще?

— Когда как, Гоша... когда как, отец мой...

— Федор Федорович! у вас посох загорелся! осторожнее!..

---

[1] Давайте все вместе! (авраам. жаргон.)

«Разом!» — эхом плеснуло в мозгу, багровой, уже венозной кровью взбаламутилось в тарелке... и на сей раз действительно разом — исчезло.

* * *

Весь мокрый, взъерошенный, Федька Сохач возвышался у края стола. Треснувшая тарелка стояла перед ним, истекая черной, жидкой смолой. Внутри было пусто и гулко, словно в заброшенной церкви ночью. К плечу припала Акулина, жена любимая; ее живот, большой и теплый, был совсем рядом, и Федор машинально тронул живот ладонью.

Осторожно.

Бережно.

Ощутив ответный толчок, убрал ладонь прочь.

— Слава богу! — с облегчением сказала княжна Тамара, юлой вертясь в кресле. — Погасло. А я вам кричу, кричу... А вы не слышите...

— Можно вас на минутку, Федор Федорович?

Отец Георгий деликатно тронул Федьку за локоть; отвел в сторонку, к дверям.

— Вы обратили внимание на поведение Тамары Шалвовны? — И, поймав замороженный Федькин взгляд, опомнился: — Ах я, глупец! Ну конечно, до того ли вам! Вы понимаете: Федор Федорович, она видит... как бы это выразить словами... Видит *тень*! Такое часто видят крестники; маги в законе — редко, куда реже. Во время финта вокруг мага формируется некая *тень*: маг стоит, а *тень*, к примеру, пляшет, маг скрещивает руки на груди, а *тень* делает некие пассы... Понимаете, княжна это видит! Отсюда — колпак, мантия!.. странные слова... Я полагаю, действия *тени* — это те действия, какие мы должны были бы делать, если бы знания передавались не по Договору, а обычным, естественным путем!.. Вы понимаете меня?!

Княжна Тамара, ничуть не озабоченная тем, что стала предметом столь удивительного разговора, вдруг выскользнула из кресла.

Легко, в два шага, оказалась у крайнего, углового окна.

— Вон они, — сказала. — Пришли.

Много глаз у толпы. А во всех одинаково:

...огонь.

Бьет красный петух крыльями, рукотворную зарю поет. Языки к самому небу вымахали. Облизывают шершаво; дерут в клочья. Тени вокруг гопака пляшут: с вывертом, с подскоком. Вот уже и стропила рухнули. Вот уже громыхнуло что-то, лопнуло. Ищет огонь вкусненького, по сторонам косится.

Любят люди в огонь смотреть.

И со стороны вроде бы, и при деле.

* * *

Решетчатую ограду дачи затапливало людским паводком.

Х. АЛЕКСАНДРА-АКУЛИНА, или К ВАМ ЕПУТАЦИЯ!

> Враждуйте, народы, но трепещите, и внимайте, все отдаленные земли! Вооружайтесь, но трепещите! вооружайтесь, но трепещите! Замышляйте замыслы, но они рушатся...
>
> *Книга пророка Исаии*

...Толпа высыпала на пригорок как-то сразу, гурьбой; словно в муравейник палкой ткнули — мураши и полезли наружу, от врага невиданного дом оборонять. Ой, да это ведь еще и не все! Из-за пригорка они прут и прут, как попало, россыпью — а по дороге, что от большого тракта к даче в обход холма вьется, другая толпа ломится, пылит; шум стоит — хуже ярмарки.

Сколько же их там на самом деле?!

...первыми мальчишки добежали. Ну, эти — всегда первые. Облепили ограду — решетку чугунную, хитрую; по завитушкам наверх лезут, галдят, друг дружку переорать силятся.

Однако за ограду не суются.

За ограду — страшно. И не потому, что в доме небось колдуны зубами щелкают да полковник жандармский, пан из панов, нож булатный точит. Их ведь и не видать покамест; вообще никого из людей не видать. Казалось бы: прыгай в сад, рви панские яблоки, смелостью своей перед приятелями выхваляйся! Прыгай, дорогой, прыгай, хороший мой! — это не я приглашаю. Это мраморный дог по кличке Трисмегист в гости зовет. Утробно зовет, с рыком, с поклоном; с хлебом-солью. Да так, что пацанву едва с ограды не сдувает.

Страшно! Попадешь к чуде-юде на зубок — лететь клочкам по закоулочкам! Сожрет — не поперхнется...

Вот и сидят мальцы на самой верхотуре. Дразнятся:

— Гей, пан, драный жупан! У тебя чаклуны в погребе развелись!

— Як пацюки![1]

— Гей, змеюки подколодные, вылазьте!

— А собака-то у них страшный!

— Да то, мабуть, чаклун-перевертень!

— А ну, собака, кусь! кусь! ось тебе сальца, ось тебе смальца!..

— Гей, Павло, дай мне дрючка, я того кобеля перетяну!

— Выходь, мажено-смажено![2] Выходь!

— Агов! выходь!..

Весело огольцам. Безопасно. Ну, выпорют, в крайнем случае, за усердие — в первый раз, что ли? А тут такое развлечение! Когда еще доведется безнаказанно пана с клятыми чаклунами обругать ругательски, да еще у всех на виду, на слуху?! Камнями покидаться (ох, чую, скоро полетят!), собаку панскую дрючком перетянуть?..

Вслед за детьми к ограде подтянулись бабы. И гвалт, естественно, усилился стократ:

— Грицька, Грицька мово сглазили, ироды!

— Убить хотели!

— Ужо припомнится! ужо закаетесь, лиходеи!

— Боженька, он все видит!

---

[1] Пацюки — крысы (*малорос.*).

[2] Жареное (*малорос.*). Смажить — жарить.

— Василя, Василька верните! Чертово отродье! Куда кровиночку дели, харцызяки?!

— Ось зараз вам мужики красного петуха пустят! Как бог свят, пустят!

— Отродье бисово!

— Пекельники!

Орут бабы, дразнятся мальчишки, лает, прыгает у забора верный Трисмегист — а сзади, по дороге, тем временем мужики подходят. С топорами, с кольями, с вилами — кто с чем. Многие и вовсе без ничего. Только не спешат мужики. Остановились за спинами своих благоверных, цигарки раскуривают. С ноги на ногу переминаются, на дом господский смотрят, переговариваются вполголоса. Мужики, особенно здешние гречкосеи, — народ обстоятельный. Им всякое дело сперва обмозговать требуется, перекурить, когда самогонка есть — то и самогонки выпить.

Это бабы с детворой на язык скорые...

— Да шо ж це робыться?! Ты поглянь! нет, ты поглянь на их!

— Шо, Катерино?

— А то! Мы туточки роздыраемось, а им хоть бы шо! Заперлись у хате и молчат, як ота рыба об лед!

— Гей, телепни, вы шо, цигарки смолить сюды пришли?! Вам скоро промеж ясны очи наплюют, а вы стоите?!

— Може, там нема никого? Убегли?!

— Мужики! Чи вам повылазило?! То робыть шо-нэбудь, хай вам грець!

Переглянулись мужики.

Сплюнули; сапогом растерли.

— То цыть, дурные бабы! Цыть, я кому сказал!

Э, да этот, который их приструнить пытается, в казенной форме!

Урядник!

— Мы тут зачем, я вас спрашиваю?! Зачем?! Бунты учинять и прочие безобразия? Или мажье семя изобличить и к ответу призвать, по всей строгости, значит?!

— Призвать!

— По строгости!

— Ряшки начистить!

— Хай Василька вернут, кровиночку... — взвился одинокий вой.

Ты гляди! А примолкли маленько!

— Мы к пану князю с челобитной! Про кубло мажье, шо под боком у ихней светлости! Так мы ему глаза откроем, и задержать поможем, ежли шо! И доставить, куда следовает!

— Поможем!

— Откроем!

— Доставим!

— Куды следовает!

— У пекло их следовает!

— На вилы!

— Дык эта... *епутацию* надо выбрать, ось! Шоб с паном князем толковать, стало быть!

— Вот ты, Демид, и иди, ты у нас власть!

— Да куды ж вы смотрите! Демид же сглаженный-спорченный! Он с моим Остапом тем чаклунам запродаться хотел!

— Цыть, дурна баба!

— В глаз! в глаз ей, Остап Тарасыч! Ай, козак! лыцарь! И в левый, в левый теперь! Остап Тарасыча в епутаты! голову!

— Шинкаря! Ицика в епутаты! Ицик хитрый, его хрен обдуришь!

— Ото дило! Шинкаря давай!

— Шинкаря! Голову! Демида-урядника!..

Слава тебе, Господи! Жечь сразу не решились, собрались переговоры устраивать. Глядишь, пронесет...

Пока шум да дело, за оградой сыскали заодно и кривлянцовского голову — тот вместе с шинкарем прятались в задних рядах, и, судя по их виду, оба больше всего желали оказаться где-нибудь подальше отсюда. Однако против общества не попрешь; пришлось соглашаться и благодарить за оказанную честь.

Толпа-то у них будто теленок-страхолюдина — двухголовая...

Не обошлось без скандала: небритый плюгавец, отец сгинувшего Василька-крестника, все норовил попасть в

число «епутатов». Но его гнали. У тебя, мол, свой интерес, своя обида, и вообще, ты кто такой? голь перекатная?!

Плюгавец обижался, орал, размахивал грязным (даже отсюда видать!) кулаком, грозился все мажье семя посадить на вилы, а клятым «запроданцам» насыпать соли на хвост. Рядом причитала его жена, разорялась Катерина-головиха и хмурился здоровенный конопатый Ондрейка-коваль — тот самый, которому мой Феденька нос своротил.

Феденька — он такой, он может...

А еще в толпе вьюном крутился карла-юродивый. Подвывал: «Обидеть хотят свет Прокопьюшку! Обороните, люди добрые, не дайте в обиду! Свет Прокопьюшка чует! чует!..» Юрода пытались утешать, чем-то кормили, и он ненадолго умолкал, набив рот дармовой снедью; но потом, прожевав, снова заводил свою шарманку.

Со стороны это, наверное, выглядело потешно; жаль, мне было не до смеха. Ведь толпа хуже зверя! да что я — зверь дикий много, много лучше! Никогда не знаешь, что этим ветошникам в следующий момент в голову взбредет! Сейчас они переговоры вести надумали, а через пять минут дуры-головихи с юродивым наслушаются — и усадьбу палить сунутся!

Страшно. Никогда еще так страшно не было! Хотя нет, вру. Было. Там, на лесной заимке, когда Петюнечка...

Нет, не вспоминать! Уж лучше в окно смотреть буду.

Отодвигаю подальше краешек тюлевой занавески — осторожно, чтобы ветошники не заметили...

* * *

У ворот — семеро. Остальные притихли, назад подались. Кого еще выбрали, я недослышала, да и какая разница? Я их все равно никого не знаю. Вон, стоят, мнутся. И им боязно. Урядник через плечо на толпу окрысился: заткнитесь, мол, раз выбрали — теперь не мешайте!

Потом вперед прошел, в ворота стукнул. Деликатно так, я даже звука не услышала. Еще раз стукнул, погромче. Тут и шинкарь вмешался:

— Ваша мосць! Ваша мосць! Панове! Мы таки до вас! Выборные! От обчества!

— Епутация!

— Гей, хозяева! Уважаемые! То есть кто-нибудь дома?

И вдруг: смолкли.

Все; разом.

Совсем.

Тишина.

Кажется, даже птицы в саду подавились щебетом; даже Трисмегист лаять перестал.

Оторопь людей взяла, оцепенение пало.

И на меня тоже! Раньше текла себе речкой, плескалась-забавлялась, и вдруг — ударил мороз жгучий, сковал льдом от берега до берега. Мысли в голове и те в ледышки превратились.

Кто ж это нас всех заморозил?!

Еле-еле повернула голову (шея! хрустит! не хочет!..); забыв об осторожности, толкнула створки, высунулась в окно. Глянула вниз.

Увидела:

...от главного крыльца к воротам неторопливо шел полковник Джандиери. В парадном мундире с аксельбантами, весь сверкая начищенным золотом пряжек, серебром пуговиц и кушака с бахромчатыми кистями, при шашке и револьвере в лаковой кобуре; стройный, подтянутый... Холодом, февральской стужей веяло от этой бесстрастной фигуры. Я прямо-таки видела, как мороз кругами расходится от шагающего к воротам полковника-«Варвара», как сковывает льдом разом присмиревшую толпу, как...

А меня понемногу отпускать начало.

Что ж это получается?! Кто тут маги-колдуны? Мы, которые в Законе, или жандармы облавные, у которых свой Закон? Ведь не только меня «заморозил», твоя светлость...

А Джандиери идет себе и идет. Вон, уже у ворот. Остановился. Голову чуть набок склонил, по-птичьи, — а спина, ремнями перетянутая, прямой осталась, словно из гранита высеченная. Смотрит князь сквозь решетку ворот. Сквозь «епутацию» дурацкую, сквозь цвиркунцов с кривлянчанами. Изучает, будто уродцев в кунсткамере под стеклом.

Спросил что-то; негромко, отсюда не расслышать. Тут

выборные будто очнулись — зашевелились, загалдели наперебой. Еще и карла-юрод вперед выскочил, всех перекрикивает:

— Братец князь! ты видишь! тебе Бог дал! Защити! Оборони!.. обидеть хотят!..

Насилу угомонили дурака. Отвели в сторонку, краюхой хлеба рот заткнули. А выборные ближе подошли, объясняются. Только и слышно:

— ...имеем доложить, ваша бдительность!..

— ...чаклуны, маги сиречь...

— ...та прямо у вашей хате, звиняйте за...

И ответное, князево (едва голос повысил, а ударило наотмашь!):

— А ты почему здесь, урядник?! Тоже бунтовать вздумал?!

— Да який же цэ бунт, ваша...

— Мы — в известность поставить, довести до сведения...

— Подсобить, ежели занадобится...

— Молчать! — Голос полковника вновь перекрыл нарастающий шум. — Я не желаю выслушивать женский галдеж и детские вопли. Сейчас я велю открыть ворота, и вы, любезные, получите возможность изложить ваши просьбы (ай, Циклоп! молодец!) в более приемлемой обстановке.

Князь обернулся; коротко махнул рукой в сторону флигеля.

Немедленно хлопнула дверь, и к воротам заспешил прятавшийся во флигеле вместе со слугами Сенька Крест — открывать. А на веранде — когда и выйти-то успел из столовой?! — образовался отец Георгий: в рясе, при кресте, как и положено священнослужителю.

Толпа зашевелилась:

— Ты поглянь, там у них и поп есть!

— Дык поп чаклуну — перший ворог!

— ...може, и нема? нема там чаклунов?..

И в ответ диким, отчаянным воплем взметнулся над толпой фальцет юродивого Прокопия:

— Он! он! Чаклун! вражья сила! К воротам идет! идет!

— Хто, энтот? рябой?

— Обидеть! обидеть свет Прокопьюшку хочет! Люди добрые, обороните! братец князь, оборони!

— Та казали — ром. Ром — чаклун, нехристь поганая!

— А энтот на рома не похож...

— Прокопий, а ты не обознался, часом?

— Ты глянь, глянь! поп к перилам стал!..

— Обидеть хочет! расстрига, христопродавец! Пошто, батюшка, обижаешь свет Прокопьюшку?!

Черт! У этого юрода что, нюх на магов?! Князя братцем зовет, а стоило Сеньке выйти... и отцу Георгию...

— Окстись, Прокопий! Не замай попа!

— Слухайте его, люди, слухайте! Мару на нас пущают, а Прокопий — видит! Блаженный — он все видит, ему сам Боженька очи ладошкой протирает!

— Може, и не поп то? може, чаклун в поповской рясе?

— А може, брешет Прокопий?

— Хто?! Блаженный — брешет?! Да сам ты брехун!

— Я брехун?!

Пока человеческий муравейник за оградой шумел и разорялся, Сенька Крест успел в один момент отпереть ворота, впустить «епутацию» и быстренько захлопнуть створки перед носом у остальных. Лязгнул ключ в замке, ответно лязгнули цепь с засовом, и Сенька поспешил вернуться во флигель. А Джандиери, сопровождаемый идущими позади выборными, с прежней ленцой прошествовал на веранду, где и уселся в легкое плетеное кресло.

Отец Георгий встал у князя за спиной, символизируя единение светской и духовной власти.

Жаль, если сверху глядеть, не так душевно выходит.

А вниз идти я боюсь.

ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ

У Сеньки-фортача, старшего из братьев Крестов, глаза запавшие, усталые. Не по годам; по жизни. Таится в них до поры:

...двор.

Серый рай. В дальнем конце свалка примостилась: игрушек там видимо-невидимо, и каждый божий день — новые. В ближнем конце чахлый тополь вырос, лазить по нему не пере-

лазить. У сарая лавочника Ярошевского — ящики. Из досок славные мечи получаются. А забор — это вообще красота.

Много ли человеку в детстве для счастья надо?

Крохи с фартового стола.

* * *

Выборным Джандиери сесть не предложил; они так и остались стоять у крыльца, комкая в руках шапки. Один урядник фуражку не снял — по уставу не положено.

— Итак, я слушаю. Только имейте в виду: быстро и конкретно. Начнем с местного представителя власти. — В руке у Джандиери возникла пока еще не зажженная сигара, и кончик ее пистолетным дулом уставился в грудь уряднику. Теперь, когда все происходит близко, мне слышно хорошо. Ну, давай, Шалва Теймуразович, давай, Циклоп, убеди их, напугай их! пусть уходят! ты же можешь, князь, полковник, «Варвар»!

— ...Значица, имею доложить, ваша бдительность: вчера вечером, близ села Цвиркуны, силами местных жителей имела место попытка задержать двух магов-конокрадов; стало быть, таборного рома и его подмастерья, из местных, крестьянского сословия, село Кривлянцы. Однако же ром по причине нервического припадка отдал богу душу, избежав тем самым справедливого наказания, а его подельнику удалось скрыться...

— Неудивительно, неудивительно, — покивал князь, раскуривая сигару и окутываясь облаком сизого дыма. — Силами местных жителей... Продолжайте, урядник, я вас слушаю. И что же дальше?

— Дальше-то как раз и ничего, ваша бдительность... только в народе говорят...

— И что же говорят в народе?

— Видели! — выдохнул урядник, будто в прорубь головой кинулся. — Из ваших людей там кой-кого видели, ваша бдительность!

— Да ну?! — Лица Джандиери я не вижу, но мне отчетливо представляется, как князь вздергивает левую бровь в недоверчивой насмешке. — И кого именно видели? Опять же, кто именно видел? Уж не ты ли, твоя строгость?

Официальное обращение к уряднику прозвучало хуже оскорбления.

— Никак нет, ваша бдительность! Я уже после, ночью, прибыл.

— А-а. — Джандиери, не скрываясь, зевает. — Тогда кто свидетель?

— Вот он, Остап Тарасыч! голова Цвиркунов! — И урядник с видимым облегчением злорадно кивает на стоящего рядом «голову»: вислоусого, кряжистого дядьку.

— Ну-с, допустим. Давайте послушаем очевидца. Итак?

Голова мялся, кряхтел, глядя в землю; наконец выдавил:

— Та ото ж, ваша мосць... обчество — оно завсегда, коржи-бублики... ну, стали тех ворюг смаженных вязать... шоб, значит, препроводить... Ось! И тут: тарантас с вашего маетку катит. А в ем — доця ваша, панночка, значит; еще той, из городу... ну, паныч, мордатый такой. И кучер, шо на рома дюже схожий. Ось...

Остап Тарасыч вновь замолчал, ковыряя землю носком растоптанного чобота.

— Я слушаю, — подбодрил его Джандиери с той же доброжелательностью, с какой незадолго до явления толпы подбадривал мальчишку, отловленного Трисмегистом в саду. — Не тяните время.

— ...ото ж, говорю. Кучер ваш, шо навроде рома, с тарантаса сиганул — и до нас! Выплясывать стал, как скаженный, по-ромски распевать! Мы сразу смекнули: колдует! Очи нам поотводил, я мажонка за родного сыночка принял! Мы ему, кучеру вашему: шо ж ты, мол, вражина, творишь? А туточки паныч мордатый подоспел — и Ондрейке в рожу! в рожу! Нос, коржи-бублики, набекрень своротил...

— Интересно, интересно... Так-таки без видимой причины подошел и ударил? Нос сломал? Ни за что? — Сигара курится Везувием, и из дыма, из грозового облака звучит такой голос, что сразу ясно: горе тебе, град Помпеи! Колись, маруха, выкладывай правду!

Иначе — быть беде!

— Ну, не то шоб ни за шо... Ондрейка ему, панычу, то

бишь: «За конокрада заступу держишь? Небось одной с им породы?!» — а паныч Ондрейке в рожу. Ось.

— Ясно. И каким же образом «паныч» за конокрада заступался?

— Та сказал, шо, мол, не бейте его! шо прекратите той... как его?.. самосуд, значит. Ось...

— С этого и следовало начинать, любезный! Выходит, имел место самосуд?

— Та не, ваша мосць, Господь с вами! какой там самосуд, коржи-бублики?! ось вам хрест!.. — Голова истово перекрестился.

Тут пройдоха-шинкарь, похоже, решил, что пора прийти на помощь:

— Ваша мосць, хай вам здоровья и счастья от внуков! Дозвольте мне?!

— Тебе? А впрочем, пускай. Иначе мы до завтра не разберемся: у некоторых очевидцев что-то случилось с памятью.

— Да старый я уже, ваша мосць, забываю, где мотня в штанях... — заспешил голова и мигом умолк под суровым взглядом Джандиери.

Выборные тоже начали с недоумением переглядываться между собой и коситься на Остапа Тарасыча: что ты, мол, такое несешь, старый хрен?! А голова, не обращая на них внимания, преданно глядел в рот князю.

— Ваша мосць, — спас шинкарь положение, — таки имело место досадное непонимание. Наши сельчане поймали мага с мажонком, а те ну вырываться! ну спорить! Сами понимаете, мужики наши тоже не подарок на именины, слово за слово, юшка из носу... А у вашего дорогого гостя, не в обиду будь, есть такой себе кулак! славный кулак! добрый кулак! Мне б такой кулак, я б горя не знал... Вот, собственно, и все. Никакого самосуда.

— Я понял. Надеюсь, десять рублей утешат несчастного, пострадавшего от кулака моего... Гм-м... Гостя?

— Шо? — очнулся голова. — Та не, ваша мосць, десять — то занадто! целковый ему, Ондрейке, и вдосталь будет! ну, синенькую... Сам ить паныча обидел, коржи-бублики! Сам и огреб в рожу. А самосуда не было, то вам Ицик верно

сказал, я б и сам — да ось беда, языком не вышел. В ножки кланяюсь, ваша мосць, звиняйте меня, дурня седого...

— Ты шо верзешь[1], Остапе?! — толкнул голову локтем в бок один из выборных. — Целковый! синенькая! То нащо мы сюды приперлись?

— А я вас сюды, куме, за чуба не тянул! Сами шли, сами пришли, еще и меня притянули! А нащо — бог вам судья!

— В таком случае, — Джандиери погасил сигару в стоявшей рядом на столике бронзовой пепельнице; поднялся из кресла, достал кожаное портмоне. Брезгливо вынул несколько разноцветных ассигнаций, — будем считать разговор оконченным. Часть денег передайте пострадавшему, часть употребите... э-э... Во благо. Водки купите, что ли...

Выборные стояли у крыльца, насупившись и не зная, что делать. В их мозгах медленно проворачивались жернова, меля в муку зерно тяжких дум: уходить? нет? что произошло? зачем они сюда шли? Толпа за оградой, не участвуя в разговоре, да и не слыша его вовсе, тревожно гудела. Громче. Еще громче.

По-моему, князь промахнулся. Встал слишком рано.

По-моему...

* * *

— Как тебе не стыдно, Шалва! Мой друг, ты же знаешь, как я люблю пейзан, этих чистых, честных представителей простого народа! Носителей исконной сути, темных разумом, но светлых душой! Нет, ты совершенно не умеешь общаться с кем бы то ни было, кроме твоих ужасных коллег! Скажите, голубчики, вы хотите... как это?.. А, немножечко выпить? Я знаю, простой народ всегда хочет немножечко выпить!

На крыльце возникла Княгиня. Вот еще мгновение назад она была в столовой, у соседнего окна, — и вот она уже на веранде, и выборные сразу заулыбались, расслабились.

— Благодарствуем, ясная пани!

— Почтем за честь!

---

[1] Верзешь — городишь, несешь (*малорос.*).

— Ой, дама! ой, ниврoку, дама! не сглазить бы...

И народ за оградой малость притих. Шеи повытягивали, смотрят: что за чудернация в саду творится?

Прислуга объявилась словно по мановению волшебной палочки. Два круглых летних столика вместе с плетеными креслами мигом перенеслись ближе к крыльцу; мелькнули и упали вышитые скатерти, поверх выстроились чашки, чайнички, рюмки, графинчики; стряпуха Оксана волокла блюда с холодными заедками.

— Ну что бы я без тебя делал, дорогая Эльза?! — Судя по тону, князь явно улыбался, хотя его лица мне по-прежнему не было видно.

Расторопный урядник мгновенно наполнил рюмки чем-то рубиново-красным — вином или ягодной настойкой:

— Дозвольте здравицу, ваша бдительность?

Джандиери благосклонно кивнул, садясь обратно в кресло: дескать, даю княжеское позволение.

— Счастья в вашу хату полные закрома! нехай Господь благословит сей дом! Не гневайтесь, ежли шо не так, — мы люди простые...

— Ах, я без ума от простых людей!.. я просто без ума!..

Но я уже не слушала Княгиню. Я смотрела туда, за ограду, где собралось слишком много простых людей.

«Без ума!.. — эхом отдавалось у меня в голове, суля страшное. — Без!.. ума!..»

— Ведьма! Ведьма! В очи плюет! зло в сердце носит! Ведьма! — Народ расступился, и мне хорошо видно, как юрод Прокопий катается с криком по земле, задирая к небу толстые, голые, чудовищно грязные ноги, а люди пятятся от него в суеверном страхе.

— Хто — ведьма? Барыня, шо ль?!

— Ты в своем ли уме, Прокопий?!

— Да он отродясь в своем не был! Не бачишь, чи шо?

— Гы!

— А мы шо тут робымо? Стоим, як дурни, та зыркаем?

Смех — плохой, дерганый, на грани истерики.

— Ты глянь! нет, ты поглянь! — хмельное дудлят!

— Так ото ж! Уважают...

— Ой, людоньки! ой, приворожили епутатов! очи им отводят та горелкой заливают!

— Хто б мне залил... я б тому в ножки!..

— Они тебе зальют — в пекле очухаешься!

— Не, ну погляньте! Шоб сам пан князь, и отак, разом...

— Та злякався[1] вин! Плыв, плыв, а на берегу всрався!

— Ото ж! Гроши сует, чарку подносит! — нам, черному люду!

— Знать, боится! Знать, есть чего!

— Шо маги, шо паны — одна кодла!

— Подпалить — и весь сказ!

— То иди, пали! Огоньку дать? Чи сам всрався?

— Хто, я? Да я тебе...

— Ты не мне, ты им!..

— Та шо ж вы за чубы! заждить, пока выборные вернутся!

— Ой, Прокопий... Шо з им?!

Юродивый внезапно прекратил кататься по земле и вопить. Теперь он, скорчившись в пыли и обхватив голову руками, плакал навзрыд. Мало-помалу стихали крики, и мрачная, зловещая тишина воцарялась над толпой — чтобы в этой тишине еще отчетливей раздавались рыдания блаженного Прокопия.

А еще стал слышен под окном успокаивающий голос отца Георгия:

— ...как смиренный служитель господа нашего, также облеченный властью епархиального обер-старца, призванного следить за законностью приговоров по делам о применении «эфирных воздействий». Напомню, что его светлость — полковник Е. И. В. особого облавного корпуса жандармов. Вы совершенно правильно сделали, что пришли сюда!

— Да-да, их отрешенность говорит дело. Явитесь завтра в город, скажем... к девяти утра. Я объясню куда. Напишете заявление, с вас снимут свидетельские показания — и делу будет дан официальный ход. Если действительно имело место эфирное, то есть магическое, воздействие — ви-

---

[1] Злякався — испугался (*малорос.*).

новные будут наказаны по всей строгости закона, можете не сомневаться.

— Та это... Ваша мосць!.. Нас-то, кривлянчан, за шо в город? Не видали мы ни арапа. Это все цвиркунцы да голова ихний — они нехай и малюют все те бумаги. А мы шо? Наша хата с краю...

— Разумеется, показания будут сниматься только с очевидцев.

— Ото верно, ясный пан! Спасибочки! А то шо ж мы?..

Перспектива являться в жандармское управление, давать там показания и подписывать всякие бумаги «епутатов» отнюдь не прельщала. И если кривлянчане от этого смутного дела отбоярились на вполне понятных основаниях, чем и были весьма довольны, то Остап Тарасыч клял себя за то, что ввязался в эту историю.

У меня сложилось впечатление, что он не падает в ножки князю и не молит о снисхождении лишь из боязни наказания за что-то большее, чем просто мужичий бунт.

— Ваша мосць! Народишко-то, не про нас будь! угомонить бы надо. Мы хоть люди малые, да с понятием, а с тех дурней всякое станется... — Шинкарь, как обычно, держал нос по ветру.

— Это мы мигом! запросто! — радостно ухмыльнулся урядник, с некоторым трудом выбираясь из-за стола. Хлопнул напоследок недопитую кем-то чарку, вытер рот. — Батюшка, не погнушайтесь, выйдите со мной к обчеству!..

Отец Георгий кивнул и двинулся следом за лихим урядником.

— Цыть, обчество! — заорал урядник. Толпа, и без того примолкшая, заглохла окончательно. Лишь чирикнула в кроне какая-то глупая пичуга да безнадежно плескались, затихая, рыдания юродивого.

— Усе путем, сельчане! Вы уж не сумлевайтесь! Завтра Остап Тарасыч в город поедет, бумаги важные малевать! Будьте покойны! А туточки паны добрые, нема средь них мажьей силы, нема и отродясь не бывало! Сейчас батюшка вам Христом Богом, Перво-Ответчиком нашим поклянется, и хрест святой в том поцелует. Ну шо, поверите тогда?!

— Поверим! — нестройно загудели мужики, и бабы подхватили:

— Ежли Христом Богом...

— И хрест святой...

— Сам батюшка...

— То хай клянется, а мы поглядим!

— Прошу вас, батюшка; заспокойте народ. — Урядник довольно скалил лошадиные зубы, не видя, что отец Георгий уставился на него, будто святой схимник на беса-искусителя. — Ну, целуйте хрест, та пойдем еще хильнем по чарке...

Священник стоял, не в силах сдвинуться с места. Губы его тряслись:

— Я... я не могу!

— То шо ж «не могу»? Вишь, обчество просит!

— Я... я...

Лицо его отрешенности заливала восковая бледность.

XI. ФЕДОР СОХАЧ, или ВРЕМЯ РАЗБРАСЫВАТЬ КАМНИ

> Я топтал точило один, и из народов никого не было со мною; и я топтал их во гневе Моем и попирал их в ярости Моей; кровь их брызгала на ризы мои, и Я запятнал все одеяние Свое; ибо день мщения — в сердце Моем...
>
> *Книга пророка Исаии*

...желание было острым и холодным.

Как змея под одеялом.

Федору хотелось пристрелить дурака-урядника за его выходку. Он смотрел в окно столовой, как отец Георгий пятится назад, заслоняясь руками, хотя никто не пытался ударить или обидеть священника; как недоуменно моргает урядник, и на круглом, туповатом лице его отражается искреннее изумление пополам с обидой — я ж как лучше! как лучше хотел!.. рыхлая, еще минуту назад разнородная мас-

са людей становилась цельным, страшным в грядущей ярости монолитом — вот-вот, в следующий миг, они поймут, осознают, сообразят...

Но первыми все-таки успели не они.

Один из висевших на ограде мальчишек изловчился-таки, мартышкой свесился вниз и уже было ткнул палкой в спину догу — но в последний момент Трисмегист извернулся и мраморной молнией взлетел в воздух.

— Ай! мамынька!.. А-а-а!..

Вдрызг располосовав одежонку о вензеля решетки, забияка пойманным воробышком слетел в сад. Забился, прижатый к земле мощными лапами, заверещал в ужасе, глядя в оскаленное пекло собачьей пасти. Решетка ожила плаксивым детским ором, бабы дружно подхватили вопль пацанвы, охнули мужики, отвлекаясь от священника и его отказа давать клятву; истерический, одинокий хохот наслоился сверху пеной. Те, кто побойчее, зашарили вокруг в поисках камней; плюгавый отец Василька-крестника наспех швырнул ком глины, промахнулся, костеря весь белый свет в бога, душу, апостолов-святителей...

Конопатый Ондрейка-коваль замахнулся подобранным булыжником.

— Не-е-ет!

Княгиня уже была рядом с псом и его добычей. Упав на колени, она обеими руками вцепилась в кожаный ошейник, оттаскивая упирающегося Трисмегиста прочь, и камень, пущенный сильной рукой, угодил женщине в лицо.

Распоров щеку до кости.

Конопатый довольно оскалился, — око за око! — дернул ноздрями, словно почуяв запах крови, и поднял еще камень.

— Бей! — слитно выдохнула за его спиной толпа, готовая в любую минуту сорваться с места.

Забыв о том, что двустволка заряжена патронами с дробью, не помня себя, не видя ничего, кроме дикой, окровавленной маски, какой стало лицо Княгини, Федор вскинул ружье.

И стволы сами, будто живые, нащупали конопатого верзилу.

Дробь шарахнула по толпе, вынудив людей с криками податься назад. Упругая пружина сжалась под напором боли и страха, чтобы в любую секунду рвануться, выпрямляясь, сплющивая все на своем пути.

Но Федьке сейчас было не до того.

— Лови!

Двустволка упала в Акулькины ловкие, несмотря на беременность, руки; россыпь патронов гулко раскатилась по подоконнику, каплями ливня простучала по паркету — а Федор уже ухватился за раму.

Дважды за сегодняшний безумный день (день? ночь?! сутки прочь!..) он прыгал со второго этажа в сад. Второй раз получился куда неудачней первого: приземлившись на перила веранды, Федька соскользнул, больно ударившись боком сперва о сами перила, а потом и о землю. Плевать! не важно! на коленях, на четвереньках, по-собачьи он кинулся вперед, туда, где рычал дог, орал мальчишка и плакала кровью раненая Княгиня.

Они успели одновременно: Федор Сохач и полковник Джандиери.

Двое.

Успели.

— В дом! Неси ее в дом! — И уже вслед, когда Федька, хрипло вскрикнув от дикой рези в боку, подхватил женщину на руки: — Головой ответишь! головой!..

Княгиня на руках была легче пушинки. «Мама! словно маму!..» — вспыхнуло фейерверком и сразу погасло, сменившись угарным, душным шепотком проклятого Духа Закона: «Словно себя! себя самого! себя несешь, мальчик!..» За спиной охнули ворота, сдержав первый натиск и сдаваясь под вторым; надрывно лязгнула цепь, вторя воплю засова; брошенный вдогон камень растерянно просвистел у виска, затем горсть глиняных окатышей ударила в спину. «Пусти! — жарко всхлипнула Княгиня, дергаясь попавшей на крючок рыбой. — Пусти! я сама!..»; Федор еще плотнее охватил ее руками, не позволяя вырваться, взбежал на веранду, и там Княгиня все-таки вырвалась.

Упала на колени, ладонью зажимая рассеченную щеку.

Пальцы женщины шевелились багровыми червями.

— Братец князь! — взвился над ревом толпы фальцет юродивого. — Братец князь!.. А-а! братец, не обижай, не трожь свет Прокопьюшку!.. А-а!..

Крик смялся, захлебнулся, превращаясь в невнятное, смешное бульканье.

— Блаженного! блаженного убили! люди, да шо ж мы?!

— Черт кавказский!

— Душегубец!

— Н-на!

— Ондрейка! Люди, он Ондрейку посек! Людоньки!

— Бей сатану!

Федор еще успел поймать прощальный взгляд Джандиери, брошенный князем через плечо, сразу после того, как шашка, еще мокрая от крови юрода, с хрустом разрубила конопатого Ондрейку от ключицы до пояса. Поймать взгляд, как ловят монетку, предназначенную не тебе, задохнуться от чужого страха, чужой печали и чужой, но такой своей, нежности, за которыми, словно за весенними, цветущими кустами, пряталась в траве скользкая гадюка безумия, — чтобы не выдержать, отвернуться, слыша истошный крик Княгини:

— Шалва-а-а!

А затем полковник Шалва Джандиери начал убивать по-настоящему.

* * *

...Федька, почему ты не там?! Не в свалке?! почему?

Ты ведь большой! сильный! Ты — кулачный боец, тебе здесь не место; наконец, ты просто мужчина, защищающий своих... И почему остановился на бегу, на полпути от флигеля к драке, Сенька Крест? — бывший «фортач», гибкий, как ласка, и хищный, как ласка; остановился, замер, мелко крестясь и сам не замечая, что пятится назад... Ну ладно, Федор. Оставим. Лучше я тебе немножко помогу, самую малость, чуть-чуть: Княгиня снова начала падать, и тебе пришлось подхватывать ее на руки, пачкаясь уже подсыхающей кровью, разрываясь между приказом нести ее в дом и желанием быть там, где Циклоп творил страшное.

Вот-вот. Ты лучше не думай об этом. Я ведь знаю, почему ты не там, а здесь. Да ты и сам это знаешь не хуже меня.

Потому что тебе страшно.

Не за себя, нет.

...Я топтал точило один, и из народов никого не было со мною!.. А в юбок мельканье, в руках смуглых, заломленных, в дрожи женских плеч, в песне, в визге, в топоте бешеном, в «Пятом Вавилонском» столпотворении — жандармский ротмистр пляшет...

...сухой треск револьвера. Будто тяжелый зверь прыгнул, играясь, на груду валежника. Сизый дым пытается взмыть вверх, из людского месива к небу; он притворяется сигарным, этот чудной дым, но ему никто не верит, и вместо неба семи струйкам семью червями приходится въедаться в человеческую плоть. Разряженный, револьвер остается в левой руке — тускло блестящим кастетом, короткими тычками мозжа носы, скулы, мягкие виски, за которыми, в адской глубине, пульсирует извечное: «Бей черта!», сорвавшееся наконец с цепи.

Тяжелая адыгская шашка, подарок Шамиля Абуталибова, начальника тифлисского училища, бывшему облавюнкеру Шалве Джандиери, живет своей ослепительной жизнью.

Жизнью, смысл которой — смерть.

Под множеством ног жалобно, тоскливо звенят вериги Прокопия-юрода. Само тело карлы давно растоптано в грязную слизь, и кажется: слизь эта еще дергается, силится встать на короткие ноги, булькает трясинными пузырями:

— Братец князь!.. братец!.. не на...

Не слышит братец князь.

Ничего он сейчас не слышит, не видит, не понимает.

Правы люди: черт ему сейчас братец.

И рядом, потомок аланских боевых псов, умевших нападать молча и убивать молча, бьется ожившая статуя из мрамора по кличке Трисмегист.

...и я топтал их во гневе Моем и попирал их в ярости Моей!.. Звенят мониста. Визжит паркет под каблуками. Ошалели гитары; не поют — волками воют.

Пляшет ротмистр...

Нет Джандиери забвения; нет покоя.

Нет толпе ходу дальше, сколько б их там ни шло. Вертится кровавая карусель. Вот уже ржавый зубец вил пропахал борозду вдоль бедра. Вот уже обух топора вскользь опустился на плечо. Вот уже чей-то кулак (грязный! ох и грязный!..) съездил по уху — и покатился диким кукишем толпе под ноги. Топчутся люди по кулаку. Разжимают скрюченные пальцы подошвами. Спотыкаются. Воет бескулачный батька Василя-подпаска; волком в капкане воет на луну, на кругляш медный, смертный. Примерещилось? откуда утром луна? откуда?! — а ему, бедолаге, без разницы.

Он воет.

И князю без разницы.

Убивает он. Смеется взахлеб. Смехом убивает: их, себя, кто подвернется. Хлещет смех; хлещет дробь из окна столовой по задним рядам, охлаждая пыл, — беременные, они нервные, особенно когда с двустволкой... то им соленького, то кислого, то пострелять...

Что, Федька? видишь? слышишь?! Ну давай, я тебе еще чуток пособлю — бесплатно, даром, *даром*, тем *мной*, кого в тебе больше, чем в других...

Забились под летний столик оба сельских головы — как и поместились-то, сердечные?! Шинкарь Леви-Ицхок укрылся за старой акацией, губы белые, шевелятся: «Шма Исроэль...»

Урядник окаменел.

Не здесь, далеко; у самого флигеля. Там каменеть безопаснее.

Где остальные выборные — не понять.

«Папа! папочка!» — несется из окна второго этажа, где бьется княжна Тамара в цепких когтях черной вороны, и нет у княжны сил разжать мертвую хватку тетушки Хоре-

шан, броситься к отцу, к такому отцу, какого еще ни разу не видела в своей безумной жизни юная Тамара.

— Господи! рано услышь голос мой!.. рано предстану пред Тобою и буду ожидать!..

Это отец Георгий.

Кричит.

А, не кричит — молится.

И с твоих рук, Федька, захлебывается раненая птица:

— Шалва-а-а!

...кровь их брызгала на ризы мои, и Я запятнал все одеяние Свое; ибо день мщения — в сердце Моем... Слышится Федору в балагане сумасшедшем, сквозь танец-смерть:

— Еще не остыло, не вымерзло счастье,
И кровь не вскипела на остром ноже;
Еще! о, еще! не прощай, не прощайся!..
Но где-то — уже.

Уже.

...отхлынул прибой, пятная землю телами мертвых волн. Иные волны ползли обратно, задыхаясь от ужаса, забывая о ранах; иные безгласно лежали, не заботясь более о земном.

И по ним, живым и мертвым, на них, между ними, один топча свое точило, где никого из народов не было с ним, как кощунственно ни звучало бы это сравнение, заслуживая отдельного костра...

И в саду, ставшем маленьким полем ар-Мегиддо, ранним утром, грозившим извернуться змием, чешуйчатым гадом, чтобы опять превратиться в ночь...

С адыгской шашкой и давно разряженным револьвером, празднично, карнавально забрызганный кровью, своей и чужой, сверкая серебром пуговиц и золотом пряжек...

...плясал полковник Джандиери.

— Скаженный!

— Ой, людоньки! Ой, шо ж деется?!

— Собака! бес, не собака!..

— То не собака, здесь бес...

Верный Трисмегист, никогда и ничего не боявшийся, сейчас скулил наказанным щенком. Волоча перебитые задние лапы, полз к кустам шиповника, прочь, подальше от хозяина, которого любил в своей собачьей жизни больше всех, больше самого себя, больше жизни, которая грозила покинуть дога.

А хозяин продолжал убивать.

Не видя, что вместо людей его окружают призраки.

Без ума от счастья боя.

Рубила шашка. Полосовала воздух, полный диких видений. Наотмашь бил револьвер. Хохот раздирал глотку господина полковника, вырываясь наружу чудовищным клекотом. Мундир лопнул под мышками, кисти с кушака давно были оторваны и затоптаны в грязь; Джандиери не чувствовал боли, не замечал ран — для него бой продолжался.

— Пекельник!

— Ой, нечиста сила! Митька, дурный хлопец! Быстро к мамке!

— Батюшка! Укроти сатану!

— Отче наш, иже еси...

...Я топтал точило один...

Упал господин полковник.

На колени.

Встал.

Сейчас опять упадет.

* * *

Через много, много лет на двадцать первой странице сборника стихов «Корни паутины» некий «кумир на час», как несправедливо назовут его критики, опубликует после долгих колебаний:

— Разрешите прикурить?
Извините, не курю.
Что об этом говорить? —
Даже я не говорю.

А ведь так хотелось жить,
Даже если вдруг бросали,
Даже если не спасали,
Все равно хотелось жить,
Все равно хотелось драться
За глоток, за каждый шаг...
Если в сути разобраться —
Жизнь отменно хороша.

— Разрешите прикурить?
Извините, докурил.
Если б можно повторить,
Я бы снова повторил.
Я бы начал все сначала,
Я бы снова повторил,
Чтобы жизнь опять помчала
По ступенькам без перил,
Снова падать, подниматься,
От ударов чуть дыша...
Если в сути разобраться —
Жизнь отменно хороша...

Критикам никогда не узнать, что автор «Корней паутины», записывая эти слова беглым, летящим почерком, видел рыжую девчонку-осень, склонившуюся над яркой, праздничной лазурью мундира, видел рыжие, как осенние листья, усы щеточкой, безумную улыбку на губах, видел руку с кривой шашкой, сильные пальцы, намертво впившиеся в рукоять; и кулак в груди мало-помалу разжимался, хрустя суставами.

* * *

...сорвалась птица с Федькиных рук.

Прочь порхнула.

Встала над лежащим полковником дикая баба. Лицо в крови, платье разорвано. Страшная — сил нет. Красивая — дух захватывает.

Вот ты и задохнулся, Федька Сохач.

Ком в горле.

— Шалва-а-а!.. Ах, Шалва...

Удивился Федор самому себе. Впору волком выть, на людей кидаться (раньше надо было!.. раньше...); впору душу кастетом вокруг кулака обмотать — а не выходит. Легкая вдруг душа стала, не быть ей свинчаткой. С чего бы? Смотрит Федор, видит, понимает: с чего. Нет больше здесь

полковника-«Варвара», в чьем присутствии маг не маг, а грош ломаный. Есть Шалва Джандиери; просто так.

А скоро и его здесь не будет.

Одно тело останется; живое. Просто так.

Проще некуда.

— Шалва-а-а... Ах, Шалва!..

«А-а-ах!» — единым выдохом отозвалась толпа. Назад попятилась, дальше, за ограду, как не пятилась от живого полковника. Едва не побежала. Страшно толпе: хозяйка дома кругом полумертвого мужа в пляс пошла. Руки-крылья, ноги-струны; кровь на лице чудо-рассветом полыхает.

Праздник.

Та минутка, между «Варваром»-облавником и безумным калекой, когда броня искорежена, нутро пульсирует в щелях-дырах, и возможно все, невозможное досель.

Княгиня вела Обратный Хоровод.

Сломав паузу, будто сухую ветку. Единственным способом, какой может позволить себе маг в законе без крестника: замкнув «финт» на себя. Выжигая себя дотла. Вспенивая смерть спасительной соломинкой. Танцуя над пропастью, все ближе и ближе к краю... Ближе... еще...

Вскинула голову.

Повела взглядом, рассыпав искры по смятой траве.

Траву — в паркет.

Росу — в восковые потеки.

Прошлась балетной примой, пробуя самоубийственный марьяж.

Свечи! — и сотни канделябров, шандалов, розеток из старого серебра... Везде: на белых перилах веранды, поверх вензелей решетки, в кронах деревьев, на подоконниках, плетеных креслах, разбросанных в беспорядке!

Есть.

Скрипки! — и скворцы на ветках сами себе поразились: куда там курским соловьям, куда там Яшке Хейфецу, венскому кумиру!.. поем, братцы, трепещем горлышком, ведем кантилену всем на зависть!

Марьяж длился.

Оркестр! — и безумная капель рояля бросилась вниз го-

ловой с ветвей акации, чтобы вместо смерти окунуться в многоголосое аханье контрабаса; гобои эхом отдались в холмах, убегая прочь по тракту, навстречу гобоям откликнулись солнечные трубы, звонко скользя бликами по растрепанной шевелюре сада — недоигранный вальс мсье Огюста Бернулли, последнего властителя душ, который насмерть запомнила Рашка Княгиня перед каторгой, чтобы помнить всю жизнь, вступил в свои права.

Время.

Пока марьяж длится; пока жива.

— Вставай, Шалва!

Не слышит. Не хочет слышать. Лежит; не лежит — уходит.

— Погоди, Шалва!

Услышал.

Остановился.

— Вставай, говорю!

Лежит. Не лежит — стоит, ждет. Вот-вот дальше отправится: отдать последний рапорт Безумию. «Ваша беспощадность! Полковник Джандиери по Вашему приказанию...» Упрямый попался... да только с каких это пор муж жену переупрямит?!

— Иди ко мне!

Ну вот, послушался. Идет. Не идет — встает. Сперва тяжко вздрогнув остывшим телом, хрустнув суставами; затем — на четвереньки, ткнувшись в траву лбом.

— Ну?! Долго мне ждать?!

На колени.

Это правильно, Шалва: перед женой — на колени.

Это ты верно понял.

А теперь — вставай.

— Пляши!

— Мертвяка! — охнули в толпе. — Мертвяка подымает!

— Пляши, говорю!

Ну давай, Федор, помогу еще немного. Видишь: тень за Княгиней. Во весь рост поднялась. Двойная тень: Шалва Джандиери с Рашелью танцует. Идут кругами, уйдут-вернутся, отдалятся-приблизятся. Не к тебе, глупый Федька. Вглядись: вон оно, стоит. Ждет. Безумие. Скрестило руки

на груди; смотрит рыбьими, пустыми глазами. А Шалва с Рашкой ближе-дальше, ближе-дальше...

Это тень.

Видишь?

Не сдюжила Княгиня. Перехватило горло удавкой; толкнул в грудь варнак-кашель, опрокинул. Стоит на четвереньках Шалва Джандиери; ждет. Стоит в тени танцор Джандиери, один стоит; ждет. Стоит поодаль Безумие; ждет.

Стоит на коленях Рашка Княгиня, задыхается; нет сил встать.

Поймал Федор на лету взгляд-мольбу.

Взгляд-приказ.

— ...а меня... — хрипнул Федюньша в самое ухо, насмерть обжигая дыханием. — А меня так плясать выучишь?!

Выучился, значит. Не обманула Княгиня, сдержала слово. Всему своему выучила, передала; оттиснула. Твое оно, Федька, не твое, дареное, купленое, краденое — какая сейчас разница?!

Раз велят, надо идти.

И пошел вперед, будто на веревке потянули. Пошел спасителем; пошел палачом. Обратный Хоровод, значит? Спляшем, полковник? Как велишь, Княгиня моя, фея-крестная, так и плясать станем. Велишь себя убить — убьем. Велишь тебя убить — убьем.

Смотри, пока можешь, как я тебя убивать стану.

— Пляши! пляши, Циклоп! встать!

Всплыло на белой, чистой карте диво дивное: не Король, не Туз, не Джокер. Невидаль цветная, безмастная. Ты, Федька, и есть эта невидаль.

Нравится?

А ведь встал полковник. Не в тени, наяву встал. Стоит, качается. Шашку выронил. В глазах муть: предрассветная? предзакатная? Издалека Безумие руку протянуло, пальцем поманило: куда ты? ты мой! Не слышит полковник. Не видит.

— Пляши!

Бьется на земле Рашка Княгиня. Ртом воздух хватает. Синяя сделалась, хуже утопленницы. А взгляд прежний. Велит: делай!

Делает Федор.

— Ну?!

Ох и сплясали! ох, сплясали! Небесам жарко. Дьяволу тошно. Народу страшно. Княгине смертно. Ох, сплясали! ох! умри, сукин сын, лучше не спляшешь!

— Папа! папочка!..

Это княжна Тамара. Вырвалась из вороньих когтей, порхнула ласточкой; добежала. Застыла на миг, а в черных очах, письма византийского: тень. Ты ее видишь, княжна? ты, горевшая в пламени одна-одинешенька? Да, ты видишь. Пляшут в саду Феденька с папой; пляшут в тени маг в Законе с Шалвой Джандиери, на шаг дальше от Безумия, на два...

— Я!.. я тоже...

Вскинула руки юная княжна. Поплыла над землей; что Феденька делает, что видно ей в тени, то и повторяет. Горит заново; тает свечой. «Папа!..» — зовут руки. «Папочка!..» — идут ноги. «Я здесь!» — шуршат одежды. «Ко мне!.. к нам!..» — кричат пальцы.

И снизу, из-под ног: взгляд-приказ.

Ты еще жива, Княгиня моя?

Да, ты еще жива.

ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ

Княгиня! девочка моя! держись, не закрывай глаз! Смотри на мир прямо и остро, смотри — и увидится нам:

...ночь.

Убегает назад. Струйками вычерчен город. Что значит сердце и что значит гордость, если ты в силах себе приказать? Ты забываешь вчера, ты забываешь сегодня; дождь начинается, занавес поднят, новая пьеса начнется с утра. Отзвук затерянных снов, шум ускользающих капель.

Твердой рукою схватиться за скальпель, и по-живому не дрогнет клинок...

* * *

— Мертвяка! подняли!..
— Ой, людоньки! та на нас як спустят!
— Бей чаклунов!
— Беги!
Окаменела толпа.
Назад ли качнется?
Вперед ли?

XII. АЛЕКСАНДРА-АКУЛИНА, или НА ПЯТЬ МИНУТ РАНЬШЕ

Женщины беспечные! встаньте, послушайте голоса моего; дочери беззаботные! преклоните слух к моим словам.

Книга пророка Исаии

...окаменела толпа. Даже бабы голосить перестали, чьих мужей Шалва в капусту порубил. Даже раненые не стонут. Страшная тишина. Мертвая. Живые молчат как мертвые, мертвые лежат как живые. А между ними: князь с Княгиней. Не живые, не мертвые, посередке зависли. Тронь, коснись пальцем — упадут: князь — в безумие, что не лучше смерти, Княгиня — в смерть, что не хуже безумия. А назад, к нам их вытащить... хватит ли силы?

Да и будет ли через минуту кого вытаскивать? И главное: *кому* вытаскивать? Ежели по новой упадет толпа в ворота — все, приехали. Не встанет больше на дороге бешеный Шалва. Не отмажемся; не отмахнемся. А у меня всего один патрон остался, и тот — с дробью...

Столько мыслей разных, а в один миг в голове пронеслись, словно гнал их кто.

Страх небось и гнал.

Промелькнул тот миг, и вдруг — оглохла! топот копыт в уши ворвался! Лопнул за пригорком невидимый вулкан, выплеснулась из него конная лава; прямиком к даче несется, на толпу. Сумасшедшие лошади, сумасшедшие всадники — взъерошенные, юные, голые по пояс; короткие теса-

ки, что по уставу положены, в руках пеной серебряной вскипают.

Юнкера из облавного училища!

Сотня, не меньше!

— Родненькие! — кричу.

— Скорее! — кричу.

— Здесь мы! Выручайте! — бросила ружье, рукой из окна машу.

Господи! никогда еще так жандармам не радовалась!

Слезы из глаз сами катятся.

Мальчики мои, что ж вы раньше не поспели, всего на пять минуток раньше, на пять минуточек?! Все бы живы были, все... И сама ведь понимаю: не могли они раньше, никак не могли, без того кони в мыле — знать, во весь опор гнали, спешили...

Внизу все смешалось. Урядник опомнился, револьвер из кобуры вытащил, в воздух палить принялся:

— Р-р-разойдись!!!

Отец Георгий на колени упал: «Господи! Ты видел, Господи, не умолчи! не удаляйся от меня! подвигнись, пробудись для суда моего, для тяжбы моей, Боже мой и Господи мой!..»

Сенька Крест со слугами к князю с Княгиней бегут. Феденька упал, где плясал; встал, стоит, белый весь, руки ходуном ходят. Томочка прямиком к отцу бросилась, толпа разбегаться начала кто куда; шум, крик, плач, конский топот, выстрелы...

А у меня перед глазами помутилось все. От слез, должно быть. Голова кругом идет, уж и сама не помню, как до дивана добралась, упала, дышу, рыба-акулька, рот разеваю; воздуху мне не хватает. Тело свинцовым сделалось, плавят меня, в новую форму льют; бьется что-то внутри меня, наружу просится, живот нарывом дергает; пока еще терплю...

Рожать собралась, дура Акулина?! Вот ведь самое время! Небось еще и двойня, как Дух напророчил... Погодите, миленькие, потерпите чуть-чуть, не время сейчас, дайте в себя прийти — ведь сил у мамки вашей ну никаких не осталось...

Это я их, деточек наших, еще не рожденных, уговариваю. Сама понимаю: глупо! если приспичило, значит, ничего не попишешь! — а что мне еще остается?!

...И ведь уговорила! Успокоились детки, и боль попустила, только ноет противно, в низу живота — но это пустяки, это терпеть можно; лишь бы опять не началось.

Вздохнула глубоко. Раз, другой. В голове прояснилось малость, не кружится больше. Слезы рукавом вытерла, уселась поудобнее, на подушки откинулась... И сразу, едва полегчало, первая мысль: как там князь с Княгиней?! Живы ли?!

Внизу двери хлопают, сапоги по лестницам топочут, голоса:

— ...Сюда, сюда несите! В княжьи покои...

— Ах, горе, горе-то какое...

— Доктора! Доктора скорей!

— ...Там еще раненые есть. Холопы; бунтовщики. Их куда?

— И верно... не добивать же?..

— Это как прикажете, ваше...

— Во флигель, во флигель их! Пусть прислуга с дураками хлопочет! Отрядите людей, чтоб перенесли...

— Слушаюсь, ваше...

— Облав-юнкер Аньянич! Немедленно скачите в город за доктором!

— Слуша...

— Не надо в город! — Это отец Георгий, по голосу узнала. — Тут дача профессора Ленского рядом! Он сейчас там должен быть. Ленский — врач. Прекрасный врач! знающий! опытный!..

— Обер-юнкер Аньянич! Дорогу к даче профессора Ленского знаете?

— Никак нет, ваше...

— Кучер княжий! Сенька знает...

— Найдите кучера, запрягайте коляску — и к профессору Ленскому! Живо! И без врача не возвращайтесь! из-под земли!

— Есть добыть! из-под земли!..

— Выполнять!

Дробь сапог по ступенькам. Хлопает входная дверь.

— Акулина! как ты?

Даже не заметила, как муж любимый вошел, как рядом оказался.

— Слава богу, Феденька! Они-то как? Княгиня? Шалва Теймуразович?

Помрачнел Федор. Рядом на диван опустился. Тяжко, грузно — будто ноги разом держать отказались. Отвернулся: в глаза смотреть боится.

— Плохо. Дышат покамест оба — и то за счастье. Я... ты прости меня, если сможешь. Рашель... приказала она. Не мог я ослушаться. Знал, что с двух концов она себя жжет — собой и мной! — а не мог по-другому! Любит она князя. Себя не пожалела, чтоб его вытащить...

— Вытащила?

— Не знаю, Акулинушка. Сама бы надорвалась. И вместе мы — вряд ли... я-то ладно, а Рашели не хватило бы. Спасибо, Тамара подоспела... Друц рассказывал: он ее в крестницы взять хотел. Чтоб к нам пробиться, когда мы в закон выходили, — да не сложилось. Его к нам утянуло, а княжна *там* осталась. Одна; гореть. Вот и сгорело в ней что-то... Или, наоборот, зажглось. Видит она, что другие не видят, финты на лету схватывает...

— Без крестного, без крестника?! Не бывает ведь так!

— Выходит, бывает. Помогла она нам; крепко помогла. Без нее и Княгиня бы уже богу душу отдала, и князь бы умом двинулся, никакой Обратный Хоровод не оттанцевал бы. А так... не знаю. Может, очнется князь. Может — нет. А с Рашелью худо. Боюсь, не протянет долго. Эх, будь мы сейчас в силе! уж смогли бы! и ее, и его...

Верю, Феденька. Не верю даже — знаю. Смогли бы. Силы у нас — через край, на всех хватит! ну, если не на всех, то на них двоих — уж точно! Жаль, заперта та сила, нет ей выхода. И камешки, что в шкатулке остались, не спасут: не хватит тех камешков, их нам — на один зубок. Только спалим зря...

— Пошли, Феденька. Глянем, как они там...

Оперлась на мужнину руку. Боль в животе отдалась, го-

лова ходуном. Сцепила зубы; ничего, идти могу. Да и недалеко тут; покои хоть князя, хоть Княгини — в двух шагах.

— А ведь это Друц нас всех спас, — уже в дверях ни с того ни с сего вдруг сообщает Феденька. — Кальвадоса насмерть загнал. В училище примчался, дежурному унтеру чуть не в морду... Всех в момент на ноги поднял — и сюда. Если бы не он...

Вот как, выходит. Зря мы тогда на тебя, ром ты блудный, плохо подумали. Хотя и думать-то особо некогда было, хорошо ли, плохо ли...

— ...сейчас на веранде сидит. Скверно ему, ломает всего. Это когда мы с Княгиней Циклопа оттанцовывали, его тоже зацепило. Краем. Ничего, он-то оклемается, зато Рашеля...

* * *

Кровь с лица уже смыли, на рану наложили повязку, и теперь Княгиня тихо лежала на кровати. Прямая и бледная, словно большая кукла. Или покойница в морге. Только она до сих пор была жива — едва заметно трепетали ресницы, и время от времени что-то хрипло булькало, ворчало в груди.

Над Княгиней склонился маленький азиец (видела его в училище; он облав-юнкеров драться учит — как, значит, нашего брата вязать сподручнее). Желтый коротышка сосредоточенно тыкал пальцами, больше похожими на сучки акации, в безучастную Княгиню: нажмет, подержит-подержит — и отпустит; в другом месте нажмет. На лбу у азийца аж пот выступил от усердия — словно он не стоит на месте и только пальцами тыкает, а, к примеру, бревна тяжеленные таскает, и уже не первый час.

На нас коротышка внимания не обратил. Даже не обернулся, когда мы вошли. А мне вдруг почудилось: когда он пальцем к Княгине прикасается — под пальцем будто огонек загорается. Теплый такой, желтенький, вроде цыпленка — и от этого огонька внутрь тела прожилками слабый свет струится. Если тот свет внутри тайные свечечки запалит — оживет Княгиня, станет как прежде... Может быть.

Жалко, свет тот даром гореть не хочет — оттого и вспотел коротышка, словно бревна полдня ворочал.

Посмотрели мы, посмотрели — да и вышли потихоньку, чтоб не мешать. Эх, были бы мы с Феденькой в силе — мигом бы Княгине столько того света отвалили, что разом бы в себя пришла!..

Вокруг бесчувственного Джандиери суетились двое облав-юнкеров и матушка Хорешан. Пока юнкера споро перевязывали раны Шалвы Теймуразовича, матушка Хорешан с заплаканными глазами (впервые вижу эту ворону плачущей!) пыталась влить князю в рот горячее снадобье. По телу Шалвы Теймуразовича время от времени проходила судорога, князь дергался, как в припадке, питье в очередной раз разливалось, но матушка Хорешан упорно продолжала свои попытки. Не понять было: удалось ли оттанцевать полковника у безумия жандармского? или...

Здесь нам тоже делать было нечего, и мы медленно двинулись обратно в столовую. А в дверях едва не столкнулись с княжной Тамарой.

Княжна была бледнее обычного, в черных глазах застыла невысказанная боль — но она не плакала, держалась! Даже безумие, казалось, в страхе бежало перед этой хрупкой крепостью.

— Заходите, — просто сказала Тамара. — Все уже собрались.

И мы вошли.

В столовой нас ждали. Друц — помятый, осунувшийся, грязный, как черт, но живой! живой! — и отец Георгий.

— Тамара Шалвовна? Может, не стоит — при всех? — неуверенно проговорил священник, пока Феденька помогал мне удобнее устроиться на диване. (Ох, только бы сейчас не началось, прямо при людях!)

— Надо, отец Георгий. При всех. Мне едва ротмистр это письмо вручил, я бумаги коснулась — сразу почувствовала: надо. Это для папы письмо... я знаю: чужие письма — нехорошо... Я молю бога, чтобы с папой и с Эльзой все было хорошо, но сейчас... Мне кажется, это письмо не терпит отлагательств. Я так чувствую. Вот, я его уже вскрыла...

На миг княжна умолкает. Разворачивает хрустящую бумагу с витиеватым вензелем в углу...

Тихий голос:

«Душа моя, Шалва!

Полагаю, когда тебе доведется читать сии строки, я уже буду под Вишерой, в своем имении, скучать по вечерам, выпивая лишнюю рюмку ерофеича и в сотый раз перечитывая пятую страницу «Дон Кишота», коего дальше пятой страницы никогда одолеть не мог.

Отставка моя была принята без промедлений и волокиты; чтобы не сказать — с поспешностью, более приличествующей увольнению преподавателя латыни в провинциальной гимназии, нежели отставке генерала Дорф-Капцевича, начальника Е. И. В. особого облавного корпуса «Варвар».

Полагаю, это к лучшему.

Близятся новые времена, во многом рожденные нашими усилиями, о коих тебе, душа моя, Шалва, ведомо никак не хуже меня. Мы устлали благими намерениями славную дорогу, широкий, мощеный тракт, и общество ныне собралось отправиться вдоль сего тракта по этапу. Отправиться с песнями и радостными кликами, подбрасывая в воздух чепчики. Если тебе неизвестно, то сообщаю: в пяти европейских державах на днях приняты законы, согласно которым «эфирное воздействие» само по себе состава преступления более не содержит — если не использовалось в криминальной сфере. Скоро газеты запестрят рекламой спиритических сеансов и кружков столоверчения; что за этим воспоследует — не мне тебе рассказывать, душа моя, Шалва.

Мы победили.

Мы скоро станем не нужны вовсе.

Пиррова победа.

Наш Святейший Синод со дня на день примет соответствующее решение, возможно, даже упразднив за ненадобностью должности обер-старцев, а новые изменения в Уложении о Наказаниях были заранее подготовлены еще в прошлом месяце. Также, по сведениям из источников, заслуживающих всяческого доверия, Департамент Надзора в

самое ближайшее время разошлет в канцелярии тех губерний, где находятся наши облавные училища, тайные циркуляры: предоставить в их распоряжение большинство негласных сотрудников. Зачем? — думаю, не стоит долго гадать. Именно после этого известия я твердо решил подать в отставку, что и сделал в течение семи дней.

Полагаю, ты сможешь урвать недельку-другую, посетив меня в моем уединении, где два старых «Варвара», кусая длинный ус, смогут предаться воспоминаниям; нам есть о чем поговорить, душа моя, Шалва, нам, кто остался жив из Заговора обреченных, жив и в своем рассудке. В конце октября я наде...»

— Кхгм-кхгм!

Это от двери.

Тамара, вздрогнув, осекается на полуслове.

В дверях стоит ротмистр Ковалев.

ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ

Глаза у ротмистра Ковалева казенные. У каждого глаза — у правого, у левого — инвентарный номер. Такие после смерти в особые хранилище сдают: молодым коллегам пригодятся. В сущности, не ищите дурного; в сущности, умные глаза, честные, правильные. Одна беда: заглядывай в них, не заглядывай, за щеки ротмистра бери, исподтишка подкрадывайся — все равно увидишь там, в глазах казенных:

...ничего.

Ну и ладно.

* * *

— Прошу прощения, Тамара Шалвовна. Я, наверное, не совсем вовремя... Но у меня есть дело государственной важности. Срочное. Касающееся всех присутствующих в этой комнате, за исключением — простите еще раз! — за исключением вас, Тамара Шалвовна. Я искренне надеюсь, что ваш батюшка, господин полковник, а также его супруга в скором времени поправятся. Я уже послал за профессором Ленским. А бунтовщики, осмелившиеся напасть на

ваше имение, будут наказаны по всей строгости закона, можете не сомневаться! Но сейчас... Извините, мне надо переговорить с этими людьми с глазу на глаз.

— Не утруждайте себя извинениями, ротмистр. Я выйду. — И, обернувшись к нам всем:

— Я потом дочитаю, хорошо?

Господи, она ведь боится! Просто боится остаться одна, боится, что ее недавно обретенный рассудок не выдержит сегодняшнего потрясения, что она вновь рухнет в черную пучину безумия. Прав был Феденька — сгорело в ней что-то... или зажглось. А дубина-ротмистр...

Тамара прошла мимо посторонившегося жандарма; вышла из комнаты, аккуратно прикрыв за собой дверь. Ротмистр выдержал паузу, прислушиваясь к легким шагам княжны, удаляющимся по коридору.

— Честь имею довести до вашего сведения, господа, что я — один из четырех офицеров училища, имеющих допуск к информации о негласных сотрудниках. — Вся любезность из голоса ротмистра мигом испарилась, и он (он — в смысле, голос... Впрочем, и сам ротмистр тоже!) стал сухим и официальным. — Сегодня рано утром была получена срочная депеша. Предназначалась она господину полковнику, но ввиду известных вам обстоятельств, а также срочности послания, о чем сообщил курьер, десять минут назад я счел возможным вскрыть конверт и ознакомиться с его содержанием. Депеша сия напрямую касается всех здесь присутствующих. Зачитываю:

«ДЕПЕША

Харьков, пер. Котляровский, 6,
Его Бдительности Князю Джандиери,
Начальнику Харьковского
Е. И. В. Великого Князя Николая Николаевича
облавного училища

По получении сего рекомендуется незамедлительно предоставить негласных сотрудников, приписанных к училищу, в распоряжение Департамента Надзора с целью оз-

накомления с нетрадиционными формами обучения. Сопровождать же оных негласных сотрудников, велением преосвященного Иннокентия, Архиепископа Слободско-Украинского, Харьковского и Ахтырского, предписывается епархиальному обер-старцу о. Георгию.

По поручению
Его Высоконепогрешимости Губернатора,
Князя Оболенского
А. Ф. Щировский,
чиновник по особым поручениям».

* * *

...ну уж нет! никуда я не поеду, пусть хоть сто депеш шлют, хоть от губернатора, хоть от черта лысого!.. Ой, мамочки, что это?! Больно-то как! А-а-а-а-а!!!

Боже мой!

Караул! Рожаю!

* * *

— ...Профессор! Слава богу! Как вы вовремя! Тут у нас...

КУШ ПОД КАРТОЙ, или ЗАПИСКИ СЛЕПОГО ЦИКЛОПА

Оно произошло ныне, а не задолго и не за день, и ты не слыхал о том, чтобы ты не сказал: «вот! я знал это».
Ты и не слыхал, и не знал об этом, и ухо твое не было прежде открыто...

Книга пророка Исаии

[*Две с половиной строки вымараны*] ...сам себе удивляюсь. Зачем сел я составлять эти записки, подобно гимназистке, чьи груди только начинают тесниться под фартушком? Почему пишу не на родном языке, на каком говорили отцы мои и деды? Может быть, потому, что втайне от самого себя надеюсь: кто-нибудь когда-нибудь прочтет мои мысли? И что тогда? Прочтет, равнодушно или брезгливо

пожмет плечами — да и забросит на чердак, пылиться. Или прямо в камин.

Или хуже: попадет сия тетрадь в руки, к примеру, записному бумагомараке, газетному щелкоперу — так ведь немедля издавать бросится! Еще и от себя приврет с три короба...

Едва представишь — перо из рук выворачивается. Противно на сердце; мерзко на душе. Впрочем, мужчины в роду Джандиери всегда имели привычку доводить дело до конца; и мои записи — не исключение. Вот только собственное подспудное желание, дабы эти строки были когда-либо прочтены, кажется мне странным и неподобающим для княжеского титула и полковничьего звания.

Увы, в последнее время я стал замечать за собой немало странного и неподобающего.

[*Полторы строки вымарано*] ...никогда. Также не баловался я стихами или эпиграммами — хотя в ранней юности большинство моих сверстников этим грешили. Среди облав-юнкеров и то случалось; пускай редко, по вполне понятным причинам. Хотя... эти причины мне понятны лишь теперь, по прошествии многих лет. Тогда же я попросту считал сочинительство отроческой блажью, никакого интереса к занятию сему не испытывая. По завету отца, князя Теймураза, заучивая наизусть бессмертные строки Шоты из Рустави, я лишь отмечал мастерство рифм и созвучий, стройность слога, отдавая должное искусству поэта — но не испытывал трепета и душевного волнения, которые не единожды замечал в других. Тем более странно мне самому браться за перо теперь, накануне шестого десятка.

[*Вымарано два абзаца*] ...к музыке, к сценическим действам; также и к живописи. Не скрою, некоторые мелодии и созвучия казались мне весьма приятными для слуха — но не более того. А уж бурных восторгов, когда в финале оперы зал дружно вставал, взрываясь овациями, я вовсе не понимал.

Занимаясь с домашними учителями, я любил более прочих наук военную историю и гимнастику. Хотя слово «любил» здесь, пожалуй, неуместно. Скажем так: я отдавал

предпочтение этим предметам; занимался, не испытывая скуки. По остальным дисциплинам меня также хвалили, ибо учиться плохо я полагал ниже своего достоинства, однако повторюсь: живого интереса не испытывал.

Видимо, эти мои склонности, а также особенности характера были замечены кем следует, и в одиннадцать лет с согласия отца я был переведен в закрытый Кадетский корпус, а по окончании его — зачислен в Тифлисское облавное училище в качестве облав-юнкера.

Нынче мне известно, что недетская рассудительность [*вымарано полстроки*] ...скупость эмоций и уравновешенность нрава, а также равнодушие к тому, что в свете зовут «искусством», — одни из многих признаков (другая, и, уверен, бóльшая, часть оных признаков неизвестна мне и поныне), согласно которым тайная комиссия Департамента Надзора определяет будущих облавников. Тех, кто от рождения малочувствителен к эфирным воздействиям. Да-с, государи мои, именно МАЛОчувствителен! Ибо чувствительность сия, хоть и ослабленная, все же присутствовала и в Шалве Джандиери, и в других кадетах, а позднее — облав-юнкерах. Что из нас старательно вытравляли... [*четыре с половиной строки тщательно вымараны*].

...дисциплина, насколько мне известно, на порядок строже, чем в прочих армейских или гвардейских училищах. И если поначалу воспитатели вынуждены прибегать к различным наказаниям, в том числе телесным, то в конце обучения таковая надобность отпадает едва ли не вовсе, невзирая на молодость будущих «Варваров». Разумеется, встречаются отдельные личности, регулярно попадавшие в карцер даже перед самым окончанием училища, — и, надо признаться, автор сих строк относился к их числу. Однако, как позже выяснилось, именно из этих неугомонных нарушителей выходили лучшие «нюхачи», одним из которых является ваш покорный слуга, а также потрясатели основ, идущие к своей цели наперекор всему (к коим я также имею все основания себя относить).

И это при том, что в Кадетском корпусе и в училище нам прививали сдержанную умеренность во всем: в поступках, в эмоциях, в мыслях. Будущий «Варвар»... [*выма-*

рано полстроки] ...в крайнем случае, вежливо улыбнуться одними уголками губ. [*вымарана строка*] ...даже перед лицом смерти не должен терять хладнокровия и выдержки. И так: день за днем, год за годом, с постоянными негласными проверками, экзаменами, испытаниями, о многих из которых мы тогда и не подозревали.

Так у нас отсекали все остатки сильных эмоций, делавшие нас уязвимыми, открывавшие лазейку для «эфирных воздействий». Будущих «Варваров» постепенно заковывали в железную броню хладнокровия и непоколебимой уверенности в себе и в том деле, коему мы призваны служить. (Именно эта уверенность в своей правоте, в том, что мы доподлинно знаем, как принести пользу Державе, и сыграла с нами впоследствии злую шутку.) Но последний штрих, последнюю точку, последнюю застежку незримого панциря защелкнул Высочайший Указ, присваивавший вчерашним облав-юнкерам офицерские звания.

«Вышел в Закон», — сказал бы маг.

И был бы прав.

Теперь мы были во всеоружии. Все лишнее, что не умещалось под стальным доспехом невозмутимости, было безжалостно отсечено ножом хирурга. Ампутировано. По крайней мере, так мне казалось до последнего времени.

Именно тогда, вместе с производством в офицеры, передо мной приоткрылся краешек другой стороны медали.

Оказалось, мы тоже уязвимы. «Доспех» — защита, но и проклятие. Любое по-настоящему сильное чувство, которое у обычного человека вызовет безудержный хохот, заставит его рыдать от горя, впасть в буйство или биться в истерике, — прорвавшись сквозь «броню» облавника, принудит его лишиться рассудка.

Такова плата.

Я видел, как это происходит.

Дважды.

И неоднократно слышал от коллег, читал в докладах, рапортах; находил в архивах.

Мне уготована та же участь...

[*Вымарано три с четвертью абзаца*] ...с некоторых пор называю «духовной кастрацией».

Не слишком ли большая цена за нечувствительность к эфирным воздействиям? Перспектива рано или поздно сойти с ума, закончив дни в виде безмолвного растения в доме призрения, частном или казенном, какие во множестве открывает Департамент Надзора. Опять же: ощущение эмоциональной ущербности, возникающее со временем. Но и это не все, и даже не самое страшное.

Наши дети!

У них слишком велик шанс родиться... [*вымарано полстроки*] ...или попросту безумными. Это ли не кара Господня?! Быть может, Он карает детей за то, что их отцы пошли против Его воли? Я не про «эфирные воздействия» — дело Святейшего Синода определять их как ересь или не определять. Я о другом: отбирая у самих себя дарованное от рождения: возможность плакать и смеяться, любить и ненавидеть всей душой?! — может быть, наши дети платят за это своеволие?

Нам с Ниной не повезло. Наша дочь... [*вымарано две строки*].

[*Вымарана половина абзаца*] ...«Мальтийский Крест», иначе «Заговор обреченных». Когда мы собрались впервые, нас было семеро. Все — опытные «нюхачи», все — офицеры; самый старший по званию — полуполковник, сейчас больше известный как... [*вымарана строка*]. У всех были... скажем так: проблемы с наследственностью. И все (что выяснилось позже) в свое время имели дисциплинарные взыскания в училищах. Мы были слишком любознательны, своевольны и неординарны для «Варваров». Может быть, причина в этом?..

О, говорились правильные и высокие слова! Долг перед Отечеством, благо Державы, традиционные меры не дают должного результата; преступность с применением «эфирных воздействий» хотя и не растет катастрофически, но сокращаться тоже не собирается; косность высших требует от нас решительных мер... Это была правда. Мы действительно так думали, действительно верили в сказанное.

Но в глубине души — или, если угодно, закованного в броню Закона рассудка — каждый думал об ином, опасаясь признаться в этом даже самому себе.

Покончив с существованием магов, мы тайно хотели покончить с собой.

С такими, как мы.

Я говорю не о самоубийстве, осуждаемом с точки зрения общества и непростительном перед богом. Я имею в виду лекарство, которого не требуется более после излечения больного; оружие, ненадобное в мирное время; облавных жандармов, бесполезных в отсутствии криминальных магов.

И наши дети будут жить... [*вымарано полстроки*] ...нет, будут рождаться... [*вымарано три слова*] ...Боже, мы действительно надеялись победить и уйти навсегда, с честью!

Как наивны мы были...

[*вымарано полтора абзаца*] ...на сбор необходимых материалов. Еще два года — на подготовку соответствующих выводов. Параллельно все это время шло изучение феномена так называемых «стихийных нюхачей» — в миру чаще всего юродивых, блаженных, — без соответствующей подготовки способных частично улавливать наличие и направленность чужого «эфира». Затем мой друг [*вымарано*] ...настоял на необходимости подать официальный рапорт в Государственный Совет. Подача сего рапорта и была причиной опалы, а затем и перевода Шалвы Джандиери, к тому времени полуполковника, в Мордвинск. Невозможность действовать методами законными привела Заговор обреченных в тупик; и мы ударили в стену, сломав ее.

Буквы Закона нарушили Закон.

Мы знали, на что идем; я знал, на что иду. Действуя во благо, как мы его понимали, мы одновременно попирали все устои, какие формировались в нас самих годами обучения и службы. Это ли не сильные ощущения? это ли не потрясения, бурные эмоции?! всплески чувств?! битва десницы с шуйцей?! — грозящие безумием «Варварам»-бунтарям! Вот и сейчас: слишком много восклицательных знаков встречается в моих записях, слишком много... Восклицательные знаки — гибель рассудка!

Мы делали, подавляя сопротивление собственного доспеха, живущего отдельной жизнью, требующего законности, законности и только законности. Мы делали, пытаясь тем же доспехом закрыться от потрясений; Буквы Закона топтали Закон ради Духа Закона, как мы понимали сей Дух; чернила расплывались, и Буквы не выдерживали, становясь грязью.

Кострома, полковник Почетыкин.

Севастополь, ротмистр Земляничкин.

Харьков, полковник Куравлев.

Тифлис, генерал Шамиль Абуталибов.

И скоро, очень скоро — дача в Малыжине, полковник Джандиери.

[*вымарано две с половиной строки*] ...я чувствую приближение.

Нет, я выдержал войну себя с собой. Я, один из главных зачинщиков, свято верил в благость наших намерений, и вид безумной дочери моей раз за разом убеждал: мы поступаем верно! Мой доспех оказался гибче многих; но и в нем нашлась брешь.

[*вымарано полстроки*] ...люблю тебя.

Рашель, я люблю тебя. Вот: сказал, написал, начертил, споря с собственной рукой, наотрез отказывающейся выводить эти слова, — и стало легче. Наверное, так сходят с ума. Сперва становится легче, потом еще легче, потом раковина-панцирь опадает наземь трухой, и беззащитная мякоть выплескивается наружу — чтобы погибнуть. Рашель, Княгиня моя, это началось давно, через несколько лет после смерти Нины, — я женился, повинуясь воле отца, любя свою жену или, вернее, полагая, что люблю ее так, как может и должен любить князь Джандиери, офицер-облавник! — Рашель, я ведь не знал, как это бывает на самом деле...

Я взял тебя на балу в Хенинге. Смешно! — звучит почти библейски: «Я взял тебя!» Я шел к тебе, испытывая легкое, еле заметное беспокойство. Тогда я приписал его чувству ловца, наконец поймавшего вожделенную дичь. Во многом это было правдой. И когда на следующий день гусар Хотинский прислал мне вызов на дуэль — первым моим

желанием было выйти к барьеру и всадить пулю ему в лоб. Пулю, похожую на бубновую масть. Вместо этого я вызвал Хотинского в канцелярию Хенингской жандармерии, бросил перед ним на стол папку с твоим делом, и через пять минут наш бравый гусар с извинениями забрал вызов обратно. Кажется, после этого он даже убил двоих-троих забияк, которые сочли Хотинского трусом.

Я допрашивал тебя дольше обычного.

Не хотел расставаться?

Случайно ли я уехал именно в Мордвинск? Случайно ли перевел на поселение именно тебя? случайно ли избрал объектом моих... [*вымарано два слова*] ...изысканий именно Бубновую Даму? Случайно ли отыскал тебя в Севастополе?!

Если это уже тогда была любовь, то любовь безумная. Не сознающая сама себя под бременем панциря. Находящая удовольствие в обоюдных мучениях. Сейчас, когда я думаю об этом... [*вымарано до конца абзаца*]

В Мордвинске, в морге, я даже не обратил внимания на твоего спутника; в Севастополе я почувствовал к нему симпатию, плохо понимая причины. Думаю, в Федоре я увидел тебя. Сейчас он нравится мне все больше и больше... ибо это тебя, Рашель, все больше и больше в нем.

Я ведь вижу... хотя и не знаю, как сие творится. Лучше мне не знать. Лучше никому этого не знать! Заговор Обреченных нарушил равновесие, яд стал лекарством, оставаясь ядом; и сейчас на поверхность взбаламученной воды всплывает нечто новое, чего следует опасаться вдесятеро больше, нежели любых «эфирных воздействий».

Я знаю другое: я схожу с ума.

День за днем, час за часом.

— Бог, создавший мир однажды, от тебя здесь облик
каждый.
Дай мне жить любовной жаждой, ей упиться глубоко!
Дай мне, страстным устремленьем, вплоть до смерти
жить томленьем
Бремя сердца, с светлым пеньем, в мир иной снести легко...

Спасибо... [*вымарано полстроки*] ...Рашель, я... [*вымарано до конца страницы*]...

* * *

...Федор замолчал. Присел на краешек кровати, глянул на Княгиню. Веки женщины были плотно сомкнуты, и в уголках глаз блестели...

Нет, показалось.

Без чувств она.

— Рашеля... Он просил тебе... прочитать. Вот, я прочитал...

У окна, спиной к Федору, стоял отец Георгий. И наверное, хорошо, что спиной, потому что лицо у священника сейчас было лицом дебила или святого.

Стряпчий Гоша Живчик, Десятка Червонная, второй раз за нынешний безумный день служил посредником. Княгиня, в сознании или без, услышала все, что должна была услышать.

Растрепанная тетрадь тихо легла на столик у кровати.

Книга пятая
(неоконченная)
И ТОГДА Я СКАЗАЛ: ВОТ, ИДУ...

Круг первый. КОРНИ ПАУТИНЫ

— Да поглотит Ад все чародейские штучки!

Опера «Киммериец ликующий-2», ария Конана Аквилонского

ПРИКУП

— Тамара Шалвовна! Разрешите войти?..

Княжна сидела в отцовском кабинете, по давней привычке с ногами забравшись в кресло. Обитое мягкой черной кожей, огромное кресло притворялось чревом кита, поглотившего упрямца-пророка Иону; хотелось тихонько шептать: «Объяли меня воды до души моей, бездна заключила меня...» В кабинет Тамара заходила редко, отец не любил присутствия других, пусть даже самых близких людей в его святая святых; но сейчас княжне казалось — если она будет сидеть здесь, в папином кабинете, в папином любимом кресле, за папиным столом, то с отцом непременно все будет хорошо.

Непременно.

— Это вы, отец Георгий? Да, конечно, заходите... Вы знаете: они меня прогнали...

Это было правдой. Из спальни роженицы Тамара была изгнана профессором Ленским: профессор сказал, что он прекрасно обойдется услугами добровольных повитух, матушки Хорешан и стряпухи Оксаны, и что подобное зрелище отнюдь не предназначено для глаз молоденьких бары-

шень. Княжна не обиделась; понимала, что профессор прав.

Просто ушла сюда, в кабинет.

— Тамара Шалвовна!.. извините, если нарушаю ваше одиночество. Сегодня я видел вас, когда вы... ну, вы понимаете, о чем я!..

Княжна обернулась.

Увидела.

И задохнулась от запоздалого понимания:

— Отец Георгий! Вы!.. Вы тоже?! Вы же священник?!

— Аз есмь пастырь недостойный, — грустно улыбнулся отец Георгий. — Да, дочь моя, я тоже. Чего не могу сказать о вас — ибо вы до сих пор мне непонятны. Друц рассказывал мне о вас, о вашей просьбе... обо всем. Вернее, обо всем, что знал сам.

Перегнувшись через массивный подлокотник, княжна смотрела на священника. Вокруг отца Георгия, за ним, рядом с ним, была — тень. Маленькая: куда меньше, чем у тех же Ефрема Ивановича или Феденьки. Но — была. И размеры тени мало что значили: как и у всех, она походила на своего обладателя, в то же время будучи похожа на совсем другого... человека?

Маленького, лысенького, в кургузом сюртучке; насмешливого! печального... нос — сливой...

Княжна знала этого — человека?

— Вы понимаете, отец Георгий... просто я сгорела *там*. Совсем. Дотла. Я ждала, я верила — и сгорела. Вот, наверное, и все.

Священник подошел ближе; узкой, прохладной ладонью тронул плечо княжны.

— Не знаю, Тамара Шалвовна. Сгореть — значит стать огнем. А что есть огонь? Возможность брать чужое и делать своим? делать — собой? Если так... я ведь следил за вами там, во дворе, и не знал: ужасаться мне или восхищаться? Вы не копируете, ибо на огне нельзя ничего оттиснуть; вы берете и...

— Пожираю? Вы это хотели сказать, отец мой?

— Нет. Я хотел сказать другое. Если и впрямь мы все

живем на проценты, дробя часть на части; если мы повторяемся друг в друге, не творя нового и лишь бесконечно пережевывая старое, как старуха беззубыми деснами мнет корку хлеба...

Княжна ждала.

— Если это действительно так и нет среди нас учителей и учеников — вы первый настоящий ученик, какой появился за долгие годы. Договорный огонь во плоти. Мы — нити вселенского балагана; вы — кукловод. Пока еще неумелый, неопытный, но мы умеем лишь дергаться, а вы учитесь дергать, и когда научитесь — вам не понадобятся крестники, масти, вся эта мишура, которую мы придумали сами себе, лишь бы скрыть главное: мы даже не куклы. Так — нити, струны треснувшей гитары... Благослови вас Господь, дитя мое!

Отец Георгий отвернулся.

Но скрыть слезы ему не удалось: тень стояла за его спиной, рядом с ним, возле, вокруг, и глаза у тени — маленькой, лысенькой, в кургузом сюртучке — подозрительно блестели.

...Покинув кабинет и оставив княжну в одиночестве, отец Георгий встал в коридоре у окна. Оперся о подоконник. Некоторое время наблюдал, как с ветвей деревьев судорожно облетает желто-красный сентябрь. У ограды верстовыми столбами торчали облав-юнкера. «Обложили», — подумалось невпопад, хотя Гоша Живчик прекрасно знал: не обложили, а, наоборот, охраняют.

Как же, такая ценность! Мало их осталось, настоящих магов в законе; а таких, как здесь, на княжеской даче, почитай, и нету вовсе. И теперь, если все пойдет, как писал отставной генерал Дорф-Капцевич, как было указано в депеше губернатора, как задумывал хитрый цвиркуновский голова, оказавшийся ничуть не глупее генералов с губернаторами...

Если все пойдет именно так...

Отцу Георгию было плохо. Очень плохо. Ясное дело,

Святейший Синод, Ватикан, столпы ислама и даже мудрые авраамитские рабби в самом скором времени поддержат это начинание. Объявят богоугодным, освятят, предоставив черед власти светской. Искус окажется слишком силен. И это будет началом конца. Конечно, процесс увядания будет долгим, поначалу никто ничего не заметит...

Отец Георгий вытер вспотевший лоб. Жаль, полковник Джандиери, высмеивая газетных писак с их теорией «вампирической связи» между магом и его крестником, не успел понять до конца истинный смысл этой связи. В последние сутки было сказано много важного — но главные слова остались непроизнесенными.

Сколько сил требуется, чтобы из восторженного школяра вырастить вдумчивого студиозуса, затем — уверенного в себе приват-доцента, а там — и мудрого, понимающего профессора, которому заглядывает в рот следующее поколение учеников? А если учение подменяется Договором? калькой с учителя, наложенной на ученика?!

Что тогда?

Тогда все усилия по несостоявшемуся обучению достаются даром магу-крестному: дабы использовал по своему усмотрению. Израсходовал на собственные финты, или, говоря официально, «эфирные воздействия». И чем бестолковее крестник, тем больше силы, которую пришлось бы затратить на обучение сего оболтуса, может использовать маг в законе на свои нужды. Вот почему в крестники, как правило, берут полных бездарей: человек талантливый слишком быстро выходит в Закон, слишком малая часть крестного успевает отпечататься в нем; в итоге, «обученный» по Договору, он и магом-то становится никудышным, и учителю его с того мало толку.

Он, отец Георгий, тому наглядный пример.

А иной пример сейчас сидит в кабинете, забравшись с ногами в кресло. Раз у нее вышло — может, вновь оживет древнее искусство? Только думать, что все зависит от одной девушки, — глупее некуда.

...раньше криков роженицы не замечал; сейчас тишину проворонил. А вот и тишины нет больше:

— Двойня! Федор Федорович! Девочки!

— Вполне здоровые дети. Даже странно... на таком раннем сроке... Поздравляю, от души поздравляю! Слава богу, все завершилось благополучно!

— Спасибо огромное, профессор...

— Покажите их матери...

— С ней-то, с ней все в порядке?

— Не волнуйтесь, голубчик. Серьезных разрывов нет, кровотечение уже останавливается... В общем, роды прошли успешно! Еще раз сердечно поздравляю... у вас теперь совсем иная жизнь начнется!..

Отец Георгий вздрогнул: знать бы профессору, что говорит! О да, перед этими двоими — нет, не перед новорожденными, перед их отцом-матерью! — во весь рост встает Его Величество Выбор. Стоит только согласиться, перетерпеть краткую боль — свою, умноженную на боль детей, которые через несколько лет не вспомнят этот миг даже в страшных снах, — и все будет прекрасно! У Безмастных Козырей достанет сил вытащить князя с Княгиней из любой пропасти! помочь самим себе, в конце концов! Минуты боли — и жизнь! Сила! долгая жизнь и великая Сила! А дети вырастут лишь самую малость слабее великих родителей...

И так — долго, слишком долго, чтобы успеть ужаснуться.

Прости меня, Господи, за ересь, за крамолу, но что, если вся наша жизнь — страны, люди, города, моря и леса, три с лишним века, прошедшие мимо нас, — всего лишь сон? мираж? кара и одновременно — испытание?! Испытание, ниспосланное Тобой, Господи, тому, кто видит себя в этом сне Духом Закона? Что, если та ночь, накануне первого Договора, до сих пор длится, и горит первый в мире Договорный огонь, и некий человек все эти сотни лет, вместившихся в одну его ночь, лицезреет дело рук своих? Возможно ли, что Безмастные Козыри — его второй шанс? шанс вернуть ветер на круги своя?! И если эти двое откажутся, если преодолеют великий искус, не заключив новый Договор, — грех будет искуплен? ночь кончится? взойдет заря?! — а мир пойдет совсем другим путем, где не бу-

дет места проклятому Договору? И мираж нашей жизни развеется, словно дым, словно утренний туман под солнцем?!

...Может быть. И тогда нас всех не будет. Или мы станем иными; мы, наверное, так никогда и не встретимся друг с другом в другой, правильной жизни...

Есть еще третья возможность. Все уже произошло; что было, то было, и не в силах человеческих изменить прошлое. Да, милостью небес Духу Закона дан второй шанс. Той его части, которая заключена в этих двоих. Сделать выбор заново. Ведь нам всем, всем без исключения предлагалось порвать паутину, но никто из нас не пошел на это! Порочный круг длился годы, десятилетия, века... И если эти двое наконец разорвут его — рухнет Вавилонская башня Договора, навсегда погаснет тайный огонь, Дух Закона обретет покой — но наша жизнь останется нашей жизнью и просто пойдет дальше.

...но может случиться и самое страшное. То, о чем не хочется даже думать: эти двое пожертвуют собой и близкими людьми; отказавшись от Договора, сожгут сами себя... и ничего не изменится!

Ни-че-го!!!

Жертвы, смерти и мучения, терзания выбора — все зря! напрасно! По-прежнему будут зажигаться Договорные огни, по-прежнему будут гореть в них бесталанные ученики с бездарями-учителями — отныне не только маги, но и врачи, сапожники, кузнецы, поэты, музыканты, пастыри Божьи...

Не дай этому свершиться, Господи!

Да минует нас чаша сия!

* * *

Проходивший по коридору ротмистр Ковалев остановился в недоумении:

— Отец Георгий? Что с вами? Вам плохо?!

Священник молчал, глядя на облетающий сентябрь.

...и плачущие, как не плачущие; и радующиеся, как не радующиеся;
и покупающие, как не приобретающие; и пользующиеся миром сим, как не пользующиеся; ибо проходит образ мира сего.

Первое послание к коринфянам

— ...ну что? — Федор поднял взгляд на жену. — Значит, решили?

И увидел: она нашла в себе силы кивнуть.

* * *

Через много, много лет в послесловии к скандально известному сборнику стихов «Корни паутины» некий «кумир на час», как несправедливо назовут его критики, напишет:

«Выбор — это, пожалуй, единственное, что ты не сможешь разделить ни с кем из живущих. Впрочем, иногда кажется, что это не так...»

Критикам никогда не узнать, что автор «Корней паутины», отложив в сторону перо, видел дачу в Малыжине, больше похожую на разоренный муравейник, видел спальню для гостей, двоих новорожденных девочек, спящих, как могут спать только дети трех часов от роду, видел измученную женщину на смятой постели, высокого, сильного мужчину рядом с ней, видел на стене литографию Дюрера — нагие Адам и Ева пристально смотрят на яблоко в пасти скучающего змия, готовые в любой миг взять запретный плод или отдернуть руку; и кулак в груди мало-помалу разжимался, хрустя суставами.

СОДЕРЖАНИЕ

ПАСЫНКИ ВОСЬМОЙ ЗАПОВЕДИ. *Роман* 5

Книга первая. ДЕТИ ВОРА САМУИЛА 7

ГЛАВА I 7
ГЛАВА II 28
ГЛАВА III 59

Книга вторая. ТУМАНЫ СТАРОГО ПОГОСТА 79

ГЛАВА IV 79
ГЛАВА V 106
ГЛАВА VI 129

Книга третья. ЕРЕСЬ КАТАРОВ 153

ГЛАВА VII 153
ГЛАВА VIII 177
ЭПИЛОГ 209

МАГ В ЗАКОНЕ. *Роман* 213

Книга первая. ДА БУДЕТ ПУТЬ
ИХ ТЕМЕН И СКОЛЬЗОК... 215

Круг первый. СНЕГА КУС-КРЕНДЕЛЯ 215
Круг второй. ПОЕЗД В АД 267
Круг третий. ДВЕ КАРТЫ ВТЕМНУЮ 314

Книга вторая. ПРИЛОЖИ БЕЗЗАКОНИЕ
К БЕЗЗАКОНИЮ ИХ... 387

Круг первый. СОЛЕНЫЙ ВЕТЕР КРЫМА 387
Круг второй. ЛЕТАЛ СОКОЛ, ЛЕТАЛ ЯСНЫЙ 449
Круг третий. ОБЪЯЛИ МЕНЯ ВОДЫ ДО ДУШИ МОЕЙ 494

Книга третья. И ГРЕХ МОЙ ВСЕГДА ПРЕДО МНОЮ... . . . 557

Круг первый. МИРАЖИ ХАРЬКОВСКОЙ ОСЕНИ 557
Круг второй. Я ОДНАЖДЫ УЗНАЮ, ЗАЧЕМ Я БЫЛА... 622
Круг третий. ДУРАКАМ ЗАКОН НЕ ПИСАН 676

Книга четвертая. ПО ДЕЛАМ РУК ИХ ВОЗДАЙ ИМ... 737

Круг первый. ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДАЧНИЦЫ,
ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДАЧНИКИ... 737
Круг второй. НОЧЬ СУДНОГО ДНЯ 791
Круг третий. НА КРУГИ СВОИ... 850

Книга пятая (неоконченная). И ТОГДА Я СКАЗАЛ: ВОТ,
ИДУ... 916

Круг первый. КОРНИ ПАУТИНЫ 916

Литературно-художественное издание

Генри Лайон Олди

ВОРОВСКОЙ ЦИКЛ

Издано в авторской редакции
Ответственный редактор *Д. Малкин*
Художественный редактор *Е. Савченко*
Технический редактор *О. Куликова*
Компьютерная верстка *Т. Жарикова*
Корректор *М. Меркулова*

ООО «Издательство «Эксмо»
127299, Москва, ул. Клары Цеткин, д. 18, корп. 5. Тел.: 411-68-86, 956-39-21.
Home page: www.eksmo.ru E-mail: info@eksmo.ru

По вопросам размещения рекламы в книгах издательства «Эксмо» обращаться в рекламный отдел. Тел. 411-68-74.

Оптовая торговля книгами «Эксмо» и товарами «Эксмо-канц»:
ООО «ТД «Эксмо». 142700, Московская обл., Ленинский р-н, г. Видное,
Белокаменное ш., д.1. Тел./факс: (095) 378-84-74, 378-82-61, 745-89-16,
многоканальный тел. 411-50-74.
E-mail: reception@eksmo-sale.ru

Мелкооптовая торговля книгами «Эксмо» и товарами «Эксмо-канц»:
117192, Москва, Мичуринский пр-т, д. 12/1. Тел./факс: (095) 411-50-76.
127254, Москва, ул. Добролюбова, д. 2. Тел.: (095) 745-89-15, 780-58-34.
www.eksmo-kanc.ru e-mail: kanc@eksmo-sale.ru

Полный ассортимент продукции издательства «Эксмо» в Москве в сети магазинов «Новый книжный»:
Центральный магазин — Москва, Сухаревская пл., 12
(м. «Сухаревская»,ТЦ «Садовая галерея»). Тел. 937-85-81.
Москва, ул. Ярцевская, 25 (м. «Молодежная», ТЦ «Трамплин»). Тел. 710-72-32.
Москва, ул. Декабристов, 12 (м. «Отрадное», ТЦ «Золотой Вавилон»). Тел. 745-85-94.
Москва, ул. Профсоюзная, 61 (м. «Калужская», ТЦ «Калужский»). Тел. 727-43-16.
Информация о других магазинах «Новый книжный» по тел. 780-58-81.

В Санкт-Петербурге в сети магазинов «Буквоед»:
«Книжный супермаркет» на Загородном, д. 35. Тел. (812) 312-67-34
и «Магазин на Невском», д. 13. Тел. (812) 310-22-44.

Полный ассортимент книг издательства «Эксмо»:
В Санкт-Петербурге: ООО СЗКО, пр-т Обуховской Обороны, д. 84Е.
Тел. отдела реализации (812) 265-44-80/81/82/83.
В Нижнем Новгороде: ООО ТД «Эксмо НН», ул. Маршала Воронова, д. 3.
Тел. (8312) 72-36-70.
В Казани: ООО «НКП Казань», ул. Фрезерная, д. 5. Тел. (8432) 70-40-45/46.
В Киеве: ООО ДЦ «Эксмо-Украина», ул. Луговая, д. 9.
Тел. (044) 531-42-54, факс 419-97-49; e-mail: **sale@eksmo.com.ua**

Подписано в печать 25.02.2005.
Формат 84x108 $^{1}/_{32}$. Гарнитура «Таймс». Печать офсетная.
Бум. тип. Усл. печ. л. 48,72. Уч.-изд. л. 43,6.
Тираж 7000 экз. Заказ 1608.

ISBN 5-699-09802-X

9 785699 098026 >

ОАО «Тверской полиграфический комбинат»
170024, г. Тверь, пр-т Ленина, 5. Телефон: (0822) 44-42-15
Интернет/Home page - www.tverpk.ru Электронная почта (E-mail) - sales@tverpk.ru

СТРАНА ИГР

160 СТРАНИЦ
2 РАЗА В МЕСЯЦ

Вы первыми узнаете, во что все будут играть завтра



В МИРЕ ЕЖЕДНЕВНО ВЫХОДЯТ ДЕСЯТКИ ИГР
НА САМЫХ РАЗНООБРАЗНЫХ ПЛАТФОРМАХ:
PC, PLAYSTATION 2, XBOX,GAME CUBE, GBA.
МЫ ПОМОЖЕМ ВАМ РАЗОБРАТЬСЯ
В ЭТОМ КРУГОВОРОТЕ
И СДЕЛАТЬ ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР

Издательство «Эксмо» представляет

АЛЕКС ОРЛОВ

В СЕРИИ РУССКАЯ ФАНТАСТИКА





Алекс Орлов – знаменитый писатель-фантаст!



Книги Орлова мгновенно становятся бестселлерами!

Многочисленные фэны называют Орлова «российским Эдмондом Гамильтоном»!

Роман «База 24» и его продолжение «Штурм базы» написаны в традиционном для автора жанре – «фантастический боевик»!



Также в серии: «Охотники за головами», «Бросок Саламандры»

Издательство «Эксмо» представляет

Клиффорд

САЙМАК

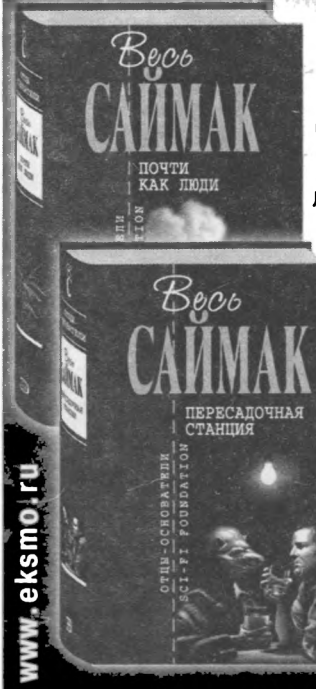
В

С



В СЕРИИ

«ОТЦЫ – ОСНОВАТЕЛИ»



Клиффорд Саймак – патриарх научно-фантастического жанра, один из крупнейших американских фантастов, автор свыше тридцати романов, лауреат многочисленных литературных премий, в том числе и самой престижной в американской фантастике премии «Хьюго».



Также в серии:
«Игрушка судьбы»

www.eksmo.ru

В серии «Отцы-основатели» выйдет полное собрание сочинений К.Саймака!

Притча
о Великой Державе
и Маленьких
Человеках, о том,
как слепые ведут
слепых, и о том, что
нет ничего нового –
ни под солнцем,
ни под луной.
Олди, как всегда, не
ищут легких путей –
а намеренно
усложняют задачу,
чтобы потом
постепенно выходить
из лабиринта
хитросплетений,
порожденных их
неудержимой
фантазией.

